

HISTORIA
ROSSICA

Евгений Анисимов

ДЫБА И КНУТ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СЫСК
И РУССКОЕ ОБЩЕСТВО
В XVIII ВЕКЕ

МОСКВА

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

1999

Художник
Д. Черногаев

*Российская академия наук
Институт российской истории
Санкт-Петербургский филиал*

*Утверждено к печати
Ученым советом Санкт-Петербургского филиала
Института российской истории РАН*

Анисимов Е. В.

Дыба и кнут. Политический сыск и русское общество в XVIII веке. — М.: Новое литературное обозрение, 1999. — 720 с., илл.

История политического сыска как института по преимуществу внесудебного и незаконного преследования государственных (политических) преступников в XVIII веке еще не рассматривалась в таком объеме, как это предпринято в предлагаемой читателю книге. Автор исследования, известный отечественный историк Евгений Анисимов поставил целью проследить формирование и номенклатуру системы государственных (политических) преступлений, дать очерк эволюции органов политического сыска и уяснить роль их руководителей. В книге подробно рассмотрена «технология» сыска, начиная с доноса, ареста и кончая смертью или освобождением попавшего в политический сыск человека. Издание снабжено обширным справочным и иллюстративным материалом.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Введение</i>	7
<i>Глава 1. Государственные преступления в XVIII веке</i>	13
<i>Глава 2. Органы политического сыска и самодержавие</i>	95
<i>Глава 3. «Донести, где надлежит»</i>	147
<i>Глава 4. «Быти от государя в опале»</i>	221
<i>Глава 5. «Русская Бастилия» на Заячьем острове</i>	277
<i>Глава 6. «Роспрос»</i>	313
<i>Глава 7. Розыск в застенке</i>	391
<i>Глава 8. Вынесение приговора</i>	465
<i>Глава 9. Приговор</i>	487
<i>Глава 10. «Завтра казнь»</i>	523
<i>Глава 11. Тюрьма</i>	589
<i>Глава 12. Ссылка</i>	615
<i>Глава 13. «Отписать на государя»</i>	661
<i>Глава 14. Свобода</i>	669
<i>Вместо заключения</i>	679
Список источников и литературы	689
Список сокращений	715
Приложение	716

История политического сыска как института по преимуществу внесудебного и незаконного преследования государственных (политических) преступников в XVIII веке еще не рассматривалась в таком объеме, как это предпринято в предлагаемой читателю монографии. При этом список использованной литературы по теме обширен, включает в себя десятки названий. Все эти работы касаются отдельных тем, сюжетов и аспектов истории политического сыска. О законодательстве в области государственных преступлений писали знатоки русского права XIX—XX вв. Как известно, в дореволюционной России историки права были весьма сильными специалистами и среди них немало ярких имен. В общих курсах лекций историки-юристы касались системы государственных преступлений и их преследования, хотя нельзя не заметить, что они не особенно углублялись в историю становления корпуса политических преступлений, не разбирали всех тонкостей политического процесса. При этом в историко-юридической литературе большее внимание уделялось древнерусскому праву, анализу Соборного уложения 1649 г. и меньшее — законодательству и практике политического сыска XVIII в. Все это кажется неслучайным. Режим самодержавия, окончательно оформившийся во время Петра I, сохранялся в почти неизменном политическом виде и в XIX в., а основные нормы действовавшего до XX в. Свода законов 1832 г. о преследовании за государственные (политические) преступления, в том числе за оскорбление чести государя, во многом повторяли положения петровских законов (792, 23—26)¹. А это означало, что предмет исследования не был так уж безопасен для исследователя, порой написанное им, кабинетным ученым, о политических репрессиях далекого прошлого становилось излишне актуальным, вызывало опасные ассоциации со временем, в котором он жил.

¹ В тексте книги применена следующая система примечаний в скобках: полужирным курсивом указан порядковый номер помещенного в конце книги единого Списка источников и литературы, далее указаны том (вып., часть, книга) и страницы. Для Полного собрания законов Российской империи (587), Актов исторических (104) сделано исключение: вместо страницы указан номер закона.

Ясно, что только после появления в России независимого суда, только после событий 1905 г. историк права мог спокойно сообщать читателю: «Ничем так ярко не характеризуется гражданский и политический порядок, как степень вмешательства или невмешательства власти в отправление суда». Более того, писал он, там, где организация государства «построена на началах абсолютизма, то есть вся полнота верховной власти стягивается в руках одного физического лица, там каждое политическое преступление воспринимается последним как личное посягательство против него, против его особы и прав, ему принадлежащих», ведет к более похожей на личную месть расправе «над человеком, подозреваемым в политическом преступлении» (727, 2, 7).

Ко всему прочему архивные материалы по политическим процессам до начала царствования Александра II были фактически недоступны историкам. В тайны Тайной канцелярии и других подобных ведомств могли проникнуть только особо надежные и проверенные люди — такие, как академик Н.Г. Устрялов — автор «Истории царствования Петра Великого», шестой том которой стал известен общественности благодаря публикации в нем сенсационных материалов дела царевича Алексея Петровича (755). Лишь с 1860-х гг. XIX в. начинают появляться публикации по истории политического сыска. Среди счастливых, допущенных к ранее засекреченным материалам сыска, был занимавший высокое служебное положение (с 1882 г. — директор Общего архива Министерства двора) Г.В. Есипов, о котором в 1884 г. тогдашний сатирик Владимир Михневич писал, что Есипов «“свой человек” в государственных архивах, из которых и черпает, с трудолюбием запасливой пчелы, архивный мед для своего иждивения. Благодаря этой, недоступной для других исследователей привилегии г. Есипов и за историка прослыл, хотя его труды («Раскольничьи дела XVIII столетия», «Сборник документов по делу царевича Алексея» и прочие) состоят, собственно, в списывании, нанизывании и подшивании из архивов однородных материалов, без всякой почти разработки» (477, 81).

В сатире Михневича много правды, за исключением последнего утверждения. Наоборот, Есипов стремился (правда, не вполне удачно) так препарировать найденные им архивные материалы, чтобы с их помощью создать законченную историческую новеллу на историко-криминальную тему. В то время этот метод стал столбовым путем для историков политического сыска — взять из архива розыскное дело и создать из него документальный рассказ с элементами беллетристики: «Если бы в конце 1720 года мы отправились в мирную Хутынскую обитель, то приехали бы туда как раз кстати: вечером, 23 ноября, у уставщика отца иеромонаха Никона Харкова была маленькая пирушка... Мы бы увидели вокруг ведра...» и т.д. Но это уже ци-

тата из новеллы другого крупного популяризатора исторических знаний, знатока фондов политического сыска М.И. Семевского, который совершил немало «путешествий» в застенки XVIII в. (664, 30). По умению увлекательно и живо излагать сюжет нередко пространный и запутанный дела о государственном преступлении с ним не могут сравниться ни трудолюбивый, но скучноватый Есипов (отсюда и возникло впечатление Михневича о коллекционировании Есиповым фактов), ни чрезмерно увлекавшийся беллетристикой Д.Л. Мордовцев (482), ни другие авторы, которым Семевский давал место на страницах своей «Русской старины».

Значение этого издания для нашей темы огромно. Журнал Семевского печатал в большом количестве статьи о политическом сыске и публиковал документы. В этом с Семевским соперничал другой выдающийся исторический журналист П.И. Бартенев — основатель и редактор «Русского архива». Публикации о политическом сыске появлялись и в «Чтениях общества историков при Московском университете», и в «Древней и новой России». Печатали их и в «Историческом вестнике» С.Н. Шубинского и в других журналах, а также в отдельных сборниках материалов типа «Оснадцатого века» П.И. Бартенева или Сборника исторических материалов и документов М. Михайлова. Делать такие публикации было не очень трудно — и до сих пор какой стороны жизни России XVIII в. ни коснешься — всюду натъкаешься на следы работы политического сыска, идет ли речь о законодательстве, театре, фольклоре, журналистике или внешней политике. В советское время материалы политического сыска XVIII в. кормили множество историков, занятых изучением «классовой борьбы», социальных противоречий, восстаний К. Булавина, Е. Пугачева, а также биографий «деятелей освободительного движения» (А. Радищева, Н. Новикова и др.). Вслед за В.И. Веретенниковым, который дал в двух своих книгах 1910 и 1915 гг. детальный очерк истории петровской и анненской Тайных канцелярий как государственных учреждений, советские историки (К. Сивков, Н. Голикова и др.) продолжили изучение органов политического сыска уже как части карательной машины «классового господства помещичьего государства». В последние годы история сыска привлекает внимание ведомственных историков правоохранительных учреждений (преимущественно учебных), которые старательно ищут определенные черты преемственности в деятельности различных карательных органов прошлого и настоящего. Они изучают историю становления и развития в России органов полиции, политического сыска, анализируют систему государственных преступлений прошлого. Изданные в «Библиотечке сотрудников органов внутренних дел» или в виде бесчисленных «сборников научных трудов», «учебных пособий», эти работы хотя и по-

строены отчасти на привлечении архивных документов, но в основном историко-ведческие беспомощны. Они несут на себе отпечаток «ведомственной науки» с характерным для нее отрывом изучаемого предмета от исторического контекста, дилетантским антиисторизмом.

Источниками данной работы являются многочисленные публикации материалов по политическому сыску в различных журналах и сборниках. Это отрывки из следственных дел, приговоры, показания, это целые дела. Особое внимание мною уделено архивному материалу, ранее недостаточно введенному в научный оборот. Речь идет, прежде всего, о фондах (разрядах) 6 («Уголовные дела по государственным преступлениям») и 7 (Преображенский приказ, Тайная канцелярия и Тайная экспедиция), а также других фондов Российского государственного архива древних актов. Во введении к книге, которая посвящена анализу специфики исторических документов политического сыска, нет необходимости давать им какую-либо характеристику. Это будет сделано в конкретных главах книги.

Цель данного исследования отражена в его названии. Моя задача сводится к изучению различных аспектов этой важной в истории России темы. Во-первых, мне кажется важным проследить формирование и номенклатуру системы государственных (политических) преступлений. Во-вторых, нужно дать очерк эволюции органов политического сыска и уделить место их руководителям. В-третьих, в такой книге важно достаточно подробно рассмотреть «технология» сыска, начиная с доноса (извета), ареста и кончая смертью или освобождением попавшего в политический сыск человека, который, выступая в роли изветчика, ответчика или свидетеля, проходит все этапы расследования. В-четвертых, кажется важным собрать, подчас по крупицам, сведения о том, как воспринимался политический сыск в русском обществе. Наконец, в-пятых, важнейшей, сквозной темой книги является тема «Самодержавие и политический сыск» — два исторических института, теснейшим образом связанных друг с другом.

Было бы ханжеством сказать, что, работая над этой книгой, я не думал о ближайшем прошлом нашей страны и ее настоящем. Демоны политического сыска еще живы на Лубянке и Литейном, в сознании свободных граждан России. Ассоциативная, да подчас и прямая связь между историческим прошлым и настоящим с роковой неизбежностью возникает в сознании всех, кому за сорок. Дьявол все время толкал автора под локоть: «Зачем ты пишешь, что каторжане при Екатерине II на Камчатке “жили довольно свободно”? Пиши проще — “жили расконвоированными”! Зачем пишешь “допрос по свежим следам”? Пиши смело: “Момент истины”!» и т.д. Но я все время

держал себя в руках, не давал разыграться примитивным сравнениям и ненаучным фантазиям. Конечно, я мог бы посвятить эту книгу всем доносчикам русской истории, без упорного, творческого труда которых эта книга вряд ли была бы написана. Не будем забывать, что с изветов начиналось 99,9 % политических дел в России XVIII в. Однако такое посвящение будет понято как снобизм автора, а некоторые простые души даже поощрит к желанию так запечатлеться в будущей истории России. Поэтому я посвящаю эту книгу моим друзьям, коллегам, родным, которых я несколько лет безжалостно истязал рассказами об ужасах Тайной канцелярии. С теплым чувством я вспоминаю и моих японских коллег из Славянского исследовательского центра Университета Хоккайдо (г. Саппоро, Япония). Там мне, получившему грант Центра, посчастливилось провести девять месяцев в 1996—1997 гг. Вдали от России и ее проблем, в комфорте и покое, которые создают иностранным ученым гостеприимные хозяева, я и написал (по собранным за несколько предыдущих лет материалам) эту книгу. Признателен я также и рецензентам моей рукописи Е.А. Правиловой и П.В. Седову, коллегам по Отделу древней истории Санкт-Петербургского филиала Института российской истории РАН, которые весной 1998 г. на заседании Отдела обсудили мою рукопись и сделали важные замечания. Благодарен я и сотрудникам Российского государственного архива древних актов и, в первую очередь, А.И. Гамаюнову, С.Р. Долговой, всем, кто словом и делом помогал мне в этой работе.

Государственные преступления в XVIII веке

Появление в русском праве понятия о государственных (политических) преступлениях относится к так называемой эпохе Судебников конца XV—XVI в., когда в целом сложился свод законов Московского государства. В научной литературе нет единого толкования соответствующих статей и терминов Судебника 1495 г., Судебника 1550 г., уставных и наказных грамот середины XVI в., в которых идет речь о государственных преступлениях. Однако бесспорно, что в статье 9-й Судебника 1497 г., как и в статье 61-й Судебника 1550 г., восходящих в своем происхождении к статье 7-й Псковской судной грамоты, перечислены наиболее тяжкие виды преступлений, которые потом стали относить к государственным. Люди, совершавшие их, называются: «государский убойца», «коромольник», «церковный тать», «головной тать», «подымщик», «зажигалник» Судебника 1497 г., а также «градской здавец» и «подметчик» Судебника 1550 г. Всех их казнили (626-2, 55, 69, 108, 150).

Общепризнано в науке, что Соборное уложение 1649 г. впервые отделило преступления против государя и государства (как его владения) от прочих тяжких преступлений. Государственным преступлениям посвящена целиком 2-я глава Уложения, хотя они упоминаются и в других главах этого кодекса. Во 2-й главе говорится, во-первых, о преступлениях против здоровья и жизни государя, во-вторых, об измене — преступлении против власти государя, которое заключалось в смене подданства, бегстве за рубеж, а также в связях с неприятелем в военное время или сдаче крепости врагу, а также в намерении это совершить («умысел»). В-третьих, как отдельный вид преступления выделен в Уложении «скоп и заговор». Историк права Г.Г. Тельберг не без оснований считал, что весь корпус государственных преступлений по Уложению сводится, в сущности, к двум их важнейшим видам, а именно к посягательству на здоровье (жизнь) государя и к посягательству на его власть. При этом к последнему виду преступлений относились самые различные деяния — от претензий на престол и помощи вторгшейся на территорию России армии иностранного государства до описки в документе с титулом государя (727, 57—58).

Русскому праву времен Уложения в целом не присуще четкое разделение преступлений на виды и классы, поэтому любая наша классификация этих преступлений останется весьма условной. К самым различным преступлениям (от кражи на базаре до крупномасштабного мятежа) применяется одно понятие — «*в о р о в с т в о*» (здесь и далее — разрядка моя. — *Е. А.*). Мелкий воришка (например, «овощной вор»), старообрядец, бандит с большой дороги, изменник-гетман называются одинаково «*в о р а м и*». Для оценки преступных деяний русский законодатель также широко использует другие, не менее обобщенные понятия: «*лихо*», «*зло*» («*злое дело*»), «*дурно*», под которыми также понимали самые разные преступления. Зыбкость юридических понятий, которыми законодатели определяли государственное преступление, отразилась и в соответствующей этим понятиям шкале наказаний. Обращает на себя внимание очевидная неравноценность и множественность наказаний. Если множественность присуща отчасти и современному праву (например, преступника наказывают тюремным заключением и конфискацией имущества), то неравноценность наказаний, когда за одно и то же преступление приговоренным назначали разные виды экзекуции, характерна как раз для прошлого. Исторически это объясняется особенностями развития права в эпоху средневековья, а также характерной для России сложной эволюцией юридических понятий и классификаций государственных преступлений в период становления и упрочения самодержавия.

Право эпохи судебныхников, т.е. времени становления в России самодержавного строя, знает два основных вида государственных преступлений — *к р а м о л у* (*в е р х о в н у ю* *и з м е н у*), т.е. измену вассала в виде перехода — «отъезда» к другому сюзерену, и *з е м с к у ю* *и з м е н у* — сдачу крепости неприятелю (такой преступник назывался «градосдавцем»). Но затем в XVI в. число государственных преступлений увеличилось, а кодификация их была ускорена. Эти явления связаны с развитием режима самодержавия в его тиранической «редакции». Как справедливо писал М. Ф. Владимирский-Буданов, «вообще, царствование Грозного и Бориса Годунова, а равно Смутное время, представляли самую плодотворную почву для практического развития учения о политическом преступлении» (188, 343).

С этих времен государственные преступления понимались прежде всего как преступления против *г о с у д а р я*, а потом уже против государства. Лишь к середине XVIII в. стало более-менее отчетливо оформляться разделение понятий «государь» и «государство», на которое уже не смотрели как на вотчину государя (см. 769). Этот процесс «расщепления» затянулся надолго, и только в XIX в. уже не мог казаться странным вопрос, который задавал император Николай I встреченному им на улице столицы крестьянину:

«Ты государственный или мой?» (741, 210). Во времена Уложения 1649 г. или Петра I такой вопрос и в голову не мог бы прийти самодержцу — все в России было государево. Забегая вперед, отметим, что самое страшное преступление в Уложении — измену — понимали не как измену России, а как измену правящему в данный момент государю, во владении которого находится «Московское государство». Измена рассматривалась в статье 2 главы 2-й этого кодекса как переход подданного царя на сторону претендента на русский престол — того, «кто, при державе царьского величества, хотя (т.е. желая. — Е. А.) Московским государством завладеть и государем быть». Буквально так оценивали в 1682 г. измену князей Хованских, которые, как сказано в грамоте царей Ивана и Петра, «хотели нас, Великих государей, извести и государством нашим завладеть и быть на Московском государстве государем» (195, 152). Сдача города врагу по Уложению — это уже не «земская измена» удельной старины, а измена владеющему городом государю в пользу его соперника — «недруга царьского величества» (глава 2-я, статья 3). Трактовка государственных преступлений как наказуемых деяний, направленных преимущественно против государя, его власти и его владений, в сочетании с исключительными полномочиями самодержца в решении дел о таких преступлениях и породили то явление, которое принято называть «политическим сыском».

История правового оформления корпуса государственных преступлений к середине XVII в. тесно связана с историей становления и упрочения самодержавия как политического режима. Во-первых, в оформленной Уложением системе государственных преступлений самодержавие как не ограниченная ничем и никем власть нашло свое юридическое обоснование. Составители статей 12 и 22 главы 2-й Уложения исходили из того, что дела по государственным преступлениям являются исключительной прерогативой самодержца: «Про такое великое дело указ учинить по рассмотрению, как государь укажет» или «За то чинити жестокое наказание, что государь укажет» и т.д. Естественно, что эти нормы Уложения 1649 г. о государственных преступлениях появились не в момент составления этого кодекса, а сформировались задолго до него. Они отражали эволюцию права, традицию, общие тенденции развития самодержавной власти и ее институтов. «А в пене, что государь укажет, посмотри по человеку» — эту норму фиксирует Судебник 1550 г., как и другую: «Быти от государя в опале» (626-2, 98, 101, 132, 137).

Во-вторых, в составе государственных преступлений по Уложению появляется голый умысел, неосуществленное намерение к совершению преступления. Это было нововведение для русской юридической мысли середины XVII в., хотя комментаторы последнего издания Судебника 1497 г.

считают, что норма наказания за умысел присутствует уже в этом кодексе (626-2, 69–70). Общая же идея Уложения об обязательности наказания тех, «кто каким умышлением учнет мыслить», кто (по мнению власти) вынашивает «злое умышление», «мыслит... злое дело», «какое злое умышление учнет мыслить» (195, 157), также вытекает из истории становления русского самодержавия в его деспотической форме.

В-третьих, Уложение законодательно утвердило давнюю практику фактически безусловной и безвозвратной («безповоротной») конфискации поместий, вотчин и имущества государственных преступников («Взяти на государя», позже — «Отписать на государя»). В этом также нельзя не усмотреть отражения процессов, происходивших в истории развития земельной собственности с тех времен, когда великий князь Дмитрий Иванович в 1373 г. «вступился в села» бежавшего к тверскому князю боярина Вельяминова (535, 34–38). Конфискация владений и богатств подданных стала обязательной в ходе политического процесса, причем нередко его истинной целью.

В-четвертых, Уложение 1649 г. закрепляло положение об особой ответственности и преследовании родственников государственных преступников. В этом можно усмотреть древнейшую традицию клановой, групповой ответственности родственников за преступление своего попавшего в «опалу» сородича. Отчасти такое положение сохранилось в XVIII в., что мы видим на примере казней и ссылок высокопоставленных вельмож-преступников вместе с их сыновьями, родственниками и домочадцами, подчас не имевшими никакого отношения к преступлению. Вместе с тем статьи Уложения об ответственности родственников (глава 2-я, статьи 6–10) отражали характерные черты правового режима именно самодержавия. Вина родственников, согласно Уложению, была не в том, что они — родня преступнику или что они живут с ним под одной крышей, а в том, что они не могли не содействовать преступлению против государя (458, 155). Точнее сказать, в Уложении речь идет не просто о «пассивном соучастии», как ошибочно считает А.Г. Маньков, а о преступлении родственников в форме *не до несения* об умысле преступника — близкого им человека. Примененный в Уложении критерий «Про ту измену ведали» или «Про ту измену не ведали» стал важнейшим именно в праве самодержавной эпохи, ибо в русскую жизнь донос как институт пришел вместе с самодержавием, точнее с укреплением власти Великого Московского князя. Именно он сделал донос обязанностью «отъезжавших» к нему в подданство князей и бояр (подробнее см. 727, 121). Не случайно и то, что эти статьи 2-й главы Уложения предшествуют статьям 12–19, которые посвящены важнейшему институту сыска — доносительству, извету.

Законодательство о политических преступлениях Петровской эпохи было органичным продолжением права времен царя Алексея Михайловича. При этом нормы Уложения 1649 г. были существенно дополнены рядом новых законов. Важнейшим из них является «Устав Воинский» 1716 г., включавший в себя «Артикулы воинские и Краткое изображение процессов или судебных тяжб» 1715 г. (см. 158). В этих документах не только дано определение самодержавия и сказано о гарантиях его полной неподконтрольности законам или воле людей, но и уточнен корпус государственных преступлений. В них также закреплены основы нового процессуального права, которые широко использовались в политическом сыске. Несмотря на появление в языке того времени близких и нам понятий «Отечество», «верные сыны Отечества», люди XVIII в. были все же не подданными России, а подданными правящего государя. Они присягали в верности не Отечеству, не России, а «Отцу Отечеству», обещая самодержцу и «по нем Е.ц.в. высоким законным наследником... и Ея величеству государыне — царице... верным, добрым и послушным рабом и подданным быть» (193, 483; см. 587-5, 3294). Поэтому государственные преступления оставались преступлениями прежде всего против государя и его власти.

Вместе с тем система государственных преступлений первой четверти XVIII в. развивалась под непосредственным и сильным влиянием популярной тогда протестантской концепции «общего блага», доктрины «полицейского государства», которая строилась на значительном усилении регулирующей роли государственной власти в жизни общества. Это приводило к распространению мелочного, навязчивого контроля государства за жизнью подданных государя. При наказании в 1733 г. солдата Бронникова за пьянство и драку произошел инцидент. Он «всех ундер-афицеров и салдат бранил матерно и называл бунтовщиками, и изменниками, и стрельцами... слабой командой», что вызвало возмущение прапорщика Кузнецова, который сказал: «Слыхал он, Кузнецов, как государю стрельцы противны зделались и за то они казнены и розосланы в ссылки, а мы — люди регулярные, ежели нам не слушатца своих камандиров, то нехорошо, и ежели с вами поступать и каманду содержать слабо, то слышал он, что с л а б а я к а м а н д а п о д о б н а и з м е н е ». После этой сентенции Бронникова стvezли в Тайную канцелярию (44-4, 165).

Высказывание прапорщика Кузнецова лежит в русле общих идей петровского законодательства. Главной чертой развития права того времени стало расширение сферы действия законов о государственных преступлениях. В число таких преступлений вошли те деяния, которые ранее государственными преступлениями и не считались. В праве и публицистике появляются

понятия: «интересы государственные», «интересы государственные и всего народа» и, соответственно этому, обнаруживаются нарушители этих интересов — «преступники и повредители интересов государственных с вымысла» (587-5, 2673). Собственно тогда и образовалось это понятие — «государственное преступление», которое юристы того времени трактовали весьма широко как нарушение «интересов государственных и всего народа». В указе 24 декабря 1714 г. о таких преступлениях сказано обобщенно — это «все то, что вред и убыток государству приключить может» (193, 211; 587-5, 2871). Конкретно к государственным преступлениям стали относить различные проступки по службе, умышленное неправосудие, финансовые и иные преступления, обычно включаемые современными историками-юристами в рубрику «Преступления граждан против порядка управления». Естественно, что многие из этих деяний прямо не были связаны с преступлениями против государя и его власти.

25 августа 1713 г. был издан именной указ, дополненный через два месяца указом от 23 октября. Оба закона стали принципиально важными для истории политического сыска. Авторы указа 25 августа попытались отделить государственные преступления от частных («партикулярных прегрешений») чиновников. О последних уточнено: «...то есть в челобитчиковых делах взятки, и великие в народе обиды, и иные подобные тем дела, которые не касаются интересов Государственных и всего народа». Новое деление преступлений кажется весьма условным: ведь чиновники-взяточники в принципе ничем не отличаются от упомянутых там же «грабителей народа», чинящих «во всех делах неправды и тягости». И все же различия эти, по мысли законодателя, были. Государственное преступление состояло в нанесении ущерба не конкретному человеку, давшему чиновнику взятку, а всему государству, всему обществу. После указов 1713 г. к числу государственных преступников относили не только нарушителей главы 2-й Уложения 1649 г., вроде Ивана Мазепы или Кондратия Булавина, но и всех корыстных чиновников — «грабителей народа», совершавших «похищения лукавые государственной казны», а также казнокрадов, которые обирают народ, чинят ему «неправедные, бедственные, всенародные тягости». К таким преступникам относили и налоговых чиновников, судей, различных администраторов — словом, всех, кто делает «во всех государственных делах неправды и тягости» (587-5, 2673 и др.). Для таких преступников, называемых также в указах «хищниками интересу» (9-3, 107), закон установил весьма суровые наказания.

В проекте нового Уложения, которое Петр I намеревался создать в начале 1720-х гг., отчетливо видна любимая царем идея разделения всех преступлений на «государственные» и «партикулярные». В указе Петра Сенату об этом говорилось: «В Уложенье зделать надвое: одно государственное

преступление, другое — партикулярное». Над этим работала Комиссия об Уложении 1720—1723 гг., причем при создании нового кодекса законов корпус государственных преступлений предполагалось резко расширить (193, 336; 303, 11). Тогда же было обобщенно сказано, что государственный преступник — тот, кто подлежит смерти «яко нарушитель государственных праф и своей должности». В основе этой суровой нормы — проводимая во многих законах мысль Петра I о том, что чиновник-преступник наносит государству ущерб несравненно больший, чем воин, изменивший государю на поле боя: «Сие преступление вяще измены, ибо, о измене уедавав, остерегутца, а от сей не всякой остережется, но может зело глатко, под кровлею долго течение свое иметь и зло конец получить» (193, 132).

Столь широкая трактовка понятия «государственное преступление» как подлежащего исключительной прерогативе государя вошла в противоречие с повседневной практикой. Государь оказался физически не в состоянии справиться с тем потоком дел о преступлениях, многие из которых стали теперь называться государственными и, следовательно, подлежали его исключительной компетенции. Поэтому уже в 1710-х гг. проявилась тенденция хоть как-то выделить из чрезвычайно разросшейся массы государственных преступлений те, которые должны относиться к сфере ведения самодержца. В указе Сенату от 23 декабря 1713 г. Петр потребовал «объявить всенародно: ежели кто напишет или скажет за собою Государево слово или дело и те б люди писали и сказывали в таких делах, которые касаются о их государском здоровье и к высокомонаршеской чести, или уедавав какой бунт и измену» (36-2, 6). Так подчеркивалось намерение сохранить старый корпус государственных преступлений по Уложению. В указе 25 января 1715 г. корпус дел по преступлениям, которыми занимался государь, существенно уточнили, вернее — сузили. Отныне прямо царю подавали изветы по трем «пунктам»: «1. О каком злом умысле против персоны Его величества или измене. 2. О возмущении или бунте. 3. О похищении казны» (193, 364; 587-5, 2887).

С 1715 г. появились и маркирующие важнейшие государственные преступления термины. Если человек «сказал Слово и дело по первому пункту» (варианты: «Знает он по первому пункту», «Имеет слово против первого пункта», «Доносит ис первого пункта» (42-1, 109; 8-1, 146 об.)), то речь, следовательно, шла о покушении на государя или об измене ему. То же можно сказать о выражении: «Имеет Его и.в. великую важность по первому пункту» или «по первым двум пунктам» (42-1, 3). По «второму пункту» надлежало хватать всех бунтовщиков и заговорщиков. Когда же в документах сыска встречается оборот «Показал... о похищении интереса» или упоминается до-

нос «о краже государственного интереса» (8-1, 358 об.), то это означает, что изветчик обвиняет кого-то в казнокрадстве или ином хищении государственной собственности — словом, в нарушении материальных интересов государства, т.е. в совершении преступления «по третьему пункту» указа 1715 г. Такие дела стали называться «интересными». Позже доношения «по третьему пункту» из-за несметного их числа и бесцеремонности толп доносчиков, рвавшихся на прием к царю, запретили. Их передали фискалам, а также в особые розыскные «мазорские» канцелярии.

Так оформилась самая общая классификация государственных преступлений. Петр уточнял ее в 1723 г., во время работы над указом «О форме суда». От этого времени сохранилась записка царя, где о государственных преступлениях сказано в двух вариантах: первый — «Государственные дела разумеютца: измена или злодеяния на государ[я] и государство и бунт». И второй — «Измена, злодейство или слова противные на г[осударя] и бунт». Второй вариант и вошел в закон «О форме суда» (193, 395, 400). Здесь от читателя требуется особое внимание. Как мы видим, к прежнему «набору» государственных преступлений прибавлены «слова противные на государя», т.е. столь печально знаменитые оскорбляющие государя и его власть «непристойные слова». Конечно, в практике политического сыска такие «непристойные», «злые», «непотребные» слова задолго до 1723 г. рассматривались де-факто как преступление, но теперь они были включены в общий индекс главнейших преступлений де-юре.

Окончательно же классификация государственных преступлений уточнена в указе Анны Ивановны от 2 февраля 1730 г. В нем так сказано о преступлениях по «первым двум пунктам»: «1-й пункт. Ежели кто, каким умышлением учнет мыслить на Наше Императорское здоровье злое дело или персону и честь Нашего Величества, злыми и вредительными словами поносить. 2-й. О бунте или измене, сие разумеется: буде кто за кем подлинно уведает бунт или измену против Нас или Государства» (199, 531). В таком виде определение важнейших государственных преступлений и сохранилось на весь XVIII в.

Тогда же преступления против «казенного интереса» по «третьему пункту» окончательно исчезли из корпуса важнейших государственных преступлений. Однако при этом к классификации Уложения 1649 г. не вернулись. Его 2-я глава действительно осталась в основе права о политических преступлениях, но кодификационная, государственная, идеологическая деятельность Петра I, потратившего так много усилий на создание «регулярного государства», не пропала даром для законодательства о политическом сыске. Вместе с правовым оформлением самодержавия как бесконтрольного режима личной власти в Петровскую эпоху завершилось и формирование

несравненно более обширного, чем в эпоху Уложения 1649 г., корпуса государственных преступлений. Рассмотрим виды государственных преступлений.

Как и в XVII в., самыми важными преступлениями считались *покушения на жизнь и здоровье государя* в форме физических, а также магических действий или умысла к этим действиям. Речь идет о разных способах нанесения ущерба здоровью государя — от убийства его до «порчи», с тем чтобы лишить его дееспособности, «завладеть его духовной самостоятельностью» (выражение Г.Г. Тельберга), подчинить волю государя себе с помощью чар, магических действий, предметов и снадобий. В истории XVIII в. таких случаев, которые можно было бы интерпретировать как реальные (а не придуманные следствием) покушения на жизнь и здоровье правящего монарха, фактически нет. Легендой кажется рассказ Якоба Штелина (со слов бывшего денщика царя Петра I А.Б. Бутурлина) о злодее, который в 1720 г. якобы пробрался в Летний дворец Петра I, чтобы его убить, но, столкнувшись лицом к лицу с государем, выронил от неожиданности из-за пазухи «превеликий нож» (664, 337—339). Даже убийство императора Павла I в 1801 г. можно рассматривать не как покушение на жизнь и здоровье государя, а как нечаянное, незапланированное следствие других преступлений: скопа, заговора и измены, т.е. преступлений против царской власти. Под эту же категорию подпадали и два других переворота, приведшие к свержению правящего монарха (25 ноября 1741 г. — свержение цесаревной Елизаветой Петровной императора Ивана VI Антоновича и правительницы Анны Леопольдовны и 28 июня 1762 г. — низложение императрицей Екатериной Алексеевной своего мужа императора Петра III). Допускаю, что часть покушений на государей XVIII в. была пресечена на раннем этапе их подготовки. Это соображение не позволяет установить, насколько опасны и исполнимы были замыслы покушавшихся. Естественно, что полностью отрицать наличие угрозы жизни самодержцев XVIII в. мы не решимся — в обществе всегда были сумасшедшие, неудовлетворенные честолюбцы, завистники, фанатики и другие люди, готовые покуситься на жизнь монарха.

Из раскрытых заговоров с целью (предположительно) покушения на жизнь государя следует упомянуть заговор окольничего Алексея Соковнина и думного дворянина Ивана Цыклера в 1697 г. Их обвиняли в попытке подговорить стрельцов убить Петра I, пренебрегавшего мерами безопасности. Соковнин якобы говорил Цыклеру: «Ездит государь около Посольского двора беспрестанно, одиначеством (т.е. в одиночку. — Е. А.) и в то-де время, ночью б стрельцы постерегли и убийство можно им учинить... также и

на пожаре бывает малолюдством. Нет-де тово лутче, что тут учинить. Спят-де они... дураки!» (212, 93). Разговоры об этом вели и со стрельцами, но среди них нашлись доносчики на Соковнина. Разумеется, мы, имея в руках только материалы розыскного дела, не можем наверняка утверждать, что это покушение действительно планировалось. Вместе с тем многие последующие события показывают, что в среде знати, недовольной победой в 1689 г. партии Нарышкиных — родственников Петра I, а также в стрелецкой массе накануне бунта стрельцов в 1698 г. были намерения физически устранить «нечестивого царя», повторить успешный майский 1682 г. мятеж и вернуть на престол царевну Софью. Цыклер был ранее тесно связан с царевной, и Петр I по этой причине ему не доверял, что и вызвало в конечном счете недовольство думного дворянина своим положением и сам заговор (160, 334). Известны и другие раскрытые заговоры, которые можно интерпретировать как подготовку к покушению на Петра I. Так, в 1703 г. в Черкасске арестовали 18 казаков. Их обвинили в намерении захватить царя, когда он появится на Дону (88, 16–17).

Так как угроза убийства монарха существовала потенциально всегда, а определить, насколько она реальна, можно было только при расследовании, то власти при малейшем намеке на подобный умысел хватали каждого подозрительного. 27 июня 1721 г. во время празднования в Петербурге юбилея Полтавского сражения Петр I стоял в строю Преображенского полка как его полковник. И трижды к нему подходил пьяный крестьянин Максим Антонов. Когда фурыер Емельян Аракчеев попытался арестовать Антонова, тот начал яростно сопротивляться. В завязавшейся драке на поясе у него вдруг обнаружился нож. На допросе в Тайной канцелярии Антонов утверждал, что «давно ходит с ножом для употребления к пище» и что он к царю «спына подошел... и поклонился, а умыслу у него [не было], и ни от кого не научен, чтоб какое к персоне Его ц.в. учинить дурно не было». Антонову не поверили, так как по следам на его спине быстро определили, что раньше он был пытан и наказан кнутом. Подозреваемый признался, что вместе с бандой бурлаков он разбойничал на Украине, за что и понес наказание. Затем следователи установили, что Антонов — беглый помещичий крестьянин и что десять лет он не ходил к исповеди. Антонова заподозрили в принадлежности к расколу. В итоге было признано, что его попытки подойти к государю поближе не были случайны. Вскоре Антонова без углубленного расследования сослали в Сибирь «в вечную работу» (28, 2–6, 664, 12–13, 338; см. также 488).

И впоследствии попытки разных неизвестных людей подойти к государю поближе, прикоснуться к нему и тем нарушить так называемую «сакральную физическую субстанцию» самодержца рассматривались как опасные про-



Арест Цыклера

исшествия и вызывали серьезные подозрения. В 1733 г. сурово наказали солдата Федора Шишелова, который 3 июля «во время шествия Ея и.в. мимо Литейного двора подошел к корете Ея и.в. [и] говорил, что желает Ея и.в. донести» (43-1, 16). В 1730 г. тщательно расследовали дело крестьянина Алексея Суслова, который рассказал о каком-то человеке князей Долгоруких, только что сосланных в деревни, будто этот человек поведал ему о своем намерении «Ея величество из ружья грянуть». Человека этого так и не нашли, хотя искали долго и тщательно (8-1, 130). Из экстракта дел Тайной канцелярии за 1762 г. известно, что некий пойманный беглый солдат на допросе показал: какой-то польский ксендз «научил его учинить злое дело к повреждению высочайшаго Ея и.в. здоровья и дал ему для того порошки и говорил-де, чтобы оные, где государыня шествие иметь будет, высыпать на землю». Внимание следователей привлек не только рассказ солдата о том, как он испытывал взрывной порошок на курах, которым оторвало ноги, но и та легкость, с какой преступник проникал в места, где пребывала государыня Елизавета Петровна. Оказалось, что он, «для учинения онаго злого намерения, наряжаясь в офицерское платье, ходил во дворец и ездил в Царское Село, токмо-де того злого своего намерения не учинил он от страху» (661, 524). В 1749 г. Елизавета распо-

рядилась: «Какой тот человек, который Ея и.в. в Петергофе поднес ружье, из коего стреляют ветром — допросить и по допросе взять, под лишением живота, обязательство, чтоб ему впредь таких запретительных ружей в России не делать» (294, 91). Мастера вскоре нашли, им оказался Иоганн Гут — немецкий оружейник. Думаю, что этот запрет на пневматическое оружие в России был связан с боязнью государыни за свою жизнь.

Как отмечалось выше, многие высказывания людей рассматривались правом как выражение преступного намерения. Поэтому преступлением считалось, например, неопределенное «желательство смерти Государевой». Таким было одно из главных обвинений Ростовского епископа Досифея, проходившего по делу царевича Алексея в 1718 г. (752, 219). Точно так же был интерпретирован разговор сидевших в пустозерской ссылке мужа и жены Щербатовых. Как сообщил доносчик, княгиня «говорила ему (князю. — Е. А.) о свободе», на что князь сказал: «Тогда нас освободят, когда Его и.в. не будет». Доносчик тотчас поспешил в караулку и заявил, что князь Щербатов «желае смерти Великому государю» (804, 446). Не приходится сомневаться, что еще более страшным преступлением являлись разговоры о гипотетических покушениях на царственных особ. Достаточно было — в шутку, спьяну, в виде ругательства — сказать о своем желании нанести физический вред государю, как это высказывание сразу же подпадало под действие законов о покушении на жизнь монарха. Все обстоятельства появления таких «непристойных слов» тщательно расследовали. В 1703 г. посадский Дмитрова Михаил Большаков тщетно пытался доказать в Преображенском приказе, что неблагожелательные слова, сказанные своему портному о «новоманирном» платье («Кто это платье завел, того бы я повесил»), к царю Петру I никакого отношения не имеют: «Слово “повесить” он молвил не к государеву лицу, а просто, к немцам, потому что то-де платье завелось от немцев, к тому то он слово “повесить” и молвил». Но эти объяснения не были приняты, и Большакова сурово наказали (325-2, 170–171).

Монастырский крестьянин Борис Петров в 1705 г. попал на дыбу за подобное же высказывание, хотя имени государя он также не упоминал: «Кто затеял бороды брить, тому б голову отсечь». В этом же году арестовали крестьянина Дениса Семенова, хвалившего некоего Александра Еремина, который «где бы с ним (царем. — Е. А.) сошелся, тут бы его рогатиною заколол», а также крестьянина Никиту Еремеева, пожелавшего царю смерти (88, 134, 138 об.). Всех этих людей допрашивали о причинах таких высказываний, о сообщниках, о намерениях и планах покушения («По какому он умыслу такие слова говорил и кто с ним в том были заводчики и единомышленники и собою ль то чинил или по чьему наученью?»).

В 1735 г. солдат Иван Седов позволил себе глупую шутку, за которую его приговорили к смертной казни, но потом пороли кнутом и сослали в Сибирь. Один из бывших в казарме солдат-однополчан Седова рассказывал, как он, будучи на работе близ дворца, видел императрицу Анну Ивановну, которая на его глазах остановила проходившего мимо дворцовых окон посадского человека и пожаловала ему два рубля на новую шляпу — старая императрице почему-то не понравилась. Тут-то Седов, сидевший возле своей кровати, и сказал роковые слова: «Я бы ее с полаты (т.е. с крыши. — Е. А.) кирпичем ушиб, лучше бы те деньги салдатам пожаловала!»

Седова схватили и обвинили в намерении покуситься на жизнь государыни. Седову задали следующие, выделенные мною цифрами, вопросы, которые позволяют судить о инкриминируемом в таком случае составе преступления: «(1) Показанные по делу непристойные слова не с умыслу ли какова он, Седов, говорил? (2) и не было ль у него такого намерения, чтоб показанное по делу зломышление свое учинить? (3) или, хотя в мысли своей того не содержал ли он и з другими с кем согласия он, Седов, не имел ль?, (4) также не советовали ли о том с кем? (5) и с какого виду показанныя зловымьшленныя слова в мысль к нему пришли? (6) и злобы на Ея и.в. величество не имел ли?» (46, 10).

В 1739 г. такие же подозрения возникли в Тайной канцелярии и в отношении пойманного на улице беглого солдата, который говорил прохожим: «Государыню императрицу изведу!» (42, 130). Сурово допрашивали и сотни других людей, позволивших себе сказать в шутку, «из озорства», «недомысля», «спроста», «спяну», «сглупа» (все это объяснения допрошенных) слова угрозы в адрес государя. «Я-де государю горло перережу!» — такие слова в пьяном угаре произнес некий казак, за что попал в застенок (181, 2). Это произошло в 1622 г. Через 112 лет, в 1734 г., в подобной же ситуации крестьянин Зайцев сказал: «Я самому царю глаз выколю!» — и также угодил в застенок, хотя на престоле сидела царица, а не царь» (44-2, 277). За год до Зайцева пытали рекрута Рекунова, который в 1733 г. за обедом произнес «непристойный» тост: «Дай Бог государыне нашей умереть за то, что в народе сделала плач великой — много в салдаты берут!» (44-2, 183). Отметим попутно, что в петровское время резко усилилась и ответственность за ложный донос о покушении на государя — столь серьезным считалось это преступление. Крестьянину Григорию Журову в 1724 г. отсекли голову как не доказавшему донос на помещика Матвея Караулова в том, что «будто бы он подговаривает его, Журова, с другими на убийство государя» (88-1, 775).

Убеждение, что с помощью магии (порчи, приворота, сглаза) можно «испортить» государя, произвести «сквернение» его души, ус-

тойчиво жило в сознании людей XVIII в. Магия, другие проявления язычества в народном сознании XVIII в. коренились гораздо глубже, чем это можно представить (см. 348, 221: 454), причем речь идет не о каких-то отдельных случаях, а о массовом явлении. В конечном счете причины популярности язычества состояли в неглубоком распространении христианства в России. В 1737 г. Синод был обеспокоен массовостью языческих обрядов и строго предписывал их искоренять. В 1754 г. Суздальский епископ Порфирий сообщал в Синод, что в его совсем не окраинной епархии «множайшие (верующие. — Е. А.) вдались волшебствам, чарованиям, колдовствам, обаяниям, что едва какой-нибудь дом во граде и во окрестных селех обрестися может, в котором бы от такового сатанинского действа плачевных не бывало случаев» (689, 258).

Неудивительно, что люди XVIII в. искренне верили, что Екатерина I с А.Д. Меншиковым Петра I «корнем обвели», что сам Меншиков «мог унавать мысли человека», а что мать Алексея Разумовского — старуха Разумиха — «ведьма кривая, обворожила (в другом следственном деле — «приворотила») Елизавету Петровну к своему сыну Алексею Разумовскому (277, 21; 804, 449; 10-3, 356; 83, 11 об.). В конце XVII — в первой половине XVIII в. в политическом сыске расследовали немало дел, подобных делу 1642—1643 гг. по обвинению волшебника Афоньки Науменка, который якобы пытался «испортить» царицу Евдокию Лукьяновну (307). В 1692 г. казнили «за злой волшебной и богоотменной умысел» стольника Андрея Безобразова, нанявшего волшебника Дорошку. Безобразов хотел, чтобы царь, царица и их родственники, после «изурочья» (пускания по ветру «заговорных слов». — Е. А.), начали «по нем, Андрее Безобразове тосковать» и отозвали бы его со службы в далеком Кизляре, куда стольнику не хотелось ехать. Чародея Дорошку сожгли на Болоте. В 1702 г. донесли на капитана Преображенского полка Андрея Новокрешенова, который просил своего дворового: «Сыщи мне, Петр, ворожею, кто бы приворотил Великого государя, чтобы был по-старому ко мне добр» (90, 677). В 1705 г. в Преображенском приказе судили «за волшебство» разом 15 человек (90, 758 об.). В 1719 г. по сходному делу о письме с рецептом, как «напустить тоску» на государя, был арестован некто Позняков (528, 81—84, 99; 623-2, 1-532; 804, 450—452). В 1737 г. расследовалось дело о хождении по рукам «волшебной» тетради с заговором «О люблении царем и властью» (583, 241).

Власть не оставалась равнодушна к делам о колдовстве, даже если речь шла не о магических действиях злых волшебников против монарха, а лишь о знахарях, случаях «порчи свадеб», отчего «невесты бегают простоволосы, да женихи делают невестанихи» (88, 69; 307, 7-8, 35; 348, 220—222; 454, 24—26 и др.). И впоследствии такие дела в сыском ведомстве не были редкостью. Между

тем различие колдуна, знахаря от дипломированного врача XVII—XVIII вв. было весьма тонким — и тот и другой пользовали людей одними и теми же травами, кореньями, делали отвары, смеси. Любого тогдашнего врача можно было признать колдуном, что и бывало с придворными медиками, которых в XVI—XVII вв. казнили за «нехранение государева здоровья» (498, 12 и др.; 707, 54). Эта традиция перешла даже в просвещенный XVIII век. В 1740 г. к смерти «за тягчайшую вину» был приговорен лекарь Вахтлер, который обвинялся в том, что не берег здоровье государыни (248, 34—39).

Борьба с магией как видом государственного преступления опиралась на нормы Уложения 1649 г. и Артикула воинского 1715 г. Эти законы определяли как строго наказуемые три общие разновидности таких преступлений, которые в принципе подлежали ведению духовного суда — церковной инквизиции, но в России, учитывая доминирующую роль государства в церковных делах, этим занимались светские органы власти. Во-первых, преследовалось всякое колдовство (чародейство, ведовство, идолопоклонство, чернокнижие), а также заговоры своего оружия, намерение и попытки с помощью «чародейства» нанести кому-либо вред. В основе этого отношения к оккультным действиям лежала вера в Бога, а значит, и в дьявола, договор с которым законодатели признавали недопустимым, но вполне возможным (796, 75, 113). В Артикуле воинском об этом говорится как о вполне известном, давно установленном факте: надлежит сжечь того, кто вступил в договор с дьяволом и этим «вред кому причинил». Значительно облегчалась участь чародея на суде, если судьи выясняли, что он хотя и связан с нечистой силой, но не имел «обязательства с сатанюю никакова» и тем самым не принес вреда людям (626-4, 329).

Во-вторых, наказаниям подлежали различные виды богохульства, т.е. хулы на Бога как в виде колдовского обряда (обычно включавшего в себя надругательство над христианскими святынями), так и в виде просто хулиганских действий какого-нибудь пьяницы или озорника в церкви. К подобным надругательствам относились случаи бытового (матерного) богохульства, непристойные слова о деве Марии, церкви, богослужении. Преступлением считались попытки прервать службу, нанести ущерб святыням, иконам и т.д. За такие преступления полагалась смертная казнь, телесные наказания и часто заточение в монастыри. В-третьих, политический сыск защищал православие от язычников, раскольников, богоотступников, пресекал совращение православных.

Защита государя от ведунов, от воздействия различных магических сил оставалась одной из важнейших задач политического сыска в XVIII в. По-

этому он уделял внимание малейшему намеку, сплетне, слуху, неосторожно сказанной фразе на эту тему. Арестовывали и допрашивали всех людей, которые говорили или знали о намерениях кого-либо «портить» государя. В 1698 г. разбирали дело дворовой Дуньки Якушкиной, которая якобы ходила в Преображенское и «вынула след из ступня Великого государя земли» и в тот след наливала некий «отравной состав» (322, 19). В 1702 г. помещик князь Игнатий Волконский был арестован по обвинению в убийстве двух своих крестьян. Оказалось, что он «вынув [у них] сердце, с травами делал водку и хотел водкой напоить» царя и тем «его испортить». В 1703 г. умерла под пытками Устинья Митрофанова, которая сказала в гостях, что ее муж Иван Митрофанов хочет «извести государя». Солдатка Пелагея Хлюпина донесла на окольничего Никиту Пушкина, что он «сушил и тер шпанские мухи и клал в пищу и питье для окорму Государя», когда тот к нему в гости придет (88, 52 об.; 90, 700–701). Тщательно расследовали донос солдата Дмитрия Попова, показавшего на двоих своих знакомых, что они собирались извести сначала Екатерину I, а потом Петра II (8-1, 342). В 1733 г. сосланный в Сибирь «за приворот» некто Минаев обещал бабе Аграфене — доносчице на него «испортить» ее свекра и при этом сказал: «Я-де, не то што тебе это могу сделать, я-де, и самое государыню эту (Анну Ивановну. — Е. А.) портил, а как и чем портил именно не выговорил». Минаева схватили и пытали, чтобы выведать, как он «портил» императрицу (86-4, 365). В том же году был арестован фузилер Стеблов, который хвастался в гостях: «Меня ништо не берет — ни нож, ни рогатина, ни ружье, и если на улице увижу хотя какую бабу и оная со мною пакость сотворит, да не токмо это, я волшебством своим и к матушке нашей государыне Анне Иоанновне подобьюсь» (86-2, 60).

По делу волшебников Ярова (1736 г.), Козицына (1766 г.), как и по многим другим делам XVII—XVIII вв., можно воссоздать всю «технику» порчи: манипуляции при «отречении от Христа», «подмет» — подбрасывание «порчи», разные отношения с чертями, выполнявшими поручение волшебника, и т.д. Однако это отвлечет нас от основной темы, поэтому отсылаю читателя к соответствующей литературе (307, 215, 244; см. также 499).

Наконец, следует упомянуть оригинальное преступление придворного шута императрицы Елизаветы Петровны Аксакова. В 1744 г. его забрали в Тайную канцелярию и допрашивали там со всей суровостью. Оказалось, что к Ушакову Аксакова отправили «с таким всевысочайшим присовокуплением, что хотя б с ним и до розыску дошло». Иначе говоря, императрица допускала при расследовании дела применение пытки. Преступление же Аксакова состояло в неловкой шутке — он напугал государыню, принеся ей, как он объяснял на допросе, в шапке «для смеху» ежика (555, 52–53; 313, 163).

Поступок шута был расценен следствием как попытка напугать императрицу, т.е. вызвать у нее опасный для здоровья страх и ужас.

Рассмотрев группу преступлений о покушениях на здоровье и жизнь государя, перейдем к *покушениям на власть самодержца*. Возникли они в период образования Московского государства, когда князья и бояре стали утрачивать статус «вольных слуг», имевших по традиции свободное право вместе со своим владением переходить к другому сюзерену-князю (так называемые «отъезды с вотчиной»). Ко времени правления Ивана III относится появление присяжных, крестоцеловальных «записей о неотъезде», которые стали давать удельные князья и бояре Великому князю Московскому в том, что они не будут переходить на службу к другим владельцам («никуда не отъехать»), «служить в правду, без всякой хитрости, лиха...» против князя, а также о том «не мыслити, не думати, не делати» и даже доносить на тех, кто об этом мыслит или делает (727, 122). Нарушение таких записей и стало называться «*и з м е н о й*». «Не изменять» первоначально означало «не отъезжать». Появление такого преступления, как «измена», тесно связано с усилением самодержавия, с теми переменами, которые претерпел политический строй России XV—XVII вв. Эти перемены, отмечал А.Е. Пресняков, осмыслились «в общественном сознании не как смена вольной личной службы состоянием обязательного подданства государевой власти, а как переход ее в личную зависимость, полную и безусловную, которую и стали в XVI веке означать, называя всех служилых людей “государевыми холопами”» (594, 44). Позже Ю.М. Лотман сформулировал ту же мысль как соотношение и смену двух архетипических моделей культуры: «договора» и «вручения себя» (434, 5—7). Соответственно, государев холоп уже не мог по своей воле перейти к другому повелителю. Он мог только от него бежать и тем самым изменять своему господину — Великому князю Московскому. Затем нормы крестоцеловальных актов вошли в публичное право, начали широко применяться в законодательстве. Так, по Уложению 1649 г. измена стала одним из главных государственных преступлений. Согласно букве Уложения под изменой подразумевалась совокупность различных преступных поступков (и намерений), направленных на смену подданства и содействие врагу против государя (переход к врагу, связь с ним, переписка), различные «бунтовые» выступления против правящего государя и его власти, сдача крепости и т.д. (188, 343; 727, 69 и др.).

Как известно, идеология Московского государства во многом была построена на изоляционизме, и поэтому на всякий переход границы без разрешения государя, на любую связь с иностранцами смотрели как на изме-

ну, преступление. При этом было неважно, что эти действия могли и не вредить безопасности страны и не наносить ущерба власти государя. Сам переход границы был преступлением. Заграница была «нечистым», «поганым» пространством, где жили «магометане, паписты и люторы», одинаково враждебные единственному истинно-христианскому государству — «Святой Руси».

Петровская эпоха во многом изменила традиционный подход к загранице и связям с нею. Благодаря реформам Петра I русское общество стало более открытым, причем это происходило подчас в нарушение прежних законов страны и обычаев православной церкви. Но парадокс состоял в том, что эта открытость страны не означала исчезновения из русского права старого понятия «измены». Наоборот, оно развивалось и дополнялось. Во-первых, сохранился военно-государственный смысл измены как преступления (в виде побега к врагу или содействия противнику на войне), равно как и намерения совершить эти преступления. В главе 16-й Артикула воинского говорится не только о преступной переписке и переговорах с врагами, выдаче им военных секретов, но и об умысле «измену или сему подобное учинить». Умысел этот рассматривался также как прямой акт измены — «яко бы за произведенное самое действо» (626-4, 350—351). Во-вторых, при Петре государственная измена рассматривалась как «преступление против подданства». Иначе говоря, изменой считалось намерение выйти из подданства русского царя.

В источниках есть два толкования термина «измена». Согласно одному из них, переход в иное подданство связан с изъятием из подданства русского государя части его территории. Эта измена, ведшая к потере земель, называлась «Б о л ь ш о й и з м е н о й» или «Великим государственным делом» (587-4, 1792). Предупреждению «Большой измены» посвящено немало указов и особенно наказов воеводам пограничных уездов и губерний, населенных преимущественно нерусскими подданными царя. Свойство в е р н о - п о д д а н н о г о «служити и работати... безыменно и без всякой шатости» противопоставлялось измене, неустойчивости, колебаниям н е в е р н ы х п о д д а н н ы х. Об этом много сказано в царских грамотах воеводам и комендантам. Первой их задачей было следить за «шатостью» (или «великою шатостью»), т.е. за колебаниями, местных вождей и при необходимости заводить «изменные дела» (587-3, 1336, 1542; 587-4, 1579, 1594, 1792). Обязанность доносить властям о «шатости и измене» включали и в шерт (клятву) мусульман — сибирских инородцев». Любопытно, что в верности русскому царю селенгинские буряты клялись в 1689 г. так: «пищаль целовали в дуло, саблей собак рубили, да тое кровавою саблю лизали, по чашке студеной воды пили» (537-1, 24; 587-3, 1336). Поступок гетмана Мазепы, перешедшего на сторону шведов в 1708 г., являлся с точки зрения русского права актом государственной изме-

ны, переходом на сторону противника. Измена Мазепы была «Большой изменой». Состав его преступления — в том, что он умыслил лишить русского государя права владения частью государевых земель (на Украине). В 1723 г., имея в виду всю историю взаимоотношений России и Украины, Петр писал: «Понеже всем есть известно, что от времени Богдана Хмельницкого... до покойного Скоропатского все гетманы являлись изменниками и какое великое бедство государство наше терпело, а наипаче Малая Россия» (1, 554).

Этот взгляд вообще характерен для имперского восприятия в России подданства различных народов, входивших в состав империи, как акта не и з м е н н о г о и вечного, всякая попытка и з м е н и т ь который расценивалась имперским сознанием и отражавшим его законодательством как прямая г о с у д а р с т в е н н а я и з м е н а. Мы видим из этого предложения, как в русском языке семантически близки все эти слова и понятия. Самодержавие рассматривало гетманов Украины XVII—XVIII вв. точно так же, как русских князей и бояр XV в., а именно не как вассалов, а как «государевых холопов», выход которых из подданства русского царя со своей землей был, по русскому законодательству, преступлением — «воровством» и «изменой». Уже с XIV в. московские летописцы писали об отъезжающих от Москвы князьях и боярах как об «кормольниках» и изменниках (535, 36). Неудивительно, что присяга украинских гетманов в XVIII в. была фактически списана с присяги русских чиновников и военных. Гетман (Кирил Разумовский) клялся быть «верным, добрым и послушным рабом и подданным», а также обещал «народ малороссийский к службе и послушанию приводить и ни с которыми посторонними государями без ведома и без указа Ея и.в. никакой переписки и пересылки собою не иметь, а где услышу каких неприятелей (от чего сохрани Боже) собрание, и мне гетману о том верно и немедленно Ея и.в. доносить, а где повелит мне Ея и.в. быть на службе с войском... и народом малороссийским, и мне, наблюдая интерес и повеление Ея и.в. со всею верностью служить» (178, 143—144).

Несомненным актом государственной измены следует признать заговор смоленского губернатора князя А.А. Черкасского, который в 1734 г., начальствуя в пограничной с Польшей губернии (а в это время шла русско-польская война), вошел в сговор с группой губернских чиновников и местных дворян для того, чтобы возвести на русский престол Голштинского герцога Карла Петера Ульриха (будущего императора Петра III). Дело не ограничилось намерениями и разговорами. Черкасский посылал в Киль специального курьера, который и стал доносителем на него. Не случайно, что в деле Черкасского он и его сообщники названы древним словом «кормольники» (693, 211).

С точки зрения русского права XVIII в. как государственную измену можно рассматривать переворот 25 ноября 1741 г. — свержение с престола императора Ивана Антоновича. Ведь права юного императора были утверждены завещанием предыдущего монарха (Анны Ивановны) и двукратной всеобщей присягой подданных. В результате переворота 25 ноября к власти пришла цесаревна Елизавета Петровна. Накануне она вошла в тайное соглашение с иностранными дипломатами, получала от них деньги, а затем во главе отряда гвардейцев («бунтовщиков» — по нормам права того времени) захватила императорский дворец и лишила правящего государя власти и свободы. Тем самым Елизавета совершила, да еще во время шедшей тогда войны со Швецией, акт государственной измены.

Остановлюсь теперь на втором толковании понятия «измена». Рядом с «Большой изменой» стояла «и з м е н а п а р т и к у л я р н а я». Под этим термином подразумевалось намерение конкретного подданного российского государя просить или принять подданство другого государства. Так же как измена трактовался побег русского подданного за границу или его нежелание вернуться в Россию. Как уже сказано, несмотря на головокружительные перемены в духе европеизации, Россия при Петре I оказалась открыта только «внутри», исключительно для иностранцев. В отношении же власти к свободному выезду русских за границу, а тем более — к эмиграции их никаких изменений (в сравнении с XVII в.) не произошло. Безусловно, царь всячески поощрял поездки своих подданных на учебу, по торговым делам, но при этом русский человек, как и раньше, мог оказаться за границей только по воле государя. Иной, т.е. несанкционированный верховной властью выезд за границу по-прежнему рассматривался как измена. Пожалуй, исключение делалось только для приграничной торговли, но и в этом случае временный отъезд купца за границу России по делам коммерции без разрешения власти карался кнутом. Прочим же нарушителям границы грозила смертная казнь. Оставаться за границей без особого указа государя также запрещалось. Дело с побегом в 1716—1717 гг. царевича Алексея в Австрию примечательно тем, что даже знание о сути происшедшего побега, не говоря уже о содействии ему, расценивалось как акт государственной измены. Так же смотрел Петр I на побег двоих дипломатов-братьев Федора и Исаака Веселовских. Известно, что, находясь за границей во время следствия царевича Алексея и зная о масштабах начавшегося в России расследования, братья скрылись так, что агенты Петра так и не нашли беглецов. Впрочем, за них пострадал оставшийся в России третий брат — Авраам (800, 963).

В-третьих, с петровских времен как государственная измена рассматривался и отказ следовать завещанию правящего государя или пренебрегать



Портрет Петра Великого

его правом назначать себе наследника. Как известно, это связано с обострившимися к концу 1710-х гг. династическими проблемами Романовых, с желанием Петра I укрепить на престоле детей от своего второго брака с Екатериной Алексеевной. В манифесте 1718 г. об отрешении от наследования царевича Алексея Петровича сказано, что те, кто будет «сына нашего Алексея отныне за наследника почитать и ему в том вспомогать станут и дерзнут, и з м е н н и к а м и нам и отечеству объявляем» (193, 169). Изменниками и клятвопреступниками названы в 1727 г. в указе Екатерины I и те, кто ставил под сомнение право государыни самой определять преемника, и даже тот, кто «толковал [об этом] в разговорах или компаниях» (633-63, 602).

В-четвертых, государственную измену при Петре трактовали предельно широко в духе полицейского государства как преступление против власти государя вообще. Как известно, в петровское время действия Артикула, как и всего Устава воинского, простирались далеко за границы военного лагеря. Нормы военных уставов применяли в гражданском судопроизводстве,

военные порядки Петр рассматривал как образцовые для устройства в гражданской жизни, в обществе царил дух военной дисциплины. Приведенная выше сентенция прапорщика Кузнецова о том, что «слабая команда подобна измене», вполне типична для того времени. Она отражает состояние и умов, и права «регулярного государства», и отношение людей к такому преступлению, как измена. Измена — не только побег за границу или намерение сдать врагу крепость. Измена противопоставлялась службе, верному служению подданного своему государю. В 1732 г. кнутом и пожизненной ссылкой был наказан прапорщик Алексей Уланов, обвиненный в том, что своего товарища, поручика Федора Елемцова, безосновательно назвал «Ея и.в. изменником, а не слугою» (42, 113).

Измена, как и каждое государственное преступление, кроме всего прочего считалась страшным грехом. Изменника ставили на одну доску с убийцей, богоотступником, он подлежал церковному проклятию. В манифесте 1709 г. о предании Мазепы анафеме его измена России названа «богомерзким делом», падением в пропасть греха. Оказывается, бывший гетман, «оставя свет, возлюбих тьму и, в той слепоте с праваго пути совратясь, и, отъехав к мрачной адовой пропасти, пристал к его государеву недругу свейскому королю», за что был объявлен «врагом Креста Христова» (587-4, 2213). Здесь также можно увидеть историческую традицию в толковании измены — отъехавшего от Великого князя Московского феодала летописцы называли «другом дьявола» (535, 36). Соответствовало преступлению и наказание. По «Уставу о престолонаследии» 5 февраля 1722 г., «всяк, кто сему будет противен или инако как толковать станет, тот за изменника почтен, смертной казни и церковной клятве (проклятию. — Е. А.) подлежать будет» (193, 176). Рядом со словом «изменник» ставили слова «вор», «злодей», «бунтовщик», «клятвопреступник», и наоборот.

К измене вел не только самовольный переход границы, но и вполне невинная деловая или родственная переписка с корреспондентами за границей. В 1736 г. расследовали дело об ярославских подьячих братьях Иконниковых, которые, «умысля воровски и не хотя доброхотствовать Их императорским величествам и всему государству, изменнически отпустили отца своего Михаила з женою ево и их матерью, и з детьми их в другое государство за рубеж, в Польшу, и с ним списыватца, ис чего может приключитца государству вред и всенародное возмущение» (44-2, 244 об.).

Слово «изменник» в XVIII в., как и раньше, являлось табуированным, запретным и было приложимо только к лицу, совершившему такое преступление. Публичное произнесение слова «изменник» сразу же вызывало тревогу и предполагало, что власти тотчас начнут «изменное дело», даже если

это слово прокричал пьяный посадский Дементий Артемьев, который в 1722 г. «всех уфимцев называл изменниками» и по этой причине оказался в Преображенском приказе. Впрочем, там быстро выяснили, что в Уфе никто не замыслил измены государю, и Артемьева наказали лишь «на теле» за ложный извет (88, 662 об.). В 1728 г. как ложный изветчик был сослан в Сибирь слуга Яган Бон, который назвал своего господина капитана Даниила Вильстера «изменником», сказал, что тот «служит... в российском войске изменою» (8-1, 337 об.). В 1732 г. началось дело о собаке-«изменнике», когда посадский Василий Развозов донес на купца Григория Большакова, что Большаков «назвал ево, Развозова, изменником, при свидетелях». Однако Большаков отрицал свою вину и утверждал, что слова эти он относил не к Развозову, а к вертевшейся на том же крыльце собаке, что подтвердили и названные Большаковым свидетели (42-2, 109—111). В том же году били плетью некоего Данилу Голбугина «за то, что называл Горбунова изменником» (775, 336).

После Стрелецкого розыска конца XVII в. к «изменнику» стали приравливать «стрельца». Обозвать верноподданного «стрельцом» значило оскорбить его и заподозрить в измене. Лишь в середине XVIII в. в проектах нового Уложения было предложено отменить доносы на того, «кто кого назовет партикулярно бунтовщиком или изменником или стрельцом» (180, 66).

Бунт — тяжкое государственное преступление — был тесно связан с изменой. Бунт всегда являлся изменой, а измена включала в себя и бунт. Конкретно же «бунт» понимался как «возмущение», восстание, вооруженное выступление, мятеж с целью свержения существующей власти государя, сопротивление его войскам, неподчинение верховной власти. Наказания за бунт следовали самые суровые. В 1698 г. казнили около двух тысяч стрельцов по единственному определению Петра I: «А смерти они достойны и за одну противность, что забунтовали и бились против большого полка» (197, 83; 163, 38). «Бунтовщиками» считались не только стрельцы 1698 г., но и восставшие в 1705 г. астраханцы, а также Кондратий Булавин и его сообщники в 1707—1708 гг., Мазепа с казаками в 1708 г. В августе 1764 г. подпоручик Смоленского пехотного полка В.Я. Мирович подговорил роту охраны Шлиссельбургской крепости начать бунт и освободить из заключения бывшего императора Ивана Антоновича. Неожиданные для коменданта крепости «скоп и заговор» и поначалу успешные действия бунтовщиков представляли серьезную угрозу власти Екатерины II. Разумеется, несомненным бунтовщиком был и Емельян Пугачев с товарищи в 1773—1775 гг. Бунт Пугачева отягчало еще и самозванство.

Власти преследовали всякие письменные призывы к бунту, которые содержались в так называемых «прелестных», «возмутительных», «воровских» письмах и воззваниях (см. 421, 475–478; 783, 474; 523). Держать у себя, а также распространять их было делом смертельно опасным. Как и в случаях с другими государственными преступлениями, собственно «бунт» — вооруженное выступление и призывы к бунту — в законодательстве той эпохи были одинаково преступны. Когда в 1708 г. шведы наступали в Белоруссии и на Украине, Петра I взволновали известия о появлении «возмутительных писем» — воззваний, которые противник напечатал на «славянском языке» и забросил каким-то образом в Россию. Царь запрещал своим подданным верить тому, что писалось в этих воззваниях, а также не позволял хранить их у себя (587-4, 2188; 489, 172–173). Запрет «рассеивать» вражеские манифесты включен и в Артикул воинский 1715 г. (арт. 130).

Как «бунтовые» расценили в Преображенском приказе в 1700 г. поступки известного проповедника Григория Талицкого. Во-первых, его обвинили в сочинении «воровских тетрадок», в которых он писал, «будто настало ныне последнее время и антихрист в мир пришел, а антихристом в том своем письме, ругаясь, писал Великого государя». Во-вторых, Талицкому ставили в вину раздачу и продажу его же рукописных сочинений с «хульными словами», а также в намерении раздавать народу опубликованные (с помощью печатных досок) «листы». Действия Талицкого в приговоре 1701 г. названы «бунтом», а сказанные и написанные им слова «бунтовыми словами» (325-1, 59–84).

Подьячего Лариона Докукина в 1718 г. обвинили в писании и распространении «воровских, о в о з м у щ е н и и народа против Его величества писем» и «тетрадок». Последние представляют собой в основном выписки из церковных книг, а письмо, которое он хотел «прибить» у Троицкой церкви в Петербурге, есть, в сущности, памфлет против современных ему порядков (осуждал бритье бород, распространение европейских обычаев, забвение заветов предков и т.д.). Между тем в этом письме нет (в отличие от посланий Талицкого) ни слова об антихристе, о царе вообще, о сопротивлении его власти, о бунте. Докукин лишь призывает не отчаиваться, стойко сносить данное свыше испытание «за умножение наших грехов», ждать милости Божией (325-1, 183–184). Тем не менее все это оценили как призыв к бунту.

Федор Журавский писал в частном письме к Аврааму Лопухину «о народных тягостях и о войне, о чем с ним, Авраамом, и говаривал». В приговоре по его делу все это было расценено так: «А то приличествует к бунту» (8-1, 14). Бунтовщиком называли и полусумасшедшего монаха Левина. Он обвинялся в том, что «пришел он... в город Пензу и кричал всенародно злые слова, а

именно бунтовыя, касающиеся к превысокой персоне Его и.в. и вредительныя государству». По делу Левина мы можем установить, какие слова, названные потом «бунтовыми», кричал 19 марта 1719 г., взбравшись на крышу мясной лавки пензенского базара, Левин: «Послушайте, христиане, послушайте! Много лет я служил в армии у генерал-майора Гавриилы Семеновича Кропотова у команде... Меня зовут Левин... Жил я в Петербурге, там монахи и всякие люди в посты едят мясо и меня есть заставляли. А в Москву приехал царь Петр Алексеевич... Он не царь Петр Алексеевич, антихрист... антихрист... а в Москве все мясо есть будут сырную неделю и в Великий пост и весь народ мужеска и женска пола будет он печатать, а у помещиков всякой хлеб описывать... а из остального отписнаго хлеба будут давать только тем людям, которые будут запечатаны, а на которых печатей нет, тем хлеба давать не станут... Бойтесь этих печатей, православные!... бегите, скройтесь куда-нибудь... Последнее время... антихрист пришел... антихрист!» (325-1, 24).

Итак, «бунтовыми» признавались призывы терпеть земные муки, бежать от власти якобы пришедшего в лице Петра I антихриста. Логика в таком обвинении есть. Формально всякие слова, произнесенные Левиным, есть не признание власти монарха, неподчинение ему, следовательно, согласно праву того времени, бунт. Также вполне в поле русского права и традиционного понимания бунта держалась и Екатерина II, которая назвала А.Н. Радищева с его «прелестной книгой» «бунтовщиком, хуже Пугачева». Страх самодержавия перед угрозой бунта, с которым оно сталкивалось не раз в течение всего XVII в. в Москве и в других городах, оставался великим и в XVIII в. Люди, которые писали Артикулы воинские 1715 г., как и авторы Уложения 1649 г., хорошо знали, что такое бунт, который мог по одному кличу, брошенному в возбужденную толпу, вспыхнуть мгновенно, как пожар. Поэтому Артикул воинский так строго предписывал, чтобы военные в случае ссоры, брани, драки никогда не звали на помощь своих товарищей, «чтоб чрез то (крик, призыв. — Е. А.) збор, возмущение, или иной какой непристойный случай произойти мог» (626-4, 352). В XVIII в. «бунт» понимался не только как вооруженное выступление или призыв к нему в любой форме, но как всякое, даже пассивное, сопротивление властям, несогласие с их действиями, «упрямство», «самовольство», критика, а подчас — просто активность людей в их жалобах.

Само слово «бунт» было таким же запретным в XVIII в., как и слово «измена». Сказавшего это слово обязательно арестовывали и допрашивали, как это случилось с посадским Герасимом Волковым, который в 1724 г. обозвал «с пьяну бунтовщиком» своего товарища Рыбникова. За это слово он оказался в сыске, где его допрашивали, пытали, а потом высекли кнутом (88-1, 777 об.).

Очень часто в приговорах понятие «бунт» соседствовало с двумя другими упомянутыми выше понятиями — «скопом» и «заговором». Чем же они различались? Г.Г. Тельберг считал, что различий тут нет никаких: «бунт» — это и есть «скоп и заговор» (730, 99). Действительно, в главе 2 (ст. 20, 21) Уложения сказано о преступниках, которые «грабити и побивати... приходили скопом и заговором». Но мне кажется, что Тельберг ошибся. В Уложении, да и в других законодательных актах, есть другие трактовки этих понятий. Во-первых, «скоп и заговор» безусловно понимали как вхождение нескольких людей в преступное объединение («скоп») для «заговора» — соглашение для совершения неких антигосударевых деяний типа «измены», «бунта» и т. д. («А кто Московского государства всяких чинов люди сведают или услышат на Царское величество в каких людех скоп и заговор или иной какой злой умысел» (гл. 2, ст. 18). Во-вторых, «скоп и заговор» рассматривали еще и как умысел к совершению самых разных государственных преступлений («зла»). В 1677 г. в Якутске воевода открыл заговор казаков и промышленных людей против него и сообщал об этом в Сибирский приказ: «Воровским своим советом, скопом и заговором... хотели убить... воеводу» (107, 99). В 1727 г. в «злом умысле» обвинили П.А. Толстого и А.М. Девьера, которые в указе названы «мятежниками, которые тайным образом совещались противу... уставу» (завещания) Екатерины I (633-63, 602—603).

В Уложении и других законах выделение «скопа и заговора» в отдельную категорию тяжких преступлений можно связать и с антиземской тенденцией самодержавной власти, которая рассматривала всякое добровольное (временное или постоянное) объединение людей не иначе как преступный «скоп и заговор», направленный на свержение власти самодержца. Поэтому в XVII—XVIII вв., самодержавие, как уже сказано выше, крайне недоброжелательно относилось ко всяким не одобренным государством или церковью собраниям, депутациям и другим коллективным действиям, с какой бы целью их ни задумывали. «Самовольство» поставлено в один ряд со «скопом и заговором» (Уложение, гл. 2, ст. 20). При этом Уложение 1649 г. все же отличает преступное «прихаживанье для воровства» от законного «прихаживанья для челобитья» (ст. 22). Тем самым у подданных еще оставалась возможность для не запрещенных законом совместных действий. Все изменилось в XVIII в. Петровское законодательство категорически запретило любые попытки организовывать и подавать властям коллективные челобитные. Артикул воинский запрещает «все непристойные подозрительные сходбища и собрания воинских людей, хотя для советов каких-нибудь (хотя и не для зла) или для челобитья, чтоб общую челобитную писать, чрез что воз-

мушение или бунт может сочинитца». Эта норма главы 17-й с заголовком: «О возмущении, бунте и драке» написана самим Петром I (626-4, 352; 193, 48). В Артикуле прямо сказано, что зачинщиков коллективных челобитных следует вешать без пощады, независимо от причины их жалобы и содержания челобитной, «а ежели какая кому нужда бить челом, то позволяется каждому о себе и о своих обидах бить челом, а не обще» (626-4, 352). В «Инструкциях и Артикулах военных российскому флоту» также категорически запрещалось «умышленные советы чинить на берегу или на корабле». Их расценивали как преступные сходки, независимо, «о какой причине то (совещание. — Е. А.) ни было», «хотя и не для зла» (587-4, 2267; 751, 141). За государственное преступление признавали также и возмущенные крики военнослужащего о невыплаченном жалованье. Такой солдат, согласно закону, «имеет без всякой милости, яко заводчик возмущения, наказан быть... ибо сие есть действительное возмущение» (632-4, 340). Закон, по-видимому, действовал. В 1728 г. дьячок Григорьев показал, что он в Москве слышал разговор неизвестных ему солдат: «У нас-де ныне в армии хорошо военный суд творитца: сошедшись-де во един круг ничего говорить и шептать никому не велят» (575, 129).

Такие ограничения касались не только разговоров в солдатских «бекетах» и караулах, но и общественной жизни всех других подданных, касались общественной жизни разных слоев общества, будь то старообрядческие моления при Петре I, мужские вечеринки «конфидентов» в доме А.П. Вольнского при Анне Ивановне, светская болтовня в салоне Лопухиных при Елизавете Петровне или ритуальные собрания масонских лож при Екатерине II. Все эти коллективные действия расценивались властью как преступные «сборища», «сходбища», «скоп и заговор». Тем удивительнее события начала 1730 г. в Москве, когда во время междоусобия сотни дворян собирались в разных домах и свободно обсуждали проекты реформ, спорили о будущем устройстве России (см. 405). Это было редчайшее явление русской политической жизни, участники которого, согласно нормам законодательства самодержавия, были все поголовно государственными преступниками.

Из реальных, но неудавшихся попыток «скопа и заговора» привлекают внимание три: история камер-лакея Александра Турчанинова (1742 г.), а также Иоасафа Батурина (1753 г.) и Василия Миновича (1764 г.). Из дела Турчанинова и его сообщников — преображенца-прапорщика Петра Квашнина и сержанта-измайловца Ивана Сновидова, арестованных в 1742 г., видно, что действительно налицо были преступные «скоп и заговор» с целью свержения и убийства императрицы Елизаветы. Сообщники обсуждали, как «собрать партию», причем Квашнин говорил Турчанинову, что он уже подговорил группу гвардейцев. Сновидов обещал Турчанинову, что «для такого дела

друзей искать себе будет и кого сыщет, о том ему, Турчанинову, скажет и после сказывал, что у него партии прибрано человек с шестьдесят». Был у них и конкретный план действий: «Собранных разделить надвое и ночным временем придти к дворцу и, захватя караул, войти в покои Ея и.в. и Его императорского высочества (Петра Федоровича. — Е. А.) умертвить, а другою половиною... заарестовать лейб-компанию, а кто из них будет противиться — колоть до смерти». Ясно была выражена и конечная цель переворота: «Принца Ивана возвратить и взвести на престол по-прежнему» (506, 332—335).

Считать эти разговоры обычной пьяной болтовней нельзя — среди гвардейцев было немало недовольных как свержением 25 ноября 1741 г. Брауншвейгской фамилии и приходом к власти Елизаветы, так и тем, что лейб-компанцы — три сотни гвардейцев, совершивших этот переворот, — получили за свой нетрудный «подвиг» невиданные для остальной гвардии привилегии. Тот ночной путь, которым лейб-компанцы прошли к собственному благополучию, казался некоторым из их бывших товарищей по гвардии (а гвардейцев тогда было около 10 тыс. человек) соблазнительным и легко исполнимым. Турчанинов же, служа лакеем при дворце, знал все входы и выходы из него и мог стать проводником к опочивальне императрицы. А это было весьма важно — ведь известно, что в ночь на 9 ноября 1740 г. подполковник К.Г. Манштейн, вошедший по приказу Б.Х. Миниха с солдатами во дворец, чтобы арестовать регента Бирона, едва не провалил все дело: он в поисках опочивальни регента заблудился в темных дворцовых переходах (457, 199—200). Только случайность позволила раскрыть заговор Турчанинова.

Другой заговорщик — Иоасаф Батурин — был человеком чрезвычайно активным, фанатичным и психически неуравновешенным. Он отличался также склонностью к авантюризму и умением увлекать за собой людей. Подпоручик Бутырского пехотного полка, расквартированного в Москве, где в этот момент (летом 1749 г.) находился двор, Батурин составил план переворота, который предусматривал такие вполне достижимые в той обстановке цели, как изоляция придворных и арест императрицы Елизаветы. Предполагали заговорщики и убить ее фаворита А.Г. Разумовского — командира лейб-компанции: «Того-де ради хотя малую партию он, Батурин, сберет и, нарядя в маски, поехав верхами, и, улуча него, Алексея Григорьевича, на охоте изрубить или другим манером смерти его искать он будет». Надеялись заговорщики прибегнуть и к мышьяку (518, 340—345). Батурин намеревался действовать решительно (необходимейший элемент успешного переворота!) и после ареста императрицы Елизаветы и убийства Разумовского вынудить высших иерархов церкви срочно провести церемонию провозглашения великого князя Петра Федоровича императором Петром III.

Планы Батурина не кажутся бреднями сумасшедшего одиночки. Батурин имел сообщников в гвардии и даже в лейб-компании. Следствие показало также, что он договаривался и с работными людьми московских суконных фабрик, которые как раз в это время бунтовали против хозяев и могли бы, за деньги и посулы, примкнуть к заговорщикам. Батурин был убежден, что можно «подговорить к бунту фабришных и находящийся в Москве Преображенский батальон и лейб-компанцов, а они-де к тому склонны и давно желают» (83, 144). Батурин и его сообщники надеялись получить от Петра Федоровича деньги, раздать их солдатам и работным, обещая последним от имени великого князя выдать тотчас после переворота задержанное им жалованье. Батурин предполагал во главе отряда солдат и работных «вдруг ночью нагрянуть на дворец и арестовать государыню со всем двором», тем более что двор и императрица часто находились за городом, в плохо охраняемых временных помещениях и шатрах. Солдат он «обнадеживал... что которые-де будут к тому склонны, то его высочество пожалует теми капитанскими рангами и будут на капитанском жалованье так, как ныне есть лейб-компания» (518, 343). Здесь мы, как и в истории Турчанинова, видим стремление заговорщика сыграть на зависти солдат к благополучию лейб-компанцев.

Наконец, Батурин сумел даже подстеречь на охоте великого князя и во время этой встречи, которая привела наследника престола в ужас, пытался убедить Петра Федоровича принять его предложения. Как писала в своих мемуарах Екатерина II, супруга Петра, замыслы Батурина были «вовсе не шуточные», тем более что Петр утаил от Елизаветы Петровны встречу с Батуриным на охоте, чем невольно поощрил заговорщиков к активности — Батурин принял молчание великого князя за знак его согласия (313, 158).

Но заговор не удался, в начале зимы 1754 г. Батурина арестовали и посадили в Шлиссельбургскую крепость, где он в 1767 г., расположив к себе охрану, чуть было не совершил дерзкий побег из заточения. Но и на этот раз ему не повезло: заговор его разоблачили, и Батурин был сослан на Камчатку. Там в 1771 г. вместе со знаменитым Беньовским он устроил-таки бунт. Мятежники захватили судно и бежали из пределов России, пересекли три океана, но Батурин умер у берегов Мадагаскара. Вся его история говорит о том, что такой авантюрист, как Батурин, мог бы, при благоприятном стечении обстоятельств, добиться своей цели — совершить государственный переворот (подробнее см.: 359, 3—19; 647, 760).

С подобными же заговорами столкнулась и вступившая в июле 1762 г. на престол Екатерина II. По многим обстоятельствам дело гвардейцев Петра Хрущева и братьев Гурьевых, начатое в октябре 1762 г., напоминает дело Турчанинова 1742 г. Опять у власти был узурпатор — на этот раз совершив-

шая государственный переворот Екатерина II, опять (причем тот же самый) сидящий под арестом экс-император Иван Антонович, снова застольные разговоры горячих голов — измайловских офицеров братьев Гурьевых. Они, участники успешной июльской революции 1762 г., как и приятели Турчанинова, недовольны своим положением и завидуют братьям Орловым, — те ведь сразу стали вельможами, а они по-прежнему не у дел и не у денег. Сблaзн повторить «подвиг» Орловых у Гурьевых и их приятеля Хрушова был, по-видимому, велик. Власть в лице императрицы и ее окружения, узнав о заговоре и арестовав заговорщиков, была встревожена как зловещими слухами в обществе о подготовке нового переворота, так и показаниями самих арестованных, говоривших, что «у нас-де в партии до тысячи человек есть», что «солдаты армейских некоторых полков распалены», что их поддерживают И.И. Шувалов и князь Н.Ю. Трубецкой (529a-1, 77–78). Учитывая потенциальную опасность заговора, Екатерина II поступила для себя необычно сурово: братья Гурьевы и Петр Хрушов были приговорены к смерти, но потом шельмованы и сосланы в Сибирь. Однако не прошло и двух лет, как снова возникла опасность государственного переворота. Подпоручик В.А. Мирович пытался освободить из Шлиссельбургской крепости Ивана Антоновича.

Список преступлений по рубрике «скоп и заговор» с целью захвата власти нужно пополнить и перечнем успешно осуществленных заговоров. Речь идет об упомянутом выше заговоре цесаревны Елизаветы Петровны и гвардейцев, вылившемся в переворот 25 ноября 1741 г. и свержение Ивана Антоновича, а также о заговоре императрицы Екатерины Алексеевны и Орловых, который привел в июне 1762 г. к свержению Петра III. Наконец, нужно упомянуть заговор П.А. Палена и других, закончившийся убийством Павла I 3 марта 1801 г. Эти заговоры, естественно, не расследовались — вспомним знаменитые слова С.Я. Маршака:

Мятеж не может кончиться удачей,
В противном случае его зовут иначе.

Тяжким государственным преступлением было *самозванство* («самозванчество», или «именование себя непринадлежащим именем», или «вклепавший на себя имя» — 681, 97). Его не знали в России до начала XVII в. В эту эпоху оно принесло неисчислимые беды стране, стало символом разрушения установленного Богом общественного порядка, проявлением зла, беззакония и хаоса. Появление самозванства привело к надругательству над ранее священной властью самодержца и во многом способствовало падению ее авторитета, появлению новых самозванцев. Социально-психологическая подоплека самозванства довольно сложна. Изучая ее, нужно учитывать чер-

ты массовой психологии средневековья, веру человека в чудесные спасения государей, бежавших из-под ножа убийцы, подмененных и тем спасенных багрянородных детей. Примечательна и мистическая вера в особые символы и меты — «царские знаки». Как говорил один из узников Преображенского приказа, «ныне государь в Стекольной в столбе закладен, а который государь в Москве государем — он швед, а у нашева государя есть знамя: на груди и на обоих плечах по кресту» (88, 723). Будем помнить, наконец, и об отчаянной смелости авантюристов, пытавшихся это использовать для захвата власти (703, 278—279; 681, 96—115).

В русском праве о самозванстве нет особого закона или статьи, хотя, как уже отмечалось выше, глава 2-я Уложения 1649 г. проникнута идеей праведного противопоставления законного монарха его незаконному сопернику, который «хочет Московским государством завладеть и государем быть». В этом явно слышен отзвук закончившейся ранее борьбы за русский трон. К началу XVIII в. казалось, что время самозванцев навсегда миновало, однако этот век принес такое количество самозванцев, какого не знал предыдущий XVII век. Несколько самозванцев появилось уже при Петре I и сразу же после его смерти. В 1730—1750-х гг. было выловлено восемь самозванцев, а в 1760—1780-е гг. число «Петров Федоровичей» точно даже не подсчитали — около десятка. Последний лже-Петр III был выловлен в 1797 г. Это был нищий Петушков — молчальник в веригах, который признал свое сходство с профилем на рублевике Петра III (112, 325—326; 743, 134—141; 553, 95).

Причины столь резкого и опасного для самодержавной власти возрождения самозванства в XVIII в. коренились в династических «нестроениях», которые постигли семью Романовых в первой четверти XVIII в. Начало им положила драматическая ситуация 1718 г., когда бегство, следствие, суд, а потом и таинственная смерть царевича Алексея внесли смятение в сознание народа, не случайно первыми самозванцами стали как раз «царевичи Алексеи Петровичи». После гибели Алексея состояние «династического напряжения» сохранялось: Петр I в начале 1725 г. умер без завешания, обострилось соперничество потомков от двух его браков (с Евдокией Лопухиной и с Мартой-Екатериной Скавронской).

Затем возникает противопоставление потомков Петра I (Елизавета, Карл-Петер-Ульрих — будущий Петр Федорович) и потомков его брата-соправителя Ивана V (Анна Ивановна, Анна Леопольдовна, Иван Антонович). Постоянную пищу народной молве давали легенды о «подменности» Петра I, о волшебном «спасении» юного Петра II. В манифесте о казни самозванца Миницкого в 1738 г. власть предупреждала подданных, чтобы они «твердо

и непоколебимо стояли в верности к Ея и.в., а таким злодеям (как самозванец Миницкий. — *Е. А.*) обману отнюдь не верили под лишением живота своего» (587-10, 7653).

Ореолом мученичества было окружено имя заточенного в узилище бывшего императора Ивана Антоновича. И все же к началу 1760-х гг. самозванство в условиях устойчивой власти императрицы Елизаветы, при наличии наследника престола Петра Федоровича, да еще после рождения у последнего в 1754 г. сына Павла, явно пошло на убыль. В это время самозванство даже теряет персонификацию — после смерти царевича Алексея, а потом Петра II в 1730 г. прошел большой срок, и поэтому в конце царствования Елизаветы Петровны если и появлялись самозванцы, то назывались безымянными «государями» (112, 325).

Но вскоре самым сильным потрясением для народного сознания и толчком к новому всплеску самозванства стала трагическая история Петра III, свергнутого своей женой императора, который якобы скрылся среди народа. В длинной череде лже-Петров III были и психически больные люди, и авантюристы разного калибра. Один из них не устраивал смятений и мятежей, а тихо, благодаря слуху, пушенному о его «царском происхождении», паразитировал среди крестьян, которые передавали «государя» друг другу, кормили и поили его, на что самозванец, собственно, и рассчитывал. Другой объявил себя «Петром III», чтобы... добыть денег на свадьбу, третий в 1773 г. говорил приятелю о намерении сделаться «Петром III»: «А может иной дурак и поверит! Ведь-де простые люди многие прежде о его смерти сомневались и говорили, что будто он не умер» (681, 99, 119, 125). И расчет этот был не так уж и глуп: огромные массы людей, пропитанные мифологическим сознанием, верили в «чудесные спасения», «царские знаки» и, недовольные своей жизнью, шли за самозванцем. История Пугачева показала, как можно с выгодой использовать эти народные настроения. Для Максима Шигаева и его товарищей, которые познакомились с Пугачевым в 1773 г. на Таловском уме, «царские знаки» на груди этого беглого донского казака были лишь зажившими болячками. Яицким казакам, недовольным своим положением, было гораздо важнее решить проблему: можно ли использовать Пугачева для успешного «мятежного дела» или нет? Как известно, казаки, убедившись в том, что самозванец им подходит, заключили с ним своеобразный договор. Они обеспечили самозванцу «признание», первоначальную вооруженную поддержку, что и позволило поднять на бунт те слои народа, которые верили в чудесное спасение «анператора» (286-1, 206—207, 220—221; 114, 149).

Так оказалось, что самозванство таило в себе серьезнейшую угрозу государственной безопасности в течение всего XVIII в. Как отмечалось выше, в русском праве не было специальных законов, которые бы кодифицировали состав такого преступления, как самозванство. «Изменник», «бунтовщик», «клятвопреступник», «вор» — такие оценки давали законы того времени самозванцу. Самозванец классифицировался как вор в узком значении этого слова, конечно, не как «вор овощной», а как вор царского имени, как «похититель имени монарха» (196, 187). К этому преступлению подходила 2-я статья 2-й главы Уложения об измене, в которой говорилось: «Также будет кто при державе Царского величества (т.е. при царствующем монархе. — *Е. А.*), хотя Московским государством завладеть и государем быть» и т.д.

Поэтому власть весьма нервно относилась к малейшему намерению на самозванство. Все подобные факты тщательно расследовались, и выловленных самозванцев жестоко наказывали. В 1715 г. дворянский сын из Казани Андрей Крекшин получил 15 лет каторги только за то, что в пьяном виде назвал себя «царевичем Алексеем Петровичем» (88-1, 275 об.). После же смерти Алексея в 1718 г. отождествление себя с опальным царевичем каралось еще суровее. В декабре 1725 г. казнили рядового гренадерского полка Александра Семикова, который, «затеяв воровски собою называться царевичем (Алексеем Петровичем. — *Е. А.*), и чаял, что тем ево словам поверят и уже за царевича ево примут» (427, 141—144). В этом деле нам впервые встретилось определение «самозванец».

Кроме понятий «вор», «злодей» в приговорах о самозванцах 1720—1760-х гг. фигурирует произнесение ими «вымышленных великих непристойных слов» (в деле Холщевникова), или «вымышленная продерзость» (в деле Труженника), или «злодейственные непристойные слова» (45-2, 23 об.; 322, 442). Иначе говоря, присвоение царственного имени расценивали как сознательное, дерзкое, злостное «непристойное слово». Оно каралось по тогдашним нормам права как тягчайшее преступление, ибо рассматривалось как публичное заявление преступного умысла к захвату власти.

Слова «царь», «государь», «император», поставленные рядом с именем любого подданного, сразу же вызывали подозрение в самозванстве. В 1737 г. монах Исаак дерзнул написать цесаревне Елизавете Петровне письмо, в котором так «извещал» ее о своем решении: «Наияснейшая цесаревна, я буду по сей императрицы (т.е. по смерти Анны Ивановны. — *Е. А.*) император в Москве, а ты, государыня цесаревна, мне женою» (86-4, 178). Тотчас по этому письму в Тайной канцелярии начали следственное дело. В 1739 г. некий тамбовский крестьянин, сидя с товарищами в кабаке, возмущался многочисленностью и безнаказанностью воров и убийц и при этом сказал: «Вот, ныне во-

ров ловят и отводят к воеводе, а воевода их освобождает, как бы я был царь, то бы я всех воров перевешал». Эти слова и привели его в Тайную канцелярию (86-4, 215). За 11 лет до этого, в 1728 г., в Преображенском приказе оказался тамбовец Антон Любученников, сказавший примерно то же самое: «Глуп-де наш государь, как бы я был государь, то бы-де всех временщиков перевешал». После пыток его били кнутом и сослали в Сибирь (86-4, 215; 8-1, 342об.).

Нельзя было даже в шутку, иносказательно провести аналогию своего положения, статуса с царским. Как преступление рассматривали в политическом смысле слова архимандрита Тихвинского монастыря Боголепа, сказавшего в 1699 г.: «И я-де равен царю» (241, 220). Сурово наказали колодников Киприяна Иванова и Максима Зуева. Первый сказал в 1702 г.: «Я-де не боюсь, я над вами царь», а второй спорил и говорил, «что он царь» (89, 672, 817). Такое же преступление совершил курмышский комендант Василий Лодыжинский, сказавший в 1714 г. «в пьянстве»: «Я-де и сам царь!» В 1728 г. донесли и на командира корабля лейтенанта Герценберга, который внушал матросу: «Здесь императора не имеетца и я-де на него плюю, а здесь я император» (88, 265; 8-1, 120). Донос был подан и на вдову Агафью Ушакову, которая в 1732 г. сказала своему пасынку: «Я сама государыня и никого я неопасна, поди о том донеси», что он и сделал (42-2, 46). Дорого обошлись в 1733 г. крестьянину Филиппу Иванову слова «я и сам лучше государя», как и казaku Федору Макарову его хвастовство: «Я-де сам в доме своем грозный царь». Доносчик Аникеев на следствии сказал, что «помянутой Макаров называется царем, а которым имянно не сказал». Макаров же на следствии уточнил, что сказал: «Я-де будто грозный царь Иван Васильевич». Но это уточнение не спасло его от кнута и ссылки (86-2, 102об., 131—133). За подобные преступления пострадал в 1740 г. поручик Лукьян Нестеров, который сказал о своем поместье: «Мы вольны в своем царстве» (86-4, 399). Преследовали во времена императрицы Елизаветы и смелые сравнения, которыми поделилась с мужем жена: «Я перед тобою барыня и великая княгиня! И что касается и до императрицы, что царствует, так она такая же наша сестра — набитая баба, а потому мы и держим теперь правую руку и над вами, дураками, всякую власть имеем» (124, 831). В середине XVIII в. такие «непристойные слова» классифицировались в законе как «название своего житья царством» (180, 65).

Преступлением становилось даже шутливое причисление себя или кого-либо из простых смертных к царскому роду, а также упоминание о близких, интимных, товарищеских отношениях с государем («Государев брат», «Товарищ Его величества», «Он — царского поколения» — 88, 262, 352об.; 89, 825об.). Тщательно расследовали доносы на таких, которые, как крестьянин Васи-

лий Шемяка, хвастались: «Еще мне быть на царстве!» или «Я-де сам завтра царь буду!». Последнее сказал, к своему несчастью, служака Иван Губанин (8-1, 337-66; 89, 839). Разговоры о родстве с царской семьей расследовали даже тогда, когда вели их люди явно психически больные. В 1708 г. пытали одного сумасшедшего, который в припадке безумия называл себя братом царя Алексея Михайловича и дядей Петра I (89, 187). В 1740 г. в Скопине убивший свою жену Федор Дюков заявил, что «тое жонку зарезал он для того, что хотел он, Дюков, в цари». В Тайной канцелярии Дюков признался, что ему часто являются некие «сияния», которые он понимает как божественное откровение, указания свыше, что «возметца он в цари в ыное государство». Для этого он намеревался идти за границу «к турскому салтану», и тот якобы «примет ево к себе в цари и женит на дочери своей, ежели у него имеетца» (86-4, 394).

Предупреждением самозванства стали те демонстративные действия, которые власти проводили с пойманным Пугачевым. Капитан Маврин дважды выводил самозванца на городскую площадь Яицкого городка для публичного обличения и заставлял громогласно объявлять о себе, что он Емельян Пугачев, «Зимовейской станицы донской казак, не умеющий грамоте» и что «их обманывал», «что согрешил пред Ея и.в.». Затем Пугачева решили везти в клетке «церемониально — для показания черни». Позже такой же публичный допрос сделал Пугачеву Петр Панин в Казани 1 октября 1774 г. (522, 39—40, 61—62). Теми же опасениями можно объяснить и пожизненное заключение в Кексгольмскую крепость двух жен и детей Пугачева, причем им было строго запрещено называться знаменитой фамилией, «а ежели они мерским злодеевым прозванием называтца будут, то с ними поступлено будет со всей строгостью законов» (522, 223). При этом следствие, даже имея дело с заведомыми сумасшедшими, всегда пыталось выявить «скоп и заговор», ибо без этого самозванство не мыслилось в сыске, тем более что было известно немало случаев, когда за самозванцами стояли группы людей, хотевших использовать «императора» в своих целях.

Отказ присягать государю и *нарушение присяги* — преступления, возникшие в XVIII в. И хотя присяга на кресте и Евангелии известна и раньше как при судопроизводстве, так и при совершении сделок, заключении договоров, все-таки отношение к присяге в XVII в. было иным, чем при Петре I. Во-первых, при нем были разработаны обязательные типовые письменные присяги для военных и гражданских служащих, которые они подписывали после клятвы и целования креста и Евангелия (см. 193, 483—484). За нарушение присяги (как и за дачу ложных показаний) полагалось отсечение двух пальцев, которое в 1720 г. Петр I заменил на вырывание нозд-

рей (587-6, 3531). Одновременно царь ввел и всеобщую присягу верности назначенному государем наследнику престола. Весной 1718 г., когда после отречения царевича Алексея от престола царь утвердил своим наследником младшего сына, царевича Петра Петровича. Но царевич умер весной 1719 г., и через три года, в 1722 г. Петр предписал присягать в верности изданному им «Уставу о престолонаследии». Согласно ему император мог назначить себе в преемники любого из своих подданных. С тех пор при вступлении на престол новых государей проводили присяги подданных. Церемония присяги требовала обязательно клятвы в церкви на Евангелии и кресте, а также собственноручной подписи особых присяжных листов. Именно такой лист передал 2 марта 1718 г. в руки царю в церкви в Преображенском упомянутый выше подьячий Докукин. На этом листе, ниже типографского текста присяги, царь прочитал слова, написанные рукой Докукина: «А за неповинное отлучение и изгнание всероссийского престола царского Богом хранимого государя царевича Алексея Петровича христианскою совестью и судом Божиим и пресвятым Евангелием не именуюсь, и на том животворяща Креста Христова не целую и собственною своею рукою не подписуюсь... хотя за то и царский гнев на мя произлется, буди в том воля Господа Бога и Иисуса Христа по воле Его святой за истину аз, раб Христов, Илорион Докукин, страдати готов. Аминь! Аминь! Аминь!» На допросе Докукин показал, что «на присяге подписал своеручно он, Ларион, соболезнуя о нем, царевиче, что он природной и от истинной жены, а наследника царевича Петра Петровича за истинного не признает» (325-1, 158—169). Тем самым в форме демонстративной не п р и с я г и Докукин выразил свой протест, за что его вскоре колесовали. В том же году в Киеве казнили и двоих солдат — Редькина и Галкина, также отказавшихся присягать в верности царевичу Петру Петровичу (212, 127). В Сибирь после пыток попал посадский Корней Муравшик, который в 1718 г. говорил о присяге «непристойные слова и плевал» (9-3, 100). В 1722 г. жители Тары отказались присягать в верности Уставу. Этот отказ привел к пыткам и казням множества людей. П.А. Словцов считал, что в Таре казнили до тысячи жителей города и окрестностей, что кажется преувеличением, хотя масштабы репрессий были, бесспорно, значительны (687, 276—278; 581, 61).

Массовый отказ подданных от присяги в Таре и в других местах был связан с распространенным в среде старообрядцев представлением о том, что процедура клятвы — дьявольская ловушка антихриста Петра I, который тем самым хочет священной клятвой «привязать» к себе невинные христианские души, да еще перед самым концом света, который, по расчетам старообрядцев, «намечался» на 1725 г. (582, 50). Акт неprisяги становился государственным преступлением, ибо противоречил воле самодержца. Поэтому

осуждали не только пренебрежение обязанностью присягать, но и надругательство над этим священным для власти актом. В 1734 г. сослали в Сибирь некоего Комарова, который товарищу в кабаке «матерны говорил: “Мать-де твою в гузно и с присягою твоею”» (44-2, 236).

Государственным преступлением считалось даже неумышленное неучастие подданного в процедуре присяги. В этом видели дерзкое проявление его нелояльности государю. Только редчайшая причина неявки подданного в церковь в день присяги признавалась властями уважительной. Сурово карали и всякое сопротивление самой процедуре присяги со стороны чиновников и церковников, формальное или наплевательское отношение подданных к совершению акта присяги. В начале 1730-х гг. прошла целая серия дел церковников, которые не признавали выбранную в 1730 г. верховниками императрицу Анну Ивановну, не присягали ей, а также не подтверждали присягой свою верность изданному этой же государыней в 1731 г. указу о престолонаследии. Особенно беспокоило власти то, что церковники не приводили к присяге своих прихожан и родственников, публично выказывали пренебрежение к самой присяге и даже, как сказано о трех сосланных в Сибирь попах, «лаяли во время присяги... и имели намерение Ея и.в. о наследии, тамож и принятую на то присягу письменным проектом обличать» (484, 72; см. также 42-5, 116 и др.). В 1733 г. на каторгу в Оренбург сослали попа Григория Прокопьева, который дал подписаться людям под присяжными листами без приведения их к присяге (8-2, 114). Безусловным преступлением считались уничижительные комментарии о присяге типа: «Вы-де присягаете говну!» (дело 1762 г. — 83, 122).

Возвращаясь к аргументации тарских раскольников, отметим, что в некотором смысле присяга оказывалась действительно если не эсхатологической, то правовой ловушкой как для служилого человека, так и для подданного вообще, весьма легко приводила к клятвопреступлению. В присяге, которую подписывал каждый служащий, говорилось о верности служения государю и назначенным им преемникам, о точном исполнении «присяжной подданнической должности», т.е. своих обязанностей по службе, а также о предотвращении ущерба «Его величества интереса» (587-9, 6647; 193, 483—484). А поскольку этот интерес понимался весьма широко, то фактически всякое преступление служащего автоматически означало нарушение присяги, трактовалось как клятвопреступление. Так, собственно, смотрели власти на участие служилого человека в «непристойных разговорах». О преступлении А.П. Волынского в одном из документов следствия было сказано, что он кроме прочих преступлений «явно уже в важнейшем и предерзком клятвопреступлении явился» (6, 13). В 1743 г. Ивана Лопухина, ведшего подобные разго-

воры, обвинили, помимо всего прочего, в презрении присяги и клятвопреступлении (660, 11). Как нарушение присяги в 1790 г. расценили сочинительство Радищева. Внести клятвопреступления в список его вин указала сама Екатерина II, которая тем самым усугубляла вину сочинителя, служившего в учреждении — в таможене (130, 252, 280—281).

Как непризнание власти самодержца рассматривали в политическом сыске и различные «анархические» высказывания людей о своей якобы полной независимости от божественной, царской, вообще земной власти. В 1701 г. поповича Федора Ефимова взяли в сысканой приказ за высказывание: «Я-де государя не боюсь!». В 1719 г. был арестован крестьянин Семен Полухтов за слова: «Я государя не боюсь, головы мне не срубить» (90, 706 об.; 88, 324 об.). В 1729 г. к следствию привлекли купца Трофима Мелетчина, который ругал власть и утверждал: «Никого не боюсь и государя мало боюсь» (по другой версии — «Государя не слушаю!» — 8-1, 369; см. также 41, 11). Ишимский поп Михаил попал в Тайную канцелярию в 1739 г. за слова: «А я-де философ и никого не боюсь, кроме Бога!», как и в 1745 г. некто Красноселов, кричавший, что он «никово не боится» (86-4, 277; 83, 26). Все эти выкрики в сыском ведомстве рассматривали как политические преступления, как выражение дерзкого неподчинения власти самодержца и оскорбление его чести. Преступлением считалось и разное иное «самовольство», например, отказ съехать с дороги, по которой шествовал государь (322, 445).

В документах XVIII в. встречается упоминание о таком преступлении, которое, собственно, и преступлением назвать трудно, хотя обвиненных в нем ждал если не эшафот, то удаление от дел или ссылка. Речь идет о так называемом «*подозрении*». Что это такое? Согласно римскому праву, *supplicio* — подозрение в совершении преступления — само по себе не вело к осуждению человека (138, 306). В русских документах XVIII в. встречается несколько значений этого слова. Если в деле допрошенного мы встречаем запись: «А по осмотру явился он подозрителен», то это означает, что на спине у этого человека обнаружены следы кнута — верный признак пытки или старого наказания за какое-то серьезное преступление. Доверять ему, как уже побывавшему в руках ката, считалось невозможным. О донощике солдате Иване Петровском было сказано: «Человек подозрительный, дважды за вины бит кнутом» (8-1, 141 об.). «Подозрением» называли также дополнительные, вскрывавшиеся в ходе следствия обстоятельства преступления. В 1724 г. Петр I писал о должностных преступлениях: «Ежели какое дело явитца по порядку правильному чисто, но та персона по окрестностям подозрительна...», то требуется расследование (193, 263).

Кроме того, в источниках встречается особый термин: «В п а с т ь в п о д о з р е н и е» (нередко с уточнением: «Впадшие в подозрение по первым двум пунктам, а именно в оскорблении Величества и в возмущении противу общего покоя» — 633-7, 257). Это означало, что человек не совершал государственного преступления, но его (без расследования, представления улик и доказательств) п о д о з р е в а ю т в намерении совершить такое преступление и уже на этом основании наказывают. Капитана фон-Массау в 1742 г. сослали в Охотск только по подозрению в том, что он, может быть, говорил «непристойные слова», хотя расследования об этом не проводили. В приговоре по делу Массау сказано: «За оным подозрением ни к каким делам не определять и из Охотска никуда, ни для чего отпускать его не велено».

Основанием для «подозрения» становились служебные и родственные связи с преступником. Такой человек, ранее «безподозрительный», сразу становился «подозрительным» (91, л). Весной 1727 г. А.Д. Меншиков писал И.Ф. Ромодановскому: «Отправлен отсюда в Москву обер-церемониймейстер граф Сантий, а понеже оной явился в важном деле весьма подозрителен, того ради Его и.в. указал отправить его из Москвы под крепким караулом в Тобольск...» Из дела Санти видно, что его обвиняли в дружбе с опальным тогда П.А. Толстым и подозревали в преступных связях с заграницей. Однако об этом в письме Меншикова прямо сказано не было — обвинение ограничивалось «подозрением» (705, 275—277). По этому же делу в 1727 г. был выслан из Петербурга будущий начальник Тайной канцелярии А.И. Ушаков. Его обвиняли в недонесении о замыслах Толстого и Девьера «и в протчем в том деле себя подозрительным показал» (633-63, 602). Андриаса Фалька отправили в Оренбург только «за подозрением», что он, будучи слугой у лифляндца Стакельберга, «который за вины его сослан в Сибирь», м о г с л ы ш а т ь «непристойные речи» своего господина (507, 332; 517, 338). Основанием для подозрения почиталось родство с преступником. Исаака Веселовского сослали в 1727 г. в Прикаспий за то, что он был братом дипломатов Федора и Авраама Веселовских, которые отказались в 1718 г. вернуться из-за границы в Россию и таким образом стали преступниками. В указе об Исааке сказано: «Исака Веселовского, который за подозрением, что его два брата в измене, послан был в Гилянъ» (800, 963).

«Подозрение» — юридическая категория почти неуловимая, ее нельзя понимать только как подозрение в совершении или причастности человека к какому-то преступлению или преступнику. «Подозрение» — обобщенное определение неназванного государственного преступления. В черновик манифеста 5 марта 1718 г. о преступлениях бывшей царицы Евдокии Петр I внес поправку в то место, где сказано о причинах ссылки его первой жены

в монастырь (выделенное прибавлено рукой Петра): «Бывшая царица Евдокия в Суздале, в Покровском девичьем монастыре, для некоторых своих противностей и подозрения, постриглась и наречено имя ей Елена» (752, 477). В приговоре о ссылке в Илим малороссийского полковника Василия Тонского в 1734 г. мы читаем, что его отправили в Сибирь «за некоторые его подозрения и вины» (8-2, 127). В указе Елизаветы Петровны об аресте Лестока 13 ноября 1748 г. сказано: «Графа Лестока по многим и важным его подозрениям арестовать» (760, 50).

«Подозрение» как преступление, во-первых, являлось ярким выражением средневекового права, ибо в делах о ведьмах подозрение вообще заменяло доказательства виновности (472, 31), и, во-вторых, говорило о неограниченном праве государя казнить и миловать подданных без всякого объяснения причин своего гнева. Наказание «по подозрению» — чистейшая форма опалы, «голое» проявление державной воли самодержца как источника права. Опала «по подозрению» просуществовала весь XVIII век и перешла и в XIX в. В манифесте 1758 г. об опале А.П. Бестужева сказано, что он лишен чинов и сослан уже только по той причине, что императрица Елизавета никому, кроме Бога, не обязана давать отчет о своих действиях и если она положила опалу на бывшего канцлера, то из этого с неопровержимостью следует, что преступления его велики и наказания достойны, но еще важнее, что императрица не могла «уже с давнего времени ему доверять» (589-15, 10802).

Как известно, в 1812 г. государственный секретарь М.М. Сперанский был внезапно арестован и сослан в Нижний Новгород, а потом в Пермь, где и провел четыре года. В чем состояла его вина, не знал никто, кроме императора Александра I, да и тот в именном указе 1816 г. о помиловании Сперанского не дал никаких объяснений причины опалы: «Пред начатием войны в 1812 году, при самом отправлении моем к армии, доведены до сведения моего обстоятельства, важность коих принудила меня удалить со службы тайного советника Сперанского и действительного статского советника Магницкого, к чему во всякое другое время не приступил бы я без точного исследования, которое по тогдашних обстоятельствах делалось невозможным. По возвращении моем, приступил я к внимательному и строгому рассмотрению поступков их и не нашел убедительных причин к подозрению. Потому, желая преподать им способ усердною службою очистить себя в полной мере, всемилостивейше повелеваю: т.с. Сперанскому быть Пензенским гражданским губернатором, а д.с.с. Магницкому Воронежским вице-губернатором» (706, 88). Итак, хотя у государя и не было «убедительных причин к подозрению», тем не менее сам факт опалы говорит о преступлении, которое нужно загладить усердной службой в провинции.

Пожалуй, самым распространенным видом государственных преступлений, о которых сохранилось много дел в архивах, были так называемые «непристойные слова». Материалы XVII в., когда юридическое определение этого вида преступлений еще не утвердилось, выразительно раскрывают их негативный, преступный смысл. Синонимами «непристойных слов (речей)» служили понятия: «воровские», «воровские непристойные», «засорные», «злые», «зловредные», «вредительные», «дурные», «невежливые», «неистовые», «непригожие», «неприличные», «непотребные».

Несмотря на обилие дел о «непристойных речах» еще до издания Уложения 1649 г., они, эти «непристойные слова», тем не менее не входили в круг государственных преступлений, учтенных в этом кодексе. Г.Г. Тельберг утверждал, что «непристойные слова», в сущности, это та же измена, но только в более «легком», неосуществленном варианте. Если измена как посягательство на власть государя ведет к смертной казни, то «словесное обнаружение нереализованного умысла к измене» рассматривалось как «непристойное слово» и наказывалось с меньшей жестокостью, чем собственно измена (727, 65–66). Бесспорно то, что сказанное «непристойное» слово тогдашнее право расценивало как намерение к преступному действию, о чем уже упоминалось выше. «Непристойные слова» нельзя сводить только к акту измены — ведь они могли быть нереализованным умыслом и против жизни и здоровья государя и под ними могли скрываться и многие другие (помимо измены) государственные преступления. И все-таки главное заключалось в том, что «непристойные слова» были связаны не столько с перечисленными преступлениями, сколько с преступным оскорблением государевой чести.

Я исхожу из того положения, что, согласно праву рассматриваемой эпохи, все государственные преступления оскорбляли честь государя, недаром знаменитая 2-я глава Уложения 1649 г., посвященная бунту, измене, скопу и заговору, называется «О Государьской чести, и как Его государское здоровье оберегать...». Между тем в этой главе идет речь только о преступлениях против жизни, здоровья и власти государя и совсем нет статей о поругании государевой чести. И тем не менее глава называлась именно так потому, что и бунт, и измена, и скоп с заговором были одновременно и оскорблением чести государя. Примечательно, что и следующая, 3-я глава Уложения («О Государеве дворе, чтоб на Государеве дворе ни от кого никакова бесчинства и брани не было») проникнута не только беспокойством за безопасность государя, его жилища и его близких, но заботой о защите чести обитателей «верха». Поэтому все неправомочные действия подданных на Государеве дворе карались суровее, чем совершенные за его пределами, ведь они, помимо прочего, наносили оскорбление жилищу, семье и чести монарха, его достоинству.

«Непристойные слова» в XVII—XVIII вв. в большинстве своем связаны именно с оскорблением чести государя. Во многих случаях их так и называли: «Непристойные слова, касающиеся чести государя» (см., напр., 88, 19 и др.). А защита чести государя считалась не менее важной обязанностью подданных, чем защита личности и власти царя от изменника, самозванца или колдуна. В указе Анны Ивановны от 2 февраля 1730 г. сказано, что доносить нужно не только на потенциальных заговорщиков, мятежников, но и на тех, кто будет «персону и честь Нашего величества злыми и вредительными словами поносить». В проекте Уложения 1754 г. в главе 20-й «Об оскорблении Величества» сказано: «Ежели кто... каким бы то образом ни было, умышлять будет Нашего и.в. на дражайшее здоровье какое злое дело, онаго, яко оскорбителя Нашего величества, казнить смертию» (696, 76). В.Н. Латкин отмечал, что под преступлением об оскорблении Величества «понимается не только всякое преступное действие против жизни и здоровья государя, государыни и наследников, но также и словесное оскорбление государя, равно как и всякое осуждение его намерений и действий» (425, 220—221). В проекте Уложения 1754 г. так и говорилось: «...кто ж персону и честь Нашего и.в. и высокой Нашей фамилии злыми и вредительными словами поносить, или о действиях и намерениях наших непристойным образом рассуждать или их презирать будет, того казнить смертию» (596, 76). Иначе говоря, круг преступлений, которые было можно отнести к «оскорблению Величества», оказывался безбрежен. К тому, что отметил Латкин, прибавим не только сказанные или написанные слова, оскорбляющие личность, действия и намерения государя, но также и символические непристойные движения, жесты, гримасы, поступки и даже мысли, в которых можно усмотреть или угадать тот же оскорбительный для чести государя смысл. Чрезвычайно важным кажется замечание крупнейшего знатока военного законодательства Петровской эпохи П.О. Бобровского, который писал, что вместе с военным законодательством шведского короля Густава II Адольфа, взятым за основу военно-судной системы Петра I, в Россию пришло свойственное шведскому военному законодательству представление о «бережении чести» как о строжайшем соблюдении служебной субординации. Субординация — механизм, посредством которого само государство устанавливало взаимоотношения служащих, оберегало их честь (157, 74). Именно поэтому нормы защиты воинской чести не уживались в шведской (а потом и в русской) армии с нормами защиты дворянской (личной) чести, что приводило к запрещению дуэлей. Нам же особенно важно то, что в русских условиях суровое преследование за оскорбление чести государя как сакрального высшего правителя совпадало с идеей субординации, бе-

зусловно защищавшей повелителя как высшего начальника, уважение к которому на примере шутовского культа «князя-кесаря» Ромодановского продемонстрировал сам Петр I (532, 56–58).

Вместе с тем заметим, что «непристойные» слова — это еще и слова «вредительные», «злые», «зловредные». Тем самым в них вкладывался и прямой, первоначальный (магический) смысл. По представлению того времени, слово могло вредить, приносить ущерб подобно физическому действию. Когда людям приходилось писать в служебных бумагах слова «мор», «пожар», то они обязательно добавляли фразу-оберег: «От чего, Боже, сохрани». В восприятии сказанного слова как магического действия и состояла в немалой степени причина столь суровой оценки законом произнесения или написания «непристойных слов», оценки этих действий как государственного преступления. Дав такое толкование происхождению «непристойных слов», вернемся к формальной истории их появления в корпусе государственных преступлений. В Уложении 1649 г. «непристойные слова» не выделяются в отдельную статью государственных преступлений. Первая попытка их как-то маркировать относится к декабрю 1682 г., когда царевна Софья, обеспокоенная тревожным состоянием общества и многочисленными слухами, ходившими по Москве, издала указ, грозящий смертной казнью всем, кто пишет и распространяет «прелестные и смутные письма», произносит и слушает «смутные и похвальные речи Московскому смутному времени», а также произносит «непристойные слова о государях» (587-2, 978, 1002, 1014; 195, 245 и др.). Нельзя утверждать, что это было первое упоминание их в царских указах как об особом виде политических преступлений. Однако то, что они в это время попали в упомянутый указ, кажется весьма важным.

Петр окончательно расставил все по своим местам. В Артикуле воинском появилась норма (арт. 20), которая с тех пор бесконечное число раз повторялась при ссылке на законодательство при наказании тех, кого обвиняли в говорении «непристойных слов»: «Кто против Е. в. особы хулительными словами погрешит, его действо и намерение презирать и непристойным образом о том рассуждать будет, оный имеет живота лишен быть и отсечением главы казнен» (626-4, 331).

В том же 20-м артикуле дано развернутое определение «непристойных слов» как преступления, в которое включались не только собственно оскорбление чести государя, его священной особы, но и осуждение его действий и намерений. Право петровской поры считает преступлением в себе слова подданных, которыми они ставят под сомнение любые намерения и действия верховной власти. Важно, что именно в виде «Толкования» 20-го артикула о каре за «непристойные слова» дается знаменитое определение са-

модержавия: «Ибо Его величество есть самовластный монарх, который никому на свете о своих делах ответу дать не должен. Но силу и власть имеет свои государства и земли, яко христианский государь, по своей воле и благомнению управлять» (626-4, 331). Только в условиях безграничного самовластия всякое слово, сказанное подданным об этой власти, могло быть интерпретировано как «непристойное», «хулительное», оценено как государственное преступление. Это положение Артикула отражает эволюцию самодержавия, достигшего при Петре I пика своего могущества и суровым законом утверждавшего свою непогрешимость и неподсудность всему земному. Поэтому естественным кажется наказание как государственных преступников таких людей, как подьячий из Черни Иван Перхуров, который в 1723 г. заявил: «Хочу суда на Е.и.в.». В 1715 г. крестьянин Родион Кузнецов сказал: «Где-де быть в судьях правде, ныне-де и в самом государе правды нет». Подьячий Афанасий Иванов выразился в 1728 г. в том смысле, что «имеет-де он гнев на Его и.в.» (88, 660 об., 276; 8-1, 336).

Наконец, связь всяких «непристойных слов» с родовым для них преступлением — оскорблением чести государя усиливалась тем, что наказания за оскорбления чести государя распространили и на оскорбления его родственников. Так было и в XVII в., когда жестоко преследовали за «воровские непригожие слова» об отце, матери или невесте царя (500, 25, 37), теперь же, в XVIII в. эта норма была включена в законы. Присяга в верности, как отмечено выше, приносилась не только самодержцу, но и его жене и детям, а указ «О форме суда» 1723 г. в числе государственных преступлений упоминает «слова, противные на Императорское величество и Е г о в е л и ч е с т в а ф а м и л и ю » (193, 400; 587-7, 4344). Позже эта норма закона фактически распространилась и на фаворитов самодержиц, что породило пословицу: «Такой фаворит, что нельзя и говорить». Сфера запретного, сакрального включала и двор, придворных, служителей вплоть до гайдуков. В 1754 г. в Тайной канцелярии «исследовали» (принятый в сыске термин) дело Осипа Никитина, «сужденного за неприличные слова о придворных». Оказалось, что Никитин, согласно доносу, рассказывал товарищам, что на святках императрица Елизавета была в комедии, и «тогда-де попойки много было и халуи-де все перепились, и он, Осип (доносчик. — Е. А.) говорил: “Какие-де тут были холуи? Тут были честные люди, генералы, и тот Иван Никитин неведомо для чего говорил: “Хоть черта поставь, так едет у государыни на запятках”» (72, 2).

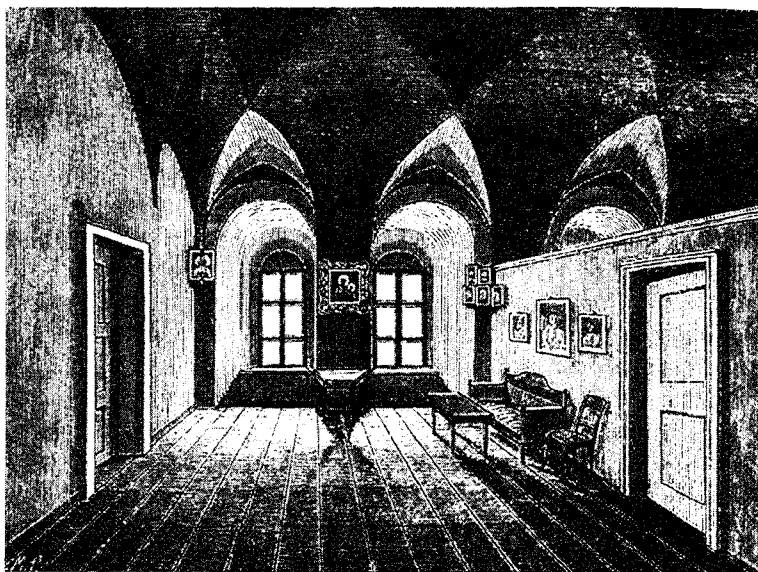
Итак, к «непристойным словам» относилась всякая критика, осуждение, негативные высказывания и оценки личности, государственных, семейных, придворных дел, правления данного монарха (да и других тоже). Вме-

сте с тем «непристойные слова» оказались очень емким юридическим понятием, ими оценивались самые разные высказывания о власти, государе, политике, даже если в них не было сокрыто оскорбительного для чести монарха смысла. О винах Ивана Лопухина, обсуждавшего с приятелями придворные слухи, в указе Елизаветы сказано, что он «высочайшую Ея и.в. персону многими непристойными и зловредными словами оскорблял». При этом выражение «оскорблял» (а также «поносил») не означает, что виновные ругали государыню непечатными словами. Люди лишь сплетничали о нравах и привычках императрицы (660, 195).

При такой беспредельно широкой трактовке понятия «непристойных слов» к государственному преступлению можно было при желании отнести (и относили) л ю б о е высказывание подданного о государе и всем, что с ним связано, в с я к и е суждения, мнения, воспоминания, рассказы о государе и его окружении, даже если в этих рассказах упоминались общеизвестные факты или они были лишь безвредными сплетнями или слухами. В 1718 г. был сурово предупрежден преподаватель Славяно-греко-латинской академии иеромонах Гедеон Вишневский, который в письме к митрополиту Киевскому Иоасафу осторожно сообщал по-латыни, с сохранением всех титулов, новость о бегстве царевича Алексея: «Его высочество Алексей Петрович, отпустив весь двор свой к Москве, поехал с государства. Сказывают, что был в Вене и Риме. А куда заподлинно поворотил и где обретается, то по сие время неизвестно». П.А. Толстой счел это письмо «неприличным» и предупредил всех учителей Академии, «чтоб они впредь ни к кому меж себя о таких неприличных им делах не писали, за что могут быть истязаны жестоко» (200, 296—300). Заметим попутно, что упоминание монархов без титула даже в партикулярном письме считалось преступлением.

После дела царевича Алексея даже самое туманное упоминание о нем стало опасным. В 1722 г. был сослан в Сибирь Гаврило Силин — бывший служитель царевича, который столкнулся на московской улице с гвардейцами и на их вопрос, что за шалун мешает им проехать, сказал: «Я не шалун и служил я при доме государя царевича верно, судить то во Богу, кто нас обидел». Его арестовали, пытали и сослали (33, 1).

Рассказать сказку или легенду о царях-государях и их подвигах, любовных похождениях значило для подданного рисковать головой. В 1714 г. сурово наказали крестьянина Васильева, сказавшего о Петре I: «Государь-де наш княгиням и боярыням не спускает» (88, 264 об.). В 1744 г. бит кнутом и с вырезанием ноздрей сослан в Сибирь сержант Михаил Первов за сказку о Петре I и воре, который спас царя, причем оба героя — царь и вор, в пересказе сержанта отличались симпатичными, даже геройскими чертами (514, 375—336).



Комната принцессы Анны Леопольдовны в здании Успенского монастыря в Холмогорах

Обращение людей к истории было в те времена занятием небезопасным. Прошлое династии, монархии, как и личность самодержца, входило в зону запретного, окруженного молчанием, табу. Одни исторические события и деятели прошлого чтились публично и официально (праздники военных и т.д.), другие события и люди (даже живущие) как будто бы никогда и не существовали. В декабре 1682 г. было предписано не только изъять везде списки царских грамот, которые получили восставшие стрельцы после своей победы в мае 1682 г., но и начались ссылки некоторых из стрельцов «за смутные и на иные непристойные [слова] и московского смутного времени за похвальные слова». Стрельцам было предписано «того дела никаким образом не всчинать и не мыслить и не похвалятца» (195, 244–245). После 1708 г. как бы исчезло имя Мазепы — всякое упоминание о нем неминуемо вело к аресту и ссылке (88, 357–358, 414–415). В 1727 г., с приходом на престол Петра II, были изъяты манифесты 1718 г. по делу его отца царевича Алексея. Тогда же запретили «Правду воли монаршей», в которой Петр I обосновывал право императора по своей воле назначать преемника. Был отменен и учрежденный Петром I церковный праздник 30 августа в честь Александра Невского. Оказывается, что в тексте молитвы был намек на неблагодарное отношение не-

послушного сына к своему отцу. Сам же текст был изъят из всех церквей. Позже Анна Ивановна восстановила этот праздник (775, 223).

При Елизавете Петровне исчезло из истории целое царствование императора Ивана Антоновича (октябрь 1740 — ноябрь 1741 г.). В прошлом, причем недавнем, усилиями Тайной канцелярии выдрали огромную «дыру». Все документы этого царствования, а также изображения, монеты были запрещены и изъятые из обращения. По указу 27 сентября 1744 г. публично сожгли присяжные листы на верноподданство императору Ивану Антоновичу. Указы, протоколы с его титулом («с известным титулом»), иные правительственные бумаги за это время были вырваны из журналов и протоколов всех учреждений. Драли и те книги, в которых находили обычные верноподданнические посвящения юному императору. С этого времени держать у себя документы, монеты и прочее с титулом и изображением Ивана Антоновича с 25 ноября 1741 г. стало преступлением, которое в документах сыска называлось «Хранение на дому запрещенных указов, манифестов и протчего тому подобного» (180, 61—68). В 1755 г. был арестован отставной асессор Михаил Семенов «за имевшие им у себя с известным титулом манифесты», и затем, после расследования, повелено было его сослать в деревню неисходно и навечно. В 1747 г. пытали в застенке подмастерья Каспера Шраде, в бауле которого в таможене Нарвы нашли пять монет с профилем Ивана Антоновича. Шраде сослали в Оренбург на вечное житье. В 1748 г. целовальник Недопекин был взят в Тайную канцелярию, так как он привез из Пскова для сдачи в Соляное комиссарство две бочки денег и при счете среди 3899 рублевиков был обнаружен один с изображением профиля Ивана Антоновича (410, 83—85).

При Елизавете Петровне об Иване Антоновиче нельзя было сказать ни единого слова, а тем более выразить сочувствие ему и его несчастной семье. Место заточения узников в Холмогорах держали в глубочайшей тайне, и в документах того времени оно называлось «Секретной комиссией». Когда в 1745 г. умерла Анна Леопольдовна, в указе Елизаветы ее именовали не бывшей правительницей Российской империи и великой княгиней, а «принцессой Мекленбургской». Имя самого Ивана Антоновича вообще избегали упоминать, а при необходимости обходились эвфемизмом «Известная особа». При Екатерине II Иван Антонович уже официально упоминался, но с «понижением в чине» — не как «император», а как «принц Иоанн» (456, 182).

Знание отечественной истории могло принести человеку большие неприятности. Самым ярким примером того, как любовь к прошлому привела на плаху, служит дело А.П. Вольнского, который написал историческое предисловие к своему проекту о государственных делах, где дал историческую рет-

роспективу от Святого Владимира до петровских времен. Волынский очень интересовался русской историей, читал летописи. Из вопросов следствия видно, что попытка Волынского провести параллели с прошлым была расценена как опасное, антигосударственное деяние. Особо обеспокоило власть то, что он упорно интересовался своими предками. На родовом древе Волынских, известных в русской истории с XIV в., кабинет-министр приказал изобразить двуглавого орла, что в Тайной канцелярии восприняли как попытку кабинет-министра выразить свои претензии на престол. Кроме того, из материалов следствия видно, что особое раздражение следователей вызвало то, что Волынский много читал исторической литературы, пускался в «дерзновенные» исторические аналогии, сравнивал «суетное и опасное» время императрицы Анны Ивановны с правлением Бориса Годунова («Царица в монастыре, растрига в Литве», имея в виду цесаревну Елизавету Петровну и ее племянника Карла-Петера-Ульриха, герцога Голштинского). Нашел Волынский кого сравнить с Шуйским, которым помыкали бояре: «Сыщут и царя Василия Шуйского», а потом сказал о князе А. М. Черкасском: «Ныне его поставят, а назавтра постигут — он за все про все молчит и ничего не говорит!» Эти исторические экскурсы привели к тому, что бывшего кабинет-министра обвинили не только в оскорблении чести императрицы, но и «Высочайшего Самодержавия, и славы, и чести Империи» (304, 153, 155—156, 163; 4, 12, 3, 199, 12, 118, 124 об. и др.).

Под запрет попадали имена ряда исторических деятелей. Только одно упоминание в разговоре имен Отрепьева, Шуйского, Мазепы, Разина и некоторых других «черных героев» русской истории с неизбежностью вело к розыску и наказанию виновного в таком упоминании. Делать так можно было только в царских указах. Примечательно, что только в явно негативном смысле упоминался царь Борис Годунов. В манифесте 14 апреля 1741 г. с ним сравнивали свергнутого незадолго перед этим регента Бирона, претендовавшего на полную власть в империи. Кстати, из этого манифеста следует, что люди XVIII в. факт убийства царевича Дмитрия Годуновым под сомнение не ставили. Оказывается, Годунов, «подкупя злодеев, единокровного брата царя и государя своего царевича Димитрия, юна суща, лестным коварством убити повелел», а также, по мнению авторов манифеста, «не без подозрения», что Годунов отравил царя Федора (248, 99). Иначе было с Иваном Грозным. Петр I считал его великим государем, и на триумфальных воротах 1722 г. зрители могли видеть портрет Ивана Грозного с надписью «Начал» и парный ему портрет Петра I с выразительной надписью «Усовершенствовал» (150-2, 41). На следствии Волынского обвиняли в том, что он называл Ивана IV тираном (3, 206).

Вообще же, историческая память народа, которую отражают дела политического сыска, — тема особого исследования, как и изучение исторических песен. В XVIII в. Иван Грозный оставался одним из самых популярных героев народных рассказов об истории XVI в. В народное сознание запали самые разные эпизоды его царствования. В 1756 г. колодник Федор Зонин рассказывал: «Как-де Казань брали, так татары царя Ивана с раскатов дразнили, заголя жопу, хлопали ладонями: “Вот-де возьмешь!” И царь-де Иван, по взятъе Казани, отдал татарскую царицу Елену на блуд» (8-3, 143 об.). То, что в 1732 г. рассказал самозванец Тружник из Тамбовской провинции, действительно подтверждается историческими источниками. Он говорил крестьянам, что, вступив на престол, будет хорошо править Россией, и при этом вспомнил эпизод расправы царя Ивана со стремянным Васькой Шибановым: «И бояром-де не житье будет, а которые и будут, и тем-де хуже мужика находитца. И буду их судить с протазанами, воткня в ногу, как было при царе Иване Васильевиче» (743, 141).

Как «непристойное слово» воспринимали в политическом сыске различные воспоминания людей о правящем или уже покойных монархах, даже если воспоминания эти были вполне нейтральны и имели своим источником не просто слухи, а официальные документы. Григорий Чечигин в 1728 г., узнав, что бывшая царица Евдокия возвращается в Москву из ссылки, сказал: «Эта-де та царица идет в Москву, которую Глебов блудил (выговорил прямо)». На допросе он показал, что «те слова говорил он, видя о том в печатном манифесте». Это была правда — в опубликованном манифесте от 5 марта 1718 г. сказано, что Степан Глебов «винился, что ходил к ней, бывшей царице, безвременно для того, что жил с нею блудно два года» (752, 477—478). Памятливый Чечигин тем не менее били кнутом и сослали в Сибирь (8-1, 339). В 1733 г. сослали в Сибирь некоего Маликова, который передал товарищу анекдотичный рассказ своего деда о слабоумном царе Иване Алексеевиче — отце императрицы Анны Ивановны: «Как... Иоанн Алексеевич здравствовал и изволил ис покоев своих выйти в нужник, и в то время вор и клятвопреступник стрелецких полков пятисотенный Ивашка Баншиков завалил ево, государя, дровами, и он, Антон, услышав ево, государя, крик, прибежав ко оному нужнику вскоре, оные дрова разобрал и ево, государя, от смерти охранил» (44-2, 225). Общее официальное отношение власти к истории состояло в том, чтобы заставить людей жить только сегодняшним, идеологически одобренным днем, добиться, чтобы подданные меньше вспоминали прошлое. Если же эти воспоминания к тому же имели негативный оттенок, то вина воспоминателя особо усугублялась. После смерти Петра Великого преследовали людей, которые рассказывали разные эпизоды из бурной жизни гроз-

ного царя. Эти воспоминания были по преимуществу отрицательные, шла ли речь о его личности, семейных делах или реформах. Монах Иосиф, получив в 1725 г. манифест о смерти Петра Великого, произнес такую криминальную эпитафию над покойным: «Читаючи ево про Его и.в., говорил с сердца: “Вот-де ходил, жрал, срал, портки подтыкал и то-де в книге написали, да и по церквям-де читай!”» (8-1, 303). Летом 1729 г. в Петергофе несколько садовников, закончив в обед работу, «сели... на лавках и имели все разговор о науках садовых работ и говорили, что-де галанские садовые науки хороши. И оной Кондаков (садовник, который вернулся с учебы из Голландии. — Е. А.), напротив того, говорил, что весьма хороши, и они спросили ево: “Что-де Галандия под ведением ли Его императорского величества?” И он, Кондаков, сказал им, что не под ведением и они-де на него срут, и в полушку не ставят, называют ево катом и вы-де ево...» — и далее следует непристойное выражение, которое невозможно воспроизвести на бумаге (38, 406).

Без риска оказаться без языка или в Сибири нельзя было рассказывать о происхождении российских монархов. А между тем народ в своих рассказах изображал крайне неприличную картину происхождения и жизни своих правителей. «Роды царские пошли неистовые, — рассуждал в 1723 г. тобольский крестьянин Яков Солнышков, — царевна-де Софья Алексеевна, которая царствовала, была блудница и жила блудно с бояры, да и другая царевна, сестра ее (вероятно, Марфа. — Е. А.) жила блудно... и государь-де царь Петр Алексеевич такой же блудник, сжился с блудницею, с простою шведкою, блудным грехом, да ее-де за себя и взял и мы-де за таково государя Богу не молимся... от царевича Алексея Петровича родился царевич от шведки с зубами, неппрост человек» (88, 655).

Такие суждения в многообразных вариациях «записаны» политическим сыском в самых разных концах страны. Бесчисленное множество раз передавались легенды о том, как немецкого мальчика из Кокуя подменили на девочку, которая родилась у царицы Натальи Кирилловны и из этого немецкого (в другом варианте — шведского) мальчика вырос Петр I (775, 95–112). Естественно, толпе не нравилось, что императрица Екатерина I вышла в люди из портомой, что «не прямая царица — наложница», и он «живет с нею, суюкою, императрицею, несколько лет не по закону». Петр II был, как уже сказано, плох тем, что родился от «нечистой» (вариант — «некрещеной девки»), «шведки», что «до закона прижит», да еще и появился на свет с зубами. Об Анне Ивановне ходили слухи, что ее настоящий отец — немец-учитель и что вообще она — «Анютка-поганка». Об Елизавете Петровне говорили одно и то же лет сорок: «выблядок», «прижита до закона», что ей «неподлежит... на

царстве сидеть — она-де не природная и незаконная государыня, императора Петра Великого дочь». Не успел родиться в 1754 г. цесаревич Павел Петрович, как и о нем уже говорили, что он «выблядок» (376, 133; 661, 527; 8-1, 333 об., 361; 44-16, 298; 44-2, 92).

Немало в обществе было и просто дерзкого «глумства» на тему о происхождении царей. В 1729 г. между попом Михаилом Васильевым и крестьянином Василием Носом произошел следующий, записанный потом в протоколе Тайной канцелярии разговор: «Оной-де Нос спросил ево, попа: “Ты что за человек и из кого родился?”». И он, поп, ему сказал: “Я — поп и родился из попа, понеже как отец, так и дед мой были попы, а ты из мужика родился и мужичей ты сын, и дед-де твой хам есть, и тот же Нос на те ево, поповы, слова ему, попу, говорил: “Коли ты меня называешь мужиком, что я родился из мужика, и дед мой был хам, то и Его и.в. родился из бобыля, и те ево слова слышали свидетели по именом семь человек». Спор кончился в сыске для Носа плохо: кнут, вырезание ноздрей, Сибирь, каторга (8-1, 367 об.).

Земной облик и жизнь монарха — тема, которая была безусловно запретной для разговоров и приводила тысячи людей, которые невольно или умышленно ее касались, в застенки. При знакомстве с делами политического сыска создается впечатление, что подданным было запрещено обращать внимание на возраст, пол государя или государыни. Запрет на это вполне укладывается в традиционную систему сакральных представлений о самодержце как о земном Боге. Как писал в 1736 г. Анне Ивановне один челобитчик, Петр Кисельников: «Желал бы я, грешный, видети лице ваше всепресветлое, но не смею, Бог наш на небеси, а императорское величество на земли во веки прибывать. Аминь!» (61, 2 об.). В официальной идеологии у государя, как у Бога, нет возраста и очень слабо обозначается пол. Человеческие болезни государя, его физические недостатки, старость, частная, а тем более — интимная жизнь и вообще всякие сведения о человеческой природе земного небожителя были для подданных под строжайшим запретом, являлись табу. Рассуждать о возрасте правящего государя, об естественных пределах, которые кладет небесный Бог жизни Бога земного значило совершать государственное преступление. Непременно наказывали людей, которые рассуждали, сколько еще лет проживет государь, или касались темы неизбежной в будущем кончины самодержца. В этом видели намек на покушение. В ноябре 1718 г. одного из денщиков А.Д. Меншикова допрашивали о том, говорил ли он «недостойные слова такие, что по которых мест государь жив, а ежели умрет, то быть другим, а [кто] имянно не сказал». В 1719 г. был арестован приказчик Мартынов, который сказал: «А государю не долго жить!» (322, 82). В 1725 г. брянского архимандрита Иосифа обвиняли «в же-

лании смерти» Петру I из-за сказанных им слов: «В животе и в смерти Бог знает какова будет и в три года премена». В 1729 г. расследовали дело посадского Петра Петрова, сказавшего про Петра II «в разговорах»: «Бог знает долго ли пожить будет, ныне времена шаткие» (8-1, 303 об., 366; 15, 1 об.). Одним из главных обвинений епископа Досифея состояло в его якобы «желательстве смерти Государевой» (752, 219).

Проблема пола государя (государыни) в XVIII в. оказалась очень острой — нужно помнить, что в послепетровскую эпоху более 70 лет на престоле сидели преимущественно женщины. Общественному сознанию того времени присуще противоречие: общество (в равной степени как мужчины, так и женщины), с одной стороны, весьма низко ставило женщину как существо нечестивое, неполноценное и недееспособное, но, с другой стороны, должно было официально поклоняться самодержице. «О государыне императрице, — писал в проекте 1730 г. о необходимости образования совета при Анне Ивановне В.Н. Татищев, — хотя мы ее мудростию, благонравием и порядочным правительством довольно уверены, однако ж как есть персона женская, к таким многим трудам неудобна; паче ж законов недостает для того на время, доколе нам Всевышний мужескую персону на престол дарует, потребно нечто для помощи Ея величеству вновь учредить» (405, 155).

Чуть позже, в 1731 г., ту же мысль, но по-своему выразил крестьянин Тимофей Корнеев, который сказал по поводу восшествия на престол Анны Ивановны: «Какая-де это радость, хорошо бы-де у нас быть какому-нибудь царишку, где-де ей, императрице столько знать, как мужской пол, ее-де бабье дело, она-де будет такая ж ябедница, как наша прикащица, все-де будет воровать бояром, а сама-де что знает?» Ему, в отличие от Татищева, урезали язык и сослали на Аргунь (8-1, 145). Известно, что Екатерина II отказалась от предложения принять официальный титул «Матери Отечества». Ее сомнения понять можно, ибо эти священные слова в разговорах ее подданных сплошь и рядом сочетаются с непристойностями.

Поддерживаемая ритуалами и запретами сакральность носительницы высшей власти, самодержицы, общие представления о ее жизни как существовании земного Бога — все это приходило в явное противоречие с ее реальным, подчас далеким от божественного, темным происхождением и порой сомнительным поведением. В 1748 г. колодник Фома Соловьев донес на своего охранника гвардейца Степанова, который рассказал ему, Соловьеву, что накануне он, стоял на часах на крыльце перед опочивальней Елизаветы Петровны и видел, как в палату вошли императрица и граф Алексей Разумовский, а потом ему, через лакея, передали приказ сойти с крыльца. Спус-

каясь вниз, Степанов «помыслил, что всемилостивейшая государыня с Разумовским блуд творят, я-де слышал, как в той палате доски застучали и меня-де в то время взяла дрожь, и хотел-де я, примкнувши штык, того Разумовского заколоть, а означенного лакея хотел же прикладом ударить, только-де я испужался».

На допросе Степанов не отрицал сказанного и уточнил, что он «незнаемо чего испужался и в то-де самое время вздумал он, Степанов, означенного Разумовского за то, что, думал он, оной Разумовской с Ея и.в. блуд творят», но не смог этого сделать, так как «вскоре мимо ево прошел дозор и потом вскоре ж он с того караула [был] сменен». Интересны дальнейшие объяснения солдата: «А заколовши-де оного Разумовского, хотел он, Степанов, Ея и.в. донести, что он того Разумовского заколол за то, что он с Ея императорским величеством блуд творит и уповал он, Степанов, что Ея и.в. за то ему, Степанову, ничего учинить не прикажет, и ежели бы-де означенной дозор и смена ему, Степанову, не помешали, то б он того Разумовского подлинно заколоть был намерен» (8-2, 86—87 об.).

Степанов «испужался» не «незнаемо чего», а страшного для человека того времени противоречия между священностью табуизированной особы самодержицы и кощунственностью заурядного полового акта с нею кого-то из ее подданных. Намерения Степанова ясно говорят, что соитие государыни с подданным он расценил как нападение, насилие, от которого хотел защитить государыню, действуя при этом согласно нормам уставов и присяги, для чего, как он понимал, его и поставили на посту у царской опочивальни.

Сколь разрушительно подобные, размножаемые слухами (как тогда говорили, «эхом») скабрезные истории действовали на священный облик государыни в сознании людей, не приходится много говорить. Дворцовые перевороты силами гвардии и стали возможны потому, что гвардейцы, стоя на постах во дворце, видели «оборотную», закулисную сторону полубожественной, на взгляд простецов с улицы, жизни монархов (120, 26). Екатерина II, придя к власти и зная, что ее воспринимают как жену-злодейку, вела себя крайне осторожно и не только отказалась от титула «Матери Отечества», но и от венчания с Григорием Орловым. Она поняла, что ее подданным будет трудно примириться с мыслью, что по церковным законам брака самодержица должна безропотно покоряться одному из своих подданных — государевых рабов, ибо в обществе реально действовал библейский принцип «да убоится жена мужа своего». Серьезным симптомом падения авторитета власти женщины на троне стал заговор Федора Хитрово и его сообщников, хотевших убить Орловых, а императрицу насильно выдать за бывшего императора

Ивана Антоновича или за одного из его братьев, сидевших тогда в Холмогорах.

Конечно, не все подданные были так чувствительны, как упомянутый преображенец Степанов. От трепетного священного восприятия личности государыни оказалась далека соликамская «жонка» (так в делах сыска называли замужнюю женщину) Матрена Денисьева, которая говорила своему любовнику: «Вот-де мы с тобою забавляемся, то есть чиним блудодеяние (пояснение следствия. — Е. А.), так-де и Всемиловейшая государыня с Алексеем Григорьевичем Разумовским забавляются ж». Еще резче провела эту же параллель солдатская жонка Ульяна: «Мы, грешницы, блудуем, но и Всемиловейшая государыня с... Разумовским живет блудно». В деле Елизаветы Ивановой записано ее высказывание: «Я — блять, но такая-де Всемиловейшая государыня живет с Разумовским блудно» (8-2, 77 об., 93 об., 15 об.).

Разрушение сакральности самодержавия — процесс естественный для конца средневековья, но он резко усилился с того момента, когда в конце XVI в. вымерла династия Рюриковичей и началась борьба за трон. Думается, что пришедшая к власти после Смуты династия Романовых за триста лет своего господства так и не сумела утвердиться в сознании народа как легитимная и авторитетная власть. Нужно согласиться с суждением К.В. Чистова, писавшего, что для возникновения и широкого хождения в народной среде легенд об «истинном царе», добром и справедливом, «необходимо, чтобы правящий царь был признан не “прямым”, не “истинным”, “не прирожденным”» (772, 95). Поведение царей и цариц XVIII в. как бы постоянно подтверждало «неистинность» происхождения членов династии Романовых. Петр I своим «плебейским» поведением, невиданными реформами и малопочтенными в глазах народа адюльтерами сильно разрушил святость восприятия самодержавия. Женщины, сидевшие после него на русском троне, окруженные любовниками и проходимцами, усугубили этот разрушительный процесс. Данные политического сыска XVIII в. убеждают, что для народа не существовало ни одного порядочного, доброго, мудрого, справедливого к людям монарха. А уж о моральном облике почти всех государей в общественном сознании имелось устойчивое отрицательное суждение. Люди, сами далекие от праведной, высокоморальной жизни, были необыкновенно требовательны к нравственности своего повелителя или повелительницы. Только просидевший всю свою жизнь в тюрьме Иван Антонович да убитый женой-злодейкой император Петр III вызывали народные симпатии, да и то скорее всего потому, что они не успели поцарствовать и нагрешить. Впрочем, воцарившегося всего на полгода Петра III с самого начала окрестили «чертом» и «шпиеном».

Словом, в XVIII в. от официальной доктрины о царе как земном Боге, кроме шлейфа непристойностей на эту тему, ничего не осталось. Подданные, особенно в своем узком кругу, да порой и публично, без всякого почтения высказывались о своих прежних и нынешних правителях как о земных, грешных людях, порой безапелляционно, цинично и грубо судили их поступки. Типичным было высказывание старосты в сборной избе о Петре I: «Какой у нас царь? Царишка! Измотался весь. Оставил Москву, живет в Питере и строит город». Несколько женщин были арестованы в 1736 г. за «непристойный разговор» о земном Боге, точнее о «богине»: «Един Бог без греха, а государыня плоть себе имеет, она-де гребетца» (44-4, 250). Весной 1739 г. в подмосковной деревне пятеро крестьян, в том числе Григорий Карпов и Кирилов, пахали пашню, потом, сидя за обедом в поле, «прислыша в Москве пальбу ис пушек», обсуждали это событие. Крестьянин Кирилов сказал: «Палят знатно для какой-нибудь радости про здоровье государыни нашей императрицы». И Карпов молвил: «Какой-то радости быть?» И он же, Кирилов, говорил: «Как-та у нашей государыни без радости, она, государыня, земной Бог, и нам велено о ней, государыне, Бога молить». И тот же Карпов избранил: «Растакая она мать, какая она земной Бог — сука, баба, такой же человек, что и мы: ест хлеб и испражняетца, и мочитца, годитца же и ее делать»» (322, 88; 44-4, 342 об.).

Вообще, женщина, да еще незамужняя или вдовая, на священном престоле русских царей — тема неисчерпаемая для «непристойных» и непристойных без кавычек разговоров, за которые людей тащили в сыск, резали языки и ссылали в Сибирь. Можно выделить несколько блоков таких «непристойных слов», которые считались преступными. Во-первых, это уничижительные высказывания о государыне как о «бабе»: «У нас-де ныне баба царствует... Владеет государством баба и ничего она не знает... У бабы волос долог, а ум короток (пословица эта часто применялась к императрицам, как и другая: «Горе тому дому, которым владеет жена» — 356, 14)... У государыни-де ума нет... Недостойно в нашем Великороссийском государстве женскому полу на царстве сидеть... У нас на царство посадили царицу, она-де баба — курва... Черт велел бабе кланяться... Я-де с нею, императрицею, в бане парился... Вот-де ныне зачалась война, бабье ль дело — такое великое государство и войну содержать и корону иметь... К присяге не пойду... как уже жонки царем, так пушай и крест целуют жонки... За бабу, за свинью присягу держи!.. Ты присягал курве!.. Я бабья указа не слушаю... Целовал я крест не за Ея величество, за суку... Ево в солдаты не возьмут, ныне царя нет, нашто-де бабе салдаты?.. Где ей, такой беспортошной, нас жаловать... Назвал государыню бабой...».

Сажали людей также за тост: «Здравствуй (Пусть здравствует. — Е. А.) Всемиловитейшая государыня, хотя она и баба, да всю землю держит!», за вопросы: «Разве ты у суки служишь?», «На что бабе города?» (о взятии Очакова), «Для чего бабу со звоном встречают?», «Есть ли у нее муж?... [а] если мужа нет, кто-де ее гребет?» (112, 326; 44-2, 117, 179, 242, 299, 357 об., 358—360; 44-10, 128, 145 об.; 44-16, 359 об.; 67-2 об.; 8-1, 125 об., 129, 148; 181, 320; 8-2, 61, 81; 661, 527).

Во-вторых, это обсуждение интимной жизни государыни. В основном это разговоры и споры на следующие преступные темы:

1. Предшествующая и нынешняя «блудная история» самодержицы («Государь государыню прогвоздил в девках»; «Мы-де, матушка, знаем, как она, государыня, в девицах жила» — о Екатерине I). Такие или подобные «речи» о том, кто государыню «попехивает», были о каждой императрице.

2. Персональный состав любовников императриц, с кем они «блудно («телесно») живут». Среди этих счастливых молва числила самых разных людей. Особенно много грязи выливали на Елизавету Петровну. Образец: «Сначала ее князь Иван Долгорукой погреб (выговорил то скверно), а потом Алексей Шубин, а ныне-де Алексей Григорьевич Разумовский гребет» — из дела сержанта Чебышева (8-2, 51; 8-1, 315).

3. Тайные «чреватства» и рождение детей у императриц, а также судьба этих детей. Это слухи о детях Анны Ивановны («У государыни Анны Иоанновны есть сын в Курляндской земле»; «Слышал он в народной молве, будто у Ея и.в. имеетца сын»), но более всего говорили о тайных детях Елизаветы Петровны, что способствовало появлению широко известной легенды о «Таракановых» (8-1, 146; 44-2, 11—12; 203, 233).

4. Различные альковные подробности, начиная с аборт (дело Ивана Айгустова, который объяснял успехи Лестока при Елизавете Петровне именно умением их делать — 8-2, 56 об.) и кончая рассказами о закулисной, обычно непристойной с точки зрения народной морали, жизни двора. Дворовый помещик Милюков Василий Герасимов в 1735 г. был пытан в застенке по поводу сказанных им слов: «Господин их пропал от генерала Бирона, которой приехал з государынею императрицею и с нею, государынею, живет и водитца рука за руку, да и наш-де господин был пташка, и сам было к самой государыне прирезался, как она, государыня, в покоях своих изволила опочивать и тогда-де господин мой, пришел во дворец, вошел в комнату, где она, государыня, изволила опочивать и, увидя ее, государыню, в одной сорочке, весь задрожал, и государыня, увидя ево, изволила спросить: “Зачем-де ты, Милюков, пришел?” и он-де государыне сказал: “Я-де, государыня, пришел проститца” и пошел-де из комнаты, вышел вон». Это и послужило причиной опалы Милюкова, пострадавшего от подозрений ревнивого Биро-

на, который следил, чтобы никто, кроме него, к императрице не «прирезался» (54, 1—2).

Нельзя было оскорблять и различные государственные учреждения — ведь они воспринимались как проводники государевой воли. Известно, что оскорбление учреждений (в том числе просто ругань в их помещении) рассценивалось как нанесение ущерба чести государя (см. 584, 24—25). Подканцелярист Фатей Крылов в 1732 г. «прославился» дерзостью, когда «Новоладожскую воеводскую канцелярию бранил матерно: мать-де, как боду забить-де в нее такой уд я хочу, тое канцелярию блудно делать» (42-2, 46 об.). Так же непристойно в 1732 г. поступил сборщик конских пошлин Иванов, который «бранил и ругал весь народ и сулил естество свое всякому в рот и поносил присяжную должность» (42-1, 187). В 1747 г. был сурово наказан капрал Фролов, который, обращаясь к Камер-коллегии, точнее — к ее «матери», сказал об этом серьезном учреждении, что «я-де мать твою розгреб (выговорил по-соромски)». Пороли кнутом и одного канцеляриста, который обещал сделать нечто подобное с казенной инструкцией (8-4, 26).

Запрещено было всуе помянуть само сыскное ведомство, а тем более шантажировать им людей. В 1703 г. бит кнутом и записан в «роспись с ворами» старец Протасий, который, придя в монастырскую трапезную пьяным, просил прощения за это у игумена Максима и при этом сказал: «Прости меня, а если не простишь и ты будешь на Москве в Преображенском приказе, и на тебе голова не удержится» (88-1, 54 об.—55). В 1734 г. монах Иона шантажировал архимандрита Мефодия, о тайных грешках которого он каким-то образом узнал: «Здесь меня бить не станешь, я-де готов с тобою судитца, пойдем со мною в Тайную канцелярию...» (44-4, 396; см. также 77-1; 69, 3 об.). Среди преступлений, которые в проекте Уложения 1754 г. предложено таковыми не считать, упомянута и «угроза кому-либо Тайной канцелярией» (180, 61).

К названным преступлениям относится *брань*, по преимуществу нецензурная, грязная («поносные слова», «матерные слова», «слова по-соромски») по адресу персоны государя, его власти, государевых указов и т.д. Записи о таких преступлениях — самые многочисленные, хотя и довольно однообразные. Приведу несколько типичных примеров и этим ограничусь. Иеродьякон Иван Черкин, сидевший в 1727 г. на цепи в колодничей палате Вышнего суда, требовал своего освобождения и «избрал Его и.в. матерны». Подьячий Степан Дятлов сказал: «Мать твою прободу и с императором». Дворцовый крестьянин Тарасий Истомин в 1728 г. так выразился о Петре II: «Я-де насерю на государя». Однодворец Иван Клыков «Его и.в. бранил ма-

терно прямо: “Мать ево так и с тобою!”. Мичман Василий Шокуров обвинялся в том, что «поносил честь Ея и.в. бранными словами».

Немалое число дел было заведено о сквернословцах, что нецензурные слова в их речи являлись не оскорблением государя, а необходимым служебным членом предложения. Общество к этому относилось вполне терпимо до тех пор, пока в потоке выразительной русской речи экспрессивное, бранное слово не оказывалось в опасной близости от имени государя (государыни) или рядом со словом «государь» («государыня»). В 1736 г. велось дело придворного официанта Ивана Маркелова, который вбежал в дворцовый винный погреб и грубо потребовал у служителя Шукина бутылку вина, чтобы нести его «наверх». Шукин же, поставив бутылку на стол, «говорил тому Маркелову: “Что ж-де ты гневна, государыня моя?”», на что Маркелов, выходя из погреба, крикнул: «“Я государыню гребу!” (выговорил прямо)». Бывший в погребе солдат Кирилл Савостьянов донес на Маркелова. На следствии Маркелов безуспешно пытался объяснить следователям, что имел в виду якобы собственную жену: «У меня есть жена, государыня моя, так я ее гребу и оные слова он, Маркелов, говорил с простоты своей». Сквернословца Маркелова били плетьюми и записали в солдаты. Впрочем, пороли батогами и Шукина, который явно процитировал не к месту известную тогда песню о барыне-государыне и тем самым спровоцировал Маркелова на грубость. Шукина наказали, «дабы впредь от неприличных слов имел он, Шукин, воздержание» (62, 4 об. — 5). Хуже было попу Иванову в 1739 г., на которого донесли, что он при возглашении с паперти указа сказал что-то «неприличное» тотчас после имени императрицы. Его объяснения, что произошло это за «вышеозначенным... пьянством от косности языка, не выговоря того, молвил», приняты во внимание не были (44-2, 141).

Титул императора, т.е. перечень всех подвластных ему царств и владений, как и его личное имя, считались священными. *Оскорблением титула* считались различные физические действия, жесты, движения и слова (устные и письменные), которые каким-то образом принижали или оскорбляли значение титула. В 1740 г. писарь Вершинин приказал копиисту Федорову исправить именной указ, присланный почему-то в замаранном виде. Федоров начал дописывать и подчищать расплывшиеся и неясные слова, пока не дошел до титула Анны Ивановны. Тут он остановился и сказал начальнику: «Титула Ея и.в. вычищать невозможно», за что Вершинин «избрал ево, Федорова, матерно прямо и с титулом (т.е. вместе. — Е. А.)». За это оскорбление титула Вершинина били плетями и записали в солдаты (44-4, 404).

Оскорблением титула государя считалось соединение его в тексте не только с каким-нибудь непристойным эпитетом, но и упоминание самого имени монарха без официально принятого титула. В 1739 г. один посадский сказал: «У нас-де, много в слободе Аннов Иоанновнов». Посадского забрали в сыск, как и столяра Никифора Муравьева, обещавшего в 1732 г. пожаловаться на бюрократов, «волочивших» его дело в Коммерц-коллегии. Возмущенный волокитой, он в сердцах сказал, что намерен пойти «к Анне Ивановне с челобитной, она рассудит». Рассудила его не императрица, а Тайная канцелярия: за употребление имени государыни без титула Муравьева бить плетями (44-4, 294; 124, 588–589). В 1735 г. сидевший в гостях дворянин Федор Милашевич расчувствовался от выпитого. Говоря о какой-то девке Анне, он взял рубль с изображением государыни Анны Ивановны и сказал, что ему нет дороже имени, чем имя Анны. Обвинение было таким: сказал «продерзостные слова», а именно: «К простому имени Анны применил имя Ея и.в.» (97, 35–43). Бывший фельдмаршал Б.Х. Миних, сидевший в Березове с 1742 г., присылал на имя императрицы Елизаветы Петровны высокопарные письма-прошения. Он сильно рисковал, когда в приступе красноречия обращался в послании 1746 г. к императрице: «Зачем, Елизавета Петровна, зачем не слушаешь ты Миниха!» (754, 1442). Но все обошлось благополучно потому, что писал он по-французски, а это допускало подобную фамильярную форму обращения.

В 1735 г. было начато дело об огубленном псалме на восшествие императрицы Анны Ивановны пера В.К. Тредиаковского. Главнокомандующий Москвы С.А. Салтыков, опираясь на донос, поступивший из Костромы, сообщал А.И. Ушакову, что в псалме «в титуле Ея и.в. явилось напечатано не по форме», а именно псалом начинался словами «Да здравствует днесь Императрикс Анна!». Ушаков вызвал поэта и потребовал, чтобы тот дал письменное объяснение, «особливо о сем слове И м п е р а т р и к с». Тредиаковский, крупнейший в России теоретик стиха, сочинил в свое оправдание целый трактат, где попытался объяснить Ушакову, что «стих, в котором положено слово “Императрикс”, есть пентаметр, то есть пять мер или стоп имеющий... Употребил я сие латинское слово “Императрикс” для того, что мера стиха сего требовала, ибо лишний бы слог был в слове “Императрица”, но что чрез оное слово никакого нет урона в высочайшем титле Ея и.в., но не токмо латинский язык довольно меня оправдывает, но и сверх того еще и стихотворная наука». Поэт объясняет что проза, на которой говорит генерал Ушаков, отличается от стиха, которым пользуется пиит для «красного великолепия» и что и во Франции Людовика XIV поэты безбоязненно называют просто «Бюрбон». Поэт оскорбился подозрением, что он не уважает го-

сударыню: «На меня клеветуют, что мне долженствовало быть в похвалу и что я сочинил превеликою радостию движемши, как самая песнь радостный жар стихотворца бывший во мне довольно изъясняет». Трактат удовлетворил Ушакова, который отпустил в Кострому доносчика — бдительного читателя псалмов, а дело приказал закрыть, ибо оно «к важности не касается», т.е. за отсутствием состава преступления (258).

Вообще, в то время обращение с титулом государя требовало от подданных особого внимания. Так, преступлением считалось упоминание с титулом имени Гришки Отрепьева. Монастырский служка Никита Клепиков в 1718 г. угодил на каторгу за то, что во время заточения бывшей царицы Евдокии — старицы Елены в суздальском Покровском монастыре «в роскошных книгах писал ее “сударыней царицей”, а не “бывшею”» (8-1, 35). Начиная с 1741 г., как уже отмечалось выше, запрещалось писать и говорить, что Иван Антонович был когда-то императором. Ивана Лопухина в 1743 г. обвиняли в том, что он упоминал Ивана Антоновича с титулом «император» и «величество» (660, 17).

Существовали два основных вида оскорбления царского указа. К оскорблению словом относится пренебрежительное название государева указа «воровским», «блядским», «лживым», «указишкой», различное сквернословие и брань при чтении указа: «Растакие-де, вашей матери и с указом императорским»; «Мать их гребу (выговорил то слово прямо), мне такая пустья указы надокучили», уничижительные (без мата) утверждения типа: «Указ тот учинен воровски и на тот-де указ я плюю!», «Да я на него [указ] плюю!», «Тот указ гроша не стоит и плюнуть в указ», «А к черту его государев указ!», «Указ у тебя воровской и писан у бабушки в заходе и тем указом жопу подтирать». Кстати, этот совет: «Ты оным указом три жопу» — был довольно популярен в среде русского народа и за него исправно пороли кнутом и ссылали в Сибирь (см. 197, 183; 8-1, 128 об., 305; 42-1, 142; 88, 107 об.; 44-2, 246, 357; 42-2, 46, 277, 122 об.; 322, 76).

В 1734 г. копиист Александр Коковинский обнаружил на обороте формуляра о титулах Ее и.в., вывешенного в помещении Крепостной конторы в Юрьеве-Поволжском, некие «скверные слова» и передал документ своему начальнику — старому подьячему Осипу Корепанову. На казенной бумаге с титулами было дерзновенно приписано: «Катался ночью Оська Корепанов и потоптал Анну Вытчикову, за руку поднял и отвел в закоулок, подол поднял и блудил (написано прямо) и добыл робенка Гришку». Оскорбленный таким изветом Корепанов донес «куда надлежит», и вскоре выяснилось, что это приписка руки сына подьячего Попова, который это сочинил «в мало-

летстве глупостью своею». За провинность малолетнего грамотея поролі плетью (44-2, 267). И это наказание можно считать мягким — во второй половине XVII в. за скверные слова и знаки на царском указе отсекали руку (259, 464).

Последним в бесконечном ряду хулителей указов, попавших в Тайную канцелярию перед ее ликвидацией в начале 1762 г., стоит арзамасский поп Григорий Дмитриев, который вырвал из рук подьячего манифест о смерти Елизаветы Петровны и о вступлении на трон Петра III и, погнавшись за сомнительной рифмой, сказал: «Писано на памятьИ и велено вас перегрести!» (82, 75 об.).

К виду оскорблений государева указа действием относилось необнажение головы при чтении указа, порча и «изодраніе» его, небрежное с ним обращение, а кроме того, использование указа, точнее — листа бумаги, на котором был написан или напечатан текст указа, не по назначению. Шуйский староста Постнича Кирилов, который, по извету доносчиков, «лаял матерно мирских людей», обвинялся в том, что «тое их челобитню бросил по столу, а в той-де челобитной нас, Великого государя, имя написано...». Его допрашивали о том, «для чего он ее (челобитную. — Е. А.) бросил, и к какой мере те непригожие речи говорил, и кто иных людей те речи от него слышали?» (500, 44). Обвиняли в непочтении царского указа и посадского Великих Лук Петра Немчинова, который в 1725 г. в споре об огороде, «приняв челобитную, бросал и [тем] обесчестил Ея и.в. титуло». В 1730 г. в Сибирь сослали посадского Василия Прядильщикова, который был обвинен «в пренебрежении чести Его и.в. титула...», а именно «бросал ругательски доношение». В 1732 г. батогами поролі ямщика «за бросанье на землю подорожной», в которой было написано «титуло государево» (8-1, 302, 143 об.; 42-3, 133).

Енисейский боярский сын Федор Усов дерзновенно носил царскую грамоту за голенищем, а некий Игнатий Федоров его укорял за это: «Тое грамоту носит не по чину: доведетца-де государеву грамоту носить и выше того — за пазухою» (250, 230—231). На казака Артемия Жареного донесли, что он «письменными явками трет (в нужнике. — Е. А.), а в явках-де написано государское имя». Казак оправдывался, что «трет словесными явками, а не письменными», т.е. записями черновыми, без титулов и имени государя. Так и не выяснив, чем пользуется казак в нужнике, было решено доносчика «бить батоги нещадно и посадить в тюрьму на неделю, чтоб иным таких дел неповадно было затевать и ко государскому имени таким бездельем приводить» (500, 40—41).

Весьма распространенными были преступления «в дороге». Речь идет о случаях, когда проезжий человек отказывался слушать чтение царского указа на яме, оправдываясь тем, что сделает это дома, «в своей команде». Наказанию подвергался и тот проезжий, который «от неразуменья» не снимал

при чтении государева указа шапку (180, 64). Ведь обнажать голову было обязательным условием при оглашении государева указа. Не сделавший этого хотя вместе с шапкой головы не терял, но плети получал обязательно. Не пропускать без наказания даже такой угрозы, которую высказал в 1730 г. монах Карион: «Я-де эти слова и перед нею, государынею, буду говорить, не скинувши шапки» (8-1, 144 об.).

Как государственное преступление, как оскорбление чести государя расценивалось *небрежное или непочтительное обращение подданных с изображением государя* на живописных портретах («парсунах»), гравюрах, оттисках на монетах. Для шутников и проказников обычно плохо кончались различные шутки, жесты и манипуляции подданных с портретами царей, которые с Петровской эпохи стали вывешивать в присутственных местах и в домах подданных. В 1720 г. певчий Андрей Савельев был арестован за то, что, как пишет хозяин - доносчик дяк Иван Климонтов, «держав у себя в руках трость, смотря на персону Царского величества, подняв тое трость, указывая на оную персону Его в., махал тою тростью и говорит он “ты”, а в какую силу, того он не знает и он, Климонтов, его, Савельева, выбил из избы вон на улицу». Сам же Савельев утверждал, что он «из-за того ж стола во время обеда ходил он, Андрей, для нужды на двор и, пришел в избу, усмотрил на персоне Царского величества, которая в той избе его стояла на стене, [что] сидят мухи, а у него в руках была трость с лентою и он тою лентою, которая в трости, обмахнул те мухи и сел за стол на прежнее место, а потом... пошел из дому ево (Климонтова. — Е. А.) самовольно, а не [был] выбит». И хотя этот проступок и не был так страшен, как действия солдата Сергея Коновалова, который в 1715 г. истыкал шпагой портрет царевича Алексея, тем не менее ссылка на мух не помогла щеголю с тростью: он, согласно приговору, проявил «непотребное дерзновение, что он, напився пьян и пришел в дом... подняв трость свою, и, смотря на персону Его и.в., которая стояла на стене, махал и притом говорил непристойные слова». В 1718 г. был наказан шведский пленный Иоганн Старшинт, который «ударил рукою по персоне Царского величества, которая написана при Полтавской баталии и говорил... будто не так написана», а именно что «государь при баталии был в сапогах, а на картине в чулках и чириках» (88, 275 об.; 22, 1—6 об.; 102, 182—183).

В 1728 г. наказали пожизненной ссылкой в Сибирь хирургического ученика Ивана Черногогородского, который, по словам доносчика Богатырева, глядя на портрет Петра II, сказал непонятные слова «Эта-де, еще спинке!». Эти слова были восприняты как «оскорбление изображения Его и.в.» (21-1, 336 об.).

В 1719 г. в Преображенский приказ доставили подьячего Никифора Постникова, который «выстрелил из ружья в герб государев», стоявший на крыше кабака (89, 808 об.). В 1761 г. был арестован посадский Петр Тетнев «за плевание на российский герб» (80, 4), как и за 99 лет до этого, в 1660 г., схватили Григория Плещеева, который плюнул на парсуну Ивана Грозного — факт, несомненно, важный как для истории политического сыска (первое упоминание подобного рода оскорблений), так и для весьма бедной иконографии первого русского царя (353, 231—232). В XVIII в. не раз издавали указы, запрещавшие продавать парсуны государей, если высочайшее лицо оказывалось мало похожим на прекрасный оригинал (указы 1723 и 1744 гг.). В проекте Уложения 1754 г. сказано, что все портреты государыни и членов высочайшей фамилии «писать искусным и свидетельствованным в добром мастерстве живописцам со всякою опасностью и прилежным тщанием» (596, 77). Державших у себя топорные портреты надлежало штрафовать, а тем же, «которые такие портреты будут писать неискусно, чинить наказание плетью». Возможно, с этим отчасти связаны успехи русского портретного искусства во второй половине XVIII в.?

В знаменитой оде «Фелица» Г.Р. Державин хвалил императрицу Екатерину II за то, что в ее правление уже нет прежних ужасов и

Можно пошептать в беседах
И, казни не боясь, в обедах
За здоровье царей не пить.
Там с именем Фелицы можно
В строке описку поскоблить
Или портрет неосторожно
Ее на землю уронить.

Действительно, до Екатерины строгим допросам и пыткам подвергали тех людей, которые неуважительно относились к монетам с профилем царственных особ. В 1739 г. пытали явно ненормальную подьяческую «жонку» Феклу Сергееву, которая «легла на пол и, заворотя подол, тем рублевином (с профилем Анны Ивановны. — Е. А.), обнажа свой тайный уд, покрывала» (86-4, 231). Канцелярист Бирюков в ответ на шутку товарища, державшего в руке рубль с «персоною Ея и.в.», что-де «хорошо б на тое манету купить винца», грубо сказал: «Полно, положи ее тут же, я на нее насерю, у меня есть и своих в доме довольно» (44-2, 62 об.). Во времена Елизаветы камер-юнга Иван Петров обвинялся в «бросании имевшаго у него полтинника на пол и о брани одного матерно» (8-2, 69 об.).

Преступлением против государя считалось небрежное отношение к монетам, на которых хотя и не было портрета, но были герб и вензель госуда-

рев. В 1738 г. ялutorский крестьянин Суслов избрал весьма странную форму оскорбления государыни: «Выняв у себя из мешечка полушку и незнаемо для чего, положи на плаху, перерубил пополам и, перерубя, говорил: “Мать грёбу царское величество!”» (8-2, 61). Другой хулиган, при стечении народа, «вынув ис кармана деньги (т.е. полушку. — Е. А.), бросил наземь и бранил тое деньги матерно: “Мать ее так!”» (8-2, 176 об.).

Становились преступниками и те, кто бросал печати или монеты с портретом государя случайно, «просто, а не со злобы». Алексеев донес, что помещица Тинкова, получив в 1759 г. за проданный хлеб в начале года от старосты несколько мешков медных денег и «взяв один мешок, ударила об кровать и говорила: “Тфу-де, б... пропасть! Какая это тягость, где-де девались серебряные денги, что-де нынче все медныя”, а притом, кроме ево [Алексеева], никого не было» (83, 29 об.—31). Тогда же расследовали дело по извету дворового Анкундина Микулина, который донес на свою помещицу Устинью Мельницкую «о убийти ею на рублевой манете, на патрете... императрицы Елизаветы Петровны, воши» (8-2, 69). В 1748 г. пороли колодника Зуева за следующую, довольно редкую вину: «Шишков помянутому Зуеву в разговорах говорил: “Возьми мою куму Варвару себе замуж, у ней-де денег много!” и Зуев-де говорил слова такія: “Разгреб-де ее мать и з деньгами». А все участники дела знали, что на деньгах-то портрет или вензель государыни! И Зуеву не помогли оправдания, что «объявленныя-де слова говорил он обмолвкою, что хотел только избранить одну солдатскую жену Варвару, да обмолвясь выговорил “Мать-де разгреб и з деньгами” с проста, без умысла» (8-4, 188 об.).

Отказ поднять тост за здоровье Величества (*«непитие за здравие»*) рассматривали как явное неуважение чести повелителя, как вид магического оскорбления, нанесения ущерба здоровью государя. Кроме того, не пить за здоровье государя значило показать непочтение, нелюбовь к государю. В 1720 г. на целовальника Никиту Дементьева донесли, что он «нелюбит государя, потому что не пьет за его здоровье» (89, 448 об.). Вокруг таких дел начинались споры сторон потому, что изветчик и ответчик обычно сидели за одним столом и были уже пьяны в момент преступления. В 1732 г. поручик Алексей Арбузов донес на прапорщика Василия Уварова «в непитии за здравие» Анны Ивановны, когда ему за обеденным столом у воеводы поднесли рюмку. Оправдываясь, Уваров утверждал, что крепкое вино у него душа не принимает, поэтому он и не пил. Расследование установило, что бдительный поручик, вероятно с пьяных глаз, перепутал насчет Уварова. Тот показал на допросах, что «до 24 апреля в компаниях он вино и пиво

пил и, видя от того питья себе вред, пить перестал от 24 числа, а 28 числа (в гостях. — Е. А.), когда воевода предложил всем по рюмке водки за здоровье Ея величества и он выпил, а не пил только другую, предложенную Арбузовым». Гости воеводы подтвердили показания Уварова и ложного извetchика Арбузова понизили чином (124. 590—593). Не смог привести оправданий в свой адрес и был лишен воеводства в Симбирске князь Вяземский, который объяснял, что не пил за здоровье государыни потому, что не расслышал, «понеже он и другие в то время были шумны», но ему не поверили (42-1, 76).

Если здесь можно еще спорить, слышал ли воевода тост или нет, то в деле 1731 г. о дворянине Курове спорить было не о чем. Он, в ответ на уговоры хозяина застолья попа Мартына повторить тост за здоровье государыни Анны Ивановны и, «приняв чарку с вином, говорил: “Поп-де, а поп, кто тебя греб? (выговорил прямо), но понеже поп, да дьячок говорили тому Курову, чтоб он пил про здоровье Ея и.в. имянинницы, и Куров выпил чарку вотки, и поставя на поднос, приняв стакан с пивом и оборотясь к тому попу говорил: “Мать-де твою боду и с ымяненищею” (выговорил прямо)» (8-1, 148 об.—149).

При всем этом нужно учитывать, что пить тост следовало до дна и при этом полный «покал», чарку, стакан или рюмку. Еще в 1625 г. Григорий Федоров донес на Павла Хмелевского, который «про Государево многолетнее здоровье» пил недостаточно «честно, на з е м л ю л и в » (141, 171—172). О преступлении Г.Н. Теплова писал в своем доносе 1749 г. большой знаток и любитель хмельного канцлер А.П. Бестужев-Рюмин. Как сообщал государыне Бестужев, Теплов, выпивая за здоровье А.Г. Разумовского, «в... покал только ложки с полторы налил», тогда как канцлер «принуждал его оной полон выпить, говоря, что он должен полон выпить за здоровье такого человека, который Ея и.в. верен и в Ея высочайшей милости находится».

В своем доносе он вспоминает и недавний, по его мнению, безнравственный поступок и обер-церемониймейстера Веселовского, который «на прощательном обеде у посла лорда Гиндфорта, как посол, наливши полный покал, пил здоровье, чтоб благополучное Ея и.в. государствование более лет продолжалось, нежели в том поcale капель, то и все оный пили, а один Веселовский полон пить не хотел, но ложки с полторы и то с водою токмо налил, и в том упрямо пред всеми стоял, хотя канцлер из ревности к Ея величеству и из стыда пред послами ему по-русски и говорил, что он должен сие здоровье полным поcaleм пить, как верный раб, так и потому, что ему от Ея и.в. много милости показано пожалованием его из малого чина в толь знатный» (349, 92—93). После этого понятно, почему сослали в 1739 г. монаха Игнатия из Казани. Он совершил преступление: выпил за здоровье императрицы лишь половину стакана, а другую половину выплеснул под лавку,

сплюнул и на вопрос товарища: «Для чего ты плюешь, она — Всемиловейшая государыня-матушка наша?» — Игнатий отвечал с пренебрежением: «Какая-де она нам мать?»

В доносе Бестужева ссылка на то, что Веселовский пил здоровье разбавленным водой вином. Это тоже было недостойно верноподданного. В 1626 г. Савин Кляпиков доносил на тобольского воеводу, что он ворует вино и разбавляет его водой, а между тем «на государевы ангелы, для Государьсково многолетново здоровья дают всяким людям смешаны вполы с водою», что изветчик, не без оснований, считал государственным преступлением (588, 41).

Крайне опасны были различные тосты с обратным знаком — «непожелания здоровья», или «пожелания нездоровья», или «сопроводительные» пожеланию ругательства. В 1700 г. приказчика Петра Астафьева били кнутом и сослали в Вологду за то, что он при питье браги за здоровье Петра I сказал: «Я-де за него, Государя, Бога не молю и плюну» (90, 591 об.). В 1735 г. колодники Московской канцелярии, получив хлеб, «молились за здоровье Ея и.в. Богу и говорили: “Дай, Боже, здравствовать Государыне нашей, матушке, что она нас поит и кормит”», и оной Ларионов (колодник, на которого и донесли. — Е. А.) Богу не молился и говорил: “Дай-де, Господи, матушке нашей Анне Иоанновне не здравствовать за [то], что она мне хлеба не дает» (44-2, 11 об.). Солдату Михаилу Васильеву в 1730 г. «урезали язык» за то, что в шинке, на призыв собутыльника выпить за здоровье Анны Ивановны, «избрал матерно тако: “Мать-де ее боду (выговорил прямо)!”». Ульяна Ульрихина из Переславля-Рязанского была взята в Тайную канцелярию за то, что вместо провозглашения тоста «За здоровье Ея и.в.» запела «Вечную память». Позже она объясняла, что произошло это случайно и «у трезвой у нее в мысли того никогда ни для чего не было» (42-1, 110). В 1761 г. арестовали дьячка Рурицкого, который возгласение о здравии Елизаветы Петровны запел «заупокойным напевом» (78, 1).

Поднимая тост за здоровье царственных особ, патриотам следовало умерять свой пыл, чтобы не попасть впросак. Известно, что князь Юрий Долгорукий и князь Александр Бяратинский были сосланы в 1731 г. в Сибирь после того, как произнесли излишне пламенный тост в честь цесаревны Елизаветы Петровны. Как сообщил в своем доносе поручик Степан Крюковский, Долгорукий и Бяратинский говорили в застолье своему собутыльнику Егору Столетову (его тоже сослали на Урал), что они «так цесаревну любят и ей верны, что за нее умереть готовы» (97, 78). Эти эмоции запьяневших друзей были плохо восприняты императрицей Анной Ивановной, видевшей в Елизавете свою соперницу.

Преступлением считались попытки препятствовать патриотам поднимать тост за здоровье Величества и возглашать «Многия лета». В 1748 г. ар-

хирейский дворянин Петр Петров донес на жену секретаря Поздеева Феклу, за столом у которой произошел скандал, так описанный доносчиком: «Дьякон Григорей начал петь многолетия Ея и.в. [и] вышеозначенная Поздеева жена на одного дьякона за то рассердясь, ударила его, дьякона, в грудь, которой от того удара упал на пол, и при том она ж Поздеева жена одному дьякону говорила: “Чтоб-де я от тебя и впредь таких речей не слыхала!”, а для чего она те слова говорила, того он не знает, токмо оной Поздеевой в то время таких слов говорить не подлежало, и оной дьякон то многолетия не окончал, и то многолетие, по запрещении оной Поздеевой жены, петь перестал» (8-4, 208 об. — 209).

Лишь в середине XVIII в. в Тайной канцелярии пришли к такому трезвому выводу: «Если кто на каком обеде партикулярном откажется пить на здоровье Наше и фамилии нашей, то в вину этого не ставить и не доносить об этом», т.к. «здравья лишнего в больших напитках, кроме вреда, не бывает». Это цитата из доклада Тайной канцелярии в Уложенную комиссию 1754 г. относительно изменений разделов о государственных преступлениях (79, 65). Там же было упомянуто любопытное преступление — прямое и огорчительное следствие частого питья за здоровье Величества. Речь идет об участившихся отговорках чиновников, которые объясняли начальникам, что не смогли явиться на службу из-за того, что накануне их принуждали пить без меры за здоровье государыни. Судя по делам сыска, это была не только отговорка, но настоящая, серьезная причина множества прогулов с тяжелого похмелья — ведь не пить «за здоровье» государя было опасно.

Особенно серьезно наказывали священников, за *неслужение по «высоко торжественным дням»*, т.е. в дни рождения царя и членов его семьи, дни тезоименитства, а также другие «календарные» даты. При Петре I особенно громким стало дело архимандрита Александро-Свирского монастыря Александра, который обвинялся «в непраздновании во дни тезоименитств» Петра и Екатерины. По этому делу царь распорядился: «Ежели оной архимандрит или другой кто из духовных персон явитца в вышеписанном виновен и оных, обнажа священничества и монашества, в помянутую (Тайную. — Е. А.) канцелярию прислать к розыску» (10, 121 об.). В итоге строптивый архимандрит кончил свою жизнь на плахе (325-1, 154—155). В 1733 г. поп Феоктист Гаврилов был сослан навечно в Охотск за то, «что он, ведая о торжественном дни о восшествии Ея и.в. на престол Российской империи, товарищу своему попу Родиону Тимофееву заблаговременно не напомнил и коварственно о том поступил». За такие проступки расстригали, били кнутом, плетью и ссылали в дальний монастырь (42-3, 38 и др.).

Преступлением считалась и служба в один день литургий и литий, т.е. праздничной и заупокойной служб в «календарные дни». В 1699 г. старшица-доносчица подала извет на архимандрита Тихвинского монастыря Боголепа, который «на царский ангел в месяце мае велел петь за упокой обедни» (144, 221). Десятки священников были расстрижены и сосланы за подобные преступления при Анне Ивановне. В 1732 г. не пощадили и сослали попа Алексея Афанасьева, который не служил литургию, как он объяснял «за приключившимся [с ним] во сновидении осквернением». Сказанное священником было признано за отговорку (42-1, 106; 8-1, 131 об.).

Неумышленные оговорки во время церковной службы — тема особая, за них наказывали как за описки канцеляристов. Примером может служить история, происшедшая 3 февраля 1743 г. в Архангельском соборе Кремля на возгласии в ектеньях, когда каждый архиерей, выходя вперед, произносит положенную ему приветственную фразу. Епископ Лев Юрлов вместо провозглашения «вечной памяти» Анне Петровне — покойной сестре правящей императрицы Елизаветы Петровны «от незапности, по старости и от неосторожности» произнес вместо «А н н а Петровна» «Е л и з а в е т а Петровна!» Об этом тотчас было донесено в Сенат и самой императрице, хотя для всех было ясно: престарелый епископ оговорился. В конечном счете скандал для Юрлова, уже отсидевшего при Анне Ивановне десять лет в дальнем монастыре, закончился благополучно — Юрлова лишь отстранили от службы (184, 173—174). Преступлением был признан и поступок дьякона московского Андреевского монастыря Дамиана, который в ектеньях в 1752 г. п р о п у с т и л имя матери правящей императрицы — Екатерины I, за что его поролі плетью, а тех, кто его не поправил, приговорили к тысяче поклонов. В 1757 г. при чтении на ектеньях некий иеродьякон по какой-то причине «их императорских высочеств титулы не выговорил», за что пострадал (309, 136). Тогда же в Вятке секли священника за то, что литургию ко дню коронации Елизаветы Петровны он служил не 23 апреля, как было положено, а с опозданием на два дня (355, 750).

Державин в своем стихотворении о гуманности Екатерины-Фелицы пишет об одном из самых распространенных канцелярских преступлений — «В строке описку поскоблить». С точки зрения законов того времени поэт неправ: у него сказано о «*подчистке*», а не «*описке*». «Описка» же — это пропущенная, не замеченная переписчиком (а также его начальником) ошибка при написании титула или имени монарха. Синонимом «описки» является выражение «врань в титуле». В купчей одного крестьянина, поданной в какое-то учреждение в 1730 г., оказалось, что в докумен-

те 1729 г. «титул написан “Ея императорского величества”, а надлежало [писать] “Его императорского величества”», ибо тогда на престоле был Петр II (86-4, 381). Опискою, «вранью» считалось применение к Елизавете Петровне в 1721—1741 гг. титула «царевна» вместо «цесаревна» (86-4, 267об.). Весной 1727 г., в пору могущества А.Д. Меншикова, в одной из коллегий пороли канцеляриста Семенова, который сделал знаменательную описку: вместо слова «светлейший князь» написал «светлейший государь», что было, учитывая амбиции светлейшего, правильно, но преждевременно. Страшнее оказалась описка дьячка Ивана Кирилова из Тамбова, которого привезли в застенки за то, что он неверно переписал присланный из столицы в 1731 г. указ о поминовении умершей сестры благополучно правящей императрицы Анны Ивановны, царевны Прасковьи Ивановны. Оказывается, невнимательный дьячок перепутал имена и титулы (вместо «высочество» написал «величество», а вместо «Прасковья» — «Анна»). В результате у дьячка получилось нечто ужасное: «Октября 9-го дня в первом часу по полуночи Ея императорское величество Анна Иоанновна от временного сего жития, по воле Божией, преселилась в вечный покой». В отчаянии был поп Иван, который, не глядя, заверил («заручил») копию указа. Дьячок повинился и «показывал, что оную важную описку учинил он простотою», тем не менее его били кнутом и сослали (42-1, 8; 42-2, 67).

«Подчистка» была иным, чем «описка», преступлением. Суть ее в том, что имена или титулы государей подьячие поправляли, хотя всем было известно, что прикасаться к написанному титулу или имени государя было нельзя — с момента своего появления на бумаге эти слова считались священными. Но часто чиновник, совершивший при написании титула пометку, точнее — орфографическую ошибку, порой ленился заново переписывать весь документ, брал нож и начинал выскабливать ошибку в строке, благо бумага тогда была плотная и позволяла почти незаметно удалить брак. Между тем этим своим действием он совершал государственное преступление, ибо оскорблял прикосновением своей руки царский титул. 16 августа 1736 г. новгородские власти сообщили Ушакову, что ими получен рапорт из Сосненского стана, в котором усмотрено, «что высочайшее Ея Императорского Величества титул написан почищенному». На допросах отставной прапорщик Василий Лихарев и писавший рапорт пономарь Петр Федоров показали, что «они то учинили простотою своею и недознанием, чаяли что им того в вину не причтется и за неисправность оного не причитали, в чем учинили пренебрежение, чего было им весьма чинить не подлежало» (57, 55—59; 89, 1298).

Если в истории с этими темными провинциалами начальник Тайной канцелярии А. И. Ушаков ограничился назначением легких наказаний —

переписчика приказал бить батогами, а начальника стана оштрафовал на 15 рублей, то иначе поступил он с крестьянином Иваном Латышевым, который в челобитной сделал «в титуле Ея и.в. неисправность». Это не была не описка и не подчистка, а *прописка* — пропуск. Вместо слова «всепресветлейшая» Латышев написал «всепрестлейшая», т.е. пропустил слог «ве». В конце челобитной нашли еще одну прописку: вместо слова «всемиловейшая» он написал «всемлстивейшая», пропустив буквы *и* и *о*. Причем во втором случае можно было говорить скорее не о прописке, а о выносе гласных, что часто делалось при написании длинных слов. Тем не менее пропущенные слог и две буквы дорого обошлись Латышеву: его вздернули на дыбу и допросили с пристрастием: «С какова подлинно умыслу он написал, и те написанные им неисправности помещик ево и другие, кто именно, видел, и в каком намерении о тех неисправностях [они] умолчали?» Латышева наказали плетью, а помещика его, под диктовку которого писалась роковая челобитная, оштрафовали на 300 рублей. За эти огромные деньги таких Латышевых можно было купить целую деревню. Так же, как Латышев, ошибся в 1731 г. мастер Семен Сорокин, написавший в документе «Перт Первый». Несмотря на его оправдания, что «сделал это простотою своею и недосмотрением, а ни с какого своего умысла», мастера приказали «за ту его вину, в страх другим» наказать плетью (143).

Не было принято к сведению при наказании плетью и объяснение канцеляриста из Казани, который в 1739 г. пропустил две буквы в титуле императрицы Анны Ивановны, да еще позволил себе сказать в оправдание: «Оная невеликая вещь учинена опискою, кто не пишет, тот не опишетца» (11-4, 265). Тогда же пострадал писец Кольской воеводской канцелярии, пропустивший в титуле слово «Величество» (317, 623). «Прописка» иногда называлась еще и «недопискою». Так, в 1726 г. шацкий священник Василий Пихтелев в титуле императрицы Екатерины I («по указу Ея императорского величества Самодержицы Всероссийской») недописал два последних слова, за что был бит плетью (285, 78–79). В указе Военной коллегии 1738 г. о выдаче жалования «явилась недописка, а именно написано тако: “И по силе оных Ея Императорских указов, а “Величество” не написано» (44-4, 265). В проекте Уложения 1754 г. о подобных преступлениях было сказано: приказным и частным лицам надлежало «титул Наш писать пред прочим письмом отменными крупными литерами осторожно, дабы отнюдь никакой несправности не было» и при ошибке переписывать, а секретарям «о таких описках и правках накрепко смотреть», но уже пороть и ссылат в Сибирь при этом не предполагалось (596, 77).

Известен случай курьезной *оговорки*, которую можно считать «устной опиской». В 1729 г. в Ярославле поссорились купцы — сын и отец Пастуховы. Потом Федор донес на своего отца Михаила, который, ругая сына, сказал: «Я-де, сам более Бога и я велю тебя по всем рядам бить кнутом», и он-де, Федор, ему, отцу своему, молвил: “Без указу-де Его величества кнутом бить не надлежит”, и отец же-де ево, Михайла, говорил к персоне Его и.в.: “Ваш то-де П и л а т на Москве, а я-де дома”. А те-де слова слышали свидетели два человека». Михаил Пастухов оправдывался тем, что «сказал, не умея он выговорить титула Его императорского величества, молвил “и н п и л а т о р ”-де на Москве и в том на оных свидетелей слался же». Свидетели встали на сторону отца — «сказали тож, что и оной Михайла показал», и ложный изветчик — сын Федор Пастухов — был бит кнутом и отправлен в Гилянь (8-1, 355об.—356).

Следственные дела сыска показывают, что в России было немало «*непристойных*» песен, за которые резали языки, били кнутом и ссылали в Сибирь. Здесь нужно отличать так называемые «блядские песни» от «непристойных песен». Первые как раз являлись, по-современному говоря, непристойными, и против пения их предостерегали подданных закон и церковь (626-4, 360). «Непристойные» же песни XVIII в. не содержали в себе непристойностей, их даже нельзя назвать песнями политическими, так сказать песнями протеста. Они были в основном посвящены жизни царственных особ. Это лирические песни о любви и вообще о судьбе цариц, печальном уделе женщины в короне. Эта «самодетельность» приносила крупные неприятности певцам, так как рассматривалась как произнесение «непристойных слов». Одно из первых упоминаний о пении такой песни (о царице Настасье Романовне) было зафиксировано сыском в 1618 г. (500, 5, 42). Дела о подобных певцах встречаются и позже. В 1752 г. открыли дело по доносу дьячка Делифовского, который содержался под арестом в Казанской консистории «за насильное блудодеяние с новокрещенкою». Он донес на своего пристава Спиридонова, который пел песню с такими словами:

Зверочек, мой зверочек,
Полуношный мой зверочек,
Повадилс зверочек во садочек
К Катюше ходить...

Спиридонов при этом пояснил дьячку, что «за эту-де песню наперед сего кнутом бивали, что-де государь [Петр I] с государынею Екатериною Алексеевною жил, когда она еще в девицах имелась и для того-де ту песню и сложили» (465 683). Были и другие песни, за которые люди оказывались в застен-

Не давай меня, дядюшка, царь-государь, Петр Алексеевич,
В чужую землю нехристианскую, босурманскую,
Выдай меня, царь-государь, за своего генерала, князь-боярина...

Певцу приказали пытаться и задавали ей при том характерные для «исследования» по песенным делам вопросы: «Подняв на дыбу, спросить с пристрастием накрепко...: с какова умыслу она говорила те непристойные слова, и не из злобы ли какой, и от кого именно такие слова она слышала, и о тех непристойных словах не разглашала ли она, и для чего подлинно?» После виски на дыбе и нещадного наказания кнутом Львову отпустили домой, а не отправили, как случалось с подобными певцами, без языка в Сибирь (66, 5; 322, 791; 124, 595–597). В 1766 г. появлением песни, бывшей «между простым народом в употреблении», была обеспокоена и просвещенная Екатерина II. Это была сочиненная в народе песня о печальной судьбе брошенной жены-императрицы. Она начиналась словами:

Мимо роши шла однихоханька, однихоханька, маладехонька.
Никого в роши не боялся я, ни вора, ни разбойничка, ни сера волка-зверя лютова,
Я боялся друга милова, своею мужа законнова,
Что гуляет мой сердешный друг в зеленом саду, в полусадничке,
Ни с князьями, мой друг, ни с боярами, ни с дворцовыми генералами,
Что гуляет мой сердешной друг со любимую своею фрейлиной, с Лизаветою Воронцовою,
Он и водит за праву руку, они думают крепку думушку, крепку думушку, за единое
Что не так у них дума зделалась, что хотят они меня срубить, сгубить...

По указу Екатерины А.А.Вяземский 1 августа 1764 г. написал главнокомандующему Москвы П.С. Салтыкову, чтобы тот приложил усилия, дабы песня «забвению предана была с тем, однако, чтоб оное было удержано бесприметным образом, дабы не почювствовал никто, что сие запрещение происходит от высочайшей власти» (610, 588).

В середине XVIII в. стали заметны влияния идей философии Просвещения на право вообще, сыск и корпус государственных преступлений в частности. Это в 1762 г. привело к отмене института «Слова и дела». Впрочем, некоторая либерализация репрессивного законодательства наметилась давно, и тенденция к такому смягчению ощущалась даже внутри самого политического сыска, столкнувшегося с валом ложных доносов о «маловажных непристойных словах» и других мелких политических преступлениях. Эти тенденции, хотя и слабо, видны уже в 1730-е гг., знаменитые весьма суровым политическим сыском. Во-первых, в некоторых случаях заметно стремление следователей отделить серьезный умысел к государственному преступлению от имитации такого умысла. Соответственно устанавливали и

разную степень наказания. В 1737 г. в указе о предупреждении поджогов в Петербурге сказано, что «кто таким злым делом похвалится и в том обличен будет и хотя того в действо не произведет, однакож таковыми розыскивать и ежели кроме таких похвальных слов иного никакого воровства не сыщется и такие слова произнес по какой-либо ссоре или во пьянстве», то наказание — не сожжение, как действительному поджигателю, а лишь кнут. В 1734 г. при расследованиях государственных преступлений на Украине генералу князю А. Шаховскому предписывалось различать произнесение «непристойных» слов «из злости» и «спроста». В последнем случае карающая десница власти должна была дать преступнику легкий шлепок и вместо сурового наказания чиновник должен был малороссиянам «вытолковать с запрещением» о недопустимости в будущем подобных преступных речей (587-10, 7390; 587-9, 6611).

Во-вторых, уже в 1730-е гг. сыскное ведомство стало стремиться как-то регулировать направленный к нему поток «маловажных» дел. В 1736 г. Тайная канцелярия добилась указа Анны Ивановны, чтобы все дела о «неотправлении (церковниками. — Е. А.) служб в высокаторжественные дни» и в прочие «календарные» дни не пересылали бы с мест в Петербург. Из-за обилия их «по секретным делам в оной канцелярии чинится остановка». Поэтому следовало о таких преступниках — церковниках вести дела в епархиях, и если только выяснится, что они службы не отправляли «с какого противного вымысла», то присылать экстракты допросов в Тайную канцелярию (589-9, 6937).

Как известно, с 1754 г. начала работать Уложенная комиссия, которая, уже не в первый раз в истории России, пыталась создать взамен Соборного уложения 1649 г. новый единый свод законов. Различные государственные ведомства представляли проекты тех разделов нового уложения, которые касались круга их компетенций. Поэтому нам особо интересен обнаруженный В.И. Веретенниковым черновик проекта закона о преступлениях «против первых двух пунктов», который составили чиновники Тайной канцелярии.

Наряду с компиляциями из уже изданных указов и артикулов в проект закона о государственных преступлениях были внесены новые положения, продиктованные временем и теми обстоятельствами, о которых я упомянул выше. Во-первых, в проекте заметна общая гуманизация права. Авторы предлагали полностью исключить из кодекса давно не применявшееся мучительное наказание — четвертование и вместо него ввести простую казнь — отсечение головы. За ложный донос предлагалось наказывать не кнутом, а плетью, а то и вообще за это не пороть людей. Ранее же в делах о «непристойных словах» без наказания «на теле» никак обойтись было нельзя. В 1723 г. об одном бедолаге, что-то сболтнувшем «непристойное», Тайная кан-

целярия постановила, что хотя свидетели показали «сходно той его простоте, однако же без наказания отпустить той вины невозможно для того, что никакой персоны такими непотребными словами бранить не надлежало», а по сему несчастного «бить нещадно батоги» (181, 186). Теперь же, по проекту, разрешалось освобождать людей от телесных и иных наказаний за «маловажные вины». К числу таких преступников относились люди, говорившие «Слово и дело» «в бреду, горячке и временном безумье», а также те, кто кричал эти роковые слова в момент, когда их немилосердно били и мучили. Дел же таких в архиве — великое множество. Преступники увечные, престарелые и малолетние (до 12 лет) вообще освобождались от жестокого наказания и подлежали ссылке в монастырь, малолетних же вообще наказывали розгами (180, 61).

Важнейшим достижением права середины XVIII в. стало разделение всех преступлений «против двух первых пунктов» (покушение на жизнь государя, измена и бунт) на две категории: 1) собственно преступления — сознательные, «вредные», «важные» и 2) проступки неумышленные, происшедшие «зря, без умысла, в пьянстве или неосторожности», которые «не суть вредные и до важных по первым двум пунктам дел не следуют». За них тоже полагалось наказание, но легкое, воспитательное, чтоб в дальнейшем люди подумали перед тем, как такие слова говорить. Узнавшему об этих проступках не нужно было публично кричать «Слово и дело». Он должен был донести губернаторам и воеводам об этом спокойно, как об обычном «секретном деле». И далее в проекте перечислялись все виды таких «продерзостных», но «неосторожных», «без умыслу» проступков. Перечень их достаточно полно характеризует состав преступлений, по которым полтора века жестоко наказывали людей кнутом, ссылкой и смертью, а теперь рекомендовалось посекать только плетью, при этом служащих штрафовать и «унижать чином»:

1. Именования себя «государем» или «императором»;
2. Обозвание императорского указа «воровским»;
3. Сквернословие при чтении указа;
4. Неснимание шапки при чтении указа;
5. Нежелание идти к присяге без уважительной причины;
6. Хранение на дому «запрещенных указов, манифестов и протчего тому подобного»;
7. Громкое выражение сочувствия наказываемому преступнику;
8. Непразднование высокаторжественных (календарных) дней без уважительной причины;
9. Поношение и пасквильанство на иностранных государей;
10. Брань портрета императорского или герба;

11. Изodrание указа или сказывание фразы «На него плюю!»;
12. Брань в присутственном месте;
13. Название «своего житья царством»;
14. Бросание печати или монеты с портретом государя «просто, а не со злобы»;
15. Умаление без умысла государева титула при написании;
16. Подчистка в титуле;
17. Подделывание царской подписи без намерения использовать для подлога;
18. Ошибки при написании государева титула в челобитной;
19. Непитье за здравие государя и отговорки при неявке на службу якобы по той причине, что за здравие государя принуждали пить;
20. Отказ якобы спешащего проезжего слушать чтение государева указа в дороге или необнажение «от неразуменья» головы при чтении государева указа;
21. Недоношение на того, кто называл кого-либо партикулярно «бунтовщиком», «изменником» или «стрельцом» (181, 61—68).

И хотя ни положения нового закона о государственных преступлениях, разработанные Тайной канцелярией, ни само новое Уложение так и не появились на свет, перемены в корпусе государственных преступлений все-таки произошли. Они были связаны, во-первых, с отменой в 1762 г. «Слова и дела», что сразу же погасило множество дел о «непристойных словах», и, во-вторых, с общим изменением стиля правления, характерного для образованной, терпимой и умной государыни Екатерины II. В ее царствование (1762—1796 гг.), выражаясь тогдашним языком, свет Просвещения разогнал тени средневековья и охота на ведьм почти прекратилась. При ней стало действительно возможным «портрет неосторожно ее на землю уронить», не пить за обедом «за здравие царей», свободно ругать иностранных государей, особенно из числа врагов России.

И все же стихотворение Державина — льстивое сочинение. Возможно, литературная киргиз-кайсацкая княжна Фелица и допускала своим подданным ордынцам пошептать в беседах о ней, но Екатерина II на такие шептания смотрела плохо и быстро утрачивала обычно присущую ей терпимость и благожелательность. Вообще она очень ревниво относилась к тому, что о ней говорят люди, пишут газеты. Внимательно наблюдала императрица за общественным мнением внутри страны и оставалась всегда нетерпима к тому, что Екатерина презрительно называла «враками», т.е. недобрыми слухами, которые распространяли о ней, ее правлении и делах злые языки из

высшего общества и народа. Нетерпимость эта выражалась в весьма конкретных поступках власти. Выразительным памятником борьбы со слухами стал изданный 4 июня 1763 г. указ, который называли так, что невольно вспоминаются пуповские манифесты Салтыкова-Щедрина «О добропорядочном пирогах печений», а именно: «М а н и ф е с т о м о л ч а н и и» или «У к а з о н е б о л т а н и и л и ш н е г о» (633-7, 295; 554, 128). В этом указе весьма туманные намеки о неких людях «развращенных нравов и мыслей», которые лезут куда не следует и судят «о делах до них непринадлежащих», да еще заражают сплетнями «других слабоумных», сочетаются с вполне реальными угрозами в адрес болтунов. Государыня предупреждала, что они играют с огнем и, дерзостно толкуя изданные императрицей законы и уставы, а также «самые божественные указания», даже не воображают «знатно, себе немало, каким таковыя непристойныя умствования подвержены предосуждениям и опасностям» (587-14, 11843). Надо думать, что этот указ был вызван делом камер-юнкера Хитрово, который обсуждал с товарищами слухи о намерении Григория Орлова жениться на императрице. «Манифест о молчании» неоднократно «возобновлялся», т.е. оглашался, среди народа, а нарушители его преследовались полицией и Тайной экспедицией.

В декабре 1773 г., когда Москва жила слухами о победах Пугачева над генералом В.А. Каром, Екатерина писала в Москву князю М.Н. Волконскому: «Естли на Москве от его (Кара. — Е. А.) приезда болтанья умножилось, то обновите из Сената указы старые о неболтании, каковых много есть и в прежния времена и при мне уже часто о сем обновлялась память и с успехом». Волконский отвечал императрице: «Что касается до возобновления от Сената указу о неболтании лишняго, я еще до дальнейшего В.и.в. повеления удержался, в разсуждении, что оной указ в прошедшем июле месяце по предложению моему от Сената уже опубликован был, к тому же, чтоб и не подать в публике причины к большому уважению о Оренбургском деле; а приказал обер-полицмейстеру употребить надежных людей для подслушивания разговоров публики в публичных соборищах, как-то: в рядах, банях и кабаках, что уже и исполняется, а между дворянством также всякие разговоры примечаются» (554, 128—129). Так, отмена «Слова и дела» не привела к прекращению преследований за осуждающие монарха и власть разговоры — они по-прежнему считались преступными. Это в немалой степени связано с тем, что при Екатерине II и после нее остались в силе и все положения 2-й главы Уложения 1649 г. о преследовании виновных по «первым двум пунктам», в том числе и по делам об оскорблении чести Его величества (см. 319, 43—44).

В начале царствования императрица Екатерина пыталась сформулировать передовые по тем временам принципы и понятия о политическом пре-

ступлении, что отражено в ее знаменитом Наказе. Екатерина считала, что к виду тяжких преступлений нужно отнести только посягательства на жизнь и здоровье государя, а также измену государству. Оскорблением же Величества предполагалось считать только конкретные действия, на это направленные, или слова, которые «приготавливают или соединяются, или последуют действию». При этом государыня считала, что наказывать надо не за слово, а за преступное действие. Более того, Екатерина утверждала, что «письма» (сочинения. — *Е. А.*) «суть вещи не так скоро преходящие как слова, но когда они не приутовляют к преступлению оскорбления величества, то они не могут быть вещью, содержащею в себе преступление в оскорблении величества». Если и признавать сказанное слово и «письма» за преступление, то наказание все равно должно быть «гораздо легче» наказания за преступное действие. Передовые по тем временам взгляды императрицы не были поняты ее подданными, и в ответ на вежливые возражения Синода она согласилась с теми, кто считал оскорбляющие Величество «слова» и «письма» все-таки строго наказуемым преступным деянием (426, 469—470).

И хотя Екатерина II и отказывалась включать в список обвинений государственных преступников норму об оскорблении Величества (так было в деле Пугачева), виновные в этом все-таки при ней преследовались. Их, может быть, без лишнего шума (как это было раньше) отправляли в Сибирь, на Соловки, в монастыри, в деревню, заставляли разными способами замолчать. Среди этих людей были все, кто в трезвом и пьяном, здоровом и больном уме, с досады или из хвастовства говорили плохо о государыне и ее интимной жизни, кто распинался (без всяких оснований) о своем родстве с династией, кто обещал в пьяном угаре при случае убить императрицу (135; 633-10, 441).

Важно, что Екатерина II стремилась не допустить в стране никакой гласной оппозиции. В 1764 г. подвергся опале митрополит Арсений Мациевич, который протестовал против церковной политики императрицы. Он был обвинен не только в оскорблении Величества, но и в попытке выступить против государыни, вообще светской власти. Позже Мациевича заточили в Ревельскую крепость. За сочувствие ему и «неотправление надлежащего моления о царской фамилии» был лишен сана и сослан на Соловки архимандрит Геннадий (633-7, 398—399). О преследовании за оскорбление Величества говорят списки заключенных Соловков, других монастырей, Шлиссельбургской крепости, где в 1796 г. наряду с одним из умнейших людей России «отставным поручиком Новиковым», посаженным «за держание масонской секты, за печатание до оной развращенных книг», сидели люди «за ложное и дерзкое разглашение» (208, 238). Между тем участь Новикова решили не надуманные и недоказанные обвинения, а то, что Новиков «был самостоятель-

ным общественным деятелем... и этого было достаточно, по условиям того времени, чтобы вызвать против него гонения» (609, 292).

При Екатерине, как и сто и двести лет до нее, сказанное и написанное слово могло быть признано преступным, независимо от того, кто, когда, при каких обстоятельствах его сказал и написал. Эта старинная норма права пережила Екатерину II и многие поколения правителей после нее. Причина в конечном счете заключалась в сохранении режима самодержавия, не допускавшего никаких сомнений в его неограниченном праве. В 1821 г. татарин Зябир Зелеев обвинялся в сказывании «дерзких слов, относящихся к высочайшему Его и.в. имени», за что был приговорен — «в страх другим» — к двадцати ударам кнута, клеймению и отдаче в вечную работу на золотые рудники Урала. Член Государственного совета адмирал Н.С. Мордвинов, известный своим либерализмом, не возражая против того, что «слова наказуемы бывают наравне с делами» и что «слово произнесенное может быть преступным», все же настаивал и на том, что это же слово «может быть и невинным: истинный смысл каждого слова зависит как оно в речи помещено бывает и где стоит запятая, самое даже произношение дает словам различное значение. Злобный донощик может самое невинное слово обратить в уголовное преступление и подвергнуть [другого] невинно мучению» (746, 22–24; 480, 6–7). Перевирающий слышанные слова злобный доносчик, за спиной которого стояло поощрявшее его государство и политический сыск, был не риторической, а вполне реальной фигурой последних пяти сотен лет русской истории, и ниже, в главе об извете, о нем будет сказано подробно.

Итак, на протяжении примерно двух столетий складывается корпус государственных преступлений, включавший в себя огромное число разнообразных деяний, которые классифицировались как покушение на жизнь, здоровье и власть самодержца, а также оскорбление его чести. Конечно, среди дел политического сыска было немало таких, в которых шла речь о реальных покушениях, измене, сговоре, бунте и мятеже, т.е. о действиях, по-настоящему угрожавших государственной безопасности России и самодержца. Как уже сказано выше, оценивая корпус государственных преступлений, нужно иметь в виду и сильные корни средневекового сознания людей XVIII в., табуизированность их мышления, веру в реальность магического воздействия злого слова, жеста, мысли. Но, изо всех сил стремясь к победе историзма, не будем излишне упрощать мышление наших предков — современников Ньютона, Ломоносова, Баха, Вольтера, Лейбница и других гениев человечества всех времен. Ниже будет показано, что политический сыск, безжалостно боровшийся с «непитием за здоровье» и подобными государ-

ственными преступлениями, оставался циничен и равнодушен ко всем несомненным (с точки зрения людей той эпохи) проявлениям чудесного, ко всем знакам, которые можно понять как послания с небес. Оценивая в целом всю массу известных мне дел политического сыска, невольно приходишь к выводу, что политический сыск был занят не столько реальными преступлениями, которые угрожали госбезопасности, сколько по преимуществу «борьбой с длинными языками». Корпус государственных преступлений, который в части «непристойных слов» раздувается до гигантских размеров, убеждает, что сыскные органы действовали в качестве грубой репрессивной силы для подавления всякой оппозиционности власти, искореняли в буквальном смысле каленым железом всякую критику действий власти, подавляли малейшие сомнения подданных в правомерности, законности ее намерений. Не исключаю, что развитие и разрастание корпуса государственных преступлений находится в прямой зависимости от авторитета власти, точнее — от степени осознания ею своей уязвимости, от опасений самодержцев и их окружения потерять власть. Основания для таких опасений были. В работе о самодержавии и государственных преобразованиях Петра Великого я стремился показать, что в неограниченности беспредельной власти самодержца заключалась не только его гигантская сила, но и его слабость. Не ограниченный в своих действиях самодержец оказывался не защищенным законом и другими правовыми и общественными институтами от дерзких посягательств авантюристов и честолюбцев (117, 287—290). По-видимому, самодержавие осознавало опасность для себя, исходившую и от более широкого круга людей. Довольно редко, но эти опасения проскальзывали в указах. Так было и в эпоху Петра Великого, которая справедливо расценивается в науке как апофеоз самодержавия. В «Духовном регламенте» 1721 г. одной из причин введения коллегиальной власти в церкви прямо выставлено опасение, как бы «простые сердца» в возможном споре царя и патриарха не примкнули бы к последнему, ибо народ выше ценит патриарха и вообще полагает, «что духовный чин есть другое и лучшее государство, и се сам собою народ тако уместовати обыкл. Что же егда еще и плевельныя властолюбивых духовных разговоры приложатся, и сухому хврастию (хворосту. — *Е. А.*) огонь подложат? Тако простые сердца мнением сим развращаются, что не так на самодержца своего, яко (как. — *Е. А.*) на верховного пастыря в коем-либо деле смотрят» и готовы «за него поборствовать и бунтоватися дерзают» (587-6, 317—318). Выражаясь языком советской науки, в этих словах выражено опасение самодержавия даже гипотетическим союзом народа и церкви. Словом, возвращаясь к теме данной главы, скажем, что осознаваемая слабость самодержавия вела к ужесточению им борьбы со всякими проявлениями оп-

позиционности, с «непристойными словами», к поощрению практики публичного «оперативного стука» о преступлении посредством пресловутого «Слова и дела!», наконец, к расширению корпуса государственных преступлений. К середине XVIII в. реформы Петра Великого по укреплению режима самодержавия с помощью «бюрократических технологий» дали реальные плоды и власть уже могла обойтись без преследования каждого, кто произнес фразу «Кабы я был царь...». Ранее столь эффективный защитный институт «Слова и дела» начал вырождаться, многие государственные преступления вроде «Название своего жития царством» или «Бросание печати или монеты с портретом государя просто, а не со злобы» в глазах даже суровых хранителей политического сыска стали казаться если не смехотворными, то уж не подлежащими наказанию кнутом и ссылке в Сибирь. «Ветер Просвещения» приносил из Европы свежие идеи гуманизма, терпимости, а вступление на престол незаурядной Екатерины II придало самодержавию черты благообразия, хотя институт сыска и индекс основных государственных преступлений против жизни, здоровья, власти и чести государя благополучно сохранился.

Органы политического сыска и самодержавие

Понятия «Государево слово», «Государево дело», «Наше государево дело», «Верхнее государево дело» говорят об особой важности политических дел, о принадлежности их к исключительной компетенции самодержца. На этом основании политический сыск строил всю свою работу, и сколько бы ни становились значительны права местных и центральных учреждений при расследовании политических преступлений, окончательное решение по ним выносил все же самодержец. Кричанье «Государева слова и дела!» тотчас выводило изветчика из обычных отношений, делало его причастным к «верховому», «великому», «тайному» (позже — «секретному») полю, сакральной сфере власти государя.

«Тайное» всегда есть принадлежность высшего, «Верхнего государева дела». С таким толкованием связано и название «Тайный приказ», и название органов политического сыска в XVIII в. Понятие «тайный» отмечает принадлежность слова, действия, документа или учреждения к исключительной компетенции высшей власти. Напротив того, у подданного не должно быть ничего тайного. Тайное у подданного могло быть только преступным. Тайное подданного есть темное. Люди, собиравшиеся по ночам, уже только поэтому вызывали у власти подозрение и казались опасными. Андрея Хрущева, как и других приятелей А.П. Волынского, подолгу засиживавшегося у кабинет-министра, в сыске спрашивали: что они «таким необычайным и подозрительным ночным временем, у бегая от света, исправляли и делали?» (5, 9).

Исключительность тайного как особо важного государственного дела видна и в том, что в документах политического сыска так часто встречаются заявления изветчиков, что «Государево слово и дело» они могут сообщить т а й н о, один на один, только самому государю. Известно, что Петр I лично выслушивал некоторых из изветчиков — тех, кто особенно настаивал на этом. Так, царь сам допрашивал Родиона Семенова — крепостного князя Хилкова, который даже под пыткой отказывался открыть Ромодановскому

«Слово и дело» на своего помещика и согласился сделать это только в личной беседе с царем (322, 116—125; 212, 39). В 1719 г. поляк Григорий Носович донес на русского посланника в Польше князя Г.Ф. Долгорукого по делу об измене, «которого никому, кроме самого Его ц.в., объявить не хотел, о чем и перед Сенатом спрашиван и по допросу ничего не показал» и в итоге также удостоился встречи с царем (8-1, 25).

21 апреля 1721 г. царь выслушал донос Акима Иванова на помещика Скобелева и через кабинет-секретаря А.В. Макарова велел А.И. Ушакову принять Иванова в Тайной канцелярии и там разобраться с ним (664, 51; 181, 173—176). В 1726 г. арестованный по делу Феодосия Яновского обер-секретарь Синода Герасим Семенов потребовал встречи с императрицей Екатериной I, чтобы «донести самоустно подлежащее яко верный патриот предостерегательство» (322, 303).

В 1731 г. Савва Дугин написал доношение, в котором утверждал, что «имеет он за собою великие и многие, и важные государевы дела, которые-де надлежит объявить только самой Ея и.в.», но затем на пытках показал, что «то затеял, вымысля собою» (42-1, 94). При расследовании дела Артемия Волынского в 1740 г. главный доносчик на кабинет-министра, его дворецкий Василий Кубанец, заявил, что имеет нечто объявить, «но не может иначе, как лично самой императрице». В тот же день ему зачитали именной указ, чтобы изветчик изложил свое «объявление» письменно и запечатал в отдельном конверте для передачи лично государыне (304, 147). Так поступали и цари XVII в. в ответ на рапорты — «отписки» уездных воевод о том, что изветчик молчит и лишь требует, чтобы его везли в Москву, к самому царю. Указ государя воеводе в таком случае гласил: выдать доносчику бумагу и перо, пусть он напишет извет своею рукою, «чтоб того дела никто не ведал», и за своей печатью перешлет его государю в Москву через воеводу (500, 138, 142). Это упоминание о печати кажется весьма забавным, ибо «Слово и дело» часто кричали разбойники или воры, сидевшие годами в тюрьме, у которых если и имелись печати, то только на лбу или на щеках.

В 1743 г. перед императрицей Елизаветой предстали доносчики на Ивана Лопухина, которых она выслушала и потом распорядилась о начале арестов по этому делу. Известны и другие попытки доносчиков связаться с Елизаветой. Дворовый Ивана Бахметева послал письмо придворной даме Корф, требуя, чтобы «она, госпожа Корфова, представила его скоро всемилостивейшей государыне, что-де он имеет объявить тайный секрет Ея величеству, а именно-де о смертном злодействе, токмо-де никому и верным объявить не изволите». Оказалось, что некий подпоручик передал ему два письма в пакете, на котором стояла надпись: «Секрет, тайно Ея и.в. единой про себя про-

честь не давать синклиту», а в самих письмах шла речь о некоем «подозрительном злодействе на здоровье Ея и.в. и наследника Ея и.в.». В 1747 г. добивалась свидания с императрицей увлеченная спиритизмом майорша Элеонора Делувизе. Она хотела объявить государыне «тайное, важное дело» (661, 524—525; 481, 493).

Этим освященным традицией и принятым с древности обычаем предстать перед государем, чтобы сообщить повелителю нечто важное, тайное, некоторые авантюристы пытались воспользоваться и позже. В 1762 г. беглый дворовый человек Никиты Новикова Ласков, пойманный своим помещиком, кричал «Слово и дело», как потом выяснилось, «боясь побои». Но на допросе он заявил, что знает за своим помещиком «точно по первому пункту о злом умысле», но «о том он в Тайной конторе (дело было в Москве. — Е. А.) не объявил, а объявит-де о том самому Его и.в. и для того б представлен он был пред Его и.в.». Несмотря на уговоры и угрозы «с прещением о точном важности показании», Ласков стоял на своем, вероятно, до тех пор, пока сам Петр III не умер от «геморроидальных коллик» (83, 31 об.).

В 1774 г., в разгар восстания Пугачева, некий купец Астафий Долгополов сумел заморочить голову не только Г.Г. Орлову, поднятому ради него посреди ночи, но и самой Екатерине II, с которой Орлов ему устроил встречу. Долгополов наобещал государыне поймать и доставить властям «злодея» Пугачева. Императрица приняла простолюдина в своих покоях — честь невиданная — и благословила на благородное дело, а Орлов снабдил удалыца мешком денег и сам подписал ему паспорт. Авантюрист, добравшись до Пугачева, все открыл мятежникам и, вероятно, не без юмора передавал «амператору Петру Феодоровичу» привет от «его супруги». Потом, когда стали вылавливать сподвижников Пугачева, императрица очень опасалась, как бы Долгополова под горячую руку (без должного следствия и наказания за его «продерзость») не повесили бы среди прочих мятежников (522, 48; 554, 152).

В октябре 1774 г. древней привилегией извetchика предстать с «верхним секретом» перед государыней пытался воспользоваться и сам Пугачев. Охранявший его в пути из Симбирска в Москву П.С. Рунич впоследствии вспоминал, что, когда в дороге Пугачев вдруг серьезно занемог, он подозвал Рунича и «прерывчивым голосом, со вздохом, сказал мне: “Если не умру в сию ночь или в дороге, то объявлю вам, чтобы доведено было до Ея и.в. государыни императрицы, что имею ей одной открыть такие тайныя дела, кои, кроме Ея в., никто другой ведать не должен, но чтоб был к ней представлен в приличном одеянии донского казака, а не так, как теперь одет” (629, 155). Однако Екатерина благоразумно уклонилась от встречи с «супругом», пре-

доставив назначенным ею следователям вытянуть из него все, что было ей нужно.

Любопытную подробность сообщает неизвестный поляк-конфедерат, сосланный в 1769 г. в Сибирь. Когда он с товарищами оказался в ссылке в Тобольске, то решил пожаловаться на злоупотребления местных властей. Кто-то из местных доброхотов посоветовал полякам положить письмо на имя государыни перед ее портретом и подобием трона, находившимся в Тобольской судебной палате, после чего по давней традиции прошение «немедленно препровождалось в Петербург». Поляки так и сделали. И действительно, их жалоба очень быстро дошла до Екатерины II, и участь пленных облегчили (588, 291). Следовательно, сакральность государственной тайны сохранялась, даже если челобитчик обращался к изображению монарха, подобно тому как он обращал свои тайные молитвы к Богу, молясь перед иконой.

Все самодержцы и самодержицы XVIII в. были причастны к политическому сыску, все занимались его делами. Даже от имени двухмесячного императора Ивана Антоновича, «правившего» Россией чуть больше года, издавались указы и манифесты по делам сыска. В этом можно видеть традицию, уходящую к истокам самодержавия, к исключительному праву самодержца разбирать такие дела. Бывали на допросах в застенке и «думали думу с бояры» о тайных политических делах цари Михаил и Алексей, причем последний писал вопросы для Разина, пытаясь найти его связи с патриархом Никоном (233, 308–309, 312).

Интерес Петра I к сыску объясняется как личными пристрастиями царя, так и острой борьбой за власть, которую он выдержал в молодости. В этой борьбе Петр рано проявил решительность и жестокость. Недоверчивый и подозрительный, он был убежден, что только страх и насилие могут удерживать подданных в узде. Первые уроки сыского дела Петр получил в августе 1689 г., когда допрашивал своего врага — Федора Шакловитого (623-1, 16 и др.). Легенда связывает имя Петра и с разоблачением заговора Цыклера: в 1697 г. царь получил донос об этом заговоре и нагрянул в дом Цыклера, застав заговорщиков во время совещания (797, 28–31).

Анекдот этот похож на правду. Петр вполне мог так поступить — тому есть пример. 7 декабря 1718 г. царь получил донос о ночных тайных литургиях, которые служил у чудотворной иконы архимандрит Тихвинского монастыря Рувим, а затем самолично нагрянул ночью на монастырское подворье как раз в тот момент, когда Рувим, по просьбе подосланного царем человека, служил молебен. После того царь «образ пресвятой Богородицы на квартире ево (Рувима. — Е. А.) взял, и оного архимандрита и при нем слу-

жителей указал забрать... и указал Его ц.в. о вышеписанных чудотворениях для чего оные разглашал и певал молебны тайно по ночам, а не явно, исследовать и розыскать в Канцелярии...». 8 декабря, в присутствии царя, допрашивали в застенке стряпчего Петра Шпилькина о тех, кто приезжал по ночам к Рувиму на молебны (13, 1—3; 181, 290).

Помазанник Божий хорошо знал дорогу в застенки. Исследователи сыска деятельности Петра (163; 212; 171) пишут о непосредственном участии Петра I в Стрелецком розыске 1698 г. С началом розыска Петр сам допрашивал стрельцов, и это занятие явно его увлекло, захватило целиком. Один из важнейших документов розыска — «Вопросные статьи» 1698 г., которые определили весь ход расследования, — продиктовал сам царь, и они, по мнению М.М. Богословского, «носят отпечаток его слога» (163, 28, 36—37).

Петр часто бывал на пытках и приглашал своих гостей в застенки посмотреть на мучения, которым подвергали приближенных женщин царевен Софьи и Марфы. Царь лично допрашивал этих своих сестер (163, 63, 81). С 1700 по 1705 г. Петр рассмотрел в Преображенском приказе и вынес резолюции по 50 делам (212, 39). Даже в свои походы он брал с собой арестованных и допрашивал их (557а-5, 301; 557а-9, 109; см. также 210, 303; 536, 31). Судить о том, насколько опытным следователем был Петр, трудно. Конечно, он оставался сыном своего века, когда признание под пыткой считалось высшим и бесспорным доказательством виновности человека. Петр не отличался какой-то особой кровожадностью. Известны только два случая, когда царь указывал запытать до смерти упорствующих в своих «заблуждениях» старообрядцев (325-1, 640; 181, 112, 118).

В делах сыска, как и во многом другом, Петр часто проявлял свой неуравновешенный характер, им подчас руководил не хладнокровный расчет, а импульсы его необузданной натуры. Поэтому он нередко ошибался в людях, что особенно заметно в деле Мазепы, которому слепо доверял, и был глух ко всем доносам на него, многие из которых подтверждались фактами: гетман давно встал на путь измены русскому царю. Но Петр выдавал доносчиков на Мазепу самому же гетману, который их казнил. Даже накануне перехода Мазепы к шведам Петр сообщал гетману, что ложные доносчики на него — Кочубей и Искра — арестованы (357, 71—72). Согласно легенде, единственным выводом Петра I, попавшего с этой историей впросак, была знаменитая сентенция: «Снявши голову, по волосам не плачут». Екатерина II в разговоре с потомком Искры выразила сочувствие судьбе его несчастного предка, на что потомок Искры дерзновенно ответил государыне, что, мол, монарху надобно лучше думать перед вынесением приговора, ибо голова — не карниз, заново не приставишь (482, 27).

Вообще, личные расправы царя над подданными признавались в народе позорным, нецарским делом. То, что Петр «немилосердно людей бьет своими руками», воспринималось как свидетельство его «неподлинности» (88, 647). Занятия Петра в застенке принесли ему дурную славу. В 1698 г. велось дело одной помещицы и ее крепостного, говоривших о царе: «Без того-де он жить не может, чтоб ему некоторый день крови не пить». В подтверждение этой мысли помещицу и ее холопа казнили. Мнение о царе-кровопийце жило в обществе и позже. В 1701 г. Петр приказал наказать Евдокию Часовникову, которая сказала о Петре и о Ф.Ю. Ромодановском: «Которого-де дня Великий государь и... Ромодановский крови изопьют, того-де дни, в те часы они веселы, а которого дни они крови не изопьют и того дни им и хлеб не еща» (212, 47, 50; см. также 89, 639). В 1699 г. полковник Иван Канищев донес на азовского губернатора князя А.П. Прозоровского — человека осведомленного и близкого ко двору. Оказывается, губернатор при гостях говорил следующее: государь людей «казнит же и своими руками изволит выстегать, как ему, государю, [у]годно». А.В. Кучумов в 1702 г. был сослан на каторгу за слова: «Государь с молодых лет бараны рубил, а ныне руку ту натвердил над стрелыцами». «Какой он государь, — говорил при посторонних князь В.Ю. Солнцев-Засекин в 1701 г., — он — стрелецкий добытчик» (88, 653). Тогда же ссыльная Анисья Васильева рассказывала, что когда ее пороли в Преображенском приказе, то «в то время Великий государь был и полы затыкал, будто-де он палач» (664, 192).

Возможно, что слухи о кровожадности царя были порождены жуткой и кошунственной обстановкой в Москве в 1698 г., когда царь и его приближенные участвовали в пытках и кровавых казнях, а потом пировали с безудержным весельем на безобразных попойках. Все это напоминало времена опричного террора Ивана Грозного. В деле своего сына царевича Алексея Петр сыграл роль палача. Известно, что он лично участвовал в допросах и пытках собственного сына, а потом стал сыноубийцей. Летом 1718 г. повсеместно говорили о казни царевича и осуждали царя, которому якобы «царевича не жаль, уморил-де ево в тюрьме... и не стыдно ль-де ему о том будет», что «Великий государь царевича... потребил своими руками», или это дело рук Меншикова, действовавшего по указу царя. Арестованный по доносу капитан Выродов якобы говорил: «Какой он царь, что сына своего царевича Алексея Петровича казнил и кнутом бил?» «Какой он царь! — говорили на рынках, сына своего, блаженной памяти царевича Алексея Петровича, заведши в мызу, пытал из своих рук» (88, 832; 8-1, 24 об., 344; 322, 129).

В 1725 г. Василий Селезнев был арестован за слова: «Ежли б-де он был наш царь и он бы-де сына своего, царевича до смерти из своих рук не убил»

(8-1, 304). Некто Боршов в 1730 г. вспоминал о Петре I: «Кто перед ним в чем погрешит, за вину изволил сам наказывать, из своих рук кнутом, на дыбе» (8-1, 143 об.). Даже в 1736 г. воронежские однодворцы говорили между собой о Петре: «Наш-де император вывел роту и велел сына своего ротою расстреливать, и рота-де не стала расстреливать, палили все в землю» (44-10, 176).

Особенно много сведений об участии Петра в работе сыска сохранили источники из Тайной канцелярии. Для работы в ней Петр 25 ноября 1718 г. даже выделил особый день — понедельник. (181, 109—110). В этот день Петр приезжал в Петропавловскую крепость, слушал и читал там доклады, выписки и приговоры по текущим делам, являя собой в одном лице и следователя, и судью. К приезду царя судьи готовили экстракты и писали проекты приговоров, которые государь либо утверждал традиционной фразой «Учинить по сему», либо собственноручно правил и даже заново переписывал. Порой он детально вникал в обстоятельства дела, вел допросы и присутствовал при пытках. Иван Орлов в 1718 г. писал в челобитной по поводу очной ставки в застенке с Марией Гамильтон: «Когда при Царском величестве был розыск и она меня в ту пору оговорила...» (664, 249). Резолюции царя показывают глубокое знание им тонкостей сыска и дел, которые его чем-то особо привлекали (см. 181, 111—116).

Не всегда розыски при царе фиксировались на бумаге, как было в деле Монса в 1724 г. Петр вообще был свободен в выборе решений по каждому делу. Все было в его воле: дать указ арестовать, допросить, пытать, выпустить из тюрьмы. Он отменял уже утвержденный им же приговор, направлял дело на доследование или приговаривал преступника к казни. При этом он исходил не из норм тогдашнего права, а из собственных соображений, оставшихся потомкам неизвестными.

Впрочем, ссылки на законы и процессуальные нормы тогда не были обязательны — традиция и право позволяли самодержцу выносить любой приговор по своему усмотрению. В 1720 г. Петр указал о подавшем ему челобитную старообрядческом дьяконе Александре и его сообщнике, старце Ионе: «Дьякона пытать к кому он сюда приехал и приставал, и кого здесь знает своего мнения потаенных; а по важных пытках, послать с добрым офицером и солдатами от гвардии в Нижний, и там казнить за его воровство... Другого, Иону, пытать до обращения или до смерти, ежели чего к розыску не явится» (325-1, 640; 181, 118).

Мы видим, как понимал царь весь сыскной процесс: еще до следствия вина Александра для Петра очевидна, требовалось лишь узнать о его сообщниках в столице, а потом отвезти преступника в Нижний и казнить. Со-

общника же дьякона нужно было пытаться до смерти, если тот не откажется от своей «ереси» и не вернется в лоно православной церкви. При этом Петр исходил из общих представлений о праве государя как верховного вершителя судеб подданных (см. 301, 105). Любопытно дело бывшего фискала Санина. Вначале Петр вынес резолюцию о его казни, потом распорядился, чтобы казнь Санина «умедлить для того, что Его величество изволил иметь тогда намерение сам его Санина видеть». Затем царь встретился с Саниным, выслушал его... и повелел ужесточить казнь: вместо отсечения головы он предписал колесовать преступника. Нужно согласиться с В.И. Веретенниковым, который писал, что в подобных случаях «личная воля монарха является высшей и в данном случае единственной нормой» (181, 121).

В принципе в системе самодержавной власти ни одно государственное дело не должно было миновать государя. Однако на практике смотреть все дела царь не мог и происходила их неизбежная сортировка. В обычных, маловажных делах критерием решения служил закон, регламент, инструкция. Если же подходящего к делу закона не было, дело должно было поступать на рассмотрение государя. Эту схему Петр довольно последовательно проводил во время реформы государственной власти.

Эта же схема действовала в целом в делах политического сыска, хотя они, в силу особой важности их, подлежали рассмотрению государя. Кроме общей сортировки наиболее существенных дел по «двум первым пунктам» от прочих, менее важных, сложилась устойчивая классификация рассматриваемых дел по степени их важности. В служебном языке политического сыска при Петре появилось определение «важн о с т ь», которое использовали в классификации дел. «Важность» — это обобщенная оценка значимости дела, это же и общее определение преступления как перспективного для расследования в сыске, а также достойного внимания государя: «вымышленные им (преступником. — Е. А.) важные непристойные слова», «важные их вины», «важные письма», «затейные важные непристойные слова», «дела важные...». Иные преступления и дела считались незначительными, «неважными», «посредственными»: «Из распросных ево речей важности никакой не явилось...»; «По тем письмам важности не касается»; «Сказал, что имеет... великую важность по первому пункту, а роспросом такой важности не показал», «То дело Его и.в. изволит считать за неважное», «Здесь вновь важных дел нет, а имеются посредственные» (10, 116, 125, 151, 159 об., 161; 8-1, 358 об.; 7, 134—136; 181, 180—185).

Одновременно «важность» понималась и как конкретные преступные действия или «непристойные слова», и как криминальная суть, самое суще-

ство преступления: «Чтоб вы при себе окончили самую важность» (181, 180–185). «Важность» соседствовала с «тайностью», «секретом», доступным только сыску и государю. Дела «по важности» почти всегда были «секретные», «тайные». В 1723 г. Тайная канцелярия отчитывала членов Главного магистрата за то, что они, исследуя какое-то дело по извету, совершили проступок: «Самую важность открыли, чего весьма чинить им не надлежало» (181, 182). Только знающие суть отличий «важного» дела от «неважного» руководители сыска могли точно определить, какие из дел следует подносить государю, а какие к «важности не касаются» и могут быть решены в самом сыском ведомстве по формуле «По указу Его и.в....». Поток таких, не содержащих «важность» дел — а речь идет о тысячах их — и шел, минуя государя, через постоянные сыские органы XVIII в. (Преображенский приказ, Тайную канцелярию и Тайную экспедицию). Поэтому для политического сыска разбор «маловажных» дел о пьяной болтовне, непристойностях, ложном кричании «Слова и дела» быстро стал рутиной. Сыское ведомство являет собой некий конвейер по порке и ссылке «болтунов» по «маловажным» делам. Как писал П.А. Толстому оставшийся за старшего в Тайной канцелярии А.И. Ушаков, «в Канцелярии здесь вновь важных дел нет, а имеются посредственные, по которым також, яко и прежде, я доносил, что к н у т о м плутов посекаем, да на волю выпускаем» (181, 124).

Впрочем, эта рутинная работа могла быть резко прервана. В любой момент самодержец мог взять к себе любое из дел, в том числе имеющее для приговора твердую законодательную основу, и решить это дело так, как ему заблагорассудится, даже вопреки закону и традиции. И тогда в какой-то момент, казалось бы, второстепенное, типично «неважное» дело вдруг становилось по воле разгневанного государя «важным», сверхважным. Тогда некую «бабу Акулину», сказавшую в 1721 г. в гостях нечто «непристойное» о государе, разыскивали по всей стране многие месяцы как особо опасную государственную преступницу. Поймав же ее, как и не донесших на нее свидетелей, страшно пытали, заботливо лечили, чтобы опять пытать, хотя никакого угрожающего целостности России и власти самодержца преступления за бабой Акулиной Ивановой явно не числилось. Но именно в таком повороте дела, придании ему «важности» и проявлялась воля самодержца и страшная сила политического сыска — орудия самодержавия.

На протяжении XVII и XVIII вв. поручения по политическому сыску традиционно проводили назначенные государем порученцы — доверенные люди, поставленные во главе комиссий. В XVII в. таких сыских («розыскных») приказов-комиссий было довольно много, они ведали дела о злоупот-

реблениях, измене, порче, мятежах (см. 308, 5–44; 234, 309, 312 и др.). Сразу же после воцарения Петра I в 1689 г. был создан Приказ розыскных дел боярина Т. Н. Стрешнева по делу Ф. Л. Шакловитого (623).

В октябре 1698 г., с началом Стрелецкого розыска, было образовано десять (!) следственных комиссий, во главе которых стояли бояре, а также комматный стольник князь Ф. Ю. Ромодановский. Последний был тогда судьей Преображенского приказа. Из материалов Стрелецкого сыска вытекает, что комиссии являлись, в сущности, филиалами главной розыскной комиссии Ромодановского (163, 28–82).

В Петровскую эпоху мы видим сочетание всех видов порученчества и возникавших на его основе временных учреждений — комиссий (приказов, канцелярий). Обычно за разнообразием организационных форм стояло конкретное поручение государя, причем в особо важных случаях самодержец поручал расследование всему, как тогда говорили, «синклиту», «начальствующим», «министрам», высшим должностным лицам (боярам, потом — сенаторам, членам Синода, судьям приказов, президентам коллегий и др.) (325-2, 143; 212, 39). Допросы царевича Алексея вели сенаторы в помещении Тайной канцелярии (см. 181, 83). В 1722 г. по поводу допроса Стефана Яворского, на которого дал показания Варлам Левин, Петр указал: «Когда важность касаться будет, тогда Сенату придти в Синод и там допрашивать, и следовать, чему подлежит». Сенаторы допрашивали и Левина и Яворского, причем допросы последнего продолжались шесть дней! (325-1, 32). Работа подобного рода следственных комиссий, составленных из «принципалов», обычно опиралась на постоянные органы — учреждения политического сыска, использовали их бюрократический аппарат. Самым главным из таких учреждений долгое время был *Преображенский приказ*.

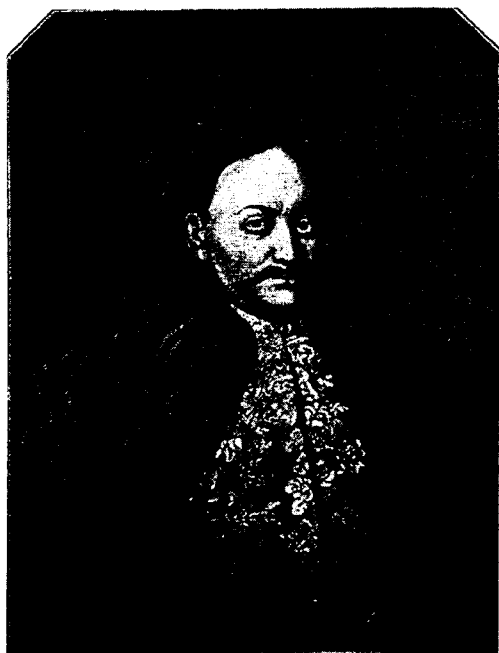
История появления этого учреждения достаточно хорошо изучена Н. Б. Голиковой (212, 211). Созданный как обычный дворцовый приказ, он претерпел эволюцию и с начала XVIII в. стал головным учреждением, которое ведало политическим сыском. Несколько важных моментов развития государственного аппарата и политической обстановки того времени этому способствовали. Во-первых, приказ возник в Преображенском — дворцовом селе, которое с 1682 г. было фактической резиденцией Петра. Приказ вырос из съезжей избы и, благодаря особому вниманию Петра, превратился (примерно с 1695 г.) в одно из важнейших центральных учреждений России. В ведении приказа находились различные отрасли управления, а также «суд и расправа» гвардейских полков. В приказе вели прием даточных, вольных и рекрутов новой регулярной армии, готовились Азовские походы 1695—

1696 г. Вместо ликвидированного Стрелецкого приказа в конце XVII в. он стал вести московской полицией. К этому добавим управление несколькими дворцовыми волостями, а из новых поручений — монополия табачной торговли.

Во-вторых, начиная с осени 1698 г. Преображенский приказ стал центром грандиозного Стрелецкого сыска. Этот розыск затянулся на несколько лет, и постепенно сыскные функции приказа стали для него важнейшими. Образовался штат опытных в делах сыска приказных, заплечных мастеров, а также обустроенные пыточные палаты и тюрьма. У Ромодановского — бессменного судьи приказа — сосредотачивались сыскные дела по многим преступлениям. Ранее они отдавались без всякой системы в различные приказы. Наконец, Петр именным указом 25 сентября 1702 г. закрепил за Преображенским приказом исключительное право ведения следствия и суда по «Слову и делу». Отныне все власти обязывались «таких людей, которые учнут за собой сказывать Государево слово и дело, присылать к Москве, не спрашивая... в Преображенский приказ» (587-4, 1918). Такое сосредоточение сыска оказалось очень удобным Петру, который не доверял старой администрации и с началом реформ и Северной войны хотел держать политический сыск под контролем своего доверенного человека. Им-то и стал князь Федор Юрьевич Ромодановский.

Во многом благодаря Ромодановскому, Преображенский приказ и занял столь важное место в управлении. Сам Ромодановский был всего лишь комнатным стольником. Но он находился «в милости» у молодого царя, и ему, как и еще нескольким боярам, Петр, уезжая за границу в 1697 г., поручил управление страной. Трудно понять истоки необыкновенного доверия Петра I к Ромодановскому. По-видимому, многое переплелось в их судьбах. В самые опасные для царя годы Ромодановский доказал свою безусловную преданность молодому Петру. И за это Петр постоянно отличал Федора Юрьевича, как писал князь Б. И. Куракин, «для самой конфиденции к своей персоне». На современников Ромодановский производил пугающее впечатление, имел нрав пьяницы и кровопийцы (420, 83—84).

Всю свою жизнь рядом с Петром I судья Преображенского приказа играл шутовскую роль «царя Прешбургского», «князь-кесаря Всеппянейшего собора». Царь демонстративно отбивал ему поклоны, писал ему «челобитные», именовал «государем» и подобострастно благодарил за награды. Ромодановский был предводителем всех маскарадов и попоек с участием Петра. Он входил в тот узкий круг особо доверенных людей, сподвижников-событников, среди которых царь отдыхал. Ромодановский обладал чувством



Князь Федор Юрьевич Ромодановский

юмора, но юмор начальника сыска был весьма своеобразен. Как-то, узнав, что старец Авраамий подал царю осуждающие его правление «Тетради», судья Преображенского приказа мрачно пошутил: «Люди-де отсед[а] бегают, а старец-де сам, добровольно, лезет в струб», т.е. на костер (376, 174, 178).

Шутовство не мешало Ромодановскому занимать высокие места в управлении. Думаю, что в его карьере особую роль сыграл Стрелецкий розыск 1698 г., когда он хорошо организовал следствие и получил важные сведения о замыслах стрельцов, об их связях с царевной Софьей. Достиг этого Ромодановский благодаря открывшемуся у него пыточному таланту. Он был человек более жестокий и беспощадный, чем сам Петр. Порой царь даже выражал (возможно, показное) возмущение кровопийством «государя». В Стрелецком розыске Ромодановский превзошел себя. Особая жестокость его имела объяснение: в какой-то момент стрелецкого мятежа летом 1698 г. Ромодановский дрогнул. Его не было видно на поле боя после разгрома мятежников под Воскресенским монастырем. Первый розыск, причем неумелый, провел боярин А.С. Шеин, а не Ромодановский, что вызвало недоумение

Петра I. Он писал в Москву, что узнал о подавлении бунта, «зело радуемся, только зело мне печально и досадно на тебя, для чего сего дела в розыске не вступил. Бог тебя судит! Не так было говорено на загородном дворе в сенях» (557-1, 251–252). Из этого вытекает, что при отъезде царя за границу политический сыск был поручен Ромодановскому и задание царя он не выполнил. Думая, что Ромодановский попросту испугался и выжидал. По этому поводу Петр писал ему: «Я не знаю, откуда на вас такой страх бабей». Зато потом, когда мятеж был подавлен, а Петр вернулся в Россию, Ромодановский лез из кожи, чтобы загладить свою трусость и странную растерянность. Тем не менее царь долго помнил об этом. В июле 1698 г. он пишет Ромодановскому о деле стрельца Ошихлина, который был запытан до смерти. Царь заподозрил, что Ромодановский не случайно избавился от свидетеля: «И в том суди тебя Бог, что ты, не боясь его, хочешь воровство это замять». Ромодановский отвечал, что обвинения в «норовлении воровству» неосновательны и что он всегда оставался верным рабом и прочее (557-1, 730). Возможно, что он был честен перед царем и, «испив крови», погорячился, однако мысль, что его подозревают в неверности, добавляла Ромодановскому служебного рвения, что государю, собственно, и было нужно.

И хотя в середине 1710-х гг. приказ перестал быть единственным органом сыска (часть сыскных дел перешла к «мазорским канцеляриям» и к Тайной канцелярии), Ф.Ю. Ромодановский до самой своей смерти в 1717 г. оставался главным палачом державы. Накануне смерти с ним в конфликт вступила новообразованная Юстиц-коллегия из-за того, что Ромодановский по старой памяти тянул на себя многие судебные дела (см. 182, 380). Место отца занял его сын — князь Иван, который подал царю челобитную, в которой «со всегорестными слезами о конечном сиротстве» просил его не оставить милостями, а главное — батюшкиным служебным «наследством» (322, 78). Но Ромодановскому-младшему не повезло: во время его судейства шли непрерывные реорганизации, у кормила власти постоянно менялись люди, и в 1728 г., под предлогом болезни, он ушел в отставку. В 1729 г. сам Преображенский приказ был распущен, хотя его помещение использовалось с теми же целями лет восемьдесят (373, 272).

Во второй половине 1710-х гг. важное место в системе политического сыска заняли так называемые «мазорские» розыскные канцелярии, которые так именовались из-за того, что во главе них стояли майоры гвардии. Они ведали каким-либо конкретным розыскным делом по личному поручению царя. Петр часто прибегал к услугам гвардейцев для самых разных поручений (691). Канцелярии майоров (а их насчитывалось двенад-

цать) по своей сути были временными следственными комиссиями, похожими на сыскные приказы XVII в. Подчас они, начав с одного дела, быстро разрастались в целое учреждение со штатом приказных и обширным делопроизводством (подробнее см. 181, 102, 147–150).

Майорские канцелярии занимались преимущественно делами по «третьему пункту» («кража государственного интереса», «похищения казны»), а также другими должностными преступлениями. Но царь часто передавал майорам и политические дела. Майорским канцеляриям предоставлялись значительные права проводить весь цикл расследования (допросы, очные ставки, пытки) и готовить проекты приговоров (181, 41). Царь был в курсе дел канцелярий и направлял весь ход расследования в них. К 1724 г. Петр, завершая государственную реформу, решил ликвидировать ставшие уже ненужными «мазорские канцелярии». Указ об этом был издан 22 января 1724 г. (181, 68). Чуть раньше Петр решил прикрыть и Канцелярию тайных розыскных дел.

Канцелярия тайных розыскных дел, более известная как Тайная канцелярия, возникла в начале расследования дела царевича Алексея, хотя указ об ее образовании не найден. 4 февраля 1718 г. Петр продиктовал П.А. Толстому «пункты» для первого допроса сына-преступника. Позже именно к Толстому и стала сходить вся информация по начатому розыску. Вокруг него, типичного петровского порученца, сложился штат приказных новой, но весьма похожей на майорские розыскной канцелярии, хотя до самого переезда в Петербург весной 1718 г. ведомство Толстого канцелярией не называлось (181, 78–87). Иначе говоря, розыск по делу царевича Алексея поначалу был личным поручением Толстому, точно так же, как раньше по заданию Петра А.Д. Меншиков вел Кикинское дело, которое было частью следствия по делу Алексея (752, 171 и др.).

Выбор Петра Андреевича Толстого на роль руководителя розыска по делу царевича можно объяснить тем, что он до этого блестяще провел операцию по возвращению из-за границы блудного царского сына. Возможно, Толстой, желая выслужиться, сам напросился на это поручение царя (186, 24). В Италии, где Толстой настиг царевича, он сумел уговорить Алексея вернуться домой, причем сделал это не без обмана. Не случайно привлеченный по делу царевича Иван Нарышкин Толстого «называл Иудою, он-де царевича обманул и выманил» (8-1, 21). После успешной миссии в Италии царь поручил Толстому уже расследование дела о побеге царевича. До этой истории Толстой не входил в круг ближайших сподвижников Петра. В молодости он принадлежал к враждебной Петру группировке Милославских, но потом сумел зас-



Петр Андреевич Толстой

лужить доверие царя и добиться для себя ответственных поручений, что было нелегко: Петр был недоверчив, и никто из родственников и сторонников Милославских — заклятых врагов молодого царя при нем карьеры не сделал. Один только Толстой сумел преодолеть инерцию недоверия царя. Человек уже не молодой (родился в 1653 или 1654 г.), в начале 1697 г. Толстой отправился учиться на моряка, чем особенно угодил государю-shipперу. В 1701 г. он стал посланником в Стамбуле и проявил там незаурядный талант дипломата. Вернувшись в 1714 г. в Россию, Толстой стал служить в Посольской канцелярии, и неизвестно, как сложилась бы его судьба, если бы не бегство царевича Алексея и последовавшие за этим события. По роду своих занятий и склонностям П.А. Толстой был более всего дипломатом, хитрый, изворотливый и умный, но, как многие другие сподвижники Петра I, он мог заниматься и самыми разными делами: управлять коммерцией, вести сыскные дела.

Личность Толстого не вызывала восторгов у его современников. О нем и его брате Иване, губернаторе Азовской губернии, А.А. Матвеев отзывался

весьма сурово, отмечая их мрачную злобность, «великое пронырство» и склонность к интриганству. Петр I, по-видимому, не особенно доверялся Толстому, но умел ценить его дар ловкого дипломата, ум и рвение. Толстой же постоянно показывал свою преданность Петру, был готов выполнить любое его задание, не задумываясь над моральной стороной дела. Толстой не только помогал Петру вести допросы царевича, но занимался «ответвлением» главного розыска — вел допросы близких к царевичу людей. По окончании дела Толстой стал графом, тайным советником, президентом Коммерц-коллегии, сенатором, владельцем обширных вотчин.

Тайная канцелярия как учреждение появилась на свет в Петропавловской крепости и была типичной временной розыскной комиссией. Толстой быстро составил штат учреждения из шести—девяти подъячих разных приказов и канцелярий. Им обещали, что работа их в канцелярии будет временной, до «скончания дела» Алексея (181, 88, 209). По устройству канцелярия была похожа на приказное учреждение с повытьями — отделениями во главе со старыми подъячими (8-1, 64). Вместе с Толстым в качестве его помощников, которых позже стали называть «ассессорами», заседали старшие гвардейские офицеры А.И. Ушаков, Г.Г. Скорняков-Писарев и И.И. Бутурлин. Никаких регламентов, инструкций о работе Канцелярии не существовало. В принципе закрытие Тайной канцелярии было предрешиено смертью царевича Алексея 26 июня 1718 г. Через несколько дней после этого Толстой постановил отправить обратно в Москву на прежнюю работу дьяка Тимофея Палехина, который был «взят к тайным розыскным делам... которые дела ныне произошли к окончанию» (181, 88—89).

Однако, как часто бывало с подобными временными учреждениями при Петре I, Тайная канцелярия не смогла быстро завершить свою работу, сдать дела и после этого распустить служащих. Она находилась под боком, и Петр, получив важный донос, указывал написать Толстому об «исследовании» этого очередного дела. 8 августа 1718 г. с борта корабля, находившего при мысе Гангут, царь писал Толстому: «Мой господин! Понеже явились в краже магазейнов ниже именованные, того ради, сыскав их, возьми за караул» (9-1, 40). Ниже указывался список предполагаемых воров. Так, вероятно по чьему-то доносу, началось Ревельское адмиралтейское дело, которое закончилось суровыми приговорами только через несколько лет. Подобным же образом возникали и другие дела.

С образованием Тайной канцелярии наметилось географическое распределение дел между ею и Преображенским: колодников по Петербургу и окрестностям велели присылать в Тайную, а из Москвы и центральных губерний России — в Преображенский приказ, который стал называться кан-

целярией (181, 179, 183). В 1718 г. в Москве А.И. Ушаков создал, по заданию Петра, филиал Тайной канцелярии — ее Кантору, которая разместилась на Потешном дворе в Преображенском (664, 117–118). Деление сыска на два ведомства оказалось временным. Осуществляя реформу управления, Петр предполагал передать политический сыск Сенату. 15 января 1724 г. царь указал: «Следующиеся в Тайной розыскной канцелярии дела важные решить, а вновь, подобно прежде бывшим (колодников и дел), присылаемых ни откуда не примать, понеже оставшиеся за решением дела отослать в Правительствующий Сенат и с подьячими...» (10, 125; 181, 221, 222; 117; 193, 140). Царь хотел усилить в Москве значение филиала Сената — Московской Сенатской канторы. Она воспроизводила структуру «большого» Сената в Петербурге. Преображенская канцелярия должна была, по примеру Тайной канцелярии в Петербурге, перешедшей в Сенат, стать Канторой розыскных дел Московской канторы Сената. Однако реорганизацию сыска по плану царя из-за его смерти в 1725 г. так и не провели. Думаю, что в неисполнении указа царя виноваты сами сенаторы, которые тянули с приемом бумаг от Тайной канцелярии и явно не желали взваливать на свои плечи новое и очень сложное поручение. Петр же, занятый другими делами, их не понукал, да к тому же и сам был непоследователен — приказывал вести в канцелярии новые дела (181, 226; 322, 140–142).

После того как в январе 1725 г. умер Петр Великий и на престоле оказалась императрица Екатерина I, Тайная канцелярия еще продолжала работать. Весьма крупным в 1725 г. стало дело монаха Самуила Выморочкова. Его дело Екатерине I вкратце пересказал А.И. Ушаков 30 июля 1725 г., и после этого государыня одобрила проект приговора (664, 180–181). Тем же летом Екатерина слушала доклады по делу Феодосия Яновского, в декабре 1726 г. по своему ведомству знакомил ее с делами Иван Ромодановский. Он же составил проект приговора по делу Родышевского (252, 50). И все же 28 мая 1726 г. в истории Тайной канцелярии была поставлена точка. В тот день появился указ Екатерины I на имя Толстого, где сказано, что Тайная канцелярия «учинена была на время для случившихся тогда чрезвычайных тайных розыскных дел и, хотя тому подобные дела и ныне случаются, однако не так важные и больше бывают такие дела у... князя Ромодановского». Поэтому канцелярию было предписано ликвидировать (30, 150; 181, 233).

В феврале 1726 г. «при боку» Екатерины I возник Верховный тайный совет, составленный из «первейших» вельмож того времени. Сразу же он стал «стягивать» к себе власть, в том числе и в делах политического сыска. Верховники выполняли роль одновременно следователей и судей: на своих

заседаниях они выслушивали записи допросов, экстракты по делам сыска, выносили приговоры, принимали доклады И.Ф. Ромодановского и А.И. Ушакова (592-7, 4892; 633-55, 96—97; 633-56, 40, 74; 633-63, 464, 603; 181, 256). После смерти Екатерины I (7 мая 1727 г.) и с восшествием на престол 12-летнего Петра II некоторое время сыскными делами ведал фактический регент А.Д. Меншиков. Он распоряжался, как расследовать начатое в апреле 1727 г. дело П.А. Толстого и его сообщников, а также княгини А.П. Волконской, которую светлейший заподозрил в интригах против себя (800, 936). После падения Меншикова политическим сыском стал вновь ведать Верховный тайный совет (758, 117—118). Верховники даже присутствовали при пытках. Из Совета руководили следственным делом Меншикова, там же составлялись инструкции и указы офицерам гвардии, которые допрашивали светлейшего, заслушивали рапорты и экстракты о ходе следствия по его делу (493, 97; 419, 94—101; 181, 248). К верховникам приходили доклады от порученцев и местных властей, причем они стремились сосредоточить у себя важные политические дела и указывали Сенату, чтобы он самостоятельно такие не решал (181, 244—245). На примере сыскной деятельности Верховного тайного совета видно, что центр высшей власти можно определить по тому, в чьем ведении состоит тайная полиция, политический сыск.

За исключением одного случая, когда в ноябре 1727 г. нужно было дать распоряжение о расследовании дела Меншикова, малолетний царь Петр II делами сыска не занимался (633-69, 271—272, 738). Судя по делу Волконской, основная тяжесть работы лежала на А.И. Остермане и князе А.Г. Долгоруком, отце фаворита царя Ивана Долгорукого. Текущие, «маловажные» дела после ликвидации Преображенского приказа в 1729 г. сосредоточили в Сенате. Однако вскоре и сам Верховный тайный совет прекратил свое существование.

В царствование императрицы Анны Ивановны (1730—1740 гг.) для сыскных дел использовались все известные ранее организационные формы: и постоянные учреждения, и временные комиссии, и сыскные поручения отдельным чиновникам. С ликвидацией Верховного тайного совета сыск перешел к Сенату (199, 531; 587-8, 5528). Однако 24 марта 1731 г. появился именной указ об образовании новой *Тайной канцелярии*. Ее возникновение весьма напоминает создание «мазорских канцелярий» и первой Тайной канцелярии Толстого. В указе проявляется забота о загруженных делами сенаторах, и чтобы им не было «помешательства... в прочих государственных делах», все «важные дела» по политическому сыску передаются генералу А.И. Ушакову (587-8, 5727). Трудно сказать, так ли уж был загружен делами Сенат, но думаю, что вступившая на престол Анна Ивановна не доверяла сенато-

рам, среди которых было немало ее врагов, и хотела держать политический сыск под своим контролем. Поэтому она и поручила, как ранее Петр I Ромодановскому, сыскные дела своему доверенному человеку Ушакову. Новая Канцелярия тайных розыскных дел вселилась в старые хоромы в Преображенском, унаследовав от Преображенского приказа и статус центрального учреждения, а также бюджет — 3360 руб., т.е. ту самую сумму денег, которая положена была по штату на бывший Преображенский приказ. Именно на такие ничтожные деньги из бюджета в 6—8 млн рублей содержался в 1731 г. политический сыск (587-8, 5738). В этом была преемственность органов политического сыска, как и в том, что «Тайная» — так в просторечии стали называть Тайную канцелярию — пользовалась архивом закрытого Преображенского приказа (42-1, 68).

В начале 1732 г. двор вернулся в Петербург, и вместе с ним Ушаков со своей канцелярией, которая в связи с объявленным «походом» государыни в Петербург получила название *Походная канцелярия тайных розыскных дел*. Под Канцелярию очистили помещения в Петропавловской крепости. Летом 1732 г., когда стало ясно, что столицей вновь стал Петербург, появился указ: «Тайную канцелярию взять из Москвы в С.Петербург и от оной Канцелярии оставить Контору и быть в дирекции... генерал-адъютанта Семена Андреевича Салтыкова». С сентября решено Канцелярию «именовать... просто Канцелярией Тайных розыскных дел» (180, 6—7). Создание Тайной канцелярии стало настоящим триумфом Андрея Ивановича Ушакова, резким поворотом его карьеры. К 1731 г. он сумел преодолеть обидный провал в своей карьере, когда в мае 1727 г. его втянули в дело Толстого, да еще обвинили в недонесении, т.е. по статье, которую — ирония судьбы! — Ушаков за свою жизнь в сыске предъявил множеству людей (633-63, 602—603). До этой неудачи карьера Ушакова шла вполне успешно. Он родился в 1670 г. в бедной, незнатной дворянской семье. Согласно легенде, до тридцати лет он жил в деревне с тремя своими братьями, деля доходы с единственного крестьянского двора, которым они сообща владели. Ушаков ходил в лаптях с девками по грибы и, «отличаясь большою телесною силою, перенашивал деревенских красавиц через грязь и лужи, за что и слыл детиною». В 1700 г. он оказался в Новгороде на смотре недорослей и был записан в преображенцы. По другим данным, это явление Ильи Муромца политического сыска произошло в 1704 г., когда ему было уже 34 года.

Как бы то ни было, Ушаков довольно быстро, благодаря своим способностям и усердию, сумел выслужиться. Поворотным моментом в его карьере стало расследование дел участников восстания Булавина в 1707—1708 гг. (172, 305). С тех пор Петр I начал заметно выделять среди прочих скромного и

немолодого офицера. К середине 1710-х гг. Ушаков уже входил в элиту гвардии, в своеобразную «гвардию гвардии». Он стал одним из десятка тех гвардейских майоров, особо надежных и многократно проверенных на разных «скользких» делах порученцев, которым царь часто давал самые ответственные задания, в том числе и по сыскным делам. Среди этих гвардейских майоров, людей честных, инициативных, бесконечно преданных своему Полковнику, Ушаков выделялся тем, что в свое время помогло Ромодановскому сделать карьеру: как и страшный князь, Ушаков любил и умел вести сыские дела.

В мае 1714 г. Ушаков, по указу Петра, создал свою «мазорскую канцелярию» и занялся запущенными рекрутскими делами и доносами фискалов. В том же 1714 г. Петр поручает Ушакову «провесть тайно» о кражах в подьячих, о воровстве в Военной канцелярии и в Ратуше, а также об утайке дворов от переписи (181, 151). Для такого дела недостаточно рвения и честности, нужны были какие-то особые способности в сыском деле. Ими, вероятно, Ушаков и обладал. По-видимому, по этой причине именно Ушакова царь поставил первым заместителем к П.А. Толстому в образованную в марте 1718 г. Тайную канцелярию. В отличие от других ассессоров — Г.Г. Скорнякова-Писарева и И.И. Бутурлина — Ушаков показал себя настоящим профессионалом сыска. Он много и с усердием работал в застенке и даже ночевал на работе (181, 134). Интересная черточка характера Ушакова видна из дела Степаниды Соловьевой, которая в июне 1735 г. была в гостях у Ушакова и за обедом жаловалась на своего зятя Василия Степанова. Баронесса сказала, что зять «ее разорил и ограбил и при том объявила словесно, что в доме того зятя ее имеетца важное письмо». Хозяин сразу насторожился и спросил: «По двум ли первым пунктам?» И хотя Соловьева уклонилась от ответа, в Тайной канцелярии вскоре завели на Соловьеву и ее зятя дело (55, 3). Как видим, начальник Тайной канцелярии и в дружеском кругу за обеденным столом оставался шефом политического сыска.

В награду за расследование дела царевича Алексея Ушаков в 1719 г. получил чин бригадира и 200 дворов (633-11, 377–378). С успехом он заменял и самого Толстого, который, завершив дело царевича, тяготился обязанностями начальника Тайной канцелярии. Многие сыские дела он перепоручал Ушакову, который делал все тщательно и толково. К середине 1720-х гг. Ушаков сумел укрепить свои служебные позиции и даже потеснил князя И.Ф. Ромодановского, который был не так опытен и инициативен, а главное — влиятелен при дворе, как его покойный отец. Ушаков стал докладчиком у Екатерины I по делам сыска. Гроза, которая в начале мая 1727 г. разразилась над головой Толстого, А.М. Девьера и других, лишь отчасти



Граф А.И. Ушаков

затронула Ушакова — он не угодил на Соловки или в Сибирь. Его лишь, как армейского генерал-лейтенанта, послали в Ревель (181, 256). Во время бурных событий начала 1730 г., когда дворянство сочиняло проекты об ограничении монархии, Ушаков был в тени, но при этом он подписывал только те проекты переустройства, которые клонились к восстановлению самодержавия в прежнем виде (405, Прил., 61). Возможно, в тот момент Ушаков угадал, за кем нужно идти. Позже, когда Анне Ивановне удалось восстановить самодержавную власть, лояльность Ушакова отметили: в 1731 г. императрица поручила ему вести политическим сыском.

Ушаков, несомненно, вызывал у окружающих страх. Он не был ни страшен внешне, ни кровожаден, ни утрюм. Современники пишут о нем как человеке светском, вежливом, обходительном. Люди боялись не Ушакова, а

системы, которую он представлял, ошушали безжалостную мощь той машины, которая стояла за его спиной. «Он, Шетардий, — рапортовали члены комиссии по выдворению из России французского посланника в 1744 г., — сколь скоро генерала Ушакова увидел, то он в лице переменялся. При чтении экстракта столь конфузен был, что ни слова во оправдание свое сказать или что-либо прекословить [не] мог» (128-2, 7—9). Следя за карьерой Ушакова, нельзя не удивляться его поразительной «политической непотопляемости». В этом с ним мог сравниться только князь А.М. Черкасский, который, как и Ушаков, несмотря на непрерывные перевороты и смены властителей, сумел не только прожить всю жизнь в почете и богатстве, но и умереть в собственной постели. При этом, вероятно, ни тот, ни другой не имели душевного покоя — так резко менялась в те времена ситуация в стране, а главное — при дворе. На пресловутых крутых поворотах истории в послепетровское время легко теряли не только чины, должности, свободу, но и голову. Вместе с Артемием Вольнским Ушаков судил князей Долгоруких, а вскоре, по воле Бирона, он пытал уже Вольнского. Потом Ушаков же допрашивал самого Бирона, свергнутого Минихом, еще через несколько месяцев «непотопляемый» Ушаков уличал волжи на допросах уже Миниха и других своих бывших товарищей, признанных новой императрицей Елизаветой врагами отечества. Вместе с любимцем императрицы Лестоком в 1743 г. Ушаков пытал Ивана Лопухина, и если бы Ушаков дожил до 1748 г. (он умер в 1747 г.), то, несомненно, он бы вел «роспрос» и самого Лестока, попавшего в опалу.

Ушаков сумел стать человеком незаменимым, неприступным хранителем высших государственных тайн, стоящим как бы над людскими страстями и борьбой партий. Одновременно он был ловок и, как тогда говорили, «пронырлив», мог найти общий язык с разными людьми. Вежливый и обходительный, он обращался за советом к людям, в данный момент к тому, кто был «в силе», хотя, вероятно, сам лучше знал свое сыскное дело. Так, с А.И. Остерманом он составлял доклады для императрицы Анны по наиболее важным делам; тезки прекрасно дополняли друг друга, хотя доклады и одного Ушакова отличались особой деловитостью, краткостью и тактом. Тут нельзя не отметить, что между самодержцами (самодержицами) и руководителями политического сыска всегда возникала довольно тесная и очень своеобразная деловая и идейная связь. Из допросов и пыточных речей они узнавали страшные, неведомые как простым смертным, так и высокопоставленным особам тайны. Перед ними разворачивалось все «грязное белье» поданных и все их грязные закулисные дела. Благодаря доносам, пыточным речам государь и его главный инквизитор ведали, о чем думают и говорят в

своем узком кругу люди, как они обдeldывают свои делишки. Там, где иные наблюдатели видели кусочек подчас неприглядной картины в жизни отдельного человека или общества в целом, им открывалось грандиозное зрелище человечества, погрязшего в грехах. И все это — благодаря особому «секретному зрению» тайной полиции. Только между государем и главным инквизитором не было тайн и «непристойные слова» не облакались, как в манифестах, в эвфемизмы. И эта определенная всей системой самодержавной власти связь накладывала особый отпечаток на отношения этих двух людей. Она делала обоих похожими на сообщников, соучастников не всегда чистого дела политики — ведь и сама политика не существует без тайн, полученных сыском с помощью пыток, изветов и донесений агентов. Иначе невозможно объяснить, как смог Ушаков, этот верный сыскной пес императрицы Анны, сохранить при ее антиподе — императрице Елизавете — такое влияние и пользоваться так же, как при Анне, правом личного доклада у государыни, совсем не расположенной заниматься какими-либо делами вообще. Исполнительный, спокойный, толковый, Ушаков не был таким страшным палачом-монстром, как князь Ромодановский, он всегда оставался службистом, знающим свое место. Ушаков не рвался на политический Олимп, не интриговал, он умел быть для всех правителей, начиная с Петра I и кончая Елизаветой Петровной, незаменимым в своем грязном, но столь важном для самодержавия деле. В этом-то и состояла причина его политической «непотопляемости».

Как и ее предшественники, Анна Ивановна была равнодушна к сыску. В.И. Веретенников, детально изучивший историю Тайной канцелярии 1731—1762 гг., пришел к обоснованному выводу, что ни с одним учреждением, «кроме Кабинета, у Анны не было таких тесных отношений, в дела никакого другого учреждения не входила сама императрица так близко, так непосредственно» (180, 14). Появление генерала Ушакова в личных апартаментах императрицы с докладом о делах сыска вошло в обычай с самого начала работы Тайной канцелярии. Ушаков либо докладывал государыне устно по принесенным им выпискам о делах, находящихся в производстве или законченных «исследованием», либо оставлял у нее экстракты дела. На них императрица писала свою резолюцию «Быть по сему докладу» или — в зависимости от своих пристрастий — меняла предложенный ей проект приговора: «Вместо кнута бить плетми, а в прочем быть по вашему мнению. Анна» (56, 32). Да и сама императрица давала распоряжения об арестах, обысках, лично допрашивала некоторых колодников, «соизволив... спрашивать перед собой». Она порой внимательно следила за ходом расследования и интере-

совалась его деталями. Особенно это заметно в делах «важных», в которые были вовлечены известные люди (дело А.А. Черкасского, княжны Юсуповой — 693, 297; 322, 366—367). 29 ноября 1736 г. Анна Ивановна открыла и первое заседание Вышнего суда по делу князя Д.М. Голицына, а потом бывала и на других его заседаниях. 14 декабря того же года императрица (через А.П. Волынского) указывала, как допрашивать Голицына (409, 29—31).

Когда весной 1740 г. пришел черед заниматься делом уже самого Волынского и его конфидентов, Анна сама допрашивала замешанного в деле князя А.А. Черкасского, постоянно получала от следователей отчеты, читала журналы и экстракты допросов (3, 75 об.), а 21 мая, выслушав очередной доклад, распорядилась начать пытки бывшего кабинет-министра (304, 157). Это был указ о пытке любимца, доклады которого так ей нравились еще совсем недавно. Наконец, недовольная работой следователей, она сама взялась за перо и составила список вопросов для застенка, приписав, чтобы забрать «ево все письма и концепты (выписки. — Е. А.), что касаетца до евтова дела и не исотрал ли их в какое время» (360, 179).

В царствование Анны Ивановны в системе политического сыска видное место занял Кабинет министров — высший правительственный орган, созданный в 1731 г. в помощь императрице. По многим, особенно — «неважным», делам Ушаков обращался в Кабинет, где заседали влиятельнейшие сановники — А.И. Остерман, кн. А.М. Черкасский, потом П.И. Ягужинский и А.П. Волынский. Из некоторых протоколов Кабинета видно, что Ушаков работал рука об руку с кабинет-министрами и стремился добиться коллективной ответственности с министрами по наиболее острым делам и чего последние, естественно, стремились избежать. Недовольство Ушакова таким положением прорвалось во время допроса Волынского 17 апреля 1740 г., когда Ушаков говорил, не без раздражения, бывшему кабинет-министру: «По делам Тайной канцелярии что надлежало, о том не токмо графу Остерману, но князю Черкасскому, и тебе непрестанно говаривал, чтоб те дела слушать, а от вас говаривано, что времени нет» (471, 539; 304, 145; 3, 62 об.).

Переезд двора в Петербург вынудил перестроить структуру политического сыска. В Москве была оставлена Контора Тайной канцелярии со штатом в семнадцать человек. Ею ведал «в надлежащей тайности и порядке» главнокомандующий Москвы С.А. Салтыков (42-1, 124; 382, 44—45; см. 275). Семен Андреевич Салтыков был не только родственником императрицы, но и одним из ее преданных сторонников, помогших ей восстановить самодержавие. Уезжая в Петербург, она поручила Москву именно надежному Салтыкову. Он сосредоточил в своих руках всю власть в старой столице, а также во всей обширной Московской губернии. Сыскной орган — Контора Тайной

канцелярии — оказался также в его ведении. В этом-то и состояла перестройка системы сыска. Начиная с 1731 г. и до конца XVIII в. московский главномандующий был руководителем московского отделения сысканого ведомства и подчинялся непосредственно государыне. Кантору Тайной канцелярии разместили на старом месте — в Преображенском под началом секретаря Василия Казаринова (181, 214–217). Однако сразу после вступления Салтыкова в должность Казаринов впал в немилость и под арестом был доставлен в Петербург. Что он натворил — неизвестно, но Анна предписала Салтыкову «на место его определить доброго и надежного и к тем делам способного секретаря», а всех других служителей заново аттестовать и вести «как надлежит — с добрым и крепким порядком, без всякаго послабления». Возможно, какие-то «послабления» (например, взятки) и стали причиной опалы Казаринова (382, 48–49).

При Анне Ивановне были организованы четыре следственные комиссии: по делу князя А.А. Черкасского (1734 г.), князя Д.М. Голицына (1736 г.), князей Долгоруких (1738 г.) и А.П. Вольнского (1740 г.). Позже, в короткое правление Анны Леопольдовны, действовали еще две временные следственные комиссии: по делам Э.И. Бирона и А.П. Бестужева-Рюмина (1740–1741 гг.). С приходом к власти Елизаветы Петровны была создана следственная комиссия по делу Остермана, Миниха, Левенвольде и других. В 1743 г. существовала следственная комиссия по делу Лопухиных, в 1749 г. — комиссия о преступлениях Лестока, а в 1758–1759 гг. — следственная комиссия по делу канцлера А.П. Бестужева-Рюмина. Все эти комиссии учреждались по именному указу. Среди членов комиссии обязательно числился начальник Тайной канцелярии, который, в сущности, и направлял деятельность комиссии, ибо настоящее «исследование» велось в стенах, точнее — застенках, Тайной канцелярии. Закончив работу (как правило, весьма непродолжительную), следственная комиссия, на основе допросов подследственных, составляла экстракт (иногда — «Краткий», иногда — «Обстоятельный») на высочайшее имя государыни и «сентенцию» — приговор, который верховная власть «апробировала», т.е. одобряла. Во многих случаях этот приговор был лишь выражением высочайшей воли, что делало заседание таких комиссий формальностью. Примером может служить расследование по делу кабинет-министра А.П. Вольнского весной 1740 г. После нескольких заседаний, на которых Вольнский был обвинен в тяжких государственных преступлениях (подробнее см. 3, 4, 5, 304), следственная комиссия как бы растворилась, ушла на задний план и все дело сосредоточилось в Тайной канцелярии, где начались допросы, пытки и очные ставки в застенке. Из девяти человек следственной комиссии при деле Вольнского остались толь-

ко двое — Ушаков и сенатор И.И. Неплюев. Получив 6 июня 1740 г. имен- ной указ «более розысков не производить, но из того, что открыто, сделать обстоятельное изображение и доложить», они написали доклад, обвинив Во- лынского в оскорблении государыни, в сочинении «разных злодейских рас- суждений», а также в намерении посадить на престол своих потомков (304, 161; 3, 230). Так было раздуть с помощью следственной комиссии знаменитое дело Волынского, которое привело его и нескольких близких ему приятелей на эшафот и вызвало панику в Петербурге. Здесь важно подчеркнуть, что ко- миссия, руководствуясь негласными указаниями, послушно направила дело по худшему для Волынского варианту, притом что доказательств его государ- ственных преступлений у следствия не было.

Многие факты из истории следственных комиссий убеждают, что такие комиссии были фиктивными органами расследования, они, в сущности, лишь подбирали материал для репрессий и утверждали то, что им предписы- валось заранее свыше. Даже вопросы подследственным, как и приговоры по их делам, готовились не в комиссии, а при дворе, и ее членам строго пред- писывалось вести допрос, не уклоняясь от предложенных пунктов. Обычно следственные комиссии созывались поспешно, входившие в них сановни- ки и генералы слабо представляли себе не только суть дела, но и не помни- ли всех вопросов, по которым они должны были допрашивать преступников. В январе 1741 г. следственная комиссия генерала Г.П. Чернышова, которой поручили допросить сподвижника Бирона, А.П. Бестужева-Рюмина, полу- чила из Кабинета министров не только «учиненные для допросу Алексея Бе- стужева-Рюмина пункты», но и указ-предупреждение о том, чтобы при доп- росе преступника комиссия не принимала «у него притом других никаких посторонних и излишних показательств». Членов комиссии призывали дей- ствовать согласованно: «Имеете вы все собраться в нашей Тайной канцеля- рии и... сами, прослушав те пункты в какой силе оные состоят, в твердой памяти иметь, почему б могли вы при допросе его единогласно поступать, дабы иногда, от разных между вами разговоров, каким-либо образом к закрытию надлежащего или в чем ко отговорке его, причины ему не подать» (462, 183). Дело в том, что предыдущая комиссия о Бироне не сумела выполнить задание — «про- страннее доказать» его преступления и вообще действовать «для приведения его в надлежащее чюствование и для явного его обличения» (462, 161).

После переворота Елизаветы Петровны в ноябре 1741 г. наступила оче- редь приводить в «надлежащее чюствование» тех, кто посылал с этой це- лью Чернышова к Бирону, а именно Миниха, Остермана, Головкина и дру- гих сановников свергнутой правительницы Анны Леопольдовны. Образованная в конце 1741 г. следственная комиссия быстро обнаружила, что

опальные деятели «явились во многих важных, а особливо против собственной нашей персоны и общего государства покоя преступлений». Комиссия «разобралась» с этими преступлениями, допросила Миниха и других опальных вельмож, составила экстракт из допросов и передала его в созданный 13 января 1742 г. суд, который приговорил их к смерти (361, 235—272).

Заметим, что в этой комиссии, как и во всех предыдущих и последующих, участвовал А.И. Ушаков. В комиссию по делу Лестока (1748 г.) входил новый начальник Тайной канцелярии А.И. Шувалов. Он же вместе с А.Б. Бутурлиным и Н.Ю. Трубецким, вошел и в комиссию об А.П. Бестуже-ве в 1758—1759 гг. (760; 411, 254, 274; 657, 317).

В правление Елизаветы Петровны (1741—1761 гг.) в работе сыска не произошло никаких принципиальных изменений. В Тайной канцелярии, в отличие от других учреждений, даже люди не сменились. А.И. Ушаков — верный слуга так называемых «немецких временщиков» и «душител патриотов» вроде Вольнского, рьяно взялся за дела врагов дочери Петра Великого, постоянно докладывая государыне о наиболее важных происшествиях по ведомству госбезопасности, выслушивал и записывал ее решения, представлял государыне экстракты и проекты приговоров. Вот отрывок из подобного документа за 1745 г.: «Невского пехотного полку сержант Алексей Ерославов — в произношении непристойных слов и в брани В.и.в., також и генералов всех и с тем, кто их жаловал, и в брани ж всех, кто на свете есть, и в говорении, будто бы Дмитрий Шепелев хотел В.в. окормить, а Андрей Ушаков и Александр Румянцов хотели В.в. с престола свергнуть, что-бы быть по-прежнему на престоле принцу Иоанну, а Александр Бутурлин хотел В.в. срубить, и в кричании им, Ерославовым, неоднократно Слова и дела. А в роспросе, також и в застенке, с подъему он, Ерославов, показал, что-де ничего не помнит, что был безмерно пьян и трезвой-де ни от кого о том не слышал, и злого умыслу никакова за собою и за другими не показал, и об оном ево безмерном в то время пьянстве по свидетельству явилось». Предложение Ушакова о наказании буяна сводилось к следующему: «За безмерным тогда ево пьянством и что он молод — гонять спидруген и написать в салдаты». Елизавета великодушно утвердила проект приговора (8-2, 36). Особенно пристрастно императрица занималась делом Остермана, Миниха и других в 1742 г. Она присутствовала при работе назначенной для следствия комиссии, но при этом, не видимая для преступников, сидела за ширмой (так в свое время поступала и Анна Ивановна). И впоследствии Елизавета требовала подробных отчетов об узниках, интересовалась всеми мелочами следствия. С увлечением расследовала государыня и дело Лопухиных в

1743 г. На материалах следствия лежит отпечаток личных антипатий Елизаветы к тем светским дамам, которых на эшафот привели их длинные языки и одна из которых, Наталья Лопухина, пыталась конкурировать с императрицей в бальных туалетах. Кроме того, Елизавета в 1743 г. как самодержица начинающая, может быть, впервые из следственных бумаг Тайной канцелярии узнала о том, что о ней болтают в гостиных Петербурга, и эти сведения, полученные нередко под пытками, оказались особенно болезненны для самовлюбленной, хотя и незлой императрицы.

Елизавета сама выслушивала некоторых доносчиков. Протоколы допросов прямо из следственной комиссии отвозили к императрице, которая их читала и давала, через Лестока и Ушакова, новые указания об «изучении» эпизодов дела. Она же дала распоряжение о начале пыток Ивана Лопухина и допросе там же беременной Софьи Лилиенфельд (660, 11, 38). И хотя по этому делу Елизавета сама никого не допрашивала, но по другим делам такие допросы она таки вела. В 1745 г. из доклада Ушакова она узнала, что некий дворянин Андриан Беклемишев и поручик Евстафий Зимнинский восхищаются правлением Анны Леопольдовны и ругают ее, правящую императрицу. Оба дворянина были доставлены к допросу самой императрицы. Затем Елизавета вместе с Ушаковым и А. И. Шуваловым допрашивала извечника по этому делу и даже делала какие-то записи в виде протокола допроса (180, 24). В роли следователя выступила Елизавета и в 1746 г., когда допрашивала княжну Ирину Долгорукую, обвиненную в отступничестве от православия. Императрица, недовольная ответами Долгорукой, распорядилась, чтобы Синод с ней «не слабо поступал» (788, 287). В 1748 г. императрица следила за розыском Лестока, писала заметки к вопросным пунктам, в которых не сдержала своих чувств и упрекала Лестока в предательстве. На полях ответов Лестока она делала пометки (760, 50–52). В 1758 г., когда вскрылся заговор с участием А. П. Бестужева и великой княгини Екатерины Алексеевны, императрица лично допрашивала жену наследника престола (313, 440–441).

К этому времени уже десять лет начальником Тайной канцелярии был Александр Иванович Шувалов, родной брат влиятельного Петра Шувалова и двоюродный брат фаворита императрицы И. И. Шувалова. А. И. Шувалов — один из ближайших друзей молодой цесаревны Елизаветы, который с давних пор пользовался особым доверием Елизаветы, и уже с 1742 г. ему поручали дела сыскаемого свойства. Он арестовывал принца Людвига Гессен-Гомбургского, вместе с Ушаковым расследовал дело лейб-компанца Петра Грюнштейна. По-видимому, работа с опытным Ушаковым стала для Шувалова хорошей школой, и в 1746 г. он заменил заболевшего шефа

на его посту. В сыском ведомстве при нем все осталось по-прежнему — налаженная Ушаковым машина продолжала исправно работать (740, 472–473). Правда, новый начальник Тайной канцелярии не обладал галантностью, присущей Ушакову, а даже внушал окружающим страх странным подергиванием мускулов лица. Как писала в своих записках Екатерина II, «Александр Шувалов не сам по себе, а по должности, которую занимал, был грозою всего двора, города и всей империи, он был начальником инквизиционного суда, который звали тогда Тайной канцелярией. Его занятие вызывало, как говорили, у него род судорожного движения, которое делалось у него на всей правой стороне лица от глаза до подбородка всякий раз, как он был взволнован радостью, гневом, страхом или боязнью» (313, 356).

Шувалов не был таким, как Ушаков, фанатиком сыска, в конторе его не ночевал, а увлекся коммерцией и предпринимательством. Много времени у Шувалова отнимали и придворные дела — с 1754 г. он стал гофмейстером двора Петра Федоровича. И хотя Шувалов вел себя с наследником предупредительно и осторожно, сам факт, что его гофмейстером стал шеф тайной полиции, нервировало Петра и его супругу. Последняя писала в своих записках, что встречала Шувалова всякий раз «с чувством невольного отвращения». Это чувство, которое разделял и Петр, не могло не отразиться на карьере Шувалова после смерти 25 декабря 1761 г. императрицы Елизаветы и прихода к власти Петра III. Новый император сразу же уволил Шувалова от его должности. Одно только упоминание Тайной канцелярии пугало подданных Елизаветы. Это видно из дел сыска и из «Записок» Екатерины II, которая сообщает, что «тогда эта Тайная канцелярия наводила ужас и трепет на всю Россию» и что любой человек, ставший причастным к тайнам политического сыска, «умирал от страху, чтобы каким-нибудь неосторожным словом не привлекли его к делу». Екатерина вспоминает, что Елизавета, недовольная Петром Федоровичем, не раз угрожала ему «крепостью», и это вызывало трепет у молодого человека (313, 101, 182).

Краткое царствование Петра III стало важным событием в истории политического сыска. Именно тогда запретили «Слово и дело!» — выражение, которым заявляли о государственном преступлении, и была ли к в и д р о в а н а Т а й н а я к а н ц е л я р и я, работавшая с 1731 г. Решения пришедшего к власти 25 декабря 1761 г. императора Петра III оказались подготовлены всей предшествующей историей России. К 1762 г. стали заметны перемены в психологии людей, их мировоззрении, многие идеи Просвещения превращались в общепризнанные нормы поведения и политики, они отражались в этике и праве. На пытки, мучительные казни, нечеловеческое

отношение к заключенным стали теперь смотреть как на проявление «невежества» прежней эпохи, «грубости нравов» отцов. Внесло свою лепту и двадцатилетнее царствование Елизаветы Петровны, которая фактически запретила смертную казнь. Наконец, даже для многих твердых приверженцев кнута стала очевидной архаичность прежних принципов работы политического сыска. Это отразилось в проекте главы Уложения о государственных преступлениях, который подготовили в недрах Тайной канцелярии в середине 1750-х гг.

Опубликованный 22 февраля 1762 г. знаменитый манифест о запрещении «Слова и дела» и закрытии Тайной канцелярии был выдержан в стиле, характерном для тогдашней идеологии, и явился, несомненно, шагом власти навстречу общественному мнению, людям, выросшим под угрозой пасть жертвой «Слова и дела». В указе откровенно признавалось, что институт «Слова и дела» служит не благу людей, а их вреду. Уже сама такая постановка вопроса была новой, хотя при этом никто не собирался отменять институт доносительства и преследования за «непристойные слова» (587-15, 11445). Большая часть манифеста 1762 г. посвящена пояснениям того, как теперь, при отмене «Слова и дела», нужно доносить властям об умысле в преступлениях «по первому и второму пункту» и как этим властям следует поступать в новой обстановке. Уже это одно наводит на мысль, что речь идет не о коренных преобразованиях, а лишь о модернизации, совершенствовании политического сыска. Из манифеста вытекает, что все прежние дела по сыску запечатываются государственными печатями, предаются забвению и сдаются в архив Сената. Только из последнего раздела манифеста можно догадаться, что Сенат и его Московская контора становятся не только местом хранения старых сыскных бумаг, но учреждением, где будут вестись новые политические дела. Однако манифест все-таки очень невразумительно говорит о том, как же теперь будет организован политический сыск. Все становится ясно, когда мы обратимся к документам о ликвидации Тайной канцелярии. В.И. Самойлов установил, что существовал указ Петра III от 7 февраля 1762 г., который предполагал вместо Тайной канцелярии «уч[редить] при Сенате особую экспедицию», а 16 февраля император утвердил указ об этом. Еще через шесть дней появился манифест об уничтожении Тайной канцелярии. Согласно указу, 16 февраля всех служащих Тайной канцелярии во главе с ее ассессором С.И. Шешковским перевели в Сенат и указом 25 февраля 1762 г. им предписывалось «быть на том же жаловании, как ныне они получают» в новой Тайной экспедиции Сената (641, 80–81). Из сенатских бумаг следовало, что Московская контора Тайной канцелярии переходила под ведение Сената. По смете 1765 г. на все ведомство политического сыска вы-

делялось 2000 рублей в год (633-28, 87). Эти деньги шли на жалованье чиновников. Реально же на сыск тратилось гораздо больше — из бюджета Сената и гарнизона Петербурга. Окончательно статус Тайной экспедиции был утвержден указом Екатерины II 19 октября 1762 г., а также в ходе начавшейся в 1763 г. реформы Сената. Тайная экспедиция вошла в его Первый департамент, где велись самые важные «государственные и политические дела» (364, 388). Во главе Экспедиции был поставлен С.И. Шешковский, ставший одним из обер-секретарей Сената. Он поддерживал связь по делам своего ведомства непосредственно с генерал-прокурором и государыней.

Пришедшая к власти в июне 1762 г. Екатерина II и ее ближайшие сподвижники понимали важность политического сыска и тайной полиции вообще. Об этом говорила императрице вся предшествующая история России, а также ее собственная история вступления на трон. Весной и летом 1762 г., когда началась реформа сысчного ведомства, на какое-то время сыск оказался ослаблен. Между тем сторонники императрицы почти в открытую готовили путч в ее пользу, а в это время Петр III не имел точных сведений о надвигающейся опасности и поэтому только отмахивался от слухов и предупреждений разных людей на этот счет. Если бы работала Тайная канцелярия, даже в том виде, в котором она была в 1761 г., то один из заговорщиков Петр Пассек, арестованный 26 июня 1762 г. и посаженный под стражу на полковую гауптвахту по доносу, был бы доставлен в Петропавловскую крепость, где его пристрасно допросил бы А.И. Шувалов. Учитывая, что Пассек был личностью ничтожной, склонной к пьянству и гульбе, то расспросы с пристрастием быстро развязали бы ему язык и заговор Орловых был бы раскрыт.

Словом, пришедшая к власти Екатерина II не хотела повторять ошибок своего предшественника на троне. *Тайная экспедиция* при ней сразу же заняла важное место в системе власти. В сущности, она получила все права центрального государственного учреждения, а ее переписка стала секретной, и на конвертах в Экспедицию надлежало писать «О секретном деле» (368, 384).

Политический сыск при Екатерине II многое унаследовал от старой системы, но в то же время был отличен от нее. Эпоха тогдашнего просвещенного абсолютизма предполагала известную открытость общества, либерализм в политике. Реформы Екатерины способствовали упрочению сословного строя, не мыслимого без системы привилегий. Привилегии же сословий, в свою очередь, приходили в противоречие с режимом самодержавной власти и всеми ее институтами, в том числе и политическим сыском. В записке

1763 г. императрица писала, что дворянские привилегии не уничтожали основополагающих начал законодательства о сыске. Система преступлений по «первым двум пунктам», «подозрение», извет и другие атрибуты сыска сохранялись, но применительно к привилегированному классу их действие должно быть смягчено. Дворянина можно подвергнуть наказанию, только если он «перед судом изобличен и виновен не явится», причем доказательства его вины «требуется вящие, нежели противу недворянина». Освобождался он и «от всякого телесного истязания», а имение дворянина — государственного преступника не отбирали в казну, а лишь отдавали «в наследство» родственникам (633-7, 254—259). Основой подобного отношения к дворянину-преступнику являлось убеждение, что образованный дворянин потенциально менее склонен к преступлениям, чем не попавший под лучи Просвещения простолюдин. Эти начала были положены в основу законодательства о дворянстве. Однако практика политического сыска показывала, что опасение верховной власти перед лицом угрозы, исходившей от дворянина, как и от любого другого подданного, всякий раз перевешивало данные дворянскому сословию привилегии и преимущества. Закон всегда позволял лишить подозреваемого дворянства, титула и звания, а потом пытаться и казнить.

В целом концепция госбезопасности времен Екатерины II была основана на поддержании «покоя и тишины» — основы благополучия государства и его подданных. Согласно законодательным запискам Екатерины о будущем устройстве России, Тайная экспедиция имела две главные задачи: во-первых, собирала сведения «о всех преступлениях противу правления» и, во-вторых, «велит преступников иметь под стражу и соберет все обстоятельства»; т.е. проводит расследование (см. подробнее 682, 641). Однако екатерининский сыск не только подавлял врагов режима, «примерно» наказывая их, но и стремился лучше узнать общественные настроения и разными средствами направить их в нужное власти русло. Впрочем, не следует идеализировать реальную политику. Средства эти подчас далеко выходили за рамки даже тогдашней законности и очень напоминали (или просто копировали) те осуждаемые просвещенным абсолютизмом методы насилия и жестокости, к которым прибегали власти до Екатерины. Это естественно — природа самодержавия, по существу, не изменилась. Характерные для второй половины XVIII в. проявления либерализма, просвещенности и гуманности в политике отражали во многом лишь стиль правления лично императрицы Екатерины II — женщины образованной, умной, незлой и гуманной. Когда она умерла и на престол вступил Павел I, самовластие утратило благообразные черты «государыни-матушки», и все увидели, что никакие привилегии и вкоре-

нившиеся в сознание принципы Просвещения не спасают от самовластия и даже самодурства самодержца.

Впрочем, и Екатерина, при всей своей нелюбви к насилию, порою переступала грань тех моральных норм, которые считала для себя образцовыми. Она так и не смогла осуществить свои мечты о справедливом и независимом суде. Естественно, что в русских условиях следовать взятым из книг благим мечтам без кровопролития затруднительно, но важно и то, что идеи либерализма, терпимости и законности приходили в противоречие со свойствами народа и режимом неограниченной личной власти. Между тем сохранение этой власти оставалось всегда главной целью всех без исключения самодержцев. Поэтому и при Екатерине II оказались возможны, допустимы многие неприглядные и «непросвещенные» методы сыска и репрессий, начиная с бесстыдного чтения чужих писем и кончая замуровыванием преступника заживо в крепостном каземате по указу императрицы-философа (об этом ниже).

Как и все ее предшественники, Екатерина II признавала политический сыск своей первейшей государственной «работой», проявляя при этом увлеченность и страстность, вредившую декларируемой ею же объективности. В сравнении с Екатериной II императрица Елизавета Петровна кажется жалкой дилетанткой, которая выслушивала почтительные и очень краткие доклады Ушакова во время туалета между закончившимся балом и предстоящей прогулкой. Екатерина же знала толк в сыске, вникала во все тонкости того, «что до Тайной касается» (554, 173; 633-7, 231). Императрица сама возбуждала сыскные дела, писала, исправляла или утверждала «вопросные пункты», ведала всем ходом расследования наиболее важных дел, выносила приговоры или одобряла «сентенции» — приговоры. Постоянно получала императрица и какие-то агентурные сведения, за которые платила деньги. В одной из записок генерал-прокурору она писала: «Выправься по Тайной, за что мною сему человеку приказано дать и для чего не выдано?» (633-42, 298). Она лично допрашивала подозреваемых и свидетелей (633-7, 294). В 1763 г. она писала генерал-прокурору Глебову: «Нынешнюю ночь привели враля (так она называла Арсения Мациевича. — Е. А.), которого исповедовать должно, приезжайте ужо ко мне, он здесь во дворце будет» (633-7, 334). Под постоянным контролем императрицы шло расследование дела Василия Мировича (1764 г.), самозванки — «княжны Владимирской», т. е. «княжны Таракановой» позднейшей литературы (1775 г.) (539, 78; 441, 605; 435, 135—136; 640, 428—441 и др.). Огромна роль императрицы при расследовании дела Пугачева в 1774—1775 гг., причем Екатерина II усиленно навязывала следствию свою версию

мятежа и требовала доказательств ее. Самым известным политическим сыскным делом, которое было начато по инициативе Екатерины II, оказалось дело о книге А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790 г.). Екатерина указала разыскать и арестовать автора, прочитав только 30 страниц сочинения. Императрица еще работала над своими замечаниями по тексту книги Радищева, ставшие основой для допроса, а сам автор был уже «препоручен Шешковскому» (767, 226). Направляла императрица и весь ход расследования и суда (см. 130).

Через два года Екатерина руководила организацией дела Н.И. Новикова. Она дала указания об арестах, обысках, сама сочинила пространную «Записку» о том, что надо спрашивать у преступника, а потом вносила уточнения к списку вопросов (633-2, 112; 633-42, 224–227). Возможно, что ей принадлежат явно неодобрительные «возражения» на ответы Новикова (497, 421–476). Наконец, она сама приговорила Новикова к 15-летнему заточению в крепости.

Екатерина II использовала все способы сыскной организации, которые придумали еще до нее. В основе этой организации лежало все то же *п о р у ч е н и е*, точнее — сочетание персональных поручений доверенным лицам, временным следственным комиссиям с рутинной работой постоянных органов политического сыска. «Сенатская концепция» организации сыска строилась на том, что генерал-прокурор Сената был руководителем сыскного ведомства — Тайной экспедиции как части Первого департамента Сената. И вообще, должность генерал-прокурора после реформы Сената стала ключевой в системе управления. Императрица постаралась назначить на нее не просто опытного чиновника, а своего доверенного человека. Для этого в 1764 г. она сместила старого генерал-прокурора А.И. Глебова и назначила на его место князя А.А. Вяземского. В наставлении императрицы ему о ведении дел написаны и такие выразительные слова: «Совершенно надейтесь на Бога и на меня, а я, видя такое ваше угодное мне поведение, вас не выдам» (653, 102; 680, 99; 633-7, 349). Почти три десятка лет Вяземский оставался доверенным порученцем императрицы в Сенате, и Екатерина II была им неизменно довольна — он оказался одним из лучших исполнителей ее воли, хотя и вызывал неприятие многих людей (см о нем: 680, 99–100).

При Екатерине II важное место в системе политического сыска занял главнокомандующий Москвы, которому была подчинена Московская контора Тайной экспедиции. На этом месте сидели доверенные императрицы П.С. Салтыков, князь М.Н. Волконский и князь А.А. Барятинский — стойкий борец с масонами (533-7, 298). Расследованием политических дел занимались и главнокомандующие Петербурга князь А.М. Голицын (дело «Тарака-

новой») и граф Яков Брюс (дело Радишева, 1790 г.), а также другие доверенные чиновники и генералы, действовавшие как в одиночку, так и в комиссиях, — генерал Веймарн (дело Мировича), К.Г. Разумовский и В.И. Суворов (дело Петра Хрушова и братьев Гурьевых, 1762 г.) (633-7, 172). Для Суворова это было уже не первое поручение или, как тогда говорили, «комиссия». В мае 1763 г. он расследовал дело камер-юнкера Федора Хитрово, за что получил благодарность императрицы (633-7, 289, 292). Особым доверием Екатерины II пользовались А.И. Бибииков и П.С. Потемкин. Бибиикову было поручено расследование причин мятежа Пугачева во главе созданной в ноябре 1773 г. в Казани Секретной следственной комиссии (230, 39; 522, 14—15). В мае 1774 г. в Оренбурге образовали вторую Секретную комиссию капитана А.М. Лунина. Отчеты об их работе, как и другие документы политического сыска, императрица читала в числе важнейших государственных бумаг. Это чтение стало для нее привычкой — в одном из писем Бибиикову Екатерина писала: «Двенадцать лет Тайная экспедиция под моими глазами» (560, 397—398). Слова эти написаны были в 1774 г. И потом еще более двух десятилетий сыск оставался «под глазами» императрицы.

Степан Иванович Шешковский, руководивший Тайной экспедицией 32 года (1762—1794 гг.), стал, благодаря этому, личностью весьма знаменитой в русской истории. Еще при жизни Шешковского имя его окружало немало легенд, в которых он предстает в роли искусного, жестокого и проницательного следователя-психолога. Он начал работать в Тайной канцелярии в 1740-х гг., проявил себя как исполнительный чиновник не без задатков и интереса к сыску. Интересен один касающийся этого обстоятельства эпизод из его карьеры. Шешковский родился в 1727 г. в семье приказного Ямской конторы. 11-летний мальчик был пристроен отцом в 1738 г. в Сибирский приказ (402, 664—665; 339, 512). В 1740 г. Шешковского взяли на время к «делам Тайной канцелярии», а потом, как это было принято в таких случаях, вскоре вернули в Сибирский приказ. Вообще такие «покормочные» места высоко ценились среди приказных, как и сам расположенный в Москве, но тесно связанный с Тобольском Сибирский приказ. Учреждение это считалось настоящей «серебряной копыю» для умелых крючкотворов. Но Шешковский совершил неожиданный для нормального карьериста-подьячего поступок: в феврале 1743 г. он без спроса своего начальства уехал в Петербург. Вскоре беглец вернулся из столицы с указом Сената о переводе его в Московскую контору Тайной канцелярии. Неизвестно, как ему удалось этого добиться, но без ведома А.И. Ушакова назначение 16-летнего юноши на новое место кажется невозможным. Шешковский понравился и преем-

нику Ушакова, А.И. Шувалову. В 1748 г. Шувалов дал ему такую характеристику: «Писать способен и не пьянствует и при делах быть годен» (180, 107).

Потом Шешковский занял должность архивариуса Тайной канцелярии, что было весьма почетно. Следующая ступенька — место протоколиста. Эта работа требовала особого дара точно и сжато излагать в протоколе суть происходящего в сыске, а также грамотно составлять подаваемые «наверх» экстракты и проекты приговоров. Если учесть, что А.И. Шувалов был придворным, светским человеком и предпринимателем, то ясно, почему многие дела канцелярии он поручал своим подчиненным, среди которых Шешковский явно выделялся. С Шуваловым у него были тесные связи — известно, что, приехав в Петербург в 1752 г., Шешковский жил в доме Шувалова в качестве приживала, домашнего человека и секретаря (504, 668). Благодаря поддержке своего начальника после 1754 г. он занял ключевой пост секретаря Тайной канцелярии, которому подчинялся весь, хотя и небольшой, штат сыскаемого ведомства. Назначение это было наградой «за добрыя и порядочныя его при важных делах поступки и примерные труды» (402, 668—669; ср. 180, 107). К моменту реорганизации сыска в начале 1762 г. Шешковский, не достигнув и 35 лет, уже имел огромный опыт сыска и служил ассесором Тайной канцелярии, став вторым лицом в политическом сыске.

По указу Петра III 16 февраля, т. е. в тот же день, как в Сенате получили указ о ликвидации Тайной канцелярии, было предписано «ассессора Шешковского, переименовав того же ранга сенатским секретарем, ныне же действительно и определить в учреждаемую для того при Сенате экспедицию» (669, 131; 647, 80; 633-28, 87). Затем он стал обер-секретарем Сената. Когда в 1794 г. Шешковский умер, то он состоял в чине тайного советника «при особых порученных от Ея и.в. делам» (339, 512). Шешковский был известен Екатерине II уже с 1763 г. когда он занимался делом Мациевича, и, по-видимому, весьма успешно. Затем в 1764 г., было дело Мировича, в котором Шешковский сыграл свою роль. В 1767 г. он уже коллежский советник и его выбирают депутатом в Комиссию по составлению Уложения от Второй Адмиралтейской части Санкт-Петербурга, что свидетельствовало о высоком общественном статусе и известности Шешковского. Несомненно, он пользовался доверием императрицы. Чаще всего связь с ней Шешковский поддерживал через А.А. Вяземского или статс-секретарей, но известно, что он и лично докладывал государыне («Имел я счастье всеподданнейше докладывать Ея и.в.» — 345, 151). Он бывал на тайных заседаниях у императрицы по делам политического сыска, причем его проводили в личный кабинет Екатерины тайно (633-42, 297). Шешковскому поручались срочные, не терпящие

отлагательств дела, императрица требовала его совета по разным делам, о чем сохранились сведения (633-13, 158).

Авторитет его у императрицы был высок. В 1775 г. она сообщает Якову Брюсу о том, что она поручила Шешковскому разобраться в запутанных личных делах Натальи Пассек, и, как пишет императрица, «он подал мне приложенную выписку» и посоветовал сдать дело в архив и более им не заниматься, что императрица и сделала. В другой раз она пишет Брюсу по поводу уничтожения неизвестной нам книги: «Мне о книге говорил Шешковский, что ее жечь сумнительно, понеже в ней государские имена и о Боге написано и так довольно будет, отобрав в Сенат, истребить не палачом», т.е. не публично (633-14, 452–453). Для допросов пойманного осенью 1774 г. Пугачева она послала именно Шешковского, которому поручила узнать правду об истоках самозванства Пугачева и его возможных высоких покровителях. В рескрипте М.Н. Волконскому от 27 сентября 1774 г. она писала: «Отправляю к вам отсель Тайной экспедиции обер-секретаря Шешковского, дабы вы в состоянии нашлись дело сего злодея привести в ясности и досконально узнать все кроющиеся плутни: от кого родились и кем производились и вымышлены были». В тот же день она сообщала П.С. Потемкину о посылке Шешковского и характеризовала его: «Шешковский... которой особливой дар имеет с простыми людьми (разговаривать. — Е. А.) и всегда весьма удачно разбирал и до точности доводил труднейшия разбирательства» (684-7, 93). Шешковский по многу часов подряд допрашивал Пугачева и для этого поселился возле его камеры в Старом монетном дворе. Как сообщал императрице 8 ноября 1774 г. М.Н. Волконский, «Шешковский... пишет день и ночь злодеев историю» (554, 158). Высокую оценку своих способностей Шешковский оправдывал многие годы. Его считали самым крупным специалистом по выуживанию сведений у «трудных», упрямых арестантов. Он знал, как нужно их убеждать, уговаривать (по терминологии тех времен — «увещевать»), запутывать (633-42, 297).

А.А. Прозоровский, писавший Шешковскому льстивые письма, сообщал 4 мая 1792 г. по поводу дела арестованного Н.И. Новикова: «Жду от Ея и.в. высочайшаго повеления и сердечно желаю, чтоб вы ко мне приехали, а один с ним не слажу. Экова плута тонкаго мало я видал. И так бы мы его допросили, у меня много материи, о чем его допрашивать» (633-2, 103). Как видим, Прозоровский признает авторитет Шешковского в сыскном деле. Отправляя по указу императрицы Новикова в Петербург, Прозоровский 13 мая писал Шешковскому: «Птицу Новикова к вам отправил, правда, что не без труда вам будет с ним, лукав до бесконечности, бессовестен, и смел, и дерзок» (633-2, 104). По-видимому, Шешковский был согласен с Прозоровским, кото-

рый в письме 14 августа отвечал Степану Ивановичу: «Верю, что вы замучались, я немного с ним имел дела, да по полету уже приметил какова сия птичка, как о том и Е.в. донес» (633-2, 107). Понятно, из чего проистекали трудности «работы» с незаурядным Новиковым у ограниченного Прозоровского и у малообразованного Шешковского. О направленности мышления Шешковского много говорит эпизод с Колокольцевым. Студент Невзоров, проходивший по делу Новикова, вспоминал, как в Алексеевском равелине Шешковский расспрашивал его товарища Колокольцева, «от чего произошла французская революция, сие чудовищное произведение кровопийственной философской просвещенной политики» и какое участие в этом принимали масоны (490, 61). По-видимому, Шешковский умел подать себя государыне, держа ее подальше от многих тайн своего ведомства. В письме 15 марта 1774 г. к генералу А.И. Бибикову — руководителю следственной комиссии в Казани Екатерина ставила деятельность руководимой Шешковским Тайной экспедиции в пример Бибикову, возражая против расспросов «с пристрастием»: «При расспросах какая нужда сечь? Двенадцать лет Тайная экспедиция под моими глазами ни одного человека при допросах не секла ничем, а всякое дело начисто разобрано было и всегда более выходило, нежели мы желали знать» (560, 397—398).

И здесь мы возвращаемся к легендам о Шешковском. Из них неясно: были ли пытки в Тайной канцелярии или их все-таки не было? Екатерина II, как мы видим, писала, что пытки в ведомстве Шешковского не допускались, сын же А.Н. Радищева, также не самый беспристрастный в этом деле человек, сообщал, что Шешковский «исполнял свою должность с ужасною аккуратностью и суровостью. Он действовал с отвратительным самовластием и суровостью, без малейшего снисхождения и сострадания. Шешковский сам хвалился, что знает средства вынуждать признания, а именно он начинал тем, что допрашиваемое лицо хватит палкой под самый подбородок, так что зубы затрещат, а иногда и повыскакивают. Ни один обвиняемый при таком допросе не смел защищаться под опасением смертной казни. Всего замечательнее то, что Шешковский обращался таким образом только со знатными особами, ибо простолюдины были отдаваемы на расправу его подчиненным. Таким образом вынуждал Шешковский признания. Наказания знатных особ он исполнял своеручно. Розгами и плетью он сек часто. Кнутом он сек с необыкновенной ловкостью, приобретенною частым упражнением» (339, 510).

Сын Радищева никогда не видел Шешковского, и начальник Тайной экспедиции представлялся ему садистом, могучим кнутабойцей, каким он на самом деле не был. Наоборот, «как теперь помню, — говорил один вете-

ран екатерининских времен другому, — его небольшую мозглявую фигурку, одетую в серый скюрточок, скромно застегнутый на все пуговицы и с заложенными в карманы руками» (654, 164). Думаю, что Шешковский был страшен тем, чем страшны были людям XVIII в. Ромодановский, Толстой, Ушаков и Шувалов. Он, как и они, олицетворял Государственный страх. Точно известно, что самого сочинителя «Путешествия» ни плеть, ни кнут не коснулись, но, по рассказам сына, он упал в обморок, как только узнал, что за ним приехал человек от Шешковского. Когда читаешь письменные признания Радищева, его покаянные послания Шешковскому, наконец, написанное в крепости завещание детям, то этому веришь: Радищевым в Петропавловской крепости владел страх, подчас истерическая паника. Вероятно, свои ощущения от встреч с Шешковским он и передал сыну. При этом вполне возможно, что Радищев не был трусом и истериком. «Увещевая» узника, попавшего к нему, Шешковский грубил, угрожал, унижал, а возможно, и давал легкие тумаки или действительно тыкал тростью в подбородок, как описал это сын Радищева. Для людей небитых (а Радищев уже вырос под защитой сословных привилегий и учился за границей) такого обращения было достаточно, чтобы перепугать их, заставить каяться и, прощаясь с жизнью, писать малым детям завещание. Нельзя исключить и того, что Шешковский, который через тяжкий и унижительный канцелярский труд из подъячих вышел в тайные советники и обладал столь могущественной властью над людьми, пользовался доверием государыни, не без наслаждения измывался над оробевшими столбовыми дворянами, либералами, «нашалившими» светскими повесами, писателями, от которых, как всегда считали в политическом сыске, «один вред и разврат». Эти нежные, избалованные люди никогда не нюхали воздуха казематов Петропавловской крепости и после недельного сидения в каземате представляли перед Шешковским с отросшей бородой и со спадающими без пояса штанами — как их принимали в крепости, будет сказано ниже, — и «мозглявый» начальник Тайной экспедиции казался им могущественным исчадием ада, символом той страшной для частного человека слепой силы государства, которая могла сделать с любым человеком все, что угодно.

Шешковский был человеком, очень хорошо осведомленным в делах поданных Екатерины. В анекдоте Карабанова сказано, что «он везде бывал, часто его встречали там, где и не ожидали. Имея, сверх того, тайных лазутчиков, он знал все, что происходило в столице: не только преступные замыслы или действия, но и даже вольные и неосторожные разговоры» (372, 782). В этом рассказе нет преувеличений — информация через добровольных и тайных агентов приходила в политический сыск всегда. Наверняка Шешков-

ский ею пользовался и передавал сведения императрице. Возможно, поэтому государыня была так прекрасно осведомлена о личных делах многих придворных. Этим можно объяснить ее обширные знания о том, что говорят в столице, в народе, в высшем свете. Конечно, эти сведения она получала от придворных сплетников, статс-секретарей, прислуги, но также и от Шешковского. Он же, как и все начальники политического сыска, любил копаться в грязном белье. В основе могущества Шешковского лежала зловещая тайна, окружавшая его ведомство, благорасположение государыни. К этому нужно прибавить непомерные амбиции выходца из низов. Поэтому Шешковского боялись и старались не вступать с ним в распрю. Г.Р. Державин описывает свою стычку с Шешковским по одному из сенатских дел, на полях которого были проставлены пометы рукой Шешковского. «Шешковский был в отличной доверенности у императрицы и у Вяземского по делам Тайной канцелярии. Как и сие дело следовало прежде Сената в страшном оном судилище... то, взяв на себя важный присвоенный им, как всем известно, таинственный, грозный тон, зачал придирается к мелочам... “Слушай, Степан Иванович”, — сказал ему не у т р а ш и м о Державин, — “Ты меня не собьешь с пути мнимою тобою чрезвычайно к тебе доверенностью императрицы и будто она желает по известным тебе одному причинам осудить невиновного. Нет, ты лучше мне скажи, какую ты и от кого имел власть выставлять своею рукою примечания, которые на деле видны, осуждающая строжае, нежели существо дела и законы обвиняемого и тем, совращая сенаторов с стези истинной, замешал так дело, что несколько лет им занимались и поднесли к императрице нерешенным?” Шешковский затрясся, побледнел и замолчал», а потом был вынужден уступить Державину (262, 324). Отрывок этот хорошо передает манеру поведения Шешковского. Но он же свидетельствует, как было непросто возразить всеильному инквизитору, раз для этого неробкому Державину потребовалась неустрашимость — свойство, нужное в бою.

Легенды приписывают Шешковскому также роль иезуитствующего ханжи, своеобразного палача-морализатора, который допрашивал подсудимых в палате с образами и лампадками, говорил елейно, сладко, но в то же время зловеще: «Провинившихся он, обыкновенно, приглашал к себе: никто не смел не явиться по его требованию. Одним он внушал правила осторожности, другим делал выговоры, более виновных подвергал домашнему наказанию» (372, 782). То, что Шешковский приглашал людей к себе домой для внушений, было по тем временам делом обычным. Многие сановники, особенно генерал-прокурор и высшие чины полиции, несмотря на официальный запрет регламентов, «вершили дела» дома, в том числе и розыскные (337,

320—321; 401. 50). Подтверждаются документами и сведения о ханжеских нравоучениях Шешковского, которые снискали ему среди жителей Петербурга особую кличку. Книгопродавец Г. К. Зотов, привлеченный по делу Радищева, на допросе 6 июля 1790 г. показал, что после первого допроса в Тайной экспедиции «приходили к нему многие незнакомые люди и спрашивали его: “Был ли ты у д у х о в н и к а ?” Он, Зотов, спрашивал: “У какого?” Они отвечивали: “У Шешковского”. Я-де им говорил, что никогда не бывал и его не знаю, а они ему на сие говорили: “Врешь ты, дурак. Мы знаем, что был”» (130, 198—199).

Одна из легенд рассказывает о том, что императрица Екатерина II, возмущенная «невоздержанностью» генеральши М. Д. Кожинной, предписала Шешковскому высечь проказницу: «Она всякое воскресенье бывает в публичном маскараде, поезжайте сами, взяв ее оттуда в Тайную экспедицию, слегка телесно накажите и обратно туда доставьте, со всякою благопристойностью» (372, 135). Узнать наверняка, было ли такое происшествие на одном из петербургских балов, мы не можем. Но мы знаем, что Шешковский имел, по заданию государыни, беседы с дамами высшего света (529-1, 107). Такие, как бы сказали в позднейшую эпоху, «профилактические беседы» вели с болтливыми кумушками и другие сановники императрицы. Главнокомандующий Москвы П. Н. Волконский писал императрице в 1774 г.: «Обыкновенно здесь... всякое дело (слухи. — Е. А.) больше умножают, как оно в самом деле есть, а по большей части барыни. Я уже многим принужден был м о р а л ь т о л к о в а т ь ; кажется поосторожнее стали в болтаньях своих» (554, 151).

Известно также, что весьма гуманная и терпимая к проделкам своих подданных Екатерина, следовавшая девизу «Будем жить и дадим жить другим!», иногда вдруг взрывалась и вела себя как богиня Гера — суровая хранительница нравственности подданных. В этом проявлялись и традиции полицейского государства, и традиции патерналистической самодержавной власти, носитель которой выступал в роли Отца (или Матери) Отечества, заботливого, но строгого воспитателя подчас неразумных детей — подданных, и просто ханжество, каприз, плохое настроение государыни. Сохранились письма императрицы разным людям, которым Екатерина, по ее же словам, «мыла голову» и которых предупреждала с нешуточным гневом, что за такие дела или разговоры она может употребить свою власть самодержицы и заслать ослушника и «враля» куда Макар телят не гонял, о чем есть свидетельства документов (554, 162, 85—86; 347, 424—425). В свое время, в 1734 г., императрица Анна требовала от главнокомандующего Москвы С. А. Салтыкова вызвать некоего провинившегося попа и именем императрицы «покричать на

него». Почти так же писала в 1766 г. Екатерина II уже сыну анненского наместника, П. С. Салтыкову, ставшему главнокомандующим Москвы, о болтливом князе А. В. Хованском: «Постращайте его хорошенько, чтоб он сдержал отвратительный свой язык, ибо иначе я должна буду сделать ему больше зла, нежели сколько причинит ему эта острастка» (382, 115; 560а, 51–52). При Екатерине усердно следили за нравственностью жителей столиц, как из высшего света, так и из низов. Для этого в Тайной экспедиции и полиции собирали разнообразные сведения. Из дела Григория Винского следует, что при выяснении одной банковской аферы в 1779 г. по всему Петербургу стали забирать в Петропавловскую крепость (в качестве подозреваемых) молодых людей, соривших деньгами и ведших «рассеянную жизнь». Сведения о таких повесах, по-видимому, были уже известны перед их арестами Шешковского. Не случайно, что первое, о чем подумал Винский, попав в каземат и почувствовав, что его начинают раздевать, был страх: «Ахти, никак сечь хотят!» (187, 77).

Опасения Винского были небезосновательны: наибольшую известность в обществе Шешковскому принесли его сеансы «домашнего наказания». Легенда гласит: «В кабинете Шешковского находилось кресло особого устройства. Приглашенного он просил сесть в это кресло и как скоро тот усаживался, одна сторона, где ручка, по прикосновению хозяина, вдруг раздвигалась, соединялась с другой стороной кресел и замыкала гостя так, что он не мог ни освободиться, ни предполагать того, что ему готовилось. Тогда, по знаку Шешковского, люк с креслами опускался под пол. Только голова и плечи виновного оставались наверху, а все прочее тело висело под полом. Там отнимали кресло, обнажали наказываемые части и секли. Исполнители не видели кого наказывали. Потом гость приводим был в прежний порядок и с креслами поднимался из-под пола. Все оканчивалось без шума и огласки. Но, несмотря на эту тайну, молва разносила имя Шешковского и еще увеличивала действия его ложными прибавлениями. Во все царствование Екатерины II он был для всех страшным человеком: одно напоминание о нем многих приводило в ужас» (372, 782–783).

Сама техническая идея опускающегося под пол кресла была известна задолго до Шешковского — подъемные столы использовались для поздних ужинов без прислуги при Елизавете Петровне (313, 241 и др.). Так что у Шешковского вполне могло быть такое механическое кресло; вспомним, что Кулибин придумывал механизмы и посложнее. А вот записок тех, кого Шешковский «воспитывал» таким образом, не сохранилось. Правда, есть одно воспоминание А. Н. Соковнина, в котором можно заподозрить намек на то, что мемуарист прошел такую процедуру. В одной беседе он сказал: «Страш-

ный человек был этот Шешковский, бывало подойдет так вежливо, так ласково попросит приехать к себе объясниться... да уж и объяснится!» (654, 164).

Привычка Шешковского исправлять таким своеобразным способом нравы подданных подтверждается и А.Ф. Багговутом, записавшим историю о крестьянине, подавшем Екатерине II челобитную. Крестьянина якобы преследовала убитая им же помещица. Крестьянин, отсидев срок в сумасшедшем доме, надоедал властям просьбами наказать его так, чтобы помещица оставила его преследовать по ночам. Порка, заданная страдалцу, по его же слезной просьбе, не помогла — призрак убиенной не давал ему покоя. Екатерина вызвала Шешковского и дала ему прочитать челобитную крестьянина. Степан Иванович якобы сказал: «Позвольте мне, Ваше величество, взять крестьянина с собою, он навсегда забудет свою барыню». Но гуманная государыня на предложение Шешковского не согласилась (131, 144). Зато она разрешила Шешковскому допросить драматурга Якова Княжнина — человека интеллигентнейшего и слабого. Как пишет Д. Бантыш-Каменский, Княжнин «был допрашиван Шешковским в исходе 1790 года, впал в жестокую болезнь и скончался 14 января 1791 года» (132, 78). Когда Шешковский умер, новый начальник Тайной экспедиции А. Макаров не без труда привел в порядок расстроенные дела одряхлевшего ветерана политического сыска (680, 101) и особенно развернулся при Павле I, что и немудрено — новый император сразу же задал сыску много работы.

К сожалению, объем книги не позволяет остановиться на теме «Политический сыск и местное управление» (глава об этом осталась в рукописи), но другой темы — «*Церковь и политический сыск*» — коснуться хотя бы конспективно совершенно необходимо — так важна эта тема для русской истории. Во многом история взаимоотношений церковных и сыскных органов отражала то положение, в котором находилась церковь в самодержавной России со времен Московской Руси. А эти взаимоотношения сводились к полному подчинению церкви светскому государству. Сам процесс такого подчинения — характернейшая черта в развитии многих народов и стран. Но в России он приобрел особо уродливые черты, превратил церковь в государственную контору, полностью подчиненную и зависимую от воли самодержца. В главе о доносе будет особо сказано о законе, принуждавшем отца духовного открывать тайну исповеди своего духовного сына. Подвиг святого Иоанна Непомука, не открывшего даже под угрозой смерти исповедальные откровения своей духовной дочери и принявшего мученическую казнь, в России представить себе немислимо. Священник рассматривался властью как должностное лицо, которое служит государству наряду

с другими чиновниками, обязан принимать изветы. В указе 1737 г. о доносах на возможных поджигателей сельский священник назван в одном ряду с дворцовыми и иными приказчиками, которым деревенский изветчик должен был в первую очередь сообщить о своих подозрениях (587-10, 7390). Священники действовали как помощники следователей: увещевали подсудимых, исповедовали колодников, а потом тщательно отчитывались об этом в Тайной канцелярии. Обычно роль следователей в рясе исполняли проверенные и надежные попы из Петропавловского собора. Даже в 1773 г. для «увещевания и исповеди» в Казанскую секретную комиссию о восстании Пугачева был откомандирован протопоп Петропавловского собора Андрей Федоров (522, 10).

Естественно, что и сами люди в рясе не могли избежать участия в политическом процессе. Они становились подследственными (изветчиками, ответчиками, свидетелями). Их пытали, казнили, как и любого из подданных государя. При этом светская власть грубо вторгалась в сферу компетенции церкви, мало считаясь с мнением православных иерархов. И в рассматриваемое время это было нормой. Когда в 1703 г. были арестованы дьякон Иесей Шоша и монах Симонова монастыря Петр Конархист за сочинение «непристойной тетради», то Ф. Ю. Ромодановский отослал преступников в Духовный приказ с указанием расстричь их и наказать. Стефан Яворский признал вину Конархиста не столь великой и отпустил его в Симонов монастырь, а более виноватого Шошу сослал на покаяние в Соловецкий монастырь. Узнав об этом мягком, на его взгляд, приговоре, Ромодановский распорядился пересмотреть решение местоблюстителя патриаршего престола и сослать Шошу не просто на покаяние, а в «монастырские жестокие труды» на Соловки, а Конархиста отправил в не менее суровое место — Кириллов монастырь (212, 154—155).

Монашество, ряса, клобук, епископский посох, преклонные года и общепризнанная святость не спасали даже высших церковников от дыбы и тюрьмы. В 1763 г. императрица Екатерина II, возмущенная просьбами о прощении Мациевича, вставшего на защиту церковной собственности, не без раздражения писала А. П. Бестужеву, который просил государыню снизить к сединам и сану Арсения: «Не знаю, какую я б причину подала сумневаться о моем милосердии и человеколюбии. Прежде сего и без всякой церемонии и формы не по столь еще важным делам преосвященным головы секали, и не знаю как бы я могла содержать и укреплять тишину и благоденствие народа (умолча о защищении и сохранении мне от Бога данной власти), естли б возмутители не были б наказаны. Екатерина» (633-7, 269—270). В этом выражена позиция самодержавия в отношении церкви и ее деятелей,

с которыми расправлялись так же, как с прочими государевыми рабами. В сыскные органы попадали священники и архимандриты, которые не поминали в церкви имя государей или ошибались при возгласениях, забывали помянуть Синод, не служили в установленные государством «календарные дни», не проводили присяги, не признавали отмены древнего сана «митрополит», выражали сомнения в справедливости отмены патриаршества, осуждали церковную политику Петра и т.д. (774, 5–6). Сыск не считался с высоким саном церковнослужителя, даже если на него был заведомо ложный, «бездельный» донос. В 1725 г. посадили в тюрьму архимандрита Иону Салникова. Синод вступился за него: «Знатные духовные персоны арестуются иногда по подозрениям и доносам людей, не заслуживающих доверия, от чего не только бывает им немалая тягость, но здравью и чести повреждение». Обращение это не помогло — Иона из тюрьмы не вышел (774, 4–5). Единственной уступкой служителям культа было соблюдение правила, запрещающего пытать священнослужителя. Но это затруднение сыском преодолевалось легко. Тайная канцелярия попросту требовала от Синода прислать попа для расстрижения преступника — священника или монаха («обнажение от монашества»). Процедура эта занимала несколько минут, и с этого момента священник или монах, которому срезали волосы и обрили лицо, становился «распопом», «расстригой», причем бывшему монаху возвращали его мирское имя («И вышеозначенной монах Иоаким... при обнажении сказал, что в бельцах было имя ему Иаков Ведеников сын» — 31, 8), и дверь в застенок для него была широко открыта: «О нем объявить в Синоде... и когда с него то [сан] сымут, указал Е.в. накрепко пытать». Так распорядился Петр I об архимандрите Гедоне (181, 114; 160, 27–28). Естественно, что приговоры сыскных и иных органов государства о лишении сана и наказании церковников подлежали обязательному исполнению Синодом, хотя ему часто разрешали определить место заточения (31, 10). Можно было считать милостью, если государь позволял наказать преступника, не расстригая его, или отдавал его в руки церковного суда. Так, в 1765 г. Екатерина II рассмотрела решение Синода о лишении архимандрита Геннадия его чина, иеромонашества и о предании его гражданскому суду и постановила: «Быть по сему, а от гражданского суда его освобождаем, повелевая его сослать в монастырь Соловецкий и содержать под караулом, не выпуская никуда, кроме церкви» (633–7, 399; см. 154–2, 244–245). Когда устраивались судилища над важными государственными преступниками, то среди членов суда обязательно были высшие церковные иерархи. Они участвовали в рассмотрении дел и их обсуждении. Правда, в одном отношении Русская православная церковь, несмотря на давление светской власти, сохранила честь: включенные в суды церковники ни разу

не подписали смертных приговоров, ссылаясь на запрет церковных соборов выносить приговоры в светских судах (752, 264; 522, 160–161). Светская власть не считалась со священным статусом монастырей и относилась к ним как к тюрьмам, ссылая туда в заключение и в работы светских преступников, часто больных и искалеченных пытками. Подобное пренебрежение к иночеству вызывало протест терпеливых ко многим унижениям членов Синода, которые жаловались, что от этого «монашескому чину напрасная тщета происходит» (664, 121).

За покорность церковников светская власть платила сторицей — без ее гигантской силы и могущества официальная церковь никогда бы не справилась со старообрядчеством. А именно старообрядцы признавались церковью как заклятые враги, недостойные пощады. Горделивое утверждение некоторых отечественных историков о том, что в России XVII—XVIII вв. не было ужасов инквизиции Западной Европы, требует значительных оговорок. Действительно, церковных судов, подобных инквизиции католической церкви, у нас не было. Но их роль исправно исполняли органы политического сыска, как и все государство, взявшее на себя функции защиты православной веры в ее единственной официальной версии. На страницах этой книги нет возможности подробно рассматривать весь многосложный инквизиторский процесс, который целое столетие велся над старообрядцами, но он был полностью скопирован со светского политического процесса и был так же пристрастен, жесток и несправедлив. Нераскаявшихся раскольников пытали, сжигали, подвергали всем позорным казням и ссылкам.

В России не было такого количества костров для еретиков, как в Западной Европе, но их заменяли гари, к которым своими грубыми, бесчеловечными методами официальная церковь и власти понуждали старообрядцев. Законодательство о старообрядцах имело неуклонную тенденцию к ужесточению, что видно как по принятым законам конца XVII — первой половины XVIII в., так и по проекту Соборного уложения 1700—1703 гг. (162, 92–98). На старообрядцев, как на диких зверей, устраивались в лесах многолюдные облавы. Конец XVII — первая половина XVIII в. прошли под знаком — без преувеличения — тотального преследования старообрядцев. Своей бескомпромиссностью, жестокостью в многолетней борьбе с «расколом» официальная церковь способствовала, в сущности, подлинному расколу русского общества, превращению его части в париев и одновременно к отторжению от официальной церкви верующих народных масс, втайне симпатизировавших старообрядческим мученикам. Вместе с тем наступление на раскольников как врагов веры и государства вело к усилению фанатизма старообрядчества,



Феофан Прокопович

к идейному застою, окрашенному эсхатологическими цветами ожидания конца света.

Старообрядцы были поставлены за грань человеческого и гражданского сообщества. Прощение мог получить только тот раскольник, который отрекался от своей веры и приносил унижительное покаяние. Остальных подвергали разнообразным репрессиям, их принуждали нести двойные повинности и налоги, им запрещали заниматься торговлей и другими видами деятельности, быть в мирских должностях, свидетельствовать в суде, их нельзя было приводить к присяге, им не давали издавать, переписывать, хранить книги, запрещали читать и писать. Мужчинам предписывали носить на спине платья специальные красные четырехугольники — «kozyри», а женщинам — позорные шапки с рогами (см. 325 и др.).

Особо зловещую роль в преследовании старообрядцев сыграли три церковных иерарха: архиепископ Нижегородский Питирим, Феофан Прокопович и Феодосий Яновский. Они особенно тесно сотрудничали с политическим сыском. Питирим был настоящим фанатиком борьбы с расколом. Он пытался одолеть старцев в религиозной дискуссии, которая сочеталась с

шантажом и угрозами, умело вносил смуту в их среду, вылавливал наиболее авторитетных старцев, отправлял их в Петербург на допросы в Тайную канцелярию и Синод. Да и сам Священный Синод почти с первого дня работы в 1721 г. стал фактически филиалом Тайной канцелярии. Феодосий был близким приятелем П.А. Толстого и Ушакова. В Синоде была оборудована тюрьма с колодничьими палатами, где людей держали столь же сурово, как в Петропавловской крепости: в оковах, в голоде, темноте и холоде. Была тюрьма и в Александро-Невском монастыре. Сюда, в эту подлинную вотчину Феодосия, привозили церковников, заявивших «Слово и дело» или обвиненных в «непристойных словах». Здесь Феодосий и его подчиненные допрашивали их, а потом отсылали Толстому. Одновременно из Тайной канцелярии к Феодосию присылали пытаных в застенке и раскаявшихся раскольников. Феодосий должен был установить, насколько искренним было раскаяние этих, не выдержавших мучений людей, и затем сообщал об этом Толстому.

В деле священника Якова Семенова за 1720 г. сохранилось мнение Феодосия, которое он объявил 2 декабря 1720 г. в Тайной канцелярии: «Он, поп, в бытность в Москве, будучи в расколе, действовал по старопечатным книгам... и за такое его дерзновение, ежели не касается до него какое государственное дело, надлежит его, с наказанием сослать в Соловецкий монастырь в земляную тюрьму для покаяния и быть ему до кончины жизни неисходно». Тайная канцелярия так бы и поступила, если бы колодник вскоре не умер в тюрьме (325-1, 142, 234—236, 618; 9-3, 94). После ссылки и заточения самого Феодосия в 1725 г., к чему приложил руку Феофан Прокопович, последний занял место не только главы Синода, но и ближайшего сподвижника А.И. Ушакова в делах веры. До самой своей смерти в 1736 г. Феофан тесно сотрудничал с сыском. Он давал отзывы на изъятые у врагов церкви сочинения, участвовал в допросах, писал доносы. Он давал Ушакову советы по делам веры. В 1734 г. Феофан долго увещевал старца Пафнутия, читая ему священные книги и пытаясь вступить с ним в беседу, но Пафнутий «наложил на свои уста печать молчания, не отвечал ни слова и только по временам изображал на себе крест сложением большого с двумя меньшими перстами». Увещевание проходило в присутствии секретаря Тайной канцелярии, Пафнутия спрашивали о скитах старообрядцев и их жителях. Не достигнув цели, Феофан рекомендовал Ушакову поручить беседу со старцем архиепископу Питириму, но и этот опытный церковный следователь успеха не добился. Старца увезли вновь в Тайную канцелярию и после допросов приговорили в 1736 г. к битью кнутом и ссылке на каторгу (325-1, 128—155).

Как и Феодосий, Феофан не только боролся рука об руку с Толстым и Ушаковым за чистоту веры, но и использовал могучую силу политического

сыска для расправы со своими конкурентами в управлении церковью. Жизнь великого грешника Феофана проходила в писании доносов, ответов на «пункты». Феофан был умнее, изворотливее и удачливее Феодосия и кончил жизнь свою не как Феодосий в запечатанной подземной камере, а в собственном доме в Петербурге (484, 267; 775). И хотя после смерти Феофана в церкви не осталось таких, как он, умных, «пронырливых» и жестоких инквизиторов, дело, которое было начато Никоном, подхвачено Питиримом, Феодосием и Феофаном, продолжили чиновники специального Сысканого приказа, который к середине XVIII в. выполнял роль инквизиторского филиала Тайной канцелярии. Сюда передавали из Тайной канцелярии упорствующих в своих убеждениях старообрядцев «для изыскания истины пытками». В приказе была налажена целая система мучений людей. Старообрядец либо там погибал, либо выходил из него раскаявшимся в своих убеждениях изгоем и калекой. Пытки в приказе были очень жестокие. Приведу несколько примеров. Дмитрий Белов был пытан 13 апреля 1752 г. (50 ударов), 6 ноября 1752 г. (35 ударов), 18 января 1753 г. за отказ признать свою ересь получил 35 ударов. При этом у дыбы стоял священник и увещевал вернуться к церкви. Так было и с 60-летним каменщиком Яковом Куприяновым, которого в 1752 г. пытали и на первой пытке дали 90 ударов кнута, а на второй — 70 ударов. На третьей пытке несчастный получил 100 ударов! Несмотря на эти мучения, Куприянов от старообрядства не отрекся. Его приговорили сначала к сожжению, но потом били кнутом и сослали в Рогервик — известно, что раскольников в Сибирь, боясь их побегов, на ссылали. Упорствующий в расколе дворцовый 70-летний крестьянин Полуехт Никитин был настоящим борцом за то, что теперь называют свободой совести. В 1747 г. он выдержал две пытки, на которых получил 73 удара кнутом, но по-прежнему утверждал: «Будь-де воля Божия, а до души моей никому дела нет и никто отвечать не будет» (242, 45, 47—48, 15). Лишь со времен Петра III и Екатерины II можно говорить об ослаблении репрессий государства и церкви против старообрядцев. Главное направление борьбы изменилось — началась борьба с хлыстами и другими сектантами.

Подведем итоги. Важнейшей особенностью истории русской государственности было то, что развитие правовых основ общественной жизни не затрагивало института самодержавия. Как сказано выше, развитие его происходило фактически за пределами складывавшегося в России правового поля (117, 289). В итоге существовало право, записанное и утвержденное в указах, уставах, Уложении, и одновременно царил воля самодержца, пределов которой право не устанавливало, а проявления которой и были собственно

самодержавным правом. Можно привести много примеров, подтверждающих это, как из времен Петра I, так и послепетровского периода. Выразительнее всего кажутся примеры из царствования Екатерины II — законодательницы знающей и опытной, для которой законность как неперменное следование утвержденным ею же самой благим законам не оставалась пустым звуком. В 1772 г. началось дело о фальшивомонетчиках братьях Пушкиных. Екатерина II сама им занималась. В деле оказался замешан вице-президент Коммерц-коллегии Федор Сукин, который, несмотря на свою очевидную вину, чем-то был симпатичен императрице. Она писала о Сукине князю М.Н. Волконскому: «Прикажите выдать жене его тысячу рублей, чтобы ей пока было чем жить, и велите ей сказать, чтоб она надеялась на мое правосудие и человеколюбие и поуспокойте их; а что [с ним] будет, право сама еще не знаю и сказать не могу. А законы ему, кажется, противны, разве я помогу». 2 апреля 1772 г. Екатерина снова писала в Сенат о Сукине: «Теперь к его облегчению то единственно служить может и то не по законам, но из милосердия». О главном преступнике по этому делу — Сергее Пушкине — в письме императрицы сказано иначе: «Сенат поступит по законам и для того я уже в сем не мешаюсь» (554, 99, 101).

В дневнике от 15 апреля 1789 г. Храповицкий записал: «Назван умницей за то, что вместо ссылки на поселение по мнению Сената написал того 24-х-летнего преступника в матросы» (767, 184—185). Казалось бы, как хорошо, что у императрицы есть такой гуманный статс-секретарь, который смягчил наказание преступника. Между тем он тем самым самовольно изменил приговор Сената как высшего судебного органа империи, т.е. нарушил закон. А уж о праве самодержавного монарха менять приговоры и законы много и говорить не приходится — закон ему не был писан вовсе. Именно эта незаконная, в нарушение изданных самой же самодержавной властью законов возможность «мешаться» или «не мешаться» в любое дело и составляла суть самодержавия, его значение в решении дел политического сыска, в существовании такого юридически неопределенного, но фактически реального понятия, как «опала», которая дамкловым мечом висела над каждым подданным.

Во всех случаях расследования крупных политических дел заметно, что исходным толчком к их началу была ясно выраженная воля самодержца, который подчас исходил при этом не из реальной вины данного человека, а из собственных соображений, подозрений или капризов. Приведенный выше принцип властвования, выраженный Иваном Грозным в емких словах «Жаловать есь мы своих холопов вольны, а и казнить вольны же», виден и в не менее афористичном высказывании императрицы Анны Ивановны, знаме-

нитой переписки Грозного и Курбского не читавшей, но мыслившей в 1734 г. так же, как и ее дальний предшественник на троне: «А кого хочу я пожаловать, в том я вольна» (382, 115). В этом же ряду стоит и высказывание Екатерины II, «мывшей голову» одному из своих сановников: «Подобное положение, не доложась мне, не подобает делать, понеже о том, что мне угодно или неужгодно, никто знать не может» (561, 69). Все вышесказанное нужно иметь в виду, когда читатель будет знакомиться с главами о расследовании политических преступлений, и особенно с главой о приговоре, жестокость или мягкость которого полностью зависела от воли государя.

Непосредственным образом с вышесказанным связана и история государственных учреждений и институтов, которым посвящена эта глава. Было бы ошибкой думать, что в России XVIII в. существовало некое единое учреждение, которое, меняя названия, сосредотачивало бы в себе весь тогдашний политический сыск. Установить непрерывную цепочку преемственности сыскных органов: Преображенский приказ (1690-е — 1729 г.) — Тайная канцелярия (1718—1726 гг., 1731—1762 гг.) — Тайная экспедиция (1762—1801 гг.) — не удастся. Дело в том, что на государственные институты XVIII в. нельзя переносить представления о «правильном» государственном аппарате, выработанные государствоведами XIX в. и развитые в современной теории управления. Естественно, что при Петре I заметны тенденции к систематизации, унификации и специализации всей системы управления. Наиболее ярко они проявились в государственной реформе Петра 1717—1724 гг., когда новый аппарат власти создавался на основе учения камерализма (подробнее см.: 117, 99—106). Вместе с тем эта реформа не изменила сути проявлений самодержавия как власти, которая никогда не терпела в отношении себя ни систематизации, ни регламентации, ни унификации каких бы то ни было функций. Не могла она допустить тем более и делегирования своих полномочий какому-либо учреждению или группе лиц. Это и понятно: противное с неизбежностью вело бы к гибели самодержавия — не подконтрольного никаким уставам, законам, регламентам режима личной власти.

В основе работы многих государственных институтов самодержавия, несмотря на общую для государства бюрократическую унификацию, лежали принципы *п о р у ч е н и й* (или, как их называли в XVIII в., «комиссий»), которые самодержец на время (или постоянно) давал кому-нибудь из своих доверенных подданных. Такие дела назывались «Его, Государя, дело». На принципах порученчества, а не делегирования части полномочий монарха учреждению или человеку и строилось все государственное управление и в XVII, и в XVIII вв. По этому принципу работал и подконтрольный только самодержцу политический сыск. При этом работа

порученцев-следователей сочеталась с сыскной работой различных высших правительственных учреждений, а также центральных сыскных учреждений.

В отдельные моменты какое-либо из этих учреждений получало в деле сыска преимущество, но потом — опять же по воле государя — отходило на задний план. Преемственность политического сыска выражалась не в преемственности учреждений, которые занимались делами по государственными преступлениям, а в преемственности и неизменности неограниченной власти самодержца. Именно эта власть порождала политический сыск, давала ему постоянные импульсы к существованию и развитию в самых разнообразных организационных формах, контролировала и направляла его деятельность.

Глава 3

«Донести где надлежит»

По утверждению Н.Б. Голиковой, из просмотренных ею 772 дел Преображенского приказа за конец XVII — начало XVIII в. только пять начались не с доноса (212, 58). То же можно сказать и о всем XVIII веке (181, 31; 680, 104). И все же, несмотря на эти данные, волю самодержца как исходный толчок для возбуждения политического дела нужно поставить на первое место — так велико, всеобъемлюще было ее значение. Эта воля верховного и высшего судьи всех своих подданных выражалась не только в виде указа о начале расследования по государственным преступлениям, но и в любой другой, порой весьма произвольной форме.

Начало сысского дела царевича Алексея уникально. Это произошло на глазах десятков людей, присутствовавших 3 февраля 1718 г. в Кремлевском дворце при отречении привезенного из-за границы царевича от наследства престола. В тот день Петр I, по словам обер-фискала Алексея Нестерова, обращаясь к «непотребному» сыну, «изволил еще говорить громко же, чтоб показал самую истину кто его высочества были согласники, чтоб объявил. И на те слова Его высочество поползнул было говорить, но понеже Его величество от того сократили тем Его высочества разговор кончился...» (564, 200). Голландский резидент барон Якоб де Би в своем донесении в Гаагу этот эпизод изображает иначе: «После того царь сказал [царевичу]: “Зачем не внял ты прежде моим предостережениям. И кто мог советовать тебе бежать?”. При этом вопросе царевич приблизился к царю и говорил ему что-то на ухо. Тогда они удалились в смеженную залу и полагают, что там царевич называл своих сообщников. Это мнение тем более подтверждается, что в тот же день было отправлено три гонца в разные места» (253, 315). В вопросных пунктах царевичу, написанных царем на следующий день, упоминается, что во время церемонии в Кремле Алексей Петрович «о некоторых причинах сказал словесно» и что теперь следует эти признания закрепить письменно и «для лучшего чтоб очиститься письменно по пунктам» (752, 445). Разумеется, решение о начале этого грандиозного политического процесса XVIII в. Петр об-

думал заранее. Дело Толстого, Девьера и других в 1727 г. началось также без всяких изветов. Почувствовав сопротивление некоторых вельмож своим планам породниться с династией посредством брака дочери с великим князем и наследником Петром Алексеевичем (будущий Петр II), А.Д. Меншиков составил некий не дошедший до нас «мемориал» о преступлениях одного из своих недоброжелателей — генерал-полицимейстера Петербурга А.М. Девьера. «Мемориал» стал основой указа Екатерины I о том, что Девьер «подозрителен в превеликих продерзостях, но и кроме того, во время нашей, по воле Божией, престестоккой болезни многим грозил и напоминал с жестокостию, чтоб все его боялись». Девьера арестовали и допросили с пристрастием. Он дал нужные следствию показания на других людей. Так началось дело о «заговоре» Толстого и других (см. 156, 194—195).

В принципе не только верховная, но и иная другая власть имела возможность и право начать розыск по своей воле, исходя из практической целесообразности. Воеводы и другие администраторы по своей должности, от имени царя, без всякой челобитной, жалобы, доноса были обязаны бороться с разбойниками, грабителями и вообще ворами посредством сыска. Все такие дела можно назвать *б е з ы з в е т н ы м и*. Так, примером безызветного начала политического дела служат расследования массовых бунтов, восстаний, крупных заговоров. Однако с усилением роли политического сыска в системе власти, с кодификацией корпуса политических преступлений самодержавие гипертрофировало значение сыска (т.е. внесудебного расследования) как чрезвычайной функции любой законной власти по защите государственной и общественной безопасности в чрезвычайных ситуациях. Возбуждение и ведение политических дел самой властью и только через сыск стало нормой. Превращение сыска, этого чрезвычайного метода ведения процесса, в норму связано непосредственно с оформлением самодержавного строя, с развитием характерных для него деспотических черт. При этом воля государя и донос как главные источники возбуждения политического процесса были связаны друг с другом. Ни один крупный процесс, даже если были горы доносов, не мог начаться без его указа о начале сыска.

В истории сыска известно только несколько случаев *с а м о и з в е т а*. Скорее всего, доноски на самих себя были людьми психически больными или религиозными фанатиками, желавшими «пострадать» за свои идеалы. В 1704 г. нижегородец Андрей Иванов кричал «Государево дело» и просил, чтобы его арестовали. На допросе он сказал: «Государево дело за мною такое: пришел я извещать государю, что он разрушает веру христианскую, велит бороды брить, платье носить немецкое и табак велит тянуть». Иванов

ссылался на запрещающий все эти безобразия Стоглав. Под пыткой он утверждал, что у него нет никаких сообщников, и «пришел он о том извещать собою, потому что и у них в Нижнем посадские люди многие бороды бреют и немецкое платье носят и табак тянут и потому для обличения он, Андрей, и пришел, чтоб государь велел то все переменить». Иванов погиб в застенке под пытками (325-2, 171–172). Редкий случай самоизвета представляет собой и дело упомянутого выше подьячего Докукина, который отдал царю присяжный лист с отказом присягать, за что его позже казнили. Самоизветчиком стал также старообрядческий дьякон Александр, подавший Петру I челобитную о своем несогласии с церковной политикой властей. В 1737 г. в Москве произошла необыкновенно драматичная история с двумя братьями Иваном и Кондратием Павловыми, принявшими старообрядчество. Хозяин квартиры Ивана Синельников показал на допросе, что когда он зашел к своему жильцу, то Павлов сказал ему о своем намерении идти в Тайную кантору. «И оный Синельников того Павлова спросил: “Для чего он идет?” И Павлов тому Синельникову сказал, что-де идет за старую веру пострадать”... Он же Синельников на помянутыя Павлова слова говорил: “Коли у тебя охота припала — это-де не худо — пострадать за Бога”». Отправившегося в крестный путь Ивана провожали его жена Ульяна и брат Василий, Кондратий уже был в сыске. Своей подруге Ульяна сказала, что братья «пошли-де на труд в старом кресте и она-де, Ульяна, того своего мужа с оным Василием провожала», при этом обе женщины плакали. Павловы погибли в застенке (710, 117). Таких отчаянных людей власть осуждала особенно сурово. После дела Варлама Левина, который с готовностью шел на муки, был издан указ Синода от 16 июля 1722 г., который можно назвать законом о порядке правильного страдания за веру. В указе утверждалось, что не всякое страдание законно, полезно и богоугодно, а только то, которое следует «за известную истину, за догматы вечныя правды». В России же, истинно православном государстве, гонений за правду и веру нет, поэтому не разрешенное властью страдание подданным запрещается. Кроме того, власть осуждала страдальцев, которые использовали дыбу как своеобразную трибуну для обличения режима. Оказывается, страдать надлежало покорно, «не укоряя нимало мучителя... без лаяния властей и бесчестия» (587-6, 4053). В 1771 г. купец Смолин подал властям письмо с руганью в адрес Екатерины II. На допросе он сказал, что он решил «пострадать за какое-нибудь правое общественное дело и тем заплатить свои житейские грехи, мучащие его». Список этих грехов «на латинском шрифте» был найден при обыске (591, 573). Но такие случаи самоизвета редки — в основном все же доносили на других.

Первые *правовые нормы об извете* (доносе) возникли во времена образования Московского государства. «Крестоцеловальные» («укрепленные») грамоты включали обязательство перешедшего к Великому Московскому князю служилого человека сообщать, «где которого лиходея государя своего взведаю или услышу на государя своего лихо или от кого ни буди что взведаю или услышу, и мне то сказати своему государю великому князю безо всякие хитрости по сей укрепленной грамоте» (693а, 402, 414, 429). В статье 18 2-й главы Уложения 1649 г., обобщившей практику предшествующей поры, об извете сказано: «А кто Московского государства всяких чинов люди сведают, или услышат на царское величество в каких людех скоп и заговор, или иной какой злой умысел и им про то извещати государю... или его государевым бояром и ближним людем, или в городех воеводам и приказным людем». В этой статье Уложения извет толкуется как обязанность подданного доносить, о чем говорит и статья 19 о наказании за недонесение, а также статьи 12 и 13 о ложном доносе. Наконец, в 15-й главе сказано о награде за правый извет из имущества государственного преступника в размере, «что государь укажет».

В царствование Петра I прежние нормы об извете не только сохранились в законодательстве, но и получили свое дальнейшее развитие. Указы царя и Сената многократно подтверждали обязанность подданных доносить. Изданный 23 октября 1713 г. указ стал одним из многих «пригласительных», «поощрительных» постановлений на эту тему. В нем говорилось: «Ежели кто таких преступников и повредителей интересов государственных и грабителей ведает, и те б люди без всякого опасения приезжали и объявляли о том самому Его ц.в., только чтоб доносили истину; и кто на такого злодея подлинно донесет, и тому, за такую его службу, богатство того преступника, движимое и недвижимое, отдано будет; а буде достоин будет, дается ему и чин его, а сие позволение дается всякого чина людем от первых и до земледельцев, время же к доношению от октября месяца по март» (587-5, 2726).

Выше сказано о роли Артикула воинского, который на столетие определил основы не только военного, но и гражданского права в России. Извет упомянут уже на первых его страницах — в «Присяге или обещании всякого воинского чина людем»: «И ежели что вражеское и предосудительное против персоны Его царского величества или его войск, такожде его государства, людей или интересу государственного что услышу или увижу, то обещаюсь об оном, по лучшей моей совести и сколько мне известно будет, извещать и ничего не утаивать» (626-4, 328). Стоит ли говорить о святости присяги для военного человека, дающего ее перед строем, и о страхе нарушения этой присяги. Не будем забывать, что закон наказывал воина еще и за неизвет.

В традициях XVIII в. были доносы о самых разных нарушениях закона, и не только по «первому и второму пунктам». Доносили о преступлениях чиновников, подрядчиков, таможенников, судей, питейных голов и т.д. Как известно, петровское право весьма широко трактовало понятие государственных преступлений. Поощряли изветчиков, которые сообщали («извещали») о нарушителях указа 1705 г. о сборе пошлин с продажи товаров. Им обещали «за правыя доношения давать из тех из пожитков четвертую долю, несвободным же рабам сверх того свободу» (587-4, 2033, 2133). Такая же награда — четверть имущества виновного — была названа в указах 1705 и 1714 гг., когда стали бороться с корчемством (587-5, 2074, 2343). Большие надежды возлагали власти на доносы подданных о фальшивомонетчиках. В указе 1711 г. сказано, что изветчики могут доносить «без опасения, за что получают себе Его государя милость и награду» (587-5, 2430). Изветы на укрывавшихся от службы власть рассматривала как важнейшее государственное дело. 2 марта 1711 г. Петр I написал указ: «Кто скрывается от службы, объявить в народе, кто такого сыщет или возвестит — тому отдать все деревни того, кто ухоранивается» (587-5, 2327). Задолго до начала весной 1715 г. смотр дворян в возрасте от 10 до 30 лет указом 1714 г. объявлялось, что о не явившихся вовремя на смотр дворянах «всем извещать вольно, кто б какого звания ни был, которым доносителем все их пожитки и деревни будут отданы безо всякого препятія, а те б доносители подавали доношения самому Его и в.в.». Указ этот правильно понял ярославский комиссар Михаил Брянчанинов, который в октябре 1715 г. донес на своего соседа помещика Сергея Боршова, который «в доме своем укрываетца и живет в праздности». Петр I положил на извет резолюцию: «Ежели [Боршову] меньше тридцати лет, за такое презренье указу отдать (пожитки и деревни. — *Е. А.*) против сего челобитья и указу сему доносителю» (633-11, 294–295). Так Брянчанинов округлил свои владения.

В развитии извета при Петре I произошли важные изменения после того, как в 1711 г. возник институт *фискалов* — штатных доносчиков во главе с обер-фискалом. Инструкция предписывала «над всеми делами тайно надсматривать и проводывать про неправый суд, також в сборе казны и протчего», а затем доказывать вину преступника в надежде получить награду — половину его имущества. Обер-фискал возглавлял целый штат фискалов, они сидели во всех центральных и местных учреждениях, в том числе и в церковных (708, 51–58). Фискалы с самого начала встретили враждебное отношение подданных царя, причем не только из числа воров и казнокрадов. В сознании поколений русских людей понятие «фискал» стало символом подсматривания и гнусного доношительства. Весной 1712 г. Стефан Яворс-



Стефан Яворский

кий произнес проповедь, в которой осудил фискалов. Им, как он писал в «Объяснительной челобитной» Петру I, «дали власт[ь] надо мною и над моим Приказом Духовным с таковою вол[ь]ност[ь]ю, что мощно фискалу кого хочет обезчестити и обличити и, хотя того фискал не доведет (т.е. не докажет. — *Е. А.*) о чесом на ближняго своего клеветшет, то ему то за вину не вменяти и слова ему за тое не говорити» (193, 329).

Яворский был прав — в случае бездоказательного доноса закон предусматривал: «Отнюдь фискалу в вину не ставить, ниже досадовать». Такого же, как и Яворский, мнения о фискалах были многие сенаторы. Как сообщали Петру I фискалы Михаил Желябужский, Алексей Нестеров и Степан Шепелев, «в разные числа, ненавидя того нашего дела, [сенатор] Племянников называл нас, ставя ни во что, улишными суд[ь]ями (т.е. грабителями. — *Е. А.*), а князь Яков Федорович (Долгорукий. — *Е. А.*) антихристами и плутами» (193, 331). Высшие чиновники всячески сопротивлялись разоблачениям фискалов, угрожали им, уничтожали собранный фискалами материал. Так, в 1717 г. сенатор И.А. Мусин-Пушкин приказал вскрыть и сжечь целый ящик материалов о казнокрадстве М. Гагарина (102а, 146). Бывало, что, собрав

доносы, фискалы не отправляли дело сразу в суд, а шантажировали им чиновников. В 1729 г. расследовался донос на фискала Тимофея Челнцова, который говорил приятелю: «Изволишь ли ведать какой я фискал и какие имеются у меня доносы на сенаторов, высоких персон» — и, показав две тетради компромата, продолжал: «Вот-де показано у меня подозрение» — и назвал имена видных сановников (8-1, 358). Это, естественно, чиновникам очень не нравилось.

Но Петр I все же оставался иного, лучшего мнения о фискалах. Для царя это были своеобразные сыскные золотари — он признавал, что «земского фискала чин тяжел и ненавидим» (756, 288). Хотя царь не сомневался, что отдельные фискалы грешны (в 1724 г. он казнил за злоупотребления генерал-фискала А. Нестерова), тем не менее польза, которую они приносили стране, казалась царю несомненной — ведь, по его мнению, в России почти не было честных чиновников и только угроза доноса и разоблачения могла припугнуть многочисленных казнокрадов и взяточников, заставить их соблюдать законы. Неутомимая фискальская деятельность того же Нестерова в 1714—1718 гг. позволила вскрыть колоссальные хищения государственных средств сибирским губернатором М.П. Гагариным и другими высокопоставленными казнокрадами (276, 329; 102а, 142—147). Царь обобщил накопленный опыт работы фискалов и в указе 17 марта 1714 г. уточнил их обязанности. Фискалы ведали все «безгласные дела», т.е. не имеющие челобитчиков, просителей по ним. К таким делам относились прежде всего «всякия преступления указом», все, «что к вреду государственному интересу быть может, какова б оное имяни ни было». Фактически каждый нарушитель указов становился жертвой доноса фискала.

Зная, как дерзко и самовольно ведут себя облеченные огромной властью фискалы, Петр пытался ограничить их деятельность — он предписал, что фискалы должны «во всех тех делах... тол[ь]ко проведыват[ь] и доносить и при суде обличать» и никогда «всякого чина людем бесчестных и укорительных слов отнюдь не чинить». И тем не менее норма о безответственности фискала в случае ложного доноса сохранилась: «Буде же фискал на кого и не докажет всего, то ему в вину не ставить, ибо невозможно о всем оному окуратно ведать». Больше, что им грозило в этом случае, — «штраф легкой», чтобы впредь «лучше осмотряся, доносили». Наградой же за верный извет служила половина конфискованного имущества, которую делили между собой фискал-изветчик, его коллеги по городу или губернии, а также обер-фискалы «с товарищи». Это была новинка закона — теперь «изветное дело» стало приносить материальную выгоду всему сообществу фискалов (193, 333—335).

Особенно шекотлив был вопрос об именах «помощников» фискалов, которых при расследовании требовалось объявить в сыске. Об этом почти

сразу же по вступлении в должность спросил сенаторов первый обер-фискал Яков Былинский: «Кто на кого станет о чем доносить тайно и чтоб и о нем было неведомо, а тот, на кого то доношение будет, в том запрется, а явного свидетельства по тому доношению не явится, и дойдет до очных ставок, и до розыску, и о таких что чинить?» Сенат считал, что если скрыть имя доносителя невозможно, то нужно, с разрешения Сената, представить его в суде, но при этом «надлежит, как возможно, доносителей ограждать и не объявлять о них, чтоб тем страхом другим доносителям препятая не учинить» (271-3, 278). Первые годы работы фискалов показались Петру весьма плодотворными. В 1715 г. он издал знаменитый указ о «трех пунктах». Этим указом всячески поощрялось доношительство. Петр с возмущением писал о людях, которые тайно подбрасывают подметные письма-анонимки, вместо того чтобы открыто приходить к властям и доносить им лично: «А ежели кто сумнится о том, что ежели явится, тот бедствовать будет, то [это] не истинно, ибо не может никто доказать, которому бы доносителю какое наказание или озлобление было, а милость многим явно показана... К тому ж могут на всяк час видеть, как учинены фискалы, которые непрестанно доносят, не точию на подлых (т.е. простолюдинов. — *Е. А.*), но и на самые знатные лица без всякой боязни, за что получают награждение... И тако, всякому уже довольно из сего видеть возможно, что нет в доношениях никакой опасности. Того для, кто истинный христианин и верный слуга своему государю, тот без всякого сомнения может явно доносить словесно и письменно о нужных и важных делах» (193, 364). Так фискалы были объявлены примером для каждого подданного.

Большая часть дел политического сыска начиналась с *извѣта*, т.е. с сообщения подданного властям о преступлении. По форме извѣты были письменные и устные. Законодательство в принципе не ограничивало подданных в форме доноса, дела возбуждались «либо по доносительному доносу, или письменному, а в нужном случае и по словесному объявлению» (596, 2). В XVII в. существовал тип особой «изветной челобитной», автор которой сообщал государю о готовящемся или совершенном государственном преступлении в форме «слезной просьбы» схватить злодея: «Смилуйся, пожалуй нас всех сирот твоих, не вели своему государству и нам, сиротам твоим от того вора и изменника, от Лександра Нащокина всем в конец погинути, вели его, государь-царь, вскоре вершить, чтоб тот изменник с Москвы вскоре не съехал. Царь-государь, смилуйся!» (690, 66–70; см. 623-4, 2). В XVIII в. письменные извѣты оформляются иначе — в форме принятых тогда «доношений», «записок». К этому типу относится донос управляющего уральскими заводами В.Н. Татищева на полковника С.Д. Давыдова, который в 1738 г.

прибыл в командировку в Самару и за столом у Татищева произнес «непристойные слова». Донос Татищева состоял из двух частей: собственно доношения — извета на имя императрицы Анны и приложения — доношения. В своем доносе Татищев писал: Давыдов, «будучи у меня в доме, говорил разные непристойные слова о персоне В.и.в. и других, до высшего управления касающихся в разных обстоятельствах, которые точно, сколько [из-за] великой моей горести и болезни упомянуть мог, написал при сем...» И в приложенной «Обстоятельных слов тех записке» Татищев изложил все, что сказал ему Давыдов (64, 1–5; 119, 314).

Это был самый сложный по форме донос, который встретился мне среди материалов XVIII в. Обычно же письменный извет — это «доношение», по-современному говоря, заявление или в просторечье — «сигнал». Подполковник Иван Стражин в 1724 г. собственноручно написал следующий извет: «В Архангелогородскую губернскую канцелярию. Доношение. Сего генваря 9-го дня я, нижеименованный, был у секретаря Филиппа Власова в гостях и по обедне, между церковным пением, пел во прославление славы Его и.в. титул, упоминая с присланными... формами, и, как начал тот речь титул “Царю Сибирскому”, и тогда Сибирский царевич Василий Алексеевич говорил, что-де, Сибирский царь он, Василей, и за то его, Василья, я, нижеименованный, бранил и говорил ему: “Какой ты Сибирский царь, но татарин?!” и оной Сибирский к тем речам говорил, что-де, дед и отец ево были Сибирские цари и о том я, нижеименованный, по должности своей объявляю чрез сие. Притом были...» Далее приводится список свидетелей, на которых доносчик «слася» как на людей, готовых подтвердить его извет (29, 23).

Образцом извета петровского времени может служить донос 1723 г. писаря Козьмы Бунина, бывшего тогда домашним секретарем вице-адмирала Сиверса. Перед нами незаурядное эпистолярное произведение о «драматическом столкновении» верноподданного писаря со зловердной антигосударственной бабкой-повитухой Маримьяной Полозовой, происшедшем во время родов жены означенного писаря. Бунин писал: «Хотя б в Регламенте морском и в указах Его и.в. о предохранении чести и здравия Его величества положено не было, то мною, что не стерпит человеческая совесть, ежели кто сущий христианин и не нарушитель присяги, в себе заключить, слыша нижеписанная поношения против персоны Его величества, яко же аз слыша, всенижайше, без всяких притворов, но самую сущюю правдою при сем доношу, оставя все простоглазливые страхи во всемилостивейшую волю Его и.в.». Далее он с подробностями излагает речи старухи, которая явно не одобряла государя-императора: «Да, царя дал нам Бог воина: все б ему воевать! Уж и то вся чернь от войны разорилась, можно б уж ныне дать людям и по-

кой...» «На слова эти я, — пишет Бунин, — отвечал так: “Что ты, баба, бредишь? Сие не от государя, но Богу тако быти соизволившу”. Но она вяще умножила рефлексии на персону Его и.в., говоря так: “Сей-де царь не царской крови и не нашего русского роду, но немецкаго”. Что мя зело устрасило и удивило, и понудило от оной требовать ясного об этом доказательства, видя такую велию причину — что како сему быти мощно?»

Дискуссия просвещенного писаря Бунина с темной, «замерзлой» старухой на тему о происхождении Петра I закончилась так: «И тако, от оной [бабы] сии непотребные разговоры, яко от ехидны зло излиянный яд, слыша, больше не мог, за страхом и непотребностию, спрашивать, и сказал ей тако, чтоб она больше сего не говорила мне: “Ведаешь ли ты, баба, что тебе за сие мало, что голову отсекут?” Она же мне сказала: “Здесь-де лишних никого нет и проносить-де некому”, понеже в то время только было нас в светлице трое: я, низайший, с женою, да оная Маримьяна. И сего ради, видя, что от оной сии вреды могут распространяться более, дабы прекратить, я, низайший, [поспешил] донести Государственной Тайной канцелярии... Козьма Бунин» (664, 69–70).

Устные (явочные) изветы были распространены больше, чем письменные, хотя такое определение их формы в известном смысле условно — ведь содержание и устного доноса обязательно вносили в журнал учреждения в виде протокола — записи «словесного челобитья». Доносчик приходил в приказную избу и просил «чтоб Великие государи пожаловали, велели его Евтюшкина словесное челобитье и извет на Саратове в приказной избе записать и для поимки тех старцев и раскольников послать сотника и стрельцов» (278–12, 273). Однако с устными изветами более связано знаменитое выражение «Слово и дело!» или «Слово и дело государево!». Такими словами маркировалось публичное заявление изветчика о знании им государственного преступления, будь то чей-то поступок, сказанное человеком слово, фраза или умысел к совершению преступления. Равную силу с выражением «Слово и дело!» имели другие выражения: «Слово государево!», «Дело государево!». При изложении дела в документах сыска употребляли и такие выражения: «Кричал за собою важное Слово и дело», «И сказал за собою Его императорского величества дело» (8–1, 369 об., 328).

Что такое «Государево дело»? М.Н. Тихомиров и П.П. Епифанов в словнике к Уложению 1649 г. дают ему два толкования: во-первых, «Государево великое дело (или слово) — государственное преступление, обвинение в замысле или в “непригожих речах” против царя и царского семейства». Во-вторых, «Государево дело — крупное политическое поручение от государя, вообще всякая государственная служба». Н.Н. Покровский, вслед за

А.Г. Маньковым, попытался расширить понимание этого термина, заметив, что в тексте Уложения 1649 г. речь идет не просто о государственной службе или поручении и не просто о важном общегосударственном деле, но о государственном преступлении (733, 327; 458, 260; 584, 58). Н.Н. Покровский прав: в Уложении (гл. 2, ст. 16) говорится: «Извещати государево великое дело или измену». И там же: «И против извету про государево дело и про измену сыскивати всякими сыски накрепко». Иначе говоря, в Уложении используется собирательный термин, обозначающий важное государственное преступление. В чем же отличие «Государева слова» от «Государева дела»? Можно было бы предположить, что первоначально смысл этих фраз заключался в том, что «Государево слово» — это публичное объявление, заявление о наличии «Государева дела», т.е. наиважнейшего дела, преступления, затрагивающего интересы государя, но позже такая жесткая связь «слова» и «дела» была утрачена. Но это не так. «Слово» с «делом» не были в неизменной, жесткой связке. Уже первые упоминания этого выражения в документах показывают, что современники не обращали внимания на различия в их употреблении. В отписке 1636 г. в Москву белгородского воеводы говорится, что тюремный сиделец Трошка сказал «твое государево великое слово». Из Москвы воеводе предписали, чтобы он взял Трошку на съезжую и «спросил какое за ним наше дело» (181, 4). В Уложении 1649 г. «слово» и «дело» также используются на равных: «Учнут за собою сказывать государево дело и ли слово» (гл. 2, ст. 14). В 1705 г. появился указ о посадских, которые привлекались за кричанье «слова». Таких людей надлежало вести в Ратушу, где их «нет ли чего за ними причинного о Его государеве здравии». Если ответ был положительный, то крикун немедленно, по силе закона 1702 г., переправлялся в Преображенский приказ, к Ромодановскому. Если же кто «не ведая разности слова с делом, скажет дело, а явится слово, то тем и другим, которые станут сказывать за собою его Государевы дела, указ чинить в Ратуше им, инспекторам с товарищи». Из контекста указа, как справедливо заметил Н.Н. Покровский, следовало, что власть пытается отделить дела по политическим преступлениям от дел по прочим, подведомственным не Преображенскому приказу, а Ратуше преступлениям. При этом следует понимать, что «слово» — это политическое преступление, а «дело» — это должностное или иное неполитическое преступление (587-4, 2029; 585, 82). В указе же 1713 г. словосочетания «Государево слово и дело» и «Государево слово или дело» используются без различий (587-5, 2756). Такая «текучесть», нечеткость, неопределенность понятий обычна для законодательства тех времен. Но в упомянутом выше указе 1705 г. для нас важнее другое выражение: «Причинное о Его государеве здравии». За 1642 г. нам известна

формула: «Сказал за собою государево великое верхнее дело», т.е. дело важнейшее, касающееся «Верха», безопасности царя и его семьи. Это был донос Данилы Рябицкого на Афоньку Науменка, замышлявшего «испортить» царицу Евдокию Лукьяновну (307. з). Думаю, что в конечном счете речь идет о двойном смысле понятия «Государево слово и дело». Во-первых, им обозначали важное исключительно для государя дело и, во-вторых, «Государево слово и дело!» есть публичное заявление изветчика не собственно о государственном преступлении (информация о нем являлась тайной), а о своей осведомленности о преступлении и желании сообщить об этом государю. Аббат Шапп д'Отрош наилучшим образом объяснял по-французски второй смысл знаменитого выражения: «Слово и дело!», т.е. «Я обвиняю вас в оскорблении Величества словом и делом!» (529а-4, 323). Когда впервые появилось это выражение, точно сказать невозможно. Во всяком случае, это произошло не позже начала XVII в. Уже тогда процессы, начатые по заявлению «Слова и дела», были обычными (см. 504). Для составителей Уложения 1649 г. «Слово и дело» — институт привычный, причем авторы Уложения обращают внимание уже на накопившиеся типичные нарушения порядка объявления «Слова и дела»: «А которые всяких чинов люди учнут за собою сказывать Государево дело или слово, а после того они же учнут говорить, что за ними государева дела или слова нет, а сказывали они за собою Государево дело или слово, избывая от кого побои, или пьяным обычаем, и их за то, бив кнутом, отдать тому, чей он человек» (гл. 2, ст. 14). Законодатель пытается упредить ложные объявления «Слова и дела» на помещиков со стороны их дворовых и крестьян; мы знаем, что такие необоснованные доносы были весьма распространены и в последующее время. В 1713 г. была предпринята серьезная попытка уточнить содержание доносов, объявленных через публичное кричание «Слова и дела». В указе сказано: «Ежели кто напишет или словесно скажет за собой Государево слово или дело и те бы люди писали и сказывали в таких делах, которые касаются о их государском здоровье и высокомонаршеской чести, или ведают какой бунт, или измену. А о протчих делах, которые к вышеписанным не касаются, доносить кому надлежит, а в тех своих доношениях писать им, ежели на кого какие дела ведают, сущую правду. А письменно и словом в таких делах слова или дела за собою не сказывать. А буде с сего его, Великого государя, указу станут писать или сказывать за собою Государево слово или дело, кроме помянутых причин, и им за то тем быть в великом наказании и разорении и сосланы будут на каторгу» (589-5, 2756).

Как же проходило *извещение* властей о государственном преступлении? Известно несколько форм явочного, т.е. личного, извета. Первый из

них можно условно назвать «бюрократическим»: изветчик обращался в государственное учреждение или к своему непосредственному начальству, заявлял («сказывал», «извещал», «объявлял»), что имеет за собой или за кем-то «Слово и дело». Само выражение при этом не всегда употребляли, хотя суть секретности, срочности и важности извета от этого не менялась. В 1698 г. извет на одного из сторонников Шакловитого был записан так: «198 году сентября в 11-й день бил челом Великим государем в Мостерской полате и извещал словесно стольника и полковника Ивана Кобылского пятидесятник Клим Федотов» — и далее шла запись изложения доноса (623-1, 187–188). В 1707 г. иеромонах Севского Спасского монастыря Никанор принес письменный донос генерального судьи Василия Кочубея на гетмана Ивана Мазепу. На допросе он объяснил, что приехал в Москву и «по знакомству пошел Преображенского приказа к подьячему, к Алексею Томилову, и сказал, что есть за ним, Никанором, Государево дело и он-де, Алексей, велел ему явитца [к] князю Федору Юрьевичу (Ромодановскому. — Е. А.) и по тем-де, Алексеевым словам, он, Никанор, и явился князю Федору Юрьевичу» (357, 62–63). В 1761 г. из Пскова явился купец Михаил Песковский и в сенях Тайной канцелярии объявил караульному солдату, что «он имеет за собою Т а й н о е с л о в о», после чего он был арестован (81, 4).

В январе 1720 г. в Новоторжскую уездную канцелярию явился мастеровой Федор Палдеев и, добившись личной встречи с воеводой, сказал свой извет, который таким образом записали в протоколе: «1720-го году, генваря в 9-й день в Новоторжской канцелярии... Федор Палдеев извещал словесно...» — и далее следовало содержание извета (23, 3–4). При этом изветчик подал и письменное доношение того же содержания, что и его устный извет. Воевода арестовал изветчика и его жертву и рапортовал о происшедшем в Тайную канцелярию. Обычно в протоколах о таких делах местные чиновники записывали, что «по спросу оной (имярек. — Е. А.) сказал, что имеет он за собою Государево слово и дело, касающееся к первому пункту, по которому подлинно знает и доказать может и касается до...» — и далее называлось имя человека, на которого доносили (42-3, 14). На этом функции местных властей в расследовании дела обычно завершались.

В январе 1722 г. архимандрит Переславль-Залесского Данилова монастыря Варлаам послал доношение в Синод, в котором писал: «Прошедшего декабря 31-го дня в вечеру... иеродиакон Иосиф, пришел ко мне, нижеименованному, в келью, доносил словесно, что того ж монастыря монах Иоаким, будучи в келье своей, говорил о Ея величестве императрице непристойные слова, каковы он, иеродиакон, покажет при своем допросе, а при том же-де, [были] монахи: иеродиакон Данило, да Ираклим, Ефрем, и я тех иеро-

диаконов и монахов в таком важном деле для допросов привез в Москву и вашему святейшеству сим доношением объявляю. Вашего святейшества богомолец... архимандрит Варлаам руку приложил» (31, 3). Здесь мы сталкиваемся с записью доноса, сделанного не самим изветчиком, а изветчиком на изветчика, что также было принято при доносах (так называемое «знание Слова и дела за другим»).

Известить власти о своем «Слове и деле» можно было и обратившись к любому часовому, который вызывал дежурного офицера, и тот производил арест изветчика. К такому приему доносчика прибегали часто («Пришел под знамя к часовым гренадером... сказал за собою Слово и дело государево и показал в том...» — 63, 1). Особенно популярен среди доносчиков был «пост № 1» у царской резиденции, причем эта активность изветчиков вызывала раздражение государя, что отразилось в его указах. Но так доносчики поступали и позже. 27 мая 1735 г. Павел Михалкин на допросе в Тайной канцелярии показал, что «сего мая 27 дня, пришел он к Летнему Его и.в. дворцу, объявил стоящему на часах лейб-гвардии салдату, что есть за ним, Павлом, Слово и чтоб его объявить, где надлежит» (53, 3).

Другой способ объявления «Слова и дела» был наиболее эффектен, хотя в принципе власти его не одобряли. Изветчик приходил в какое-нибудь людное место, в окружении множества людей начинал, привлекая к себе всеобщее внимание, кричать «Караул!» и затем объявлял, что «за ним есть Слово и дело». Упомянутое в документах выражение «кричал» следует понимать как прилюдное, публичное, возможно — громкое произнесение роковых слов. 21 декабря 1704 г. караульный солдат, стоявший у Москворецких ворот в Москве, привел в Преображенский приказ нижегородца Андрея Иванова и объявил, что Иванов подошел к его посту, «закричал “Караул!” и велел отвести себя к записке, объявляя, что за ним Государево дело» (325-2, 171). В 1742 г. известный по делу Долгоруких доносчик Осип Тишин был арестован после того, как, «вышел на крыльцо, кричал “Караул!” и сказывал за собою Слово и дело» (310, 91). Одной из причин такого экстравагантного поступка было стремление доносчика вынудить облеченных властью людей заняться его изветом, к чему эти люди порой не очень стремились. В 1699 г. из Тихвина в Новгород привезли монахиню Авксентию, которая сказалась изветчицей. Как объясняла игуменья Евдоксия, монахиня «сказала за собою Государево слово и мы, слыша от нее, не смели держать потому, что извещала при всем соборе на словах и сказала, что есть у нее и на письме Государево слово и, буде-де меня не отпустите, и я сама поеду» (241, 196–197). Из этого видно, что публичное кричание изветчицы не позволило властям «закрыть» ее объявление, «усмирить» ее по монастырскому обычаю поркой или сидением на

цепи. Игуменье пришлось об изветчице объявлять властям. В 1724 г. фискал Дирин «при Вышнем суде кричал “Караул!” и сказал за собою Его и.в. слово», а потом указал на человека, которого он обвинял в «похищении интересов и взятке» (8-1, 328 об.). Ротный писарь Михаил Зашихин был взят под караул, когда «выбежал из избы в сени и сказал за собою Ея и.в. слово и дело по первому пункту» (42-2, 139 об.).

Часто при всем народе кричали «Слово и дело» пьянчужки. Два монаха — Макарий и Адриан — были посажены за пьянство на цепь и тут же объявили друг на друга «Слово и дело». Утром, протрезвев, они не могли вспомнить, о чем, собственно, собирались донести. Так же не мог вспомнить своих слов пьяный беглый солдат, кричавший «Слово и дело» на подравшихся с ним матросов. А между тем кричал он о страшных вещах: матросы-де несколько лет назад хотели убить Петра I, когда тот возвращался с казни Степана Глебова (804, 449). Кричали «Слово и дело» и те, кто думал таким образом избежать наказания за какое-нибудь мелкое преступление. Иногда же в роковом крике видна неуравновешенная натура, проявлялись признаки душевной болезни, невменяемости. Таких дел велось много, и обычно в конце их ложного донощика секли «ради науки», после чего он, присмиревший и трезвый, выходил на волю. Но некоторые «взорные» кричанья или бред больного человека привлекали внимание следователей, пытавшихся извлечь из них «важность», некое «сыскное зерно». Так, в декабре 1742 г. Василий Салтыков, охранявший Брауншвейгское семейство в Динамюнде, рапортовал императрице Елизавете о том, что караульный офицер Костюрин ему донес следующее: к «имеющейся при принцессе (Анне Леопольдовне. — Е. А.) девке Наталье Абакумовой для ее болезни приходил при нем штаб-лекарь Манзе пускать кровь и оная девка крови пускать не дала и кричала, что-де “взять хотят меня под караул, бить и резать!”», и сказала за собою Слово и того ж часа оную девку, взяв, обще гвардии с майорами Гурьевым, Корфом и Ртищевым спрашивали, и в том она утверждает, что имеет за собою Слово в порицание высокой чести В.и.в., слышала (это. — Е. А.) она от фрейлин Жулии и Бины». Однако оказалось, что она «в беспамятстве и в великой горячке». Поэтому решили отложить допрос до выздоровления больной. Императрица предписала выслать Абакумову в Петербург. Салтыков писал, что как только она «пришла в себя и приказано от меня... взять ее бережно». Это дело вполне типично для политического сыска (410, 80–81).

Дело изуверки Салтычихи в 1762 г. началось с того, что измученные издевательствами госпожи шестеро ее дворовых отправились в Московскую контору Сената доносить на помещицу. Узнав об этом, Салтычиха выслала в погоню десяток своих людей, которые почти настигли челобитчиков, но те

«скорее добежали до будки (полицейской. — *Е. А.*) и у будки кричали “Караул!”». Скрутить их и отвести домой слуги Салтычихи уже не могли — дело получило огласку, полиция арестовала челобитчиков и отвезла на съезжий двор. Через несколько дней Салтычихе удалось подкупить полицейских чиновников, и арестованных доносчиков ночью повели якобы в Сенатскую контору. Когда крестьяне увидели, что их ведут к Сретенке, т.е. к дому помещицы, то они стали кричать за собою «Дело государево». Конвойные попробовали их успокоить, но потом, по-видимому, сами испугались ответственности и отвели колодников вновь в полицию, после чего делу о страшных убийствах был дан ход (712, 534–535). Крестьянин Степан Иванов (как записано в приговоре 1733 г. по его делу) «в предерзости явился, что, едуци с помещиком своим из гостей, дерзновенно сошед с коляски, кричал “Караул!” и сказал за собою Ея и.в. слово и дело». Как видно из приведенной цитаты, Тайная канцелярия поступок Иванова осуждала, ибо он, давно зная от своей дочери — дворовой девушки о сказанных их помещицей «непристойных словах», «должен был донести, где надлежит в тож время (т.е. сразу. — *Е. А.*), не крича караула и не сказывая за собою Слова и дела, потому, что к доношению препятствия и задержания ему не было, а ежели [бы] и доношению об оном было ему задержание, то тогда б принужден был он Слово и дело сказать, дабы слышанные им от дочери своей Слова не могли быть уничтожены» (8-5, 179). Также неправым был признан фурыер Колычов, который донес на симбирского воеводу Вяземского в непитии за здоровье государыни как о первостепенном государственном преступлении: «Пришед ко двору Ею и.в. извещал необычайно, якобы о неизвестном деле», за что его наказали (42-1, 75). Зато правильнее поступил в 1723 г. поп Андрей Васильев, сделав «бюрократический извет». Он явился в Симбирскую воеводскую канцелярию и «потребовал, чтобы его представили воеводе, которому он должен объявить важное Слово и дело государево» (730, 274). Отказать в приеме такого посетителя не рискнул бы ни один тогдашний администратор.

Итак, публичное кричанье «Слова и дела» было допустимо только тогда, когда подать или записать в органах власти свой извет было невозможно. В остальных же случаях нужно было объявлять «просто», без шума. Громогласное же объявление доносчиками о государственном преступлении сыск не одобрял, и таких крикунов даже наказывали. Летом 1731 г. в саду у дворца Анненгоф императрицу Анну Ивановну перепутал некто Крылов, который, «пришед в Аннингоф и вошед в сад, где соизволила быть Ея и.в. и тогда он, Крылов, дерзновенно став на колени, закричал, что есть за ним Ея и.в. слово в такой силе, что знает он, Крылов, Ея и.в., и государству недоброжелателей и изменников». Следствие по его делу выяснило, что «измены

никакой ни за кем он, Крылов, не показал». Итог — кнут, тюрьма в Охотске (42-3, 80). Но и в таком суровом отношении к крикунам политический сыск соблюдал меру. В 1733 г. некто Чюнбуров кричал «Слово и дело» и потом сообщил, что его сослуживец не был у присяги. В приговоре о Чюнбурове сказано: «Доносить надлежало было ему просто, не сказывая за собою Ея и.в. слова, но токмо за оное ево сказыванье... от наказанья учинить ево, Чюнбурова, свободна... дабы впредь о настоящих делах доносители имели б к доношению ревность» (42-4, 99). В приговоре по делу Степана Иванова сказано, что изветчик был обязан донести «в тож время», т.е сразу же после того, как он услышал о «непристойных словах» помещицы от своей дочери. Срочность как обязательное условие извета установлена указом 2 февраля 1730 г.: «Ежели кто о тех вышеписанных... великих делах подлинно уведает и доказать может, тем доносить, как скоро уведает, без всякого опасения и боязни, а именно — того ж дни. А ежели в тот день, за каким препятствием донести не успеет, то, конечно, в другой день». Чуть ниже, правда, уточнялось: «... по нужде на третий день, а больше отнюдь не мешкать» (199, 531, 532). Этот указ наводил некоторый порядок в практике извета. Он был направлен в основном как раз против частых злоупотреблений законом об извете со стороны доносчиков — матерых преступников, которые пытались с помощью «бездельного», надуманного извета затянуть расследование их преступлений или увильнуть от неминуемой казни. Указ впервые предусматривал, что людям, которые «ведали, а не доносили неделю или больше, и тем их доносам не верить» (199, 533). Типичным для многих дел о ложном доносе стал приговор: «И тому ево показанию верить не велено, ибо показывал спустя многое время» (8-1, 128). Вместе с тем известно, что и до 1730 г., в петровское время, власти относились с подозрением к «запоздалым изветчикам». Так, монах Ефимий в 1723 г. не получил награждения по доведенному доносу «за долговременное необъявление о тех важных словах...» (664, 32). В таком негативном отношении к «застарелому извету» выражена традиция законодательства. Уставная книга Разбойного приказа запрещала верить изветам приговоренных к казни, если к этому моменту они просидели в тюрьме более года (538-5, 194, 197). Правда, нужно согласиться с комментаторами Уставной книги, что в делах политического сыска срока давности не существовало. «Застарелые доносы» с неудовольствием, но все же принимались сыском. Игнорировать то, что относилось к интересам государя, было нельзя. Но при этом чиновники обязательно записывали, сколько времени пропущено изветчиком сверх указного срока («А до того времени он, Арбузов, чрез семь дней о том не доносил»; «Оной Батуров... не извещал семнадцать дней», «Сказал за собою Государево слово по второму пункту, которое знает пятой год»; «Ска-

зывал семь лет назад». Об извете дворового Сергея Алексеева в протоколе Тайной канцелярии 1762 г. сказано, что его доношение следует признать «недельным (в смысле — неделовым. — *Е. А.*), а паче и дерзновенным», т.к. Алексеев не доносил «более осми месяцев». В одном из протоколов просрочка изветчика указана с необыкновенной точностью: «О помянутых непристойных словах не доносил многое время, а именно — чрез одиннадцать месяцев и двадцать один день» (29, 49 об.; 44-4, 360; 42-5, 44, 155; 8-1, 133; 82, 76 об.). Изветчика при этом обязательно спрашивали о причинах его нерасторопности. Обычно в оправдание изветчик ссылался на свои отлучку, занятость, недогадливость, «несовершенство даров разума», необразованность или незнание законов («Не извещал недознанием», «Нигде я не доносил простотою своею, от убожества»). Один свидетель утверждал даже, что не донес, т.к. «косноязычен от рожденья», а другой оправдывался тем, что «был болен зубною болью». Третий же утверждал: «А об оном он, Иван, в тот же день, таже на другой, и на третей день не донес с простоты своей за малолетством» (664, 31, 180—181; 63, 2). В 1745 г. лейб-компанец Данила Чистяков так «комплексно» объяснял задержку с доносом: «Что же я об оном умедлил донести, то случилось от того, что вскоре после оного числа был командирован в Петергоф, а потом был болен, к тому ж от незнания и за простотою своею» (541, 256—257). Естественно, что даже если просроченный донос оказывался доведенным, изветчик или совсем не мог рассчитывать на поощрение, или сумма его награды за донос уменьшалась — все зависело от срока просрочки. По «доведенному» доносу иеромонаха Ефимия в 1723 г. Тайная канцелярия постановила: «За то учинить ему награждение, токмо он того награждения за долговременное необъявление не достоин» (9-3, 99). На деле Михалкина А.И. Ушаков 7 ноября 1735 г. написал резолюцию: «Вышепомянутому изветчику Павлу Михалкину за правой ево на означенного Михайла Иванова извет надлежало учинить немалое награждение, но токмо явился он, Михалкин, не без вины, что, слыша вышеписанного Михайла Иванова показанные непристойныя слова, более двух месяцев не доносил... однако ж за показанной правой ево извет... выдать ему из Тайной канцелярии в награждение денег пять рублей, записав в расход с роспискою, дабы, на то смотря впредь, как он, Михалкин, так и другие, о таких важных делах уедавав, к скорому доношению паче ревность имели, о чем тому Михалкину объявить с запискою» (53, 24 об.—25).

Содержание извета было всегда секретно. Знать его простой смертный не мог, да и не каждый из чиновников имел право требовать, чтобы изветчик ему раскрыл «непристойные слова», объявил «саму

важность» доноса. Малолетний дворянский сын Александр Денисьев донес на дворовых людей своего отца Ермолая в говорении «непристойных слов». Отец привел мальчика в Тайную канцелярию и заявил, что сын его знает за собою Слово и дело на дворовых, но что именно говорили они, «того имянно тот ево сын не сказал, да и он, Денисьев, о том ево не спрашивал» (44-4, 300). В последнее верится с трудом, но поведение Денисьевых полностью отвечало букве закона. Отец и сын не повторили ошибки другого изветчика — приказчика Дмитриева, которого в 1732 г. наказали за то, что в письме к своей помещице он изложил суть сказанных крестьянами «непристойных слов». А это, как отмечено в приговоре, писать ему в письме было нельзя, «а о тех словах объявлять подлинно [надлежало] туда, куда следовало» (42-2, 158).

Многие изветчики хранили содержание извета в тайне даже от местных властей и требовали доставить их в столицу, а иногда обещали рассказать о преступлении только царю. Заявления об этом в XVII в. записывали так: «Есть за мною государево слово всей земли и то я скажу на Москве» или «Здесь такого слова сказать немочно, а скажу то Государево слово на Москве, государю» (500, 146, 184). Власти понимали, что за такими заявлениями, как правило, не стояло ничего, кроме желания избежать пытки, потянуть время да еще попытаться по дороге в Москву сбежать. Так, Терентий Феодорицкий в 1728 г., «идучи в застенки к розыску, кричал за собою Государево слово и дело и чтоб ево представить пред Его и.в., а потом сказал, что о том он кричал для того: мыслил тем криком отбыть розыску, а никто ево кричать не научал» (8-1, 335). Как уже сказано, таких изветчиков заставляли либо передать запечатанный конверт с изветом в Москву, либо изветчика допрашивали, не уточняя суть («важность») извета, что было распространено в XVIII в.

Почти во всех указах об извете подтверждалось, что изветчика ждут *награды*, поощрение. Так было принято с давних пор. В наказе воеводе Кузнецка (1625 г.) сказано: «Кто на кого скажет какое воровство или измену, и сыщется допряма, и государь тех людей пожалует, и животы и вотчины (преступников. — Е. А.) пожалует им, кто на кого какую измену и воровство доведет» (104-3, 219). Так же было и в конце XVII в. В наказах воеводам говорилось, что они обязаны поощрять изветчиков государевым жалованьем — деньгами и сукнами, а также и «вотчины и животы тех изменников отдавать тем же людям, кто на них в правду доведет» (587-3, 1579, 1594).

В первой половине XVIII в. объявленная награда за доведенный донос составляла 3, 5, 10 и более рублей, а для служащих означала и повышение в чине или по должности. Резолюцию о поощрении солдата Ивана Дулова, доведшего извет на своего товарища Шербакова, можно считать типичной:

«Написать из салдат в капралы и выдать Ея и.в. жалованья денег десять рублей из Канцелярии тайных дел» (10, 122; 89, 716). В случаях же исключительных, связанных с раскрытием важного государственного преступления, сумма награды резко увеличивалась и доносчик мог получить свободу (если он был крепостной или арестант), конфискованное поместье преступника, различные щедрые торговые льготы и привилегии. В одних — ординарных — случаях чиновники исходили из сложившейся наградной практики, в других же случаях — неординарных — награду называл сам государь.

По-видимому, как только появился извет, так сразу же возник и «ложный извет» («недельный», «бездельный»). Типичный пример. В 1730 г. арестовывали набедокурившего солдата Пузанова, он «повалился на землю и под караул не пошел, а сказал в пьянстве, что есть за ним Ея и.в. слово и дело». На следствии же оказалось, что никакого «Слова и дела» за ним нет и не было. Это и есть состояние «ложного извета». В том же году солдат Александр Данилов был приговорен к шпицрутенам за троекратный побег из роты, воровство, дважды сказанное ложное «Слово и дело» и за «оболгание флагманов и высокого генералитета». Перед экзекуцией он вновь, уже в третий раз, кричал «Слово и дело» и показал на адмирала Синявина и его брата в говорении ими «между собой непристойных слов». На допросе же в Тайной канцелярии он признался, что никаких противозаконных разговоров между братьями Синявиными он не слышал, «а Слово и дело сказал он, убоясь гоняния шпиц-рутен» (8-1, 114).

В 1734 г. солдат Иван Духов, «как ево за некоторую малую продерзость при роте вознамерились штрафовать, говорил, что есть за ним Ея и.в. дело и слово», после чего Духов был послан под караулом в Тайную канцелярию (51, 3). Подобными случаями пестрит история политического сыска XVIII в.

Можно выделить несколько типов ложного извета. К первому относится упомянутый выше извет преступников, которые «извещали, отбывая розыску в воровствах, в которых их держали», или «мыслили, чтоб тем криком отбыть розыску», были и другие объяснения: доносил, «нестерпя в воровствах своих розысков» или «избывая каторжных работ» (8-1, 112 об., 118, 325). Словом, как отмечалось в указе 1723 г., колодники «употребляют оное Слово, избывая от виселицы и прочих штрафов». О том же из Сибири в 1724 г. писал управляющий заводами Виллим Геннин, который страдал от непрестанных доносов ссыльных на него, хотя было ясно, что изветы преступники подают, «употребляя себе место лекарства... от смерти и ссылки» (587-7, 4308; 205, 225).

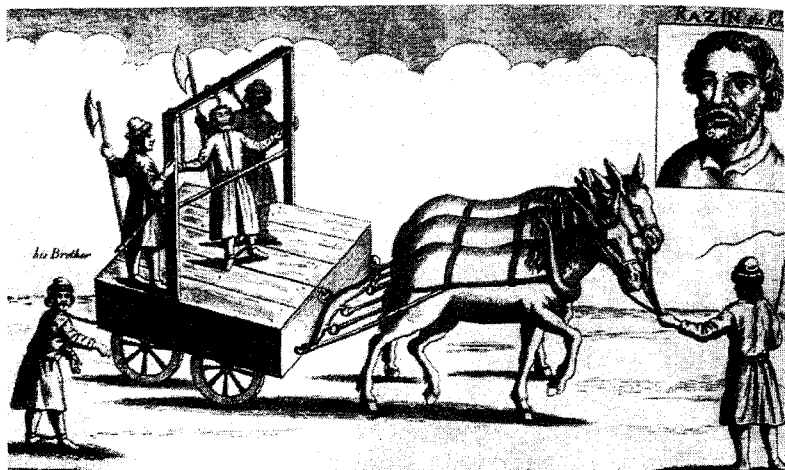
Однако люди шли на ложный извет и для того, чтобы добиться хотя бы какого-нибудь решения своего дела, настоять на его пересмотре, привлечь к себе внимание. Иван Желябужский упоминает весьма экзотический слу-

чай ложного извета. В 1697 г. в Кремле «закричал мужик караул и сказал за собою Государево слово». Никакого Слова за ним не было. Это был первый русский воздухоплаватель, который на допросе в Стрелецком приказе сказал, что, «сделав крыле, станет летать как журавль» и поэтому просил денег на изготовление слюдяных крыльев. Однако испытание летательного аппарата в присутствии И. Б. Троекурова закончилось неудачей, и «боярин на него кручинился и тот мужик бил челом», сказал, что слюдяные крылья тяжелы и нужно сделать кожаные, но потом «и на тех не полетел», за что его пороли, а потом у него в счет потраченных на его замысел денег отписали в казну имущество (290, 224—225).

Особенно част был так называемый «дурной извет» во время ссор, драк, побоев. Следователи довольно быстро определяли, что за сказанным под пьяную руку изветом ничего не стоит. Протрезвевший гуляка или драчун с ужасом узнавал от окружающих, что он арестован как изветчик важного государственного преступления. «Дурные изветы» были явлением массовым, и ко времени создания Уложения 1649 г. обилие их заставило законодателей внести во 2-ю главу статью 14: «А которые всяких чинов люди учнут за собою сказывать Государево дело или слово, а после того они же учнут говорить, что за ними Государева дела или слова нет, а сказывали они за собою государево дело или слово, избывая от кого побои или пьяным обычаем, и их за то бить кнутом, отдать тому, чей он человек». Кроме того, кричание «Слова и дела» было симптомом белой горячки. Многочисленные дела о находившихся почти постоянно в таком состоянии лейб-компанцев Елизаветы Петровны — яркое свидетельство тому (541, 348—350).

Хотя все понимали, что подобные изветы обычно «бездельны», «неосновательны», игнорировать их было невозможно. Выведенного к эшафоту и кричавшего там «Слово и дело» преступника уводили с площади, после чего начиналось расследование по этому извету. Это был единственный способ узнать, является ли донос преступника правдивым. В момент объявления преступником «Слова и дела» на эшафоте закон был всегда на его стороне — ведь изветчик мог унести в могилу важные сведения о нераскрытом государственном преступлении. В итоге у приговоренного к смерти появлялась порой призрачная возможность с помощью извета оттянуть на некоторое время казнь и заставить власти проверять его извет. Иногда же за счет доноса на другого, подчас невинного человека преступник-изветчик стремился спасти свою жизнь, облегчить свою участь.

В 1728 г. дьячок Иван Гурьев, сидевший в тюрьме в ожидании отправки в Сибирь за старые преступления, донес о «важном деле» на своего сокамерника — бывшего дьякона и как доказательство предъявил письмо,



Привоз в Москву Степана Разина и его брата Фрола

якобы выпавшее из одежды дьякона. Письмо это было оценено как «возмутительное воровское». Но следователи легко установили, что дьячок попросил дьякона написать несколько вполне нейтральных строк на листе бумаги, к которому затем подклеил им самим же написанные «возмутительные» слова. Сделал это он, как показал на допросе, «после розысков за воровство... и послан был в острог, и стал мыслить, как бы ему написать какое ни есть письмо, чем бы ему от ссылки свободитца, а судьи-де их, колодников, держат за караулом многое время, а кроме того иного никакова непотребства за вышними господами и ни за кем не знает». Приговор дьячку был суров: за написание «воровского злоумышленного возмутительного письма» и за то, что он «желал тем воровским умыслом привести постороннего невинно к смертной казни... казнить смертью — четвертовать» (575, 128, 131).

Одним из самых известных случаев извета перед казнью стало объявление «Слова и дела» братом Степана Разина Фролом у эшафота в день казни 6 июня 1671 г. Как писал иностранный наблюдатель, Фрол, «придя на место казни, крикнул, что знает он Слово государево — так говорят, когда намереваются открыть тайну, которая может быть объявлена лишь самому царю. Когда спросили, что он имеет сказать, Фролка ответил, что про то никому нельзя сказать, кроме государя. По той причине казнь отложили, и есть слух, будто открыл он место, где брат его, Стенька, зарыл в землю клад». На самом же деле Фрол Разин утверждал, что на предварительном следствии он якобы запомнил о спрятанных в засмоленном кувшине «воровских пись-

мах» Разина на острове посредине Дона, под вербой, «а та верба крива посередке». Выдумка эта помогла оттянуть казнь на пять лет — Фрола Разина казнили лишь весной 1676 г. (306, 115, 125–126). Попытки запутать следователей, избежать казни и, как писали в указах того времени, «продолжить живот свой» (587–10, 7390) с помощью ложного извета известны и пятьдесят, и сто лет спустя после истории Разина. Об одном таком типичном случае мы читаем в делах 1729 г. о некоем Иване Молоствове, который «за многие разбои и смертное убийство и пожеги сужден к смертной казни, а при экзекуции сказал за собою Государево слово по второму пункту, которое он знает пятой год» (29, 49 об.). Пойманный в Москве в 1762 г. дезертир Кондратий Чемарзов, обвиненный в 23 разбоях, объявил за собой «Слово и дело» «по первому пункту» и на допросе показал на чиновников военного суда в говорении «непристойных слов». На пытке же он сознался, что сделал это, чтобы избежать перевода в Сыскной приказ — тогдашнюю московскую уголовную полицию (83, 22 об.).

Донос, подчас надуманный и лживый, благодаря особенностям розыска или физической крепости изветчика, иногда вполне удавался. В 1730 г. приговоренный Савва Фролов донес на своего товарища по несчастью — колодника Пузанова, который якобы говорил, что императора Петра II нужно бить кнутом. Доносчик сумел «довести» свой явно надуманный донос, и в итоге последовал новый приговор о Фролове, который «за онный правой донос, вместо смертной казни, бит кнутом и с вырезанием ноздрей сослан в Сибирь, на Аргунь, в вечную работу» (8–1, 120). В мае 1752 г. в Одоеве работник Анисим Пронин был приведен в воеводскую канцелярию на допрос. Ему грозило наказание за зверское избиение солдатского сына Ефрема Булгакова. Перед лицом воеводы Ивана Языкова он заявил за собой «Великое Ея и.в. слово и дело» и сказал: «Знаю я за собою Государево слово и дело и знаю великую важность за калужскими купцами Иваном Григорьевым Торубаевым, да Михаилом Евсеевым Золотаревым. Во всем том могу я доказать в Канцелярии тайных розыскных дел. Покажу о том словесно, так как грамоте не учен и писать не умею». Оба названных изветчиком купца были людьми состоятельными, и воевода Языков сильно перепугался. Он арестовал Торубаева и Золотарева и дал приказ готовить всех троих к отправке в Москву. Однако на следующий день изветчик Пронин вдруг изменил свои показания: «Кричал я намерении Ея и.в. слово и дело и показал великую важность за калужскими купцами... Торубаевым и... Золотаревым напрасно (т.е. ложно. — Е. А.), себя охраняя — показал все за тем, чтобы от наказания (за избиение Булгакова. — Е. А.) отойти... имел я большую опаску в наказании за то мое озорничество».

И далее Пронин простодушно объяснял, как он с помощью ложного извета думал улизнуть от кнута или тюрьмы: «Ведомо было мне, коли скажу я Государево слово и дело на оных Торубаева и Золотарева, [то] отошлют меня в Калужскую провинциальную канцелярию, а там Иван Григорьевич Торубаев слово за меня замолвит и как господа присутствующие Калужской провинциальной канцелярии весьма к милости [ему] склонны, то меня, по его слову, да и по ходатайству Михаила Евсеевича Золотарева, от всякого истязания освободят. Все то я имел в своем уповании, когда кричал Ея и.в. слово и дело. А как стало теперь мне известно, что пошлют меня не в Калужскую провинциальную канцелярию, а в Московскую контору Тайной розыскальной канцелярии, то винюсь я перед вами и по присяжной своей должности показываю вам, что то Государево слово и дело кричал я напрасно и ни за собою, ни за Иваном Григорьевичем, ни за Михаилом Евсеевичем никакого дела великой важности не знаю». Итак, мы видим, что изветчик рассчитывал на могущество тех, на кого он донес. Он полагал, что влиятельные в Калуге Торубаев и Золотарев, спасая себя от расследования, уговорят «весьма к милости склонных» калужских чиновников замять дело и тем самым вылезут из ямы, выкопанной для них Прониным, и выпашат самого изветчика. Такой изошренный и рискованный выход, как показали последующие события, не был так уж нереален. Дело в том, что после отказа Пронина от доноса воевода Языков решил все-таки послать изветчика вместе с арестованными купцами в Москву. Он написал в Контору Тайной канцелярии соответствующее доношение, но потом вдруг передумал и приказал выпустить купцов на волю, а Пронина наказать плетью и выслать в город Лихвин, откуда тот был родом (377, 323—325). Как мы видим, если не «калужский», то уж «одоевский» вариант Пронина все-таки удался. Как купцы сумели убедить воеводу закрыть дело, так и не дошедшее до Москвы, мы вряд ли узнаем.

Проблема «бездельного извета» не только на следствии, но и вообще в работе политического сыска — тема многих постановлений власти. Уже согласно статьям 12—14 2-й главы Уложения 1649 г. ложных изветчиков (из крепостных) ждало суровое наказание кнутом. Донос во время следствия, как и во время казни, для политического сыска был настоящей проблемой и при Петре I. 22 января 1724 г. Петр I распорядился такому изветчику даже правый донос «в службу не ставить» и судить его «чего [он] достоин». Но в тот же день царь дополнил этот указ другим, более гибким: при расследовании дела преступника-доносчика извет его следовало отложить, «пока тот розыск окончат, а потом следовать его доношению», и таким доносчикам «наказания... отнюдь не чинить прежде решения тех дел» (589-7, 4434, 4435; 193, 405).

В июле 1726 г. Екатерина I подписала указ, согласно которому преступников, кричавших «Слово и дело», надлежало уже в губернских и провинциальных городах подвергать пытке, чтобы наверняка узнать, «не напрасно ль они те слова затеяли, отбывая в своих воровствах пыток и смертной казни». И только тогда, когда с «указанных пыток в тех своих словах (т.е. в извете. — Е. А.) утвердятца, таких, не розыскивая о том более, отсылать в Преображенский приказ или в Тайную канцелярию за крепким караулом» (633-55, 420). Указ 1726 г. был уточнен в 1730 г. В этом указе, как уже сказано выше, шла речь не только о новой трактовке состава государственных преступлений, но и о ложном извете преступников, находившихся в тюрьме и на каторге. В указе подтверждалось, что государственная власть безусловно поощряет доносы «по первым двум пунктам», однако законодатель с укоризной отмечал, что многие преступники «сказывают за собою Наше Слово и дело по вышеписанным первым двум пунктам, и для того из дальних губерний и провинций присылаются к Москве в Сенат, и до подлинного делу окончания, многие чинятся розыски и пытки, где и невинные [по] оговорам их напрасно претерпевают». Авторы указа пытаются если не полностью предотвратить ложные доносы, то хотя бы уменьшить их число. Для этого, во-первых, они установили срок объявления Слова и дела (1—3 дня). Более поздний донос признавали уже недействительным, ложным. Во-вторых, местные власти получали большие, чем раньше, права в расследовании изветов колодников и каторжников, которых больше всего подозревали в ложном «Слове». Таких людей следовало «прежде пытать, не напрасно ли они то затевают, отбывая своего воровства», и если с трех пыток они не подтвердят своих исходных изветных показаний, то их надлежало беспощадно казнить лишь «за тот ложный и затейный донос». Одновременно указ категорически запрещал верить доносам преступников, которые «приговорены будут к смерти и посажены в покаянную или при самой экзекуции станут сказывать Слово и дело» (199, 532—534).

Указом 15 февраля 1733 г. норма указа 1730 г. была подтверждена. Верноподданные поощрялись на доносительство, но при этом их предупреждали, чтобы «имели в том крепкую осторожность» и доносили бы только «самую истинну, не примешивая к тому от себя ничего» (589-9, 6325). На ту же тему появлялись указы в 1751, 1752, 1762-м и других годах (589-13, 9899; 589-14, 10458; 589-15, 11539). Однако, несмотря на многократные предупреждения, ложное доносительство было очень распространено. Да и немудрено: борясь с ложными доносами, государство активно поощряло доносы вообще. Поощрительные указы более многочисленны, чем указы — предупреждения ложных доносов. Сфера доносительства была поистине безгранична. В XVIII в. институт

доносов, как и в XVII в., оставался самым надежным «инструментом» контроля за исполнением законов власти. На награждение за донос могли рассчитывать самые разные доносчики. Они извещали обо всем: о воровстве и разбое (указ 1724 г.), о корчемщиках (указы 1733 и 1754 гг.), об утаенных во время переписи душах мужского пола (указ 1745 г.), о нарушителях монополии на юфть, шетину, соль (указы 1751 и 1752 гг.), о торговцах золотом в неположенных местах (1746 г.), о тайных продавцах ядов (1758 г.), о контрабандистах (указ 1760 г.) и т.д. и т.п. (589-8, 4533; 589-9, 6950; 589-12, 9229; 9304; 589-13, 10010; 589-14, 10298; 589-15, 10851, 11539).

К 1720-м гг., когда государство отчаянно нуждалось в деньгах и поэтому активно поощряло рудознательство, возросло количество доносов, авторы которых ловко отзывались на злобу дня. Перед следователями являлись доносчики, готовые тотчас провести к тем местам, где закопаны клады Александра Македонского и Дария Персидского, сокровища разбойника Кудеяра, где стоят лишь присыпанные землей чаны с золотом и серебром, которые сразу же обогатят пустую казну (324, 956). Если такой «рудозналец» говорил: «Мне явился ангел Божий во сне и, водя мя, показуя мне место», то, как с ним поступать, знали даже канцелярские сторожа — в монастырь, «до исправления ума». Иначе обстояло дело с ворами, которые под пытками или перед казнью, вместо того чтобы покаяться, кричали «Слово и дело», а потом заявляли, что знают, где находятся целые золотые россыпи. Порой они даже предъявляли образцы какой-то породы и говорили, что это и есть найденное ими серебро, столь нужное Отечеству. В этих случаях власти боялись отправить на тот свет человека, от которого зависела финансовая независимость государства. Но случаи с такими проходимицами были так многочисленны, что в 1724 г. Сенат принял особый закон о ворах и разбойниках — ложных рудознатных извечниках. Указ появился на свет после случая, происшедшего в Перми с вором Сергеем Моторыгиным, с характерной кличкой Безрудный. Во время пыток о трех совершенных им разбоях и татбе Безрудный вдруг заявил за собой «Государево слово», а затем на допросе утверждал, что «знает в Тобольском уезде серебряную руду и показал... мелкий камень, из которого ничего не явилось». Далее в указе сказано о массовости такого вида преступлений и уловках преступников: «Ныне таких воров умножилось, что приискав руды прежде, пойдет на разбой в той надежде, что, хотя и поймут, то может тем от смерти избавитца. Другие берут в дом руды для охранения себя или детей своих от салдацкой службы; некоторые ж воры затевают напрасно и сказывают руды в дальних местах, чтоб можно уйтить и время продолжить, из чего происходит в проездах убыток, а в делах помешательство, труд и страх. А с пытки ж оной вор (Мото-

рыгин. — Е. А.) винился, что кусок чугуна из того камня прежде воровства зашил у кафтана и объявил за серебро, хотя тем избавитца от смерти». С тех пор Сенат запретил верить рудознателям, которые объявляли о своих открытиях только тогда, когда их ловили на воровстве или забривали в рекруты, о подлинных же находках руд нужно доносить «заблаговременно, без всякой утайки» в ожидании награды от царя (537-2, 432—434).

Расследование ложного доноса требовало от следователей опыта и особого знания людей. Они должны были понимать возможные побудительные мотивы, двигавшие ложным доносчиком, учитывать различные обстоятельства самого дела. Привлекает внимание оригинальное заочное исследование Сенатом дела по доносу, начатого в Одоеве в 1762 г. В местной воеводской канцелярии содержали несколько колодников: изветчик Соловьев, двое свидетелей и ответчик Василий Ерыгин, который обвинялся изветчиком в произнесении «непристойных слов», причем свидетели (поп и дьячок) подтвердили факт преступления, хотя сам ответчик вины за собой не признавал. Обо всем этом воевода рапортовал в Сенат. Генерал-прокурор А. И. Глебов в ответ распорядился: изветчика и свидетелей выпустить на свободу, а Ерыгина допросить, и если он признает свою вину, то сечь преступника плетьюми и освободить. Если же, отмечалось в указе, Ерыгин «запрется в тех словах и объявит на доносителя или попа или дьячка какую ссору или злобу, то, не учиня ему объявленного наказания, донести о том ему, генерал-прокурору». После того как воевода ответил, что Ерыгин по-прежнему в преступлении своем не винится, но на доносчика Соловьева и свидетелей «никакой ссоры и злобы не имеет», Глебов приказал Ерыгина, не добиваясь от него раскаяния, высечь и отпустить на все четыре стороны. Проследим логику генерал-прокурора: «Несмотря на то, что Ерыгин заперся, он, без сомнения, виноват и слова такие произносил», тогда как изветчик показал правду, ибо «ежели б он, Ерыгин, тех слов не говорил, то оному человеку Соловьеву с товарищи о том на него, Ерыгина, и показывать было не для чего». О причинах «запирательства» Ерыгина в указе сказано вполне определенно: «Он, Ерыгин, в говорении оных слов запирается, отбывая за то себе надлежащее наказание», что вполне естественно (377, 330—331). Задавая ранее воеводе вопрос о том, показывал ли ответчик на доносителя и свидетелей какую ссору или «злобу», Глебов тем самым заочно проверял верность показаний изветчика. Построения генерал-прокурора были весьма логичны и даже изящны. Если сам пострадавший от извета ответчик Ерыгин добровольно утверждает, что между ним и изветчиком Соловьевым, а также свидетелями нет «никакой ссоры или злобы», то значит, что донос на Ерыгина не был ложным. Напротив того, если бы Ерыгин сообщил, что он с доносчиком находится в

ссоре, то здесь уже можно подозревать ложный извет, сделанный Соловьевым «по ссоре или злобе» с каким-то корыстным умыслом на ответчика. Но, поскольку этого не было, Ерыгина надлежит считать виновным по существу дела и даже без признания им преступления примерно наказать.

Только выяснив причины доноса и составив из фактов жесткую логическую цепь, следователи могли с уверенностью сказать об истинности или ложности доноса. В 1727 г. симбирский посадский Алексей Беляев, обвиненный собственной женой и ее братом Чурашовым в богохульстве, был спасен от сожжения заживо только потому, что Синод потребовал от Юстиц-коллегии проверить два, указанных Беляевым в свою защиту обстоятельства. Во-первых, накануне появления доноса он подал в консисторию челобитную на свою жену, уличенную им в измене. Беляев утверждал, что его неверная супруга, спасаясь от несомненного наказания и публичного позора, ложно говорила его. Во-вторых, Беляев был убежден, что брат жены вошел с ней в сговор из-за корысти — он не хотел отдавать ему, Беляеву, давний долг. Только после того, как Юстиц-коллегия навела необходимые справки и факты, указанные Беляевым, подтвердились, ответчик был выпущен на волю, а на Чурашова завели дело как «о лживом доносителе и ... коварственном затейщике». Жену же изменницу наказали. Итог процесса Беляева только по счастливому стечению обстоятельств оказался для него так удачен — ведь на допросах в губернской канцелярии под пытками он признался в чудовищном богохульстве и тем самым подтвердил возведенный на него ложный извет. Лишь через четыре года сидения в тюрьме он вышел на свободу (730, 281). Многие же другие ответчики оказывались в худшем положении — по ложному доносу преступников, завистников, недоброжелателей они попадали в застенки и, не выдержав (как и Беляев) пыток, признавались в преступлениях, которых не совершали, и потом оказывались в ссылке или на эшафоте. Случай Беляева привлек внимание властей жестокостью вынесенного человеку приговора, что требовало убедительных доказательств его вины в богохульстве. Но так было не везде и не всегда. Обычно следователи Тайной канцелярии не занимались исследованием тонкостей ложных доносов и не выявляли подлинные факты. Делалось это по разным причинам. Подобных дел о ложных и правдивых доносах было множество, пытка считалась главным средством достижения истины; никто не издавал по каждому делу (как было в случае с Беляевым) особого указа об особо тщательном расследовании; у ответчика в нужный момент не оказывалось влиятельных или богатых ходатаев, просивших тщательнее изучить дело их подзащитных; сам изветчик мог дать следователям взятку. Наконец, если ответчик, к своему несчастью, оказывался в чем-то другом подозрителен (например, ранее су-

дим и наказан, не ходил на исповедь и т.д.), то его дело никто детально не изучал. В итоге дело рассматривали быстро, небрежно, и затем следовал приговор, подчас несправедливый и поспешный.

Бесспорно изначально ложным изветом считался извет не по «первым двум пунктам». Если донос по бывшему «третьему пункту» о похищении казенного интереса еще принимали к расследованию, то доноскиков по общеуголовным делам, объявлявших о них с помощью «Слова и дела», наказывали сурово, как ложных изветчиков. Приведу один из типичных примеров. В 1753 г. кричал «Слово и дело» матрос корабля «Иоанн Златоуст» Федор Попов, который на допросе в Адмиралтействе утверждал, что «то Слово и дело знает за собою по первому пункту». В Тайной канцелярии, куда его отправили, он признался, что 16 лет до этого он, посадский Тамбова, жил с женой и своим братом Никифором, и как-то раз «застал он, Попов, брата своего Никифора на той жене своей, которой с оною женою ево чинил блуд и, зарезав того брата своего, он, Попов из оного города Тамбова бежал... И того ради, вздумал он, Попов ныне, чтоб ему об той вине принести повинную», поэтому он и решил кричать «Слово и дело», чтобы «та вина его была явна и в том ему без покаяния не умереть». А.И. Шувалов вынес приговор: «Ему, Попову, для оного Слова и дела по первому пункту сказывать за собою не подлежало, ибо то ево показание к Слову и делу, а особливо к первому пункту нимало не касается, а надлежало было ему, Попову, о том объявить просто в Адмиралтейскую коллегию, того ради, за ложное им, Поповым за собою Слово и дело по первому пункту сказанье... учинить наказанье — гонять спиц-рутены по рассмотрению Адмиралтейской коллегии» (70, 5–7).

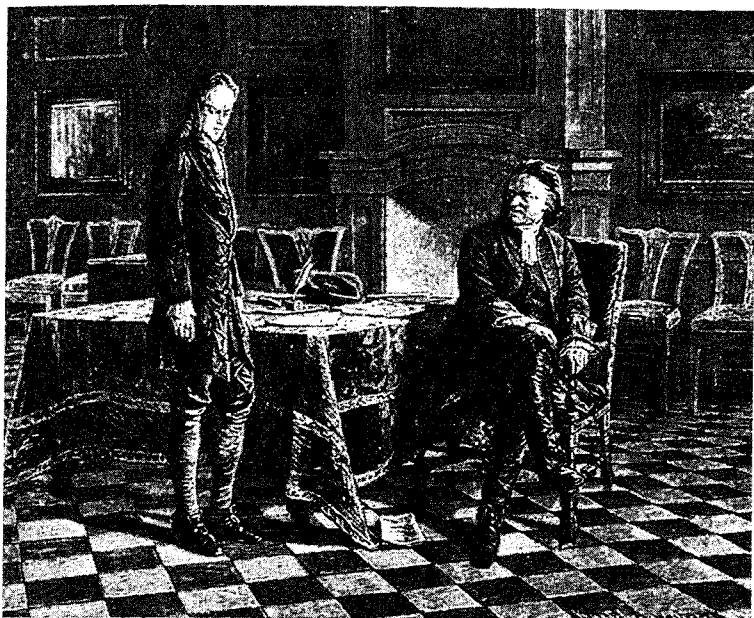
Была еще одна важная (нередко — важнейшая) причина, которая гнала людей доносить друг на друга — это угроза стать самому *неизветчиком*, то есть недоносчиком. Оказаться неизветчиком было страшнее, чем стать ложным изветчиком. Согласно законам неизветчик признавался фактически соучастником государственного преступления. Об этом ясно говорили многие статьи Уложения 1649 г., и прежде всего его статья 19 2-й главы: «А будет кто сведав, или услыша на Царьское величество в каких людех скоп и заговор, или иной какой злой умысл, а Государю и его государевым бояром, и ближним людем, а в городех воеводам, и приказным людем, про то не известит, а Государю про то будет ведомо, что он про такое дело ведал, а не известил, и сыщется про то допряма, и за то казнити смертию безо всякия пощады».

В число первых неизветчиков попадали, как уже отмечалось выше, ближайшие родственники преступника, особенно когда преступление состоя-

ло в побеге за границу. В Уложении об этом сказано: «А будет кто изменит, а после его в Московском государстве останутся отец или мати, или братья родные, или неродные, или дядья, или иной кто его роду, а жил он с ними вместе, и животы, и вотчины у них были вопче — и про такова изменника сыскивати всякими сыски накрепко, отец и мати, и род его про ту измену ведали ли. Да будет сыщется допряма, что они про измену ведали, и их казнити смертию же, и вотчины, и поместья их, и животы взять на государя». Такая же судьба ждала и знавших о побеге жену и детей изменника. Правда, Уложение предусматривало, что если родственники не знали о готовящейся измене, то их освобождали от наказания за соучастие. Однако особенность тогдашнего сыска состояла в том, что этим родственникам предстояло (при отсутствии презумпции невиновности), нередко под пытками, доказать свою непричастность к подготовке и совершению преступления. А это удавалось не каждому.

В Петровскую эпоху проблема неизвета заняла особое место в законодательстве. Признание извета обязательным и материально поощряемым патриотическим поступком верноподданного сопровождалось неперенными угрозами: те, кто «уведав... не известят, а последи чем освидетельствуется, и тем утайщикам за неизветы чинить наказания ж, а пожитков у них и вотчин всяких брать на Его великого государя половину, а через чьи изветы то освидетельствуется, и тем из взятых половин давать четвертая ж доля» (589-4, 2033, 2133). Мы видим, что этим законом была установлена норма поощрения изветчика на неизветчика. К предупреждениям в адрес возможных неизветчиков Петр I обращался не раз: «Кто соседи или посторонние, ведая о таких корчемщиках, а не известят и те, по освидетельствованию, жестоко ж будут наказаны и оштрафованы» (589-5, 2074, 2343). В том же 1711 г. в указе о неизветчиках, знавших о фальшивомонетчиках, было сказано, что «кто за ними такое воровство знаючи, не донесет, а после сыщется, и тем людям учинено будет тож, что и тем воровским денежным мастерам» (589-5, 2430). Обычно фальшивомонетчикам заливали горло расплавленным металлом.

Неизветчику как нарушителю присяги государю уделено внимание и в Артикуле воинском. Нежелание доносить рассматривалось как государственное преступление. Так, артикул 5 обещал наказание неизветчику о богохульстве такое же, как и самому богохульнику. Толкование артикула 19 о покушении на власть, здоровье, свободу и жизнь государя поясняет, что смертной казни достоин каждый, кто «о том (преступлении. — Е. А.) сведом был, а не известил». Артикул 129 угрожает смертью тем, кто узнает или заподозрит кого-либо в готовящейся измене или в сношениях с неприятелем, но не донесет. Важно, что, учитывая обстановку военного времени, возможного из-



Петр I и царевич Алексей

ветчика в этом случае освобождали от обязанности «довести» — доказать извет и назвать свидетелей. Также человек, слышавший или читавший призывы к бунту и возмущению, но не донесший «в надлежащем месте» или своему начальнику, согласно артикулу 136, подвергался наказанию, которого был достоин преступник. Артикул 194 обещал виселицу не только казнокрадам, но и тем, «кои ведая про то, а не известят» (626-4, 331, 351, 352, 363). Извет считался обязанностью не только служащих, но и всех подданных, был их присяжной должностью. В решении Тайной канцелярии за 1732 г. по делу посадского Никиты Артемьева и торговки Татьяны о сказывании «непристойных слов» отмечено, что Артемьев хотя только слышал эти слова, но является преступником, ибо «по присяжной своей должности в тож время, как от помянутой вдовы Татьяны непристойные слова услышать довелось ему было, не разглашая донести, но он, Артемьев, того не учинил и за то ему учинить наказание — бить кнутом и послать в Охоцкий острог» (42-2, 164 об.).

Угрозы неизветчикам не оставались на бумаге. Приговоры сыска были страшны и подводили неизветчика под кнут, к ссылке на каторгу и даже к смертной казни «за то, что он ведал воровской умысл, а не известил» или что

он «знал за тем... (имярек) Государево слово и дело и нигде о том не донес» (623-1, 235, 238; 52, 87). Так было с новгородским распопом Игнатием Ивановым, который по указу Петра I был казнен в 1724 г. за недонесение слышанных им от других «непристойных слов» (8-1, 64 об.). Приговор о другом участнике этого дела, Иване Афанасьеве, гласил: Афанасьев «слыхал... а о том не доносил, учинить смертную казнь и все имение его взять на государя». За недонесение о побеге царевича был приговорен к смерти также и Федор Воронов (752, 191—193). Многие участники дела царевича Алексея — Александр Лопухин, Федор Журавский, Григорий Собакин, Гаврила Афанасьев и другие — были жестоко наказаны за то, что не донесли о намерениях наследника престола бежать за границу. Одиннадцать священнослужителей Суздаля обвинили в недонесении и подвергли суровому наказанию: ведь они часто видели, что бывшая царица Евдокия — старица Елена, сбросив монашескую одежду, ходила в светском одеянии, но об этом не сообщили куда надлежит (8, 14—22). Брата преступника Левина Герасима в 1722 г. били кнутом и сослали в Гиллянь за то, что «он слышал от брата злые слова про Его и.в., да и велел еще конопатьевскому попу Глебу Никитину не доносить» (325-1, 50).

Указы об обязательности извета и наказании неизветчика подтверждались и позже. Упомянутый выше указ Анны Ивановны от 2 февраля 1730 г. гласил: «Кто такая великия дела сам сведает или от кого услышит и доказать бы мог, а нигде не донесет, а потом от кого обличен будет, что он про такое великое дело ведал и доказательство имел, а нигде не донес, а хотя и доносить будет, да поздно, и тем время отпустит, а сыщется про то до время, и тем людям за то чинить смертную казнь без всякия пощады» (199, 532). Как и в петровское время, угрозы законодателя были серьезны. На следствии в Тайной канцелярии довольно быстро выявлялся круг людей, которые знали, но не донесли о сказанных «непристойных словах» или ином государственном преступлении. С тех пор эти люди уже не могли ожидать от властей пощады. Поэтому многие, чтобы не оказаться неизветчиками, были вынуждены идти «где (или куда. — Е. А.) надлежит донести» (подчеркиваю, что это выражение XVIII в.) и сообщать, что за ними есть «Слово и дело государево». Так, в мае 1735 г. знакомый читателю по предыдущим разделам Михалкин, как он потом писал — «отважа себя», подошел к часовому гвардейцу, стоявшему у Зимнего дворца, и объявил «Слово и дело», а затем донес на несколько человек, обсуждавших в тесной компании сплетню о Бироне, который с императрицей Анной «телесно живет». Михалкин пояснил, что он донес из-за опасения, как бы «из вышеписанных людей кто, кроме его, о том не донес» (53, 4).

Угроза упреждающего доноса была вполне реальна, и об этом знали даже дети. Когда 14-летний ученик Кронштадтской гарнизонной школы Филипп Бобышев во время рождественского гулянья 1736 г. с приятелями высказался в том смысле, что принцесса Анна Леопольдовна недурна собой и что ей, наверное, «хочетца», то его товарищи — 14-летний Иван Бекренев и 15-летний Савелий Жбанов — имели между собой, согласно записи в протоколе Тайной канцелярии, следующий разговор. Бекренев «сказал Жбанову: “Слушай, что оной Бобышев говорит!” и означенной Жбанов ему, Ивану говорит: “Я слышу и в том не запрюсь, и буду свидетелем” и [сказал] чтоб он, Иван, о том объявил, а ежели о тех словах не объявит, и о том, он [сам], Жбанов, на него, Ивана, донесет» (63, 1—11 об.). После этого Бекренев и пошел доносить на Бобышева. Посадский Матвей Короткий в 1721 г. поспешил с доносом на своего зятя Петра Раева потому, что о его пьяных «непотребных» словах рассказал ему их батрак Карнаухов, слышавший откровения Раева — своего господина. Короткий испугался, как бы ему не впасть в роковую ошибку и не стать, в случае упреждающего доноса батрака, неизветчиком. Он донес на зятя первым, так как имел «опасение, чтоб не причлось впредь мне в вину» (664, 23, 52).

Особо следует сказать о служавших, давших присягу. Их, как людей поклявшихся на кресте и Евангелии доносить, но не донесших, ждало более суровое наказание, чем обычных подданных. Опасаясь именно этого, В.Н. Татишев сел в 1738 г. за сочинение извета на своего гостя — полковника Давыдова, который позволил себе «острые» застольные разговоры. Перед писанием доноса Татишев рассказал о происшедшем полковнику Змееву. Тот дал Татишеву совет в том смысле, что нужно доносить немедленно, сказал Змеев, «здесь он, Давыдов, врет, а может и в других местах будет что врать, [а] здесь многие ссылочные имеютца и, то услыша, о том как донесут, а Давыдов покажет, что и с тобою о том говорил, то можешь и с того пропасть, и для того надобно тебе писать, куда надлежит немедленно» (64, 64). Этой же причиной объяснял свой донос фельдмаршал Миних, который в 1730 г. сообщил императрице Анне о том, что при вступлении ее на престол адмирал Сиверс публично сказал: «Корона-де Ея высочеству царевне Елизавете принадлежит» (340, 175).

Дело изветчика Павла Михалкина интересно тем, что он, подобно многим другим доносчикам, был законопослушным и богобоязненным человеком и опасался не только упреждающего доноса тех, кто присутствовал при «непристойном» разговоре о Бироне и Анне, но еще и боялся доноса со стороны своего духовного отца-священника. Уже на допросе в Тайной канцелярии Михалкин сказал, что в Великий пост не ходил на исповедь потому,

что «мыслил он, Павел, когда б он был на исповеди, то и об означенных непристойных словах утаить ему не можно и потому в мысль ему пришло: ежели на исповеди о том сказать, [то] чтоб за то ему было [чего] не учинено и от того был он в смущении и никому об оных словах не сказывал», пока, наконец, не решился идти к Зимнему дворцу и донести (53. 3 об. — 4).

Опасения Михалкина были вполне основательны. 1 мая 1722 г. Синод опубликовал указ, в котором священнику предписывалось без колебаний и сомнений нарушать одно из основополагающих христианских таинств — таинство исповеди, если в ней будет замечен состав государственного преступления. В объявлении по этому поводу Синода говорилось, что нарушение тайны исповеди «не есть грех, но полезное, хотящаго быть злодейства пресечение». Если в исповеди духовный сын скажет своему духовному отцу, что хочет совершить преступление, «наипаче же измену или бунт на государя, или на государство, или злое умышление на честь или здоровье государево и на фамилию Его величества», то священник должен донести на него где надлежит, но сделать это должен не публично, а «тайно сказать, что такой-то человек (показав тем чин и имя) имеет злую на государя или на прочее... мысль». Так с этого времени поп выступал в роли доносителя, и его под арестом препровождали в Тайную канцелярию «для надлежащего таких злодеев обличения».

Синод не только предупреждал священников об обязательном доносе под угрозою лишения сана, имущества, а также жизни, как «противника и таковым злодеем согласника, паче же государственных вредов прикрывателя», но и требовал от попов принести присягу специальной формы, более похожую на клятву тайного сотрудника политического сыска: «Когда же к службе и пользе Его и.в. какое тайное дело или какие б оное не было, которое приказано мне будет тайно содержать, то содержать в совершенной тайне и никому не объявлять, кому о том ведать не надлежит и не будет повелено объявлять» (589-6, 4012). Указ этот лишь узаконил практику надругательства над тайной исповеди во имя государственной безопасности. Когда это началось, точно установить трудно. Исповедуя стрельца Ганку Гагару во время Стрелецкого розыска 1698 г., священник Иван Григорьев узнал, что за его духовным сыном есть «Государево слово». Он тотчас сообщил об этом куда надлежит, и вскоре Гагара предстал перед князем Ромодановским (163, 102–103). В 1708 г. допрашивали Василия Кочубея о том, «что попу Ивану Святайло он, Кочубей, яко отцу своему духовному, во всем ли объявлял, что он на гетмана (Мазепу. — Е. А.) в измене затеял ложь доносить?». Затем об этом же допросили и попа Святайло: «И того ж числа против распросу Василья

Кочубея поп Иван Святайло спрашиван, а в распросе сказал, что... говорил ему он, Кочубей, на исповеди в Великий пост... что он жалеет, что на такой своей старости в такое трудное дело вступил и на гетмана то затеял». Показания попа использовали при обвинении Кочубея, а Святайло за недонос сослали на Соловки (357, 132–134).

После издания закона 1722 г. православный священник оказывался в тяжелейшем положении. Донести на духовного сына для него было равносильно нарушению закона веры, не донести значило преступить не менее страшный закон земного владыки. Словом, вечная дилемма русского человека: либо Родину продать, либо душу. На духовного сына положиться также было нельзя: ведь он мог, подчас под пытками, сказать, что о его преступлении из исповеди знает священник. Такому священнику угрожало жестокое наказание, как и было в 1718 г. с духовным отцом упомянутого выше подьячего Докукина московским попом Авраамом. За недонос на Докукина попу объявили смертную казнь, которую заменили наказанием кнутом, урезанием языка, вырыванием ноздрей и ссылкой на каторгу в вечную работу. Оказалось, что на следствии с помощью страшных пыток у Докукина вырвали признание в том, что накануне преступления он был на исповеди у отца духовного и рассказал ему о своем желании подать лично Петру протест против порядка престолонаследия. Авраама казнили за то, что ему «надлежало было... о том донести же где надлежит, а он о том не донес и тем своим злоумышленным делом весь[ма] оного поощрил» (8-1, 16 об.).

В подобной же ситуации в 1738 г. оказался и священник Федор Кузнецов. На допросе в Тайной канцелярии И.А. Долгорукий сказал, что, живя в ссылке в Березове, он исповедовался у местного священника Кузнецова и признался ему на исповеди, что в 1730 г., незадолго до смерти Петра II, он составил и подписал за умирающего императора завещание, на что священник, отпуская грех, сказал: «Бог-де тебя простит!» (719, 168). После признаний Долгорукого попа немедленно допросили, действительно ли Долгорукий ему говорил о фальшивом завещании, и, убедившись в этом, сурово наказали. Страшной стороной разглашения исповеди было то, что священник становился извечником, но без свидетелей. Поэтому на следствии его могли обвинить во лжи и в оговоре своего духовного сына. В 1725 г. генерал Михаил Матюшкин рапортовал из Астрахани в Петербург, что Покровской церкви поп Матвей Харитонов сообщил ему, что «был у него на духу солдат и назывался царевичем Алексеем Петровичем». Поп прогнал самозванца и дал знать о нем властям. Когда «Алексея Петровича», который оказался извозчиком Евстифеем Артемьевым, схватили, то он показал, что называться царевичем Алексеем его «научал»... сам поп Матвей, которого тотчас же аре-

ставали и заковали в колодки. И лишь на последующих пытках самозванец «сговорил», т.е. снял, с попа обвинения. После этого Артемьева увезли в Москву в Преображенский приказ, попа же по-прежнему держали под караулом. Так продолжалось целый год. Астраханский епископ Лаврентий, которому жаловались родственники попа-колодника, писал летом 1725 г. в Синод, что попа Матвея нужно, «яко оправданного освободить, понеже и впредь кто будет объявлять на исповеди священникам какие царственные дела, то священник, опасаясь такой же беды и долговременного за арестом содержания, о намеренной злобе доносить бояться будет». Матвея привезли в Москву, а потом отправили в Петербург, в Синод, но совсем не за наградой, а с указом: «обнажить священничество», т.к. он обвинен «в важном Ея и.в. деле». Иначе говоря, подозрения с законопослушного попа так и не сняли (598, 9—12; 730, 282—283).

Впрочем, не будем особенно горевать над судьбой всех без разбору русских священников того времени. Среди них было немало людей, готовых доносить на кого бы то ни было. При этом они, защищенные рясой от тяжелых наказаний, не боялись злоупотреблять своим духовным чином. 2 ноября 1733 г. был издан указ, в котором говорилось, что многие священники и монахи ведут безнравственную жизнь и «к тому же многие с дерзости сказывают за собою Наше дело или слово, не ведая того за собою и ни за кем и за то чинятся им означенные легкие наказания». Теперь нарушителей указа ждали кнут и ссылка в Сибирь, правда, без обычного в таких случаях урезания ноздрей (589-9, 6506).

Можно понять глубокую задумчивость и сомнения изветчика, собирающегося донести на какого-то человека. Ведь не знал он наверняка, сможет ли «доставить» свой извет, не подведут ли его свидетели, сумеет ли он сам выдержать очные ставки и пытки. Вдвойне возрастали сомнения изветчика, когда заходила речь о доносе на влиятельного, «сильного» человека. Изветы на «вышних», высокопоставленных лиц были всегда чрезвычайно опасны для изветчика. Все попытки донести на злоупотребления князя Ромодановского (а он был в Москве настоящим царьком) приводили только к наказанию доносчиков, причем без всякого расследования их изветов. Опасно было вставать и поперек пути такого отъявленного вора, каким был А.Д. Меншиков. Даже когда полковник А.А. Мякинин, только что назначенный царем генерал-фискалом, сумел уличить Меншикова в утайке в течение 20 лет налогов с одной из своих крупных вотчин, светлейший нашел-таки способ расправиться с генерал-фискалом. Мякинина отдали под военный суд и приговорили к расстрелу, замененному ссылкой в Сибирь (см. 118, 92—93). В 1717 г. колодник Яков Орлов донес, что во время сидения в Пре-

ображенском приказе под караулом «присмотрил» он «за преображенскими судиями и за подьячими в царственных великих и в иных делах многие неправды, и в тех царственных делах ответчикам поноровки, а имянно за самим судьбою... Ромодановским знаю измену немалую, и ответчикам поноровки, и таким поноровка, и освобождены ис под караулу». Извет был послан в Тайную канцелярию, Орлова допросили, он уточнил свой донос. Но после этого заявления никакого расследования по делу о злоупотреблениях в Преображенском приказе практически не велось, хотя некоторые факты, приведенные Орловым следствию, можно было проверить. Так, Орлов сообщал об извете в 1718 г. десяти узников, донесших о взятках и злоупотреблениях Ф.Ю. Ромодановского и его приказных. Дело это расследовал А.И. Ушаков. Он пришел к выводу, что «приказной неисправы и взятков не явилось, о чем по имянному Его и.в. указу 718 году марта 18 дня за подписанием князя... Ромодановского им, ворам, верить в том не велено». Иначе говоря, в 1720 г. донос Орлова расследовал в Тайной канцелярии Толстой, заместителем которого был тот же самый Ушаков. А ворон ворону, как известно, глаз не выклюет, если нет, естественно, каких-то особых причин. При этом заметим, что с названными доносчиками расправились жестоко: пятерых из них казнили, а трое умерли под пытками. Выводы Тайной канцелярии были основаны исключительно на присланном самим Ромодановским экстракте об упомянутых Орловым делах. В заключении Толстого сказано: «И измены Ромодановского и дьячей, и подьяческой неправды, и ответчиком поноровки по присланным выпискам не явилось». Орлова приговорили к ссылке на каторгу (19, 4 об., 53 об., 59). В 1719 г. бывший фискал Ефим Санин донес «о минувших вершенных важных делах, якобы оные не следованы и уничтожены, будто других поноровкою, он же показал хищников интересу и преступников укрывает... генерал Бутурлин, генерал-мазоры Ушаков, Дмитриев-Мамонов». Как и в других случаях, показания изветчика не проверяли и приговорили его к смертной казни (9-3, 107).

Всем известно, чем кончилась история Кочубея и Искры, донесших Петру I в 1708 г. об измене Мазепы. Мог бы стать доносчиком на гетмана и генеральный писарь Орлик, который знал все тайные планы и «пересылки» Мазепы со шведами. Но гетман не раз предупреждал генерального писаря: «Смотри, Орлик, будь мне верен: сам ведаешь, в какой нахожусь я милости. Не променяют меня на тебя. Ты убог, я богат, а Москва гроши любит. Мне ничего не будет, а ты погибнешь!» И Орлик, у которого, как пишет Н.И. Костомаров, «шевелилось искушение» сделать донос на гетмана, все-таки удержался от этого. «Устрашила меня, — говорил он, — страшная, нигде на свете не бывалая суровость великороссийских порядков, где многие невинные

могут погибать и где доносчику дается первый кнут; у меня же в руках не было и письменных доводов» (412, 605).

Любопытно, что когда 17 сентября 1707 г. в Преображенский приказ явился иеромонах Никанор, которого Кочубей послал в Москву с доносом на Мазепу, то Ромодановский, обычно ревниво относившийся к попыткам других приказов и воевод заниматься политическими делами, вдруг передумал — он послал Никанора в Монастырский приказ к И.А. Мусину-Пушкину, формально ведавшему церковниками и монахами. Однако Мусин-Пушкин был умен и тоже не хотел вставать поперек дороги могущественному Мазепе. Он переправил извetchика с его делом в Боярскую комиссию, заседавшую в Ближней канцелярии — тогда высшее правительственное учреждение. Вскоре Ромодановский оттуда получил указ: «Бояре, слушав (допрос Никанора. — Е. А.) приговорили его, монаха, и распросные речи отослать к тебе... в Преображенский приказ» (357, 61). Пришлось по доносу Кочубея начинать сыск.

В 1725 г. архимандрит Чудовского монастыря Феофил, объясняя в своей челобитной, почему он ранее не донес на попавшего в опалу архиепископа Феодосия в говорении «непристойных слов» о Петре I и царствующей императрице Екатерине I, писал, что «доносительным способом... того не объявлял», т.к. Феодосий был человеком влиятельнейшим при дворе (что само по себе делало положение возможного извetchика опасным). Феодосий казался деятелем, заботящимся о благе страны, и поэтому позволял себе критические высказывания по разному поводу. Кроме того, эти речи Феодосия нельзя было трактовать просто как враждебные. Они были «обоюдныя, сумнительный толк имеющия и якобы похвальные с досадительными смешанныя». Их можно было понимать двояко и не всегда однозначно как «непристойные» (572, 171—173).

Петр Еропкин — конфидент Волынского — в ответ на вопрос следователей, почему он не донес о преступных высказываниях кабинет-министра, отвечал, что доносить на Волынского боялся. Он, зная о влиянии этого «человека знатного», опасался, что ему не поверят (6, 260б.). Один из свидетелей по делу Грузинова в 1800 г., казак Зиновий Касмынин, объяснял свое недоносительство о «непристойных словах» Грузинова: «И все вышесказанные слова, хотя и считал важными, но замолчал, нигде об них по команде не доносил, а того ж дня... увидясь... с сродственником его, есаулом Рубашкиным, пересказывал только ему одному, но он мне говорил, чтоб я о том молчал и никому не говорил, ибо-де он, Грузинов, от того может опосля отпереться, а вы-де сопреее в тюрьме» (374, 252). Из этих и многих других дел следует, что влиятельные сановники могли высказывать суждения, за которые человек

простой давно бы уже добывал серебро в Нерчинске. Однако при самодержавии такие вольности позволялись только до тех пор, пока на этого сановника не обрушивался государев гнев или он не попадал под высочайшее подозрение. А тогда уже даже самые невинные его слова могли быть истолкованы как оскорбление чести государя, как государственное преступление. И этому есть немало свидетельств.

Судя по многим делам, к середине XVIII в. доносителство было так распространено, что власти были обеспокоены масштабами доносителства, затруднявшими порой работу политического сыска из-за обилия «бездельных» доносов. Поэтому в проекте Уложения того времени были выделены две главы, специально посвященные доносам. В 3-й главе «О доносителях и кому по какому делу доносить можно» сказано, что «должность всякаго чина и состояния подданного» того требует, чтобы доносить, «однакож до таких доносов не допускаются...» — и далее следует перечень людей, которым доносы запрещены. Он, свидетельствуя о масштабах и глубине социального и морального зла, которое в виде доносителства поразило все русское общество, включает детей, доносящих на своих родителей, мужей, показывавших на своих жен, а также жен, писавших доносы на своих мужей, крестьян и других людей, сообщивших «на тех, у кого они служат или за кем живут...». Впрочем, далее законодатель «заходит себе в хвост», выделяя обстоятельство, при котором такое доносителство возможно: «...кроме важнейших по первым двум пунктам дел и то с явным и крепким свидетельством» (596, 5).

Следовательно, всем перечисленным «нежелательным» изветчикам доносить все-таки было можно, нужно и должно. В проекте Уложения вновь повторялся и известный, многократно подтверждаемый в первой половине XVIII в. принцип о недоверии к доносам приговоренных к смерти преступников. «Все же прочие в государстве, коим доносить не запрещено, — вновь подтверждает законодатель генеральную правовую норму, фактически уничтожавшую все ограничения в доносах, — должны о всяких злодействах, как скоро о том уведают, не упуская времени, в пристойном месте доносить дабы, за нескорым их доносом, после в следствии остановки не было, а виноватые, между тем, побегу не учинили» (596, 7).

В сравнении с прошлым в проекте резко усилено требование к доказательности доноса. Самое важное — отныне признание на пытке не считается доказательством преступления, а требуются другие, более весомые улики. Подтверждается также и суровое отношение государства к ложным доносчикам, особенно к тем, кто сидит в тюрьмах или приговорен к наказанию за другие преступления. Нет доверия и крепостным крестьянам, ко-

которые доносят на своих помещиков. Но тут же следует оговорка: «Разве такие доносы последуют от них (крепостных. — *Е. А.*) на других кого, кроме тех их помещиков». Более того, любой доносчик ничем не рисковал, если при расследовании выяснялось, что доказательства «злодейства» он сам добыть не может, а это по силам только судье, вооруженному всею мощью государственной власти (602, 6—7, 86—87). Так, проект Уложения не изменял сути поощрительного отношения к доносу и доносчикам. С этим правовым багажом Россия вошла в Екатерининскую эпоху.

После указа 1762 г. понятие «Слово и дело» исчезло из оборота, но не исчез сам донос, извет. Вместо кричания «Слова и дела» появилась новая форма официального извета — *д о н о ш е н и е*. Этот документ ничем не отличался от прежнего письменного доноса. Все, в сущности, осталось по-прежнему: заявление доносчика, знаменитые «первые пункты» обвинения, арест, допросы и т.д. Екатерина II и ее чиновники получали доносы, ими пользовались и даже их инспирировали, что было, например, в деле камер-юнкера Хитрово в 1763 г. (154-2, 258). Сохранилась и старая законодательная норма о срочности извета. В 1764 г. Григорий Теплов по поручению императрицы упрекал казначея Иллариона в том, что тот вовремя не донес на архимандрита Геннадия — сторонника Мациевича. Стиль и содержание увещевания Тепловым Иллариона говорит о сохранении института доносительства фактически в неизменном виде и после формальной отмены «Слова и дела». Теплов требовал, чтобы Илларион объяснил, почему он не подал извет вовремя: «Вы, в столь важном деле через семь недель и 6 дней промолчали, о котором вам бы надлежало того же часа донести». При этом он добивается объяснений: «Чтоб вы чистосердечно открыли, какие то именно причины были, которые вас от столь должного доноса, яко времени не терпящего, так долговременно удержали» (633-7, 397).

Выше уже было много сказано о том, как возник и действовал механизм доносительства, какое место занимал извет в системе права. Извет не был просто понятием тогдашнего права, а доносчик (изветчик) — юридической «стороной», своеобразным истцом в политическом процессе. Поэтому рассмотрим не юридический, а социально-психологический аспект доносительства. Оно являлось частью обыденной жизни людей и выходило далеко за границы тогдашнего права. Первый вопрос — кто доносил? Отвечая на него, полностью разделяю вывод, сделанный в 1861 г. П.К. Щербальским: «Страсть или привычка к доносам есть одна из самых выдающихся сторон характера наших предков» (804, 438). Нужно согласиться и с Адамом Олеарием, который

писал в XVII в., что среди русских примеры доносов бесчисленны (526, 183). Тот массовый материал, с которым мы знакомимся по фондам учреждений политического сыска XVIII в., позволяет прийти к выводу, что изветчиками были люди самых различных социальных групп и классов, возрастов, национальностей, вероисповедания, с разным уровнем образованности, от высокопоставленного сановника до последнего нищего. Доносчики были всюду: в каждой роте, экипаже, конторе, доме, застолье. Доносчик старался быть памятливым и внимательным, проявляя нередко склонности завзятого сыщика. Так, один из колодников, собиравших милостыню в 1734 г. у архиерейского двора в Суздале, заглянул даже на помойку, чтобы донести: «Из архиерейских келей бросают кости говяжьи, никак он, архиерей (в пост. — Е. А.) мясо ест» (44-10, 160).

Впрочем, так было и во многих других странах. На массовых доносах строилась работа инквизиции Западной Европы. Средневековая Венеция имела необыкновенно развитую систему политического сыска и была настоящей страной доносчиков. Об этом хорошо сказано в мемуарах Д. Казановы и в других источниках. Во Дворце дождей на лестнице сохранился знаменитый «Зев льва» — окошечко в стене, сунув голову в которое любой анонимный венецианец мог безбоязненно «сообщить» сидевшему в другой комнате инквизитору на своих сограждан. Во Флоренции, в монастыре Савонаролы Сан-Марко, под окном кельи настоятеля мы можем видеть узкое отверстие, в которое изветчик незаметно совал свернутый в трубочку донос на брата во Христе. Зная сотни подобных фактов из истории человечества, невольно приходишь к выводу, что донос — не национальная, но общечеловеческая черта, что это естественная черта, особенность социальной природы человека. Более того, эта проблема актуальна до сих пор и в демократических обществах, ибо грань между гнусным по своей моральной сути доносом и исполнением сознательным гражданином своего долга весьма тонка или почти неуловима. Но все-таки доносительство особенно расцветает там, где существует режим всеобщей несвободы, который развивает и поощряет политический донос и укрепляет сам политический сыск как механизм борьбы с инакомыслием.

Образ изветчика в русской истории — это образ народа, точнее — огромной массы государевых холопов — так называли себя подданные русских самодержцев. Именно в существовании различных форм государственного рабства, всеобщей и поголовной зависимости людей от государства и заключалась причина массового доносительства в России. Екатерина II, известная патриотка, много раз писавшая о несравненных достоинствах русского народа, видела прямую связь между системой деспотической власти и доно-

сительством: «Между государями русскими было много тиранов. Народ от природы беспокоен, неблагодарен и полон доносчиков и людей, которые под предлогом усердия ищут лишь как бы воспользоваться и обратить себе на пользу все им подходящее» (633-42, 456). Конечно, люди бывают разные, и в этой книге рассказано о тех достойных подданных, кто сопротивлялся страшно-му давлению поощрявшей доносы власти. Среди таких людей были старообрядцы. Вообще, они оказались самыми серьезными противниками политического сыска. Старообрядцы реально не угрожали царской власти. Неизвестно ни одного случая, чтобы старцы задумывали покушения на жизнь ненавистных царей и иерархов церкви, а отчаянные одиночки их бы совершали. Сопротивление старообрядцев почти всегда было пассивным, и гари — самосожжения — стали его самым страшным символом. Искали старообрядцы спасения и в бегстве, желая уйти подальше в леса от власти государства и церкви. Если сделать это оказывалось невозможно, то старообрядцы были готовы платить налоги, большие, чем у простых прихожан. Они подкупали чиновников деньгами и подарками, пускались на всевозможные ухищрения, чтобы сохранить свою самостоятельность, что в условиях полицейского государства давалось нелегко.

В отличие от многих других социальных групп русского общества старообрядцы были сильны своей сплоченностью, умением поддерживать друг друга в тюрьме, в застенке, на каторге и на эшафоте. Недаром каторжников-старообрядцев не ссылали в Сибирь, где они чувствовали себя как рыба в воде (587-7, 4, 94). Среди них почти не было доносчиков, хотя доносительство в те времена было повальным. Их предавали чаще всего случайные люди, попавшие в общежительство, или изгои. Старообрядцы многим могли поступиться, но оставались стойки и непримиримы в обличении власти, в защите своей веры, а следовательно, в своей духовной независимости.

Конечно, люди остаются людьми во все времена, и старообрядцы, попавшие в застенки, нередко не выдерживали мучений «заплетных мастеров» в кожаных фартуках и моральных истязаний церковных инквизиторов. Они порой отрекались от своих взглядов и веры, но все же наблюдения, навеянные материалами сыска о раскольниках, убеждают, что в руки палачей попадали не пьяные болтуны, безумцы, слепые фанатики, а серьезные идейные противники режима и церкви, вера которых была подлинным оплотом их духовной свободы. Это была особая человеческая порода, из нее было трудно вить веревки. Муки в застенке старообрядцы воспринимали как посланную от Бога муку, как испытание их веры и праведности, как Христов путь спасения через страдания. Вообще, идея страдания, мученичества во имя Бога была одной из главных идей старообрядчества в его сопротив-

лении государству и официальной церкви. Кроме того, почти всеми старообрядцами, попавшими в застенки, владел проповеднический дух обличения наступившего, по их мнению, царства Антихриста, стремление открыть людям глаза, указать путь к спасению.

Рассмотрим же основные *группы и виды доносчиков*. Выше сказано об одной из самых значительных групп доносчиков — о преступниках, которые с помощью извета пытались облегчить свое положение, спасти жизнь, попросту потянуть время. Эта группа традиционных доносчиков социально очень расплывчата и была вызвана к жизни принятым в государстве отношением к доносам и доносителям. Крепостные, доносящие на своих господ, — вторая после преступников значительная группа доносчиков. «Доведенный» извет, согласно букве закона, позволял получить «вольную», выйти на свободу. К этой цели крепостные стремились разными путями, в том числе и через донос, нередко надуманный, ложный. Потом, после пыток и долгого сидения в тюрьме, крепостные в огромном своем большинстве, повторяли одно и то же: «За своим господином никаких преступлений не знаю, а Слово и дело кричал, отбывая от того (имярек. — Е. А.)... холопства (или крепости. — Е. А.)» (59, 1). Некоторые же крепостные тщательно готовились к доносу, заранее подговаривали свидетелей, но, попав в сыск, не предполагали, что там их уловки оболгать господина так легко разоблачат, а пытки сломают волю и заставят признаться в ложном доносе.

В итоге мы сталкиваемся с массой изветов крепостных, по сути своей ложных, не подготовленных заранее. Часто это акты отчаяния замученных хозяином рабов. В 1702 г. крестьянин помещика Квашнина признался, что кричал «Слово и дело», но «за помещиком своим иного государева дела, что он, помещик, ево, Василья, бивал плетьюми и кнутом, и морил голодом, никакова не ведает» (212, 23). Попав в подобную же ситуацию в 1733 г., крестьянин Степанов признался о своем доносе на госпожу: «Вышепоказанные непристойные слова... говорил он, желая тем повредить помещицу свою, что-де, она к людям была недобра» (42-5, 75). Тогда же кричал «Слово и дело» другой крестьянин, которого помещик «смертно бил дубиной» (44-2, 77). В том же 1733 г. крепостной помещика Никиты Лопухина Алексей Полуехтов кричал «Слово и дело». На допросе он показал, «что вышеписанный помещик ево, Лопухин, призвав ево, Полуехтова, перед себя, признавая его, Полуехтова, якобы он пьян, бил ево плетьюми немилостиво и во время тех побои Ея и.в. слово и дело за собою он, Полуехтов, сказывал... нестерпя побои, и что оной ево помещик, как к нему, Полуехтову, так и к протчим людям своим, весьма немилостив и бьет безвинно, и от нестерпимых от онаго помещика по-

бой жить им при нем невозможно, а Ея и.в. слова и дела за ним, Полуехтовым, нет и за другими ни за кем не знает» (42-5, 185). За ложный донос крепостного обычно били кнутом и возвращали помещику под расписку. Что его ждало у жестокого хозяина, нетрудно предположить. Впрочем, власти понимали, что после ложного доноса на своего господина такому крепостному, может быть, и не жить на свете. Упомянутого выше доносчика крестьянина Степана Иванова сослали в Охотск не только потому, что донос его оказался ложным, но и потому, что Иванова, по мнению Тайной канцелярии, возвращать помещику Давыдову не следует, ибо тот «будет иметь на него Степана, злость» (42-5, 179). О дворовом человеке Андрее Урядове — доносчике на Мартына Скавронского в приговоре 1735 г. сказано, что «в дом к помянутому Скавронскому за вышеобъявленным некоторым правым его на того Скавронского показанием отдать неможно» (504, 114). Поступая так, в сыске исходили из нормы указа 1726 г. «о правах доносителя» — крестьянах, которые донос на своих господ доказали, а назад «к тем помещикам, на кого они донесли, во услужении быть не желают, а желают от прежних помещиков быть свободны». Указ предлагал выбор доказавшему свой извет доносчику-крестьянину: «Приискать другого помещика» или пойти в солдаты (589-7, 4963).

В изветах крепостных на своих господ можно увидеть и месть жестокому или несправедливому хозяину. В 1739 г. Трофим Федоров — дворовый помещицы Аграфены Барятинской — подошел «оной помещицы своей к окошку (которое было закрыто ставнем) и слушал, что оная помещица его не говорит ли чего про него, Федорова, и в то время оная помещица ево, взяв на руки от вдовы Борисовой малолетнюю свою дочь Авдотью, говорила ей: “Ты, матушка моя, лучше Всемилостивой государыни, она многогрешна и живет с Бевернским”, а при тех словах в той спальне других никого не было, а означенную вдову послала она на кухню». Потом выяснилась истинная причина извета (кстати, по самому серьезному — «первому пункту»): Федоров «блудно жил» с дворовой девкой Натальей, которую помещица выдала замуж за другого дворового, а недовольного решением госпожи Федорова посадила в холодную, а потом продала канцеляристу Головачеву. Федоров к другому хозяину идти не хотел и, по-видимому, шантажировал хозяйку и нового своего хозяина Головачева подслушанным им разговором, обещал донести о сказанных помещицей «непристойных словах» в Москве. Попав в трудное положение, Барятинская и Головачев заперлись в спальне Барятинской и обсуждали происшедшее. Опытный в подслушивании Федоров вновь припал к скважине и разобрал, как Головачев сказал его хозяйке: «Ты этих слов не опасайся, Всемилостивейшая-де государыня изволит жить с Бевернским и посылает ево в Курляндию вместо себя и тут ничего не опасаетца,

а ты-де, опасайся холопа своего, а при тех их словах других никого, кроме ево, Федорова, не было». После этого Федоров смело донес на свою госпожу (44-2, 151 об. — 152).

Совет Головачева «Опасайся холопа своего» был своевременным предупреждением для многих помещиков, которые относились к крепостным как к живому имуществу и, не стесняясь «хамов» и «хамок», выражали свои чувства. Между тем многие холопы, мечтая о свободе, настойчиво искали пути для освобождения. Дворовый человек стольника Михаила Пашкова Лев Микулин слышал в 1700 г., как его господин бранил Петра I «непристойными словами», а его гость Порфирий Тютчев якобы сказал Пашкову: «Где ныне Государь? он, Государь, ездит блядовать и колдовать, да нас разорять» (89, 517 об.). Микулин тотчас об этом донес куда надлежит. В 1721 г. дворовый Аким Иванов сообщил туда же на своего господина Тимофея Скобелева, пившего и буянившего без меры. На упреки своей сварливой супруги Скобелев при Иванове якобы сказал: «Что ты мне указываешь? Ведь так сам государь, Петр Алексеевич делает!» Донос Иванова подтвердился, и по приговору 1722 г. Скобелева за его преступление было велено «бить батоги нещадно», а «доносителю Акиму Иванову, за его извет дать паспорт, в котором написать, что ему, Акиму, с женой и с детьми от Скобелева быть свободну и жить где похочет» (664, 5л). Так крепостной стал свободным человеком.

Можно утверждать, что большинство дел дворян, обвиненных в государственных преступлениях (особенно в сказывании «непристойных слов»), имеют своими источниками именно донос крепостного, причем этот крепостной руководствовался не только желанием получить свободу, что вполне естественно для человека, но и довольно низменными мотивами: стремлением любым путем навредить своему барину, желанием запугать его. Так, донос дворового лакея стал причиной больших несчастий княгини А.П. Волконской, принадлежавшей к верхушке русского общества. В 1727 г. за участие в деле Толстого — Девьера А.Д. Меншиков сослал ее в подмосковную деревню Дедово, откуда она тайно выезжала в Москву и другие места для встречи со своими друзьями. Княгине прислуживала крепостная — горничная Домна, которая во время ареста и обыска в петербургском доме госпожи незаметно подобрала отброшенное Волконской под стол письмо. Вернув после обыска это важное письмо хозяйке, Домна вдруг стала проситься на волю. Волконская же боялась, что горничная где-нибудь проболтается о своей находке, и, приехав в Дедово, поспешила выдать Домну замуж за своего верного человека — кучера, который тайно, вопреки указу о ссылке, и вывозил барыню из Дедова. Этого кучера люто ненавидел лакей — брат Домны, знавший о письме и других проделках барыни. Брат Домны отправился

в Москву и донес на Волконскую. В итоге княгиню сослали в монастырь, а извещикам выдали «вольные письма» (800, 955—958).

Каждое слово господина, где бы оно ни было сказано — в поле, в нужнике, за обедом, в постели с женой, слышали, запоминали (иногда даже записывали) дворовые. В 1720-е гг. повар сосланных в Пустозерск князей Шербатовых подслушал разговор князя Семена с женой о том, что их освободят, только если Петр I умрет. Повар тотчас побежал в караулку и донес, что господин «смерти желает Великому государю» (804, 445—446). Крепостной Василий Данилов в 1729 г. донес на свою хозяйку — княгиню Анну Долгорукую, которая, по его словам, «будучи в доме своем княгине Федосье княж Володимировой дочери Голицыной говорила наедине» о привороте императрицы Екатерины I и что «княжна Голицына на те слова говорила тихо, а что — не прислышал, да и после тех слов спустя дни с три или с четыре оные ж княгиня Долгорукая и Голицына, сидя на крыльце, имели разговор, а он-де прислышал из светлицы в окно, что княгиня Анна княгине Федосье говорила же: “Вот что с тобою говорили про лекарство” и, вынув из бумашки корень красной, показала княгине Федосье» (8-1, 361 об.—362).

Архимандрит Питирим в 1731 г. сообщил в сыскное ведомство, что во время свидания Казанского епископа Сильвестра с сосланным в дальний монастырь Игнатием Смолой ссыльный, «нагнувшись мало к Сильвестру, говорил тайно: “Вот-де лишили меня архиерейского сана напрасно. И ей ли... (имеется в виду императрица Анна. — Е. А.) архиерея судить!”». Тотчас по этому доносу начался розыск (775, 344). В 1733 г. дворовый подслушал и донес на своего помещика, который, «будучи... в спальне своей, лежа на печи, без всяких разговоров жене своей Палагее Афонасьевой дочери говорил: “Я-де, смарширую!”», а она же ево тому мужу своему молвила: “А я-де, по девятому валу спущу и нам Государыня ничего не зделает”, а для чего оныя помещик и помещица оныя слова говорили, того он не знает» (44-16, 244).

Материалы о доносах рисуют подчас весьма выразительную картину того, как «рождается» донос. Вот господин-помещик обедает в своей столовой. Вокруг него стоят прислуживающие ему холопы. Помещик что-то говорит родным, гостям, дворовым и вдруг произносит по тем временам нечто «непристойное». Дворовый — лакей, который стоит за спиной господина и все это слышит, — не только примечает сказанное барином, но потом записывает эти «непристойные слова» на четвертушке бумаги «для памяти». Когда же его хватают за какое-нибудь преступление, он кричит «Слово и дело» и объявляет, что знает за своим господином «непристойные слова». Так, в частности, началось в 1735 г. дело по доносу крепостного Урядова на его помещика графа Скавронского. Но Урядов просчитался — записку о словах

барина он случайно положил не в свой, а в чужой лакейский кафтан, и она пропала. За свою рассеянность он сильно пострадал, т.к. на допросе он не смог в точности, как требовали от него следователи, воспроизвести сказанное барином на обеде. Любопытно, что записка с «непристойным» была приготовлена им на всякий случай, впрок и сразу доносить на помещика он не собирался, говоря потом, что «не донес с простоты своей». Однако чтобы записать «для памяти» крамольные слова господина, хитрости ему хватило (504, 108–114).

В 1760 г. по доносу дворового Сергея Алексеева были арестованы его господа — помещики Карачевского уезда Тинковы. В записи показания Алексеева в Тайной канцелярии мы читаем: «В прошлом 759-м году по лету (а в каком месяце и числе не упомнит, только в то время как получено известие и реляция от генерал-фельдмаршала Апраксина о бывшей между российских и прусских войск баталии), означенный помещик ево, будучи в доме своем, в помянутом селе Тинкове, з женою своею... сидя в светлице, ужинали и, как он (Алексеев. — Е. А.) принес кушать в полумиске шти и поставил на стол и, отошед, стал к порогу, и в то время оной помещик ево, той жене своей говорил о помянутой баталии: “Вот-де ныне нашего российского войска много побито, поэтому-де наш Великий князь дурак, што положился на этаких плутов, а нам-де раззорение чинится, вот-де опять будут с нас рекрут брать”. И, выговоря то, замолчал, а он-де, Алексеев, пошел на поварню за кушаньем, а при том-де, ково других никово не было». Когда следователи спросили извечника, почему он два с половиной года не доносил на господ, он ответил: «Долговременно-де об оном о всем не доносил, боясь того помещика своего, что когда б он отлучился от дому, то, поймав, оной ево помещик [тогда бы] не привел бы ево в город», что и позволило Алексееву зайти в казенное учреждение с доносом (83, 29об.—31).

Встретив суровый прием в сыске, Алексеев дрогнул. Сожалея о затеянном им, доносчик «сказал, что виноват и, став на колени, показал, что помещик ево объявленных речей, что “Государь — дурак” не говорил, а вместо того молвил, что “Государь — смирен”». Дело это показывает обыденную ситуацию, из которой «вырос» донос. Ненавидящий помещика холоп смиренно стоит у порога, а сам слушает и запоминает сказанное барином за столом, чтобы потом, затаясь, при выезде с господином в город, бежать в казенное присутствие и, переврав слышанное им многие месяцы назад, донести на барина, да заодно и на его жену, которая, как сообщал Алексеев, швыряла мешок с деньгами и при этом бранилась. Как и другие слуги, поступила и Степанида — дворовая девка московского приказчика Гаврилова, которая слышала и донесла о том, что когда ее хозяин бил жену, а та кричала:

«Для чего ты меня, напившись, увечишь, будешь ты у меня без головы, я знаю за тобою Государево дело, ты побываешь у меня в Преображенском!» (44-2, 181).

Особую группу доносчиков составляли родственники, близкие друзья, приятели, соседи. Жены доносили на мужей, которых не любили и от которых долго терпели побои и издевательства. Мужья сообщали о «непристойных словах» своих неверных жен. По доносу жены Варвары в 1736 г. был арестован и сожжен как волшебник Яков Яров. На очных ставках она же с убийственной доказательностью уличала его в колдовстве (643, 385). Посадская жонка Февронья кричала «Слово и дело» на собственного мужа и объясняла на допросе это тем, что «не стерп[ела] от мужа побои». 14 декабря 1733 г. ссыльный Тимофей Горскин бил жену Пелагею и при этом кричал своему приятелю Алексею Владимирову: «Возьми жену мою под караул, я знаю за нею Ея и.в. слово и дело по первому пункту». Приятель оказался законопослушным подданным и поспешил донести, хотя оказалось, что «Слово и дело» Горскин «сказывал во пьянстве, а Слова и дела за оною своею женою он, Горскин, не знает» (44-16, 300). По доносу жены, знавшей интимные подробности обрезания мужа Александра Возницына, последний был сожжен, как отступник от православия. В 1761 г. дворовый человек Сергей Алексеев был взят в Тайную канцелярию по доносу своей жены, которая «известила» сыск, что ее муж обозвал великого князя Петра Федоровича дураком. Нам неведомы мотивы доноса супруги Андреева, но известно, что ее мужа сослали в Нерчинск (82, 76 об.). Обычными были доносы братьев на братьев, отцов на детей, детей на отцов. Причины доносов самые разные, но все эти доносы были одинаково далеки от защиты государственной безопасности: распри из-за имущества, вражда, жадность, особенно — зависть, а также другие мотивы, которые заглушали родственные и христианские чувства.

В 1732 г. копиист Петр Свешников донес на своего брата Павла вговоре им «непристойных слов», но потом повинился, сказал, «что о вышеозначенном на одного своего брата Павла затеял, вымысля собою, напрасно, по злобе, что оной ево брат з другими людьми в разные времена прихаживал в дом ево Петров и ево, Петра, бивал многократно безвинно» (42-1, 134). В 1733 г. пойманный конокрад Василий Порываев кричал «Слово и дело» и показал на брата своего Никиту, что «сего году в ыюне месяце оной ево брат, идучи с ним дорогою, говорил, будто Ея и.в. отпустила из Санкт-Питербурха в Курляндию денежной казны три корабля» (44-14, 398).

Как изветчик узнавал о «непристойных словах»? Он, как сказано выше, подслушивал, припадая ухом к замочной скважине, тихо подходил к откры-

тому окну, за которым господа вели разговор. Он сидел за соседним столом за спиной говоривших «непристойное» собутыльников, он дружески сдвигал бокалы со своей жертвой за одним праздничным столом. Он напряженно вслушивался в тихие беседы соседей, когда они, думая, что их не слышат, «говорили, разсуждая собою» («в разговорах») о самых разных вещах. Из сказанного окружающими доносчик вылавливал каждое казавшееся ему подозрительным слово. Матрос Сильвестр Батов в 1721 г. донес на своего бывшего помещика Ивана Косагова, «будто он говорил с Федором Дубровским (близким человеком царевича Алексея. — Е. А.), в доме его, Федорове, в н у ж н и к е непристойные слова о Его ц.в. и при тех словах будто он, Косагов, показывал Дубровскому коренья» (8-1, 33).

В 1726 г. беглый солдат Иван Тамазин донес на симбирских судей Федора Хрущова и Федора Скобельцына в том, что они «меж себя говорили: "Ныне государь..."» — и далее доносчик пересказал те «непристойные слова», которые он якобы услышал из-за двери (8-1, 315). Монах Мефодий в 1733 г. донес на своего архимандрита Герасима в неслужении панихид по великим государям и показал, что у монаха Ионы есть о проступках архимандрита записка, «а ведает он, Мефодий, потому, как оной архимандрит шел из церкви от заутрени до кельи своей и, идучи за ним, оной монах Иона тому архимандриту говорил...». И далее доносчик передает услышанный им спор Герасима и Ионы. Оказалось, что последний шантажировал архимандрита запиской, в которую вносил все служебные нарушения владыки. Покинув спорящих, Мефодий пошел в Кремль, где кричал «Слово и дело» (44-2, 395).

Доносили о «непристойных словах», сказанных «один на один», без свидетелей. Ярославский столяр Григорий Скочков донес в 1727 г. на конюха Фрола Блинова, который, «наклонясь к нему на ухо говорил: "За что ты императрице поздравляешь? Она-де растакая мать, была императору курва!"» (8-1, 334 об.). Солдат Погуляев также донес на своего товарища Вершинина, который «говорил ему, Погуляеву, одному, тихо такие слова...» (49, 4). При этом доносчики порой и не думали, что ставят себя в тяжелейшее положение — «довести», доказать извет без свидетелей преступления бывало весьма трудно.

Иными доносчиками двигало неутоленное чувство мести и злобы. Они хотели только одного — принести ближнему вред во что бы то ни стало, отомстить за обиду. Этим объясняется поступок муромского попа Василия Федотова в 1762 г., который показал «по первому пункту» на вдову А.И. Остермана Марфу, а потом признался, что «оное учинил он в пьянстве своем и по злобе на оную Остерманову за то, что-де, по приходе ко оной, для поздравления ее о восшествии... Петра Феодоровича, желал он за то поздравление получить себе чарку вина или что-нибудь из денег, но люди той Остермано-

вой, за болезнь ее, в келью к ней не допустили, как думает он, по приказу оной Остермановой, и за то желал он, поп, ей, Остермановой, высылкою в Тайную контору причинить оскорбление и отомстить свою злобу» (83, 22). Доносчики были движимы и тем, что можно назвать «любовью» к доносам, неистребимым желанием делать зло ближнему. Такие люди просто искали случай «стукнуть». Доносчик Дмитрий Салтанов на следствии 1723 г. уже по второму его ложному извету «о себе говорил, что-де мне делать, когда моя такая совесть злая, что обык напрасно невинных губить» (9-3, 175). Только давней злобой и неприязнью к матери камер-пажа Петра Девьера — Анне Даниловне можно объяснить донос попа из Веневского уезда Василия Семенова, который не столько молился в церкви, сколько присматривал за прихожанами: «А он... от той Анны стоял вблизи и молился Богу, и тот его брат (священник Дмитрий Семенов. — *Е. А.*) по начатии литургии читал первую ектению, и как вспомянул имя Его и.в. (Петра II. — *Е. А.*), и оная Анна говорила тихо: “О таком ли-де скарде Бога молить”, а к кому тое речь молвила, того не знает и, говоря [это], пошла она ис церкви, плюнув, подтерла ногою» (8-1, 373 об.).

Но доносчиком становились не только раб, рвущий свои оковы, несчастная жена, обманутый муж, стяжатель, человеконенавистник, злодей, запуганный следствием человек. Доносчик — это еще и энтузиаст, искренне верящий в пользу своего доноса, убежденный, что так он спасает Отечество. В 1700 г. в Преображенский приказ пришел (может быть, даже прибежал) костромской крестьянин Иван Андреев. Он объявил «Слово и дело» и показал, что, «проходя по Мясницкой улице», слышал, как два неизвестных человека говорили между собою следующее: «Великий государь указал у всех бояр и у мелких помещичьих людей и крестьян побрать в даточные и если он изволит с полками на службу послать бояр и они-де ему изменят и от него отложатся». Ни имен этих людей, ни их самих он не знал, за что, естественно, и пострадал (89, 444). Особо знаменит тобольский казак Григорий Левшутин, который был, по словам П.К. Щебальского, «человек истинно необыкновенный, тип, к чести нашего времени (писано Щебальским в 1861 г. — *Е. А.*), кажется, уже несуществующий. Мы знаем, что были на Руси люди, официально занимавшиеся доносами, мы видели доносчиков-дилетантов, но Григорий Левшутин всю жизнь свою посвятил, всю душу положил на это дело. С чутьем дикого зверя он отыскивал свою жертву, с искусством мелодраматического героя опутывал ее, выносил истязания со стоицизмом фанатика, поддерживая свои изветы, едва окончив дело, начинал новое, полжизни провел в кандалах и на предсмертной своей исповеди подтвердил обвинение против одной из многочисленных

своих жертв». Левшутин сам, по доброй воле ходил по тюрьмам и острогам, заводил беседы с арестантами, выспрашивал у них подробности, а потом доносил. В 1721 г. он выкупил себе место конвоира партии арестантов, сопровождал ее до Москвы. В итоге этой «экспедиции» он сумел подвести под суд всю губернскую канцелярию в Нижнем Новгороде (804, 461–462).

Настоящим энтузиастом доносительства (правда, возможно, не без психических отклонений) выступил в 1739 г. московский подьячий Петр Окуньков, который донес на дьякона церкви Николая Чудотворца в Хамовниках. Доносчик писал о дьяконе, что тот «живет неистово и в церкви Божии трудится и служить ленища... Того ради по самой своей чистой совести и по присяжной должности и от всеусердной душевной жалости доносит, дабы впредь то Россия знала и неутешные слезы изливала» (44-2, 405). Головной болью для сибирской администрации середины XVIII в. был Иван Турченинов. Он, еврей Карл Левий, турецкоподданный, был взят в плен под Очаковым и сослан на Камчатку за шпионаж. Там, перейдя в православие, он прижился в Сибири и стал одним из самых знаменитых прожектеров и доносчиков XVIII в. Он донес на всю сибирскую администрацию во главе с губернатором, убедительно вскрыл все «жульства» и чудовишные злоупотребления сибирских чиновников. В награду за труды он удостоился чина поручика и награды в 200 рублей. Специальная комиссия И. Вольфа разбирала доносы Турченинова на сибирскую администрацию двадцать лет! (614, 138 и др.).

Иван Посошков, томимый зудом прожектерства, в своей «Книге о скудности и богатстве» стремился дать власти советы, как лучше организовать систему доносительства. Он предлагал создать особую «Надзирательную канцелярию», в которую бы каждый подданный мог доносить, «не обинуясь и никого не опасаясь, потому еще и на господина своего или на камандира, еще и сильного, уже выдачи ис той Надзирательной канцелярии не будет» (593, 86).

«Профессиональным» извetchиком был симбирский поп Андрей Васильев. Сговорившись в 1723 г. в кабаке с дьяконом Алексеем Артемьевым, он донес о том, что якобы поп Борис Матвеев «читает в церкви народу поучения с хульными на И.в. словами, называя его антихристом, мучителем, христиан гонителем, часовенным разорителем, что он, царь, ест в посты мясо, а архиереи его не обличают». Примечательно, что сам он постарался остаться в стороне, подставив под удар своего приятеля. Якобы как только он услышал от Артемьева рассказ о «непристойных словах» попа Матвеева, то «убоясь И.в. указов, те его дьяконовы слова донес в Симбирск, воеводе» (730, 274, 279). Донос этот Васильев «довел»: под пытками Матвеев признался в пре-

ступлениях, которых не совершал. После этого Васильева с паспортом отпустили в Симбирск.

И во второй раз донос Васильева оказался удачен. В 1723 г. посадский Алексей Беляев подал Казанскому архиепископу челобитную с жалобой на подьячего Казанского архиерейского дома Матвея Ушакова, который сожительствова с его женой. Увидав, что этой челобитной начинается опасное для него дело, Ушаков обратился за советом к попу Андрею Васильеву — уже известному в городе доносчику. Тот согласился, вероятно за деньги, помочь новому приятелю и взялся донести на Беляева, обвинив его в богохульстве и «рационализме». Он явился к воеводе и сообщил тому вещи поистине страшные: Беляев называет Христа «разбойником, а пресвятую деву Богородицу простою девкою, жившей с Иосифом, и ругался святым образам, почитая их простыми досками, запрещал семье им поклоняться, взяв образ, имал его на постель». Арестованный Беляев под пытками кнутом и огнем признался, что «все то чинил в пьянстве». Преступника приговорили к сожжению, хотя из дела следовало, что все обвинение против него шито белыми нитками. Только через четыре года вся правда обнаружилась и, как уже сказано выше, Беляева освободили. Сам же организатор всего этого дела поп Васильев вышел сухим из воды. И только в третий раз он, наконец, попался. В 1724 г., услышав на базаре, что посадский Чубаров убил свою дворовую девку, Васильев вновь донес о новом «государеве деле». Проверка показала, что девка хотя и «избита вся», но жива. По определению Синода Васильева расстригли, и он «за неуместное пользование Словом и делом... бит кнутом нещадно». Но и на этом доносчик не успокоился. Он послал извет на Казанского архиепископа Сильвестра в том, что тот ругал императрицу Екатерину I. В итоге Сильвестра отстранили от кафедры и сослали «на неисходное содержание» в Александро-Невский монастырь (730, 281).

Такие люди, как поп Васильев, не были редкостью. По-видимому, «башила доноительства» заражала доносчика. Раз совершив такой низкий поступок, он уже не мог остановиться. Изветчик по делу Долгоруких Осип Тишин, получив награду за донос, потом дважды кричал «Слово и дело». Всякий раз его извет оказывался ложным, и в конце концов Тишина лишили секретарского чина, били кнутом и сослали в Оренбург в ссылку (310, 91).

Избежать доноительства было почти невозможно для подданного. В доносе упомянутого выше Окунькова сказано, что он доносит не только от «всесердной душевной жалости», но и «по присяжной должности». Это серьезный мотив. Подданный не имел права пренебрегать ни при каких обстоятельствах своей неременной обязанностью доносить. Это утверждали все зако-

ны и артикулы. И все же люди того времени хорошо осознавали неизбежное противоречие между долгом, требовавшим (во имя высших государственных целей) донести на ближнего, и христианскими заповедями, устойчивым представлением о том, что доносчик — это Иуда, предатель, которому нет прощения.

К мукам человека, который, услышав «непристойные слова», колебался: «Донести или нет?» — присоединялось чувство страха при мысли о неизбежных при разбирательстве его доноса допросах и пытках. Не доносить он тоже не мог — ведь он знал, что кто-нибудь может опередить его и тогда обвинение в соучастии преступлению, в недонесении неизбежно. Конечно, доноительство не числилось в кодексе дворянина, и внедряемые Петром I принципы дворянской морали оказывались в очевидном противоречии с обязанностью российского служилого человека и «государева холопа» доносить на ближнего. А между тем генеральный регламент обязывал служащего не только предотвращать ущерб интересу государя, но и доносить о всяком таком ущербе, вреде и убытке (193, 483—484).

Как известно, в 1730 г., сразу же после восшествия на престол Анны, была предпринята попытка ограничения императорской власти. Казанский губернатор А. П. Волынский написал своему дяде С. А. Салтыкову письмо в Москву. В нем он сообщал, что приехавший из Москвы в Казань бригадир Иван Козлов весьма одобрял попытку ограничить власть императрицы Анны и очень огорчился, когда узнал, что замысел этот не удался. Салтыков, приходившийся родственником новой императрице и быстро набравший при ней силу, 8 апреля ответил племяннику. Он попросил его прислать на имя государыни официальный донос на Козлова. Оказалось, что Салтыков уже сообщил об истории с Козловым самой государыне и она, как пишет Салтыков, «изволила к тебе нарочного курьера послать, чтоб прислать к ним в Москву, при письме своем, доношение против присланной ко мне ведомости об оном Козлове: какие он имел по приезде своем в Казань разговоры о здешнем московском обхождении и при том, кто был, как он с вами разговаривал?, чтоб произвести в действо можно было. И оного курьера извольте отправить в Москву немедленно. А буде оный Козлов безотлучно будет в Казане, то оному Козлову объявлять не извольте. А буде куды станет из Казани отъезжать, то извольте ему объявить Ея и. в. указом, чтоб он без указа из Казани никуда не ездил» (774, 25—26).

Как мы видим, дело о расследовании «непристойных слов» должно вот-вот начаться — для этого требовался только донос. Но Волынский неожиданно заупрямился. Он отвечал дяде, что он готов служить государыне по своей должности, но «чтоб, милостивый государь, доносить и завязыватца с без-

дельниками, извольте отечески по совести рассудить, сколь то не токмо мне, но и последнему дворянину, прилично и честно делать. И понеже ни дед мой, ни отец никогда в доносчиках и в доносителях не бывали, а мне как с тем на свет глаза мои показать? Известно вашему превосходительству милостивому государю, что я с робятских лет моих при вас жил и до сего времени большую половину века моего прожил так честно, как всякому доброму человеку надлежало, и тем нажил нынешнюю честь мою, и для того лутче с нею хочу умереть... нежели последний мой век доживать мне в пакостном и поносном звании, в доносчиках... Извольте сами рассудить, кто отважитца честный человек итить в очные ставки и в прочие пакости, разве безумный или уже ни к чему непотребный. Понеже и лучшая ему удача, что он прямо докажет, а останется сам, и с правдою своею вечно в бесчестных людех, и не только самому себе потом мерзок будет» (774, 27—28).

По тому, как Волынский ответил дяде на письмо 8 апреля 1730 г., мы можем судить об отношении к доносительству как людей вообще, так и, в частности, нового русского дворянина с его представлениями о личной дворянской чести, заимствованными из Западной Европы при Петре I и уже довольно глубоко вкоренившимися в сознание вчерашних «государевых холопей». Одним словом, Волынский своим письмом хотел сказать: доносить — неприлично, это противоречит нормам христианской и дворянской чести. Так действительно думали многие люди. П.И. Мусин-Пушкин, проходивший по делу самого Волынского в 1740 г., был уличен в недоносительстве на своего приятеля Волынского и на допросе в Тайной канцелярии отважно заявил: «Не хотел быть доводчиком» (4, 170б.; 304, 160).

Но в истории, происшедшей с Волынским в 1730 г., лучше не спешить с выводами. Тогда столь высоконравственная, на первый взгляд, позиция племянника очень не понравилась его высокопоставленному дяде, который сам, поспешив с письмом Волынского к императрице, попал в итоге впросак: «Я думал, — укорял Салтыков Волынского в письме 20 мая 1730 г., — что писали вы очень благонадежно, что след какой покажется от вас. А как ныне по письмам от вас вижу, что показать вам нельзя, н[о] чтоб так [вам] ко мне и писать, понеже и мне не очень хорошо, что и я вступил, а ничего не сделал. И будто о том приносил я (императрице. — Е. А.) напрасно, а то все пришло чрез письмо от вас ко мне. Понеже вы изволили писать, что он (Козлов. — Е. А.) говорил при многих других, а не одному, и я, на то смотря, и доносил, и то, стало быть и мне нехорошо...» Поэтому дядя настаивает, чтобы довести дело до конца: «Того ради, я советую лучше против прежнего письма извольте отписать, какие он имел разговоры с вами, чтоб можно было произ-

весть в действо. Понеже как для вас, так и для меня... коли вступили, надобно к окончанию привести». Моральных же сомнений племянника и рассуждений насчет дворянской чести дядя не понял, счел их за отговорки. Он полагал, что в таком деле греха нет, и «худо не причтется, разве причтет тот, который доброй совести не имеет».

На это письмо Волынский ответил, и из ответа мы видим, что губернатора от доноса на Козлова удерживали не понятия чести, а банальные соображения трусливого царедворца и карьериста, который в принципе и не прочь сообщить при случае, куда надлежит, но при этом не хочет в неясной политической обстановке подавать официальный донос и после этого нести за него ответственность. Во-первых, Волынский не отрекается от обвинений Козлова, но желает, чтобы его донос рассматривали «только приватно, а не публично». «Мне, — пишет он, — доношения подавать и в доказательствах на очных ставках быть... — то всякому дворянину противу его чести будет, но что предостерегать и охранять, то, конечно, всякому доброму человеку надобно, и я, по совести своей, и впредь не зарекаюсь тож сделать, если что противное увижу или услышу». То есть донести я всегда, мол, рад, но только тайно, публичный же, по закону, донос противоречит дворянской чести.

Чуть ниже, в том же письме, Волынский раскрывает последний и, вероятно, самый серьезный аргумент в защиту своего недоносительства. Когда началась вся история с Козловым, в Казани об ошеломляющих событиях в Москве после смерти Петра II знали явно недостаточно, и, отказываясь посылать новой государыне формальный донос, Волынский в тот момент не был уверен, что группировка Анны Ивановны достигла полной победы. Он обратил внимание на замечание Козлова, что дело ограничения монархии почти выиграно и он, Козлов, уверен, «понеже-де партишка (сторонников самодержавия. — Е. А.) зело бессильна была и я-де, больше думая, что она вон выгнана» (774, 25–26).

Когда же через некоторое время стало известно об окончательной победе «партишки» Анны Ивановны и Салтыкова, которая стала «партией власти», то казанский губернатор уже пожалел о своей чрезмерной осторожности, прикрытой словами о дворянской шепетильности. В письме-ответе на послание дяди от 20 мая Волынский откровенно признался: «Поверь мне, милостивый государь, ежели б я ведал тогда, что будет, как уже ныне по благодати Господней видим, поистине я бы... конечно, и здесь бы начало дела произвел явным образом, и то б мне приличнее было, да не знал, что такое благополучие будет. И вправду донести имел к тому (подаче официального доноса. — Е. А.) немалый резон, но понеже и тогда еще дело на



Артеми́й Петро́вич Во́лынский

балансе (т.е. неустойчиво. — *Е.А.*) было, для того боялся так смело поступать, чтоб мне за то самому не пропасть. Понеже прежде, нежели покажет время, трудно угадать совершенно, что впредь будет. И того, милостивый государь, всякому свою осторожность иметь надобно столько, чтоб себя и своей чести не повредить» (774, 31). Как видим из новых пояснений племянника дяде, честь дворянская по Волынскому — понятие гибкое, переменное: в одном случае она вообще не допускает доноса, в другом же случае она его допускает, но лишь тайно или только тогда, когда извет не несет опасности для доносчика-дворянина.

Не прошло и нескольких месяцев, как дядя, поставленный из-за капризного упрямства Волынского в неловкое положение перед императрицей, получил возможность преподавать племяннику урок в том, что дворянская честь не только не препятствует доносу, но даже предполагает его. Дело в том, что у Волынского вскоре после истории с Козловым разгорелась скандальная тяжба с довольно склочным Казанским архиепископом Сильвестром. Враги начали устно и письменно оскорблять друг друга, слать ко двору и в

Синод грязные жалобы и доносы на своего врага. В августе 1730 г. Салтыков писал Волынскому, вспоминая историю с Козловым: «Я напред сего до вас, государя моего, писал, чтоб прислали доношение против прежних своих писем. На что изволили ко мне писать: “Как-де, я покажу себя в людях доносителем?” А мне кажется, что разве кто не может рассудить, чтоб тебя [кто] мог этим попрекать. А ныне сами-то себя показали присланные ваши два доношения на архиерея, в которых нимало какого действия (т.е. фактов. — *Е. А.*) в тех доношениях, только что стыдно от людей, как будут (в созванной комиссии. — *Е. А.*) слушать» (774, 34).

Дядя оказался прав, потому что исходил из представления о чести, которое диктовалась не абстрактными нормами дворянского поведения, а законами Российской империи. Они же говорили яснее ясного: доносить необходимо, этого требует безопасность государства, долг подданного. Этой идеей пронизаны все законодательство и вся сыскная практика. В 1762 г. в указе Екатерины II отмечается: кажется невозможным, чтобы благородные дворяне и другие верноподданные «нашлись когда-либо в толь мерзких пред Богом и пред светом преступлений, каковы суть противу первых двух пунктов, а еще меньше ожидаем, чтобы нашлись между ними толико подлые и бесчестные люди, кои похотели бы делаться клеветниками, то есть ложными доносителями» (587-16, 11687). Так указом осуждается не само доноительство дворянина, а только его ложный донос.

Однако грань между «полезным» донотельством и клеветничеством всегда была чрезвычайно тонкой. В 1734 г. начальник уральских горных заводов В.Н. Татищев узнал, что ссыльный Егор Столетов не ходит в каторжные работы, «водит компании» с начальством, говорит о каких-то своих могущественных покровителях в столице. Опасаясь за себя, Татищев послал императрице Анне доношение, которое было, в сущности, доносом на Столетова и связанных с ним людей: «Сего декабря 6-го числа... сидячи у меня ввечеру, разговаривая, комиссар Бурцов со мной наедине о Нерчинских заводах сказал: “Есть-де тамо ссыльный Егор Столетов — совести дьявольской и самый злой человек. И я, видя, что он как под страхом о нем говорит, спрашивал его: “Что он в том Столетове приметил?”. И он сказал, что сего генваря 28-го и февраля 3-го числ (день именин Анны Ивановны. — *Е. А.*) не мог принудить в церковь идти. И я ему сказал, что его, как ссыльного, можно ко всему принудить. И он сказал: “Я-де состояния не знаю”, а слыша, что он хвалится грозит тем, у кого в доме жил, что его обиду отомстят, а паче видя, что виц-губернатор Жолобов обходился с ним дружески и дал ему денег 20 рублей, по которому-де и все его опасаются, и-де явно оскорбить его не смел, а скрытно определил содержать его покрепче».



Василий Никитич Татищев

Далее Татищев сообщал, что он вернул Бурцова на Нерчинский завод, велел определить его в работу, а управляющему заводов Дамесу предписал тайно сообщать о всех «важных словах», сказанных Бурцовым. В конце доношения Татищев просил: «И об оном также ежели и о других таких непотребных уведаю, как мне поступать, всенижайше прошу определить мне В.и.в. указом». Зная реальную расстановку сил при дворе, Татищев одновременно послал еще одно письмо в Кабинет министров. В нем он откровенно выразил свои сомнения, как бы, с одной стороны, доносом на Бурцова (за спиной которого стояли какие-то влиятельные столичные друзья) не навредить себе, но, с другой стороны, либеральничая с именитым каторжником, не пострадать бы за «слабое исполнение» своей должности: «Умолчать же весьма рассуждаю за бедственное себе, ибо от такого злохитренного плута может что-либо между так простым народом вредительное произойти». В конце Татищев просил министров: «Того ради, прошу ваших сиятельств, милостивых государей моих, ежели я в том за неведением ненадлежаще поступил, показать мне высокую милость и для предбудущих таковых случаев определить Ея и.в. указом». Получив же одобрение Петербурга, Татищев арестовал Сто-

летова, Бурцова и начал следствие (781, 990–991). Как мы видим, донос — большое искусство и вместе с тем опасное дело.

Как и в каждом обществе, где донос грозил практически каждому его члену, находилось немало людей, которые этим умело пользовались. Зная, сколько проблем всем доставляет извет, они шантажировали им окружающих. По дороге из Сибири в Москву в 1722 г. арестанты Яков Солнышков и старица Варсонофия добились, чтобы их конвойный, ефрейтор Кондратий Гоглачев, дал им бумаги и чернил для сочинения жалобы (что конвоем было категорически запрещено). Добились они этого, сказав охраннику, что «ежели не даст, [то] на него, ефрейтора, донесут». Боявшийся оглашения каких-то своих грешков, ефрейтор и добыл им бумаги и чернил (325–2, 42). В 1729 г., истомившись в тюрьме, Матвей Собинский стал требовать, чтобы его вместе с делом выслали для решения в Москву «и притом говорил долго ль ему быть под караулом, а буде ево не вышлют, то есть за ним Его и.в. слово и дело» (29, 55). Монах Иона в 1734 г. шантажировал своего архимандрита какой-то запиской о проделках последнего (44–4, 396).

Опытный, хитрый доносчик никогда не забывал, что после извета ему нужно еще доказать обвинение, «довести» его с помощью показаний свидетелей и доказательств. В Уложении 1649 г. говорится о наказании кнутом изветчиков, которые не сумели уличить людей, подозреваемых ими в преступлениях (гл. 2, ст. 13). В таком же сложном положении (по статье 12) оказывался изветчик, который «на тот свой извет никого не поставит и ничем не уличит, и сыскать про такое государево великое дело будет нечим». Между тем подчас оказывалось, что «довести» донос крайне трудно: или преступный разговор был «один на один», без свидетелей, или свидетели не дали нужных изветчику показаний, или, наконец, сам изветчик не выдержал пыток и отказался от своего доноса. В итоге, анализируя дела политического сыска, замечаешь, что иной извет явно не «бездельный», что указанные изветчиком «непристойные слова» действительно были произнесены. Тем не менее донос за недоказанностью признавался ложным (см.: 512, 345 и др.). Н.Б. Голикова, обобщая материалы Преображенского приказа за 1695—1708 гг., пришла к выводу, что число ложных изветов крестьян и холопов на своих господ достигало 87,7% (57 изветов из 65), и объясняет это тем, что «каждый донос был сопряжен с огромным риском и тяжкими мучениями» (212, 184). Попав в застенки, изветчики даже не предполагали, как подчас трудно «довести» донос.

Только хладнокровные и «пронырливые» люди умели в нужном месте «подстелить соломки». В 1702 г. в Нежине капитан Маркел Ширяев донес

на старца Германа. Оказалось, что как-то раз Герман обратился к капитану на базаре с «непристойными словами» о Петре I, даже увел офицера в укромный уголок, где описал весь ужас положения России, которой управляет «подмененный царь» — немец. Вместо того чтобы кричать «Караул!», хватать Германа (разговор был один на один) и тащить на съезжую, а потом сидеть в тюрьме и «перепробовать» с фанатичным старцем, Ширяев пошел иным путем. Он притворился, что увлечен словами проповедника, узнал его адрес и на другой день пришел к Герману в гости. Он вызвал старца на улицу, а пока они прогуливались, двое солдат — подчиненных Ширяева незаметно пробрались в дом старца и спрятались за печкой. Когда хозяин и гость вошли в избу, то Ширяев, для того чтобы как бы «взять в розум» сказанное на базаре старцем о Петре, попросил того повторить «непристойные слова». Сделано это было исключительно для ушей запечных свидетелей. И только после этой операции Ширяев донес на старца «куда надлежит» (212, 150—151).

Перед тем как начать в 1713 г. дело лекаря Дмитрия Тверитинова, подозреваемого в еретичестве, Стефан Яворский подослал к Тверитинову своих агентов, которые донесли иерарху, что действительно Тверитинов высказывает крамольные мысли и его можно арестовать. На это Стефан сказал, что устные изветы уже слышал не раз, но в таких сложных делах «надобно письменное от кого-либо известие принять, понеже по словесному извету таких дел действовать неприлично есть» (735, 192).

В первой половине XVIII в. все горожане в Ельце как огня боялись некой женщины, носившей кличку «Настька-докащица», которую все старались умиловить подарками и угощениями, только чтобы она на них не доносила. Как вспоминала одна елецкая старожилка, «Наську-докащицу все уважали, все боялись, а находились и такие люди, которой и этой славе завидовали и тоже старались страхом вселить к себе уважение» (618, 363—364). Материалы сыска подтверждают, что таких людей, как Настька-докащица, было в обществе немало. Вероятно, в их числе были и просто сумасшедшие, и человеконенавистники, и неудовлетворенные честолюбцы, и завистники, и корыстные или недобросовестные люди.

В 1718 г. на каторгу отправили семеновского солдата Дмитрия Шестакова за то, что «вступил в доносы, не хотя служить, которые [доносы] явились бездельные» (8-1, 3). Из материалов политического сыска видно, что были и такие люди, которые, несмотря на предстоящие им неминуемые пытки, тем не менее шли на извет, причем делали это многократно. В 1729 г. беглого солдата Ивана Дурного сослали в каторжные работы за множество преступлений, и в том числе за «четыре сказыванья Слова и дела», которые все

оказались ложными (8-1, 112 об.). «За неоднократное ложное Слово и дело» в том же году Сибирью наказали и подьячего Андрея Ачакова. «Сказывал за собою Государево дело неоднократно ложно» и чернец Макарий, за что его отправили в 1730 г. в дальний монастырь (8-1, 116 об., 132).

«Неоднократным» ложным доносчикам власти уже не доверяли. О сосланном в Якутск колоднике Е. Афанасьеве в сопроводительном указе было сказано: «А буде он, Ермошка, учнет впредь говорить какие непристойные слова, и ему, Ермошке, отсечь рука, да нога (так!). А буде и после того он ж, Ермошка, учнет какие непристойные слова говорить, и ево казнить смертию, не отписываясь о том к Великому государю к Москве» (644, 90). О сосланном в 1729 г. в Нерчинск «бывшем доносителе» Якове Беляеве Тайная канцелярия постановила: отдать его в вечную работу и «у него никаких доносов не принимать», а об отправленном в Сибирь денщике Василии Иванове местную администрацию предупреждали: «А оному ево показанию верить и впредь изветов никаких у него принимать не велено» (8-1, 358 об., 117 об.). В приговорах по делам ложных изветчиков фраза «Ежели они впредь станут сказывать за собою Слово и дело или иные какие дела затевать... им не верить» встречается очень часто. О том же специально сказано в указе 1762 г.: каторжные и ссыльные «ни в каких делах доносителями быть не могут» (589-16, 11678), а в одной из инструкций о содержании узников Соловков даже было предписано: тем из них, которые постоянно произносят «важные и непристойныя слова... в рот класть кляп... который вынимать, когда пища будет давана, а что произнесет он в то время, то все сполна записывать и, содержа секретно, писать о том в Тайную канцелярию» (397, 338, 602).

Вообще-то, люди страшно боялись доносов и доносчиков. Как только они слышали «непристойное слово», то стремились, во-первых, не допустить продолжения опасного разговора, во-вторых, бежать с места происшествия и, в-третьих, всячески отвертеться от участия в следствии в роли доносчиков или свидетелей. Когда человек начинал публично говорить «непристойные слова», окружающие его «от тех речей унимали» уговорами, окриком, побоями. Когда в 1614 г. некий Сенька начал говорить «воровские слова за здоровье Лжедмитрия», то один из его собеседников «за то воровское слово того Семена ударил». В 1646 г. в компании приятелей пушкарь Васька Юрин «говорил про государя непригожие речи... соседка пушкарева ж Марина... рот ему, Ваське, зажимала» (500, 1, 185). Так же люди вели себя и 50, и 100 лет спустя после этого случая. В 1739 г. поп Лев Васильев, услышав от другуна Якова Татаринова «непристойные слова», «закричал на него... чтоб он так неприлично не говорил» (44-2, 357 об.). Когда помещик Харламов за

ужином с гостями-офицерами «бранился и врал скверные слова», то поручик Иван Телегин молвил: «Дурак, полно врать!» — и потом оной Харламов молвил: «В Санкт-Петербурхе-де и государь врет!» После этих слов присутствующим ничего не оставалось, как донести на «враля» в Тайную канцелярию (32, 4).

Выражение «Дурак, полно врать!» наиболее часто упоминается в политических делах. Его произносили ошарашенные услышанным родственники, гости, собеседники, собутыльники, товарищи. Так, в 1732 г. во время тоста солдата Быкова за здоровье полковника Преображенского полка (т.е. императрицы) солдат Шубин «выбрал того полковника матерна и оной Быков тому Шубину говорил: “Что ты, дурак, врешь?!”». Такими или примерно такими словами встречали люди услышанные ими «непристойные слова»: «Врешь ты, дурак!», «Врешь ты все, дурак!», «Полно врать, не твое дело!», «Что ты, баба, врешь!» (29, 28; 42-2, 29 об.; 8-1, 128; 664, 92, 98, 114).

Музыканты, игравшие на семейном празднике у пленного шведа Петра Вилькина в январе 1723 г., прекратили игру, собрали инструменты и поспешно бежали после того, как хозяин заявил, что императору Петру I осталось жить не более трех лет (664, 92). Музыкантов поднял и гнал с вечеринки Великий государственный страх: они не хотели стать сообщниками, свидетелями, колодниками, пыгаемыми, казнимыми по политическому делу. Когда в 1722 г. на пензенском базаре Варлам Левин начал кричать «возмутительные непристойные слова», то вся базарная толпа тотчас разбежалась и остался только один доносчик Каменщиков (325-1, 24, 50). Свидетель по делу 1722 г. о крестьянине Якове Солнышкове Степан Ильин в разговоре с Дмитрием Веселовым о только что услышанных ими угрозах Солнышкова в адрес царя сказал: «В огонь меня от тех, Солнышкова слов, бросило». Тогда же отец Солнышкова, услышав «непристойные слова» сына, закричал, по словам доносчика, на сына: «”Для чего он те слова говорит?!”», и тот Яков говорить перестал и молчал», но было уже поздно (325-2, 39).

Зная, как страшен политический сыск, можно понять, почему людей бросало то в жар, то в холод. 28 января 1734 г. солдат Никита Елизаров сидел в караулке с другими солдатами и, глядя на зажженную иллюминацию и праздничный фейерверк, позволил себе, как следует из его дела, заметить: «Наша Всемилостивейшая государыня нынче от Бога отстала, здесь потехи, как пук, так и хлоп, а на Руси плачут от подушного оклада, а им помочи и льготы нет, с осени стали уже мякину есть, а на весну и солому уже станут есть». На это солдат Олешин крикнул Елизарову: «Для чего ты такие слова говоришь, сам ты своей головы не жалеешь и подле себя добрых людей губишь?!» Но Елизаров сказал еще нечто «непристойное» об императрице Анне

и ее фаворите Бироне. Олешин выскочил из караулки, но это ему уже не помогло: через два дня один из участников разговора, солдат Иван Духов, в момент наказания «за некоторую малую продерзость при роте» заявил, что «есть за ним Ея и.в. дело и слово» и показал на Елизарова, Олешина и других собеседников в караулке. Все они тотчас оказались в Тайной канцелярии (51, 1, 4).

Одно лишь восклицание «Слово и дело!» несло страшную угрозу всем, кто его слышал. В 1754 г. в тамбовском селе Спасском шел бурный сход, и во время драки один из крестьян кричал роковые слова. Итог был печальный: арестовали весь сход — 40 человек. Их увезли в Воронеж на расследование, которое тянулось два года! (285, 3, 80). Если людям, слышавшим «непристойные слова», бежать не было возможности, то они делали вид, что ничего не слышали из-за «безмерного пьянства», или сидели далеко и «недослышали», или якобы были увлечены другим делом, или спали и вообще действовали по пословице: «Моя хата с краю — ничего не знаю». Как записано в деле 1738 г., в тюрьме караульный солдат Татаринов играл в шашки с колодником Степановым, и Татаринов сказал, что «нас государыня жалует мундиром», на что Степанов ответил: «Разве-де вам, пьяницам, мундиры чорт пожалует!». После этого Татаринов ударил Степанова «в шок и говорил: “Што ты врешь!” и тот Степанов тому Татаринову кланялся в ноги и говорил: “Пожалуй-де, прости!” И он, Татаринов, о тех продерзостных словах заявил (бывшим там же. — Е. А.) колодникам и те колодники говорили: “Не наше-де дело!”» (44-16, 12об.).

В том же 1738 г. в городе Сокольске подьячий Иван Коровин разговаривал со своим гостем — отставным солдатом Алексеем Кузовлевым. Беседа шла об одном их общем знакомом, который сказал какие-то «непристойные слова», и «солдат Кузовлев тому подьячему говорил: “Надобно об этом донести”, а подьячий говорил: “Не наше дело, а ты у меня приложись к образу, чтоб тебе об этом не доносить” и, сняв с полки образ Воскресенья Христова, положил на стол и велел приложиться и оной Кузовлев тому подьячему сказал, что он доносить о том не будет, и, приложась к образу, пошел з двора». Эту сцену подсмотрел работник Коровина Павел Данилов, который тотчас же побежал к сокольскому воеводе и донес на друзей (11-4, 243–244).

После того как в 1767 г. монах Батогов донес на ссыльного Арсения Мациевича, игумен и монахи пытались заставить его целовать положенный на стол образ Соловецких чудотворцев и присягнуть, «чтобы впредь ему, Батогову, доносов не делать и смуты в обители не чинить». Но Батогов сказал, что «изменником присяге, данной государыне, он не будет и станет всегда доносить о том, что увидит и услышит», что вскоре и сделал (591, 578–579).

Формально доносчик был прав: казенная присяга, как мы видели выше, предполагала доносительство.

Из сказанного выше ясно, что доносчика не окружала любовь народная. Его ненавидели, боялись, ему угрожали расправой. Когда, как сказано выше, поп Васильев предложил дьякону Артемьеву донести на попа Бориса, притеснявшего дьякона за пьянство, то тот отвечал: «Чего тут доносить! Попа Бориса больно мужики любят, узнают, что донес, так убьют до смерти». Тогда Васильев предложил свои услуги: «Не бойся, попу уберем, а ты еще сам на его месте будешь!» — и на следующий день сделал донос в воеводской канцелярии. Когда же донос подтвердился и с пропуском из Тайной канцелярии поп Васильев вернулся в Симбирск, он встретил озлобление окружающих, и его отстранили от соборной службы (730, 273—275).

Сохранилась челобитная доносчика — церковного дьячка Василия Федорова, по извету которого казнили помещика Василия Кобылина. После возвращения из Преображенского домой у дьячка начались неприятности, которые он подробно описал в своей челобитной 1729 г. Сразу после казни Кобылина «дано мне, — пишет дьячок, — по прошению моему, до настоящего награждения, корову с телицею, да на прокорм их сена, да гусей и кур индейских по гнезду, и то чрез многое прошение насилу получил в три года, а охранительного и о непорицании меня указов из той (Преображенской. — Е. А.) канцелярии не дано». Эта защитная грамота была необходима изветчику: «Я чрез три года как от жены того злодея претерпевал всякие несносные беды и разорения и бит смертно, от чего и доднесь порядошного себе житья с женою и детьми нигде не имею и, бродя, без призрения, помираем голодную смертью, яко подозрительные». И хотя дьячок, как и все ему подобные челобитчики, приbedняется, положение его действительно было незавидное. С места в церкви села Лихачево его согнали, и когда он, уже получив защитную грамоту, туда приехал, «того села поп Александр Васильев и пришлой крестьянин Семен Федосеев, которой живет на моем дьячковом месте, помянутой данной мне В.и.в. грамоты ни во что ставили и порицали и, залуча меня в деревню Крюкове, у крестьянина Максима Иванова, били и увечили смертным боем, от чего и поныне правою рукою мало владею, которой бой и увечье в Волоколамской канцелярии, при многих свидетелях, как осматриван и описан, а челобитья моего о том бою и о порицании оного В.и.в. указа тамошний воевода... Иван Козлов не принял» (277, 22, 25). Впрочем, иному доносчику угрожали более серьезные неприятности. Колодник Родион Андреев в 1730 г. долго не доносил на своих товарищей по заточению пото-

му, что боялся «от них, колодников себе смертного убийства» (8-1. 377), и не без основания — в колодничьей палате доносчика могли и убить.

Известны, хотя и немногочисленные, попытки осуждения доносительства. В августе 1732 г. солдат Ларион Гробов сказал своим товарищам — доносчикам на солдата Седова, о котором уже шла речь выше: «Съели вы салдата Ивана Седова ни за денешку, обрадовались десяти рублям!». На пытке Гробов оправдывался тем, что сказал это «в пьянстве своем, простотою». В приговоре по этому поводу отмечалось: «Ему, Гробову, говорить было таких слов и во пьянстве не подлежало», за что его били плетью и сослали в Прикаспий (42-2, 171, 180). 14 сентября 1732 г. в Тайной канцелярии расследовалось дело солдата Кулыгина, которого за «непристойные слова» приговорили к смертной казни. По делу проходили извetchик писарь Грязнов и свидетель капрал Степан Фомин. Тайная канцелярия была недовольна капралом, который, во-первых, обвинялся в том, что, «слыша вышепокказанные важные непристойные слова, нигде не донес и сперва в роспросе о тех непристойных словах имянно не объявил, якобы стыдась об них имянно объявить». Это довольно редкий случай в истории политического сыска. Он много говорит о личности человека, который под страхом пытки стеснялся произнести слышанную им непристойность. Кроме того, доносчик Грязнов обвинял Фомина в том, что тот отговаривал Грязнова от доноса: «Илучи с ним, Фоминым, с кабака дорогою, говорил ему, Фомину: “Я о непристойных солдата Кулыгина словах донесу!” и оной Фомин ему, Грязнову, говорил: “Полно, брось!”» (42-3, 12). Действия Фомина расценивались как преступление.

Как уже сказано выше, взгляду на донос, которого придерживался капрал Фомин, противостояло не менее твердое, основанное на законах и присяге убеждение об обязанности подданного исполнить свой долг и «где надлежит донести». Несмотря на полное одобрение и поощрение извetchика со стороны государства, несмотря на то что, донося, люди поступали как «верные сыны отечества», исходили в своем поступке из «присяжной должности», червь сомнения все-таки точил их души. Они понимали безнравственность доноса, его явное противоречие нормам христианской морали. Бывший фельдмаршал Миних в 1744 г. писал А.П. Бестужеву-Рюмину из пельмской ссылки, что в 1730 г., при вступлении Анны Ивановны на престол, он, как главнокомандующий Петербурга, «по должности... донесть принужден был» на главного военно-морского начальника адмирала Сиверса. Миних признавал, что донос его погубил жизнь адмирала, которого сослали на десять лет, и только перед смертью он был возвращен из ссылки Елизаветой Петровной. Теперь, почти 15 лет спустя после извета, доносчик, сам оказавшись в ссылке, писал: «И потому, ежели Ея в. наша великодуш-

нейшая императрица соизволила б Сиверсовым детям некоторые действительные милости щедрейше явить, то оное бы и к успокоению моей совести служило» (340, 175; 697, 15–16).

Тот, кто опасался доноса или знал наверняка, что на него донесут, стремился предотвратить извет во что бы то ни стало. Проще всего было подкупить возможного изветчика, умиловить его подарками и деньгами. В 1700 г. били кнутом и сослали в Сибирь двух стрельцов, Василия Долгого и Михаила Агафонова, которые слышали от посадского Иванова «дерзкие слова» о Петре I, но на него не донесли, «за получением от отца Агафея Иванова подарков и денег 10 алтын» (89, 420 об.). В 1738 г. фузилер Стеблов в компании столяра Максимова, его жены и солдатского сына Кудрявцева произнес «непристойные слова». Доносчик Кудрявцев писал, что «как оной Стеблов из избы вышел на двор и он, Кудрявцев, говорил тому Максиму: “Видишь какие тот Стеблов слова говорит” и оной Максимов и жена ево ему, Кудрявцеву сказали: “Ну, не наше дело!”». Однако «оной же Стеблов, услыша те ево, Кудрявцева, слова и, пришел в тое избу с товарищи своими рекрутами, тремя человеками, били ево, Кудрявцева, смертно и отняли с него кафтан» (44-2, 60). Суть дела, конечно, не в кафтане, а в том, что Стеблов испугался доноса и хотел припугнуть возможного доносчика.

В 1734 г. брянский помещик Совет Юшков, сидя за столом с посадским — портным Денисом Бушуевым, высказался весьма критично об императрице Анне. Бушуев, как верноподданный, решил ехать в Петербург и донести на хозяина застолья. Что только не делал Юшков, чтобы Бушуев отказался от своего верноподданнического порыва: сажал его под арест, приказывал бить батогами, поил водкой, уговаривал, угощал обедом, предлагал помириться. Был момент, когда после уговоров Юшков вызвал дворовых и приказал посадить Бушуева «в холопью светлицу», но портной, как потом он показал, «вырвался у оных людей из рук и прибежав оной светлицы к дверям и, ухватя, бывшего у того Юшкова во оное время... вепринского прикащика Ивана Самойлова, при ... крестьянине Звяге, и при людех того Юшкова (следует список дворовых. — Е. А.) говорил, что он, Бушуев, знает за оным Юшковым некоторые поносные слова, касающиеся к чести Ея и в. и подтверждал, чтоб оные Самойлов и Звяга слышали, и дабы ево, Бушуева, не дали тому Юшкову убить» (52, 3 об. — 7).

Примечательно здесь то, что ни Самойлов, ни Звяга, ни другие холопы Юшкова не спешили поддержать Бушуева и не доносили властям о кричании им «Слова и дела». Несколько недель Бушуев прятался от Юшкова по именам разных помещиков, которые также не доносили о происшедшем

властям, пока, наконец, храбрый портняжка не добрался до Рославля и не заявил воеводе Чернышову, что «ведает он, Бушуев, за помянутым Юшковым, по силе Ея и в. указу первого пункта, некоторые от него, Юшкова, поносительные слова на Ея и в., что на него, Юшкова, и доказать может» (52, 7 об.). Воевода арестовал Юшкова, Бушуева и свидетелей и выслал их в Петербург. В истории купца Смолина, который в 1771 г. добровольно решил пострадать «за какое-нибудь правое общественное дело», примечательно то, что он начал громко ругать государыню в церкви, но добился только того, что причетники выбросили его из храма. Пришлось самоизветчику идти сдаваться властям (591, 573). В 1707 г. красноярский воевода И. С. Мусин-Пушкин поссорился с подьячим Иваном Мишагиным. Тот кричал «Слово и дело» и был посажен своим начальником в тюрьму. Сидя под арестом, Мишагин объявлял «Слово и дело» всем подряд: караульным, арестантам, посетителям. Через решетку окна он кричал «Слово и дело» людям, шедшим в собор на службу. Народ слушал и проходил дальше. В конце концов раздосадованный воевода приказал отрубить Мишагину голову. И сколько тот ни бился и ни кричал, что по закону его нужно отправить в Москву, Мусин был непреклонен и изветчику отсеки буйну голову (804, 459).

Конечно, воевода Мусин-Пушкин грубо нарушил закон. Позиция местных властей была формально очень проста — принять донос, арестовать, допросить указанных изветчиком людей и отправить их в столицу или сообщить по начальству о начатом деле и ждать распоряжений из центра. Но все это — формально, по закону. Чаше всего местные начальники попросту игнорировали доносы. Упомянутый выше батрак Данилов, видевший, как его хозяин с приятелем клялись на иконе, что не будут доносить на их товарища, донес об этом сокольскому воеводе Степану Михневу, который ответил изветчику: «Дай мне справитца и я их к делу приберу!» Но оказалось, что воевода Михнев по доносу Данилова ничего не предпринял, и извет, как тогда говорилось, «уничтожил» и был за это наказан. В 1727 г. пороли пустозерского фискала Розгуева за сокрытие доноса на ссыльного князя С. Щербатого. Когда доносчик на Щербатого повар Антип Сильвестров прибежал в присутствие с доносом, то судья Басаргин его выслушал, но донос даже не записал. Также в 1734 г. понес наказание подполковник Афанасий Бешенцов, как сказано в указе, «за недонос о происшедших того же полку от солдата Сидненкова непристойных словах...». Бешенцова приговорили вместо смертной казни к лишению всех рангов и ссылке в солдаты Тобольского гарнизона. В 1758 г. прокурор Нижнего Новгорода донес на то, что губернская канцелярия скрыла «Слово и дело», которое кричал конвойный солдат, сопровождавший пленных пруссаков. Одним из ранних дел об «уничтоже-

нии» доноса стало дело 1630 г. о псковском воеводе знаменитом князе Д.М. Пожарском и его товарище князе Даниле Гагарине, которые обвинялись в том, что не начали расследования по «Слову и делу» дворового человека Пожарского (181, 3–4). С такими «уничтожениями» извета мы встречаемся и в XVIII в. При этом нужно учитывать, что мы знаем только те случаи «уничтожения», которые каким-то образом стали известны, расследовались в сыске. В 1744 г. сидевший под арестом в конторе Починковских волостей Федотов кричал «Слово и дело», однако бригадир Жилин, выслушав сообщение о заявлении Федотова, сказал: «Нам до этого дела [нет], у нас есть свои командиры» (8-4, 12–14).

Из допроса солдата Ивана Андреева в 1777 г. следует, что этого явно ненормального человека многие годы мучила навязчивая идея, что он не простой крестьянин, а принц Голштинский (т.е. будущий Петр III). Убитый же в 1762 г. император на самом деле является крестьянским мальчиком, которого его мать-крестьянка, слетав на помеле в Голштинию, подменила на принца. Так он под именем Ивана Андреева оказался в олонецкой деревне. О своих «открытиях» Андреев многие годы рассказывал разным людям. На признания Андреева, что он принц, Василий Афанасьев, священник приходской церкви, где жил самозванец, сказал ему: «Что мне, друг мой, с тобою делать! Когда ты страдаешь в чужих руках и сам не можешь куда идти искать своего благополучия, то молись Богу, а мне за тебя в суд идти и об этом донести не можно». Много раз докучал Иван своему пастырю, и тот как-то сказал, что написал о его деле в Синод, что было явной неправдой, отговоркой, все это происходило во времена Ушакова, и дело о самозванце в Синоде так просто бы не замаяли. Позже, когда Андреев попал в армию, то признался товарищу в том, что он внук Петра Великого. Товарищ якобы ответил ему: «Ну, ин живи как хочешь!» Во время морской экспедиции в Средиземное море Андреев сообщил о своем «истинном» статусе капитану Дезину, тот приказал показания самозванца записать и доложил об этом генералу А.В. Елманову. Генерал вызвал Андреева и сказал ему: «Поди, друг мой, с Богом и служи, не мое дело это разбирать, мы приехали сюда не за тем, а воевать с неприятелем, а когда прийдешь в Россию, подай сам о себе государыне». Но Андреев этому совету не последовал — он боялся, «дабы и его также не засадили, как Ивана Антоновича» (476, 315–318). И так лет двадцать этот явно сумасшедший человек рассказывал о себе и своей «проблеме» разным людям. По закону он «вершил ложное о себе разглашение», а его слушатели «уничтожали» донос об опаснейшем политическом преступлении — самозванстве. В сыске Андреев оказался только в 1776 г., да и то благодаря

своему запойному пьянству, которое довело его до ссоры с почтмейстером, когда самозванство Андреева и открылось.

Разные причины мешали начальникам начать дело по услышанному доносу. Они не доверяли изветчику — часто человеку несерьезному, пустому. Многие чиновники, командиры, начальники знали цену пьяному, корыстному доносу. Как и другие смертные, воеводы боялись, что их втянут в машину политического сыска, замучают допросами. Среди местных начальников было немало людей, которые попросту гнушались этими грязными делами. В других случаях воеводы дружили с жертвой доноса, были ее родней. Случалось, что воеводы знали за собой действительные служебные прегрешения и проступки и вели себя так же, как красоярский воевода Мусин-Пушкин, который не только казнил изветчика Мишагина, но пытал его родственников, дал приказ вылавливать всех, кто попытается пробраться в Тобольск и донести на него (804, 459). Наконец, чиновников подкупали, задабривали, уговаривали плюнуть на донос, забыть о нем, советовали положить извет в долгий ящик. В 1735 г. Егор Столетов донес на вице-губернатора Сибири Алексея Жолобова о том, что однажды Жолобов показал ему 300 рублей, которые получил по делу боярского сына Белокопытова. «Какое это дело?» — спросил Столетов — и «Жолобов ответил: “Вина не велика, говорили, что бабы городами не владеют”» (659, 8). Разговор этот для знающих историю политического сыска кажется очень выразительным. Вероятно, в компании, за дружеским столом Белокопытов сказал в том смысле, что плохи стали наши дела, «баба государством правит» или «что с бабы взять — волос долот, а ум короток». За такие речи о правящей государыне Анне Ивановне люди оказывались в застенке, а потом в Сибири, о чем есть немало свидетельств. Но из дела Жолобова, который на следствии подтвердил, что взял деньги, чтобы «уничтожить» донос, видно: не все такие преступные высказывания попадали в следственное дело. Многое зависело от суммы, которую требовалось дать чиновнику, чтобы в Петербурге о доносе никогда не узнали. Из истории Жолобова видно, что цены на «уничтожение» дел были высокие, подчас непомерные. Как известно, взятки и посулы — норма жизни России XVIII в. Есть легенда о том, как Петр I, известный борец со взятками, как-то выслушал Феодосия, который обнаруживал посулы по 500 и 1000 руб. в бочках, залитых медом и засыпанных сахаром. На жалобу пастыря царь отвечал: «Для чего же не брать, коли приносят?» (450, 52).

И все же, знакомясь с десятками дел, начатых по доносам, нельзя не поражаться смелости одних, легкомыслию других, простодушию третьих — всех, кто произносил «непристойные слова». Конечно, психологический фон

жизни общества прошлого ныне восстановить сложно, но можно утверждать, что люди XVIII в., как и других веков русской истории, страшно боялись политического сыска. Страх преследовал всех без исключения подданных русского государя. Они опасались попасть в тюрьму, дрожали от мысли, что их будут пытать, они не хотели заживо сгнить в земляной тюрьме, на каторге или в сибирской ссылке.

Говоря «непристойные слова», люди, конечно, на опыте окружающих убедились, что доносчики всюду, они знали и требование закона о долге подданного доносить, о наградах, которые ждут доносчика. Но все же, несмотря на это, удержаться от «непристойных слов» не могли. Так уж устроена природа человека как общественного существа, которое всегда испытывает острую потребность высказаться, поспорить с другими людьми о своей жизни, о власти, обсудить «политический момент», пересказать слух или вспомнить подходящий к случаю смешной анекдот. Доверять собеседнику, тем более симпатичному, делящему с тобой кусок хлеба и штоф водки, было вполне естественно даже в те опасные времена. Старообрядцы Варсонофий и Досифей, схваченные в 1722 г. по доносу Дорофея Веселкова, говорили о нем своему попутчику Герасиму Зубову, что «их везут в Москву по доношению его, Дорофееву, мы-де, на душу (его. — Е. А.) понадеялись и говорили ему спроста непристойные слова, и Зубов говорил, что им тех слов говорить было ненадобно» (325-2, 42).

Естественно, что было немало таких, как Зубов, людей. Они никому не доверяли и всегда держали язык за зубами, зная заранее, чем могут кончиться разговоры на запретные темы. Но все-таки было больше тех, кто об этом не думал или, зная о всех подстерегавших болтуна опасностях, не мог удержаться от разговоров о политике. По складу характера, темперамента такие люди не могли молчать, к тому же неизбежный спутник русского человека вино развязывало язык. Многие сыскные дела начинались с откровений за стопкой водки, стаканом браги, «покалом» венгерского. Если оценить в совокупности все, что говорили люди о власти, монархии, династии, властителях, современном им политическом моменте и за что они потом (по доносам) оказались в колодничьей палате сысканого ведомства, то можно утверждать следующее. Во-первых, общественное сознание того времени кажется очень, по-современному говоря, политизированным. Ни одно важное политическое событие не проходило мимо внимания дворян, горожан, крестьян порой самых глухих деревень. Темы, которые живо обсуждали люди, извечны: плохая власть, недостойные властители, слухи и сплетни о происхождении, нравах и пороках власть придержащих (см. главу 1). Портной Иван Грязной в 1703 г. донес на нескольких мужиков деревни Таможниково Нижегород-

ского уезда. Он подошел к крестьянам, когда они сидели, отдыхая после рабочего дня, и говорили о политике. Вот запись доноса: «И той деревни крестьяне Фотька Васильев с товарищами человек пять или с шесть, сидели на улице при вечере, и он-де Ивашко, пришел к ним, молвил: “Благоволите-де православные крестьяне подле своей милости сесть?” и они ему сказали: “Садись!” и он-де подле них сел. У них-де, у крестьян шла речь: “Бояре-де князь Федор Юрьевич Ромодановский, Тихон Никитич Стрешнев — изменники, завладели всем царством”, а к чему у них шла речь, того [он] не ведает. Да те же крестьяне про государя говорили: “Какой-де он царь — вертопрах!” и Фотка-де учал Великого государя бранить матерно: “В рот-де его так, да эдак, какой-де он царь, он-де вор, крестопреступник, подменен из немец, царство свое отдал боярам и сам обосурманился, и пошел по ветру, в среды, и в пятки, и в посты ест мясо, пора-де его и на копыя, для того идут к Москве донские казаки”» (89, 575). Подобные речи доморожденных политиков были слышны по всей стране — от Киева до Охотска, от Колы до Астрахани.

Во-вторых, люди в большинстве своем плохо относились к власти вообще и считали, что раньше было лучше. Копиист Вотчинной коллегии Акинфий Надеин — один из легиона тех, кто следовал известному афоризму Дмитрия Ростовского «Всякому свой век не нравен». Надеин в 1754 г. говорил: «Вот-де как ныне жестоко стало! А как-де была принцесса Анна на царстве, то-де порядки лучше были нынешних. А ныне-де все не так стало, как при ней было и слышно-де, что сын ея, принцессы Анны, бывший принц Иоанн в Российском государстве будет по прежнему государем» (124, 823–824). Конечно, можно возразить, что в Тайную канцелярию попадали люди как раз не за то, что они хвалили государей, а за то, что их ругали. Но это не так. Как показано в главе о государственных преступлениях, всякое, даже благожелательное, но неофициальное высказывание о монархе вызывало подозрение власти, и употребление царева имени всуе, в обиходе, преследовали как «непристойное слово» о государе. Но таких благожелательных высказываний известно крайне мало. По многочисленным материалам сыска видно, что люди совершали государственные преступления — бранили царя, осуждали политику власти, поведение монархов — не только под воздействием винных паров, но и потому, что в обществе, лишенном сословных и иных свобод, выразить себя, свое несогласие с тем, что не нравится, можно было только пьяным криком, бесшабашным поступком, нелепым, матерным словом, когда всего бояться становилось невмогуту.

Зная, что бывает с теми, кто говорит «непристойные слова», люди все равно думали, что их эта горькая чаша минует. Они не относились к своим словам серьезно и не понимали, что шутят под носом у дракона. В 1722 г. началось дело

по доносу глуховского школяра Григория Митрофанова на старца Иону и четверых своих великовозрастных товарищей, точнее — собутыльников, в сказывании ими «непристойных слов» и «скаредной брани» Петра I. Из дела видно, что задолго до явки куда надлежит Митрофанов угрожал своим приятелям доносом. В отместку они его избили, обещая еще добавить, если он действительно соберется на них донести. Издеваясь, они кричали ему вслед: «Ты-то, доносчик!, погоди, уж мы тебя, доносчика, в школе розгами побьем и из школы вон выгоним». При этом юноши не понимали, насколько дело серьезно: в тот же день раздосадованный Митрофанов, встретив на дороге какого-то майора, кричал «Слово и дело», и через несколько часов все шестеро сидели в тюрьме, а ноги их уже заложили в колодки (664, 64). В 1728 г. староста пензенского села Никольское на мирском сходе, т.е. в присутствии десятков людей, среди которых были и его недоброжелатели, «говорил про государыню царицу Евдокию Феодоровну: “Чорт-де ее знает, куда она заслана, а он-де, император наш вырос на печке, ничего не знает”». Сказать так о юном императоре Петре II и его теперь вновь всеми уважаемой «государыне — бабушке», царице Евдокии Федоровне, мог только человек легкомысленный — не прошло и года, как он, наказанный кнутом, шел «в вечную работу» в Сибирь (8-1, 344).

Можно поражаться и отчаянности тех священников и даже церковных иерархов, которые, находясь в здравом уме и нередко в твердой памяти, отказывались служить по «календарным дням», не присягали воцарившемуся государю, позволяли себе высказать нечто противоречащее указаниям Синода или царя. В 1730 г. Воронежский епископ Лев Юрлов отказался читать в церкви указ о восшествии Анны Ивановны и, наоборот, приказал молиться о «благочестивой нашей царице и великой княгине Евдокии Федоровне», за что его, по доносу, взяли, лишили епископского посоха и на десять лет заточили в дальний северный монастырь (443, 1060). Тогда же архиерей Лаврентий подвергся ссылке за то, что «о здравии Ея величества многолетия петь не велел» (43, 8). Окруженные толпой прихожан — потенциальных доносчиков, в обществе завистливых недругов-коллег, готовых тотчас известить куда надлежит, такие иерархи страшно рисковали, причем они прекрасно знали, что доносчик на них обязательно найдется. Доносы в среде духовенства процветали: в Синод и Тайную канцелярию в обилии слали изветы и о «непристойных словах», и о простых нарушениях в отправлении треб, и по другим поводам (см. 239, 110, 116). Архимандрит Геннадий, обвиненный в 1764 г. «в неотправлении моления о царской фамилии сказал монахам: “Я это дело благопотребно делаю, ревнуя Арсению митрополиту, а я его ученик имеюся — извольте доносить”». Публично признаться в том, что в своем поступке он

следует примеру ненавистного власти Арсения Мациевича. значило обречь себя на мучения и ссылку, что и не заставило себя долго ждать (633-7. 399).

Правда, некоторые критики режима из числа церковных иерархов были уверены, что донос на них не примут, что они смогут отвертеться, в крайнем случае — покаяться, испросить прощение у государя. Выше уже упомянуто, что дерзкие речи могущественного Феодосия Яновского в Синоде так и не стали достоянием сыска, пока он (по другой причине) не оказался в опале, и тогда его коллеги стали вспоминать все его «непристойные речи» за многие годы. Так же уверенно вел себя и архимандрит Александр-Свирского монастыря Александр, который принимал Петра I, ехавшего на Олонецкие марциальные воды и ночевавшего у него в монастыре. Позже на него донесли в неслужении литургий о императрице Екатерине Алексеевне. Вероятно, из этих же соображений играл с огнем архимандрит Тихвинского монастыря Боголеп, когда «проклинал табак» и говорил другие «непристойные слова» и своего потенциального доносчика предупреждал: «Ведаю-де я, что тебе будет на меня коварничать и хотя-де в том возьмут меня к Москве, и я-де принесу к Великому государю вину и чаю-де, что меня Великий государь простит» (144; 241, 220—221).

Заключая главу о доносах, отмечу их массовость и распространенность в рассматриваемый период, а также необыкновенную отзывчивость власти к изветам всех видов. С помощью законодательства и полицейской практики государство создало такие условия, при которых подданный не доносить (без риска потерять свободу и голову) попросту не мог. Поэтому «извещали» тысячи людей. Читать бесчисленные доносы тех времен — труд для историка тяжкий. От этого чтения можно легко потерять веру в народ и человечество. Единственным утешением служит только та мысль, что без копания в этом окаменелом дерьме невозможно написать книгу на данную тему. Истоки доносительства — в истории становления политического режима Великого Московского княжества. Оно же развивалось, как показывает современная наука, явно по иному, чем Тверь или Новгород, пути. В дальнейшем, по мере упрочения Московского царства, значение извета возрастало не только по причине усилившейся самоизоляции России от мира, но и в силу особенностей управления такой огромной страной, как Россия, при явной слабости аппарата власти на местах. Анализируя законодательные акты Московского государства XVII в., мы видим, что многие из них включают норму об извете на нарушителей данного закона как непременную и обязательно упоминают о награждении доносчика, даже если речь идет о доносе не по тяжкому государственному преступлению, а лишь по служебным, зе-

мельным и другим делам (см. 302, 57, 65, 69 и др.). Так при слабости власти, неразвитости инструментов государственного контроля доноительство стало чуть ли не единственным эффективным способом выявить «ниспровергателей» государевых указов, а сам донос стал служить доступным власти способом контроля за исполнением законов. Появление института штатных доносчиков — фискалов есть законченное выражение этого принципа на практике. Кажется, что в тогдашних условиях только с помощью доносов соседей, родственников, сослуживцев, товарищей, конкурентов, завистников власти можно было проконтролировать соблюдение подданными законов в поместных, земельных делах, при уплате налогов, податей и пошлин, при соблюдении монополий, при исполнении службы государевыми людьми, в борьбе со старообрядцами и т.д. и т.п. Само собой, доноительство стало самым надежным оружием в борьбе с государственными преступлениями, о чем подробно сказано выше.

Общественная атмосфера была пронизана стойкими миазмами доноительства, доносчиком мог быть каждый, и все боялись друг друга. Страх стать жертвой доноса был так силен, что известны случаи доносов на самих себя. Так, в 1762 г. был арестован солдатский сын Никита Алексеев, который явился автором оригинального самоизвета. Он «на себя показывал, что будто бы он, будучи пьяным, в уме своем поносил блаженные и вечной славы достойныя памяти государыню императрицу Елизавету Петровну». По-видимому, следствие оказалось в некотором затруднении и потребовало от Алексева уточнений. Но он лишь прибавил, что кроме императрицы еще и Бога бранил: «Он в уме своем рассуждал, что для чего-де на него, Алексева, Бог прогневался и всемилостивейшая государыня его не смирует, что-де он часто находится в наказаниях и притом же в уме своем Бога выбранил и всемилостивейшую государыню поносил, а какими словами — не упомянуть». А именно последнее и интересовало следователей более всего — в его деле свидетелей, которые бы «помогли» вспомнить сказанные «непристойные слова», быть не могло. Однако за Алексеевым числились и другие грехи, разбираться в этом странном самооговоре в Тайной канцелярии не стали, а приговорили преступника к битью кнутом и ссылке на каторгу (667, 527).

«Быти от государя в опале»

Рассмотрим, что происходило после того, как в политическом сыске был получен донос. Обычно, если речь шла о «маловажных» делах, начальник сыскного ведомства выслушивал извetchика и приказывал внести содержание извета в журнал входящих бумаг. Затем он вызывал дежурного офицера и приказывал вместе с солдатами отправиться за указанным в доносе отвetchиком и свидетелями. Резолюцию об этом в журнале Тайной канцелярии записывали по принятой форме: «Показанных людей сыскать и распросить с обстоятельности по указу» (664, 24). Арест же человека известного, знатного оказывался порой делом непростым. Ему, как правило, предшествовали события и действия, которые принято с древних времен называть *опалой*. Именно опала становилась часто исходным толчком для возбуждения политического дела. «Опала» — это гнев, немилость, нерасположение государя к своему подданному, преимущественно служилому человеку. С юридической точки зрения по своей сути опала есть, как писал Н.Д. Сергеевский, «общая угроза в неопределенной санкции» (673, 284). В отрывке из комментария В.Н. Татищева к Судебнику 1550 г. дано определение этого понятия: «Опала есть гнев государев, по достоинствам людей и преступлений различенствовало, яко: 1. Знатному не велят ко двору ездить, 2. Не велят со двора съезжать и сии, как скоро кому объявят, обыкновенно черное платье надевали; 3. В деревню жить; 4. Писали по городу во дворяне, отняв чины, 5. В тюрьму» (725, 291). Такое определение опалы распространимо на XVII век, а также на первую половину XVIII в. — время жизни самого Татищева, да и после него. Проявление самодержавной воли, а часто и произвола государя в течение нескольких веков русской истории становилось истинной причиной гонений, репрессий и даже террора. Недаром существовала выразительная пословица «Царев гнев — посол смерти» (356, 13). «Опала» — это еще и родовое понятие наказания служилого человека, хотя в принципе опала могла быть наложена на любого подданного. Классификацию наказаний опальных, данную Татищевым, нужно дополнить и другими их видами,

в том числе смертной казнью. Но об этом будет подробно сказано ниже, в главах о приговоре и наказании.

Как вели себя люди накануне ареста, что они чувствовали и о чем думали? О простолюдинах, не оставивших воспоминаний об этом, сказать что-либо определенное довольно трудно. Конечно, эти люди боялись ареста после того, как становились участниками или свидетелями разговора, в котором прозвучали «непристойные слова». Страх давил всех и каждого. Человек маялся в ожидании ареста, не спал ночами. Но для многих будущих узников политического сыска арест становился полной неожиданностью — ведь они действительно говорили «непристойные слова» без задней мысли, «спрос-та», «не подумав», в кругу близких людей и не предполагали, что уже есть на них извет и приближается их роковой час. Подчас царский гнев обрушивался на головы подданных внезапно, в тот момент, когда его не ждали. В «Черниговской летописи» описан арест черниговского полковника Ивана Полуботка, который произошел при следующих обстоятельствах. В 1723 г. Полуботок вместе со старшиной был вызван в Петербург, где украинцы подали Петру I челобитную. Казаки пытались добиться восстановления старых привилегий. У императора же попытки напомнить ему о прежних вольностях Украины вызывали гнев. Он прорвался в тот день, когда у Троицкого собора в Петербурге малороссийская старшина подала Петру челобитную о восстановлении гетманства на Украине. А далее произошло то, что называется «наложить опалу»: царь, прочитав челобитную, «того ж моменту изволил приказать своими устами генерал-маэору... Ушакову з великим гневом и яростию взять под караул полковника Павла Полуботка, судию енерального Ивана Чарниша, Семена Савича, писаря енерального, там же при Кофейном доме стоявших и всех, кто с ними ассистовал, от которых и от всех отвязавши своими руками шабли тот же енерал Ушаков велел всех попроводити в замок мурований Питербургский, где с первого часу порознь были все за караулом посажени». Полуботок, обвиненный в измене, умер в крепости 18 декабря 1724 г. (383, III—IV; 412, 517, 521).

Но все же чаще опала надвигалась медленно, и ее проявление выражалось, в частности, в запрете ездить ко двору. Это был старинный обычай запрещать государеву холопу, вызвавшему гнев повелителя, «видеть государевы очи». Нарушить этого запрет значило оскорбить честь государя. Летом 1725 г. архиепископу Феодосию, устроившему скандал в императорском дворце, было запрещено появляться на глаза Екатерины I. Однако он этим пренебрег и тем самым усугубил свою вину и обрек себя на опалу (322, 279). Ранее, в конце XVII в., таких ослушников насильно доставляли на дворцовое (Постельное) крыльцо и там им публично объявляли о государевой опале, после

чего отправляли в ссылку (631, 342–344, 296, 306). В 1740 г. с запрета ездить ко двору началась опала А.П. Волынского. К нему в дом явился А.И. Ушаков и именем государыни объявил Волынскому о запрете появляться при дворе. При этом Волынский мог еще посещать Кабинет министров (304, 141). С запрета входить в ранее всегда для него открытые апартаменты императрицы Елизаветы началась опала И.Г. Лестока. Об этом ему было сказано 22 декабря 1748 г., а через два дня генерал С.Ф. Апраксин с солдатами приехал в дом к Лестоку и объявил ему домашний арест (411, 254).

Судьба попавших в немилость людей бывала обыкновенно решена еще тогда, когда они даже не знали об опале. Обычно повод для гонений на сановника искали тайно от него. Было несколько традиционных предлогов, поводов, чтобы начать «опальное дело». Как правило, жертвы опалы состояли на государственной службе, поэтому именно в их службе находили промахи, ошибки и даже не замеченные ранее проступки. Их использовали как предлог для начала сыского дела. Князя В.В. Голицына — фаворита царевны Софьи обвинили в провале Крымских походов 1687 и 1689 гг., хотя ясно, что он пал жертвой борьбы за власть между Нарышкиными и Милославскими. Обвинение (подчас голословное) в измене, в попытках связаться с границей было также весьма распространенным предлогом для опалы. Как известно, им часто пользовался Иван Грозный в своих репрессиях против влиятельных служилых людей. К этому же предлогу для опалы прибегали и позже. Так, чтобы окончательно «утопить» сосланного в свое имение, но еще опасного власти Меншикова, верховники в конце 1727 г. обсуждали депешу Николая Головина — российского посла в Стокгольме. Он сообщил, что, по слухам, Меншиков якобы вошел в тайную сделку с враждебными России силами в Швеции и собирается вернуть шведам завоевания Петра I. Тотчас верховники нарядили следствие, и начался новый цикл допросов Меншикова, которого после этого сослали в Сибирь (633–69, 770; 419, 95–97). Поводом для опалы Волынского стало поднятое из архива дело о его злоупотреблениях в бытность казанским губернатором. Как известно, Волынский был отъявленный вор, самодур и взяточник, но в 1731 г. императрица Анна Ивановна простила ему все, «от него самого объявленные» взятки (774, 119). Теперь, в 1740 г., старые дела пригодились сыску. Кроме того, на свет Божий извлекли и чью-то жалобу на дворецкого Волынского Василия Кубанца, взявшего из конюшенного ведомства на нужды своего господина 500 рублей. Арестованный Кубанец сразу же начал давать показания на Волынского, обвинил его в таких государственных преступлениях, что о злосчастных 500 рублях уже никто не вспоминал. Вообще же донос всегда являлся удачным поводом для опалы, о чем сказано выше. Для опалы братьев Массон в конце 1796 г.

была использована перлюстрация одного частного письма, ставшая поводом для допросов и обвинения в неуважении императора (635, 562). Человек, почувствовавший приближение опалы, увидевший несомненные ее симптомы, оказывался в ужасном, неестественном для себя положении. Мир вокруг него сразу менялся:

Не смерть страшна. Страшна твоя немилость...

Узнав о запрете ездить ко двору, А.П. Вольтинский впал в унынье. Обычно многочисленные гости стали избегать его гостеприимный дом. По городу поползли слухи, что на друзей Вольтинского «кладены были метки». Лишь несколько человек остались верны дружбе с Вольтинским и стремились как-то приободрить его (788, 13; 793, 117). Массон-младший, который много лет жил и служил в России, был в конце 1796 г. выслан за границу вместе со своим братом — полковником русской армии. В своих мемуарах Массон подробно описывает состояние приближения опалы, в котором внезапно оказался он, вчера еще преуспевающий 37-летний майор, секретарь великого князя Александра Павловича. Массон был свой человек при дворе, водил знакомства с первейшими вельможами империи, имел много влиятельных друзей и покровителей. Дома его ждала молодая, красивая жена и новорожденная дочь. И вдруг все переменялось. Конечно, перемены эти зрели давно. Массон и не подозревал, что недавно вззошедший на престол император Павел I с давних пор недолго любил секретаря своего сына и, пересматривая списки штаба великого князя, не включил туда майора Массона. Узнав об этом, Массон огорчился, но до определения на новую службу он регулярно ездил в Зимний, к наследнику. 13 декабря 1796 г. утром он собирался во дворец, где его ждал с делами великий князь. Но не успел он выйти из дома, как к нему внезапно вошел гвардейский офицер и приказал следовать к генерал-директору полиции Н.П. Архарову. И далее началось то, что часто описывают люди, становящиеся жертвами бессудных расправ: причину вызова к начальнику полиции ему не объяснили, в приемной Архарова вскоре оказались брат мемуариста полковник Массон, а также неизвестный им однофамилец, который не менее братьев был смущен этим внезапным приглашением. Архаров отсутствовал, дежурный офицер не выпускал Массонов из приемной, но и никаких пояснений не давал. Так, в тревоге и томлении, они просидели до позднего вечера. Когда, наконец, явился из дворца Архаров, на недоуменные вопросы братьев он отделался какими-то общими фразами, ссылаясь на волю государя, и приказал братьям явиться завтра.

Оказавшись в подобном странном положении, человек начинал метаться и искать содействия у друзей, знакомых, сослуживцев. В 1727 г. А.Д. Менши-



Андрей Иванович Остерман

ков, почувствовав близость опалы, пытался предупредить свою погибель. Он безуспешно искал встречи с императором Петром II, писал дружественно-просительные письма вице-канцлеру А. И. Остерману (который втайне и подготовил крушение всесильного фаворита). Когда же 8 сентября 1727 г. ему объявили домашний арест, то светлейший послал жалобную челобитную царю, прося освободить его из-под ареста, «памятуя речение Христа-спасителя: да не зайдет солнце во гнев Вашем» (704-19, 118). Потом он послал во дворец свою дочь Марию — невесту царя, а также жену, написал послания сестре царя Наталье Алексеевне, своим коллегам-верховникам. Да и потом он неустанно слал знакомым письма с просьбой о помощи и содействии, заставлял свою жену и дочерей писать к женам и дочерям этих сановников. Стоит ли говорить, что никто ему не помог.

Почувствовав приближение опалы, устремился по «благодетелям» и Артемий Вольнский. Временщик Бирон — главный его погубитель — кабинет-министра не принял, а фельдмаршал Миних в помощи Вольнскому отказал (304, 141). Вот и Массон-младший в отчаянии поехал к своему давнему знако-

тому, Алексею Аракчееву, который некогда служил под командой его брата и был с ним в хороших отношениях. Но на просьбу замолвить словечко перед государем входивший тогда в силу временщик сказал, что взял себе за правило не мешаться в чужие дела и, зевая, удалился почивать (635, 365—366). В этом также состояла логика опалы. Каждый думал о себе, и все, как прокаженного, сторонились вчерашнего счастливица. «Куда девались искатели и друзья? — вспоминала в своих мемуарах Н.Б. Долгорукая в первые дни опалы семьи Долгоруких. — Все спрятались и ближние, отдалече меня стаща, все меня оставили в угодность новым фаворитам, все стали уже меня боятца чтоб встречу с кем не попалась, всем подозрительно. Лутше б тому человеку не родитца на свете, кому на время быть велику, а после прийти в несчастье: все станут презирать, никто говорить не хочет!» (273, 28).

Поддерживать опального человека, ходатайствовать за него и даже ездить к нему считалось крайне опасным. Для этого требовалось большое мужество и даже самопожертвование, на которые царедворцы в большинстве своем способны не были. К опальному Волынскому по-прежнему ездил только граф Платон Мусин-Пушкин. Потом в Тайной канцелярии его с пристрастием допрашивали, зачем он, зная об опале кабинет-министра, к нему все-таки ездил, «не для заговора ли?» (4, 406.—5). Простые человеческие чувства — дружба, верность, сочувствие — как возможные мотивы поведения человека сыску были всегда непонятны. Да и сам попавший в опалу стремился избегать встреч и разговоров, которые могли бы бросить на него тень и усугубить государев гнев. Екатерина II вспоминала об опале Лестока в 1748 г.: «По вечерам императрица собирала двор у себя в своих внутренних апартаментах и происходила большая игра. Однажды, войдя в эти покои Е.в., я подошла к графу Лестоку и обратилась к нему с несколькими словами. Он мне сказал: “Не подходите ко мне!”. Я приняла это за шутку с его стороны, намекая на то, как со мной обращались, он часто говорил мне: “Шарлотта! Держитесь прямо!”. Я хотела ему ответить этим изречением, но он сказал: “Я не шучу, отойдите от меня!”. Это меня несколько задело и я ему сказала: “И вы тоже избегаете меня”. Он возразил мне: “Я говорю вам, оставьте меня в покое”. Я покинула его, несколько встревоженная его видом и речами. Два дня спустя, в воскресенье, причесывая меня, мой камердинер Евреинов сказал мне: “Вчера вечером граф Лесток был арестован и говорят, посажен в крепость”. Тогда одно только название этого места уже внушало ужас» (313, 140).

Тревожные мысли терзали человека, над головой которого нависла гроза царского гнева. Он напряженно вспоминал все обстоятельства своей жизни за последнее время, думал о тех, кто мог бы ему навредить. Так, Массон, подумав, что все его дело возникло из-за неосторожных высказываний

старшего брата и что ему лично ничего не угрожает, бросился во дворец к своему покровителю графу Н. И. Салтыкову. Массон был дружен с его сыновьями. Вельможа, выслушав Массона, сразу же сказал, что положение молодого человека неважное. «Не заблуждайтесь на этот счет, — сказал мне граф, — я нынешним вечером был зван два раза к императору собственно по поводу вас. Он вас считает человеком опасным и дело вашего брата тут ни при чем: оно не делает разницы во мнении императора...» «Но какое же преступление мое? В чем я обвиняюсь?» — воскликнул Массон. Салтыков отвечал словами, которые применимы к большинству известных случаев государственной опалы: «Достаточно того, что император вас подозревает и не доверяет вам, а я при этом не могу поручиться за ваши политические мнения» (635, 562).

Выше уже сказано, что состояние «подозрения» было видом государственного преступления, а человека «подозрительного» преследовали как преступника, причем он мог и не знать, в чем же состоит причина недоверия к нему самодержца. Массон, его брат, как и другие люди, попавшие в подобное положение, без конца и на все лады перебирали различные причины высочайшего неудовольствия. Они вспоминали каждое свое неосторожно сказанное слово, подозревали окружающих в интригах, но могли так до конца своей жизни и не узнать истинную причину государева гнева. «Я был осужден, — пишет Массон, — не бывши обвиненным и даже допрошенным: меня оставили в полнейшей неизвестности о причинах моего задержания, так что уже сам я вынужден был искать их или в разборе собственных, совершенно невинных поступков, или предполагать эти причины в необъяснимом предубеждении императора. Был ли я жертвою политической его подозрительности по отношению к его сыну или простого каприза? Этого я не знал, да и не знаю до сих пор». Через несколько дней после высылки мужа жена Массона подстерегла Павла I возле Зимнего дворца и со словами: «Правосудия, государь! Молю о правосудии мужу, не о помиловании!» — бросилась наперерез императору, сидевшему на лошади. И все равно ничего в судьбе ее мужа не прояснилось. «Ваш муж и его брат виноваты — отвечал Павел, — а я люблю порядок у себя в империи. Отойдите прочь, если не хотите попасть под ноги моей лошади!» Несчастная женщина ухватилась за узду лошади, а потом упала в обморок. Император проехал мимо (635, 582). «Размышления эти, — писал потом Массон о первых днях опалы, — не давали мне покоя, так что я вдруг вскочил с постели перебирать свои бумаги, чтобы уничтожить из них все, какие могли бы показаться подозрительными и повредить мне или моим друзьям...»

Массон давно жил в России, поэтому поступал совершенно правильно. Особенно тщательно он изорвал свой дневник, в который заносил заметки и наблюдения о жизни двора. Дневниковые записи, рукописи записок и книг, а также письма обычно становились самыми опасными уликами при разоблачении государственных преступников. За 57 лет до этого также поспешно жег бумаги перед арестом Волынский. На вопрос следователей, почему он уничтожил в огне черновики своих бумаг и каково их содержание, Волынский отвечал, что «оне мне более не были нужны», но потом признался, что опасался неприятностей, если его черновики кому-то попадут на глаза и это ему «причтется». Дело в том, что в них было немало черновых отрывков проекта о «поправлении государства». Волынский боялся, что любая фраза из проекта может на следствии ему повредить. Тогда же он сжег и перевод с латыни книги Юста Липсия, которую считал для себя также «опасной» (3, 128, 162 об., 177 об., 212 и др.). И это правильно — внимание следователей привлекали все заметки на полях прочитанных преступником книг, все выписки и конспекты. Составителя их вопрошали, зачем он читал эти книги, зачем конспектировал и в чем смысл каждого значка и пометы на полях (775, 678). В 1748 г. по ночам свои бумаги перебирал и почувствовавший близость опалы Лесток. Часть документов он уничтожил, а часть передал знакомому дипломату (760, 50). Жег документы или передавал их друзьям накануне ареста в 1757 г. и погубивший ранее Лестока канцлер России А.П. Бестужев-Рюмин. Нет сомнений, что избавлялись от своего архива все, кто ждал ареста, — каждая строчка могла быть «поставлена в строку» арестанту, невинные личные, интимные записи, глухие пометки становились уликой, вели людей к смерти на эшафоте и на каторгу.

Много тяжелых минут пережил до рокового стука в дверь попавший в Петропавловскую крепость в 1779 г. по обвинению в банковской афере Г.С. Винский. Его воспоминания передают нарастающее напряжение, которое предшествовало аресту. Винский пишет, что поначалу он, столичный шалопай, прожигавший жизнь на деньги, полученные из банка под залог, пропускал мимо ушей все разговоры и слухи о начавшемся следствии по этому делу. В августе приятель Соколов рассказал ему, что комиссия под руководством А.И. Терского — обер-секретаря Сената открыла свою работу в Петропавловской крепости и что «в рavelине Св. Иоанна, в казематах, с великою поспешностию строят много чуланов, что, кроме Кашинцова (обвиненного в банковском подлоге поручика. — Е. А.) и его товарищей, взято уже в комиссию еще несколько людей, касательно банка. Обо всем я слушал весьма равнодушно. В сентябре глухо начали поговаривать о сей комиссии в городе; догадывались, что открыт важный заговор, ибо по строгости не дру-

гое что могли заключить. К концу сентября и в начале октября стали люди видимо пропадать: иной, поехавши в гости, остался там навсегда; другой, позванный к своему генералу, исчез невидимо, из гвардейских полков многие — в неизвестную команду [отправлены]» (187, 73).

8 октября Соколов рассказал Винскому, «что в крепость уже множество натаскано», чем слегка насторожил беззаботного гуляку. На следующий день его уже как следует напугал слуга соседа — офицера Брешинского, прибежавший к Винскому с рассказом о том, что утром за его барином приехал аудитор от командира генерала Салтыкова, и барин не вернулся не только к обеду, но и к вечеру, и что нет его и до сих пор. Слуга бегал к генералу на дом, побывал у всех знакомых Брешинского — нигде не видели и не слышали. «“Ах, сударь, — плакал слуга, — наведайтесь вы, не узнаете чего-нибудь?” — “Хорошо, мой друг, я иду со двора, постараюсь”. А между тем сам думаю: “Чорт возьми наведыванье, как бы самого не зацепили, не лучше ли от этого штурму куда-нибудь уклониться? Но как оставить жену? Куда ехать? И с чем ехать?” Невольное раздумье и глупое надеяние удерживали меня в моей беспечности».

Через три дня Винский рано утром отправился к Соколову «наведаться о дальнейших движениях комиссии» и ... «нашел весь его дом в слезах и сетовании — он в ту ночь был взят и увезен. Болтнувши несколько слов скорбящим во утешение, я поторопился оставить сие плачевное место и, идучи с сжатым сердцем обратно в город, рассуждал: “Соколова взяли, по одному наименованию берут, не мудрено и мне быть взяту”» (187, 74). Размышления Винского были небезосновательны — поколения русских людей, знавших почерк политического сыска, видели в арестах достаточно четкую схему: брали людей «одного наименования», т.е. рода занятий, службы, одного круга общения, увлечений. В деле Винского «наименованием» стала «золотая молодежь», гулявшая по кабакам на взятые в банке под залог деньги. Эти повесы были знакомы между собой, что для завсегдатаев злочных мест вполне естественно.

Однако чаще всего поначалу никакой схемы при арестах не было — следователи, получив одобрение верховной власти, арестовывали главных «злодеев», допрашивали их и дальше хватали всех, кого называли на допросах и с пыток подследственные. Так и возникала схема. В ней была заложена своя логика, которая основывалась на двух главных положениях. Во-первых, при расследовании политических дел действовал принцип, выраженный в инструкции императрицы Анны А.И. Ушакову: «До самого кореня д о с т и г н у т ь». Во-вторых, следствие признавало, что всякое преступление против государства невозможно без «причастников», и задача следова-

телей — выявить их круг, обнаружить преступное сообщество и обезвредить его. Подробнее об этом будет сказано ниже.

В итоге, когда начинались большие процессы, город замирал в ожидании арестов и репрессий. Секретарь саксонского посольства Пецольд писал 4 июня 1740 г. о деле Волынского: «У одних замешан враг, у других родственник, у третьих приятель, и почти из каждой семьи кто-нибудь прикосновен к делу Волынского, невозможно изобразить чувства радости и огорчения, надежды и страха, которые борются теперь между собою и держат всех в общем напряжении» (207, 1366). Такая же паника охватила столичный свет и в 1718 г., когда начали брать людей по делу царевича Алексея, и в 1743 г., когда город жил слухами об арестах по делу Лопухина.

Но вернемся к Винскому. Он решил бежать из столицы, срочно уехать в Лифляндию, но денег на дорогу не имел, а взять их в долг у свояка не удалось. «Мучимый нежностью к жене, оставленной мною без всякаго призрения, страхом быть захваченным в крепость, нетерпением исполнить задуманное путешествие и неизвестностью успеха, я в сей день сумрачный бродил по улицам, никуда не заходя и ничего не евши» (187, 74). Примечательно, что здесь речь идет о человеке, который не чувствовал за собой вины, никогда не знал ни самого Кашинцова, ни его товарищей. Лишь потом выяснится, что Кашинцова знал Соколов, а Соколов был приятелем Винского, и этого оказалось достаточно для подозрений и ареста. Вернувшись вечером домой, Винский поразил жену своим мрачным видом и, против обыкновения, не отправился в трактир. Жена его также против обыкновения домохозяйству супруга не обрадовалась, а, наоборот, тоже нечто предчувствуя, как писал Винский, «старалась меня уговорить выйти из дому. Но я упорно оставался, сидел, грустил, как ожидая приговору, словом час мой ударил: ковшик горечи поднесли, надобно было выпить». Вскоре Винский услышал шум и увидел, как в темноте передней блеснули форменные пуговицы... (187, 74–75). Массона в 1796 г. взяли после бессонной ночи, под утро, когда он только что сжег свой дневник и другие бумаги: «Управившись с этими предохранительными мерами и видя, что еще не рассвело, я собирался опять лечь в постель, но вслед за тем послышался стук в двери — то пришли за мной» (635, 569–570).

Обычно к этому времени указ об аресте уже был подписан. Документ этот был произволен по форме, но ясен по содержанию: «Указ нашим генералу Ушакову, действительным тайным советникам князю Трубецкому и Лестоку. Сего числа доносили нам словесно поручик Бергер, да майор Фалькенберг на подполковника Ивана Степанова сына Лопухина в некоторых важных делах, касающихся против нас и государства; того ради — повеле-

ваем вам помянутого Лопухина тотчас арестовать, а у Бергера и Фалькенберга о тех делах спросить о том, в чем доносят на письме, по тому исследовать и что по допросам Лопухина касаться будет до других кого, то, несмотря на персону, в Комиссию свою забирать, исследовать и что по следствию явится, доносить нам». Этот документ — указ императрицы Елизаветы от 21 июня 1743 г., по которому началось знаменитое дело Лопухиных (660, 6–7).

Следующей стадией опалы обычно становился *домашний арест*, о чем уже отчасти сказано выше. «Графу Михаилу Бестужеву объявить Ея и.в. указ, чтоб он со двора до указу не выезжал» — таким был указ о домашнем аресте в 1743 г. одного из участников дела Лопухиных. Бестужева дома не оказалось, он отдыхал на приморской даче, где его взяли и предписали продолжать «отдых», уже не выходя из комнат, под охраной (660, 14). Указ о домашнем аресте означал, что к дому опального наряжался караул, который не позволял хозяину ни выходить из дома, ни принимать гостей. Указ о домашнем аресте Меншикову 8 сентября 1727 г. объявил генерал С.А. Салтыков, который именем Петра II запретил Меншикову покидать дворец. Как содержали людей под домашним арестом, видно из инструкции подпоручику Каковинскому, приставленному 16 апреля 1740 г. к дому А.П. Волынского. Ему надлежало заколотить все окна в доме, запереть и опечатать все, кроме одной, комнаты. В ней и следовало держать опального кабинет-министра, как в камере тюрьмы «без выпуска», при постоянном освещении. Все это делалось, согласно инструкции, для того, чтобы арестант «отнюдь ни с кем сообщения иметь или тайных тому способов сыскать не мог и для того в горнице его быть безотлучно и безвыходно двум солдатам с ружьем попеременно» (304, 142). Дети Волынского находились в том же доме, но отдельно от отца. К ним был приставлен особый караул. Француз Мессельер писал в 1758 г., что посаженного под домашний арест А.П. Бестужева «раздели донага и отняли у него бритвы, ножички, ножи, ножницы, иголки и булавки... Четыре гренадера с примкнутыми штыками стояли безотходно у его кровати, которой завесы были открыты» (473, 995). Согласно указу Елизаветы от 13 ноября 1748 г. о домашнем аресте Лестока, опального вельможу держали отдельно от жены, «а людей его, — читаем в указе, — никого, кто у него в доме живет, никуда до указу с двора не пускать, також и посторонних никого в тот двор ни для чего не допускать, а письма, какие у него есть, также и пожитки его, Лестоковы, собрав в особые покои, запечатать и по тому же приставить караул» (760; 763, 50).

Следователи приезжали в дом арестованного и допрашивали его. В одних случаях домашний арест оказывался недолгим — Лестока, например,

отвезли в Петропавловскую крепость уже на третий день, А.П. Бестужев же маялся под «крепким караулом» четырех grenadiers целых 14 месяцев (411, 274–275). Долго держали в Москве под домашним арестом бывшего кабинет-секретаря Петра I А.В. Макарова, и, как он жаловался в 1737 г. императрице Анне, все его «движимые имения и пожитки запечатаны и он к ним не допускается», хотя ему нужна одежда и другие вещи, которые, запертые в других комнатах, портятся и гниют. 20 сентября 1737 г. Анна указала «его, Макарова, арест таким образом облегчить, чтоб ему в церковь Божию ехать и прочие домашние нужды исправлять позволено было, только б в прочем по компаниям никуда не ездил, толь меньше из Москвы съезжать дерзнул, и в том его обязать надлежащим реверсом, также и к запечатанным пожиткам его допустить и их ему в деспозицию отдать», а также взять «по описи реверс, что ничего не продаст и отдаст на сторону» (382, 190). Но не всегда домашний арест смягчали так, как в истории с Макаровым. Наоборот, после домашнего ареста чаще всего следовала ссылка или перевод в крепость, в тюрьму. Впрочем, попадали туда и без «прохождения» стадии домашнего ареста.

Теперь коснусь различных аспектов работы сыска при аресте государственного преступника, жившего вдали от столицы. Чтобы изловить преступника, особенно когда он жил в провинции, из сыскаго ведомства посылали нарочного (как правило, гвардейского сержанта или офицера), который получал в дорогу деньги на прогоны (325-1, 119) и инструкцию (она называлась также «ордером», а в XVII в. — «наказной памятью»). Такие инструкции (а их сохранилось немало), как и рапорты нарочных по завершении операции, позволяют воссоздать типичную сцену ареста в провинции. В рапорте от 15 октября 1738 г. полковник Андрей Телевкеев описывает, как он, действуя строго по инструкции, арестовывал обвиненного в произнесении «непристойных слов» полковника С.Д. Давыдова: «По данному мне... ордеру сего числа пополудни во 2-м часу полковника Давыдова изъехал (т.е. нашел. — Е. А.) я в деревне Царевшине и, поставя кругом двора и у дверей в квартире ево караул, вошел к нему в избы, выслав всех, арест ему объявил, и сперва он не противился, потом, немного погодя, говорил, чтоб я объявил ему подлинной указ, по которому арестовывать его велено, но я ему повторно объявил, что указа показать ему не должно, но он, противясь есче, закричал: “Люди! Караул!” на что я ему объявил, что того чинить весьма непристойно, представляя о том указы Ея и.в., и по оному уже едва шпагу из рук своих отдал; письма ево сколько нашлось, все осматривал и партикулярныя [в том числе], собрав, особо запечатав, и деньги под росписку отдал прапорщику Тарбееву; другие же, касающиеся до ево комис[с]ии, отданы бывшим при нем подьячим, по ордеру же вашего превосходительства велено, по изъез-

де ево, того ж часу в путь выслать, но за неимением к переправе порома чрез реку Волгу на несколько часов принужден удержать, пока пором сделают, которой здешним мужикам тотчас делать приказал и для понуждения людей своих послал, а по сделании, отправя при себе за реку, возвращуся...». Кроме того, Телевкеев сообщал о результатах обыска: «По осмотру же моему в имеющемся при нем подголовнике, между другими, найдено в бумашке мышьяку злотника с два, которой взял с собой» (64, 4).

В этом описании есть несколько важных моментов. Во-первых, Давыдова арестовали, согласно инструкции, внезапно, дом же, где он находился, предварительно окружили цепью солдат. Так делалось всегда, чтобы предотвратить возможную, как тогда говорили, «утечку» преступника. Во-вторых, при аресте Телевкеев забрал и опечатал все письма и бумаги Давыдова, как официальные, так и личные. Опечатывание производилось, как правило, личной печатью руководителя ареста. Это было другое обязательное правило при аресте — не дать преступнику уничтожить улики. В-третьих, арестованного Давыдова немедленно повезли в Петербург. Доставить преступника как можно скорее в столицу считалось важной обязанностью нарочного. Правда, при захвате Давыдова было нарушено важное правило, обязательное при аресте персон высокого ранга: ему не был предъявлен именной указ об аресте, после чего Давыдов, не без оснований, стал звать на помощь людей и поначалу отказывался отдать свою шпагу. Потом Тайная канцелярия сурово спросила организатора ареста, Татищева: зная, «что о именных И.в. указах, не имея оного собою, употреблять никому не подобает и дело немалое, то для чего помянутому Давыдову объявить вы велели, что якобы по именному Ея и.в. указу повелено его арестовав и под караул в Санкт-Питербурх прислать, не имея о том имянного Ея.и.в. указу?». Татищев оправдывался: он хотел как лучше, чтобы «оной Давыдов не дознался для чего арестуетца, дабы не надумался в говоренных ему, Татищеву, словах к выкрукте себе что показывать» (64, 4–5). По-своему Татищев был прав — все инструкции об аресте преступника требовали, чтобы он ничего не знал о причине ареста.

Обычно, приехав в провинциальный или уездный город, нарочный гвардеец являлся к воеводе или коменданту, предъявлял ему свои полномочия в форме именного указа или ордера и узнавал, где может быть преступник. В одних случаях указ был адресован к конкретному воеводе, а в других имел в виду все местные власти, независимо от их уровня. В XVII в. такой документ назывался «проезжая грамота с прочетом». Все власти обязывались ею, под угрозой наказания, помогать нарочному людьми, лошадьми, деньгами, устраивать его на постой. Для исполнения именного указа посланец получал от

воеводы в помощь отряд солдат, подьячих и проводников. С этим воинством столичный гость и арестовывал преступника. Согласно инструкции 1734 г., каптенармус Степан Горенкин, посланный на Олонец за старообрядческим старцем Павлом, имел право арестовывать и допрашивать всех людей, которые могли бы указать место, где укрывался старец, причем в случае если Горенкин не нашел бы старца, то ему предписывалось всех арестованных по делу прямо с семьями отправлять в Петербург. Часто, боясь упустить нужного им человека, посланные захватывали в доме преступника всех подряд его жителей, а также гостей и уже потом, в столице, решали, кто виноват, а кто вошел в дом случайно. Сам дом опечатывали, а у дверей ставили караул. Иногда в доме оставляли засаду, чтобы хватать всех, кто приходил и спрашивал о хозяине (325-2, 93, 71).

Когда допрошенный в сыске изветчик точно не знал имен людей, на которых он доносил, или не помнил, где они живут, то, как правило, он обещал узнать их в лицо, так как «с рожей их знает» (500, 69). В этом случае прибегали к довольно жуткой процедуре — изветчика (в этом случае его называли «языком») под усиленной охраной проводили или провозили по улицам, чтобы он мог точно показать место или причастных к делу людей. Когда начали водить «языков», точно неизвестно. Наиболее ранние свидетельства относятся к 1642 г. Тогда стрелецкий голова Степан Алалыков с сотней стрельцов был послан «по гулящего человека по Фомку на Ваганьково», на которого при допросе показал («слался») ворожей Науменок. В деле сказано, что «для опазныванья [Фомки] с ними ж посылан Афонька Науменок». Науменок Фомку не опознал, показал в толпе на другого знакомого ему человека (307, 10). Проводили подобное опознание и во время Стрелецкого розыска 1698 г. При этом доводчик Матюшка Берестов спутал похожих друг на друга мать и дочь. Охрана на всякий случай захватила и привезла в Преображенское обеих женщин. Благодаря указанной «языком» женщине следствие получило новое продолжение (163, 70–72).

В 1713 г. доносчика Никиту Кирилова как «языка» водили по московским улицам, и он указал в толпе на знакомого, который, как непричастный к делу, после допроса был выпущен на свободу (325-2, 85). 19 августа 1721 г. по указу губернатора А.Д. Меншикова полиция водила по улицам Петербурга арестанта — солдата Антипа Селезнева для опознания мужчин и женщин, обвиненных им «в розглашении непристойных слов разных чинов людям». Сохранился «Реестр, кого солдат Селезнев опознал». «Языка» водили там, где он наслушался «непристойных слов» — преимущественно по притонам и публичным домам (так называемым «вольным домам»). Протокол опозна-

ния и допросы жильцов и хозяев, по-видимому, составлялись на месте: «На дворе торгового иноземца Меэрта никого не опознал и сказал он, Селезнев, что той бабы нет, а он, Меэрт, сказал, что, кроме тех людей, других никаких нет и такой бабы, про которую он, Селезнев, говорил, не бывало. На дворе торгового иноземца Вулфа опознал жену ево Магрету Дреянову. На дворе государева денщика Орлова, в котором живет иноземец Иван Рен, опознал чухонку Анну Степанову...» и т.д. (558, 1250–1251). В 1742 г. сдавшийся полиции известный вор Ванька Каин вместе с отрядом гарнизонных солдат ходил по Москве и указывал на улицах и по притонам своих бывших сообщников по воровскому делу (93, 126–130). Позже в инструкции полицейскому офицеру, которому поручалось вести Каина-«языка», сказано: Каин «в пыточных речах сказал, что их самих в лицо узнать и лавки показать может, того ради, тебе... взяв оного вора Каина и за ним команды своей подлежащей безопасной караул, [и] итти в означенной епанечный ряд и кого в том ряду он, Каин, купцов, дву человек укажет, то тех при том поверенном взять и до разговоров с Каином не допускать» (93, 130).

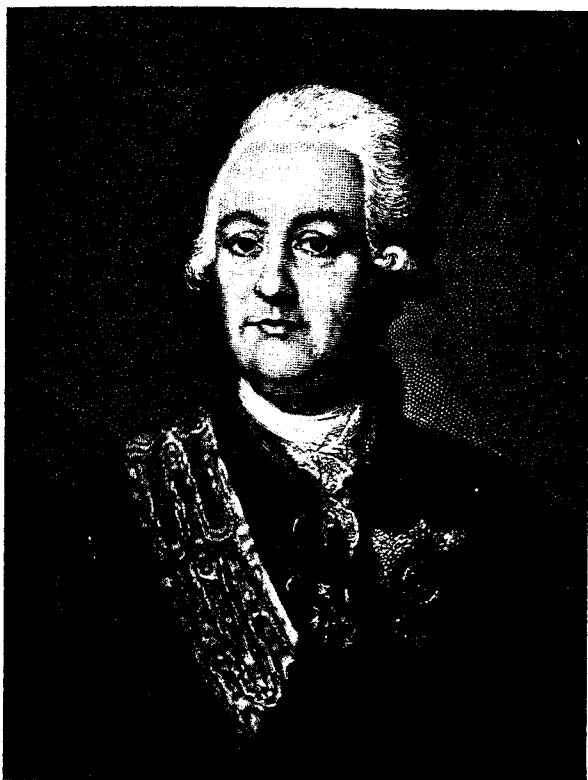
Из документов политического сыска неясно, как устраивали такой провоз (или провод) извечника по городским улицам. Наверняка «язык» был в оковах. Каина одевали в солдатский плащ, чтобы он сошел за солдата, идущего якобы с сослуживцами по улице. Впрочем, сохранилась легенда (см. роман Ивана Лажечникова «Ледяной дом»), что на голову «языку» нацепляли мешок с прорезью для глаз. Появление такого человека с конвоем тотчас вызывало панику среди прохожих и уличных торговцев. Все разбегались, лавки пустели — ведь «язык» мог показать на любого прохожего. Думаю, что эта легенда достоверна. Мемуарист Д.И. Рославлев, вспоминая о «вождении языка» в конце XVIII в., писал: «Завидевши издали приближение таких языков, жители богоспасаемого Петрограда сами спасались от грозившей им опасности, бежали в соседние улицы, скрывались в ближайших домах, словом, всячески старались не встречаться с процессиею, потому развозимый язык часто, ни с того, ни с сего, указывал как на своих приятелей, так и на людей, которые и не видывали его».

Возможности произвола и злоупотреблений были здесь ничем не ограничены. Рославлев продолжает: «Провинция в этом отношении не отставала от столицы. С пойманным разбойником доброе начальство — в виде исправников, стряпчих, заседателей земского суда — отправлялось разгуливать по уезду. Настоящих своих милостивцев разбойник, разумеется, не указывал, надеясь, что они еще будут ему полезны впоследствии, зато мстил своим врагам, обзывая их как своих укрывателей. Если же у самого развозимого языка не было особенно им нелюбимых людей, то опять тогдашнее началь-

ство принимало на себя труд подсказывать ему имена тех лиц, которых следовало обвинить в пристанодержательстве; для этого, разумеется, избирались достаточные жители, которых начальство хотело поучить. Чтобы дать правдоподобие своим оговорам в обоих случаях, разбойник обыкновенно говорил, что он или знает дом своего приятеля, но не знает его имени, или не знает ни дома, ни имени, но помнит его лицо. В первом случае, проезжая деревню, он указывал на тот или другой дом, что — вот, где много раз проживал и куда отдавал краденые вещи на сохранение или для сбыта. Другой маневр состоял в том, что разбойник никак не мог припомнить дома, а надеялся узнать хозяина и вот собирали весь люд-людской деревни. Разбойник внимательно рассматривал всех предстоявших и дрожавших и указывал на своего благодетеля... Во всяком случае обвиненное разбойником лицо арестовывалось». Далее Рославлев рассказывает, как оговоренные «языком» люди давали взятку начальнику и злодею, чтобы тот «очистил» его (631, 50).

Задолго до эпохи Петра I в деле волшебника Афоньки Науменка (1642—1643 гг.) сохранилось описание следственного действия, которое в современной криминалистике называется «опознание». Во время допросов Науменок показал на некоего Никитку Крестенника и называл его своим сообщником. Срочно нашли двоих людей, которых звали Никиткой Крестенником. Один оказался стрельцом, другой — пушкарем. И далее в деле сказано: «И стрелец Никитка Крестенник и пушкарь Никитка ж Крестенник во многих людех (т.е. среди других людей. — *Е. А.*) Афоньке Науменку казаны, и Афонька, их смотря неединова (не раз. — *Е. А.*), а сказал, что того Никитки, у кого для порчи покупал коренья, не опознал и тут его нет. И стрелец Никитка и пушкарь Никитка ж даны на поруки потому, что их Афонька не знает». Через некоторое время снова устроили опознание. Афонька показал еще на одного человека, назвав его Сенькой, «человеком Федора Карпова». По описанию внешности, данному Афонькой, стрельцы начали опрашивать жителей в указанных преступником частях Москвы. Стрельцы ходили по дворам священников и спрашивали: «У Льва, да у Федора Карповых людей зовут Сеньками, чьи они дети и каков которой Сенька рожаем, и бороны бреют ли или не бреют, и лице у всех ли у них ямковато или нет, и они их знают ли и где они ныне, видал ли их кто у Федора или не видал, и будет видали, и сколь давно?»

Священники сыску не помогли, но «Иванов, человек Несвицкого, шел мимоходом... [и] сказал, что-де он знает у Федора Карпова (человека. — *Е. А.*), зовут Сенькою Прокофьев, борода невелика, руса, другой Сенька Петров сын Тюхин молод, ни уса, ни бороны, и лица у них не ямковаты, а иного Сеньки у него нет». Вскоре оба Сеньки были приведены в Константиновс-



Граф П.И. Панин

кую башню Кремля, где находился застенок, «и те люди Федора Карпова в башне в людех поставлены и казаны Афоньке Науменку, и Афонька тех людей не опознал, а сказал, что такого человека, Сеньки, тут нет» (307, 14, 20, 23). Во время Стрелецкого розыска осенью 1698 г. изветчица опознала из нескольких поставленных перед ней служительниц тех, кто передавал секретные письма царевны Софьи стрельцам (163, 73, 76).

Идентификация «рожею» имела особое значение при уличении самозванца. После того, как в 1775 г. Емельяна Пугачева поймали, власть стремилась убедить возможно большие массы народа в том, что он не государь, не император Петр III, а самозванец, простой казак. Для этого преступника везли в Москву в клетке. В Симбирске скованного Пугачева вывели на запруженную народом площадь, и перед именитыми гражданами Симбир-

ска и толпой народа граф П. И. Панин публично допрашивал «злодея». Надо думать, что вопросы касались самозванства, и когда Пугачев стал дерзить самому Панину, генерал избил его. 1 октября 1774 г. Панин писал своему брату Никите Ивановичу: «Отведал он от распаленной на его злодеянии моей крови несколько пощочин, а борода, которою он Российское государство жаловал — довольного дранья. Он принужден был пасть пред всем народом скованной на колени и велегласно на мои вопросы извещать и признавать-ся во всем своем злодеянии» (689-5, 108).

То, что царский генерал таскал за бороду и бил «анператора» по «харе» (а так в документах того времени называли физиономию преступника), должно было убедить сотни собравшихся на площади зрителей в том, что перед ними не настоящий государь, а самозванец, которого наконец поймали. П. С. Потемкин намеревался повторить это публичное опознание и в Казани, чтобы, как он писал Екатерине II, «обличить его перед народом злодейство», однако государыня предписала везти Пугачева прямо в Москву. Тогда Потемкин устроил публичное аутодафе портрета самозванца, и вторая жена Пугачева громогласно подтверждала, что изображенный на этом портрете человек — ее муж, донской казак Емелька Пугачев (684-5, 108; 286-3, 315). С той же целью — убедить всех в самозванстве Пугачева — перед самой казнью в Москве обер-полицмейстер Н. П. Архаров потребовал, чтобы Пугачев вслух, громко подтвердил перед толпой свое «подлое» происхождение.

Вернемся к «технологии» ареста. Стремясь не допустить «утечки» будущего арестанта, уничтожения им улики, а также попыток дать какой-нибудь знак сообщникам, политический сыск прибегал к различным уловкам и обману. Ниже мы их и рассмотрим. Самым главным условием ареста считали внезапность. Преступника надо было ошеломить, деморализовать, не дать ему времени подготовиться к аресту и следствию. На внезапности было построено задание, которое Петр I дал Г. Г. Скорнякову-Писареву 10 февраля 1718 г. Ему предстояло нагрянуть в суздальский Спасо-Покровский монастырь, зайти в келью бывшей царицы Евдокии (старицы Елены) и, арестовав старицу, произвести обыск. Требовалось сразу же захватить все ее бумаги и письма. Точно так же хватили и других соучастников царевича Алексея. А. Д. Меншиков рапортовал об аресте А. В. Кикина, что по получении указа «того ж часу светлейший князь, призвав к себе генерала-майора Голицына и маеора Салтыкова с преображенскими солдаты, ездил с ними по Александра Кикина и оного застал на дворе в шлафроке и, взяв, привезли во дворец и, посадя на цепь и железа, отослали в город (т. е. в Петропавловскую крепость. — Е. А.) за караулом» (752, 170, 204, ср.: 325-1, 308—309).

В июне 1744 г. из России был выслан французский посланник маркиз Шетарди — жертва искусной интриги канцлера А.П. Бестужева-Рюмина. Именно по его приказу перлюстрировали все письма посланника, некоторые из них были задержаны, из них составили выписки, которыми страшно оскорбилась императрица Елизавета. Она приказала выслать своего ранее ей весьма близкого друга из России за 24 часа. Благодаря внезапности замысел Бестужева полностью удался. А.И. Ушаков сообщал о происшедшем 6 июня 1744 г.: «По силе высочайшаго Ея и.в. повеления нижеподписавшиеся приехали [к]... марки[зу] де ла Шетардию в дом полшеста часа по утру (заметим характерное для сыска время — перед рассветом. — *Е. А.*). И пришед в передню, вошел к ним один служитель, который сказал, что господин его Шетардий болен и всю ночь не спал, но по повторении, чтоб всеконечно о приходе их сказал, с полчетверти часа вышел он, Шетардий, в перуке (парике. — *Е. А.*) и в полушляфоре (халате. — *Е. А.*)... При происшествии всего вышеписанного явно было, что он Шетардий, сколь скоро генерала Ушакова увидел, то он в лице переменился».

Думаю, что Шетарди наверняка решил, что его сейчас арестуют, посадят в крепость и отправят в Сибирь, — об этом могло говорить появление в столь ранний час самого начальника Тайной канцелярии с солдатами. Опасения Шетарди были весьма серьезны и небезосновательны. Когда в ноябре 1748 г. стало известно об аресте лейб-медика Лестока, его близкий друг прусский посланник Финкельштейн, замешанный в интригах при русском дворе, подошел к канцлеру Бестужеву на придворном вечере и заявил, что король его прислал отзывную грамоту и что он срочно покидает Петербург. Тогда Бестужев писал императрице: «Крайне сожалительно, что сим отъездом избегнет он от путешествия в Сибирь» (760, 60). Отправить Шетарди «ловить соболей» можно было без затруднений — он, в отличие от Финкельштейна, имел статус частного человека и еще не удосужился предъявить официальные грамоты аккредитации. А уж как поступают с частным человеком в России, маркиз знал хорошо!

Но сценарий на этот раз был другой: «И тогда генерал Ушаков объявил ему, что прислан к нему в дом по Ея и.в. указу для некоторого объявления, почему тотчас секретарь Курбатов зачал читать заготовленную декларацию, по окончании которой он, Шетардий, говорил, что слышит в чем состоит Ея в. соизволение, а желает видеть те доказательства, на которых помянутая декларация учреждена. Секретарь Курбатов потому читал все экстракты из его, Шетардиевых писем, а он Шетардий за ним смотрел и ничего не оспорил ниже оригиналов смотреть хотел, хотя его подпись к последнему письму к Дютейлю (министр иностранных дел Франции. — *Е. А.*) ему показана

была». После этого Шетарди потребовал копии с прочитанных документов, в чем ему было отказано. Тут же к Шетарди был приставлен подпоручик Измайлов. Шетарди объявили, что коляски и телеги для его отправки готовы. Шетарди отвечал, что хотя он «сожалеет о принятой Ея величеством об нем резолюции, но когда она принята, то он с благодарением чувствует ту милость, с каковою Ея величество ему соизволение свое объявить повелеть соизволила». В этих словах Бестужев увидел намек на то, что Шетарди был не на шутку испуган появлением Ушакова и опасался оказаться в Петропавловской крепости («и последними своими словами показал, что вящего над собою ожидал»). Я цитирую письмо Бестужева его заместителю (и давнему приятелю Шетарди) вице-канцлеру М.И. Воронцову. Бестужев с торжеством писал: «Поистине доношу, что такой в Шетардии конфузии и торопкости никогда не ожидали. Вместо того, чтоб светлым умом своим при сем случае действовать, сам опутался собственным признанием, что характером в кармане пользоваться не может». Канцлер как раз и опасался, что Шетарди быстро опомнится и покажет Ушакову свои верительные грамоты и потом заявит официальный протест по поводу нарушения русскими властями норм международного права, проявившегося во вторжении вооруженных людей на территорию французского посольства. Кроме того, Шетарди мог отказаться от предъявленных ему перлюстраций и потребовать официальных объяснений на сей счет от Коллегии иностранных дел.

Словом, угроза международного скандала была велика, и тогда уже поступать с французским посланником так бесцеремонно, как с частным человеком, будет очень трудно. Но внезапное появление отряда Ушакова ошеломило Шетарди. Бестужев пишет: «Конфузия его была велика: не опомнился, ни сесть попотчивал, ниже что малейшее во оправдание свое принести; стоял, потупя нос и все время сопел, жалуясь немалым кашлем, которым и подлинно неможет. По всему видно, что он никогда не чаял, дабы столько противу его доказательств было собрано и когда оныя услышал, то еще больше присмирел, а оригиналы когда показаны, то своею рукою закрыл и отвернулся, глядеть не хотел» (613, 4–8). Так внезапность решила дело в пользу Бестужева.

В 1762 г. так же внезапно был арестован Ростовский архиепископ Арсений Мациевич. К нему ночью на двор нагрянули посланные сыском гвардейцы. 13 апреля 1792 г. Екатерина II предписала князю А.А. Прозоровскому: «Повелеваем вам, выбрав... людей верных, надежных и исправных, послать их не чаянно (неожиданно. — Е. А.) к помянутому Новикову как в московский его дом, так и в деревню, и в обоих сих местах приказать им прилежно обыскать...» (561, 74–75). Так началось знаменитое дело Н.И. Новикова.

Были и другие виды внезапного ареста. Один из них описывает в мемуарах Винский, отрывок из которых уже цитировался выше. Мемуарист сидел дома, когда «в 9 вечера послышался стук в передней». «Я, — пишет Винский, — сидя против отворенной зальной двери, где не было огня и, увидев блеснувшие пуговицы, пошел осведомиться, кто тут? Человек, стоявший в тени, берет мою руку и говорит тихо: “Чтоб не испугать Елеонору Карловну (жена Винского. — *Е. А.*), я скажу, что заехал звать тебя на вечеринку — потом громко: — А я тебя везде искал, был в двух трактирах, да вздумал и сюда заехать, чтоб взять тебя к Ульрихше». Так назывался известный петербургский трактир. Оказалось, что за Винским приехал знакомый полицейский офицер Лихтенберг, иногда бывавший у Винских в гостях.

«Жена моя, — продолжает Винский, — встревоженная, удерживает меня: “Как, теперь поздно — извощика не найдешь”. Офицер отвечает: “У меня карета, пожалуй, проворнее поедет” — “Надобно одеваться?” — “Что за одеванье? Довольно сюртука!”». И так торопливо накинувши сюртук, обнявши милую невинность, вышел я на улицу, где увидел карету, четвернею запряженную и двух верховых. Спрашивать было не о чем...» (187, 75). Описанный «обманный» арест под видом приглашения в гости, на дружескую пирушку, а также под предлогом («под протекстом») срочного вызова на службу, командировки не был новостью для более ранних времен. Чтобы схватить врасплох Кочубея и Искру весной 1708 г., устроили настоящий спектакль с участием самого Петра I и канцлера Г.И. Головкина. В письме царя Мазепе от 1 марта 1708 г. излагался план захвата людей, преступление которых было уже классифицировано до следствия. Кочубей и Искра были вызваны якобы по делу в Смоленск (357, 71–73).

В 1725 г. внезапно арестовали синодских секретарей Дудина и Тишина. Утром 18 августа в Синод пришел гвардейский унтер-офицер Хрущов и объявил секретарям, что их вызывают в Сенат. Как только чиновники вышли на улицу, Хрущов арестовал их и отвез в крепость. Обеспокоенные члены Синода послали архимандрита Афанасия Кондоиди в Тайную канцелярию, чтобы узнать «о причине такого самовольного обманного захвата его чиновников». Из сыска довольно грубо ответили: «Какое до синодальные секретарей касается дело, о том знать Святейшему Синоду не надлежит» (775, 172–173). Крестник Петра I Абрам Ганнибал, попавший весной 1727 г. под подозрение всесильного А.Д. Меншикова, внезапно получил из Военной коллегии указ о срочной командировке в Казань якобы по инженерным делам, куда ему надлежало отбыть немедленно. Не успел он приехать в Казань, как там его ждал новый указ из Петербурга: отправиться немедленно в командировку в Тобольск. Одновременно сибирскому губернатору князю М.В. Долгорукому отправили указ, что-

бы прибывшего Ганнибала он отослал в Селенгинск, да еще присматривал за арапом, чтобы тот не сбежал в Китай. Довольно быстро Ганнибал понял, что все эти удаляющие его от столицы командировки — форма опалы. С дороги он принялся писать жалобные челобитные, письма к благодетелям, но «черному Абраму» уже ничто не помогло — в Селенгинске его арестовали, потом исключили из гвардии и написали майором гарнизона Тобольска (429, 60–73).

Весьма тонко и коварно действовал в Березове в 1738 г. капитан Федор Ушаков, прибывший по доносу подьячего Тишина на князей Долгоруких. Прибыв в Березов, он скрыл ото всех цель своего приезда (а она, согласно инструкции, была такой: «Секретно собрать подтвердительные сведения о дерзких... словах» Долгоруких), сблизился со ссыльными и местной администрацией, увидел всю обстановку в Березове и потом, дружески распрошавшись с березовцами, вернулся с докладом в Петербург. Там он получил полномочия для ведения следствия, и в сентябре 1738 г. около 30 человек (по другим данным — 60) — Долгорукие, начальник охраны ссыльных майор Петров, священники и другие жители Березова были внезапно арестованы приехавшим, на этот раз уже с конвоем, Ушаковым, доставлены в Тобольск, где и началось следствие (310, 91–93; 406, 125).

Канцлера А. П. Бестужева-Рюмина арестовали по обвинению в заговоре внезапно 25 февраля 1758 г. В этот момент он болел, но именем императрицы ему предписали прибыть во дворец. Как сообщал Мессельер, «приближаясь к подъезду дворца, он изумился, когда увидел, что гвардейский караул (обыкновенно отдававший ему честь) окружил его карету посредством движения, сделанного им направо и налево. Майор гвардии арестовал его как государственного преступника и сел с ним в карету, чтобы отвести его домой под стражу. Каково было его удивление, когда, возвратившись туда, он увидел дом свой занятый четырьмя батальонами (думаю, что это преувеличение. — Е. А.), часовых у дверей своего кабинета, жену и семейство в оковах, а на бумагах своих печати» (470, 994–995; 411, 274).

Прибегал политический сыск и к обманным вызовам из-за границы. В 1690 г. выманили из Польши главного свидетеля по делу Сильвестра Медведова поляка Дмитрия Силина, что позволило потом отправить ученого монаха на плаху (390, 46). Особенно знаменита история задержания «принцессы Владимирской» («Таракановой»). По указу Екатерины II ее обманом вывез из Италии находившийся в Ливорно с эскадрой А. Г. Орлов. Он прикинулся влюбленным в «принцессу». Позже в отчете Орлов писал: «Она ко мне казалась быть благосклонною, чего для я и старался пред нею быть очень страстен. Наконец, я ее уверил, что я бы с охотой и женился на ней и в доказательство хоть сегодня, чему она, обольстясь, более поверила. Признаюсь,

милостивая государыня, что я оное исполнил бы, лишь только достичь бы до того, чтобы волю В.в. исполнить». 21 февраля 1776 г. Орлов заманил самозванку и ее свиту на корабль «Три иерарха», стоявший на рейде Ливорно. Здесь ее арестовали, а затем отвезли в Петербург. При этом Орлов послал женщине якобы тайную записку, в которой писал, что он тоже арестован, просил возлюбленную потерпеть, обещал при случае освободить из узилища. Вся эта ложь нужна была, чтобы самозванка не умерла от горя и была доставлена в Россию в целости и сохранности. После ухода корабля Орлов вернулся на берег и написал Екатерине, что самозванка «по сие время все еще верит, что не я ее арестовал» (441, 558–559, 573).

Намерение сыскных чиновников выманить, обмануть жертву объяснено их желанием не поднимать лишнего шума, не вызывать панику среди родных и соседей. Опасались посланные и возможной при аресте потасовки. В 1722 г. капитан Цей, посланный арестовать коменданта Нарыма Ф.Ф. Пушкина, столкнулся с вооруженным сопротивлением, и в завязавшейся стычке даже пролилась кровь (102, 159–160). В 1739 г. при аресте белгородского губернского секретаря Семена Муратова преступник не дался в руки солдат, заперся в доме и «людям своим кричал, чтобы били в колокола и то знатно имел некое умышление» (223, 96). В 1740 г. при аресте отчаянно сопротивлялись герцог Бирон и его брат Густав. Солдатам пришлось «успокаивать» их тумаками (457, 199–203; 765, 298). Когда в 1752 г. воевода Одоева Языков, получив донос, решил арестовать таможенного голову И.Г. Торубеева, на дворе уже стемнело. После раздумий воевода отложил арест до утра, опасаясь, что люди Торубеева «дадут бой» солдатам, а преступник сумеет в суматохе и темноте «учинить утечку» (377, 323–324). Опасались в сыске и излишнего шума, который мог взбудоражить общество. Распоряжаясь в марте 1772 г. об аресте фальшивомонетчика С. Пушкина, Екатерина II писала М.Н. Волконскому: «При сем старайтесь всего того отдалить, чтоб в публичке казаться могло насилием» (554, 96).

Была еще одна, весьма важная, причина для внезапного ареста: о происшедшем как можно дольше не должны были узнать неизвестные еще следствию сообщники преступника. Нельзя было допустить и того, чтобы арестуемый человек как-то предупредил их об опасности. Власти не всегда доверяли даже тем, кто проводил арест. При захвате в Москве в 1738 г. сенатских секретарей Ивана Богданова и Семена Молчанова, а также камерира Алексея Оленева из Петербурга в Москву был послан прапорщик Алексей Ильин. А.И. Ушаков дал ему инструкцию в запечатанном конверте. При вскрытии конверта должен был присутствовать главнокомандующий Москвы С.А. Салтыков, что делалось «для лучшего содержания секрета, чтоб он

(Ильин. — *Е. А.*) о той порученной ему комиссии прежде времени ведать не мог». В указе Салтыкову сказано: «Арестование вышеписанных секретарей и камер[ира] учинить незапно, без малейшего разглашения, чтоб те секретари и камер[ир] о том прежде уведомить и скрыться не могли, и для того имеете вы тотчас и, не выпуская его от себя, дать ему потребное число солдат с унтер-офицеры, с которыми б он ту комиссию немедленно и без всякаго помешательства исправить мог» (382, 204—205).

Внезапность ареста, суровое обращение при этом с арестантом, быстрый и такой же суровый допрос, да еще перед лицом высокого начальства, а то и государя — все это обычно выбивало людей из седла, и они терялись. Так, в 1718 г. генерал В.В. Долгорукий был внезапно арестован по делу царевича Алексея. В челобитной Петру I уже после допросов он так объясняет первоначальные показания: «Как взят я из С.Питербурха нечаянно, и повезен в Москву окован, от чего был в великой десперации (отчаянии. — *Е. А.*) и беспамятстве, просто взят и привезен в Преображенское, и отдан под крепкий арест, и потом приведен на Генеральный двор пред Царское величество, и был в том же страхе; и в то время, как спрашиван я против письма царевича пред Царским величеством, ответствовал в страхе, видя слова, написанныя на меня царевичем приняты[ми] за великую противность и в то время, боясь розыску, о тех словах не сказал» (752, 199).

Следует подробнее остановиться еще на одной обстоятельной инструкции, которую получил от императрицы Анны сам начальник Тайной канцелярии генерал А.И. Ушаков. В 1733 г., как уже сказано выше, в Петербурге получили извет дворянина Федора Красного-Миклашевича на смоленского губернатора А.А. Черкасского, который обвинялся в государственной измене. Дело было настолько важное, секретное и срочное, что арест высокопоставленного чиновника императрица поручила Ушакову. Инструкция ему интересна для нас многими деталями, которые показывают, как вели расследование по свежим следам, известное позже как «момент истины». Ушакову следовало отправиться в Смоленск якобы проездом в Польшу по делам службы — в это время шла русско-польская война. Прибыв в город, генералу предстояло сразу же прийти к губернатору и тотчас «онаго купно всем своим домом и служителями взять под крепчайший караул». Одновременно люди Ушакова должны были схватить всех возможных сторонников изменника. Особо подчеркивалось: взять «сколько возможно в одно время, дабы друг про друга не сведали и уйти не могли». Везти задержанных вместе с их бумагами в крепость следовало ночью, чтобы не привлечь ничьего внимания. При этом арестанты не могли находиться вместе ни одной минуты, «чтоб друг с другом не говорили, также и никого говорить с ними не допускать: ни

пера, ни бумаги не давать и в прочем все те же предосторожности взять, как с такими крамольниками принадлежит» (693, 211).

Так, в инструкции мы видим все те принципы ареста политических преступников, о которых шла речь выше (внезапность, секретность, одновременность арестов, особое внимание к уликам, осторожность при конвоировании и т.д.). Однако в инструкции Ушакову есть разделы, которых мы обычно не встречаем в типовых, выданных гвардейскому прапорщику или сержанту указаниях об аресте. Ушакову предлагалось сразу же после захвата Черкасского и его сообщников, не мешкая, прямо на месте начать расследование. Весь расчет строился на внезапности и демонстративной строгости ареста, что должно было, по замыслу авторов инструкции, смутить преступника и облегчить его разоблачение. Черкасского нужно было сразу же допрашивать по извету Миклашевича и по тем документам, которые были захвачены при аресте губернатора. В инструкции Ушакову сказано, что конкретно нужно искать в бумагах губернатора, а именно присланное на его имя из-за границы письмо доносчика Миклашевича (о котором властям стало известно из доноса последнего). Дело в том, что Черкасский послал Миклашевича за границу, чтобы тот наладил связь с внуком Петра I Голштинским принцем Карлом-Петером-Ульрихом (будущим Петром III). Миклашевич с дороги написал Черкасскому о делах. По мнению сыска, это письмо и являлось наиболее сильной уликой против губернатора-изменника, свидетельством его преступных связей с заграницей. При этом Ушаков должен был умалчивать об извете Миклашевича на Черкасского, не говорить губернатору, что доносчик привезен Ушаковым в Смоленск. Целью допроса было желание властей выявить всех соучастников заговора: «Ежели, — отмечено в инструкции, — он в том винится, то тотчас требовать от него, чтоб он, без всякой утайки, объявил всех тех, которые в сем злодейском деле причастны, кои о том хотя только ведают и, ежели объявит, то тотчас надлежащая меры взять, чтоб они, без разглашения, пойманы и за караул взяты были...» (693, 214).

Опасность мятежа в военное время в пограничной губернии казалась столь великой, что Ушакову предстояло держать арестованных «в наивысшем секрете, чтоб прежде времени отнюдь в народе не разгласилось». Одновременно нужно было наблюдать и за настроениями смоленской шляхты, которую Петербург подозревал в симпатиях к мятежным полякам. Инструкцию составляли люди, которые стремились предусмотреть все возможные случайности при аресте. Главное, что требовалось от Ушакова, это действовать быстро и неожиданно для преступников. Так, на случай «упрямства» Черкасского на допросах ему заготовили следственный «сюрприз» — очную ставку с доносчиком Миклашевичем, которому Черкасский доверял как

близкому человеку и который, по расчетам губернатора, в этот момент должен был находиться в Киле. Эффект внезапного появления извечника, тайно привезенного Ушаковым в Смоленск, предстояло усилить очной ставкой губернатора с его служителем, который передал Миклашевичу письмо Черкасского, а также с личным секретарем губернатора, знавшим тайные дела своего начальника. При этом Ушакову разрешалось подготовить секретаря к очной ставке с его шефом: «Пожесточае поступать, дабы подлинную правду из него выведать». «Пожесточае» значило провести допрос жестко, с угрозами, запугиванием, хотя и без пытки.

Методы, примененные Ушаковым, достигли полного успеха: арест Черкасского прошел гладко, губернатор, деморализованный внезапным появлением в городе начальника страшной Тайной канцелярии, сразу же признал свою вину, дал подробные показания, написал жалостливую челобитную на имя императрицы и вместе с другими колодниками был благополучно доставлен в Петербург.

Допрос по горячим следам применил и обер-прокурор Сената В.А. Всеволожский, приехавший в 1769 г. в Устюжну-Железнопольскую расследовать дело корнета Ивана Батюшкова. По доносу на него, Батюшков говорил о себе как о сыне английского короля и Елизаветы Петровны. Как писал в отчете Всеволожский, при встрече с Батюшковым он «хотел первое смятение чувств его употребить себе в пользу к открытию дела, мне порученного, и для того объявил данное мне высочайшее повеление об исследовании над ним, Батюшковым, по показанию Опочинина, не сказав, однако же кто на него доносит. После сего я увещевал его и, приводя к чистосердечному покаянию, спрашивал у него по заготовленным статьям» (135, 201).

Сочинением инструкций подготовка к аресту не ограничивалась. До ареста за некоторыми подозреваемыми вели *слежку* — наружное наблюдение. Об этом сообщал голландский дипломат де Би. Его переписка с Гаагой летом 1718 г., во время дела царевича Алексея, перлюстрировалась, а за самим дипломатом следили. Де Би впоследствии писал: «Я узнал от слуг моих, что... в течение трех недель, с самого раннего утра, безотлучно находилось в саду моем неизвестное лицо, которое записывало всех, приходивших ко мне... я ни разу не выходил из дому без того, чтобы за мною не следили издали двое солдат, чтобы видеть, с кем я буду разговаривать дорогою». Позже вице-канцлер П.П. Шафиров подтвердил дипломату, что за ним действительно следили — русскому правительству не нравились его депеши в Голландию. Поэтому было решено проследить, откуда он черпает материал для своих инсинуаций (253, 335). Ранее следили за близким к царевичу А.В. Кикиным. Петр писал из Москвы в Петербург А.Д. Меншикову: «Вам я при-

казывал при отъезде, чтоб на него око имели и стерегли, чтоб не ушел» (325-1, 309–310).

Шпионаж за иностранцами и верноподданными был делом обычным в России с незапамятных времен. Речь идет не о добровольных или вынужденных доносчиках, а о службе более-менее профессиональной. Адам Олеарий описывает, как в Москве XVII в. вылавливали тех, кто употреблял ненормативную лексику на улицах Москвы: «Назначенные тайно лица должны были по временам на переулках и рынках мешаться в толпу народа, а отряженные им в помощь стрельцы и палачи должны были хватать ругателей и на месте же, для публичного позорища, наказывать их» (526, 187). Шпионами были, как правило, люди из полиции, переодетые солдаты, мелкие чиновники, торговцы, мелкие преступники, которых выпустили, чтобы они таким образом «отрабатывали» свои прегрешения перед законом. Ванька Каин, крупный московский вор и грабитель, «покаялся» перед властями, выдал несколько десятков своих товарищей и стал официальным «доносителем» Сысского приказа. При этом он, как сказано выше, взялся за старое «ремесло», сочетая доносы с промыслом вора и грабителя. Когда впоследствии Каина спросили, почему он не выдал целую банду мелких уличных воришек, то Каин сказал, что все они работали на него: если требовалось найти какую-нибудь ворованную вещь или пропавшего человека, воришки рассыпались по Москве, по всему ее «дну», и вскоре находили пропажу (115, 553). Так же работал и политический сыск.

В документах XVIII в. часто встречается выражение «под рукой», что означает тайные действия, секретный сбор материалов и сведений. Такие поручения часто давала С.А. Салтыкову императрица Анна. Она писала: «Как возможно тайным образом истину проведать и к нам немедленно написать» (382, 40–41). С помощью шпионов, которые в 1740 г., по выражению людей тех лет, «лежали на ухе» у регента империи герцога Бирона, он узнавал многие придворные тайны, мнения армии и жителей Петербурга о его правлении (704-21, 15–17). Впрочем, помогло это ему, как известно, мало — он был лишен власти и сослан. За цесаревной Елизаветой Петровной, которую императрица Анна, а потом и правительница Анна Леопольдовна опасались как возможной конкурентки в борьбе за престол, в 1730-х — начале 1740-х гг. был установлен постоянный тайный присмотр. В 1742 г., после того как Елизавета оправдала-таки опасения своих предшественниц и стала императрицей, фельдмаршала Миниха обвинили в том, что он шпионил за цесаревной. Оправдываясь на следствии, он говорил, что организовать слежку за Елизаветой приказала ему еще в 1731 г. сама императрица Анна, «понеже-де (Елизавета. — Е. А.) по ночам ездит и народ к ней кричит, показуя свою

горячность, кто к ней в дом ездит» (361, 240–241). Возле дворца цесаревны учредили особый тайный пост — «безвестный караул», при котором долгое время «бессменно, для присматривания» находился урядник Щегловитов.

В январе 1741 г. на этом посту стояли аудитор Барановский и сержант Оберучев. Они исполняли именной указ Анны Леопольдовны, которая через майора гвардии Альбрехта предписала Барановскому: «На том безвестном карауле имеет он смотреть во дворце... Елизавет Петровны: какая персоны мужеска и женска полу приезжают, також и Ея высочество... куда изволит съезжать и как изволит возвращаться, о том бы повсядневно подавать записки по утрам ему, майору Альбрехту», что тот и делал. Для этого Барановскому отвели специальную квартиру в соседнем с дворцом доме, из которой, по видимому, и следили за всеми гостями Елизаветы. Квартира-пост была строго засекречена. Утренние записки-отчеты шпионов сразу попадали в Зимний дворец. Правительницу беспокоили, в первую очередь, тайные связи Елизаветы с гвардейцами, а также с Шетарди, о каждом визите которого к Елизавете шпионы должны были рапортовать немедленно. Позже, на следствии по делу Миниха в 1742 г., Оберучев показал, что «Альбрехт бывало спрашивал, что не ходят ли к государыне Преображенского полку гренодиры? и он, Оберучев, на то отвечивал, что не видно, когда б они ходили» (354, 317). Из допроса еще одного шпиона — Щегловитого — видно, что Миних приказывал ему нанимать извозчиков и следовать всюду за экипажем Елизаветы Петровны (361, 242).

Когда весной 1741 г. возникла опасность сговора Елизаветы с Минихом, то и за домом фельдмаршала установили тайный надзор. Секунд-майор Василий Чичерин с урядником и десятком grenадеров «не в солдатском платье, но в шубах и в серых кафтанах» круглосуточно следили за домом Миниха. Они имели инструкцию (в верности которой их заставили присягнуть), «что ежели оный фельдмаршал граф Миних поедет из двора инкогнито, не в своем платье, то б его поймать и привести во дворец». Из допроса Чичерина на следствии 1742 г. следует, что grenадеры наблюдали за домом Миниха по ночам и делали это посменно. Сам Чичерин «за ними смотрел, чтоб они всегда ходили и их бранивал, ежели не пойдут». Чичерин возмущался не без основания: работа шпиона была денежной — grenадеры получали за свою работу 20–40 рублей в месяц (354, 307–309, 312; 543, 226). По-видимому, власти внедрили шпионов-соглядатаев («надежных людей») и в число слуг цесаревны. С их донесениями был связан внезапный арест в 1735 г. регента хора цесаревны Петрова, причем у него сразу же забрали тексты подозрительных пьес, в которых усмотрели состав государственного преступления (43-3, 22; 365). К 25 ноября 1741 г., когда Елизавета совершила переворот, све-

дения о подготовке путча правительство Анны Леопольдовны получило из самых различных источников, как из-за границы, так и в самом Петербурге. Ни одно тайное свидание заговорщиков не ускользало от секретных агентов правительства. Их донесения отличались полнотой и говорили о вполне реальной угрозе государственной безопасности. Однако Анна Леопольдовна не использовала донесения шпионов с пользой для себя.

К услугам шпионов постоянно прибегали и другие правители России. Шпионов посылали в кабаки выведывать суждения народа о власти и хватать для острастки всякого, кто позволит себе высказать критику в адрес властей. О том, что шпионы были в кабаках, известно из разных источников. Сразу после установления регентства Бирона осенью 1740 г. Шетарди писал во Францию: «Кабаки, закрытые в продолжении многих дней, открыты. Шпионы, которых там держут, хватают и уводят в темницу всех, кто, забывшись или в опьянении осмелится произнести малейший намек» о правлении Бирона (543, 148). В 1773 г. генерал А.И. Бибиков, получив донос Г.И. Державина о готовящемся бунте во Владимирском гренадерском полку, «писал секретно... к губернаторам Новгородскому, Тверскому, Московскому, Володимирскому и Нижегородскому, чтоб они, во время проходу полков в Казань мимо их губерний, а особливо гренадерского Владимирского, по дорожным кабакам приставили надежных людей, которые бы подслушивали, что служивые между собою говорят во время их попоек. Сие распоряжение имело свой успех, ибо по приезде в Казань получил он донесение от Нижегородского губернатора Ступишина, что действительно между рядовыми солдатами существует заговор положить во время сражения пред бунтовщиками ружья, из которых главные схвачены, суждены и тогда же жестоко наказаны» (262, 52–53). Недаром также Екатерина II требовала от В.И. Суворова в 1762 г. иметь по полкам «уши и глаза» (154-2, 258).

В ноябре 1748 г. лейб-медик Елизаветы Петровны Иоганн-Герман Лесток узнал от слуг, что возле дома постоянно болтаются какие-то «незнакомые» люди. Они прохаживались то поодиночке, то вдвоем, одеты были в солдатские плащи или в серое ливрейное платье. Некоторые из них расспрашивали слуг Лестока об их барине, узнавали, дома ли он, куда ездит, кто к нему приезжает. Из дела Лестока видно, что указ о слежке за ним дала сама императрица, а начальник Тайной канцелярии А.И. Шувалов поручил наблюдение за домом Лестока капрану Семеновского полка С. Каменеву с солдатами. Приятель Лестока капитан Александр Шапизо также заметил, что при виде саней Лестока или его, Шапизо, экипажа эти люди прячутся или бегут за саями, чтобы узнать, куда направился объект наблюдений. 9 ноября слуги Лестока поймали одного из «шпигов», и Лесток допросил его. Стало ясно, что слежку ведет



Иоганн-Герман Лесток

Шувалов. Лесток понял, что его дни на свободе сочтены. Это стало началом опалы сановника. Вскоре его арестовали (411, 254; 760, 45—47).

Екатерина II часто требовала, чтобы из Москвы ей регулярно присылали секретные сведения, собрав их «без огласки» (491, 105; 554, 170—171). Шпионской сетью в Петербурге ведал начальник столичной полиции, а в старой столице — московский обер-полицмейстер Николай Архаров. Именно Архарову императрица предписала навести «под рукой» справки о благонадежности некоторых людей, записать их высказывания. За некоторыми из поданных она велела установить постоянный тайный надзор и наказывала вылавливать распространителей слухов. В начале сентября 1773 г. она приказала учредить тайный надзор за генералом П.И. Паниным, не одобрявшим тогда политику правительства. 9 сентября Волконский писал Екатерине, что он получил письмо императрицы о посылке в деревню Панина, где он жил,

«одного надежного человека выслушать его дерзкия болтанья. На оное сим всеподданейше доношу: подлинно, что сей тщеславный самохвал много и дерзко болтает и до меня несколько доходило, но все оное состояло в том, что все и всех критикует, однако такого не слышно, чтоб клонилось к какому бы дерзкому предприятию. Я хотя всегда за ним мое примечание имел, а теперь еще удвою оное и употребил разные каналы его слова сведать, когда что уведаю, то тогда В.и.в. донесу». Панин, по-видимому, догадался, что за ним следят, и несколько умерил свою критику властей. «Примечательно есть, — писал позже Волконский, — что он, Панин, с некоторого времени гораздо утих, в своем болтаньи несколько скромнее стал. Не знаю, происходит ли сия скромность от страха или для закрытия каких видов». 30 сентября 1773 г. он сообщал императрице: «Я употребил надежных людей присматривать за Паниным (который на сих днях из деревни в Москву переехал), через оных изведился, что он, как я и прежде доносил, стал гораздо в болтаниях своих скромнее...» (554, 121—123, 145).

При Екатерине агентам тайной полиции поручали наблюдать и за общественными настроениями. В этом состоял не только личный интерес императрицы, хотевшей знать, что о ней и ее правлении думают люди, но и новые представления о том, что мнение общества нужно учитывать в политике и, более того, нужно контролировать, обрабатывать и направлять его в нужную власти сторону. При этом Екатерина II не была новатором в этом деле. Одним из первых указов о надзоре за общественными настроениями стал указ регента Бирона 1740 г. Регент известен тем, что засылал агентов на улицы Петербурга, чтобы послушать толки народа о «политическом моменте». 26 октября 1740 г. он предписал С.А. Салтыкову: «В самом секрете... чтоб вы под рукою, искусным образом осведомиться старались, что в Москве между народом и прочими людьми о таком нынешнем определении (т.е. об указе о его регентстве. — Е. А.) говорят и не приходят ли иногда от кого о том непристойныя рассуждения и толкования». Об этом Салтыкову предписывалось немедленно сообщить в Петербург, «а между тем оное, без отлагательства и запущения надлежащим образом пресечь и прекратить» (745, 311—312).

Однако только при Екатерине II этой деятельности сыска стали уделять особое внимание, что мы можем видеть из переписки императрицы с Н.И. Паниным после убийства в Шлиссельбурге Ивана Антоновича в августе 1764 г. и особенно во время восстания Пугачева. В декабре 1773 г., когда восстание вызвало волну слухов, М.Н. Вяземский сообщал, что он распорядился послать «надежных людей для подслушивания разговоров публики в публичных соборищах, как-то в рядах, банях и кабаках, что уже и исполняется, а между дворянством также всякие разговоры примечаются». В те

времена, как и позже, политический сыск собирал слухи, а потом их обобщал в своих докладах. Впрочем, уже тогда проявилась характерная для тайных служб черта. Под неким видом объективности «наверх» поставлялась успокоительная ложь. Чем выше поднималась информация о том, что «одна баба на базаре сказала», тем больше ее подправляли чиновники. В конце 1773 — начале 1774 г., когда восстание Пугачева взбудоражило русское общество, главнокомандующий Москвы князь Волконский посылал государыне вполне успокаивающие сводки о состоянии умов в старой столице, выпячивая патриотические, верноподданнические настроения ее жителей: «Болтанье теперь больше в том состоит, а паче между простым народом (как я прежде доносил) относительно до генерал-майора Кара (потерпевшего поражение от войска Пугачева. — *Е. А.*), которого народ бранит, называя его трусом и говорят: “Какой он генерал, что не мог с таким бездельником управиться и сам суды ушел! Его бы надо повесить!” Я радуюсь, всемилостивейшая государыня, сей народной ревности и усердию». 7 января 1774 г. он сообщал о реакции народа на объявление манифеста о Пугачеве: «Я велел примечать при публикации народное положение, которое и примечено, что народ с жадностью слушал оное объявление и после большая часть народа кляли и бранили бунтовщика и самозванца; а другие говорили с презрением и смехом: “Вот какой, вздумал государем быть!” Здесь, всемилостивейшая государыня, все тихо и смирно и через все дни праздника никаких не порядков не было, и врак гораздо меньше стало» (554, 128–129).

Можно сомневаться в точности «анализа» Волконским настроений жителей города, за безопасность которого он, как главнокомандующий, отвечал головой. Как каждый начальник, он стремился, чтобы картина общественного мнения во вверенной его попечению Москве выглядела для верховной власти по возможности более симпатичной. Традиция подобной «обработки» агентурных сведений была, как известно, продолжена и в XIX в. (см. 547). Думаю, что императрица Екатерина не особенно доверяла бодрым рапортам Волконского. Иначе летом 1774 г., когда восстание Пугачева достигло пика и стали распространяться слухи о его походе «чтоб тряхнуть матушкой-Москвой», она бы не предупреждала Волконского «держать ухо востро», смотреть, чтобы «хитрый злодей государственный не нашалил в вашем месте и нечаянно посереде города» (548, 141). Тогда Екатерина сделала и серьезную попытку повлиять на общественные настроения. Она нуждалась в благоприятном к ней общественном мнении, хотя в глубине души государыня явно не имела иллюзий относительно любви к ней народа, который называла «неблагодарным». Поощряя занятия Волконского в сыске, императрица писала ему, что «как по умоначертанию нашего народа по теперешним

обстоятельствам более надлежит ожидать умножение вралей, нежели уменьшение врак». Поэтому она была обеспокоена частыми поездками Волконского в Контору Тайной экспедиции и полагала, что всякая такая поездка «может быть в легкомысленных людях, а особливо в развращенных политиках, произвести новые вредные толки: во избежание чего» она запретила Волконскому самому ездить в застенки, поручив это другим (554, 130—131).

Влияние властей на общественное мнение достигалось в утайке от него (впрочем, тщетной) фактов и событий и в «пускании благоприятных слухов». Следовало также вылавливать и примерно наказывать самих болтунов. 29 июля 1774 г. Волконский сообщал: «Здесь, всемилостивейшая государыня, все тихо и, паче чаяния моего, в простом народе гораздо меньше вранья, как прежде было, что могу приписать строгому смотрению полиции: как обер-полицмейстер, так и подчиненные его офицеры, наипримернейшим образом должность свою исполняют и не только безпрестанные по городу патрули делают, но и неприметным образом о всем разведывают, где только собрания народныя бывают». В письме 1 августа 1774 г. эту тему он продолжил: «Здесь тихо, но в уезде есть разглашения, что будто злодей Пугачев, называя его Петром Третьим, сюды идет, от чего многие в страх пришли. Я послал в разныя места партии казакия таких вредных разгласителей ловить и стараюсь тот страх из головы у слабых людей выбить» (554, 137—140). По городам губернии разослали также указ о «ловлении разгласителей».

Беспокоил власти и высший свет, и простые дворяне. Петербургскими «врялями» занимался С.И. Шешковский, а в Москве это дело императрица поручила Волконскому. По его наблюдениям, причиной слухов являлись «по большей части барыни», которым он «принужден был мораль толковать». И позже императрица не упускала возможности выведать и наказать распространителей слухов и пасквилей о ней. «Старайтесь через обер-полицмейстера, — пишет она 1 ноября 1777 г. о каком-то пасквиле, — узнать фабрику и фабриканта таковых дерзостей, дабы возмездие по мере преступления учинить можно было» (554, 151, 169).

В нескольких случаях мы имеем дело и с очевидными *провокациями* сыска, хотя принято считать, что провокация — детище Департамента полиции второй половины XIX в. (впрочем, П.Е. Щеголев считал первым провокатором Ипполита Завалишина, создавшего из молодых офицеров в 1826 г. в Оренбурге тайное революционное общество, чтобы потом выдать его участникам властям) (393, VIII; см. 439). Выше уже говорилось о том, как в 1718 г. сам Петр I арестовывал государственных преступников. Обстоятельства этого ареста интересны как раз тем, что власти использовали провокацию.

Напомню, что в 1718 г. Петру донесли, что тихвинский архимандрит по ночам «певал молебны тайно» перед образом Богородицы (надо понимать — знаменитой Тихвинской Божией матери). Царь приказал доносчику Каблукову пойти к святому отцу и просить его как бы от себя, чтобы «пред помянутым образом Пресвятыя Богородицы отпеть ему молебен тайно ж». И когда архимандрит начал ночную службу, тут-то и нагрянул сам царь, который забрал сам образ и архимандрита с его людьми в Тайную канцелярию (181, 290). Впрочем, материалы следствия не помогают понять, в чем же состояла суть ночных бдений, — то ли архимандрит служил панихиды по царевичу Алексею, то ли считал, что ночная молитва лучше доходит до Богородицы.

В 1713 г. Стефан Яворский пытался уличить Д.Е. Тверитинова в еретицестве. Для этого Леонтий Магницкий и вице-губернатор Московской губернии Василий Ершов пригласили в гости Тверитинова и фискала Михаила Косого, который также высказывал нетрадиционные мысли о церкви, и устроили застольную дискуссию. Застолье продолжалось одиннадцать часов, но Тверитинов, хотя «в лице зело испал и почернел», ловко уходил от расставленных сетей и себя не выдал. И в новом застолье он, по рассказам провокаторов, говорил «осторожно и вежливо». Поэтому, чтобы расправиться с Тверитиновым, пришлось искать другие пути для доноса на этого хитреца (736, 189, 196). В 1733 г. Феофан Прокопович подослал в вологодский Спасокаменный монастырь, куда отправили простым монахом архиепископа Георгия Дашкова, обер-секретаря Синода Дудина. В инструкции Феофана говорилось: «Как бы ненароком заверни в Каменный монастырь и разведай всячески о Дашкове: живет ли он как монах или поднимает паки роги по-прежнему злomu обычаю гордости своей». Другим поручение Феофана исполнил. Он как бы случайно виделся с Георгием и даже спровоцировал (как он писал в отчете — «для испытания») бывшего архиепископа на благословение, совершать которое лишенному паству монаху-схизматику запрещалось. Это позволило Феофану «добить» Дашкова, которого сослали под строгий присмотр в Сибирь, где он и умер (468, 538; 775, 348—349).

Когда в 1743 г. извetchики по делу Ивана Лопухина — поручик Бергер и майор Фалькенберг — поспешили с доносом к императрице, то Елизавета Петровна, выслушав извет, указала им «повыведывать еще от Лопухина о той близкой перемене» — перевороте в пользу Ивана Антоновича, на приближение которого Лопухин уже дважды намекал Бергеру. Последний встретился с Лопухиным и, играя роль сочувствующего, начал «повыведывать еще». Из болтовни Лопухина он узнал, что покровителем всего заговора является австрийский посланник маркиз де-Ботта. Этот факт, возможно, без провокации и не стал бы известен Тайной канцелярии. Он сразу же изме-

нил весь ход начавшегося вскоре следствия в худшую для его участников сторону — в деле запахло государственной изменой. Если исходить из буквы закона, Бергер и Фалькенберг вели очень опасную игру: они, провоцируя Лопухина на «непристойные слова», сами эти слова произносили, что видно из материалов следствия, и тем самым становились преступниками. Окажись Лопухин стоек на допросах, то провокация могла повернуться против самих провокаторов (660, 6—7).

Существенным моментом ареста являлся захват преступника с *полными*. При аресте старообрядцев и других противников официальной церкви власти стремились прежде всего захватить старинные рукописные книги и «тетрадки». Они служили самой надежной уликой для обвинения в расколе. При аресте колдунов забирали прежде всего все подозрительные предметы: сушеные травы, кости, «малорослые коренья», «тетрадки гадательные», «неведомые письма» и т.д. (643, 383; 583, 240). Особо важным личным в то время считались письма, записки, деловые бумаги. Смертельно опасно было хранить различные «причинные письма» — запрещенные бумаги и листовки, бывшие возможной причиной мятелей, «прелестные письма» с призывом к сопротивлению или бунту. Подданные многократно предупреждались «от прелестных писем иметь осторожность» (172, 172). При изъятии писем людей сразу же начинали допрашивать: «Где они [их] взяли и для чего у себя держали?» (197, 251; 195). В XVIII в. было небезопасно вообще писать что-либо вроде дневника и тем более переписываться, за письмами шла настоящая охота. Переписке как улике придавалось в то время огромное значение. Написанные на бумаге «непристойные слова», в которых усматривали оскорбление чести государя, безусловно приравнялись к публичному произнесению этих слов. Тяжким преступлением считалось, как отмечено выше, сочинение и распространение воззваний, подметных писем, в которых были призывы к непослушанию или бунту. Кроме того, в почтовой переписке всегда видели способ связи шпионов.

Порой паника начиналась по пустяковому случаю. Осенью 1718 г. Петру донесли, что в «Ржеву Володимерскую» из Петербурга послано некое зашифрованное письмо, а в том письме имеется «важность», т.е. состав государственного преступления. Адресат письма был сразу же арестован, как и пославший письмо. В Тайной канцелярии их допросили о смысле зашифрованного текста. Вскоре паника улеглась. Выяснилось, что это переписка о торговых делах и никакой «важности» в ней не было. Тем не менее в расследовании этого случая участвовал сам царь (181, 167). С изъятия писем бывшей царицы Евдокии посланным в Суздаль Скорняковым началось знаме-

нитое Суздальское дело 1718 г. Копии двух писем, «касающихся к подозрению», он немедленно выслал Петру (752, 458–459). В том же 1718 г. били кнутом и сослали на каторгу Федора Рязанова «за непристойные в письмах... слова», которые были прочитаны зорким оком доносчика (8-1, 3; см. также 10, 152).

Обычно при аресте преступника захваченные письма сразу не разбирали. Этим занимались уже чиновники Тайной канцелярии, отделяя «важные», «причинные» от тех, в которых «важности к Тайной канцелярии не явилось». По окончании сортировки составляли протокол: «Августа в 26 день в Канцелярию... взят под караул водошного дела мастер Иван Посошков, а сын его малолетний Николай в доме его, Ивановом, под караулом же, и письма ис того дому взяты в помянутую Канцелярию и розбираны, при взятии писем были канцелярист Семен Шурлов... капрал Яков Яновской, салдат четыре человека... Андрей Ушаков. Секретарь Иван Топильской». Так началось дело знаменитого Ивана Посошкова (9-8, 82, 102).

Кабинет-секретарь Екатерины I А.В. Макаров, посланный 8 мая 1727 г. арестовать княгиню А.П. Волконскую, первым делом захватил всю ее переписку. Позже, в 1728 г., после доноса на нее слуг в имение Дедово, где она жила, нагрянул посланный верховниками сержант Леонид Воронов, который также постарался сразу же захватить письма и бумаги Волконской. На детальном изучении писем строптивой княгини и ее друзей строилось в мае 1728 г. все расследование дела. Особым криминалом верховники признали принесенное доносчиками письмо брата Волконской А.П. Бестужева-Рюмина к Абраму Ганнибалу, «писанное цыфирью», т.е. зашифрованное. В Сибирь отослали указ, чтобы губернатор тотчас послал к жившему в это время в Селенгинске А.П. Ганнибалу нарочного офицера. Ему надлежало явиться на квартиру Ганнибала ночью и «незапно» обыскать его комнату, забрать все бумаги приятеля Волконской и выслать их в Москву (800, 959–965). Заметим также, что сурово каралась всякая попытка частных лиц придумывать шифры («цыфирную азбуку») и вести с их помощью переписку (8-1, 186б.). Письма и прочие улики пронумеровывали, укладывали в ящики и мешки и опечатывали (см. 775, 473).

С петровских времен существовала и *перлюстрация* почты, в том числе дипломатической. В июле 1718 г. голландского резидента де Би вызвали в Коллегию иностранных дел. Там под угрозой ареста его допросили канцлер Г.И. Головкин и вице-канцлер П.П. Шафиров о содержании и источниках отправленных им в Гаагу депеш. Оказалось, что все его депеши в Голландию вскрывали на петербургской почте и переводили на русский язык для Головкина (755, 288–289). В то время как де Би допрашивали в коллегии, секретарь Федор Веселовский с солдатами прорвался в дом де Би и арестовал

все его бумаги. По его приказу солдаты взломали замки в дверях кабинета и выпотрошили секретер голландского дипломата (253, 327—335).

Перлюстрация писем и обыски домов иностранных дипломатов вообще не были редкостью в России, как, впрочем, и в других странах. Перлюстрация была одним из распространенных способов добывания информации в политической борьбе. В 1744 г., как сказано выше, депеши противника канцлера Бестужева французского посла Шетарди вскрывали и копировали на почте, а затем их дешифровывал в Петербургской Академии наук академик Гольдбах. Впоследствии эти материалы использовали для высылки Шетарди за границу. К перлюстрации, в том числе дипломатической переписки, часто прибегали и во времена Екатерины II. Императрица с большим интересом читала все, что о ней и ее правлении думают иностранные посланники (767, 276; 168, 75—84). Более сорока лет почту исправно вскрывал петербургский почт-директор барон Ф.Ю. Аш. Императрица Екатерина II писала ему благосклонные письма и сочувствовала его глазным болезням, возникшим, надо полагать, от профессионального занятия почт-директора, — ведь к помощи этого перлюстратора прибегали все государи 20-х — начала 60-х гг. XVIII в. Впрочем, Аша уволили от почты не по болезни, а в связи с денежными начетами на него. Судя по указам императрицы Екатерины II Ашу, почт-директор не имел права по своему усмотрению распечатывать все письма подряд, а мог вскрывать только те, на которые ему указывала императрица (633-7, 233; 554, 453—454). Такие письма Аш задерживал у себя, доставлял «куда следует» или снимал с них копию. Так поступать было принято давно. В 1743 г. во время следствия по делу Лопухиных Аш получил указ императрицы Елизаветы: письма, приходящие на имя людей, перечисленных в приложенном к указу списке, следует «поворачивать» — пересылать в Тайную канцелярию. Такой же «обработке» подвергались и все дипломатические послания, которые Аш пересылал в Коллегию иностранных дел (660, 31).

Впрочем, почтовые чиновники постоянно вскрывали почту и не дожидаясь особого именного указа. Л.Н. Энгельгардт вспоминает, что в 1792 г. почтмейстер Шклова стал подозревать французского эмигранта, морского офицера графа де-Монтегю, который был нанят на русский Черноморский флот и ехал в Новороссию. Монтегю задержался в Шклове и получил из Риги иностранную почту. Почтмейстер вскрыл эту корреспонденцию и, «осматривая с прилежанием, заметил, что на одном листке между строк шероховато, а когда поднес к огню, оказалось написанное и открылось, что Монтегю был якобинец и ему было поручено сжечь наш черноморский флот. Сего Монтегю отправили за караулом в С.Петербург; впоследствии на эшафоте изломали над ним шпагу и сослан он был в Сибирь, в работу» (808, 36). Надо по-

лагать, что чиновник был отмечен начальством за свое самоуправство, а наш доблестный Черноморский флот, благодаря бдительности безвестного шкловского почтмейстера, избежал страшной опасности и не стал жертвой коварного графа-якобинца.

Если власти не стеснялись свободно распечатывать дипломатическую почту и обыскивать дипломатов, то естественно, что с собственными подданными церемонились еще меньше. Отметим, что интерес к переписке подданных был вызван не только попечением о государственной безопасности. В 1735 г. по делу баронессы Соловьевой в Тайной канцелярии был составлен экстракт из всех писем, которые сыск захватил в ее доме. И хотя ни одно из этих личных писем не имело «важности», тем не менее их тщательно скопировали и поднесли императрице Анне Ивановне, любившей совать нос в интимные тайны своих верноподданных (см. 55, 3–50). Такой же интерес питала к переписке своих верноподданных и императрица Елизавета. Из заурядного любопытства читала чужую переписку и Екатерина II.

Зная роль документов как серьезнейших улик «для изыскания истины» (принятая официальная формула), люди, как уже сказано выше, стремились при первой же опасности уничтожить даже самую невинную переписку, что не всегда удавалось. Дворецкий А. П. Волынского Кубанец в своих показаниях 1740 г. упоминал, что накануне ареста его хозяин пересматривал и жег в камине какие-то бумаги и письма. Волынского об этом тотчас допросили и даже у малолетней дочери кабинет-министра пытались узнать, что же жег в камине ее отец.

По каждому непонятному следователям слову, а тем более — шутке, неясному следствию выражению, автору или адресату приходилось давать в сыске обстоятельные пояснения. Адьютант Конной гвардии Камынин, состоявший в охране Брауншвейгской фамилии в Дюнамюнде, был тщательно допрошен в 1743 г. по поводу одного места из его письма. Жалуясь на свою жизнь в Риге, он писал приятелю в Петербург: «Прости, дорогой братец, ах как дурно живу! Потерял век, не тот теперь как был, научили бездельники, как жить». Следователи вопрошали молодого человека: «Оное в какой силе от тебя писано и кто бездельники, и в чем?» Камынин стремился успокоить дознавателей, ссылаясь на скучную жизнь в Риге, несравнимую со столичной, и т. д. Между тем следователи искали связи охраны Анны Леопольдовны с Лопухиными, которых обвиняли в заговоре, и ответы Камынина им казались неубедительными (410, 92).

Тщательно изучали следователи и отобранные при обыске конспекты даже разрешенных к чтению и хранению дома книг. У пытливого читателя выспрашивали: «На какой конец выписывал ты пункты из книги «О госу-

дарственном правлении», клонящиеся более к вреду, нежели к пользе?» Так допрашивали в 1793 г. арестованного сочинителя Федора Кречетова (401, 56). За полсотни лет до этого такие же вопросы задавали в сыске другому большому книгочею — А.П. Вольтскому, у которого была большая библиотека исторических сочинений. Тяжела была участь тех, кто сохранял письма преступников, даже если в них ничего преступного и не было. В 1721 г. сурово наказали Семена Игнатьева, брата бывшего духовника царевича Алексея расстриги Якова Игнатьева, за то, что Семен взял «письма царевичевы (Алексея. — Е. А.) и держал их у себя». И только потому, что преступнику не исполнилось восемнадцати лет, его лишь высекли батогами и сослали в Сибирь (8-1, 3106).

Итак, наш герой выслежен, спровоцирован, арестован, и его нужно препроводить в узилище, по-современному говоря — *э та п и р о в а т ь*. В столицах с доставкой «куда следует» арестованных преступников особых проблем не было — как уже сказано выше, за нужным человеком из Тайной канцелярии посылали на извозчике гвардейского или гарнизонного офицера с двумя-тремя солдатами, которые и привозили новоиспеченного арестанта в крепость. Почти так же поступали с людьми познатнее, только для них нанимали закрытую карету да усиливали конвой. Все остальное было по-будничному просто. Выше процитировано описание Винского, как он в «дружеской компании» с полицейским офицером вышел на улицу, где их ждала карета с двумя всадниками. Арестованного привезли сначала в полицию, потом в офицерскую караульную, где Винский просидел всю ночь. Наутро арестанта привели к обер-полицмейстеру П.В. Лопухину, который, как писал Винский, «коль скоро я показался, сказал “Пойдем!”». Он вперед, а я за ним следом, за мною еще несколько, и так на улицу, к Мойке, там — в ожидающую нас шлюпку. Коль скоро мы поместились, “Отваливай!” сказано, “Как и вчера!” Мойкою, выбравшись в Неву, шлюпка прямо начала держать к крепости и пристали к Невским воротам» (187, 76–77). Описанный вид ареста назывался «честным», т.е. не сочетался с демонстративным унижением человека. При аресте его не заклепывали в цепи и вообще обращались с ним не как с преступником, а как с временно задержанным (752, 514).

Намного сложнее было доставить арестанта из провинции. Инструкции нарочным требовали от охраны соблюдения нескольких важных условий. Везти арестанта нужно было быстро («с великою борзостью»), тайно от посторонних, нельзя было допустить контактов арестанта с окружающими. Кроме того, конвою нужно было не допустить переписку, упредить побег, самоубийство, не дать перехватить арестанта возможным сторонникам и со-

участникам. По инструкции арестанта надлежало сразу же заковать в кандалы и так везти в столицу «под крепким караулом». Наиболее надежным средством от «утечки» арестантов в дороге считались «колоды» или «колодки» (отсюда столь распространенное название узников тогдашних тюрем — «колодники»). В документах об отправке арестованных это обстоятельство записывали таким образом: «Посланы... с начальными людьми, и с провожатыми, в колодах» (197, 66). Известно, что арестованного Пугачева сразу же «заклепали в колодки» (522, 37). Однако колоды были очень неудобны и тяжелы (о них см. ниже), поэтому чаще прибегали к ручным и ножным кандалам. Везли арестанта обычно либо в открытых телегах, либо в специальных закрытых возках. Для людей знатных находили вместительные кареты — берлины, а также большие закрытые возки. Малолетнего Ивана Антоновича перевозили в 1744 г. в Холмогоры в закрытой коляске, а для Арсения Мациевича в 1767 г. сделали особую кибитку: к саням прикрепили железный каркас, который обшили рогожами (410, 108; 591, 548). Начальник конвоя получал специальную подорожную (см. 34-2, 330). По дороге конвою запрещалось обирать и обижать местных жителей, предписывалось «обид и налогов никаких нигде не чинить и излишних, сверх подорожной беспрогонных подвод отнюдь не брать». На самом же деле все было как раз наоборот.

Перевозку знатных арестантов организовывали, естественно, тщательно, окружали особой секретностью. Так, в полной тайне везли в 1744 г. Брауншвейгскую фамилию из Ранненбурга на север, вначале предположительно на Соловки. Императрица Елизавета опасалась заговора в гвардии, и поэтому весь гвардейский караул в дороге был заменен на армейский. Поезд с арестантами объезжал по проселочным дорогам все встречавшиеся на пути города. Ивана Антоновича перед выездом из Ранненбурга отняли у родителей. Майору Миллеру, согласно данной ему инструкции, предстояло везти мальчика в закрытой коляске, «именем его назвать Григорий» и «о имени при себе младенца никогда и никому не объявлять и его никому, ниже подвощикам, не показывать, имея всегда коляску закрытую... и ни на какие вопросы никому не отвечать». Вообще ночь, секретность и безымянность всегда были любезны политическому сыску, особенно если шла речь об аресте и доставке арестованных. Ведавший отправкой семьи Ивана Антоновича на север Николай Корф получил указ императрицы, согласно которому он должен был отправить семью в путь ночью и «по прибытии в монастырь арестантов ввести туда и разместить ночью, чтобы их никто не видел». В Архангельске Миллер должен был сесть с мальчиком на судно также «ночью, чтобы никто не видал», а прибыв на Соловки ночью же, «закрыв, пронести в четыре покая и тут с ним жить так, чтобы, кроме его, Миллера, солдата его

и слуги, никто онаго Григория не видал» (651, 83–85; 410, 105–114). Капрал Ханьков в 1735 г. приехал и арестовал княжну Прасковью Юсупову ночью (322, 361). В 1756 г. Никита Панин предписал начальнику конвоя колодницы Бины Менгден, как везти ее из Холмогор в Москву: «По приезде в Москву в ночное время, а не днем, явиться наутро у меня и о том отрепортовать» (766, 38–41; 410, 108, 312). Въезд конвоя в город под покровом темноты, по-видимому, известен издавна. Так, в 1736 г. ночью привезли из Выборга в Петропавловскую крепость Феофилакта Лопатинского (484, 287). Известны и другие случаи ночной доставки арестантов, как и ночных арестов. Согласно легенде, в ночь перед арестом Ростовский архиепископ Мациевич сказал келейнику: «Не запирай ворот на ночь — гости будут ко мне в полночь». Так это и произошло (591, 557). Ночью, в 2 часа, из Кронштадта в Петропавловскую крепость в мае 1776 г. была привезена капитаном гвардии А.М. Толстым самозванка «Тараканова» (441, 579).

Естественно, что никто из арестантов не должен был знать, куда его переправляют. О конечном пункте не всегда знала даже охрана. Когда в 1767 г. из Архангельска под конвоем повезли Арсения Мациевича, то начальник конвоя получил указ передать безымянного преступника в Вологде под расписку другой команде. И уж начальник этой команды получил указ доставить арестанта в Ревель. Его следовало везти секретно «и никому его не показывать и для того везти его, закрывши в санях, кои и имеете купить. Вам и команде вашей разговоров никаких с ним не иметь, тако ж о имени и о состоянии его ни под каким видом не спрашивать, и писем писать колоднику не давать» (255, 281; 594, 549). Взятого в плен русскими войсками в Литве Фаддея Костюшко привезли в Петербург в конце 1794 г. Согласно секретному ордеру конвой вез бунтовщика под именем некоего генерала Милашевича — на эту фамилию была выдана подорожная. Начальника конвоя предупредили: «Чтобы до С.Петербурга никто, ни под каким видом, не знал кого вы везете, под наистрожайшим на вас и свиту вашу зысканием». В Петербург въезжать можно было «в темноту уже ночи, а не прежде» (222, 11, 15).

Привезя арестанта в Петербург, начальник конвоя сразу же сдавал его либо коменданту Петропавловской крепости, либо чиновникам Тайной канцелярии и получал расписку о приеме арестанта. После этого, как гласит инструкция прапорщику Тарбееву, привезшему арестованного полковника Давыдова, «как онаго полковника примут, то его письма и достальные деньги (т.е. оставшиеся от расходов в пути. — Е. А.) в ту ж канцелярию объявить и требовать себе с солдатами возвратно отпуска» (63, 5).

Если арестант по дороге умирал, то о его смерти и похоронах конвойные делали запись в специальном документе. Когда нижегородский вице-губер-

натор князь Юрий Ржевский отправил в декабре 1718 г. в Петербург партию из 22 раскольников, то он дал начальнику конвоя капралу Кондратию Дьякову инструкцию, в которой сказано, что если арестанты «станут... мереть и тебе их записывать именно». В том же деле сохранился и составленный конвойными именной список из одиннадцати фамилий умерших в пути: «1718 года, декабря в 10 день, Кондратий Нефедьев умер в Нижегородском уезде в Стрелицком стане, разных помещиков в деревне Карповке, и в той деревне свидетельствовали: староста Федоров, староста Филип Иванов и вышеписанным старостам оный умерший отдан схоронить в той же деревне» (325-2, 196—197).

Благополучная доставка арестанта до столицы лежала на совести начальника охраны — при побеге арестанта его нередко ждали разжалование, пытки и каторга. В инструкции 1713 г. нарочному, посланному в Тверской уезд для ареста свидетелей, говорилось: «Дорогой везти с опасением, чтоб в дороге и с ночлегу не ушли и над собою, и над караульщиками какого дурна не учинили, а будет они караульщики для какой бездельной корысти или оплошкою тех колодников упустят, за то им караульщикам быть в смертной казни» (325-2, 84). Охране запрещалось в дороге разговаривать с колодником и предписывалось пресекать разговоры арестантов. В инструкции конвою, везшему митрополита Сильвестра и его бывшего охранника, на которого Сильвестр донес в 1732 г., было сказано, чтобы колодники между собой никаких разговоров не имели, «а ежели, паче чаяния в дороге из оных колодников учнет кто говорить непотребное... клепать им рот» (775, 344). О насильственном затыкании рта арестанту говорится во многих сопроводительных инструкциях. При доставке раскольников из Петербурга в разные тверские монастыри в 1750 г. конвойные должны были также «класть в рот кляпья» особо разговорчивым колодникам и «вынимать тогда, когда имеет быть давана им пища» (700, 8—9, 28, 344, 20). Среди иллюстраций можно видеть такое «кляпье», которое применяли к узникам в Западной Европе, где это орудие называлось «ошейник немого». Его использовали также при мучительных казнях, чтобы казнимый не кричал. С таким кляпом, снабженным еще двумя острыми шипами, погиб на костре посредине римской Площади цветов Джордано Бруно в 1600 г. (815, 82).

Если затыкать рот арестанту указаний не было, то охрана должна была тщательно записывать все, что он говорил «причинного», т.е. важного. В инструкции конвою Машиевича генерал-прокурор А.А. Вяземский писал: «Что же услышано вами или командою вашею будет (от арестанта. — Е. А.), то оное содержать до окончины живота секретно, а по приезде в Москву о том его вранье имеете вы объявить мне» (255, 282). В подобных инструкциях со-

держались и другие правила: не везти арестантов вместе, не давать им бумаги и чернил, острых предметов, не допускать к ним посторонних и т.д. Когда в 1718 г. из Москвы в Ладугу повезли бывшую царицу Евдокию, то конвойный офицер имел право арестовывать всех, кто пытался передать колоднице письма или деньги (752, 223). Власти опасались и сговора — «стачки» охранников с арестантом. В ордере поручику Тарханову 1788 г. о перевозе из Риги в Петербург самозванца «императора Ивана» — купца Тимофея Курдилова — сказано, что нужно не только смотреть «бодрственным оком, дабы арестант не сделал утечки», но и «равно наблюдать за конвойными служителями, чтобы он (Курдилов. — *Е. А.*) не сделал иногда покушения к уговору их об отпуске его» (198, 462). Особые опасения властей вызывала возможность побега или спасения арестанта кем-то из его сообщников. Для начальника конвоя Пугачева и его сообщников, которых везли из Яицкого городка в Симбирск, А.В. Суворов 17 сентября 1774 г. составил инструкцию. В ней повторялись многие из вышеназванных правил доставки арестантов, но при этом Суворов требовал, чтобы на привал поезд вставал лагерем посреди чистого поля, а не в перелесках. При этом привал арестантов следовало окружать двойной цепью солдат. В деревнях арестантов предписывалось держать только на улице, а не в избах. Внимание конвоя удваивалось ночью. Конвойные готовили к бою три пушки, движение в темноте разрешалось только с зажженными фонарями, два из которых следовало держать возле клетки Пугачева (522, 56–57).

Арестанта следовало привезти в столицу здоровым, «в невредном сохранении». Поэтому охрана должна была заботиться об узнике, думать о его здоровье, удобствах, еде и даже настроении. Об одном арестанте, которого везли из Пруссии в 1757 г. А.П. Бестужев писал М.И. Воронцову: «Опасательно, чтоб он, при нынешней по ночам довольно холодной погоде, в колодке и в железах живучи, от раны не умер» (555, 207–208). Конвою следовало особенно внимательно следить, чтобы их поднадзорный не предпринимал никаких попыток самоубийства. В инструкции 1727 г. об аресте старообрядцев сказано: «Ободрав у них поясы и гонтяны, и ножи им в руки не давать, чтоб оные раскольщики, по обыкности своей раскольнической, себя не умертвили» (325-2, 126). Авторы инструкции капитану А.П. Галахову, командовавшему охраной Пугачева в Симбирске, обращали внимание на то, чтобы Пугачев «никоим образом себя умертвить не мог». Конвой сподвижника Пугачева Ивана Зарубина также следил, чтобы у преступника не оказалось в руках ни ножа, ни яда (522, 63, 189). Еду для колодников пробовали конвоиры (или, как сказано в инструкции 1732 г., «на пищу давать им хлеб, переламывая в малые куски» — 775, 345). Арестантам не давали ни столовых ножей, ни вилок.

Охранники придирчиво рассматривали каждый кусок мяса или рыбы — нет ли в них острых костей и «другого вредительного орудия... чтобы себя чем не умертвили». Зная, что их ждут в пыточной палате страшные муки, иные арестанты, несмотря на внимательную охрану, все же пробовали покончить с собой еще по дороге в камеру пыток. За 27 января 1699 г. в материалах Преображенского приказа сохранилась запись: «А Васки-де Тумы племянник Андрюшка Сергеев не пытан для того, что, сидя в санях, сам себя порезал в брюхо». В январе 1700 г. пятидесятник Чубарова полка Яков Алексеев был спасен от самоубийства своими конвойными и на допросе показал: «И как сидел в Преображенском в приказе и после пытки и огнем зженья ножишка, которой вынят у меня в епонче ис подоплеки... взял я в Преображенском приказе после денежных мастеров... А тот нож держал для себя, чтоб зарезатца» (197, 203, 245). В экстракте об Астраханском розыске 1705—1707 гг. сказано, что стрелец Стенька Москвитянин был «для очных ставок... везен из Новоспасского монастыря под караулом, порезал себе брюхо и вынят у него из саней от ножа обломок. А в распросе он, Стенка, сказал, [что] тем обломком порезал себя, едучи дорогою тайно от караульных солдат, боясь розыску, а взял тот обломок кражею тому недели с две, будучи в Новоспасском монастыре в тюрьме у своей братьи, а умыслил себя зарезать до смерти, чтоб ему в розысках не быть» (325-2, 105—106). В 1739 г. брат князя И.А. Долгорукого Александр неудачно пытался бритвой вспороть себе живот, но был спасен охраной, а вызванный врач зашил рану (406, 132). Во время Тарского розыска 1720-х гг. старообрядцу Петру Байгичеву удалось подкупить судью Л. Верещагина, и он дал возможность узнику зарезаться (581, 61).

Арестанты с дороги пытались подать о себе весточку близким или друзьям, что им, естественно, категорически запрещалось. 30 августа 1757 г. на 13-й версте Петергофского шоссе мимо дома, у которого стояли двое купцов-иностранных, проехала коляска с каким-то человеком и двумя гренадерами, сидевшими спереди и сзади от него. Человек, приподняв кожаный фартук коляски, выбросил на дорогу клочки драной бумаги и среди них написанную красным карандашом записку на французском языке: «Я — прусский капитан де Ламбер, я в оковах. Ради Бога, будьте милосердны и известите [об этом] мою супругу в Данциге у английского консула». Как сказано в официальном документе о происшедшем (купцы сдали записку куда следует), «помянутая персона часто выглядывала, яко бы дая знать, приметили ли они те бумаги». Командир конвоя поручик Чехненко получил выговор за «слабое смотрение» арестанта, которому запрещали давать бумагу и карандаш (555, 206—207).

Не без оснований авторы инструкции предупреждали посланных для ареста, чтобы они действовали быстро, внезапно, не позволили преступни-

кам бежать накануне ареста или с дороги. Естественной реакцией людей, которые узнавали о предстоящем аресте, чувствовали его приближение или уже были схвачены, было желание бежать как можно дальше, скрыться от преследования. Когда в феврале 1718 г. Г.Г. Скорняков внезапно нагрянул к бывшей царице Евдокии в суздальский Покровский монастырь, запер ворота монастыря и стал хватать всех находившихся там людей, то, как отмечается в позднейшем приговоре Тайной канцелярии, суздальского собора протодьякон Дмитрий Федоров «как тот монастырь заперли и [он] и з женою чрез ограду ушел» (8-1, 19). Можно догадаться, какая нечеловеческая сила перенесла протодьякона с его протодьяконицей через высокую каменную стену Покровского монастыря. Этой силой был Великий государственный страх, ужас перед застенками Преображенского приказа.

Когда присланные за человеком военные не обнаруживали преступника, то они забирали всех, кого находили в его доме, и везли в тюрьму, чтобы выяснить в допросах, куда сбежал преступник. Из дела 1714—1715 гг. следует, что вместо беглых преступников в Преображенское притащили их жен. Женщин держали до тех пор, пока солдаты не разыскивали мужей или пока они сами добровольно не сдавались властям (325-2, 78). Такое заложничество, по некоторым признакам, было довольно-таки распространено. Против этого не возражало и право, построенное на признании вины родственников за побег их близкого человека. Они, как уже отмечалось выше, должны были доказать свою невиновность и непричастность к побегу. Уходили арестанты и с дороги. В 1724 г. неизвестные люди отбили солдатку Марью Никитину, которую везли из Алатая в Москву в Преображенский приказ (89, 750). Зимой 1733 г. по дороге в Калязинский монастырь на конвой, который сопровождал старообрядческого старца Антония, было совершено внезапное нападение. Как показали свидетели, недалеко от подмонастырской Никольской слободы, «часу в другом ночи нагнали их со стороны незнаемо какие люди, три человека, в двойке, в одних санях, захватили у них вперед дорогу и, скача, с саней один с дубиною и ударил крестьянина, с которым ехал Антоний, от чего крестьянин упал, а другого, рагатину держа, над ним говорил: “Ужели-де станешь кричать, то-де заколю!”», а старца Антония, выняв из саней, посадили они в сани к себе скованного и повезли в сторону, а куда — неизвестно». Добравшись до ближайшего жилья, охранники подняли тревогу, монастырские слуги и крестьяне гнались по всем дорогам от слободы «верст по сороку, только ничего не нашли», старец Антоний навсегда ускользнул от инквизиции (325-1, 264). В 1755 г. из Отроча Успенского монастыря бежал «лжестарец Арсений, который сидел в хлебе под караулом», но ночью 5 февраля «пошел для телесной своей нужды и оттоле бежал незнаемо куда». Все поиски

беглеца также оказались тщетными. Любопытно, что при побеге арестанты шли на различные ухищрения, чтобы усыпить бдительность сторожей. Если они бежали в кандалах, то обвязывали их тряпками (700, 11: 455, 92).

Можно не сомневаться, что такие побеги были загодя тщательно спланированы, а в нужных местах расставлены подставы сменных лошадей. Так, в декабре 1736 г. старообрядцы подготовили удачный побег из Тобольского кремля Ефрема Сибиряка. В тот момент, когда его вели по Кремлю, он вырвался от охранника, прямо в ножных и ручных кандалах, вылез в заранее открытую, но тщательно замаскированную его сообщниками бойницу и затем скатился по снегу с высокого кремлевского холма туда, где его уже ждали сани, которые тотчас умчались из Тобольска (581, 95—99).

Несмотря на всевозможные строжайшие предупреждения, доставка арестантов проходила гладко только на бумаге. В начале 1720 г. капрал Дьяков привез партию арестантов-раскольников из Нижнего Новгорода в Петербург. Через некоторое время выяснилось, что в дороге умерло не одиннадцать, как рапортовал Дьяков, а только десять арестантов. В реестре покойников, о котором сказано выше, записано, что в Москве в доме посадского Леонтия Иванова умерли три колодника, о чем показали староста Степан Михайлов и хозяин квартиры Леонтий Иванов. Однако в июле 1720 г. в Нижнем полиция поймала раскольника Пчелку, в котором опознали одного из умерших в Москве арестантов — Кирилла Нефедьева. В допросе Нефедьев-Пчелка показал, что «как-де он привезен был к Москве и взвезли-де его на двор за-мертво и после-де того, неведомо как объявился он один на улице, а караульных солдат при нем в то время не было, а каким-де образом то учинилось, того не упомнит». Не мог никак объяснить «воскресения» арестанта и капрал Дьяков. Он утверждал, что умершего Пчелку «оставил он на квартире мертвого и лежал-де он, мертв, трои суток и у караульного часового солдата Петра Осинцова пропал безвестно, а он-де Дьяков в то время на помянутой квартире не был, а ездил в Ямскую Дрогомиловскую слободу и его-де, Пчелку, живого не отпускал, а взятков с него ни чему некосен в чем-де шлет-ся на него, Пчелку».

Судя по реестру умерших, капрал говорил неправду — Пчелка записан в реестре за 21 декабря, а следующий покойник из этой партии арестантов, Иван Иванов, записан под 22 декабря. Он скончался в Пешках — ямской слободе Дмитровского уезда. Умерший 24 декабря Василий Анофриев записан в реестр уже в Городне Тверского уезда, т.е. на пути в Петербург. Это означает, что партия арестантов выехала из Москвы не позже 22 декабря и Пчелка либо не лежал три дня в виде бездыханного трупа в доме Иванова под караулом солдата Осинцова, либо (что, скорее всего, и было) его отпустил

сам Дьяков. Нужно помнить, что арестантов везли скованными и пришедший в себя Пчелка мог, конечно, оказаться на улице без конвоя, но уж никак не без кандалов. В 1720 г. двое конвойных солдат, бежавшие вместе с колодниками по дороге из Нижнего в Москву, а потом пойманные полицией, признались, что отпустили пятерых колодников за 30 рублей, один же из «пойманных каторжных утеклцов», поп Авраам, на допросе показал, что солдаты отпустили колодников за 37 рублей (325-2, 198—200, 244).

Впрочем, побег Пчелки, возможно, организовали его единоверцы. Старообрядцы это делали не только с помощью налетов. В мае 1736 г. чуть было не сбежала из тобольской тюрьмы старообрядческая старица Евпраксия. По совету братьев и сестер с воли старица в течение семи дней не пила и не ела, так что 21 мая местный полковой лекарь (неподкупленный!) зафиксировал смерть колодницы. Ее обмыли, положили в гроб (специально надколотый, чтобы она в нем не задохнулась) и затем вывели за город на кладбище. Поднятая там из гроба своими товарищами, она пришла в себя, переделалась. Но вскоре ее случайно обнаружил и арестовал гулявший вдоль Иртыша драгун (581, 91—93).

Длинная и трудная дорога подчас спланивала охрану и арестантов. Бывало, что арестанты угощали конвоиров в кабаках, ссужали их деньгами на прогоны, а те, в свою очередь, не следуя строго букве инструкции, давали своим подопечным разные послабления. Так, перевоза из Брянска в 1733 г. в Петербург арестованных, начальник конвоя сержант Прокофий Чижов расковал в Гдове преступника Совета Юшкова, «для того, что те кандалы были ему, Юшкову, тесны». Там же сделали новые, более просторные оковы. Следовательно, какое-то время преступник в дороге находился без кандалов, что все инструкции категорически запрещали (52, 26). Нарушивший инструкцию сержант попал в пыточную палату, а потом его разжаловали в солдаты.

Егор Столетов, доставленный с Урала в Петербург в 1735 г., жаловался на конвойных, которые везли его и других арестантов из Нерчинска в Екатеринбург. По словам Столетова, солдаты всю дорогу пьянствовали, обирали местных жителей, при переправе через реки сажали в одну лодку с арестантами посторонних людей (659, 13). Так бывало часто, особенно когда заключенных везли в Сибирь и в другие отдаленные места. «Вольности» и нарушения инструкций начинались сразу же после того, как исчезала вдали городская застава, а вместе с ней строгое начальство. Бывший арестант В.П. Колесников вспоминал, что как-то раз на этапе каторжники стали выбирать для себя более удобные наручники, прикрепленные к общему для всей партии железному пруту. Расчет строился на том, что если наручники

пошире, то в дороге оковы не будут натирать руку. Унтер-офицер, увидав это, шепнул: «Пожалуйста, оденьте (наручники. — Е. А.) поуже — видите, начальник наш смотрит, выйдем за город, наша будет воля!» И на десятой версте от города он освободил арестантов от неудобного при ходьбе прута.

За деньги у охраны можно было получить водку, освобождение от тяжелых оков и даже испытать приключения в женской казарме на этапе. Тот же Колесников описывает, что во время обыска артельные деньги он хранил у... одного из своих конвойных. Вообще же взятки при конвоировании давались всем: начальнику конвоя — чтобы не мучил долгими пешими переходами и прутком, простым солдатам — чтобы не били, приносили еду, пересылали письма, пускали к узнику родственников и проституток, кузнецам — чтобы не ковали в тесные кандалы, цирюльнику — чтобы не брил голову тупой бритвой и т.д. В казармах на этапах шла игра в кости, карты, устраивались спортивные гонки вшей или тараканов. Примечательно, что не всегда арестанты давали взятку конвойным. Если каторжник имел свои деньги, то он попросту не брал у конвоя положенные ему по закону «порционные», которые солдаты присваивали себе и были поэтому лояльны к своим подопечным (393, 32, 79, 97).

Теперь о побегах с дороги. Часто арестантам удавалось «утечь» именно с дороги, воспользовавшись малочисленностью конвоя, усталостью, беззаботностью и корыстолюбием конвойных солдат. На ночлегах по дороге обычно царил суета, и колодники этим умело пользовались. Солдат-охранник Анофрий Карпов, сопровождавший партию арестантов из Нижнего в Петербург, так описывает побег двух колодников во время стоянки партии в Химках под Москвой: «В ночи перед светом... стали убираться чтобы ехать, тогда все солдаты, также и колодники, вышли все на двор для впрягания лошадей, а помянутые два человека в то время и ушли, и усмотреть за теснотою в том дворе было невозможно, и для сыску оных послал он, Онуфрий, двух человек солдат — Тимофея и Петра (а чьи дети и как прозванием того он, Ануфрий, не знает), которые также ушли и с ружьем, а он, Ануфрий, собрав в той деревне крестьян, искал тех колодников, которые сбежали, также и солдат, в гумнах и близко в той деревни по лесам, а на дорогу за ними в погоню не ездил и никого не посылал для того, что по той дороге [людей], которые попадались во время того иску навстречу спрашивал, которые сказывали, что не видали, а след был со двора на дорогу». После этого понятно, почему Суворов требовал от конвоя устраивать привалы для конвоируемого Пугачева только в чистом поле.

На следующий день на мосту у села Медное исчез еще один колодник, Федор Харитонов. Его товарищ по партии арестантов потом показал на-

чальнику охраны, что накануне Харитонов ему говорил: «“Либо-де удавлюсь, либо утоплюсь, а уж-де у меня мочи нет от трудного пути”», и [он] человек уже старый и потому может быть, что в воду разве не бросился ли» (325-2, 206–207). О частых побегах арестантов сказано и в докладе Сената императрице Екатерине I в 1726 г. Сенаторы писали, что заявившие «Слово и дело» воры и разбойники, при перевозке их в столицу на следствие, «в пути от сланных с ними уходят и отбиваются» (633-55, 419). Как это происходило, видно из протокола 1752 г. о побеге арестанта из партии, следовавшей в Калугу. Каждый из преступников, как отмечается в рапорте конвоя в Сенат, был скован «в кондолы», однако один из арестантов, «не доезжая города Торшка за 15 верст, на большой дороге, в лесу, с роспусков, разобувшись, скинув потихоньку кондалы, и, [со]скоца с телеги, ушел в лес, а часовой не видал, понеже он сидел к нему спиною с обнаженною шпагою» (463, 85).

Поиски беглого государственного преступника были довольно хорошо отлажены. Как только становилось известно о побеге, во все местные учреждения из центра рассылали так называемые «заказные грамоты» с описанием примет преступника и требованием его задержать. Кроме того, преступников ловили особые агенты — сыщики. Для поисков бежавшего перед арестом проповедника Григория Талицкого летом 1700 г. из Преображенского приказа сыщиков разослали по всей стране. Отличившегося сыщика ждала колоссальная по тем временам награда — 500 рублей (212, 138). Надо думать, что в поисках преступника сыщики опирались на обширный опыт поимки беглых крепостных крестьян, холопов, посадских. Он накопился со времен утверждения крепостничества и был весьма действен (см. 500а; 788, 267 и др.). На вооружении сыщиков были известные, опробованные методы и приемы выслеживания и захвата беглых. Главное внимание уделялось коммуникациям, возможному направлению побега. Сразу же после побега предписывалось «заказ учинить крепкой и по большим, и по проселочным дорогам, и по малым стешкам, и на реках, и на мостах, и на перевозех, и в ыных приличных местех поставить заставы накрепко с великим под[т]верждением, чтоб они тех людей» ловили (195, 207). В наказах сыщикам отмечалось, где скорее всего можно встретить беглеца: «По городам, и по селам, и по монастырям, и по приходским церквям, и по пустыням, и по рыбным ловлям, и на пристанях, и на лодьях, и на кораблях, и на карбусах, и на мелких судах, и во всяких местах, во всяких чинах, и в работных людях того вора сыскивать всякими мерами». При этом важно было проследить, в каком направлении движется схожий по описаниям человек, и затем перехватить его на одной из переправ.

В рассылаемых на места памятях и в наказах или «погонных грамотах» (от слова «погоня») отмечались главные приметы преступника: рост («высок», «низмян», «ростом средняя»), полнота («толст», «тонок»), цвет глаз («карие», «серые», «черные»), волосы на голове и в бороде («русые», «светлорусые», «темнорусые», «чермен», «седые» и др.), форма и величина бороды («клинушком», «круглая», «продолговатая», «велика», «редкая»), форма бровей, носа («широковат», «продолговат», «остр»), форма и цвет лица («брусом», «лицем бел»), общий вид («плечист», «кренаст», «нахмурен», «сутол»), особые приметы: следы от перенесенных болезней и анатомические особенности («у правой ноги в лодыжке опухло»), манера говорить («говорит остро, скоровато», «толстовато», «говорит тихо», заикается), примерный возраст («около 45-ти»), вид и цвет одежды, за кого себя выдает, с кем едет, на какой лошади и т.д. (325-1, 263—265; 212, 124 и мн. др.)

В заказной грамоте о поимке Ивана Щура дано такое описание беглеца: «А тот мужик Ивашко Щур ростом не велик, кренаст, глаза кары, волосы голова руса, борода светлоруса, кругла, невелика, платье на нем шубенка баранья нагольная, шапка овчинная, выбойчатая, штаны суконные красные, сапоги телятинные, литовские, прямые, скобы серебряные. А чаять его, Ивашкова побегу в литовскую сторону, на Вязьму или на Калугу или, будет укрываясь, и на иные дороги пойдет» (500, 231). О бежавшем в 1754 г. за границу секретаре Дмитриии Волкове сообщалось всем представителям России: «Оной секретарь Волков приметам: роста среднего, тонок, немного сутоловат, около двадцати шести лет, лицом весьма моложав и продолговат, борода самая редкая и малая, волосы темнорусые и носил их обыкновенно в косе, брови того же цвета; глаза серые, в речах гнусит, иногда гораздо заикается, голос толстоватый, говорит по-французски и по-немецки, а на обоих сих языках пишет весьма изрядною рукою» (128-2, 630). А вот другой пример: «Таскающийся по миру бродяга Кондратей, сказывающейся киевским затворником росту среднего, лицом бел, нос острой, волосы светлорусые, пустобород, отроду ему около тридцати пяти лет, острижен по-крестьянски и ходит в обыкновенном крестьянском одеянии, а притом он и скопец». Таким был в 1775 г. словесный портрет знаменитого основателя скопческого движения Кондратия Селиванова (346, 425—426). По этим и подобным им довольно выразительно указанным приметам поймать беглого преступника было возможно. Знаменитая сцена в корчме на литовской границе из «Бориса Годунова» кажется вполне историчной и достоверной.

Талицкого, как и многих подобных «утеклых» преступников, поймали уже через два месяца. Больше пришлось повозиться с поисками другого беглого преступника — стрельца Тимофея Волоха. Необыкновенную энергию

в поимке Волоха проявил сам судья Преображенского приказа Ф. Ю. Ромодановский. Из дела видно, что всесильный Ромодановский был уязвлен побегом Волоха и сам многократно допрашивал его родственников, давал указы о его поимке в те места, где бывал до ареста Волох и куда он мог, по расчетам сыска, вернуться, рассылал заказные грамоты с описанием примет преступника по многим городам страны, сам осматривал всех задержанных подозрительных людей. И в конце концов, через два года, Ромодановский все-таки достал, словно из-под земли, дерзкого Волоха. Его удалось захватить на Волге, в Саратове (212, 125, 66–67; 89, 394).

Скрыться в городе (кроме Москвы, изобиловавшей притонами) или в деревне беглецу было довольно сложно. В сельской местности царила довольно закрытая от посторонних общинная система. Появление каждого нового человека в общине становилось заметным событием, чужак сразу попадал на заметку начальства. К тому же пришлый, как правило, был человеком православным, а поэтому не мог миновать церкви и тем самым становился известен приходскому священнику, который считался почти штатным доносителем. В людных городах была своя система контроля. В Петербурге каждый домохозяин обязывался сообщать в полицию о своих постояльцах, по ночам всякое движение в городе было невозможно из-за «рогаточных караулов» и постов. В Москве были свои методы вылавливания беглых и подозрительных людей — выше уже сказано о «методе» Ваньки Каина, который ходил с солдатами по притонам и хватал всех подряд воров.

Конечно, беглец мог скрыться во владениях помещиков, принимавших беглых людей. Но не каждый помещик рисковал принять в холопы или посадить на землю подозрительного беглеца, да еще без семьи — слишком велики стали при Петре I штрафы с укрывателей беглых, слишком много было вокруг доносчиков. К тому же если такой беглый числился государственным преступником и его искали, то хозяину нового холопа, как укрывателю и сообщнику преступника, грозила пытка в Тайной канцелярии.

«Записные», т.е. учтенные в подушных книгах двойного оклада, старообрядцы стремились по возможности жить в мире с властями и всех без разбору беглых не принимали. Они оказывали помощь прежде всего своим братьям — гонимым единоверцам. В петровское время внутри страны установился довольно жесткий полицейский режим. С 1724 г. запрещалось выезжать без паспорта из своей деревни дальше, чем на 30 верст. Паспорт подписывал местный воевода или помещик. Все часовые на заставах и стоявшие по деревням солдаты тотчас хватали «беспашпортных» людей. Действовать так им предписывали инструкции. В каждом беглом подозревали преступника. А если у задержанного находили «знаки» — следы казни кнутом,

клеймами или шипцами, разговор с ним был короток, чтобы арестованный ни говорил в свое оправдание. Из допроса пугачевского атамана Хлопуши видно, что его, бежавшего с каторги преступника, поймали на дороге к Екатеринбург без паспорта и сразу же, как «человека подозрительного» (у него были рваные ноздри и спина со «знаками» от кнута), вновь били кнутом, заново рвали у него ноздри, клеймили, а потом отправили на каторгу (280, 163).

Бежать на Урал и в Сибирь в одиночку было очень трудно. Как показывают исследования о старообрядцах, их переселения в Сибирь и другие места становились целым событием, к которому они долго готовились, засылали разведчиков, устраивали промежуточные перевалочные базы и явки (272, 42 и др.). Нередко о таком переезде власти узнавали заранее и стремились их предупредить. В 1724 г. Петру I стало известно, что повенецкие старообрядцы надумали уйти в Сибирь. В своем указе царь предписал их «предостеречь... ежели так станут делат[ь], то как беглецы будут казнены» (325-1, 307). Для успешного побега через «Камень» — Уральские горы — нужен был опытный проводник (455, 93). По дороге в Сибирь местные и центральные власти зорко следили за «шатающимися» беглыми и гулящими. В воротах городов и острогов стояла стража, проверяя каждого пешего и конного.

Достичь западных (польской или шведской) границ и перейти их беглецу было также непросто. Ему предстояло быстро, не мешкая, опережая разосланные во все концы «погонные» или заказные грамоты с описанием его примет, доехать до границы и пересечь ее. Без подорожной для передвижения внутри страны и без заграничного паспорта сделать это было почти невозможно. Даже сам царь — Петр Михайлов при выезде из столицы получал подорожную. Поэтому власти, послав сыщиков и нарочных с заказными грамотами (позже — указами) о его поимке, успевали предупредить о беглеце местные власти, пограничную стражу и даже — с помощью особых циркуляров — посольства России за рубежом. Из дела 1755 г. старообрядческого монаха Исаакия видно, что надумавшие бежать за границу старообрядцы предварительно запаслись у знакомого московского «гридоровального» мастера Василия Кудрявцева фальшивыми паспортами с фальшивыми же печатями Яицкого войска — иначе до границы добраться им было невозможно. У того же московского мельца старообрядцы купили еще сто бланков паспортов, чтобы отвезти их на Ветку — известное поселение старообрядцев в Белоруссии, на границе с Россией, «дабы, — как показали пойманные вскоре беглецы, — снабжать ими тамошних раскольников, у которых будут здесь (т.е. в России. — Е. А.) какие-нибудь нужды» (242, 55). Добыть же паспорт беглецу без связей было нереально. С начала XVIII в., когда побеги крестьян за границу и на Дон резко возросли, власти постоянно усиливали на

блюдение на границе как за разрешенными выездом и въездом, так и за нелегальным переходом рубежа, что, как уже сказано, считалось изменой. Вдоль польской границы, куда бежали сотни тысяч людей, приходилось размещать целые полки, устанавливать густую цепь застав (118, 127–128).

За каждым отъезжающим и приезжающим тщательно следили и на границе устраивали обыски, явные и тайные. По делу фальшивомонетчика Сергея Пушкина Екатерина II секретно предписала московскому и рижскому губернаторам «под видом контрбанд осматривать с прилежанием его экипаж и пожитки» (554, 95). 6 февраля 1792 г. Екатерина сообщала рижскому генерал-губернатору Броуну, что ей стало известно о приезде двух студентов — Василия Колокольцева и Михаила Невзорова, которых подозревали в тайной масонской деятельности и видели в них сообщников Н. И. Новикова. «Имея подозрение в ложных правилах их учения и в намерении распространить семена зла сего в России, — писала императрица, — повелеваем вам секретнейшим образом принять меры осторожности, дабы в случае проезда сих людей чрез Ригу, под видом таможенного осмотра, отобраны были все имеющиеся у них бумаги и письма и по освидетельствовании оных известным способом в рижском почтамте, буде в них ничего сумнительного и подозрение утверждающего не найдется, доставя на списки (т.е. сняв копии), подлинные им возвратить и с самих их отпустить в путь им надлежащий, а в противном случае все таковые бумаги и письма оригинальные нам представить с нарочным, а путешественников под предлогом или утайки вещей или же провоза законами запрещенных, задержите там впредь до указа» (554, 453–454; 198, 458). Задержав студентов с тетрадами конспектов по-латыни, Броун отослал бумаги, за незнанием латыни, на экспертизу в Академию наук. 27 февраля 1792 г. Екатерина распорядилась Колокольцева и Невзорова «для объяснения некоторых бумаг... отправить сюда под присмотром пристава» (198, 459).

Чтобы нелегально перейти границу (обычно — в ночное время), нужно было хорошо знать местность или брать с собой проводников из приграничных жителей, которые за провод через границу требовали денег, и немалых, а иногда и выдавали беглеца пограничной страже, — ведь жители приграничных районов подчас сотрудничали с пограничными властями, получая от них разные льготы и послабления, невозможные для пришлых людей. Поэтому неудивительно, что в 1710 г. за Смоленском бежавших из Москвы пятерых шведских пленных «признали (местные. — Е. А.) мужики, что они иноземцы» и пытались их повязать. В завязавшейся стычке шведы применили оружие, погибло трое крестьян. Беглецов задержали, и по приговору царя троих из них казнили, а двоих сослали в Сибирь (102, 188).

Бежать на юг или юго-восток, к донским, яишким казакам нужно было по рекам, переправляться предстояло через броды и перевозы, кишевшие шпионами. Опасно было идти и по открытым степным местам, на которых беглеца легко замечали разъезды пограничной стражи. Поэтому-то беглые на Дон стремились пристроиться к возвращающимся из России с хлебом или другими припасами казакам — в одиночку пересечь или обойти все заставы в степи было непросто. Опасность для беглеца представляли и кочевники: в степи его могли легко поймать кубанские татары, башкиры, калмыки. Они оставляли пленного у себя как раба с подрезанными поджилками или отправляли его в цепях на продажу в Кафу или Стамбул. Могли кочевники предложить пленника за выкуп и воеводе или коменданту ближайшего города или крепости на «линии».

Даже оказавшись за границей, беглец, особенно знатный, не мог быть спокоен. Русские агенты всюду его разыскивали, а Коллегия иностранных дел рассылала официальные ноты о выдаче беглого подданного. В это время в России его «домишки запечатывали», а «деревенишки отбирали» (387, 42, 71). Особенно хорошо принципы работы русской агентуры видны в деле царевича Алексея, который инкогнито бежал в 1717 г. по дороге из России в Данию и укрылся во владениях австрийского императора. И тем не менее его убежище было раскрыто русскими агентами во главе с П.А. Толстым, который угрозами, ложными обещаниями вынудил сына царя вернуться в Россию. Знатный беглец не без основания опасался не только официальных демаршей русского правительства, которое требовало (нередко с угрозами) его выдачи, но и попыток выкрасть его или убить. Поэтому становится понятно поведение русских дипломатов — братьев Авраама и Федора Веселовских, которые, не желая страдать за близость с опальным царевичем Алексеем, остались за границей и сделали все, чтобы там «раствориться», исчезнуть. В 1720 г. Федор — русский посланник в Англии, — получил указ о немедленном прибытии в Копенгаген к русскому посланнику М.П. Бестужеву-Рюмину. Но в Данию Веселовский не поехал и из Марбурга писал Бестужеву: «Очевидно вижу я, что отзыв мой от сего двора (английского. — Е. А.) и посылка в Копенгаген ни для какой причины, ниже в иное намерение чинится токмо для моего брата Авраама, за которого определен быть страдательем, и вижу явно, что намерение положено по прибытии моем в Копенгаген бросить меня на корабль и отвезти в С.Петербург и чрез жестокое и страдательное истязание о брате моем, хотя сведом или не сведом, спрашивать. Ныне, государь мой, откровенно объявляю, что страх сей видимой и бесконечной моей беды привел меня в такое крайнее отчаяние, что я, отрехшись от всех благополучей сего миру, принял резолюцию ретировать-

ся в такой край света, где обо мне ни памяти, ни слуху не будет, и таким образом dokonчаю последние бешастные дни живота моего, хотя в крайнем убожестве и мизерии, но спокойною совестью и без страдания» (106-2, 32—34).

Федор Веселовский был опытным дипломатом и знал, о чем говорил. Накануне, весной 1720 г., канцлер Г. И. Головкин писал русскому посланнику в Гааге кн. Б. И. Куракину, чтобы тот (со слов Куракина) «об Авраме Веселовском, как он скрылся и пропал безвестно и чтоб мне об нем, Веселовском, проводывать и, ежели где уведаю, трудиться, каким способом его, Веселовского, яко изменника, поймать и за арест отдать, а потом ко двору Его ц. в., оковав, прислать». История Авраама напугала Куракина, и он просил убрать от него брата беглеца Федора, «чтоб ему при мне не быть, понеже сия болезнь прилипчивая.... Изволь, государь милостивой, рассудить, ежели какое дело секретное наружу выйдет, может быть чрез его секретную корришпонденцию с его братом, то все ляжет на моей шее, кроме всяких других опасных случаев, так что мне день и ночь спать будет нельзя» (129-2, 410).

После этого Федора перевели в Англию, и затем он, как и брат Авраам, бежал под крыло английских властей. Тем временем Петр рвал и метал, он требовал, чтоб братьев достали хоть из-под земли и привезли в Россию. Когда это оказалось невозможным, то новый русский посланник в Лондоне сделал все, чтобы Авраам не получил английского гражданства. Федор вернулся в Россию лишь при Елизавете Петровне в 1743 г., Авраам же остался за границей навсегда. Для того, чтобы его обнаружить и поймать, была создана специальная группа нанятых агентов, которой командовал русский агент Ю. И. Гагарин (Вольский), он подчинялся П. И. Ягужинскому, посланнику в Вене. Вольский сумел выследить «бездельного крещеного жида» под Франкфуртом-на-Майне и «вел» его до Гессен-Касселя. За операцией следил Петр I. Он приказал захватить Веселовского так, чтобы не вызвать подозрения немецких властей. Предполагалось обвинить Веселовского якобы в неплате им крупного долга и на этом основании задержать (129-1, 93; 677, 137—139). Веселовский счастливо избежал расставленных Вольским ловушек и укрылся в Швейцарии. Согласно легенде, уже будучи глубоким стариком (умер в 1783 г.), он не мог без страха проходить мимо висевшего на стене портрета Петра Великого, длина рук которого была ему хорошо известна: царевича Алексея так запугали, что тот сам, по собственной воле, вернулся, чтобы погибнуть в застенке. Войнаровского — племянника гетмана Мазепы — поймали на улице Гамбурга и тайно привезли в Петербург. О том, как в 1778 г. А. Г. Орлов обманом заманил на свой, стоявший на рейде Ливорно, корабль самозванку, выдававшую себя за дочь Елизаветы Петровны, уже сказано

выше. Пути этих людей, как бы они ни были далеки от России, кончались в Петропавловской крепости (633-52.373: 203а, 190).

Словом, в рассматриваемое время власть обладала многими и разнообразными приемами обнаружения, слежки, контроля за действиями подозреваемого в государственном преступлении. С давних пор была в ходу перлюстрация и использовались приемы провокации, методы внезапных, ошеломлявших арестованного действий, в том числе допросов по свежим следам. В руках политического сыска были также разнообразные, проверенные практикой способы и средства задержания преступников, предупреждения их побегов и возможного сопротивления. Умели в сыске довольно надежно изолировать и этапировать арестованных в столицу. Побег же их с пути были весьма затруднены. Благодаря традиционной и очень развитой системе выслеживания и поимки беглых крепостных и холопов, задержание беглого государственного преступника не было неразрешимой проблемой для властей. Этому способствовали также традиции общинной жизни, распространенное доноительство и боязнь его, повсеместная поголовная перепись населения, размещение войск в сельской местности с правом контроля за местными жителями, введение паспортов, вся обстановка усилившегося при Петре I этактизма и полицейского режима. В XVIII в. почти всюду до беглого дотягивались длинные руки власти. Одним словом, велика Россия, а бежать некуда!

«Русская Бастилия» на Заячьем острове

Петропавловская крепость стала главной следственной тюрьмой политического сыска с того самого момента, когда после завершения первого цикла розысков по делу царевича Алексея Петровича сюда весной 1718 г. переехала Тайная канцелярия. До этого политических преступников содержали в колодничьих палатах приказов и канцелярий, такие помещения были обязательны для всех государственных учреждений. Во время массового Стрелецкого розыска 1698 г., когда число арестантов достигло почти двух тысяч человек, их держали в подвалах Андроникова, Симонова и других московских монастырей. Да и позже, в начале XVIII в., подвалы монастырей служили «филиалами» тюрьмы Преображенского приказа (90, 738). Кроме того, предводителей мятежа в 1698 г. раздавали боярам под их личную ответственность — без «холодной» не было ни одного помещичьего дома (212, 108).

О существовании постоянных пыточных и колодничьих палат в Преображенском приказе известно с конца XVII в. По-видимому, они располагались в так называемом Съезжем дворе, а также на Генеральном дворе — комплексе различных служебных зданий гвардейских полков. Колодничьи палаты находились в каменных подклетьях (297, 37–39). Ранее застенком служила Константино-Еленинская башня Московского кремля. Точнее, «Константиновским застенком» называли отводную стрельницу башни, стоявшей в первой половине XVII в. непроездной (486, 219). Во время майского 1682 г. бунта там пытали боярина И.К. Нарышкина (171, 170). В самом Преображенском заключенные сидели также и в так называемой «бедности». Из одного документа видно, что «бедность» представляла собой высокий сруб, стоявший на земле, часто без потолка и пола. Крышу устраивали только на зиму, когда на жерди, положенные сверху сруба, клали солому, плохо спасавшую колодников от дождя и снега. На брошенных досках и кучах гнилой соломы сидели и лежали пытаные и непытаные колодники и колодницы. В срубе были небольшие окошки для милостыни. В одном деле упоминается, что колодник Никита Кирилов, сидя в 1714 г. в «бедности», увидел через



Строительство Петропавловской крепости при Петре I

окно проходившего мимо человека, кричал «Слово и дело!», требуя, чтобы караульный схватил его (325-2, 49, 94). Этот факт говорит, что посторонние могли довольно свободно подходить к «бедности». Известно и другое, не менее выразительное название этого места заключения — «беда» («Они, в беде сидя...» — 744, 367).

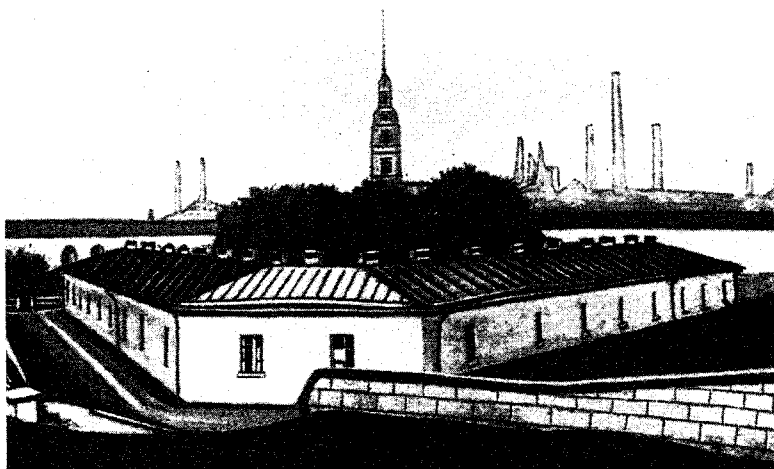
С весны 1718 г. в Преображенском находилась кроме приказа Ромодановского, как уже говорилось, и Тайная канцелярия П.А. Толстого. Потом ее здание унаследовала Московская контора Тайной канцелярии и даже екатерининская Тайная экспедиция. Старообрядец Иван Павлов в 1737 г. шел «пострадать за старую веру» именно в Преображенское (710, 117). Пойманного в 1772 г. фальшивомонетчика Сергея Пушкина Екатерина II приказала «посадить в Преображенском под крепким и надежным караулом» (554, 96). Но к этому времени знаменитое здание заметно обветшало, и прирезанного в Москву осенью 1774 г. Емельяна Пугачева посадили на старом Монетном дворе на Красной площади. С весны 1718 г. главной тюрьмой политического сыска становится Петропавловская крепость. То, что с 1718 г. Петропавловская крепость, которую иностранцы уже в начале 1720-х гг. называли «Русской Бастилией» (150-1, 97), стала резиденцией как самой Тайной канцелярии, так и ее тюрьмы, объяснимо очевидным удобством этого мощного оборонительного сооружения на клочке суши, отделенном от города, с

одной стороны, рекой, а с другой — протокой. В документах петровского времени крепость чаще называли «город». «Оного колодника изволите посадить в город» — так писал А. И. Ушакову в феврале 1720 г. по распоряжению Петра I его кабинет-секретарь А. В. Макаров о посланном в крепость арестанте (181, 118). Во многих документах Петропавловская крепость называется также «Гварнизон» (752, 233, 598–618).

Еще до переезда сюда Тайной канцелярии тюрьма здесь уже была. По общему признанию историков первыми колодниками были 22 моряка с корабля «Ревель», погибшего в сентябре 1717 г. при невыясненных обстоятельствах, а также участники так называемого Бахмутского соляного дела (752, 596). Из политических узников одним из первых был племянник Мазепы Андрей Войнаровский, который стал настоящим старожилом крепости, просидев в ней пять лет. В конце 1723 г. под конвоем его отправили в Сибирь, где он и сгинул (752, 616; 648, 17). С 14 июня 1718 г. крепость стала последним земным пристанищем и для царевича Алексея Петровича. Думаю, что, решая вопрос о начале тюрьмы в крепости, нужно иметь в виду и информацию Ф. В. Берхгольца, который в 1721 г. писал, что раньше в казармах крепости содержали пленных шведских офицеров. Это вполне правдоподобно, пленных часто держали в крепостях.

Нам точно не известно, как выглядели первоначально Тайная канцелярия и ее следственная тюрьма. Вероятно, под новое учреждение отвели здания, принадлежавшие гарнизону крепости. Они стояли как вокруг Петропавловского собора, так и в бастионах крепости. Обыкновенно такие здания называли «казармами». Это были мазанковые или деревянные, одно- и двухэтажные сооружения. В одних на случай осады крепости устраивали склады, погреба и провиантские магазины, в других жили караульные солдаты и офицеры. Из записи книги Гарнизонной канцелярии от 14 июня 1718 г. видно, что царевича Алексея посадили «в роскат (бастион. — Е. А.) Трубецкой, в полату». По описанию современника, называющего помещение, в котором сидел царевич, «казармой», там были «великие сени» и два или три «упокоя», в одном из которых жила прислуга царевича, а в другом находилась его «опочивальня» (752, 612–613, 624).

Вполне возможно, что для содержания царевича использовали освобожденную специально для этого гарнизонную казарму. Пытали же царевича в каземате Трубецкого бастиона. Это видно из записи журнала от 2 мая 1718 г.: «Изволил Его величество быть в гварнизоне в застенке, который учрежден в Трубецком роскате в каземате». По тем временам оборудовать камеру пыток не представляло сложности в любом сарае — была бы нужная высота для «виски» да перекладина под потолком или вбитый в стену крюк. Когда во



Петропавловская крепость. Алексеевский рavelин

время Стрелецкого розыска в 1698 г. возникла нужда пытать множество стрельцов, то тотчас соорудили тринадцать таких застенков (212, 106). Для пыток в 1735 г. Егора Столетова в Екатеринбурге В.Н. Татищев построил простой сарай, этого было вполне достаточно для розыска (639, 9). В Петербурге были и другие места пыток. Из дела 1718 г. известно, что царевича Алексея вывозили за город на дачу П.И. Ягужинского и там пытали в сарае (322, 126–129).

В 1722 г. колодники в Петропавловской крепости сидели в нескольких казармах. Две казармы — офицерская и солдатская — находились «У Кронверских [ворот]», т.е. у ворот между кавальером Анны Ивановны и Зотовым бастионом. Колодники сидели также в офицерских казармах «У Петровских [ворот]», «У Васильевских [ворот]», «У Невских [ворот]» (10-3, 246). Знатных узников держали и в благоустроенных домах обер-коменданта крепости и старших офицеров гарнизона. Согласно «Записке о преставлении и погребении царевича Алексея Петровича» дом обер-коменданта, куда перенесли тело царевича, был на том же месте, где стоит это здание и сейчас: «В С.-Петербургской крепости в деревянных хоромы, которые, въехав в крепость в С.Питербургския ворота, у соборной церкви на правой стороне, близ комендантскаго двора» (752, 535). Впрочем, в записи журнала Гарнизонной канцелярии от 27 июня сказано, что тело царевича «из Трубецкаго роскату из караульной палаты вынесено в губернаторский дом, что в гварнизоне», а на следующий

день перенесено в Троицкий собор (755, 614). Если здесь нет ошибки, то речь идет о какой-то резиденции А.Д. Меншикова в крепости, хотя на сохранившихся планах примерно того же времени такого дома не видно. Царевну Марию Алексеевну, арестованную в 1718 г. по делу Алексея Петровича, поселили «в плац-майорских красных хоробах» (755, 223). Местонахождение их неизвестно.

Когда возникла страшная тюрьма в Алексеевском рavelине, точно сказать невозможно. Историки города считают, что ее деревянное здание построили либо в середине, либо во второй половине XVIII в. (551, 65; 140, 98). Однако в одном из документов Тайной канцелярии за 1722 г. сказано, что колодник Игнатий Иванов сидел за особым караулом «в Рavelине, в офицерской», надо полагать, казарме (10-3, 246), что позволяет датировать основание тюрьмы в Алексеевском рavelине никак не позже 1722 г. (Иоанновский рavelин заложили позже — летом 1731 г.). Зато точно известно, что старая тюрьма в рavelине простояла до 1769 г., а потом была заменена новым зданием (208-1, 169).

Кроме того, в одном документе 1722 г. упомянуты многоместные тюрьмы для прочих узников в самой крепости: «Первая казарма» (в ней сидели пять человек) и «Вторая казарма» у Кронверкских ворот (на семь человек) (10-3, 246). Словом, в 1722 г. колодники сидели в семи-восьми местах крепости. Кроме того, по данным 1718 г., политических преступников держали и в гарнизонной гауптвахте. Как сообщал прапорщик Яков Машнев, он стоял на карауле в гауптвахте, и «в то-де число как Царское величество (Петр I. — *Е. А.*) изволил быть в крепости и шел мимо гобвахты и за ним дьяк, и (сидевший на гауптвахте доносчик. — *Е. А.*) поляк Григорий Носович Царскому величеству незнаемо что закричал, и Его величество хотел к нему, Носовичу, подойти и спросить хто таков кричит, и камендант Санкт-Петербурхской господин Бахметев Его царскому величеству сказал, что тот поляк кричит пьяный, и тогда Царское величество от той гобвахты и прочь пошел» (14, 1). Андрей Богданов в своей книге о Петербурге середины XVIII в. писал, что «Гобвахта, нарочетой величины хоромы, построенные были против церкви, где ныне (т.е. в середине XVIII в. — *Е. А.*) каменной дом обер-коменданта» (159, 126).

К 1737 г., от которого до нас также дошли сведения о Тайной канцелярии, в распоряжении сыска в крепости было почти два десятка зданий, кроме собственно Тайной канцелярии, где вели допросы, сидели со своими бумагами подьячие и было три палаты для заключенных. Само здание Тайной канцелярии переделали из гарнизонной казармы, которую, по-видимому, получил А.И. Ушаков, когда с вновь образованной Тайной канцелярией перебрался из Москвы в Петербург в 1732 г. Возможно, что именно это здание

описывал прусский пастор Теге, сидевший в крепости в конце 1750-х гг. По его словам, это был обширный дом со множеством комнат: «Пройдя ряд комнат, в которых сидели секретари и писцы, я введен был в длинную, прекрасно убранную присутственную залу. За столом, покрытым красным бархатом сидел один только господин...» (729, 331). Вероятно, пастора ввели к «судейскую светлицу» (термин 1724 г., унаследованный от приказов — 9-4, 11), где обычно заседали судьи Канцелярии. Из расходной книги Тайной канцелярии 1718 г. следует, что на стол дьяка Ивана Сибелева было куплено «сукно красное». Из этой записи известно также, что для хранения дел заказывали сундуки «с нутряным замком». Именно в таких сундуках в 1740-х гг. были обнаружены гниющими сыскные дела 1710—1720-х гг. (318, 124).

Все другие здания Канцелярии были разбросаны по всей крепости и в делопроизводственных документах имели свои названия. Всего в 1737 г. в этих зданиях было 42 колодничьи палаты. Большая тюрьма из девяти палат для колодников находилась в помещении, которое называлось «Старая Тайная». Так, вероятно, обозначали здание старой Тайной канцелярии (1718—1726 гг.) П.А. Толстого. В 1730-х гг. оно было перестроено под тюрьму. Переделали в узилище и «Старую оптеку», построенную при основании крепости для нужд гарнизона. По-видимому, бывшая аптека находилась поблизости от здания Тайной канцелярии. В деле баронессы Степаниды Соловьевой за июль 1736 г. отмечено, что она, сидя «в светлице близ Тайной канцелярии», передала через конвойного солдата милостыню колоднику Родышевскому, который сидел в казарме тоже «близ Тайной канцелярии» (60, 1). В описи же помещений Тайной канцелярии за 1737 г. сказано, что колодник Родышевский сидел в «Старой оптеке» (44-2, 27). Здание же новой, «Большой аптеки... в каменных казармах» упомянуто Богдановым близ Меншикова бастиона (159, 126). Под тюрьму переделали и гарнизонную баню. В этих зданиях было по одной палате для колодников.

Три помещения находилось в здании, названном в документе «В старой Трезинной». Вероятно, так называли бывшую канцелярию архитектора Доменико Трезини, который многие годы «одевал» Петропавловскую крепость в камень (214, 33—34). Имели свои названия и другие отделения тюрьмы Тайной канцелярии в крепости. Заключенных держали в караульнях и казармах у крепостных ворот — «От Кронверских ворот», «У Невских ворот в караульне», «У Васильевских ворот в караульне». Тюрьма у Кронверкских ворот в 1734 г. учтена в описи так: «Против церкви в светлицах у Кронверских ворот в низах, в верху». Следовательно, здание это было в два этажа. В два этажа была тюрьма и «у Невских ворот» (44-2, 75). Другие казармы с заключенными обозначались в документах, как и в 1722 г., по месту расположения

заметных зданий и ворот крепости или около них: «От Васильевских ворот», «У Никольских ворот», «Против магазинов», «В доме у печатей». Одна колодничья палата находилась «на квартере гофмейстера Андрея Елагина». Любопытно упоминание тюрьмы «От Ботики», т.е. неподалеку от здания или навеса для привезенного в крепость в 1722 г. «дедушки русского флота» — петровского ботика. И.А. Чистович упоминает также тюрьмы «На Монетном дворе», основанном в 1724 г., и в помещении «От Монетного двора». Он же упоминает относящееся к 1752 г. так называемое «безвестное отделение», в котором умер Михаил Аврамов. Где находилась эта секретная тюрьма, непонятно (775, 602, 694).

Описания планировки и устройства колодничьих казарм, «казенок», «тюремных изб» в крепости нам неизвестны, но по косвенным свидетельствам можно предположить, что их оборудовали как обычные тюремные помещения тех времен: в казарме с двумя и более палатами охрана сидела в центральной части — там, где находился вход и сени. В доме с одной палатой охранники сидели в ближней от двери части дома. Окна закрывали решетками, а также деревянными щитами. Отапливались палаты печками, на них же готовили еду для колодников. По-видимому, здания эти сохранялись с первых лет существования крепости и приходили в негодность, так как Тайная канцелярия в 1722 г. требовала от Трезини их ремонта (8-3, 63 об.). Примерно две трети тюремных помещений в 1737 г. служили одиночными камерами (или их использовали как одиночки). На июль 1737 г. в них сидело 26 из 81 заключенного тюрьмы. Это не случайно — привезенных в крепость колодников сразу же изолировали друг от друга «за особыми порознь часовыми, чтобы они ни с кем разговор не имели» (668, 67). В шести палатах сидело по два арестанта, в одной — по три человека, в пяти палатах — по четыре колодника, а в одной палате — пятеро. Семь человек было только в одной палате, а в казарме «От Старой аптеки» томилось восемь колодников (44-2, 27-35). Вероятно, это была здесь самая густонаселенная тюрьма, однако в целом тюремные помещения в Петропавловской крепости не были, в отличие от обычных тюрем-островов, переполнены заключенными.

Кроме казармы в Трубецком бастионе, где содержался царевич Алексей Петрович, возможно, были такие же здания для заключенных и в Нарышкином бастионе, так как есть упоминание о тюрьме «Под флаком», «От флаку» (на Нарышкином бастионе была Флажная башня), а также и в других бастионах, удобных тем, что почти замкнутый их пятиугольный двор легко отгораживался забором от внутреннего пространства самой крепости. Переход от казарменной системы содержания подследственных к казематному заключению произошел примерно в середине XVIII в., когда к 1740 г. уси-

лиями Б.Х. Миниха каменное строительство крепости завершилось и в толще стен бастионов образовались многочисленные и обширные внутренние полости — казематы. Но самому Миниху, как и другим его сообщникам по делу 1742 г., обновить казематы крепости как тюрьму не довелось. Миниха, а также А.И. Остермана, М.Г. Головкина и других недругов воцарившейся 25 ноября 1741 г. императрицы Елизаветы Петровны, держали по-старому — в казармах, которые были разбросаны по всей крепости. Советник полиции князь Н.Ю. Шаховской, объявлявший узникам приговор суда о ссылке их в Сибирь, писал в мемуарах, что от казармы, в которой сидел Михаил Головкин, до казармы Миниха расстояние оказалось неблизким, так как узники были «в разных казармах содержанные» (788, 48). Из дела 1744 г. также видно, что казармы-тюрьмы в крепости существовали по-прежнему. Известен один из адресов тюрьмы: «По правую руку Петровских ворот третья казарма» (181, 99).

Особенно удобны для тюрьмы оказались рavelины, которые представляли собой «острова на острове», отделенные от собственно крепости каналом, по берегам которого со стороны рavelина возводили высокие деревянные заборы с воротами. Григорий Винский, попавший в крепость в 1779 г., пишет: «Подвели нас к западным деревянным воротам, вводящим в рavelин Св. Иоанна. Запертые ворота нескоро отворили и впустили нас в пространный, сколько можно было видеть, треугольник, посредине которого находилось продолговатое деревянное строение». Из этого строения узника повели в казематную тюрьму рavelина, вход в которую находился у подножия пандуса: «Идучи от дому, я глядел и ничего не видел, кроме каменных крепостных стен с редкими в них дверцами и малыми окошечками. Подаваясь все вперед, приближались ко въезду на стену. Я не знал что о сем помыслить, как красноголовый мой (сопровождаящий Винского служитель, повязанный красным платком. — Е. А.) повернул влево, в самом углу отпер небольшую дверь, вошел в нее сам и меня ввел. Вступя в сие место, я увидел огромный со сводами во всю ширину стены погреб или сарай, освещаемый одним маленьким окошечком» (187, 76).

Казематы «заработали» как тюрьмы уже наверняка в конце 1750-х гг. Там с 1757 по 1759 г. сидели иностранцы: пастор Теге и граф Гордт. Как сообщает В. Панин, привезенные в 1775 г. сообщники самозванки «Таракановой» были размещены комендантом крепости «в рavelине по разным казематам», сама же самозванка сидела на втором этаже здания, стоявшего в Алексеевском рavelине (539, 66; 441, 624). Впрочем, известное выражение в секретном ордере графа Брюса обер-коменданту крепости А.Г. Чернышову от 30 июня 1790 г. о заключении А.Н. Радищева «для содержания под стражею

Санкт-Петербургской крепости в обыкновенном месте» (см. 130, 163), вовсе не означает, что автор скандального «Путешествия из Петербурга в Москву» был посажен непременно в страшный «чрезвычайный» Алексеевский равелин, как пишут многие советские биографы революционного демократа. Радищева могли отвести в какой-нибудь не столь секретный и строгий по содержанию узников каземат.

Наряду с Петропавловской крепостью следственной тюрьмой служила и Шлиссельбургская крепость. Она была удобна прежде всего своей изолированностью и удаленностью от столицы, а следовательно, от возможных сторонников и сообщников арестантов. В этой крепости на острове при впадении Невы из Ладоги, куда добраться было непросто, содержали и допрашивали царицу Евдокию Федоровну (1725—1727 гг.), князей Долгоруких (1738—1739 гг.), Бирона (1740—1741 гг.), Новикова (1792 г.) и многих других известных и неизвестных политических узников. Кроме того, в Шлиссельбурге некоторых арестантов селили с семьями, и они успешно плодились даже в неволе. Первым таким узником стал в 1720 г. подьячий Дмитрий Сибиряк, который был прислан на остров с женой. В экстракте Тайной канцелярии о нем сказано, что быть ему в той крепости «неисходно», а «за какую вину [о том] известия не имеетца». Родственники заключенных пользовались некоторой свободой. Они могли покидать тюремный остров и ездили в город на базар (8-1, 30).

Проследить изменение *состава колодников* тюрьмы Петропавловской крепости за весь XVIII в. невозможно, в нашем распоряжении оказались только отрывки учетных ежемесячных ведомостей за 1732—1740 гг. В них учтены заключенные как «вновь прибывшие» в Петропавловскую крепость (есть сведения за 35 месяцев), так и заключенные, отосланные в другие места или освобожденные на волю (сохранились данные за 34 месяца). Наконец, есть сведения об узниках, оставшихся в тюрьме в наличии на конец каждого месяца (это сведения за 37 месяцев). Данные эти, несмотря на фрагментарность, охватывают треть общего числа месяцев за 1732—1740 г. (108 месяцев) и поэтому кажутся вполне репрезентативными для 1730-х гг. Всего за 35 месяцев в тюрьму Тайной канцелярии прибыло 1870, человек или в среднем 53 человека в месяц, причем минимальное число «новичков» составило 30 человек (август 1734 г.), а максимум — 124 человека (январь 1736 г.) «Убыль» же из тюрьмы за учтенные 34 месяца составила 2057 человек, или 61 человек в месяц. Не следует при этом думать, что за указанные месяцы шла непрерывная убыль заключенных из крепости. Дело в том, что данные о движении заключенных фрагментарны и сведения о ежемесячной «при-

были» и «убыли» не всегда относятся к одному и тому же месяцу года. Поэтому, при всей текучке заключенных, общее число их на конец каждого месяца (по данным за 37 месяцев) сохранялось в среднем на уровне 183 человек, хотя мы видим порой значительные колебания числа колодников. Так, в июле 1734 г. было налицо, после учета «прибыли» и «убыли», 246 человек (это максимум), а в декабре 1739 г. учтено 111 заключенных (это минимум), но потом в течение 1740 г. численность заключенных колебалась в конце каждого из десяти учтенных в ведомости месяцев (от марта до ноября) не выше 189 и не ниже 143 человек (март — 188, апрель — 189, май — 181, июнь — 179, июль — 162, август — 181, сентябрь — 170, октябрь — 158 и ноябрь — 143 человека). При всей фрагментарности этих данных говорить о неких столь популярных в русской романистике «бироновских репрессиях» нет оснований (42-1, 31 и далее). Думаю, что, исходя из этих данных, а также из сведений о весьма ограниченном штате сысского ведомства, общее число политических заключенных и в другие десятилетия не было велико. Более подробно об этом будет сказано ниже, в заключении книги.

Весьма быстрое обновление числа узников тюрьмы объясняется как «неважностью» многих дел, так и предписаниями верховной власти, которая требовала от судов быстрейшего вынесения приговоров, — судебная волокита была одним из признанных и караемых грехов чиновников. В полной мере это правило распространялось и на политический сыск. Когда в 1724 г. Сенат затянул с решением дел колодников Якова Орлова и Тимофея Попова, то Тайная канцелярия обратилась к сенаторам с промеморией: «Помянутая канцелярия имеет великое опасение, чтоб за долговременное содержание помянутых двух колодников Попова и Орлова, по силе Его и.в. указов 24 января, да 26 чисел февраля сего 724 году непричлось бы ко неисправлению со штрафом, а оные колодники нареkanie имеют, что они содержатся многое время, якобы безвинно и на оное ожидать указа» (9-4, 33). Впрочем, это не означало, что в крепости людей не держали годами, причем неизвестно, за что. Особенно выразителен пример Шапошникова. В день рождения Петра 30 мая 1724 г. в церкви села Преображенского к царю после обедни подошел серпуховский посадский человек Афанасий Шапошников. Он поздравил Петра с праздником и поднес три калача серпуховские по 2 копейки штука, перевязанные разноцветными лентами. Петр поблагодарил подданного, и тот напросился в гости к государю, спросив, «укажет ли ему ехать с собою». Император указал. Потом Шапошников в компании с Ягужинским, Макаровым и другими приближенными царя обедал во дворце. Увидав, что государь нюхает табак, осмелевший Шапошников выразился с сомнением о пользе табака для здоровья, на что Петр «изволил рассмеяться и сказал ему:

«Не рыть бы тебе, Афанасий, у меня камня»». Шапошников угрозы не понял и после обеда подошел к императору с вопросом, оставаться ему или ехать домой. Петр рассвирепел и дважды ударил нахала тростью, а потом указал взять его под караул. После этого император вернулся в Петербург, а с ним привезли и нового колодника. 5 сентября А.И. Румянцев спросил царя, что делать с Шапошниковым. Петр указал отвести его в Тайную канцелярию и доложить о нем «при случае». Шапошникова было велено «отдать под караул и содержать до указа крепко за особым часовым и никого к нему не припускать» (9-4, 84). Однако случай доложить Петру так и не представился, император умер в конце января 1725 г. По какой причине сидит в крепости Шапошников, сказать никто не мог. Сам же колодник не мог вразумительно ответить на вопрос: «Какой ради причины вышеписанное ты все чинил и так дерзновенно поступал?», а также не мог он назвать, «от кого предводительство имел?» при совершении своего неизвестного следствию преступления. Наконец, несколько месяцев спустя после смерти Петра был подписан указ об освобождении Шапошникова, вина которого была сформулирована без ясности: «Чинил некоторые продерзости» (9-3, 131). Но купец вышел на свободу только 12 февраля 1726 г., спустя полтора года после радостного события в Преображенском (322, 142–148).

Ощущения человека, впервые попавшего не по своей воле в тюрьму Петропавловской крепости, были ужасны. Пастор Теге с содроганием писал об этом памятном дне своей жизни: «Сердце мое сжалось. Час, который должен был простоять на крепостной площади, в закрытом фургоне, под караулом, показался мне вечностью. Наконец, велено было подвинуть фургон, я должен был выйти и очутился перед дверьми каземата. При входе туда меня обдало холодом как из подвала, неприятным запахом и густым дымом. У меня и так голова была не своя от страха, но тут она закружилась и я упал без чувств. В этом состоянии я лежал несколько времени, наконец, почувствовал, что меня подняли и вывели на свежий воздух. Я глубоко вздохнул, открыл глаза и увидел себя на руках надсмотрщика (смотрителя, служащего. — Е. А.) из Тайной канцелярии, которая помещалась в крепости. Надсмотрщик успокаивал и ободрял меня. Его немногие слова благотворно на меня действовали» (726, 315).

Иное впечатление у пастора сложилось от того смотрителя, который разбудил его на следующее утро: «Пасмурное утро глядело в мое незавешенное окно, когда меня разбудили и я в полумраке увидал перед собою человека, который не мог не ужаснуть меня в моем тогдашнем настроении духа. Маленький и сморщенный, в одной короткой рубашке (не следует думать, что

он был без штанов, просто по тем временам появляться без камзола считалось неприличным. См. также воспоминания И. Пушина о том, что Пушкин выбежал на крыльцо «босиком, в одной рубашке». — *Е. А.*), он имел лице такое отвратительное, какое редко бывает у создания Божия. Этот человек сказал мне, чтобы я тотчас встал, оделся и следовал за ним. В испуге я подумал, что этот орангутанг отвезет меня по крайней мере в Сибирь» (726, 316—317).

Почти четверть века спустя сходные чувства испытал и Винский — как известно, арестанты разных эпох выносят из тюрьмы сходные ощущения. В отличие от пастора он, молодой и здоровый мужчина, упал в обморок не при входе в каземат, а при выходе из него, когда его повели на первый допрос: «Накинувши сюртук и подпоясавшись носовым платком, я побрел за унтером. Но лишь только отворили наружную дверь и меня коснулся свежий воздух, глаза мои помутились и я, как догадываюсь, впал в обморок, каковой был первый, а может быть, и последний в моей жизни. Не знаю, как меня втащили в мою лачугу, но опаматовавшись, я видел себя опять в темноте» (187, 81).

Совпали, причем до поразительности, и другие впечатления Теге и Винского, хотя они сидели в крепости с разницей почти в четверть века. Винский, в частности, писал: «Вышедши в коридор, мы тут увидели образину человека самого скаредного, нет не человека, а истинного старого сатира, котораго на ту пору голова обернута была белою окровавленною тряпкою. Так мне показалось, а в самом деле он от головной боли привязал себе на лоб клюквы» (187, 76—77). Впрочем, возможно, что пастор Теге в 1757 г. и Винский в 1779 г. видели там одну и ту же запомнившуюся им характерную личность какого-то старого служителя следственной тюрьмы. Примечательно, что ниже Винский сообщает о смерти в том же 1779 г. ненавистного ему «красноголового сатира... двадцать лет дышавшаго стонами и упивавшагося слезами несчастных» (187, 88). Последнее, думаю, нужно воспринимать как сильное преувеличение.

Винский описывает процедуру, которой его подвергли сразу же при входе в каземат и которую источники предшествующего периода не отмечают. Она, по-видимому, оставалась не особенно известной публике, иначе ужас Винского необъясним: «Не успел я, так сказать, оглянуться, как услышал: «Ну, раздевайте!» С сим словом чувствую, что бросились расстегивать и тащить с меня сюртук и камзол. Первая мысль: «Ахти, никак сечь хотят!» заморозила мне кровь (напомню, что с 1762 г. телесные наказания дворян были отменены. — *Е. А.*); другие же, посадив меня на скамейку, разували; иные, вцепившись в волосы и начавши у косы разматывать ленту и тесемку, выдергивали шпильки из булавок и лавержета, заставили меня с жалостью подумать, что хотят мои прекрасные волосы обрезать. Но, слава Богу, все сие

одним страхом кончилось. Я скоро увидел, что с сюртука, камзола, исподнего платья срезали только пуговицы, косу мою заплели в плетешок, деньги, вещи, какие при мне находились, верхнюю рубаху, шейный платок и завязку — все у меня отняли, камзол и сюртук на меня надели. И так без обуви и штанов, повели меня в самую глубь каземата, где, отворивши маленькую дверь, сунули меня в нее, бросили ко мне шинель и обувь, потом дверь захлопнули и потом щепочку заложили... Видя себя в совершенной темноте, я сделал шага два вперед, но лбом коснулся свода. Из осторожности простерши руки вправо, я ощупал прямую мокрую стену; поверотясь влево, наткнулся на мокрую скамью и, на ней севши, старался собрать распавшийся мой рассудок, дабы открыть, чем я заслужил такое неслыханно-жестокое заключение. Ум, что называется, заходил за разум и я ничего другого не видал, кроме ужасной бездны зол, поглотившей меня живого» (187, 77–78). Из дела 1748 г. Лестока видно, что с арестованного по этому делу капитана Шапизо, «для устрашения» сняли офицерский мундир и надели на него арестантскую шубу. Тем самым уже до указов и приговоров он вычеркивался из числа порядочных людей и офицером более не считался (760, 48).

То, что Винский оказался в каком-то мокром смрадном углу без света, было либо сознательным шагом следователей, решивших «подготовить» столичного шеголя к первому допросу, либо произошло из-за нехватки мест: как раз в это время по городу шли повальные аресты и камеры тюрьмы были заполнены. Через три дня Винского перевели в обычную для Петропавловской крепости камеру с окном и печью. До Винского ее описал пастор Теге: «Мой каземат был продолговатый. В передней поперечной стене его в углу была дверь, в той же стене, только с другого конца ее, было единственное окошко, около него: у продольной стены, стояла лавка, на ней положили для меня чистый тюфяк с двумя чистыми подушками, но без всякого одеяла, так что я должен был накрываться своей шубой. Далее была печь, топившаяся изнутри, в ней после варилось мое кушанье. У задней поперечной стены стояла лавка, на которой спали караулившие меня солдаты, а над дверью висело металлическое изображение Божией Матери, перед которым солдаты совершали утренние и вечерние молитвы. Кроме этого в каземате ничего не было: ни стола, ни стула и никаких принадлежностей для удобства жизни» (726, 316).

Каждую колодничью палату в 1737 г., как одиночку, так и многоместную камеру-палату, охраняли, как правило, три солдата, дежурившие круглосуточно по очереди. В 30 из 42 палат числилось по трое приставленных к ним охранников. 11 солдат охраняли одну из самых больших колодничьих палат в здании «От оттеки» (8 колодников). Всего в июле 1737 г. охрану несли

148 солдат и капралов из полков Петербургского гарнизона и гвардии (44, 2, 27-35). Охрана казематов и вообще узников тюрем была несменяема. Это означало, что солдаты раз и навсегда прикреплялись к «своим» колодничьим палатам. Режим охраны в казематных палатах остался тем же, что и во времена существования 42 «колодничьих» покоев в казармах гарнизона: день и ночь караульные солдаты, сменяя друг друга, находились (по одному-двое) в одном помещении с заключенным и непрерывно наблюдали за ним. Обычно один солдат — часовой с оружием в руках — стоял или (в нарушение устава) сидел на посту в течение суток, а подчас сидел или (и тоже в нарушение устава) спал на скамье рядом. Прочие солдаты, свободные от службы, могли выходить из крепости за провизией, по своим делам, навещать домашних и т.д. Иначе была организована охрана самой крепости. Как пишет узник Петропавловской крепости, шведский граф Гордт, попавший туда в 1759 г., «крепостная стража сменялась еженедельно, но стража, находившаяся при мне, была бессменна». О том же сообщает и пастор Теге: четверо его охранников жили в каземате непрерывно, из них трое спали, один дежурил (219, 307; 726, 326—327).

Когда сложилась такая система непрерывного наблюдения за заключенными, установить трудно. Впрочем, из именного указа 1698 г. о содержании стрельцов, привезенных в Москву из окрестных городов для розыска и размещенных в домах бояр, видно, что «плотная» опека узников в виде постоянного наблюдения была известна издавна. В указе говорилось: «А быть у тех стрельцов на карауле по два человека солдат, да из лучших своих людей (т.е. из дворовых. — *Е. А.*) по три человека, кому можно верить. И смотреть им... накрепко с великим бережением, чтоб они не ушли или какова над собою дурна не учинили. А поить их и кормить надсматривать, и ествы, и питье надкушивая, чтоб в питье и в естве для отравы какова зелья не положить» (212, 108).

Впрочем, были разные формы дежурства. Из инструкции трем офицерам о содержании Ивана Антоновича в Шлиссельбурге от 1762 г. сказано: «В покое с ним (узником. — *Е. А.*) в ночное время ночевать вам всем, а днем может быть с ним и один, а другие двое могут по городу разгуливаться, чего ради меж собою сделать очередь». Ранее, в 1761 г., в инструкции подтверждалось, что офицеры могут выходить из камеры Ивана Антоновича, только чтобы «не оба вдруг выходили» (410, 218, 210). Возможно, столь «либеральный» режим охраны связан с тем, что сама казарма, в которой сидел экс-император, круглосуточно охранялась наружными постами и необходимости держать в камере несколько охранников не было.

Из делопроизводства Тайной канцелярии 1720-х гг. мы узнаём, что был «особый караул», под которым нужно понимать многочисленный караул в ка-

мере с более строгим контролем за заключенным. Чаще всего особый караул с оружием в руках находился в камере с важными государственными преступниками. Обыкновенный же караул ставился в многоместных колодничьих палатах, хотя и здесь могли подчас установить строгие порядки. В казарм-тюрьме «У Кронверских» ворот, где в 1722 г. сидели семь человек, начальник Тайной канцелярии П.А. Толстой распорядился, чтоб узники сидели «по разным углам» и охране их «блиско не спускать» (9-3, 246).

В инструкции 1812 г. смотрителю и офицеру охраны Алексеевского равелина чиновники Министерства полиции обобщили сложившиеся за стол лет правила содержания преступников в крепости. Из документа видно, что к этому времени охрана внутри камер находилась уже без оружия: «В каждую комнату, где к содержанию будет помещен арестант, поставлять следует караульного солдата без оружия, которого обязанность будет смотреть бдительно, чтобы содержащийся никуда не выходил и не делал себе вреда, и быть тут со сменю неотлучно день и ночь, наблюдая все его поступки; долг его по сему случаю будет доносить о поведении арестанта вам, а вы рапортуйте об оном смотрителю каждое утро и вечер. Сим караульным, между прочим, особенно внушать должно, чтобы они не пересказывали содержащимся никаких вестей и вообще не разговаривали с ними ни о чем, кроме касающейся до них потребности и никаких заказов или просьб от них не принимали». Дежурный офицер должен был регулярно осматривать посты, а в камерах и коридорах всю ночь горел свет (802, 345).

Так было и раньше, в камерах постоянно горели свечи. Это видно из описания заточения Ивана Антоновича в Шлиссельбурге, а также из материалов Тайной канцелярии в Петропавловской крепости. На 1718 год караульным солдатам было роздано восемь тысяч сальных свечей, что по тем временам было довольно много и должно было обеспечить круглосуточное освещение (325-1, 125). Приведенный выше отрывок из инструкции показывает, какие наиболее типичные нарушения встречались при охране узников. И раньше охранникам строго запрещалось спать на посту и предписывалось как можно меньше разговаривать со своим «хозяином» — так на тогдашнем языке у «Петра и Павла» (т.е. в тюрьме Петропавловской крепости) называли солдаты своего поднадзорного. В инструкции А.И. Ушакова 1736 г. об охране колодников сказано: «Над имеющимися для караула колодников унтер-афицерами и над колодниками смотреть накрепко, чтоб они стояли на карауле твердо и разговоров бы с колодниками не имели, и от тех колодников ни за чем ни к кому, без ведома их, не ходили» (60, 8). Камеру часто осматривали, у колодников отбирали все острые и режущие предметы. Если узник все же сумел нанести себе рану, часового подвергали допросу и пыт-

ке. Его ждало разжалование и суровое наказание. Но прежде всего охранник должен был предотвратить побег узника. Это было главным в его деле. Причину побегов арестантов начальство не без оснований видело в «слабом смотре-нии» солдат за колодниками.

В 1732 г. А.И. Ушаков издал распоряжение о «крепком смотре-нии» офицеров и унтер-офицеров за караульными солдатами тюрьмы Петропавловской крепости. Он писал, чтоб «означенных солдат за пьянство и за другие дурости наказывать, в чем в карауле будет безопасности». Начальствующие над солдатами должны были всегда помнить, что в Тайной канцелярии «колодники содержатся в секретных делах и от слабости караульных чтоб утечки, и также и протчаго повреждения над собою не учинили» (42-1, 60). Из материалов сыска видно, что было в основном два вида содержания узников: «крепкое» и «обычное». При «крепком» смотре-нии охрану особо предупреждали: «При-сланных из Москвы из Синодальной канцелярии (двух колодников. — Е. А.) принять... и содержать порознь под крепким караулом и никого к ним не подпускать...» «Содержать ево, Санина, под крепким караулом и никого к нему не припускать, и писать не давать»; Семенова «в церковь и никуда не пускать, питья хмельного никакого не подпускать, и пищу всякую откушивать, тому хто принесет и к нему никого не допускать, и быть у него на часах двум [часовым]» (9-4, 7; 10а, 146, 73).

При «обычном» содержании узник мог (с некоторыми предосторожностями со стороны охраны) принимать гостей: «К полковнику Ивану Болтину хто к нему придет пускать, а при том быть ефрейтору караульному и салдату часовому и велеть смотреть, чтоб тайно не говорили, чернил и бумаги не допускать». Это постановление Тайной канцелярии от 11 мая 1725 г. (10а, 147об., 31). Кроме того, арестантов с таким режимом содержания отпускали на службу в Петропавловский собор: «Ростригу Якова Никитина пускать к церкви, понеже он хошет постится и стоять в сенях, а ежели двери церковные затворят и быть в церкви, и стоять близ дверей, а з другими ево братьи колодниками не пускать, и ничего говорить не давать». Это было главное условие, которое распространялось и на других арестантов: пускать в церковь порознь, чтобы «розговоров между собою... они не имели». Наконец, некоторых узников разрешали «пускать за город (т.е. из крепости) для милостыни под караулом» (9-4, 29, 10об.). Этими прогулками в кандалах надеялись поправить подорванное сидением в тюрьме здоровье арестанта: «Ево ж Язькова пускать ходить по городу (речь идет о городских кварталах. — Е. А.) для болезни цинготной» (9-4, 49об.—50).

Офицеры и солдаты охраны были фактически сокамерниками узников. Они не имели права без доклада покидать камеру. Когда в 1767 г. Арсения

Мациевича заточили в Ревельскую крепость, то офицерам охраны было запрещено отлучаться из крепости, а в гости можно было ходить только с разрешения обер-коменданта, что вызывало недовольство охранников, вероятно, искренне желавших своему «хозяину» скорейшей смерти, а себе освобождения от тягостной службы (592, 569). Через охранников колодники вызывали следователей, что записывалось в журнале. 16 мая 1725 г. «содержащийся колодник синодский секретарь Герасим Семенов по полудни в седмом часу говорил при караульном... Преображенского полку стоящем на гоупвахте... Сидоре Украинцеве и при караульном же того же полку... каптенармусе Никите Данилове: «Желает-де он, Герасим, видеть очи Ея и.в... и имеет он Ея в нечто донести и о том того ж числа репортовано... Ушакову». Начальник Тайной канцелярии об этом Семенова «спрашивал словесно», а потом доложил Сенату. Сенаторы «приказали тому секретарю Семенову дать чернил и бумаги, что и дано» (9-8, 33).

В 1736 г. дежурный подпоручик Кирилл Бехтеев объявил в Тайной канцелярии, что колодница Соловьева «говорила ему, Бехтееву, чтоб об ней, Степаниде, доложил он, Бехтеев, его превосходительству (Ушакову. — *Е. А.*), что имеет она объявить некоторую нужду». Оказалось, что баронесса — неудачная доносчица на своего зятя, тайного советника Василия Степанова, — вдруг вспомнила, что в чулане московского дома ненавистного ей зятя есть сундук, в сундуке же — шкатулка, «а в той шкатулке имеетца показанное в Тайной канцелярии по делу письмо одного зятя ее Степанова... якобы обер-камергер (Бирон. — *Е. А.*) с Ея и.в. любитца», для чего она и подняла охрану своим заявлением (55, 3, 57).

Охрана регулярно сообщала по начальству о состоянии здоровья узника, которое она берегла как зеницу ока. До нашего времени дошла переписка лейб-медика Блюментроста с генералом Ушаковым о больных арестантах С.-Петербургской крепости. Ушаков в письмах к лейб-медику часто просил прислать лекаря для пользования арестантов и писал, что лекарь к ним не ходит и многие узники «пришли в тяжелые болезни», что наносит вред интересам государственной безопасности (17, 1 и др.). Особое внимание уделялось состоянию пытаных в застенке колодников. В указе 16 февраля 1746 г. и в проекте Уложения 1754 г. говорится, что охране «надобно смотреть, чтоб те места, где колодники сидят, содержаны были в чистоте и без духоты, дабы посаженным не могло от того приключиться болезни» (596, 10). О состоянии здоровья арестантов нужно было знать следователям, чтобы при выздоровлении узника продолжить с ним прерванную «беседу». При приближении смерти арестанта охрана была обязана послать к умирающему попа и снять с него «исповедальный допрос» (о нем см. ниже).



Фаддей Костюшко

Охранники наблюдали и за настроением арестанта, записывали разговоры, в которые он пускался. Чем выше был статус узника, тем подробнее отчеты и внимательнее присмотр. За каждым движением такого «хозяина» тщательно следили, периодически обыскивая и отбирая все, что казалось подозрительным (775, 248). Обо всем этом охранники писали подробные рапорты. Сохранился рапорт капитана Андрея Лопухина, надзиравшего в Шлиссельбурге за Бироном. 23 апреля 1741 г. он писал, что Бирон заболел, но вскоре «от болезни избавился и ходит в покоях по-прежнему» (462, 210). Дошли до нас и детальные отчеты начальников охраны Ивана Антоновича в Шлиссельбургской крепости. Офицеры охраны подмечали все мелочи в поведении арестанта, всякие подозрительные действия его пресекались, охранники не давали ему по ночам заниматься онанизмом, прятать какие-то вещи (410, 198—205, 234). Подробно сообщали охрана и следователи о состоянии больной самозванки «Таракановой», а также сидевшего в Ревельской крепости Арсения Машиевича (441, 600 и др.; 591, 569).

За 1794—1795 гг. сохранились донесения охраны о сидевшем в Петропавловской крепости Фаддее Костюшко. В них отмечались малейшие ню-

ансы настроения узника. Так, 9 декабря 1794 г. премьер-майор Василий Титов писал генерал-прокурору А. Н. Самойлову: «Донеся вчерашнего дня вашему превосходительству о задумчивости господина Костюшки, которая умножается час от часу сильнее, даже до такой степени, что начинает забываться и беспрестанно плачет. Сколько ни старался его уговаривать, но ничего не помогает, к чему приписать оное его поведение не знаю и для того большое опасение имею в рассуждение его жизни, о чем честь имею представить на рассмотрение вашего превосходительства». Через несколько дней Титов сообщал: «Грусть его несколько уменьшилась, как примечаю, но начал кашлять и чрезвычайно мало спит каждую ночь»; «С утра до вечера сидит на одном месте в превеликой задумчивости; вчерашний день объявлял мне свои мысли, что ежели б оный так счастлив был, что милосердие нашей государыни освободило его от сей неволи, оный ту же минуту уехал бы в Америку в которой остаток дней своих остался бы, о чем честь имею донести вашему превосходительству» (222, 20–21).

Слова, сказанные колодником при охране в порыве откровенности, в пылу ссоры, под воздействием винных паров, порой давали следствию новое направление, позволяли привлечь к расследованию других людей. Впрочем, не оставались без внимания и разговоры, которые вели между собой охранники. Судьбу сидевшей в монастыре княжны Прасковьи Юсуповой в 1735 г. резко изменили показания ее подруги Анны Юленевой. Последняя была взята по доносу на Юсупову в Тайную канцелярию, допрошена и сидела с другими колодниками. 10 марта 1735 г. Юленева объявила караульному офицеру, что «караульные солдаты устраивали ее, Анну, что ее казнят смертью», поэтому она хочет дать показания. Из допроса Юленевой видно, что колодница подслушивала разговоры своих караульных. Она слышала, что один солдат рассказывал двум другим сказку «про князей и про бояр, и про других, и в той сказке упоминал, что казнили смертью и отсекали голову, а кому и как именно ту сказку солдат сказывал, того она не упоминает». И далее из показаний узницы мы видим, как колодница, днями и ночами напролет думавшая о своем печальном положении, находилась на грани нервного срыва. Поэтому она принимала каждое слово на свой счет: «По слышанию оной сказки дознавалась она (у солдат. — Е. А.) мнением своим, что не о ней ли, Анне, показанные слова тот солдат говорил?» Солдат, совсем не зная Юленеву и ее дела, мрачно пошутил: «Тебя станут казнить и для той казни повезут тебя на остров, а на какой и за что ее, Анну, казнить, того опять не выговорил». Юленеву охватила паника: «Чего ради мыслила она, Анна, что не будет ли ей, Анне, и подлинной смертной казни, однакож Анна вины за собою никакой не признавала и ныне не признает, но объявила ка-

раульному офицеру об утрашении ее солдатами для того, чтобы иметь предлог объявить Андрею Ивановичу [Ушакову] нижеследующее...» И потом она донесла на княжну Юсупову (см. 322, 296, 359–360). Из истории заточения Ивана Антоновича видно, что порой охране не всегда строго предписывали воздерживаться от разговоров с узниками. Наоборот, офицеры его охраны должны были поощрять бывшего императора к разговорам и тем способствовать главной задаче властей — склонить узника к пострижению. Для этого они должны были в разговорах с ним «возбуждать склонность к духовному чину, т.е. к монашеству», говорить ему, «что вся его жизнь так происходила, что ему поспешать надобно испрашивать себе пострижения, которое, ежели он желает, вы ему и исходатайствовать можете» (410, 229).

Постоянное присутствие солдат, их разговоры или их молчание — все это было весьма тягостно для интеллигентного колодника. Григорий Винский вспоминал, что в первый день своего заключения, не получив от пришедшего солдата ни одного ответа на свои вопросы, он ухватил стражника за ухо. На шум бежали другие охранники «и унтер, который сказал грозно: “Не забиячъ, барин, здесь келья — гроб, дверью хлоп!” — “Да что же он мне не отвечал? Я — офицер” — “Здесь ты хозяин и, коли станешь забиячить, то уймут, а баять здесь не велят”» (187, 78). Пастор Теге вспоминал, что во время следствия его пытались обвинить в шпионаже в пользу Пруссии. С ним в каземате сидели непрерывно четверо гвардейцев во главе с сержантом, причем один держал шпагу наголо и все вместе «ели» глазами «пруссского шпиена». Девять недель, писал пастор, «гвардейцы были немые, как рыбы, и на все мои расспросы не отвечали мне ни слова. Но гораздо замечательнее было то, что они и между собою не говорили девять недель сряду и только очень тихо объяснялись знаками. Кто привык жить с людьми, тот представит себе, что я вытерпел» (726, 318).

Сушей пыткой становилось постоянное присутствие охраны для женщины-колодницы, особенно если она принадлежала к высшему классу. В тяжелых условиях больше года провела графиня Мария-Аврора Лесток, жена опального лейб-медика Елизаветы Петровны. Солдаты и офицеры с ней обращались грубо, как-то раз дежурный офицер даже плюнул ей в лицо. На глазах солдат, сидевших безвылазно в ее камере, ей приходилось отправлять свои естественные потребности. За год ей только дважды сменили постельное белье. Она страдала от безденежья и даже играла со стражниками в карты, чтобы получить на руки хотя бы несколько копеек для необходимейших покупок (763, 230; ср. 760, 59).

На невозможность жить под взглядами солдат жаловалась самозванка «Тараканова», сидевшая в крепости в 1775 г. Она писала своему следовате-

лю князю Голицыну, что «днем и ночью в моей комнате мужчины, с ними я и объясниться не могу». Однако это, как и лишение ее прислуги, теплой одежды, привычной светской даме еды, входило в ужесточение режима, определенное следователями для этой, упорствующей в своем преступлении самозванки (441, 603, 615). Вообще, охрана имела довольно много прав в отношении колодника. Если он начинал буянить, дерзить, не подчиняться предписанному распорядку, то солдаты избивали арестанта, связывали его, сажали на цепь. В ордере начальника Тайной канцелярии 1762 г. охране осмотрении за Иваном Антоновичем сказано, что «если арестант станет чинить какие непорядки или вам противности или же что станет говорить непристойное, то сажать тогда на цепь, доколе он усмирится, а буде и того не послушает, то бить по вашему рассмотрению палкою и плетью». В инструкции 1764 г. охране в таких же случаях разрешалось узника, «сковав, держать» (410, 212, 230).

Невозможно точно установить, были ли преступники во время сидения в тюрьме скованы. В одних случаях известно, что в камере они находились без оков и цепей, в других же есть вполне определенные данные о содержании их в цепях. Так было с привозимыми в феврале 1718 г. в крепость участниками Кикинского розыска. Об Александре Кикине и Иване Афанасьеве-Большом в записной книге гарнизона внесена помета: «И того ж числа наложены на них цепи с стульями (обрубок дерева. — Е. А.) и на ноги желез». Так же поступали и с другими заключенными — участниками дела (752, 600, 602). В 1724 г. в журнале Тайной канцелярии записано распоряжение: «Распопу Якова Никитина росковать, понеже у него ноги затекли» (9-4, 33). В оковах держали также церковных деятелей, обвиненных Феофаном Прокоповичем в интригах против него. От кандалов были освобождены только архиереи (775, 480). Правда, их держали в узилище Синода и только на допросы привозили в Тайную канцелярию. В целом же складывается впечатление, что в Петропавловской крепости узников держали без оков.

При нападении на стражу, при попытке бегства или освобождения колодников посторонними солдаты имели право применять оружие. Так, самозванец — «голыштинский принц» солдат Иван Андреев в Шлиссельбургской крепости в 1776 г. был убит часовым, когда, встав посреди ночи, подошел к охраннику и ударил его по голове. Часовой нанес ответный удар прикладом, и Андреев вскоре умер (476, 332). Убийство Ивана Антоновича в Шлиссельбургской крепости в августе 1764 г. было совершено офицерами его охраны, которые действовали строго по инструкции. В тот момент, когда В.Я. Мирович и его солдаты предприняли штурм казармы, где жил Иван Антонович, офицеры закололи узника. Через десять лет, в 1774 г., во время

штурма Казани пугачевцами генерал Павел Потемкин приказал караульному офицеру, охранявшему пленных мятежников, «при крайности не шадить их живых». Офицер и его солдаты выполнили приказ и перекололи самых важных пленников (522, 20).

Жесткий режим содержания в крепости, который описывал пастор Теге, держался не все время. Когда через девять недель следствие по его делу закончилось, с окна сняли закрывающий солнце щит, а «гвардейцы прыгали от радости, получив позволение двигаться и говорить по-прежнему, мне были сладки звуки человеческого голоса, тем более, что все окружающие принимали во мне участие и были готовы обо мне заботиться и мне услуживать» (726, 324—325). Охранники и заключенные, месяцами и годами сидевшие в одной комнате, вопреки грозным инструкциям вступали в отношения, которые подчас далеко выходили за рамки, предписанные начальством. Они успевали подружиться, поссориться, доносили друг на друга, мирились. Так, колодник Преображенского приказа Плясунов донес на тринадцать солдат, охранявших его, в произнесении ими «непристойных слов». Он подслушивал также жалобы солдат на службу, когда они беседовали между собой (212, 201).

К появлению человеческих отношений между охраной и «хозяином» подталкивала сама жизнь в крепости. Так, кормить узника было одной из постоянных обязанностей сторожей. Тайная канцелярия отпускала деньги «на корм» преступников из конфискованных ранее средств или из собственных денег узника. В тюрьме Тайной канцелярии действовали принятые тогда везде нормы: если узник имел деньги, то на них и кормился, иногда еду ему приносили родные или слуги. И только тех, «кои весьма пропитания друга не имеют», ставили на казенное довольствие, а если он не относился к числу секретных арестантов, то его могли выпускать в город «кормиться». 25 января 1724 г. А.И. Ушаков постановил: «Кто пиши не имеет, тех пускать в город для милостыни за караулом» (9-4, 20 об.).

При Петре I колодники, по мнению Г.В. Есипова, получали «по грошу на день человеку», но некоторые важные или знатные преступники могли рассчитывать и на алтын в день (325-1, 122—123). По данным 1722—1723 гг. в Петропавловской крепости часть узников получала по три копейки в день, а часть — по две копейки. Некоторым больным за казенный счет покупали вино и пиво (34-4, 27, 35 об.). Для того чтобы кормить арестантов, свободные от службы караульные солдаты отправлялись на рынок, а потом стряпали в печке еду для заключенного и для себя. По источникам 1720—1730-х гг. видно, что солдаты не только сами ходили на рынок, но и приводили к своему «хозяину» продавцов — разносчиков съестного. Для этого узнику и нужны были карманные деньги.

Охранники и узники ели вместе, за одним столом. Это видно из инструкций о содержании Ивана Антоновича: «С арестантом два офицера садиться будут за стол...» (410, 194, 226). Застолье (да еще с разрешенным полпивом или вином), как известно, повод для разговоров, причем формально не запрещенных инструкцией, ведь от пищи зависела жизнь охраняемого государственного преступника.

Знатные узники угощались не только кулинарными произведениями своих сторожей, но и блюдами из близлежащего трактира на Троицкой площади, или еду им готовили собственные повара. В меню знатных арестантов бывали разносолы и напитки. На обед Ивану Антоновичу подавали пять блюд, бутылку вина, шесть бутылок полпива и др. К этому добавим, что охрана, обязанная покупать продукты и готовить для узника, обычно нещадно его обворовывала (410, 194–195). В инструкции 1748 г. начальнику охраны Лестока, просидевшего в крепости четыре с половиной года, сказано: «Пишью их Лестока и жену его також и людей их во всем довольствовать из имеющихся домовых оного Лестока припасов». Большую часть года еду привозили на лодке из дома Лестока, что стоял на Фонтанке, а зимой на Петербургскую сторону переселялись повар и слуги, которые и носили в крепость еду (760, 58). Самозванка «Тараканова» получала еду из кухни коменданта крепости, а «для усмирения ее гордыни» ей иногда давали еду из солдатской кухни (441, 624).

Менее знатым и простым узникам крепости приходилось много труднее. На отпускаемые казной деньги прокормиться было невозможно, и если человеку не удавалось выйти «на связке» с другими арестантами в поисках милостыни на улицах города, а родственники или dobroхоты не приносили передач, то узника ожидала голодная смерть. Такая судьба постигла бы жену Романа Никитина, брата знаменитого живописца, если бы ее в 1735 г. не освободили «впрель до указа» (775, 497). Теге так вспоминает о «своем маленьком хозяйстве». Четверо гвардейцев бессменно провели в его каземате все два года заключения, которые выпали на долю пастора. В первые девять недель, как уже сказано выше, охранники не называли ему даже своих имен, и поэтому, вспоминает Теге, «я придумал каждому из них название. Первого я прозвал б о л ь ш о й : его дело было смотреть за чистотою в каземате, топить его, держать в порядке кухонную посуду. Второго я прозвал м а л е н ь к и й : он покупал мне провизию и исполнял другие подобные поручения. Третий прозвался ч у л о ш н и к : он вязал для меня чулки и смотрел за моим платьем. Четвертого я прозвал п л о т н и к : он делал мелкие деревянные вещи для моего хозяйства. Когда маленький возвращался с рынка, у большого была уж готова кухонная посуда и в горящей печи приготовлено место

для горшков, которые вдвигались туда, и потом выдвигались с помощью особого орудия, называемого ухват. Сколько не были преданы мне мои гвардейцы, но они никогда не позволяли себе рассказывать, что происходило в России, что случилось при дворе и какие вести из армии» (726, 327). Охранники Арсения Мациевича в Ревельской крепости были недовольны своим «хозяином» потому, что в инструкции о его содержании предписывалось менять ему белье и им приходилось в коридоре каземата устраивать большую стирку (591, 568).

Вообще, жизнь именитого узника была несравнимо легче жизни арестанта простого, безденежного. Знатного человека, как правило, не держали в кандалах, у него были подчас немалые деньги, он имел возможный в условиях тюрьмы комфорт. Некоторым знатым узникам Тайной канцелярии разрешали вешать в углу образа, есть на золоте и серебре, иметь драгоценные табакерки и другие предметы роскоши. Им же позволяли держать при себе слуг, как было в 1735 г. с посаженным по делу Егора Столетова князем Михаилом Белосельским, с Артемием Вольнским, «княжной Таракановой» и другими (659, 165; 462, 212; 441, 624). Довольно редкий случай произошел в 1743 г., когда камергеру Карлу Лилиенфельду разрешили поселиться в тюрьме вместе со своей беременной женою Софьей, которую подвергали допросам по делу Лопухиных (660, 24).

Давали узникам и книги. К концу XVIII в. их скопилось в тюрьме немало, и Инструкция по содержанию арестантов в Алексеевском равелине 1812 г. даже предписывала «для умаления у содержащихся неразлучной с их положением скуки, давать им по их избранию читать книги» (802, 341). Граф Гордт, сидевший в конце 1750-х гг. в крепости, долго не получал книги и ноты по недоразумению: по указанию двора ему было запрещено давать бумагу, но при этом не уточнили, что речь идет только о писчей бумаге. Поэтому полтора года несчастному книголюбу не давали ни единого бумажного клочка ни для каких целей.

Ночные судна стояли в камерах только самых секретных узников (у Ивана Антоновича, графини Лесток, «Таракановой»). Первое упоминание термина «параша» как «простого деревянного ушата» встретилось мне за 1827 г. (393, 96–97). Обычно заключенных выводили из камер в отхожее место, находившееся неподалеку от узилища. Заключенный 1747 г., сидевший в монастырской тюрьме, жаловался, что солдаты охраны «его не пускают дальше нужника» (242, 22). Момент вывода в нужник был удобен для побега. Знаменитый Ванька Каин совершил побег как раз из нужника. Чтобы узники не бежали из нужника, в Петропавловской крепости, как и в других тюрьмах, в отхожее место их выводили в тяжелых кандалах или на цепи. Беглый

солдат Петр Федоров в 1721 г. рассказывал на допросе о своем побеге из тюрьмы: «Пошел он ис колодничей избы в нужник, которой на дворе за колодничью избыю и был на цепи и, не ходя в нужник, за колодничью избыю за углом цепь с себя скинул для того, что замок был худ и отпирался, а часовой солдат за ним смотрел из сеней, и как цепь с себя скинул, тот часовой солдат того не видал, и без цепи он с того двора сошел в ворота» (96, 72 об.). Подобным образом бежали и некоторые другие узники Петропавловской крепости.

Естественно, что заключенным запрещалось иметь перо и бумагу и вести переписку. Винский вспоминает, что родственники узников с трудом, через длинную цепочку знакомых, узнавали, где находятся их мужья и сыновья, как-то вечером ушедшие в трактир или вызванные к начальству и так пропавшие навсегда. Гордт же пишет, что лишь раз ему дали прочитать три распечатанных письма его жены, не находившей себе места после исчезновения мужа. На просьбу Гордта разрешить ответить жене ему было, как он пишет, строго сказано, «что я могу известить жену о получении всех трех ее писем и о своем здоровье, но, вместе с тем, объявили, что мне запрещено прибавлять что-либо еще, а также означать число и место, откуда писано письмо. Я подчинился этому жестокому приказанию инквизиции» (219, 308). На самом же деле он должен был подобострастно благодарить за такую невиданную милость, проявленную к секретному узнику Петропавловской крепости. Как стало известно потом, случай переписки супругов Гордт — редкостное исключение. Оно произошло благодаря добросердечию канцлера М.И. Воронцова, к которому попали письма графини Гордт. Он переслал их в начале 1760 г. начальнику Тайной канцелярии А.И. Шувалову с таким письмом: «Мне сдается, что по неважности содержания их (писем жены. — *Е. А.*) можно графа Горта обрадовать известием о состоянии жены его, о которой он натурально беспокоиться должен, не получа чрез столь долгое время (уточним: полтора года. — *Е. А.*) ни одного от нея письма» (219, 308). Начальник Тайной канцелярии не мог, конечно, отказать канцлеру России в его просьбе обрадовать арестанта весточкой из дома и позволить ему ответить жене.

Впрочем, послать письмо можно было и вопреки инструкциям, за деньги. Для этого нужно было договориться с охранниками. Они отдавали узникам передачи и милостыню с воли, носили (незаконно) подарки от одного колодника к другому. В 1736 г. из-за этого разгорелся скандал. Сидевшая в одиночке баронесса Соловьева попросила своего караульного, преображенца Федора Кислова, передать гостинец (булку) известному церковному деятелю Маркелу Родышевскому, заточенному по соседству с ней. Солдат

просьбу баронессы исполнил, но по дороге, осмотрев булку, обнаружил в ней серебряный рубль, выпатил его и, как потом объяснял, «издержал... на свои мелкие нужды» — по-видимому, попросту пропил. Через пять дней к Кислову пришел охранник Родышевского солдат Алексей Борисов с просьбой от Родышевского, чтобы Кислов из того рубля передал бы ему, через Борисова, «хотя гривны две денег». Но Кислов уже деньги потратил, начался спор, кто-то на них донес.

На следствии выяснилось, что заключенные находились друг с другом в постоянной «пересылке» — письменной связи именно через свою охрану, от которой узнавали о своих сотоварищах. Когда Соловьеву спросили, откуда она узнала о секретном узнике Родышевском, то она ответила, что «о нем слыжала в разговорах от караульных солдат» (60, 1—8). Между тем Родышевский числился в особо секретных узниках, и когда в 1726 г. его заключали в крепость, то в инструкции охране было сказано: «Держать в С.-Петербургской крепости от других колодников особо под крепким караулом» (775, 220). Сколь крепок был этот караул, видно из истории с булкой.

Хлеб вообще служил традиционной «капсулой» для передачи записок и денег. Записками-«грамотками», вложенными «в стряпню», в 1698 г. сообщались друг с другом сидевшая в Новодевичьем монастыре царевна Софья и ее жившие в Кремле сестры Марфа и Екатерина Алексеевны (163, 65). В 1752 г. во время следствия по делу восставших работных людей Калужской губернии охрана перехватила бабу с калачом, который та несла от одного заключенного к другому, а в калаче нашли записку: «В чем стояли, в том и стоять, и помереть» (463, 118). В калаче передавали в 1714 г. деньги в «бедность» в Нижнем Новгороде. Они предназначались для подкупа сидящего там же изветчика, чтобы тот отказался от доноса (325-1, 606—607).

Ванька Каин описывает, как к нему, попавшему в нижегородскую тюрьму за кричание «Слова и дела», пришел его сообщник Петр Камчатка и под видом доброго самаритянина принес на всех заключенных милостыню — калачи. Каждый колодник получил по калачу, а Каин даже два. При этом Камчатка тихо сказал: «Триока калач ела, стромык сверлюк страктирила», что на воровском языке означало: «Тут в калаче ключи для отпираания цепи», чем вскоре Каин и воспользовался. Он предварительно послал караульного драгуна «купить товару из безумного ряду», т.е. из кабака. «Как оной купил, — продолжает Каин, — я выпил для смелости красовулю, пошел в нужник, в котором поднял доску, отмкнул цепной замок, из того заходу ушел. Хотя погоня за мною и была, токмо за случившимся тогда кулачным боем от той поgonи я спаясь» (292, 18). Сидевший под арестом в Петропавловской крепости Лесток послал своей жене, находившейся в другом узилище крепос-

ти, записку, в которой советовал ей: «И пиши всегда в густой или жидкой каше. Токмо чтоб она каша не чрез меру жидка была б. Кавалер весьма прилежно за мною смотрит чего я делаю, так что не знаю, усмотрел ли или догадался, что в каше мне то чинить удобно, ибо я беру ложкою в рот, еже никто не примечает» (760, 55).

Из инструкции, которую (для ужесточения режима) после случая с Соловьевой написал для унтер-офицеров охраны А. И. Ушаков, видно, что торговцы съестным постоянно навещали арестантов и через них, как и через охрану, заключенные вели переписку между собой и с адресатами за пределами тюрьмы (181, 200). С древних времен в тюрьмы (в том числе и в Петропавловскую крепость) имели почти свободный доступ женщины (монашки, жены, другие родственницы и знакомые), которые приносили заключенным милостыню — еду, одежду, деньги и лекарства. Часто они подкупали охрану, которая без обыска пропускала их внутрь «бедности» и в колодничьи палаты. Одно политическое дело было начато по доносу колодника, который подслушал разговор своего сокамерника с пришедшей к нему женой. Женщина сидела рядом с мужем и «в голове у него искала» (500, 100).

В инструкции 1749 г. о содержании во время следствия в особом месте Ваньки Каина и его 38 сообщников сказано, что «если кто будет приносить пищу, то сперва самому (караульному офицеру) пробовать, кроме вина, и потом отдавать. Вина в милостыню не принимать от приносящих. Приносимые калачи и хлебы осматривать, нет ли в них чего-нибудь запеченого. Смотреть, чтоб между колодниками никаких ссор, непотребств и игrania в карты или какие зерни не было. Осматривать, нет ли у колодников ножей или вредных инструментов» (320, 332). Реально же колодники имели все, что хотели. Они пьянствовали, играли в карты и зернь, у них ночевали женщины. Когда проводили обыски, то всегда находили в их вещах ножи, вилки и особенно строго-настрого запрещенные бумагу, перья. Из воспоминаний, доносов и протоколов о происшествиях в крепости мы узнаём, что конвойные пили с колодниками, давали им полную свободу играть на деньги в шашки, карты, зернь, устраивать «гонки» вшей. Охрана как бы не замечала грубейших нарушений режима, а фактически получала с майдана (карточного круга) дань и поэтому больше заботилась, как бы не пропустить появления влезавшего нагрянувшего с проверкой дежурного офицера (393, 98; 44-2, 12 об.).

Как уже сказано, по старой традиции бедные колодники в кандалах отправлялись со своими сторожами «кормиться мирским подаянием» в город, а также вместе ходили на рынок за едой. По инструкции Ушакова 1732 г. такие походы, как и приход торговцев в казармы, запрещались. На рынок мог ходить только караульный солдат, а купленную еду караульному унтер-офи-

церу предписывалось «прежде надкушивать», а потом уже отдавать своему «хозяину» (42-1, 60). Но предписания эти не соблюдались, «дурости» и злоупотребления процветали по-прежнему. Колодники (конечно, за исключением «секретных») «в мире побирались». Причем известно, что «походы» эти были выгодны конвою: часть собранных денег солдаты брали себе. Опытные колодники обладали настоящим искусством просить милостыню и производить на прохожих «жалостное» впечатление своими оковами, отрепьями, язвами и заунывным пением. Каждая группа имела свои места для попрошайничества и боролась за них со своими конкурентами из вольных нищих.

В 1732 г. капрал Беляев водил своего «хозяина» из Петропавловской крепости дважды в баню, парился и, вероятно, отдыхал с ним в одной компании, естественно, на деньги колодника, за что охранника потом пороли плетью. Все такие нарушения записывались в приговорах канцелярии: «Арестантов слабо содержал и имел с ними, яко с неподозрительными людьми, обхождение» (42-3, 86).

Солдаты и колодники происходили в основном из одного «подлого» класса, их объединяли общие, весьма приземленные интересы, схожие взгляды на жизнь. Несмотря на различие положения, в котором они оказались, это были люди одного круга. Когда из казармы уходил дежурный офицер, им всем становилось легче и веселее. Арестанты и охранники вели задушевные беседы, спорили, выпивали, играли в карты и в зернь. По дружбе или за деньги с охранниками можно было о многом договориться. В 1799 г. знаменитый Секретный дом Шлиссельбургской крепости прославился не только суровостью содержания своих узников, но и тем, что охранники по ночам отпирали камеры и разрешали секретным арестантам общаться друг с другом (208, 249–250). Льготы и послабления, которые давали «хозяевам» охранники, были для узников неоценимым благом, в тюрьме малейшая уступка желанию заключенного ценится чрезвычайно высоко. Впрочем, принцип «дружба дружбой, а служба службой» действовал почти без отмены, и охранник хорошо знал, что в случае побега «хозяина» его ждут пытки, военный суд, а то и каторга. Доносами друг на друга сокамерники и охранники также не брезговали. Кроме того, рано или поздно задушевный собеседник долгих зимних вечеров мог прийти за своим «хозяином» и увести его на казнь или посадить закованного в колодку приятеля в телегу, которая увозила того навсегда в Сибирь.

Такие же простые и вопреки инструкциям даже сердечные отношения складывались между охраной и высокопоставленными узниками. Пастор Теге пишет, что секрет его хороших отношений с солдатами — в деньгах, которые он давал им на водку, причем давать много было нельзя — гвардей-

цы напивались в стельку. Они могли сразу пропить и собственное свое жалование, поэтому, уважая своего солидного «хозяина», отдавали деньги ему на хранение. Пастор выучился у солдат русскому языку и часто разговаривал с ними. «Добрые и услужливые, как вообще все русские, они старались развлечь меня разными рассказами. Так проходил не один бурный зимний вечер и я жалел, что не мог записать некоторых в самом деле прекрасных рассказов, состоявших по большей части из русских сказок». Наконец наступил день, когда в каземат вошел сержант «с веселым лицом». «Батюшка! — сказал он таинственно, — сегодня вам будут радостные вести. Я слышал стороною, что вас позовут в Тайную канцелярию и объявят свободу». Он сказал правду — через полчаса меня потребовали в Тайную канцелярию» (726, 331).

Прекрасные воспоминания об охране остались и у шведского аристократа графа Гордта. Он писал: «Мало по малу офицеры и стража привязались ко мне и почувствовали жалость к моей доле. В двух гренадерах я заметил особенно искреннее участие, они дали мне понять, что готовы на все, что только может облегчить мои страдания. Однажды вечером один из них сказал мне, что офицер ушел с дежурства и что если я хочу выйти прогуляться на воле, то увижу весь город иллюминированным — то был один из праздничных дней... Я был в восторге... и мы отправились вокруг крепости» (219, 309–310). За подобную прогулку солдата могли казнить, как соучастника побега опаснейшего государственного преступника. Из этого и других описаний видно, что такие «вольности» не были редкостью. «Патриархальные», а точнее — человеческие отношения колодников и охраны — характерная особенность истории Петропавловской крепости как тюрьмы XVIII в. В 1762 г. каптенармус Невского полка Дмитрий Алексеев обвинялся в том, что, «будучи он содержащегося в Тайной канцелярии колодника сибиряка купеческого человека Ивана Зубарева... на карауле, в противность данного ему от Тайной канцелярии приказа, допустил оного колодника до говорения им о себе слов... [и] по прозьбе того колодника принес он, Алексеев, к нему для написания оному колоднику к Его высочеству (Петру Федоровичу. — Е. А.) письма бумаги, чернильницу и перо, позволил он тому колоднику написать оное к Его императорскому высочеству письмо», а потом товарищ Алексеева, Иван Пронсков, подошел к карете наследника престола у театрального подъезда и со словами: «Пожалуй, батюшка, милостивый государь, прими!», передал ему письмо Зубарева, чем совершил тяжелое должностное преступление (8-2, 94–96).

Здесь мы касаемся весьма интересного явления, которое можно назвать «эффектом Нечаева» — по имени знаменитого революционера XIX в., сумевшего распропагандировать в свою пользу солдат охраны. Часовые, эти про-

стые крестьянские или необразованные дворянские парни, невежественные и легковверные, поддавались обаянию личности своего «хозяина», нередко человека незаурядного, яркого проповедника или опасного авантюриста. По многим материалам подведший под суд Алексева и Пронкова Иван Зубарев известен как редкостный проходимец и мистификатор. Он начал свою «карьеру» с того, что заявил о якобы найденной им серебряной руде, и во время пробы образцов «руды» в Химической лаборатории М. В. Ломоносова сумел обмануть ученого помора, незаметно подбросив в тигель кусочек настоящего серебра. Потом разоблаченный в своем жульничестве авантюрист, после серии побегов и приключений, оказался в Пруссии, нашел способ познакомиться с весьма высокопоставленными лицами королевства и даже попал во дворец Сан-Суси, где его принял сам Фридрих II, который не устоял перед обаянием авантюриста и его рассказов. Получив от короля деньги, Зубарев отправился в Россию, чтобы поднять восстание старообрядцев, а потом организовать побег из Холмогор Брауншвейгского семейства. Неудивительно, что яркая личность Зубарева и его почти фантастические автобиографические рассказы зачаровали охранников, которые и стали действовать по его указке.

Такое сильное воздействие на простоватых солдат опытного узника, знавшего человеческую природу и умевшего убедительно и много говорить, становилось почти неизбежным потому, что многомесячная жизнь охранников и «хозяина» бок о бок делала свое дело — времени у всех участников бесед под вой метели и в светлые летние вечера было много. У одного шел «срок», у другого быстрее тянулась такая же долгая казенная служба. Сумел запутать солдат охраны Шлиссельбургской крепости своими «астрологическими прогнозами» упомянутый выше знаменитый Иоасаф Батулин. Он убедил охранников, что Петр III жив, и едва ли не подбил их на совместный побег, но был вовремя разоблачен (703, 278). Святым почитали своего узника солдаты охраны архиепископа Арсения Мациевича в Никольском Корельском монастыре, видя, как старец сам таскал в келью-камеру воду и дрова! И когда его отправили в Ревельскую крепость, Екатерина II была очень обеспокоена надежностью охраны опасного узника. По ее указу генерал-прокурор Вяземский предупредил коменданта крепости, чтобы солдаты «остерегались с ним болтать, ибо сей человек — великий лицемер и легко их может привести к несчастию, а всего б лучше, чтоб оные караульные не знали русского языка» (255, 286–287).

Думаю, что по этой причине власти шли на изменение привычного режима охраны некоторых узников, которых наглухо «закладывали» кирпичной стенкой в их камерах, да еще предупреждали охрану, чтобы караульные

стояли на отдалении от камеры, молча подавали еду в оставленное для этого узкое окошко (325-1, 413). Но все равно охранники шли на нарушение инструкции и без гипнотического воздействия сильной личности «хозяина», только по доброте, из чувства жалости. Иначе трудно объяснить поступок капитана Федора Богданова в 1777 г., который, вместо того чтобы охранять арестованного лифляндского крестьянина Янка, схваченного как бунтовщик, вел с арестантом беседы и, как показало следствие, «объявил ему себя ходатаем за ним, приказывая написать им о своих обидах и притеснениях к Ея и.в. челобитную, которую обещался отвести сам с двумя из них выборными в Петербург» (192, 31—32).

Арестантам удавалось вовлечь солдат в разные авантюры, сыграть на стремлении подневольных служивых сбросить солдатскую лямку, поймать их на жадности к деньгам или к выпивке. В допросе 1774 г. Емельян Пугачев рассказал, что побег из острога в Казани он совершил с помощью солдата-охранника, который только и мечтал, как бы бежать со службы. Другого же солдата, который сопровождал арестанта Пугачева в городе и не хотел изменять присяге, пришлось долго спаивать в доме у знакомого попа, куда завернули охранники и колодники. Потом его, мертвецки пьяного, прикрыли рогожкой в углу кибитки, на которой бежали, а когда солдат проснулся уже далеко за городом, столкнули с дрожек со словами: «Оставайся с благополучием!» (684-3, 136—137).

Несомненной легендой является утверждение о том, что из Петропавловской крепости не бежал ни один заключенный, хотя обычных для других узилищ помет типа «Из-под караула бежал и без вести пропал» (89-1, 577) в документах тюрьмы политического сыска не очень много. В декабре 1719 г. из крепости бежали старообрядцы Иван Золотов и Яков Григорьев. Они сидели в казарме у Васильевских ворот вместе с несколькими другими колодниками. Получилось так, что из троих охранявших их гренадеров двое пошли по делам: один повел колодника Савина в канцелярию, а другой «пошел для покупки на рынок редьки». Третий же, гренадер Пахом Фомин, так объяснял на следствии обстоятельства «утечки» узников: «И из оных раскольников один выпросился у него, Пахома, на сторону (т.е. в отхожее место. — Е. А.) и он его из караула выпустил, а другой [колодник] пошел за тем раскольником без спросу и, вышед они из той казармы, дверь затворили, а он де у оставшихся колодников в той казарме остался один, того же часа вышел он из казармы за ними и куда они пошли, того он и не усмотрел». Это произошло в полдень, и строгий приказ от капралов, «чтоб им, караульным гренадерам, колодников содержать крепко», как видим, не помог. Гренадер Фомин сразу же попал под следствие, его пытали, чтобы выяснить, не под-

куплен ли он раскольниками («не для скупы и дружбы»), он же утверждал, что упустил их «простою своею и недознанием» (325-1, 101—102).

Возможности же для побегов узников были обширны. Колодникам в кандалах выйти из крепости не представляло никакого труда — они, как уже отмечалось, часто ходили побираться, а крепостные ворота главной городской цитадели, к удивлению иностранцев, не закрывались даже ночью: беспечность была всеобщей, и любой человек мог свободно заходить в крепость и так же свободно покинуть ее. Граф Гордт писал о большой скуке, которая его одолевала в заключении: «Время от времени поглядывал я в окно, но и тут лишь изредка видел какого-нибудь прохожего, только в праздничные дни толпа народа проходила в церковь, которая находилась против моих окон. Это служило для меня и развлечением и, вместе с тем, приятным занятием» (219, 307). Даже в Шлиссельбургскую крепость, где содержали сверхсекретных узников, разрешали богомольцев и «приезжающих в крепость для гуляния допускать». Правда, при этом предписывалось смотреть, «чтоб никто из них около тюрьмы (Ивана Антоновича. — Е. А.) не шатался» (410, 228). Колодник Кирилл Зыков в 1732 г. бежал из-под караула, пока его охранник, солдат Алексей Горев, оставив пост, «по прошению того Зыкова ходил... без ведома караульного капрала, на рынок для покупки оному Зыкову орехов и, купя орехи, пришел в оную казарму по-прежнему», уже не застал колодника, так и не дождавшегося лакомства (42-3, 28).

Долгое время прогулки заключенных никак не регламентировались, а для некоторых узников их никогда и не было. Иван Антонович сидел в Шлиссельбурге несколько лет без всяких прогулок на свежем воздухе, что сильно ослабило его здоровье. Из воспоминаний Теге видно, как в конце 1750-х гг. эти прогулки заменяли посиделки вместе с охранниками возле каземата на солнышке или в тени. Описание, оставленное Теге, вполне патриархально: «В летний день, — пишет Теге, — сидел я на дворе у двери моего каземата: жар был томительный, облака быстро неслись по ясному небу. Внимание мое было отвлечено от них тем, что происходило в крепости. Перед дверьми других казематов стояли отдельные команды солдат и при них запряженные повозки. Сегодня верно многих арестантов отправят в Сибирь, шепнули мне мои солдаты и холодная дрожь пробежала по моему телу. Вот вижу: некоторых арестантов отвели в Тайную канцелярию...» (726, 330, 332—333).

К прогулке как санитарной норме при содержании узника стали относиться только с конца XVIII в. Костюшко держали в Комендантском доме и в июне 1795 г. его перевели в город, в Штегельманов дом. Там были удобные для жилья комнаты, а также сад для прогулок, которые врач считал необходимыми для вечно хандрящего узника (222, 26—27). В начале XIX в. о воль-

ностях конца 1750-х гг. уже и забыли. Инструкция 1812 г. о режиме в Алексеевском равелине предписывала выходить узнику только «в находящийся внутри стен садик». При этом охрана бдила, чтобы гуляющий не столкнулся случайно с другими узниками (802, 344).

Кончина узника в крепостном заключении была таким же важным для сыскаемого ведомства событием, как его побег, и поэтому смерть заключенного тщательно документировали. Во-первых, о плохом состоянии узника задолго до его смерти сообщали по начальству охранники: «Артемьев лежит весьма болен и движения мало имеет» (242, 34). По решению Тайной канцелярии к умирающему допускали врача или священника. Если же узник отказывался от услуг пастыря, то посмертно его наказывали — закапывали где-нибудь на окраине без всякой погребальной церемонии, о чем представлялся соответствующий рапорт в Канцелярию: «1722 генваря 24 дня в Канцелярии тайных розыскных дел Шлиссельбургского полку сержант Василий Королев, который стоит в помянутой канцелярии на карауле, сказал: «Под ведомством его был под караулом раскольник и беглый солдат Никита Киселев, который против помянутого 24 дня в ночи умре без исповеди и исповедоваться у священника он не желал, а сказал он, Киселев, что исповедоваться у священников он не будет». И тело его зарыто в землю за Малою Невою рекою на Выборгской стороне. К сей сказке Невского полку ротный писарь Семен Токарев вместо сержанта Василия Королева по его прошению руку приложил» (181, 293).

Об умершей старообрядческой старице Маремьяне в журнале Канцелярии записано: «Она, Маремьяна, в той же ночи на 10-е число, пополудни в четвертом часу, умре в своей злобе раскольниковской прелести без причастия... вышеозначенной расколыщицы Маремьяны смердящее тело зарыто в раскольниковском кладбище» (325-1, 236, 258, 367, 607). Зато исповедовавшиеся преступники получали милость: их несмердящие тела хоронили в ограде кладбища. Об умершем 1 февраля 1726 г. Иване Посошкове было сказано, что он «при смерти исповедан и святых тайн приобщен», после чего его похоронили при церкви Сампсона Странноприимца на Выборгской стороне (376, 140). В целом при погребении действовал общий принцип: колодника хоронить без церемоний, по возможности неподалеку от места заточения. Все знаменитые преступники были похоронены или в тюрьмах, или на месте ссылки. Так похоронили на Соловках отца и сына Толстых, в Березове А.Д. Меншикова, его дочь Марию, а также А.И. Остермана. Подобным же образом погребали и других колодников и их родственников. Когда Эрнст Миних, находившийся в ссылке в Вологде, попросил в 1760 г. перевезти тело умершей жены на ее родину в Лифляндию, то ему в этом отказали. Сохрани-



Принц Антон Ульрих Брауншвейгский

лась легенда, что в 1749 г. жена Остермана вывезла тело мужа, облив его предварительно воском, из Березова и похоронила в европейской части страны. То же сообщали некоторые авторы и о графине Е. И. Головкиной, якобы подобным же образом сохранившей тело скончавшегося в 1755 г. мужа (264, 1566; 101, 100; 764, 232). В суздальском Спасо-Ефимьеве монастыре умерших преступников хоронили ночью. Если шла речь о каком-нибудь старообрядческом старце, то старались сразу же скрыть могилу, разровнять образовавшийся холмик, заложить место погребения дерном, чтобы потом родные и почитатели не могли найти место погребения мученика (602, 27).

И в других тюрьмах преступников старались хоронить «без оглашения», ночью. В отчете охраны о погребении умершего в холмогорском заточении в 1776 г. принца Антона-Ульриха Брауншвейгского сказано: «По полуночи во 2-м часу» тело его вынесли без священника или пастора, детей и слуг, а «с одними только находившимися... для караула воинскими чинами, тихо погребено и о неразглашении всем запрещено, и обязаны строгою подпис-

кою» (410, 356–357). 9 июля 1764 г., получив известие о попытке освобождения Ивана Антоновича и его смерти в Шлиссельбурге, Екатерина II писала Никите Панину: «Безымянного колодника велите хранить (хоронить. — Е. А.) по христианской должности в Шлюссельбурге без огласки же». Панин же распорядился коменданту крепости: «Мертвое тело безумного арестанта по поводу которого произошло возмущение, имеете вы сего же числа в ночь с городским священником в крепости вашей предать земле, в церкви или в каком другом месте» (662, 304; 410, 266). Расходы на похороны оплачивались Тайной канцелярией из конфискованных денег политических преступников. Так, похороны колодника Петра Мейера в 1718 г. обошлись казне в 1 рубль 22 алтына (325-1, 120–121). В Петропавловской крепости, учитывая ее ограниченные размеры и близость подпочвенных вод, кладбища не было. Единственное известное захоронение преступника прямо в крепости относится к 5 декабря 1775 г. Тогда глубоко в землю на территории Алексеевского рavelина закопали самозванку «Тараканову» (640, 443; 539, 90). Обычно тела узников вывозили из Петропавловской крепости и хоронили за оградой какого-нибудь православного кладбища, где было принято закапывать утопленников и самоубийц. Известен случай, когда тело казненного старообрядца спустили в прорубь на Неве. В России была устойчивая традиция похорон преступников и самоубийц за пределами города. В Москве покойников из Преображенского приказа везли на окраину. Тело казненного в 1696 г. Я. Янсена было «отослано в убогих дом» (212, 44). Там же хоронили и некоторых из казненных осенью 1698 г. в Преображенском мятежных стрельцов (163, 92). Из позднейших материалов известно, что «убогих дом» был традиционным местом захоронений безвестных людей, казненных, убитых и старообрядцев. В Москве было несколько таких мест. Одно называлось «У Покровского монастыря за Рогожской заставой в убогих доме» (325-1, 608; 325-2, 51). О теле Сильвестра Медведева, казненного в 1691 г., сказано, что оно «погребено в убогом доме с странными в яме близ Покровского убогого монастыря» (390, 48). М.И. Семевский дает еще адрес: «Убогий дом за Петровскими воротами, к Воздвиженской церкви» (660, 86). Есть упоминание об убогих доме около Марьиной роши, у Божедомки. В таких местах возле церкви был устроен погреб или яма, куда складывали тела таких покойников. Здесь они лежали до Троицы, точнее до четверга на Троицкой неделе, когда их можно было, по церковному закону, похоронить. В этот день покойников клали в гробы, отпевали и закапывали в общей могиле (571, 296–297; см. 395, 8). В Новгороде такое место было в Рождественском монастыре, «на полях, на убогих домах» (341, 40).

Думаю, что нечто подобное было в Петербурге у церкви Сампсона Странноприимца, хотя единственного и определенного места упокоения уз-

ников Петропавловской крепости, скорее всего, не существовало. Местом погребения арестантов служил погост при Преображенской церкви в Колтовской улице. Там похоронили в 1757 г. Ивана Зубарева (594а, 408). М.И. Семеновский пишет, что после казни Егора Столетова на Обжорке в 1735 г. тело его отдали под расписку причту церкви Спаса Преображения на Петербургской стороне. Он же сообщает, что около 1863 г. при рытье фундамента под новые строения в тех местах были найдены гробы с останками в кандалах (660, 27).

Есть также известие, что тело одного умершего при Петре I колодника было «отвезено в Канцы (Ниеншанц. — Е. А.) и закопано в землю» (325-1, 98). В 1733 г покойных преступников отвозили также и на кладбище у церкви Святого Матвея (1733 г. — 49, 23). В 1724 г. об одном умершем колоднике сказано: «Зарыт в землю на Выборхской стороне в немецком кладбище», т.е. на Каменном острове (9-4, 100б.). Но чаще всего как место погребения умерших и казненных политических преступников упоминается кладбище у церкви Сампсона Странноприимца на Выборгской стороне. Там похоронили умершего в конце 1724 г. Павла Полуботка, Ивана Посошкова (1726 г.), а в 1740 г. — А.П. Вольнского, Петра Еропкина, Андрея Хрущева и других политических преступников (9-4, 80).

Таким образом, с конца XVII в. появляется особая тюрьма предварительного заключения ведомства политического сыска. Первоначально она являлась типичной тюрьмой при государственном учреждении, а без колодничьих палат в допетровское время не существовало ни единого приказа. Однако с переездом Тайной канцелярии в Петропавловскую крепость тюрьма эта приобретает специфические черты, отличавшие ее от приказных тюрем. И хотя режим содержания узников в тюрьме Петропавловской крепости еще долго нес на себе черты архаизма, патриархальной простоты, свойственных всем узилищам того времени, все-таки постепенно тюрьма в Петропавловской крепости, как и в Шлиссельбургской, приобрела особый статус, стала «секретной», с усиленным режимом содержания и охраны заключенных, что превратило ее в «Русскую Бастилию».

Судопроизводство в России до XVIII в. осуществлялось в двух основных видах: через суд и через сыск. Суд предполагал состязательность сторон, более-менее равных перед лицом арбитра-судьи. Стороны могли представлять судье доказательства в свою пользу, оспаривать показания противной стороны, делать заявления, иметь поверенного, который, не обладая, как современный адвокат, самостоятельным статусом, выступал как представитель, дублер стороны в процессе. Вообще, состязательный процесс в русском праве со времен «Русской правды» был довольно развит, и, согласно Соборному уложению 1649 г., при разрешении очень многих спорных, особенно гражданских дел суду отдавалось предпочтение. Однако, как замечено в отечественной историко-юридической литературе, общая тенденция процессуального права в России со времени Уложения шла не по пути развития состязательного процесса, появления института присяжных, а иначе — через усиление роли сыска — следственного (инквизиционного) процесса, который вел исключительно судья. По этой причине в России долго не складывался очень важный в состязательном процессе институт поверенных. Если от Уложения 1649 г. до указа 1685 г., развивающего некоторые элементы будущей адвокатуры, еще можно протянуть непрерывную линию, то позже, в петровское время, наступает полный провал в развитии русской адвокатуры — в XVIII в. нам известны только доверенные дворовые люди, «которые за делами ходят» для своих господ и представляют их в судебных органах при рассмотрении преимущественно гражданских дел (587-2, 1140; 473, 75–78).

Как уже отмечалось выше, первоначально сыск был одним из методов работы судебных органов — с помощью сыска расследовали «разбойные» дела, т.е. тяжкие уголовные преступления, дела, не имевшие челобитчика, так называемые «безгласные» (677, 618). Важнейшими процедурами сыска были по в а л ь н ы й о б ы с к — поголовный опрос членов общины о конкретном человеке, подозреваемом властями в «лихом деле», и п ы т к а, сочетаемая с о ч н ы м и с т а в к а м и свидетелей. Постепенно, с усилением

власти самодержавия, происходит эволюция суда и сыска. Последний перестает быть одним из методов обычного судопроизводства, а превращается в самостоятельный его вид. Действие сыска распространяется на различные виды тяжких преступлений, в число которых попадают в первую очередь интересующие нас политические преступления, большая часть которых связана с защитой государственной чести. Юридической основой сыска становится Уставная книга Разбойного приказа — сборник указов начала XVII в. по татинным и разбойным делам, нормы которого почти без изменения вошли в Уложение 1649 г. (785, 17, 27, 76). Общая тенденция усиления сыска за счет суда объясняется, конечно, не «обострением классовой борьбы... громадным размахом крестьянских восстаний» (626–4, 394), а развитием самодержавия, весьма близкого к азиатской деспотии, когда Государево дело становится «преобладающим элементом юридических отношений того времени» (720, 194).

Падение роли суда, а потом и его фактическая ликвидация в конце XVII в. стоит в одном ряду с такими явлениями, как усиление бюрократического начала в управлении в ущерб выборному, общинному началу. Оно же, как известно, играло в России, как и в других странах, важную роль в состязательном судопроизводстве и определяло во многом самостоятельность суда. Упомянем здесь и прекращение созыва Земских соборов, и введение крепостного права — все это неизбежно отражалось как на праве, юстиции, так и на юридическом статусе подданных царя. С укреплением самодержавия все перемены в общественной жизни происходили за счет принижения роли общественного начала, его институтов. Кажется неслучайным, что к началу XVIII в. официально признается отсутствие юридического понятия (и соответственно состояния) «вольный человек». В Комиссии об Уложении 1700 г. была высказана мысль, что из проекта нового уложения нужно выкинуть понятие «вольный», «для того, что опричь церковников, вольных ныне нет» (177, 236). Чуть позже понятие «вольный человек» становится синонимом понятия «беглый человек». Беглого же приравнивали к преступнику. Примечательно, что и само духовенство в ходе податной реформы 1718–1724 гг. оказалось разделенным надвое. Одних внесли в штаты и закрепили за церквями, а других, не попавших в штаты, как обыкновенных плательщиков, включили в общины по месту жительства, так что и духовенство лишилось своих прежних свобод (118, 135–231).

В историко-юридической науке общепризнано, что усиление к концу XVII в. сыска за счет состязательного приводит к тому, что судья «принял на себя многообразные функции следователя, прокурора и вершителя самого процесса» (716, 143). Историки права справедливо отмечают также, что с постепенной утратой судом принципа состязательности «интере-

сы частных лиц в нем уступают интересам государства, суд здесь переходит в дознание, прения сторон — в роспрос» (716, 144–145). Целью же «роспроса» становится получение (часто под пыткой) признания, в котором видели «царицу доказательств». Как писал Н. Н. Ланге, при сыске никто не занимается решением главной проблемы состязательного суда: «виновен — невиновен», а рассматривают вопрос о том, подвергать заведомо признанного виновным пытке или нет (425, 118–119). Кроме того, по мнению историков-юристов, «огромную роль стало играть в судопроизводстве все разрастающееся письмоводство, запись всякого рода “речей”, снятых показаний». Органы суда строятся на началах бюрократии, что ведет к злоупотреблениям и неправоудию (716, 144; 759, 176).

Важным этапом в победе сысского начала над состязательным стало царствование Петра I, который, как пишет Б. И. Сыромятников, «не мог вообще допустить самостоятельности судебных установлений. Это было не только противно его характеру, но и всему направлению абсолютистской политики, которая превыше всего поставляла государственное “добро” и интересы фиска» (716, 159). Особую роль в этом печальном для русской действительности процессе сыграл указ Петра I от 21 февраля 1697 г., который ликвидировал фундаментальную основу суда — состязательность сторон как в уголовных, так и в гражданских делах. Формально указ навел порядок в судопроизводстве. Судебные процессы неоправданно затягивались, стороны хитрили, истцы и ответчики (особенно бедные) несли большие расходы. Поэтому во избежание «многой неправды и лукавства» было решено «вместо судов и очных ставок по челобитью всяких чинов людей в обидах и разорениях чинить розыск» (587-3, 1572; 626-4, 397–398; см. 193, 30–31).

Вместо состязательного процесса (судебного спора) указом 1697 г. вводился упрощенный порядок судопроизводства: судья допрашивал свидетелей «вправду по евангельской заповеди Господни» и вершил дело «по свидетельской сказке», т.е. только по записи показаний свидетеля. И хотя изветчик и ответчик полностью и не лишались права отвести свидетеля противной стороны, но закон устанавливал довольно жесткие правила для отвода свидетеля. Эти правила формально должны были уменьшить злоупотребления сторон при отводе свидетеля, но фактически вели к ликвидации самого права отвода, как и состязательного принципа. То же самое можно сказать и в отношении статуса свидетеля: закон устанавливал новые, более жесткие условия его присяги, от показаний отстранялся ряд категорий свидетелей, а лжесвидетельство наказывалось смертью, чего ранее в праве не было. Так, возможно, из самых лучших побуждений с водой выплеснули ребенка — состязательный принцип суда в 1697 г. был фактически ликвидирован.

Впоследствии изданный 5 ноября 1723 г. Указ о форме суда восстановил отмененную в 1697 г. процедуру состязательного процесса, однако, как справедливо отмечалось в комментариях к публикации этого указа в 1986 г., к 1723 г. произошли существенные изменения самой основы русского судопроизводства, когда «воля сторон и воля суда поглощаются волей законодателя». Последний все жестче и жестче регламентирует весь судебный процесс (626-4, 405). Хотя после 1723 г. идея состязательного суда (в урезанном виде) вернулась в Россию, она оказалась невозможна по своей сути — почти четверть века в стране отсутствовало судебное состязание, и о нем стали забывать. Кроме того, по Указу о форме суда судья приобрел исключительное право решения судьбы дел, не оглядываясь на стороны процесса. В «Кратком изображении процессов» это право сформулировано решительно и жестко: «Судья, ради своего чину (т.е. ex officio. — Е. А.) по должности судебный вопрос и розыск чинит: где, каким образом, как и от кого такое учинено преступление» (632-4, 411). Екатерина II провела впечатляющую судебную реформу. И тем не менее по-прежнему при отсутствии питающих всякое правосудие традиций состязательности независимый суд надолго оставался мечтой в России.

Как известно, между политической формой правления и формой правосудия всегда существует прямая и непосредственная связь. Власть самодержца не допускала мысли о появлении независимого суда, основой которого мог выступать только закон. «Краткое изображение процессов или судебных тяжб» являлось составной частью Артикула воинского и было важнейшим для русского судопроизводства в течение полутора столетий. Артикул воинский — этот военно-судебный закон Петра I — и после его смерти широко использовался в гражданских судах. Он придал и восстановленному в 1723 г. состязательному суду (и, естественно, политическому сыску) сильный оттенок военно-полевого судебного действия. Это также мало способствовало становлению гражданского общества и его законов. Впрочем, справедливости ради отметим, что развитие законодательства о суде и сыске в XVII — начале XVIII в. противоречиво, эклектично. Некоторые элементы состязательности не только сохранились, но и оказались включенными в процедуру сыска, что сближало сыск с судом (626-4, 405). Об этом будет сказано ниже.

Тем не менее последующее законодательство оставило нормы Петра I об исключительности розыска в системе правосудия почти в неизменном виде. В проекте Уложения 1754 г. говорится, что судья производит розыском все дела, которые покажутся ему «подозрительными», и что розыск распространяется на «важные преступления», среди которых были и преступления

об оскорблении чести Величества (596, 1—2). Как бы то ни было, общая эволюция процессуального законодательства в сторону усиления сыскного начала и те перемены в судопроизводстве, которые произошли в эпоху Петра I, — все это имело огромное значение для политического сыска, который использовал в своей деятельности нормы общегражданских и военных законодательных актов. Рассмотрим весь процесс политического сыска начиная со стадии, называемой *«роспрос»*.

Уже на первой стадии сыскного процесса начинаются различия с нормами права состязательного суда. Изветчика по политическому делу, в отличие от челобитчика в общеуголовном или гражданском процессе, сразу же арестовывали и сажали в тюрьму. Так же поступали с ответчиком и указанными изветчиком свидетелями. Идя с доносом в ближайшую канцелярию или крича «Слово и дело» на площади, доносчик порой не подозревал, что его ожидает. Для начала несколько месяцев он проводил в тюрьме, подчас в компании с отпетыми преступниками. В случае возражений, упрямства, «запирательства» ответчика (и это бывало часто) изветчику предстояло подтвердить извет собственной кровью на пытке и, возможно, после этого стать калекой. Более того, если вся затея с доносом проваливалась, то изветчика, автоматически ставшего по закону ложным доносчиком, ожидали палач, эшафот, галерное весло или сибирский рудник.

Доносчик не мог быть спокоен, даже когда ему удалось благополучно доказать извет. За затяжку доноса ему могли, как сказано выше, урезать денежную премию или вообще лишить награды. В некоторых случаях вместо обещанной в указах благодарности на прощание его «угощали» и плетями. Так, в 1736 г. выпороли двух изветчиков — дьякона и пономаря из Свияжского уезда, донесших на своего попа Тимофея Никитина. Суть доноса была в том, что в день тезоименитства императрицы Анны поп «за пьянством всеиношного бдения, и литургии, и молебна не отправлял». Извет был доказан, поп уличен, сознался, получил порцию плетей и был сослан на полгода в монастырь, «в тяжкие труды». Однако плети получили и доносчики — «за то, что они того попа после того торжества на другой и на третий день к отправлению оного священослужения не принуждали, и о том его неслужении вскоре нигде на него не донесли, и чтоб впредь, видя такое неисправление, не молчали» (44-10, 153).

В сыском процессе попросту отсутствовали процедурные проблемы с передачей в суд челобитной, извещением ответчика, вызовом свидетелей. Словом, в сыске не было всего того, что так тщательно регламентировалось в процессуальном праве состязательного суда. Все участники дела сидели в

колодничьих палатах сыского ведомства, и чтобы они предстали перед следствием, нужно было только кликнуть дежурного офицера охраны, чтобы тот привел колодников из темницы. При этом, естественно, существовали свои бюрократические правила, которыми руководствовался политический сыск и которые заменяли процессуальные нормы обычного суда.

Так, как уже сказано выше, доношение, поступившее в сыское ведомство из другого учреждения, приобщалось к делу, его краткое содержание записывалось в книгу входящих дел старшим из присутствующих секретарей или канцеляристов. На доношении делалась помета: «Подано (дата. — *Е. А.*), написано в книгу, принять и роспросить» (48, 1). Последнее слово относилось к тем людям, которые уже сидели в тюрьме. Так начинался *розыск*. Этот важный в данной книге термин имеет два основных значения. В одном случае «розыском» назывался весь следственный процесс в сыском ведомстве: с первого допроса и до вынесения приговора по делу. Во втором случае (и этим понятием пользовались чаще) под «розыском» подразумевали ту часть расследования дела, которая проводилась до начала пытки. В этом случае розыск назывался «*распросом*», чаще — «*роспросом*», или, переводя на современный язык, расспрашиванием, расспросом, допросом без пытки.

Первым на «роспрос» приводили *извetchика*. Вначале он (как потом и ответчик, и свидетели) давал присягу и «по заповеди святого Евангелия и под страхом смертной казни» клялся на священной книге и целовал крест, обещая, что намерен говорить только правду, а за ложные показания готов нести ответственность вплоть до смертной казни. Затем извetchик отвечал на пункты своеобразной анкеты: называл свое имя, фамилию (прозвище), отчество (имя отца), социальное происхождение («из каких чинов») и состояние, возраст, место жительства, вероисповедание (раскольник или нет). Вот начало типичного протокола Тайной канцелярии: «1722 года октября в... день, Ярославского уезда Городского стану крестьянин Семен Емельянов сын Кастерин распрашиван. А в распросе сказал: зовут-де его Семеном, вотчины Семена Андреева сына Лодыгина Ярославского уезду, Яковлевской слободы крестьянской Емельянов сын Козмина сына Кастерина, и ныне живет в крестьянех; от рождения ему, Семену, пятьдесят лет и измлада прежде сего крестился он троеперстным сложением...» (325-2, 97).

М. И. Семевский упоминает в своей книге, что эти первоначальные допросы велись по «печатной форме» (664, 21), однако мне такая форма ни разу не попала, хотя нужно признать, что сложившийся на практике формуляр «первой страницы» дела явно существовал. Далее в протокол вписывалась

суть извета, начинавшаяся словами «Государево дело за ним такое...». В конце протокола изветчик расписывался. Если вначале писали черновик «роспроса», то подпись ставилась позже, уже на беловике. За неграмотного участника сыского процесса расписывался по его просьбе кто-нибудь другой, естественно, не из числа оставшихся на свободе. Чаще всего им был один из колодников или из подьячих сыского ведомства: «К подлинным роспросным речам, вместо Гаврила Ферапонтова, по его велению, Степан Пагин руку приложил» (537-2, 3). В случае с «княжной Таракановой» известно, что протокол допроса вначале прочитали преступнице, а потом она его подписывала (441, 593). Примечательна подпись Стефана Яворского, которого допрашивали по делу Любимова о сочинении акафиста в честь царевича Алексея. Стефан в своих ответах был тверд, обвинения в пособничестве Любимову отметал и в конце допроса подписался: «Писал больною, но не трепещущею рукою в С.Петербурге года 1721, марта 24. Смиренный митрополит Рязанский» (322, 262).

Рассмотрим обычное, традиционное, рутинное начало сыского дела по политическому доносу. Не будем при этом, конечно, забывать, что наиболее крупные, особо важные сыские дела (в частности, неизветные, возбужденные верховной властью) начинались и велись часто иначе, чем обычное дело по поводу кричания в кабаке «Слова и дела» пьяным солдатом или посадским. Для расследования особо тяжких государственных преступлений назначались, как уже сказано выше, особые следственные комиссии. Их делопроизводство отличалось от типового следственного делопроизводства постоянных органов сыска, о чем пойдет речь ниже.

Итак, перед следователями стоял изветчик. Было бы ошибкой думать, что его принимали в сыском ведомстве с распростертыми объятиями, а если и принимали так, то все равно сажали в тюрьму, допрашивали и пытали. За ним устанавливался тщательный присмотр, рекомендовалось обходиться с ним внимательно, но без особого доверия. В главе о доносе сказано об «изменном деле» 1733 г. смоленского губернатора Черкасского. Отправленный в Смоленск генерал А.И. Ушаков повез с собой изветчика Федора Миклашевича, которому предстояло уличать Черкасского в преступлениях. В инструкции, данной Ушакову, об изветчике сказано особо: «С доносителем Миклашевичем подтверждается вам поступать со всякою ласкою, дабы он в торопкость не пришел, и держать его всегда при себе, однакож пристойным и тайным, и искусным образом надзирать, чтоб он не ушел, обнадеживая его часто нашим всемилостивейшим награждением» (693, 213).

Инструкция Ушакова отражает своеобразие положения изветчика в политическом деле. Он был необходимейшим элементом сыска (без него дело

могло полностью развалиться, что и бывало не раз), но вместе с тем власти изветчику никогда не доверяли. До самого конца положение изветчика, по существу, оставалось крайне неустойчивым. С одной стороны, его защищал закон, но, с другой стороны, при неблагоприятном для изветчика повороте расследования закон из щита для него превращался в меч. Доказать извет — вот что являлось, согласно законодательству, главной обязанностью изветчика в процессе. Поэтому он еще назывался «д о в о д ч и к о м», так как его обязанностью было «д о в е с т и», доказать свой извет. Согласно «Краткому изображению процессов» 1715 г., челобитчик был обязан «жалобы свои исправно доказать», и «буде ж оное дело тяжкого есть обвинения и челобитчик оное доказать не мог, то надлежит ево против Уложения наказать» (626-4, 351). Политические преступления как раз и относились к тяжким. В итоге «недоведение» извета по таким преступлениям вело к весьма суровому наказанию изветчика.

Наказания за «недоведение» извета в петровское время постоянно ужесточались. В статье 14 10-й главы («О суде») Уложения сказано, что если изветчик будет лгать в своей жалобе на власти и судей «и сыщется про то допряма», т.е. достоверно, то за ложное челобитие его бить кнутом или батогами. В начале XVIII в. ложному изветчику грозила уже смертная казнь, что во многих случаях не было пустой угрозой. Выделим шесть критериев, применяя которые, следователи ставили под сомнение показания изветчика и тем самым достигали истины.

Во-первых, они не доверяли извету, если изветчиком был подследственный по другому преступлению. Во-вторых, следствие обязательно отмечало нарушение изветчиком срока, отпущенного на донос, что также снижало ценность извета и бросало тень подозрения на изветчика в лжедоносе. В-третьих, под сомнение ставился такой извет, автор которого не смог представить прямые и ясные доказательства преступления ответчика (т.е. человека, на которого донесли) и назвать свидетелей, которые бы подтвердили донос. В-четвертых, доверие к изветчику резко падало, если названные им свидетели не подтверждали его донос. В-пятых, веры изветчику не было, если он в ходе следствия менял свои первоначальные показания. Наконец, в-шестых, ценность доноса резко падала, если в ходе расследования становилось известно, что изветчиком является бывший преступник или человек «подозрительный», т.е. прошедший ранее застенки, битый кнутом или публично опозоренный («шельм»), отлученный от церкви. «Подозрительным» был и человек, не имеющий духовного отца, не посещавший регулярно церкви, давно не бывавший на исповеди, не присягавший в верности государю и т.д. И все же главной, коренной причиной недоверия следствия к изветчику оставалось

подозрение, что донос им задуман как преступление и в основе его лежат корыстные, нечестные, а главное — не имеющие отношения к государственной безопасности соображения и расчеты. Такой подход следствия к доносу заметен и в следственных делах, и в законодательстве XVII—XVIII вв. В Артикуле воинском (арт. 129) изначально признается, что «часто всякий честный человек от злоумышленного и мстительного человека невинным образом оклеветан бывает» (626-4, 351).

В 1754 г. «перепытывали» доносчика Алексея Алексеева и ответчика Акинфия Надеина. Оба выдержали по три пытки, но по-прежнему стояли на своих показаниях. Поэтому было решено «за неразнятием между ими того спору» послать обоих в ссылку. Однако из приговора выясняется, что тем не менее наказали их по-разному: доносчика Алексеева сослали в Сибирь на казенные заводы, «в работу вечно», а Надеина — всего лишь в Оренбург, в нерегулярную службу (124, 824). Иначе говоря, в данном случае строже наказали доносчика, который не довел дело (т.е. стал «не доводчиком»), хотя и ответчика, вероятно по обстоятельствам дела, сочли за подозрительного, т.е. признали преступником, достойным оренбургской ссылки.

И тем не менее при всем недоверии следствия к изветчику проигнорировать донос власть никак не могла — ведь срока давности для государственных преступлений не существовало. Поэтому в указанном выше определении Тайной канцелярии о Елагине и Белосельском, на которых, может быть ложно, донес Столетов, сказано: «Однако ж, понеж[е] от оного Столетова показаны на означенных Елагина и Белосельского слова важные, рассуждается, сослать оных, Елагина и Белосельского, в дальние их деревни за караулом, и из тех деревень никуда им выезжать не вельет, и для того определить к ним надлежащий караул» (659, 9–10). Это типичное наказание «по подозрению».

Итак, изветчик должен быть, в первую очередь, «настоящим», точным доводчиком и ясно доказать извет с помощью фактов и свидетелей. От изветчика требовалась особая точность в изложении фактов доноса, т.е. в описании преступной ситуации или при передаче сказанных ответчиком «непристойных слов». Выше, в главе об извете, уже отмечено, что неточное, приблизительное изложение изветчиком «непристойных слов» (а также неточное указание места и обстоятельств, при которых их произносили) рассматривалось не просто как ложный извет, а как преступление — произнесение «непристойных слов» уже самим изветчиком. Поэтому всякая интерпретация изветчиком якобы слышанных им от ответчика «непристойных слов», различные дополнения и уточнения их смысла («прибавочные слова») по ходу следствия категорически запрещались — изветчик должен

был сказанные ответчиком «непристойные слова» излагать точно, «слово в слово», «п о д л и н н о». 15 февраля 1733 г., в дополнение к указу о лжедоносчиках 1730 г., императрица Анна Ивановна издала еще один указ: «Велено о великих, важных делах, ежели кто подлинно уведает, доносить самую истину, не примешивая к тому от себя ничего, а на невинных в том никто б вымышленно и ложно доносить и слов объявлять отнюдь не дерзали, дабы от того те невинные напрасно не претерпевали» (504, 113–114).

В приговоре Тайной канцелярии 1732 г. о доносчике Никифоре Плотникове сказано: верить его извету нельзя, потому что он на ответчика после доноса показал «прибавочные слова». В итоге извет был объявлен ложным, Плотников бит кнутом и сослан в Охотск. Примечательно, что его наказали, несмотря на то что часть сказанных им «непристойных слов» ответчик все-таки признал (42-1, 122). В 1733 г. плетью били копииста Моровецкого, который выступил доносчиком на семерых крестьян. В приговоре по этому делу объясняется причина порки изветчика: о слышании продерзостных слов «надлежало было ему, Моровецкому, доносить самую истину, не прибавляя к тому от себя ничего и за то учинить ему, Моровецкому, наказание» (42-4, 100об.).

При воспроизведении «непристойных слов» не было места мелочам и неточностям. В 1762 г. рассматривалось дело, заведенное в тюрьме по доносу одного колодника (конокрада Егора Пронина) на другого (церковного вора Прокофия Дегтярева), который, как сообщает изветчик, «в став ото сна, сидя на печи (в тюрьме. — Е. А.) говорил слова такая: “Вот-де ныне стала Великому государю присяга, это-де шпион сядет на царство, так-де будет нам головы рубить у нас-де в селе”». Однако Дегтярев опроверг извет Пронина. Он сказал, что тех слов, лежа на печи, говорить утром не мог, так как в это время там грелся «пытаной колодник» Иван Тюрин, а он, Дегтярев, лег на печь только вечером. Эти расхождения привели к тому, что следователи выясняли по преимуществу только одно обстоятельство: колодник Дегтярев лежал на печи утром или вечером. Пронин пытался уточнить, что, мол, Тюрин лежал «после обеда в полдни, а не поутру на рассвете до восхождения солнечного свста», а о том, что с утра на печи лежал Дегтярев, он ошибся, забыл. Но было уже поздно, извет был поставлен под сомнение и в конечном счете изветчик наказан (83, 24–25).

По-видимому, в отличие от Пронина, колодница Степанида Ильина (дело 1726 г.) оказалась памятьлива и сумела филологически точно передать подслушанный ею преступный разговор шести караульных солдат. На пытках они все подтвердили правильность нижеследующего извета Ильиной,

который был «зашифрован» (из-за обилия матерщины) в протоколе Тайной канцелярии таким образом: «Оные салдаты, стоя у нее на карауле, между себя говорили: “Под растакую-де мать, мать-де их в рот, что к Москве поитить, что тут (в Петербурге. — *Е. А.*) не к кому нам голову приклонить, а к ней, государыне (Екатерине I. — *Е. А.*), есть кому со словами подойтить, и она-де их слушает, что не молвят; так уж они, растакие матери, сожмут у нас рты, тьфу!, растакая мать, служба наша не в службу, как-де, вон, растаким матерям, роздала деревни по три трети и больше, растакой-де матери...”» — и так далее в таком же роде. Солдаты были наказаны за «непристойные слова», точно переданные изветчицей (8-1, 310 об.).

Нелегко было изветчику, если он слышал «непристойные слова» без свидетелей, «один на один» и при этом не смог представить верных доказательств в свою пользу, особенно когда ответчик «не винулся», т.е. не признавал правильность доноса. Так, не поверили изветчику М. Петрову, донесшему в 1732 г. на И. Федорова. Петрову грозила дыба, «понеже без розыску показания ево за истину признать невозможно потому, что с в и д е т е л ь с т в а н и к а к о в а на означенные непристойные слова он, Петров, не объявил и что, хотя он о тех словах на одного Федорова в роспросе, и в очной с ним ставке, и с подъему и утверждался, но тому поверить невозможно потому, что и оной Федоров в роспросе, и в очной ставке, и с подъему в том не винулся» (42-2, 114). При отсутствии свидетелей и при отказе ответчика от признания вины для изветчика главной трудностью было доказательство извета. Не лишено поэтому смысла соображение попа Дмитрия Васильева, который объяснял свой неизвет на одного из своих прихожан тем, что боялся, «чтобы он, Степан (ответчик. — *Е. А.*), не заперся», т.е. не стал отрицать своей вины (664, 181).

В гораздо лучшем положении был изветчик, который мог указать на свидетелей, слышавших «непристойные слова». Но и здесь позиция изветчика могла стать уязвимой из-за неблагоприятных для него показаний названных им же свидетелей. Об их положении будет подробно сказано чуть ниже, теперь же отметим, что отказ даже одного из свидетелей подтвердить извет резко ухудшал положение самого изветчика, порой приводил его к катастрофе. Соборное уложение 1649 г., как и другие законодательные акты, требовало полной идентичности показаний изветчика и его свидетелей. Даже тень сомнения лишь одного из свидетелей в точности извета сводила подчас на нет все показания других свидетелей и самого изветчика. Если же изветчик пытался уточнить свой донос, то новые его показания называли «п е р е м е н н ы м и р е ч а м и», их признавали «подозрительными», а это автоматически вело изветчика к пытке.

Так, в частности, в 1732 г. постановил Ушаков о целовальнике Суханове, извет которого не подтвердили свидетели, да и к тому же, как было сказано в постановлении Ушакова, «в очной ставке с оным Шевыревым (свидетелем. — *Е. А.*) показал переменные речи» (42-1, 76). А наказанием за ставший, таким образом, ложным извет, в зависимости от степени «непристойности» возведенных на ответчика слов, могли быть плети, кнут и даже смертная казнь. Следует вновь напомнить читателю, что «недоведенный» извет означал только одно: изветчик в процессе извещения властей о преступлении не просто солгал, а сам *з а т е я л* (или «*в ы м ы с л и л с о б о й*») те самые «воровские затейные слова», которые он приписал в своем извете ответчику. Именно так расценили в 1721 г. в Тайной канцелярии «недоведенный донос» матроса Сильвестра Батова. Его приговорили к наказанию кнутом и к ссылке на каторгу (8-1, 33). И это оказалось еще не самым тяжким наказанием для недоводчика. В 1719 г. архиерейский подьячий Петр Степанов, «которой в письмах своих писал на того (Казанского. — *Е. А.*) архиерея и домовых ево на служителей о злом умысле на Царское величество», был приговорен к смертной казни, так как «по розыску тово (т.е. точного извета. — *Е. А.*) ничего не явилось» (10, 146). За недоведенный извет на Яворского о связях высшего иерарха церкви с Мазепой был приговорен к смерти, но потом сослан на каторгу Григорий Зверев (10, 151). В 1732 г. казнили некоего Немировича, который донес на Жукова, но «о важных непристойных словах не доказал и затеял те важные непристойные собою, вымысля собою» (42-3, 10).

Что же ждало счастливого изветчика, т.е. того, чей донос оказывался «доведенным», подтвержденным свидетелями и признанием ответчика? Когда по ходу следствия становилось ясно, что извет «небездельный», основательный изветчик получал послабления: его освобождали от цепи, на которой он, как участник дела, сидел, сбивали ручные или ножные кандалы или заклепывали в кандалы полегче. Потом его начинали выпускать на волю под «знатную расписку» или на поруки. Он не имел права «до решения о нем дела... без указу Его и в.... никуда... отлучаться», обещался «не съехать» из города. Регулярно или ежедневно («повся дни») он отмечался в Тайной канцелярии. Перед выходом на свободу изветчик давал расписку (и даже иногда присягал на Евангелии — 52, 46; 9-8, 107) о своем гробовом молчании «под страхом отнятия ево живота» о том, что он видел, слышал и говорил в стенах сыска.

Перед освобождением изветчика о нем на всякий случай навели справки, «не коснулось ли чего до него»: не числится ли за ним каких старых преступлений, не был ли он ложным изветчиком, не подозрительный ли он вообще человек? И после этого следовала резолюция, подобная той, что мы встреча-

ем в деле 1767 г. доносчика монаха Филарета Батогова: «Нашелся правым и по делу ничего до него, Батогова, к вине его не коснулось» (483, 317).

При выполнении всех этих весьма непростых условий удачливый извещик выходил из процесса, поэтому с таким счастливецом простимся еще до окончания всего сыскного дела. По закону и решению начальника сыска, он получал свободу и награду «за правой донос». Как сказано выше, награды были самые разные, чаще всего в виде денег. Хотя в среднем количество сребреников составляло пять рублей, четкого определения на сей счет не было. Из документов сыска известны самые разные суммы награды доносчику от 1000 рублей до 2—3 рублей. Иногда деньги сочетались с иными видами поощрения. В одних случаях доносчики получали часть имущества преступника, в другом — повышение по службе, новые чины и звания (212, 99). Посадский Федор Каменщиков оказался единственным доносчиком из всей толпы, слушавшей на пензенском базаре 19 марта 1722 г. «возмутительную» речь монаха Варлаама Левина. За свой донос он получил награду в 300 рублей и право пожизненной беспошлинной торговли своим товаром (587-6, 3984; 664, 183—184). Некоторые получали за донос крепостных и целые деревни. Так, сотни дворов с землями удостоилась в 1736 г. Елена Возницына в награду «за правый донос» на своего мужа Александра, обратившегося в иудаизм (587-10, 7725; о самых разных суммах награды см. 633-79, 497; 34-4, 105; 43-1, 36 об.; 56, 20; 368, 395; 647, 542—543).

Даже провинившийся в чем-то «правильный доводчик» не лишался заслуженной награды, хотя ее могли и урезать. В 1723 г. в награду за доведенный извет солдата Дулова решили «написать из салдат в капралы, ему ж выдать жалованья денег десять рублей». Неожиданно Дулов сбежал со службы, был вскоре пойман, решение о награде пересмотрели: «капралом не быть», и вместо 10 рублей выдать только 3 рубля (9-3, 88 об.). Известны и особые случаи награды за донос. В 1734 г. специально отметили поступок посадского Торопца Василия Вербленинова и капитана Петра Турчанинова, совершенный ими за границей, в Польше, во время войны. Согласно экстракту Тайной канцелярии, купец-патриот Вербленинов, «в бытность свою в Польше... услыша от поляка Алексея Кравцова непристойные бранные слова... и, показуя к Ея и.в. верность свою, приехав на форпост российского войска к капитану Турчанинову, по которому ево объявлению оной Кравцов посланными от того... Турчанинова солдатами взят». Тайная канцелярия постановила: дать купцу «в награждение денег, сколько укажет Ея и.в. повелено будет (та повелела дать 30 рублей. — Е. А.), а капитана Турчанинова, что он... возымел ревность, и того Кравцова сыскал — о перемене рангом: ис капитанов в секунд-майоры» (43-3, 29).

В 1739 г. получил большую награду и изветчик по делу князей Долгоруких березовский таможенный подъячий Осип Тишин, донос которого привел несколько членов семьи Долгоруких на плаху. «За некоторое ево правое в великоважных делах доношение» Тишин был определен на недостижимое для провинциального подъячего и очень «хлебное» место секретаря Сибирского приказа. Сверх того ему выдали 600 рублей. Деньги были даны в рассрочку (по сто рублей в год), «дабы — как отмечалось в указе, — тем более мог он... чувствовать показанное к нему высочайшее Ея и в. милосердие» (310, 90), а скорее всего — чтобы он сразу не пропил, ибо в другом документе «рассрочка» награды объяснялась тем, что «он к пьянству и мотовству склонен» (406, 137). 200 рублей получил и первый доносчик на Пугачева крестьянин С.Ф. Филиппов (522, 174–175). Именно по его доносу самозванец был схвачен как опасный болтун еще в 1772 г., но сумел позже бежать из казанской тюрьмы. Этой наградой, выданной изветчику уже после подавления мятежа, власть хотела подчеркнуть важность и нужность подобных доносов, которые, вовремя услышанные, могли предотвратить общественную катастрофу.

Самую большую денежную награду в истории сыска получила неверная подруга царевича Алексея Ефросинья Федорова, судьба которой после гибели царевича была долгое время загадкой для историков. В журнале Тайной канцелярии сохранилась запись именного указа Петра I: «Девке Офросинье на приданое выдать своего государева жалованья в приказ три тысячи рублей из взятых денег блаженные памяти царевича Алексея Петровича, записав в расход с роспискою» (9-1, 77; 34-1, 36). Отпускная, вольная была самой желанной для крепостных наградой и порождала бесчисленное количество изветов на помещиков. В 1700 г. холоп Ивашко Белосельский, который «довел» на своего барина стольника Якова Полтева, вероятно, с удовольствием услышал приговор: «С женою и с детьми из кабального холопства свободить и дать ему из Преображенского приказа отпускную». Кроме того, Ивашка получил свое хоромное строение на дворе Полтева (322, 106).

Если изветчик был иногородним, то получал еще деньги на прогоны и паспорт — дорожную. Обычно крепостных-доносчиков отпускали на волю не только в качестве поощрения, но и для того, чтобы с ними не расправился ответчик-помещик, его родственники и слуги. В 1755 г. о крепостных, «доведших» на помещицу-преступницу Зотову, в докладе сыска императрице Елизавете сказано: «Дабы им от наследников оной вдовы Зотовой не было впредь какого мщения... велено отпустить с женами, с детьми на волю, дав пашпорты, где жить пожелают» (270, 145–146). В тех случаях, когда изветчик боялся мести родственников погубленного им человека, ему выдавали особую охранную грамоту (325-1, 49; 277, 24; 587-6, 3984).

После изветчика в «роспрос» попадал *ответчик*, т.е. человек, на которого донес изветчик. Впрочем, ответчиком считался и тот подданный, кого обвиняли в государственном преступлении даже при отсутствии формального извета. Ответчик был главной фигурой политического процесса, и ему уделялось особое внимание. Приведенного на допрос ответчика, как и ранее изветчика, сурово предупреждали об особой ответственности за ложные показания и тут же брали с него расписку-клятву. В 1742 г. Б.Х. Миниха перед ответом на «вопросные пункты» заставили расписаться в том, что «ему, Миниху, от Комиссии объявлено, что о всем том, о чем он будет спрашиван, чисто, ясно и по самой сущей правде отвечать имеет, буде же хотя малое что утаит и по истине не объявит, а в том обличен будет, то без всякого милосердия подвергает себя смертной казни, в чем он и подписался» (361, 235–236). Допрос 1742 г. камер-медхен Софии начинался словами: «О всем том, что спрашивается будет, имеешь показать самую истину, без малейшей утайки, под опасением истязания, ибо... обо всем том не знать тебе нельзя» (410, 61).

Ответчика, так же как и изветчика, допрашивали по принятому в сыском делопроизводстве формуляру, пытаясь уже с помощью первых вопросов выяснить, что представляет собой этот человек. Его спрашивали о происхождении, о вере, о возможной причастности к расколу, о прежней жизни. В 1733 г. в Тайной канцелярии допрашивали иеромонаха Иосифа Решилова, обвиненного в составлении подметного письма. Допрос Решилова начался с обещания «за ложь жестокого телесного наказания, то есть в надлежащем месте пытки, а потом и смертной казни». После этого ответчика спросили: «Рождение твое где и отец твой не стрелец ли был, и буде стрелец, котораго полку и жив ли, и где начальство имеет и в каком чина ныне звании, или из родственников и свойственников твоих кто в стрельцах не был ли, и буде были, кто именно и как близко в родстве или свойстве тебе считались?» (775, 471–472). Так, уже в начале «роспроса» следователи пытались найти социальные и родственные связи Решилова со старой оппозицией Петру и выявить его «вредное нутро». Если же в ходе допроса следователи оказывались недовольны показаниями ответчика, то именем верховного правителя они предупреждали его о печальных последствиях неискренних показаний, точнее — о неизбежной при таком повороте событий пытке: «Буде же и ныне по объявлении тебе, Прасковье, Ея и в. высокого милосердия о вышепоказанном истины не покажешь, то впредь от Ея и в. милосердия к тебе, Прасковья, показано не будет, а поступлено будет с тобою, как по таким важным делам с другими поступается». Так была передана княжне Юсуповой в 1735 г. воля императрицы Анны (322, 366–367).

Сыскной процесс после ареста и первоначального допроса ответчика шел в основном по одному из двух путей. При первом варианте ответчик сразу признавался и подтверждал произведенный на него извет. Так часто бывало, когда люди кричали «Слово и дело» «с пьяну», «с дуру», «с недомыслия». Потом, протрезвевший («истрезвясь») или одумавшийся ответчик сразу же начинал каяться в содеянном. Но чаще процесс шел по второму, более сложному пути, когда показания изветчика и ответчика, а нередко и свидетелей не совпадали.

В сыском процессе ответчик оказывался в неравном с изветчиком положении. Форма сыского процесса не позволяла ответчику ознакомиться с содержанием извета и выстроить линию своей защиты. Законы и установления о сыске не предполагали этого неперемennого элемента всякого состязательного процесса. О сути обвинений ответчик узнавал непосредственно на допросе. В этом состояло существенное расхождение процесса сыска с нормами процессуального права, принятыми в состязательном суде. Согласно указу «О форме суда» 1723 г., судье, взявшемуся за дело, надлежало «прежде суда... дать список ответчику с пунктов, поданных челобитчиком для ведения ко оправданию». Отточия мною поставлены умышленно: в оригинале на их месте сделано (в скобках) исключение, предназначенное как раз для ведения сыского, политического процесса: «... (кроме сих дел: измены, злодейства или слов, противных на императорское величество и его величества фамилию и бунт)» (5872-7, 4344). Иначе говоря, все государственные преступления подпадали под это исключение, и поэтому ответчик никогда не получал «для ведения ко оправданию» копию извета. В проекте Уложения 1754 г. прямо сказано, что ответчикам «с поданных на них доносных пунктов списков или копий не давать, но спрашивать их как злодеев» (596, 2).

Человек, ставший ответчиком в политическом сыске, прекрасно понимал, что последует за его безусловным признанием правоты сделанного на него извета — ведь, согласно закону, признание ответчика в совершении преступления позволяло судье уже вынести приговор. Более того, даже если допрос начался с признания ответчиком извета, ему не становилось лучше — в подтверждение признания ответчика все равно пытали (см. ниже). Поэтому ответчик часто «запирался» («в говорении означенного не винился») или признавал обвинения лишь отчасти, с оговорками. Оговорки же эти, по принятым тогда правилам сыска, были крайне нежелательны — ведь варианты сказанных «непристойных слов» рассматривались уже как другие «непристойные слова», т.е. как преступление. Часто бывало, что ответчик признавался в говорении «непристойных слов», но при этом уточнял, что, произнося эти слова, он имел в виду что-то другое, во всяком случае не то, о

чем донес на него изветчик, неверно интерпретируя его слова как оскорбление чести государя. В другом случае ответчик, соглашаясь в целом со смыслом переданных изветчиком «непристойных слов», настаивал на том, что сказанное не было в столь грубой и оскорбительной форме, как это подает в своем доносе изветчик.

Все эти уточнения следователи называли «выкрутками». В 1718 г. киевлянин Антон Наковалкин сказал своему спутнику подьячему Алексею Березину: «По которых мест государь жив, а ежели умрет, то-де быть другим». Березин донес на Наковалкина в Тайную канцелярию. И на допросе Наковалкин объяснил свою фразу так: «Ныне при Царском величестве все под страхом и мо[гут] быть твердо, покамест Его ц.в. здравствует, а ежели каков грех учинится и Его ц.в. не станет, то может быть что все не под таким будут страхом, как ныне при Его величестве для того, что может быть, что он, государь царевич Петр Петрович будет не таким что отец его, Его величество». Так Наковалкин формально признал извет, но трактовал сказанное им как нечто весьма похвальное Петру I. Но «выкрутка» мало помогла Наковалкину: его пороли вообще уже за саму тему разговора — как известно, рассуждать о сроке жизни государя было запрещено. В декабре 1722 г. было начато знаменитое дело «о полтергейсте» в Троицкой церкви в С.-Петербурге. Когда дьякон Федосеев узнал о страшном ночном шуме и грохоте на запертой колокольне, он не только согласился с протопопом Герасимом Титовым, сказавшим, что на колокольне возится «кикимора», черт, но добавил фразу, которая живет с Петербургом уже третье столетие: «Питербурху пустеть (пусту. — Е. А.) будет». На следствии в Тайной канцелярии дьякон стал «выкручиваться», и смысл его «выкрутки» свелся к следующему: «А толковал с простоты своей в такой силе: понеже-де Императорского величества при С.-Питербурхе не обретається и прочие выезжают, так Питербурх и пустеет». Федосееву, конечно, не поверили и спросили о возможных сообщениях, намеревавшихся опустошить столицу: «Не имел ли ты с кем вымыслу о пустоте Питербурха?» (664, 89).

Арестованный в 1722 г. монах Иоаким (в миру Яков) обвинялся в произнесении следующих слов об императрице Екатерине Алексеевне: «Она нам какая царица, она прелюбодейка, нам царица старая (Евдокия. — Е. А.), а эта-де прелюбодейка». На допросе и во время пыток Иоаким пытался привлечь на помощь Евангелие и сказал: «Те слова суще он, Яков, говорил для того, что в Евангелии от Матфея написано: «Аще пустит муж жену и поимеет иную прелюбы творит» и он-де с того Евангелия означенные слова про нее, Великую государыню императрицу и говорил» (322, 85; 31, 86б.). «Выкрутка» Якову не помогла — ссылка на Евангелие в Тайной канцелярии аргументом

не считалась. В 1723 г. пытался «выкрутиться» швед Питер Вилькин, сказавший при многих свидетелях, что царю Петру I никак больше трех лет не прожить. В «роспросе» он утверждал, что «три года жить Его и.в. таких слов я, Питер, не говаривал», а якобы говорил, что царь проживет еще лет десять. На последнем показании, несмотря на обличение доносчика и свидетелей, Вилькин настаивал даже под угрозой пытки. Кажется, он рассчитывал, что, «накинув» 51-летнему царю еще семь лет жизни, он спасет себя, — прожить 61 год по тем временам мог желать себе каждый. По-видимому, «версия» Вилькина о десяти отпущенных царю годах жизни вполне устроила Петра I. Царь приказал болтуна «сечь батоги нещадно» и выпустить на свободу (664, 89, 93—94; 78, 275, 215).

Все эти «выкрутки» усложняли и затягивали расследование: формальная сторона дела (в данном случае установление буквальной точности сказанного «непристойного слова») требовала дополнительных допросов и справок. Проблемы ответчика в конечном счете сводились к тому, что в те времена не существовало презумпции невиновности. Ответчику предстояло самому доказывать свою невиновность, даже в том случае, когда изветчик оказывался бессилем в «доведении» извета. В «Кратком изображении процессов» об этом сказано ясно: «Должен ответчик невиновность свою основательным доказанием... оправдать и учиненное на него доношение правдою опровергнуть» (626-4, 414). Конечно, у ответчика была возможность представить свидетелей своей невиновности, но анализ политических дел за длительный период убеждает, что в политическом процессе свидетелями выступали преимущественно люди, представленные изветчиком, шире — обвинением, и только в том случае, когда они отказывались признать извет, их можно условно причислить к свидетелям ответчика.

Следователи стремились по возможности быстрее достичь результата, а именно признаний ответчика своего преступления и вины. Это признание в юриспруденции того времени имело, как писал юрист XIX в. М. Михайлов, «такую силу несомненности, что оканчивало разбор судебного дела» (473, 127), но только — добавим от себя — не в политическом процессе, ибо после этого от ответчика требовали подробно рассказать о целях, мотивах, средствах, способах преступления и, конечно, о сообщниках, а также (в отдельных делах) о возможных связях с заграницей. И хотя в законодательных записках Екатерины II «постижение подлинной истины», т.е. выявление всех обстоятельств совершенного преступления, выдвигалось на первый план при расследовании преступлений, тем не менее эта цель оставалась только благим пожеланием просвещенной государыни даже в ее гуманное время. По-прежнему, как и раньше, главным для следствия оставалось достижение безус-

ловного признания преступника. Этой истинной и неизменной цели следствия соответствовала вся обстановка «роспроса», который велся при сильном психологическом давлении на человека. При этом ответчика долго «выдерживали» (нередко в цепях) в душной, грязной колодничьей палате, в компании со страшными безносыми и безухими ворами, нередко в полной неизвестности относительно причины ареста. В записках Григория Винского дается яркое описание, как я думаю, типичной работы сыска с новым «клиентом». Для начала арестованного Винского без предъявления каких бы то ни было обвинений неделю продержали в темной, сырой камере. Эту одиночку использовали для «подготовки» подследственного, который от ужаса и тоски три дня ничего не ел и не пил, а все время напряженно думал о возможных причинах ареста и заточения. Приведенный в присутствие Винский, грязный, небритый, с беспорядком в одежде, увидел сидящих за столом чиновников во главе с обер-прокурором Терским, известным в народе по прозвищу «Багор» (286-1, 314).

Терский встретил узника грозной речью: именем императрицы он предупредил Винского, что целью расследования является намерение власти «возбудить в каждом преступнике раскаяние и заставить его учинить самопроизвольное, искреннее признание, обнадеживая чистосердечно раскаивающемуся не только прощение, но и награждение, [тогда] как строптивым и непокорным Ея (императрицы. — Е. А.) воле, за утаение [же] малейшей вины — жестокое и примерное наказание, как за величайшее злодеяние» (187, 82–83). Это был типичный, характерный для сыска прием: действуя от имени верховной власти, следователи стремились запугать допрашиваемого. Само обращение на «ты» заведомо унижало честь дворянина. В серии вопросов, которые задавал Шешковский в 1792 г. Н.И. Новикову в Тайной канцелярии, вежливость в обращении (на «вы») выдержана только до тех вопросов, которые касаются «оскорбления чести Ея и.в.». Эти вопросы уже задаются с подчеркнутой грубостью, на «ты»: «Взятая в письмах т в о и х бумага, которая т е б е показывана, чьею рукою писана и какой конец она сохранилась у т е б я ?» (497, 454). Приемы следствия, примененные к Винскому, довольно банальные, ставили цель напугать ответчика, к которому тотчас применялся также другой, весьма распространенный прием: следователи говорили, что им и так, без допроса, все хорошо известно, что от ответчика требуется только признание вины. «Прибавлю еще, — сказал Терский, — что укрывательство с твоей стороны будет совершенно тщетным, ибо все твои деяния, до малейших, комиссии известны». После этого начался допрос (187, 82–83).

Так же допрашивали в 1774 г. Кильтфингера и других приближенных «принцессы Владимирской» — «княжны Таракановой». Им было сказано,

что «обстоятельства их жизни уже известны следствию, следовательно, всякая ложь с их стороны будет бесполезна, и [что] все средства будут употреблены для узнания самых сокровеннейших тайн и поэтому лучше всего рассказать с полным откровением все, что им известно, это одно может доставить снисхождение и даже помилование» (441, 580; см. также 433, 51–53).

Вообще смысл допроса на начальной стадии во многом строился в расчете сбить допрашиваемого с толку, разрушить обдуманную им систему защиты, привести в замешательство, запутать. Винский вины своей не признал, и убедившийся в тщетности своих угроз Терский приказал писцу не записывать оправдательные ответы Винского. После этого обер-прокурор изменил тактику. Между ним и Винским произошел такой диалог: «Посему ты святой? Ась? — Святой, не святой, да не очень и грешен. — Ты еще и пошучиваешь... Я тебе говорил, что комиссии все твои дела известны. — Говорили, но я знаю, что нечему быть известным. — А как я разверну сию бумагу, тогда уж поздно будет. — А разверните. — О! Ты, брат, видно, хват — тебе смерть копейка. — Смерти я не боюсь, а сказать напраслину не хочу. — Посмотрим (Понизив голос). Теперь пойд!» (187, 82–84).

Допускаю, что Винский не вел себя на допросе так спокойно и даже с вызовом, как он это описывает в мемуарах, но в приведенном отрывке хорошо видны приемы, к которым прибегали следователи при допросах. Учтем при этом, что в 1779 г. Россией правила гуманная Екатерина II, Винского обвиняли в хотя и важном преступлении — банковской афере, но все-таки это не оскорбление чести государыни или измена. Винский был дворянин, его, без особого на то именного указа, не могла тронуть палаческая рука, да и пытки тогда формально не существовали. Наконец, сам хамоватый Терский не был так страшен, как Шешковский, одно имя которого вызывало ужас у современников. Что же было с теми людьми, которые в другую эпоху — при Петре I — попадали в палату, где за столом сидел страшный князь Ромодановский или сам Петр I? Легенда гласит, что когда в 1724 г. к царю ввели Виллима Монса — разоблаченного любовника императрицы Екатерины, то этот мужественный человек, встретившись глазами с царем, упал в обморок от страха (665, 192).

В рассказе Винского примечателен тот момент, когда Терский запрещает канцеляристу записывать явно невыгодные для следствия ответы Винского. Действительно, знакомство со следственными материалами показывает, что записи допросов в большинстве своем отличаются необыкновенной гладкостью и не содержат ничего, что противоречило бы замыслу следствия. Они никогда не фиксируют сколь-нибудь убедительных аргументов подследственных в их пользу, зато часто ограничиваются дежурной фразой отказа от при-

знания вины: «Во всем том запирался». Из рассказа А.П. Бестужева уже после его возвращения из ссылки видно, как достигались «гладкость» и подозрительная простота записей допросов государственного преступника. После помилования Бестужев писал, что следователь по его делу 1758 г. Волков «многие ответы мои, служившие к моему оправданию, записать отрекался и их не принимал, а которые ответы бывало заблагорассудит записать и по многим спорам перечеркивать, но те черновые ответы не давал мне читать, прочитывал только сам и давал мне подписывать, но не под всяким пунктом, но только внизу» (657, 313–314).

В промежутке между допросами ответчика следователи работали над документами, сопоставляли показания, внимательно читали взятые из дома преступника письма, рассматривали пометы на полях, изучали в поисках криминала конспекты и иные записи. Все это делалось, чтобы в одних случаях действительно выявить истину, уточнить конкретные обстоятельства дела, а в других — найти какую-то зацепку в показаниях ответчика, использовать для этого малейшую обмолвку подследственного. В 1732 г. у арестованного Казанского митрополита Сильвестра изъяли все его бумаги. Особое внимание следователей привлекли пометы в тетради, где была записана история о белом клобуке во времена Древнего Рима — этой святыне православия. Из помет следовало, что Сильвестр недоволен запрещением Петра I носить клобук церковным иерархам. Однако Сильвестр отвечал, что помета эта «не к поношению чести государыни (имелась в виду Анна Ивановна. — Е. А.), ниже злобствуя, но токмо укоряя римлян». Если эту трактовку пометы следователи признали, то уж против «укорительных» пометок на тексте указа Петра I о монастырях Сильвестру сказать в свое оправдание было нечего, и в «роспросе» он покаялся: «Сделал то от неразумения своего, а не по злобе и не к поношению Ея и.в.», но этому оправданию уже не поверили (775, 344).

В наиболее важных делах следствие допрашивало ответчика (а иногда и свидетелей) по определенной схеме, по заранее составленным «вопросным пунктам». Возникали такие «вопросные пункты» на основе данных извета, изъятых у преступника документов, затем их пополняли вопросами, навешанными показаниями ответчика и других участников процесса. Все крупные политические дела не обходились без этих, подчас пространных списков вопросов. При ведении крупных политических дел «вопросные пункты» (или «пункты к допросу», «апробованные пункты», «генеральные пункты») составляли сами монархи или наиболее влиятельные при дворе люди. И по форме, и по существу вопросы имели заметный обличительный уклон, их авторы сразу же требовали от ответчика раскаяния, чистосердечного признания, а также подробностей о преступлении, о его целях, данных о сообщниках

В делах же ординарных, «неважных» вопросные пункты составляли в Тайной канцелярии, и они во многом были трафаретны. С годами сложилась определенная канцелярская техника писания «вопросных пунктов». Каждый пункт, как записано в одной из рекомендаций следователям, «больше одного обстоятельства [дела] в себе не содержал», с тем чтобы допрашиваемый не путался и не вносил неясности в расследование или, как тогда писали, «дело с делом смешал» (596, 14–15). Надлежало следить, чтобы во время «роспроса» нельзя было сообщить допрашиваемому таких сведений, которые бы помогли ему усилить защиту, подготовиться к ответу на другие вопросы. «Роспрос» шел последовательно «от пункта к пункту», при необходимости прерывался, чтобы обновить, дополнить списки вопросов.

Так было в деле архиепископа Феодосия, попавшего в опалу в 1725 г. Он обвинялся в оскорблении чести Екатерины I, так как безобразно повел себя во дворце, потом отказался по приглашению государыни приехать на государев обед. Однако следствие не стало углубляться в подробности дела. Ушаков и Толстой, получившие прямое указание императрицы расправиться со строптивым иерархом, принялись собирать у его коллег по Синоду сведения о подозрительных суждениях Феодосия. Члены Синода взяли перья и вспомнили многое из того, что говорил «неприличного» Феодосий. Позже в именном указе — приговоре по делу Феодосия было сказано, будто бы все эти убийственные для архиепископа показания — плод собственной инициативы иерархов церкви, от которых «по присяжной их верности... донесено, что он же, Феодосий, в разные времена, иным наедине, иным же и при собрании, с враждою явно произносил слова бесчестныя и укорительныя» о Екатерине и Петре. Затем, уже по этим доносам, были составлены «вопросные пункты» и архиепископа допросили по ним. Феодосий отвечал письменно — он писал ответы против каждого вопроса (572, 176–177, 201).

При допросе следователи стремились добиться точных, недвусмысленных ответов от обвиненного извetchиком человека. Для этого в ответе нередко воспроизводился сам вопрос (составленный зачастую на основе буквального повторения извета), интерпретированный либо как согласие, либо как отрицание ответчика. Так, ответы царевны Марфы, которую в 1698 г. лично допрашивал Петр I о связях с мятежными стрельцами, записаны были как бы в «зеркальном отражении» к извету, полученному следствием от постельницы Анны Клушиной. Если снять в тексте отрицательную частицу «не» и определение «никакой», а также исключить заключительную фразу из показаний Марфы, то остается собственно текст извета Клушиной на царевну. В роспросе Марфа «сказала: “У той же постельницы Анны она, царевна, стрелецкой челобитной н и к а к о й н е принимывала и в карман к

себе не кладывала, а Чубарова полку стрельчих сыскать ей, Anne, не приказывала, и письма с нею от себя никакого не посылывала, и стрельчихе отдавать не веливала... и таких слов ей, Anne, [то]-де письмо отдала она, царевна, ей поверя, будет-де про то письмо пронесется и тебя-де распитают, а мне, опричь монастыря, ничего не будет, не говорила. Тем ее та Анна поклепала"» (163, 81; см. 325-2, 64—65). Как мы видим, письменные ответы на «вопросные пункты» не отличались большим разнообразием и мало что давали для уточнения позиции ответчика, который на допросе, в сущности, говорил «да» или «нет».

Массовые следственные действия во время восстаний приводили к составлению единых, типовых вопросов, на которые отвечали десятки и сотни политических преступников. Так допрашивали стрельцов во время Стрелецкого розыска 1698 г. Вопросы к следствию по их делу были написаны самим Петром I, который их позже уточнял (197, 83). Опыт работы Секретной комиссии с тысячами пугачевцев, взятых в плен в середине июля 1774 г., побудил начальника комиссии генерала П.С. Потемкина пересмотреть утвержденную ранее систему допросов и выработать обобщенную инструкцию-вопросник, которую он сам составил и послал следователям. Каждому из взятых в плен пугачевцев задавали семь вопросов, целью которых было установить степень причастности человека к бунту, а также выявить истинные причины возвышения Пугачева (418-3, 397—398; 522, 21).

Письменные (собственноручные) ответы ответчик писал либо в своей камере — для этого ему выдавали обычно категорически запрещенные в заключении бумагу, перо и чернила, либо (чаще), сидя перед следователями, которые, несомненно, участвовали в составлении ответов, «выправляли» их. Часто ответы писали со слов ответчика и канцеляристы. Они располагали вопросы в левой части страницы, а ответы, как бы длинные они ни были, напротив вопросов — в правой части. Вначале составлялся черновой вариант ответов, который потом перебеляли. Именно беловой вариант ответчик закреплял своей подписью. Юлиана Менгден в 1742 г. подписалась: «В сем допросе сказала я самую сущую правду, ничего не утая, а ежели кем изобличена буду в противном случае, то подлежу Ея и.в. высочайшему и правосудному гневу» (410, 60, см. 719, 154).

В 1767 г. Арсений Мациевич не ограничился подписью, а сделал дополнение, подчеркивая то, что следователи умышленно не учли нечто при записи его показаний: «И в сем своем допросе он, Арсений, показал самую истинную правду, ничего не утаил, а естли мало что утаил или кем в чем изобличен будет, то подвергает себя смертной казни, а притом объявляет, что архимандрит Антоний и вся братия Никольского Корельского монастыря

пьяницы и донос на него, Арсения, для того делают, чтоб его выжить из монастыря, а им свободнее пить» (483, 332).

В документах «роспроса» встречаются такие выражения: «порядочно допрашивать», «увещевать», «устрашать». Это не эвфемизмы пытки, а лишь синоним морального давления следователей на допрашиваемого, которого они старались уговорить покаяться, припугнуть пыткой («распросить и пыткой пострашать»), пригрозить в случае его молчания или «упрямства» страшным приговором. Под понятием «увещевать» можно понимать и ласковые уговоры, обращения к совести, чести преступника, и пространные беседы с позиции следования логике, здравому смыслу, и попытки переубедить с точки зрения веры. Были попытки вступить с подследственным в дискуссию (что особенно часто делали в процессах раскольников) и тем самым добиться цели. Наиболее частыми увещевателями выступали священники. Они «увещевали с прещением (угрозой. — Е. А.) Страшного суда Божия немалою клятвою», чтобы подследственный говорил правду и не стал виновником пытки невинных людей, как это и бывало в некоторых делах. Для верующего, совестливого человека, знающего за собой преступление, это увещевание становилось тяжким испытанием, но многие, страшась мучений, были готовы пренебречь увещеванием и отправить другого на пытку. В истории 1755 г. с помещицей Марией Зотовой так и произошло. После увещевания она по-прежнему отрицала свою вину (это было дело о подлоге), при ней пытали ее дворовых. В итоге Зотова, не дойдя до своей пытки, признала вину, и «тяжкие истязания пытками, к которым помянутая вдова Зотова чрез тот свой подлог привлекла неповинных» привели ее к более суровому наказанию, чем предполагалось поначалу (270, 144–145).

В июле 1790 г. при разборе дела Радищева в Палате уголовного суда Петербургской губернии после ответов подсудимого на вопросы судьи постановили подвергнуть Радищева (в своем присутствии) «увещанию священническому». Это была, в сущности, процедура открытой, публичной исповеди, на которой священник увещевал подсудимого сказать правду. Таким образом судьи пытались выяснить, действительно ли при написании своей книги Радищев не имел иного намерения, как «быть известному между сочинителями остроумным» (так он первоначально показал о причинах издания «Путешествия») и что у него не было сообщников». После ритуала исповеди Радищева принудили написать расписку в подтверждение сказанных «по увещанию священническому» слов с припиской канцеляриста об имени увещевавшего священника (130, 216).

При увещевании священнику категорически запрещалось узнавать, в чем же суть самого дела, из-за которого упорствует в непризнании своей вины

его духовный сын. Во время расследования дела Иоганны Петровой и Елизаветы Вестенгарт было указано «допустить их веры пасторов, которые их також и девицу Лизбет увещавали накрепко, чтоб объявили истину, не скрывая ничего, только чтоб пасторам слов тех не говорили. Пастору Наациусу было предписано уговорить женщин сказать правду, но особо указано, «чтобы при увещании он о тех делах, о чем Вестенгард (изветчица. — Е. А.) доносит, их не выспрашивал» (56, 13 об.; 322, 553).

Когда арестованный в 1740 г. по делу Бирона А.П. Бестужев-Рюмин и его жена попросили прислать к ним священников (православного — мужу и пастора — жене), то охране предписали святым отцам «накрепко подтверждать, что ежели при том он, Бестужев или же она, жена его, о каких до государства каким-либо образом касающихся делах, что говорили, то б они то по должности тотчас объявили, как то по указам всегда надлежит» (462, 179). А указ такой был широко известен — 17 мая 1722 г., когда Синод обязал священников под угрозой жестоких наказаний раскрывать тайну исповеди. Это они в течение двух с половиной веков и делали. И правители, и сама церковь относились к этому коштунству абсолютно спокойно, как к рутине. Екатерина II была огорчена, когда узнала, что умершая 4 декабря 1774 г. самозванка («Тараканова») в исповеди священнику «ни в чем не созналась, хотя впрочем искренно раскаивалась в том, что с самой молодости жила в нечистоте тела» (640, 443). Так она унесла с собой в могилу тайну своего самозванства, не открыв ее даже на пороге смерти. Возможно, если бы она сразу после исповеди не умерла, то ее бы допрашивали и дальше, уже используя в допросах те факты, о которых она говорила священнику.

В том же качестве внештатного следователя священники использовались и позже. Как вспоминает декабрист Михаил Бестужев, сидевший в Петропавловской крепости, он под воздействием обстановки и мыслей о страданиях оказался «в экзальтированном настроении христиан-мучеников в эпоху гонений». «Я, — пишет Бестужев, — совершенно отрешился от всего земного и только страшился, чтобы не упасть духом, не оказать малодушия при страдании земной моей плоти, если смерть будет сопровождаться истязаниями. В одну из таких минут открываются двери моей тюрьмы. Лучи ясного зимнего солнца ярко упали на седовласого старика в священническом облачении, на лице которого я увидел кротость и смирение. Спокойно, даже радостно, я пошел к нему навстречу — принять благословение и, приняв его, мне казалось, что я уже переступил порог вечности, что я уже не во власти этого мира и мысленно уже уносился в небо! Он сел на стул подле стола, указывая место на кровати. Я не понял его жеста и стоял перед ним на коленях, готовый принести чистосердечное покаяние на исповеди, перед смертью.

— Ну, любезный сын мой, — проговорил он дрожащим от волнения голосом, вынимая из-под рясы бумагу и карандаш, — при допросах ты не хотел ничего говорить; я открываю тебе путь к сердцу милосердного царя. Этот путь есть чистосердечное признание...

С высоты неба я снова упал в грязь житейских дряг...» (152, 107–108).

Увещевания старообрядцев в политическом сыске были особенно частым явлением. Власти хотели морально сломить старообрядцев, убедить их в бесполезности сопротивления великой силе государства и официальной церкви. Церковь и сыск считали своей победой не просто сожжение раскольника, но его раскаяние, а самое главное — обращение к официальной вере. Однако подчас против воли следователей такие увещевания превращались в жаркую дискуссию о вере (см., напр., 710, 131–132).

Под термином «увещевание» (или «увещание») нужно понимать не только душеспасительные беседы священника со своим духовным сыном, но также и уговоры и грубую брань, а также разнообразные угрозы следователей. Упрямому преступнику они обещали отправить его в пыточную палату, привести туда родных, грозили ему кнутом и смертным приговором и т.д. Увещения делались как в начале «роспроса», так и в ходе его, и особенно часто в конце, когда все непоточные способы добиться признания или нужных показаний оказывались уже исчерпанными. Это хорошо прослеживается по делу А.П. Волинского (3, 41, 87об).

Комиссия, которая допрашивала в 1743 г. Ивана Лопухина, после серии допросов и очных ставок объявила ему, что терпение государыни иссякло, а между тем он, несмотря на уговоры и показания доносчиков и свидетелей «о подлинном своем к произведению в действо злого намерения, когда и с кем оное совершенно исполнить хотел, не объявляет, а потому именем императрицы объявила ему последнюю верховную волю, что если сущей правды он не покажет в том, то поступать с ним будут как с сущим злодеем — жестоким розыском». В других делах об увещениях обычно кратко писали, что следователи призвали подсудимого «принести чистую повинную, не приводя себя к тяжкому истязанию и розыску» (660, 17, 25). Если этого, по мнению следователей, все-таки не происходило, следствие переносилось в застенки. Так простой «роспрос» заканчивался, и начинался «розыск», или «роспрос с пристрастием», или, попросту говоря, пытка.

Кроме того, на допросах применялись и разные специфические приемы и «подходы», чтобы вырвать у человека нужные следствию показания. П.В. Долгоруков приводит семейное предание о том, что на допросе Александра Долгорукого в Тобольске в 1739 г. следователи напоили его пьяным

и «заставили рассказывать вещи, губившие семью», после чего молодой человек пытался покончить с собой (274, 81–82).

Типична запись об увещевании во время «роспроса» князя И.А. Долгорукого, бывшего фаворита Петра II: «Сентября во 2-й день 1738 года... князь Иван Долгорукий о чем надлежало спрашиван под страхом жестокого истязания и смертной казни, с немалым увещеванием... И сентября в 4-й день князь Иван Долгорукий для прикладывания к первому роспросу руки, по увещеванию, винился и вышеписанной распрос ему, Долгорукому, читан, а по прочтении белого распросу, не прикладывая руки, по увещеванию, винился и говорил: “Ныне-де он, Долгорукой, признавая по чистой совести пред Ея и.в. вину свою, объявляет истинною правдою о том, как-де он...”» — и далее идут дополнительные признания, которых следователи не добились при первом допросе Долгорукого (719, 160). Из протокола допроса в 1761 г. прусского шпиона ксендза Якова Гантковского видно, что его увещевание сопровождалось угрозами пытки: «Был спрашиван сперва з довольным о показании самой и неоспоримой истины увещанием, а напослед и устрашением жестокайшим, яко обличенному злодею, и с тезанием» (83, 129). Но, точности ради, отмечу, что увещевали не только во время «роспроса», но и во время пытки: «Привожен в застенки и паки спрашиван с увещанием... и того же времени подъян на вису и паки спрашиван с увещанием» (181, 252).

Дошедшие до нашего времени протоколы и журналы «роспросов», написанные рукой подьячих, как уже говорилось выше, по вполне устоявшимся бюрократическим канонам, подчас с утайкой истинных, но невыгодных следствию ответов подследственных, редко передают все своеобразие «бесед», которые вели в застенке следователи и ответчики. Лишь временами мы соприкасаемся с живой речью на допросах. Так, эту речь можно «услышать» через века по записи допроса 1777 г. самозванца Ивана Андреева генерал-прокурором Вяземским. Андреев — «сын Голштинского герцога» — утверждал, что о своем знатном происхождении ему якобы в детстве сказал олонецкий крестьянин Зиновьев, сыном которого Андреев в действительности и являлся.

Воспроизвожу близкую к прямой речи запись протокола «роспроса» Андреева с некоторыми сокращениями:

[Вяземский]: «Для чего он себя ложным именем называть осмелился?»

[Андреев]: «Крестьянину Зиновьеву не резон врать».

[Вяземский]: «Ну, да как крестьянин увидел, что ты — ленивец, то он на смех тебе сказал, что ты принц, а ты так и поверил!».

[Андреев]: «Как же ему не верить, ведь он клялся».

[Вяземский]: «Ну, совершеннейший ты безумец или, лучше сказать, плут, что ты словам такого же, подобного тебе, шалуна и невежды, веришь, а здесь тебя уверяет генерал-прокурор и другие, что это самые враки и выдуманная ложь с ясными на все твои слова доводами, и также уверяют тебя по закону Божественному, но ты верить не хочешь».

«На что оный Андреев более не говорил, как сие: “Воля ваша, что хотите, то делайте, но как крестьянину меня обманывать?”...».

[Вяземский]: «Ты и на попа солгал, будто бы ему объявлял, что ты принц Голштинский, ибо если б ты только в тогдашнее время этакую речь выболтал, то б поп тебя, связав, отвел в Тайную, а там бы тебя до смерти засекли».

«Спросили паки: “Скажи ты от слова до слова, как тебя крестьянин уверял, что ты принц Голштинский, а самую вещь дурак олонекский?”»

[Андреев]: «А когда-де вы мне не верите, то отпустите в мое отечество в Голштинию».

«На что ему сказано: “В Голштинии-та лишь бы только этакой дурак с таким враньем показался, то б тебя камнями прибили как шалуна”».

В итоге «шатун» был отправлен не в Голштинию, а в Шлиссельбург (476, 321—322).

И все же, несмотря на отсутствие презумпции невиновности, обычную предвзятость сысского следствия, «роспрос» в XVIII в. оставался искаженной, но все-таки формой судебного состязания, унаследовал из прошлого элементы состязательного судопроизводства. Подчас споры изветчика с ответчиком становились схваткой, полной драматизма, причем ответчик, казалось бы, полностью бесправный, мог умелыми ответами нейтрализовать наиболее опасные для себя вопросы, уйти от особо тяжелых обвинений. Кажется, что так сделал Н.И. Новиков, сумевший при допросах переиграть Шешковского и его помощников, которые чувствовали свою беспомощность перед умным подсудимым. После «роспроса» Новикова Екатерина II не решилась передать дело в публичный суд и сама приговорила издателя к 15 годам тюрьмы.

Из «роспроса» Бирона в конце 1740-го — начале 1741 г. также видно, что бывший регент оказался так умен, хладнокровен, что сумел завести следствие в тупик. Когда от него, угрожая пыткой и жестокими карами, требовали, «чтоб он, Бирон, припамятовал суд Божий и свою совесть, все то дело прямо объявил», иначе ему будут предъявлены обвинения в тяжких государственных преступлениях типа бунта, опытный царедворец сразу понял, что «запирательство» к доброму концу не приведет. И «по окончании сих слов, — читаем в отчете следствия, — он, Бирон, пришел в великое {со}мнение и скоро потом неотступно со слезами просил, дабы Высочайшею... милостию о б н а д е ж е н б ы л, то он, опамятався, чрез несколько дней чистую повин-



Н.И. Новиков

ную принесет, не закрывая ничего, а притом и некоторые свои намерения, о чем... обстоятельно донесет... а ежели-де, что он и забудет, а после ему, Бирону, припамятовано будет и о том сущую правду покажет без утайки и... то он ныне напишет... повинную в генеральных терминах, а потом и о всех обстоятельствах» (248, 31–32).

Как мы видим, в ходе «роспроса» Бирон изменил тактику. Он предложил власти компромисс: Анна Леопольдовна даст ему «царское слово» — гарантию сохранения жизни, а он, со своей стороны, признается во всем, что от него потребуют, и если нужно, «вспомнит» и то, что забыл. Власть пошла на сделку с Бироном. После этого торга Бирон со спокойной совестью взялся за перо и ответил тонко и двусмысленно на все «вопросные пункты» (248, 33–34).

В таком положении для ответчика (как и ранее для изветчика) было крайне важно не впасть в противоречие с тем, что он уже показал на ранней стадии следствия. Противоречивые показания ответчика делали его положение

весьма уязвимым, от подозрения во лжи ему избавиться было трудно. Из многих дел приведу наиболее яркий пример такого «неправильного поведения» ответчика. Дьячок Семен Копейкин был арестован в 1730-х гг. по доносу крестьянина Шкворова в говорении под хмельком «некоторых непристойных слов». На первом допросе Копейкин «заупрямился», утверждая, что никаких «непристойных слов» не говорил и что даже, против обыкновения, был трезв. В очной же ставке с изветчиком он дал другие показания, сказал, что «непристойные слова он, Копейкин, говорил ли, того не упомнит, что-де в то время был он, Копейкин, пьян и, может быть, в пьянстве те слова и говорил, только-де у трезвого у него в мысли, чтоб такие непристойные слова говорить, не было». Следователи сразу ухватились за противоречия в показаниях и потребовали от Копейкина пояснений. Ответчик сказал, что «сперва в (первом. — Е. А.) роспросе о том не показал он, Копейкин, боясь себе за то истязания». Расхождения в показаниях ответчика и неубедительный, по мнению следствия, ответ на заданный вопрос привел Копейкина на дыбу.

На пытке Копейкин показал, что непристойные слова он действительно говорил Шкворову «в пьянстве своем», но «не таким образом, как означенной Шкворов показал». Следователи, заподозрив в этом «увертку», спросили, почему же Копейкин сразу-то об этом им не сказал? На это Копейкин отвечал трафаретной фразой, которая для сыска ничего не значила: «Не показал он, Копейкин, боясь себе за то истязания». В очной ставке в застенке с Копейкиным изветчик Шкворов твердо стоял на своем («утверждался на прежнем своем показании»). Копейкин и этот раунд борьбы проиграл. Он вновь изменил показания: «Означенные непристойные слова говорил он, Копейкин, таким ли образом, как оной Шкворов показал, того он, Копейкин, за пьянством своим, не упомнит, а что-де он, Копейкин, с розыска показал, якобы те непристойные слова говорил он, Копейкин, другим образом, и то-де показал он, Копейкин, на себя напрасно, не терпя того розыску». Противоречия показаний ответчика привели следователей к выводу, что Копейкин «непристойные слова» действительно говорил и достоин казни. Но поскольку дело шло по разряду «маловажных» и сказанные дьячком слова не были, по-видимому, особенно страшными (содержание их нам неизвестно), то генерал Ушаков решил не проводить «утвердительную» пытку «из подлинной правды», обычную для полного и безусловного признания меняющего свои показания преступника, а приказал Копейкина бить кнутом и сослать в Охотск, «в работу вечно» (42-5, 156—157).

Однако и следование раз и навсегда избранной линии, неизменность в показаниях ответчика не всегда оказывались самой правильной формой защиты. Так, если ответчик, несмотря на явные и многочисленные свидетель-

ства против него, упорствовал, «запирался», то вскоре его положение ухудшалось. Для следствия непризнание ответчиком явной, доказанной фактами вины означало, что речь идет о «замерзлом злодее», матёром преступнике, который не желает склонить головы перед государем, не просит у него пощады за всем очевидные преступления. Это все усугубляло тяжесть последующих пыток и наказания.

Еще хуже было тому ответчику, который начинал признаваться в том, о чем его первоначально следователи и не спрашивали. Эта ситуация на жаргоне сыска называлась «сказал п р и б а в о ч н ы е р е ч и » (88, 722). В этот момент допрашиваемый с роковой неизбежностью выступал в роли закоренелого, затаившегося преступника, скрывавшего свои преступления, или же в роли столь же преступного неизветчика по делам, о которых, согласно всем известным законам, надлежало доносить куда следует и как можно скорее. Если бы упомянутый выше Егор Столетов, допрошенный в 1734 г. В.Н. Татишевым в Екатеринбурге о его нехождении в церковь и каких-то опасных высказываниях за столом, отвечал только на заданные следователем вопросы, то сумел бы выпутаться из этого дела. Но Столетов вдруг «собою» стал пересказывать Татишеву придворные слухи и сплетни о том, что якобы царица Екатерина Ивановна сожительствовала с его приятелем князем Михаилом Белосельским и что любовник царицы просил у него, Столетова, добыть некое средство от импотенции, чтоб при встрече с царицей «быть молодцеватым» и т.д. и т.п.

И можно уже точно сказать, что Столетов окончательно погубил себя, когда вдруг повинился Татишеву: «Я еще того тяжчае (т.е. хуже, страшнее. — Е. А.) о государыне-императрице думал» и «в том упомянул графа Бирона». Оказывается, речь шла об обстоятельствах сексуальной жизни самой императрицы Анны. Белосельский как-то поделился с ним, как с близким приятелем, такой забавной подробностью: «Государыня-де царица сказывала мне секретно, что-де Бирон с сестрицею (т.е. императрицею. — Е. А.) живет в любви, он-де живет с нею по-немецки, чиновно» (659, 15–16). Запись допроса по-видимому, привела государыню в ярость: после жестоких пыток Столетову отрубили голову, а Татишев получил строгий выговор за то, что, вопреки указам о предварительном поверхностном допросе преступника, стал выспрашивать у него вещи, которые его, подданного, ушам и слышать не надлежало. Но Татишев и сам не ожидал, к чему приведут его допросы Столетова о пропущенных Столетовым обедах, и очень испугался, услышав откровения ответчика. Это видно по его рапортам в Петербург.

Добровольные признания князя Ивана Долгорукого на следствии 1738–1739 гг. привели на эшафот и его самого, и других членов семейства Долго-

руких. Как известно, на жившего в Березове Долгорукого донес Осип Тишин, который обвинял ссыльного вельможу в произнесении «непристойных слов» о царствующей императрице и ее предшественнике — покойном императоре Петре II. На допросе Долгорукий в целом подтвердил извет Тишина, но при ответах на «вопросные пункты» вдруг, как записано в протоколе допроса, «без всякого спроса, собою объявил следующее...». И далее записаны показания Долгорукого о составлении в кругу семьи Долгоруких подложного завещания умирающего Петра II и о том, что Иван подписался за царя. Все сказанное Долгоруким стало известно властям впервые — ранее на сей счет были только какие-то неясные и недостоверные слухи (719, 168, 154). Теперь же, в 1738 г., вся эта история, благодаря показанию «без всякого спроса» князя Ивана, неожиданно всплыла на поверхность и позволила окружению Анны Ивановны начать крупномасштабное политическое дело о заговоре. Долгорукие были перевезены в столицу, начались пытки, а потом и казни членов клана Долгоруких. Сибирский вице-губернатор Алексей Жолобов, привлеченный по делу Столетова в 1735 г., на первом же допросе в Тайной канцелярии не только подтвердил приписанные ему Столетовым «непристойные слова», но и с редким простодушием и наивностью для чиновника такого высокого ранга пустился в воспоминания о своих давних встречах с Бироном, о чем А.И. Ушаков даже не спрашивал: «Говорил я еще о графе Бироне, как он Божию милостию и Ея и.в. взыскан. Такова-то милость Божия! Во время (т.е. раньше. — Е. А.) этого Бирона, в бытность в Риге комиссаром (он, Жолобов. — Е. А.) бивал, а ныне рад бы тому был, чтоб его сиятельство узнал меня. Хотя не ради чего, только чтоб знал. И есть у меня курьезная вещица: 12-ть чашечек ореховых, одна в одну вкладывается, прямая вещица такому графу — ведь ему золото и серебро не нужно!».

Последнее следовало понимать как намек на то, что Бирону, попавшему в постель императрицы, заботиться о своем благосостоянии уже нет нужды. И далее Жолобов своими руками начал точить топор, которым ему вскоре отрубили голову: «Еще запросто припомнил я и говорил Столетову, как в Риге при покойном генерале Репнине (губернаторе Лифляндии. — Е. А.), будучи на ассамблее, стал оный Бирон из-под меня стул брать, а я, пьяный, толкнул его в шею и он сунулся в стену» (659, 23). Столь откровенное добровольное признание ответчика в тогдашней обстановке было равносильно самоубийству. В 1736 г. Жолобов был казнен как взяточник, хотя истинной причиной расправы с ним был его длинный язык (589-9, 7009).

После первого допроса ответчика наступала очередь допрашивать *свидетеля*. Об этом говорили закон — Уложение 1649 г., «Краткое изобра-

жение процессов» 1715 г. и др. Число свидетелей закон не ограничивал, их могло быть и двое, и трое, и одиннадцать человек. Так, в частности, было в деле 1729 г. попа Давыда Прокофьева, который призывал прихожан своей церкви не присягать императору Петру II (8-1, 357об.). Впрочем, число ответчиков также не регламентировалось. Известен случай, когда возникла проблема с доставкой из Москвы в Петербург тридцати (!) ответчиков по одному и тому же делу (181, 192).

В политическом процессе свидетель играл значительную роль. Естественно, что показания его были важны для ответчика, но все же более всего в них был заинтересован изветчик. Можно без преувеличения утверждать, что отрицательный ответ свидетеля «писали» на спине изветчика. Если ответчик отказывался от извета, а свидетель не подтверждал показаний изветчика, то первым на дыбу, согласно старинному принципу: «доносчику — первый кнут», попадал сам изветчик. Особая важность показаний свидетелей в политическом процессе приводила к тому, что их арестовывали и содержали в тюрьме наряду с изветчиком и ответчиком (хотя и не вместе). Правда, для высокопоставленных или больных свидетелей делали исключение — их могли допрашивать и на дому (304, 159).

Идя с доносом, опытный изветчик должен был не просто представить сыску свидетелей преступления ответчика, утверждая, что «доказать подлинно может, в чем покажет свидетелей» (42-1, 109). Он должен быть уверен в том, что свидетели, названные им, надежны, что они, как тогда говорили, «покажут и менно», т.е. единодушно подтвердят его извет и в той редакции «непристойных слов», которую он изложил в своем доносе. В 1732 г. полной катастрофой для изветчика закончилось дело Назинцова и Иконникова. Свидетели, на которых «слался» изветчик Иконников, показывали не то, что он думал. В приговоре сказано: «Он, Иконников, на помянутого Назинцова (ответчика. — Е. А.) об означенных продерзостных словах не доказал, понеже показанные от него свидетели, трое человек, на которых он, Иконников, слался из воли своей (т.е. добровольно. — Е. А.), о вышепоказанных словах не показали». Поэтому, заключает Тайная канцелярия, его следует признать ложным изветчиком — ведь свидетели не подтвердили его показания и «сказали не против его ссылки». Это означало, что на изветчика распространяется действие статьи 160 10-й главы Уложения 1649 г. о «ссылке из виноватых»: дело считалось проигранным той стороной, которая заявила несколько свидетелей, но один из них показал «не против его ссылки», т.е. не подтвердил слов изветчика («против» в этом контексте означает «согласно», «в соответствии»). Более того, дело истца (изветчика) считалось проигранным даже тогда, когда свидетели оказывались не единодушны в

подтверждении челобитной (извета), показывали «не все во одну речь» или, наконец, когда они проявляли неосведомленность по существу дела («скажут, что про то дело ничего не ведают») (42-3, 104).

Поэтому, перед тем как идти с доносом, доносчику следовало серьезно подумать о свидетелях. Когда в 1722 г. казак Дорофей Веселков услышал от крестьянина Чусовских городков Якова Солнышкова брань в адрес государя и слова, что он «взял бы его (государя. — *Е. А.*) и в мелкие части изрезал и тело бы его растерзал», то Веселков вышел в сени и позвал за собой работника Солнышкова Степана Ильина и «говорил ему тайно, что на того Солнышкова будет в том извещать, чтоб (Ильин. — *Е. А.*) не заперся и тот Степан ему говорил, не знаю-де, как ему быть». Сомнения Ильина оказались важными для Веселкова, и он в этот раз не стал доносить на Солнышкова. Вся эта история всплыла потом, когда изветчику представился-таки другой случай известить власти о преступлении Солнышкова (325-1, 39).

В том же 1722 г. опытный капитан Петр Мельгунов, намереваясь донести на сказавшего «непристойные слова» новгородского помещика Харламова, не просто заручился поддержкой слышавших эти слова свидетелей — участников общего застолья, но и требовал с них подписки о слышанном от Харламова, а затем отправил эти подписки вместе со своим доносом на Харламова в Тайную канцелярию (32, 4-7; 664, 52, 60). В 1738 г. крестьянин Игнатий Баженов донес на семь человек, «слася» при этом на нескольких свидетелей преступного разговора, но о двух из свидетелей сказал сразу же: «В том на них не шлетца для того, что они, по согласию между собою, могут сказать неправду», т.е. сомневался, что эти двое подтвердят извет (44-2, 14). Отсутствие верных свидетелей делало проблематичным и сам донос. В 1733 г. пасынок вдовы Ивановой объяснял на следствии, что он на мачеху «недоносил... для того, что посторонних свидетелей при том не было» (42-4, 36).

Допрашивали свидетелей «каждого порознь обстоятельно», предварительно приводя к присяге на Евангелии и Кресте («по заповеди Святаго Евангелия и по государеву крестному целованию» — 79, 3). Свидетель давал клятву, что он обязуется рассказать «обстоятельно о том непристойном слове... слышал ль и каким случаем» (42-4, 88). В основе этого следственного действия лежало положение «Краткого изображения процессов». Там сказано, что присягать должны все свидетели, «понеже свидетелю, который присяги не учинил, верить не мочно, хотя б оный и архиепископ был» (626-4, 417). Форма присяги в законодательных материалах не регламентировалась, но предполагала публичное произнесение клятвы либо в церкви, либо в тюрьме перед священником, а также обязательную подпись на присяжном листе (283, 27).

В отличие от состязательного суда, сыск не предъявлял каких-то критериев к свидетелю. Согласно Уложению 1649 г., в суде свидетелем мог быть только человек «благонамеренный», честный, «достоверный», т.е. видевший все сам, не враждебный ответчику, но и не вступивший с кем-либо из участников процесса «в стачку», наконец, не родственник одной из сторон. По «Краткому изображению...» в судебном процессе отводили некоторых свидетелей как «негодных и презираемых» людей. Среди них числились убийцы, клятвопреступники, разбойники, воры и т.д. Для политического же процесса «негодных и презираемых» свидетелей не существовало — нередко именно они выступали свидетелями. Отвод их ответчиком из-за того, что эти люди недостойны и подозрительны, игнорировался сыскным следствием. Поэтому нередко извет насильника и убийцы, кричавшего «Слово и дело» в тюрьме, подтверждали такие же, как он, личности с рваными ноздрями. И их показания принимали к делу. Незаметно также, чтобы в политическом процессе делали предпочтение одним свидетелям перед другими (как это было в судебном процессе), а именно: мужчинам перед женщинами, знатым перед незнатыми, ученым перед неучеными и священнослужителям перед светскими лицами (см. «Краткое изображение процессов», 3-я глава, статья 13). Не все ясно со свидетелями-крепостными (в делах их помещиков), свидетелями-подчиненными (в делах их начальников), наконец, со свидетелями-родственниками, в том числе — женами.

В принципе было общепризнано, что жена не может быть свидетельницей по делу мужа. Так говорит Уложение 1649 г.: при ссылке ответчика на истцову жену и истца на ответчикову жену «жены не допрашивают» (10-я глава, статья 177). Следование этой норме мы видим и в некоторых политических делах. В 1732 г. изветчик Рябинин указал на пятерых свидетелей и среди них упомянул свою жену, «которую было, — как отмечено в решении Тайной канцелярии, — во свидетельство представлять ему не подлежало» (42-1, 110). Однако политический процесс не имел четкой правовой регламентации, его природа была иной. Фактическим истцом (часто за спиной изветчика) выступало само государство, и когда следствию нужны были конкретные показания на политического преступника, проблема родства, социальных, должностных отношений изветчика с ответчиком, изветчика и ответчика со свидетелем власть интересовала мало.

В 1677 г. уже сосланный в Пустозерск боярин А.С. Матвеев в своей челобитной царю Федору Алексеевичу пытался оспорить выдвинутые против него обвинения в колдовстве. Не без оснований и со ссылками на Соборное уложение и царские указы он писал, что дело его велось, как бы сейчас сказали, «с грубейшим нарушением законности». Во-первых, доносчик на бо-

ярина, Давыдко, «многое время не извещал», во-вторых, следствие не провело очной ставки извetchика с ответчиком (Матвеевым), в-третьих, предъявление Давыдкой в качестве свидетеля дворового карлика Матвеева Ивана незаконно, ибо, по мнению Матвеева, «раб свидетелем на господина не бывает». История же политического сыска как раз показывает, что еще как бывает! Рабы, дворовые, крепостные постоянно выступали и как доносчики, и как свидетели против своих господ. Пустым звуком для людей, решавших судьбу знатного боярина, были и его утверждения о том, что свидетелем не может быть костоправ Иван Максимов. Максимов на следствии показал, что к нему обращался карлик, которому Матвеев якобы сломал два ребра за подсматривание чародейских упражнений хозяина. Матвеев в своей челобитной писал, что Максимов «не свидетель против твоего, Великий государь, указа и Уложения. Когда бы он, костоправ, видел, а не слышал (от карлика Ивана. — *Е. А.*), и я б на него слася, а он бы сказал, что я тому карлу переломил два ребра, тогда бы был свидетелем мне. А в твоём, Великий государь, указе и в Соборном Уложении...» — и далее приведена ссылка на статью 172 10-й главы Уложения, запрещающую принимать в свидетели очевидцев происшедшего, тех, кто «про такое дело слышал от людей». Матвеев хорошо знал юриспруденцию своего времени. Он справедливо указывал также на то, что суд над ним был заочный, что с извetchиком ему не было дано очной ставки, что против него дал показания человек недостойный, пьяница, неровня с ним, боярином и уважаемым в государстве человеком.

Матвеев нашел немало противоречий в расследования его дела. Он писал, что показавший против него свидетель карлик Иванов потом с трех пыток «сговорил» (т.е. снял. — *Е. А.*) с него, Матвеева, обвинение. Согласно же статье 100 22-й главы Уложения, «сговоренные» на пытке допросные речи положено «отставливать, а вины сказывать, буде вина есть, по последним (т.е. пыточным. — *Е. А.*) речам», что, — справедливо указывал боярин, — сделано не было. В приговоре фигурировали как достоверные не пыточные, а «роспросные речи» (т.е. предпыточные) показания Ивана (363, 103—105, 116, 121 и др.). Но опять же Матвеев по своему богатому опыту царедворца вряд ли не знал, что если хотят расправиться с политическим противником, то «хранение» Уложения, соблюдение процессуальных норм необязательно, т.к. речь идет не о состязательном процессе, а о сыске, законом которого является воля государя.

Полстолетия спустя после истории Матвеева примерно по тому же поводу возмущался произволом следователей опальный Бирон. Он писал в мемуарах: «Я... заявил (следователям. — *Е. А.*), что со мною поступают бесчеловечно и неслыханным образом, что везде, а также и в России, существует

обычай уличать обвиняемого письменными доказательствами или устными показаниями достоверных свидетелей, что сам я — лицо владетельное, вассал короля Польского и, следовательно, нельзя меня допрашивать и выслушивать без депутата со стороны Польской республики. Мне довольно грубо отвечали, что упорствуя в подобных для себя исключениях, я напрасно стараюсь воспрепятствовать юрисдикции моих судей... Я уступил» (521, 335). Возможно, Бирону напомнили, как велось следствие над Долгорукими, Волынским и другими государственными преступниками в те времена, когда сам Бирон был всемогущим временщиком и стоял за кулисами этих процессов.

Вернемся к вопросу о родственниках-свидетелях. Многочисленные дела показывают, что очень часто близкие родственники становятся свидетелями доносчика. В 1724 г. в Тайной канцелярии допрашивали как свидетеля жену изветчика Кузьмы Бунина, которая, конечно, подтвердила донос своего мужа. Близкое родство свидетеля и изветчика не смутило следователей (664, 74). В 1736 г. главной свидетельницей по делу чародея Якова Ярова стала его жена Варвара (643, 385). В 1735 г. по делу баронессы Степаниды Соловьевой следствие постановило: допросить зятя ее Василия Степанова, как и его жену, дочь Соловьевой, Мавру. Как сказано в указе, «ежели оной Степанов против одного показания (Соловьевой. — Е. А.) будет запиратца, то допросить же жену ево, Мавру, и, буде она ево жена против показания помянутой матери своей Степаниды на одного мужа своего, Степанова, покажет, тогда со оным мужем дать ей очную ставку...» (55, 17). Из этих и подобных им случаев напрашивается вывод: если изветчиком выступает частный человек, то жена его не может быть свидетелем на процессе (см. выше о деле Рябини-на), если же «изветчиком» выступает государство, то в свидетели и жена годится, и сын, и дочь! В сыском процессе мы видим воочию старинный принцип: «Закон что дышло, куда повернул, туда и вышло», точнее — грубое нарушение принятого законодательства о судопроизводстве.

Свидетель мог попасть в ходе «роспроса» в очень сложное положение. Мало того, что свидетель по политическому делу того времени отличался от свидетеля в состязательном судебном процессе, само понятие «свидетель» существенно отличалось от привычного нам, современного понятия. Вообще, в юридическом положении свидетеля XVIII в. много неясностей. В принципе в политическом процессе свидетель мог быть только свидетелем изветчика. При этом он одновременно выступал в роли «недонесшего изветчика». Если человек узнавал о государственном преступлении вместе с другими людьми, то формально, по закону он был обязан под страхом жестокого наказания, немедленно донести о преступлении куда надлежит. Однако если по делу он проходил как свидетель, то это означало, что донос сделал не он,

а кто-то другой. Стало быть, это произошло по одной из двух причин: либо человек не захотел доносить, либо он заранее распределил роли изветчика и свидетеля с теми, кто оказался вместе с ним при совершении преступления, и в итоге взял на себя роль свидетеля. В первом случае он становился наказуемым «неизветчиком», во втором — свидетелем изветчика.

Так было в деле солдата Седова в 1732 г. Когда Седов произнес «непристойные слова» про императрицу Анну, то свидетели изветчика — капрала Якова Пасынкова — солдаты Тимофей Иванов, Иван Мологлазов и Иван Шаров, как записано в протоколе, «слыша означенные непристойные слова, говорили оному капралу, чтоб на онного Седова донес, о чем и оной капрал показал, к тому ж оные свидетели в очных ставках уличали того Седова о непристойных словах». В итоге награждены были как изветчик, так и свидетели «за правой их извет». Правда, изветчик получил 10 рублей, а свидетели только по 5 рублей (42-2, 76). Иначе говоря, свидетели изветчика явились здесь соучастниками доноса, за что и удостоились награды.

В других делах положение свидетеля не было таким ясным, как в деле Седова. В ходе расследования выяснялось, что свидетель сам может стать ответчиком по обвинению в неизвете или в нарушении сроков извета. Свидетель в определенной ситуации мог стать даже соучастником преступника. В 1733 г. в приговоре о свидетелях по делу драгуна Симонова, произнесшего «непристойные слова», сказано: «Да по тому ж делу о свидетелях, справ[иться] с делом: ежели они о показанных онного Симонова непристойных словах многое время не доносили, учинить им жестокое наказание, вместо кнута бить плетьюми и освободить». Такое же наказание понесли свидетели по делу Алексея Курносова — солдаты Копылов и Клыпин. Они слышали «непристойное слово» Курносова, на допросе и в очной ставке подтвердили донос изветчика Алексея Смородова. По приговору Курносова били кнутом, а Копылова и Клыпина наказали плетьюми «за не донос их на помянутого Курносова о вышепоказанных непристойных словах» (42-5, 137, 162).

Батоги получили двое драгун-свидетелей, подтвердивших донос изветчика Ивана Федорова. Их объяснения, что они «о тех [непристойных] словах не доносили многое время... простотою, обнадеясь на помянутого Федорова, что будет доносить тот Федоров», были отвергнуты следствием, ибо, как сказано в протоколе допроса, «им надеется в том на онного Федорова не подлежало, а довелось было им донести самим в скорости и за то учинить им наказание — бить батоги и свободить» (42-2, 199). Слышавших «непристойные слова» Щербакова свидетели присутствовали при экзекуции уличенного ими преступника. Это, согласно приговору, делалось им в назидание, чтобы свидетели на будущее знали: доносить нужно не мешкая, в «самой скорости».

Мудро поступил в 1703 г. казак Осип Лисицын. Он донес на Михаила Поллунина, как только услышал в числе других, что тот кричал «Слово и дело». На следствии он объяснил, что донес «из опасения, чтобы ему, как свидетелю, не быть в ответе», а посему «явился сам в Преображенский приказ и сам объявил о том» (9-3, 88 об.; 88-1, 51 об. — 52).

Четверо свидетелей по делу монаха Лаврентия в 1733 г. были биты плетью, «дабы впредь в том имели они осторожность», т.к. «где надлежит многое время собою не донесли, а показали уже как означенной изветчик доносил на онного иеромонаха Лаврентия дело, касающееся к чести Ея и в.». Свидетели по делу попа Логина, которые также слышали «важные непристойные слова» преступника, понесли более суровую кару. В приговоре о них сказано: «Показали, что не доносили якобы простотою, чему верить невозможно, понеже о том надлежало было им донести в скорости, но они того не учинили и за то оным учинить наказание — бить плетью и послать в Сибирь, в Охотский острог» (42-4, 119, 62). Получается что, услышав «непристойные слова», в Тайную канцелярию должны были устремиться наперегонки все присутствующие при произнесении преступных слов. Кто добежит первым, тот считается изветчиком, а отставшие — только свидетелями.

Но свидетеля поджидали трудности, даже более серьезные, чем кара за недостаточно быстрый бег в сыскное ведомство. Хуже всего было положение свидетеля того изветчика, который на следствии отказывался от своего извета. Тем самым донос считался ложным, соответственно — и свидетельство по нему. Отрекшийся от доноса изветчик губил и своего свидетеля. В 1713 г. вор и убийца Никита Кирилов перед началом пытки в Преображенском приказе кричал «Государево дело» и на допросе у Ф.Ю. Ромодановского показал на пятерых посадских и крестьян как на раскольников и производителей «непристойных речей» о царе Петре I. В подтверждение Кирилов слался на сидевшего в тюрьме Денежного двора фальшивомонетчика Ивана Бахметева, который всех названных раскольников знал лично. Бахметев, сам приговоренный к смертной казни преступник, полностью подтвердил извет Кирилова.

Однако на седьмой (!) пытке сам Кирилов, до этого упорно стоявший на своем извете, изменил показания и признался, что оклеветал названных им людей («поклепал напрасно»), так как «чаял себе тем изветом от смертной казни свободы». В том же показании он признал, что «свидетеля денежного воровского дела мастера Ивашку Бахметева в тех словах лжесвидетельствовать научил он же, Никитка, как (т.е. когда. — Е. А.) он, Никитка, с ним, Ивашкою, сидел в Преображенском приказе в одной бедности за караулом преж того извету... и как он, Никитка... в вышеписанных словах на выше-



Наказание плетью в Тайной канцелярии

упомянутых Ивана Андреева с товарищи в том извещал и того Ивашку в свидетельстве написал для того, что по наученью его тот Ивашка тем словом в свидетельстве сказать хотел... И ныне он, Никитка говорит подлинную правду». Поднятый на дыбу свидетель Бахметев признался в лжесвидетельстве и показал, что «тот Никитка говорил ему, Ивашке, чтоб он, Ивашка, сказал ложно по его, Никиткиным, словам для того ты-де в тех словах избавишься от смерти». По приговору 25 августа 1714 г. обоих преступников казнили (325-2, 99—103).

Дело каторжника Дмитрия Салтанова по доносу на матроса Василия Мешкова, начатое в 1723 г., также интересно тем, что Салтанов предъявил свидетеля, который после пытки повинился, что он «в болезни сказал, что не слышал конечно, а сперва салгал по наученью изветчика Салтанова, понеже он ему говорил мы-де будем на свободе». На пытке и сам Салтанов «винился, что оными словами матроза поклепал напрасно для того, чтоб с каторги получить себе свободу и свидетеля солгать научал» (9-3, 175—176).

В 1728 г. живший в подмосковной вотчине княгини Марии Куракиной земский дьячок Дмитрий Зернов подслушал, как хозяйка, сидя за обеден-

ным столом со своим гостем князем Михаилом Белосельским, говорила «непристойные слова» о государе Петре II. Зернов кричал «Слово и дело» и ссылался на свидетелей — дворовую «жонку» Куракиной, да на двух горничных, которые вместе с ним подслушивали разговор господ. Однако дворовые свою госпожу не выдали, и в итоге дьячок оказался лжесвидетелем (659, 21).

Словом, в политическом процессе человек мог, по воле следователей и сопутствующих расследованию обстоятельств выступать одновременно и свидетелем, и ответчиком, причем граница этих столь разных в принципе статусов становилась юридически и фактически неуловимой. Так было с арестованным в 1740 г. по делу Бирона кабинет-министром А. П. Бестужевым-Рюминым. Он привлекался к делу Бирона как свидетель (это видно из вопросов следствия), но после своего отказа подтвердить показания против Бирона тотчас превратился в ответчика и подвергся опале как государственного преступника — сообщника бывшего регента (248, 61–64). При этом со свидетелем могли поступить как с ответчиком — отправить его на дыбу, пытать. В проекте Уложения 1754 г. закреплялась практика такого обращения со свидетелем и без всяких околичностей говорилось, что после должного увещевания свидетелей можно «и подлинно к пытке приводить, и первым градусом умеренно пытать можно, когда по их ответам явно значит, что они истину по тому делу утаят» (596, 22).

После вышесказанного становится понятно, почему свидетелю было так сложно: в ходе следствия ему предстояло проскочить между Сциллой соучастия в ложном доносителе (в случае, если изветчик в ходе расследования отказывался от доноса) и Харибдой недоносителе (если ответчик признавал извет, вследствие чего свидетеля могли обвинить в недонесении). Кроме того, его всегда могли заподозрить в даче показаний по сговору с родственниками изветчика или ответчика, а также за взятку. В таких случаях писали: «Сговаривает по засылке и скупу».

Короче, проблема точного, выверенного поведения на следствии для свидетеля оказывалась очень важной — цена каждого его слова была велика, прежде всего для него самого. Редко кто без потерь проходил это испытание. Пожалуй, лучше других выпутались из такого положения два свидетеля по делу Развозова и Большакова, в чем им способствовала... собака. Напомню, что Василий Развозов донес на Григория Большакова в том, что последний назвал его «изменником, при свидетелях», а Большаков показал, что слово «изменник» он действительно произносил, но не в адрес Развозова, а так назвал сидевшую с ними на крыльце собаку, о которой он якобы «издеваясь говорил: “Вот, у собаки хозяев много, как ее хлебом кто покормит, тот ей и хозяин, а кто ей хлеба не дает, то она солжет и изменить может, и по-

бежит к другим”, и вышеозначенный Развозов говорил ему Большакову: “Для чего ты, Большаков, это говоришь, не меня ль ты изменником так называешь?” и он, Большаков, сказал, что он собаку так называет, а не его, Развозова... и слался на (двоих. — Е. А.) свидетелей».

Выдумка с третьим бессловесным свидетелем — собакой оказалась необыкновенно удачной как для Большакова, так и для свидетелей. Вот запись показания свидетелей: «Таких слов как оной Большаков показал, они, свидетели, не слышали, только-де как оной Большаков к ним вышел на крыльцо и в то время возле их была сабака, и оной-де Большаков говорил незнаемо что, а о той ли собаке — того имянно они не прислышали, токмо в тех разговорах прислышали, что оной Большаков молвил тако: “изменник”, а к чему оное слово оной Большаков молвил и из них кому, или к показанной собаке — того они, свидетели, не знают» (42-2, 110 об.).

Линия поведения свидетелей в этом деле оказалась для них самой безопасной, она удачно, с одной стороны, демонстрировала их осведомленность по существу «непристойного слова» и, с другой стороны, свидетельствовала об их непричастности к возможному «изменному делу». Показания свидетелей полны и спасительной для них неопределенности, и одновременно убедительной ясности в признании неопровержимых фактов. Полное отрицание свидетелями сказанного Большаковым неизбежно навлекло бы на них подозрение в неискренности — ведь в произнесении страшного слова «изменник» сам ответчик Большаков признался.

Обычно политический сыск с недоверием относился к тем свидетелям, которые говорили, что «продерзостных слов» не слышали или что их не слышали, в момент их произнесения преступником дремали, размышляли, спали, были «пьяны до беспамятства» или отвлечены посторонним разговором и т.д.

Когда в 1732 г. стали допрашивать свидетелей-церковников по поводу «непристойной» тетради Родышевского, написанной против Феофана Прокоповича, то выяснилось, что почти все показания свидетелей «были уклончивы. Одни говорили, что видели тетради, а не брали их, другие брали, но не читали, либо прочитавши страницы две, жгли и бросали, иные слушали как читали другие, но не вникли в силу читанного» и т.д. (775, 338). Такие ответы не нравились следователям, и они стремились найти человека, который мог бы такие «увертки» опровергнуть. В случае с Развозовым сидевшие на крыльце свидетели сразу же признались, что слово «изменник» они слышали. При этом они ничем не рисковали, когда утверждали, что наверняка знают, к кому именно оно обращено, они не могут — ведь сам изветчик Развозов не был уверен до конца, что слово «изменник» относится к нему —

иначе бы он не переспрашивал Большакова. И, наконец, свидетели могли без опасений для себя согласиться с версией Большакова о собаке. Опасаться же показаний против них этой бессловесной твари им не приходилось.

Как уже сказано выше, свидетель в политическом процессе выступал только на стороне изветчика, который «слался» на него в доказательство своего доноса. И тем не менее в позиции свидетеля политического процесса был один нюанс, который позволяет считать, что в сыске отчасти сохранились нормы старого состязательного процесса. Это видно из многих дел. Так, в 1732 г. фурьер Колычов обвинил генерала князя В.М. Вяземского в «неписти государева здравия». Вяземский отрицал свою вину, объясняя, что из-за застольного шума он не расслышал тоста в честь государыни, однако, как отмечается в протоколе, «на показанных от Колычова свидетелей по имяному на восемь человек не слался...», т.е. не обратился за подтверждением своих слов к свидетелям, привлеченным изветчиком (42-1, 70–72). Из другого дела следует, что крестьянин Федор Решетов обвинялся в «непристойных словах». Решетов не отрицал этого факта, но объяснял, что говорил те слова в «безмерном пьянстве». При этом он показал: «Ежели свидетели о тех словах на него, Решетова, покажут и он против показания их спорить не будет» (42-1, 64). Обвиненный в 1762 г. в говорении «непристойных слов» мастер Андрей Вегнер сказал на допросе, что «означенные слова он говорил ль, того он, Вегнер, не помнит, ибо-де тогда был пьян и объявленного показания (извета. — Е. А.) он не спорит и отдает на совесть показателей», т.е. свидетелей (83, 27). Из дела дьячка Трофима Сошникова, на которого в 1727 г. донес крестьянин Иван Лабезников, видно, что Сошников во всем «запирался и на показанных свидетелей слался же». В 1747 г. привлеченный к следствию по доносу Кочеткова о «непристойных словах» колодник Архипов «в роспросе и в очной с ним, Кочетковым, ставке не винулся и на показанных [Кочетковым] свидетелей не слался за ссорами» (8-4, 331 об.).

Во всех этих случаях имена свидетелей, как и положено, были названы изветчиками, а не ответчиками. Казалось бы, даже вопроса о том, может ли ответчик ссылаться или не ссылаться на свидетелей изветчика, возникать не могло. И тем не менее из вышеприведенных дел видно, что обращение ответчика к свидетелю обвинения было возможно. Я думаю, что сохранение этого, в сущности, рудимента состязательного процесса объясняется своеобразием позиции свидетеля по политическому делу. Свидетель обвинения, входя в процесс (будь то состязательный или сыскной), приносил клятву в правдивом показании по делу. Одновременно извет в политическом процессе не принимался следствием на веру, его надлежало «довести» изветчику, что не всегда удавалось. В этой ситуации свидетель, жестко привязанный к

колеснице доносчика, начинал думать о собственной судьбе, целости своей шкуры. У него появлялся «свой интерес» в деле, который мог и не совпадать с интересом изветчика, особенно если тот, к примеру, вдруг отказывался от извета. Угроза понести кару за клятвопреступление или ложный извет оказывалась для свидетеля серьезнее дружбы, договоренности с изветчиком, сиюминутной выгоды, а также достижения истины. В этих обстоятельствах позиция свидетеля становилась отчасти независимой, чем и объясняется возможность «ссылки» ответчика на свидетелей изветчика.

В 1732 г. ассессор Коммерц-коллегии Игнатий Рудаковский донес на адмиралтейского столяра Никифора Муравьева «о некоторых его продерзостных словах... и в том показал оной Рудаковский свидетелей по имяном трех человек». Ответчик же Муравьев «заперся». Он показал, что он говорил совсем другие «неприличные слова» и при этом «на означенных свидетелей слался» (42-2, 37). Подобная ссылка ответчика на свидетелей изветчика означает, что он исходит из следующих соображений: свидетели, давшие клятву говорить правду и только правду, в случае лжесвидетельства рискуют головой. Поэтому они должны сказать не то, что требует от них изветчик, а то, что было на самом деле, т.е. подтвердить его, Муравьева, оправдательные показания. Но Муравьев немного просчитался: двое из трех свидетелей все-таки подтвердили извет Рудаковского, третий же утверждал, что, хотя и слышал слова Муравьева, но не те, что указал Рудаковский, так как сидел от них «не блиско», да и по-русски плохо понимал. Следователи решили, что все-таки Муравьев говорил «непристойные слова» в «редакции» Рудаковского — на него показали двое свидетелей и он, ответчик Муравьев, на них «слался из воли своей». Относительно третьего свидетеля было сказано, что, согласно статье 167 10-й главы Уложения, при ссылке истца и ответчика на одного свидетеля из трех дело решается в пользу того, чью версию событий примет большинство свидетелей. Это и решило спор: Муравьев был наказан как человек, виновный в произнесении «непристойных слов» (42-2, 37-39). Впрочем, судьи могли бы сослаться на другую статью Уложения — 160-ю главы 10-й о «ссылке из виноватых». Согласно этой статье дело считалось проигранным той стороной, которая заявила несколько свидетелей, но один из них показал «не против его ссылки», т.е. один из выставленных истцом свидетелей не подтвердил его показания. Ведь, как отмечено выше, согласно этой статье истец (изветчик) проигрывал дело даже тогда, когда свидетели оказывались не единодушны в подтверждении его челобитной (извета) и не дали идентичных показаний («говорили не все во одну речь» — 626-3, 127).

Итак, несмотря на то что политический сыск произвольно относился к использованию в процессе законодательства о свидетелях, мы видим, как

ответчик порой выступает в равной с изветчиком позиции тяжущегося, коли его ссылку на свидетелей отвергают по закону — Уложению, т.е. смотрят на него как на ответчика состязательного суда. В апреле 1761 г. Московская контора тайных розыскных дел сообщила в Петербург, что рассмотрела дело о произнесении «продерзостных слов» воронежским однодворцем Булгаковым. По этому делу допросили четырех свидетелей изветчика. Несмотря на то что Булгаков отрицал свою вину, Контора признала его виновным на том основании, что свидетелями, «на коих сам он, Булгаков, и з во л и с в о е й с л а л с я , точно в том изобличен, почему остался он, Булгаков, виновен» (79, 406.). И здесь мы видим, что за ответчиком в сыском процессе сохраняется право на свидетельскую ссылку. Иначе говоря, процедура состязательного суда в сыске не была уничтожена окончательно и давала возможность ответчику опровергнуть обвинения изветчика.

Как и в случае с изветчиком, если по ходу дела выяснялось, что следствие в свидетеле не нуждается, его выпускали из тюрьмы «на росписку», т.е. свидетель давал подписку о неразглашении (43-3, 20—23; 771, 330—332). Допрошенный в 1740 г. по делу Волынского И.Ю. Трубецкой дал подписку, что о вопросах, заданных ему в «роспросе», он не скажет никому, даже жене (304, 159). Свидетеля выпускали из сыска на тех же условиях, что и изветчика: с паспортом, с обязательством явиться в Канцелярию по первому ее требованию и т.д.

«Ставить с очей на очи». Так с древности называлась очная ставка. Она являлась составной частью «роспроса» (допроса), важным следственным действием. Перед очной ставкой все привлеченные к ней люди клялись на кресте и Евангелии говорить только правду и завершали клятву такими типичными для подобной процедуры словами: «Подвергая себя не токмо смертной казни, но и вечной церковной клятве (проклятию. — Е. А.) и в будущем веке мучению» (659, 18). Во время очной ставки подьячие вели запись — протокол, и участники очной ставки этот протокол потом, уже по беловому варианту, подписывали. В этот момент человек мог сделать дополнения к показанному ранее на очной ставке: «При приложении к белой очной ставке рук, подпрапорщик Алексеевской в пополнение показал...» (483, 338).

Без очной ставки представить политический процесс трудно — она была неперменной частью расследования. Особенно успешно использовали очную ставку во время Стрелецкого розыска 1698 г. Первые допросы рядовых участников мятежа в разных застенках 19 сентября показали, что стрельцы, по видимому, заранее сговорились о том, как вести себя на следствии, и дружно отрицали все предъявленные им обвинения. Они держались двух главных

версий: во-первых, шли-де в Москву не возводить на престол царевну Софью, а чтобы повидаться после долгой разлуки с семьями, и, во-вторых, почти каждый из них утверждал, что в мятеж его увлекли насильно, угрозами и общей порукой, в бою же с правительственными войсками он действовал под угрозой смерти или побоев, а бежать из полка никак не мог опять же из-за круговой поруки. Но, как часто бывало в розысках, люди по-разному выносили пытки, и первым на следующий день, 20 сентября, в застенке князя И.Б. Троекурова дрогнул стрелец Сенька Климов. После третьего удара кнута на дыбе он признался, что им, стрельцам, еще до похода был объявлен план действий в Москве: возвести на трон или царевну Софью Алексеевну, или царевича Алексея Петровича. Предполагалось, по словам Климова, расправиться с полками, оставшимися верными царю, а также перебить иностранцев и бояр. Самого же Петра решили вообще не пропускать в Москву (163, 46).

Климов оказался тем «вирусом признания», которым затем «заразили» других стрельцов. Вот здесь-то и пошли в ход очные ставки. Климова сразу поставили на очную ставку с каждым из его семерых товарищей по застенку. И все стрельцы подтвердили показания Сеньки. Это был большой успех следствия. Затем всех восьмерых стрельцов, покаявшихся у Троекурова и тем самым взявших на себя роль обличителей упорствующих товарищей, сразу же разослали по другим застенкам, и они начали уличать других участников мятежа «в заперательстве». Многие из них не выдержали этих обличений и подтвердили, что план захвата власти действительно был им известен. Так, благодаря очным ставкам, стена круговой поруки преступников, простоявшая весь первый день, разом рухнула. К такому приему следователи прибегали в ходе следствия не раз. Словом, очная ставка считалась одним из лучших средств добиться признания. Поэтому так часто мы видим запись в деле после допроса: «И в помянутых заповорных словах дана ему... очная ставка» (752, 242).

Очная ставка была нужна и для того, чтобы снять противоречия в показаниях сторон. В протоколе 1732 г. по делу доносчика матроса Емельяна Фролова сказано: «Определено: означенных матроса Фролова, мичмана Шокурова (ответчик. — Е. А.) и гардемарина Галафеева (свидетель. — Е. А.) взять в Тайную канцелярию и роспросить каждого порознь, обстоятельно, и, буде в чем у них учинится спор, и в том дать очные ставки» (42-1, 3).

По форме очная ставка имела вид одновременного допроса по преимуществу изветчика и ответчика, ответчика и свидетелей, причем с отчетливо обвинительным для ответчика уклоном. Вот протокол 1732 г. об очной ставке изветчика Погуляева и ответчика Вершинина: «И того ж числа вышепи-

санному изветчику Погуляеву с показанным Вершининым в спорных словах дана очная ставка. А на очной ставке изветчик Погуляев говорил прежние свои речи, что в роспросе своем выше сего сказал (далее текст, повторяющий ответ на допросе. — Е. А.), а Вершинин в очной со оным Погуляевым ставке говорил прежние ж свои речи...» (49, 50б.).

Обороты «учинился спор» или «спорные слова» из этих, да и других документов сыска нужно понимать не просто как фиксацию некоего спора о деталях, но как запись подчас полного, безоговорочного отрицания ответчиком обвинения, возведенного на него изветчиком. В частности, упомянутый Погуляев донес на Вершинина, что тот говорил ему: фельдмаршал Б.Х. Миних сожительствует с императрицей Анной. Вершинин же полностью и без оговорок отказывался подтвердить слова Погуляева.

В процедуре очной ставки сторонам задавали одинаковые вопросы. Ответчик и изветчик должны были, стоя друг против друга, дать на них ответы. Чаше же очная ставка состояла из трех основных действий:

1. Изветчика заставляли повторять конкретные показания по его извету и уличать стоящего (или висящего) перед ним ответчика.

2. Ответчика вынуждали подтверждать извет или приводить аргументацию в свою защиту.

3. От свидетеля требовали подтвердить перед лицом ответчика (а иногда и изветчика, а также других свидетелей) данные им ранее, в предварительном допросе, показания.

Как и допросы отдельных участников дела, очные ставки по наиболее важным делам готовили заранее. Основой их служили сводки противоречащих друг другу показаний сторон.

В «Пунктах в обличение Бирона по которым следует очная ставка с Бестужевым» (февраль 1741 г.) прослеживается метода подготовки следствия к очной ставке ответчика Бирона со свидетелем А.П. Бестужевым-Рюминым. Из протокола предыдущего допроса Бирона брался отрывок из его показаний: «Бывший герцог Курляндский сказал, что он от Их императорских высочеств никаких своих дел и намерения не таил и другим таить не велел, как и прежде о том показал». Далее его дополняли отрывком из показаний свидетеля: «А по следствию явилось и Бестужев показал, что ты регенства касающихся советах от Их величеств таить ему заказывал и велел секретно держать, дабы Их императорские высочества не ведали и чрез то в принятии тебе регенства препятствия не было». Так составлялся вопрос ответчику для его очной ставки со свидетелем.

Целью этой очной ставки, как и других ей подобных, было «уличение» преступника во лжи с помощью свидетеля. В этот момент свидетель должен

был подтвердить сказанное им ранее и, спасая себя, обличить ответчика. Так обычно и случалось в очных ставках. Но в данном случае произошел сбой машины следствия — оказавшись на очной ставке, Бестужев вдруг отказался подтверждать свои прежние показания против Бирона. Тем самым он разрушил замысел следователей, хотевших с его помощью обвинить Бирона в намерении захватить власть. Сам Бирон писал в мемуарах, что Бестужев в момент очной ставки сказал: «Я согрешил, обвиняя герцога. Все, что мною говорено — ложь. Жестокость обращения и страх угрозы вынудили меня к ложному обвинению герцога» (521, 336).

По-видимому, так это и было — следователи записали в протоколе, что «Алексей Бестужев признался и сказал, что ему он, бывший герцог, о том от Их высочеств таить не заказывал и секретно содержать не велел, а прежде показал на него, избавляя от того дела себя и в том Его и.в. приносит свою вину» (248, 58).

Возможно, в этот момент Бестужев испытал то, что часто случалось с людьми, вынужденными на очной ставке, «с очей на очи», смотреть в глаза человека (нередко прежде близкого ему, невинного, а подчас и с более сильным характером) и уличать его в преступлении. Для некоторых людей это было настоящей моральной мукой, особенно если речь заходила о подтверждении заведомой лжи. В записях очных ставок мы чаще, чем в других документах политического сыска, «слышим» подлинные, живые голоса, видим мелкие черточки поведения людей во время сыскного действия. Примером может служить запись очной ставки Емельяна Пугачева:

«Злодей Пугачев спрошен был: “Самая ль истинная в допросе его на малороссиянина Коровку от него показана?”

На что оной злодей сказал, что он показал самую сущую правду.

При чем сказано ему, злодею, узнает ли он Коровку? Оной сказал: “Как не узнать!”.

И потом, после допроса, взведен к нему Коровка и злодей, взглянув на Коровку, сказал: “А, здравствуй, Коровка!” , где и Коровка его узнал.

Злодею сказано, что Коровка против показания твоего ни в чем не признается.

Злодей сказал: “Я уже показал”.

При чем Коровка его уличал, что он на него лжет.

Как же Коровка выведен, то злодей был увещеван, чтоб показал истинную, ибо инаково повосшик Алексей и сын Коровки (другие уличавшие Пугачева свидетели. — Е. А.) сысканы тотчас будут.

И оной злодей Пугачев, став на колени, сказал: “Виноват Богу и всемилостивейшей государыне. Я на Коровку... показал ложно”» (684-7. 100).

Очная ставка не была сухим допросом одного допрашиваемого в присутствии другого. Следователи позволяли сторонам спорить, уличать друг друга. При этом у каждой из сторон появлялся свой шанс: доносчик на очной ставке мог «довести» извет, а ответчик — оправдаться. И тогда очная ставка оказывалась ему очень выгодной. В 1773 г. управляющий Малыковскими дворцовыми владениями арестовал (по доносу крестьянина Семена Филипова) безвестного тогда донского казака Емельяна Пугачева по обвинению в «говорении непристойных слов» и пытался выбить батогами из него признание вины. По-видимому, неуверенный в доносчике или своем искусстве следователя, управляющий старался не доводить дела до очной ставки. Когда он стал зачитывать Пугачеву запись его показаний, в которых, как потом рассказывал Пугачев, «написано было якобы я во всем показуемом на меня признался, то я управителю говорил: “На что-де то взводить на меня напрасно чего я не говорил и в чем я не признаюсь? а дайте мне с показателем Семеном Филиповым очную ставку, так я его изобличу во лживом на меня показании”». Однакож тот Филипов представлен из слободы не был, а допрос управитель не переписал» (684-3, 135). Даже если Пугачев придумал весь этот разговор (о нем он сообщил на допросе 1774 г.), резон в подобном заявлении ответчика всегда был — по традиции очная ставка в сыске считалась обязательной, без нее работа следствия признавалась неполноценной.

Следователи, проводившие очные ставки, надеялись, что в споре участники процесса проговорятся, нечаянно прояснят какие-то детали или факты, которые ранее скрыли от сыска. Для следствия важно было каждое сказанное допрашиваемыми слово и даже жест. Следователи внимательно наблюдали за участниками очной ставки, отмечая малейшие черточки их поведения. В одном из дел о раскольнике записано, что, войдя в палату, где его допрашивали, этот человек перекрестился на иконы, сложа руку двуперстием, что сразу же уличало в нем раскольника. В протоколе 1722 г. очной ставки монаха Левина с оговоренным им главой Синода Стефаном Яворским записано: «А как он, Левин, перед архиереем приведен, то в словах весьма смутился» (325-1, 40).

Если в дискуссии на очной ставке изветчик отказывался от своего доноса, то в протокол вносили, что он «сговорил» донос с ответчика и тот «очищался» от грязи возведенного на него извета (в приговоре так и записывали: «И потом очистился и свободен» — 10, 152). После этого уже брались за изветчика. Его начинали пристрасно допрашивать, не подкуплен ли он. Впрочем, на очных ставках нелегко приходилось и ответчику. После долгих отпирательств на допросах на очной ставке он мог сдаться перед уличением изветчика и его свидетелей и признать возведенный на него извет. Конеч-

но, все зависело от множества обстоятельств дела, но психологическая устойчивость человека, его воля, уверенность и напористость могли стать подчастой «соломинкой», с помощью которой удавалось выкарабкаться из смертельной ямы.

На очной ставке трудно было не только изветчику или ответчику, но и свидетелю. В 1732 г. дворянин Иван Рябинин донес на крестьянина Григория Клементьева в говорении им «непристойных слов» и назвал свидетелей преступления. Клементьев в «роспросе» и на очной ставке с изветчиком Рябининим в преступлении сознался частично (сказал, что «непристойные слова» говорил, но не те, о которых доносил Рябинин) и на указанных изветчиком свидетелей «слался» как на людей, которые могут подтвердить его невиновность. Вновь заметим, что в этом деле присутствует состязательный момент. Но сейчас важнее другой аспект дела. Один из свидетелей — дворянин Лутохин — в предварительном допросе и в очной ставке с ответчиком Клементьевым подтвердил извет Рябинина. Другой же свидетель, крестьянин Козьма Петров, в очной ставке с Рябининим, напротив, показал, что от Клементьева «показанных от Рябинина непристойных слов не слышал, а слышал он, Петров, от того Клементьева некоторые продерзостные слова, которые не против показания того Рябинина (о чем явно по делу)», т.е. слова-то «непристойные» были Клементьевым сказаны, но это были не те, о которых донес Рябинин. В такой трактовке показания свидетеля совпали с признаниями ответчика.

Примечательно, что в очной ставке следователи сводят Петрова не с ответчиком Клементьевым, а с изветчиком Рябининим, указавшим на Петрова как на своего свидетеля. Это делается потому, что свидетель Петров не подтвердил извета, и доносчик Рябинин с этого момента стал подозреваться во лжи, точнее — в ложном извете. Затем следователи свели в очной ставке свидетелей Лутохина и Петрова, давших разные показания. Уже на этой очной ставке Лутохин «винился, что он... Клементьева показанных от Рябинина непристойных слов (т.е. приписанных изветчиком Клементьеву слов. — Е. А.) он, Лутохин, не слышал, а слышал от того Клементьева такие слова, о которых показал означенный свидетель Петров». Иначе говоря, первый свидетель (Лутохин) на очной ставке отказался от своих прежних показаний и перешел на позицию второго свидетеля (Петрова), который подтвердил извет частично. Других свидетелей, названных изветчиком, не нашли, так что очная ставка в итоге дала отрицательный для изветчика результат.

Следствие постановило более не искать свидетелей, ибо было решено: «Показанные от него ж, Рябинина, свидетели Лутохин и Петров о непристойных словах на оного Клементьева против извету ево, Рябинина, не по-

казали». Значит, согласно закону, дело выигрывает ответчик — ведь против изветчика показали те свидетели, которых он сам назвал добровольно («слался из воли»). Следователи считали, что дело можно закрывать уже по результатам очных ставок, так как после очных ставок изветчик показался им подозрителен по обстоятельствам возбуждения дела: объявил «Слово и дело», сидя под арестом, в ожидании суда (он обвинялся в убийстве собственного брата) о заявленных «непристойных словах» Клементьева долго не доносил. После этого в Тайной канцелярии вынесли решение: «По силе объявленных уложенных пунктов и указов извету ево, Рябинина, на крестьянина Клементьева, не верить и за то ево ложное показание» наказать кнутом.

Благодаря показаниям свидетелей благополучно вышел из опасной процедуры очной ставки ответчик Клементьев. По мнению следствия, он был достоин наказания, так как признался в говорении (хотя и других) «непристойных слов», но, учитывая, что по признанному ложным извету Рябинина он «претерпевал неповинно», решили выдать ему паспорт и освободить из-под стражи.

Свидетель Петров, благодаря которому спасся ответчик Клементьев, сам «наскочил» на Харибду недоносительства, был обвинен в том, что, «слыша от вышепоказанного крестьянина Клементьева некоторые продерзостные слова..., в том на того Клементьева нигде не донес и уничтожил (т.е. скрыл преступление. — Е. А.)». За это он получил плети. Другой свидетель, Лутохин, был «раздавлен» сразу и Сциллой лжедоносительства (мы помним, что на очной ставке с Петровым Лутохин отказался от первоначальных показаний и тем самым стал лжесвидетелем, соучастником лжедоносчика), и Харибдой недоносительства — его били кнутом за то, что он не донес о слышанных им от Клементьева «других продерзких словах» (42-2, 43—47).

Это дело Лутохина, как и другие, показывает, что порой полученных в очной ставке показаний было вполне достаточно, чтобы закончить дело. Так было в 1732 г. в деле солдата Федора Рытина, который донес в Устюжскую провинциальную канцелярию на земского писаря Андрея Водолеева в говорении им «непристойных слов». После очной ставки следователи в итоговой выписке выделили следующие обстоятельства дела, которые позволяли им закрыть его после серии очных ставок:

1. По доносу изветчика Рытина ответчик Водолеев «в говорении непристойных слов не винулся».

2. Указанный изветчиком Рытиным свидетель дьячок Никифор Ушаков «о тех непристойных словах на того Водолеева не показал».

3. «К тому и сам оной Рытин в показании своем объявил разное, а именно: в доношении он, Рытин, написал, якобы оной Водолеев означенные не-

пристойные слова говорил о б у к а з е , а в Устюжской провинциальной канцелярии и по присылке в Москву в Тайной канцелярии в роспросе и в очной с оным Водолеевым ставке сказал, что оной Водолеев те непристойные слова говорил о р е з э с т р е , а показанный Водолеев и в том не винылся...».

Вывод: «Видно, что он, Рыгин, о вышеозначенном о всем затеял ложно, вымысла собою... чего ради за оной ево ложной извет учинить ему, Рыгину, наказание: бить кнутом и послать в Сибирь, в Охотский острог, а вышеписанного писаря Водолеева свободить, понеже вины ево не явилось, также и вышеписанного свидетеля дьячка Никифора Ушакова... велеть свободить» (42-2, 206б.—21). Таким образом, мы видим, что уже по итогам очных ставок был вынесен окончательный приговор. При этом нужно помнить, что обычно так завершала дела «маловажные» с точки зрения государственной безопасности.

Весной 1740 г. после длительного расследования, допросов и очных ставок было решено закрыть дело по доносу В.Н. Татищева на полковника С.Д. Давыдова в говорении последним «непристойных слов». В докладной записке об этом Ушаков и Остерман писали императрице Анне Ивановне, что донос Татищева «о некоторых важных злых непристойных словах» Давыдова изветчиком не доказан: «Давыдов в том не винится, а от оного Татищева никакова свидетельства, кроме одного своего показания, не объявлено и при следствии в тех показанных злых словах (Татишев. — Е. А.) не только оного Давыдова ничем не изобличил, но и сам он, Татишев, показал, что и доказательства никакова предложить он не имеет, понеже те злые слова оной Давыдов якобы ему говорил наедине».

И хотя Татишев назвал нескольких свидетелей, при которых Давыдов говорил «непристойные слова», «однакож и оные объявили не против его, Татищева, общей ссылки». По принятой в сыске процедуре дело Татищева и Давыдова следовало направить в розыск и первым на дыбу предстояло отправиться доносчику, т. е. Татишеву: «И тако в важных злых словах, о которых оной Татишев показывает, что Давыдов говорил ему наодин ко изысканию сущей правды кроме на жесточайшего спросу рознять другим нечем».

Однако авторы докладной записки, по-видимому, исходили из каких-то особых указаний свыше, и поэтому они предложили государыне такой вариант решения бесплодного спора изветчика и ответчика на очных ставках: «Ежели Ея и. в. из высочайшего своего милосердия, в рассуждении обоих дряхлостей и слабостей, от того их всемилостивейше освободить изволит, то останется еще другой способ, чтоб в тех показанных важных злых словах *клятвенною присягою* себя очистить».

Клятва в церкви на Евангелии и кресте в древности считалась высшим средством достижения истины. Ведь клятвопреступление — призыв Бога подлинным преступником в свидетели своей невиновности — грозило ему в загробной жизни страшными карами. Однако в Новое время цена такой клятве была уже невелика и к ней прибегали в основном в делах веры, и то крайне редко. И это был способ скрытого допроса, средство психологического давления на подсудимого, с тем чтобы вынудить его признать свою вину. Так в 1735 г. расследовалось дело Феофилакта Лопатинского. Его первоначальные показания признали неискренними и по инициативе Феофана Прокоповича, злейшего врага Феофилакта, решили поставить его к церковной присяге. Текст присяги написал сам Феофан.

Накануне Феофилакту объявили указ за подписанием кабинет-министров и Синода о том, что они, церковные и светские власти, «согласно приговорили привести тебя при знатных духовного и мирского чина особах к присяге по приложенной здесь форме». Форма присяги кончалась словами: «И все то сею моею присягою пред всеведущим Богом нелестно, нелицемерно и не за страх какой, но христианскою совестью утверждаю. Буде единый Он, Сердцеведец, Свидетель, яко не лгал в ответах и не лгу в сей клятве моей, а если лгал или лгу той же Бог, яко праведный судия да будет мне отмститель. И в заключение сего целую крест и слова Спасителя моего рукописанием моим сию мою присягу закрепляю» (483, 271—272; 775, 487—488).

К присяге приводили в церкви в присутствии священников и чиновников Тайной канцелярии. Присягавший подходил к аналою, клал присягу на Евангелие и читал ее вслух. Все это было серьезным испытанием для верующего человека. В протоколе о присяге Феофилакта сказано: «И как стал ее оканчивать чтением, д в а ж д ы п л а к а л. И, окончав тое присягу, поцеловал Слово и Крест Спасителя нашего, отступил от наоя и подписался под присягою своеручно. И по подписке оная присяга у него взята (483, 275; 775, 490). Впрочем, церковной клятве Феофилакта не поверили — вскоре его перевели в тюрьму, и допросы продолжались уже в пыточной камере.

Иначе поступили следователи в деле Давыдова и Татищева. По их мнению, извет Татищева все-таки имел под собой основания, по крайней мере, нужно считать, что «сие дело весьма сумнительное и только на обоих их, Татищева и Давыдова, совести останется...». После же присяги «оное уже дело далее изследовано быть не может и ... неминуемому суду Божескому предается». Императрица Анна по каким-то неизвестным нам соображениям не хотела отправлять в застенки престарелых спорщиков и одобрила мнение докладчиков. Изветчик и ответчик торжественно присягнули в храме. Один из них перед лицом Бога с этого момента становился клятвопреступником (64, 7).

Наконец, повторю то, что сказано выше в отношении доносчика: все люди, оказавшиеся в «роспросе» и на очной ставке, давали расписку, что «о содержании того, в чем он спрашиван в глубочайшем секрете и накрепчайшею подпискою обязан». Вообще же, с этим документом не все ясно. В одних случаях такую расписку (в виде подписи под прочитанным указом — «чтение указа с запискою и приложением рук их» — 42-2, 59) человек давал в первые часы пребывания в сыске, в другом — накануне очной ставки, в третьем случае — после «роспроса» или очной ставки, когда человека либо выпускали, либо вели на пытку. Но ясно одно: выйдя из сыска (на свободу или на каторгу), человек обязывался по гроб жизни молчать о том, что он видел, слышал, говорил и узнал в сыском ведомстве (49, 6, 53, 15; 55, 51). Ни одного дела о «разгласителях», подписавших расписку, мне неизвестно, что и немудрено: побывавший хоть раз там будет молчать до гробовой доски.

Оболганные же доносчиком люди после установления их невинности никакой компенсации за «тюремное сидение», утрату имущества и здоровья не получали. Естественно, что перед ними в те времена, да и позже, никто не извинялся. Их попросту выпускали на волю под типовую расписку о неразглашении тайны следствия. Лишь в одном случае в 1755 г. дворовые люди помещицы М. Зотовой «за неповинное претерпение пыток» получили деньги за счет проданного имущества своей помещицы-преступницы (270, 145). Об освобождении ложно оговоренного Пугачевым отставного поручика А.М. Гринева в 1775 г. было постановлено, что он освобождается из Тайной экспедиции с «оправдательным паспортом», в котором, вероятно, была отмечена невинность этого человека (522, 81). Впрочем, во всех случаях такого освобождения люди, вероятно, почитали высшей наградой уже то, что они вышли из сыска живыми.

Если дело не закрывалось на первом уровне — «роспросе» — или на втором — на очной ставке, то оно переходило в третью стадию, называемую *розыск*. Этому переходу могли способствовать разные обстоятельства. Среди них наиболее важными считались: 1) упорство изветчика и ответчика в своих показаниях; 2) неясность обстоятельств дела после очных ставок; 3) особое мнение следователей о поведении сторон; суждения начальников и верховной власти, признававшей пытку в этом деле обязательной.

Кроме «роспроса» (допросов и очных ставок) политический сыск использовал и другие (непыточные) формы расследования дел, позаимствованные из практики публичного суда. Рассмотрим их. Следователи прибегали к проведению чего-то подобного *следственному эксперименту*. Во время Стрелецкого розыска 1698 г. стрельчиха Анютка Никитина призналась, что в Кремлевском дворце от царевны Марфы для стрельцов ей пере-

дали секретное письмо. Никитину привезли в Кремль, и она довольно уверенно показала место во дворце, где получила послание, а потом опознала среди выставленных перед ней служительниц царевны Марфы ту женщину, которая вынесла письмо (163, 76).

Использовало следствие и традиционный *повальный обыск* — поголовный опрос жителей округа. Известно, что в древнерусском общеуголовном процессе с помощью повального обыска, т.е. сплошного опроса односельчан, соседей, членов общины, сослуживцев, прихожан, выясняли запутанные обстоятельства дела, искали воров. С помощью повального обыска проводили опознание преступника или краденых вещей, выявляли — и это было одной из важнейших целей повального обыска — суждения множества людей о подозреваемом человеке. Для состязательного суда мнение большинства (*vox populus*) оказывалось существенным и иногда даже решающим при вынесении приговора (422, 139—140; 672, 613—614).

В политическом сыске повальный обыск не был особенно в ходу и использовался в основном, чтобы проверить показания подследственного, удостовериться в его политической, религиозной и нравственной благонадежности. Его понимали как вариант упрощенного допроса массы свидетелей — в проекте Уложения 1754 г. так и сказано: «Обыск ничто иное есть как свидетельство чрез всякого чина окольных людей» (596, 24). В 1700 г. псковский стрелец Семен Скунила в пьяной ссоре с переводчиком Товиасом Мейснером обещал «уходить государя». В «роспросе» Скунила показал, что в момент стычки с переводчиком он был настолько пьян, что ничего не помнит. Петр I, который лично рассматривал это дело, указал провести повальный обыск среди псковских стрельцов, поставив перед ними единственный вопрос: «Сенька Скунила пьяница или непьяница?» По-видимому, Скунила был действительно замечательный даже для Пскова пьяница: все, кто его знал, — а таких оказалось 622 человека! — подтвердили: «Ведают подлинно (т.е. абсолютно уверены. — Е. А.), что Сенька пьет и в зернь играет». Глас народа и решил судьбу Сеньки: вместо положенной ему за угрозы государю смертной казни его били кнутом и сослали в Сибирь (212, 64—65).

К повальному обыску обращались и для уточнения данных о здоровье гарнизонного солдата Никиты Романова, который, как он сам показал, увидел у спальни императрицы Екатерины I Богородицу, обличавшую Меншикова. После этого по запросу сыска «того полку штап, обор и ундер-афицеры пятьдесят человек, под опасением военного суда, сказали, что тот солдат Романов состояния признавают доброго и во иступлении ума и ни в каких непотребствах не бывал» (8-1, 321). Опрашивали соседей и сослуживцев о здоровье капитана Александра Салова, который был в 1721 г. в церкви села Ко-

нопати вместе с кричавшим «злые слова» Варлаамом Левиным, но не донес. На следствии Салов ссылся на то, что он «издества на ухо подлинно крепок» и поэтому не расслышал «злых слов» Левина. Тайная канцелярия показаниям Салова не поверила и прибегла к повальному обыску. Вопрос: «Глух ли капитан Салов?» — задали сорока восьми жителям Конопати. Четырнадцать человек ответили, что вообще его не знают, двадцать восемь человек заявили, что Салова знают, но разговоров с ним никогда не имели и сказать, глух ли он или нет, не могут. И только четверо утверждали, что Салов таки на ухо «крепок».

Однако в феврале 1724 г. Тайная канцелярия получила запрошенную ею справку из Пермского драгунского полка, в котором ранее служил Салов. Командир и офицеры полка утверждали, что, пока Салов служил в полку, слышал он хорошо. Для Салова эта справка оказалось роковой: в октябре 1724 г. его лишили чина, били кнутом и сослали в крепость Святой Крест (19, 95 об.—96; 325-1, 50; 8-1, 321; см. 241, 229). При решении судьбы Герасима Зотова — книгопродавца сочинения Радищева Екатерина II 17 июля 1790 г. послала (через А.А. Безбородко) нижеследующий указ С.И. Шешковскому: «О купце Зотове государыня находит нужным справиться *образом повально-го сыска*, какого он поведения и нет ли за ним еще каких худых дел, а тогда и можно будет его выслать из столицы в какой-нибудь город, где меньше худых книг читают» (130, 203—204). Вообще, Екатерина II наиболее надежным средством выяснения истины считала повальный обыск, который, по ее мнению, мог бы заменить пытку и вообще всякое насилие при следствии (633-10, 312; 345, 151).

В истории уличения Салова в лжеглухоте интересен сам факт запроса справки из полка. С петровского времени политический сыск делал такие запросы в самые разные государственные учреждения как для уточнения обстоятельства дела, так и для проверки показаний подследственных, оценки их политической благонадежности и т.д. (483, 618). По-современному говоря, от начальства по месту службы подследственного требовали его полноценную письменную характеристику. В запросе о военных интересовались прежде всего наложенными на них штрафами и проступками по службе. Так, в материалах Тайной канцелярии за 1762 г. о гренадерах Владимирского пехотного полка, замешанных в «говорении непристойных слов», сохранилась характеристика: «Об них... Боровкове и Самсонове, в присланном из Выборга от полковника Барбот де Марни известия показано, что они в штрафах ни в каких ни за что не бывали и находились состояния доброго» (83, 128).

В вопросах сложных, связанных с верой, а также с литературной деятельностью, сыск обращался за *экспертизой* к специалистам. Уровень

почерковедов был в те времена весьма высок. Обычно для экспертизы почерка привлекали старых канцеляристов, которые умели сравнивать почерка. Благодаря им были изобличены многие авторы анонимок. И.И. Шувалов в 1775 г., когда велось дело «княжны Таракановой», возможно, даже не знал, что почерк автора найденной в бумагах самозванки безымянной записки сравнивался с его почерком — ведь его заподозрили в связях со скандально известной «дочерью» Елизаветы Петровны. На экспертизу в Коллегию иностранных дел отдавали и письма, написанные самозванкой, как она утверждала, «по-персидски» (444, 609).

В качестве постоянного консультанта Тайной канцелярии по вопросам литературы и веры подвизался большой знаток и любитель литературы и сыска архиепископ Феофан Прокопович. В 1732 г. он дал заключение по делу монаха грека Серафима, а именно по материалам допросов монаха в Тайной канцелярии составил целый трактат, в котором так резюмировал наблюдения над личностью Серафима: «Серафим — человек подозрительный к шпионству и к немалому плутовству». Этого было достаточно, чтобы в приговоре Серафиму это заключение стало главным обвинением и он был сослан на вечное житие в Охотск (322, 404–415). Сотрудничество Феофана с политическим сыском продолжалось всю его жизнь. В этом с ним мог соперничать только Феодосий Яновский (43–3, 20–23). Впрочем, без услуг интеллектуалов политический сыск никогда не обходился.

В расследовании дел о магии политический сыск добивался не только признаний, но особенно усердно искал *у л и к и*, которые являлись одновременно опасными для государя атрибутами магических действий. Ими признавались особые книги, волшебные (заговорные) письма, магические записки, таинственные знаки и символы. В 1720 г. в Тайной канцелярии рассматривалось дело супругов — лифляндских крестьян Анны-Елизаветы и Андриса Лангов из-под Пернова (Пярну). Анна-Елизавета как-то заметила на краю старого пивного чана, стоявшего в закрытом от посторонних месте, «черные непонятные литеры», которые она, себе и мужу на горе, списала, а потом о них рассказала соседям и родственникам. Супругов схватили по доносу соседа и оба умерли после пыток в Петропавловской крепости. Из дела неясно, о чем спрашивал их начальник Тайной канцелярии П.А. Толстой, но думаю, что он задавал типичные для сыска вопросы: «Для чего они это затеяли и кто были их сообщники?» (10–1, 160; 664, 33–37).

По крайней мере, именно так допрашивали монаха Порфирия, которому в 1720 г. явилось некое небесное видение. Монах не только рассмотрел появившиеся на небе символические фигуры (мечи, кресты и т.д.), но и занес их на бумагу, что и стало причиной его несчастий и гибели на Соловках

(8-1, 32; 664, 37–43). Тогда же в Преображенском приказе расследовали дело астраханского подьячего Григория Кочергина, написавшего заговорное письмо с проклятием Петру I (88, 339 об., 322, 80). Подобная же «волшебная тетрадь» с заклинаниями против императрицы Елизаветы и членов ее семьи оказалась у следователей Тайной канцелярии в 1756 г. и стала предметом длительного расследования (180, 35).

Уликами кроме книг, тетрадей с заговорами являлись и разные косточки животных (чаще всего — лягушек, мышей, птиц), волосы, травы, корни, скрепленные смолой или воском. В 1754 г. панику при дворе императрицы Елизаветы вызвала странная находка в государевой опочивальне: корешок в бумажке. Это был верный признак подброшенной кем-то «порчи» (322, 44). Раньше, в 1735 г. в Тайную канцелярию доставили Андрея Урядова, который «явился приличен в ношении при себе потаенно, незнаемо для каких причин, коренья в воску и трав, которые при оном доношении объявлены в Тайной канцелярии. И по осмотру явилось небольшой корень, облеплен воском, да от корня маленькой обломок, да два маленькия куска травы, из которых один облеплен воском». Урядов долго «запирался» и лишь в застенке показал, что коренья и травы как средство от лихорадки дал ему знакомый тверской ямщик и «от того-де была ему, Урядову, польза».

Это дело примечательно тем, что Тайная канцелярия обратилась к специалистам-аптекарям, задав им по поводу корешка и травы два вопроса: «Что это такое? и может ли оно принести вред человеку?» Ответ аптекарей внесли в дело: «По свидетельству аптекарем показано, что оных трав и кореньев что не целыми плантами, познать невозможно, а чтоб вред оными учинить, того-де чаять не можно» (504, 108–109). Здесь мы видим, что сыск искал не магическую подоплеку кореньев, а, по-видимому, попросту отраву. Из дела Преображенского приказа конца XVII в. также следует, что обнаруженные у арестованного корешки отправили на экспертизу в Аптекарский приказ, и аптекари отвечали, что «коренья познать невозможно для того, что те коренья обломались» (322, 66). По подобным делам можно заключить, что следователи политического сыска XVIII в., не отрицая магического воздействия темных сил на людей, были все же, по словам М.И. Семевского, «отчаянными скептиками, ни во что сверхъестественное не верили». Это видно и по вопросам, которые они задавали пойманным колдунам, волшебникам, прорицателям. Их всех безжалостно тащили на дыбу, били и заставляли, как монаха Порфирия, признаться, что все он «показал ложно, будто видел на небе видения, чему и рисунок учинил». Кликуши, на которых в народе смотрели как на блаженных, попадали на дыбу и также слышали традиционный

вопрос: «С чего у тебя сделалась та скорбь, не притворяешься ли, кто научал тебя кричать?» (664, 36, 44, 46).

Впрочем, в допросах по магическим преступлениям видна некая двойственность, о которой я уже писал в главе о государственных преступлениях. С одной стороны, волшебников разоблачали как шарлатанов, с другой — в их сверхъестественные способности наносить ущерб все-таки верили. В сопроводительном указе о сосланном в Якутск волшебнике Максиме Мельнике сказано, что его нужно содержать прикованным к стене и «не давать ему воды, ибо он... многажды уходил в воду» (655, 6). Двойственность подхода власти к волшебству особенно хорошо заметна по указу 25 мая 1732 г., в котором прямо говорится, что «некоторые люди, забыв страх Божий и вечное за злые дела мучение, показывают себя, будто бы они волшебства знают и обещаются простым людям чинить всякие способы». Власть считала, что «мнимые волшебники» только обманывают людей и обогащаются за счет простаков. Однако обещанное наказание за это надувательство было самое страшное: «Оные обманщики казнены будут смертию, сожжены». Традиционная жестокость наказания колдунов и знахарей проистекала из убеждения, что магические силы, несмотря на успехи наук, все же действуют, дьявол не дремлет. Существование нечистой силы и ее агентов среди людей, в том числе и среди верноподданных России, рассматривалось как вполне реальное. Общение же с этой силой люди признавали страшным государственным преступлением. Дело Ярова, сожженного в 1736 г. за волшебство, свидетельствует, что нормы Уложения 1649 г. об уничтожении огнем колдунов в XVIII в. оставались в силе — Ярова казнили не как обманщика и шарлатана, а как чародея. За такое же преступление в 1766 г. приговорили к сожжению и волшебника Козицына (643, 386). Это дело, начатое в 1756 г., заключалось в том, что Козицын обвинялся многими соседями в «порче» женщин, на которых он насылал разные болезни, от чего эти женщины умирали или бились в судорогах и в беспамятстве называли Козицына «батюшкой». Поначалу дело, рассмотренное в воеводской канцелярии, намеревались закрыть из-за полного отрицания Козицыным своей вины даже «под пристрастием битья батогами». Тогда же церковные власти потребовали увещевания Козицына священником (215, 240—241).

На увещании Козицын, человек, по-видимому, психически нездоровый, неожиданно дал показания на своего соседа Гордея Карандышева как на учителя чародейства. Якобы он Козицыну «показал у себя в доме пятерых дьяволов, которые невидимо в избе были» и сказал, что «ежели ты будешь людей портить, то оные дьяволы в том тебе будут послушны». Позже, на следствии, Козицын показал, что «работал» в основном с тремя дьяволами, ко-

торых он приводил в свое зимовье. Они появлялись перед ним в виде существ «малорослых, подобных человеку, у которых по всему телу шерсть и сами все черные, а головы у них, против человеческих, вострыя, а одежды на них не было, а на спрос говорили человеческим языком, по-русски... и потом, когда он, Козицын, намерение имел кого испортить, и дьяволы являлись и наговоривши волшебными, упоминая дьявола, словами, хотя б на хлеб печеный, на муху живую и прочее, чтоб такое не было, с ними посылал, сказывая кого испортить, именно положить в питье, и как выпьет, то б те люди кричали и бились, и они, дьяволы, в том действовали, а ныне он портить не умеет, и все то учение забыл, и дьяволы к нему не являются». На пытках Козицын «сговорил вину» с Карандышева, которого пытали тоже, и указал на другого своего «учителя». Найти его не удалось, но на четырех пытках (71 удар кнута!) Козицын подтвердил последнюю версию показаний, и в 1763 г. Яренская канцелярия вынесла приговор: «Означенному чародею и волшебнику Андрею Козицыну, который имел волшебство и заговор с дьяволом, и портил означенных женок, и затейно говаривал Гордея Карандышева, при собрании народа, дав время к покаянию, учинить казнь смертную сжением в срубе потому, что он, Андрей, в том изобличился подлинно и показывал, что он их портил с злости, дабы на то смотря другие чинить не дерзали и от таковых злодеев православных христиан прежде времени смерти не приключилось». Смертная казнь позже была заменена битьем кнутом и ссылкой «за его тяжкия и малослыханная злодейственные вины» в Нерчинск (215, 243–244). В то же время Екатерина II писала А.А. Вяземскому: «Куды как бы я любопытна была видеть ваши колдуны. Ну как этому стать, чтоб пуская по ветру червей за человеком, он бы оттого умер? И подобным басням в Сенате верить и потому осуждают! Виноваты они в том, что от бога отреклись, а что чорта видели, то всклепали на себя» (559, 1084–1085). Этим письмом императрица, в сущности, прекратила в России охоту за ведьмами.

Чиновники сыскного ведомства, вероятно, как и все люди XVIII в., верили в Бога, но следы их работы говорят, что они были полностью лишены характерной для многих православных христиан того времени набожности, трепетной веры в сверхъестественное, чудесное. Когда сыскные чиновники сталкивались с различными пророками, блаженными и святыми, то обычно проявляли скепсис и даже цинизм. Цинизм вообще характерен для политического сыска всех времен. Всякого попавшего в Тайную канцелярию носителя чудесного там встречали неласково и поступали с ним как с ложным извечником. Законодательной основой для таких действий сыска служила знаменитая резолюция Петра I на запрос Синода о том, как поступать

с людьми, объявившими чудо. «Когда, — вопрошал Синод, — кто велит для своего интересу или суетной ради славы огласить священникам какое чудо или пророчество притворно и хитро чрез кликуш, или чрез другое что, или подобное тому прикажет творить суеверие?» Петр отвечал: «Наказанье и вечную ссылку на галеры с вырезанием ноздрей» (481, 483).

После допроса объявителя чуда обычно отправляли в пыточную камеру, и там человек признавался, что «явилось б у т т о ему был некоторый глас и чуда вымысля, солгал на Бога». Это цитата из дела Козьмы Любимова за 1721 г. В 1725 г. «прорицатель» Василий Тимофеев «с розысков винился, что оное все затеял собою ложно», как и в 1756 г. Василий Щербаков, который, оказывается, «вымышленно солгал на Святого духа, якобы Святой дух ему приказал» рассказать нечто самой государыне Елизавете (8-1, 38 об., 306; 481, 486; 485, 289: 7-3, 364). Дела о чудесах расследовались как обычные политические дела по принятым шаблонам, а снятые в «роспросах», на очных ставках и с пытки показания тщательно сопоставляли и анализировали. В 1732 г. в Тайной канцелярии расследовали дело отставного рейтара Василия Несмеянова, объявившего о явлении ему чудес Николая Чудотворца. А.И. Ушаков больше всего интересовался, при каких же обстоятельствах произошло явление этого чуда. Вскоре он обнаружил «несходства» в показаниях медиума: сначала тот показывал «якобы оные (чудеса. — Е. А.) ему были наяви от которых-де чудес и веки у него закрылись и глазами не видал, а потом... показал он, Несмеянов, якобы оные чудеса были ему в сновидении и веки у него закрылись и глазами не видал после того сновидения, а с розыску показал, что об оном о всем показал он, Несмеянов, вымысля собою для того надеялся, что тому ево, Несмеянова, ложному показанию будет поверено... а после того розыску, будучи в болезни, при отце духовном, после исповеди, утверждался на прежних своих показаниях».

И далее в цитируемой записке Ушакова об этом деле говорится: «Ис чего по ево переменным речам признается, что о вышепоказанных мнимых себе чудесах показывает он не по научению ль чьему?, ибо против показания ево, Несмеянова, о чудесах якобы бывших ему от чудотворца Николая статца тому никак невозможно». О другом своем «клиенте», слепом монахе Михее, прорицавшем в 1745 г. грядущее взятие Россией Константинополя, Ушаков написал неволью в рифму: «Будто бы было ему некоторое во сне видение и показывал, но тому его показанию верить и за истину принять не можно, понеже, как видеть можно, что о том он показывает ложно, вымышленно, знатно в таком рассуждении, что тому его показанию имеет быть поверено и чрез то мог бы он получить себе какое награждение. Того ради ко изысканию в нем сущей правды, сняв с него монашеский чин, привесть его

в застенки и, подняв на дыбу, распросить накрепко с какого подлинно умыслу и для чего о вышесказанном ложно он показывает и собою ль то вымыслил или кто о том ложно показывать его научил?» (42-2, 52; подробно см. 481, 491, 483 и др.). Примерно то же было сказано в приговоре о монахе, видевшем и зарисовавшем какие-то «знаки на небе»: «Ложному плутовству верить не мало не подлежит» (181, 185—186).

Но так было не везде. В провинции свято верили в нечистую силу и ее могущество. В 1737 г. в Томской воеводской канцелярии воевода Угрюмов лично «допрашивал» сидевшее в утробе 12-летней калмычки Ирины «дьявольское навождение». На уловку этой легкомысленной девицы-чревоушательницы попалось еще несколько солидных людей. Дело получило огласку и вызвало тревогу в столице. Специальная комиссия быстро распутала историю с чревоушанием, Ирина была подвешена на дыбу, ее били розгами, и вскоре она призналась, что после какой-то болезни появилось «в утробе у нее... ворчанье, подобно как грыжная болезнь», и когда воевода «спрашивал дьявола: “Кто-де ты таков?”», в то время отвечала она своим языком, тайно скрывая себя, а имя дьяволу умыслила сказать Иваном Григорьевичем Мещериновым в такой силе, что хозяина ее Алексея Мещеринова отец был Иван Мещеринов». Все участники этого дела по приговору Тайной канцелярии 1739 г. «получили по сереге»: были «в назидание от легковерия» наказаны. Сама же Ирина за «ложный вымысел дьявола» была бита кнутом и с вырезанием ноздрей сослана в Охотск (601, 286—287; 322, 149—166). Словом, в сыске с этим делом разобрались как заправские атеисты.

Любопытно, что те дела, которые по всем понятиям тех времен бесспорно свидетельствовали о вмешательстве неких сверхъестественных сил, сыск старался замолчать. В 1724 г. началось дело великолуцких помещиков братьев Тулупьевых. Один из них, Федор, в 1721 г. серьезно заболел, после чего он онемел. Сам лейб-медик Блюментрост, освидетельствовав больного, обнаружил у него «паралич глотки». Тулупьева отставили от службы и разрешили уехать в свое поместье. Однако через три года он во сне неожиданно упал с славки и тут вновь обрел голос. При этом он рассказал, что во сне к нему якобы приходил некий старичок, который отвел его сначала в церковь, потом на гору, а там толкнул Тулупьева вниз, после чего тот очнулся на полу и закричал от страха. Слух о чудесном исцелении Тулупьева пронесся по уезду, Федора и его брата-свидетеля происшедшего, взяли в Синод, где их допросили, как и еще нескольких свидетелей.

Ни магии, ни колдовства в деле не обнаружилось, диагноз Блюментроста был авторитетен, Тулупьевы характеризовались окружающими как люди верующие, непьющие и честные — одним словом, произошло явное чудо. Об

этом глава Синода Феодосий донес Петру I. Вскоре, вернувшись в Синод, он приказал записать волю самодержца: «Дело о разглашении про разрешение немоты уничтожить», т.е. закрыть (778, 101–102).

Так же осталось нерасследованным в 1765 г. донесение лекаря Рампау, который, ночуя в доме одной крестьянки в Шацком уезде, стал свидетелем того, как овцы «с хозяйкою стали человеческими голосами сквернословить, тихо говорить более двух часов... отчего я, — пишет ученый лекарь в своем доношении, — от великого страха и ужаста принужден из избы выбежать за солдатом, который ночевал в сарае». Когда лекарь и солдат вернулись в избу, то «овцы паки стали, при помянутом солдате, человеческим голосом говорить, меня по имени, отчеству и фамилии называют, и о себе имена человеческие сказывают: один из их — Федор, а двое — Гаврилы». После «знакомства» овцы стали просить хозяйку: «Алена! Выпусти нас!» (444, 725–726).

Допросные пункты 1733 г. сенатскому секретарю Григорию Баскакову ярко характеризуют стиль мышления людей Тайной канцелярии, видевших в самых обыкновенных словах скрытый (читай — преступный) смысл, а в каждом человеке — возможного государственного преступника. Весь проект Баскакова-прожектера, ветерана канцелярского, дела с характерным для него полемическим задором, общими рассуждениями на злобу дня, в сыске восприняли как типичный донос. Баскаков с горечью писал в своем проекте, что заветы Петра Великого об укреплении кадров коллегий дворянами забыты, что никто о подготовке камер-юнкеров из недорослей не печется, не смотрит также и за грамотностью чиновников. Преподавание же молодым подьячим поставлено из рук вон плохо, хороших среди необразованных и неправедных учителей можно пересчитать по пальцам и что, наконец, от этого возможен ущерб как государству, так и простым душам, которые погибнут без заботы, рачения о них властей. Вся эта прожектёрская публицистика секретаря вызвала следующие вопросы сыска, часть которых, за чрезмерной подробностью, опускаю: «...4. Неправедных и невежливых учителей кого именно ты знаешь и в чем неправое учение происходило, и почему об оном ты знаешь?; 5. Каких именно добрых учителей ты знаешь и почему, и разговоры, и рассуждения о чем ты с ними имел, и когда, и что ис того чинить вымышляли? 6. В чем и кто имянно не смотрят и не рачат [так], что простые души гибнут и какие, и отчего, и почему ты о том знаешь?» (50, 23).

Естественно, что и юмора в таком заведении, как Тайная канцелярия, не понимали. По делу баронессы Соловьевой в 1735 г. в ее доме взяли все письма и по каждому непонятному следователям отрывку составили вопросы, на которые ей пришлось отвечать. Так, Соловьеву спросили, что имел в виду ее зять, когда писал к ней о каких-то рябчиках: «11. Неронов так до-

шутился, что на Олонец рябчиков стрелять улетел, да и складно сделалось, что он над теми пошутил, кои в той же улице, где ряпчик живет». На вопрос, что это значит, Соловьева отвечала: «Написал о том оной ее зять Гаврила Замятинин Коммерц-коллегии о асессоре Василье Неронове, а над кем и над чем оной Неронов шутил и для чего на Олонец послан, того она, Степанида, не знает» (55, 12).

Однако не следует представлять сыскных чиновников тупыми, примитивными кнутабойцами. По делам сыска видно, что порой они умели найти тонкий подход к подследственным. За подследственным внимательно наблюдали во время допросов и пыток, отмечали, как он реагирует на сказанные слова, предъявленные обвинения, как ведет себя перед лицом свидетелей на очной ставке. При допросе в 1732 г. заподозренного в сочинении подметного письма монаха Решилова ему дали прочитать это письмо, а потом Феофан Прокопович, ведший допрос вместе с кабинет-министрами и Ушаковым, записал как свидетельство несомненной вины Решилова: «Когда ему при министрах велено письмо пасквильное дать посмотреть, тогда он первое головою стал качать и очки с носа, моргая, скинул, а после и одной строчки не прочет, начал бранить того, кто оное письмо сочинил» (775, 473).

Вообще, Феофан Прокопович был настоящим русским Торквемадой. Его биограф И. Чистович справедливо писал, что «инструкции, писанные Феофаном для руководства на допросах, составляют образец полицейского таланта: "Пришед к [подсудимому], тотчас нимало нимедля допрашивать. Всем вопрошающим наблюдать в глаза и на все лице его, не явится ли на нем какое изменение и для того поставить его лицом к окошкам. Не допускать говорить ему лишняго и к допросам ненадлежащаго, но говорил бы то, о чем его спрашивают. Сказать ему, что если станет говорить "Не упомяну", то сказуемое непамятство причтется ему в знание. Как измену, на лице его усмотренную, так и все речи его записывать» (775, 481).

Как было сказано выше, Екатерина II писала, что у Шешковского есть некий дар разговаривать с простыми людьми и добиваться признания. Под стать ему были и другие следователи. В инструкции 1774 г. А.И. Бибикова капитану А.М. Лунину, ведущему допросы пугачевцев, сказано: «Испытывайте достоверным исследованием показания сих людей, их свойства, разум и намерения, различая простоту, невежество, грубость от зловредного коварства, злоухищрения, упрямства и злости».

Без сомнения, следователи сыска XVIII в. неплохо знали человеческую психологию вообще и психологию «простецов» в частности. Бибиков считал правильным применять при расследовании «методику контраста», чередуя тактику «добротного» и «злого» следователя: «Для изыскания самой истины при

исследовании и допросах нужна вам будет вся ваша способность и искусство, чтоб кстати и у места употребить тихость и умеренность или самую строгость и устрашение, дабы узнать представленного пред вас свойство и чистосердечные показания, так равномерно скрытность и коварных, тож и отчаянных и упорных привести на стезю откровенности, изведывая из них истину, а где нужно будет показать им в полной силе все устрашения и строгость» (418-3, 380—381).

По некоторым делам мы можем судить, что следователи политического сыска умело интерпретировали полученные в допросах и на пытках данные. Вне их внимания не оставались даже мельчайшие, но очень важные для окончательных выводов факты, учитывали они и расхождения в показаниях сторон и свидетелей. Они легко разгадывали многие уловки подследственных. По делу Крутынина и Наседкина было вынесено решение: «В споре между ними более не розыскивать, понеже как оной Крутынин с подъему и с трех розысков, также и помянутой Наседкин с подъему и трех розысков всякой утверждался на своем показании и правды из них кто виновен не сыскано, но...» — и далее следовала та зацепка, которая, по мнению Ушакова, позволяла довести это дело до окончания: «Токмо оной Наседкин со вторичного и с третьего розысков показал, что разве-де он, Наседкин, говорил такие слова... а те слова слышал он, Наседкин, от солдат, а которого полку и как их зовут, не показывал». Эта фраза («разве-де он... говорил»), сказанная Наседкиным в сослагательной, неопределенной форме и решила его судьбу. Вывод Тайной канцелярии по его делу таков: «По чему видно, что означенное (Наседкин. — Е. А.) затевает, не хотя против показания помянутого Крутынина объявлять истины, и за то послать его, Наседкина, в Сибирь на серебряные заводы в работы...» (42-2, 162). За фразами «почему признается» или «почему видно» стоят весьма глубокие наблюдения по существу дела.

Значительно труднее приходилось сыску с людьми образованными, умными. Для того же Шешковского, как и для князя Прозоровского, Николай Новиков оказался трудным «клиентом», он умел защищаться, уходить от расставленных ему ловушек и привычных приемов сыска. Сложным оказалось и дело самозванки — «дочери Елизаветы Петровны». Князь А.М. Голицын, ведший это дело, прибегал к различным уловкам и нестандартным приемам, чтоб хотя бы понять, кем же на самом деле была эта женщина, так убежденно и много говорившая о своем происхождении от императрицы Елизаветы и Алексея Разумовского, а также о своих полуфантастических приключениях в Европе и Азии. Голицын допрашивал самозванку по-французски, но, пытаясь выяснить ее подлинную национальность, неожиданно

перешел на польский язык. Она отвечала по-польски, но было видно, что язык этот ей плохо знаком. Из этого Голицын сделал вывод, что она явно не полька. Стремясь уличить самозванку (говорившую, что она якобы бежала из России в Персию и хорошо знает персидский и арабский языки), Голицын заставил ее написать несколько слов на этих языках. Эксперты из Академии наук, посмотрев записку, утверждали, что язык записки им неизвестен (435, 138).

Проведя много часов на допросах самозванки, А.М. Голицын пытался изучить ее характер, выяснить, какие конечные цели были у преступницы. Оставленные им описания и характеристика этой авантюристки не лишены глубины и выразительности: «Сколько по речам и поступкам ее судить можно, свойства она чувствительного, вспыльчивого и высокомерного, разума и понятия острого, имеет много знаний... Я использовал все средства, ссылаясь и на милосердие Вашего императорского величества и на строгость законов, выясняя разницу между словесными угрозами и приведением их в исполнение, чтобы склонить ее к выяснению истины. Никакие изобличения, никакие доводы не заставили ее одуматься. Увертливая душа самозванки, способная к продолжительной лжи и обману, ни на минуту не слышит голоса совести. Она вращалась в обществе бесстыдных людей и поэтому ни наказания, ни честь, ни стыд не останавливают ее от выполнения того, что связано с ее личной выгодой. Природная быстрота ума, ее практичность в некоторых делах, поступки, резко выделяющие ее среди других, свелись к тому, что она легко может возбудить к себе доверие и извлечь выгоду из добродушия своих знакомых» (640, 429; 335, 138).

Нет сомнений, что все расследование в политическом сыске проходило на фоне сильного *морального давления* следователей на подследственных. Это видно из многих документов следствия, отражено это и в законодательстве. В проект Уголовного уложения 1754 г. была внесена статья, согласно которой следователей предупреждали, что их задача — найти «самую истину», не лишая подсудимого возможности оправдаться, «и для того им на приводного, прежде времени не кричать, ниже его при первом начале пыткой страшать или побоями до него касаться, а особливо на таких людей, которые не подлаго состояния» (596, 15). Не забудем, что это только пожелание, выраженное в проекте не вступившего в силу закона. На самом деле все было как всегда: «приводных» бранили, унижали, били, нагоняли на них страх непрерывными угрозами. Не брезговали в политическом сыске и *шантажом*, особенно если речь шла о родственниках упорствующего преступника. В

1741 г. в указе Э.И. Бирону сказано: «А ежели хотя малое что утаите и в том обличены будете, тогда как с вами, так и с вашею фамилиею поступлено будет без всякого милосердия» (462, 211). Допросы родственников вообще были сплошным шантажом, и люди, видя, как допрашивают их близких, оказывались в сложнейшем положении. Француз аббат Шапп д'Трош писал о «Слове и деле», что после этой магической фразы «все присутствующие обязаны задержать обвиненного: отец помогает задерживать сына, сын — отца, и природа молча страдает» (529а-4, 323). Так это и было.

По-разному вели себя люди в сыске, когда шла речь об их родных. По многим сыскным делам видно стремление допрашиваемых выгородить, «очистить от подозрений» своих детей, жен, родственников, просто более юных и слабых, тех, «кого жалче». Так, несмотря на жестокие допросы и пытки в 1697 г., А.П. Соковнин стоял до конца, очищая своих замешанных в заговоре против Петра I, сыновей и брата. В конечном счете он своего добился: брата Федора сослали «в дальнюю деревню», а дети попали в провинциальные полки, а не в сибирскую каторгу. И это было немислимо легкое наказание для родственника казненного государственного преступника. Во время дела 1704 г. товарищи по тюрьме извечника крестьянина Клима Ефтифеева рассказали следователям: как только он увидел, что в приказ привезли его жену и молоденькую сноху, то сказал, что готов отказаться от извета: «Теперь-де мне пришло, что приносить повинную. Пропаду-де я один, а жену и сына не погублю напрасно» (212, 99—100, 196).

Обвиненная в 1743 г. в заговоре с австрийским посланником де Ботта Н.Ф. Лопухина на очной ставке с собственным мужем С.В. Лопухиным выгораживала его, ссылаясь на тот бесспорный факт, что обо всех делах с посланником она разговаривала по-немецки, а с этим языком ее муж не знаком. Кстати, в том же положении оказался участник процесса по делу Столетова, князь Сергей Гагарин. Не без мрачного юмора исследователь этого дела М.И. Семевский писал, что незнание иностранного языка «спасло его, может быть, от урезания собственного» (660, 37, 39).

В 1720 г. Приказ церковных дел — главное инквизиционное учреждение в Москве — прислал в Тайную канцелярию колодника, сына знаменитого протопопы Аввакума Ивана Аввакумова, который был арестован как раскольник в 1717 г. по доносу священника. Он был допрошен Стефаном Яворским. После этого Иван дал клятву верности официальной церкви, обещал, что «прежде бывших еретиков и противников святых церкви и им последовавших, и ныне последующих, проклинает же и анафеме предает». Особо потребовали с него клятвы — отречения от отца: «Також и отца своего Абакума, он, Иван, за православного не преемлет и вменяет ево за сущего

церкви святой противника и всех его злых дел отрицается» (24, 10). Но Ивану все же не поверили, выпустили на поруки в 1718 г. с обязательством являться для отметки в приказ. В 1720 г. он был вновь арестован и отправлен в Петербург. Появление в Тайной канцелярии сына Аввакума вызвало там особый интерес, и Толстой вместе с Феодосием его допрашивали. И хотя Иван вновь клялся в верности православной церкви, которая сожгла его великого отца, доверия к нему не было. Феодосий Яновский, чтобы не нести за Ивана ответственности, вообще отказался принять Аввакумова в Невский монастырь и советовал своему приятелю Толстому послать колодника «на вечно житье в монастырь, куда надлежит... от себя из Тайной канцелярии». В письме Феодосия была вложена особая записка: «А я советую вашему благородию сичевых (подобных. — Е. А.) отсылать на житье в Кирилов или в Каменный монастырь, понеже оные монастыри к сичевым случаям весьма удобны». Но 7 декабря 1721 г. Иван Аввакумов умер в крепости (325-1, 120—127; 24, 16).

Выше уже сказано о старообрядце Иване Павлове, который в 1737 г. добровольно пошел на муки в Тайную канцелярию. До Преображенского приказа его провожала жена Ульяна. Из допросов следует, что по дороге в Преображенское Иван уговаривал Ульяну пойти с ним до конца, «а им-де от Бога мзда будет», но когда жена отказалась, то ругал ее и «что с ним не пошла [и] плакал». На допросе же Иван утверждал, что жена его давно умерла. Когда сыск нашел женщину и заставил ее признаться в том, что муж звал ее с собой в Преображенское, Иван стал выгораживать Ульяну. Он сказал, что с собой он ее не звал, что она — пьяница, «старую веру хотя содержала, да некрепко, потому, что пивала хмельное, чего ради делами своими она умерла», но следом признался о главном: «Более-де думал он, Павлов, ежели о жене своей он покажет, что она жива, то-де возмут ее за караул и также-де, как и он, Павлов, будет неповинно (т.е. как нераскольница) страдать».

С Павловым сыску было непросто — он, по словам следователей, «весьма стоит в той же своей противности и в том и умереть желает». Поэтому его увещевал священник, который ставил ему в пример Ульяну, быстро рассказавшую в своих заблуждениях. На это старообрядец отвечал: «Вольно-де вам, волкам, жену мою прельщать, и жена моя как хочет, так и делает, а я стою и впредь стоять буду в том, как в тетради [написано]...» Тем самым он вновь стремился спасти от пытки жену. Конец его трагичен: в январе 1739 г. караульный донес, что Павлов «сделался болен». Попытки нового увещания священником результата не дали — старообрядец был упорен и исповедоваться отказался. Но умереть ему спокойно не дали. Кабинет-министры Остерман, Черкасский и Волынский приказали тайно казнить его в застен-

ке, а тело бросить в реку, что и сделали 20 февраля 1739 г. Брат его Кондратий умер от пыток через месяц (710, 114–132).

В ноябре 1748 г. императрица Елизавета решила судьбу Лестока, сидевшего под домашним арестом. Императрица, недовольная его ответами на первом допросе, подписала указ, который следователи прочитали Лестоку. В нем говорилось: «Я хотела за прежние твои заслуги, а не за нынешние твои бессовестные поступки всякую милость показать и для того велела на дому арестовать, а не в крепости. Но ты своим непокорством, что ни в чем правды не сказываешь, то принуждена все забыть твои услуги, видя тебя столь бессовестного так, как злодея спрашивать и в город посадить с женою, и разыскивать вас всех повелела». Уже само по себе заключение в крепость, как мы видели выше, было серьезным испытанием для человека. Но тут Елизавета недвусмысленно предупреждала, что розыск коснется и жены Лестока. Это был умело рассчитанный болезненный для Лестока удар — все знали, что 56-летний Лесток безумно любит свою молодую жену Аврору-Марию. И он в крепости действительно жестоко страдал и беспокоился о жене. Охрана перехватила письмо Лестока к Авроре-Марии, в котором он умолял ее послать о себе весточку. После этого следователи допустили к Лестоку жену, но только для того, «чтобы она тово своего мужа увещала, дабы он о чем был в Тайной канцелярии спрашиван, показал сущую правду» (760, 54–56).

Не всегда жалость и любовь могли устоять перед моральными и особенно физическими муками. В 1707 г. Сергей Портной только с пытки сказал, что слышал «непристойные слова» о Петре I от своего племянника Сергея Балашова, однако не объявил о них ранее «и з ж а л о с т и к племяннику своему» (88-1, 186). Другие люди на допросах и в пытках признавались, что не донесли или «не показали» на родственников и друзей, «ж а л е я х ...» (212, 177). В 1732 г. посадский человек Никита Артемьев со второй пытки «винился в сказывании «непристойных слов». Он показал на... вдову Татьяну, в чем и она вдова винулась, почему означилось явно, что намерен был он, Артемьев, о том скрыть, понеже сам показал, что на оную вдову не показывал он, сожалел я ее» (42-2, 164).

В 1699 г. в Преображенском приказе развернулась настоящая драма. Тогда Ромодановский начал расследовать дело мужа и жены Тимофея и Марфы Волохов. На Волоха, стрельца Стремянного полка, донес его квартирант Матвей Самопальщиков, который сообщил о «непристойных словах» хозяина. Своей свидетельницей он назвал жену Волоха Марфу. Поначалу, в очной ставке с изветчиком, Марфа признала извет, но вскоре убедившись, что сам Волох полностью отрицает вину, заявила: мужа «поклепала напрасно... со страха». Ее трижды пытали, дав ей 20, 15 и 24 удара кнута, но на всех

пытках Марфа утверждала, что муж «непристойных слов» не говорил. Формально с этими показаниями она прошла три пытки и тем «очистилась». Но ее пытали в четвертый раз, и с прежним результатом — женщина «заперлась». После пытки изветчика Самопальшикова (он также твердо стоял на своем извете) и пытки самого Волоха (упрямо отрицал извет) Марфа была поднята на дыбу в пятый раз и «зжена огнем...», но и «с огня говорила те же речи». Мучения пошли по новому кругу: пытали изветчика и Волоха, они от своих показаний не отреклись. Так продолжалось и в следующем 1703 г. Дело обрывается на том, что к 1704 г. мужчины выдержали по шесть пыток на дыбе, а Марфа — семь (!) да еще была «зжена огнем». По всем обстоятельствам дела видно, что если бы Марфа вернулась к своему первому показанию и подтвердила извет, дело было бы закончено даже при полном записательстве ее мужа. Женщину бы освободили от дальнейших нечеловеческих мук. Однако Марфа избрала другой, поистине крестный путь. Пошла она по нему все-таки движимая иными, чем расчет, соображениями (212, 66–67; 89, 394). Естественно, такие случаи очень редки. Больше известно, как жены давали показания на мужей и мужья на жен, подобно Ивану Борисову, который в 1720 г. «жену свою Ирину Борисову уличал в произнесении непристойных слов» (89, 475). Осуждать этих людей нельзя — ужасы пытки ломали самых сильных и мужественных из них.

В сыск попадали *сумасшедшие*, люди с расстроенной психикой, но они оказывались там не потому, что были сумасшедшими, а потому, что имели несчастье бредить на политические, «непристойные» темы. Там же оказывались и дерзкие богохульники, находившиеся в состоянии «иступления» — буйного помешательства. Попадали в сыск и те, кто видел чудесные видения, а потом спешил предупредить власти о грядущем конце света, о необходимости срочно построить на каком-то, указанном ему свыше месте церковь. Эти люди, движимые неведомыми «гласами», шептавшими им, как в 1726 г. попу Василию Тимофееву, разные слова: «Иди и повеждь о сновидении царице» — приходили в Тайную канцелярию или ко дворцу и настаивали донести самодержице, чтобы она «изволила сама смотреть за судьями и судами», что нужно срочно у каждой пети и во всех нужниках во дворце поставить часовых, «понеже в том есть великое опасение» или что светлейшего князя А.Д. Меншикова нельзя допускать во дворец, потому что Пресвятая Богородица сказала: «Меншиков, пребыв з женою своею, не обмываетца и ездит к Ея величеству в нечистоте, и на Полтавской баталии был он в такой же нечистоте, отчего на той баталии побито много силы» (8-1, 301, 307 об., 321; 81, 4–5).

Мания кладоискательства привела в 1747 г. в Тайную канцелярию отставного капрала Илью Окулишина, как и многих его «коллег». В сыске он заявил, что готов тотчас показать в лесу погреб, который «засыпан землею, а в том погребу стоит котел золота, а другой серебра» (8-4, 33; 324 и др.). В 1754 г. там же допрашивали солдата Петра Образцова, который доверительно рассказывал, что ему явился дьявол и сказал: наследник престола Петр Федорович — «змей и антихрист и оной дьявол невидимо всегда с ним, чрез плечо говорит и шепчет на ухо, а что такое — не знает, и не дает ему Богу молиться» (8-3, 110об.).

Перед следователями проходила вереница людей, обьятых манией величия, бред которых тем не менее подходил под обвинения в самозванстве. Преображенский подпоручик Дмитрий Никитин в 1747 г. сказал, что он сын Петра Великого и сам император, и «когда-де я был при государыне царевне Екатерине Иоанновне пажем, и тогда мне пожаловано тридцать шесть дьяволов и я с ними по Москве ездил, а Михаил Архангел за мною на запятках стаивал». Чуть раньше в Тайной канцелярии появилась посадская баба Лукерья, которая показывала царские знаки на груди и говорила, что она дочь шаха Аббаса (8-3, 137, 139об.). Колодник Калдаев рассказал следователям, что «он в доме видел видение: очевидно влетел в избу ево орел и сел на живот, и говорил человеческим голосом, что будет он... царем Петром Петровичем». В 1739 г. был задержан и доставлен к Ушакову профос Дмитрий Попрыгаев, который шел в Петербург, чтобы открыть императрице «великое таинство... от Духа святого... Родился и ныне есть в скрытне царь Михаил, а где и когда родился по многому спросу не отвечивал, а в роспросе, стоя у дыбы, говорил: «Царевич-де живет в Питербурге и буде ему коронация, а уведомился-де он о том от Святых гор и от вселенских соборов». Попрыгаева пытали, но без всякого толку: «А по подъему и с пытки... говорил тож» (8-3, 137).

В 1788 г. кременчутский купец Тимофей Курдилов убеждал Шешковского, что «имя ему Иван Ульрих... отец его Антон-Ульрих, мать Анна, братьев и сестер не знает», что якобы в 1762 г. к нему, сидевшему в Шлиссельбурге, пришел комендант крепости, пал на колени и сказал: «Ищи случая и спасай жизнь, а я на твое место человека похожего на тебя уговорил». Его-то и убили в 1764 г. как Ивана Антоновича. В Холмогорах он узнал о смерти отца и матери (принца Антона-Ульриха и принцессы Анны Леопольдовны) и о том, что «братья и сестры сосланы на судне «Полярная звезда» в океан». Пойман Курдилов был в Курляндии — видно, шел через всю Европу «домой», в Брауншвейг (198, 461).

Безусловно, в описываемое время сумасшествие — «сумасбродство» — признавалось болезнью. Но XVIII век еще не избавился от представлений о душевной болезни как материальном и даже живом существе, которое, по воле злых сил, вселяется в здорового человека и «коррежит» его, делает «беснующимся». Лечили больных «не в состоятельном уме» различными способами. Для того чтобы изгнать из них беса кропили их святой водой, держали в оковах на освященной монастырской земле, лечили трудотерапией. К 1726 г. относится указ о содержании умалишенных солдат. В военном госпитале они сидели «в особых чуланах», их выводили на работы «скованных на цепях», под караулом. Если же становилось ясно, что они «в надлежащее состояние не придут и по докторскому свидетельству явится та их болезнь неисцелима или покажется (как Святой Синод рассуждает) то их изумление от злых духов», то таких «беснующихся для исправления духовного велено отсылать в Синод» (696, 360).

Несмотря на все это, умалишенные — участники политических процессов считались правоспособными, и, соответственно, они отвечали за свои слова и действия по законам. К душевнобольным, которые кричали «Слово и дело» или публично говорили «непристойные слова», относились так же, как к здоровым преступникам: их хватали, заковывали, чтобы они не проносили «непристойные слова», засовывали им в рот кляп (8-3, 137). Как и здоровых преступников, их допрашивали в «роспросах» и в очных ставках. Данные ими показания пунктуально записывали, несмотря на явную бредовость ими сказанного: «А в Тайной конторе оной Василей говорил: “Жена-де ево, будучи в Москве, изоггла у него, Василия, брюхо и он-де, Василий, от той жены своей ушел и пришел дорогою в кошацье царство, и в том царстве хотели его убить”, причем явился он совершенно безумен» (83, 48). В 1732 г. речи безумного Ивана Лябзина, к которому «приходили демоны», следователи безуспешно пытались записать: «При том же говорил всякие сумасбродные слова, которых к склонению речей писать было невозможно» (42-1, 116). В подобных же случаях в протоколах делались пометы о явных психологических отклонениях подследственного. О Михаиле Васильеве, который в 1748 г. сказал, что он сын Петра I, записано: «А по следствию оной Васильев явился в безумстве» (83, 48). Моисей Денисов в 1746 г. под битьем батогами «произнес слова такие: “Я-де государь и регент”» и «что ево так Бог поставил и... по усмотрению ж Тайной канцелярии оказался он в повреждении ума» (8-3, 110).

Как мы видим, факт сумасшествия устанавливался не медицинским, а розыскным путем: «А по роспросу явилась оная (Агафья Фатеева, 1753 г. — Е. А.) в безумстве». О подследственной Марфе Козминой также записано в протоколе: «По вопросам и по усмотрению явилась в повреждении ума сво-

его» (83, 21 об.). То же сказано и о кадете Елизаре Корякине, который пришел в Вологодскую провинциальную канцелярию и заявил, что он «от Бога пожалован Российским государем» (7, 365 об., 371).

Все случаи такого рода политический сыск тщательно изучал и фиксировал на бумаге. Это объяснимо боязнью пропустить факт государственного преступления, причем ради этого порой следователям приходилось допрашивать совершенно больных людей. В 1748 г. к генералу В.Я. Левашову в Успенском соборе Московского кремля подошел крестьянин Федор Чесной, поклонился ему в ноги и «объявил, что он прислан от Ея императорского величества, чтоб он Ея и.в. на свои руки принял и [она] ныне в Москве за Тверскими воротами, в доме посацкого человека Исайя Дмитриева, вышла за него замуж и ходит-де она... в посацком платье и видел-де он, Чесной, престол в чюлане, обит зеленым сукном». Все это было тщательно записано в протоколе сысчного ведомства и изучено следствием (83, 48 об.).

Приписки «Совершенно безумен», «Явился в безумстве», «В уме поврежден» стоят против имен колодников в особом «Статейном списке» 1748 г. Он был составлен «из дел о присылаемых из разных судебных мест, и приводных в Тайную канцелярию разных людей, кои явились в умах повреждены, и для содержания ко исправлению их в уме, по силе именного указа, состоявшегося в 1735 г. сентября 6 дня, по определению Тайной канцелярии розосланы в разные монастыри» (83, 47 и далее).

Неправомочными в делах признавались лишь те из больных, которые находились в состоянии глубокого душевного расстройства, точнее — те сумасшедшие, чьих речей было невозможно понять, а их бессвязные показания нельзя было нанести на бумагу. Буйное поведение считалось верным свидетельством сумасшествия. Об одном из таких больных охрана сообщила: «Означенный Бармашов сошел с ума и часовые держать не могут и по вся ночь покоя не имеет, кричит и деретца». Безумным признали и солдата Ивана Малышева, который при аресте «выхватил нож и отрезал левую руку и кричал Слово и дело» (42-4, 206; 42-3, 28). После осмотра крестьянина Ананьина в 1792 г. было сказано: «По свидетельству разговоры [его] оказались без связи и умысла, что причтено к роду безумства» (344, 28).

Но и таких больных некоторое время держали под арестом, ожидая, когда они немного «придут в ум» и смогут давать показания. В 1714 г. по делу Никиты Кирилова в Преображенский приказ взяли некоего Степана Зыбина, который оказался в таком «исступлении ума», что содержать его вместе с другими колодниками оказалось невозможно. Тогда его посадили в отдельное помещение, и, как следует из дела, Зыбин шесть дней безумствовал, а потом «стал быть в уме». После этого он был включен в общий сысчной про-

цесс: давал показания, присутствовал на очных ставках, подписывал протоколы, висел на дыбе и т.д. (325-2, 94—99).

Если же буйство подследственного продолжалось и не было симуляцией (а за этим следили), то больного, находившегося «в иступлении ума», отправляли в монастырь «для содержания ко исправлению ума» (83, 48). При этом приписка в резолюции «Д о с р о к у» означала, что сумасшедшего посылали на какое-то время, до выздоровления, точнее — до прихода в то состояние, которое называлось «пришел в ум», «стал быть в настоящем уме». Монастырские власти обязывались тотчас сообщать куда надлежит об улучшении состояния больного. Позже, при Екатерине II и Павле I, в монастыри «для осмотра безумных» посылали чиновника Тайной экспедиции (344, 26). Методы экспертизы сумасшедших были самые примитивные. Во времена Анны Ивановны по просьбе Тайной канцелярии лекарь Христиан Эгидий освидетельствовал на предмет сумасшествия дьячка Афанасьева — лжепророка, говорившего «незнаемым языком». Доктор пришел к заключению: «При осмотре его помешательства ума у него никакого не признается, понеже он всем корпусом здоров, к тому же и по разговорам отвечал так, как надлежит быть в состоянии ума, и, ежели оное помешание ума у него бывает, то подлежит более рассмотреть при вседневном с ним обхождении». Ушаков этим заниматься не стал, он расценил заключение как признание полноценности дьячка и вздернул его на дыбу, на которой преступник признался в том, что пророчества свои выдумал. Его били кнутом и сослали в Сибирь (481, 487—488).

Приблизительны были методы, которыми определяли состояние здоровья колодника в монастыре. Иеромонах Троицкого Калязина монастыря в 1744 г. рапортовал о колоднике Василии Смагине: «По свидетельству их во время божественного пения явился в совершенном уме и сумасбродства никакого от него не имеется». Тайная канцелярия не поверила в скорое выздоровление колодника. В ней отлично знали, что навязанные монахам сумасшедшие были большой для них обузой, от которой монастыри спешили избавиться (700, 5—6).

Возвращенного в сыск больного вновь допрашивали и пытали по сказанным им ранее «непристойным словам», игнорируя то обстоятельство, что слова эти были произнесены как раз «в безумстве». В 1717 г. истопник Евтифей Никонов публично проклинал государя за то, что тот ввел немецкие сумки и башмаки. Приведенный в Преображенский приказ, он оказался в полном «иступлении»: вырывался из рук, «говорил сумасбродные слова», плевал на икону. Тогда его отправили в монастырь. Через месяц архимандрит сообщил Ромодановскому, что припадки сумасшествия у Никонова пре-

кратились. Возвращенного в Преображенский приказ истопника допросили по заведенному на него делу о «непристойных словах», секли кнутом, а затем сослали в Сибирь «на вечное житье» с женой и детьми (89, 643).

В 1723 г. воронежец Иван Завесин, сказавший в пьянстве, что он «холоп государя своего Алексея Петровича», на следствии заявил, будто ничего из сказанного им не помнит, был во хмелю, и, кроме того, «случается, что болезнь находит: бываю я вне ума и что в то время делаю да говорю, того ничего не помню. Болезнь та со мной лет шесть». В подтверждение Завесин привел случай, происшедший с ним в 1718 г., когда он в церкви пролил на пол святую воду и надел на голову крышку от священного сосуда. Факт этот подтвердился, но Завесина все же пытали, задавая ему традиционные вопросы: «С чего он такие слова говорил и не имеет ли он в них каких-нибудь согласников?» (664, 28).

Словом, показания сумасшедших признавались политическим сыском как имеющие полную юридическую силу, и их использовали в «роспросах», на очных ставках и в пытках. Сыск не отказывался и от доносов сумасшедших, видя в них рядовых изветчиков. Княжна Прасковья Юсупова была пострижена и сослана в сибирский монастырь по доносам своей товарки Юленевой, о которой в приговоре сказано, что за донос на княжну она достойна прощения, но так как «она явилась в несостоятельном уме, то чтобы не проговорилась, велено отослать ее в один из девичьих монастырей», а как «выправится в уме», то ее постричь в монахини (322, 374).

В решении Тайной канцелярии 1722 г. о ссыльном работном человеке Иване Орешникове, который обвинялся «в богохулении и в непристойных словах против высокой чести Его ц.в.», сказано, что «он в Астрахани ж в застенке винулся... велено того Орешникова в Астрахани свидетельствовать посторонними не безумен ли он, буде не безумен, то ево в вышепоказанных непристойных словах пытать трижды по чьему он научению [делал], и тех потому ж сыскав спрашивать и пытать же накрепко, а буде он, Орешников, то все учинил собою один и за то по розыску казнить ево смертью в Астрахани жечь». Допросы и пытки показали, что Орешников сумасшедший и во время обострения болезни ругает окружающих и богохульствует. И все-таки, несмотря на психическую болезнь, его казнили. В приговоре о нем сказано: за богохульство «надлежало было тебя сечь, но оной казни Его и.в. тебе чинить не указал для того, что ты временно не в твердом уме бываешь и многжды показывал за собою Его и.в. Слово и дело, а как придешь в память, то тех слов ничего не показывал, объявляя, что все говорил вне памяти. А вместо жжения тебя живого, государь всемилостивейше повелеть соизволил учинить тебе, Орешникову, смертную казнь — отсечь голову» (9-1,

39–40; 664, 86). В 1723 г. сослали в монастырь солдата Евстрата Черкасского, который в безумстве говорил о Петре I, Екатерине Алексеевне и шведском короле «непотребные, весьма поносительные слова». В приговоре о нем сказано: «Велено ево тамо содержать скована за крепким присмотром в работе до ево смерти неисходно. А ежели бы он Черкасский был несумасброден, то бы за вышеписанные ево непотребные слова надлежало ему учинить жестокую смертную казнь, однако оное отставлено для ево крайнего сумасбродства» (29, 66).

В 1736 г. о сумасшедшем Петре Кисельникове, выразившем в своем письме желание лицеизреть государыню и целовать ей ручку, постановили: «Оного Кисельникова ис подлинной правды с какова подлинно умысла и намерения в поданном... письме он написал речи, також и прочее объявлено в том письме он написал, и в написании того письма с кем согласие он имел или от кого какое научение ему было, приведчи в застенок, роспросить с пристрастием». А уже после этого было записано, что он свистел и скакал по пыточной камере. Несмотря на очевидное сумасшествие Кисельникова, «за продерзости ево... и чтоб впредь более от него других продерзостей не происходило», велено было сослать с женой и детьми в Оренбург (61, 6–7). Как и в делах о «непристойных словах», судьба колодника-сумасшедшего во многом зависела от того, что он говорил, какими именно «непристойными словами» бредил. Если он объявлял себя царем или утверждал, что сожительствовал с императрицей, мылся с ней в бане, то наказание было суровое, если же он просто ругал государя по-матерному, то кара была мягче.

В упомянутом деле Смагина, которого монастырское начальство объявило здоровым, важна резолюция Тайной канцелярии: «И хотя бы и подлинно находился он в совершенном уме, но свободы дать ему из того монастыря невозможно, понеже оной Смагин по имеющемуся о нем... делу явился в важной вине, того ради, онаго Смагина содержать в помянутом монастыре по-прежнему, до смерти ево никуда неисходно». Словом, дело было не в сумасшествии как медицинском факте, а в том, чтобы изолировать человека, который явился «в непристойном уме». Именно так в 1737 г. в сыске была названа болезнь колодника Мирона Синельникова (705, 5–6, 2).

Даже в екатерининские времена, когда медицинская наука сделала заметные успехи в постижении тайн человека и государыня не побоялась привить себе и сыну оспу, «политический бред» сумасшедшего оценивался по-прежнему как государственное преступление. В 1762 г. в монастырь был сослан, как сумасшедший, поп-расстрига Александр Михайлов, который, «шатаясь по городу, произносил непристойные речи» (700, 17–18). В приговоре 1777 г. о заточении в Динамюнде отставного бригадира барона Федора

Аша, который объявил, что он подданный «законного государя» И.И. Шувалова — сына Петра Великого, есть ключевое выражение для этого параграфа нашей главы: «в пал по безумству в преступление», поясняющее отношение сыска к делам сумасшедших. Аша тщательно, как вполне здорового человека, допрашивали, «для чего он столь дерзостныя и вымышленные слова в письме, в допросе и в своем дополнении писать, и вредные намерения иметь отважился?». Тогда же его вопрошали и о сообщениях, без этого сыск не в сыск: «Не имел ли он в сем его развращенном и вредном намерении подобных себе сотоварищей и кого же он именно чаял сыскать людей недовольных, служивших в последнюю войну, и через что он о неудовольствии их узнать мог?»

Позже просидевшего 19 лет в Динамюнде Аша привезли (уже при Павле I) в Петербург, но вскоре стало ясно, что он «в уме не исправился», и поэтому в именном указе от 2 апреля 1797 г. сказано, что Аш «по учиненной его дерзости, нарушению присяги и изменническому предприятию, в силу государственных узаконений, заслуживает смертную казнь», которую заменили пожизненным заточением в суздальский Спасо-Ефимьевский монастырь. При этом, как писал современник, несчастный сумасшедший «был жалок, нежели кому-либо опасен» (136, 33—58). Однако власть так не считала. Когда в 1775 г. сошедший с ума надворный советник Григорий Рогов вошел с улицы в здание Синода, сел за стол и начал писать манифест от имени «императора Павла Петровича», то нетрудно было предвидеть, как отнесется к этому императрица, которая не хотела уступать престола великому князю Павлу Петровичу, а каждое напоминание ей об этом вызывало державное раздражение. Поэтому Рогова схватили и отправили не в монастырь «под начало» монахов, а в Петропавловскую крепость. Его делом занималась сама Екатерина II. Потом Рогова, которого, хотя и признали «в уме помешанным», тем не менее отправили в Шлиссельбургскую крепость, где и содержали как государственного преступника. В инструкции охране было приказано, с одной стороны, не слушать Рогова, так как «он в уме помешан», с другой стороны, немедленно рапортовать о всех его «непристойных словах» коменданту крепости. Тот же сообщал о речах сумасшедшего узника самому генерал-прокурору (344, 19). Так было принято издавна: сумасшедших содержали среди государственных преступников (208, 238, 248—249). На всякий случай психически здоровую жену и невинных детей Рогова Екатерина II также сослала в Сибирь.

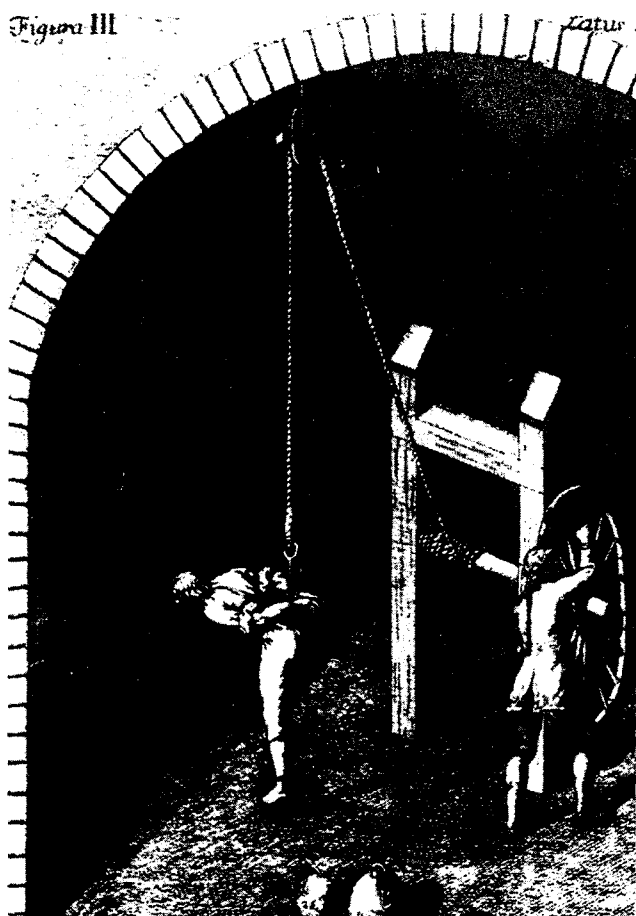
Итак, уже к началу XVIII в. в политическом сыске существовала довольно разработанная «технология» допросов — так называемый «роспрос»,

который предполагал допросы изветчика, ответчика и свидетелей, а также очные ставки их. Несмотря на сохранение в следственном розыском процессе некоторых рудиментов состязательного судебного процесса, позволявших подследственным в отдельных случаях доказать свою невиновность, «роспрос» все-таки имел отчетливо обличительно-обвинительный уклон и заведомо не предполагал объективного выяснения истины. «Роспрос», как правило, был жестко подчинен обвинительно-репрессивным целям, которые верховная власть ставила перед политическим сыском. Прибегая к довольно четкой схеме организации допросов и очных ставок, целенаправленной фальсификации записей их, а также широкого использования разнообразных приемов и методов расследования (включая «увещевания», шантаж, запугивание и др.) следователи уже на стадии «роспроса» стремились добиться от изветчика точного, «доведенного» с помощью свидетелей (к которым применялись свои, особые методы допросов) извета. От ответчика требовалось быстрое признание вины, раскаяние, подробный рассказ о целях, средствах задуманного им или совершенного государственного преступления, а также выдача сообщников. Даже если этого удавалось достичь на стадии «роспроса», подследственный не был уверен, что его вскоре не начнут пытаться.

Розыск в застенке

После «роспроса», который был, в сущности, допросом без пытки, дело обычно переходило на следующую стадию сыского процесса — розыск и пытку. Решение об этом принималось руководителем сыского ведомства, а иногда и государем на основе знакомства с результатами «роспроса». Обычно розыск начинался с так называемого *«роспроса у пытки (у дыбы)»*, т.е. допроса в камере пыток, но пока без применения истязаний. «Роспрос у пытки» известен в источниках не позже XVII в. Это видно из документов, опубликованных Н. Новомбергским. В царском указе 1643 г. воеводе Черни Ивану Юшкову было сказано, чтобы он кричавшего «Слово и дело» извечника «велел привести к пытке и у пытки его роспросил, какое он наше дело ведает. А будет он того нашего дела у пытки тебе не скажет и ты б его велел пытать, какое он наше дело ведает». В документах упомянуты и другие формулы «роспроса» с пристрастием: «Роспросить подлинно и пыткой постращать» или «Пыткой постращать, а не пытать», «Пыткой стращали и с ума их выводили» (500, 12, 171, 163 и др.). В деле 1690 г. о допрашиваемых сказано: «В застенок привожены и в застенке роспрашиваны, а не пытаны» (278-12, 205). Обычно две стадии розыска — роспрос у пытки и сама пытка — были четко разделены: «А что они в роспросех своих у пытки и с пытки говорили» (718, 15). Другое название допроса в камере пыток — *«роспрос с пристрастием»*. В «Кратком изображении процессов» о нем сказано: «Сей роспрос такой есть, когда судья того, на которого есть подозрение пред пыtkoю спрашивали, испытая от него правды и признания в деле» (626-4, 421).

Допрашивали «у пытки» следующим образом. Человека подводили к дыбе. Дыба представляла собой примитивное подъемное устройство. В потолок или в балку вбивали крюк, через него (иногда с помощью блока) перебрасывали ремень или веревку. Один конец ее был закреплен на войлочном хомуте, называемом иногда «петля». В нее вкладывали руки пытаемого. Другой конец веревки держали в руках ассистенты палача. Вид этого сна-



Дыба

ряда мало воодушевлял упорствующих при допросах. Однако на стадии «роспроса с пристрастием» человека еще не поднимали, а лишь ставили под дыбой. Роспрос у пытки (в ряде документов процедура эта называлась описательно: «Стоя у дыбы до подъему» — 44-2, 230 об.) был, несомненно, сильным средством морального давления на подсудимого, особенно для того, кто впервые попал в застенки. Человек стоял под дыбой, видел заплечного мастера и его помощников, мог наблюдать, как они готовились к пытке: осматривали кнуты, разжигали жаровню, лязгали страшными инструментами. Эту

стадию римские юристы называли *territio realis*, т.е. демонстрация подследственному орудий пыток, которые предполагалось применить к нему. Известно, что некоторым узникам показывали, как пытают других. Делалось это, чтобы человек понял, какие муки ему предстоят. В 1724 г. ювелир Рокентин инсценировал ограбление своего дома, но допустил в этом оплошность и оказался в Тайной канцелярии. Там его увещевал раскаться сам император и, чтобы подбодрить ювелира к признанию, «приказал прежде при нем бить кнутом другого преступника» (150-4, 9). В проекте указа Екатерины II в 1768 г. об упорствовавшей Салтычихе сказано: «Показать ей розыск к тому приговоренного преступника» (633-2, 311). За 13 лет до этого, в 1755 г., по указу Елизаветы Петровны было предписано допросить вдову Конона Зотова Марью, обвиненную в подлоге. В указе о ее допросе сказано: «Подлежащей по законам к пытке по другим делам женщине указные пытки при ней, Зотовой, произведя, потом и ее, Зотову, увещевая к показанию истины, к действительной пытке приготавливать, а в самом деле той пытки не чинить» и при этом допрашивать. Так и было сделано. Зотова, не выдержав зрелища пытки, во всем раскаялась (270, 143—145). «Роспрос у пытки», т.е. в камере пыток, был фактически продолжением обыкновенного «роспроса» — допроса и очных ставок в помещении Канцелярии. Запись о «роспросе у пытки» в журнале Канцелярии была примерно такая же, какую мы встречаем в деле стрелецкого пятидесятника Сидорова в 1698 г.: «А пятидесятник Аничка Сидоров к пытке привожен же и роспрашиван, а в роспросе сказал...». К «роспросу» с пристрастием применяли и другие формулы: «У пытки говорил...», «Стоя у дыбы до подъему, сказал...», «До подъему говорил...» (197, 51, 68, 69; 44-2, 230об.).

Под дыбой проводились и очные ставки, причем один из участников мог уже висеть на дыбе, а другой — стоять возле нее («Их ставити с тат[ь]ми с очей на очи и татей перед ними пытать» — 104-4, 30). Известен и другой вариант допроса: сначала преступника спрашивали под дыбой, а потом уже с дыбы. В записи допроса стрельца Сидорова 17 сентября 1698 г. хорошо видны особенности очной ставки под дыбой, а потом уже на дыбе: «Стрелец ж Аничка Сидоров у пытки против Васкиных слов Игнатъева во всем запирался. И Васке Игнатъеву с Аничкою в спорных словах дана очная ставка. А на очной ставке Васка с Аничкою говорил прежние свои речи, что... Аничка-де в том запираетца напрасно. А Аничко у пытки на очной ставке говорил: "Против-де Васкиных слов он во всем виноват"». Когда Сидорова подняли на дыбу, то очная ставка была продолжена: «Васка ж Игнатъев Аничку у пытки уличал... Аничко ж с подъему говорил...» и т.д. (197, 73). Подобным же образом пытали и тридцать лет спустя: «Привожен в застенек и паки спра-



Дыба

шиван с увещанием... и того же времени подъят на виску и паки спрашиван с увещанием» (выписка из дела монаха Маркела за 1729 г. — 181, 252).

В 1703 г. крестьянин Иван Ряпцов донес на стольника князя Ивана Мещерского в «непристойных словах» о государе. В «роспросе» и в очной ставке с изветчиком и свидетелями Мещерский свою вину не признал. Тогда ответчик и изветчик были «приведены к пытке», и перед пыткой им снова дали очную ставку. В ходе ее Мещерский «винился»: признался, что бранил государя «в иступлении ума» (88, 59 об.). Здесь мы видим, как и ответчик, устранный зрелищем застенка и строгостью допроса на фоне дыбы, подтвердил извет. Так было в деле 1735 г. придворной дамы Яганы Петровой, которая позволила себе опасную болтовню о происхождении Э.И. Бирона. Ее товарка Елизавета Вестенгарт донесла об этом в Тайную канцелярию. Там на допросе и с очных ставок Петрова упорствовала в непризнании извета. Но так

же твердо стояла на своем и изветчица Вестенгарт. После этого императрица Анна Ивановна приказала объявить дамам указ, который показывает, на что могло рассчитывать большинство «клиентов» Тайной канцелярии после «роспроса», не давшего нужного следствию результата, — немедленно сказать «об оном сушую правду и ежели и потом будут утверждаться каждая на своем, то привести их в застенки и роспросить об этом накрепко» (56, 13; 322, 551—552).

Допрос у дыбы не ограничивался только угрозами применить пытку, а также демонстрацией пыточного действия на телах других людей. Из документов сыска известно, что следователи прибегали к имитации пытки. Для этого приведенного в застенки подследственного раздевали и готовили к подъему на дыбу. Вот как допрашивали в 1728 г. родственницу А.Д. Меншикова Аксинью Колычеву, обвиненную в составлении подметного письма. Ее спрашивали «прежде с увещанием, потом с пристрастием, чтобы явила всю истину о подметном письме, понеже из всех ее поступков является подозрительна и потом ставлена в ремень и кладены руки в хомут» (329, 243—244). В проекте Уложения 1754 г. мы встречаем подробное описание допроса с пристрастием, составленное на основе большого сысского опыта: «Пристрастный роспрос есть когда подозрительный, по судейскому приговору, приведется и... от судей увещевается, которые, не объявляя ему учиненного о пристрастном роспросе приговору, действительную пытку устраивают и для того все к пытке надлежащие приуготовления учинить велят, а буде такой по увещании не признается, тогда палачу в руки отдается, который, раздев его, к дыбе приводит и, положа руки в хомут, всякими приуготовлениями страшает, токмо самым действием до него больше ничем не касается» (596, 51).

Непривычная к подобным угрозам придворная дама Петрова расплакалась и извет Вестенгарт признала. Благодаря этому признанию, да еще и снисходительности императрицы, Петрова получила лишь порцию плетей и была пострижена в сибирский «дальний девичий монастырь». Однако такие случаи единичны, спасительная для ответчика резолюция после «роспроса у пытки»: «И после того роспросу не пытан» (197, 123, 125) или «Розыску быть не подлежит, понеже в тех словах никаких великих дел не касается» (8-1, 21 об.) — встречается в документах сысского ведомства крайне редко. В «Кратком изображении процессов» 1715 г. ясно сказано, что «роспрос у пытки» не заменяет саму пытку, а лишь предшествует ей. По закону судья обязательно «пред пытку спрашивает (подследственного. — Е. А.), испытывая от него правды и признания в деле» (626-4, 421). И если колодника решили пытать, то от пытки его не спасало даже чистосердечное признание (или то признание, которое требовалось следствию) — ведь пытка, по понятиям того времени, служила

высшим мерилом искренности человека. Даже если подследственный раскаивался, винился («шел по повинке»), то его обычно все равно пытали. С одного, а чаще с трех раз ему предстояло подтвердить повинную, как писалось в документах, «из подлинной правды». Эта норма была установлена еще в Уставной книге Разбойного приказа, сильно повлиявшей на сыскной процесс при расследовании политических преступлений (785, 60). В протоколах и экстрактах Преображенского приказа и Тайной канцелярии было в ходу выражение относительно повинившихся, но тем не менее подвергнутых пытке: имярек «по повинке ево и с подлинной правды розыскивать» (49, 11 об.). Так как допрос у пытки очень часто вел к пытке, то в протоколах встречается обобщенная формулировка: «По приводе в застенок в роспросе и с очных ставок... и с подлинной правды поднят был на дыбу, и пытан впервые, и с подъему, и с пытки говорил...» (54, 5 об.).

Если пытали даже признавшего свою вину, то для «запиравшихся», упорствующих в «роспросе», на очной ставке или даже в «роспросе у дыбы» пытка была просто неизбежной. Подобная ситуация описана в деле князя Ивана Долгорукого (1738 г.): «Князю Ивану Долгорукому с изветчиком Осипом Тишиным в спорных словах в застенке дана очная ставка. ...А князь Иван Долгорукий с изветчиком Осипом Тишиным в очной ставке говорил те ж речи, что и сперва в роспросе у дыбы показал и в том утверждался. И того ж числа вышеписанный князь Иван Долгорукий подыман на дыбу, и с подлинной правды пытан» (719, 167–168). Так «роспрос у дыбы» переходил в собственно пытку, точнее в ее первую стадию — «подъем» («в и с к у»), а потом и во вторую — в битье кнутом на виске. Как правило, соблюдалась такая последовательность:

- 1) «роспрос» в застенке под дыбой, с увещанием и угрозами («роспрос с пристрастием», «роспрос у дыбы», «роспрос у пытки»),
- 2) подвешивание на дыбу («виска»),
- 3) «встряска» — висение с тяжестью в ногах,
- 4) битье кнутом в подвешенном виде,
- 5) жжение огнем и другие тяжкие пытки.

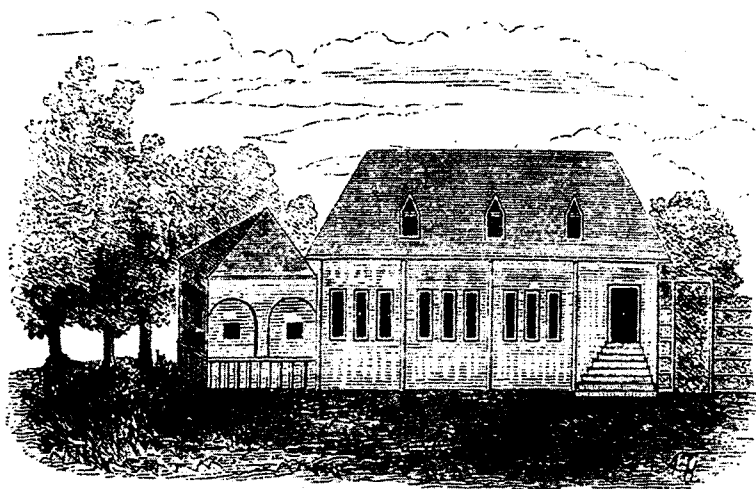
Конечно, в повседневной пыточной практике какие-то звенья могли пропускать: после «роспроса» в Канцелярии без пыток сразу проводили пытки на дыбе, пропуская «роспрос у дыбы». В 1735 г. после «роспроса» и очных ставок Совета Юшкова А.И. Ушаков распорядился: «По тому своему показанию не без подозрения он, Юшков, явился, чего ради ныне, ис подлинной правды, привести ево в застенок и, подняв на дыбу, роспросить с пристрастием в том, что оные слова, которые сам на себя показал, в каком намерении, и для чего он говорил, и от кого подлинно о том он слышал...»

(52, 30–31). В 1748 г. по делу Лестока также последовал указ: «Лестока в записательстве его с очных ставок и в прочем привести в застенки и подняв на дыбу, роспросить накрепко» (760, 56).

Так мы видим, что термины «с пристрастием», «накрепко» применяются и к собственно пытке на дыбе, и к «роспросу» без пытки у дыбы. Но все же следует взять за «образец» пытку известного старца Авраамия в 1697 г. По записи в деле мы видим последовательное применение большей части описанных выше пыточных процедур: «И того ж числа старец Аврамей у пытки роспрашиван с пристрастием, и подыман на дыбу двжды. А на другом подъеме было ему кнутом три удара, чтоб он про тех людей, которые к нему прихаживали, сказал подлинно какова они чину и где живут. А на пытке и после пытки в роспросе сказал... (идет содержательная часть допроса. — Е. А.). Старец Аврамей руку приложил» (376, 173).

Следует заметить, что в проекте Уложения 1754 г. сказано, что перед пыткой приговоренному к ней зачитывают приговор о пытке и «расталковывают ему при том все оныя подозрения, которыми он по делу отягощен» (596, 47). И хотя мы имеем дело с нереализованным проектом кодекса, он, как и во многих других случаях, отражает сложившуюся сыскную практику. Объявление приговора о пытке для приведенного в застенки уже есть моральная пытка, к которой прибегали в «роспросе с пристрастием» перед подъемом на дыбу.

Пытка как универсальный элемент судебного и сыскного процесса была чрезвычайно распространена в XVII—XVIII вв. Запечные мастера, орудия пытки, застенки и колодничьи палаты были во всех центральных и местных учреждениях. Пытка в России дожила до реформ Александра II, хотя указ об ее отмене появился в 1801 г. Пытка разрешалась гражданским процессуальным правом, как в XVII, так и в XVIII в. Правовые основы пытки как средства физического истязания для получения показаний, и прежде всего признаний, отлились в нормы Уставной книги Разбойного приказа, были переняты Соборным уложением 1649 г. Оно свободно допускало пытку по многим делам, и не только политическим. В «Кратком изображении процессов» 1715 г. пытке посвящена целая глава (6-я — «О роспросе с пристрастием и пытке»). Согласно этим законам, решение о применении пытки выносил сам судья, исходя из обстоятельств дела. Закон предписывал, что «пытка употребляется в делах видимых (т.е. очевидных. — Е. А.), в которых есть преступление». В России, в отличие от многих европейских стран, не было «степеней» пыток, все более и более ужесточавших муки пытаемого. Мэру жестокости пытки определял сам судья, а различия в тя-



Подворье Стефана Яворского в Петербурге

жести пытки были весьма условны: «В вящих и тяжких делах пытка жестокае, нежели в малых бывает». Вместе с тем законы рекомендовали судье применять более жестокие пытки к людям, закоренелым в преступлении, а также к физически более крепким и худым. Тогда опытным путем пришли к убеждению, что полные люди тяжелее переносят физические истязания и быстрее умирают без всякой пользы для расследования. Милосерднее предписывалось поступать с людьми слабыми, а также менее порочными: «Также надлежит ему оных особ, которые к пытке приводятся, рассмотреть и, усмотря твердых, безстыдных и худых людей — жестокае, тех же, кои деликатного тела и честные суть люди — легчее» (626-4, 421). Эта норма повторяется и в проекте Уложения 1754 г.: судьям надлежало иметь рассуждение и «с твердыми и крепкими людьми жестокае, а с нежными и безсильными легчее поступать» (600, 30).

По закону от пытки в суде освобождались дворяне, «служители высоких рангов», люди старше семидесяти лет, недоросли и беременные женщины (626-4, 422—423). В уголовных процессах так это и было: слово дворянина официально считалось весомее и правдивее слова простолюдина. В политических делах эта правовая норма в точности не соблюдалась, как и другие законы, характерные для состязательного суда. В сыском ведомстве пытали всех без разбору и столько, сколько было нужно. В итоге на дыбе оказывались и простолюдины, и лица самых высоких рангов, дворяне и генералы, старики и

юноши, женщины и больные. Женщин пытали наравне с мужчинами, но число ударов им давали поменьше, да и кнут иногда заменяли на плети или батоги (285-4, 64). В проекте Уложения 1754 г. об этом сказано определенно: женщин пытать «теми же градусами (что и мужчин. — *Е. А.*), токмо при том с ними с умеренностию поступать, дабы от того совсем изувечены или умерщвлены не были» (600, 47).

Но гуманизм к женскому полу — достижение уже Елизаветинской эпохи. До этого с женским состоянием считались мало, хотя беременных не пытали уже при Петре Великом. Известно, что во время свирепого Стрелецкого розыска 1698 г. на дыбу была поднята постельница царевны Софьи Федора Колужкина. Тут-то и заметили, что она беременна. И хотя Колужкина могла дать важные показания, ее более не пытали (399, 104). Впрочем, из записок Желябужского известно, что прислужница царевны Марфы Алексеевны Анна Жукова «на виске... родила». Между тем известно, что Жукову пытали трижды, причем в последний раз дали ей 25 ударов кнута. Вряд ли следователи при пытке не видели, что женщина беременна (290, 264; 163, 77—78). После рождения ребенка пытки женщины могли возобновиться. По крайней мере, согласно указу 1697 г. преступницу, родившую ребенка, разрешалось наказывать на теле через 40 дней после родов (587-3, 1612, 1629). Императрица Елизавета в 1743 г. так писала по поводу «ропроса» беременной придворной дамы Софьи Лилиенфельд, проходившей по делу Лопухиных: «Надлежит их (Софью с мужем. — *Е. А.*) в крепость всех взять и очной ставкой производить, несмотря на ее болезнь, понеже коли они государево здоровье пренебрегали, то плутоф и наипаче жалеть не для чего» (660, 38—39).

Материалы Стрелецкого розыска 1698 г. позволяют прийти к выводу, что малолетними («за малые леты») считались «бунтовые» стрельцы в возрасте до 20 лет. Только по этой причине им даровали жизнь. Однако пытали их во время следствия с той же жестокостью, как и взрослых стрельцов (197, 60, 207). По видимому, пытки и казни малолетних вообще все-таки случались, хотя и не так часто; припомним ужасную казнь через повешение в 1614 г. четырехлетнего «воренка» — сына Марины Мнишек. В принципе пытки и казни детей закон не запрещал. В Соборном уложении о возрасте преступника не сказано ни слова. В 1738 г. пытали 13-летнюю чревоушательницу Ирину Иванову: поднимали на дыбу и секли розгами (322, 162). Но все-таки по делам видно, что детей и подростков щадили. В страшном Преображенском приказе Ромодановского малолеток только допрашивали, на дыбу не поднимая (212, 63). В выписке по делу 13—14-летних учеников Кронштадтской гарнизонной школы, привлеченных в Тайную канцелярию в 1736 г., сказано: «В означенном между ими споре дошли они до розыску, но за малолетством их розыскивать

ими не можно». Поэтому было предложено: «Учинить наказание — вместо кнута для их малолетства бить обоих кошками нещадно» (63, 14 об.).

Проблема возраста пытаемых и казнимых впервые серьезно встала лишь в царствование гуманной Елизаветы Петровны. В 1742 г. 14-летняя девочка Прасковья Федорова зверски убила двух своих подруг. Генерал-берг-директориум, которому подчинялся округ, где произошло преступление, настаивал на казни юной преступницы. Когда Сенат отказался одобрить приговор, то горное ведомство потребовало уточнения вопроса о пытке и казни малолетних с точки зрения права. Обсуждение в Сенате в августе 1742 г. привело к важному правовому нововведению: отныне в России малолетними признавались люди до 17 лет. Тем самым они освобождались от пытки и казни (587-9, 8601), по крайней мере, теоретически. За 1756 год сохранилось дело о пытке 15-летнего В. Рудного «под битьем лозами». Известны данные 1760-х гг. о наказании малолетних (в том числе 11-летнего) преступников розгами и плетью. В поправках 1766 г. к проекту Уложения 1754 г. сказано, что безумных и малолетних, которым меньше десяти лет, «с пристрастием не спрашивать и к роспросу не принуждать, и не истязывать понеже, не имея разума, ни в чем умышленного преступления учинить и наказаны быть не могут» (227, Прил., 17, 112; 600, 29).

Рассмотрим теперь саму *процедуру пытки*. Перед пыткой (а порой и перед «роспросом») приведенного в застенок колодника раздевали и осматривали. В деле Ивана Лопухина отмечалось, что вначале он давал показания «в застенке, еще нераздеванный» (660, 17). Это обстоятельство является принципиальным, почему его и зафиксировали в деле. Публичное обнажение тела человека считалось постыдным, позорящим действием. Такой раздетый палачом, побывавший в «катских руках» человек терял свою честь. В 1742 г. это обстоятельство стало поводом для отказа восстановить в должности бывшего адъютанта принца Антона-Ульриха, т.к. он, отмечалось в постановлении, «до сего был в катских руках» (544, 176). Осмотру тела (прежде всего — спины) пытаемого перед пыткой в сыске придавали большое значение. Это делали для определения физических возможностей человека в предстоящем испытании, а также для уточнения биографии пытаемого: не был ли он ранее пытан и бит кнутом. Как рассказывал в сентябре 1774 г. в Секретной комиссии Емельян Пугачев, после первого ареста в Малыковке и битья батогами его привезли в Казань. Секретарь губернской канцелярии, «призвав к себе лекаря, велел осмотреть, не был ли я в чем прежде наказан. Когда же лекарь раздел донага и увидел, что был сечен, а не узнал — чем, и спрашивал: “Конечно-де, ты, Пугачов, кнутом был наказан,

что спина в знаках?” На что я говорил: “Нет-де, а сечен только во время Пру[с]кого похода по приказанию полковника Денисова езжалою плетью, а потом чрез мальковского управителя терпел пристрастный распрос под батогами”» (684-0, 136).

Дело в том, что при наказании кнутом, который отрывал от тела широкие полосы кожи, на спине навсегда оставались следы в виде белых широких рубцов — «знаков». Плети и батоги, которыми наказывали Пугачева, таких явных следов не оставляли. Впрочем, специалист мог обнаружить следы битья даже многое время спустя после экзекуции. Когда в октябре 1774 г. генерал П.С. Потемкин решил допросить Пугачева с батогами и для этого приказал раздеть и разложить крестьянского вождя на полу, то присутствующие при допросе стали свидетелями работы опытного заплочного мастера. Вот как описывает этот эпизод сопровождавший Пугачева майор П.С. Рунич: Потемкин приказал «палачу начать его дело, который, помоча водою всю ладонь правой руки, протянул оною по голой спине Пугачева на коей в ту минуту означились багровые по спине полосы. Палач сказал: “А! Он уж был в наших руках!”. После чего Пугачев в ту минуту вскричал: “Помилуйте, всю истину скажу и открою!”» (629, 151).

Когда на спине пытаемого обнаруживались следы кнута, плетей, батога или огня, то положение такого человека менялось в худшую сторону — рубцы свидетельствовали: он побывал «в руках ката» и тем самым был ранее уже обещен, а значит, перед судьями стоит человек «подозрительный», возможно — рецидивист. В протоколе допроса обязательно делали запись об осмотре и допросе по этому поводу: «Приведен для розыску в застенки и по осмотру спина у него бита кнутом и жжена»; «А по осмотру сего числа кнутом он бит же...». Подозрительного арестанта обязательно допрашивали о рубцах, при необходимости о его персоне наводили справки в других учреждениях. «Да он же, Куземка, явился бит кнутом и про то сказал...» или «По осмотру он явился подозрителен: бит кнутом, а за что не знает и для того он показался сумнительным». Веры показаниям такого человека уже не было никакой. О нем делали такую запись: «К тому же он... человек весьма подозрительный и за тем никакой его к оправданию отговорки верить не подлежит» (28, 6; 92, 146 об.; 197, 100, 125; 804, 446—447).

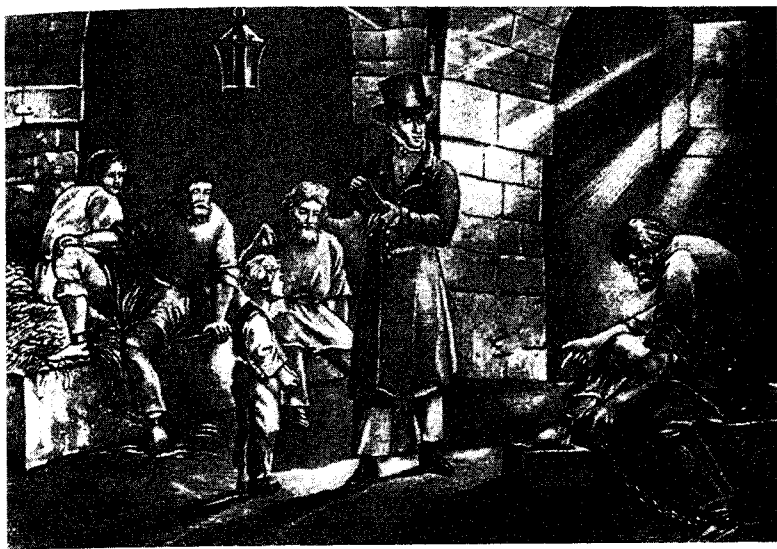
В основе такого вывода лежала норма законодательства XVIII в., согласно которой за ранее наказанным преступником полностью отрицалось даже призрачное право на защиту. Даже в проекте Уложения 1754 г., авторы которого призывали судей к милосердию, обязывали не лишать допрашиваемого шансов оправдаться, разговор с теми, у кого на спине были знаки, был короток и беспощаден — тотчас по обнаружении «знаков» на спине такого

человека надлежало спрашивать «только о их летах и не были ль прежде сего в каких штрафах или что обстоятельство дела требовать будет» (596, 15). Иначе говоря, признавалось, что перед судьями стоит не подозреваемый, который может оправдаться, а преступник, возможно — беглый. После короткого допроса его снова наказывали и отправляли на каторгу. Так произошло с будущим сообщником Пугачева беглым каторжником Афанасием Соколовым — «Хлопушей», который был (еще до восстания) пойман без паспорта по дороге в Екатеринбург. Как он рассказывал на следствии 1775 г., «по допросе (как он человек подозрительный) наказан в другой раз кнутом» и после рванья ноздрей и клеймения был сослан на каторгу в Нерчинск (280, 164; 220, 161).

После «ропроса с пристрастием» под дыбой и осмотра тела пытаемого начиналась собственно физическая пытка. Первой стадией ее являлась, как сказано выше, так называемая «виска», т.е. подвешивание пытаемого на дыбе без нанесения ему ударов кнутом. О солдате Зоте Щербакове, попавшем в Тайную канцелярию в 1723 г. за «непристойные слова», записано: «Тот Щербаков в роспросе и с очных ставок, и с виски винился» (9-3, 88 об.). Петр в письме Меншикову 1718 г. предписывал допросить слугу царевича Алексея, а также А.В. Кикина, «распрося в застенке один раз пытай только вискою одною, а бить кнутом не вели». В другом случае царь употребляет специфический термин: «Вискою спроси» (325-1, 310, 312).

Известно два способа виски (другое ее название — «с подъему», «подъем на дыбу»). В одном случае руки человека вкладывались в хомут в положении перед грудью, во втором — руки преступника заводились за спину, а затем (иногда с помощью блока) помощники палача поднимали человека над землей так, чтобы «пытанной на земле не стоял, у которого руки и заворотит совсем назад, и он на них висит» (519, 58). Как пишет иностранец — очевидец этого страшного зрелища, палачи «тянут так, что слышно, как хрустят кости, подвешивают его (пытаемого. — Е. А.) так, словно раскачивают на качелях» (794, 121). Кстати говоря, путешественники могли видеть пытки своими глазами — посещение застенка было видом экскурсии, подобно посещению анатомического театра или кунсткамеры. Патрик Гордон за 24 сентября 1698 г. записал в своем дневнике: «Смотрел я в Преображенском как пытали сначала девицу Анну Александрову, а затем подполковника Колпакова» (163, 62).

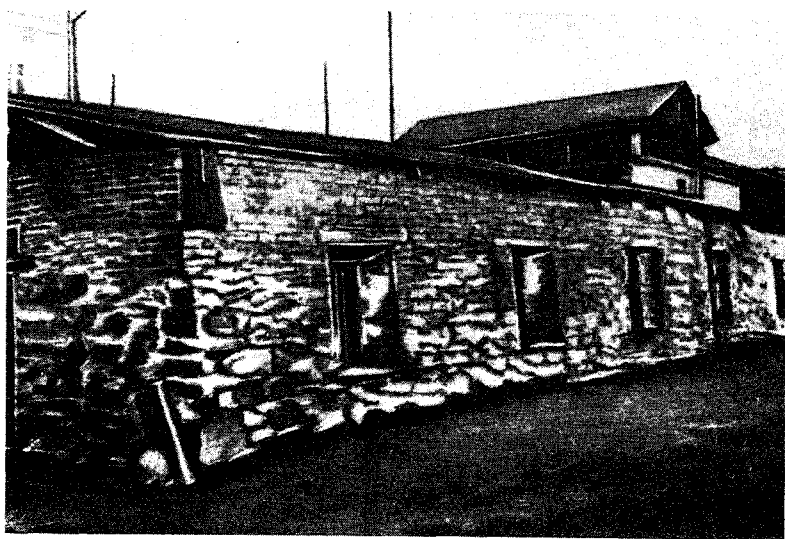
В таком висячем положении преступника допрашивали, а показания записывали: «А Виска Зорин с подъему сказал...», «Илюшка Константинов с другой пытки на виске говорил...», «А с подъему Сереинка Степанов в рос-



Посещение Венингом русской тюрьмы в начале XIX века

просе сказал...», «Костка Затирахин в застенке подниман и в петли висел, а с виски сказал...» (197, 88, 101, 102 и др.). Пытку «в виске» следователи могли и ужесточить. В составленном в середине XVIII в. описании используемых в России пыток («Обряд како обвиненный пыгается») об этом методе рассказано следующее: между связанными ногами преступника просовывали бревно, на него вскакивал палач, чтобы сильнее «на виске потянуть ево (преступника. — Е. А.), дабы более истязания чувствовал. Естли же и потому истины показывать не будет, снимая пытаного с дыбы, правят руки, а потом опять на дыбу таким же образом поднимают для того, что и чрез то боли бывает больше» (519, 59).

Г.К. Котошихин, живший во второй половине XVII в., описывает другой, весьма распространенный и впоследствии вариант пытки: после того как ноги пытаемого, который висел на дыбе, связывали ремнем, «один человек палач вступит ему в ноги, на ремень, своею ногою и тем его оттягивает, и у того вора руки станут прямо против головы его, а из суставов выдут вон». Эта очень болезненная процедура называлась «встряской» или «подъем сстряской». В записках аббата Шаппа д'Отроша (1764 г.) и на гравюре XVIII в., помещенной в его сочинении, видно также, что и тело вытягивалось с помощью просунутого между ног бревна, на которое вставал палач (814, 228). О



Заводская тюрьма для рабочих завода Демидовых, построенная в 30-х годах XVIII в.

подвешивании тяжести к ногам говорят другие авторы (784, 1143). Англичанин Перри писал о том, что к ногам пытуемого еще привязывали гирию (546, 141). Работные люди Н.Н. Демидова в 1752 г. жаловались, что их хозяин многих из них «поднимал на встряски, вкладывая в ноги великий и притежелые бревны, а петли ж руки и ноги» (463, 220). При пытке в Сыском приказе раскольника Ивана Филипова в 1756 г. между ног «ему клали троскратно бревно», а после еще дали 50 ударов кнутом (264, 57). Вывернутые из суставов руки вновь вправляли, и после этого человека вновь подвешивали на дыбу так, что новая встряска оказывалась болезненней предыдущей. Поэтому виску старообрядца Мартынка Кузмина в 1683 г., о которой сказано, что «были ему многие встряски», следует признать как полноценную жестокую пытку (718, 16).

Редко, но бывало и так, что пытка на стадии виски и заканчивалась. Это происходило тогда, когда преступник уже с виски давал ценные показания или признавал свою вину. В материалах Стрелецкого розыска 1698 г. есть запись допроса стрельца Якова Рыбникова, из которой можно видеть, как человек «ломается» на виске и начинает признаваться и рассказывать то, что нужно следствию: «Якушко Рыбников роспрашиван и пытан. В роспросе и на виске говорил, будто он ни про что против [допросных] статей, ни в чем спрашиван не ведает... Он же, Якушко, говорил, чтоб ево снять с вис-

ки, а он скажет правду. И он, Якушко, с виски снят и перед боярином перед князем Петром Ивановичем Прозоровским в роспросе сказал...» (197, 98). Украинец Григорий Денисов, взятый в розыск в 1726 г. за угрозы стоявшим у него на дворе русским солдатам, что «наш (т.е. украинцев. — Е. А.) будет верх», вначале полностью отрицал извет на него, но «потом с подъему винился: те-де слова говорил он в безмерном пьянстве». Следователи ограничились виской и по приговору Тайной канцелярии сослали Денисова с семьей в Сибирь (8-1, 313). Так же поступили и с хирургическим учеником Иваном Черногороцким, сказавшим в 1728 г. нечто неодобрительное о портрете Петра II. Протокол о пытке его содержит такие слова: «С подъему сказал: те-де слова говорил он, обмолвясь». Это вполне удовлетворило следствие, и без продолжения мучений Черногороцкий отправился в Сибирь «на вечное житье» (8-1, 336 об.).

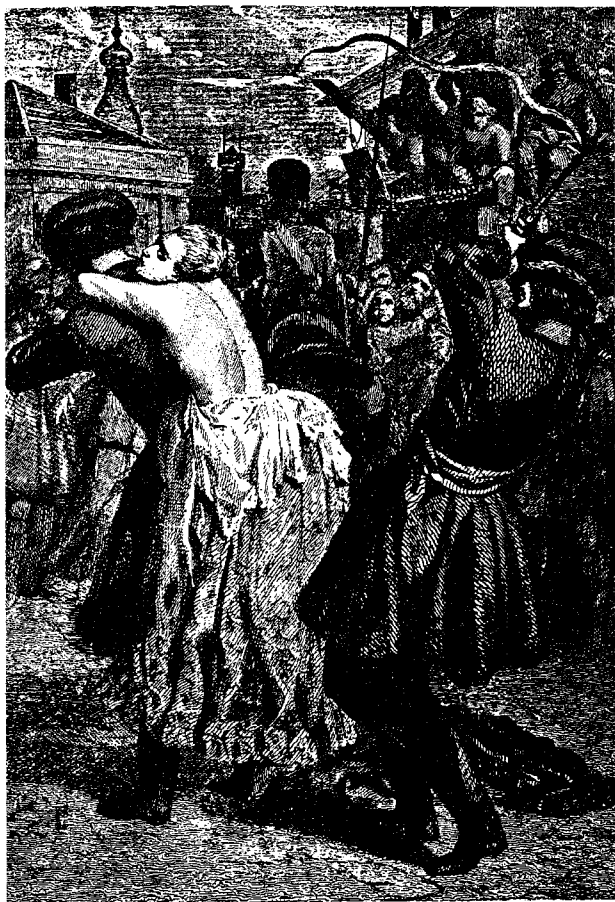
Разновидностью виски была и «развязка в кольца». Из дела Авдотьи Нестеровой (1754 г.) видно, что «она положена и развязана в кольца и при том спрашивана» (571, 298). Суть пытки состояла в том, что ноги и руки пытаемого привязывали за веревки, которые протягивали через вбитые в потолок и стены кольца. В итоге пытаемый висел растянутым в воздухе. В Западной Европе в XVI—XVIII вв. это приспособление называлось «колыбель Иуды». Кроме растяжек веревками применяли железный пояс и пирמידу, на острие которой сажали пытаемого.

Но для многих попавших в застенки виска была только началом тяжелых физических испытаний. Следует различать показания («речи»), которые получали «с подъему», и речи «с розыска, ис подлинной правды». В первом случае имеется в виду лишь допрос с «вытягивания» подследственного на дыбе в виске, а во втором применение кроме виски также кнута и других приемов и средств пытки. Из делопроизводственных документов сыска следует, что виска «с подъему» даже не считалась полноценной пыткой. Доносчик Михаил Петров был определен, по обстоятельствам его дела, к розыску «ис подлинной правды», «понеже без розыску показания ево за истину признать невозможно», хотя он «в роспросе и в очной с ним (ответчиком. — Е. А.) ставке и с подъему и утверждался, но тому поверить невозможно потому, что и оной (ответчик. — Е. А.) Федоров в роспросех и в очной ставке, и с подъему в том не винился» (42-2, 114). Теперь рассмотрим, как, собственно, происходила пытка кнутом.

После того как человека поднимали на дыбу уже для битья кнутом, палач, согласно «Обряду, како обвиненный пытается», связав ремнем ноги пытаемого, «привязывает [их] к зделанному нарочно впереди дыбы столбу

и, растянувши сим образом, бьет кнутом, где и спрашивается о злодействах, и все записывается, что таковой сказывать станет» (519, 58). Иначе говоря, тело пытаемого зависало почти параллельно земле. Когда наступал момент бить кнутом, то палачу требовался умелый ассистент — он следил за натягиванием тела пытаемого так, чтобы кнутмейстеру было ловчее наносить удары по спине, били только по спине, преимущественно от лопаток до крестца. Немецкий путешественник конца XVII в. Г.А. Шлейссингер, сам видевший пытку в застенке, к этому добавляет, что ассистент хватал пытаемого за волосы и пригибал голову, «чтобы кнут не попадал по голове» (794, 121). Из описания пытки 1737 г. видно, что при повреждении кистей рук пытаемый подвешивался на дыбу «по пазухи», т.е. за подмышки (710, 132). Однако многих подробностей пытки мы так и не узнаём — очень часто все разнообразие пыточной процедуры уместалось в краткие слова протокола пытки: «Подыман и пытан...» (623-4, 251).

Кнут применялся как для пытки, так и для наказания преступника. О нем сохранились многочисленные, хотя и противоречивые, сведения. У Котошихина сказано о кнуте следующее: «А учинен тот кнут ременной, плетеной, толстой, на конце вязан ремень толстый, шириною на палец, а длиною будет с 5 локтей», т.е. до 2 метров (415, 115). Перри описывает иное устройство кнута: «Кнут состоит из толстого крепкого кожаного ремня, длиною около трех с половиною футов (т.е. более метра. — Е. А.), прикрепленного к концу толстой палки длиною 2,5 фута, на оконечности коей приделано кольцо или вертлюг, вроде цепа, к коему прикреплен ремень» (546, 141). С ним не согласуются сведения Ф.Г. Берхгольца, который в своем дневнике 1721 г. пишет, как и Котошихин, что кнут — «род плети, состоящий из короткой палки и очень длинного ремня» (150-1, 71). Уильям Кокс в 1781 г. путается в рассказе об устройстве кнута, но отмечает, что это «ремень из сыромятной кожи, толщиной в крону (т.е. в монету. — Е. А.) и шириною около трех четвертей дюйма (т.е. ок. 2 см. — Е. А.), суживающийся постепенно к концу», к толстому кнутовищу он привязывался с помощью ремешка (391, 26). По словам датского посланника в России 1709—1710 гг. Юста Юля, кнут «есть особенный бич, сделанный из пергамента и сваренный в молоке», чтобы он был «тверд и остр» (810, 180). Думаю, что речь идет не о пергаменте, а о толстой, хорошо выделанной (в том числе и с помощью выварки в молоке) коже. Так считал Яков Рейтенсфельд, видевший кнут в Москве в 1670 г. и писавший о нем: «Кнут, то есть широкий ремень, проваренный в молоке, дабы удары им были бы более люты» (615, 117). Неизвестный издатель записок пастора Зейдера 1802 г., наказанного кнутом, дает свое описание этого орудия. Это описание ставит все точки над *i*: «Кнут состоит из заостренных ремней, наре-



Наказание кнутом Лопухиной

занных из недубленой коровьей или бычачьей шкуры и прикрепленных к короткой рукоятке. Чтобы придать концам их большую упругость, их мочат в молоке и затем сушат на солнце, таким образом они становятся весьма эластичны и в то же время тверды как пергамент или кость» (520, 480).

Кнут специально готовился к экзекуции, его согнутые края оттачивали, но служил он недолго. Недаром в «наборе палача» 1846 г. (официальное название минимума палаческих инструментов), с которым палач являлся на экзекуцию, было предписано иметь 40 запасных «сыромятных обделанных

сухих концов» (716, 213). Такое большое количество запасных концов необходимо потому, что их требовалось часто менять. Дело в том, что с размягчением кожи кнута от крови сила удара резко снижалась. И только сухой и острый конец считался «правильным». Как писал Юль о кнуте, «он до того тверд и востр, что им можно рубить как мечом... Палач подбегает к осужденному двумя-тремя скачками и бьет его по спине, каждым ударом рассекая ему тело до костей. Некоторые русские палачи так ловко владеют кнутом, что могут с трех ударов убить человека до смерти». Это мнение разделяют и другие наблюдатели, писавшие о кнуте, а также последний из историков, кто держал в руках это страшное орудие пытки и казни — Н.Д. Сергеевский (см. 711, 180; 492, 26; 673, 152-153 и др.).

Об огромной силе удара кнутом сообщал Котошихин, писавший, что после удара «на спине станет так, слово в слово (т.е. точно. — Е. А.), будто большой ремень вырезан ножом, мало не до костей» (415, 115). Такую же, как Котошихин, технику нанесения ударов описывает и Перри: «При каждом ударе он (палач. — Е. А.) отступает шаг назад и потом делает прыжок вперед, от чего удар производится с такою силою, что каждый раз брызжет кровь и оставляет за собой рану толщиной в палец. Эти мастера, как называют их русские, так отчетливо исполняют свое дело, что редко ударяют два раза по одному месту, но с чрезвычайной быстротой располагают удары друг подле дружки во всю длину человеческой спины, начиная с плеч до самой поясницы». Согласен с Перри в оценке мастерства палачей и Берхгольц, хотя о технике удара он имеет иное представление, чем другие авторы. Он пишет, что, после того как суставы пытаемого вывернуты из своих мест, «палач берет кнут в обе руки, отступает несколько шагов назад и потом с разбегу и, припрыгнув, ударяет между плеч вдоль спины и, если удар бывает силен, то пробивает до костей. Палачи так хорошо знают свое дело, что могут класть удар к удару ровно, как бы измеряя их циркулем и линейкою» (546, 141; 810, 329-330; 150-1, 71; все о кнуте см. 728, 219-253).

Разница в описании авторами ударов «кнута мастера» (Перри) или «обер-кнутмейстера» (Берхгольц) объясняется тем, что существовало несколько приемов нанесения ударов при пытке и во время казни. Так, из комментария издателя записок Зейдера следует, что при наказании на эшафоте ~~били преступника по спине, располагая удары вдоль хребта~~ (320, 480-481). Впрочем, били преступника и крест-накрест сразу двумя кнутами. Удары плетью палач также клал крестообразно. При этом следили, чтобы удары не касались боков и головы человека (711, 212). Чтобы достичь необходимой точности удара, палачи тренировались на куче песка или на бересте, прикрепленной к бревну (784, 1152-1153).

Вообще-то, цель убить пытаемого (чтобы он умер, как тогда говорили, «в хомуте») перед заплечным мастером, работавшим в застенке, не ставилась. Наоборот, ему следовало бить так, чтобы удары были чувствительны, болезненны, но при этом пытаемый сразу после застенка оставался жить — по крайней мере, до тех пор, пока не даст нужных показаний. За состоянием арестанта при пытке и после нее тщательно следили, имея в виду новую пытку. Следователи понимали, что пытаемый, к которому применены суровые или не соответствовавшие его «деликатному сложению», возрасту и состоянию (например, стар, болен) меры, мог умереть под пытками без пользы для сысканого дела. Указы предписывали смотреть, чтобы людей «вдруг не пытать, чтоб они с пыток не померли вперед для разпросу, а буде кто от пыток прихудает и вы б тем велели давать лекарей, чтоб в них про наше дело сыскать допряма» (500, 111). Пытки стрелецкого подполковника Колпакова в 1698 г. оказались настолько жестокими, что он онемел и не смог ответить ни на один вопрос. Колпакова сняли с дыбы и принялись лечить (399, 99, 105). Во время пыток Кочубея в 1708 г. следователи также опасались давать ему много ударов. Г.И. Головкин сообщал царю: «А более пытать Кочубея опасались, чтоб прежде времени не издох, понеже зело дряхл и стар, и после того был едва не при смерти... и если б его паки пытать, то чаем, чтоб конечно издох» (412, 603). В 1718 г. начальник Тайной канцелярии П.А. Толстой писал Петру I о пытаемой в застенке Марии Гамильтон: «Вдурогорядь пытана... И надлежало бы оную и еще пытать, но зело изнемогла» (536, 30). Явную ошибку сделал в 1725 г. генерал Шереметев, который «перепытал» извозчика — самозванца Евстифея Артемьева, который на четвертой и пятой пытке «весьма был болен же и ничего не говорил и спрашивать было его за безмолвием невозможно» (598, 12). В 1737 г. главнокомандующий Москвы С.А. Салтыков доносил в Петербург о раскольнике Иване Павлове, что он стоит на своих показаниях, и «хотя надлежало было им розыскивать накрепко, токмо опасно, чтоб не умер, ибо он собою весьма худ, и стар, и мало ест» (710, 130). Впрочем, иным людям, чтобы погибнуть, было достаточно нескольких ударов кнутом. Так, автор осуждающих Петра I «Тетрадей», старец Авраамий, был в 1697 г. пытан в застенке Преображенского приказа по самой «легкой программе»: ему дали только три удара кнутом и после этого он начал говорить — так был стар и слаб Авраамий (212, 85).

То, что палач получал от следователей указания о числе ударов кнутом, видно из всей процедуры пытки. Неясно, говорили ли ему бить сильнее или легче, но, исходя из существовавших в процессуальном праве понятий о пытке («жесточае», «легчае»), из бытовавших представлений о «крепкой натуре» и «деликатном теле», можно предположить, то палач, по указанию

следователя, наносил удары кнутом сильнее или слабее, в менее или более болезненные места. Малолетних пытали так же, но в облегченном варианте: для них пытка ограничивалась виской, вместо кнута они получали батоги, плети или палки (7, 136 об.; 325-2, 200). Само известное из следственных дел и законодательства выражение «пытать жестоко» (как и выражения: «жесточае», «легчае» или «накрепко», «не слабовато поступать») нигде не уточняется, числом ударов не обозначается. В этом проявлялась характерная для того времени приблизительность закона, который давал следователю значительную свободу действий. В выписке из допросов нескольких стрельцов в 1699 г. сказано, что они «пытаны по дважды накрепко, а Якимка Пострелов, Пронка Шатченинов после пытки жжены огнем» (197, 217). Иначе говоря, выражение «накрепко» не означает пытки огнем, которая фигурирует как отдельная пытка. Общее же правило читаем в «Кратком изображении процессов», где сказано: «Умерение пытки весьма на рассуждение судейское положено» (626-4, 421).

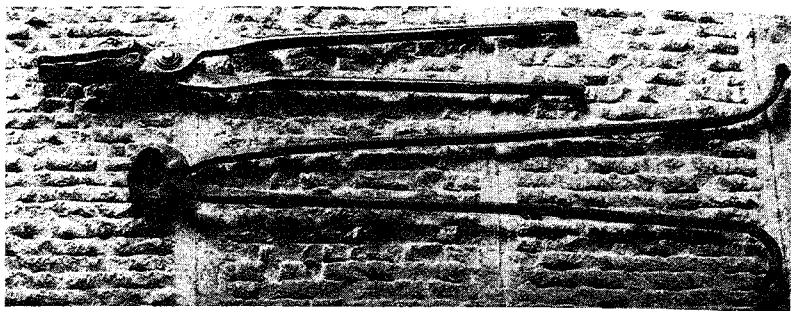
Последствия пытки кнутом на дыбе были ужасны. Шлейссингер так описывает все виденное им в застенке: «Я видел одного такого несчастного грешника, который приблизительно после 80 ударов висел совсем мертвый, ибо вскоре уже на его теле ничего не было видно, кроме кровавого мяса до самых костей. Продолжая бить, преступника все время допрашивают. Но этот, которого я видел, все время повторял: “Я не знаю, я не знаю”, пока в конце концов вообще не мог больше отвечать» (794, 121). Другой наблюдатель, Рейтенсфельд, писал: преступник находился в всяком положении, а «судья при каждом ударе восклицает: “Скажи!”, т.е. “Признавайся”» (615, 117).

В отчете 1627 г. об истязаниях Васьки Лося, которого пытали «накрепко» и дали при этом 100 ударов кнута, сказано: «Да [было ему] 10 стрясок, да трижды на огонь поднимали... И мы... того Ваську Лося велели в четвертые поднять на огонь и тот Васька Лось с огня повинился» (500, 42-43). Так в документах чаще всего записывали *пытку огнем*. Выражения «на огонь поднимали», «зжен огнем», «говорил с огня» широко известны и в XVIII в. Ими обозначали еще одну разновидность пытки, по оценке сыска — более тяжелой, чем виска, встряска или битье кнутом на дыбе. Не случайно пытку огнем отделяли от других пыток. Об этом сохранились записи-резолуции: «Из переменных речей пытать еще дважды и жечь огнем» (322, 40). Нужно согласиться с мнением В. Линовского, считавшего, что в России заменой западноевропейских «степеней» было разделение физических истязаний на пытки без огня и пытки с огнем (431, 98). Пытка огнем во многих случаях являлась либо заключительным испытанием в серии пыток, с помо-

шью которой «затверждали» полученные ранее показания «из подлинной правды», либо (в случае, если нужные показания не получены) становилась самостоятельной, особо тяжелой мукой. В последнем случае жечь огнем могли многократно, как это видно из записи пытки Лося или Мартинки Кузмина, который был «пытан накрепко... и огнем, и клещами жжен многожды», или как в деле рудничного мастера Елисея Поздникова, которого «сильно жгли огнем» (718, 16, 163, 47, 89, 774). В таких случаях жизни пытаемого угрожала смертельная опасность; в деле «жонки» Марфы Долговой, десять раз пытанной на дыбе и жженной огнем, сказано: «И на огне за жарена до смерти» (или по другому документу: «А Марфушка в застенке после пытки на огне сожжена» (89, 437; 322, 14).

Из материалов розыска не совсем ясно, как проводили такую пытку, зачастую в протоколе сказано кратко: «говорил с огня» или «огнем жжен». Но есть основания думать, что допросы вели, держа человека над огнем (костром, жаровней). Упомянутого Лося, если судить по тексту документа, каким-то образом подвешивали над огнем и в таком положении допрашивали. Перри — один из немногих авторов мемуаров, который видел эту пытку в начале XVIII в., — писал: «Около самой виселицы разводят мелкий огонь..., [человеку] связывают руки, ноги и привязывают его к длинному шесту, яко бы к вертелу. Двое людей поддерживают с обоих концов этот шест над огнем и таким образом обвинного в преступлении поджаривают спину, с которой уже сошла кожа; затем писец... допрашивает его и приводит к признанию» (546, 142). В протоколах сыска каждый новый вид пыток отмечался особо: «Говорил... в роспросе, и с пытки, и с огня», «И Ерошка огнем жжен, а с огня говорил...» (197, 111—114). В протоколе пытки Никиты Кирилова 20 августа 1714 г. записано: «На пытке было ему 25 ударов и жжен огнем, с огня говорил...» (325-2, 102—103). В проекте Уложения 1754 г. техника этой пытки проясняется окончательно: «Приводнаго на виске еще сверх того венником или уюгом жгут» (596, 46). Из дела чародея Науменка 1643 г. единственный раз мы видим не встречавшееся в других источниках уточнение пытки огнем: «Пытан — подозрежна ему пята» (307, 36).

В конечном счете нужно различать следующие разновидности пытки огнем: держание над огнем (о такой пытке писали — «*з ж е н н а о г н е*») и прикладывание к телу каких-либо раскаленных или горящих предметов («*з ж е н о г н е м*»). Впрочем, последний термин использовали и для обозначения жжения на огне. Григорий Конисский в своей «Истории Руссов или Малой России» сообщал, что пытка огнем состоит в прикладывании к телу раскаленной железной шины, которую водили «с тихостью или медленностью по телам человеческим, которые от того кипели, шкварились и воз-



Раскаленные шипцы и клещи

дымались» (398, 238). Рейтенфельс писал также, что пытаемым «крайне мучительно проводят по телу... раскаленным добела железом» (615, 117). Он же упоминает о пытке горячей серой. Вероятно, ею предварительно намазывали какой-нибудь участок тела, а потом поджигали (так было в Западной Европе), либо горящую серу лили на тело пытаемого.

Котошихин упоминает пытку раскаленными докрасна клещами — ими ломали ребра пытаемого (415, 115). Об этом сказано в делах за XVII в.: «Велел пытать накрепко ж и клещами розжегши, велел жечь...», «Розжегши клещи и у ноги перст жечь», «Клещами жжен» (500, 38—39; 718, 16—17; 736, 37). Пытки клещами применил к церковному вору П.А. Толстой в 1693 г. (536, 31). Подобную же пытку прошел в 1709 г. и пленный башкирец Урусакай Туровцев в Тобольске перед воеводой М.Я. Черкасским (537-1, 375). До нашего времени в музейных коллекциях Европы сохранились два вида подобных инструментов, относящихся приблизительно к 1500—1800 гг. — шипцы и клещи, имевшие длинные ручки для того, чтобы накаливать их на огне. Первые похожи на гигантские плоскогубцы, они сделаны в виде пасти крокодила и предназначались для прижигания различных частей тела (грудей, гениталий). Вторые напоминают длинные клещи для вытаскивания гвоздей. Вероятно, именно такими клещами ломали ребра пытаемого и вырывали ноздри у казнимого на эшафоте (815, 126). Шлейссингер, повествуя о пытке, которую он видел в Москве, пишет, что палач подошел «с раскаленным железом и несколько раз ткнул им несчастного грешника в спину. Тот снова стал кричать и жалобно завывать. Это выглядело очень страшно, но мне сказали, что так делается для излечения, чтобы спина снова зажила» (794, 121).

Подозреваю, что доверчивого немецкого экскурсанта обманули, он присутствовал при известной «пытке огнем», а не при лечении таким способом. Вероятно, о такой пытке волшебника Ивана Бунакова в 1689 г. Желябуж-

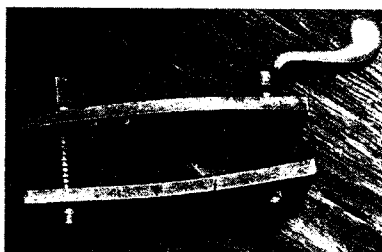
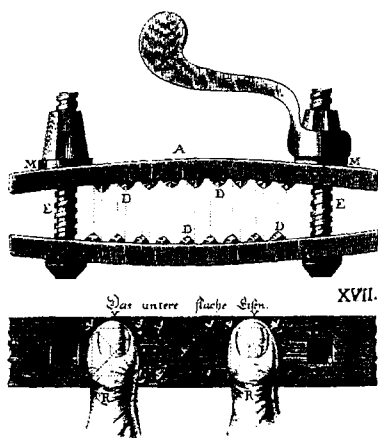
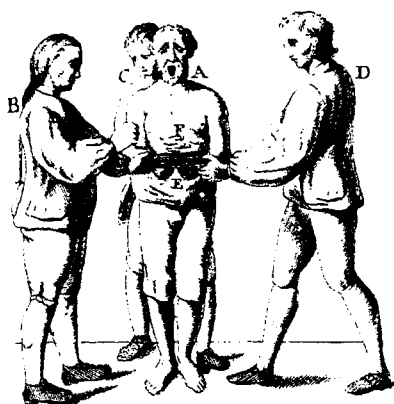
ский писал: «С пытки он рван и не винился» (290, 211, ср. 626, 406). В проекте Уложения 1754 г. есть упоминание о жжении пытаемого раскаленным утюгом (596, 46). Снегирев упоминает также пытку огнем, когда несчастного «встряивали на спину зажженным веником». Так как автор не ссылаясь при этом на источники, А. Циммерман считал, что эта подробность вымышлена Снегиревым (784, 1160). Однако и в проекте Уложения 1754 г., и в «Обряде, како обвиненный пытается» середины XVIII в. об этом сказано ясно и определенно: «Палач, отвязав привязанные ноги от столба, висячего на дыбе растянет и зажегши веник с огнем водит по спине, на что употребляетца веников три и больше, смотря по обстоятельствам пытанного» (519, 59). О том же говорится в деле 1724 г., когда было «учинено бабам Федорою Ивановой... Авдотьёю Малафеевою... розыскивано, жжены огнем вениками» (9-4, 94). В 1732 г. колдник Ошурков был, согласно приговору Тайной канцелярии, «зжен вениками». Эта пытка отличалась от «зжения огнем», которое упомянутый Ошурков также претерпел (42-3, 119). С.В. Максимов, ссылаясь на традицию, сообщает о мрачной шутке, которой перебрасывались в тюрьме те, кого вели с пытки, с теми, кто ждал своей очереди: «Какова баня? — Остались еще веники!» (453, 111). М.И. Семевский также упоминает, вероятно, взятое им из документов выражение «пытка со вспаркой горячими вениками», передает и такую формулу пытки: «усечь огнем» (664, 65, 98). Майора С.Б. Глебова, любовника царицы Евдокии, пытали не только раскаленным железом, но и «горячими угольями» (734, 442). То, что огонь могли использовать (подносить, прикладывать) несколько раз за пытку, подтверждается документами Стрелецкого розыска 1698 г.: «Васка ж Алексеев огнем зжен в третье, к вышеписанным словам прибавил...» (197, 113).

Все остальные виды пыток встречаются — по крайней мере, по известным мне материалам — довольно редко. «*Вождение по спицам*» («поставить на спицы») упоминается только несколько раз. Об этой пытке говорится в деле Варлама Левина в 1722 г., а также в деле брянского архимандрита Иосифа. Согласно экстракту Тайной канцелярии, он дал показания «и с огня, и с вожения по спицам» (8-1, 303 об.). Вождение по спицам упомянуто в деле Феофилакты Лопатинского (около 1735 г.), когда «причастник» Феофилакты архимандрит Иоасаф Маевский был не только пытан на дыбе, но и «вожен по спицам три четверти часа» (484, 286; 775, 662). Какова была техника этой пытки, точно мы не знаем. Известно только, что для этого Левина выводили на двор в Преображенском. Можно предположить, что спицы (заостренные деревянные кольшики) были вкопаны в землю и пытаемого заставляли стоять на них голыми ногами или ходить по ним (325-1, 45). О таких спицах, которые на-

ходились на площади в Петропавловской крепости, пишет первый историограф Петербурга А. Богданов. Он сообщает, что спицы эти были врыты в землю под столбом с цепью, и когда кого «станут штрафовать, то в оную цель руки его замкнут и на тех спицах оный штрафованный должен несколько времени стоять». Площадь эту у Комендантского дома в крепости народ, склонный к мрачному юмору, прозвал «Плясовой», так как стоять неподвижно на острых спицах человеку было невозможно и он быстро перебирал босыми ногами, как в пляске. Как пишет австрийский дипломат Плейер, Степан Глебов в 1718 г. кроме обычных пыток кнутом, жжения железом и углями на три дня был привязан к «столбу на доске, с деревянными гвоздями» (752, 224; 734, 442).

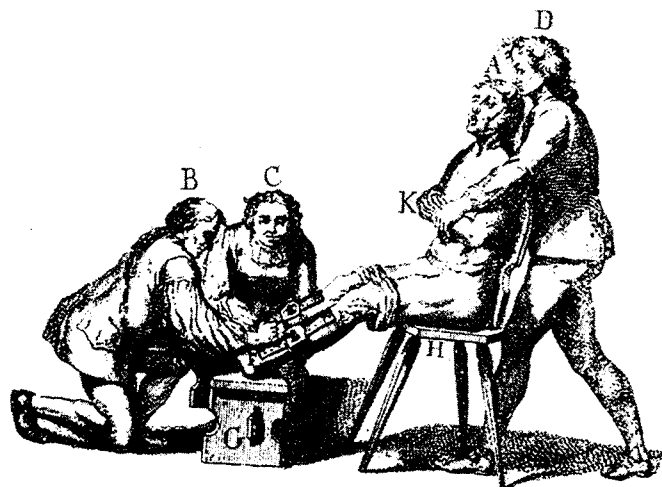
А. Богданов упоминает также и другое орудие пыток, которое находилось на той же площади и использовалось и как пытка, и как наказание, — это *деревянная лошадь* с острой спиной, на которую верхом на несколько часов сажали пытаемого (наказуемого). Ноги его привязывались под «брюхом» лошади, иногда к ногам привешивали груз. При этом пытку ужесточали ударами кнута или батонов по спине и бокам. Возможно, об этой распространенной пытке-наказании среди военных говорит пословица «Поедешь на лошадке, что самого ездока погоняют» (159, 126; 236, 169). А.П. Волынский, будучи губернатором в Астрахани, прославился тем, что пытал поручика князя Мещерского на деревянной лошади, привязав к его ногам живых собак.

В «Обряде, како обвиненный пыгается» есть упоминания еще о четырех видах пыток, которые были в ходу в русских застенках. Из этого описания мы узнаём о пыточных инструментах, известных по литературе о европейской инквизиции. Это тиски — винтовые *ручные зажимы* и «*испанский сапог*», т.е. «тиски, сделанные из железа в трех полосах с винтами, в которые кладутся злодея персты сверху большие два из рук, а внизу ножные два и свинчиваются от палача до тех пор, пока или не повинится или не можно будет больше жать перстов и винт не будет действовать». В книге Роберта Хелда приводятся фотографии нескольких видов дошедших до нашего времени тисков для пальцев рук и ног (815, 92–93). Максимов сообщает, что ручной зажим в народе назывался «репка», в сжатом состоянии зажим напоминал этот овощ. «Репка» вызывала острую боль и крики пытаемого. С этим также связана пословица: «Хоть ты матушку-репку пой!» (453, 112). «Испанский сапог» надевали на ногу и затем в скрепу забивали молотком дубовые клинья, постепенно заменяя их клиньями все большей и большей толщины. Самым толстым считался восьмой клин, после чего пытка прекращалась, так как кости голени пытаемого ломались.



Тиски для пальцев

Две другие пытки попали в Россию с Востока. Первая называется «*клячить голову*», а второй была *пытка водой*: «Наложа на голову веревку, и просунув кляп, и вертят так, что онный изумленным бывает. Потом простригают на голове волосы до тела и на то место льют холодную воду только что почти по капле, от чего также в изумление приходит». Так описана эта пытка в «Обряде». Снегирев, опираясь на фольклорный материал (чем также вызвал резкую критику А. Циммермана), писал, что была еще пытка с помощью веревки, которой стягивали голову и ноги жертвы (784, 1159). Она отразилась в пословицах «В три погибели согнуть» и «В



Переламывание голеней с помощью «испанского сапожка»

утку свернуть». В.И. Даль к этому прибавляет: «Согнуть кого в бараний рог. Скрутить кляпом. Узлом затянуть. Согнул в дугу. Скрутил в круг. Смотал его клубком, да связал узлом» (236, 169). Думаю, что в споре Циммермана со Снегиревым прав последний. Хотя эти записанные в XIX в. пословицы имели исключительно переносное, условное значение, допускаю, что весьма распространенная во всем мире пытка (см. 815, 58–59) с помощью стягивания-растягивания тела пытаемого не миновала и Россию. Из следственного дела 1713 г. известно, что попа Ивана Петрова «мучали и клячем голову вертели», что можно понимать как применение веревки с просунутой в нее палкой, которой эту веревку закручивали (537-1, 535). В 1788 г. помещика Анненкова обвиняли в убийстве крестьянина Макарова, которого «приказал скрючить, притянуть веревкою верхние части тела к ногам насколько это было возможно. При этом, чтобы ту же натянуть веревку для скрючивания, была употреблена палка» (607, 236). Пытку водой применили к Степану Разину. О ней говорит мемуарист Людвиг Фабрициус: «Есть у русских такой род пытки: они выбривают у злодея макушку и по капле льют туда холодную воду, что причиняет немалые страдания». О том, что Разину «капали ледяную воду на голову», пишет и Ян Рейтенфельс (306, 114; 615, 117, 119).

Известно дошедшее до наших времен выражение «Сказать всю подноготную» и более чем ясная по своему историческому смыслу по-



Пытка водой

словища «Не скажешь подлинную, так скажешь подноготную» (236, 154). Речь идет о пытке, когда человеку забивают под ногти железные гвозди или деревянные колышки. С.В. Максимов сообщает, что для этой пытки руку пытаемого закрепляли в хомуте, а ладонь зажимали особыми плоскими клещами так, чтобы он не сжал руку в кулак. Возможно, что так пытали под Петергофом, в присутствии Петра I, царевича Алексея. Андрей Рубцов, который попал в Тайную канцелярию в 1718 г. по доносу товарища, показал, что слышал пыточные крики, а потом видел царевича с завязанной рукой (322, 126—139). Впрочем, сына царя могли пытать и просто упомянутым выше ручным зажимом — «репкой».

Снегирев пишет, что пыткой было и кормление арестанта соленой пищей, причем ему долго не давали пить. Педантичный критик Снегирева А. Циммерман против этого не возражает, припоминая сам, что в современной ему русской полиции (статья писалась в 1864 г.) этот способ добиться нужных показаний был в ходу и называли его «покормить селедкой». Ниже будет приведен отрывок из воспоминаний Андрея Болотова о том, как

он сам пытал крестьянина этим же способом. Об этой пытке упоминается даже в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор», когда идет речь о приемах работы судьи Ляпкина-Тяпкина. О кормлении соленым как пытке, а также о посыпании ран солью пишет и С.В. Максимов (453, 111). Крестьяне заводчика Н.Н. Демидова в 1752 г. жаловались, что хозяин в заводском застенке «бьет немилосердно кнутом и по тем ранам солит солью и кладет на розженое железа спинами» (463, 220, 308, 341).

Пыточные вопросы (в конце XVII в. их называли «Статьи, каковы выписаны... для розыску» — 623-4, 135), как и в «роспросе», составляли заранее на основе извета, роспросных речей, других документов. В особых, «важных» делах их писали или диктовали сами коронованные следователи. Так делали все русские государи: Алексей Михайлович, Петр I, Анна Ивановна, Елизавета Петровна. Последняя, составив такой вопросник, распорядилась: «И что с розыску покажет, доложить Ея величеству» (660, 22). Протокол допроса на пытке был близок к тому, который вели во время «роспроса» и очной ставки. Вопросы писали на листе столбцом слева, а на правой, чистой половине листа записывались ответы, полученные с пытки, — иногда подробные, иногда — краткие («признается», «винится») или в виде пометок: «Во всем запирался», «Запирается» (630-4, 249; 755, 210).

Неясно, каким образом во время виски и битья кнутом велся допрос («роспрос из пытки»). Часто мы имеем лишь краткую запись об этом: «В застенке ж у пытки Оска Охалкин в роспросе сказал...», «В том Авраам подъяман и с виски сказал...» (623-4, 270; 752, 214, 217). Возможно, что вначале пытаемому задавали вопрос, потом следовал удар (или серия ударов), а потом слушали и записывали его ответ. Возможно, что человека били и до вопросов, и после них. Из дел российского сыска (как и из западноевропейских гравюр) мы видим, что пытаемый давал показания в висячем положении. Как пишет Перри, удары кнутом «обыкновенно производятся с расстановкой и в промежутках подъяк или писец допрашивает наказуемого о степени виновности его в преступлениях, в коих он обвиняется, допрашивает и о том, нет ли у него сообщников, а также не виновен ли он в каких-либо других из тех преступлений, которые в эту минуту разбираются судом... в коих виновные не открыты» (546, 141).

Из дела Александра Кикина, сподвижника царевича Алексея, которого допрашивали 18 февраля 1718 г., следует, что «роспрос из пытки» был организован следующим образом. Пытаемому вначале задали девять вопросов, он на них отвечал, а потом его подвесили на дыбу, дали 25 ударов и вновь повторили вопросы, а потом уже записали его ответы на них. В протоколе

сыска допрос с пытки записывали так: «И в том им розыскивано. А с розыску сказал: На 1-е: Тож (т.е. как в ответе на первый вопрос до пытки. — *Е. А.*)» и т.д. (752, 468–469). В документах сыска очень часто встречаются две устойчивые обобщающие формулы: «С подъема винулся..., с розыску утвердился» или «Подыман и говорил прежние ж свои речи», т.е. в первом случае пытаемый человек признал свою вину на «виске», а затем подтвердил ее на пытке кнутом или огнем. Во втором случае пытаемый подтвердил на пытке свои прежние показания в «роспросе» (623-4, 180; 42-2, 29). Наконец, в проекте Уложения 1754 г. сказано вполне определенно о технике допроса во время пыток: «Висячаго на дыбе спрашивать судьям по каждому главнейшему пункту и обстоятельству учиненнаго им злодейства вкратце... а судьям увещавать и склонять к показанию истины и что он на каждый пункт скажет, то велеть повыitchику обстоятельно записывать, означе при том сколько минут на той пытке висел и сколько ему на дыбе ударов дано, чего ради иметь на столе часы» (596, 48).

Во время пытки, как уже отмечалось выше, проводили не только допросы, но и очные ставки. Из дела Кирилова 1713 г. видно, что во время пытки 23 февраля сначала пытали его, изветчика, а потом на дыбу подвесили оговоренного Кириловым Ивана Андреева. Пока его допрашивали, спущенный на землю изветчик «у дыбы его, Ивана, уличал: вышеписанныя-де непристойные слова как он, Никитка, сказал в извете и с пытки он, Иван, говорил подлинно, да он же, Иван, про него, Государя, говаривал не по одно же время как-де Он, Царь, в посты ест мясо и женит христиан, и нарядил людей бесом, поделал немецкое платье и епанчи жиловские. А Иван Андреев против той улики в тех словах запирался и говорил изветчику, [что] и никому никогда... не говорил же» (325-2, 79).

Из записи ответов Андреева и других пытаемых по этому делу видно, что в протоколе вначале записывали «уличения» изветчика, а затем ответ ответчика. Другого оговоренного крестьянина, Осипа Артемьева, уличали поочередно изветчик и его свидетель Иван Бахметев. Протокол допроса велся по тому же принципу. Артемьев, несмотря на «уличения», хотя и висел на дыбе, но прежних своих показаний не менял. Его «пыточная речь» записана трафаретно, как и речи других пытаных: «А вышеписанными своими словами изветчик Никитка Кирилов клевет на меня напрасно». Таким же был и ответ последнего из пытаемых — Семена Андропова (325-2, 81–83). И хотя жесткого порядка ведения «пыточного протокола» не существовало, но все же основные принципы составления подобного документа были довольно устойчивы. Когда в итоговых материалах розыска встречаются краткие записи типа «А в роспросе из пытки говорил те же речи, что и в роспросех, и

в очных ставках своих показал», это означает, что весь цикл «расспроса из пытки» был проведен, но и после пытки человек не изменил данных в предпытном «расспросе» показаний.

Как появляется такая запись, видно из протоколов пытки Василия Кочубея и его товарищей в 1708 г. Вначале они были «спрашиваны, не было ль чрез кого от шведов или от поляков, или от запорожцев, и из Крыму подсылки в том гетманском, или в ином каком деле мимо гетмана к ним, или другой старшине, или иным каким чинам о малороссийского народа к какому возмущению?». Далее в протоколе записано, что «Кочубей приведен к пытке и перед пыткой сказал, что (далее воспроизводится вопрос. — Е. А.)... того он не ведает и в согласии с ним, Кочубеем, никто не был. И потом пытан, и спрашиван о том, и с пытки говорил те же речи, что и пред пыткой выше сего» (357, 144). После пытки пытаемый подписывал по принятой тогда форме перебеленный «пыточный протокол», который ему зачитывал подьячий. Так было в 1739 г. с Долгоруким: «Князь Иван Долгорукий руку приложил» (719, 168; см. 752, 61). Если сам прошедший пытку этого сделать не мог (например, сломана рука), то приказные писали так: «А Варсонофия руки не приложила для того, что она после розысков весьма больна» (325-2, 50). Артемию Волинскому после первой же пытки повредили руку, и он не мог подписывать протоколы следствия, что в них отмечалось особо (304, 158). В протоколе подьячие записывали также, были ли при пытке старшие должностные лица: «Было ему 26 ударов. При оном присутствовал его превосходительство (далее следует весь его чин. — Е. А.)... Андрей Иванович Ушаков» (49, 9; 66, 15).

Теперь рассмотрим вопрос об *очередности* применения пытки к участникам политического процесса. Общее правило таково: если ответчик стоял на отрицании возведенного на него извета на «расспросе» (включая очную ставку с изветчиком и свидетелями), то первым в застенке пытали изветчика. В некоторых делах мы сталкиваемся с «симметричным» принципом пыток, так называемым «перепытыванием»: 1-я пытка изветчика, 1-я пытка ответчика, 2-я пытка изветчика, 2-я пытка ответчика и т.д. Но чаще в делах упоминается серия из 2—3 пыток одного из участников процесса. В промежутках между сериями следователи вели допросы, организовывали очные ставки, священники исповедовали и увещевали пытаемых. То, что первым на дыбу шел изветчик, отвечало традиционному процессуальному принципу, отраженному в пословице: «До кащ и ку — первый кнут». В этих случаях от изветчика требовали не только подтверждения его извета, но и одновременно ответа на вопрос: «Не затевает ли ч тех словах на оного... напрасно

по какой злобе или иной какой ради притчины, и не слышал ль тех слов... от других кого?» (42-5, 67; 42-2, 96).

Закон в принципе позволял изветчику избежать пыток, но для этого ему следовало убедительно «довести» — доказать свой извет. В деле доносчика Крутынина есть резолюция на основе «роспроса», которой обосновывалась пытка изветчика: «Без розыску показания ево за истину принять невозможно, понеже свидетельства никакова на означенные непристойные слова он, Крутынин, не объявлял, а что хотя он, Крутынин, о тех словах на онного Наседкина (ответчика. — *Е. А.*) в роспросе и в очной с ним ставке, и с подъему, и утверждался, но тому поверить невозможно потому, что и оной крестьянин в роспросе ж, и в очной ставке, и с подъему в том не винулся; того ради оным Крутыниным и с подлинной правды, и розыскивать» (42-2, 74, 97—98). Подтвердительные пытки часто оказывались западней, страшным испытанием для изветчика, и он, подчас не выдерживая их, отказывался от своего извета, говорил, что «затял напрасно» или «поклепал напрасно». Это называлось «сговорить с имярек», «очистить от навета», т.е. снять, смыть, считать с человека подозрения и обвинения. Это выражение еще означало, что изветчик признает: «я оклеветал ответчика». В докладной записке о допросах стрельцов в 1698 г. мы читаем о таком изветчике: «Он, Ларка, с них, Артюшки Маслова, и с Федулейки Батея, и с Елески Пестрякова, о побииении бояр зговорил, что он затеял на них напрасно. И он, Ларка, пытан и огнем зжен, и с пытки их очистил же» (197, 62). Важно отметить, что отказ от извета не избавлял бывшего изветчика от пытки и неминуемо вел его к подтверждению уже новой пыткой отказа от извета. Делалось это, чтобы убедиться наверняка: изветчик отказывается от извета чистосердечно или по сговору или подкупу со стороны людей ответчика.

В 1714 г. изветчик Кирилов, до тех пор твердо стоявший на своих показаниях против нескольких ответчиков, не выдержал мучений и на седьмой пытке признался, что всех этих людей оговорил ложно, чтобы избежать казни за разбой и убийства, «и ныне он, Никитка, говорит подлинную правду и зговаривает не по засылке, и не по скупу». После этого Кирилов «из переменных речей пытан в другой [раз], а с пытки говорил те же речи, что сказал с первой пытки: непристойными-де вышеписанными всеми словами (список 5 оговоренных. — *Е. А.*)... поклепал он напрасно, хотя отбыть в воровствах своих смерти... и говорит он ныне подлинную правду, и зговаривает не по засылке, и не по скупу». После 25 ударов кнутом (предыдущая пытка — также 25 ударов) его жгли на огне, и он «со огня говорил тоже». В итоге обогланных изветчиком людей освободили (325-2, 101—103).

Если же изветчик выдержал пытку и «утвердился кровью» в извете, наступала очередь пытать упорствующего в непризнании *о т в е т ч и к а*. На этом этапе следствия у изветчика и появлялся шанс утвердить свой (даже самый ложный) извет. Естественно, более всего изветчик хотел, чтобы ответчик «пошел в повинку», т.е. признал правдивость извета на него еще на стадии «рспроса» и в очных ставках с ним и со свидетелями. Тогда за «дovedенный» извет доносчика не пытали, и он мог даже рассчитывать на награду. Ею могла стать и жизнь — выше упоминалось, что «за правой донос» колодника Савву Фролова в 1730 г. освободили от смертной казни. Устраивала изветчика в принципе и пытка ответчика после того, как он, изветчик, сам выдержал пытку и подтвердил свой извет. В этом случае он мог рассчитывать, что оговоренный им человек (ответчик) или не выдержит пытки и умрет, или признает себя (в том числе вопреки фактам) виновным и тем самым подтвердит извет. Если ответчик умирал, то изветчик мог надеяться на спасительный для него приговор, подобный тому, который был вынесен по делу Авдотьи Невляиновой, донесшей в 1703 г. на Арину Мячкову об оскорбительном высказывании о Петре I. Обе женщины «утверждались» в своих показаниях в «рспросе», на очной ставке и с трех пыток каждая. После серии пыток ответчица умерла, а Авдотья была освобождена на том основании, что «ей в непристойных словах *п е р е п ы т ы в а т ь с я* не с кем». К такому же итогу пришли в пыточном споре крестьянка Игнатьева и попадья Авдотья, которая донесла на Прасковью в произнесении той слов: «Я слышала про государя, что он не царского колена». Женщин пытали, и через месяц ответчица умерла, а изветчицу выпустили на свободу (88, 42—43, 64 об.). Записи о «перепытывании» изветчика Григория Левшутина и ответчика Никиты Никифорова в 1716 г. позволяют предположить, что сама эта процедура выглядела как спор двух висящих на дыбах людей (325-1, 607). Из дела 1732 г. видно, как на стадии пытки судьба изветчика вдруг оказывается в руках ответчика, и «оружие доноса», которое он применил против ответчика, било по нему самому. Ответчик расстрига Илья не признал доноса на него, сделанного конюхом Никитиным, и не только выдержал три пытки, но «и показал на оного изветчика Никитина якобы те слова говорил он, Никитин». Только смерть от пыток спасла Никитина от наказания за ложный извет (42-1, 106). При этом нужно заметить, что закон формально запрещал принимать к делопроизводству доносы с пытки, но тем не менее исключения делались постоянно, как в этом случае, так и в других случаях.

Упомянутое выше дело Крутынина и Наседкина также пошло по худшему для изветчика сценарию: ответчик Наседкин выдержал первую пытку и отказался признать извет Крутынина (которого до этого уже пытали

дважды). Тогда было решено: «Ис подлинной правды и вышеписанным Крутыниным (т.е. изветчика. — *Е. А.*) розыскивать в третьи (т.е. в третий раз. — *Е. А.*) и буде он, Крутынин, с третьего розыску показывать будет на одного Наседкина тож, что оной Наседкин объявленные непристойные слова говорил, то и оным Наседкиным ис подлинной правды еще розыскивать дважды» (42-2, 97об.).

Скажем теперь о правиле «*трех пыток*», отразившемся в пословице «Пытают татя по три перемены». В просторечье эти три пытки еще упоминались как «три вечерни» (286-3, 337). Бытует представление, согласно которому человек, выдержавший три пытки подряд и не сошедший со своих показаний, признавался правым («очищался кровью») и мог даже получить свободу. Как сказано выше, и признание ответчиком справедливости доноса, и отказ изветчика от обвинений в «роспросе» (допросе), а также первая пытка автоматически не освобождали этих людей от последующих пыток. Показания, данные на первой пытке, требовали обязательного подтверждения — буквального повторения сказанных на первой пытке слов и на последующих двух пытках. В мае 1732 г. по делу Татьяны Ивановой было определено: «Означенную вдову Татьяну привести в застенки и в подтверждение прежнего ее показания роспросить ее с пристрастием, и поднять на дыбу, и спрашивать подлинно ль она, Татьяна, вышеозначенному Никите Артемьеву показанных от того Артемьева непристойных слов... не говорила... как показано о том в очных ставках и с первого розыску» (42-2, 1об.). В делах политического сыска заметна некая закономерность: если ответчик сразу признавал свою вину, подтверждал извет, «шел по повинке», то его пытали «из подлинной правды» один раз и правило трех пыток к нему не применялось. Иначе бывало с тем ответчиком, который отрицал свою вину, не признавал извета. Тогда правило трех пыток соблюдалось довольно последовательно. Из документов Сыскаго приказа середины XVIII в. следует, что все раскольники, не желавшие раскаться в своей вере, подвергались обязательной трехкратной пытке (242, 58).

Только стойкость могла спасти ответчика, но ее хватало не у всех, чтобы выдержать три «пытки непризнания», стоять «на первых своих словах» и так «очиститься кровью» от навета. Правило трех пыток наиболее емко записано в деле 1690 г. о фальшивомонетчиках: если воровские люди «в том с трех пыток учнут виниться и на иных людей говорить, а оговорные люди на себя с трех же пыток говорить не учнут, и тех оговорных людей давать на поруки с записми» (104, 306). В 1698 г. испытание трех пыток выдержал стрелец Колпаков, после чего его освободили. В 1700 г. в деле Анны Марковой,

стерпевшей три пытки, сохранился приговор: «Анютку... освободить, потому что она в том деле очистилась кровью» (290, 265; 322, 17). В 1704 г. после трех пыток «очистился кровью» и был освобожден из тюрьмы помещик Василий Аристов, на которого донес его крепостной Клим Дугин (88, 105). Крестьянин Иван Зубов выдержал три «пытки непризнания», причем одну из них с огромным числом ударов кнута (52 удара). В конце концов его выпустили на волю, как очистившегося от навета, хотя, судя по делу, следователи сомневались в искренности ответчика (88, 346 об.). Благодаря своей стойкости на пытках весьма приближенный к царевичу Алексею сибирский царевич Василий Алексеевич был только сослан в Архангельск, тогда как другие, менее близкие к сыну Петра люди оказались на плахе, с вырванными ноздрями, были сечены кнутом и сосланы в Сибирь. В выписке Тайной канцелярии о Василии сказано: «Что на него показано было от царевича Алексея Петровича, в том он с трех пыток винулся, и для того по приговору министерскому марта 16 дня определено учинить его свободна» (8-1, 17).

Отказ от данных на предыдущей пытке показаний или даже частичное изменение их (так называемые «переменные речи») с неизбежностью вели к утроению пыток — каждую поправку к сказанному ранее требовалось заново трижды подтвердить на дыбе, а потом на огне новые показания. Об этом ясно говорит закон. «Краткое изображение процессов», например, предусматривает: человек, признавшийся на пытке в преступлении и потом отказавшийся от первоначальных показаний... должен вновь подвергнуться пытке, «понеже учиненное признание паки его в новое приводит подозрение». И только в том случае, если человек выдержит пытку трижды и «паки отречется, то уже оно более допрашивать не надлежит» (626-4, 422). Иначе говоря, всякое новое изменение показаний позволяло утраивать пытки.

В 1725 г. допрашивали самозванца Евстифея Артемьева, который казался царевичем Алексеем. В рапорте генерал-майора Шереметева, который вел розыск, отмечено, что Артемьев «был пытан в застенке три раза, токмо явился по роспросам в назывании себя царевичем Алексеем Петровичем не постоянен, а говорил разнство. А именно: в первом застенке декабря 2-го числа на виске в роспросе сказал...». Затем следует пересказ всех показаний Артемьева на каждой из трех пыток. В конце рапорта Шереметев сообщал, что следователи приводили Артемьева в четвертый и в пятый раз в застенки «для роспросу в разнстве», «токмо-де весьма был болен... и ничего не говорил». Тогда «по роспросным и пыточным речам в разнстве с розыском, приказал он, Шереметев, следовать и когда от болезни оной извошик свободится, тогда еще розыскивать» (598, 10—13). Пытки эти, как сказано выше, могли продолжаться до тех пор, пока на трех последних из них не будут даны

идентичные показания и «разнство» будет устранено. По-видимому, правовой основой этой практики был указ (дата его издания неизвестна), на который часто ссылались в делах Преображенского приказа. Указ предписывал: если «воры учнут речи свои переменять, и тех людей велено ис переменных речей пытать трижды и огнем жечь. Да что с тех трех пыток и с огня скажут, тому и верить» (212, 66). Именно о таком толковании правила «трех пыток» говорит автор «Обряда, како обвиненный пыгается»: «Хотя по законам положено только три раза пытать, но когда случится пытаной на второй или на третьей пытке речи переменит, то еще трижды пыгается. И если переговаривать будет в трех пытках, то пытки употребляются до тех пор, пока с трех пыток одинаковое скажет, ибо сколько б раз пытан ни был, а есть ли в чем-нибудь разнить в показаниях будет, то в утверждение должен еще три пытки вытерпеть, а потом и огонь» (519, 59).

Вероятно, первоначально правило «трех пыток» имело символическое значение. Уже в Судебниках, уставных грамотах и губных наказах мы находим выделение трех степеней преступлений и соответствовавших им наказаний, которые ужесточались при рецидиве (626-2, 149, 222 и др.). Но было бы неверно думать, что правило «трех пыток», как и другое правило «первый кнут доносчику», оставалось для политического сыска «священной коровой» и соблюдалось всегда и последовательно. Если сыск был особенно заинтересован обвинить одну из сторон процесса, то все эти и подобные им традиции и правила для следователей ничего не значили. Сохранились дела, из которых видно, что многократная пытка применялась только к изветчику или только к ответчику. Причины неожиданной жестокости к одним или особой милости к другим участникам процесса скрыты от нас, и было бы слишком просто объяснить подобный ход следствия только тем, что доносчиком выступал рвущийся на волю крепостной крестьянин, а ответчиком — его помещик, которому доверяли больше, хотя этот мотив мог действительно в некоторых случаях присутствовать.

Так, четыре года тянулось дело, начатое в 1699 г. по доносу крестьянина Игнатия Усова на его помещика Семена Огарева в сказывании «непристойных слов». Несмотря на подтверждение извета свидетелем и на девять(!) пыток изветчика, непоколебимо стоявшего на своем доносе, ответчик Огарев был только на допросах и на очных ставках и ни разу не был поднят даже в виску (212, 189—191). Ответчик Муравшик, выдержавший за три сеанса 106 ударов кнута, был пытан в четвертый раз, а «в пятом розыске и с огня говорил, что тех слов он никогда не говаривал». Тем не менее изветчика не пытали, а стойкий Муравшик, однако, был сослан на каторгу (181, 186).

Полно таких процессуальных «странных» и дело писаря Бунина против вдовы Маремьяны Полозовой, которое велось в 1723—1725 гг. После того как доносчик на первых допросах и с очной ставки убедился в том, что ответчица «в повинку» не пойдет и что ему грозит «первый кнут», то он прикинулся больным и подтвердил свой донос на исповеди. В итоге ответчицу пытали первой, но она пытку выдержала и не признала извета Бунина. Тогда послали за попом — духовным отцом Полозовой. Он свидетельствовал о религиозности и послушании своей духовной дочери. Теперь по всем правилам сыска путь на дыбу предстояло проделать Бунину. Однако этого не произошло — на дыбу опять возвели Маремьяну и дали ей 20 ударов кнута. Но старуха оказалась на редкость стойкой. Она вновь отвергла донос и обвинила писаря в клевете. И тут... следствие, вопреки всем принятым процессуальным нормам и указам, приняло от Бунина дополнительный извет, по которому Полозову стали допрашивать. К этому времени она, пройдя две страшные пытки, была почти при смерти. Призванный ею священник исповедовал ее, и в «исповедальном роспросе» женщина вновь подтвердила: «Все, что я при розыске показала и то самая сушая правда, стою в том непременно, даже до смерти». Действительно, смерть ее казалась близкой — пытки сделали ее инвалидом, но следователи и теперь, после исповеди, ей не поверили. Они приняли третий донос Бунина о якобы вспомнившихся ему словах Полозовой в «поношение священнического сана». По-видимому, в Тайной канцелярии кто-то благоволил доносчику, ибо не случайно новый донос «о поношении... сана» появился после того, как исповедовавший Полозову священник отозвался о ней как о примерной прихожанке. Кроме того, вопреки действовавшему процессуальному праву, следователи допросили как свидетельницу жену писаря.

Бунину и Полозовой устроили очную ставку, и на ней измученная пытками старуха сказала, что она «поносила священнический чин», но в главном — в говорении «непристойных слов» об императоре — виновной себя не признала и на очной ставке! Обычно в такой ситуации следствие выносит приговор: доносчика пытать, чтобы начать, хотя бы и с опозданием, «перепытывать» стороны. Но нет! П.А. Толстой под расписку о невыезде выпустил изветчика на свободу, а Полозовой назначил третью пытку, но отложили ее до выздоровления колодницы. Когда Полозова через два года тюремного сидения стала, наконец, ходить на костылях, последовал указ: сослать преступницу в Пустозерск. В приговоре от 23 декабря 1724 г. о причинах наказания Полозовой было сказано: «А вина ея такова: говорила она писарю Бунину весьма важные непристойныя слова про Его и.в., о чем на нее тот писарь доносил, а в роспросе и с двух розысков созналась, что из означен-

ных слов говорила Бунину некоторые слова, токмо не все». На самом же деле, как показано выше, Полозова упорно отрицала извет Бунина и в «роспросе», и в первой очной ставке, и с двух пыток. Только на второй очной ставке с Буниным женщина признала свою вину по второстепенному обвинению (о «священническом чине»). Между тем донос об оскорблении чести Величества Бунин так и не «довел», но кнута при этом ни разу не отведal. 5 января 1725 г. Бунин был выпущен на свободу (664, 76).

Сходный случай произошел раньше, в 1723 г., когда денщик Комаров донес на двух женщин — Авдотью Журавкину и Федору Баженову — вговореении «непристойных слов». Ответчицы упорно отказывались подтвердить извет. Им устроили восемь(!) очных ставок, каждую из женщин трижды пытали на дыбе. Федора получила 32, а Авдотья 36 ударов кнута, потом женщин жгли огнем. Однако результата — признания вины — от них не добились. Итак, три традиционные пытки были налицо, тем не менее женщин не освободили, а изветчик в застенке так и не побывал, из этой переделки вышел в полном здравии. В указе о ссылке женщин в Пустозерск в декабре 1724 г. как бы признавалась неудача следствия («Хотя Авдотья Журавкина запирается в важных и непристойных словах, токмо тому не верить, а послать и ее, и Федору Баженову, за караулом в ссылку...»). Между тем, по всем законам и неписаным правилам, женщин за «недоведенностью» изветчиком доноса на них надлежало отпустить на свободу. Изветчика же после этого следовало признать виновным в ложном извете и отправить на дыбу, чтобы он «сговорил» с женщин донос или «кровью утвердился» в своем извете.

В других случаях отказ применять правило «трех пыток» объясняется проще. В 1722 г. колодница Кулачиха донесла на крестьянку Ненилу и одного крестьянина в произнесении «непристойных слов». При этом Кулачиха выдержала четыре пытки. И все же ей не поверили. В приговоре по ее делу было сказано: «Помянутой Кулачихе учинить наказание, бить кнутом нещадно, а изветом ее на Сукина человека и на Чубарову девку Ненилу не верить, хотя она в том четырежды и розыскивана, а с розысков утверждаетца якобы от обоих подлинно слышала, однакож то отставить потому, что она Кулачиха напред сего штрафованная воровка, да и потому, что на тех Сукина человека и на девку Ненилу в роспросех до розысков ничего не показывала, а как ее в воровствах начали розыскивать, в то время она те слова объявила на обоих, отбывая розысков» по совершенным ранее преступлениям (9-3, 8).

Рассмотрим теперь вопрос о продолжительности, степени тяжести пытки, периодичности самих пыток и о том, как люди переносили мучения. Здесь много неясностей. Так, нигде в документах не расшифровываются часто упо-

минаемые резолюции о предстоящих пытках «Распросить накрепко» или «Распросить с пристрастием», хотя ясно, что в этом случае пытки были страшнее, чем по резолюции «Распросить».

Судя по сохранившемуся столбцу Преображенского приказа с пометами «пытать», «в застенок» (89, 392), арестанты готовились к розыску заранее. Их дело предварительно рассматривал судья приказа. Сыскное ведомство работало, как всякое государственное учреждение, по принятым правилам, с соблюдением традиционных бюрократических процедур, в режиме, принятом для всех других государственных учреждений, чем часто и объясняется волокита с решением многих следственных дел. Конечно, в делах особо важных следователи работали, не считаясь с многочисленными праздниками и выходными. Об этом выразительно сказано в указе царя Михаила Федоровича от 26 апреля 1639 г. Указ разрешал пытать татей и разбойников «и в те дни, хотя будет по котором государе и память будет, и хотя и праздник будет, потому, что разбойники и тати и в праздники православных крестьян бьют и мучат, и огнем жгут и до смерти побивают» (538-5, 226). Впрочем, из дел Стрелецкого розыска 1698 г. видно, что по воскресеньям все же не пытали, потому что Петр I и его сподвижники в это время пировали.

При пытках обязательно присутствовал кто-то из руководителей сыска, приказные без начальства пытали людей очень редко. Обязательным было составление протоколов пыток (запись «пыточных речей»). В этих протоколах отмечалось число нанесенных ударов кнутом, другие пыточные действия: «Подыман он, Федка, дважды, было 17 ударов», «На пытке было ему 10 ударов», «А дано ему было 25 ударов», «А на пытке было ему 55 ударов и жжен клещами». В некоторых протоколах отмечалась продолжительность пытки. 9 августа 1735 г. В.Н. Татищев, пытавший Столетова, приказал отметить в протоколе: пытанный висел в виске полчаса, получил 40 ударов кнута, а потом висел еще час (623-4, 179; 659, 9, 12—13; 537-1, 375).

По мнению Г.К. Котошихина, число ударов кнута в течение часа колебалось от 30 до 40 (415, 115). Данным Котошихина в целом можно доверять. Они совпадают с моими наблюдениями над массовыми пытками стрельцов в 1698 г. Пытаемого не все время держали в подвешенном состоянии, а периодически опускали на землю, чтобы он мог прийти в себя. Когда в 1732 г. пытали А. Яковлева, обвиненного Феофаном в писании анонимного пасквиля, то его пришлось спустить с виски, т.к. он, согласно протоколу, «обмер и весь посинел и стал храпеть» (775, 441). Время «в подъеме», как и время отдыха на земле, иногда записывали в протоколе. В решении Тайной канцелярии 1734 г. о пытке копииста Краснова сказано: «...ис подлинной правды, подняв ево на виску, держать по получасу и потом, чтоб от того

подъему не вес[ь]ма он изнемог, спустить ево с виски и держать, не вынимая из хомута, полчетверти часа, а потом, подняв ево, Краснова на виску, держать против оногo ж и продолжить ему те подъемы, пока можно усмотреть ево, что будет он слаб и при тех подъемах спрашивать ево, Краснова, накрепко» (42-5, 166 об.). О том, что подъемы на дыбе бывали многократными и затяжными, упоминается и в других документах сыска. В записи допроса стрельца Игнатьева 12 октября 1698 г. сказано: «А Васка Игнатьев з друго вo подъему говорил...» (197, 13). Архимандрит Александрo-Свирского монастыря Александр (расстрига Алексей Пахомов) во время следствия 1720 г. был поднят на виску и провисел 28 минут, после чего потерял сознание. На следующий день его продержали «в подъеме» 23 минуты (325-1, 151). А.П. Волинского, как сказано в журнале Тайной канцелярии, держали на дыбе и били кнутом первый раз «полчаса» (3, 222). На розыске 1743 г. Иван Лопухин висел на дыбе десять минут (660, 36). Но продолжительность пытки отмечалась не всегда точно: «Потом поднят на дыбу и висел до о в о л ь н о и на виске сказал» (33, 2 — дело Гаврила Силина, 1722 г.).

Число наносимых ударов в каждой пытке определяли следователи, которые исходили из обстоятельств дела, показаний пытаемого, его физических кондиций. В проекте Уложения 1754 г., обобщавшего практику пытки, сказано: «Сколько ж ударов при каждом градусе пытки порознь давать и коликое время приводному на дыбе висеть, и коликим стряскам быть, того точно определить невозможно, понеже судьям надлежит в том поступать по состоянию и крепости подозрительного». И далее следователям даются конкретные указания, суть которых сводится к тому, что «людей средней крепости держать на дыбе при первой пытке десять минут и двадцать пять ударов, при другой держать пятнадцать минут, дав тридцать пять ударов, и при том быть двум стряскам с бревном, при третей держать до двадцати минут, а ударов давать пятьдесят и быть трем стряскам и при том жечь огнем и по той же препорции, где по состоянию и крепости приводных, то надлежит судьям того прибавлять или где уже сила не допустит, несколько из онаго убавливать» (596, 47).

Однако подсчеты общего числа ударов кнутом на дыбе, которые я произвел по протоколам и экстрактам сысканого ведомства, явно расходятся применительно к концу XVII — началу XVIII в. с рекомендациями составителей проекта Уложения 1754 г. По материалам Стрелецкого сыска 1698 г. (некоторые дела тянулись до 1702 г.), общее число «застенков»-сеансов составило 677, а заглечные мастера произвели 14 527 ударов кнута, т.е. в среднем по 21 удару за «застенок». Эта средняя цифра во многом определяется тем, что почти в 37 % «застенков» пытаемые получали по 20—30 ударов (в

117 «застенках» было дано по 25 ударов). Меньше доля «застенков», в которых пытаемые получали от 2 до 10 ударов (20,5%). В 103 «застенках» (т.е. в 15,2%) было нанесено от 31 до 70 ударов, причем максимум — 70 ударов встречается только в одном случае (197).

По описи дел Преображенского приказа за 1702—1712 гг., в которой учитывается число «застенков» и количество ударов кнутом на них, можно сделать вывод, что большая часть пытаемых прошла по три «застенка», а число ударов в один «застенок» в среднем близко к упомянутому выше числу 25—27 ударов. В.И. Веретенников писал, что в Тайной канцелярии петровских времен на пытках наносили в среднем по 15—30 ударов (181, 198). При этом женщины получали несколько меньше ударов, чем мужчины. Следователи учитывали их «деликатную натуру», да и пытали женщин, вероятно, полетче. Котошихин сообщает, что раскаленные клещи для ломания ребер к женщинам не применялись (415, 115).

Мне кажется, что три «застенка» и около 25 ударов в один «застенок» были для политического сыска петровских времен общепринятыми. В первом «застенке» число ударов кнута обычно было больше, чем во втором или третьем. Вероятно, следователи опасались, как бы раньше завершения дела и получения нужных сведений не отправить пытаемого на тот свет. Типичной является ситуация с Ларионом Докукиным, которого пытали трижды, дав ему в первом застенке 25 ударов, во втором — 21, а в третьем — 20 (325-1, 164—166). Иван Логухин пытан в 1743 г. таким образом: первый «застенок» — 11 ударов, второй «застенок» — 9 ударов, третий — просто виска на 10 минут (660, 34, 36).

Впрочем, как уже многократно отмечено выше, в политическом сыске не было раз и навсегда принятых норм. Когда власти требовали признания во что бы то ни стало, тогда число «застенков» и ударов кнута резко превышало средние показатели. Так было в Стрелецком розыске 1698 г., при общей средней «норме» в 20—30 ударов некоторым пытаемым давали по 40, 50, 60 и даже 70 ударов за один сеанс. Пожалуй, никого так свирепо не пытали при Петре I, как стрельцов. Некоторые из них выдержали по 3—5, 8, 9, а Яков Улеснев в 1704 г. вынес даже 12 пыток (212, 116). Напомню указ Петра 1720 г. о пытке старообрядца Иона: пытать «до обращения», т.е. до принятия официального вероисповедания, «или до смерти, ежели чего к розыску не явитца» (181, 118). В 1715—1716 гг. пытали доносчика Григория Левшутина и тех, на кого он донес: Никиту Никифорова и Кузьму Павлова. На первой пытке 2 сентября 1715 г. каждый из них получил по 25 ударов. Второй «застенок» состоялся почти через семь месяцев — 17 апреля 1716 г. Тогда пытаемым дали по 30 ударов. Через месяц устроили третью пытку — 40 ударов

каждому, 1 июля в четвертой пытке они получили по 41 удару (325-1, 605—607). Как мы видим, число ударов от «застенка» к «застенку», против обыкновения, возрастает. И позже в середине XVIII в. старообрядцев пытали более жестоко, чем других. Среди материалов Сысского приказа за 1750-е гг. есть данные о 40, 50, 60 ударах кнутом тем, кто «упорствовал в своей заledenности» (242). Не было и особых правил о паузах между пытками как в одном «застенке», так и между «застенками». Проект Уложения рекомендует судьям дать пытанному прийти в себя в течение двух недель (596, 48). Но из материалов сыска следует, что никакого правила на этот счет не было. В одних случаях следователи давали пытанному длительный срок для поправки, в других же случаях, добиваясь показаний, они мучили его почти каждый день.

Еще одно общее наблюдение. При расследовании дела Кочубея и Искры троем колодникам задали один и тот же вопрос, они одинаково отвечали на него, но при этом число ударов кнута различно: Василий Кочубей получил 3 удара, Иван Искра — 6 ударов, сотник Кованько — 14 ударов, а поп Святайло (кстати, признанный виновным по приговору менее других «заговорщиков») — 20 ударов (322, 144—147). Заметна разница в степени жесткости пыток, примененных к людям разных возрастов: старого Кочубея пытали легче, чем его молодых товарищей. Однако в деле Кочубея видна и еще одна закономерность: тяжесть пытки зависела от социального положения пытаемого — дворяне, знатные колодники получали на пытках заметно меньшее число ударов, чем крестьяне или посадские. Формально все колодники, оказавшиеся у пытки (да и вообще в тюрьме), были равны и, как люди, побывавшие в руках палача, считались обесчещенными. Попад в застенки, вчера еще уважаемый судья Стрелецкого приказа и влиятельный сановник Федор Леонтьевич Шакловитый писался «вором Федькой», а старик архиепископ Тамбовский Игнатий «растрогой Ивашкой». И все же социальные различия узников сказывались и на режиме их содержания в тюрьме, и на тяжести назначенных им пыток. По наблюдениям Н.Б. Голиковой, изучившей материалы Преображенского приказа за конец XVII — начало XVIII в., крестьяне на пытках получали по 15—40 ударов кнута, а дворяне всего по 3—7, что, как мы понимаем, было невеликим утешением (212, 94—95, 182). Объяснить это можно характерным для тогдашнего общества неравенством, ведь известно, что с древнейших времен пытали только рабов. По мере того как «государевыми холопами» становились и все другие члены русского общества, пытки начали распространяться и на служилых людей, бояр и дворян, но все же их пытали легче, чем простолюдинов. И лишь сословные реформы Екатерины II защитили дворянина от руки палача.

Но вновь подчеркнем: с возрастом, сложением, здоровьем, полом пытаемого, кровью, которая текла в его жилах, а потом по спине, могли совсем не считаться. Если верховной власти требовалось выбить из пытаемого признание вины или нужные сведения, то все эти обстоятельства не принимались во внимание. В Стрелецкий розыск 1698 г. служительницы царевен Марфы и Софьи Анна Жукова и Офроська получили, как мужчины, по 25 ударов, а постельница Анна Клушина — 15 и «жжена огнем дважды» (163, 76, 78—79, 92). Царскому сыну царевичу Алексею Петровичу на пытке 1718 г. дали, как обыкновенному разбойнику, 25 ударов, а через два дня еще 15! (752, 273, 277).

Пытка была серьезнейшим испытанием физических и моральных сил человека. Выдержать пытку, да еще не одну, обыкновенному человеку было невероятно трудно. Это оказывалось под силу только двум типам «клиентов» сыска: физически сильным людям и психически ненормальным фанатикам-самоистязателям. К первому типу относились могучие, грубые каторжники, не раз битые кнутом и утратившие отчасти чувствительность кожи на спине. Корб пишет, в частности, об одном стрельце, который выдержал шесть пыток и совсем не боялся кнута и огня. Невыносимой он считал только описанную выше «ледяную капель», а также пытку, когда горящие угли клали на уши, что вызывало особенно острую боль (399, 1147). И таких могучих людей было на Руси, вероятно, немало. Знаменитый сообщник Пугачева Афанасий Соколов-Хлопуша был сечен кнутом четырежды (280, 163—164). В 1785 г. в Нерчинск попал закоренелый преступник, 32-летний Василий Брягин, которого с 18-летнего возраста почти непрерывно наказывали за воровство: в 1774 г. два раза били плетью и один раз батожем; в 1776 г. — плетью и батогами; в 1777 г. — «за полученную от невоздержанности венерическую болезнь» — батогами, в 1779 г. (снова за воровство) — кошками, в 1780 г. Брягина приговорили к шпицрутенам: гоняли восемь раз через 1000 человек; в 1781 и в 1782 гг. за преступления он был приговорен к вырезанию ноздрей, битью кнутом и к ссылке на каторгу. Наконец, в 1782 г. за воровство и побег он был снова прогнан через 1000 человек восемь раз и отправлен в Нерчинск, как неисправимый преступник (189, 86—87). Вероятно, такой могучий человек, как Брягин, мог выдержать столько пыток, сколько их выдержал упомянутый выше Васька Лось: 100 ударов кнута, 10 встрясок в трех «зас-тенках», а также три пытки огнем. И только в четвертый раз с огня он «повинился» в произнесении «непристойных слов» (500, 42—43).

Кроме того, в критические моменты у сильных, волевых людей могли мобилизовываться скрытые резервы организма, пробуждаться огромная воля к жизни, желание продлить существование во что бы то ни стало. Следова-

тели по делу Федора Шакловитого, которого в 1689 г. жестоко пытали в застенке, были, вероятно, изумлены, «когда он, Щегловитой, перед бояры по попытке с дыбы был снят, просил у них бояр, чтобы его велели накормить, понеже несколько дней уже не ел» (527, 209). Возможно, опытные в делах пытки колодники перед «застенком» и после него пили какие-то настои из наркотических трав, притупляющих боль. В популярном в те времена лечебнике «Прохладный ветроград или врачевския вещи ко здравию человечества» есть рецепт «лекарства после правежа», который предписывает настоем особой травой «бориц» парить ноги после битья палкой по пяткам и «такو творить по вся дни, доколе биют на правеже и ноги от того бою впредь будут целы». Кроме того, известны заговоры против пытки, огня, железа, веревки и петли, которые облегчали, по крайней мере психологически, пытку, смягчали чувство боли. После пытки или наказаний кнутом лечились тем, что на спину клали шкуру только что зарезанной овцы (526, 290). Известно, что раны от кнута промывали водкой. Все это дезинфицировало раны, способствовало их заживлению (121, 33; 583, 241, 259; 678, 172).

Я.А. Канторович, изучая по материалам западноевропейской инквизиции поведение пытаемых, в особенности женщин, пришел к выводу, что некоторые из них терпели нечеловеческие боли на пытках потому, что «у этих женщин являлась общая анестезия, делавшая их нечувствительными ко всяким мучениям пытки; часто нравственное возбуждение было столь сильно, что оно заглушало физическую боль и давало жертвам силу переносить ее и не проронить ни одного слова» (371, 56). Возможно, что нечто подобное было и в пыточных палатах Тайной канцелярии. К типу фанатиков относятся монах Варлаам Левин и подъячий Ларион Докукин. Левин был одержим идеей очищения через страдание перед лицом ждущей всех неминуемой гибели в «царстве антихриста» Петра I. Поэтому он с радостью шел на пытки и по той же причине оговорил многих невинных и не причастных к делу людей — всем им он хотел доставить блаженство в будущем. Как он говорил, «что, может быть, пожелают они с ним мучиться и они-де будут с ним в царствии небесном» (325-1, 40—41). Докукин же, фанатичный составитель подметных писем, в марте 1718 г. сам отдался в руки мучителей, заявив, что «страда ти готов» (325-1, 159). И Левин и Докукин, вероятно, были психически больными людьми с притупленной чувствительностью к боли: Левина пытали шесть раз, в том числе один раз водили по спицам. Из его дела видно, что он страдал эпилептическими припадками — «падучей болезнью». В своем дневнике, который у него забрали при аресте, он писал о приступах «меланхолии», посещавших его видениях, о том, что ему «припало забвение». В 1720 г. его, присланного в Петербургский госпиталь армейского

капитана, освидетельствовали врачи. Они жгли на огне его левую руку, после чего зафиксировали утрату в ней осязания и затем уволили со службы, чего в петровское время добиться, не достигнув дряхлости, было очень трудно. Докукин, 57-летний человек слабого сложения, выдержал три пытки кнутом (66 ударов) в течение шести дней, потом был колесован и, несмотря на многочисленные переломы костей во время этой казни, находился в сознании и даже пожелал дать показания. Его сняли с колеса и пытались лечить. Конеч его неясен — либо он сам умер, либо, видя, что подьячий не дает показаний, его казнили (325-1, 166—167).

После пытки несчастного осторожно спускали с дыбы и отводили (относили) в тюрьму. В проекте Уложения 1754 г. следователям рекомендовалось за день до «застенка» ничем не кормить узника и не давать ему горячего питья (596, 31). Авторы проекта — а они наверняка были из Тайной канцелярии — явно обобщали опыт практической работы в застенке, когда плотно поевшие перед пыткой люди потом умирали. Состояние человека после пытки в документах сыска деликатно называется «б о л е з н ь ю». Так это и было: большая потеря крови, болевой шок, возможные повреждения внутренних органов, переломы костей и вывихи, утрата кожи на большой части спины, неизбежный в тех условиях сепсис — все это в сочетании с ужасным содержанием в колодничьей палате и скверной едой приводило к послепыточной болезни, которая часто заканчивалась смертью или превращала человека в инвалида. В деле Крутынина — Наседкина сказано, что Крутынин «в службе быть не годен, понеже в споре с оным Наседкиным был розыскиван» (42-2, 162 об.). По данным Н.Б. Голиковой, во время розыска по астраханскому восстанию 1705 г. от последствий пыток умерло 45 человек из 365 пытаемых, т.е. 12,3% (212, 67). Думаю, что в среднем после мучений в застенке людей умирало больше, ведь по астраханскому делу допрашивали, как правило, стрельцов, служивших в полках, т.е. физически сильных, в расцвете лет мужчин. В общем же потоке «клиентов» политического сыска были люди самого разного возраста, подчас слабые и больные, и они умирали уже после первой пытки.

В тюрьме больных пользовали казенные доктора из Медицинской канцелярии. За 1762 г. сохранились сведения, что лекарь Кондратий Елкус состоял в штате Московской конторы Тайной канцелярии (43, 18). Забота о здоровье узника никакого отношения к гуманизму не имела. О колоднице Маремьяне Андреевой в 1724 г. было решено: «Пытана дважды, а более не пытана, понеже больна... велено ее розыскивать еще накрепко в то время, как от болезни выздоровеет» (10-1, 4). Ранее по другому делу А.И. Ушаков писал П.А. Толстому в ноябре 1722 г.: «Мне зело мудрено новгородское дело, ибо Акулина мно-

говременно весьма больна, что под себя испражняется, а дело дошло что надлежало было ее еще розыскивать, а для пользования часто бывает у нее доктор, а лекарь — беспрестанно». С колодницей возились «с прилежанием неослабно» потому, что «до нее касается важное царственное дело» и чтобы она не могла с помощью смерти «ускользнуть» от дачи показаний и неперменной казни. В деле есть и приписка о том, что безнадежную Акулину врачи если не вылечили, то, во всяком случае, довели до эшафота: «Акулина и Афимья казнены марта 23 дня 1724 году» (181, 282; 10-3, 1).

О большинстве других послепыточных больных в тюрьме так не заботились, и они поправлялись сами и на свои деньги. Как лечили пытаных, сказать трудно. Думаю, что это делали точно так же, как вообще в те времена лечили больных, получивших открытые неглубокие раны и ожоги. В литературе по истории медицины об этом сказано много и подробно. Естественно, что в условиях антисанитарии раны воспалялись, гноились. По-видимому, для вытягивания гноя и было куплено чиновниками Тайной канцелярии в 1722 г. на два рубля «капусты для прикладывания к спине». В той же расходной книге Тайной канцелярии записано, что деньги издержаны на покупку вина и пива больным, а также «на покупку холста и на прочия лекарства» (34-5, 6; 325-1, 111, 126). Охрана внимательно наблюдала за состоянием здоровья узника после пытки и регулярно докладывала о нем чиновникам сыскаемого ведомства. Как только появлялись признаки близкой смерти, к заключенному присылали, точнее сказать — подсылали, священника.

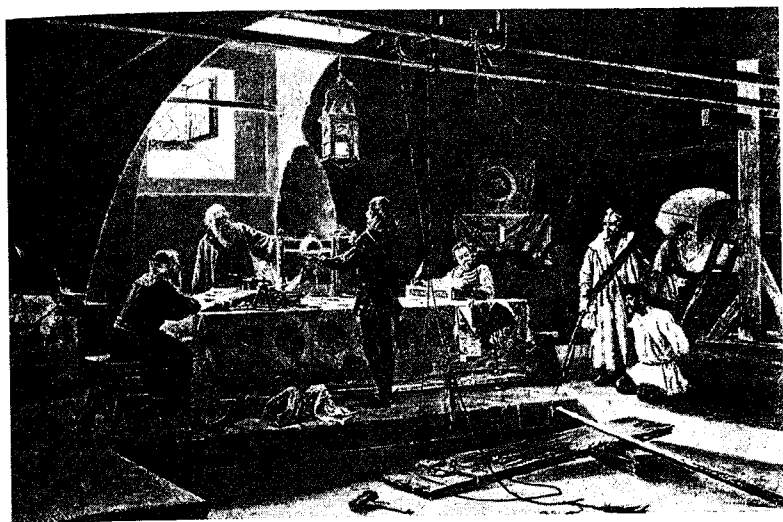
Термина «*исповедальные показания*» в источниках нет, но он мог бы существовать, ибо исповедь умирающего в тюрьме иначе назвать трудно. Выше уже было сказано, что священника обязывали открыть властям тайну исповеди своего духовного сына. Исповедальные показания, исповедь-допрос стоят в том же ряду. Духовными отцами узников тюрьмы Петропавловской крепости числились проверенные попы из Петропавловского собора или других окрестных церквей. Известно, что каждый православный имел право требовать перед смертью исповедника. В 1721 г. предстоящая казнь подьячего Ивана Курзанцова была отложена «того ради, что ко исповеди по многому увещанию отца духовного не пошел» и власти хотели выяснить причину такого упрямства. Этот неординарный поступок подьячий совершил для того, чтобы подать жалобу на неправильный, по его мнению, порядок расследования его дела, что (правда, ненадолго) продлило ему жизнь (181, 280—281).

Обычно же не забота о душе преступника волновала следователей. Священник выполнял у постели умирающего задание начальства и должен был, в сущности, провести последний в жизни колодника «респрос», узнать под-

линную правду — ту, которую не мог, страшась мучений в ином мире, скрыть перед своим духовником верующий человек. Узнав, что монах Кирилл, изветчик на архимандрита Александро-Свирского монастыря Александра, умирает, П.А. Толстой послал к нему протопопа Исаакиевского собора Алексея, чтобы тот увещевал колодника «страхом будущего Суда Божиего и вечных мучений сказать: правду ли он показал на архимандрита Александра?» (325-1, 143). В 1729 г., узнав, что умирающий колодник Михаил Волков требует священника, верховники, которые руководили следствием, вначале послали к нему чиновников, чтобы «спросить с увещанием подлинно ль те слова... говорить научали его». Сам же священник получил соответствующую инструкцию от ссыла: «И тому священнику приказать — у него, Волкова, при исповедании спрашивать по духовности правда ли он, Волков, на Федора... и других лиц сказал, что показано от него, Волкова, в роспросе розыску... или он то затеял напрасно». Священник потом рапортовал о проделанной им работе: «Показанного Волкова он исповедовал и святых тайн сообщил и при исповеди по вышеозначенному приказу его спрашивал», а исповедуемый отвечал, что на допросах говорил «самую правду» (181, 250).

Исповедальный допрос применили в 1775 г. и к «княжне Таракановой». Узнав, что самозванка тяжело больна, Екатерина II дала указ ведущему расследование князю Голицыну: «Удостоверьтесь в том, что действительно ли арестантка опасно больна. В случае видимой опасности узнайте к какому исповеданию она принадлежит и убедите ее в необходимости причастия перед смертью. Если она потребует священника, пошлите к ней духовника, которому дать наказ, чтоб он довел ее увещаниями до раскрытия истины...» Предупрежденный о смертной казни за разглашение государственной тайны самозванства, назначенный властями священник два дня исповедовал (читай — допрашивал) умирающую женщину, но нужного признания не добился. Он ушел из камеры самозванки, так и не удостоив ее последнего причастия (441, 612—613, 627).

На исповедальном допросе, как и во время увещевания, священнику было запрещено знать «важность», т.е. существо, преступления (а именно сказанные «непристойные слова», иные обстоятельства дела). Его задача была предельно узка — добиться раскаяния преступника, подтверждения (или опровержения) данных им ранее показаний. Каких именно — это священника не касалось. В 1735 г. В.Н. Татищев узнал, что подследственный Столетов хочет исповедаться. Он вызвал священника и предписал тому не слушать Столетова, если тот «станет сказывать что тайности подлежащее» (659, 9). Рапорт священника после исповеди умирающего колодника записывали со слов пастыря в Канцелярии. И хотя все священники были людьми



Застенок

надежными и проверенными, все же иногда — в делах особо важных — им не доверяли. Тогда во время совершения таинства исповеди возле священника сидел караульный офицер или канцелярист и записывал исповедальные слова. (Из дела 1733 г.: «А потом оной роспопа Петр, будучи в болезни, по исповеди, при отце своем духовном, да при караульном обер-офицере сказал...» — 42-4, 186.)

Исповедальное признание на следствии ценилось весьма высоко — считалось, что перед лицом вечности люди лгать не могут. Выше сказано о расстриге Илье, который не только отказался признать извет на него конюха Михаила Никитина, но и сам обвинил Никитина в говорении этих же «непристойных слов». Он выдержал три пытки, а Никитин умер. Поэтому у Ильи появилась надежда выбраться из тюрьмы. Но этого не произошло — все его расчеты «испортила» исповедь Никитина перед смертью. В протоколе записано, что Никитин «будучи в болезни, по исповеди при отце духовном показал, что он тех слов подлинно не говаривал и, будучи под караулом, умре, почему признаваетца, что оной рострига [Илья] означенные непристойные слова говорил подлинно, а на вышепомянутого конюха Никитина о произшедших словах показывал ложно, отбывая вины своей» (42-1, 106 об.).

Двух женщин — Анфимью Исакову и Акулину Григорьеву — казнили за произнесение «непристойных слов» после того, как приговоренный к

смерти распоп Игнатий Иванов в 1721 г. «утверждался при смерти на словах... [и], по увещеванию отца духовного, сказал», что его донос на женщин достоверен. Между тем никто из привлеченных к следствию, кроме Иванова, этого факта не подтвердил, а обе женщины стойко выдержали три «пыт-ки непризнания» (8-1, 64 об.). Из письма Толстого к Ушакову от 27 января 1724 г. видно, что уже заранее рассчитывали использовать исповедальное признание как основу приговора: «Что распопа Игнатий при смерти скажет, на том можно утвердиться и по тому его последнему допросу и бабам указ учинить, чего будут достойны и тем оное дело кончить» (181, 284). Из этого следует, что исповедь была попросту последним допросом.

В 1722 г. Петр I получил рапорт Тайной канцелярии о колоднике столяре Корольке: «С роспросу и с дву розысков [он] показал важные слова... на клошника, да и на гребца, которые померли. А потом на и с п о в е д и отцу духовному он объявил, что те слова (только не все) слышал он ... от служительницы вдовы Варвары Кубасовой, о чем и на очной с нею ставке тоже сказал, а в роспросех-де, и с розысков, и в очной ставке во оном запирается и в том себя не признает и ежели тот Королек с третьего розыску станет говорить на нее, вдову, ее в застенки к очной ставке брать ли и ею розыскивать ли?» Итак, мы видим, что исповедальное показание Королька было использовано следствием для ареста новых людей, а сам Королек, поправившийся от болезни, был снова поднят на дыбу, и теперь царю предстояло решить — пытать или не пытать оговоренную им на исповеди Кубасову. Резолюция Петра, в записи Толстого, гласила: «О бабушке (Кубасовой. — Е. А.) изволил говорить: буде Королек с третьей пытки с ней не зговорит, то-де можно и оную попытать» (181, 115—116). Значит, и в данном деле исповедальный допрос был признан за истину. Так же в ряду достоверных показаний была признана в 1725 г. исповедь самозванца Холшевникова, который показал на жонку Марью как на свою сообщницу. О ней сказано в резолюции Тайной канцелярии: Марью пытать, «понеже означенной Холшевников о том на оную жонку, будучи в болезни, по исповеди при отце духовном, также и с дву розысков, показывал именно» (42-2, 24).

Дело Петрова и Федорова за 1732 г. интересно тем, что сыскное ведомство из предсмертной исповеди Федорова сделало попросту очную ставку, перейдя все возможные пределы в надругательстве над одним из основных таинств христианского вероисповедания. Суть дела состояла в том, что новгородец Мирон Петров донес на Алексея Федорова о «некоторых непристойных словах». Федоров «заперся» и извета не подтвердил. Петров прошел все мучения в пыточной палате, но «в роспросе, и в очных ставках, и с подъему, и с трех пыток утверждался» в своей невинности. Почти все те же кру-

ги ада прошел ответчик Федоров, но он сумел выдержать только две пытки и умер. Перед смертью, «будучи в болезни по исповеди при отце духовном и в очной же со оным Петровым ставке утверждался в том же, что он показанные непристойные слова не говаривал подлинно и потом, будучи во оной болезни, под караулом умре». Именно это обстоятельство (а не то, что изветчик выдержал три розыска) сыграло главную роль при вынесении решения по делу: Петрова, как лжеизветчика, приговорили к ссылке в Охотск, ибо «тому ево, Петрова, показанию верить ныне не подлежит, понеже означенной Федоров во оных непристойных словах з дву[х] пыток, паче же, будучи в болезни, при отце духовном и в очной с ним, Петровым, ставке не винулся и потом в той болезни умре, почему видно, что на оного Федорова затеял он, Петров, о том собою ложно» (42-3, 14об.). При этом в приговоре не приведено иных доказательств, кроме того, что неправда доноса Петрова «видна» из исповеди Федорова. Допускаю, что Федоров действительно говорил какие-то «непристойные слова», но, как и каждый человек, он, надеясь на выздоровление, доноса изветчика не признал и тем самым своего обидчика не выручил.

Но здесь, как и в других ситуациях, не было жесткого правила. В 1722 г. монах Кирилл донес на безжалостно преследовавшего его архимандрита Александра в подлинных (несомненных и потом доказанных другими) «продерзостных» высказываниях о Петре I и Екатерине. Не выдержав заключения, Кирилл умер. Перед смертью Кирилл совершил подлинно христианский поступок и в исповеди «сговорил» свой извет с Александра. Он сказал, что извет его ложен и архимандрит ни в чем не виноват. Это открывало Александру, за смертью признавшегося во лжи изветчика, дорогу на свободу. Но исповедальные показания Кирилла не спасли Александра — нашелся другой ненавидевший его доносчик, и исповедальный допрос монаха Кирилла был проигнорирован. Поэтому не следует преувеличивать доверчивость инквизиторов к исповедальным показаниям своих жертв.

Как уже сказано выше, следователи Тайной канцелярии были весьма прагматичны, они понимали, что люди могут солгать и на исповеди, и на пороге смерти. В деле Маслова и Федорова 1732 г. сказано, что как изветчик, так и ответчик стоят на своем и нужно продолжать далее розыски, «но токмо видно, что они люди не п о т р е б н ы е и правды в них сыскать неможно, понеже они оба при отце духовном, и оной Маслов с подъему, а Федоров с трех розысков утверждались всякой на своем показании и истиной в них не сыскано». Поэтому обоих наказали кнутом и сослали (42-2, 163, 164).

Иначе сложилось дело Левшутина и Ошуркова. Доносчик Левшутин, не выдержав трех пыток, умер и при смерти дал исповедальные показания, в

которых настаивал на подлинности своего извета. К этому времени ответчик Ошурков вынес также три пытки да еще жжение вениками и тем не менее твердо отрицал извет. Здесь мы видим столкновение «правды исповедального показания» и «правила трех пыток». В приговоре по делу Ошуркова сказано: «Означенной Ошурков против оговоров помянутова Левшутина ис подлинной правды пытан еще трижды и жжен огнем, но токмо в вышеозначенных словах не винулся ж». Из дела следует, что следователи решили еще раз проверить стойкость ответчика, и за свободу он заплатил большую цену: шесть раз на дыбе да еще испытание огнем. И только потом его освободили (42-3, 119).

В этой истории примечательна не только стойкость ответчика, не отказавшегося, несмотря на страшные муки, от своих первоначальных показаний, но не зафиксированные в бумагах следствия психологические наблюдения следователей. Вряд ли было случайно, что они в одном случае вполне доверяют исповедальному допросу, в другом случае полностью игнорируют его, в третьем — делают вывод о непорядочности исповедующихся, в четвертом — перепроверяют исповедь очными ставками или троекратными пытками. Как бы то ни было, исповедальный допрос был обычным и часто применяемым орудием следствия.

В. Н. Татищев в 1738 г. в своих примечаниях к «Русской правде» констатировал, что «у нас о пытке яснаго закона нет» (592, 498). Действительно, все опиралось на традицию, а в сущности, на волю следователя или распоряжения начальства. Как известно, комиссия по составлению проекта Уложения 1720 г. знакомилась с западноевропейскими актами о суде и тем самым неизбежно столкнулась с довольно детальной регламентацией процедуры пытки. Знакомство с ними отразилось в проекте Уложения. Смысл их заключался в попытке законодателя оговорить условия, при которых следовало прибегать к пытке подозреваемого. Глава 2 будущего Уложения называлась: «О пытке, для чего она установлена и кто оной подлежит или пощажен быть имеет». Авторы главы стремились сузить «зону пытки», прибегая к ней «за неимением других доказательств» и «для испытания и изведывания правды», утверждая, что пытка «за неимением обличения злодеев изобретена, дабы их ко изведыванию сущей правды (буде оную иным способом испытать невозможно) принудить». В проекте главы сказано, что пытка проводится «токмо в тяжких и великих преступлениях, которых ради бывает смертная казнь или наказание на теле или тому подобные» (87-2, 147 об.). Таким образом, в проекте Уложения выделен принцип, согласно которому пытка применяется только в делах о тяжких преступлениях. Ранее это об-

стоятельство в русском праве оговорено не было. В артикуле 4 этой главы сказано о людях, пытки к которым применялись частично или выборочно. Среди них престарелые, слабые, немощные, малолетние, беременные, сумасшедшие. Малолетних можно бить розгами, разрешившихся от бремени женщин — пытать спустя 40 дней после родов, стариков можно было пытать без ограничений, «ежели оное дело касается оскорбления Величества» (87-2, 149 об.). Следователям предлагалось широко пользоваться угрозами применить пытку. В главе 9 проекта, несшей следы влияния шведского законодательства, вводится ответственность судьи, если он будет несправедлив, начнет пытать «по какой страсти, по неважным признакам, без доказательств» (87-2, 358 об.). Однако проект нового Уложения так и не был дописан, и в пыточных палатах работали по старинке.

К середине XVIII в., под влиянием идей Просвещения и вообще благодаря значительному смягчению нравов, в царствование Елизаветы Петровны, заметно стремление государства пересмотреть отношение к пытке. По этому пути двигалась вся Европа: пытку в Пруссии отменили в 1754 г., в Австрии — в 1787 г. Во Франции пытка была отменена в 1789 г. вместе с лютыми средневековыми казнями (последнее в ее истории колесование произошло в 1788 г. — 642-2, 5). Жестокость обращения с людьми в политическом сыске отражает особенность политического строя страны, степень развитости судебной системы и гражданского общества. В тех странах, где действовал институт присяжных, где сложились традиции публичного суда, существовала адвокатура, там пытки исчезли рано. В Англии и Швеции их не было уже в XVI в., исключая, естественно, процессы о ведьмах.

Как известно, придя к власти, императрица Елизавета Петровна фактически отменила смертную казнь, точнее — навечно приостановила исполнение смертных приговоров. Как предполагает В.Н. Латкин, в 1761 г. она даже объявила членам Комиссии по составлению Уложения о своем намерении «во оном новосочиненном Уложении смертные казни не писать» (424, 95). При Елизавете были введены некоторые ограничения и в традиционный пыточный процесс: отменили истязания для людей, сделавших описки в титуле государя, перестали пытать детей до 12 лет. При обсуждении последней проблемы в 1742 г. Сенат поспорил с Синодом: первый считал, что нужно отменить пытки людям, не достигшим 17 лет, а Синод был убежден, что пытать можно с 12 лет, так как с этого возраста люди уже приносили присягу и женились. Иначе говоря, сенаторы оказались гуманнее служителей Бога, которые считали, что человек становится преступником с того момента, как начинает грешить, а способность грешить у человека проявляется уже в семь лет (587-11, 8601; 620, 46—47). Только в 1767 г. Синод решил заменить пытки и те-

лесные наказания для священников и монахов монастырскими трудами и «отрешением от дохода и от прихода» (587-18, 12909). Сенат же еще в 1751 г. рекомендовал судам и администрации «как возможно доходить, дабы найти правду, чрез следствия, а не пыткой и когда чрез такое следствие того изыскать будет невозможно, то больше о том не следовать, а учинить им за то, в чем сами винулись». Тогда же запретили пытать обвиненных в корчемстве (587-13, 9912, 9920).

Согласно проекту разделов нового Уложения 1754 г. о политических преступлениях, сама процедура пытки должна была стать другой. Во-первых, пытку признавали не ординарным, а чрезвычайным средством достижения истины. Применение ее допускалось только к упорствующему в непризнании вины подсудимому («совсем тем повиниться не хочет»), да и то при недостатке улик против него. Если же вина человека была подтверждена бесспорными доказательствами, то пытки разрешалось не применять. Ранее же, как показано выше, пытка применялась даже и для подтверждения чистосердечного признания преступника.

Во-вторых, утверждался принцип, согласно которому тяжесть пытки не могла превосходить тяжести предполагаемого наказания. Иначе говоря, на дыбу поднимали только людей, обвиненных в тяжких преступлениях. Ранее же розыск в застенке в лучшем случае «засчитывали» за телесное наказание, к которому приговаривали преступника. В делах «маловажных», «меньшей важности» авторы проекта предполагали ограничиться «ропросом с пристрастием» или «пристрастным ропросом». Судья должен был смотреть, чтобы «между оным к сысканию истины средством и будущим наказанием всегда была пристойная пропорция».

В-третьих, реформировался сам пыточный процесс. Авторы проекта выделяли три «градуса»-степени пытки по нарастающей ее тяжести. Первым градусом становилась уже известная читателю «виска» («подъем на дыбу»), вторым градусом — «встряска» («подъем с стряскою без огня»). Наконец, третьим, высшим градусом являлась пытка на виске, когда еще «сверх того веником или уюгом жгут». Как только пытаемый признавал свою вину, всякая пытка прекращалась. Впервые в право предполагалось ввести фундаментальное, в духе новых времен, положение о том, что повторение пытки после признания пытаемого может не подтвердить (как считали раньше), а лишь затемнить истину.

В применении самих пыток вводили ряд ограничений: социальных, возрастных, половых, по состоянию здоровья. От пытки освобождались (исключая преступления по «первым двум пунктам») чиновники первых восьми классов при условии, что они принесут церковную присягу. Дворяне подвер-

гались пытке только по обвинению в убийстве, разбое, грабеже, поджоге, изготовлении фальшивых денег. Полностью освобождались от пытки дети до 15 лет и старики старше 70 лет, беременные женщины (до родов), больные (до выздоровления), глухонемые и сумасшедшие (596, 27–30). Однако и этот проект остался нереализованным.

После отмены «Слова и дела» Петром III и вступления на престол Екатерины II новые веяния гуманизации права усилились. В указе Сената от 25 декабря 1762 г. местные власти были предупреждены: «В пытках поступать со всяким осмотрением, дабы невинные напрасно истязаны не были и чтоб не было напрасно кровопролития, под опасением тягчайшего за то по указам штрафа». Но предупреждение это было скорее рекомендацией, ибо указ содержал оговорку: «Что же следует до таковых, которые по указам тому (т.е. пытке. — *Е. А.*) подлежат, с ними поступать так, как указы повелевают непременно». Об осмотрительном применении пыток в виде пожелания говорила 15 января 1763 г. в Сенате сама императрица Екатерина II (587–14, 11717). Однако пытки не были отменены ни в общеуголовных, ни тем более — в политических делах. В 1765—1766 гг. в главы о пытках проекта Уложения 1754 г. были внесены поправки. В целом они предполагали более гуманное отношение к пытаемым, смягчали жестокости елизаветинского проекта, но тем не менее основных положений о пытках не отменяли (596, 28–31).

Как известно, Наказ Екатерины 1767 г. рассматривался властями всех уровней как полноценный законодательный акт, принятый государственными органами к исполнению. Автор Наказа осуждал пытки как антигуманные и бессмысленные («Употребление пытки противно здравому, естественному разсуждению; само человечество вопиет против оных и требует, чтоб она была вовсе уничтожена» — 587–18, 12949). Эти строки продиктованы не только гуманизмом Екатерины II, которая не терпела, чтобы при ней били слуг или животных, но и ее рационализмом. Познакомившись с делом А.П. Вольнского, она написала: «Из дела сего видно, сколь мало положиться можно на пыточные речи, ибо до пытки все сии несчастные утверждали невинность Вольнского, а при пытке говорили все, что злодеи хотели. Странно, как роду человеческому на ум пришло лучше утвердительнее верить речи в горячке бывшего человека, нежели с холодною кровию: всякий пыганный в горячке и сам уже не знает, что говорит» (633–10, 56–57). Несомненно, это высказывание, как и проект Уложения 1754 г., свидетельствует, что в сознании людей середины века произошел важный перелом: признание, добытое с помощью истязания, уже не считалось, как раньше, абсолютным доказательством виновности, саму же пытку признавали препятствием для выяснения правды.

Запрещая пытки Пугачева и его сообщников, императрица писала М.Н. Волконскому 10 октября 1774 г.: «Для Бога, удержитесь от всякого рода пристрастных распросов, всегда затемняющих истину» (684-7, 95). Волконский отвечал, что при допросах в Москве Пугачев «от пристрастных распросов всемерно, всемилостивейшая государыня, удержан» (554, 153). В приговоре по делу о побеге Беньовского с Камчатки сказано, что полковник Зубрицкий неправильно делал, когда применял при розыске «сечение» и что «телесное при следствиях наказание делает подсудимых более упорными и предписать, чтобы впредь старался открывать истину посредством приличных вопросов, не употребляя воспрещенных Ея величеством истязаний» (305, 436; 650, 545). В «Антидоте» — полемическом сочинении на путевые записки аббата Шаппа д'Отроша — императрица прямо пишет, что после отъезда путешественника, обличавшего пытки, в России уже «уничтожены все пытки» (312, 458).

Это высказывание предназначалось больше для зарубежного, чем для отечественного читателя, в действительности же пытки и по закону, и де-факто сохранялись. Через десять лет после отъезда аббата, неприятного императрице своей дотошной любознательностью, точнее — 8 ноября 1774 г., губернские учреждения получили секретный указ о неприменении пыток в виде телесных истязаний. Почему же этот указ был секретным? Суть состояла в том, что формально пытка оставалась в арсенале следователя, как и в законодательстве, но в то же время, в действительности, она была запрещена этим секретным указом государыни. Иначе говоря, к подследственным применяли угрозу пытки на словах (*territio verbalis*). Приготовленный к пытке человек, не зная, что пытка запрещена, думал, что угроза применить к нему пытку вот-вот осуществится, и поэтому со страха он мог признаться в преступлениях или объявить своих сообщников. Обращает на себя внимание приведенное выше описание, как проводили сам «роспрос с пристрастием»: человека раздевали, клали его руки в хомут и «всякими приуготовлениями страш[али], токмо самым действием до него больше ничем не каса[лись]» (596, 51). После таких приготовлений любой мог дрогнуть.

В октябре 1767 г. Архангелогородская губернская канцелярия расследовала дело Арсения Мациевича и капитана Якова Римского-Корсакова. Генерал-прокурор Вяземский приказал чиновникам, ведшим следствие, передать подследственным, что «есть-ли они истинной не покажут, по с т у п л е н о будет по всей строгости законов». Все знали, что это был эвфемизм пытки. Но при этом Вяземский секретно предупреждал следователей: «Но как по беспримерному Ея и.в. великодушию и милосердию никакия истязания терпимы быть не могут, то вам рекомендую, чтоб по сему делу отнюдь побоями никто истязаем не был, а только б без всякого наказа-

ния, показать в сем деле только словами строгость, сопряженную с благоразумием и верностию к Ея и.в. и чрез то б одно... людей подвигнуть к чистосердечному признанию» (483, 615; 591, 535). Поэтому можно верить сведениям о том, что при допросах Пугачева следователи якобы говорили знаменитому арестанту: императрица разрешила им вести дознание «с полной властью ко всем над тобою мучениям, какия только жестокость человеческая выдумать может», хотя на самом деле делать это не собирались, да и не могли согласно секретному указу 8 ноября 1774 г. Однако угрозы применить пытки подействовали, и Пугачев стал давать показания (522, 72; 316, 105—126).

Ясно, что разделительная грань между угрозами на словах применить пытку (*territio verbalis*), а также следующей стадией (*territio realis*) — демонстрацией подследственному орудий пыток, которые могли к нему применить, и, наконец, собственно пыткой была весьма условна, тем более что новая трактовка понятия «допрос с пристрастием» (об этом ниже) позволяла обходиться при пытке без дыбы и кнута. Угроза пыткой и прямое применение пытки долгое время в царствование Екатерины II шли рядом и широко использовались в следственном деле. Дело Салтычихи, судьба которой решалась в 1768 г. в высших сферах, говорит об этом со всей определенностью. Упорство садистки, не признавшей ни одного из своих чудовищных преступлений, привело к тому, что императрица дала указание «объявить оной Салтыковой, что все обстоятельства дела и многих людей свидетельства доводят ее к пытке, что действительно с нею и последует». В проекте указа, откуда взята цитата, сказано еще, что кроме увещевания преступницы священником ей следует показать настоящую пытку над другим преступником. В какой-то момент Екатерина II решилась, как она писала, «поступить с нею, Салтыковою, по законам, но при этом прилежно наблюдать, чтобы напрасного крови пролития учинено не было». Но потом императрица все-таки передумала, сочтя, что преступления Салтычихи очевидны и доказаны, и они даже не требуют признаний изуверки: «Естьли оная Салтыкова, по свидетельству и по повальному обыску довольно обличена по признанию Юстиц-коллегии, а пытка только для того по законам следует, чтоб она призналась в тех смертных убийствах, то, не чиня людям, ни ей пыток, признав за виновную оную Салтыкову, приговорить сентенцию» (632-2, 311—312).

Так, пытка при Екатерине не была отменена официально, а весьма глубокая, противоречившая всему средневековому праву мысль императрицы о том, что главной задачей следствия является бесспорное обличение преступника, а не его признание, так и не была закреплена законодательно. По-прежнему, как и в XVII в., в течение всего XVIII в. де-юре и де-факто венцом следственного процесса оставалось личное признание под-

следственного в совершении преступления, и поэтому пытка, как вернейшее средство достижения этого признания, оставалась в арсенале следствия. Выражение «поступать по законам» или «поступать со всей строгостью законов» в екатерининское время понимали и как угрозу пыткой. Впрочем, в провинции пытали людей без особых угрызений совести. За 1763—1767 гг. в журналах и протоколах Сената сохранилось немало записей о том, что в губерниях «многие пытаны, а некоторые и огнем жжены без всякаго прежде того увещания». Подчас людей пытали без особой необходимости — после признания, при наличии ясности мотивов и всех обстоятельств совершенного ими преступления (228, *Прил.*, 161—162). В 1766 г. в Екатеринбурге было начато дело казака Федора Каменщикова, который «разглашал», что «бывший император (т.е. Петр III. — Е. А.) вживе и неоднократно-де в Троицкую крепость, обще с... губернатором Волковым, приезжали для разведывания о народных обидах в ночное время». Каменщиков так упорно отрицал извет на него, что следователи писали в Сенат, что «по заpiresательству и по примеченной в его показаниях, [даже] по множайшим увещаниям, точной несправедливости, инаково обойтись истинной правды, яко о самой великой важности доискаться неможно, так принуждено Оренбургская губернская канцелярия к пытке приступить» (368, 389).

Пытка была по-прежнему в ходу еще по двум причинам. Во-первых, добиться признания без пытки мог только высокочлассный специалист, знаток человеческих душ, умевший создать такие психологические условия, при которых человек признавался и раскаивался в содеянном. Таким специалистом считался тогда один только С.И. Шешковский. Все же остальные следователи действовали по старинке. Выше упоминалось поручение архангелогородским чиновникам расследовать дело Мациевича и Римского-Корсакова. Через две недели бесплодных допросов губернская канцелярия рапортовала Вяземскому, что «все на словах строгости употребляемы были, но никакого успеха не последовало, как из очных ставок увидеть изволите». В этих словах звучит некоторая обида на центр, не давший возможности посетить арестантов для достижения истины: «Все на словах строгости и увещания во изыскании прямой истины не предупели и какое великое разноречие, то из представленного экстракта усмотреть соизволите» (483, 615, 617—618). Де-факто пытки продолжались везде, где вели расследование. Екатерина была вынуждена это признать в указе 1782 г. о запрещении пыток на флоте, который, естественно, не был местом сосредоточения садистов (587-21, 15313).

Во-вторых, мнение о нерациональности, негуманности пытки разделяла сама Екатерина II, да еще, может быть, пять—десять просвещенных людей из высшего общества. В среде чиновничества, военных, просто власть

имуших по-прежнему царило твердое убеждение, что только болью, истязаниями можно заставить человека говорить правду или принести покаяние. Глава из третьего тома «Жизни и приключений Андрея Болотова» примечательна как своим названием: «Истязание воров и успех от того», так и содержанием. Болотов описывает, как он, обнаружив воровство в своем новом имении, пытался с ним бороться вначале гуманными средствами — уговорами, увещаниями, угрозами, но «скоро увидел, что добром и ласковыми словцами и не только увещаниями и угрозами, но и самыми легкими наказаниями тут ничего не сделаешь, а надобно было неотменно употребить все роды жестокости, буде хотеть достичь тут до своей цели».

И далее Болотов рассказывает, как он пять раз пытал «роспросом с пристрастием» одного из пойманных воров, пытаясь узнать у него имя второго, бежавшего вора. Пять раз вор показывал на разных людей, непричастных к краже, хотя «его спина была уже ловко взьерошена», а люди, которых он оклеветал, также терпели удары палки, но вину и свою причастность к преступлению категорически отрицали. Помещик, доморощенный следователь, был в ярости: «И как... вывел он меня совсем уже из терпения, то боясь, чтоб бездельника сего непомерным сечением не умертвить, вздумал я испытать над ним особое средство. Я велел скрутить ему руки и ноги и, бросив в на-топленную жарко баню, накормить его насильно поболее самую соленую рыбу и, приставив к нему караул, не велел давать ему ни для чего пить и морить его до тех пор жаждою, покуда он не скажет истины и сие только в состоянии было его пронять. Он не мог никак перенести нестерпимой жажды и объявил нам, наконец, истинного вора, бывшего с ним в сотовариществе. И вот с какими удалцами принужден я был иметь дело» (165, 178—182). Как уже знает читатель из этой главы, «особое средство», примененное Болотовым, было пыткой и называлось в просторечье «покормить селедкой».

В 1764 г. после ареста Василия Мировича в Шлиссельбургской крепости Н.И. Панин сообщал императрице, что сенатор И.И. Неплюев через Г.Н. Теплова словесно передал Панину: «Если б он был на моем месте, то бы он, ни мало не мешкав, возмутителя Мировича, взял в Царское Село и в скромном месте пыткой из него выведал о его сообщниках, или ежели бы сей арестант был в его руках, то бы у него в ребрах пощупал с кем он о своем возмущении соглашался, ибо-де нельзя надеяться, чтоб такой малый человек столь важное дело собою одним восприял, а сие-де мучение нужно для того, чтоб те сообщники не скрылися» (658, 302). Разговор этот происходил у Неплюева с Вяземским и, вероятно, Шешковским, рукой которого было написано цитируемое письмо к Панину.

Так же, как сенатор Неплюев, думали многие. В ссылке под Архангельском Арсений Мациевич в разговоре с охраной по поводу шлиссельбургских событий сомневался, что Мирович «один, будучи таким маленьким чином вздумал» и что «конечно-де много и больших господ согласников ему было, то в таком случае надлежало его, Мировича, пытать кнутом, то б истинную правду узнали, да и бывших на карауле у него, Ивана Антоновича, офицеров, которые его убили, надлежало казнить смертию за пролитие царской крови» (483, 328). Более того, вопрос о пытке преступника всплыл и во время суда над Мировичем. Барон Черкасов, член суда, подал свое особое мнение. Он писал: «Мне невероятно, чтоб Мирович не имел сообщников в своем злом умысле...» — и поэтому считал применение пытки необходимым «единственно для принуждения его открыть своих сообщников, единомышленников или наустителей, ежели такие имеются. Разумно ли, праведно ли жалеть о таком лютом звере, как о человеке? Скольких бы он людей погубил, ежели б не так тщетно предприятие его кончилось?» (410, 275–277). Однако Черкасов остался на суде в меньшинстве, все судьи знали точку зрения императрицы, которая по каким-то своим соображениям не дала распоряжения «пошупать» в ребрах у Мировича.

К середине XVIII в. изменилось содержание выражения *«роспрос с пристрастием»*. Ранее так называли допрос в застенке перед пыткой, но еще без ее применения. С середины XVIII в. понятие это стало означать облегченный вариант пытки вообще. Кнут как орудие пытки начали заменять более легкими инструментами — батогами (палками), плетью. Впрочем, новое толкование этого понятия известно уже в 1730-х гг. В 1734 г. указом императрицы Анны было предписано «спросить с пристрастием накрепко под битьем батогами» доносчицу на княжну Екатерину Щербатову Авдотью Тюрину (43-1, 35). За два года до этого в указе о матросе Фролове было сказано: «По допросу с пристрастием и при битье кошками» (42-1, 3). Допрос с битьем плетью особенно распространился при Елизавете Петровне (180, 104).

В материалах Следственной комиссии генерала М. Опочинина о бунте работных людей А.А. Гончарова и Н.Н. Демидова в Калужской провинции в 1752—1753 гг. отмечается: «Из ыстинной спрашиван под плетьюми и з битья плетей показал...» Такой допрос назывался в бумагах следствия «роспросом под пристрастием» или «под пристрастным роспросом битьем кошками» (463, 86, 306, 343, 106, 125). Вместе с тем «роспрос с пристрастием» не отменял и традиционной пытки на дыбе. Опочинин писал в Сенат: «Посланныи от меня... указом повелено: теми колодниками, кого в чем надлежит о их злоумышлении и противностях производить крепкие розыски под битьем плетью»

ми или кошками и, кои ис тех колодников, по важности дела, дойдут до пытки, таковых накрепко пытать, выпрашивая у них истинно правды» (463, 106, 125). Что такое «накрепко пытать», читатель смог узнать в подробностях из начала этой главы о пытке.

В екатерининские времена генерал-прокурор Сената князь Вяземский писал о допросе преступника: «Солдату Дмитриеву был пристрастный допрос, но не по-прежнему, не пытка, а битье батоги» (346, 471). П.С. Рунич так описывает приготовления генерала П.С. Потемкина к «роспросу с пристрастием» Пугачева в начале октября 1774 г.: «Наконец, сколь не велико было терпение генерал-майора Потемкина около двух часов слушать на все его вопросы отрицательные его, Пугачева, ответы, но вдруг с грозным видом сказал ему: "Ты скажешь всю правду!". Постучал в колокольчик и по сему позыву вошедшему экзекутору приказал ему ввести в судейскую четырех моих гренадеров и с ними палача, тотчас приказал гренадерам раздеть Пугачева и растянуть его на полу и крепко держать за ноги и руки, а палачу начать его дело...» (629, 151).

И хотя Рунич писал, что Потемкин ограничился угрозами, думаю, что мемуарист забыл или умышленно скрыл факт «облегченной» пытки Пугачева. В официальной записке о допросах Пугачева 2—5 октября 1774 г. сообщается, как после бесплодных допросов главаря мятежников стало ясно, что «злодей... скрывая яд злости на сердце» уходит от прямых ответов. И «для того учинено было ему малое наказание» (282, 39). По-видимому, такое «наказание», т.е. пытка, было действительно малым, несильным, потому что вскоре привезенный в Москву Пугачев был вполне здоров. Совершенно непонятно, откуда историограф Пугачева Р.В. Овчинников взял усеченную устрашающую цитату о том, что сановные следователи пытались сломить волю и мужество Е.И. Пугачева «всеми мучениями, какие только жестокость человеческая выдумать может» (418-3, 406). Правда, в предисловии к публикации «Следствие и суд над Е.И. Пугачевым» автор пишет совершенно иначе: «При допросе эти сановные следователи пытались сломить волю и мужество Е.И. Пугачева, угрожая ему самыми мучительными пытками, "всеми мучениями..."» — и далее по тексту (684-3, 125). Наконец, в издании 1995 г. Овчинников сообщает нам, что Потемкин «буквально вымучивал у Пугачева не соответствующие истине показания... прибегая в ходе пристрастного допроса к грубому психологическому нажиму, к истязаниям, к угрозе применения пытки» (522, 71). Это уже ближе к истине, но опять неточно: Пугачева все-таки слегка «взбодрили» палками, чтобы он начал говорить правду. Это, по-видимому, помогло следствию, тем более что процедура «роспроса с пристрастием» была уже хорошо знакома Пугачеву. В допросе в Яиц-

ком городке он рассказал, как в 1773 г. его пытал управитель дворцовых владений в Малыковке. Управитель по доносу местного крестьянина захватил Пугачева и долго его «под пристрастным распросом, дабы признался в том, в чем ... крестьянин Филипов доказывал и выспрашивал: не солдат ли, не казак ли, не барской ли я беглой человек, а между тем все-таки секли немилосердно батоги. Но я утверждался на прежнем своем показании» (684-3, 135).

Вообще же известно, что, в отличие от многих других, второстепенных участников мятежа, подвергавшихся жестокому «роспросу с пристрастием» и просто откровенной пытке, Пугачева берегли как зеницу ока — его следовало доставить на эшафот в Москве целым и невредимым. Как описывает везший его Рунич, достаточно было увидеть, что «злодей» впал в уныние и задумчивость, как начальство дало охране приказ «всеми мерами стараться его, Пугачева, выводить из уныния и задумчивости». Не прошло и нескольких дней после отъезда из Симбирска, как Пугачев уже был весел, общителен и рассказывал конвое эпизоды из своей полной приключений жизни (629, 153).

Не пытали Пугачева и в Москве, хотя он давал не те показания, на которые рассчитывала Екатерина; следователи ограничивались «довольным увещеванием», т.е. уговорами и угрозами. Они помнили предписание императрицы: «Весьма неприятно бы было... естли бы кто из важных преступников, а паче злодей Пугачев, от какого изнурения умер и избегнул тем заслуженного по злым своим делам наказания» (684-7, 108—109).

Такой заботливости к другим «клиентам» члены Секретных комиссий, действовавших в Казани, Оренбурге и Яицком городке, не проявляли. Большею жестокостью, чем другие следователи по делу Пугачева и его сообщников, отличался генерал П. И. Панин, требовавший добывать сведения «под телесными наказаниями», под «всякими ужаснейшими угрожениями и убеждениями», причем П. С. Потемкин, руководитель Следственной комиссии, жаловался императрице как профессионал, который из-за неоправданной жесткости Панина и его подчиненных терял «материал» для следовательской работы: «С ужасом нахожу я, что во всех местах, где бы ни попался важный или сумнительный колодник, не только дерзают сами собою приступить к распросам... но и допрашивают под пристрастием так, что самые важные сведения иногда вместе с преступниками погибают», а невинные возводят на себя «такие дела, которые они никогда не дельвали и которые и со здравым разсудком и со обстоятельствами различаются» (418-3, 402—403). Таким образом, нет сомнения, что пытки при расследовании дел пугачевцев применялись. Это были «роспросы с пристрастием» в их новой «редакции», да и старые пытки.

Точно установить, пытали ли людей в Тайной экспедиции, мы не можем. Прямых документальных свидетельств о пытках нет, но слухи о том, что там пытали, точнее — били, ходили в обществе. Однако Екатерина II была убеждена, что людей на допросах в ведомстве Шешковского не били. Повторю, что она в 1774 г. писала А. И. Бибикову по поводу ставшего ей известным допроса «под телесным наказанием», примененного в Следственной комиссии о пугачевском бунте: «Пожалуй, прикажи Секретной комиссии осторожно быть в разборе и наказании людей. По моему рассуждению солдаты Айтуган и Сангутов невинно сечены. Также при распросах какая нужда сечь? Двенадцать лет Тайная экспедиция под моими глазами ни одного человека при допросах не секли ничем, а всякое дело начисто разобрано было и всегда более выходило, нежели мы желали знать» (560, 307—308).

К. В. Сивков не сомневался, что в Тайной экспедиции «широко применялись телесные наказания и пытки», но сведений о широком применении пыток ученый не приводит. Он упоминает только один случай, когда в 1762 г. о Петре Хрущове и Семене Гурьеве было сказано: «Для изыскания истины с пристрастием под батожем спрашиваны» (680, 93, 107). Конечно, уже сама неясность вопроса о пытках в Тайной экспедиции должна рассматриваться как свидетельство в пользу их отсутствия — возможны ли исследовательские сомнения на сей счет в отношении, например, Преображенского приказа князя Ромодановского или Тайной канцелярии Ушакова? Возвращаясь к теме, уже затронутой выше в разделе о Шешковском, отметим, что, скорее всего, в Тайной экспедиции действительно не пытали так, как это было в Тайной канцелярии. Но будем иметь в виду, что в стране, где побои людей, «раздача боли» были печальной нормой жизни миллионов, можно было и не иметь застенка в Тайной экспедиции — с а м о у б о р о д о в а н н ы й с т р а х, угроза применения не запрещенной официально пытки «по закону», т.е. по действовавшему Уложению 1649 г. и другим вполне свирепым нормам средневекового права, делали свое дело с «клиентами» Экспедиции. Сам Шешковский умел заставить говорить и без особых физических мучений (ну, ткнет пару раз тростью в подбородок!), в основном с помощью угроз и запугивания. Их испытали многие узники Тайной экспедиции. Выше уже сказано о Радищеве и других людях, попадавших «в гости» к Шешковскому. Угрожали во время следствия 1775 г. и самозванке «Таракановой». Князь Голицын обещал узнице употребление «крайних мер... крайних способов для узнания самых тайных ея мыслей». Симптомом исполнения этих угроз стало лишение женщины, беременной на последних месяцах, да еще смертельно больной чахоткой, теплой одежды, прислуги, приличной ее положению и привычкам еды (441, 599).

В 1792 г. взятый в сыск по делу Новикова студент Максим Невзоров отказался отвечать на вопросы Шешковского. Он ссылался на привилегии университета, согласно которым власти без куратора университета не могли допрашивать универсанта. Как следует из доклада Шешковского императрице, Невзоров молчал, «хотя ему, Невзорову, неоднократно было говорено, что спрашивается [он] по высочайшему соизволению Ея и.в., но он на то говорил: “Я-де этому не верю!”. Наконец, сказано ему, Невзорову, было, что если он ответствовать не будет, то он, яко ослушник власти, по повелению Ея и.в. будет сечен». Здесь мы видим применение типичной угрозы пыткой. Вероятно, в этом положении многие и начинали давать показания Шешковскому, но Невзоров, сын просвещенной эпохи, приехавший только что из вольного Лейдена, на эту угрозу «с азартом говорил: “Я-де теперь в ваших руках, делайте что хотите, выведите меня на эшафот и публично отрубите голову!”».

Важно, что Невзоров и его товарищ Колокольцев подверглись угрозам и со стороны самой императрицы, которая писала Шешковскому: «Как они ссылаются на привилегии университетския, то можешь им сказать, что давно оне бы выполнены были, ежели упрямством и упорностию своею сами дела своего не остановили и не довели до того, что из монастыря перевезены в крепость (арестантов вначале поместили в Александро-Невском монастыре. — Е. А.)».

И все же пришлось Шешковскому вести неукротимого студента к куратору Московского университета И.И. Шувалову. Тот уговорил Невзорова дать показания в Тайной экспедиции (633-2, 141–142, 224). Упорное сопротивление юноши могущественной власти государства дорого ему обошлось: после испытаний Государственным страхом он тронулся в уме и попал в сумасшедший дом. Можно представить себе, какой огромной оказалась обрушившаяся на него психологическая нагрузка: его, возвращавшегося на родину после нескольких лет учебы в Голландии, внезапно задержали на границе в Риге, долго и без всяких объяснений держали под арестом, отобрали вещи, рукописи и книги, обыскивали, потом заковали в кандалы и под строгим конвоем повезли в столицу. Там посадили в монастырскую келью, потом перевели в страшную тюрьму Алексеевского рavelина. После этого Шешковский стал задавать им странные вопросы о причинах французской революции и участии в ней масонов, об их русских сообщниках. Все это перемежалось грозными предупреждениями от имени самодержицы и требованиями оставить «упрямство». В такой обстановке только угрозы Шешковского высечь надыхавшегося воздуха свободной Европы человека было достаточно, чтобы сломать его психику.

Несомненно, формой пытки являлось уже само содержание арестанта в казематах Петропавловской крепости. Так было с больной самозванкой «Таракановой». Князь А.М. Голицын писал Екатерине II, что «хотя я, по лукавству ея и лже, не надеялся того, дабы она написала что-нибудь похожее на правду, однакож, не теряя вовсе всей надежды, думал иногда по человечеству в таком ее утесненном строгостию и болезнию состоянии и найти в ней чистосердечное раскаяние» (435, 104–105). Эта форма пытки была одобрена Екатериной, которая отвечала Голицыну: «Примите в отношении к ней надлежащие меры строгости, чтобы, наконец, ее образумить» (441, 598). В 1762 г. власти Тамбова схватили кричавшего «Слово и дело» купца Д. Немцова, заперли его на два дня без воды и еды в камерке при ратуше. На третий день он признался в ложном кричании «Слова и дела», сказал, что делал это, «избавляясь от постылой жены» (285-3, 80–81).

Впрочем, для пользы дела иного «упрямца» могли и посечь, а потом слегка обмануть гуманную государыню, чтобы не огорчать ее лишним раз. Любопытно, что в полном тексте допроса Потемкиным Пугачева в Симбирске о его «малом наказании» упомянуто глухо и вскользь, в то же время в письме к Екатерине II от 8 октября Потемкин это обстоятельство вообще скрыл: «Не оставя ни единого способа, чем только мог просветить помраченную совесть самозванца, приводил его всеми возможными увещаниями к чистому раскаянию и, хотя весьма переменился он против прежней чувствительности, но полагаться, чтобы показания его были откровенны, невозможно» (684-5, 118).

С менее важными преступниками процедура, как тогда говорили, «просвещения помраченной совести» была упрощена. После упомянутого выше легкого выговора императрицы Бибикову о недопустимости «пристрастного допроса» провинившихся перед законом солдат Айтутана и Сангутова Бибиков писал в Казань члену Следственной комиссии капитану Измайловского полка А.М. Лунину, что получил от государыни письмо, «в котором без гнева и с милостью писать изволит, что мне-де кажется, что солдат Антуган Сангутов (так! — Е. А.) при разспросе сечен напрасно». И далее Бибиков, не углубляясь во второстепенный для него вопрос, сколько тогда было пытаных — один или два, пишет так, как и обычно делали в таком случае русские чиновники: «Пожалуй, справься что это за солдат, я не помню и меня уведошь. Да не пишите вперед в экстрактах пристрастных разспросов: в том нужды нет, а только б каждого состояния дело изъяснено было» (556, 386–387). Вероятно, с тех пор Екатерина была убеждена, что и в Казанской следственной комиссии, как и в других учреждениях, к пугачевцам и пальцем не прикасаются.

Пытка в России была отменена формально только по указу 27 сентября 1801 г. после скандального дела в Казани. Там казнили человека, признавшего под пыткой свою вину. Уже после казни выяснилось, что человек этот был невиновен. Тогда Александр I предписал Сенату «повсеместно по всей империи подтвердить, чтобы нигде, ни под каким видом, ни в высших, ни в низших правительствах и судах никто не дерзал ни делать, ни допускать, ни исполнять никаких истязаний под страхом неминуемого и строгого наказания» и чтобы «наконец, самое название пытки стыд и укоризну человечеству наносящее, изглажено было навсегда из памяти народной» (587-26, 20022). Однако указ этот остался одним из благих пожеланий либеральной весны царствования Александра. Пока в России существовали телесные наказания, крепостное право, палочная дисциплина в армии, говорить об отмене пыток было невозможно. Лишь только с 1861 г., с началом судебных и иных реформ, применение пытки в политическом сыске стало затруднительным, однако изобретательные следователи жандармских управлений и местных органов власти находили немало способов заменить пытки кнутом, плетью и другими истязаниями.

Что же намеревались следователи услышать на следствии от своего «клиента»? Естественно, в первую очередь, они хотели, чтобы подследственный признал свою вину, дал показания добровольно, чистосердечно, «по повинке». Раскаяние, как уже отмечалось выше, было очень важным положением следственного действия, во многом символичным. Человек, обвиненный в государственном преступлении, но не раскаявшийся в нем, упорством, «упрямством» усугублял свою вину и уже поэтому признавался страшным злодеем. Но достижением раскаяния цели сыска, естественно, не ограничивались. Практика выработала целую систему вопросов к подследственному во время «расспроса» и на пытке. Ко второй пытке Макара Погуляева (он оговорил своего товарища, солдата Вершинина, в сказывании «непристойных слов» об императрице Анне Ивановне и на первой пытке признал свою вину) были приготовлены вопросы: «Определено: означенного Погуляева, по повинке его и с подлинной правды, розыскивать и спрашивать: подлинно ль он показанных непристойных слов от помянутого Вершинина не слышал? и подлинно ль те слова показывал он, Погуляев, вымысля собою? и для чего подлинно (придумал. — Е. А.)? и к поношению означенными словами не имел ль он, Погуляев, злобы какой (на императрицу Анну Ивановну. — Е. А.)? и не разглашал ль о том другим кому? И не слышал ль он, Погуляев, показанных слов от других кого? Или подлинно показанные слова слышал он от того Вершинина, да зговаривает, сожалея того Вершинина по засылке какой от него?» (48, 1106).

Здесь в концентрированном виде сформулированы все основные вопросы, которые задавали людям, попавшим в сыскное ведомство. Приведу ответы на подобные же вопросы гренадера Никиты Елизарова, осуждавшего в 1734 г. императрицу Анну и говорившего, что в Петербурге «потехи... а в Руси плачут от подушного окладу»: «А умыслу и никакого в том намерения и злобы он, Елизаров, не имел, и об оном говорить никто ево, Елизарова, не научал, и согласных в том с ним, Елизаровым, никого не было, и чрез разглашение оных непристойных слов мыслию своею ничему он, Елизаров, быть не надеялся, и другие, кто имянно такие ж, или другие какие непристойные слова говорил ли, того он, Елизаров, не знает и ни от кого не слышал» (51, 13; см. также: 88, 15 об.).

Практически все допросы в сыске арестованного за «непристойные слова» сводятся к такому набору вопросов:

1. «С какого подлинно умыслу и намерения [это] затевал?»
2. «Не научал ли ево кто о том затевать?»
3. «Не имел ли он с кем в том какого согласия?»
4. «Об оных словах [делах] кому еще разглашал (вариант: «Не объявлял ли кому для какого разглашения»)?»
5. «Не слышал ли он о том от кого других?»

Разумеется, вопросы арестантам — крупным государственным деятелям и «персонам знатым» были посложнее, но все же и они обязательно включали в себя, в той или иной форме, упомянутые выше темы.

Общая же цель расследования, допросов, пыток достаточно полно и афористично обозначена в инструкции императрицы Анны А.И. Ушакову, отправленному в 1734 г. в Смоленск для расследования дела губернатора А.А. Черкасского: «Оное дело подробно изследовать, которым надлежит, не смотря и не щадя никого, розыскивать, дабы всех причастников того злоумышления и изменнического дела сыскать, до самого кореня достигнуть» (247, 34—40). Этот принцип следует признать одним из самых важных для политического сыска. Как перевести сказанное с образного языка Анны Ивановны на язык профессионалов сыска? Это, прежде всего, поиск сообщников, соучастников, сочувствующих, неизветчиков — словом, всех причастных к преступлению. Поиск приводил порой к масштабным для тогдашнего общества арестам. Так происходило во время Стрелецкого розыска, розыска по делу царевича Алексея в 1718 г., в Тарском розыске 1722 г., при расследовании дела Долгоруких в Березове в 1738 г. В последнем случае внезапные аресты жителей этого заполярного городка были так значительны и устрашающи, что позже сложилась поговорка: «Кто у Долгорукого съел блин, того возили в Тобольск к ответу» (310, 92).

В большом количестве арестовывали людей и в 1740 г., когда началось дело Волынского (304, 156–159). Стоило только кому-либо из подследственных по делу Лопухиных в 1743 г. во время допросов и пыток назвать имя знакомого или родственника, как сразу же за этим человеком отправляли нарочного, который и привозил нового арестанта в крепость (666, 11). В этих и многих других политических делах срабатывал один из принципов, на котором стоял и держался политический сыск, — государственные преступления в одиночку не совершают, нужно обязательно обнаружить скоп и заговор. Этот главный принцип заложен практически в каждом деле, которое расследовали в сыске. Когда в 1731 г. новгородский крестьянин донес на 12 помещиков в «небытии их у присяги» по завещанию императрицы Анны, то каждому из этих арестованных помещиков в Тайной канцелярии задали два вопроса: «Для чего у присяги не был? В небытии у той присяги противности и умысла и согласия с кем какова они (помещики. — Е. А.) не имели ль?» (42, 266).

Вереницу ни в чем не повинных людей утащил за собой в тюрьму, довел до застенка Варлам Левин. Он рассказывал следователям обо всех своих встречах, разговорах, называл имена, и всех упомянутых им людей разыскивали, арестовывали и сажали в тюрьму Тайной канцелярии. Среди них были родственники Левина, соседи, слышавшие его полусумасшедшие откровения о Петре-антихристе, но не донесшие на него «куда следует», священники, знакомые, попутчики. Всего таких людей набралось не менее двух десятков, среди них был даже глава Синода Стефан Яворский. Весной 1722 г. по показаниям Левина арестован целый монастырь — пензенский Предтеченский. В Москву забрали только игумена, всех остальных (28 монахов и бельцов) заточили в их же обители, превращенной в тюрьму. Караул охранял монахов, как чумных больных. Просидев в полной изоляции год, монахи стали погибать от голода. Лишь весной 1723 г. было решено выпустить узников, как непричастных к делу: «Для того, что до них по делу старца Варлаама Левина важности никакой не находилось» (325-1, 51).

Чтобы не упустить возможных сообщников и «согласников», политический сыск арестовывал людей по малейшему намеку, из-за случайной фразы или вопроса. Стоило архимандриту Александру (Алексею Лампадчику), посаженному в 1719 г. под арест в Петропавловскую крепость, спросить у служителя, принесшего к нему в камеру еду: «Не взяты ли за караул в крепость дьяк Иван Климонтов и Никон Волков?» — как оба эти человека были тотчас арестованы и их стали допрашивать о связях с преступником (325-1, 151). Естественно, что пытки арестованных заставляли их оговаривать все новых и новых людей, подчас случайных, вообще не причастных к делу. При этом

не исключая, что подследственные кого-то оговаривали по настоянию или намекам следователей.

Если речь шла о каком-то слухе, «непристойном слове», то «достичь самого кореня» означало выявить всю «цепочку» сплетников, выйти на того «причинного» человека, который пустил слух. В 1732 г. допрашивали упомянутых выше торговек Татьяну Николаеву и Акулину Иванову, которые болтали что-то «непристойное» о связи императрицы Анны и Бирона. В указе о расследовании этого дела в Тайной канцелярии сказано: как только «помянутая вдова Акулина покажет, что она те непристойные слова говорила, слышала от других кого, то и тех велеть сыскать же в самой скорости и расспрашивать, и давать стою жонкою Акулиною очные ставки и буде... учнут загирапта, то, как оной жонкою Акулиною, так и теми людьми... велеть розыскивать в немедленном времени» (42-1, 114).

Выше упоминалось также трагикомичное дело 1735 г. о псалме В.К. Тредиаковского, в котором встретилось подозрительное слово «Императрикс». Его увидел в рукописной копии псалма пищик Костромской духовной канцелярии Семен Косоголов и в мае 1735 г. донес куда надлежало. Копию составил поп Алексей Васильев, он был тотчас арестован и в допросе сообщил, что псалом он получил от дьякона из Нерехты Ивана Васильева. Васильева сразу же «взяли». На допросе выяснилось, что подлинника стихотворения он также не видел, а имел на руках только его копию. Получил же ее он от свояка Козьмы Никитина из села Воскресенья Костромского уезда. Схваченный нарочным солдатом Козьма показал, что псалом (тоже в копии) он взял у владельца печатного текста Андрея Гаврилова — знакомого дьякона из Ярославля. Так следователи вышли на владельца печатного подлинника. Между тем книга со стихотворением продавалась неподалеку от Тайной канцелярии — в книжной лавке Академии наук на Васильевском острове.

Несомненно, следователи Тайной канцелярии арестовали бы еще немало людей и в конце концов вытащили бы всю цепочку, которая кончалась бы поэтом Василием Кирилловичем Тредиаковским, но их ради собственного спасения опередил умный дьякон Иван Васильев. Как только его взяли «под караул для отсылки в Москву», он тотчас послал в Ярославль к дьякону Гаврилову своего шурина, «чтоб он у онаго дьякона выпросил помянутую песнь печатную». Гаврилов, вероятно, без сожалений, отдал опасную книжку. Шурин Васильева доставил ее в Кострому для приобщения к делу. Московская контора Тайной канцелярии, куда привезли колодников, списалась с Петербургом, генерал А.И. Ушаков потребовал, как сказано выше, объяснений по поводу «Императрикс» от самого Тредиаковского и был ответом вполне удов-

летворен. В итоге не прошло и полугода, как в октябре 1735 г. костромские доносчики—любители поэзии даже без порки вышли на свободу (258, 1—10).

Секретарь А.П. Волинского Василий Гладков обвинялся в том, что пересказывал слух о том, будто Бирон на коленях просил Анну Ивановну повергнуть опале строптивого кабинет-министра. На допросах Гладков сослался на некоего Смирнова, тот показал, что слышал об этом от архитектора Бланка, Бланк сослался на Арландера, но в очной ставке «сговорил» с него вину. Так веревочка оборвалась на Бланке, и это ему обошлось весьма дорого: как и Смирнова, Бланка нещадно били плетью, а потом с женой и детьми сослали в Тобольск «на вечное житье» (304, 167).

В 1746 г. подьячий Петр Максимов донес на Ивана Анофриева, что тот переписывал некое «салтанское письмо» к австрийскому императору Леопольду. Захваченное у Анофриева письмо было совершенно бессмысленным высокопарным писанием, в котором нельзя было усмотреть и намека на политическое преступление. Но в Тайной канцелярии взялись распутывать цепочку, по которой передавалось письмо, и остановились лишь на седьмом(!) ее «звене» — на ямщике, который сказал, что получил его в Романове от «неведомого человека». Приметы этого человека ямщик указал мало-вразумительно и был, как и другие подследственные по этому делу, наказан батогами нещадно, «чтоб впредь они таких недельных писем при себе не имели» (322, 164—166).

Вообще же, положение «крайнего» в цепочке сплетников оказывалось самым тяжелым — ведь его подозревали в авторстве «зловредного эха». Объяснения такого человека, что слух этот пришел к нему от случайных, незнакомых людей на базаре, от попутчиков в дороге и т.д., политический сыск обычно не принимал. Драгуна Никиту Симонова пытали дважды «из подлинной правды» и при этом спрашивали «накрепко»: «Непристойные слова (в говорении которых его обвиняли. — Е. А.) подлинно ль он слышал от прохожих дву[х] человек или от других кого, и, слыша оные слова, для чего тех людей не одержал (т.е. не задержал. — Е. А.) или оные слова вымышленно от себя затеяв, говорил» (42-5, 162). В 1772 г. Екатерина II потребовала от Волконского расследовать беспокоившие ее «враки»: «Прикажите по исследовании от человека к человеку, кто от кого слышал, добратся до выдумщика и того уже, по мере его вины, велите наказать публично» (554, 94).

Движение политического сыска «по цепочке» информаторов напоминало древнюю практику так называемого «свода», когда с вещью, которую считали краденой, ходили от покупателя к продавцу. Так продолжалось до тех пор, пока не добирались до человека, который не мог указать на продавца. Тогда на него падало подозрение в краже этой вещи (677, 598). Однако в

делах о «непристойных словах» найти конца «цепочки» никогда не удавалось, как и в позднейшее время не удавалось обнаружить авторов антиправительственных анекдотов, это было одним из ярчайших выражений *vox populi*. Поэтому следователям волей-неволей приходилось обрывать «цепочку сплетников». Иначе они рисковали навечно затянуть дело или арестовать полстраны. Сыск формально удовлетворялся теми объяснениями, которые давали подследственные: «Слышал от прохожего человека, а кто он — не ведаю», или «Слышал от вышеписанных двух человек, а где их сыскать — не знает», или «Слышал от разных неизвестных людей»; «Слышал от проезжих крестьян»; «Слышал он в народной молве», «Слышал в народной молве, а от кого — не знает» (88, 249; 8-1, 146—147, 307 об., 357, 360).

Почти в каждом политическом деле мы найдем объяснения раскаявшимся преступником причин совершенного им преступления. После попыток не раскаявшихся подследственных, как правило, не оставалось. Исключением являлись только те из них, которые умирали во время следствия. Когда же преступник «винился», то объяснения причин преступления в записи сыска были настолько однотипны, клишированы, что это наводит на мысль о большой «редакторской» работе следователей с показаниями подследственных. Отчетливо выделяются семь типов штампов-объяснений, которые давали те люди, кто говорил «непристойные слова» о государе или обвинялся в произнесении ложного «Слова и дела» (см. 8, 42, 44, 53, 66, 88).

Тип 1. «Те слова он затеял, у мысля с собой», «Затеял слова напрасно, вымысля собою», «Вымысля от себя», «Поклепал напрасно, собою», «Затеял собой, напрасно»; «Затеял, выдумав собою, ложно». Такое объяснение предполагало отсутствие сообщников, позволяло избежать обвинения в «скопе», вопросов о том, «кто его научал и с кем он имел в том согласие?».

Тип 2. «Говорил он собою, спьяна», «Говорил в шумстве», «сказывал во пьянстве», «Сказывал в пьянстве», «Говорил он пьяной», «Говорил он во пьянстве с проста»; «Говорил он собою во пьянстве, с проста»; «Говорил во пьянстве, а не с умислу», «Затеял собой в пьянстве». Вдополнение к этому типу довольно часто пояснялось: «Непристойные бранные слова в том своем пьянстве он... и говорил, токмо у трезвого в мысли у него не было» или «Был пьян и незнаемо к чему говорил», «Говорил за пьянством, не упомнит».

Особенно часты были ссылки на чрезмерность, неумеренность пьянства, ставшего причиной «непристойных слов»: «Говорил (или «затеял». — Е. А.) с

безмерного пьянства». «Говорил в безмерном своем пьянстве и в беспамятстве»; «То все чинил ли того, за безмерным своим пьянством, не упомнит»; «Поклепал напрасно от многова своего пьянства». Каменщик Иван Лябзин в 1732 г. обвинялся в кричании ложного «Слова и дела». На следствии он говорил, что пьет он недели по две-три запоем и «случается с ним страх и безумство», от чего он и «кричал неведомо зачем Слово и дело» (42-1, 116).

Это было одно из самых распространенных объяснений: был пьян, и что говорил — не помню! Установить, что произошло на самом деле, оказывалось практически невозможно. Лишь в одном случае можно утверждать, что ссылка на пьяное состояние была явной отговоркой. Выше упоминалось дело Ивана Павлова, который в 1737 г. добровольно отдался в руки следователей политического сыска, чтобы пострадать «за старую веру». По дороге в Преображенское, иначе говоря — на смерть, его провожали жена Ульяна и брат Василий. После этих, в сущности, похоронных проводов Ульяна пришла к своей родственнице Марфе, все ей рассказала, и обе женщины тогда плакали. На следствии, куда их взяли как свидетельниц, Ульяна и Марфа объясняли эти слезы якобы вовсе не жалостью к шедшему на смерть Ивану, а тем, «что плакали с пьяна». Это, судя по делу, было явной ложью во спасение (710, 117).

Объяснение, которое в 1721 г. дал в Тайной канцелярии Петр Раев («Непотребные слова говорил ли — то не помнит, понеже весьма был шумен, и утверждался в том даже до смерти» — 664, 24), было, возможно, чистой правдой, но никак не могло удовлетворить следствие, так как не было равноценно признанию преступником своей вины. Кроме того, следователи смотрели на пьянство не как на причину преступления, а какотягчающее его обстоятельство. Об этом говорилось в указе 1733 г. о ложных изветчиках: они подлежат наказанию, несмотря на отговорки, «что об оном показывали они простотою и с пьянства» (504, 114).

Впрочем, не следует преувеличивать значения этого указа. Это был не первый указ такого рода. В указе 30 января 1727 г. пьяным болтунам обещали «за те их вины, несмотря на такие их отговорки, учинена будет смертная казнь без пощады» (633-63, 75—76). Однако против таких суровых решений о человеке под хмельком восставали традиции русской жизни, и они подчас оказывались сильнее даже ужасов застенка. В конечном счете политический сыск, при всей его суровости, не мог игнорировать пьяное состояние как оправдывающий человека фактор. В Тайной канцелярии понимали, что если поступать жестоко с пьяницами, то можно обезлюдить всю русскую землю — ведь, кажется, не было ни одного застолья, где бы не говорили о политике. К тому же

долго сохранялась инерция римского права, в котором пьяное состояние человека не трактовалось как обстоятельство,отягчающее преступление. Авторы Уложения 1649 г. еще лояльно относились к пьянству и рассматривали его как смягчающее вину преступника обстоятельство. О том же свидетельствуют и повальные обыски, которые проводили власти, чтобы убедиться, действительно ли обвиненный в говорении «неспристойных слов», как он показывает, горький пьяница (вспомним дело псковитянина Скунылы).

Тут очень важен один нюанс. Свидетели могли подтвердить, что преступник был или «безмерно пьян» (варианты: «Весьма пьян», «Пьян без памяти», «В безмерном пьянстве, не помнит»), или что он был пьян, «*н о в силе*» (или «хотя и пьян, *н о в п а м я т и*» — 42-5, 18 об.). В первом случае это означало, что пьяница действительно не помнил, что говорил. Под влиянием выпитого он находился в состоянии временного идиотизма и тем самым не нес всей полноты ответственности за сказанное. Поэтому участь его следовало облегчить. Так, в 1722 г. Тайная канцелярия постановила бить батогами новгородского помещика Харламова, который сказал «непристойные слова» в застолье, в пьяном виде. В своем признании написал, что ничего не помнит — был «весьма пьян». Свидетели подтвердили, что Харламов в этот момент был действительно сильно пьян и «в пьянстве бранился и означенные слова говорил». «Того ради, — постановил сыск, — ему оное наказание и учинить, дабы впредь, хотя и в пьянстве, таких непристойных слов не говорил» (32, 7).

Елецкий же однодворец Иван Клыков, на которого в 1729 г. донес отец и назвал четырех свидетелей, пытался объяснить следователям, что своей матерной брани об императоре Петре II не помнит «за пьянством... и в безумстве». Однако отец погубил сына тем, что утверждал на следствии: «В то время как тот ево сын те непристойные слова говорил, был пьян, только в силе и в целом уме и не в безумстве». Свидетели подтвердили показания изветчика. Ивана Клыкова били кнутом и сослали в Сибирь (8-1, 375 об.). В 1728 г. дьячок Алексей Попов сказал непристойность о государе. Потом он сказал, что «говорил ли те слова за пьянством не помнит», однако свидетели показали: «И в то-де время оной дьячок б ы л п ь я н , т о к м о в с и л е». Итог для Попова печален: кнут, Сибирь (8-1, 342 об.). Словом, страсть, стойкая приверженность Бахусу если и не оправдывала преступника, то смягчала его наказание. В 1728 г. ямской сын Кошелков донес на расстригу Аверкия Федорова, что тот «учил ево, Кошелкова отрицаться от Бога и признавать дьяволов». Федоров чудом спасся от костра тем, что на следствии показал: «Говорил [все это] он в пьянстве обманом, чтоб он ево поил

вином, а волшебства он не знал». Объяснение это показалось следствию убедительным (8-1, 337).

Весь набор оговорок, особых штампов, которыми протрезвевший человек пояснял происшедшее, наиболее полно выражен в экстракте по делу сержанта Алексея Ерославова. Этими оговорками пропойца как бы отгораживался от плахи: «А в роспросе, також и в застенке с подъему он, Ерославов, показал, что-де ничего не помнит, что был безмерно пьян и трезвой-де ни от кого о том не слышал, и злого умыслу никакова за собою и за другими не показал, и об оном ево безмерном в то время пьянстве по свидетельству явилось». Тайная канцелярия дала следующее заключение: «Хотя подлежателен был розыскам, а потом и жестокому наказанию кнутом, но вместо того, за безмерным тогда ево пьянством и что он молод — гонять спидрутен и написать в салдаты» (8-2, 36). При этом несчастному пьянице нужно было добиться симпатии следствия простодушным раскаянием, в то время как всякое угрюмое «запирательство», защита неких своих прав только ухудшала его участь.

Тип 3: «Те слова говорил он о б м о л в я с ь». Такое объяснение говорило, что «непристойные слова» у человека сорвались случайно, спонтанно, как ругательство при неловком движении на скользкой лестнице. Когда человек их произносил, как бы подразумевалось, что у него, конечно, не было никаких сообщников, как и определенной антигосударственной цели. Пояснял ложный донос человек еще и тем, что «сказал показанные им непристойные слова на того Конева... о с л ы ш к о ю», «Говорил спроста, не вслушався»; «Своим пьянством от косности языка, не говоря того молвил»; «Говорил... простотою своею, не выразумя от горести своей».

Тип 4. «О том о всем затеял он собою напрасно по злобе»; «Вымысля собою по злобе»; «Затеял напрасно, вымысля собою за злобу»; «Затеял собою по злобе»; «Затеял ложно собою за злобы». Тем самым как бы подчеркивалась «напрасность», заведомая, неосознанная бессмысленность и соответственно — непреднамеренность действий, отсутствие замысла и согласия с кем-либо в антигосударственном поступке. Ссылка на «злобу» как скверную, но врожденную черту характера подкрепляла общее «безосознательное» объяснение причины преступления.

Тип 5. В ходу были и ссылки на неграмотность, незнание законов: «Говорил от не з н а н и я»; «Сказывал то, не ведая»; «Говорил простою своею»; «Говорила с самой простоты своей»; «Затеял собою второпях, в беспамятстве, простотою, от безумия своего, а не из злобы и не к поношению какому», «Говорил он пьяной спроста без всякого умыслу (умыш-

ления, мысли)»; «Говорил з глупа и с проста»; «Говорил собой спроста, а не из злобы»; «Говорил спроста, а не для какова разглашения»; «Сказал... с сущей простоты»

Тип 6. Нередки были и ссылки на собственное скудоумие, «головную болезнь», расстроенную психику, сумасшествие: «Говорил в з а б ы т и и ума своего»; «Говорил не в своем уме»; «Говорил, забыв своего разума в черной немощи»; «В уме забывается»; «Говорил во иступлении ума»; «Затеял о том, будучи в падучей болезни и в беспамятстве»; «А с чего-де в мысль его об оном говорить пришло, о том-де и сам он не ведает»; «Говорил беспамятством и д у р о с т ь ю ». Весь «набор» объяснений такого рода мы встречаем в деле крестьянина Никиты Антонова в 1732 г.: «Говорил он спроста, издеваочись, для смеху, з глупа, от недознания» (42-1, 59). Матрос Семен Соколов, обсуждавший жизнь Екатерины I (он сказал: «Матушка наша... чаю-де и она не на сухих досках лежит... как-де поест сладкова и изопьет хмельнова, захочет-де и другова»), утверждал, что говорил все это «з глупа и спроста» (8-1, 309 об.). Естественно, что напрашивался вывод: «Что же можно спрашивать с дурака? Выпороть его да выпустить!». В приговоре 1776 г. о крестьянине Венедикте Журавлеве, сказавшем «непристойные слова», собственно, так и сказано: «От обыкновенной простой и по состоянию его приличной глупости мыслей, и во истребление их вовсе» — дать плетей и выпустить на волю (809, 173).

Вообще, привычной формой защиты была поза самоуничуждения, столь привычная рабу вообще и государеву холопу в частности. Артемий Волынский оправдывался, что говорил и писал свой признанный преступным проект государственных реформ «в горести и в горячности и по ссоре», но более упирал на свою «глупость» и сожалел, что прогневил государыню «высокоумием своим», думал, что «писать горазд» (3, 29 об., 210, 66).

Наконец, одно из самых распространенных объяснений, характерных для кричавших «Слово и дело» людей, относится к Т и п у 7: «О том о всем затеял собою, и з б ы в а я р о з ы с к у»; «Он кричал для того мыслил, чтоб тем криком отбыть розыску, а никто его кричать не научал»; «Затеял напрасно, у б о я с ь в... воровствах своих розыску»; «Говорил оно, и с п у ж а в с я розыску второпях»; «Показал было о том о всем неопамятавался, второпях и у б о я с ь с е б е и с т ы з а н и я»; «Не показал, боясь себе за означенную свою в словах продерзость наказания»; «Сказывал, н е с т е р п я п о б о и ». Другим вариантом было объяснение: «Затеял собою, о т б ы в а я н а к а з а н ь я », «А показал-де он то, избывая каторжной работы». Объяснения человека, что страх перед сыскным ведомством с его пытками есть причина оговоров, молчания и т.д., были весьма распространенными. И сле-

дователи сыска этому, не без оснований, верили: все подданные действительно страшно боялись их ведомства.

Добиться подтверждения прежних, данных в «роспросе» показаний, получить новые признания подследственного, ввести все это в систему указанных «типов» признаний и составляло главную цель розыска в пыточной камере. Здесь применяли самые разнообразные способы физического воздействия, избежать которых попавшему в застенки человеку было практически невозможно. К 1760-м гг. пытки утратили прежнюю средневековую свирепость, хотя взгляд на физические мучения как на вернейший способ добиться истины (или нужных показаний, что в сыске понимали как синонимы) не стал старомодным, не был признан порочным ни во второй половине XVIII в., ни позже. На смену жутким пыткам огнем пришла обыкновенная порка и другие, часто скрытые, вероятно смехотворные для людей типа Ф.Ю. Ромодановского, методы достижения нужного следственного результата. Словом, в том или ином виде пытка сохранялась в русской истории, без нее политический сыск всегда был как без рук.

Вынесение приговора

Петровская эпоха реформ вошла в историю России как время кардинальных преобразований системы судопроизводства. В 1718 г. была создана Юстиц-коллегия, а чуть позже — система судов в губерниях, провинциях и городах. В основе создания независимой от администрации судебной иерархии лежали шведские образцы организации юстиции, которые Петр I вообще широко использовал в своей деятельности. Реформа судопроизводства проводилась в комплексе с другими преобразованиями, которые в принципе формировали устойчивую судебную систему. Речь идет не только о создании Юстиц-коллегии, к которой перешли судебные функции большинства приказов, но и о создании системы прокуратуры, составлении нового корпуса законов. Увенчалась эта работа появлением в 1723 г. «Указа о форме суда», восстановившего, как сказано выше, состязательность судебного процесса. Однако для политического сыска судебная реформа мало что значила. Те «два первых пункта», которые включали в себя корпус государственных преступлений, находились в исключительной компетенции государя. Он сам определял, как и в какой форме будет наказан государственный преступник. Проследим, как решалась судьба государственных преступников.

Завершив расследование преступления, подъячие сыскаго ведомства составляли по материалам дела «выписку» или «экстракт» (известны и другие названия: «Краткая выписка», «Изображение»). На основе экстракта готовилось решение, которое отражалось в протоколе в виде «определения» следующего образца: «По указу Его и.в. в Канцелярии тайных розыскных дел слушано дело... Определено...» Или: «Слушав выписку о распопе Савве Дугине, определено: оного распопу Дугина казнить смертью — отсечь голову». Был и такой вариант приговора: «Учинить по всеижайшему Тайной канцелярии мнению...» После этой преамбулы излагалась суть дела (т.е. состав преступления). В конце излагался проект приговора с перечнем законов, на основе которых выносили решение о судьбе преступника (42-1, 6 об.; 56, 27 об.).

Адресатом такого итогового документа был самодержец или высший правительственный орган. В 1733 г. по делу Погуляева и Вершинина было решено следующее: «И о учинении тому Погуляеву за оную важную ево вину смертной казни, учиня из дела краткую выписку, под которою, объявля сие определение, доложить Ея и.в.» (49, 15; 42-4, 183).

Ранее, в XVII в. роль «экстракта» выполнял статейный список по розыскному делу. Выглядел он как листы бумаги, которые были перегнуты надвое. На одной половине листа излагалась суть дела каждого участника процесса, в конце выписывались подходящие к случаю законы. На другой половине листа писали проект резолюции следственного органа (571, 205). Типичным является статейный список 1689 г. по делу Шакловитого и его сообщников. В нем содержится краткое изложение сути дела на основе известв, допросов, очных ставок и пыточных речей («В изветех, и в роспросех и на очных ставках московских стрелецких полков капитаны... на него, Федку, говорили и на очных ставках уличали: умышлял он, Федка и говорил...» — и т.д.). Ниже шло законодательное обоснование: «А в Уложение 157 году, во 2-й главе, в 1-й статье напечатано...» — и, наконец, боярский приговор: «198 году, сентября в 11-й день по указу Великих государей... бояре, слушав сего статейного списка приговорили: Федку Шакловитого за вышписанные ево злые воровские умыслы и дела казнить смертью» (623-1, 209-264). Наиболее часты были ссылки на Соборное уложение 1649 г. (особенно на главы 1 и 2), Артикул воинский 1715 г., входивший в Устав воинский 1720 г., упоминались и некоторые именные указы о государственных преступлениях, названные в главе первой данной монографии. При этом отметим сразу, что ссылка на законы, по которым казнили политических преступников, не была обязательной.

Итак, экстракт, или выписка, поданная государю сыскным ведомством, обычно содержала проект приговора по делу. Роль такого проекта приговора — указа для Екатерины I, решавшей летом 1725 г. судьбу архиепископа Феодосия, сыграла «Предварительная осудительная записка». Этот документ написан как черновик указа с характерными для него сокращениями: «По указу. и проч. и проч. Такой-то имярек сослан, и проч., и проч. Для того: сего 1725 году апреля, в... день, показал он, Феодосий, необычайное и безприкладное на высокую монаршую ея велич. Государыни наша императрицы честь презорство (пренебрежение. — Е. А.)...» — и далее дано описание преступлений опального иерарха. Заканчивалась «Записка» такими словами: «За которыя его, Феодосия, страшные и весьма дивные продерзости явился он достоин и проч., и проч. Но всемилютейшая государыня и проч., и проч.» (573, 205-207). Как мы видим, в последних конспективных фразах про-

екта приговора предполагалось смягчить наказание преступнику. Так это и было сделано в окончательном приговоре императрицы.

В виде подобного же проекта приговора был составлен документ Тайной канцелярии по делу Лестока, направленный в 1748 г. императрице Елизавете. Начальник Тайной канцелярии А.И. Шувалов вместе с генералом С.Ф. Алраксиным, «слушав экстракт о... Герман Лестоке, о жене его Марье Лестокше, да о племяннике его, Лестоке... Александре Шапизе, да о зяте его, Лестока... Бергере, приказали учинить следующее. Помянутый Лесток, забыв страх Божий, и презря подданическую присягу, и не чувствуя того, что он высочайшею Ея и.в. милостию из ничего в знатнейшие чины возведен и обогашен был, весьма тяжкие и важные, в противность государственных прав, також собственного ему от Ея и.в. изусного повеления преступления учинил...» Далее следует длинный перечень преступлений Лестока и его родственников, а в конце резюмируется: «Итако, оный Лесток по всем вышеобъявленным обстоятельствам не токмо подозрителен, но и в тяжких и важных преступлениях и винах явился, за что он, Лесток, по силе всех государственных прав подлежит смерти. Однакож не соизволит ли Ея и.в. из высокоmaterного своего милосердия для многолетнего Ея и.в. и высочайшей Ея и.в. фамилии здравия, от смертной казни учинить его, Лестока, свободна, а вместо того не соизволит ли же Ея и.в. указать учинить ему, Лестоку, нещадное наказание кнутом и послать его в ссылку в Сибирь в отдаленные города, а именно в Охотск и велеть его там содержать до кончины живота его под крепким караулом... Движимое и недвижимое помянутого Лестока имение все без остатку отписать на Ея и.в.» (663, 9, 17; 760, 57).

На подобный проект приговора обычно следовала собственно резолюция государя (государыни), который либо подписывал подготовленный заранее пространный указ, либо ограничивался краткой пометой на проекте или даже на экстракте. Пожалуй, ярче всего это видно в деле Варлама Левина. Весной 1722 г. Петр I уезжал в Персидский поход и поспешно заканчивал оставшиеся важные государственные дела. 17 апреля 1722 г. арестанта доставили в Москву, где начались допросы Левина и аресты причастных к делу людей, которых начали свозить в Преображенский приказ. 13 мая А.И. Ушаков в докладе царю, уже плывшему по Оке, вопрошал: «Старцу Левину по окончании розысков какую казнь учинить и где, в Москве или Пензе?» Император начертал всего два слова: «На Пензе» (325-1, 31). В сущности, эти два слова и есть смертный приговор Левину, хотя его дело только что стали рассматривать и еще десятки людей, сидевших месяцами в колодничьих палатах, не были допрошены. Между тем судьба человека была уже решена.

В данном случае мы имеем дело с приговором-резолюцией, которую писал государь на экстракте, на выписке или на докладе сыскного ведомства. Эта форма судебного решения встречается очень часто, особенно в петровское и анненское время. Также бывало, что приговор, вынесенный государем в устной форме по устному докладу начальника сыскного ведомства, записывался в протоколе Тайной канцелярии со слов вернувшегося из дворца начальника и оформлялся в виде «записанного именного указа». Таким был приговор по делу Докукина. Экстракт по делу начинался словами: «В доклад. В нынешнем 1718 году...» Далее излагалась суть преступления. В конце экстракта был поставлен вопрос: «И о том что чинить?» Резолюция Петра под экстрактом гласила: «1718 г., марта 17. Великий государь царь и великий князь Петр Алексеевич, слушав сей выписки, указал по имянному своему В.г. указу артиллерийского подьячего Лариона Докукина, что он на Старом дворце, во время божественной литургии подал Его ц.в. воровския о возмущении народа против Его в. письма (и проч. из доклада слово в слово), и за то за все казнить смертью». Эта резолюция, записанная в журнале присутствия Тайной канцелярии П.А. Толстым и Г.Г. Скорняковым-Писаревым как именной указ, имела окончательную силу (325-1, 167–168).

Волю высшей власти мог передать и кто-то другой, действовавший по поручению монарха. В письме кабинет-секретаря Петра I А.В. Макарова руководителям Тайной канцелярии по поводу судьбы двух раскаявшихся раскольников и беглого солдата было сказано: «На письмо ваше, государь мой, указал Его ц.в. к вам писать о раскольниках, которые по определению вашему посланы в Ревель — тем быть так; о обратившихся двух извольте отослать в Духовный Синод, чтоб там определили оных по своему рассмотрению, а третий, который был в службе и не обращается — извольте освидетельствовать, подлинно ль он от службы отставлен был, а ежели не был отставлен, а из солдат бежав, пристал к раскольникам, то онаго, яко беглаго солдата, указал Его в. повесить, буде же подлинно [он] был от службы отставлен и отпускное письмо ему было дано, то его также послать в Ревель, как и другие посланы в вечную галерную работу» (325-2, 262–263).

В указе Екатерины I от 8 декабря 1726 г. по делу Родышевского и Прокоповича сказано, что императрица, «слушав сей выписки, по докладу тайного действительного советника и кавалера князя Ивана Федоровича Рамодановского, указала...». Далее следует приговор. В конце же документа написано: «Сей Ея и.в. имянной указ сказал и записать приказал... Рамодановский» (252, 50–51). Такие экстракты приносил императрице Екатерине из Тайной канцелярии и А.И. Ушаков: «1725 году июля в 30 день Ея величество... изволила слушать три экстракта, сочиненные в Тайной розыскных дел кан-

целярии... из оных по первому Ея и.в. указала учинить: Выморокова — казнить, Антипу Щеглова, Захария Игнатьева — по наказанью [кнутом], с выниманием ноздрей, послать в вечную каторжную работу в Рогервик; Ивана Щеглова — в старцы и в крепкий монастырь» (181, 231).

В упомянутом выше деле Максима Погуляева сохранилась копия протокольной записи о приговоре императрицы Анны по его делу: «1733 г., генваря 31. В Канцелярии тайных розыскных дел генерал... Андрей Иванович Ушаков объявил, что по учиненной в Тайной канцелярии выписке и по объявленному под тою выпискою Тайной канцелярии определению... докладовал он, генерал и ковалер, Ея.и.в. и Ея и.в., слушав оной выписки и определения, соизволила указать в учинении оному Погуляеву за показанную ево вину смертной казни» (49, 19). Так, одной лишь резолюцией государыни, записанной со слов Ушакова, преступник был приговорен к смертной казни. В деле Вестенгарт и Петровой 1735 г. приговор был оформлен иначе. А.И. Ушаков подал императрице Анне Ивановне экстракт дела и свое предложение: «Не благоугодно ли будет по милосердию Вашего величества вместо пытки и смертной казни учинить оной Яганне жестокое наказание кнутом и сослать в Сибирь в дальний монастырь и содержать там ее в том монастыре неисходно и пищу давать против того монастыря монахинь». В тот же день он получил собственноручную краткую резолюцию государыни: «Вместо кнута бить плет[ь]ми, а в протчем быть по вашему мнению. Анна». На этом основании был составлен указ 26 июля 1735 г., гласивший: «По силе полученного сего 26 дня июля имянно-го Ея и.в. указа, подписанного Ея и.в. на поданном ис Тайной канцелярии экстракте с объявлением Тайной канцелярии определения о мадаме Ягане Петровой собственною Ея и.в. рукою, по учинении оной Ягане за важную вину, о чем явно во оном экстракте, наказания плетьюми и ссылке в Сибирь в дальний девичий монастырь». Указ этот не предназначался для публикации и в конце протокола Тайной канцелярии, откуда мы его цитируем, было записано: «А вышеупомянутой экстракт с подписанием на нем собственной Ея и.в. руки, приобща к делу... запечатав канцелярскою печатью, хранить особо» (56, 27об.—32; 332, 555). Также в пространном виде указа-приговора была оформлена лаконочная резолюция Анны Ивановны по делу Седова: «Места смерти сослат в Ахоцкъ» (43-1, 17об.).

В истории XVIII в. известно множество подобных, по сути — бессудных, расправ, когда не было даже намек на какое-либо судебное рассмотрение дела, а есть только голая воля государя. Особенно ярко это видно в Стрелецком розыске 1698 г., когда основанием для казни сотен людей были слова царя, внесенные в «допросные пункты»: «По указу Великого государя по розыску велено тех стрельцов казнить смертью» (163, 66). Если этот приговор

мог быть действителен в отношении 201 стрельца, прошедших ко дню казни 30 сентября 1698 г. через пыточные камеры и признавшихся в своих преступлениях, то этого нельзя сказать о жертвах массовой казни 3—11 октября. 144 человека вообще даже не привозили в сыские палаты и отправили на эшафот прямо из тюрем без всякого, пусть хотя бы формального рассмотрения их дел (163, 84—85).

Известны случаи, когда государь налагал опалу, даже не ставя в известность сыское ведомство о составе преступления человека, о причинах опалы и всех обстоятельствах дела. Подобным же образом сельский староста получал от своего помещика приказание высечь кого-либо из крестьян на конюшне или посадить в холодную на цепь. 4 февраля 1732 г. императрица Анна послала главнокомандующему Москвы С.А. Салтыкову именной указ: «Указали мы обретающагося в Москве иноземца Еядиуса Наундорфа, которой стоит в Немецкой слободе на квартире у капитана Траутсмана, сыскав его, вам послать за караулом в Колский острог, где его отдать под тамошний караул и велеть употребить в работу, в какую годен будет и на пропитание давать ему по пятнадцать копеек на день из тамошних доходов и повелевает нашему генералу и обер-гофмейстеру Салтыкову учинить по сему указу». 13 февраля арестованный в Немецкой слободе иностранец Наундорф в сопровождении подпоручика Ивана Хрущева и четырех солдат уже ехал на берег Ледовитого океана, и никто так и не узнал, за что его сослали по личному указу императрицы — никаких документов об этом деле более до нас не дошло (382, 3—4).

К подобным, в сущности бессудным, приговорам, несмотря на свою любовь и почтение к законности, не раз прибегала и Екатерина II. В 1775 г. она сердитым письмом-приговором к князю Голицыну прервала расследование дела «княжны Таракановой» еще до завершения его: «Не допрашивайте более распутную лгунью, объявите ей, что она за свое упорство и бесстыдство осуждается на вечное заключение» (441, 257). Решение по делу Н.И. Новикова в 1792 г. имело вид пространной резолюции Екатерины II, которую она вынесла на основе материалов допросов Новикова в Тайной экспедиции: «Рассматривая произведенные отставному поручику Николаю Новикову допросы и взятые у него бумаги, находим мы...» Далее следует подробный перечень преступлений Новикова и его сообщников, а также и вывод: «Впрочем, хотя Новиков и не открыл еще сокровенных своих замыслов, но вышеупомянутые обнаруженные и собственно им признанные преступления столь важны, что по силе законов тягчайшей и нещадной подвергают его казни. Мы, однако ж и в сем случае следуя сродному нам человеколюбию и оставляя ему время на принесение в своих злодействах покаяния, освободили

его от оной и повелели запереть его на пятнадцать лет в Шлиссельбургскую крепость». От сообщников Новикова — князя Трубецкого, Лопухина и Тургенева, — которые, по мнению Екатерины II, были обличены «в соучастствовании ему во всех законопротивных его деяниях», императрица потребовала публичного раскаяния, после чего постановила отправить «в отдаленные от столиц деревни их» (497, 476—478).

Описывая различные формы бессудных расправ, которыми заканчивались все политические дела, не следует забывать главного принципа, лежавшего в основе государственного суда. Он хорошо выражен в указе царей Ивана и Петра Алексеевичей по делу князей Хованских в августе 1682 г.: «И та казнь учинена им (Хованским. — *Е. А.*) по их, Великих государей, указу, и суд о милости и о казни вручен от Бога им, Великим государям, а им (подданным. — *Е. А.*) никому о том не токмо говорить, и мыслить не надобно, и дела им до того не достало» (195, 106). В полном, безусловном, неоспоримом праве государя выносить решения по политическим делам выражалось одно из главных начал самодержавия.

Реформа суда при Петре I ставила цель отделить административные функции от судебных. Это важнейшее положение правовой реформы политического сыска не касалось. Начальник сысканого ведомства совмещал обязанности администратора и судьи, имел право выносить приговоры по многим видам политических дел. Приговоры эти записывались как решения самого главы ведомства или его заместителей. Большинство решений в Преображенском приказе выносил князь Ф.Ю. Ромодановский, а в Тайной канцелярии — П.А. Толстой или кто-либо из его заместителей, его «товарищи» И.И. Бутурлин и А.И. Ушаков («По указу Великого государя генерал-лейтенант и лейб-гвардии подполковник Иван Иванович Бутурлин, брегadier и лейб-гвардии мазор Андрей Иванович Ушаков, слушав сей выписки, приказали...»). Это запись в протоколе 24 апреля 1721 г. Далее записан уже сам приговор — см. 325-1, 171—172).

Политические дела решали и высшие органы исполнительной власти — Боярская дума («бояре»), Сенат, различные советы, стоявшие над Сенатом. Среди документов Тайной канцелярии довольно часто встречаются постановления: «Отослать в Канцелярию Сената и по тому делу что в Сенате приговорят, так там и учинить» (10, 118 об.). После этого материалы дела (экстракт и проект приговора) сысканое ведомство вносило в Сенат, и тот постановлял: «Слушав из Тайной канцелярии доношения и выписки, приговорили...» (325-1, 52; см. также 598, 13—14; 600, 130—155).

В 1727—1729 гг. приговоры по делам политического сыска выносил Верховный тайный совет, а при императрице Анне Ивановне — Кабинет министров. Докладчиком по экстрактам из дела перед кабинет-министрами по политическим делам выступал А.И. Ушаков, который представлял там проект приговора. Он сам часто и участвовал в обсуждении судьбы преступников. После этого в протокол заседания Кабинета вносилась запись: «1736 года июня 9-го дня, по указу Ея и.в. присутствующие министры, слушав поданных... из Тайной канцелярии экстрактов с объявлением определения о содержавш[емся] в Тайной канцелярии ссыльном Егоре Строеве... рассуждая о злодейственных изменнических... винах, о которых явно в экстрактах, за которые его вины в Тайной канцелярии определено ему учинить смертную казнь, согласны в том с определением Тайной канцелярии» (659, 8).

Доклад — проект приговора по делу Татищева и Давыдова 3 апреля 1740 г. в соавторстве написали начальник Тайной канцелярии А.И. Ушаков и кабинет-министр А.И. Остерман (64, 7). Ранее точно так же по делу Долгоруких 14 октября 1739 г. Ушаков и Остерман составили «Надлежащее рассуждение» о винах Долгоруких, которое легло в основу сурового приговора императрицы (385, 741). Вообще, из дел Тайной канцелярии видно, что А.И. Остерман был большой специалист не только по внешней политике, но и в сыском деле: он составлял «вопросные пункты», давал советы государыне по конкретным политическим делам, писал доклады и проекты приговоров политическим преступникам.

Вынесенное в Кабинете решение передавалось в сыское ведомство. Точнее, вернувшись из дворца в Петропавловскую крепость, Ушаков приказывал секретарю записать в протоколе канцелярии: «По указу Ея и.в. в Кабинете Ея и.в. присутствующие господа министры, по слушании экстракта со объявлением Тайной канцелярии определения, приказали... (далее шел сам приговор. — Е. А.) И по вышеписанному в Кабинете Ея и.в. определению вышеозначенному (имярек. — Е. А.) жестокое наказание кнутом учинено» (52, 86 об.). В случаях важных, подобных делу Столетова, решение Кабинета министров представляли государыне, и она подписывала подготовленную заранее резолюцию: «Столетова казнить смертию, Белосельского послать немедленно за караулом на вечное житье... Анна» (659, 10). А затем уже все это решение облекалось в высокопарные и туманные слова манифеста, предназначенного для публикации: «Он[ый] Столетов... не токмо б от таких злодейственных своих поступков воздержания в себе имел, но еще великие, изменнические, злодейственные замыслы в мысли своей содержал и некоторые скрытные речи дерзнул другим произносить и грозить, також и в прочих преступлении[ях] явился, как о том по делу явно, в чем он сам, Столетов,

с розысков вину, того ради, по указу Е.и.в., по силе государственных прав, велено оногo Столетова казнить смертью — отсечь голову» (659, 26).

Однако не все приговоры по политическим делам оформлялись как решения исполнительных учреждений. XVIII век знает и специальные временные судебные комиссии («Генеральные комиссии») или «Генеральные суды», которые выносили приговоры, или, точнее сказать, подносили на окончательное усмотрение государя проект приговора. Образовывали их на время рассмотрения одного дела, состав определялся государем. В «досенатские времена» (до 1711 г.) такие комиссии, по традиции тех лет, назывались одним словом — «бояре». Костяк их составляли члены Боярской думы и другие высшие должностные лица, которых назначал сам царь. В марте 1697 г. «бояре» в присутствии Петра I вынесли приговор Соковнину, Цыклеру и их сообщникам. Также они решали и судьбу многих других колодников Преображенского приказа (212, 99–100, 144).

Позже временные комиссии (суды) формировались на основе Сената, образованного в 1711 г. Нередко к сенаторам, по указу государя, присоединялись члены Синода, высшие чиновники, придворные и военные (в том числе и гвардейские офицеры). Судьбу П.П. Шафирова в 1723 г. решала комиссия-суд, составленный из «господ сенаторов, генералитета, штап- и обер-афицеров от гвардии» (10 человек). После этого на приговоре комиссии о разжаловании и смертной казни Шафирова Петр I написал: «Учинить все по сему кроме действител[ь]ной смерти, но сослать на Лену» (677, 169–171). После расследования осенью 1724 г. дела камергера Монса назначенный царем и состоящий из сенаторов и офицеров гвардии суд приговорил Монса к смертной казни. Приговор заканчивался традиционной фразой, которая означала, что вынесенный приговор является, в сущности, только его проектом: «Однако нижеподписавшихся приговор предается в милостивое рассуждение Его и.в.». Царь одобрил решение суда и на полях документа написал: «Учинить по приговору» — и в тот же день, уже сам, не дожидаясь приговора суда по делам сообщников Монса и не уточняя конкретной вины каждого из них, указал: «Матрену Балкшу — бить кнутом и сослать в Тобольск. Столетова — бить кнутом и сослать в Рогервик на десять лет...» — и т.д. При этом среди приговоренных царем к наказанию было четверо, которых даже не допрашивали (664, 212–213).

Предварительные решения в отношении А.В. Кикина и других участников дела царевича Алексея в Москве весной 1718 г. выносил Сенат и так называемые «министры», заседавшие на Генеральном дворе в Преображенском. Состав судебной комиссии определялся произвольно царем из сена-

торов, высших военных, чиновников и офицеров гвардии (752, 178, 191–201, 218; см. 677, 204). Самым большим из подобных смешанных судов временного типа (на срок рассмотрения дела) учреждений стал суд по делу самого царевича Алексея Петровича летом 1718 г. 13 июня 1718 г. Петр I обратился с указом к высшим чинам государства («любезноверным господам министрам, Сенату и стану воинскому и гражданскому»), в котором назначал их судьями своего сына (752, 516). По воле царя в суд вошло 128 человек, фактически вся тогдашняя чиновная верхушка. Многие факты позволяют усомниться в компетентности и объективности этого суда, да и других подобных судов, заседавших по делам политических преступников весь XVIII век. Из приговора 24 июня 1718 г., вынесенного судом по делу царевича, следует, что суд собирался всего лишь несколько раз (в приговоре указано довольно неопределенно — «по ни-коликратном собрании»).

Из приговора видно, что суд не рассматривал материалов дела и не вел допросов многих обвиняемых и свидетелей по делу царевича. В распоряжении суда были только материалы переписки Петра с сыном, а об остальных документах в приговоре сказано глухо: «И прочих во освидетельствование того дела принадлежащих и розыскных актов или записок и повинных его, царевичевых, собственноручных писем, и изусных как государю, отцу своему, так и пред нами, яко учрежденными по Его величества изволению судьями». В последнем случае речь идет о кратком допросе перед судьями самого царевича 17 июня 1718 г. Сохранились ответы подсудимого на вопросы суда. Они написаны рукой начальника Тайной канцелярии П.А. Толстого (752, 264).

Как судьи выносили приговор, мы не знаем. Об этом в тексте документа сказано невразумительно: «По предшествующим (поданным, предъявленным? — Е. А.) голосам единогласно и без всякого прекословия согласились, и приговорили, что он, царевич Алексей, за вышеобъявленные все вины свои и преступления главные против государя и отца своего, яко сын и подданный Его величества, достоин смерти» (752, 529–536). Известно, что Петр I был сторонник коллегиальных методов решения дел посредством тайного голосования. Так рассматривали различные дела в Сенате, на этом строилась вся работа коллегий, путем «балатирования» назначались на вакантные места генералы, офицеры, высшие чиновники. Сама процедура тайного голосования была подробно расписана в регламентах, а результаты подсчета голосов тщательно отмечали в особом протоколе. Ни о чем подобном в деле царевича Алексея не упоминается, что позволяет усомниться в том, что приговор суда явился результатом голосования, тем более — тайного. Приговор не был окончательным: «Хотя сей приговор мы, яко рабы и подданные... объявля-

ем... подвергая, впрочем, сей наш приговор и осуждение в самодержавную власть, волю и милосердное рассмотрение Его ц.в. всемилостивейшего нашего монарха» (752, 536).

Мы не знаем, что испытывали люди, включенные в состав такого суда. Все они, лишенные Петром I права выбора, безропотно подписались под смертным приговором наследнику престола. Возможно, что многими руководил страх. П.В. Долгоруков передает рассказ внука одного из судей по делу А.П. Волынского в 1740 г., Александра Нарышкина, который вместе с другими назначенными императрицей Анной судьями приговорил кабинет-министра к смертной казни. Нарышкин сел после суда в экипаж и тут же потерял сознание, а «ночью бредил и кричал, что он изверг, что он приговорил невинных, приговорил своего брата». Нарышкин приходился Волынскому зятем. Когда позже спросили другого члена суда над Волынским Шипова, не было ли ему слишком тяжело, когда он подписывал приговор 20 июня 1740 г., — «Разумеется, было тяжело, — отвечал он, — мы отлично знали, что они все невиновны, но что поделать? Лучше подписать, чем самому быть посаженным на кол или четвертованным» (274, 170).

Сходными с судом над царевичем Алексеем были и суды над политическими преступниками в послепетровский период. Правда, они работали, как правило, с меньшим составом участников. В деле государственных преступников П.А. Толстого, А.М. Девьера и других специально созданная под руководством Г.И. Головкина судебная комиссия должна была, согласно указу Екатерины I, спешно, в течение дня и ночи 5—6 мая 1727 г., подготовить приговор-«сентенцию» и доложить ее императрице. Судей при этом торопили: «А буде что еще из оных же (эпизодов. — *Е. А.*), которые уже приличились следованием, не окончено, и то за краткостью времени, оставить», т.е. можно было не доводить расследование до конца (см. 717, 191—197, 126). Собранные в 1731 г. для подобной же цели «министры и генералитет» так же быстро осудили фельд-маршала кн. В.В. Долгорукого и еще нескольких его сообщников. Делом князя Д.М. Голицына занимался в 1736—1737 гг. «Вышний суд» из сенаторов и кабинет-министров (587-10, 7151). Дело Долгоруких в 1739 г. рассматривало «Генеральное собрание ко учинению надлежащего приговора». Состав его, как и проект самого приговора, заранее был определен в докладе Остермана и Ушакова на имя Анны Ивановны. В приложенном к докладу «Реестре, кому в собрании быть» сказано кратко: «Кабинетным министры. Трое первые синодальные члены. Сенаторы все». Однако кроме трех кабинет-министров (кн. А.М. Черкасского, Остермана и А.П. Волынского), церковных иерархов, сенаторов в «Генеральное собрание» были включены обер-шталмейстер, гофмар-

шал, четыре майора гвардии, фельдмаршал кн. И. Ю. Трубецкой, три генерала, а также восемь чиновников из разных коллегий (385, 743).

Высочайший указ о созыве этого собрания от 21 октября 1739 г. не оставлял сомнения в том, каким будет приговор и когда его нужно подготовить: «Понеже по следствию князь Иван Алексеев сын, князь Василий Лукин сын, князь Сергей и князь Иван Григорьевы дети Долгорукие, забыв страшный и неизбежный суд Божий и, презря присягу свою, в государственных безбожных тяжких преступлениях и злодейских воровских замыслах, и намерениях явно обличены, и сами в том винулись... о которых оных Долгоруких важных винах и преступлениях из имеющегося в нашей Тайной канцелярии о них дела, учинено обстоятельное изображение, того ради, для суда оных Долгоруких в таких их тяжких винах, как по божеским, так и по государственным нашим правам, указали мы учредить Генеральное собрание, состоящее из персон, в приложенном при сем реестре означенных и оному Генеральному собранию вышеобъявленное в Тайной нашей канцелярии об их, Долгоруких, тяжких преступлениях, учиненное обстоятельное изображение для решения и учинения приговора сообщить. И для того, тому от нас учрежденному Генеральному собранию всемилостивейше повелеваем, чтоб для сего дела, сего октября 31-го дня, в сенатские апартаменты собрались и, по выслушивании того изображения и совестном в тех преступлениях рассуждении, учинить генеральный приговор» (385, 742—743; 592-10, 7942).

Примерно такое же собрание позже судило одного из судей Долгоруких — А. П. Вольнского. 6 июня 1740 г. в Тайную канцелярию поступил указ императрицы Анны: «Более розысков не производить, но из того, что открыто, сделать обстоятельное изображение и доложить». К 16 июня «обстоятельное изображение» — экстракт дела — было подготовлено сыском и передано императрице. 19 июня по именному указу созвали суд, состоящий из сенаторов, тайных советников, генералов, майоров гвардии (всего около 20 человек). Позже под приговором подписались еще четверо сановников, которые в объявленном составе суда не числились и в нем не заседали. Примечательно, что секретарем суда назначили ассессора Тайной канцелярии Петра Хрущева. На следующий день, 20 июня 1740 г., суд, рассмотрев экстракт дела, вынес преступникам смертный приговор, одобренный императрицей (304, 160—162).

20 января 1741 г., после завершения допросов А. П. Бестужева-Рюмина, сообщника свергнутого регента Бирона, появился указ правительницы Анны Леопольдовны председателю ведущей расследование «Генералитетской комиссии» Г. П. Чернышову. Ему поручалось составить «Обстоятельный экстракт» о Бестужеве, явившемся «в зело тяжких преступлениях и винах и злых и вре-

дительных намерениях». Этот документ следовало доставить в Сенат и там, «учиня заседание... судить его, Бестужева-Рюмина во всем том по силе наших прав и указов и подписав сентенцию для высочайшей конфирмации, подать нам немедленно». В данном случае в роли суда выступил Сенат (462, 202–203).

Как судили самого Бирона, не совсем ясно. Из указа Анны Леопольдовны тому же Чернышову от 5 апреля 1741 г. видно, что следственная комиссия по его делу была попросту преобразована в суд: «Повелеваем нашей учрежденной Комиссии в тех его преступлениях судить по нашим государственным правам и чему будет достоин подписать сентенцию, подать нам на апробацию» (462, 209). Шесть назначенных правительницей генералов и двое тайных советников без долгих проволочек приговорили Бирона к четвертованию. Правительница заменила бывшему регенту казнь ссылкой в Сибирь (248, 39).

Вступление на русский престол императрицы Елизаветы в ноябре 1741 г. привело к опале А. И. Остермана, Б. Х. Миниха, М. Г. Головкина, а также других вельмож, правивших страной при Анне Леопольдовне и ведавших судом над Бироном. Созданная по указу новой императрицы следственная комиссия провела допросы опальных вельмож и подготовила экстракты из их дел. Затем 13 января 1742 г. последовал императорский указ Сенату, в котором сказано, что по расследованию комиссии «некоторые явились во многих важных, а особливо против собственной нашей персоны и общего государства покоя, преступлениях». Поэтому дела их передаются в назначенный государыней суд. В него вошли сенаторы и еще 22 сановника. Они, согласно указу, должны были преступников «по государственным правам и указам судить и чему кто из них, за их важнейшия и прочия преступления надлежит — заключить сентенцию и подписав оную, для высочайшей нашей конфирмации, подать нам, и нашему Сенату повелеваем учинить по сему нашему указу. Елизавет». В том же указе сказано, что сентенцию-приговор нужно составить по экстрактам дел преступников (см. 354, 222–23). Здесь проявилась характерная для подобных судов черта: подлинные дела преступников суду были недоступны, суд был заочным и формальным.

Приговор по делу Лопухиных вынес «Генеральный суд», образованный по указу Елизаветы 18 августа 1743 г. В указе говорится, что «оному собранию повелеваем то дело немедленно рассмотреть и что кому по правам учинить надлежит, подписав свое мнение для нашей обрабации нам подать, а кому в том суде присутствовать, прилагается при сем реестр. Елисавет». В реестре упомянуты три члена Синода, все сенаторы во главе с генерал-прокурором, ряд высших воинских и гражданских чиновников и четыре майора гвардии (660, 40–41). Любопытно, что при окончательном подписании «сен-

тенции» кроме судей под приговором поставили свои подписи следователи из созданной по делу Лопухина «Особой комиссии» — Н.Ю. Трубецкой и А.И. Ушаков, хотя они в реестре членов суда не названы. Вообще, оба деятеля оказались незаменимы как члены судов над другими преступниками первой половины XVIII в., начиная с царевича Алексея. Члены суда знакомились с делом Лопухина и других только по экстракту из сыска, и в нем (кстати, вопреки данным следствия) было написано, что все преступники во всех своих преступлениях покаялись. Заседание началось утром 19 августа 1743 г. чтением экстракта дела князем Трубецким, а уже после обеда судьи подписали заранее приготовленный приговор — «сентенцию». «Генеральный суд» приговорил всех подсудимых к смерти. Суд был заочным, да и не полным, — под приговором стоит лишь 19 подписей (660, 40–42).

Такой же суд был устроен по делу Гурьевых и Хрущева в 1762 г. В указе Екатерины II о состоявшемся процессе сказано: преступников, «яко оскорбителей величества нашего и возмутителей всенародного покоя», надлежало казнить и «без суда» (само по себе это любопытное признание. — Е. А.), но «человеколюбивое наше сердце не допустило сделать вдруг такого, столь строгого, сколь справедливого приговору. И так отдали мы сих государственных злодеев нашему Сенату со всеми собранными президентами на осуждение, рекомендовав им при том иметь правилом матернее наше ко всем милосердие. Со всем тем помянутые злодеи не избавились и тут от смертной казни, но присуждены к оной по своим ненавистным, богомерзким преступлениям» (529а-1, 75–76). Суд приговорил-таки преступников к смертной казни, но императрица смягчила наказание, освободила от смерти.

В 1764 г. Екатерина передала В.Я. Мировича в руки сенаторов, которым надлежало рассмотреть его дело, «купно с Синодом, призвав первых трех классов персон с президентами всех коллегий». «Производитель всего следствия» генерал-поручик Веймарн представил свой доклад-экстракт, из которого изъяты многие важные факты из подлинных материалов следствия (662, 499–500; 410, 273). Суд над Мировичем примечателен тем, что впервые после дела Алексея 1718 г. преступник лично предстал перед судьями, что впоследствии породило фольклорные рассказы о весьма смелых ответах Мировича своим судьям. Кроме того, некоторые члены суда выразили сомнение в законности убийства охранниками Ивана Антоновича. Действительно, такие вопросы могли возникнуть, т.к. от суда скрыли содержание инструкции императрицы охране экс-императора. В ней закреплено право умертвить узника при попытке кем-либо его освободить. Немудрено, что некоторым членам суда убийство бывшего императора показалось возмутительным самоуправством охранников (410, 274; 155, 295–297). Другая особенность суда 1764 г. в

том, что суду по политическим преступлениям впервые не подкладывали на стол подготовленный в сыском ведомстве готовый приговор. Для его написания (на основе представленных Веймарном документов и выписок из Священного Писания) трое судей образовали комиссию, которая и представила вскоре проект приговора (154-2, 355).

Принципы суда над Мировичем (см. подробнее 587-16, 12228) были скопированы и несколько усложнены в 1774 г., когда судили Емельяна Пугачева. Он назывался «Полным собранием» (другие названия: «Собрание», «Комиссия») и заседал два дня (30—31 декабря 1774 г.). В состав Собрания входили сенаторы, члены Синода, «первых 3-х классов особ и президентов коллегий, находящиеся в... Москве». Этому Собранию предстояло в помещении Тайной экспедиции заслушать доклад следователей генералов кн. Волконского и Павла Потемкина и затем «учинить в силу государственных законов определение и решительную сентенцию по всем ими содеянным преступлениям противу империи» (587-19, 14230; 684-7, 138—139). Собранию предписывалось заседать недолго и составить приговор — «решительную сентенцию», которую затем послали в Петербург на утверждение («конфирмацию») самодержице. Для составления текста самого приговора из числа судей была назначена комиссия. Совершенно точно известно, что документы самого дела Пугачева и его сообщников суду из Тайной экспедиции не выдавали. Волконский прочитал лишь экстракт, там подготовленный, а потом по его тексту, вместе с Потемкиным, дал судьям лишь необходимые пояснения (196, 183—184). Экстракт же составили по принятой и описанной в начале главы бюрократической технологии, но даже и его полностью не зачитали. Дело в том, что предварительно с экстрактом ознакомилась императрица, которая карандашом пометила несколько мест из показаний Пугачева «для того, чтобы их в собрании не читать» (684-6, 141).

В таком сокращенном виде экстракт был заслушан судом 30 декабря, и после этого генерал-прокурор Вяземский, игравший роль дирижера всего процесса, предложил судьям два вопроса: 1-й. Представлять ли перед собранием Пугачева, чтобы он подтвердил: «Тот ли он самый, и содержание допросов точная ли его слова заключают, также не имеет ли сверх написанного чего объявить?» Одновременно, нужно ли посылать выбранную судом из его членов депутацию в тюрьму, чтобы удостовериться в подлинности показаний и других преступников, проходящих по этому делу? 2-й. «Для сочинения сентенции надлежит сделать приготовления и выписки из законов?» На оба вопроса судьи дали положительный ответ, и на следующий день Пугачева привезли в Кремль.



Пугачев в клетке для доставки его в Москву после ареста

Допрос Пугачева перед судом был ограничен шестью составленными заранее вопросами. Их, перед тем как ввести преступника в зал, зачитал судьям сам Вяземский. Целью этого допроса была не организация судебного расследования, не уяснение каких-то неясных моментов дела, а только стремление власти убедить судей, что перед ними тот самый Пугачев, простой казак, беглый колодник, самозванец, и что на следствии он показал всю правду и теперь раскаивается в совершенных им преступлениях («1. Ты ли Зимовейской станицы беглой донской казак Емелька Иванов сын Пугачев? 2. Ты ли, по побегу с Дону, шатаясь по разным местам, был на Яике и сначала подговаривал яицких казаков к побегу на Кубань, потом назвал себя покойным государем Петром Федоровичем?» — и т.д. — 684-6, 143).

После утверждения судом этих вопросов ввели Пугачева, который, как записано в журнале судебного заседания, упав на колени, «на помянутыя вопросы, читанные ему господином генерал-прокурором и кавалером, во всем признался, объявля, что сверх показанного в допросах ничего объявить

не имеет, сказав наконец: «Каюсь Богу, всемилостивейшей государыне и всему роду христианскому». Собрание оное приказало записать в журнал» (684-6, 144). Кроме того, от Собрания была «отряжена... депутация» из четырех человек к сообщникам Пугачева, «дабы, увещевая сих преступников и злодеев, равно спросили, не имеют ли они еще чего показать и, чистое ль покаяние принося, объявили все свои злодеяния». Вернувшись, депутация «донесла, что все преступники и способники злодейские признавались во всем, что по делу в следствии означено и утвердились на прежних показаниях» (196, 188; 522, 158).

На этом судебное расследование крупнейшего в истории России XVIII в. мятежа, приведшего к гибели десятков тысяч людей, закончилось. «Сие соверша, — сказано в приговоре — «решительной сентенции», — уполномоченное собрание приступив к положению (т.е. составлению. — Е. А.) сентенции, слушало вначале выбранные из Священного писания приличные к тому законы и потом гражданских законов положения». О подготовке этих выписок позаботился А.А. Вяземский утром 30 декабря 1774 г. (196, 199).

Тогда же, «по выводе злодея» из зала заседания, Вяземский предложил Собранию не только подготовленные выписки из законов, но и «сочиненной... Потемкиным краткий экстракт о винах злодея Пугачева и его сообщников, дабы, прослушав оные, к постановлению сентенции... решиться можно было». Указ Екатерины о составлении «Краткого экстракта» был дан Потемкину не позже 20 декабря (684-6, 144, 140). И все же следует отметить, что «решительная сентенция», в отличие от подобных ей приговоров предшествующих царствований, не была целиком готова до суда и не была лишь подписана присутствующими судьями. Екатерина II, контролируя подготовку процесса, дозируя информацию для судей, все же дала суду определенную свободу действий, взяв за образец процесс Мировича 1764 г., о чем и писала Вяземскому (684-9, 140). Но Вяземский не допустил свободных вопросов судей Пугачеву, как это было в деле Мировича, и для этого заставил их, перед самым приводом «злодея», утвердить заготовленные им вопросы для Пугачева. И тем не менее дискуссия на суде разгорелась. Она коснулась меры наказания преступника и поставила Вяземского в довольно трудное положение.

Как известно, русское дворянство было потрясено пугачевщиной, обеспокоено последствиями бунта, опасалось за сохранение крепостного права, а поэтому требовало примерной жестокой казни бунтовщиков. У Екатерины II в конце 1774 г. были все юридические основания и силы казнить тысячи мятежников, как это в свое время сделал Петр I, уничтожив фактически всех участников стрелецкого бунта 1698 г. и выслав из Москвы тысячи их родственников. И тем не менее Екатерина II не пошла на такую демонстратив-

ную жестокость. Она дорожила общественным мнением Европы. «Европа подумает, — писала она относительно жестоких казней Якову Сиверсу в декабре 1773 г., — что мы еще живем во временах Иоанна Васильевича» (169, 230). И хотя в охваченных бунтом губерниях (без особой огласки) с пугачевцами расправлялись весьма сурово, устраивать в столице средневековую казнь с колесованием и четвертованием императрица не хотела.

Конечно, дело было не только в нежелании Екатерины казнями огорчать Европу. Она считала, что жестокость вообще не приносит пользы и мира обществу, поэтому нужно ограничиться минимумом насилия. В переписке с Вяземским императрица наметила «контуры» будущего приговора: «При экзекуциях чтоб никакого мучительства отнюдь не было и чтоб не более трех или четырех человек», т.е. речь шла о более гуманных казнях, да и то только для нескольких человек. Еще не зная о вынесенном в Кремле решении, она писала 1 января 1775 г. М.Н. Волконскому: «Пожалуй, помогайте всем внушить умеренность как в числе, так и в казни преступников. Не должно быть лихим для того, что с варварами дело имеем» (684-9, 140, 145).

Между тем судьи, высшие сановники и дворянство исходили из иного принципа: «чтоб другим неповадно было». Зная об этих кровожадных настроениях в Москве, Вяземский писал: «Слышу я от верных людей, что при рассуждениях о окончании пугачевского дела желается многими, и из людей нарочитых, не только большей жестокости, но чтоб и число немало было». На этом настаивал генерал П.И. Панин. Он был карателем мятежников, состоял членом суда над Пугачевым, отличался независимостью поведения и пользовался большим авторитетом в столице.

В случае, если суд пойдет на ужесточение наказания, А.А. Вяземский предполагал прибегнуть к «модерации», т.е. к затяжке с вынесением приговора. Именно для того, чтобы не распалить судей, он и не дал им возможности устроить полноценный судебный допрос Пугачева. И все же избежать дискуссии в суде не удалось. 31 декабря Вяземский сообщал Екатерине, что «при положении казни Пугачеву согласились было сначала одного только четвертовать, но как после, рассуждая о вине Перфильева и найдя оную важную, положили тоже, и настояли в том, упорно говоря, со мною некоторые, что и о Белобородове (сподвижник Пугачева И.Н. Белобородов был казнен ранее, 5 сентября. — *Е. А.*) в народе отзывались, что оной казнен весьма легкою казнию, то потому хотели Пугачева живова колесовать, дабы тем отличить его от прочих. Но я принужден с ними объясниться и, наконец, согласил остаться на прежнем положении, только для отличения от протчих части [тела] положить на колеса, которые до прибытия Вашего величества (в Москву. — *Е. А.*) сожены быть могут» (684-9, 145).

Вяземскому не удалось буквально выполнить указ Екатерины. Вместо трех-четырех приговоренных к смерти суд назвал шестерых, при этом двоих из них — Пугачева и Перфильева — суд обрек на четвертование. Екатерине пришлось одобрить «решительную сентенцию» без изменений. И все-таки Вяземский сумел исполнить негласный указ императрицы о смягчении наказания. Он исключил из числа приговоренных к смерти Канзафара Усаева и во время казни остальных приговоренных обманул суд и публику, собравшуюся на Болоте, о чем будет сказано ниже.

Любопытно, что суд из высших должностных лиц, получив некоторую свободу при выборе средств наказания, использовал ее только для ужесточения этого наказания. Государственная безопасность понималась судьями не с точки зрения государственного деятеля, стоящего над сословиями, классами, «состояниями», думающего о восстановлении в стране гражданского мира, а только с узкокорпоративных позиций дворянства, полного мстительного желания примерно наказать взбунтовавшихся «хамов». Екатерина же была как раз дальновидным государственным деятелем, она была сторонницей минимума жестокостей при казни предводителей мятежа. Более того, императрица сделала выводы из пугачевщины, продолжила свои реформы и сумела ослабить социальную напряженность. Это привело к стабилизации положения в стране и подъему экономики, упрочению внутреннего порядка.

Дело А. Н. Радищева 1790 г. уникально в истории политического сыска XVIII в. тем, что показывает, как работал его механизм, когда он оказывался «сцеплен» с публично-правовым институтом состязательного суда. Как известно, Екатерина II, услыша о выходе скандальной книги Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», приказала найти ее, прочитала, сделала многочисленные замечания по тексту книги, которые передала С. И. Шешковскому. Тот, исходя из пометок императрицы на полях книги, составил вопросы для арестованного автора. 13 июля 1790 г. императрица послала главнокомандующему Петербурга графу Я. А. Брюсу указ, в котором охарактеризовала книгу как «наполненная самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное к властям уважение, стремящимися к тому, чтоб произвести в народе негодование противу начальников и начальства и, наконец, оскорбительными и неистовыми изращениями противу сана и власти царской». Екатерина написала Брюсу: «такое... преступление повелеваем рассмотреть и судить законным порядком в Палате уголовного суда Санкт-Петербургской губернии, где, заключа приговор, взнести оный в Сенат наш» (130, 217).

Так впервые за всю русскую историю дело о политическом преступлении было передано в общий уголовный суд для рассмотрения в законном

судебном порядке. Дело было возбуждено по воле самодержицы, преступление состояло в публикации литературного произведения, его продажа рассматривалась как распространение материалов, наносивших ущерб государству и самодержавной власти, т.е. существующему строю. 15 июля Брюс направил в Палату уголовного суда особое «предложение», в котором предлагал книгу «господам заседающим и прочесть, не впуская во время чтения в присутствие канцелярских служителей, и по прочтении помянутого Радищева о подлежащем спросить». Весь процесс тщательно режиссировался. 16 июля Шешковский срочно направил Брюсу копию составленного ночью Радишевым чистосердечного раскаяния, которое, как пишет Шешковский, «иного не содержит, как он описал гнусность своего сочинения и кое он сам мерзит (презирает. — *Е. А.*)» (130, 197–198).

Тем самым Шешковский давал Брюсу знать, что преступник уже вполне подготовлен к процессу и сможет на нем подтвердить все, что от него потребуется. Любопытно, что Тайная экспедиция никак не проявила себя на процессе и составленное ею дело Радищева на суде так и не появилось на свет, а важнейшая цель всякого судебного разбирательства — установление факта совершения преступления — оказалась грубо проигнорирована. Сценарий процесса был таков: «Палата уголовного суда призовет его и спросит... (далее следуют утвержденные вопросы. — *Е. А.*). По таковом допросе не трудно будет Палате положить свой приговор на точных словах законов основанный и оный, объявя при открытых дверях, взнестъ на рассмотрение в Сенат». Из протоколов суда видно, что вопросы к Радишеву были самые обобщенные и были типичны скорее не для суда, а именно для политического сыска XVII—XVIII вв. Статс-секретарь А.А. Безбородко, направлявший по воле государыни процесс, считал, что материалы Тайной экспедиции о Радишеве не должны были фигурировать в судебном процессе, ибо «допросы келейные ему учинены быть долженствовали из предосторожности, какие у него скрывались умыслы и не далеко ли они произведены». Иначе говоря, Безбородко считал, что допросы Радищева в сыске касались подозрений в заговоре и его намерений, а поэтому их надлежало окружать государственной тайной. Эти темы, по мнению статс-секретаря, не относятся к компетенции публичного суда, задача которого проста: «Видя его преступление, удостоверятся в нем новым его признанием и имеет прямые законы на осуждение его» (130, 196–197).

Материалы процесса свидетельствуют, что суд велся с нарушением принятого процессуального права, судьи проигнорировали многие важные вопросы, не вызвали свидетелей, без которых установить состав преступления Радищева было невозможно. Но все эти странности легко объяснимы, так как помимо дела в суде сохранилось дело Радищева, которое велось в Тайной экспедиции, а также переписка по этому поводу высших должнос-



А.Н. Радищев

тных лиц империи. Суть в том, что судебное расследование, в сущности, им было не нужно, еще до начала суда большинство важных эпизодов дела выяснил политический сыск. Суд старательно обходил именно те эпизоды, которые были полностью расследованы в ведомстве Шешковского и которые вполне уличали Радищева в распространении книги. Думаю, что какие-то указания о том, что спрашивать, а о чем молчать, судьи получили заранее. Если бы мы не знали материалов политического сыска, то у нас вызвал бы много вопросов и сам приговор, отличавшийся недоговоренностью и юридической некорректностью определения состава преступления Радищева, которого судили за распространение анонимной книги. Неоднократно исправленный приговор был утвержден Сенатом, потом Советом при высочайшем дворе. Радищев был приговорен к смертной казни, замененной императрицей ссылкой «в Сибирь в Илимский острог на десятилетнее безысходное пребывание» (130, 300–301; 285).

В принципе этот указ о ссылке Радищева мог появиться и без всякого процесса — мы знаем, каким образом решались раньше дела об «оскорбле-

нии чести Ея и.в.». Но в конце XVIII в. в екатерининской России просто приговорить к смерти подданного и дворянина, попавшего по какой-то причине в опалу, стало трудно. Основы сословного и правового государства, которое строила Екатерина II, входили в явное противоречие с исконным проявлением самодержавной воли, остававшейся, как и сто лет назад, ничем не ограниченной и абсолютно защищенной от критики. Поэтому и потребовалась процедура явно фиктивного, но все-таки суда.

Надо полагать, что опыт суда над Радишевым оказался удачным, и когда в 1792 г. началось дело Новикова, то решили так же провести его через судебный процесс. Это видно из переписки Екатерины II с главнокомандующим Москвы кн. А.А. Прозоровским, в которой императрица требовала от него организовать судебный процесс над Новиковым. Однако вскоре императрица поняла, что дело Новикова более сложно, чем дело Радищева. Новиков на допросах вел себя «изворотливо» и защищался умело. Кроме того, обвинение в принадлежности к масонству, которое не запрещали до этого, могли предъявить многим людям высшего света. К тому же Екатерина видела, что сам «координатор» процесса не так умен и проворен, как Брюс или Безбородко. Короче, императрица поняла, что процесс может завершиться большим скандалом и превратить власть в посмешище. 1 августа 1792 г. появился именной указ: Новикова предписали «запереть» на 15 лет в Шлиссельбургскую крепость «по силе законов» (497, 477). Резолюцию «по силе законов» часто использовал Петр Великий, когда затруднялся в указании конкретной статьи, по которой осуждал преступника. Позже, 18 июля 1793 г., Екатерина наложила еще на одно дело (прожектера Федора Кречетова) сходную с петровской резолюцию: «Запереть в здешней крепости до высочайшего указа» (401, 60). Так императрица привычно свернула на проторенную дорожку бессудных решений и поступила, как ей позволяла традиция и закон, — вынесла приговор-резолюцию только на основании материалов политического сыска.

Таким образом, даже управляемый и ограниченный в своих возможностях в отправлении правосудия суд над Радишевым оказался единственным исключением в непрерывной череде бессудных расправ с политическими преступниками. Как и само самодержавие, система политического сыска находилась вне правового поля, за рамками судебной реформы Петра I. Самодержец, а по его поручению учреждения политического сыска или их руководители одновременно возбуждали дела, вели расследование, в составе назначенных временных судов-комиссий выносили приговоры и сами приводили их в исполнение. Как это происходило, рассмотрим ниже.

Глава 9

Приговор

Из приведенных выше материалов о вынесении приговора государственно-му преступнику становится ясно, что когда его судьбу решала резолюция государя на экстракте из дела, докладе, «докладном колодничьем списке», то это и было подлинным приговором. Выше уже сказано о резолюции Петра I по поводу Левина («На Пензе»). Таких резолюций-приговоров сохранилось немало. По делу о ссылке учителя царевича Алексея Н.К. Вяземского Петр начертал «К Городу», что означало ссылку в Архангельск (752, 201, 220), а по делу Александра Яковлева был столь же краток: «В Сибирь» (775, 438). Затем подобную письменную (а нередко и устную) резолюцию царя оформляли в виде приговора. Он зачитывался преступнику, оглашался на месте казни, становился, если это считалось нужным, основой манифеста-указа для всеобщего сведения.

Характерной чертой политических процессов того времени было вынесение приговоров (даже к смертной казни) некоторым участникам процесса еще до полного окончания следствия по делу. Так было в Стрелецком розыске 1698 г., который не представлял собой единого процесса, так происходило многократно и потом. Особенно интересен в этом смысле процесс по делу царевича Алексея, который распался в 1718 г. на три основных розыска: Кикинский розыск, розыск царевича и Суздальский розыск. Приговоры к казни по Кикинскому и Суздальскому розыскам были вынесены еще в феврале 1718 г., а по делу царевича — в конце июня, причем очевидно, что казни февраля 1718 г. уничтожали многих свидетелей по делу царевича. Позже, в 1736 г. приговор по делу Столетова сам преступник узнал 12 июля, а наказанный по этому же делу камер-фурьер Сухачев был, наверное, уже в Сибири — приговор ему зачитали 28 февраля (659, 18). Поспешные приговоры до окончания всего расследования приводили и к тому, что уже наказанных и сосланных преступников нередко вновь привозили из тюрем и Сибири на доследование по старому делу, заново судили и даже казнили (580, 6—7; 486, 287—289; 304, 167).

Теперь рассмотрим правовой аспект вынесения приговора политическому преступнику. Во-первых, для права того времени характерна множественность наказаний за одни и те же преступления при огромном выборе видов наказания — от мучительной смерти до небольшого денежного штрафа. Считалось нормой, что к одному преступлению применяется совокупность разнообразных наказаний: позорящих (шельмование, клеймение), калечащих (вырывание ноздрей, отсечение членов), болевых (кнут, батоги), а также разные виды лишения свободы, ссылки и конфискации имущества. Закон допускал и такую комбинацию: шельмовав (опозорив) преступника, запятнав его клеймом (или вырвав ноздри), палач, наконец, отрубал ему голову.

Во-вторых, примечательна нечеткость в определении тяжести вины конкретного преступника и соответствующего ей наказания. В указах степень вины определялась весьма расплывчатыми, с нашей точки зрения, критериями: «Которые тати и разбойники в средних и в малых винах, запятнав и бив кнутом, давати на чистые поруки з записьми. А иных в средних винах, запятнав, ссылати в Сибирь». Различие «малой вины» от «средней» проводится в этом указе достаточно определено: «А малая вина: разбой один или татьба одна или татьбы две небольшие, а убивства и пожегу не было. А середняя вина: разбой два или татьбы три небольшие, а пожегу и убивства не было ж» (538-5, 223—224).

Но из этого указа, как и из других, неясно, как же все-таки судья различал (по степени тяжести) два преступления «средней вины», ведь мы видим, что в одних случаях преступник с «средней виной» мог выйти на свободу, а в «иных», наоборот, мог оказаться в Сибири. Думаю, что судьи того времени в этом не видели никакой проблемы — существовали вполне традиционные, принятые приемы, методы и признаки, которые позволяли судье определять, какая из «средних вин» серьезнее. При этом законодатель полностью полагался на судью, который выносил приговор «по силе дела», т.е. с учетом совокупности всех обстоятельств дела, и ему разрешалось «учинить по рассмотрению своему правому» (538-1, 44; 626-4, 359).

Несомненно, на приговоры в политических процессах нормы общеуголовного процессуального права влияли весьма сильно. Однако сутью политического процесса, как уже не раз отмечалось выше, было не следование принятым в суде принципам, не традиции тогдашнего судопроизводства и не юридическая подготовка судьи, а воля самодержца — именно он оставался единственным и подлинным судьей по государственным преступлениям. Судебник 1550 г. нашел этому явлению исчерпывающую и вполне распространяемую на XVIII век формулу: «А в пене (т.е. в штрафе, наказании. — Е. А.) что государь укажет, посмотря по человеку» (626-2, 107). Такая же фор-



Плаха с топором

мула встречается и в указах конца XVII в. («Смотря по вине и по человеку» — 587-2, 1014), да и в XVIII в. Соответственно этому и устанавливалась тяжесть вины государственного преступника. Сам государь, а чаще выполнявший судебно-сыскное поручение чиновник мог без всяких ссылок на законы написать в приговоре (если он заносился на бумаге), что «Петр Великий... указал: по именному своего величества указу... учинить следующее: Троицкого собору, что в Санкт-Петербурге дьякона Степана Федосеева за непристойные слова, что он говорил, «пустеть-де Санкт-Петербурху», послать его, дьякона, в каторжную работу на три года; иноземца Питера Вилькина, который говорил про Его и.в. непотребные слова, бить батоги нещадно и свободить... Сей Его и.в. именной указ в Канцелярии тайных дел объявил господин генерал-мазюр Ушаков». Да и сам Ушаков, облеченный доверием государя, самостоятельно мог решить судьбу политического преступника: «По Уложению... надлежало было ему учинить смертную казнь, отсечь голову, а по мнению генерала-майора Ушакова смертной казни ему, Корноухову, не чинить... а вместо смертной казни быть ему тамо [в земляной тюрьме] неисходно». Так мнение генерала, которое ничем не обосновывалось, становилось приговором и отменяло норму Уложения (181, 185, 275–276).

Без всякой ссылки на законы государь мог вынести приговор, а потом его отменить и назначить новый. 23 января 1724 г. Петр «изволил читать экстракты по новгородскому делу, по вологодскому и указал... те дела решать по Уложению». И в тот же день без всякого объяснения изменил приговор: «Его величество, будучи там же, указал по имянному своему указу бывшего фискала Санина, хотя приговором и определено отсечь ему голову и оное утверждено собственно Его величества рукою тако: “Учинить по сему”, однако же ево, Санина, колесовать». Не было объяснений ужесточения казни бывшего фискала и в книге приговоров Тайной канцелярии: «И по именному Его и.в. за собственной Его величества рукою генваря 23 дня 1724 году велено учинить ему, Санину, смертную казнь — отсечь голову, а потом повелено ево колесовать и для экзекуции выведен был на площадь». Когда дело дошло до казни, то царь, бывший сам на Троицкой площади, вдруг распорядился отменить четвертование Санина и отослал его снова в крепость (9-3, 107; 9-4, 18 об.).

В конечном счете у самодержца XVIII в. оставалось никем не ограниченное право предков налагать опалы, наказывать и миловать по собственной воле. Очень ярко это право (понимаемое здесь как свобода и возможность действовать, а не как совокупность законодательных норм) видно во многих приговорах преступникам. В 1732 г. императрица Анна Ивановна указала сослать фаворита цесаревны Елизаветы Петровны Алексея Шубина в Сибирь, «в самый отдаленный от Тобольска городской острог, в котором таких арестантов не имеется и велеть там содержать его в самом крепком смотрении, дабы посторонние никто известиться о том не могли». Что же инкриминировано прапорщику Шубину, проведенному в Сибири почти десять лет? В приговоре без ссылок на законы сказано предельно кратко: «Алексея Шубина за всякия лести его указали мы послать в Сибирь» (549, 148). Интересен и указ 1758 г. Елизаветы по делу А.П. Бестужева-Рюмина. Чувствуя приближение опалы, канцлер умело замел следы затеянного им заговора, уничтожил все бумаги. В итоге все обвинения против него повисли в воздухе. Но судьба его была решена уже в самом начале расследования. 27 февраля 1758 г. был опубликован манифест о винах канцлера, в котором было сказано прямо, без особых ухищрений в том смысле, что, уж если вольная в своих решениях самодержица наказывает бывшего канцлера, то есть несомненное свидетельство его вины, да к тому же Бестужев давно на подозрении и раздражал императрицу своим поведением («И подлинно столь основательные причины мы имели уже с давняго времени ему недоверять, паче же поведением его крайне раздраженными быть всегда»). Между тем следствие велось еще полтора месяца и все без толку — Бестужев защищал-

ся прекрасно, а улик против него не было. Наконец, 17 апреля 1758 г. государыня с раздражением потребовала «как наискорее иметь сентенцию». Следователи-судьи тотчас ее и представили, написав, что, во-первых, преступления Бестужева «так ясны и доказательны» и, во-вторых, «дабы не утруждать В.и.в. пространным чтением мерзостных и гнусных непорочной Вашего величества душе дел», Бестужев по «всенародным правам генерально и здешними законами» достоин смертной казни (587-15, 10802; 657, 317).

Из дел сыска мы часто узнаем только то, что многие важные государственные преступники наказаны, как отмечается в приговорах, «за их вины», «за важные вины», «за некоторые важные вины», «за его немало-важные вины», «явился в важных винах». И это все, что мы знаем из приговоров об их преступлении. Так, в приговоре от 7 ноября 1737 г. о наказании художников братьев Ивана и Романа Никитиных сказано: «За вины их, Иван, по учинении наказания плетьюми, а Роман з женою ево сосланы в Сибирь, на житье вечно» (8-2, 124 об., 125; 775, 654). Капрал Фридрих Пленисер, рейтар Андрей Фурман были наказаны в 1735 г. «за некоторую непристойную в словах продерзость», а капитан Мазовский — «за происшедшие от него важные продерзостные слова», о которых мы так и не узнаем (8-5, 126).

И все же «глухота» многих приговоров не снимает научной проблемы классификации тогдашних государственных преступлений и поиска соответствия им в шкале распространенных тогда в праве наказаний. Существовали (особенно если шла речь о рядовых, «неважных», шаблонных делах) определенные и довольно устойчивые принципы, по которым судьи сыска выносили приговоры. Так, правовые нормы не дают никаких градаций «непристойных слов», но между тем различия в наказаниях за произнесение этих слов бросаются в глаза, и они порой оказываются весьма значительными. Правда, здесь возникает одна серьезная источниковедческая проблема, о которой нужно сказать, насколько это позволяют источники и нормы современной этики, подробнее.

Речь идет о том, чтобы попытаться понять, почему за одни произнесенные «непристойные слова» людей отпускают из сыска с выговором и предупреждением, а за другие подвергают пыткам и мучительной казни. Чем определяются «цена» этих слов и соответствующие им наказания? В документах политического сыска мы не встретим делопроизводственного единообразия: в одних случаях «непристойные слова» воспроизводятся, а в других — нет. В экстракте из дела поручика Кондырева (1739 г.) записано практически все, что он сказал, когда за какую-то служебную провинность его пытались заковать в кандалы: «Я ведаю, кто меня кует: сука, курва импе-

патрица!» На допросе Кондырев сначала утверждал, что «сукой» императрицу не называл, а только «курвой», но потом признал, что «может быть что он [государыню] и “сукою” называл, да не помнит» (42-1, 114). Обычно же бранные, нецензурные слова почти никогда «прямо», т.е. буквально, не записывали. Люди опасались повторять на бумаге «непристойное слово», несшее угрозу каждому, кто его произносил или писал. Как записано в протоколе допроса 2 июля 1729 г., некий колодник был «распрашиван секретно, а по роспросу его такого важного дела не явилось, а сказывал другие непристойные слова, которых и записывать неприлично» (181, 248). В 1740-х гг. академик Гольдбах, дешифровавший донесения французского посланника Шетарди, требовал особого указа, который бы разрешал ему безбоязненно записывать встречавшиеся в донесениях «непристойные речи» об Елизавете Петровне (763, 198).

При передаче содержания «непристойных слов» канцеляристы сыска чаще всего прибегали к эвфемизмам различной степени приближения к подлинным словам. В XVII в. писали обобщенно: «Про государя говорит неистовое слово» или «Говорил про государя непригожая речи» (500, 189, 185). В документах XVIII в. уже встречается иная, более открытая и пространная «зашифровка». В приговоре 1727 г. о крестьянине Никите Заботове, который ложно донес на своего помещика, сказано, что, по словам извetchика, помещик якобы государя «бранил матерно прямо» (8-1, 319 об.). Псковский дьякон Данила, согласно доносу на него в 1727 г. попа Васильева, бранил Екатерину I «матерно прямо: мать ее-де так» (8-1, 324). В 1739 г. крестьянка Маланья в ссоре с соседкой сказала об императрице Анне, что «этакую государыню черти делают (выговорила прямо)» (44-1, 93 об.), а матрос Илья Башмаков так выразился о государыне: «Я-де государыню Елизавет Петровну, гребь ее мать (выговоря по-матерны прямо), бранил» — и эти слова привели его на каторгу (8-2, 76).

В некоторых делах «непристойные слова» — матерная брань в ее изначальном, оскорбительном значении — переданы почти буквально. В 1740 г. солдат сказал своему товарищу: «Ты служил у растакой матери, а не у Ея и.в.» (44-16, 232). В 1745 г. высказывание преображенца Петра Чебышева об императрице Елизавете было записано в деле в таком виде: «Сначала ее князь Иван Долгорукий погреб (выговорил по-скверному)...», а другой подследственный, Егор Фелисов, «произнес троекратно слова такия: растакая мать (выговаривая по-соромски прямо)...» (8-2, 51, 53). Встречается и весьма «прозрачный эвфемизм»: «Государыня такая мать (выговорил то слово по-матерны прямо)» или «Называл Ея императорское величество женским естеством (выговорил прямо)» (44-10, 162; 44-16, 225). Весьма прозрачно записан и

смысл высказывания Лаврентия Шишацкого в 1750 г.: «Разумовской нажил себе щастие чрез тур (выговоря то слово скверно)» (8-3, 7).

Эвфемизмами непристойных действий, которые встречаются в документах сыска (кроме упомянутого выше глагола «делать»), являлись глаголы: «погреб», «прогреб», «перегреб» («Мать-де, вашу, перегреб (выговорил то слово прямо)» (8-2, 51, 53)). Иногда в документах сыска использовали «усиленный» вариант евфемического глагола, который обозначал как бы «многоэтажность» брани: «расперегреб» (44-16, 318).

Вместо буквального повторения «непристойных слов» — политических высказываний оскорбительного для государя свойства в приговорах и во многих бумагах сыска чиновники ограничивались и отсылкой к делу, в котором эти слова были записаны: «Николаева показала, что слышала от торговки вдовы Акулины Ивановой некоторые непристойные слова (в чем явно же по делу)». Или: «О некоторых словах, [что] явно по делу», «Известныя по делу непристойныя разглашения с какого вымысла он делал?», «За вину его, о которой явно по делу» (42-1, 112; 49, 9; 483, 615; 775, 696). В приговоре 1725 г. по делу монаха Выморочкова сказано, что он «словесно и письменно всячески богопротивным, зловымышленным своим воровством порицал и называл непристойными словами, как явно в том деле» (323, 456).

И все-таки в некоторых случаях можно уверенно говорить, что «непристойные слова» воспроизводились в деле «имянно», т.е. буквально. Еще в 1636 г., когда стольник князь Н.И. Одоевский и дьяк Бормасов вели новгородское дело об измене, один из подследственных утверждал, что он сжег подметное письмо, в котором было «непригожее, непристойное слово, что и мылить (подумать. — Е. А.) не умеет». Следователи все же велели ему написать это «слово» своей рукой точно так, как «в том воровском письме писано», и потом отослали бумагу в Москву. О том же писали воронежским властям, которые были обязаны заставить изветчика либо назвать «непристойное слово», либо, если «будет слово непригожее жестоко гораздо», написать и прислать на письме (500, 80, 48). В 1732 г. свидетеля капрала Степана Фомина обвинили в том, что на допросе «о тех непристойных словах имянно не объявил, якобы стыдся об них имянно объявить» (42-3, 12). Обычно точные записи таких «непристойных слов» уничтожались. В экстракте 1726 г. о деле Степаниды Васильевой по обвинению в произнесении каких-то «великоважных непристойных слов» сказано: «А за какия непристойные слова именно о том известия не имеется, понеже подлинное дело за великоважностью слов созджено» (8-1, 311 об.). В 1723 г. солдат Евстрат Черкасский сказал какие-то «непотребные, весьма поносительные слова» (в другом документе они названы «весьма непристойные») о Петре I и Екатерине. И эти слова,

«как показано подлинно в роспросе извечника той же роты ефрейтора Засыпкина в записке, которую определено, выняв из дела, зжечь, [а] хранитца она особливо». Так же поступили и с доношением дьяка Степана Большого о «словах подьячего Гаврила Одалимова про царевну Екатерину Алексеевну», и с «неистовыми словами» бурлака Ивана Дмитриева: «Роспросные ево речи созжены» (29, 66; 7, 177, 241 об.; 8-1, 142 об.; 181, 147; 680, 110).

Из приговоров следует, что выражениями «важные», «дерзкие», «продерзостные», «великие» оцениваются обычно «непристойные слова», относящиеся к государю, царской семье, государству. В 1738 г. в Кольском остроге подканцелярист Толстиков обозвал капрала Михаила Рекунова «сукиным сыном» и в ответ услышал: «Я не сукин сын, моя матушка — императрица Анна Иоанновна». По решению Тайной канцелярии наказали обоих. В приговоре о Толстикове было сказано: «За то, что называл капрала Рекунова сукиным сыном, хотя оное к важности не касается, однакож при заседании в судебном месте бранных слов произносить ему не надлежало и к тому же к оным бранным словам и от Рекунова продерзостные произошли». В 1734 г. были казнены за какие-то «великие непристойные злодейственные слова» четверо преступников — Ларион Голый и три его собеседницы (43-3, 18 об.).

Как сказано выше, «непристойные слова» — родовое понятие для оценки словесных оскорблений государя. Можно выделить две группы таких оскорблений. «Непристойные слова» — это, во-первых, выражения, которые следует понимать как критику, неблагоприятные оценки личности государя, его власти, действий и намерений, и, во-вторых, непристойные слова в их современном (нецензурном) оскорбительном смысле. К первой относятся так называемые «продерзостные (продерзкие) слова», попросту говоря, матерщина. Обычно в сыске к «продерзостным словам» относили случайные оскорбления государя, а ругательства, их составляющие, были не особенно скабрёзными. «Твой брат служит чёрту» — так в 1760 г. выразился однодворец Бугаков, обвиненный в сказывании «продерзких» (в другом варианте — «дерзких») слов (79, 3—4 об.). Ко второй группе относятся «непристойные слова», при классификации которых судом особо подчеркивалось их происхождение как продуманных слов и выражений, которые сказаны не случайно, задуманы заранее («вымышлены») со зла, с дерзкой или злобной целью оскорбить государя, нанести ему моральный ущерб. Вот примерный «реестр» таких «непристойных слов»: «великие непристойные злодейственные слова», «ложновымышленные слова», «вымышленные злодейственные непристойные слова», «вымышленные важные непристойные слова», «вымышленные зательные важные непристойные слова» (7, 132—136). В некоторых случаях мы можем довольно точно установить соответствие реально сказанных преступ-

ником слов с эвфемизмами приговоров. Известный читателю солдат Иван Седов сказал об императрице Анне: «Я бы ее с полаты кирпичом ушиб, лучше бы те деньги салдатам пожаловала». В приговоре его поступок оценен как «сказывание важных злодейственных слов, касающихся к превысокой персоне Ея и.в.» (42-2, 75).

Таким преступлениям соответствовала своя шкала наказаний. Степень вины преступника по сказанным им «непристойным словам», даже с учетом различных обстоятельств дела, опытным следователям установить было нетрудно. Со временем это стало бюрократической рутинной. За просто бранное, «продерзостное» слово, не имевшее «важности», да еще сказанное «с пьяну», «с проста», обычно наказывали битьем кнутом, но чаще — сечением батогами или плетью (см. 42-3, 127). Потом виновного выпускали на свободу с распиской, вспомним выражение Ушакова: «Кнутом плутов посекаем, да на волю выпускаем» (181, 124).

Если же «непристойные слова» относили ко второй группе, если в них усматривались «злодейственность», «важность», умысел, особая злоба да еще с элементом угрозы в адрес государя, то тяжесть наказания возрастала: кнут, ссылка на каторгу в Сибирь с отсечением языка — члена, «виновного» в появлении на свет «непристойного слова», и даже смертная казнь. Однако все критерии в оценке «непристойных слов» сразу же смещаются, если речь идет о делах крупных, в которых замешаны видные люди, или даже о делах рядовых, но по каким-то причинам признанных «важными», привлекавших особое внимание самодержца. На вынесение приговора по всем этим делам влияли уже не принятые ранее нормы судебной рутины, а скрытые политические силы, воля самодержца. Но вначале обратимся к системе наказаний рассматриваемого времени.

Итак, рассмотрим детально, что ожидало государственного преступника XVIII в., которому зачитывали приговор суда или объявляли волю государя. Он не мог избежать одного или нескольких видов наказаний: лишение чести и позорящие наказания, смертная казнь, телесные (в том числе болевые, калечащие) наказания, тюремное заключение, ссылка разных видов (включая каторгу), служебные или дисциплинарные наказания, конфискации движимого и недвижимого имущества, штрафы. Общая шкала наказаний приведена в главе «О оглавлении приговоров в наказаниях и казнях» Военского устава 1716 г. Там были учтены пять основных видов наказаний по степени тяжести: смертная казнь, два вида телесных наказаний и два способа лишения чести. Смертная казнь «чинится застрелением, мечем, виселицею, колесом, четвертованием и огнем». Телесные наказания бывали лег-

кими (обыкновенными) и жестокими. К первым относили такие, когда «кто ношением оружия, сиречь мушкетов, седел, також заключением, скованием рук и ног в железа, и питания хлебом и воды точию, или на деревянных лошадях, или по деревянным кольям ходить, или битьем батогов». Среди вторых числили тяжелые виды телесных наказаний, «егда кто тяжелым заключением наказан или сквозь шпичрутен и лозы бегать принужден; таков же егда от палача [кнутом] бит и запятан железом, или обрезанием ушей, отсечением руки или пальцев казнен будет. Тож ссылкой на каторгу вечно или на несколько лет».

«Легкие чести нарушения» — это когда «начальной человек чину извержен или без заслуженного жалованья и без пасу (или отпускного письма) от полку отослан или из государства нашего выгнан будет». К тяжелым нарушениям чести относили такие наказания преступника, когда «имя на виселище прибито или шпага ево от палача переломлена, и вором (шел[ь]м) объявлен будет». В целом эта система наказаний, касавшаяся прежде всего военных людей, распространялась и на гражданских преступников, в том числе и политических. Термин «казнить» был родовым и подразумевал всякого рода экзекуции, будь то наказания с обязательным смертельным исходом (обезглавливание, «посажение» на кол) или болевые, калечащие и позорящие человека. Поэтому в приговорах встречается формулировка: «Казнить смертной казнью», «Лишить живота», «Казнить смертью» или «Казнить — вырезать ему язык» (103-4, 51). Формулировка «Казнить смертью» обозначала более легкий вид смертной казни — чаще всего простое отсечение головы. Если в приговоре написано «Казнить без всякой пощады» или «Учинить смертную казнь жестокою», то преступника ждало более суровое предсмертное испытание: колесование, четвертование и другие мучительные способы лишения жизни. Эти виды смерти так и назывались — «мучительная смерть». Наказания по степени жестокости были «нешадные» и «с пощадою» (при облегчении наказания: «А которых велено бить кнутом нещадно, тем велеть чинить наказанье тож с пощадою» — 104-4, 305).

Смертная казнь известна в России с древности, хотя не с V в. (к счастью, нашей эры), как думают по недоразумению некоторые современные юристы (см. 289, 5). В XVIII в. было шесть основных способов лишения преступника жизни: 1) отсечение головы (мечом, секирой, топором); 2) колесование; 3) четвертование; 4) повешение (за шею, за ноги и за ребро); 5) сожжение (разновидность — копчение); 6) «посажение» на кол. Почти все эти виды смертной казни упоминаются в законах. Исключение составляет «посажение» на кол. Впрочем, были и другие виды казней, кото-



Колесование

рыми политических преступников почти не казнили. Во-первых, это аркебузирование — расстрел для военных преступников. В 1727 г. к расстрелу приговорили генерал-фискал А.А. Мякина, а в 1739 г. — березовского воеводу Ивана Бобровского за поправки князьям Долгоруким (118, 93; 310, 88). Во-вторых, это закапывание живым в землю — специфическая мучительная казнь для женщин-мужеубийц (см. 170, 46), «посаждение в воду» — казнь через утопление. Так был казнен Иван Болотников (175, 147). Этот и другие виды зверских казней в XVIII в. уже не применяли (620, 109—146).

Приговор к колесованию предполагал два вида казни: «верхнюю», менее мучительную (отсечение головы, а затем переламывание членов трупa, которые выставляли на колесе), и «нижнюю», т.е. такую, которая начиналась с низу тела и была более мучительна. В приговорах о ней писали: «Колесовать живова». Тогда изломанное тело еще живого преступника укладывали (привязывали) на закрепленное горизонтально на столбе тележное колесо. Закон и традиция предполагали два вида мучительной казни четвертованием: у преступника либо сначала отсекали голову, а потом руки и ноги, либо ему отсекали («обсекали») сначала руки и ноги, а потом отрубали голову. Последний вариант казни был, естественно, мучительней первого. Приговор о нем в этом случае гласил: «Четвертовать и потом отсечь головы». Так умер князь Иван Долгорукий. О нем было сказано: «После колесования, отсечь голову» (385, 743). Генерал П.И. Панин в 1774 г. приговорил самозванца Макара Мосягина к смертной казни: «И ево... казнить на площади города Воронежа отрублением наперед обеих рук и ног, а потом головы» (552, 99). Если же выбирали первый, «облегченный», вариант, то в приговоре писали: «Вместо мучительной смерти отсечь головы» (633-7, 173).

Три вида казни предполагали приговоры о повешении преступника: простое повешение, когда человека вешали «за шею», и мучительное, когда преступника подвешивали за ребро или за ноги. К сожжению приговаривали преступников преимущественно по делам веры: еретиков, отступников, богохульников, а также ведунов и волшебников. Способ сожжения в приговорах обычно не уточнялся. Так, обвиненного за «отпадение от христианской веры» капитан-лейтенанта Возницына и его «превратителя в жидовство жида Боруха» предписано было, «дабы других прельщать не дерзали... за такая их богопротивныя вины... обоих казнить смертию — сжечь» (587-10, 7612). Сжигали в России чаще всего в специальном срубе («И ево, Офоньку, приговорили в срубе жечь» — 307, 35-38), но были сожжения и на костре. Казнь эта имела символический характер, и в приговоре 1683 г. об Иване Меркурьеве сказано: «Жечь в костре, сказав ему вину его, и пепел разметать и затоптать». О том же приговор 1686 г. о сожжении раскольников: «Жечь в срубе и пепел развезть» (718, 15, 26). Григорий Талицкий и его сообщник Иван Савин в 1700 г. были приговорены к редкой казни — «копчению», варианту «пытки огнем». Особо мучительно наказывали фальшивомонетчиков: им заливали горло расплавленным «воровским» металлом.

Физическая смерть на эшафоте, называемая с петровских времен «натуральной смертью», соседствовала с «политической смертью» (см. 587-7, 4460). О наказании расстриги Захария Игнатьева в 1725 г. в приговоре сказано: «Вместо натуральной смерти политическую: бить кнутом нещадно и, выре-

зав ноздри, послать в Рогервик в каторжную вечную работу» (664, 182). Почему эта казнь называется политической, сказать трудно. Но ясно, что политическая смерть не была физическим уничтожением преступника, она означала предание его гражданской казни, уничтожала человека как члена общества. Политическую смерть применяли и к негосударственным преступникам — обыкновенным убийцам и грабителям. Чаше всего приговор к такому наказанию рассматривался как помилование, как освобождение от физической смерти, и так делалось издавна. Приведу обычный, типовый формуляр такого приговора в XVII в.: «Казнить смертью и привести к казни, и велеть его на плаху положить, и снять с плахи, и сказать ему, что мы, Великий государь, его пожаловали, велели ему в смерти место живот дать, казнить смертью не велели, и велели... за его воровство бить кнутом нещадно, чтоб на то смотря, иным неповадно было воровать, про нас, Великого государя, непригожие речи говорить» (500, 190). При этом преступник мог быть еще и клеймен. Приговор 1700 г. о ложном извetchике Герасиме Иванове гласил: «За те воровские непристойные слова и ложный извет сказать Гераське смерть и, сняв с плахи, вместо той смертной казни, учинить жестокое наказание — бить кнутом и, запятив в обе щеки и в лоб, сослать в Азов, на каторгу, в вечную работу» (89, 477; 8-1, 15 об.).

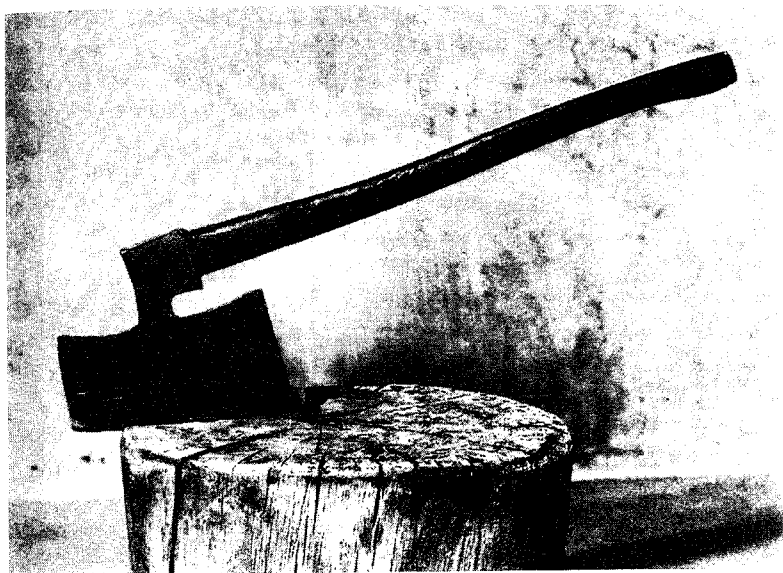
В докладе Сената, одобренном Елизаветой в марте 1753 г., было уточнено, что политическая смерть — это «ежели кто положен будет на плаху или взведен на виселицу, а потом наказан будет кнутом с вырезанием ноздрей, или хотя и без всякого наказания, токмо вечной ссылкой». Простым же наказанием признавалось кнутование, вырывание ноздрей, но без объявления помилования (587-13, 10087). К политической смерти как виду наказания близко шельмование, хотя это и не одно и то же; в приговоре Сената 1762 г. о казни Гурьевых и Хрущова сказано: учинить им «политическую смерть, то есть положить на плаху и потом, не чиня экзекуции, послать в вечную каторжную работу». Однако перед этим двоих из них — Петра Хрущова и Семена Гурьева — на Красной площади публично «по силе Воинского артикула ошелмовать» (633-7, 173; 244, 99—101; 711, 215). Казнь шельмованием, появившаяся при Петре I, так же как и политическая смерть, непосредственно не вела к физической гибели человека, а представляла собой сложный позорящий преступника ритуал, о чем подробно будет сказано ниже. Тем самым его «бесчестили» или «шельмовали», исключая из числа честных людей (шельма — плут, обманщик, негодяй, пройдоха). В указе Петра I 1714 г. об этом говорится: «Шел[ь]мован и из числа добрых людей извержен» (193, 212). Авторы указа 1762 г. о казни Гурьевых и Хрущова под шельмованием понимали то же самое: «Исключить их из числа благородных и честных людей» (529а-1, 76).

Последствия шельмования указаны в Генеральном регламенте. Шельмованный исключался из общества, изгонялся из своей социальной группы, дома, семьи, он терял службу, чины, не мог выступать свидетелем, его челобитные о грабежах и побоях в судах не принимались. Такого человека запрещали под страхом наказания принимать в гости или навещать его — «единым словом, таковой весьма лишен общества добрых людей» (193, 509).

Слово «шельм» (или «шельма») считалось, как слово «изменник», позорящим человека, и называть им, даже в шутку, честных людей означало нанести им оскорбление. Шельмованный терял даже свою фамилию. В приговоре 1768 г. о Салтычихе сказано: «Лишить ее дворянского названия и запретить во всей нашей империи, чтоб она ни от кого никогда, ни в судебных местах, и ни по каким делам впредь так как и ныне в сем нашем указе именована не была названием рода ни отца своего, ни мужа» (712, 542–543). После подобного приговора среди узников Соловков в 1772 г. появился «бывший Пушкин». Это — дворянин Сергей Пушкин, приговоренный к заключению и шельмованный по указу 25 октября 1772 г. (587–19, 13890; 397, 608). В списке 1775 г. о людях, которым было запрещено въезжать в столицы, отмечены ранее шельмованные «бывшие Семен, Иван, Петр Гурьевы» (347, 427).

Шельмовали как штатских, так и военных, обвиненных в измене и трусости. В приговоре 1775 г. по делу сообщника Пугачева, подпоручика Михаила Швановича (прообраз пушкинского Шванвича), подчеркнуто особо: «За учиненное им преступление, что он, будучи в толпе злодейской, забыв долг присяги, слепо повиновался самозванцовым приказам, предпочитая жизнь честной смерти, лишив чинов и дворянства, ошельмовать, перелома над ним шпагу» (196, 196). Шельмование в XIX в. стало называться гражданской казнью с сохранением всех старых позорящих преступника атрибутов шельмования (см. ниже). Через эту казнь прошли петрашевцы на Семеновском плацу в 1849 г., М.И. Михайлов в 1861 г. на Сытном рынке, Н.Г. Чернышевский в 1864 г. на Мытной площади в Петербурге и др. (423, 209–210).

Приговоры к телесным наказаниям формально к смерти не вели. Они были трех видов: членовредительные (калечащие), болевые, позорящие (мечущие). Калечащие, членовредительные наказания были введены еще в XVI в., и по Уставной книге Разбойного приказа 1616–1636 гг. они уже норма. К ним относится отсечение (отрезание) различных частей тела: ушей, языка, ноздрей, ног, рук или пальцев рук и ног. Их появление в праве связано с «талионом» — мезьей, «материальным наказанием» того члена, который «совершал преступление». Богохульство, согласно Артикулу воинскому 1715 г., карали тем, что раскаленным железом прожигали произнесший страшные слова язык. Чаще всего язык отсекали тем, кто произносил «не-



Топор для отрубания рук и ног

пристойные слова». В приговоре Сената 1722 г. о Левине уточнялось, что «прежде той казни (сожжения. — *Е. А.*) вырезать ему язык, понеже которым удом прежде злобу он произносил, тот уд и казнь прежде восприимет» (325-1, 54). В 1700 г. у подьячих, писавших подложные документы, указано «отсечь у обоих рук пальцы, чтоб впредь к пис[ь]му были непотребны». Языки отрезали и тем, кто мог проболтаться о преступлении. О пособниках самозванца Труженика в приговоре сказано: «Дабы впредь от них о вышеозначенном злодействе не могло быть произнесено, то урезать у них языки» (322, 444).

Руки лишился военный, который обнажал оружие на своих товарищей, а также пасквилянты и фальшивомонетчики. «Лживому присягателью» полагалось отсечь «два пальца, которыми он присягал». Нельзя не заметить здесь откровенную кальку с западноевропейских порядков — ведь двумя пальцами клялись только католики и протестанты, но только не троесперстные православные (626-4, 363). Общий же принцип сечения пальцев рук и ног был определен Указом 1653 г., а также Новоуказными статьями: за первую татьбу — два меньших пальца левой руки, а всю левую руку — за две татьбы и за большую рану, левую руку и правую ногу — за разбой, церковную татьбу и т.д. (587-2, 105, 334). В данном случае обращаю внимание не на виды

преступлений (уголовных), а на виды калечения и их ужесточения. Подавивший в 1713 г. на Камчатке бунт служилых людей приказчик Василий Колесов сообщал, что помилованным от смертной казни преступникам «показывал я у них по два малых пальца у левых рук». Иначе говоря, казненные в этом случае могли продолжать свою службу, лишившись «второстепенных» для военной службы пальцев (537-1, 44, 537). В 1774—1775 гг. в Тамбове рубили пальцы мятежникам за ложную присягу «Петру III» (285-2, 98).

Котошихин пишет, что за разбой без убийства отрезали сначала левое ухо, а потом правое (415, 115). У воров также отрезали уши, сначала левое, при рецидиве — правое, что мы и видим в деле Михаила Кривошеина 1687 г., укравшего в Кадоме голенища сапог, за что «отрезано ему левое ухо» (148, 315). Отрезали ухо и наказанным мятежникам Пугачева в 1774—1775 гг. (552, 99). В Уложении 1649 г. сказано об отрезании губ (гл. XXII), хотя сведений об исполнении такой казни у меня нет. Впрочем, властям порой было неважно, какую часть тела предстоит отрезать у преступника: «Помянутого колодника, отрезав ему нос или ухо, послать в Сибирь» (181, 254).

Приговор преступника к вырезанию ноздрей, к клеймению лба и щек (что также выражалось в приговоре словами: «запятнать», «запятнать в лоб», «поставить знаки») означал, что человек подвергался позорящему и одновременно метящему наказанию. Знак на лице выделял его, точнее — отделял от честных людей. Если преступника при экзекуции не метили, то тем самым его миловали, облегчали его наказание. Это видно из приговора 29 октября 1701 г. о казни нескольких стрельцов. Об одном из них сказано: «Епишку Маслова, учиня наказанье, бив кнутом, сослать в Сибирь в самые дал[ь]ние городы, не пятнав, для того...» — и далее говорится, что Епишку против его желаний, насильно, с побоями, втянули в стрелецкий бунт. Именно поэтому его, в отличие от других стрельцов, не «запятнали» (181, 254). В 1733 г. в указе о священниках — ложных доносчиках было сказано, чтобы их наказывать, как и всех ложных доносчиков, кнутом и ссылкой в Сибирь, но, уважая священнический сан, «без вырезания ноздрей» (587-9, 6506).

К болевым наказаниям относится кнутование («бить кнутом», «сечь кнутом»), наказание розгами и шпицрутенами («гонять спиц-рутен» «бегать шпицрутен»), а также морскими кошками, плетью, батогами. В одних приговорах число ударов было указано точно, в других (а таких большинство) писалось обобщенно: «Бить кнутом нещадно» (или «жестоко», «без пощады», «без всякого милосердия», «наижесточайше») или просто: «Бить кнутом». В 1720—1750-х гг. по многим преступлениям, «неважность» которых установило следствие, битье кнутом в приговоре заменялось «зачетом» пытки на дыбе во время розыска («вменяя ему оной розыск вместо наказанья») или

«по вменении подъемов и пытки в наказание» — 42-5, 181; см. также: 504, 114; 42-1, 105; 124, 827—828; 501, 348). Всего в 1725—1761 гг. таким образом зачли пытку за наказание 127 преступникам или 8,3 % от общего числа подвергнутых телесным наказаниям (см. Таблицу 1 Приложения). При Екатерине II также засчитывали отсидку в тюрьме: «Вменяя ему столь долговременное под стражею содержание в наказание» (345, 152).

Лишение свободы — весьма частое наказание политических преступников. Почти всегда публичные казни (если они не вели к смерти) сочетались с последующим лишением свободы. В России с давних пор было два способа изолировать преступников: тюрьма и ссылка. Тюремное заключение обозначалось в XVI—XVII вв. глаголом «вкинуть» или «посадить». Впрочем, последним глаголом обозначалась древнейшая казнь — утопление («сажать в воду»). О тех, кого брали к пытке, говорили: «Вынуть из тюрьмы» («Велели его, Ивашка Яковлева, в нашем деле взять и вкинуть в тюрьму, а из тюрьмы выняв, пытать накрепко» — 500, 3; 626-4, 92). Приговоры к длительным срокам тюремного заключения в России XVIII в. — большая редкость (42-1, 69). Специальных тюремных замков для постоянного содержания преступников не строили. В основном тюрьмы того времени играли роль современных изоляторов временного содержания и пересылок. Тюрьмами служили монастыри, крепости (в том числе сибирские остроги). В таком остроге сидели по многу лет Санти, Левенвольде и др. В приговоре по делу Лестока в 1748 г. сказано: «Послать его в ссылку в Сибирь, в отдаленные города, а именно в Охотск и велеть его там содержать до кончины живота его под крепким караулом» (760, 57). «Крепкий караул» — эвфемизм тюрьмы в самой ссылке. В приговорах о тюремном заключении упоминаются самые разнообразные сроки заключения: от месяца до пожизненного, создается впечатление, что десять лет — это максимум для «срочных» приговоров.

К заточению в монастырь приговаривала светская власть: «Послать в дальний в Сибирской губернии девичь монастырь и велеть содержать ее в трудех до скончины жизни ее неисходно». Так сказано в приговоре 1732 г. о жонке Аграфене Сергеевой (42-5, 162). Подобных приговоров великое множество. Иногда в приговоре указывалось, что место ссылки должен определить Синод. Отсутствие системы специальных тюрем для постоянного сидения объясняется не только неразвитостью в России пенициарной культуры, но и тем, что в России была одна огромная тюрьма — Сибирь, ссылка в которую на поселение или на каторгу в подавляющем большинстве приговоров и заменяла тюрьму, хотя и в Сибири тюрьмы тоже были.

«Ссылка» — понятие широкое («Удалять куда против воли, в наказание, в опалу» — В.И. Даль). Термином «ссылка» обозначали различные виды

физического удаления и изоляции как общего вида наказания. В основе ссылки лежала древнейшая суровая кара — изгнание члена общины за ее пределы, что было тогда равносильно смерти. О ссылке говорится в губном наказе Кирилло-Белозерского монастыря 1549 г. и других подобных актах («Выбити вон из земли», «Выслати из волости вон» — 103-1, 215—216; 104-1, 165 и др.). Ссылка как насильственное удаление, изоляция прочно укоренилась в московский период истории. Ссылку признавали несомненной опалой на протяжении всего XVII в.: «Указал государь... сослать с Москвы в Сибирь, на Пелымь за опалу князь Ивана Хованского с женою и сыном, и с людьми» (515, 48). Ссылаемому подданному запрещалось появляться в столице, «видеть государевы очи». То же значение ссылки, как запрета появляться при дворе, сохранялось и в XVIII в. За связь с П.А. Толстым в 1727 г. Ивана Долгорукого приговорили: «Отлучить от двора и, унизя чином, написать в полевые полки». Отец масона Ивана Лопухина, генерал-поручик Владимир Лопухин, узнав в 1792 г. о ссылке сына в деревню, «огорчился, но по древнему обычаю принял сие без роптания и велел тот час сыну выполнять настоящее повеление» (633-2, 110).

Рассмотрим все виды ссылки. Как опалу и наказание воспринимали вельможи XVII—XVIII вв. царские указы о назначении воеводой (губернатором, воинским начальником) какого-нибудь забытого Богом Кизляра, Тотьмы, а тем более Селенгинска или Якутска (см. 528, 53, 57—59). Видом ссылки был перевод из московских чинов в провинцию на службу, иногда «в прежних чинех». Так, в 1691 г. боярина Г.А. Козловского приговорили к лишению чести и «боярство отнять и написать з городом по Серпейску» (631, 342). В 1697 г. сосланный в Енисейск по делу Цыклера боярин Ф.М. Пушкин сначала сидел в тюрьме, а потом был записан в городовую службу (655, 4—5). Федор Эверлаков за доношительство на царевича Алексея в 1718 г. был приговорен к ссылке в Сибирь, где «велено ево написать в службу в дети боярские» (8-1, 22 об.). В 1732 г. в Сибирь прислали украинцев Петра и Якова Миновичей, и «велено оных Миновичей определить в дети боярские сибирские» (8-2, 29). Известны и другие приговоры: «Написать в сибирский гарнизон прапорщиком и оттуда ни под каким видом не отлучать», «В Кольский острог, в стрелцы» (8-1, 32, 59, 141; 600, 130).

К этому же виду наказания за политические преступления следует отнести постоянное или временное понижение в чине без изменения места службы, часто сопряженное с высылкой провинившегося (навечно или на время) из гвардии в полевые полки, часто — в провинцию. В 1718 г. князя Бориса Мещерского за «непристойные слова» перевели на год из гвардейских сержантов в солдаты гвардии (12, 2; см. 14, 6 об.). Такой перевод из гвардии

в полевую армию, а тем более в гарнизонные полки (так произошло с Абрамом Ганнибалом в 1728 г.) считался серьезным наказанием. Майор гвардии А.И. Ушаков, будущий начальник Тайной канцелярии, в 1727 г. был наказан тем, что его отправили в Ревель «к другой команде» (633-63, 603). За «необычайное» кричание «Слова и дела» фурьер Измайловского полка Колычев был наказан в 1732 г. по Военному уставу: «Штрафован перед собранием батальона ношением ружья и написан на два месяца в солдаты» (42-1, 75). Курьер Алексей Сухачев за «непристойные слова» получил плети, и о нем в приговоре 1735 г. сказано: «Написать в напольные полки в солдаты до вылути». Для провинившихся в должностных и политических преступлениях лейб-компанцх Елизаветы Петровны перевод в армейские полки был обычным делом. Запись в солдаты как наказание стремились усугубить отправкой в действующую армию (если шла война) или в Низовой корпус в Персию. Это был вернейший способ сократить жизнь ссылочного с помощью малярии, скорпионов, змей и тигров Мазандарана (58, 1; 773, 451).

Свои наказания в виде ссылки были и для провинившихся в «продерзостях» духовных особ. Упомянутый выше архимандрит Рувим, тайно служивший по ночам у иконы Богородицы, был приговорен к лишению архимандритского посоха и ссылке «рядовым иеромонахом безысходно» в Александро-Невский монастырь (13, 7). Для высокопоставленных преступников было распространено наказание — ссылка в деревню, как правило, с указанием ограничений в передвижении и сроков: «без выезда», «до указу без съезду», «вечно», «до указу». В одних случаях приговоры о ссылке глухие, в других они определяли судьбу ссылочных достаточно подробно: «Послать в резанские его деревни, в которых ему жить без выезду до указу», «Сослан он, князь Михайло, в Боровскую ево деревню, в которой велено ему жить до указу без съезду».

Приговоры «Сослать на поселение» (другие варианты: «Сослать на житье»), по нормам тогдашнего права, имели расплывчатый, обобщенный характер и подразумевали переселение преступника в некую отдаленную местность: «В дальные городы», «В дальные сибирские городы», «Сослать в Сибирь на вечное житье в самые дал[ь]ние городы» (197, 254), причем из приговоров неясно, куда именно намеревались отправить и поселить ссылочного и чем он будет там заниматься. Думаю, что часто встречавшийся неопределенный приговор «Сослать в Сибирь без наказанья» или «Послать в Сибирь, в Тару, на вечное житье» означал ссылку не только на поселение, но и в службу, — об этом ясно говорят формулировки приговора: «На вечное житье в пашню» или «На житье и определить к делу» (8-1, 20). Ссылка «на вечное житье в пашню» (обычно в Сибирь), в отличие от ссылки с формулиров-

кой: «Сослать в Сибирь и написать в службу» или «Определить к делу», резко понижала социальный статус служилого, который превращался в крестьянина. Так, в 1697 г. к ссылке в Баргузин «на вечное житье в пашню» приговорили московских стрельцов Никиту Корсакова и Тимофея Скорняка (212, 99).

По многим приговорам точное место ссылки и занятие преступника должны были определить губернские и воеводские власти. В приговоре 1721 г. по делу псаломщика Семена Иванова предписано сослать его в Сибирь и «велено ево написать в службу, в какую он будет приличен, по рассмотрению губернаторскому». Об учителе царевича Алексея Никифоре Вяземском в 1721 г. Петр распорядился: «Вяземского из-за караула свободить и определить ево из Сената у города Архангельского или в другом поморском городе к делу, к какому он будет достоин» (10, 120 об.). В 1736 г. канцелярист был приговорен к ссылке в Охотск «на житье вечно к определению там к надлежащей работе, какую может он понести» (8-2, 128 об.). Мулту Батыршу в 1763 г. сослали в Нерчинск в работу «и велели там содержать в крепких кандалах», а И. Батурина — в Нерчинск, «где употребляя его в пристойные работы, пропитание дается получше других» (600, 130).

Во многих случаях ссылка рассматривалась как форма смягченного наказания, как государева милость: «И хотя он, князь Меншиков, за такие свои против Нашей императорской самодержавной власти продерзости и вредительные государству поступки по государственным правам довелся смертной казни, но понеже мы, яко христианский монарх, от смертной казни ево освободить повелели, а лиша ево честей и чинов, со всею ево фамилиею послан в Аренибурх и содержитца из крепости неисходны». Таков был приговор А.Д. Меншикову в 1727 г. (419, 95).

Приговоры «Сослать в службу», «Сослать в пашню» или «Сослать на житье («вечное», «до указу» или с указанием срока) считались более легкими, чем приговор «Сослать в Сибирь в тюрьму» (103-3, 384) или «Сослать в Сибирь на каторгу». Замена каторги ссылкой на житье («Вместо каторжной ссылки сослан в Сибирь на житье» — 8-1, 308 об.) считалась истинным благом.

В соответствии с правилом множественности наказания телесные и позорящие наказания сочетались с ссылкой и каторгой. Перед ссылкой преступника обычно наказывали кнутом, плетьюми, вырезали ноздри (реже язык, уши), клеймили. Ссылка без телесного наказания в приговоре отмечалась особо: «Без наказания сослать в Сибирь же на вечное житье» (197, 254). Ссылка, как и тюрьма, служила (уже не позже начала XVII в.) заменой смертной казни: «В смерти место живот дать, а велел их сослать в Сибирь на житье» (538-5, 225).



Каторжник в XVIII столетии

Более того, в XVIII в. каторга, как тяжелейшая форма ссылки, становится высшей мерой наказания, особенно после фактической отмены смертной казни при Елизавете Петровне. Понятия «каторга», «каторжанин» тесно связаны с турецким названием гребного судна — галеры. Одно из названий галеры — «каторга» — пришло в Россию вместе с южнославянскими галерными мастерами и моряками — илирийцами. Силой, приводящей галеры в движение, были прикованные к банкам преступники — «каторжные». Термином «каторга» довольно скоро стали обозначать в России не только работу гребца-преступника, но всякую подневольную работу на заводах, рудниках, на стройках. Расширение этого понятия произошло очень быстро. Еще в 1700 г. мы встречаем приговор: «Велено учинить наказание и послать в ссылку на каторги», т.е. на галеры (197, 248), то позже вердикты «Сослать на каторгу» и «Сослать на галеры» стали понимать не только как ссылку на галеры, а как два разных вида наказания. В экстракте Тайной канцелярии 1721 г. о наказании разных преступников отмечается против каждого имени: «В галерную работу» и «На каторгу», причем во втором случае имеется в виду «земляная работа» в Ревеле и Кронштадте (633-11, 295; 8-1, 57-58 об.).

Каторга как принудительная работа для преступников появилась при Петре I. Разумеется, и до Петра преступников приговаривали к тяжелым работам, но это было в основном формой монастырского «смирения в черной работе» (224, 2–3). Но только Петровская эпоха сделала приговоры «В ссылку на каторгу», «В казенные заводы», «В работу вечно» обычными в политических и уголовных процессах. Причина появления каторги лежит на поверхности: «Нуждаясь в рабочих руках для задуманных им огромных строек в разных местах, Петр I стремился извлечь из преступников ту или иную пользу для государства» (291, 62). В конце XVII — XVIII в. самыми «популярными» местами ссылки на каторгу и поселения стали Азов и Таганрог, потом — С.-Петербург, Рогервик, Оренбург и другие дальние места. Сибирь также стала не только местом ссылки, но и каторги. Как известно, в Петровскую эпоху началось промышленное освоение Сибири, и при недостатке рабочих на копях, металлургических и иных заводах туда стали отправлять «в работу на заводы» каторжных невольников. При этом сохранился и институт ссылки «на пашню», «в сибирские служилые люди», «для житья», «в службу» и т.д.

Наконец, последним (и для высокопоставленных преступников — обязательным) пунктом каждого приговора было положение о конфискации («отписании в казну» или «на государя») движимого и недвижимого имущества. Никакой системы в конфискациях усмотреть невозможно. В одних случаях отписывали в казну все земельные владения, как пожалованные («данные»), купленные, так и унаследованные. В других случаях отбирали пожалованные и купленные, оставляли наследственные. Известны случаи, когда по приговору у преступника конфисковали все деревни, но самого преступника предписывали сослать «в ево дальние деревни». Так случилось в 1727 г. с общишником П.А. Толстого И.И. Бутурлиным, а в 1742 г. с сыном Миниха, Эрнстом. Как находили выход из этого противоречия видно в деле Миниха: было решено выделить ему дальнюю деревню с определенным доходом и там его поселить (633–63, 603).

Иногда отписание было вечным, неотменным — «безповоротным», иногда — «с поворотом» по возвращении из ссылки. В тех случаях, когда конфискации не назначалось (а это в XVIII в. бывало редко), в приговорах отмечалось: «Не отнимая у него ничего» или «А движимому и недвижимому ево имению велено быть при нем неотъемлемо», «А имению его быть при нем» (8–1, 27 об., 21; 633–69, 272; 322, 82). Прибегали и к промежуточному варианту: в 1730 г. у князя С.Г. Долгорукого были отписаны все деревни, и только одну Замотринскую волость решили оставить ему «на пропитание» (407, 459). Обычным было выделение из конфискованных владений какой-то их части «на

прокорм», «на пропитание» и для не сосланных с преступником жен и детей (633-11, 296).

Почти всегда жены опальных получали (точнее, возвращали себе) свои, в качестве приданого полученные владения, с которыми они вступили в брак с будущим преступником. Делались исключения и для детей. Так, детям Андрея Хрушова и Федора Соймонова, приговоренных по делу Вольинского в 1740 г., выделили по 40 душ крестьян из имущества отцов-преступников (304, 162). В проекте приговора Сената 1762 г. об Иване и Петре Гурьевых сказано: «А движимое и недвижимое их имение оставить детям и наследникам» (633-7, 173).

Приговоры, и соответственно лежащие в их основе законы, весьма расплывчато определяли не только место заточения, ссылки, но самый важный для приговоренного вопрос: сколько сидеть? Естественно, что пожизненное заключение известно в России задолго до XVIII в.: в Судебнике 1550 г. встречаем выражение: «Кинуты в тор[ь]му до смерти», в Медынском губном наказе 1555 г. — схожая формулировка: «Посадить в тор[ь]му на смерть» (626-2, 107, 221). Пожизненное заключение в тюрьму, монастырь, пожизненную ссылку на каторгу, поселение или службу как наказание включали в приговоры, и определялось это следующими формулировками: «Вечно», «Навечно», «В вечную работу», «До скончания живота», «К вечному и несходному до кончины живота его содержанию», «До кончины живота», «Безысходно», «В вечное и безысходное пребывание», «На неисходное пребывание». Последние два термина чаще всего встречаются в приговорах преступникам, заточенным в монастырские тюрьмы или отданным под «строгий присмотр» монахов. Приговор «Сослать на каторгу» уточнялся не всегда, но можно выделить два типа приговоров: пожизненная ссылка на каторгу («Сослать на каторгу в вечную работу», «В вечную галерную работу») и ссылка на какой-то срок. В «Экстракте каторжным, о которых подана ведомость ис Тайной канцелярии» в Сенат 16 ноября 1721 г. все преступники разбиты на несколько групп по срокам каторги, данной им: «вечно», «без сроков», «на год», «на два года», «на три года», «на пять лет», «на шесть лет», «на десять лет», «до указа» (8-1, 57—60, 140; 622, 88, 341).

Установить соответствие тяжести преступления продолжительности заточения или ссылки очень трудно. Естественно предположить, что приговоренные к пожизненному заключению или ссылке совершили более серьезное преступление, чем те, о которых в приговоре сказано: «На десять лет» и т.д. Неясно с приговором: «до срока», «до указа» или «до указа государева», «на урочные годы». Когда мог последовать такой указ, знал только государь. Указ об освобождении мог прийти и через месяц, а мог вообще ни-

когда не прийти. Как известно, Емельян Пугачев в 1773 г., еще до объявления себя «Петром III», бежал в Казани из-под стражи и, таким образом, не выслушал присланный по его делу приговор Сената, который, возможно, изменил бы весь ход его жизни, а может быть, и течение русской истории. Генерал-прокурор Сената князь А.А. Вяземский тогда писал, что беглому казаку Пугачеву надлежит «за побег ево за границу и за утайку по выходе его оттуда в Россию, о своем названии, а тем больше за говорение яицкому казаку Пьянову возмутительных, вредных слов (Пугачев рассказывал о появлении под Царицыном самозванца. — Е. А.) учинить наказание плетью и послать, как бродягу и привыкшего к праздной, продерзкой при том жизни, в город Пельм, где употреблять его в казенную работу такую, какая случится может, давая ему за то в пропитание по три копейки на день, однакож накрепко тамо за ним смотреть, чтоб он оттуда утечки учинить не мог» (279, 267). Итак, срок ссылки не оговаривался, и нет сомнений, что бежать из заполярного Пельма Пугачев не смог бы.

Подробнее о том, как сидели в тюрьме, работали на каторге и жили в ссылке, как и видах и технике казней, будет сказано ниже. Здесь же отметим некоторые общие черты приговоров как юридических документов в той части их, которая касается определения наказания и их шкалы. Приговоры по политическим делам (как и уголовным) в своем подавляющем большинстве предполагали комбинацию наказаний: смертоносных, калечащих, болевых, позорящих, а также ограничивающих свободу передвижения и выбора рода занятий. Самым суровым приговором были виды мучительной смертной казни («посажение» на кол, колесование, четвертование), которые одновременно были и калечащими, и болевыми. Да и «простым» видам смертной казни (отсечение головы, повешение) могли предшествовать калечащие и болевые наказания (отрезание языка, кнутование, предказневые пытки).

Телесные болевые наказания, непосредственно не ведущие к смерти (битье кнутом и др.), сочетались с калечащими. Приговоры, вынесенные в Тайной канцелярии за 1725—1762 гг., можно разделить по признаку сочетания различных видов наказания таким образом:

1-й тип. Простое битье кнутом.

2-й тип. Битье кнутом, «вырывание» («вырезание») ноздрей и ссылка на каторгу или поселение («Бить кнутом нещадно и, вырезав ноздри, сослать в вечную каторжную работу» или «Высечь кнутом и, вырвав ноздри, послать на каторгу» — 664, 65; 195, 196).

3-й тип. Битье кнутом, клеймение («запятнав», «поставить знаки») и ссылка на каторгу или поселение («Бив кнутом и запятнав, сослать в Си-

бирь», «Высечь кнутом, поставить знаки и, вырвав ноздри, сослать на каторгу» — 197, 254).

К особо тяжким преступлениям прибавляли позорящее посмертное наказание-надругательство: голову втыкали на кол, труп или его части клали на колеса или втыкали на колья на время, определенное указом. Затем останки сжигали, а пепел развеивали по ветру. Казнь Пугачева в 1775 г. имела продолжение, о котором сказано в приговоре: «Четвертовать, голову взоткнуть на кол, части тела разнести по частям города и положить на колеса, а после в тех же местах сжечь» (196, 192).

Когда выносился приговор о государственных преступлениях, совершенных группой преступников, то неизбежно вставала проблема установления «шкалы наказаний», ранжирования их для участников групповых преступлений в зависимости от степени виновности каждого. Приведу пример. Следственная комиссия в 1701 г. вынесла приговоры 6 стрельцам, участвовавшим в бунте 1698 г., а также одной стрелецкой жонке. Размещаю приговоры по нисходящей шкале наказаний:

1. Казнить смертью — 1 человек;
2. Бить кнутом, запятнав, сослать в Сибирь «в самые дальние города» — 3 человека;
3. Бить кнутом, сослать в Сибирь «в самые дальние города», без запятнания — 1 человек;
4. «Без наказания сослать в Сибирь на вечное житье в самые дальние города» — 1 человек (197, 254).

Из этой партии приговоренных смертью казнен был один человек — Федька Троицкий. В приговоре о его конкретной вине ничего не сказано. Он один из «воров, изменников и бунтовщиков». И так названы все без исключения приговоренные в тот день преступники. Вошедший во вторую группу Микитка Голыгин наказан «за бунт и за раскол», а двое, Ивашка Мельнов и Федька Степанов, — «за их воровство и возмутительные слова». В третью группу попал стрелец Епишка Маслов, который участвовал в мятеже, но его вовлекли туда с принуждением. Наконец, без наказания ссылкой в Сибирь отделалась жонка Аринка Афанасьева. Этот пример кажется типичным для приговоров по государственным преступлениям начала XVIII в. Ясно, что приговоренный к смерти Федька Троицкий признан более виновным, чем Епишка Маслов, в приговоре о котором указаны смягчающие его участь обстоятельства. Голыгин за «бунт и раскол» наказан суровее, чем Мельнов и Степанов за их «воровство и возмутительные слова», хотя, как уже сказано выше, понятие «воровство» почти безбрежно и охватывает фактически все преступления.

Постепенно в течение XVIII в. усиливаются тенденции дифференцированного подхода к преступлению, становится заметно стремление даже в групповых делах определить меру наказания не только в зависимости от оценки умысла, мотивов действия группы преступников, но и с учетом различных обстоятельств дела. Например, учитывалась степень соучастия каждого в преступлении, перенесенные на следствии пытки и др. Рассмотрим ранжирование преступлений участников дела Хрушова и Гурьевых, совершивших «богомерзкое и злодейское дело», — так была расценена их попытка организовать заговор.

Поручик Петр Хрушов. Его вина: «Обличен и винулся в изблевании оскорбления величества и что он старался других привлекать к умышляемому им возмущению противу нас и общего покоя, затеявая якобы уже он и многих людей имел в своем согласии».

Поручик Семен Гурьев. Его вина: «Яко сообщник с первым, не токмо в злодейском его умысл соглашался, но и сам других к тому подговаривал с прибавлением от себя разных лживых внушений, из чего во многом в первом допросе, а по обличении от свидетелей и во всем сам признался».

Капитан-поручик Иван Гурьев. Его вина: «Сделал себя им соучастником тем, что, зная их умысел, об оном нигде не донес и сам, яко сведущий другому о том внушал, о чем в первом своем допросе утаил, а во вторичном и на очных ставках, по изобличении, винулся».

Квартирмейстер Петр Гурьев. Его вина: «Слышал... противу Нас оскорбительные слова, как и о злом умысле к возмущению, о том не доносил и сначала запырался, а наконец, отчасти изобличен был, отчасти же и добровольное признание принес и винулся».

Коллежский асессор Андрей Хрушов. Его вина: «Остался подозрительным в том, что он обличаем одним, но без свидетеля, якобы и он ему сказывал об общем вышеупомянутом злом намерении, и притом он... слышал... некоторые двоякие и сумнительные слова, в чем и одним свидетелем обличаем был».

Теперь рассмотрим приговоры, которые вынес преступникам суд. Приговор Петру Хрушову и Семену Гурьеву гласил: «Лиша чинов, исключая из звания их фамилий и из числа благородных людей... ошельмовать публично, а потом послать их в Камчатку в Большерецкой острог на вечное житье и имение их отдать ближним в родстве». Иван и Петр Гурьевы приговаривались к «отнятию чинов» и вечной ссылке в Якутск. Наконец, Хрушов услышал приговор: «Лишив его всех чинов, жить в своих деревнях, не выезжая в наши столицы» (633-7, 172—173).

Итак, прослеживается устойчивая градация преступного состояния:

- 1) зачинщик, 2) сообщник, 3) соучастник, 4) неответчик, 5) подозреваемый

(подозрительный за недоказанностью). Это привычное для того времени ранжирование вида причастности к государственному преступлению. Ему соответствуют и понижающиеся по степени суровости наказания. Особенно хорошо это видно в первоначальном проекте решения суда, когда зачинщика и сообщника приговаривали к четвертованию и отсечению головы, а соучастника и недоносителя — к простому отсечению головы (633-7, 173). В целом весь сыскной процесс и обосновывающие его законы не входят в противоречие с данным приговором. Зачинщик и сообщник мало в чем различались по степени тяжести преступления: в приговоре Сената о Петре Хрущове и Семене Гурьеве сказано как о «главных в том деле зачинщиках». Точно так же недоносчик считался соучастником преступления.

Как уже отмечалось, созданные во время восстания Пугачева в 1774 г. Секретные следственные комиссии в Казани и Оренбурге работали и как следственные, и как судебные органы. Тайная экспедиция контролировала эту деятельность комиссий. Летом 1774 г. из нее в Казань и Оренбург послали особые «Примечания», в которых Шешковский отмечал, что по экстрактам, присылаемым в Петербург, видно: «Два или несколько человек оказались в равных винах, но наказания, однакож, разные определяемы, яко то, с ними поступлено по самой точности законов, а другие, в таковых же точных винах оказавшиеся, разными обстоятельствами извиняемы и наказания уменьшаемы были» (418-3, 394). Рекомендации же начальства сводились к тому, что комиссиям нужно следить за четким соответствием преступления и наказания каждого из подсудимых. Автор «Примечаний» выделил семь разрядов преступников. К первому разряду отнесены самые серьезные преступники — те, кто «пристал в толпу злодея из доброй воли, и делал во обще с тою толпою злодеяния, и убивствы верноподанных и других к тому соглашал, и был между злодеев командиром». По второму разряду числятся преступники, совершавшие преступления по принуждению главарей мятежников, «не имев ни малейшего способа, по превосходству силы злодеев, тому противиться». К третьему разряду отнесены те, кто пристали к мятежникам добровольно, «а злодейств и убивств» не совершали и других к ним не склоняли. В четвертый разряд включали тех, кто от мятежников отстали добровольно, но сами с повинной не явились.

Все эти четыре вида преступлений, как отмечалось в рекомендации, «суть разных родов [и] преступники должны быть наказываемы, размеряя каждого по их деяниям». По пятому разряду числятся участники восстания, которые в злодеяниях не участвовали, а только «делали вредные разглашения», по шестому разряду проходили все те, которые совершали преступления (кроме убийств), но, вняв призыву царского манифеста, добровольно сда-

лись властям и чистосердечно раскаялись в содеянном. Наконец, седьмой, особый разряд составили примкнувшие к бунтовщикам офицеры и унтер-офицеры, от которых «отнюдь извинений никакие принимаемы, кажется, быть не должны». Солдат, попавших к пугачевцам, предполагалось «по законам наказать примерно» по жребию — каждого двадцатого (418-3, 395; 522, 18-19). Все эти критерии применялись в судебной практике Комиссий и других органов власти (см. 268, 207-213; 231, 678-679).

Однако, когда после сражений под Казанью 12 и 15 июля 1774 г. в руки правительственных войск попало не менее 10 тысяч человек, всеми этими разрядами пришлось пренебречь — нужно было срочно решать судьбу огромного количества колодников, содержать которых под арестом стало невозможно. Комиссия прибегла к упрощенному расследованию дел и вынесению приговоров. Нужно особо подчеркнуть, это было не то «упрощение», которое нам известно из истории подавления восстания Разина или Булавина, когда по Волге и Дону плыли плоты с повешенными за ребро сотнями бунтовщиков. Наоборот, екатерининские власти проявили неслыханную в тех условиях (после грабежей, убийств и поджогов в Казани) гуманность и за полмесяца выпустили, часто даже без телесных наказаний (впрочем, нередко потому, что не было уже кнутов), большинство пленных. Как писал императрице П. С. Потемкин, мятежных крестьян после принесения ими присяги выдавали под расписку господам, управляющим и начальникам дворцовых волостей и заводов (418-3, 396-397). Так же работала и Комиссия Лунина в Оренбурге. В его ведении было 2584 человека пленных, причем они мерли, как мухи, и Комиссии в день приходилось рассматривать десятки дел, пропускать ежедневно сотни пленных (522, 17-18).

Во время суда над самим Пугачевым и его сообщниками преступники были разбиты по тяжести их вины на «классы». Эту классификацию разработал А. А. Вяземский, и она была достаточно четкой в определении вины каждой группы преступников. По 1-му классу шел один преступник — Пугачев, по 2-му — «самые ближайшие [его] сообщники» — 5 человек, по 3-му классу — «первые разглашатели», т. е. люди, стоявшие у истоков движения самозванца и поддержавшие его с самого начала. Их было трое. Но при этом ранжирование преступлений не вело к унификации наказаний в одном классе. Вошедшие во 2-й класс преступники получили неодинаковые наказания: А. П. Перфильев приговорен к четвертованию, И. Н. Зарубин-Чика — к отсечению головы а М. Г. Шагаев, Т. И. Подуров и В. И. Торнов — к повешению. Включенные в 3-й класс Василий Плотников, Денис Караваяев, Григорий Закладников, Казнафер Усаев и Долгополов ждали наказания кнутом,

вырывания ноздрей, клеймения и ссылки на каторгу, причем Долгополова указали содержать в оковах (196, 192–195).

По поводу наказаний преступников 3-го класса в суде разгорелся спор: члены его настаивали на приговоре к смерти — отсечению головы, но «по немалом объяснении (Вяземским. — Е. А.), наконец, согласились наказать на теле» (196, 199). Остальные приговоренные к телесным наказаниям, каторге, политической смерти и выпущенные без наказания в «классы» уже не входили. В целом же отметим, что юридически точное определение вины преступника с четко фиксированным для нее видом, сроком наказания в те времена было еще недостижимо. Поэтому часто неясно, почему за одно и то же преступление подельники получают разные наказания и как соотносятся их выявленная судом вина и тяжесть назначенного за это наказания, на чем строится система помилований.

В приговоре суда 1740 г. по делу Волынского и его конфиденентов сказано, что «сообщников его за участие в его злодейских сочинениях и рассуждениях», Хрушова, Мусина-Пушкина, Соймонова и Еропкина, четвертовать и отсечь им головы, Эйхлера колесовать и также отсечь ему голову, Суде — просто отсечь голову. Опять мы видим, как за одно преступление определяются разные наказания: всем отрубают головы, но четверых предварительно четвертуют, а одного колесуют. Меньше всего преступил закон Суда, и поэтому ему решили без мук отсечь голову. Однако через несколько дней императрица Анна пересмотрела приговор и, оставив обвинения, «смешала» в общем-то некую, видимую нами в приговоре систему наказаний за соучастие. Из первой группы она приговорила к отсечению головы Хрушова и Еропкина, всех остальных оставила в живых. Это Соймонов, Эйхлер и Мусин-Пушкин, хотя и им назначили разные наказания: Соймонова и Эйхлера били кнутом и сослали на каторгу в Сибирь, а Мусину-Пушкину урезали язык и отправили на Соловки, Суду же наказали плетью и сослали на Камчатку. В итоге по этой установленной государыней новой шкале наказаний вдруг легче всех других оказался наказан Мусин-Пушкин, который вначале шел по первой группе преступников, приговоренных к самым тяжелым наказаниям, а теперь он не был даже бит кнутом, как Соймонов или Эйхлер (304, 162). Почему так произошло, мы не узнаем никогда. Возможно, что П.И. Мусина-Пушкина помиловали из-за его отца — заслуженного петровского деятеля И.А. Мусина-Пушкина. Это позволяет заподозрить та статья приговора, где сказано, что из имений преступника выделяются имения его отца и передаются его внукам, т.е. детям преступника (304, 162).

Приговор 1766 г. по делу самозванца казака Федора Каменщикова и его сообщника Мерзлякова гласил: «Каменщикову учинить жестокое наказание

кнутом и, вырезав ноздри, и поставя на лбу и на щеках указные знаки, отослать в Сибирь, на Нерченские заводы, скованного в тягчайшую работу вечно». Писарь Мерзляков обвинялся в недоносительстве и в том, что «еще и вспомогал» Каменшикову. И хотя он не был самозванцем, судьи оказались к нему более суровы, чем к Каменшикову: «Высечь наихудейше кнутом и, вырезав ноздри и поставя на лбу и на щеках знаки, отослать для употребления в казенные работы вечно на Нерченские заводы» (368, 394–395). В чем же тогда различаются их преступления, если предводитель, зачинщик всего преступления, получил «жестокое наказание кнутом», а его подручный — «жесточайшее»?

Эти и другие приговоры по многим другим политическим делам разрушают все наши представления о соотношении тяжести преступления и суровости наказания, даже если мы строго придерживаемся тогдашних критериев и исходим из своеобразия казуального права того времени. Здесь нельзя не согласиться с большим знатоком истории русского сыска М.И. Семевским, который писал: «Инквизиторы — так именовали членов Тайной канцелярии, обыкновенно почти никем и ничем не связанные в своем произволе, зачастую судили и рядили по своему “разсуждению”. Вот почему, пред многими их приговорами останавливаешься в тупике: почему этому наказание было строже, а тому — легче? А — наказан батоги нещадно, а Б — вырваны ноздри и бит кнутом, С — бит кнутом и освобожден, а Д — бит плетью и сослан в каторгу, в государеву работу вечно и т.д. И нельзя сказать между тем, чтобы внимательный разбор всех обстоятельств дал ответ на наш вопрос. Будь известны обстоятельства, при которых судили и рядили инквизиторы, о! тогда — другое дело! Мы бы знали сильные пружины, руководившие судьями в произнесении их приговоров» (664, 29–30).

Согласившись с Семевским, все же выделим несколько обстоятельств, которые несомненно влияли на приговор и судьбу преступника. Усугубляли вину и, соответственно, наказание рецидив (см. выше об осмотре тела пытаемого перед пыткой) и недонесение. Приговор по делу близкого царевичу Алексею Ивана Афанасьева 28 июля 1718 г. гласил: «Слышал... а о том не доносил, учинить смертную казнь и все имение его взять на государя» (752, 191, 193). Как мы видели, мягче организаторов, «заводчиков», наказывали рядовых, второстепенных соучастников. Облегчали судьи и участь тех, кто преступал закон по принуждению других.

Особо нужно сказать о раскаянии преступника. Политический сыск никогда не позволял побывавшему в застенке человеку уйти оттуда с высоко поднятой головой. Преступника не только пытали, но и всячески унижали, ломали. «Бесстрашие», «упрямство» каралось сурово. Мало того, что чело-

веку предстояло чистосердечно рассказать следователям о преступлении, «идти по повинке», он был обязан не просто признать свою вину, но и глубоко раскаяться, униженно просить о помиловании. При этом мало кого интересовала искренность раскаяния, важно было формальное признание.

Правильным с точки зрения следствия было поведение В.В. Долгорукого, который после вынесения ему приговора по делу царевича Алексея написал государю покаянное письмо, в котором «приносил... вину свою». Это облегчило его участь (752, 199, 200). Дальновидно вел себя в 1734 г. и князь А.А. Черкасский. В докладе Следственной комиссии сказано: «Онный Черкасский не токмо в собственноручных нескольких своих повинных без всякого принуждения по собственному своему желанию написанных, також и в допросех показал, но и пред В.и.в. изустно вину свою приносил...» (693, 297). Разумно поступил в 1743 г. Иван Лопухин, который признал, «что ему в его вине нет оправдания и он всеподданейше просит милосердия, хотя для бедных малолетних своих детей» (660, 36). Словом, «повинную голову и меч не сечет» — ведь и Черкасский, и Лопухин, благодаря раскаянию, голов не потеряли. Впрочем, известно, что прошение князя Матвея Гагарина, повинившегося в 1721 г. перед Петром I в своих преступлениях, ему не помогло, царь указал повесить сибирского губернатора (102а, 198; ср. 150-1, 72), точно так же как не был помилован раскаявшийся и выдавший всех своих сообщников царевич Алексей.

И все же преступник, который не раскаялся, вызывал серьезное беспокойство властей, вынуждал их суетиться, добиваться его «прозрения». Во время суда над Миновичем заметили, что при ответах на вопросы он проявляет упрямство, «некоторую окаменелость». Часть судей принялись «увещевать его наедине и прив[одить] в раскаяние», но безрезультатно: Минович не раскаялся, а только выразил сожаление о печальной судьбе тех 70 солдат, которых он увлек в бунт. После этого в наказание за упрямство суд постановил сковать преступника цепями и так держать под строгим караулом. Уже через день генерал-прокурор Вяземский доложил высокому собранию, что Минович «при сковании... в таком же состоянии был, как и при увещании, а после начал плакать, из чего признается не пришел ли в раскаяние?». После этого вновь была отправлена делегация из судей, но даже кандалы не смутили преступника — он так и не раскаялся в содеянном (410, 274–275). Полковник Грузинов в 1800 г. настроил против себя следственную комиссию своим упорством и «не показал ни малейшего о преступлениях своих раскаяния и решительно и дерзко отказался от всякого ответа», за что подвергся зверской казни кнутованием насмерть (374, 260).

Смягчалось наказание из-за юного возраста преступника. В приговорах о казнях участников стрелцкого мятежа 1698 г. отмечалось: «За малыми леты не казнено» (197, 60). В 1733 г. за одну и ту же вину взрослый солдат Алтухов получил кнут, а соучастники его «дети малые» — лишь плети (7, 136 об.). Меньшее число ударов кнута получали женщины, учитывали при наказании и беременность преступницы. О дворовой девке Марфе Васильевой, которая к моменту вынесения приговора оказалась беременна, в 1747 г. вынесено решение: «Когда она от родов свободится, учинить наказание — бить плетьюми». Так и о беременной Софье Лилиенфельд в приговоре 1743 г. мы читаем: «Отсечь голову, когда она от имевшаго ея бремя разрешится» (660, 196).

Кроме того, облегчая участь преступника, судьи думали о пропагандистском эффекте, о том благоприятном впечатлении, которое произведет на общество помилование преступника или облегчение его наказания. Тем самым власть выразительно демонстрировала свою всепобеждающую мощь в наказании преступника и одновременно свою милость к падшим. Милости приурочивали к знаменательным памятным датам, важным событиям. В приговоре 1708 г. о преступнице, обвиненной в ложном «Слове и деле» и наказанной кнутом, сказано: «Следовало бы у ней вырезать язык, но помилована во здравие государя царевича Алексея Петровича» (88, 178). Милости были разные. Одним дарили жизнь, другим колесование живьем заменяли на колесование уже после отсечения головы, третьим отменяли «посаждение» на кол и четвертовали.

При вынесении приговора учитывались и многие другие обстоятельства: осведомленность или неосведомленность подсудимого о преступлении, результаты, полученные при следствии, отсутствие умысла в действиях преступника, срок предварительного заключения, тяжести перенесенных пыток и др. В 1718 г. Семена Баклановского приговорили к каторге, а не к смертной казни за то, что «к побегу царевичеву в совете с Кикиным не был и Кикин ему о том не сказывал». От смерти был избавлен и Александр Лопухин, который о главном преступлении — побеге царевича — «сведal после побегу царевичева немалое время» (8-1, 15, 18 об.). О колоднике бывшем архимандрите Львове в приговоре 1739 г. мы читаем, что хотя он и подлежит «жесточайшему наказанию и вечной ссылке в работу», но так как «в вышеобъявленном [преступлении] противного умыслу и злости за ним не показалось, а объявил что вышеозначенное все учинено простотою. И хотя оное ко оправданию ему нимало следовать не может, однакож, понеже содержан был он немалое время (в тюрьме. — Е. А.), к тому ж архимандрического и прочих чинов уже он лишен... посему учинить ему наказанье — бить плетьюми и сослать его в монастырь» (8-2, 152 об.).

Но более всего на коррекцию приговоров, особенно по важнейшим делам, мощно воздействовала сила неуправляемой самодержавной власти, делавшая порой каприз, неосновательное подозрение государя основой для опалы, обстоятельством, менявшим всю тогдашнюю логику соотношения преступления и наказания, принятую шкалу наказаний. То же было и со смягчением приговоров. И тогда недоумение приговором выражали даже те люди, которые были причастны к политическому розыску. В 1792 г. именным указом императрица Екатерина II приговорила к 15 годам заключения в крепости Н.И. Новикова, а в отношении его поделщиков ограничилась официальным выговором — «внушением» и ссылкой их по деревням. Приговор Новикову вызвал вопросы А.А. Барятинского, который с большой тщательностью готовил этот процесс и полагал, что под суровый приговор суда подпадут минимум шесть-семь масонов, связанных с Новиковым. Получив указ императрицы, Барятинский 22 июня 1792 г. писал С.И. Шешковскому: «Но позвольте мне дружески вам сказать: я не понимаю конца сего дела, как ближайшие его сообщники, если он преступник, то и те преступники! Но до них видно дело не дошло. Надеюсь на дружбу вашу, что вы недоумение мое объясните мне» (633-2, 106). В августе он вновь писал Шешковскому: «По дружбе вашего превосходительства ко мне прошу вас приватно: прочия учрежденные сей шайки, яко то: Гамалей, Поздеев, Чулков, Енгальгчев, Херасков, Чеботарев и Ключарев по допросам известной персоны, разве не так важны, как сии трое, правда, что сии более были движетели сей материи» (633-2, 108—109). Конечно, Барятинский рассчитывал раздуть из дела Новикова и его товарищей большой процесс и стать разоблачителем зловерных масонов — врагов отечества и престола. Но он не понял, что к концу следствия настроения императрицы изменились, она по неизвестным до конца причинам решила свернуть все дело.

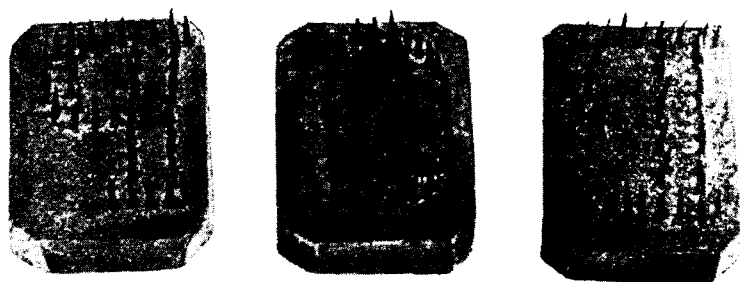
История политического сыска знает и немало случаев, когда судьба узников годами вообще никак не решалась. Типичным является постановление 1724 г. об искалеченных на пытках колодниках. Когда выяснилось, что их не берут ни в монастыри, ни на прядильные дворы, А.И. Ушаков написал об этих несчастных, что их все равно нужно держать в тюрьме, ибо, если выпустить, то «от того в народе зловерден будет» (664, 123). Так эти люди без приговора и умерли в тюрьме Тайной канцелярии.

При высочайшей конфирмации приговоров обычно суровость предложенного судом наказания снижалась. «Миловать подданных» было принято по случаю различных церковных, светских празднеств, рождений и похорон в царской семье, во время болезни, на пороге смерти монарха или при вступ-

лении на престол нового властителя. Помилования входили в «правила игры» вокруг эшафота, и их предусматривали заранее. «Сентенция о казни смертью четвертованием Бирона и конфискации имущества» была принята судом 8 апреля 1741 г., а указ о «посылке» Бирона с семьей в Сибирь был подписан за три месяца до этого — 30 декабря 1740 г. Более того, поручик барон Шкот, посланный в Пельым для строительства тюрьмы для Бирона, рапортовал 6 марта 1741 г., что заканчивает стройку и уже ставит палисад (462, 179–182).

Приговоренный к мучительной смерти всегда мог ожидать, что государь определит ему смертную казнь без мучений или «помилует» ссылкой на каторгу. Приговор к «нешадному» битью кнутом в этом случае заменяли на просто «битье кнутом», а для тех, кто приговаривался к простому кнutowанию, кнут уступал место более «щадящему» инструменту порки — батогам или плети.

В этом контексте и следует рассматривать фактическую отмену казни при Елизавете Петровне. Согласно легенде, совершая переворот 25 ноября 1741 г., цесаревна дала клятву, что, став императрицей, никогда не подпишет ни одного смертного приговора. Действительно, источники позволяют утверждать, что в царствование дочери Петра ни один человек не был лишен жизни на эшафоте и приговоренных к смерти ссылали на каторгу. Конечно, так делали и раньше, когда смертная казнь заменялась «нешадным» («жестоким») битьем кнутом, вырыванием ноздрей и ссылкой на каторгу. В петровское время при этом исходили из соображений рациональных: на стройках и рудниках не хватало рабочих рук, и поэтому не казнили даже рецидивистов. При Елизавете сделали следующий шаг. Особо знаменитым считается указ 7 мая 1744 г., который приостанавливал приведение на местах приговоров к смертной казни без санкции Сената, куда надлежало выслать экстракт из дела и ждать указа Сената (587-12, 8944; 300, 46). Указов же, одобряющих вынесенные приговоры, местные суды из Сената так и не дождались. Более того, указ 1744 г. был подтвержден в 1749 и 1753 гг. (587-13, 9586, 10101, 10113). Эта фактическая отмена смертной казни была утверждена указом 1754 г., по которому «натуральная смертная казнь», т.е. лишение преступника жизни, не отменялась, а лишь заменялась в обязательном порядке иным наказанием: «Подлежащим к натуральной смертной казни, чиня жестокое наказание кнутом и вырезав ноздри, ставить на лбу «В», а на щоках: на одной «О», а на другой «Р» и, заковав в кандалы, ссылатъ на каторгу» (587-20, 14294). Так в России на смену смертной казни пришло «нешадное наказание» кнутом. Конечно, для человека, приговоренного к смерти, кнут был предпочтительнее намыленной петли, топора или кола, но замена на кнут была часто лишь иной формой смертной казни прямо на месте экзекуции или после нее.



Клейма для осужденных («ВОР»)

Проблема смертной казни волновала и Екатерину II. На нее сильное впечатление произвела популярная в Европе книга Цезаря Беккариа 1764 г. «О преступлении и наказании», в которой была выражена свежая для тогдашних времен мысль о необходимости отменить смертную казнь и другие устрашающие казни, как бессмысленные, вовсе не устрашающие, а лишь ожесточающие нравы общества. Екатерина была в принципе согласна с Беккариа, даже преклонялась перед его теоретическими взглядами. Впрочем, не следует забывать отношение Екатерины к ученым и науке вообще. Как-то она сказала Дидро фразу, весьма уместную в данной книге: «В своих преобразовательных планах вы упускаете из виду разницу нашего положения: вы работаете на бумаге, которая все терпит, ваша фантазия и ваше перо не встречает препятствий; но бедная императрица, вроде меня, трудится над человеческой шкурой, которая весьма чувствительна и щекотлива». От юридических сочинений Екатерины и особенно от Наказа, как справедливо отмечал С.К. Викторский, остается противоречивое впечатление. С одной стороны, императрица объявляет себя «великой противницей» смертной казни, но, с другой стороны, считает смертную казнь «некоторым лекарством больного общества». Поэтому-то смертная казнь с приходом к власти Екатерины была возобновлена, и лишь с указа 6 апреля 1775 г., т.е. после подавления восстания Пугачева и казней мятежников, ее де-факто заменяют кнутом (185, 237–238).

«Заутра казнь»

Преступник, которому вынесли приговор, узнавал об этом накануне казни в тюрьме. В 1721 г. приговоренный к смерти Иван Курзанцов отказался исповедоваться и требовал, «чтобы ему, Курзанцову, объявить имянной Царского величества указ за подписанием собственной Его величества руки, по которому велено ему учинить смертную казнь» (181, 280). Из этого следует, что Курзанцову устно объявили смертный приговор в тюрьме, но указа при этом никакого не зачитывали, чем он и был недоволен. Также 4 февраля 1724 г. в журнале Тайной канцелярии записано, что «ростриге Игнатью объявлено, чтоб он готовился к смерти, которая будет ему учинена на сей недели. При том были...» — и далее названы имена караульных и канцеляриста (9-4, 30).

Объявление приговора могло последовать за несколько дней до казни или буквально за несколько часов до нее. В 1740 г. А.П. Волынскому приговор объявили заранее, за четыре дня до казни в Петропавловской крепости. Там же в день казни, 27 июня, ему совершили часть экзекуции — «урезали язык» (как и П.И. Мусину-Пушкину), завязали рот платком и повели на Обжорку, к построенному накануне, 26 июня, эшафоту. В 1775 г. Емельян Пугачев, довольно спокойно выдержавший расследование, в последние дни своей жизни дрогнул. Это видно из письма А.А. Вяземского Екатерине II: «Еще за нужное ж почитаю В.в. донести, что как Пугачев примечен весьма робкого характера, почему при вводе его пред собрание [судом] зделано оно-му было возможное одобрение, дабы по робости души его не зделалось ему самой смерти, то и приказал я, чтоб священника не прежде к нему допустить, как пред решением за день, коему дам наставление к его ободрению. Теперь, в рассуждение сей его робости, точно еще не решился, объявлять ему пред собранием сентенцию (приговор. — Е. А.) или же объявить оную там, откуда поведен будет и о сем советовать с собранием и как положат, то и зделаю» (196, 201).

То, что генерал-прокурор сомневался, провозглашать ли приговор Пугачеву перед судом в Кремле или ограничиться чтением его прямо в тюрьме

незадолго до казни, можно объяснить опасениями, что Пугачева от волнения поразит удар и он не доживет до своей столь нужной власти смерти на эшафоте. Вяземский так и не решился привезти Пугачева в Кремль для объявления приговора в суде. 9 января 1775 г. он вместе с М.Н. Волконским и С.И. Шешковским явился на Монетный двор, где сидел Пугачев, и объявил ему, а также его товарищам смертный приговор. Пугачев воспринял приговор спокойно, пришедший к нему священник исповедал его, а потом и других приговоренных. Все они, кроме старообрядца Перфильева, как потом писал исповедник, «с сокрушением сердечным покаилися в своих согрешениях пред Богом», и это позволило освободить их от церковного проклятия — анафемы (612, 178; 684-7, 97).

С момента объявления приговора священник становился главным человеком для осужденного. Согласно позднейшей инструкции (1840 г.), священник был обязан вселять в душу преступника страх Божий и «возбуждать расположение к чистосердечному раскаянию в соделанном преступлении» (711, 220). Священник сопровождал процессию до самого эшафота, где в последнюю минуту давал преступнику приложиться к кресту. Накануне казни надзор за приговоренным усиливался, охрана внимательно следила за каждым жестом преступника, стремясь не допустить попыток самоубийства или побега. Степан Шешковский и начальник охраны Пугачева Алексей Галахов даже ночевали в Монетном дворе, чтобы накануне предстоящей казни быть неподалеку от своего подопечного. В XVII в. закон предполагал, что приговоренный к смертной казни после приговора должен просидеть шесть недель в покаянной палате (избе) в тюрьме, чтобы подготовить себя к смертному часу («И пытан, и приговорен был к смерти, и сидел в покаянной» — 790, 213). Шестинедельный срок был установлен Уложением 1649 г., но Новоуказные статьи сократили срок до одной недели, хотя и эта неделя давалась не каждому приговоренному (673, 91; см. 526, 287—288). Впрочем, были и исключения. Сильвестр Медведев, казненный в феврале 1691 г., сидел «в твердом храниле» год после вынесения приговора. Перед казнью он был «паки пытан огнем и иными истязыими» (595, 371, 373). Пытали перед казнью Степана Разина и его брата Фрола, а позже самозванца лже-Симеона Алексеевича. Если о Разине известно, что предказневые пытки ему были даны жестокие (615, 119), то лже-Симеона пытали немного («пытка ему небольшая» — 104-4, 529). Так было и в других странах. Во Франции так называемые ординарная и экстраординарная пытки перед казнью считались обязательными. С их помощью пытались добиться признания, раскаяния преступника, стремились выяснить дополнительные подробности, узнать имена сооб-

шников. пытки эти были крайне жестоки. Приговоренного пытали тиска-ми, «испанским сапогом», клещами и др. (642-1, 122-123). Разина, Лже-Симе-она и их сообщников пытали по той же «программе»: «Указано их, воров, расспрашивать накрепко и пытать всякими жестокими пытками одни ли они такой умысел воровской умышляли? и присылки от кого к ним не было ль? и писем и иных каких людей всяких чинов в заговоре с ними не было ль?» (104-4, 528). В XVIII в. никаких покаянных палат уже не было и срока на по-каяние давали мало — день-два, а предказневые пытки вообще были отме-нены. Отпущенное судом время уходило на душеспасительные беседы со священником, исповедь, и если приговоренный своим чистосердечным рас-каянием этого заслуживал, то и на причастие.

Как вели себя люди, узнав о предстоящей казни, известно мало. Арте-мий Волинский после прочтения ему приговора к смертной казни разгова-ривал с караульным офицером и пересказывал ему свой вещий сон, при-снившийся накануне. Потом он сказал: «По винам моим я наперед сего смерти себе просил, а как смерть объявлена, так не хочется умирать». К нему несколько раз приходил священник, с которым он беседовал о жизни и даже шутил — рассказал попу «соблазнительный анекдот об одном духовнике, исповедовавшем девушку, которая принуждена была от него бежать». Кро-ме того, за два дня до казни, как сообщал дежурный офицер, «изъявлял по одному делу негодование свое против графа Гаврила Ивановича Головкина, говоря: “Будем мы в том судиться с ним на оном (т. е. на ином. — Е. А.) све-те”» (304, 164). Так же свободно вел себя перед казнью Мирович (566, 480).

Естественно, что не каждый мог так мужественно и спокойно встретить известие о предстоящих испытаниях. Духом беспокойства и страха перед будущим проникнуто письмо 1727 г. П.А. Толстого некоему Борису Ивано-вичу — возможно, своему управителю: «По указу Ея и.в. кавалерия и шпага с меня сняты и велено меня послать в Соловецкий монастырь от крепости (Петропавловской. — Е. А.) прямо сего дня, того ради, Борис Иванович, можешь ко мне приехать проститься... и немедленно пришлите Малова и Яшку с постелью, подушкой и одеялом, да денег двести рублей, да сто червонных, также чем питаться, и молитвенник и псалтирь маленькую и прочее, что забла-гогорассудите... а более писать от горести не могу, велите... кафтан овчинной и более не знаю, что надобно» (127, 91). В 1742 г. советнику полиции князю Якову Шаховскому поручили объявить опытным сановникам приговор о ссылке в Сибирь и немедленно отправить их с конвоем из Петербурга. Он заходил к каждому из узников Петропавловской крепости и читал им приговор. Люди по-разному встречали своего экзекутора. Вначале Шаховской зашел в казар-

му, где сидел бывший первый министр А.И. Остерман — большой, как мы видели выше, любитель и знаток сыского дела: «По вступлении моем в казарму, увидел я одного бывшего кабинет-министра графа Остермана, лежащего и громко стenanющего, жалуюсь на подагру, который при первом взоре встретил меня своим красноречием, изъявляя сожаление о преступлении своем и прогневлении... монархини».

Тяжелой для Шаховского оказалась встреча и с бывшим обер-гофмаршалом графом Рейнгольдом Густавом Левенвольде. Это был один из типичных царедворцев того времени — холеный вельможа, обычно надменный и спесивый. Не таким он предстал перед Шаховским: «Лишь только вступил в оную казарму, которая была велика и темна, то увидел человека, обнимающего мои колени весьма в робком виде, который при том в смятенном духе так тихо говорил, что я и речь его расслушать не мог, паче ж что вид на голове его всклоченных волос и непорядочно оброслая седая борода, бледное лицо, обвалившиеся щеки, худая и замаранная одежда нимало не вообразили мне того, для которого я туда шел, но думал, что то был кто-нибудь по иным делам из мастеровых людей арестант ж».

В таком же плачевном виде оказался и третий арестант — М.Г. Головкин: «Я увидел его, прежде бывшего на высочайшей степени добродетельного и истинного патриота совсем инакова: на голове и на бороде отрослые долгие волосы, исхудалое лицо, побледнелый природный на щеках его румянец, слабый и унылый вид сделали его уже на себя непохожим, а притом еще горько стenal он от мучающей его в те часы подагры и хирагры».

И только фельдмаршал Миних показал себя мужественным человеком и на пороге тяжких испытаний выглядел молодцом: «Как только в оную казарму двери передо мною отворены были, то он, стоя у другой стены возле окна ко входу спиною, в тот миг поверотясь в смелом виде с такими быстро растворенными глазами, с какими я его имел случай неоднократно в опасных с неприятелем стражениях порохом окуриваемого видать, шел ко мне навстречу и, приближаясь, смело смотря на меня, ожидал, что я начну» (788, 38—47).

Прежде чем рассказать о процедуре публичной казни, остановлюсь на тайных казнях. К их числу относится казнь царевича Алексея Петровича. Как известно, есть две основные версии причины его смерти. Согласно одной из них, царевич умер от последствий пыток, согласно другой — его тайно казнили в Петропавловской крепости после вынесения смертного приговора. А.И. Румянцев сообщал в одном из своих писем, что вместе с ним царевича казнили ближайшие сподвижники Петра I П.А. Толстой, И.И. Бутурлин и А.И. Ушаков. Они удушили Алексея подушками в казарме Петро-

павловской крепости: «На ложницу (ложе. — Е. А.) спиною повалили и, взяв от возглавья два пуховика, глаза его накрыли, пригнетая, дондеже движения рук и ног утихли и сердце биться перестало, что сделалось скоро ради его тогдашней немощи; и что он тогда говорил, того никто разобрать не мог, ибо от страха близкой смерти ему разума помрачение сталося. И как то совершилося, мы паки положили тело царевича, яко бы спящего и, помолившись Богу о душе, тихо вышли. Мы с Ушаковым близ дома остались, да кто-либо из сторонних туда не войдет; Бутурлин же, да Толстой к царю с донесением о кончине царевичевой поехали» (752, 616—628).

Есть серьезные сомнения в подлинности письма (см. 752, 616—628; 806), хотя факт насильственной смерти царевича кажется почти несомненным. Есть и другие версии казни царевича. Наиболее правдоподобной кажется та, которая основана на записках Генриха Брюса. Она сводится к тому, что царевича казнили, дав ему бокал с ядом (335; 752, 291—292). Как бы то ни было, можно утверждать, что смерть Алексея произошла в самый, если так можно сказать, нужный для Петра I момент. 24 июня 1718 г. суд приговорил царевича к смерти. Этот приговор предстояло конформировать самому государю. Иначе говоря, Петр I должен был либо одобрить приговор, либо его... отменить. На раздумье Петру отводилось несколько дней — 27 июня начинался великий праздник его царствования — годовщина победы под Полтавой, а 29 июня праздновали день рождения царя в церковный праздник святых Петра и Павла. К этим датам логичнее всего было приурочить акт помилования. Но, по-видимому, у Петра была другая цель — покончить с сыном, который, по его мнению, представлял опасность для детей от второго брака с Екатериной и для будущего России. Но как это сделать? Одобрить приговор означало для Петра не только отправить собственного сына на смерть (факт сам по себе страшный), но привести приговор в исполнение, т.е. вывести царевича на эшафот и публично пролить царскую кровь! Но даже Петр I, не раз пренебрегавший общественным мнением, на это не решился. Он не мог не считаться с последствиями публичного позора для династии, когда один из членов царской семьи попадал в руки палача. Не забудем, что после Стрелецкого розыска 1698 г. у Петра были основания расправиться и с царевной Софьей — серьезнейшим конкурентом в борьбе за власть, однако по той же причине он не решился этого сделать и ограничился лишь заточением сестры в монастырь. С Алексеем заточение в монастыре проблемы не решало. Пролитие же царской крови считалось в те времена вещью недопустимой. Как известно, казни английского короля Карла I и французского короля Людовика XVI воспринимались в европейском обществе (добавим — монархическом) как серьезнейшее нарушение устоев обще-

ственной и государственной жизни. В России это понимали подобным же образом. Стоит вспомнить последствия убийства Бориса и Глеба, а также кровь царевича Дмитрия, которая в народном сознании тяжким бременем легла на душу Бориса Годунова и породила Смуту. Когда Арсений Мациевич узнал, что охранники убили Ивана Антоновича, то сказал словами, которые бы поддержали многие: «Как же дерзнули... поднять руки на Ивана Антоновича и царскую кровь пролить?» (591, 507). Словом, тайная казнь царевича оставалась для Петра единственным выходом из крайне затруднительного положения, в котором оказался царь, сгоряча устроивший «законный суд» над сыном и добившийся вынесения ему смертного приговора.

Тайная казнь Алексея не была в Петропавловской крепости единственной. В 1735 г. о нераскаявшемся старообрядце Михаиле Прохорове был утвержден приговор: «Казнить смертью в пристойном месте в ночи» (43-4, 16). В 1738 г. приговорили к смерти старообрядца Ивана Павлова. Его судьбу, именем императрицы, решили кабинет-министры А.И. Остерман, А.М. Черкасский и А.П. Волынский: «Учинить смертную казнь в пристойном месте — отсечь ему голову, а потом мертвое его тело, обшив в рогожу, бросить в пристойном месте в реку». Из журнала Тайной канцелярии известно, что «того ж февраля 20 дня, по вышеобъявленному определению помянутому раскольнику Ивану Павлову смертная казнь учинена в застенке по полудни в восьмом часу и мертвое его тело в той ночи в пристойном месте брошено в реку». Так как была зима, то, надо полагать, труп Павлова спустили под лед, а совершившие эту казнь, больше похожую на преступление, чем на наказание государственного преступника, при этом были строго предупреждены: «А кто при оном исполнении были, тем о неимении о том разговоров сказан Ея и.в. указ с подпискою» (710, 132). Думаю, что тайные казни проводились для того, чтобы не устраивать из казни стойких старообрядцев (а именно таким был Павлов, добровольно пошедший на муки) некую демонстрацию, публичное признание своего бессилия перед силой убеждений старообрядцев, ведь Прохоров и Павлов не раскаялись и из своего эшафота могли устроить трибуну.

Тайно сжигали и «воровские» документы, запрещенные книги. По приговору 1683 г. о бумагах старообрядцев решено: «А которые письма они, воры, писали и вымышляли, и те жечь тайно» (718, 15). Через сто лет Екатерина II писала Якову Брюсу о какой-то книге, что Шешковский не советовал устраивать ее публичной казни, «понеже в ней государские имена и о Боге много написано, и так довольно будет, отобрав в Сенат, истребить не палачом» (358, 453).

Конечно, вся процедура публичной казни пронизана символикой, но в данном случае идет речь об особой *символической казни* в отсутствии живого преступника. Выделим несколько видов такой экзекуции: казни трупов, казни документов и предметов, казни изображений преступников. Казнь покойников, власть демонстрировала, что у нее такие длинные руки, что преступнику не будет покоя и после того, как жизнь покинет его тело. При Петре I экзекуцию над Соковниным и Цыклером в 1698 г. сочетали со страшным церемониалом посмертной казни боярина И.М. Милославского, умершего за 14 лет до казни заговорщиков. Боярина обвиняли, что он-то и был при жизни духовным наставником заговорщиков. Труп Милославского извлекли из фамильной усыпальницы, доставили в Преображенское к месту казни в саних, запряженных свиньями. Гроб открыли и поставили возле плахи, на которой рубили головы преступникам: «Как головы им секли, и руда (кровь. — Е. А.) точила в гроб, на него Ивана Милославского». Затем труп Милославского разрубили и части его зарыли во всех застенках под дыбами (290, 257).

Символические казни покойников были приняты в России. Они были тесно связаны со всей системой власти и отношений в России. Жизнь и смерть государева холопа любого уровня — от дворового до первого боярина — была в руках государя, и только он мог распоряжаться ими. О старообрядцах, которые добровольно сгорали в «гарях», в указах писали: «Самовольством своим сожглись» (278–10, 21). Самоубийство рассматривалось не только как греховное деяние против Бога, давшего человеку жизнь, но и как вид дезертирства, пренебрежения волей самодержца. Согласно Артикулу воинскому 1715 г., палачу надлежало труп самоубийцы «в бесчестное место отволочь и закопать, волоча прежде по улицам или обозу». Военнослужащего, пойманного при попытке самоубийства, вылечивали, а потом вешали как преступника (626–4, 358; 751, 149). Закон этот распространялся не только на военных. В 1767 г. архангельский мастеровой Быков удавился в собственном доме, и его, как видно из дела Арсения Мациевича, «мертвое тело ташено было, по резолюции господина обер-коменданта Ганзера, профосами по улицам в страх другим» (483, 626).

Приговоренный к смерти преступник, «улизнувший» на тот свет, все равно подвергался экзекуции. В 1725 г. об умершем до приговора преступнике Якове Непеине было сказано: «Мертвое тело колодника... за кронверхом на указном месте, где чинят экзекуции, повесить», что и было сделано 6 сентября: «И мертвое ево тело повешено» (9–3, 133 об.; 9–4, 81). В проекте Уложения 1754 г. прежняя норма казни самоубийц была подтверждена: «Мертвое

его тело, привязав к лошади, волоча за ноги повесить, дабы смотря на то другие такового над собою беззакония чинить не отваживались» (596, 101).

Казнили (в основном на огне) не только людей, но и различные предметы, связанные с преступлением. Чаще всего это были подметные письма, «воровские», «волшебные» тетради, а также книги, признанные «богопротивными» или наносящими ущерб чести государя. В 1708 г. казнили куклу изменника Ивана Мазепы. В экзекуции участвовали канцлер Головкин и А.Д. Меншиков, которые содрали с истукана Андреевскую ленту, а палач вздернул его на виселице. В 1718 г. на виселице была повешена «персона» (возможно, портрет), «яко изменничья», генерала Фридриха Ностица. Он бежал с русской службы, прихватив большую сумму денег (295, 240). Осенью 1775 г. в Казани была устроена казнь портрета Емельяна Пугачева. Перед толпой сначала зачитали указ Секретной комиссии: «Взирайте, верные рабы великой нашей государыни и сыны Отечества!.. Здесь видите вы изображение варварского лица самозванца и злодея Емельяна Пугачева. Сие изображение самого того злодея, которому злые сердца преклонились и обольщали простодушных... Секретная комиссия по силе и власти, вверенной от Ея и.в. определила: сию мерзкую харю во избличение зла, под виселицей, сжечь на площади и объявить, что сам злодей примет казнь мучительную в царственном граде Москве, где уже он содержится». Выведенная перед толпой вторая жена Пугачева Устинья публично объявила, что она жена Пугачева и сжигаемая «харя есть точное изображение изверга и самозванца ее мужа» (286-3, 314—315).

Обратимся теперь к *«технологии» публичной казни*. В утробе казни к приговоренному приходили назначенный старшим экзекутором чиновник, священник и начальник охраны. Преступник мог дать последние распоряжения о судьбе своих личных вещей, драгоценностей: что-то он отдавал священнику, охранникам, что-то просил передать на память детям или продать, чтобы вырученные деньги раздали нищим. Так поступил А.П. Волынский (304, 165). Из материалов XVIII в. не следует, что преступника перед экзекуцией переодевали, как было в XIX в., в свежее белье, в специальную черную (траурную) одежду или саван, хотя известно, что Разина, а потом самозванца лже-Симеона везли на казнь «в кафтанишке черном, сермяжном» (104-4, 529). Зато Янсена в 1696 г. везли на казнь одетым в турецкую одежду — он был изменник и, перебежав к туркам в Азов, принял мусульманство. Из описания казни Евграфа Грузинова и его сообщников в 1800 г. видно, что на преступников перед казнью надели какие-то «страшные колпаки, опущенные по самую землю» (375, 575). Специальная одежда для при-



Публичная казнь

говоренных появилась не позже 1840-х гг., когда преступнику стали выдавать суконный черный кафтан и шапку.

На грудь преступника уже в XVII в. привешивали с помощью перекинутой вокруг шеи бечевки черную табличку с надписью о виде преступления. Так, на шее у Янсена в 1696 г. висела такая табличка: «Сей злодей веру свою четырежды пременял, пленник стал Богу и человеком, кафолик сын стал протестант, потом грек, а в конец магометанин» (278-12, 389). По указу Екатерины II, принятому в 1770 г., на грудь самозванца — беглого солдата Кремнева повесили доску с надписью большими буквами: «Беглец и самозванец», а на груди его сообщника — попа Евдокимова — доску с надписью: «Помощник самозванцу и народного спокойствия нарушитель и лжесвидетель» (711, 214 и др.).

Преступника либо вели к месту казни пешком, либо везти на специальной повозке, так называемой «позорной колеснице». Согласно Уставной книге Разбойного приказа и мемуарам, в XVII в. преступников

вы в о д и л и на казнь (538-5, 194). В конце XVII — XVIII в. использовали оба способа. Михаил Шеин и его сообщники, сдавшие полякам Смоленск, в 1634 г. были «поведены к казни за город, на пожар» (т.е. на пустырь) (103-3, 384). Степана Разина везли на специальной платформе прикованного к установленной на ней виселице. Тут же стояла плаха с топором. Янсена в 1696 г. везли на подобной же платформе, на которой зрители видели виселицу, топоры, орудия пытки. Рядом с преступником ехали двое палачей с плахой и топорами (290, 248). На телегах по двое, со свечами в руках, сидели стрельцы, которых 30 сентября 1698 г. везли для казни из Преображенского в Москву. Все это, по-видимому, выглядело как на известной картине В.М. Сурикова «Утро стрелецкой казни», правда с той только поправкой, что массовые казни проводились в разных местах Москвы, а на Красной площади казнили 18 октября только 10 человек да еще у тиунской избы, которая стояла возле собора Василия Блаженного, двоих бывших полковых попов (163, 114, 116).

В 1723 г. П.П. Шафирова везли к эшафоту в Кремле «на простых санях» (150-3, 20). В 1740 г. на Обжорку Воынский и его конфиденты шли пешком, как и в 1742 г. на площадь перед коллегиями на Васильевском острове шли Миних, Головкин и другие приговоренные. Только больного А.И. Остермана доставили туда на простых дровнях. Для Василия Миновича в 1764 г. сделали какой-то особый экипаж. 18 октября 1768 г. Салтычиху везли к эшафоту на Красной площади в санях. Для Пугачева в 1775 г. изготовили высокие сани четверней, выкрашенные в черный цвет. Как писал современник, посредине экипажа был столб, к нему привязан преступник, сидевший на скамейке между священниками. Палач стоял сзади с двумя топорами на плахе. «Мне явно было заметно, что это зрелище произвело сильное впечатление на многочисленных зрителей, которые заполняли всю площадь» (573, 81—82)¹.

Действительно, вместе с Пугачевым, державшим в руках по принятому тогда обычаю зажженные свечи, были два священника (684-9, 147), но на позорной колеснице никакого палача с двумя топорами не было. Вместе со священниками там был начальник конвоя капитан А.П. Галахов. Евграфа Грузинова и его товарищей в 1800 г. доставили к месту казни на каком-то катафалке (375, 575). В XIX в. «высокую колесницу» использовали при казнях постоянно (423, 210).

¹ Глава «Народ у эшафота», которая посвящена реакции людей, пришедших посмотреть на смертную казнь, из-за своего объема в книгу не вошла и опубликована в журнале «Звезда» (1998. № 11).

Позорную колесницу (или пешего приговоренного) от тюрьмы до площади казни сопровождал *конвой* — воинская команда с офицером во главе. Этот офицер, начальник конвоя, назначался особым указом заранее, и его миссия была очень важной: вся ответственность за проведение экзекуции и порядок на месте казни лежали на нем. До наших дней дошла одна из таких инструкций начальнику конвоя. Так, в день казни братьев Гурьевых и Петра Хрушова в Москве гвардейский офицер, назначенный начальником конвоя, должен был явиться к сенатору В.И. Суворову и «требовать известных преступников письменно». Оформив прием и получив приговоренных на руки, он назначал к каждому из преступников по восемь солдат и одному сержанту под командой офицера. Другие солдаты вставали в каре вокруг преступников. Следовал сигнал, и под бой барабанов начиналось движение к лобному месту (244, 100; 245).

Пастор Зейдер, приговоренный в 1800 г. к 20 ударам кнута и пожизненной ссылке в Нерчинск, в рудники, так описывал процедуру выхода на казнь: «Один из офицеров, по-видимому старший чином, сделал знак гренадеру, тот подошел ко мне и велел мне следовать за собою. Он повел меня во двор полиции. Боже! Какое потрясающее зрелище! Солдаты составили цепь, раздалась команда и цепь разомкнулась, чтобы принять меня. Двое солдат с зверским выражением схватили меня и ввели в круг. Я заметил, что у одного из них подмышкой был большой узел, и я убедился в страшной действительности: меня вели на лобное место, чтобы исполнить самое ужасное из наказаний — настал мой последний час! Цепь уже замкнулась за мною, когда я поднял глаза и увидел, что все лестницы и галереи двора были переполнены людьми. Моему взгляду ответили тысячи вздохов, тысячи стонов... Мы двинулись на улицу. Отряд всадников обступил окружавших меня солдат. Медленно двигалось шествие вдоль улиц, я шел посредине твердым шагом, глаза мои, полные слез, были обращены к небу. Я не молился, но всеведущий Господь понимал мои чувства!..

Наконец, мы дошли до большой, пустой площади. Там уже стоял другой отряд солдат, составлявший тройную цепь, в которую меня ввели. Посредине стоял позорный столб, при виде которого я содрогнулся, и нет слов, которые бы могли выразить мое тогдашнее настроение духа. Один офицер верхом, которого я считал за командующего отрядом и которого, как я слышал впоследствии, называли экзекутором, подозвал к себе палача и многозначительно сказал ему несколько слов, на что тот ответил: «Хорошо!» Затем он стал доставать свои инструменты. Между тем я вступил несколько шагов вперед и, подняв руки к небу, произнес: Всеведущий Боже! Тебе известно, что я невиновен! Я умираю честным! Сжался над моей женою и

ребенком, благослови, Господи, государя и прости моим доносчикам!» (см.: 139, 590; 616, 469).

Зейдер продолжает: «Потом я сам разделся, простоял несколько минут голый и затем меня повели к позорному столбу. Прежде всего мне связали руки и ноги. Я перенес это довольно спокойно, когда же палач перекинул ремень через шею, чтобы привязать мне голову, то он затянул ее так крепко, что я громко вскрикнул. Наконец, меня привязали к машине (о «машине» будет сказано ниже. — Е. А.). С первым ударом я ожидал смерти, мне казалось, что душа моя покинула свою земную оболочку. Еще раз вспомнил я о жене и ребенке и попрощался уже с землею, услышав, как страшное оружие снова засвистело в воздухе» (520, 480).

Прокомментируем рассказ пастора с того момента, когда он описывает, как процессия подошла к площади — *месту казни*. Надо думать, что его вели из Полицейской канцелярии к одной из конских площадок, где продавали лошадей, но иногда кнутовали уголовников. В конце XVIII в. в Петербурге было два таких места: у Александро-Невского монастыря и «у Знамения», т.е. на Знаменской площади. Казнь пастора, судя по описанному им пути, происходила на Знаменской площади и не напоминала собой грандиозные публичные казни, которые проводились на рыночных площадях, торгах, перед казенными зданиями, при большом стечении приглашенного народа. После основания Петербурга местом таких публичных казней стала Троицкая площадь, точнее «близ Гостиного двора у Троицы на въезде в Дворянскую слободу» (755, 617). «По новгородскому делу рослопе Игнатью, — читаем в журнале Тайной канцелярии 1724 г., — экзекуция учинена на площади против Гостиного двора — голова отсечена» (9-4, 33 об. — 34).

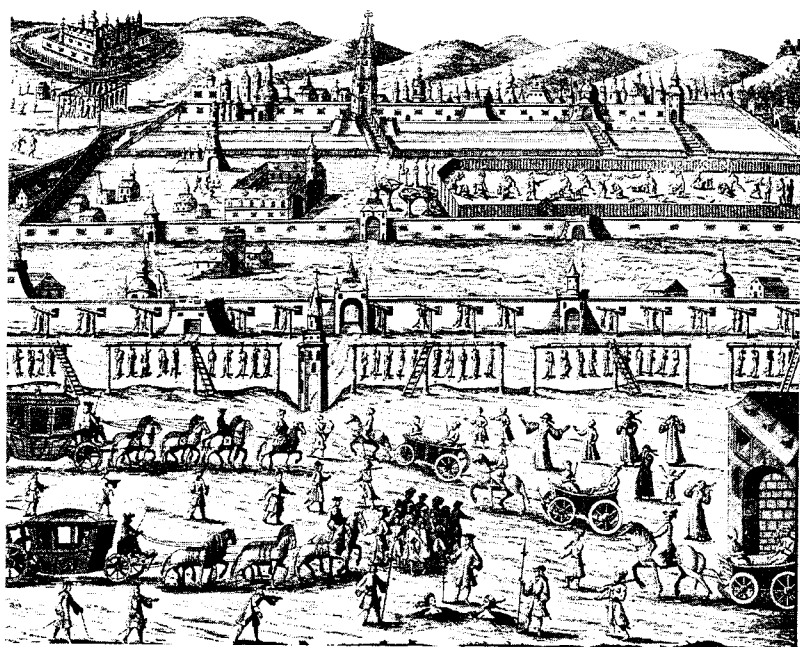
Проводились экзекуции и в самой Петропавловской крепости, на Плясовой площади. Но более всего известно место казней «за кронверком», «на Санкт-Питер-Бурхском острове на лобном месте у каменного столба» (другие названия: «Новая площадь» у Сытного рынка, «Съестной рынок», «Обжорка»). Здесь рубили головы, вешали и секли кнутом как простых уголовников, так и важных государственных преступников: «Колоднику розстриге Якову Воейкову экзекуция учинена за крон-верхом у столба — бит кнутом и ноздри вырваны» (9-4, 83, 10). В 1724 г. секли кнутом доносчика Якова Орлова «за кронверком у столпа» (19, 99). Здесь же на столбе и колесах выставались тела казненных (752, 618). В 1735 г. на Обжорке казнили Егора Столетова, Андрея Жолобова, а летом 1740 г. сложили свою голову А.П. Вольтинский и его конфиденты. Казнь Остермана и других в январе 1742 г. была проведена на Васильевском острове, перед зданием Двенадцати коллегий. Там же казнили в следующем, 1743 г. и Лопухиных.

В выборе в новой столице места для казни можно усмотреть московскую традицию. В старой столице казнили в трех основных местах: на торговой площади — Красной (Сильвестра Медведева казнили «у Лобного места, на площади пред (или противу) Спасских ворот» — 387, 48; 692, 12), перед зданиями приказов в Кремле, а также на пустыре у Москвы-реки, известном как «Козье болото» или просто «Болото». Здесь лишились жизни Разин, Пугачев и множество других преступников. Первая же публичная казнь политических преступников в Москве отмечена в 1375 г. Тогда по указу князя Дмитрия Ивановича отсекли голову бежавшим к тверскому князю боярину И.В. Вельяминову и купцу Сурожанину (679, 519).

По-видимому, казнь на поганом пустыре, обычно заваленном разным «скарעדством», на грязной площади Обжорки имела и символический, позорящий преступника оттенок — не случайно тело преступника (как это было с телом Разина) оставляли на какое-то время среди падали и мусора и даже не отгоняли псов, которые рвались к кровавым останкам. Вероятно, из тех же соображений для казни семьи Долгоруких в 1739 г. выбрали болотистый пустырь — Скудельниче поле у стен Новгорода. Публичную казнь не проводили вдали от городов. Наоборот, делалось все, чтобы казни видело возможно большее число людей. Идеальным считалось, чтобы казнь состоялась на месте совершения преступления, на родине преступника и при скоплении народа. Но совместить эти условия было непросто, поэтому считалось достаточно выбрать наиболее людное место, если речь шла о казни в столице.

В допетровской Москве и других городах эшафот строили на Красной площади возле Лобного места, сохранившего до сих пор каменное сооружение наподобие погребца. С его крыши читали указы и вели церковную службу (692, 3). Как уже сказано, указ о возведении «эшафота с потребностями, употребя на оное наличные деньги от Главной полиции» (410, 280) полиция получала буквально накануне казни, так что плотники рубили сооружение даже ночью, при свете костров. Это тоже характерный момент публичных казней — эшафот строили обычно в ночь перед экзекуцией. Возможно, так стремились предотвратить попытки сторонников казнимого подготовиться к его освобождению (прокопать к месту экзекуции подземный ход, заложить мину и т.д.).

Эшафот, возвышавшийся на площади, представлял собой высокий деревянный помост. Эшафот Пугачева был высотой в четыре аршина (почти 3 м). Он имел ограждение в виде деревянной невысокой балюстрады. Наверх с земли шла крутая лесенка. Делалось такое высокое сооружение для того, чтобы всю процедуру казни видело как можно больше людей. Помост был вместительным — на нем ставили все необходимые для казни орудия и приспособления. Речь идет о позорном столбе с цепями, виселицах, дубовой плахе, кольях. Сверху специального столба горизонтально к земле прикрепля-



Казни стрельцов в октябре 1698 г.

лось тележное колесо для отрубленных частей тела. Все это ужасавшее зрителей сооружение венчал заостренный кол или спица, на которую потом водружали отрубленную голову преступника.

Но казнили и без всякого эшафота. Сотни стрельцов в 1698 г. лишились голов или были повешены в самых разных, преимущественно людных местах Москвы: у полковых канцелярий взбунтовавших полков и возле тринадцати въездных ворот Белого города, причем часть трупов висела на бревнах, которые были вставлены в зубах городских стен, а также под Новодевичьим монастырем и на его стенах (163, 68-69 и др.). В своих записках де Бруин рассказывает о казни тридцати астраханских стрельцов — участников восстания, которую он видел в ноябре 1707 г. Для их казни прямо на землю были положены в виде длинного треугольника пять брусьев, на каждый из них клали свои головы шесть человек. Палач подходил к одному за другим и ударом топора отсекал им головы (170, 217).

Зейдер видел, как палач (скорее всего, это был полковой профос) что-то нес под мышкой, и догадался, что это орудия его будущей казни. Действи-

тельно, палач прибывал на казнь со своим инструментом, причем постепенно сложился особый «комплект палача» — так называли в 1840 г. набор предписанных инструкцией палаческих инструментов. Палачу полагался целый фургон, на котором он, скрытый от зрителей, заранее приезжал сам и привозил свои инструменты. (Ранее же палач, как уже сказано, следовал в процессии на лобное место вместе со своим «клиентом»). В утвержденный законом в 1840 г. «комплект палача» входили: три кнута с запасными концами, шесть ремней с кольцами для закрепления преступника, три комплекта штемпелей для клеймения преступника (711, 212).

В XVIII в. такой «регулярности», судя по документам, не было, хотя палач-профессионал, который служил и экзекутором при казни, и заплечным мастером в сыске, был снабжен всем необходимым. Впрочем, набор инструментов зависел от вида предстоящей казни. Кроме кнутов, плетей, бато-гов, розог, клейм (штемпелей) палач имел топор (или меч) для отсечения головы, пальцев, рук и ног, шипцы для вырывания ноздрей, клещи, нож для отсечения ушей, носа и языка и других операций, ремни, веревки для привязывания преступника и т.д. Особой подготовки требовало «посаждение» на кол. К числу предметов для этой экзекуции относились тонкий металлический штырь или деревянная жердь. Переносная жаровня и угли требовались палачу, если экзекуция включала предказневые пытки огнем.

Палач был главной (разумеется, кроме самого казнимого) фигурой всего действия. В XVIII в. ни одно центральное или местное учреждение не обходилось без штатного «заплечного мастера». С древних времен палачами могли быть только свободные люди, об этом говорила статья 96 21-й главы Уложения 1649 г., а также боярский приговор 16 мая 1681 г., в котором уточнялось, что речь идет о свободных посадских людях. Решение бояр объясняется трудностями с добровольцами для этой работы. При отсутствии охотников власти насильно отбирали в палачи «из самых молодчих или из гулящих людей, чтобы во всяком городе без палачей не было». Олеарий пишет, что при нехватке палачей власти брали на эту работу мясников (526, 291). В армии обязанности палача выполнял профос — служащий военно-судебного ведомства. Всю же экзекуционную службу в полках возглавлял генерал-экзекутор.

В обществе к палачам относились с презрением и опаской, хотя законы утверждали, что палачи «суть слуги начальства» (626-4, 364). В России, как и в Западной Европе, общества кнutoбойцев и палачей честные люди избегали, но работа эта была выгодной и денежной (526, 291). Примечательна запись в журнале Тайной канцелярии от 1738 г.: «Объявление заплечных мастеров Федора Пушникова, Леонтия Юрьева при котором привели в Тайную канцелярию города Ядрина посацкого человека Дмитрея Братанцова в назывании онаго

Юрьева разбойником» (10-3, 51 об.). Палаческие обязанности являлись пожизненными и, возможно, потомственными. Среди палачей были свои знаменитости. Исследователь Сибири С.В. Максимов пишет, что распространенная в Сибири фамилия Бархатов принадлежит потомкам знаменитого московского ката. Об обер-кнутмейстере (старшем палаче) Петра I рассказывает в своем дневнике Берхгольц. Этого человека называли «виташий» (термин непонятный, но, как пишет Берхгольц, «было бы слишком грязно рассказывать и при этом достаточно известно»). Он упал с лестницы и умер, что очень огорчило императора, которому он служил не только на эшафоте и в застенке, но и при дворе, исполняя роль шута (150-1, 166—167; 150-2, 97).

Палачами могли стать только люди физически сильные и неутомимые — заплочная работа была тяжелой. Палачу нужно было иметь и крепкие нервы — под взглядами тысяч людей, на глазах у начальства он должен был сделать свое дело профессионально, т.е. быстро, сноровисто. Из некоторых источников видно, что в момент казни палач испытывал большую психологическую нагрузку. Как вспоминает современник, во время чтения приговора о казни полковника Евграфа Грузинова, Ивана Апонасьева и других их товарищей в Черкасске 27 октября 1800 г. «сделалось так тихо, как будто никого не было. Определение прочитано, весь народ в ожидании чего-то ужасного замер... (добавим от себя, что в момент казни люди снимали шапки. — Е. А.). Вдруг палач со страшною силою схватывает Апонасьева и в смертной сорочке повергает его на плаху, потом, увязавши его и трех товарищей-гвардейцев, стал, как изумленный, и несколько времени смотрит на жертвы... Ему напомнили о его обязанности, он поднял ужасный топор, лежавший у головы Апонасьева. И вмиг, по знаку белого платка, топор блеснул и у несчастного не стало головы» (375, 575). Напряжение было так велико, что палачи и перед экзекуцией, и по ходу ее (особенно если она затягивалась) пили водку, чем себя взбадривали (678, 170; 608, 79).

Профессия палача требовала специфических навыков и приемов, которым обучали его коллеги — старые заплочные мастера. Твердость руки, сила и точность ударов отрабатывались на муляжах и изображениях. А.Г. Тимофеев пишет, что палачи тренировались на берестяном макете человеческой спины. Как и ровно разглаженный холмик сырого песка, мягкая береста позволяла судить о точности удара. Во время фактической отмены смертной казни в 1741—1761 гг. палачи двадцать лет никого не казнили и утратили квалификацию. Поэтому для казни В.Я. Миновича в 1764 г. в полиции тщательно отбирали одного палача из нескольких кандидатов. Накануне он «должен был одним ударом отрубить голову барану с шерстью, пос-

ле нескольких удачных опытов, допущен к делу и... не заставил страдать несчастного». Французские палачи отрабатывали удары на бойнях (566, 480).

По-видимому, навыки палача не ограничивались умением владеть кнутом или топором, но требовали и некоторых познаний в анатомии, что было необходимо при пытках и во время казней. Это видно из записок Екатерины II, которая писала о том, что от искривления позвоночника ее лечил местный данцигский палач, который в этом случае выполнял роль, по-современному говоря, мануального терапевта (313, 5). Из записок палача времен Французской революции Г. Сансона известно, что его предок Шарль, парижский палач конца XVII в., устроил в своем доме анатомический театр из тел своих казненных «пациентов» и упорно занимался в нем изучением организма человека и даже лечил людей (642-1, 120). Кроме того, палаческая обязанность предполагала известную театральность экзекуции. Палач, одетый в красную рубаху, был одним из главных действующих персонажей «театра казни» и картинно играл свою центральную роль (об этом подробнее см. в моей статье «Народ у эшафота»).

В XIX в. найти людей, готовых братья за топор, стало непросто. Все чаще вместо вольнонаемных заплечных мастеров палаческие функции стали исполнять преступники, которым за это смягчали наказание. Так, сосланный в середине XVII в. в Сибирь убийца Данилко Коростолонок был «поверстан в палачи и в бирючи» (644, 78). Из материалов 1830 г. следует, что власти предписывали назначать преступников в палачи, «не взирая уже на их несогласие» и с «обязательством пробыть в этом звании по крайней мере три года». Тогда же столичных палачей стали командировать в провинцию для совершения экзекуций (587-2, 868; 711, 201; 741, 628—629). Позже, когда начались казни народовольцев и эсеров, поиск палачей превратился для правительства в огромную проблему (см. 753, 60 и др.). По-видимому, и в армии было не легче найти палача. Из дела 1728 г. о колоднике Б. Андрееве видно, что он за пьянство, драки был четырежды бит батогами, определен в солдаты Белозерского полка, но и там за кражу рубахи его гоняли шесть раз через полк, после чего он был «написан в профосы и служа с месяц, из полку бежал», совершил шесть татей, да показал за собой ложное «Слово и дело» (756, 471). При экзекуции палачу требовались ассистенты, порой их нужно было немало. Кроме учеников помощниками палача выступали гарнизонные солдаты, низшие чины полиции и... даже люди из публики. Так, с древних времен при казни кнутом существовал обычай выхватывать из любопытствующей толпы, теснившейся вокруг эшафота, парня поздоровее и использовать его в качестве живого «козла», чтобы сечь преступника на спине этого «ассистента». Лишь указом 20 апреля 1788 г. этот обычай был отменен (208, 87—88).

Приведенного или привезенного под усиленной охраной преступника пропускали внутрь цепи или каре стоявших на месте казни войск. В инструкции офицеру гвардии, командовавшему казнью Гурьевых и Хрушова, предписывалось расставить солдат в три шеренги «циркулем вокруг эшафота» (245; 244, 100—101). У солдат в оцеплении было две задачи: одна реальная, другая — гипотетическая. Во-первых, они сдерживали, подчас с трудом (об этом пишут все свидетели казней), народ, стремящийся подойти к эшафоту поближе. Во-вторых, организаторы казни опасались попыток отбить преступника, что происходит, кажется, только в современных исторических фильмах. Тем не менее в рапорте Петру I в 1708 г. о казни Кочубея и Искры сообщалось, что в момент экзекуции вокруг эшафота стояли «великороссийской пехоты три роты с набитым ружьем» (357, 140). Вокруг эшафота Разина стоял тройной кордон солдат, а войска, окружавшие в 1764 г. Лобное место, на котором казнили Мировича, также имели заряженные ружья «при полном числе патронов», причем все стоявшие в столице полки по первому сигналу могли выйти на улицы, на которых и так всюду были караулы (615, 119; 566, 479—480). С боевыми зарядами стояли солдаты на Болоте во время казни Пугачева в 1775 г. При экзекуции в Черкасске в 1800 г. к эшафоту прикатали четыре заряженные пушки, которые были поставлены по углам каре. Их стволы были нацелены в толпу, и артиллерийская прислуга держала наготове зажженные фитили (375, 574; 240, 119).

Преступник, доставленный к подножию эшафота, слушал последнюю молитву священника, прикладывался к кресту и, в окружении конвойных с примкнутыми штыками, поднимался на помост. Вся процедура казни была довольно хорошо продумана. Координатором действий охраны и палачей был обер-полицмейстер или иной старший полицейский чин. На эшафоте преступника расковывали, но есть сведения о том, что некоторых преступников вешали в оковах. Звучала воинская команда: «На караул!», раздавалась барабанная дробь (все это предусматривала инструкция 1762 г.), чиновник (секретарь) громко, «во весь мир», зачитывал приговор. В 1674 г. при казни лже-Симеона дьяк читал приговор «с поставца» (104-4, 230). В XVII в. приговор, объявленный на Лобном месте, назывался «сказкой у смертной казни и у наказанья». 201 стрельцу, которых 30 сентября 1698 г. привезли из Преображенского на казнь в Москву, сказку прочитали у Покровских ворот в присутствии царя и иностранных дипломатов. Потом приговоренных развезли по местам казни (163, 67—68; см. 322, 5).

С древних времен объявляемый преступнику письменный приговор был по форме выговором «неблагодарному государеву холопу» от имени государя, который провозглашался у крыльца царского дома. Опального привози-

ли в Кремль в простой телеге под охраной. Боярам и другим высшим сановникам гнев государев объявлял думный дьяк на лестнице Красного крыльца, причем опальный стоял внизу, в окружении стражи: «Князь Андрей Голицын! Великие государи указали тебе сказать, что ты говорил про Их царские величества многия неистовыя слова. И за те неистовыя слова достоин ты был разоренья и ссылки. И Великие государи за милость положили — указали у тебя за то отнять боярство и указали написать тебя в дети боярские по последнему городу, и жить тебе в деревне до указу великих государей!». Теще Голицына и ее братьям приговор объявили тогда же, в 1690 г. на площадке лестницы Стрелецкого приказа (290, 213; см. 103-3, 382–383).

В XVIII в. церемония упростилась, но приговор непременно объявляли публично. В приговоре 1725 г. о казни Самуила Выморкова сказано: «За его важные вины учинить ему, Выморкову, смертную казнь: отсечь голову в С.Петербурге с объявлением ему той вины» (664, 182–183). «Вор и изменник и клятвопреступник, и бунтовщик Афанасьева полка Чюбарова стрелец Артюшка Маслов! Великий государь, царь и великий князь Петр Алексеевич... велел тебе сказать...» — далее в объявлении следовало перечисление преступлений казнимого. Оканчивается указ словами о том, что государь «указал тебя за то твое воровство, и бунт, и измену — казнить смертию». Такой указ в 1707 г. прочитали стрельцу Маслову, одному из участников стрелецкого мятежа 1698 г. (197, 259).

«Рас[с]трига Алексей! В прошлых годах, в бытность свою в Москве, в Чудове монастыре, простым старцем у чудотворцова гроба в лампадчиках, имея ты у себя в кельи образ Иерусалимския Богородицы ханжил и прельщал простой народ, объявляя себя яко свята мужа...» — и т.д. Это цитата из указа, прочитанного перед казнью в 1720 г. бывшему архимандриту Александро-Свирского монастыря Александру. После перечня всех «вин» преступника следовало заключение: «И Великий государь указал за те твои вышеписанныя зловымышленныя вины учинить тебе смертную казнь — колесовать». Подобным же образом объявлялся приговор и в деле Монса (1724 г.) синодского обер-секретаря Семенова (1726 г.) и многих других (325-1, 155; 664, 219; 322, 307).

Приговор 1738 г. о сожжении заживо татарина Тойгильды — настоящий обличительный акт, написанный довольно витиевато самим В.Н. Татищевым. Думаю, что смысл этого обличения дошел до приговоренного и собранной толпы его соплеменников, вероятно, только в конце: «По указу Ея и.в. самодержицы Всероссийской и по определению его превосходительства тайного советника Василья Никитича Татищева, велено тебя, татарин Тойгильду, за то, что ты, крестьясь в веру греческого исповедания, принял паки ма-

хаметанский закон и тем, не только что в богомерзское преступление впал, но, яко пес, на свои блевотины возвратился, и клятвенное свое обещание, данное при крещении, презрел, чем Богу и закону Его праведному учинил противление и ругательство — на страх другим таковым, кои из махаметанства приведены в христианскую веру, при собрании всех крещенных татар, велено казнить смертию — сжечь» (781, 312).

Именной указ-приговор, прочитанный секретарем Сената Замятниным при казни Лопухиных на эшафоте 31 августа 1743 г., выдержан в таком же обличительном стиле: «Указ Ея и.в. самодержицы Всероссийской. Объявляется: Понеже, по известному нам делу о ваших против Ея и.в. и государства злых замыслах, явились вы в важных государственных преступлениях и винах. Ты, Степан Лопухин! забыв страх Божий и не чувствуя Ея и.в. высочайшей к себе и фамилии твоей показанныя милости... А ты, Наталья Лопухина! тож забыв вышеуказанныя Ея величества высочайшия милости... А ты, Иван Мошков! ты, слышав...» — и т.д. Во времена Екатерины II прямого обращения к казнимому уже не было, но приговоры («сентенции») сохраняют повышенную эмоциональность публичного документа, позорящего человека: «Кречетов, как все его деяния обнаруживают его, что он самого злого нрава и гнусная душа его наполнены злом против государя и государства... яко совершенный бунтовщик и обличен в сем зле по законам государственным яко изверг рода человеческого...» — и т.д. (401, 58).

Все присутствующие ждали, когда прозвучит конец документа — там содержалась самая важная резолютивная часть приговора: «За которые ваши богопротивные и Ея и.в. и государству вредительные злоумышленные дела, по генеральному в Правительствующем Сенате суду и по подписанной сентенции, как от духовных и всего министерства, и придворных, как воинских и гражданских чинов, Ея и.в. указала всем вам учинить смертную казнь: вас, Степана, Наталью и Ивана Лопухиных — вырезав языки, колесовать и тела ваши на колеса положить; вас, Ивана Мошкова, Ивана Путятина — четвертовать, а вам, Александру Зыбину — отсечь голову и тела ваши на колеса же положить; Софье Лилиенфельтовой отсечь голову, когда она от имевшагося ей бремя разрешится, зачем она к той казни ныне и не выведена».

После этого тец-приказной либо заканчивал чтение, либо делал паузу, после которой оглашал уже тот «приговор внутри приговора», которым суровое наказание существенно смягчалось: «Ея и.в., по природному своему великодушию и высочайшей своей императорской милости, всемилостивейше пожаловала, указала вас всех от приговоренных и объявленных вам смертных казней освободить, а вместо того, за показанныя ваши вины, учинить вам наказание: вас — Степана, Наталью и Ивана Лопухиных, и Анну Бес-

тужеву — высечь кнутом и, урезав языки, послать в ссылку, а вас, Ивана Мошкова и Ивана Путятина, высечь кнутом же, а тебя, Александра Зыбина — плетью и послать всех в ссылку же» (660, 193—196).

При казни Пугачева произошел примечательный случай. Как только секретарь прочитал имя и фамилию Пугачева, обер-полицмейстер Н.П. Архаров прервал его и громко спросил Пугачева: «Ты ли донской казак Емелька Пугачев?» На что он столь же громко ответил: «Так, государь, я — донской казак Зимовейской станицы Емелька Пугачев» (608, 148). Архаров не случайно прервал чтение высочайше утвержденного приговора. Своим громогласным вопросом он лишний раз позволил всем убедиться, что казнят не Петра III, а самозванца.

О поведении приговоренных накануне и в момент казни мы знаем мало, многие наши источники кратки: «Положа на плаху, смертью показали» или «Казнен отсечением головы на плахе» (537-1, 541; 88, 738). Иностранцев, видевших русские казни, поражала покорность, с какой принимали свой удел казнимые. Корб писал, что стрелец, идущий на казнь мимо царя, произнес что-то вроде русского варианта латинского выражения «Идущие на смерть приветствуют тебя», а именно: «Посторонись, государь, это я должен здесь лечь» (399, 124).

Через несколько лет другой путешественник, Корнелий де Бруин, видевший в Москве казнь тридцати стрельцов-астраханцев, писал: «Нельзя не удивляться, с какой ничтожной обстановкой происходит здесь казнь, а что того более, с какой покорностью люди, будучи даже не связаны, словно барашки, подвергают себя этому наказанию, на что в других краях потребно столько приготовления, чтобы избавить общество от одного какого-нибудь негодяя» (170, 245). Датчанин Юст Юль в 1709—1711 гг. несколько раз видел смертные казни и писал: «Удивления достойно, с каким равнодушием относятся [русские] к смерти и как мало боятся ее. После того как [осужденному] прочтут приговор, он перекрестится, скажет “Прости” окружающим и без [малейшей] печали бодро идет на [смерть], точно в ней нет ничего горького» (810, 230—231). Его земляк Педер фон Хавен, посетивший Петербург в 1736 г., сообщал, что в столице «и во всей России смертную казнь обставляют не так церемонно, как у нас или где-либо еще. Преступника обычно сопровождают к месту казни капрал с пятью-шестью солдатами, священник с двумя маленькими одетыми в белое мальчиками, несущими по кадилу, а также лишь несколько старых женщин и детей, желающих поглядеть на сие действо. У нас похороны какого-нибудь добропорядочного бюргера часто привлекают большее внимание, нежели в России казнь величайшего преступни-

ка». Здесь, как увидит читатель ниже, путешественник сильно преувеличил скромность церемонии — наверное, он видел казнь какого-нибудь заурядного разбойника. Совсем иное дело, когда на эшафоте оказывался знаменитый злодей или известный человек.

Тем не менее датчанин описывает поведение казнимого как и предыдущие наши авторы: «Как только пришедший с ними судебный чиновник зачитает приговор, священник осеняет осужденного крестом, осужденный сам тоже несколько раз крестится со словами “Господи, помилуй!” , и затем несчастный грешник предает себя в руки палача и так радостно идет навстречу смерти, словно бы на великий праздник. Палач, являющийся в сем действе главной персоной, часто исполняет свои обязанности очень неторопливо и жалостливо, как плохая кухонная девушка режет телянку. Вообще же достойно величайшего удивления то, что, как говорят, никогда не слышали и не видали, чтобы русский человек перед смертью обнаруживал тревогу и печаль. Это, без сомнения, отчасти объясняется их верой в земное предопределение и его неизбежность, а отчасти — твердым убеждением, что все русские обретут блаженство, и, наконец, отчасти великими тягостями, в которых они живут в сем мире» (761, 324).

Будничностью веет от записи в журнале Тайной канцелярии, датированной 24 января 1724 г.: «В 10-м часу по утру Его и.в. (т.е. Петр I. — Е. А.) изволил быть в Санкт-Питер-Бурхской крепости в церкви Петра и Павла во время обедни, где собраны были колодники по делам из Вышняго суда бывшей обор-фискал Алексей Нестеров и протчие, приготовленные ко экзекуции, тамо же в церкви был для онаго же бывшей фискал Ефим Санин и Его величество изволил ево, Санина, спрашивать о делах артиллерийских и потом указал ево, Санина, с протчими колодники вести ко экзекуции на площадь». Как видим, в соборе царь спокойно разговаривал «о делах артиллерийских» с человеком, которого накануне приговорил к страшнейшей смертной казни через колесование. Но уже у эшафота он решил разговор с Саниным продолжить и «с Троицкой площади по указу Его и.в. онаго Санина велено послать под караул в прежнее место, понеже ему, Санину, того числа экзекуции не будет» (9-3, 107; 9-4, 19).

Кажется, что в таком отношении приговоренных к казни видна одна из главных черт русского менталитета: «Умирать не страшно и не жалко» (К. Случевский), той скверной жизнью, которой живет русский человек, лучше вообще и не жить. Немаловажно и то, что подготовка к казни (переодевание в черную одежду или в саван, исповедь, причастие), церемония (свеча в руке, медленное движение черного экипажа) — все это говорило, что приговоренный участвует в траурной процедуре собственных похорон. В XIX

в. это впечатление усиливалось тем, что в процессии ехали еще и дроги с пустым гробом, который ставили у эшафота. В такие минуты приговоренный впадал в состояние прострации, особенно если при этом много молился.

Траурность процедуры смертной казни, по мнению М.М. Щербатова, выгодно отличала смертную казнь от смертельно опасной, но дающей надежду на сохранение жизни порки кнутом. Щербатов пишет: «По судебным порядкам ведомый человек на смерть сошествует есть со всеми знаками погребальными: возжение свещ, присутствие отца (духовного. — *Е. А.*) и чюствие, что уже не может избежать смерти и малое число минут остается ему жить, поражает его сердце, может преставить ему всю тщетность и суету жизни человеческой». Это, по мнению Щербатова, открывает самому ужасному злодею путь к искреннему раскаянию, покаянию и даже к спасанию души (805, 71). Власти это обстоятельство прекрасно понимали и поэтому посылали к умирающему на плахе или на колесе священника, чтобы получить не только раскаяние в совершенном преступлении, но и какую-то новую информацию о сообщниках и прочем.

Из многих описаний казни видно, что существовал определенный ритуал в поведении приговоренного к смерти. При казни Федора Шакловитого в 1689 г., как сказано в сказке-отчете исполнителей, «по прочтении громогласном от думного дьяка Гаврила Деревнина тех всех вин никакого слова к оправданию своему он, Щегловитый, не учиня, казнен смертию. Отсечена голова». Правильнее, как полагалось государеву холопу, повел себя товарищ Шакловитого Оброська Петров, который «пред всем народом голосно со слезами о тех воровских своих винах чистое покаяние свое приносил» (527, 208). Полностью выдержал этикет казни и боярин Семен Стрешнев, приговоренный к наказанию кнутом и к ссылке на службу в Вологду (вместо сибирского заточения). Он «поклонился в землю и молвил: на государской милости челом бую, что государь его пожаловал жестокого наказания учинить и в дальние сибирские города в тюрьму сослать его не велел, и говорил: в том-де волен Бог, да государь, стражу-де и гнев государской приймаю за свое согрешение к Богу» (322, 6). Выслушав приговор, В.В. Голицын, как сообщает Невилль, «поклонился и сказал, что ему трудно оправдаться перед своим государем» (489, 157).

Конечно, люди до последней минуты надеялись на лучший исход — ведь все знали, что государь может помиловать и отменить жестокое наказание. Очень ярко такие настроения передает в своих записках Григорий Винский. Он, просидев больше года в Петропавловской крепости и видя, как один за другим выходят оправданные по его делу товарищи, тоже надеялся на скорое освобождение. На второй день Рождества всем заключенным по делу о

банковской афере приказали немедленно следовать за караульным офицером. Настроение у всех было хорошее, праздничное, «сборы были неважные, чрез четверть часа все готовы и поход открылся. Офицер в заглавии, за ним страдалыцы, позади несколько солдат. Куда нас вели, никто того не знал, да и о чем было спрашивать и сомневаться? В дни великого праздника затем позвали нас, чтобы возвестить нам радость, т. е. свободу. Вышедши за стены крепости, глазам моим представилось обширное, как бы никогда не виданное пространство. Две Невы и по их берегам огромные здания, а более всего толпы народа, едущего и идущаго, неимоверно меня занимали. Я мечтал и радовался, что сегодня же, может быть, буду участвовать во всеобщем движении. Перешедши большую площадь пред коллегиями, вместо Сената препроводили нас в Юстиц-контору.

По докладу были мы немедленно впущены в судейскую. Тотчас присутствующий, с держимою в руках бумагою, поднявшись с своего места (чему последовали и другие члены) подходит к нам важно и громкогласно читает: “Всепоподданнейше внесенный нам из Правительствующего Сената доклад, всемилостивейше конформовать соизволили: коллежского асессора Соколова, поручика Гиммеля, подпоручиков Радищева, Теляковского, Калитеевского и Винского, лишив чинов и дворянства, послать: Радищева и Теляковского — в Колу; Соколова, Гиммеля и Калитеевского — в Тобольск, Винского — в Оренбург, вечно на житье”. Между тем вывели нас в подъяческую, тут добрый Мещерский, обливаясь слезами, заставил и меня плакать. Возвестили нам, что подводы и вожатые готовы, торопили, как можно, собираться, едва позволили кой-ка снарядиться необходимейшим... и в шесть часов ввалившись в кибитку, по освещенным, шумным радостию улицам, вывезен из преславнаго С.-Петербурга», как оказалось, навсегда (187, 97—98).

Издавна было принято (и об этом пишут иностранцы), чтобы по дороге на эшафот и на нем самом приговоренный кланялся во все стороны народу, просил у людей прощения, крестился на купола ближайших церквей. Юль так описывает казнь троих мародеров на месте пожара в Петербурге в августе 1710 г.: «Прежде всего без милосердия повесили крестьянина. Перед тем как лезть на лестницу (приставленную к виселице), он обернулся в сторону церкви и трижды перекрестился, сопровождая каждое знамение земным поклоном, потом три раза перекрестился, когда его сбрасывали с лестницы. Замечательно, что будучи сброшен с нее и вися [на воздухе], он еще раз осенил себя крестом, ибо здесь приговоренным при повешении рук не связывают. Затем он поднял [было] руку для нового крестного знамения [но] она [наконец, бессильно] упала». Другому казненному удалось перекреститься даже дважды (810, 229—230). О казни П.П. Шафирова в Кремле в 1723 г.

Берхгольц писал, что с возведенного на эшафот бывшего вице-канцлера сняли парик и шубу, Шафиров «по русскому обычаю обратился лицом к церкви и несколько раз перекрестился, потом стал на колена и положил голову на плаху» (150-3, 20—21).

Казненный в 1724 г. фискал, взойдя на эшафот, перекрестился на шпиль Петропавловского собора, повернулся к окнам Ревизион-коллегии, откуда на казнь смотрел император и его приближенные, поклонился вновь, «затем снял с себя верхнюю одежду, поцеловал палача, поклонился стоявшему вокруг народу, стал на колени и бодро положил на плаху голову». Так же спокойно вел себя и обер-камергер Виллим Монс, возведенный на эшафот в октябре 1724 г., «при прочтении ему приговора... поклоном поблагодарил читавшего, сам разделся и лег на плаху, попросив палача как можно скорей приступить к делу» (150-4, 10—11, 74). М.И. Семевский сообщает, что, кроме того, Монс простился с пастором и подарил ему на память золотые часы (664, 218—219). Как описывает видевший в 1775 г. казнь Пугачева Андрей Болотов, при чтении длинной «Решительной сентенции» на площади стояла мертвая тишина, а Пугачев только крестился и молился (165, 490).

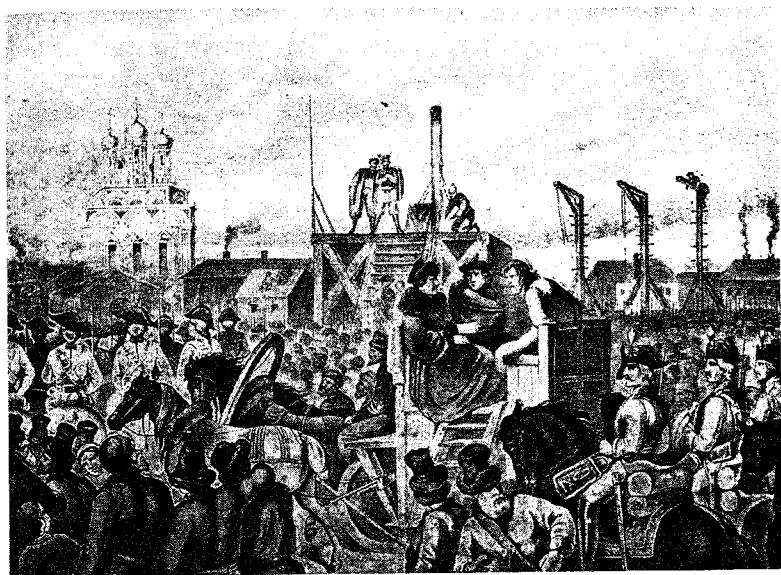
В этот момент казнимый уже находился в руках палача и его ассистентов — после прочтения приговора секретарь, а также священник покидали помост. Если преступник не раздевался сам или мешкал, то палач вместе с подручными раздевал его, стремясь при этом демонстративно разодрать одежду от ворота до пояса (711, 215). Во всем этом был заложен ритуальный смысл — как уже выше говорилось, публичное обнажение палачом тела казнимого означало утрату последним чести. Именно поэтому французский король Людовик XVI, державшийся на эшафоте спокойно, начал сопротивляться, когда пытались ему связать руки и остричь волосы (149, 278). Это была общеевропейская норма. В Генеральном регламенте сказано, что наряду с шельмованным из числа честных людей исключается тот, «которой на публичном месте наказан или о б н а ж е н был» (193, 509). Ранее, в XVII в., об этом писали: «разболокши» или «снев рубашку». К сказавшему в 1720 г. «неприсстойное слово» карачевскому фискалу Веревкину проявили редкую милость. По приговору указано было его «вместо кнута бить батоги нещадно... н е с н и м а я р у б а х и », что сохраняло ему честь. Особой милостью Петра I, проявленной к фрейлине Марии Гамильтон, стало обещание, что во время казни к ней не притронется рука палача. И действительно, тот снес преступнице голову по тайному сигналу царя внезапно, не притрагиваясь к ней и не обнажая ее, в тот самый момент, когда она, стоя на коленях, просила государя о пощаде (664, 26; 212, 46).

Если казнимый сопротивлялся, то его грубо волокли к плахе (закон разрешал палачу вообще убить сопротивлявшегося преступника без всякого ритуала на эшафоте), в других случаях обреченному на смерть давали возможность помолиться и сделать последние распоряжения, которые записывали и, возможно, исполняли. О казни 13 февраля 1733 г. Максима Погуляева в протоколе Тайной канцелярии записано, что перед экзекуцией «оной Погуляев объявил Тайной канцелярии секретарю Николаю Хрущову, что-де имеющейся у него, Погуляева, полковой мундир, суконной, зеленой, да камзол суконной ж, красной с пуговицами медными и оной-де мундир ево, Погуляева, заслуженной и приказывал тот свой мундир взять для поминаения души ево отцу своему духовному церкви Верховных апостолов Петра и Павла, что в Санкт-Петер-Бурхской крепости священнику Григорью Федотову» (49, 23).

Вот как отразилась в памяти современника казнь Василия Мировича: «Прибыв на место казни, он спокойно взошел на эшафот, он был лицом бел и замечали в нем, что он в эту минуту не потерял обыкновенного своего румянца на лице, одет он был в шинель голубого цвета. Когда прочли ему сентенцию, он вольным духом сказал, что он благодарен, что ничего лишнего не взвели на него в приговоре. Сняв с шеи крест с мошами, отдал провожавшему его священнику, прося молиться о душе его; подал полицмейстеру, присутствовавшему при казни, записку об остающимся своем имении, прося его поручить камердинеру его исполнить все по ней, сняв с руки перстень, отдал палачу, убедительно прося его, сколько можно удачнее исполнить свое дело и не мучить его, потом сам, подняв длинные свои белокурые волосы, лег на плаху...» (566, 480).

С мужеством, как и раньше Мирович, встретил казнь Пугачев. Современник, стоявший около эшафота, видел все в подробностях: «Страх не был замечен на лице Пугачева. Он с большим присутствием духа сидел на скамейке, держа в руке горящую свечу и именем Бога просил у всех прощения... Пугачев вошел на эшафот по лестнице... [его] раздевали и он сам им с живостью помогал» (573, 80; 608, 80). И.И. Дмитриев, бывший в тот час на Болоте, сообщает, что после оглашения приговора палачи расковали Пугачева и «бросились раздевать его: сорвали белый тулуп, стали раздирать рукава шелкового малинового полукафтана. Тогда он всплеснул руками, опрокинулся навзничь и вмиг окровавленная голова уже висела в воздухе, палач взмахнул ее за волосы...» (266, 281).

Внешне спокойно, беседуя на ходу с офицерами конвоя, шел в 1742 г. на казнь фельдмаршал Миних. Он, по воспоминаниям современников, в отличие от других узников, был чисто одет и, что удивительнее всего, выбрит (411, 78). Как это ему удалось сделать — загадка. Известно, что никаких острых и



Казнь Емельки Пугачева в Москве 10 января 1775 г.

режущих орудий заключенным, а тем более приговоренным к казни, иметь не разрешали. Так, Волынского обыскивали и отобрали даже деревянный гвоздь, который он нашел на полу камеры (304, 164). Тем более никакой, даже самый проверенный парикмахер не мог быть допущен с «опасной» бритвой (а иных тогда не было) к шее, предназначенной для топора. Сидевшему под арестом А.П. Бестужеву-Рюмину в 1740 г. отказали прислать цирюльника — предстояли еще допросы и очные ставки арестанта с Бироном (462, 179). Поэтому приговоренные шли на казнь и отправлялись в ссылку бородастыми.

Для шельмования использовали позорный столб. Приговоренного раздевали и привязывали к нему с помощью ошейников и накладок. Он стоял в таком положении «поносительного зрелища» около часа, на груди у него висела табличка с одним-двумя крупными словами о преступлении: «Клятвопреступник», «Изменник» и т.д. В инструкции 1762 г. о шельмовании Семёна Гурьева и Петра Хрущева сказано: «Приказать оным профосам каждого преступника взять двум человекам под руки и переломить палачу над каждым преступником... над головами их шпаги, кои заблаговременно (чтобы скорее можно было переломить) приказать самые те шпаги, с коими те пре-

ступники служили, надпилить и бросить палачам перед ними на эшафот, а коль скоро шпаги надломлены будут, то того же часа профосам приказать их свести с эшафота под руки и отдать для отвозу в ссылку командированному здешняго гарнизона офицеру» (244, 100–101; 711, 215). Естественно, что над головами преступников-недворян никакой шпаги не ломали. При шельмовании моряков (эзекуцию проводили на корабле) ломали их сабли, а сюртуки бросали в море (146, 501). С этого момента дворянин лишался своей фамилии: «Обоих сих преступников нигде и ни в каких делах не называть Пушкиными, но бывшими Пушкиными» (587-19, 13890). С.Д.Н. Салтыковой поступили иначе: фамилией (прозвищем) ей стало, как у крестьянки, имя ее отца. «Именоватъ: “Дарья Николаева дочь”» — так в указе 1768 г. сказано о Салтычихе, Дарье Николаевне Салтыковой (379, 253). Начальник конвоя в это время уже подгонял к эшафоту приготовленный к дальней дороге экипаж, который окружал конвой, сопровождавший преступника до места ссылки.

Если ошельмованный или побывавший в руках палача служилый человек получал по именному указу помилование, то устраивали особую церемонию очищения: зачитывали именной указ о причислении его к категории «честных людей», прикрывали полковым знаменем и возвращали ему шпагу (304, 167).

Рассмотрим *«политическую казнь, или смерть»*. Выше уже говорилось о различии «натуральной» и «политической» смерти, хотя до самого конца преступник мог и не знать, что его не собираются лишать жизни, а устроят лишь имитацию «натуральной смерти». Церемония казни политической смертью проводилась в точности так же, как и натуральной, только кончалась иначе — преступнику оставляли жизнь. Казнимого раздевали, зачитывали смертный приговор, клали на плаху и тут же с нее снимали. При этом оглашали указ об освобождении от смертной казни («За те воровския непристойные слова и ложный извет сказать Гараське смерть и, сняв с плахи, вместо той смертной казни учинить жестокое наказание — бить кнутом и, запятив в обе щеки и лоб, сослать в Азов на каторгу в вечную работу» — 88, 477). 11 апреля 1706 г. Ф.Ю. Ромодановский вынес приговор: «Иноземцев Максима Лейку и Ягана Вейзенбаха казнить смертью, отсечь головы и, сказав им эту смертную казнь, положить на плаху и сняв с плахи, им же иноземцам сказать, что Великий государь, царь Петр Алексеевич пожаловал, смертью их казнить не велел, а велел им за то озорничество (подрались с охраной царевича Алексея. — Е. А.) учинить наказание — бить кнутом». Но, не дождавшись начала кнутования, горячий Ромодановский бросился к иноземцам и стал их избивать своей тростью, удары которой были для них, надо полагать, сплошным счастьем (321, 446).

Имитация казни состоялась в 1713 г., когда обвиненного в преступлениях и приговоренного к расстрелу капитана Рейса было приказано привязать к позорному столбу, завязать ему глаза и «приготовить к расстрелянию», но потом объявить помилование в виде ссылки в Сибирь (698, 75). «Политическая казнь» была сопряжена с различными официальными оскорблениями казнимого и переносилась высокопоставленным преступником тяжело. В 1723 г. казнили в Кремле П.П. Шафирова. Палач «поднял вверх большой топор, но ударил им возле [головы] по плахе и тут Макаров (кабинет-секретарь Петра. — Е. А.), от имени императора объявил, что преступнику, во уважение его заслуг, даруется жизнь». Перед казнью Шафирова ассистенты палача не дали преступнику спокойно положить голову на плаху, а «вытащили его ноги, так что ему пришлось лежать на своем толстом брюхе». После казни медик пускал Шафирову кровь — таким сильным было потрясение (150-3, 21). В 1740 г., услышав приговор о помиловании А.И. Остермана, палач, как бы с досады, пинком сбил встававшего с колен от плахи еще недавно влиятельного вельможу (411, 78).

«Натуральная смерть» (лишение живота), а именно *отсечение головы*, записывалась в протоколе сыскаго учреждения так: «Казнен: отсечена голова на плахе» (89, 736). Из документов неясно, каким орудием пользовались при экзекуции, хотя выбор орудий был невелик — или топор, или меч. Неясно, каким был топор — мясницкий, топор дровосека или это была секира. Возможно, палаческий топор в России был таким, какой хранится в одной частной коллекции в Италии и датируется XVII веком. Согласно Артикулу воинскому 1715 г., головы секли мечом — «мечом казнены», «мечом наказать» (626-4, 358, 359). М.М. Богословский считает, что впервые меч, новинку из Европы, применили в России 18 октября 1698 г., когда им обезглавили Аничку Сидорова и Ивашку Клюкина (163, 112). Когда отсекали голову мечом, то приговоренного ставили на колени и палач широким замахом сносил преступнику голову с плеч. При казни топором непременным атрибутом была плаха — чурбан из дуба или липы, высотой не более метра, возможно, с выемкой для головы.

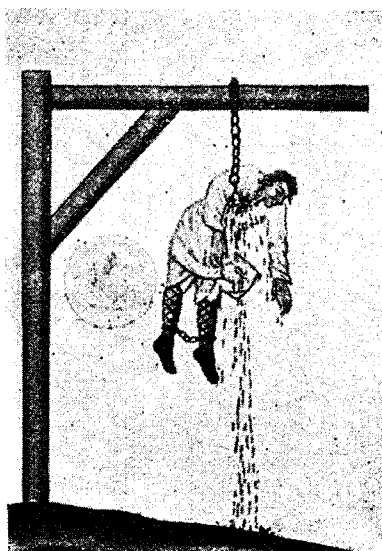
Опытный палач отделял голову от туловища одним ударом и тотчас, подняв ее высоко за волосы, показывал толпе. Предъявление головы публике также полно символического смысла: зрители удостоверялись, что казнь действительно свершилась без обмана. Если за палаческую работу брались непрофессионалы или палач был неопытен, то казнимого ожидали страшные муки. Известно, что палач Марии Стюарт с первого и со второго раза промахнулся — сначала попал в затылок, а потом только рассек шею. Когда же

он схватил голову за волосы, то они остались у него в руке. Это был парик, а голова шотландской королевы покатила по помосту. Когда в 1698 г. в Москве казнили стрельцов, то Петр заставил всех своих приближенных лично участвовать в экзекуции. Корб писал, что перед каждым боярином ставили преступника и ему предстояло произнести приговор и «после исполнить оный, обезглавив собственноручно виновного». Боярин Б.А. Голицын «был настолько несчастлив, что неловкими ударами значительно увеличил страдание осужденного». Петр вообще был сердит на многих бояр, у которых при этом тряслись руки. Сам царь бестрепетно обезглавил в Преображенском пятерых стрельцов, а Меншиков хвастался, что казнил двадцать человек (399, 102, 108).

Известно также, что иногда палач получал особое распоряжение мучить жертву. В 1687 г. сыну опального гетмана Украины Ивана Самойловича Григорию отрубили голову не сразу, «но в три приема, нарочно затем, чтобы увеличить страдания» (414, 366). К этому нужно добавить, что сознание не угасало сразу после отделения головы от тела. Исследования французских врачей конца XIX в. показали, что голова казненного несколько секунд и даже минут жила и закрытые веки открывались в ответ на названное имя казненного человека. Эти выводы послужили причиной отмены казни на гильотине, которая сама по себе была более совершенна, чем палач, — ведь в ответственный момент человеческая рука могла дрогнуть и принести казнимому огромные страдания.

В Артикул воинский 1715 г. включено важное положение о казни. Если раньше, в XVII в., казнимый преступник оставался жив после первого удара палача или срывался с виселицы, то ему по давней традиции даровали жизнь. Артикул отменил обычай: «Когда палач к смерти осужденному имеет голову отсечь, а единым разом головы не отсечет, или когда кого имеет повесить, а веревка порветца и осужденный с виселицы оторветца и еще жив будет, того ради осужденный несвободен есть, но палач имеет чин свой (т.е. обязанность. — Е. А.) до тех мест (т.е. до тех пор. — Е. А.) отправлять, пока осужденный живота лишится и тако приговор исправлен быть может» (626-4, 364). Когда во время казни декабристов летом 1826 г. двое из приговоренных сорвались с виселицы, главный экзекутор приказал их повесить заново, и в этом он строго следовал нормам Артикула воинского.

Некоторые авторы считают *повешение* древнейшей казнью на Руси (см. 538-5, 260). Как уже сказано выше, повешение было трех видов: обычное («повесить за шею» или просто «повесить», в одном случае «обвесить» — 537-1, 537), повешение (подвешение) за проткнутое крюком ребро («повешен за ребро» — 88, 774 об.) и, наконец, повешение за ноги. При подвешивании за ребро



Казнь через повешение за ребро

смерть не наступала сразу и преступник мог довольно долго жить. Берголыц описывает случай, когда подвешенный за ребро преступник ночью «имел еще столько силы, что мог приподняться кверху и вытянуть из себя крюк. Упав на землю, несчастный на четвереньках прополз несколько сот шагов и спрятался, но его нашли и опять повесили точно таким же образом» (150-2, 199). Эту казнь могли совмещать с другими видами наказания. Никита Кирилов в 1714 г. был подвешен за ребро уже после колесования. Такой же казни подвергся и рудничный мастер Елисей Поздников, ложный изветчик (325-2, 103; 89, 774). Н.Д. Сергеевский выделяет три типа виселиц, характерных для XVII в.: «покоем» (П), «глаголем» (Г) и «двойным глаголем» (Т) (676, 100).

В XVIII в. все эти виды виселицы также известны нам из источников. Простое повешение совершалось обычно на виселице, стоящей на эшафоте, но случалось, что для этих целей использовали иные приспособления, вроде дерева или ворот, повешение было достаточно простой в исполнении казнью, хотя и не такой эффектной, как отсечение головы. Стрельцов в 1698 г. вешали не только на виселицах (в том числе общих, сразу для нескольких висельников), но, как уже отмечалось, на бревнах, вставленных в бойницы стен Белого города и Новодевичьего монастыря (290, 265). «Глаголь» чаще всего использовался для подвешивания за ребро. В воззвании подавлявшего восста-

ние Пугачева генерала Панина сказано, чтобы во всех «бунтовых» селениях поставить «по одной виселице, по одному колесу и по одному глаголю для вешания за ребро» (122, 27). Как описывает А. Т. Болотов, видевший казнь Пугачева, несколько сообщников «злодея» казнили одновременно с ним на виселицах, стоявших вокруг эшафота. Их подняли на ступеньки лестниц, прислоненных к виселицам, а на головы надели холщовые мешки — «тюрики». В тот момент, как палач отрубил Пугачеву голову, преступников разом столкнули с лестниц (165, 191—193).

Четвертование представляло собой расчленение тела преступника с помощью меча или топора — точнее, специального топорика для отсечения рук и ног. В одних случаях преступнику вначале отрубали левую руку и правую ногу (или наоборот), затем это же повторялось с оставшимися рукой и ногой, а затем отсекали и голову. Но в других случаях преступнику вначале отрубали голову, а затем уже руки и ноги. Четвертование в первом варианте называлось «рассечение живого» и усугубляло предсмертные муки, второй же был выражением милости государя к преступнику. Техника этой казни в России известна только из описания голландца Людвиг Фабрициуса в 1671 г.: «Когда пришло время палачу приступить к делу, Стенька несколько раз перекрестился, обратившись к церкви... И вот зажали его промеж двух бревен и отрубили правую руку по локоть и левую ногу по колено, а затем топором отсекали ему голову, все было совершено в короткое время с превеликой поспешностью. И Стенька ни единым вздохом не обнаружил слабости духа» (306, 114—115). Из этого описания следует, что на эшафоте было сделано какое-то приспособление для этой экзекуции. Рассказ Фабрициуса о казни Разина несколько расходится с рассказами других очевидцев. Ян Рейтенфельс пишет, что «Стенька... перекрестился и лег на смертную плаху и последовательно был лишен правой и левой рук и ног и, наконец, головы» (615, 119). Англичанин Т. Хебден писал 6 июня 1671 г. обобщенно, что Разину «отрубили руки, ноги, потом голову и насадили их на пять кольев» («and there he had his armes, his leggs, and then his head, cut off which were presently sett up upon 5 poles») (306, 129—130). Все это означает, что Разину провели полный цикл казни четвертования живым, отсекали руки и ноги, а потом голову. Адам Олеарий, рассказывая о казни самозванца Анкудинова, сообщает, что ему отрубили топором «сначала правую руку ниже локтя, затем левую ногу ниже колена, потом левую руку и правую ногу и мгновенно затем голову» (526, 253). В 1773 г. генерал П. И. Панин приказал некоторых зачинщиков мятежа Пугачева «казнить смертью отрублением сперва руки и ноги, а потом головы», что и было сделано (122, 27).

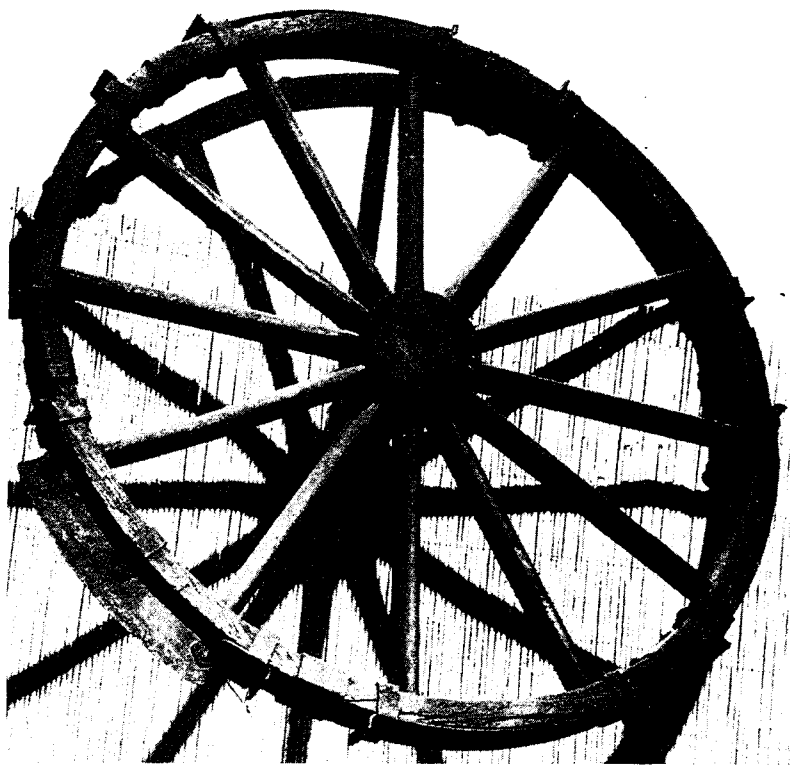
Казнь эта считалась страшной. Приговоренный в 1740 г. к четвертованию Волюнский просил А. И. Ушакова и И. И. Неплюева передать императ-

рице просьбу об отмене приговора. Именно как четвертование он понял указ Анны, заменившей ему прежний приговор — «посажение на кол» — более мягким: вырезанием языка, отсечением сначала правой руки, а затем головы. Однако просьба не была уважена (304, 164–165). Ужесточению муки казни-мого на эшафоте в XVIII в., как и раньше, придавалось большое символическое значение: пытки накануне казни и непосредственно во время публичной экзекуции были формой государственной мести. Артикул воинский разрешал при четвертовании предварительно рвать тела преступника клещами (626-4, 350).

Был еще один способ четвертования, который в России не применялся. Он состоял в том, что руки и ноги преступника привязывались к постромкам четырех лошадей и по сигналу палача его ассистенты погоняли лошадей. Это не приводило к быстрой смерти; покушавшийся на жизнь Людовика XV Робер-Франсуа Дамьен, приговоренный в 1757 г. к такому виду четвертования, был жив даже после третьего рывка лошадей. Лишь после того, как ему перерезали сухожилия, лошадям удалось разорвать тело преступника, да и то не одновременно (642-1, 245–246). В проекте Уложения 1754 г. такую казнь предполагалось учредить в России. Правда, преступника хотели рвать «пятью запряженными лошадьми на пять частей» (596, 76). Впрочем, такая невиданная казнь так и не была введена в России.

Можно сказать, что страшно мучительной была и казнь *колесования*, когда переламывали кости преступнику на эшафоте с помощью лома или колеса («Колесом разломан» — 626-4, 358). Из документов видно, что преступнику ломали преимущественно руки и ноги. Средневековые гравюры и описания современников позволяют судить о технике этой казни. Сохранившееся палаческое колесо, датированное XVIII веком, позволяет прийти к выводу, что это орудие казни внешне походило на каретное колесо. Его деревянный обод снабжен железными оковками, края которых загнуты для того, чтобы усилить ломающий кости удар. Преступника, опрокинутого навзничь, растягивали и привязывали к укрепленным на эшафоте кольцам или к вбитым в землю кольям. Под суставы (запястья, предплечья, лодыжки, колени и бедра) подкладывались клинья или поленья, а затем с размаху били ободом колеса по членам, целясь в промежутки между поленьями так, чтобы сломать кости, но не раздробить при этом тела. В приговорах указывалось, что именно ломать: ребра, руки, ноги и т.д.

В основном ломали руки и ноги. О казни голландца Янсена сказано: «Руки и ноги ломаны колесом» (212, 44). В 1714 г. Ромодановский распорядился по делу преступника Кирилова: «Колесовать руки и ноги» (88, 258; 325-2, 103).



Орудие пытки, при которой члены преступника перебиваются колесом, а затем «вплетаются» в него

О казни на Красной площади 21 октября 1698 г. стрельцов Ивашки Колокольцева и Алешки Сучкова известно, что у них «руки и ноги переломаны и посажены на колеса, что на столбах». Казнь колесованием, как считает М.М. Богословский, в России впервые применили как западную новинку именно при казни стрельцов в 1698 г. (163, 120, 116). Допускаю, что действительно это могло быть новинкой с Запада: Петр во время своей заграничной поездки 1697—1698 гг. интересовался орудиями казни, но отмеченную выше экзекуцию над Янсенем в 1696 г. все же нужно считать первой зафиксированной казнью колесованием. В России восприняли германский вариант казни колесом. В Италии и Франции для ломанья костей использовали лом

или специальную булаву, а вместо поленьев применяли крест святого Андрея» с вырезами для удобства ломания костей. После Петра I эта казнь еще применялась в России, но, в отличие от других стран Европы, довольно редко, и к середине XVIII в. исчезла совершенно.

Приговор «Колесовать руки и ноги» чаще всего относился к процедуре «колесования живова». По-видимому, так казнили в 1697 г. сообщников Соковнина и Цыклера: «Они за такие свои проклятые дела и вымыслы в ящущим мучением колесованы» (284-15, 367), что означает колесование живо. Этот вид казни считался очень жестоким. После того как преступнику ломали руки и ноги, его клали на укрепленное на столбе колесо, где он медленно умирал. Из некоторых описаний следует, что переломанные члены преступника переплетали между спицами укрепленного на столбе колеса (815, 42). Ломая кости, палачи при этом стремились не повредить внутренних органов, чтобы не ускорить смерть и чтобы мучения затянулись. Положенные на колеса преступники жили иногда по нескольку дней, оставаясь в сознании. Желябужский писал, что колесованные в 1697 г. стрельцы «не много не сутки на тех колесах стонали и охали» (290, 265). О подобном же упоминает Корб, а также Юль в 1710 г. Датчанин писал, что преступникам «сломали руки и ноги и положили на колеса — зрелище возмутительное и ужасное! В летнее время люди, подвергающиеся этой казни лежат живые в продолжении четырех-пяти дней и болтают друг с другом. Впрочем, зимою в сильную стужу... мороз прекращает их жизни в более короткий срок» (810, 180). Берхгольц видел такую же казнь в октябре 1722 г. Он записал в дневнике, что трое преступников получили лишь по одному удару колесом по каждой руке и ноге и затем были привязаны к колесам на высоких столбах. Один, по-видимому, умер сразу, но двое были весьма румяны и «так веселы, как будто с ними ничего не случилось, преспокойно поглядывали на всех и даже не делали кислой физиономии. Но больше всего меня удивило то, что один из них с большим трудом поднял свою раздробленную руку, висевшую между зубцами колеса (они только туловищем были привязаны к колесам), отер себе рукавом нос и опять сунул ее на прежнее место, мало того, запачкав несколько каплями крови колесо, на котором лежал лицом, он в другой раз, с таким же усилием, снова втащил ту же изувеченную руку и рукавом отер его» (150-2, 199). Более гуманным был приговор, в котором указывалось: «После колесования, отсечь голову». Так в 1739 г. колесовали И.А. Долгорукого (385, 743).

По-видимому, как и при обычных переломах, колесованного можно было спасти. В 1718 г. положенный на колесо Ларион Докукин согласился дать показания. Его сняли с колеса, лечили, а потом допрашивали. Вскоре

он либо умер, либо ему отрубили голову. Как сообщал австрийский дипломат Плейер, на следующий день после казни 17 марта 1718 г. лежавший на колесе Александр Кикин, увидев проходящего мимо Петра, просил «пощадить его и позволить постричься в монастырь. По приказанию царя его обезглавили» (325-1, 168—169; 567, 224). Счастливец мог считать себя приговоренный к «колесованию мертвым», ибо казнь начиналась с отсечения головы, после чего ломали уже бездыханное тело. Вообще, колесо занимало особое место в процедуре казни и служило средством дополнительного надругательства над останками преступника — отрубленную голову или отсеченные члены трупа надолго водружали на колесо для всеобщего обозрения. Это предусматривал закон: «...и на колеса тела их потом положить» (626-4, 361, 362). Так было с телом Пугачева: его отрубленные члены выставили на колесах в разных частях Москвы, а на месте казни, как описывает современник, «один из палачей залез наверх столба и насадил голову мятежника на железный шпиль», венчавший колесо (573, 80; см. 150-4, 11).

«Посажение на кол» было одной из самых мучительных казней. Сергеевский считает, что кол вводился в задний проход и тело под собственной тяжестью насаживалось на него (678, 112). По-видимому, были разные школы сажания на кол. Искусство палача состояло в том, чтобы острие кола или прикрепленный к нему металлический стержень ввести в тело преступника без повреждения жизненно важных органов и не вызвать обильного приближающего конец кровотечения. Кол с преступником закреплялся вертикально. Известно, что при казни Степана Глебова к колу была прибита горизонтальная рейка, чтобы казнимый под силой тяжести тела не сполз к земле. Кроме того, казнимого в декабре Глебова одели в шубу, чтобы он не замерз, и тем самым продлили его мучения. Были и другие ужасающие подробности сажания на кол. Отсылаю интересующихся ими к основанному на исторических источниках произведению Генриха Сенкевича «Пан Володыевский» и особенно к роману Иво Андрича «Мост на Дрине», где технике сажания на кол посвящено несколько леденящих душу страниц, перечитывать которые невозможно.

Нельзя сказать, что *с о ж ж е н и е* было в России особенно распространенной казнью, не то, что в Европе, где костры с еретиками горели весь XVII и XVIII в. (151, 187—192). Среди подобных экзекуций в России наиболее известна казнь 1 апреля 1681 г. в Пустозерске, когда в срубе сожгли протопопа Аввакума и трех его учеников — Лазаря, Епифания и Никифора. Смерть в срубе была мучительна, и скорее всего казнимый погибал не от



Посаждение на кол

огня, а от удушья. По материалам о казни в 1691 г. Квирина Кульмана известно, что для казни рубили небольшой бревенчатый домик, наполняли его смоляными бочками и соломой, потом преступника вводили внутрь сруба и запирали там. По другим данным, преступников опускали в сруб сверху, «так, что затем нельзя было их ни видеть, ни слышать» (735, 592). Есть сведения и о другой «технологии» этой казни: преступника бросали («метали») в горящий сруб (307, 37).

В 1714 г. на Красной площади был сожжен изрубивший икону Фома Иванов. Казнь была сложной. Вначале сожгли руку преступника, к которой было привязано орудие преступления — «косарь», а потом сожгли и самого Фому (525, 187). Берхгольц видел такую же казнь в 1722 г. Преступника, выбившего в церкви палкой икону из рук епископа, казнили в соответствии с обычаем тальона, т.е. казнили вначале член, совершивший преступление.

Для этого приговоренного привязали цепями к столбу, у подножья которого был разложен горючий материал. Правую руку преступника, которой было совершено преступление, прикрепили проволокой к прибитой на столбе поперечине. Руку плотно обвили просмоленным холстом вместе с палкой, которой и был нанесен удар по иконе. После этого подожгли руку. Она сгорела за 7—8 минут, и когда огонь стал перебрасываться на тело преступника, был дан приказ поджечь разложенный под его ногами костер. При этом Берхгольц отмечает необыкновенное самообладание казнимого, который не издал ни одного звука во время этой страшной экзекуции (150-2, 199–200). Так было принято казнить и в других странах. Роберу-Франсуа Дамьену, покушившемуся на жизнь Людовика XV, перед четвертованием в 1757 г. устроили истязание калеными клещами, а потом поливали раны горячей смолой, воском, серой и кипящим маслом. Правую же руку, которую он поднял на короля с привязанным к ней ножом, сожгли на медленном серном огне (642-1, 236).

Сравнительно много было сожжений в царствование Анны Ивановны. После крупнейших московских пожаров 1737 г. заживо сожгли Марфу Герасимову, которую поймали на месте «с тряпицей и горелым охлопком» и уличили как поджигательницу (704-20, 499). В том же году в Петербурге сожгли двоих крестьян, обвиненных в поджогах Петербурга (587-10, 7390). Заживо сжигали вероотступников и чародеев. В 1736 г. на костер возвели «волшебника» Ярова (643, 382). В 1738 г., как уже сказано выше, В.Н. Татищев приговорил к сожжению татарина Тойгильду. На следующий год сожгли перешедшего в иудаизм капитан-поручика Возницына (461). В 1701 г. Григорий Талицкий и его последователь Иван Савин были приговорены к казни на медленном огне, которая называлась «*копчение*». Об этой казни в 1670 г. упоминал Рейтенфельс: «Копчение, т.е. жгут их на медленном огне» (615, 117). Талицкого и Савина в течение восьми часов обкуривали каким-то едким составом, от которого у них вылезли волосы на голове и бороде, а тело стало истаявать, как свеча. Мучения оказались столь невыносимы, что Талицкий, к вящему негодованию Савина, терпевшего во имя идеи такую же нечеловеческую боль, «покаялся и снят был с копчения», а затем четвертован (325-1, 7).

Фальшивомонетчикам *заливали горло металлом* (обычно это было олово), который у них находили при аресте. Как и других преступников, их тела водружали (привязывали) на колесо, а к его спицам прикрепляли фальшивые монеты. Берхгольц описывает казнь 1722 г., при которой одному из преступников олово прожгло горло и вылилось на землю. На следующий после казни день любознательный иностранец его видел еще живым (150-2, 242). М.И. Семевский дает еще одну версию казни А.В. Кикина в 1718 г. Правда, не ссылаясь на источник, он пишет, что бывший сподвиж-



«Кошачья лапа»

ник Петра был разорван железными лапами (666, 350). Такая казнь существовала в Западной Европе в XVI—XVIII вв. Железный снаряд («*кошачья лапа*», или «испанское щекотало» — *Spaish Tickler*) был величиной с человеческую ладонь, напоминал грабельки и укреплялся на деревянной ручке. Преступника растягивали на доске с помощью веревок и затем рвали его тело этой лапой (815, 106—107).

Выше уже говорилось, что признание упорствующим преступником своей вины, отречение его от прежних взглядов власть воспринимала с удовлетворением и могла облегчить участь приговоренного либо перед казнью (назначали более легкую казнь), либо во время экзекуции. Тот, кто просил пощады, раскаивался или давал показания, мог рассчитывать на снисхождение, получить, как тогда говорили, «удар милосердия». Такому покающемуся преступнику облегчали мучения — отсекали голову или пристреливали (399, 111; 290, 265). В некоторых случаях «удар милосердия» открывал казнь, причем тайно от зрителей преступника умерщвляли с помощью

бечевки или убивали с первого же удара. Таким было упомянутое «четвертование сверху». По секретному указу Екатерины II именно так поступили с Пугачевым в 1775 г. Зрители, слышавшие приговор и думавшие, что четвертование начнется «снизу», то есть с рук и ног, были ошарашены происшедшим. Многие сочли, что палач ошибся и его накажут. Генерал-прокурор Вяземский, распоряжавшийся казнью, воспользовался тем, что в приговоре, как он рапортовал Екатерине, «сказано глухо, что четвертовать, следовательно и намерен я секретно сказать Архарову (генерал-полицимейстеру. — *Е. А.*), чтоб он прежде приказал отсечь голову, а потом уже остальное». Вяземский ошибается — в приговоре ясно сказано, что Пугачева «живого колесовать» (779, 145–147).

Наказанный батогами должен был, по словам Перри, после каждого удара кричать «Виноват!». Даже во время мучительной казни преступников призывали к покаянию (546, 440). После того как в 1724 г. обер-фискал Нестеров четвертовали «живова», или «снизу», к нему подошел священник и стал уговаривать признать свою вину, «то же самое, от имени императора, сделал майор Мамонов, обещая несчастному, что в таком случае ему окажут милость и немедленно отрубят голову». Нестеров же упорствовал в своем непризнании. Поэтому его не лишили жизни сразу, а грубо поволокли туда, где только что казнили сообщников бывшего обер-фискала, и, бросив лицом в лужу крови, отрубили ему голову (150-4, 11). Власть добивалась от казнимого не только раскаяния, но и дополнительных показаний. Страшные физические мучения делали самых упрямых колодников покладистыми если не в пыточной камере, то на колесе или на колу, когда мучительная смерть растягивалась на сутки. И это позволяло вытянуть из полутрупа какие-то ранее скрытые им сведения. Поэтому рядом с умирающим всегда стоял священник, а иногда и чиновник сыскного ведомства, готовый сделать запись признания или раскаяния. Священник для увещевания назначался заранее. В 1724 г. в Тайную канцелярию «призван был... протопоп Алексей Васильев, которому объявлено, что осмого дня сего ж февраля имеет быть учинена смертная казнь роспопе Игнатью Иванову, чтоб он был при том для увещания как и преж сего при таких экзекуциях бывало». При этом смертному показанию, как и исповедальному признанию, была определена высшая цена: «Ростригу Игнатья Иванова определено казнить смертью, а что он, рострига при смерти станет объявлять, тому и верить» (9-4, 10, 26 об.—27, 34).

Редчайший случай произошел с майором Глебовым, уличенным в 1718 г. в сожительство с бывшей царицей Евдокией и в иных государственных преступлениях. На следствии Глебов держался мужественно, обвинения от себя отводил, но главное — не раскаялся в своих поступках и не просил

у государя прощения. Это вызвало страшное раздражение Петра I. Глебова подвергли пыткам, похожим на те, которые применял к своим врагам Иван Грозный. Тем не менее майор так и не покался ни перед государем, ни перед церковью. В манифесте 6 марта 1718 г. сказано, что Глебов «с розыска не винулся», и поэтому он обвинялся в «бесстрашии» и «бесприкладном (т.е. беспримерном. — Е. А.) преступлении».

К нему, приговоренному и посаженному на кол 15 марта 1718 г. на Красной площади, приставили архимандрита Спасского монастыря Феофилак-та Лопатинского и иеромонаха Маркела Родышевского, чтобы они, постоянно находясь у места казни, приняли покаяние преступника. Но церковники так и не дождались раскаяния Глебова. Лишь однажды умирающий «просил в ночи тайно» Маркела причастить его, но тот отказал казненному в просьбе. Утром 16 марта Глебов умер (752, 219). Позже Петр расправился с Глебовым еще и посмертно: ему объявили анафему — вечное церковное проклятие. В указе Петра об этом от 15 августа 1721 г. сказано, что Глебов «по жестокости своей и непокаянному сердцу, когда, по Его и.в. правам достойная ему, Глебову, казнь чинена, свойственного по христианской должности покаяния не принес и причастия Святых тайн не точию не пожелал, но и отвергся и клятве церковной, яко злолютый преступник и таковыя святыя тайны презиратель и отметник сам себя подверг» анафеме. С тех пор по всем церквям должны были возглашать: «Во веки да будет анафема!» — упоминая рядом с Гришкой Отрепьевым и Ивашкой Мазепой и Степку Глебова (734, 443).

Теперь о технике болевых и калечащих наказаний. При наказании *кнутом* приговоренного взваливали на спину помощника палача или привязывали к «кобыле» или столбу посредине площади. Англичанин Джон Говард, который в 1781 г. видел в России казнь кнутом мужчины и женщины, вспоминал: «Женщина была взята первой. Ее грубо обнажили по пояс, привязали веревками ее руки и ноги к столбу, специально сделанному для этой цели, у столба стоял человек, держа веревки натянутыми. Палачу помогал слуга и оба они были дюжими молодцами. Слуга сначала наметил свое место и ударил женщину пять раз по спине... Женщина получила 25 ударов, а мужчина 60. Я протеснился через гусар и считал числа, по мере того, как они отмечались мелом на доске. Оба были еле живы, в особенности женщина, у которого, впрочем, хватило сил принять небольшое даяние с некоторыми знаками благодарности. Затем они были увезены обратно в тюрьму в небольшой телеге». А.С. Пушкин также пишет, что приговоренных вместе с Пугачевым к кнутованию привязывали к столбу (608, 80).

Описание «кобылы» известно по данным середины XVIII — начала XIX в. Г.И. Студенкин описывает ее как «толстую деревянную доску, с вырезами для головы, с боков для рук, а внизу для ног». Она «поднималась и опускалась на особом шарнире так, что наказуемый преступник находился под удобным для палача углом наклона. Палачи клали преступника на кобылу, прикрепляли его к ней сыромятными ремнями за плечи и ноги и, пропустив ремни под кобылу чрез кольцо, привязывали ими руки, так что спина после этой перевязки выгибалась» (711, 216; см. 678, 169). Поляк-конфедерат видел в Сибири нечто похожее на «кобылу» в 1769 г. Он писал, что к этому снаряду «прикрепили слушников за руки, ноги и шею» и в таком положении начали стегать (588, 290–291).

Издатель записок пастора Зейдера в 1802 г. пояснял читателю, что в России «на месте казни стоит вкось вделанная в раму толстая доска, называемая плахою. На ней находятся три отверстия, которые, при помощи ремней крепко удерживаются голова и руки, ноги также туго привязаны. Преступника, приговоренного к такому наказанию, обнажают до бедер и привязывают к доске так, чтобы все мускулы спины были совершенно натянуты» (520, 480). И хотя издатель записок Зейдера и называет «машину» плахой, думаю, что это именно «кобыла», описанная выше Студенкиным (см. 728, 236; 311, 99). До «кобылы» кнутование проходило на «козле». В приговоре 1616 г. о наказании за «непригожие слова» сказано: «Бить на козле кнутом» (500, 3). Этот приговор многократно упоминается в Уложении 1649 г. (статья 22 20-й главы; статьи 14–19 25-й главы). Как выглядело это орудие, неизвестно, и сказать точно, когда «кобыла» вытеснила «козла», мы не можем. По некоторым данным, в провинции били кнутом на перевернутых дровнях (463, 197; 194, 76).

Вместе с тем в течение XVII в. и почти всего XVIII в. использовалась и техника битья кнутом «на спине». О ней повествуют в своих записках Адам Олеарий, Г.А. Шлейссинг и другие иностранные путешественники. Преступника раздевали до пояса и клали на спину помощника палача, который держал его за руки. Ноги же связывали веревкой, которую крепко держал другой человек, чтобы преступник не мог двигаться. За осужденным в трех шагах стоял палач и бил его длинным и толстым кнутом. Невилль уточняет картину, хотя саму экзекуцию он ошибочно принимает за пытку: «Испытуемого привязывают к спине сильного мужчины, который прямо стоит на ногах, опираясь руками в подобие скамьи на высоте его головы. В этом состоянии приговоренный получает 2 или 300 ударов кнута по спине». «На спине» секли Н.Ф. Лопухину и А.Г. Бестужеву в 1743 г. (489а, 156; 660, 196–197). Уильям Кокс, наблюдавший кнутование в 1778 г., писал, что к ногам преступника привязывали гири (391, 27). Была и третья разновидность казни кну-

том — «в проводку», т.е. на ходу, когда преступника, водя по оживленным торговым местам, били при движении кнутом («водя по всем улицам, учинить им жестокое наказание, бить кнутом нещадно» — 587-13, 9707).

Разные виды битья могли сочетаться. В этом случае в приговоре отмечалось: «Бить на козле кнутом и в проводку» (197, 30, 32). Так, кажется, поступали с самозванцами в 1760-х гг.: Ивана Евдокимова в 1764 г. водили по деревням, где он ранее «возглашал» себя Петром II, и давали ему по указу «в каждом месте по 5 ударов». В 1766 г. по указу Екатерины II с самозванцем Кремневым поступили так же: его приговорили к наказанию кнутом, причем в указе отмечается «воспитательно-устрашающий» характер экзекуции: «В страх другим такого отчаянного свойства людям во всех тех селах, где он о себе показанные ложные разглашения чинил, при собрании народа, который ему безрассудно повиновался и легкомысленно верил, сечь кнутом в каждом селе по несколько ударов». В 1773 г. сибирский губернатор Чичерин предписал самозванца Г. Рябова, бежавшего из Нерчинска, и его сообщников, «начав с острога, и по всем переулкам [Тобольска] сечь кнутом и, вырезав ноздри, сослать в Нерчинск вечно в ссылку с таким притом повелением, чтобы во всяком от Тобольска городе чинить им наказание кнутом же» (452, 20-21; 681, 101, 106; 639, 60). Казнь «в проводку» была отменена только в 1822 г., когда было предписано: «Подтвердить повсеместно, чтоб один преступник был наказываем в одном только месте» и чтобы «наказанных кнутом отправлять в ссылку не прежде, как уже по совершенном их излечении» (475, 408).

Как и при отсечении головы, кнутование сопровождалось своими ритуалами и обычаями. Обратимся к описанию Г.И. Студенкина: «Приготовив преступника к наказанию, палачи брали плети, лежавшие дотол в углу эшафота, накрытые рогожею, становились в ногах осужденного, клали конец плети на эшафот и, перешагнув, через этот конец правой ногой (вероятно, чтобы не зацепить себя. — Е. А.), ждали начать наказание от исполнителя приговора. Начинал сперва стоявший с левой стороны палач: медленно поднимая плеть, как бы какую тяжесть, он с криком “Берегись, ожу!”, наносил удар, за ним начинал свое дело другой. При наказании наблюдалось, чтобы удары следовали в порядочном промежутке один подле другого» (711, 215). По наблюдениям Л.А. Серякова, «первые удары делались крест-накрест с правого плеча по ребрам под левый бок и слева направо, а потом начинали бить вдоль и поперек спины» (678, 170). Невилль за полтора века до этих авторов видел другую технику битья: бить начинают «ниже шеи, от плеча до плеча; палач бьет с такой силой, что [вырывает] с каждым ударом кусок кожи толщиной с сам кнут и длиной во всю спину» (489а, 156). После кнуто-

вания, писал в начале XVIII в. Перри, следовало благодарить палача, что не изувечил сильнее, чем мог (546, 140).

Битье кнутом — пожалуй, самый распространенный вид экзекуции в России XVIII в. Вообще порка, физическое наказание в виде сечения, битья, играла в России огромную роль вплоть до отмены крепостного права в 1861 г., но сохранилась, в сущности, до 1917 г. Причина такой «популярности» телесного наказания не только в так называемой суровости средневековья или в принятом во всех странах XVIII в. весьма жестоким обращении с человеком, но и в особенностях политического и социального порядка, установившегося в России после утверждения в ней самодержавия и крепостничества. Безграничная власть государя делала всех подданных равными перед ним и... кнутом. Когда читаешь записки И.А. Желябужского о царствовании Петра I, то они кажутся летописью непрерывной порки за самые разные преступления людей разных состояний и положения в обществе. Подьячий и боярин, крестьянин и князь, сенатор и солдат в качестве наказания получали кнут, плети, батоги. Исследователи, начиная с М.М. Щербатова, отмечают отсутствие в общественном сознании допетровской России (да и при Петре) ощущения позора от самого факта публичных побоев и телесных наказаний человека на площади. Лишь с утверждением при Екатерине II дворянских сословных ценностей и усвоением дворянами норм западноевропейской дворянской чести порка стала считаться позором (728, 87, 93, 107).

Бесспорно, что телесные наказания стимулировало и крепостное право. Как писала в своих записках Екатерина II, в 1750 г. в Москве не существовало такого помещичьего дома, в котором не было бы камер пыток и орудий истязания людей. Спустя 70 лет об этом же писал в 1820 г. М.Л. Магницкий: «Во всех помещичьих имениях, у живущих помещиков на дворах, а у их управителей при конторах, есть равным образом все сии орудия» — кандалы, рогатки, колодки и т.д. (722, 779). Одним из настойчивых требований дворянских депутатов Уложенной комиссии 1767 г. было ужесточение наказаний за разного рода преступления (633-68, 356 и др.). Многочисленные источники свидетельствуют, что помещики в массовом порядке сажали людей в «холодную», на цепь, в колодки, пытали и убивали их в домашних застенках, пороли батогами, кнутом на конюшне — традиционном месте казни крепостных. Порка настолько была распространена, что синонимов слова «пороть» в русском языке так много, что их список содержит свыше 70 выражений и уступает только списку синонимов слова «пьянствовать».

Связь системы наказаний в помещичьих поместьях и в государстве была прямой и непосредственной — ведь речь шла об одних и тех же подданных. Одновременно нельзя не согласиться с теми учеными, которые отмечают в

Петровскую эпоху не только резкое усиление жестокости наказаний (об этом свидетельствовал рост упоминаний в законодательстве преступлений, по которым полагалась смертная казнь), но и значительное увеличение наказаний в виде порки различных видов. Можно говорить о целенаправленной политике запугивания подданных с помощью «раздачи боли» (выражение В.А. Рогова). Пример такого отношения к людям подавал сам Петр I, чья знаменитая дубинка стала одним из выразительных символов эпохи прогресса через насилие в России. Мало того, что пороли в каждом помещичьем доме, власти устраивали массовые экзекуции, перепарывая население целых деревень и сел, оказавших сопротивление властям или не подчинявшихся помещику.

Отмечая удачную фразу В.А. Рогова о «раздачи боли», не могу согласиться с своеобразной апологией кнута, данной в его книге. Автор ее пишет, что «возможность смертельных последствий от битья кнутом, на наш взгляд, серьезно преувеличена», и в этом смысле «аморфно понимаемый произвол вредит правдивости науки». И далее: «Для России особенно важно то, что применение телесных наказаний было тесно связано с государственной идеологией, с желанием заставить личность служить власти, сохранив ее общественно полезную единицу... Не изуверство доминировало в праве, а болевые наказания, более всего способные обеспечить подчинение личности государственным интересам» (620, 227, 229). К счастью для меня, спор с профессором из МВД о достоинствах болевых наказаний в деле воспитания законопослушных граждан еще можно перевести, минуя практическую плоскость, в теоретический спор со ссылками на архивы. Исторические материалы однозначно свидетельствуют, что «кнутование» было одним из самых жестоких наказаний, часто вело к мучительной смерти и почти всегда означало для наказанного преступника увечья и инвалидность и уж вовсе не способствовало сохранению кнутованной личности как «общественно полезной единицы». Общее впечатление современников от кнутования было страшным. Олеарий пишет, что спины наказанных при нем людей «не сохранили целой кожи даже на палец шириною, они были похожи на животных, с которых содрали кожу» (526, 290). Через полтора века с ним согласится князь М.М. Щербатов, ученый, «природный русак» и совсем несентиментальный человек. В записке «Размышления о смертной казни» Щербатов писал, что приговоренные к сечению кнутом фактически обрекаются на смерть. Им дают по триста и более ударов и «все такое число, чтобы несчастный почти естественным образом снести без смерти сего наказания не мог. Таковых осужденных однако не считают, чтобы они были на смерть осуждены, возят виновных с некими обрядами по разным частям города и повсюду им сие мучительные наказания возобновляют. Некоторые из сих в жесточайшем страдании, нежели усечение головы или

виселица или самое пятерение (т.е. четвертование. — *Е. А.*), умирают» (805, 67). Однако отменить наказание кнутом при Щербатове не удалось, и люди видели эти страшные экзекуции еще долгие десятилетия. «При первых ударах, — пишет Л.А. Серяков, — обыкновенно слышен был у казнимых глухой стон, который умолкал скоро, затем уже их рубили как мясо» (678, 170). В своей записке Щербатов выступал против наказания кнутом как неверно понятой формы общественной педагогики. Он считал, что публичное битье не производит должного впечатления на зрителей — они не видят, как зверски избитые кнутом люди тяжело умирают после экзекуции в пырьме. Иное дело смертная казнь. Только в ней Щербатов видел реальное средство профилактики преступности. Он считал, что сколько человек ни видит «мучение в другом, никогда такого ему впечатления не соделает как видение умирающего человека. Есть многие примеры, что впечатление и [даже] естественною смертию умирающего человека некоторых мягкосердных зрителей на веки или по крайней мере на долгое время поражает», а что уж говорить о публичной казни, которая, «в единый миг произведенная», потрясает до глубины души зрителя (805, 70). Более других в первой четверти XIX в. за отмену кнута боролся адмирал Мордвинов, который писал в 1824 г., что для зрителя этого страшного наказания «меньшей степени было бы его поражение, менее лютейшим нашел бы он наказание, когда бы видел острый нож в руках палача, которым бы он разрезывал тело человеческое на полосы, вместо того, что он просекает полосы ударами терзающего кнута». Мордвинов, резко осуждая в своей записке применение кнута, считал его не орудием «исправительного наказания», а орудием пытки: «Кнут есть мучительное орудие, которое раздражает человеческое тело, отрывает мясо от костей, мещет по воздуху кровавые брызги и потоками крови обливает тело человека; мучение лютейшее всех других известных, ибо все другия, сколь бы болезненны они ни были, всегда менее бывают продолжительны, тогда как для 20 ударов кнутом потребен целый час и когда известно, что при многочислии ударов мучение несчастного преступника, иногда невинного, продолжается от восходящего до заходящего солнца» (479, 23–24).

Формально кнутом не убивали. В истории казней в России известен только один случай казни до смерти с помощью кнута. Это произошло 27 октября 1800 г. в Черкасске (Старочеркасске), где был публично заперот насмерть полковник гвардии Евграф Грузинов за «непристойные слова» об императоре. Несчастного били по очереди четыре палача, и казнь, начавшаяся «при восхождении солнца продолжалась до двух часов пополудни» — до тех пор, пока обессиленный палач не бросил кнут и не отошел в сторону. «Поэтому решили умертвить Грузинова другим способом: приказали дать ему напиток холодной воды, отчего он тотчас и скончался» (375, 574–575).

Смертный исход после наказания кнутом был очень частым. Уильям Кокс, педантично изучавший проблему наказания кнутом в России, писал, что «причиной смерти бывает не столько количество ударов, получаемых преступником, сколько тот способ, каким они наносятся, ибо палач может убить его тремя или четырьмя ударами по ребрам». В целом Кокс считал, что наказание кнутом было лишь одним из видов смертной казни, причем весьма мучительной. Он писал, что приговоренные «сохраняют некоторую надежду на жизнь, однако им фактически приходится лишь в течение более длительного времени переживать ужас смерти и горько ожидать того исхода, который разум стремится пережить в одно мгновение. Если мы учтем, что многие преступники умирают под ударами кнута или от последствий его, что многие из них гибнут от тягот пути в 18 000 миль к отдаленному Нерчинску и что прибывшие туда очень скоро умирают из-за вредного воздуха в рудниках, то мы едва ли сможем назвать приговор, вынесенный этим несчастным людям иначе, чем медленной смертной казнью» (391, 26).

Словом, кнутование даже если не убивало, то калечило человека, делало его не «полезной единицей», а инвалидом. Это видно из именного указа 25 июня 1742 г., который разрешал помещикам сдавать в рекруты крепостных, наказанных за ложное «Слово и дело». За это преступление им полагался кнут, но закон разрешал использовать плеть «дабы они впредь, при отдаче в рекруты, годны могли быть». Это же следует и из приговоров 1752 г. о казни взбунтовавшихся работных людей Калужской провинции. Телесные наказания за одну и ту же вину суд определял своеобразно: пригодных к дальнейшей службе и работе на заводе наказывали плетью, непригодных — кнутом, так как им все равно не работать! Вынося приговор о кузнице Архипе Тимофееве, судья заколебался и постановил: «Ежели годен в службу, то, учиня в кузнечном ряду наказание плетью, а ежели негоден — кнутом» (463, 125, 127, 262, 401). Особенно печальна была судьба тех преступников, которых секли несколько раз. Это происходило в том случае, если приговор предусматривал кнутование «в проводку» или в тех местах, где казнимый совершал свои преступления. Казнь затягивалась, преступника водили с места на место, даже везли в другой город, его раны не заживали, а гноились (683, 12).

Очень редко в приговорах сказано о числе ударов кнута, которые предстояло выперпеть преступнику. Казнимый отдавался на волю исполнителям казни, хотя допускаю, что они исходили при этом из каких-то норм, традиций кнутобиения, учитывали тяжесть преступления, рецидив, телесную крепость преступника. Ясно, что приговор «Жестокое наказание кнутом», «Нешадное наказание кнутом», «Бить кнутом без всякой пощады» — это более суровое наказание, чем кнутование по приговору: «Бить кнутом». Но в документах встреча-

ются и упоминания о конкретном числе ударов. 30 ударов кнута получил по приговору «Бить кнутом нещадно» школяр Лукьян Нечитайло из Глухова в 1722 г. Столько же ударов тоже по приговору «Кнутом нещадно» получили в 1725 г. бывшие попы Захарий Игнатьев и Антип Щеглов (664, 65, 182—183). «Чародея» Козицына приговорили в 1763 г. к «жестокому наказанию кнутом», и он получил 40 ударов (215, 243). По мнению А. Г. Поляка, в 1660-х гг. битье кнутом «нешадно» равнялось 50 ударам кнута (538-5, 260). Это же число упомянуто и в материалах, опубликованных Н. Я. Новомбергским (500, 266). Во время же подавления тарского мятежа в Сибири в 1720 г. мужчинам давали по 100, а женщинам по 50 ударов кнута (581, 61). Когда в 1752—1753 гг. наказывали взбунтовавшихся работных людей Калужской провинции, то по приговору о «нешадном наказании кнутом» преступники получали 50 ударов, а при наказании по приговору просто «кнутом» давали всего 25—30 ударов (463, 128, 136). Таким образом, думаю, «нешадное наказание» кнутом в XVIII в. составляло не менее 30 ударов, хотя А. Г. Тимофеев считал, что нижний предел — 50, но было и больше — 70, 100, 125, 175, 200 (728, 242—245).

Вообще, создается впечатление, что ближе к XIX в. число ударов при кнutowании возросло. М. Л. Магницкий в 1820 г. о своем времени писал: «Уголовные законы полагают определительности присуждаемым ударом кнутом; в важнейших случаях говорят они: бить нещадно. Нет двух губерний, в которых бы выражение это толковалось единообразно. От 25-ти ударов челолюбивого председателя Уголовной палаты присуждаемых до 900, которым я знаю примеры, оставлено кровавое поле жестокости, пристрастия и подкупу» (722, 381). Между тем Александр I указом 1802 г. отменил в приговорах слово «нешадно», судьи должны были обозначать в приговорах точное число ударов (477; 479, 32). Но закон этот не исполнялся.

Никаких критериев в определении силы удара кнута не существовало. Часто встречающееся в приговорах понятие «нешадно» ни по числу, ни в силе ударов не было регламентировано. Единственным и весьма условным критерием сильного битья кнутом на Востоке (и в современной Чечне) было указание на то, что палач «обнажает подмышки», т. е. высоко поднимает руку, и бьет со всей силы. В России упоминания о таком способе определения силы удара мне не известно. Жестокость наказания кнутом во многом зависела не столько от количества ударов, сколько от угла наклона «кобылы» (чем отложе лежал преступник, тем сильнее приходился удар по спине), от расстояния, с которого бил палач («Если палач становится дальше, то удар наносится концом ремня, в близком же расстоянии всем ремнем» — 728, 250), но более всего от воли старшего экзекутора и палача. При этом жизнь кнutowанного зависела в немалой степени и от продажности экзекуторов. Как вспоминал Зейдер, которого вели на эшафот, его мрачные мысли были

прерваны палачом, который потребовал денег. «В кармане у меня было всего несколько медных денег, но в бумажнике было еще 5 рублей. Доставать их было неудобно, это могло обратить внимание, поэтому я снял часы и, отдавая их, сказал как только мог яснее по-русски: “Не бей крепко, бей так, чтобы я остался жив!” — “Гм! Гм!” — пробурчал он мне в ответ» (520, 479).

О взятках накануне казни нам известно из разных источников. Смысл взятки состоял в том, чтобы опытный, профессиональный палач замахивался сильно, а бил слабо и не вкладывал в удар всю силу. Проверить или проконтролировать силу удара было очень трудно. Как писал современник, «одного удара достаточно для того, чтобы разрезать кожу так глубоко, что кровь заструится. С другой же стороны подкупленный палач... окровавит спину преступника и следующими ударами размазывает только текущую кровь...» (728, 250). М.И. Семевский, опираясь, по-видимому, на предание, писал, что во время казни в августе 1743 г. А.Г. Бестужевой в тот момент, когда палач сдирал с нее платье, казнимая сумела сунуть ему в руку золотой с бриллиантами крест. Поэтому палач бил женщину легко, а при урезании языка оторвал клещами только самый его кончик (660, 197). Но взятки палачу давали и по другим мотивам. Как писал Самуил Коллинс в 1685 г., «русские палачи — мастера своего дела и могут, как говорят, с шести или семи ударов убивать человека. Иногда сообщники преступника подкупают палача и заставляют его засекать обвиненного до смерти, чтобы отвратить от себя наказание» (395, 22).

Подобные, если так можно назвать, злоупотребления были весьма распространены. Обобщая известные ему факты, адмирал Мордвинов в записке 1824 г. признавал, что с кнутом «точность в определении наказания» невозможна, а «действие законов, исполнение приговора и мера наказания останутся всегда в руках и воле палача, который ста ударами соделает наказание легким, десятью — жестоким и увечным, естли не смертельным. Как сила наказания зависит от палача, то обыкновенно он торгуется с принужденным к оному и требования его всегда бывают велики. Есть примеры, что платили ему до 10 т[ысяч] р[ублей], чтобы не изуечить или менее мучительным сделать наказание» (479, 23–24).

Тем не менее эта дикая казнь оставалась в арсенале власти очень долго. Правда, с годами ее стали «стесняться». Секретный циркуляр МВД времен Николая I гласил: «В июле месяце 1832 года сын французского маршала князя Екмюльскаго, быв в Москве, купил тайным образом, чрез агента своего, у заплочного мастера два кнута, коими наказываются преступники. По всеподданейшему докладу о сем государю императору, Его величество высочайше повелеть соизволил: “Впредь ни кнутов, ни заплочного мастера никому не показывать”» (203, 216).



Торговая казнь «в проводку»

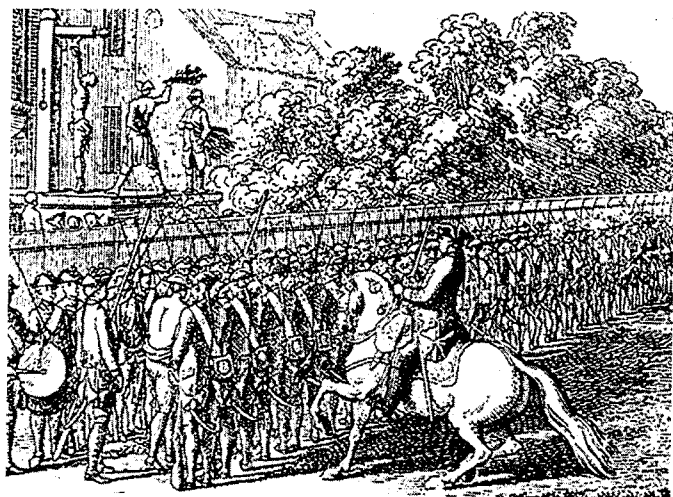
Термин «*торговая казнь*» происходит от обычного места проведения экзекуции — на торговых, людных местах. Из документов следует, что торговая казнь не есть публичная смертная казнь. Скорее всего, это было лишь битье кнутом (Судебник 1550 г., ст. 5 и 6: «И того подьячего казнити торговою казнью, бити кнутьем», «Казнити торговою казнью, бити кнутьем, да вкинути в тюрьму» — 626-2, 97-98; 188, 120). Из 25-й главы Уложения 1649 г. (ст. 16) видно, что эта казнь отличалась от битья на «козле» — «Бить кнутом на козле и ли по торгам». По мнению А.Г. Поляка, комментатора Уставной книги, «торговая казнь» — это битье кнутом преступника, которого на спине держит ассистент палача. Думаю, что это неточно. Казнь «на козле» является «эшафотной», производилась в строго определенном для экзекуций месте, а «торговая казнь» — это упомянутое выше битье кнутом «в проводку» по торговым многолюдным местам, когда преступника вели, волокли и одновременно били по спине кнутом. О том, что это сечение кнутом в торговые дни, ясно говорят приговоры XVII в.: «Казнить торговою казнью, бити по торгам кнутом и сослать в Сибирь, в тюрьму» или «В торговый день бить по торгам кнутом нещадно» (102-3, 384; 500, 242).

Думаю, что с проводкой и связан приговор 1721 г. по делу Никиты Кляпикова, которого было приказано «бить кнутом дважды» (8-1, 35). Возможно

было и сочетание разных видов битья — в статье 19 25-й главы Уложения записано: «Бить кнутом на козле и по торгам», что может означать комбинацию проводки с битьем в людном месте и битья на «козле». Так, в частности, было при наказании взбунтовавшихся служилых людей камчатских острогов в 1713 г. — они, как писал экзекутор Колесов, «на козле... биты кнутом и в проводку по улицам вожены» (537-1, 537).

Экзекуция под названием «Гнать сквозь строй», «Наказать шпиц-рутенами» (шпицрутенами) появилась в XVIII в. при Петре I как типично западноевропейское воинское наказание. Однако с самого начала «прогуляться по зеленой улице» заставляли не только провинившихся солдат, но и гражданских преступников. Наказание шпицрутенами в XVIII в. ничем не отличалось от экзекуций, описанных в мемуарной и художественной литературе первой половины XIX в. Солдатам раздавались розги, полк (или батальон) выстраивался на плацу «коридорным кругом»: две шеренги солдат стояли напротив друг друга по периметру всего плаца. Обнаженного по пояс преступника привязывали к двум скрещенным ружьям, причем штыки с ружей не снимали, так что они упирались несчастному в живот и не позволяли ему идти быстрее. Не мог наказанный и замедлить шаги, унтер-офицеры тянули его за приклады ружей вперед. Каждый солдат делал шаг вперед из шеренги и наносил удар. За силой удара внимательно следили унтера и офицеры, не допуская, чтобы солдат-палач пожалел своего товарища. Если наказанный терял сознание, то его волокли по земле или клали на розвальнях и везли до тех пор, пока он не получал положенного числа ударов или не умирал на пути по «зеленой улице». Соучастников и свидетелей его проступка в воспитательных целях вели следом так, чтобы они видели всю процедуру в подробностях и могли рассказать об этом другим.

Розга (рутен) представляла собой тонкую, гладкую ветку — «лозовый прут» длиной в 1,25 аршина (чуть меньше метра), очищенную от листьев и мелких веточек. Розги использовались достаточно тяжелые, но гибкие, не сырые, но и не сухие, а слегка подвялые. Менять их полагалось после десяти ударов. По крайней мере, такие требования к розгам были приняты в первой половине XIX в., но думаю, что они действовали и в XVIII в. (711, 213; ср. 678, 171–173). Сведениями о том, что розги предварительно вымачивали в соленой воде, мы не располагаем. Закон не устанавливал никакой нормы наказания шпицрутенами. В ряде случаев отмечалось: «Прогнать шпиц-рутен чрез полк сколько можно» (752, 602). Артикул воинский 1715 г. предписывает за минимальное преступление — кражу на сумму не более 20 рублей — гонять «сквозь полк», т. е. через тысячу человек шесть раз, при повторной краже — двенадцать раз (626-4, 362). Судя по приговорам, случалось, что преступ-



Наказания в армии: бичевание и прогон сквозь строй целого полка

ников гоняли по три, пять, двенадцать раз через батальон (8-2, 57 об., 70 об.; 622, 88). Но из дела 1740-х гг. известно, что камер-юнгю Ивана Петрова приговорили прогнать «чрез полк сорок два раза», т.е. он выдержал 42 тысячи ударов, причем он чувствовал себя на «зеленой улице» «привычно»: до этого приговора его гоняли через батальон 61 раз и много раз бивали кошками (8-2, 70; 661, 526). О наказании в 1780 и в 1785 гг. преступника Василия Брягина шпицрутенами сказано, что его гоняли «чрез тысячу человек восемь раз» (189, 87). Из всех телесных наказаний в армии шпицрутены были самым распространенным. В. Савинков подсчитал, что из общей суммы телесных наказаний по статьям Артикула воинского (50) на долю шпицрутенов приходится 40 статей (637, 18–19; ср. 622, 123). Шпицрутены воспринимались как дисциплинарное наказание, не лишавшее военного и дворянина чести. В указе 1721 г. об офицерах, отправленных после телесного наказания на каторгу, сказано, что тех из них, кого приговаривали «в вечную работу», наказывали кнутом. Тех же, кого ссылали «на урочные годы», т.е. на определенный приговором срок, следовало «гонять шпицрутеном, а кнутом не бить... для того, что ежели, по прошествию урочных лет они освободятся, то за таким пороком, что были в катских руках, невозможно их в прежнюю употреблять службу». Н. Евреинов, упоминая указ 1721 г., поставил рядом с ним и указ 1751 г. о наказании солдат за корчемство не кнутом, а шпицрутенами, «дабы они, будучи в службе, могли те свои вины заслужить» (311, 57).



Наказание батогами

Как и кнутование, люди переносили шпицрутены по-разному. Одни умирали, не выдержав и минимума наказаний — трех проводок через батальон. Другие же выживали и поправлялись и после куда более жестоких наказаний, которые, в сущности, приравнялись к смертному приговору. Известно, что пугачевский атаман Федор Минеев умер после проводки через 12 тысяч шпицрутен (418-3, 397), в то время как солдат Кузьма Марев, человек «весьма продерзостной и самого худого и невоздержанного состояния», «за многие его продерзости гонен был в разные времена спиц-рутен девяносто семь раз (т.е. в общей сложности. — Е. А.), да бит батогами». Если бы числительные в цитируемом документе не были написаны словами, то можно было бы признать здесь опisku, ведь снести эти минимум 48 тысяч ударов (даже если иметь в виду, что Марева гнали не через полк, а через батальон — 500 прутьев) человек не может, и тем не менее нестигаемый Марев это выдержал и потом за брань в адрес императрицы Елизаветы был снова наказан и сослан в Оренбург (8-2, 70, 97).

Моряков пороли в основном *линьками* — кусками веревки с узелком на конце или *морскими кошками* — многохвостовыми плетка-

ми. Кроме того, их еще *килевали* — наказанного протаскивали на веревке под корпусом, точнее — килем, корабля, что продолжалось несколько минут и угрожало жизни истязуемого. Уильям Кокс писал, что *плети* и *кошки* «суть многохвостые ремни с тою разницей, что кошки бывают на конце осмолены; кошка употребляется, главным образом, для наказания матросов; плетью наказывают за более легкие проступки. За маловажные проступки наказывают также батогами — это тонкие палки, которыми бьют по пятам» (391, 28). Действительно, другие источники эти сведения подтверждают, хотя разнятся в оценке числа хвостов у плети (два-три и больше) (728, 238, 263). *Батоги* — палки — считали самым легким наказанием, что отразилось в приговорах: «Бить батоги в кнута место» и в пословице: «Батоги — дерево Божье, терпеть можно». Как проводилась эта экзекуция, описывает в 1687 г. Шлейссингер: «Батоги даются таким образом: если кто-либо украдет нечто мелкое или совершит другой незначительный проступок, то его кладут на землю, после чего один слуга садится ему на шею, а другой — на ноги. И каково преступление, таково и количество ударов провинившемуся. Его бьют малыми прутьями по спине, затем переворачивают и бьют таким же образом по животу в соответствии с тем, что он заслужил. И иногда бьют так долго, что он умирает» (794, 120; см. 621, 117). Ту же технику битья батогами описывает и полстолетия спустя Берхгольц, наблюдавший ее в Петербурге в 1722 г. Он уточняет, что преступника бьют по голой спине, что палки толщиной в палец и длиною в локоть и что еще двое ассистентов держат его враспязку за руки (150-2, 216). Позже битье батогами упростили — наказываемого стали привязывать к «кобыле». Другое наказание батогами предназначалось для должников и недоимщиков на правееже. В этом случае батогами били по голым ногам — по икрам или пяткам. Для церковников (чтобы их не расстригать) использовали *шелепы* — толстый веревочный кнут. Наказание шелепами не считалось позорящим, не требовало расстрижения и являлось дисциплинарным наказанием духовных персон, так называемым. «усмирением». При этом такое усмирение было, по-видимому, тяжелым, если в приговоре дьякону Василию Иванову в 1719 г. наказание шелепами назначали «вместо кнута» (89, 789). Получается, что моряки и монахи имели свои особые орудия наказания.

Закон предусматривал и такую меру наказания, как *членовредительство*, т.е. отсечение иных, кроме головы, частей тела, что непосредственно не вело к смерти. Отсекали руки (до локтевого сустава), ноги (по колену), пальцы рук и ног. За более легкие преступления (или в милость) отрубали менее важные для владения руками пальцы, в других случаях отсекали все пальцы. В законодательстве второй половины XVII в. установлена

некая «закономерность» в отношении членовредительства преступников по степени тяжести вины и развития рецидива. Самым легким считалось отсечение одного пальца на левой руке, самым тяжелым — отсечение правой руки и обеих ног. Впрочем, строгость следования законам была относительна. Правы те историки, которые пишут, что руки, ноги, пальцы, уши секли как придется, как вздумается исполнителям (см. 673, 134—138; 728, 203 и др.). Поэтому нужно считать милостью наказание для Александра Дубенского, которого в 1743 г. было решено, «по отрублении левой руки по кисть» послать на Камчатку «в работу», — власти, вероятно, полагали, что с отрубленной левой рукой еще можно принести пользу отечеству (89, 172). Впрочем, такое наказание упоминается редко. С началом петровских реформ стоящие у власти поняли, что преступники — лучшие работники многочисленных строек, и поэтому отсечение членов (в том числе пальцев), не позволявшее работать, фактически прекратилось. Ограничивались кнутованием, резали несчастным уши и рвали носы.

«Рвать ноздри и резать уши». С этой экзекуцией, уродующей человека, метящей его как преступника, не все ясно. В источниках постоянно встречаются пять глаголов, обозначающих эту экзекуцию: «пороти», «рвать», «вынимать» («выняв ноздри», «ноздри выняты»), «вырезать» и «резать». В допетровскую эпоху (см. Уложение 1649 г., глава 25) эта операция в основном называлась «Пороти ноздри и носы резати» (вариант: «...у иных уши резали, иному ноздри пороли» (537-1, 541). Это означало нанесение рваных ран при удалении специальными щипцами крыльев носа. Позже эту операцию стали называть «рвание (вырывание) ноздрей». Так, в приговоре 1775 г. о казни сообщников Пугачева говорилось: «Вырвав ноздри...» (196, 195—196). Отсюда выражение, применявшееся к каторжникам, «р в а н ы е н о з д р и ».

В документах 1720-х гг. появляется еще один глагол для обозначения этой экзекуции: «Ноздри выняты», «Выняв ноздри», «Бит кнутом и с вынятием ноздрей послан на каторгу» (10, 146; 8-1, 357 об.). В Артикуле воинском эта казнь упомянута в двух видах — в одном случае предписывалось «распороть ноздри», а в другом сказано: «Отрезав уши и нос» (626-4, 362). О «вырезании» говорится и в более ранних приговорах. «Вырезывать у носа ноздри» — так сказано в указе 1705 г. о наказании закоренелых преступников. Можно полагать, что ноздри у них были уже вырваны (коли этих преступников предписывалось одновременно заново и «пятнать» клеймами), но теперь ноздри полностью удалялись ножом (537-1, 17). Такую операцию претерпел еще до восстания Пугачева его будущий сотоварищ Хлопуша (280, 163—164). Но это не бесспорный факт, так как известны указы, когда преступников наказывали явно впервые, хотя в приговоре писали: «По в ы р е з а н и ю ноздрей и урезанию языка» или «Бив кнутом и в ы р е з а в ноздри, послать на каторгу



Отрезание носа

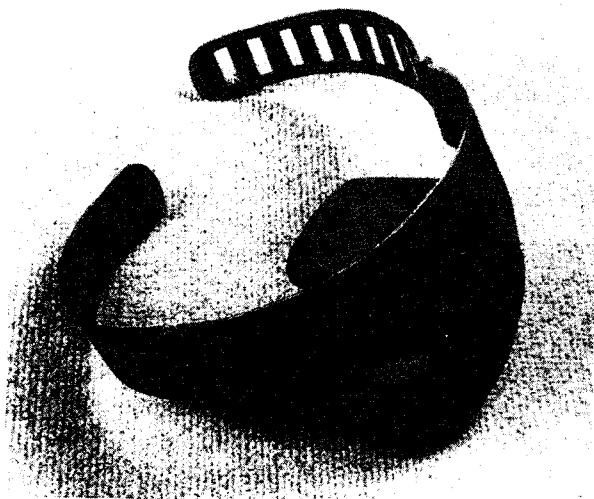
в вечную работу» (7, 349; 181, 111). Этот же термин известен и по документам 1730—1750-х гг.: «Кнутом и по вырезанию ноздрей и урезанию языка». Среди подвергшихся телесным наказаниям в 1725—1761 гг. (см. Таблицу 1 Приложения) ноздри вырваны (вырезаны) у почти четверти наказанных (353 из 1532 чел.), причем большую часть из них (328 из 353 чел.) подвергли увечью после наказания кнутом. Ноздри удаляли с помощью специальных клещей, которые очевидцам напоминали щипцы для завивки бучлей парика. Неясно, раскаляли ли их перед операцией (728, 209). Казнимого ставили перед плачем на колени или сажали на плаху.

Как известно, в тюрьме и на каторге всегда находилось много разных «умельцев», которые лечили каторжников, так что через несколько лет клейма и даже рваные ноздри становились почти незаметны. Об успехах тюремной медицины свидетельствовал указ Петра I 1724 г., чтобы «переклеймить» и заново рвать ноздри у каторжников из-за того, что преступники заживляли раны. В 1765 г. Сенат вновь предписывал: «Посылающим в каторжные работы навеки вырезать ноздри до кости и ставить на лбу литеры, чтоб они сразу были заметны, а не таким образом, как ныне у пойманных в Белевском уезде разбойников, на которых вырезание ноздрей почти незаметно, а литер и вовсе не видно» (529, 192). Но методы тюремной народной медицины были неискоренимы и весьма оригинальны. Сохранилось тобольское предание о трансплантации — заращивании вырванных ноздрей. «Я слышал в детстве от стариков, — пишет сибирский старожил Н. Абрамов, — что будто пониже плеча правой руки его был вырезан кусочек мяса, приложен к ноздрям, и посредством разгноения, зарощены вырванные части» (101, 195).

Первое упоминание о казни «урезания (урывания) языка» относится к 1545 г., последнее — к 1743 г. (728, 197). Урезание делалось с помощью заостренных шипцов и ножа. Как оно именно проводилось, точно неизвестно. Автор статьи о Н. Ф. Лопухиной М. И. Семевский описывает (правда, без цитат и ссылок на источники) эту операцию, проведенную над этой бывшей статс-дамой императрицы Елизаветы: «Сдавлив ей горло, палач принудил несчастную высунуть язык: схватив его конец пальцами, он урезал его почти на половину. Тогда захлебывающуюся кровью Лопухину свели с эшафота. Палач, показывая народу отрезок языка, крикнул, шутки ради: “Не нужен ли кому язык? Дешево продам!”» (660, 197). Из жизнеописаний сподвижников протопопа Аввакума Епифания и Лазаря, которым урезали языки в Москве в августе 1667 г., следует, что для этой операции посадили одного на плаху, другого — на скамью. Из рассказа Епифания, которому вторично урезали язык в Пустозерске в 1670 г., видна техника этой экзекуции: «Приступиша ко мне, грешному, палач с ножом и с клещами, хочет гортань мою отворяти и язык мой резати» (619, 195, 305). Повторение казни потребовалось потому, что после первого урезания языка в Москве Епифаний и Лазарь научились говорить. Удаление языка по приговору не всегда было полным; о казни полковника Резанова, проходившего в 1689 г. по делу Ф. Шакловитого, было сказано: «Бит кнутом и язык ему до половины резан» (527, 209).

Кроме того, приговоры не уточняли, как глубоко нужно вырезать язык. В них часто говорилось обобщенно: бить кнутом и сослать, предварительно «урезав язык» или «отрезав языка» (8-1, 355). Наблюдать за действиями палача при экзекуции было трудно, поэтому можно было дать палачу взятку, и тогда он отсекал у приговоренного только кончик языка. Не случайно в 1678 г. на воеводу Мезени Григория Водорацкого подали донос, что он преступнику Ярышеву «языка не урезал, а только для виду велел пустить кровь из щеки». На допросе палач Иван Чуприк показал, что он «тому крестьянину Климке Ярышеву языка не урезал для того, что не велел Григорей Водорацкой, толко-де велел он, Григорей, ис щоки немного крови выпустить» (241, 247; 181, 16). О том, что лишенная языка А. Г. Бестужева говорила, известно из легендарных сведений о ее жизни в Якутске (655, 19). Повторное удаление языка было уже, как правило, полным — «из корения», что, судя по описанию Епифания, делало жизнь изуродованного человека очень трудной — говорить ему было уже нечем, и к тому же лишенный языка во сне постоянно захлебывался слюной и не мог жевать еду (619, 196).

Урезание языка, подобно отсечению руки или пальца, приближалось к «материальным казням», когда не просто наказывали человека, а отсекали тот его член, с помощью которого было сказано или написано гнусное слово. В приговоре по делу Григория Трясисоломина подчеркнута связь преступ-



Железный кляп

ления и наказания: «За его воровския непристойныя р е ч и велели казнить: вырезать ему я з ы к» (102-4, 51). Точно так же авторам раскольнических посланий Епифанию и Лазарю в 1670 г. вместе с языками отсекали писавшие послания правые руки: Лазарю — по запястье, а Епифанию оставили на руке лишь один палец (619, 195). Из всех дел первой половины XVIII в., которые кончались для преступника урезанием языка, большинство относилось к произнесению преступниками особо дерзких, «скаредных речей». Отсекали язык и за молчание тем людям, которые не известили власти о важном государственном преступлении. В 1733 г. так казнили пять человек свидетелей, знавших, но не донесших на самозванцев Труженикова и Стародубцева. В приговоре о них отмечалось: «За неизвет их на означенных самозванцев... урезать языки» (43-1, 36 об.).

Обычно в самом конце экзекуции преступника, подлежащего ссылке на каторгу, *клеямили*. Это делалось для того, чтобы преступники, как сказано в указе 1746 г., «от прочих добрых и не подозрительных людей о т л и ч н ы б ы л и» (587-12, 9293). В указе 1765 г. об этом говорится: «Ставить на лбу и щеках литеры, чтобы они (преступники. — Е. А.) сразу б ы л и з а м е т н ы» (529, 192). Обычная формула приговора насчет клеймения такова: «... и запятнав в обе щеки и в лоб...» (88, 477). Стоит ли много говорить о том, что

клейменный позорным тавром человек становился изгоем общества? Если вдруг приговор признавался ошибочным, то приходилось издавать особый указ о помиловании, иначе «запятнанного» человека власти хватили повсюду, где бы он ни появлялся.

Какими литерами клеймили («пятнали») и как происходило само клеймение («запятнание», «поставление литер»? В XVII в., согласно указу 19 мая 1637 г. о клеймении преступников, пятнали двумя способами: разбойников буквами «Р», «З», «Б», а татей — «на правой щеке «твердо», на лбу «аз», на левой щеке «твердо» ж», т.е. «Т», «А», «Т» (538-3, 223–224). Были и другие варианты запятнания. Сосланных в 1698 г. в Сибирь стрельцов клеймили в щеку одной буквой — думаю, что либо буквой «Б» («бунтовщик»), либо буквой «В» («вор»). «Запятнан в левую щеку» был в 1695 г. ложный изветчик Григорий Тарлыков, крестьянин Алексей Немиров в 1700 г., а также в 1703 г. крестьянин Семен Романов, обвинявший А.Д. Меншикова в измене (163, 70; 212, 185; 88, 65, 462). В отписке о казни красноярских подьячих в 1700 г. упомянуто, что преступников сослали, «п я т н о м г о р о д о в ы м в с п и н у запятнав...». Что такое «городовое пятно» — неясно, возможно, что это был городской герб или какая-то буква, изображение животного — эмблема данного города. Во всяком случае, по «пятну» можно было достаточно определенно установить город, в котором проводилась экзекуция. Это видно из царской грамоты 1698 г. о казни в Иркутске ранее запятнанных ссыльных, которые совершили новые преступления. Их было предписано казнить, «а на том казненном беглеце к о т о р о г о г о р о д а пятно явится, об нем того города к воеводе... писать имянно» (104-5, 509).

Из отписки приказчика камчатских острогов Василия Колесова видно, что в 1713 г. наказанным бунтовщикам «щеки бунтовым о р л о м орлили» (537-1, 44). В 1705 г. крестьянин Кириллов за «непристойные речи» был приговорен: «...бив кнутом и запятнав п я т н о м в л о б, сослать на каторгу». Возможно, под словом «пятно» подразумевалась буква. Так, преступника Родиона Семенова было приказано «запятнав п я т н о м “ в е д ь м и ” с порохом в л о б в т р е х м е с т а х». Иначе говоря, на лбу у него было три буквы «В» (подробнее см. 728, 211–215).

До 1753 г. чаще всего на щеках и лбу преступника ставили слева направо четыре литеры «В», «О», «Р» и «Ъ» (ер), после 1753 г. — только три первые буквы с помощью присланных из Юстиц-коллегии «стемпелей» (587-14, 10305). Приговор 1756 г. о Ваньке Каине гласил: «Вырезав ноздри, поставить на лбу “В”, на щеках: на одной — “О”, а на другой — “Р”...» (92, 375). Но на этом разнообразие в клеймении не кончалось. Во второй половине XVIII в. стали стремиться обозначить — «написать» — на лице человека его преступление. Убийце ставили на лице литеру «У». Самозванца Кремнева по указу Екатерины II

в 1766 г. клеймили в лоб литерами: «Б» и «С» («беглец» и «самозванец»), а его сообщника попа Евдокимова — литерами «Л» и «С» («ложный свидетель») (703, 275; 322, 125; 452, 21; 681, 106; 212, 51). В те времена к клеймению применяли уже не слово «пятнать», а выражение «поставить знаки» (522, 176). Оренбургская секретная комиссия по разбору дел пленных пугачевцев в 1774 г. выносила приговоры о клеймении преступников следующими буквами: «З» — «злодей», «Б» — «бунтовщик» и «И» — «изменник» (418-3, 389). Позже, с 1846 г. слово «ВОР» было заменено словом «КАТ» для каторжных и литеры «С» и «Б» для ссыльно-беглых и «С», «К» для ссыльно-каторжных. Наносили литеры и на руки преступника (см. 108, 212–213).

В XVII—XVIII вв. техника клеймения состояла в том, что специальным прибором с иглами наносили небольшие ранки, которые затем натирались порохом. Об этом известно из дел Преображенского приказа начала XVIII в., где выносились приговоры: запятнать «ведьми (т.е. буквой «В». — Е. А.) с порохом в лоб» или «Сослать на каторгу, запятнав иглами» (322, 124–125; 212, 45, 172; 88, 129). В указе 1705 г. предписывалось натирать ранки порохом «многажды накрепко», чтобы преступники «тех пятен ничем не выправливали и живили и чтоб те пятна на них, ворах, были знатны по смерти их» (587-4, 2026). С 1712 г. взятым в уздах рекрутам выкалывали крест на руке, а потом ранки натирали порохом. В народе это наконки называли «клеюм Антихриста» (109, 2297; 108).

Наконка клеюма на теле преступника сочеталась с клеюмом раскаленным тавром в форме герба (орла) или буквы: «В ы ж е ч ь на лбу означенных слов первые литеры» («Б» и «С»)» (681, 106). Среди экспонатов одного из музеев Италии выставлены клеюма, относящиеся к XVIII в. Они весьма похожи на те, которыми до сих пор клеюмт скот. Есть клеюма с одной, двумя литерами на одном раздвоенном, как ветка, металлическом стержне (815, 142). По-видимому, в России делали одновременно и наконку и клеюмо раскаленным железом. Так можно истолковать указ 1637 г.: «Напятнати на шеках разжегши, а в пятне написати “Вор”» (728, 211).

Колодники умели выводить позорные клеюма, они не давали заживать «правильным» ранкам и растравливали их. В результате четкие очертания букв терялись. Не случайно указ о наказании закоренелых преступников 1705 г. предписывал: «Пятнать н о в ы м пятном» (537-2, 17). У упомянутого выше Хлопуши за побег с каторги не только удалили остатки носа, но его и вторично клеюмили (280, 163–164). За 1846 г., отмеченный реформами в деле клеймения, сохранилось описание прибора для нанесения клеюм и инструкция к его использованию. Прибор состоял из медных сменных дощечек с вызолоченными стальными иглами в форме букв «К», «А», «Т», а также корбки, из которой дощечку резко выбрасывала тутая пружина. Она же при-



Клейма

водилась в действие спусковым механизмом. Прибор срабатывал тогда, когда коробку прикладывали ко лбу или щекам преступника и нажимали на спусковой крючок. С помощью специальной кисточки образовавшиеся ранки заполняли смесью туши и индиго. Рану завязывали и запрещали прикасаться к ней сутки. Ценную и простую в обращении машинку, входившую в так называемый «комплект палача», предписывалось беречь, а иглы периодически чистить: «пропускать сквозь сухую ветошку».

В 1846 г. было принято особое «Наставление Медицинского совета о наложении и сохранении клейм», а также и «Описание прибора со штемпелями для клеймения каторжных и наставление об употреблении сих штемпелей» (711, 212–215). Читать их так же жутко, как рассказ Франца Кафки «Казнь». Особо тщательно нужно было следить за порядком нанесения букв. Указом 1691 г. предписывалось начинать с левой щеки, указ же 1753 г. предполагал, что «В» ставится на лбу, буква «О» на правой щеке, а буква «Р» на левой (589-3, 1404). В историю вошел нерадивый палач К. Тимофеев, который, находясь в служебной командировке в Новой Ладогге, перепутал, вероятно — с пьяных глаз, клейма и вместо «К», «А», «Т» выколол на лице преступника «Т», «А», «Т», причем второе «Т» оказалось в перевернутом «вниз головой» виде.

Уже в начале XIX в. просвещенные чиновники понимали дикость вырезания ноздрей и клеймения людей. Особенно живо обсуждалась эта проблема около 1804 г., в начале царствования Александра I, когда стало известно дело о двух крестьянах, которых приговорили за убийство к вырезанию ноздрей, клеймению и ссылке в Нерчинск, но вскоре выяснилось, что они оба не виновны. По представлению графа С. Румянцева, им выдали вольную и постановили: «К поправлению варварского вырезания ноздрей и штемпелевания по лицам, следует снабдить их видом, свидетельствующим невинность и служащим к охранению» (570, 293). Однако клеймение и вырывание ноздрей отменили только по указу 17 апреля 1863 г. (711, 222—223).

После телесного наказания преступника отводили или отвозили в тюрьму, где при необходимости его лечили — после кнутования и других экзекуций человек тяжело болел. Только к середине XIX в. у эшафота появился врач. В 1848 г. Управа благочиния требовала от смотрителя Тюремного замка в Петербурге не проводить телесных наказаний при сильных морозах (ниже 10° С), ибо преступники получают простудные болезни, а «излечение от этих болезней, по причине ослабления сил, следующего за наказанием, сопряжено с большими затруднениями» (711, 221).

Исполнение приговора обязательно фиксировалось в соответствующем протоколе, журнале или в виде пометы на указе-приговоре, объявленном преступнику и публике: «Артюшка Маслов кажен в нынешнем 707-м году мая в 27 день» (197, 259). «И июня 29 дня 1724 году, — сказано в журнале Тайной канцелярии, — Якову Орлову экзекуция учинена за кронверком у столпа бит кнутом, дано ему тридцать ударов и ноздри вырезаны, при той экзекуции были для караула... подпоручик Степан Сытин, 12-ой роты за сержанта кап-рал Артемон Оберучев, 9-ой роты за капрала салдат Борис Телцов, солдат 24 человека, барабанщик, Тайной розыскной канцелярии канцелярист Семен Шурлов, подканцелярист Григорий Мاستинской» (19, 99). «И февраля 13 дня сего 733-го году по вышеобъявленному Ея и.в. указу вышеписанному салдату Максиму Погулеву за показанные ево вымышленные затейные на гренодера Илью Вершинина важные непристойные слова (о которых явно по делу) кажен смертью — отсечена голова» (протокол — 49, 23).

С умерщвлением преступника казнь не заканчивалась. Только в XIX в. тела казненных сразу же клали в гроб и увозили для погребения. В XVII—XVIII вв. было принято выставлять трупы или отдельные части тела казненного в течение какого-то времени после казни. Все эти посмертные позорящие наказания носили предупреждающий и поучительный характер: «И в страх иным с виселиц их не сымать» (из указа 1698 г. — 104, 509). В одних слу-

чаях речь шла о часах, в других — о днях, в третьих — о месяцах и годах. В начале февраля 1724 г. в журнале Тайной канцелярии было записано, что после казни расстриги Игнатия было приказано «караулу стоять сего февраля до двадцать осмого дня, а двадцать осмого числа караул свести, а тело погresti в удобном месте» (9-4, 34). О теле казненного в 1764 г. Мировича в приговоре говорилось: «Отсечь голову и, оставя тело на позорище народу до вечера, сжечь оное потом, купно с эшафотом» (362, 154). Так же поступили с телом Пугачева. А.А. Вяземский в рапорте 2 января 1775 г. писал: «Оставляя бездушное тело, нужное на поражение в вящее впечатление буйственной черни» (684-6, 146). При этом части тела Пугачева и его сообщников, казненных в 1775 г. на Болоте, развезли по всей Москве и выставили на колесах в наиболее оживленных местах. Вскоре их сожгли вместе с эшафотом, колесницей и прочим. Сообщника Пугачева Ивана Зарубина казнили в Уфе на эшафоте, который еще до казни забили изнутри соломой и смолой. Только отрубленная палачом голова была показана народу и затем «возложена на столб и на железный шпиль», эшафот был подожжен, а «пепел развеян по воздуху». Весь этот акт имел не только ритуально-символический смысл очищения земли от скверны, но и вполне прагматическую цель — лишить сторонников казненного возможности похоронить тело (684-9, 148; 711, 214; 522, 186, 196; 317, 618).

Обычно так скоро тела казненных с площади не исчезали. Известны многочисленные случаи, когда после казни власти стремились возможно дольше сохранить тело или его части (особенно голову) на страх населению. Их держали на закрепленном наверху столба тележном колесе и на верхушке кольев. Голова при этом часто торчала на спице или на заостренном коле, куда ее втыкали сразу после экзекуции. Отрубленные части тела также подвешивались на перекладинах. Туловище Разина было отдано на растерзание уличным псам, а отрубленные члены «злодея» виднелись на кольях еще несколько лет. Казненный в 1674 г. самозванец Воробьев был «четвертован и по кольям ростыкан», а через три дня было велено перенести отрубленные части тела на Болото «и поставить его на кольях возле вора ж и изменника Стенки Разина, а туловище его велено земским ярьжкам схоронить, отвезчи от города версты с три во рву, и кол воткнуть для знаку» (104-4, 530–531). Страшные впечатления ожидали путешественника, въезжавшего в Москву осенью 1698 г. Окруженные вороньем трупы сотен (!) казненных стрельцов раскачивались на виселицах и лежали на колесах по всем большим дорогам, на городских площадях и на крепостных стенах Белого и Земляного города. Перри пишет, что кроме повешенных на земле валялись трупы казненных топором. «Их приказано было оставить в том положении, в котором они находились, когда им рубили головы, и головы эти рядами лежали подле них на земле» всю зиму (546, 119).

Сибирский губернатор князь М.П. Гагарин был казнен на Троицкой площади Петербурга в марте 1721 г., а в ноябре того же года Петр требовал опутать труп, который уже разлагался, в цепи и так повесить снова. Он должен был устрашать всех как можно дольше (633-11, 433). Саратовский воевода М. Беляев в конце января 1775 г. писал казанскому губернатору, что казненные осенью 1774 г. сообщники Пугачева были «во многих местах... повешены на виселицах, а прочие положены на колеса, головы ж, руки и ноги их воткнуты на колья, кои и стоят почти чрез всю зиму и, по состоянию морозов, ко опасности народной от их тел ничего доньше не состояло». С начавшимся потеплением воевода просил начальство разрешить захоронить тела, чтобы в городе не было «вредного духа» (418-3, 435).

Каменный столб с водруженными на нем головой и частями тела преступников был символом казни после казни. Первый из них был столб на Красной площади в 1697 г., построенный для останков Соковнина и Цыклера. На вершине каменного столба торчали головы казненных, а по сторонам на спицах виднелись отрубленные части тел преступников (546, 99). После казни в 1718 г. сторонников царевича Алексея в Москве на площади была устроена целая «композиция» из трупов казненных. На верхушке широкого каменного столба «находился четырехугольный камень в локоть вышиною», на нем положены были тела казненных, между которыми виднелся труп Глебова. По граням столба торчали спицы, на которых висели головы казненных (752, 225). Как вспоминал запорожец Н.Л. Корж, в таком положении трупы оставались надолго: «И сидит на том шпиле преступник дотоли, пока иссохнет и выкоренится як вяла рыба, так что когда ветер повеет, то он крутится крутом як мельница и торохтят все его кости, пока упадут на землю» (400, 25; 673, 129).

В ритуале казни после казни особое место занимала голова преступника. Ее показывали толпе после казни, втыкали на заостренный кол или столб с металлическим стержнем наверху и стремились сохранить как можно дольше, даже если тело при этом сжигали или хоронили. В указе 13 мая 1732 г. о самозванце Холщевникове сказано: «А тело его жечь при публице, а голову поставить в Арзамасе» (7, 132об.). В приговоре Зарубину-Чике говорилось, что его казнить в Уфе и голову «взоткнуть... на кол для всенародного зрелища» (196, 194). Порой отрубленную в столицах голову казненного посылали на родину преступника или в места, где он совершал злодеяния. Обезглавленное тело Варлама Левина после казни 26 июля 1722 г. в Москве было сожжено, но голову его отправили в Пензу — по адресу совершенного им преступления. В день казни Левина А.И. Ушаков писал доктору Блюментросту: «Извольте сочинить спирт в удобном сосуде, в котором бы можно ту голову

Левина довести до означенного города (до Пензы), чтоб она дорогою за дальностью пути не избилась и оный бы сосуд с спиртом чтоб изготовлен был сего же числа, а кому изволите приказать оное сочинить, чтоб он был в аптеке безотлучно» (325-1, 48). Довезенная до Пензы голова была водружена именно там, где преступник кричал «непристойные слова», — на пензенском базаре. Для этого специально сложили каменный столб, на верхушке которого закрепили железную спицу для головы.

В соседний Тамбов 12 августа 1725 г. отправилась с посылным-сержантом еще одна страшная посылка — голова казненного в Москве монаха Выморочкова. Ее водрузили на каменный столб, причем было предписано «сочинить лист и послать с помянутым сержантом — велеть оной прибить к столбу, где Выморочкова голова будет» (323, 456). И с головой самозванца Семикова, казненного в декабре 1725 г. в Петербурге, поступили точно так же: ее указали отвезти на место преступления — в город Почеп — да при перевозке смотреть, «дабы от какого-либо случая не могла быть утрачена». Согласно указу Екатерины I, на каменном столбе голова стояла на железной спице, а ниже укрепили объявление: «Написав вину на жестяном листу, прибить к оному столбу». Так же поступили и с другими самозванцами (427, 144; 42-5, 23—24; 552, 99).

До тех пор пока части тела преступника торчали на колах или лежали на колесах, родственникам не было покоя. А между тем головы казненных оставались на позорище непогребенными порой годами. Юль видел в мае 1711 г. в Глухове головы казненных осенью 1708 г. сообщников Мазепы (810, 458). Берхгольц сообщает, что в апреле 1724 г. вдова Авраама Лопухина просила Петра о том, «чтоб голову ее мужа, взоткнутую в Петербурге, позволено было снять» (150-4, 26). Значит, голова Лопухина провисела на колу более пяти лет после казни. При этом известно, что сами тела (туловища) Лопухина и других казненных 8 декабря 1718 г. по делу царевича Алексея были сняты с колес и выданы родственникам в праздник Пасхи 29 марта 1719 г. (752, 618). Когда такие столбы исчезли с площадей русских городов, сказать трудно — особого указа об этом неизвестно. 10 июля 1727 г. указом Петра II предписано, «чтоб на столбах головы здесь и в Москве снять и столбы разрушить, понеже рассуждается, что не надлежит быть в резиденции в городе таким столбам, но вне города» (633-69, 43, 47). Из этого указа следует, что столбы убивали только из центра столиц. Скорее всего, предписание это объясняется тем, что на столбах еще висели головы казненных в 1718 г. сторонников царевича Алексея — отца издавшего указ императора. Столбы же и кольца с головами продолжали торчать по всей стране и во времена подавления восстания Пугачева и, возможно, позже.

На местах казней — у эшафотов, виселиц, позорных столбов, — в местах сожжения и развеивания по ветру останков преступника вывешивали указы, написанные на нескольких железных листах. Указ разъяснял суть преступления казенных. Основой «жестяных листов» служил приговор, который выносил суд или государь. Однако текст на листе мог существенно отличаться от приговора-указа, главным образом в сторону сокращения. Н.И. Новиков в 15-м томе своей «Древней российской вифлиофики» опубликовал текст указа Петра I 1697 г. о преступлениях Цыклера и Соковнина, который был «списан с столпа каменного с листов жестяных числом четыре». Если сравнить его с «бумажным» указом об этой казни, то заметны большие различия, точнее — в «жестяном» исполнении исчезли многие разделы о сообщниках преступников. То же можно сказать и об указе и «железном листе» на месте казни Левина в 1722 г. (744, 354–367; 325-1, 52–54 и 47–48). Естественно, что эти сокращения не были случайными. В черновике манифеста или «формы публикации о винах князя Меншикова» от 19 декабря 1727 г. сказано: «Бабке нашей, великой государыне царице Евдокее Феодоровне, чинил многие противности, которых в народ публично объявлять не надлежит» (419, 94). Манифест так и не опубликовали, но если бы это произошло, то данный пункт явно предполагалось исключить. По наблюдению К.В. Сивкова, в манифесте о преступлении самозванца Евдокимова в 1765 г. изъяли некоторые отрывки приговора по его делу, в частности, обещание этого лже-Петра II дать свободу от налогов и не преследовать старообрядчество (681, 102).

Возле такого столба всегда стояла охрана, которая препятствовала родственникам и сочувствующим снять и захоронить останки. Часовые разрешали читать выставленные листы, но когда 23 сентября 1726 г. капитан Иван Унков послал копииста Яковлева к столбу, на котором стояла голова казенного перед этим синодского секретаря Герасима Семенова, «списать слова с листа», то часовой этого сделать не дал. Обиженный Яковлев отправился в Тайную канцелярию жаловаться на солдата, был там задержан, подвергся допросам о причинах своего особого любопытства и с трудом выбрался из объятий сыска (322, 308). Позже «листы» стали заменять публичным чтением манифестов о казни преступника. Манифесты о преступлении начинались словами: «Объявляем во всенародное известие». Их печатали в сенатской типографии и рассылали по губерниям и уездам. Там их читали в людных местах и по церквям. Были и публикации в газете. Так, через два дня после казни Василия Мировича, 17 сентября 1764 г., в № 75 «Санкт-Петербургских ведомостей» был опубликован отчет о происшедшем на Обжорке. Впрочем, одновременно ставили, как и раньше, «листы» на месте казни (552, 99).

История тюрьмы — тема весьма популярная в историографии. Ей посвящено немало научных работ. Устройство тюрем XVIII в. (а это были преимущественно пересылочные тюрьмы) повторяло устройство таких же заведений XVII в. Тюрьмы назывались острогами и представляли собой пространство, обнесенное высокой (до 10 м) стеной-тыном из вертикально поставленных бревен, с одними воротами. В написанном Екатериной II проекте о тюрьмах выразительно говорится: «Тюрьмы строить замком» (722, 66). В центре такого замкового двора стояла деревянная казарма без внутренних перегородок, в ней на голых нарах спали заключенные. Казарма отапливалась печами. Были тюрьмы, где вместо одной большой казармы строили несколько изб поменьше, внутри каждой одна-две камеры — «колодничьи палаты» (или просто — «колодничьи»). В XVII в. в Московском остроге избы имели собственные названия, что говорило об известной классификации «тюремных сидельцев» (так называли заключенных): Опальная, Разбойная, Татарка, Холопья, Сибирка, Женская (296, 330; 626-2, 227 и др.).

По описанию англичанина Кокса, территория Московского острога, построенного в середине 1770-х гг., была разделена внутренними стенами на несколько секторов, внутри которых стояло по 4, 6 или 8 колодничьих палат. Этот принцип устройства «перегород» внутри острога применялся и в середине XVII в. В каждой избе была одна общая камера на 25—30 человек, всего же острог был рассчитан на 800 заключенных. На сектора острог делился для того, чтобы изолировать подсудимых от осужденных и ссыльных, мужчин от женщин (391, 30—31; 208, 300—301). В других же тюрьмах такое деление соблюдалось не так тщательно и часто разные категории заключенных, а также мужчины и женщины жили вместе, о чем мы узнаем из документов о доносах и драках в тюрьме с участием женщин. Правда, как правило, женщин все-таки отделяли от мужчин. За 1722 г. сохранился документ, из которого следует, что в общей казарме Каторжного двора в Петербурге женщин держали в одной части, а мужчин — в другой, охрана же располагалась посередине (9-3, 74)

Внутренний режим в тюрьмах того времени был, разумеется, по сравнению с позднейшими временами, весьма свободным, хотя уже в конце XVI в. указ царя Федора Ивановича предупреждал, чтобы «тюремным сидельцам сидети было бережно и устрожно» (538-5, 227). Днем заключенным разрешалось гулять по тюремному двору. Часть из них, скованные общей цепью («на своре», «на связке») и под охраной солдат, могли покидать острог («пошел из острогу в мир» — 575, 127) для сбора милостыни Христа ради. За 1702 г. сохранилось описание таких цепей: «Две чеши долгих, что в мир ходят и с ошейниками, у них четыре замка висячих» (208, 298). По данным начала XVIII в. известно, что при выходах «на связке» заключенных сковывали по двое «по ноге в железах» (89, 472). В 1752 г. арестантов ковали по двое на «двушейную цепь», что, кстати, не мешало им успешно бежать на пару, потом они разбивали «камнем друг у друга цепи» (242, 35—36).

Арестанты на «сворах» встречались на улицах каждого русского города, и сбор милостыни был видом заработка, который приносил немалые доходы. Зная это, власти порой отправляли самых крепких узников на земляные и иные полезные отечеству каторжные работы (см. 587-10, 7609). Зрелище заунывно поющих колодников «на связке» оставляло тяжелое впечатление у прохожих. В указе Сената 1736 г. с упреком говорится, что арестанты, сидевшие в разных учреждениях, «отпускаются на связке для прошения милостыни, без одежды, в одних верхних рубашках, а другие пытаные, прикрывая одни спины кровавыми рубашками, а у иных от ветхости рубах и раны битые знать (т.е. видны. — Е. А.)». Известно, что выставлять раны и язвы на показ было одним из приемов профессионального нищенства. В 1749 г. Сенат вновь отмечал: «Многие колодники, пытаные в разодранных платьях таких, что едва тела лоскутьями прикрыты, стоя скованными на Красной площади и по другим знатым улицам, необычайно с криком поючи, милостыни просят, також ходят по рядам по всей Москве по улицам». В указе 1756 г. сказано, что колодники на связках «пьянствуют и чинят ссоры» (587-14, 10660). Весь XVIII век власти боролись с «шатанием» арестантов по городу, и только с созданием в 1819 г. специального «Попечительского общества об арестантах», финансировавшего пайки тюремных сидельцев, улицы городов были очищены от нищенствующих преступников.

Вернувшись в острог, арестанты делили милостыню на всех колодников. Не позже XVII века в тюрьме существовала тюремная организация во главе с выборным старостой. Так как известно, что власти запрещали требовать с новичков «в л а з н ы е д е н ь г и», можно утверждать, что в тюрьмах существовал типичный для преступного сообщества «общак» (587-3, 845).

Старосты имели власть над другими арестантами, ведали «общаком», получали и распределяли передачи. Тюремное начальство делало им всевозможные поблажки: сговор («стачка») между тюремными сторожами и тогдашними «авторитетами» был делом обычным. В один из дворов острога допускали торговцев вразнос, и там арестанты покупали еду, одежду, из-под полы — водку. Весь день тюрьма была открыта для посетителей. Родственники и знакомые приносили еду, одежду, лекарства. Женщины варили тут же тюремным сидельцам еду, стирали им белье. Заболевших арестантов иногда отправляли за пределы острога, в военный госпиталь (500, 130; 391, 30–32). На ночь тщательно запирали железные двери тюрьмы, а снаружи выставляли охрану. За попытки побега, нарушения режима, оскорбление стражи следовали телесные наказания кнутом, плетью, батогами.

Побеги не были редкостью при таком достаточно свободном режиме. Уже в Уставной книге Разбойного приказа начала XVII в. отмечается, что сторожей и тюремных целовальников следует подвергнуть допросу с пытками, если «розбойники, подрезав тюрьму (т.е. пропилив стену. — Е. А.), в гордах утекут» (538-5, 200). У преступников было немало способов бежать, освободиться от цепей и кандалов. Один из таких способов упомянут в бумагах Сысского приказа 1755 г. Колодник-старообрядец старец Исаак пытался во время богослужения в церкви, куда его выводили под конвоем, освободиться от оков: «С помощью палки и двух дубовых клиньев, стал разводить на ногах кандалы, но караульный помешал» (242, 52).

И все же, несмотря на неизбежное расследование с пытками и суровое наказание соучастников побега, сговор преступников и охраны был делом обычным. Нередко солдаты охраны, получив деньги и боясь наказания за «слабое смотрение», уходили вместе с преступниками. Пугачев на допросе в 1774 г. рассказывал, что он с сообщником бежал из казанской тюрьмы благодаря тому, что «в остроге из караульных приметили мы в одном солдате малороссиянине наклонность к неудовольствию в его жизни (первые издатели допроса 1859 г. прочитали это место иначе: «...малороссийскую наклонность к неудовольствию» — 282, 9), то при случае сказали ему о нашем намерении, а солдат и согласился. И все трое вообще начали отыскивать удобный случай, дабы из острога бежать», что им вскоре и удалось, выйдя из острога под охраной солдата-сообщника якобы собирать милостыню (684-3, 136).

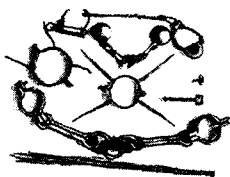
Для наказания провинившихся арестантов и для предотвращения побегов в ходу были различные *оковы* — цепи, кандалы, стулья, рогатки, колодки. Чаще всего узников заковывали в колодки. «К о л о д к а», или «колода», представляла собой две половинки дубового обрубка длиной до арши-



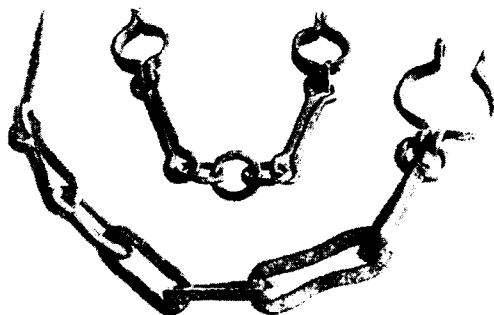
Ручные и ножные колодки и цепи

на с вырезанным в них овальным отверстием для ноги. Обе половинки замыкали замком или заклепывали с помощью штырей. Передвигаться в колодках было трудно, и люди в них, как писал В.П. Колесников, «непрестанно падали и ушибались» (393, 50). Цепные оковы — это кованая железная цепь с двумя широкими, размыкающимися браслетами на концах. Были цепи трех основных видов: для рук, для ног, для руки, ноги и шеи одновременно. В названиях оков нет единообразия. Цепи для рук в документах названы и «кандалами», и «железами», и «наручниками». В указе 1698 г. о содержании стрельцов сказано: «Держать их окованных на чепях, на ногах кандалы, заклепав наглухо, на руках железы» (212, 108), а в указе об аресте участников дела царевича Алексея в 1718 г. мы читаем: «И на оных наложены ножныя железа» (752, 602).

Существовали «че́пи», которые закрепляли на металлическом поясе вокруг талии преступника. В 1774 г. любопытствующие из дворян видели Пугачева в симбирской тюрьме «скованного по рукам и ногам железами, а сверх того около поясницы его положен был железный обруч с железной же цепью, котораяверху прибита была в стену» (608, 355; 684-7, 96). Из других источников известно, что один конец цепи вбивался в стену, лавку или в пол с помощью так называемого «ершового клина» с зазубринами, а на другом конце укреплялся ошейник, ножной браслет или упомянутый железный пояс с запирающимся «цепными ключами» навесным «цепным замком» (278-12, 146). Такая цепь называлась «настенной», а жизнь заключенного в таком по-



Рогатки и кандалы конца XVIII
и начала XIX вв.



Ручные и ножные кандалы

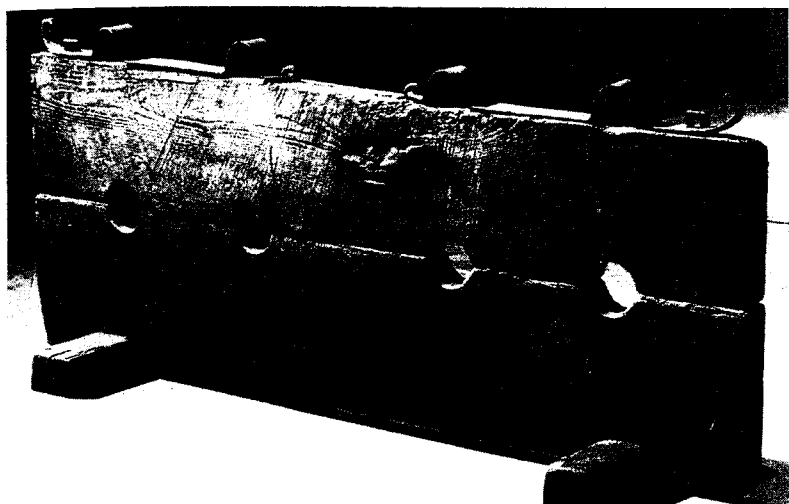
ложении называлась «цепным содержанием». Пугачева в Москве, в Монетном дворе, содержали так же, как и в Симбирске: «Злодей посажен в уготованное для его весьма надежное место на Манетном дворе, где сверх того, что он в ручных и ножных кандалах, прикован к стене». Кроме того, Пугачев сидел за специальной решеткой. Она ныне хранится в Государственном историческом музее. Решетки, отделяющие узников от выхода, упоминаются и при описании других тюрем (655, 4).

Индивидуальные кандалы, в отличие от общих цепей, которые закрывались только замками, были «замочные» и «глухие». Последние кузнецы заклепывали наглухо. «Заклепать их в оковы» — так писал осенью 1774 г. П. С. Потемкин об арестованных священниках, венчавших Пугачева с девкой Устиньей. В 1752 г. арестант Григорий Сафонов и его товарищи просились у конвойных в кузницу «для заковки выпавших из кандалов гвоздей» (242, 35). В документах упоминаются два вида оков: «тесные железа» и «готовые железа». Из описания 1719 г. видно, что различие оков — в их индивидуальной подгонке к рукам и ногам колодника. Тесные делали для того, чтобы суровее наказать арестанта за непослушание, причинить ему боль, страдания. Освобождение же от тесных оков нужно понимать как льготу для узника: «Нарочно тесных желез на него, Кирилла, ковать не веливал, а сковал готовыми железами», т.е. типовыми, не подогнанными вплотную к руке или ноге (325-1, 143). «Тесные железа» имели и другие названия: «твердые кайдалы», «крепкие кандалы» (463, 136, 143; 242, 20).

От воли тюремщиков зависела не только узость — «теснота» — оков, но и их вес. Когда Пугачева арестовали в 1773 г., то управитель Малыковской дворянской волости Позняков «приказал сделать кандалы: ножные в тридцать

и ручные в пятнадцать фунтов и злодея в те кандалы заклепать». Иначе говоря, общий вес кандалов составлял 18 кг, и, как сказал потом Пугачев, оковы «обломили ему руки и ноги» (282, 180, 227). В Москве в 1774 г. на него надели такие же тяжелые оковы. Ножные кандалы весили 1 пуд и 6 фунтов, т.е. 18,5 кг. Они были длиной в 1 аршин 4 вершка (почти 1 м) (522, 88). Но и это был не предел. Разбойник, сидевший в 1827 г. вместе с В.П. Колесниковым, имел на себе железа весом 2 пуда 30 фунтов (44 кг)! (394, 87).

Кроме веса оков важным считалось и число звеньев цепи, соединявшей браслеты. Тот же Колесников писал, что когда на него взамен тяжелых оков надели легкие кандалы, то он поначалу обрадовался, но вскоре пожалел об этом. Дело в том, что меньший вес оков достигался за счет укорачивания цепи. В итоге в ней оставалось всего одно-два звена, и это не позволяло арестанту делать широкий шаг. От этого браслеты страшно натирали ноги (394, 69). Лишь в эпоху Александра I стали думать, как бы заменить старые оковы новыми, более удобными и легкими. Решили остановиться на английском образце кандалов весом (для ручных) до 2 кг. Но английская новинка в России так и не прижилась. Оказалось, что при плохой охране русских тюрем предотвратить побег заключенного могли только тяжкие оковы. По той же причине, как писал в своей записке 1820 г. М.Л. Магницкий, в городских полициях «есть обыкновение всех содержавшихся заключать на ночь в бревно, вырубленное наподобие колоды, для большей безопасности от побега» (722, 783, 779). Речь идет, по-видимому, о «л и с е» — двух половинках распиленного вдоль бревна или бруса с несколькими отверстиями для ног, а иногда и рук. Колесников писал, что «лиса» была сделана из двух четырехгранных брусьев, «длиною во всю тюрьму. Нижний брус прибит накрепко к самому полу, а верхний плотно лежит на нем и соединяется с ним на одном конце посредством железных петлей или шарн[и]ров, а на другом конце прибита толстая железная скоба, которая накладывается на пробой, утвержденный в нижнем брусѣ и запирается большим висячим замком. Во всю длину этих брусьев пробиты в них горизонтально и насквозь круглые дыры такой величины, чтобы могла помещаться плюсна ноги в обуви расстоянием одна от другой на четверть аршина. Колодники должны лечь на пол навзничь и когда верхний брус приподымут, каждый должен положить свои ноги в прорезанные места, тогда верхний брус опускают и каждый остается с защемленными ногами на всю ночь. Этого мало: сквозь средние кольца всех ножных желез продергивается особая железная цепь, прикрепленная к концу колоды и которая также другим концом накладывается на пробой и замыкается замком. Нельзя передать вполне как мучительно это положение.



Колодки, или лиса

Невозможно иметь другого движения как только приподнявшись, сесть и опять лечь на спину — и целые 12 часов!» (394, 84—85).

После этого описания становится понятным, почему во время наводнения в Петербурге 7 ноября 1777 г. в городском остроге на взморье погибло 300 узников, — вероятно, их на ночь запирали в «лису». Лишь в 1827 г. Сенат, узнав о гибели арестанта от долгого держания в «лисе», признал, что это «есть ни что иное, как род пытки», и предписал всюду уничтожить подобные станки (748, 660). «Лису» также называли и большой колодкой (колодой). Она была похожа на ту, которую описывал Колесников. В деле о лифляндских крестьянах, арестованных за бунт в 1777 г., сказано: «Тогда тех пять человек... заклепали в большую колодку, состоящую из двух больших брусьев, окованных железом, длиною две сажени с половиною, в которую бы вдруг шесть человек заклепать можно было» (192, 19).

Тюремное начальство без всяких объяснений по своей воле могло наказывать арестантов наложением цепей, колодок, стульев и прочих орудий на провинившегося узника. Колодник-ветеран Никита Алексеев жаловался (это были времена Елизаветы Петровны) вахмистру Полицмейстерской канцелярии, что при Петре I «накладывалась на нашу братью на двух человек одна цепь, а чтоб-де такие большие цепи, какие на нем есть, носить одному человеку, указов таких не имеется», на что вахмистр ответил: «У нас свои указы» — и был в этом смысле прав (661, 527). «Р о г а т к и» известны двух ти-



Арестантка в рогатках (начало XIX в.)

пов. Одни сделаны в виде замыкающегося на замок широкого ошейника с прикрепленными на нем длинными железными шипами. Их видел в Петербурге в 1819 г. иностранец, посетивший женскую тюрьму. На рогатке были три острые спицы длиной в 8 дюймов, которые «так вделаны, что они (женщины. — *Е. А.*) не могут ложиться ни днем, ни ночью» (722, 782). Описание рогаток другого типа со слов соловецких старожилов дала П. С. Ефименко. Они состояли «из железного обруча вокруг головы, ото лба к затылку, замыкавшегося [с] помощью двух цепей, которые опускались вниз от висков под подбородок. К этому обручу было приделано перпендикулярно несколько длинных железных шипов» (333, 414). Первое же упоминание о рогатках относится к 1728 г., когда обер-фискал М. Косого обвинили в том, что он держит у себя дома арестованных купцов, «вымысля прежденебывалые мучительные ошейники железные с длинными спицами» (756, 291).

Рогатки использовали для наказания нарушителей режима, как и «стул» («стул с чепью, что людей смиряют» — 195, 248). Так называлась большая дубовая колода весом свыше 20 кг с вбитой в нее с помощью ушка и клина цепью, свободный конец которой закреплялся с помощью ошейника

и замка на шее колодника. Передвигаться с такой тяжестью было мучительно трудно. В 1711 г. старообрядца Семена Денисова подвергли суровому наказанию: его водили в церковь «со стулом» (325-1, 291). Шейные рогатки, стулья и шейные цепи официально были уничтожены по указу Александра I в 1820 г., хотя фактически их продолжали использовать и позже: сохранился указ Николая I от 26 марта 1826 г. об «истреблении с цепями рогаток», которые находились в полиции (208, 340, 343—344; 722, 783).

Среди тюрем России самыми суровыми считались *монастырские тюрьмы*, а среди них особо дурная слава держалась за тюрьмой Соловецкого монастыря, ставшего местом заключения многих государственных преступников начиная с середины XVI в. В XVIII в. насчитывалось несколько категорий колодников, которых привозили в монастырь. Это были расстриженные священники и монахи, нераскаявшиеся старообрядцы («раскольники»), отпавшие от православия миряне, богохульники (среди них было немало сумасшедших), убийцы, приговоренные не просто к тюремному заключению, но и к покаянию и смирению в тяжелых монастырских работах, и, наконец, политические преступники. Содержали узников на Соловках по-разному. Самым суровым наказанием считалась земляная тюрьма, а также тесные тюремные «чуланы». В приговорах о заключенных говорилось, что они присланы «под караул» или «под неослабный караул». Лучше было тем узникам, кого привозили «под крепкое смотрение» монастырских властей (или, как тогда еще говорили, «под начал», «на вечное житие», «в тяжкие труды»). Такие узники жили и работали вместе с монастырскими послушниками. Если в приговоре не был указан вид работ, то их «употребляли ко всяким работам». Это позволяло некоторым узникам, благодаря взяткам, вообще избежать тяжелого монастырского труда. Наконец, жили в монастыре и те, кого предписывалось держать на работах «до кончины живота своего неисходно сковану».

Земляные тюрьмы в Коровой башне представляли собой глубокие ямы, обложенные изнутри и по дну кирпичом. Сверху клали засыпанные землей доски. Через небольшое отверстие, которое закрывали железной дверью с замком, вниз подавали скудную еду и воду, выпаскивали нечистоты, а иногда и поднимали самого узника, который жил в яме на гнилой соломе в полной темноте, одолеваемый полчищами паразитов и крыс. Сюда сажали упорствующих раскольников, указ о которых гласил: «Бить кнутом нещадно, и сослать в Соловецкий монастырь в земляную тюрьму для покаяния, и быть ему там до кончины жизни его неисходно» (181, 170). В 1758 г. Сенат послал на Соловки штаб-офицера для осмотра «сделанных в Соловецком монастыре

ради колодников в земле погребов» и предписал ему: «Ежели те, сделанные в земле погреба поныне еще имеются и не засыпаны, то ему... велеть при себе оные немедленно засыпать все и буде в оных есть колодники, тех только вывести из оных тюремных погребов в другие места, куда пристойно, однако не освобождать». Офицер рапортовал, что «таких в земле зделанных погребов и колодников никаких не имеется». Оказалось, что они были уничтожены по указу Синода еще в 1742 г. (176, 3). В 1768 г. в подобную же «подземельную тюрьму» — яму при московском Ивановском девичьем монастыре — посадили Сатпычиху, причем Сенат предписывал держать преступницу в постоянной темноте и еду опускать со свечой, «которую опять у ней гасить, как скоро она наестся» (695, 94; 379, 253). Если вши, крысы, холод и сырость больше всего досаждали узникам земляных тюрем, то сидевшие в «уединенной тюрьме» — каменных «чуланах» вдоль внутренних стен Корожной башни — страдали от неудобства и тесноты: ни встать, ни лечь, ни вытянуть ноги в этих камерах они не могли. По замерам А.П. Иванова в среднем величина каменного мешка — 2,15×2,2 м (342, 16–17). Окна камер были очень узки и почти не пропускали света и воздуха, для которого над дверью делали отдушину. В таком каменном мешке 16 лет просидел последний кошевой Запорожской Сечи П.И. Калнишевский, присланный в 1776 г. «на вечное содержание под строжайший присмотр». Впрочем, посаженный в тюрьму в 87 лет, Калнишевский в 1801 г. вышел на свободу в возрасте 110 лет «без повреждения нравственных сил» и прожил в монастыре, уже по доброй воле, до своей смерти еще два года (397, 53; 333, 415–418). Конечно, это случай исключительный, большинству сидение в каменных «чуланах» жизнь не удлиняло. Особенно было тяжело зимой и, как жаловался А.Д. Меншикову в 1726 г. узник монастыря Варлаам Овсянников, «оную тюрьму во всю зиму не топили и от превеликой под здешним градусом стужи многократно был при смерти» (775, 719). Просторнее были камеры в Головленковой башне (6,5×2,2 м). В 1718 г. в монастырском дворе построили тюремное здание с камерами на двух этажах. Охранять новую тюрьму было легче, чем разбросанные по всему монастырю камеры, ямы и каменные мешки (342, 22).

Условия содержания на Соловках, да и в других монастырях-тюрьмах, определяли следующие обстоятельства: предписания сопроводительного указа, поведение заключенного и, наконец, воля архимандрита. От последнего зависело ослабление или усиление многих режимных строгостей. Одних заключенных сажали на цепь, годами держали в ямах и каменных мешках скованными ручными и ножными железам, били кнутом, плетями, шелепами (341, 41). Им давали только хлеб и воду, заставляли работать на цепи в кухне по 18 часов в сутки: просеивать муку, месить тесто, печь хлеба, выносить

нечистоты, стирать белье. Черные работы в монастыре были вообще разнообразны и тяжелы. Бывший митрополит Ростовский Арсений Мациевич, сосланный в Николаевский Корельский монастырь в 1763 г., сам рубил дрова и носил воду (255, 236).

Другие заключенные, по мнению монастырского начальства, были достойны более комфортабельной жизни. Их могли расковать и, при желании узника, постричь в монахи. Это означало, что человек расставался со всякими надеждами вернуться на материк, но зато он уже не считался колодником. Особенно охотно такую льготу делали для раскаявшихся раскольников, которых годами увещевали отказаться от двоеперстия и других своих «заблуждений». Вся обстановка сурового, подчас немилосердного содержания в монастыре сильно подвигала некоторых старообрядцев к таким обращениям. Они давали нередко фиктивное согласие постричься, чтобы избежать земляной тюрьмы или каменного мешка. В целом жизнь в монастыре отличалась такой особой суровостью, что иным узникам каторга на материке казалась раем. В своей челобитной 1743 г. бывший секретарь Михаил Пархомов просил, чтобы «вместо сей ссылки в каторжную работу меня отдали, с радостью моей души готов на каторгу, нежели в сем крайсветном, заморском, темном и студеном, прегорьком и прескорбном месте быти» (397, 598).

В истории Соловков немало побегов, но, по-видимому, среди них почти нет удачных; если арестанта не находили, то это не означало, что он сумел добраться до материка, куда ходил только «извозный карбас». Скорее всего, такой беглец тонул в Белом море. Бежать из монастыря было нелегко — за колодниками тщательно следили, их «чуланы» и вещи регулярно обыскивали. Нарушителей же режима ждало наказание — «смирение»: хлеб да вода, порка плетями, содержание в цепях, дополнительные кандалы и т.д. Всевластный на островах архимандрит не всегда мог облегчить колодникам жизнь. С одной стороны, он, как и все российские подданные, боялся доносов. Без них жизнь даже здесь, на краю земли, была невозможна. Монахи следили за сторожами, чтобы тех «не совратили» колодники, — среди них порой встречались опытные старообрядческие проповедники. Монахи доносили и друг на друга. Авторами изветов бывали и сами колодники, которые мечтали таким образом вырваться с островов хотя бы на несколько месяцев — ведь быстрее дело в сыске не вершилось. Во время долгого пути в Москву у них появлялся шанс бежать на волю. Несколько месяцев в 1728 г. расследовали дело по извету узника Соловков попа Федора Ефимова, который донес на казначея Феокиста. По этому делу арестовали и доставили в Москву несколько человек. Кончилось все расследование поркой и возвращением «бездельного» доносчика, а также ответчика и свидетелей в монастырь (8-1, 350).



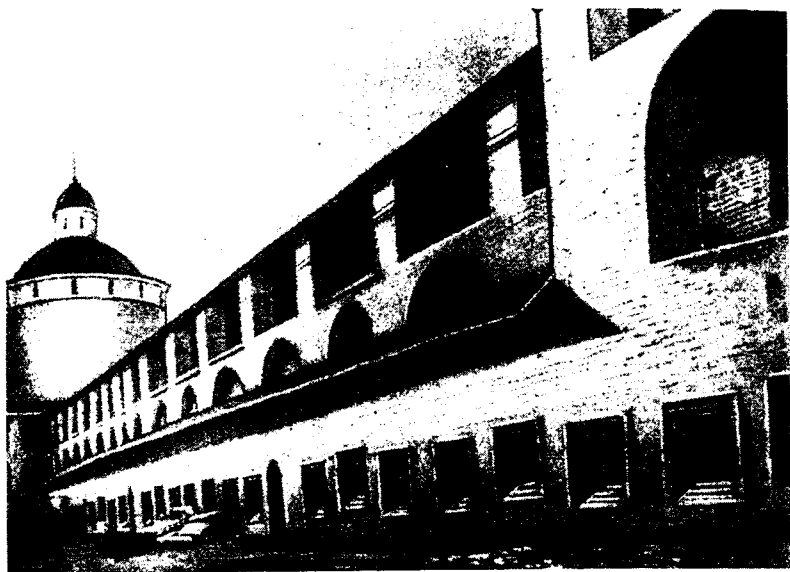
Соловецкий кремль

Сдругой стороны, для особо опасных преступников указы из Петербурга делали невозможным даже малейшее послабление. Так, в указе 1701 г. о содержании Игнатия (Ивана Шангина) говорилось: «Послать в Соловецкий монастырь, в Головленкову тюрьму, быть ему в той тюрьме за крепким караулом по его смерть неисходно, а пищу ему давать против таких же ссыльных» (325-1, 84). В 1739 г. на Соловки прислали князя Дмитрия Мещерского, которого предписывалось держать «в земляной тюрьме до смерти неисходно». Лишь через два года пришел второй указ, разрешивший выпустить его из ямы и поселить «на житье» в монастыре (397, 356, 363; 181, 147; 9-3, 16). Архимандриты монастырей, в которые ссылали в тюремное заключение или на покаяние политических преступников, фактически оказывались начальниками тюрем, и светская власть — от Сената до губернатора — самостоятельно давала им, порой без посредничества Синода, указы о приеме и содержании сосланных к ним колодников. Из приговоров XVIII в. с ясностью вытекает, что содержание преступников в монастырях никакого отношения к иноческому подвигу не имеет. Монастыри рассматривались как разновидность государственных тюрем, куда отправляли приговоренных к пожизненному заключению или искалеченных на пытке и негодных в каторжные работы преступников. В августе 1743 г. митрополиту Ростовскому был вынесен высо-

чайший выговор за то, что он отказался подчиниться, как он писал, «неосмотрительному» указу Синода и принять в монастырь присланного из Тайной канцелярии сумасшедшего колодника (133, 75).

В некоторых случаях архимандрит и начальник острожного караула даже не знали о сути преступления привезенного колодника, в сопроводительном указе писали глухо: «За некоторую важную его вину», «За наиважнейшую вину», «За великоважную вину», «За важную вину» или просто «За вину его». Такие узники назывались «секретными». На секретных узников, окруженных тайной и плотным «собственным» конвоем, власть монастырского начальства вообще не распространялась. С ними запрещали разговаривать, их сажали так, «чтобы ни они кого, ни их кто видеть не могли», а кормили отдельно, на особые деньги, определенные приговором. В июле 1727 г. на Соловки привезли П.А. Толстого и его сына Ивана с огромным конвоем — 5 офицеров и 90 солдат. Часть этого «войска» оставили при Толстых, которых поместили в Головленковой башне. Там они вскоре и умерли (449, 33—38).

В той же самой башне восемь лет просидел В.Л. Долгорукий, доставленный в 1730 г. в сопровождении 15 солдат во главе с капитаном М. Салтыковым. Капитан привез с собой жену и ее дворовых девушек. С большим трудом игумену Варсонофию удалось выпроводить из мужского монастыря женщин (448, 19—24). Когда же в 1745 г. власти вознамерились перевести на Соловки вместе с бывшим императором Иваном Антоновичем все его семейство и прислугу, в том числе женскую, то архангелогородский архиерей писал, что еще основатели Соловецкого монастыря святые Зосима и Савватий узаконили, «да бы в оной лавре не токмо в монастыре женского полу, но и мужчин без бород, такожде и из скотов женского полу на тамошнем острове содержать запрещено, которое и поныне по их узаконению такоже содержится» (410, 119). Впрочем, если бы государыня указала посадить Брауншвейгское семейство в монастырь, с традициями и узаконениями святых отцов никто бы и не посчитался. Ивана и его родных поселили в Холмогорах, так как Елизавете не понравилось, что связь с Соловками прерывается на семь месяцев в году и она долго не сможет получать рапорты охраны. Особо знатные секретные узники имели льготы: они сидели не в монастырской, а в собственной одежде, им разрешали брать с собой прислугу из крепостных (у Долгорукого было пять слуг). Ели они, как и все узники, при свече, которую к ним приносили только на время обеда, зато посуда у них была из серебра. В описи вещей, оставшихся от Толстых, учтены дорогие вещи: лисьи шубы, епанча, кафтаны, камзол, сюртук, серебряная и оловянная посуда с ножами (вещь невероятная для обыкновенного колодника), золотые часы, серебряные табакерки, 16 червонцев. Известно, что в первоначальной описи иму-



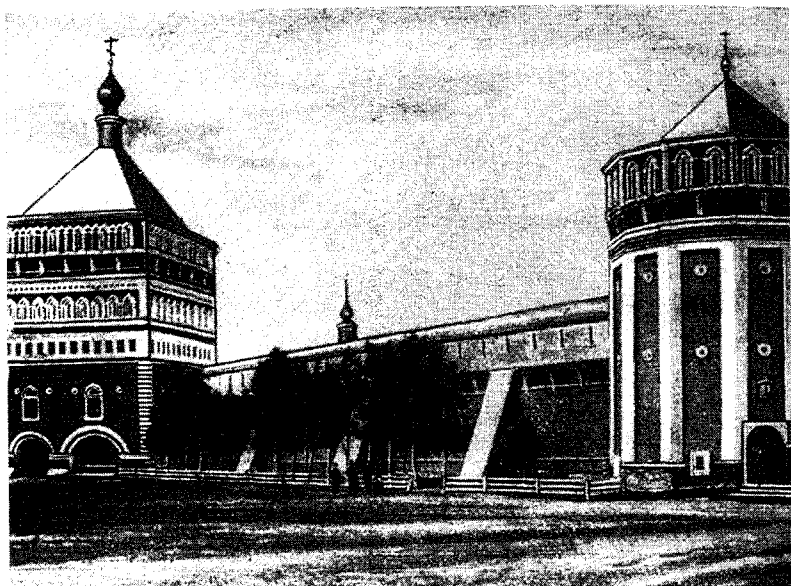
Здание тюрьмы Кирилло-Белозерского монастыря

щества Толстых учтено 100 червонцев, — значит, привезенные деньги они тратили на еду и на взятки (448, 38; 536, 37).

Кроме Соловков политических преступников держали еще в нескольких удаленных от центра монастырях: Архангельском Николо-Корельском, Кирилло-Белозерском, Антониево-Сийском на Северной Двине, Вологодском Спасо-Прилуцком, а также в десятке других монастырей Европейской части России. Суровы были условия содержания колодников в сибирских монастырях, самыми известными из которых были Долматовский Троицкий и Селенгинский Троицкий. Они становились настоящей могилой для живых (655, 21—25; 795, 295—296). Впрочем, умерить узника можно было и не только на Соловках или в Селенгинске, но в любом другом монастыре. Из описания заточения Арсения Мациевича в Николо-Корельском монастыре в 1760-х гг. и других описаний видно, что многие монастыри (кроме Соловков) не были приспособлены к содержанию секретных узников. Ссылного Мациевича поместили в каземат под алтарной частью собора, рядом поселилась охрана из инвалидов. У опального архиепископа был свой повар, отдельная кухня. Он пользовался в монастыре большой свободой, вел вольные беседы с охраной, посетителями, монахами, произносил проповеди, сурово укоряя монахов за повальное беспорядное пьянство, что и стало в 1767 г. причиной

доноса на него (591, 501–518). В Суздальский Спасо-Евфимьевский монастырь традиционно посылали сумасшедших «до исправления в памяти», а также различных сексуальных извращенцев. В монастыре кончил свою жизнь и знаменитый монах-предсказатель Авель. Профиль монастыря как сумасшедшего дома был утвержден указом Екатерины II, приславшей в 1766 г. туда первый десяток сумасшедших колодников. Умалишенных охраняли и содержали так же сурово, как и политических узников, причем об их «опасном» политическом бреде следовало доносить по начальству (602, 21).

Женщинам-колодницам было не легче, чем мужчинам. Их ждали такие же тяжелые условия жизни, скудная еда, тяжелая работа, суровое «смирение» в случае непослушания железам, батогами, шелепами. Знатные преступницы находились под постоянным, мелочным и придирчивым контролем приставленных к ним днем и ночью охранников или монашек, причем последние нередко стремились унижить, в чем-то ущемить этих изнеженных недотрог. Удобным предлогом для этого служили суровые указы о содержании узниц. Сестру жены А.Д. Меншикова Варвару Арсеньеву в 1728 г. заключили в Вологодский Горицкий монастырь. В указе о ней сказано: «И игуменье смотреть над нею, чтоб никто к ней, ни от нее не ходил, и писем она не писала и о том ей, игуменье, послать указ» (419, 102). Оттуда ее перевели в Московский Алексеевский монастырь и там ее по-прежнему держали многие годы под охраной. Это видно из того, что в 1742 г. челобитную о прибавке денег на содержание от ее имени писали преображенские солдаты, пребывание которых в женском монастыре могло быть связано только с охраной знатной узницы (125, 24). Княжну Е. А. Долгорукую в 1739 г. в том же Горицком монастыре умышленно держали безвыходно в маленьком темном домишке на черном дворе, возле хлевов и конюшен (341, 40–41). Каждое слово ссыльных женщин сразу же становилось известно властям. Ссыльным даже приказывали «говорить всем вслух, а не тайно» (800, 965). Из инструкции 1732 г. о содержании в монастыре княгини Александры Долгорукой видно, что узницу содержали под «крепким караулом» и даже в церкви она стояла «уединенно, за перегородкой». Так, кстати, было принято держать в церкви и колодников-мужчин. С родными женщинам-узницам разрешалось видеться только «в монастырских вратах при нескольких старых монахинях» (43-1, 18). И это была не самая тяжелая жизнь в монастыре. После того как в 1731 г. доносчик известил власти о «непристойных» высказываниях сидевшей в монастыре с 1728 г. княгини Аграфены Волконской, последовал указ Анны Ивановны от 30 августа 1730 г. об ужесточении режима: «Княгиню Аграфену содержать в Тихвинском монастыре крепчайше прежнего, кроме церкви из кельи никуда не выпускать, к ней никого из посторонних, без ведома



Монастырская тюрьма в Суздале (внешний вид тюрьмы)

игумены, не допускать, а когда кто к ней посторонние приходять будут, то допускать при ней, игуменье, и говорить всем вслух и того всего над ней смотреть игуменье накрепко, а ежели она, Волконская, станет чинить еще какая продерзости, о том ей, игуменье, давать знать Тихвинскому архимандриту и писать о том в Сенат немедленно» (43-3, 23; 800, 965). В 1735 г. княжну Прасковью Юсупову «за злодейственные непристойные слова» в монастыре (на нее также был донос) били кошками и насильно постригли в монахини, а затем отправили в «дальний крепкий девичь монастырь... до кончины жизни ея неисходно». Постригли ее в Петербурге, прямо в Тайной канцелярии (322, 370—372).

Женщин — узниц монастырей в большинстве своем постригали в монахини. Делалось это по прямому указу сыска, насильно, что являлось грубейшим нарушением догматов церкви о святости добровольного пострижения. Если в 1698 г. царицу Евдокию больше трех месяцев уговаривали и в конце концов уговорили постричься, то позже с желанием узниц не считались. Указы о пострижении давала светская власть, и они были суровы и лаконичны: «Послать в Белозерский уезд, в Горский девичь монастырь и тамо ее постричь при унтер-офицере, которой ее повезет в тот монастырь, и давать ей

по полуполтине на день, и велеть ей тамо потому ж быть неисходной» (указ верховников 4 апреля 1728 г. о Варваре Арсеньевой — 419, 102). Так же поступали и с другими знатными колодниками. В 1740 г. в Иркутске, в девичьем монастыре постригли несовершеннолетнюю дочь А.П. Волынского Анну: «Явился в церкви Знаменского монастыря архимандрит... Корнилий. За ним ввели в церковь под конвоем юную отроковицу в сопровождении фурьера и неизвестной пожилой, по-видимому, вдовы... Архимандрит приступил к обряду пострижения девушки. На обычные вопросы об отречении от мира постригаемая оставалась безмолвною, но вопросы по чиноположению следовали один за другим, так и видно было, что в ответах не настояло необходимости. Безмолвную одели в иноческую мантию, покрыли куколем, переименовали из Анны Анисьею, дали в руки четки и обряд пострижения был окончен. Фурьер вручил постригавшему письменное удостоверение, что был очевидцем пострижения в монашество девицы Анны... и тут же сдал юную печальную инокиню игуменье под строжайший надсмотр и на вечное безисходное в монастыре заключение» (384). Другую дочь Волынского, Марию, привезли в Рождественский монастырь в Енисейске и в ноябре 1740 г. постригли там как старицу Марианну. Старице было не более 14 лет. 31 января 1741 г. пострижение это было признано незаконным, и дочери казненного Волынского возвратились в Москву (304, 166; 795, 304).

О поведении новопостриженной игуменьи регулярно сообщала в Тайную канцелярию. Так, о Юсуповой, заточенной в Тобольский Введенский монастырь, мы читаем: «Монахиня Прокла ныне в житии своем стала являться бесчинна, а именно: первое, в церковь Божию ни на какое слово Божие ходить не стала; второе — монашеское одеяние с себя сбросила и не носит; третье — монашеским именем, то есть Проклою, не называется и велит именовать Парасковиею Григорьевной». Кроме того, отказывается есть монашескую пищу, «а временем и бросает на пол». В ответ из Петербурга пришел указ заковать княжну в ножные железа, наказать шелепами «и объявить, что если не уймется, то будет жесточайше наказана» (322, 375—376; 695, 304). По-видимому, только так можно было смирить упрямых узниц-монахинь.

Крепостные тюрьмы были очень удобны для содержания политических преступников. Камеры устраивали в башнях, казематах или в гарнизонных казармах на дворе крепости. Иногда там же строили специальное здание для заключенных. Если Петропавловскую крепость можно назвать следственной крепостной тюрьмой, то тюрьмой для постоянного содержания узников служила Шлиссельбургская крепость, хотя и в ней проводили расследования по делам Долгоруких (1738—1739 гг.), Э.И. Бирона в 1741 г., Н.И. Новикова в 1792 г. Одним из первых узников крепости на острове стал

знатный пленный — канцлер Карла XII граф Пипер, доставленный в Шлиссельбург в июне 1715 г. Его, согласно указу Петра I, разместили «в квартире в удобном месте» и разрешали гулять по крепости в сопровождении представленного к нему охранника. Там он и умер, как считали жившие в Петербурге иностранцы, от сурового обращения стражи (633-11, 54; 150-1, 60). В 1718 г. в Шлиссельбурге поселили царевну Марию Алексеевну, которой отвели «хоромы близ церкви», оставили при ней слуг и небольшую свиту (325-1, 314—315). В 1725—1727 гг. в крепости жила старица Елена — бывшая царица Евдокия. Берхгольц в 1725 г. видел Елену, которая прогуливалась, «окруженная сильною стражею», по двору дома, в котором она жила. «Это был один из четырех деревянных домов в крепости. Другими были императорский дворец, дом Меншикова и дом коменданта» (150-4, 120—121). О содержавшихся в конце 1730-х гг. в Шлиссельбурге князьях Дмитриии Голицыне и Михаиле Долгоруком известно только, что их водили под караулом в крепостную церковь на службу (385, 745). Менее знатных преступников содержали в солдатских казармах, разбросанных по двору крепости.

Самым знаменитым безымянным колодником русской истории стал бывший император Иван Антонович, живший в Шлиссельбургской крепости в 1756—1764 гг. Содержали этого «безымянного колодника» с большой строгостью. Особенно она усилилась после того, как в 1762 г. началось дело Хрущева и братьев Гурьевых, которых обвиняли в намерении возвести Ивана на престол. Бывший император жил в отдельной казарме. Ее охраняла особая воинская команда во главе с офицерами, которые находились в непосредственном подчинении начальника Тайной канцелярии. Узник находился безвыходно в камере. Окна ее не были забраны решетками, но их тщательно закрывали и замазывали белой краской, свечи в казарме горели круглосуточно. Ивана Антоновича держали без оков, спал он на кровати с бельем, в камере стояли стол и стулья. Узник имел цивильную, неарестантскую одежду и, возможно, книги духовного содержания. Ни на минуту его не оставляли одного, караул из нескольких солдат постоянно сидел с ним в камере. Дежурный офицер жил в соседней комнате и обедал за одним столом с узником. Кроме внутреннего караула снаружи был особый внешний караул. На время уборки, которую делали приходившие из крепости служители, секретного арестанта отводили за ширму.

В 1763 г., после приезда в Шлиссельбург Екатерины II, караульные офицеры Данила Власьев и Лука Чекин получили новую инструкцию. Согласно ей они могли убить узника, если кто-то попытается освободить его. Когда в ночь с 4 на 5 августа 1764 г. подпоручик Мирович с солдатами хотел захватить казарму, в которой сидел Иван Антонович, Власьев и Чекин убили узника.



Император Иоанн Антонович

В рапорте от 5 августа Н.И. Панину они писали: «И потом те же неприятели и вторично на нас наступать начали и угроживать, чтоб мы им сдались. И мы со всею нашею возможностью стояли и оборонялись, и оные неприятели, видя нашу неослабность, взяв пушку и зарядя, к нам подступили. И мы, видя оное, что уже их весьма против нас превосходная сила, имеющегося у нас арестанта обще с поручиком умертвили. И больше, видя свою совсем невозможность, принуждены были уступить свое место» (662, 295).

Неясно, где находилась казарма Ивана Антоновича и имеет ли она какое-либо отношение к знаменитому впоследствии Секретному дому во дворе крепости. Эта страшная тюрьма во второй половине XVIII в. стала главным узилищем для государственных и других опасных преступников. В 1794 г. кроме «отставного поручика Новикова», его друга доктора Багрянского и слуги в Секретном доме сидели еще пятеро: два фальшивомонетчика, «буйного поведения» пономарский сын Григорий Зайцев, у которого ревизор обнаружил на лбу огромную шишку «от полагаемых частых земных поклонов», а также богоотступник Протопопов и некий Карнович, бывший поручик, торговавший чужими крепостными, сочинявший фальшивые паспорта и печати, к тому же обвиненный, как и Зайцев, «в дерзком разглашении», правда, неясно чего (см. 208, 238, 242).

Узников Секретного дома содержали строго по инструкции. В ней предписывалось держать имя арестанта в секрете даже для охраны, узник находился в полной изоляции от других заключенных и посетителей, охране строго запрещалось разговаривать с ним. Часовые должны были следить, чтобы не было побегов и самоубийств. Кроме того, в инструкции обязательно определяли довольствие узника из расчета 3—5, во второй половине XVIII в. — 20—30 копеек в сутки (208, 248—253). Камеры обыскивали и у заключенных отбирали запрещенные или подозрительные предметы и особенно бумагу и перья. Начальник охраны регулярно писал отчеты на имя коменданта или старшего начальника, а тот периодически (раз в квартал или в полгода) рапортовал о поведении и разговорах узника «из подозрительного» в Петербург, нередко прямо генерал-прокурору или кому-то из высших должностных лиц империи.

В более удобных условиях находились присланные в крепость «на жительство». Они получали жилье (по-видимому, в казармах гарнизона), им разрешали взять с собой семью, иметь перо и бумагу. Один из узников, Николай Чоглоков, даже женился на дочери коменданта крепости Бередникова, и она родила ему восьмерых детей (633-10, 441). Таким заключенным разрешались в сопровождении охраны прогулки по крепостному двору, а родственников узника выпускали за пределы крепости на городской базар. Так жила семья алхимика и экономиста Филиппа Беликова, который в 1745 г. объявил, что может сочинить две книги, идеи которых принесут казне большой доход. Власти поощряли всевозможных прибыльщиков, поэтому отнеслись к Беликову хорошо, освободили его из сибирской ссылки, куда он попал ранее по неизвестной нам причине, и вместе с семьей отправили в Шлиссельбург «для лучшего сочинения оных (книг. — Е. А.)». Первая книга, «Натуральная экономия», была закончена Беликовым уже через год и вызвала сомнения в умственном здоровье сочинителя, тем не менее ему разрешили сочинять обещанную им алхимическую книгу. С ее написанием у Беликова возникли проблемы, как творческие, так и бытовые, — жить на 25 копеек в день ему не нравилось, семья же алхимика постоянно увеличивалась. Случай с Беликовым уникален, судьбы сочинителей в России были всегда несколько иные. Как отмечал большой специалист тюремной истории М.Н. Гернет, «царское правительство за время своего существования пересажало немало авторов в крепости и тюрьмы за то, что они писали. Беликов же был заключен в Шлиссельбургскую крепость не за то, что он писал, а для того, чтобы он писал». Правда, толку от сидения автора не было никакого, через 18 лет его выпустили, но он так и не закончил свой труд (208, 233).

Из прочих крепостных тюрем особенно известны тюрьмы в Выборгской и Кексгольмской крепостях. В первой содержался Феофилакт Лопатинский

(1739—1741 гг.), а во второй с 1775 г. и до начала XIX в. жили обе жены Емельяна Пугачева и трое его детей (325-3, 481—485). В.В. Долгорукого в 1732 г. заточили в Иван-город, а С.Ф. Апраксина в 1757 г. — в Нарву (385, 745; 657, 291). Арсений Мациевич был посажен в 1767 г. в Ревельскую крепость. Поначалу он пользовался некоторой свободой — его водили в церковь, разрешались и прогулки по крепости. Но потом, после дошедшего до Петербурга слуха о готовящемся побеге узника, условия заточения опального иерарха резко ужесточили (591, 570—572). Под тюрьму постоянно использовали и крепость Динамюнде под Ригой. В ней несколько месяцев содержали Брауншвейгское семейство, а в конце XVIII в. крепость стала местом заточения двух сотен духоборов и скопцов (410, 73-93, 208, 204). Жить в этой крепости было тяжело, что можно заключить из воспоминаний сидевшего там в конце XVIII в. Василия Пассека, хотя из его же записок следует, что узника в заточении «тайно навещала» его жена, которая, как писал Пассек, даже «родила от испуга безвременно... сына: он жил несколько токмо минут. Тело его оставалось у меня до того, пока чрез два или три дня найден был случай вынести его тайно из тюрьмы моей для погребения в Риге» (542, 650). Такие визиты кажутся невозможными в Петропавловской крепости или в Шлиссельбурге, но и там случались происшествия, подобные приведенному выше рассказу графа Гордта о праздничной ночной прогулке по Петропавловской крепости.

Имена секретных узников, как сказано выше, держали в строжайшей тайне, с течением лет в условиях сурового заточения и одиночества они сходили с ума и уже сами не могли назвать своего имени. В мае 1763 г. Екатерина II, проезжая через Переславль-Залесский, написала генерал-прокурору А.И. Глебову, что в Даниловом монастыре «сидит арестант уже 15-ть лет, а думать надо, что по Тайной, и примета есть, что чужестранной. Об нем справится» (633-7, 288). Конец этой типичной истории неизвестен, но известно, что сама Екатерина II поступала точно так же, как Елизавета — ее предшественница на троне, запрятавшая безымянного узника в Данилов монастырь. Особой тайной Екатерина окружила Арсения Мациевича, заточенного в Ревельской крепости. 21 декабря 1767 г. генерал-прокурор Вяземский предписал обер-коменданту фон Тизенгаузену «один каземат в Р[евельской] крепости вели найскорее в ведомство свое принять и изготовить его способным к жизни человеческому, чтоб он притом был истоплен до будущего впредь повеления» (255, 293; 483, 612).

Когда узника, подлинное имя которого не знали ни конвой, ни охрана, поселили в крепостном каземате, из Петербурга прислали особую инструкцию о его содержании. В ней говорилось о Мациевиче как о «некотором мужике Андрее Бродягине». Потом Екатерина «переименовала» Бродягина во

«Враля». С тех пор по документам он проходил как «Андрей Враль», хотя иногда упоминается и старое прозвище «Бродягин» (255, 286, 288). Генерал-прокурор — автор инструкции предписывал, чтобы офицеры и солдаты охраны «остерегались с ним болтать, ибо сей человек великий лицемер и легко их может привести к несчастию, а всего б лучше, чтоб оные караульные не знали русского языка... Бude ж иногда, как он словоохотлив сам, станет о себе разглашать, то сему верить не велеть, а в то ж самое время наистрожайше ему запретить говорить с таким при том прещением, что если он еще станет что-либо говорить, то положен будет ему в рот кляп, которого отнюдь однако в рот ему не класть, а иметь его только в кармане, для одного ему страха, и в случае иногда его непослушания, тот кляп ему и показать, а если что караульные от него услышат, то б тотчас репортовали Вам, а Ваше превосходительство, если найдете в речах его что важное, то секретно изволите на штафете писать ко мне, сделав на пакете адрес: «О секретном деле». Мациевичу в каземате крепости разрешалось иметь русские книги, но при этом указано: «Оных ему при караульных не толковать». После того как назначили нового коменданта Г.П. Бенкендорфа, его предупредили, чтоб «не стали слабее за сим зверком смотреть, а нам от того не выливались новыя хлопоты» (255, 286—287, 294; 355, 112). Священник, призванный для исповеди умирающего, должен был под страхом смерти молчать обо всем, что он видел и слышал в каземате. На таких же условиях к узнику допускали и доктора, от которого требовали клятву, что «под смертною казнию не будет спрашивать у больного о его имени и состоянии и никому до конца жизни не объявит о нем ни в разговорах, ни догадками, ни какими-нибудь минами». Узнику запрещалось иметь принадлежности для письма, в том числе бересту.

В инструкции охранникам Мациевича строго-настрого запрещено давать узнику деньги. Дело в том, что двери и замки даже самых страшных и секретных тюрем, несмотря на все предосторожности, все равно открывала взятка — «золотой ключ». В приведенном выше рассказе графа Гордта о его прогулке по Петропавловской крепости с караульным солдатом есть эпизод, хорошо иллюстрирующий этот неискоренимый порок тюрем. Насладившись зрелищем праздничного вида города с одного из бастионов, секретный узник попросил своего доброго охранника показать ему изнутри Петропавловский собор. Когда они вошли в здание, порыв ветра вдруг захлопнул огромную дверь собора, и открыть ее оказалось не под силу двух мужчинам. Положение становилось драматичным, и, как пишет Гордт, «я боялся как бы бедняга-солдат не повесился с отчаяния, чтобы избежать кары, которая ему угрожала. Я беспокоился только за него и пока он изыскивал средства выпутаться из затруднения, я заметил, благодаря свету неугасимой лампы, го-

ревшей среди храма две великолепные гробницы — императора Петра I и императрицы Анны. Я сел в пространстве, разделяющем эти гробницы, и предался размышлениям о превратности людского величия. Между тем гренадер мой отыскал маленькую дверку, у которой стоял часовой. Незаметным образом я опустил в руку этому караульному червонец, и за то он оказал нам милость выпустил нас. Мы весело возвратились в наше печальное жилище» (219, 309). И хотя в этом эпизоде рассказана история о том, как узник стремился изо всех сил попасть в свое узилище, все же чаще деньги помогали облегчить жизнь в нем и даже вырваться на свободу.

В истории тюрем XVIII в. известны несколько случаев крайне сурового тюремного содержания, напоминавшего, казалось бы, ушедшие навсегда времена средневековья. Речь идет о *замуровывании узника* в каменном мешке. В декабре 1725 г. бывший архиепископ Новгородский Федосий (в схизме — Федос) был «запечатан» печатью в подцерковной тюрьме Архангелогородского Николо-Корельского монастыря. Дверь камеры была заложена кирпичом, и оставили только узкое окошко для передачи узнику еды. Прожил Федос в таком положении только месяц. В начале февраля караульный офицер доложил архангелогородскому губернатору Измайлову, чьей печатью была запечатана дверь камеры, что Федос «по многому клику для подания пищи [в окошко] ответу не отдает и пищи не принимает». Измайлов приказал охране позвать Федоса как можно громче. Но узник не отзывался, и при вскрытии камеры он был найден мертвым (331, 315).

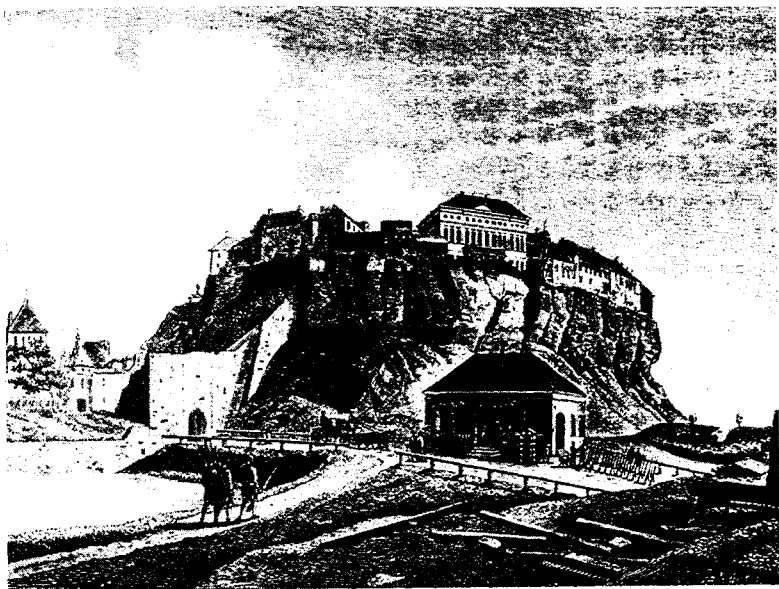
В октябре 1745 г. в Шлиссельбургскую крепость доставили бывшего олонецкого крестьянина Ивана Круглого, который особенно досадил Синоду и Тайной канцелярии: сначала он, отрекшись от раскола, донес на Выгорецкое старообрядческое общежительство, потом отказался от своего извета и тем самым разрушил удачно начатое дело по истреблению раскола в Олонецком крае. За это его сослали на каторгу, где Круглый вновь «впал в раскол». Тогда-то и предписали посадить его в удаленную от проходных и людных мест «палату» и у палаты этой «двери, так и окошки все закласть наглухо в самом же скорейшем времени, оставя одно малое оконцо, в которое на каждый день к пропитанию его, Круглова, по препорции подавать хлеб и воду, и приставить к той палате крепкой и осторожной караул, и велеть оным крепко предостерегать, дабы к тому оконцу до него, Круглаго, ни под каким видом, никто б допуская не был, и никаким же бы образом оной Круглой утечки учинить не мог; також и тем определенным на караул при той палате солдатам, которые и пищу подавать будут, с ним, Круглым, никаких раз-



Каземат Шлиссельбургской крепости

говоров отнюдь не иметь под опасением за преступление тяжчайшаго наказания» (325-1, 412—413).

В этих нечеловеческих условиях — во тьме, без тепла, в тесноте и собственных нечистотах, при скудной пище — заключение было равносильно приговору к мучительной смерти. Когда смерть приходила к узнику, охрана и местное начальство самостоятельно не имело права разламывать стенку, даже если арестант уже давно не брал еду, а на призывы охраны не откликался. Так, разрешение на вскрытие камеры Круглого комендант Шлиссельбургской крепости капитан Бокин получил непосредственно из Сената. 17 ноября 1745 г. он рапортовал, что после вскрытия замурованной камеры Круглого «по осмотре Круглой явился мертв и мертвое тело его в той крепости зарыто» (325-1, 412—413). В 1769 г. по указу Екатерины II генерал-прокурор Вяземский распорядился о присланном в Динабург преступнике Илье Алексееве: «Закласть сего злодея в каменной стене крепостной казармы или каземата, не оставляя более как одно окошко для подаяния ему пищи и вычищения сора: в ночное ж время и оное окошко снаружи запирая железным затвором, содержать его в той казарме под крепким караулом и никого не только к нему, но даже и к тому окну не под каким видом не допускать» (556, 421). Естественно, Вольтера об этом императрица не информировала. Есть предположение, что в последние годы своей жизни в Ревельской крепости был «закладен» в каземате Мациевич и передачи ему подавали на веревке, которую он выбрасывал через решетку разбитого окна (591, 575).



Ревельская крепость и Вышегород в конце XVIII столетия

Такие заточения порождали в народе легенды о таинственных узниках крепостей и монастырей. Легенды ходили об Арсении Машиевиче, которого народ почитал страдальцем, что признавала сама Екатерина II: «Народ его очень почитает исстари и привык считать его святым, а он больше ничего как превеликий плут и лицемер» (255, 242; 591, 561). Между тем именно заключение его в монастырь, а потом в крепость и сделали из него страдальца, точно так же, как стал страдальцем за «истинную веру» бывший император Иван Антонович. Известен был народу также некий безымянный узник Кексгольма, освобожденный Александром I в 1802 г. после 30 лет заключения. Местные жители уважительно называли его, утратившего память и разум, Никифором Пантелеевичем (662, 506—514; 780, 218).

Смерть узников тюрем требовала обязательного письменного подтверждения. Если политический преступник умирал в дороге, то его смерть освидетельствовали местные старосты и священник, который давал расписку о том, что похоронил преступника на ближайшем кладбище. В отдельных случаях местные власти ждали специального курьера из Тайной канцелярии, который присутствовал при похоронах и привозил в столицу рапорт о погребении. Так было в 1726 г. с телом Феодосия Яновского, при-

чем первоначально было приказано труп анатомировать, засмолить в гроб и везти в Петербург. Чуть позже власти передумали, новый курьер остановил движение печального конвоя в пути, и тело Феодосия похоронили в ближайшем Кирилло-Белозерском монастыре (701, 243; 322, 319–321). В 1739 г. в Выборгскую крепость привезли архимандрита Феофилакта Лопатинского. После нескольких лет заключения в Петропавловской крепости узник был плох, и комендант крепости генерал Быков запрашивал Тайную канцелярию, как ему поступать в случае смерти нового колодника. 31 марта 1739 г. Тайная канцелярия предписала коменданту: если Феофилакт будет умирать, то допустить к нему для исповеди священника, но чтобы тот, «кроме надлежащей исповеди других посторонних никаких разговоров отнюдь не имел и о деле его, по которому он сослан, у него не спрашивал. А если, паче чаяния, оный Лопатинский умрет, то мертвое его тело похоронить в городе, при церкви по обыкновению, как мирским людям погребение бывает, без всяких церемоний» (484, 285). В 1745 г. охрана тюрьмы в Холмогорах, в которой сидели члены Брауншвейгской фамилии, получила указ Елизаветы Петровны, которым предписывалось в случае смерти кого-либо из Брауншвейгского семейства (особенно Анны Леопольдовны или Ивана Антоновича), «учиня над умершим телом анатомию и положи во спирт, тотчас то мертвое тело к нам прислать с нарочным офицером, а с прочими чинить по тому ж, токмо не присылать, а доносить нам и ожидать указу» (410, 122). Секретных узников, как уже сказано выше, стремились хоронить без помпы, тайно. В инструкции о похоронах Антона-Ульриха сказано: «Тело его погresti тихо в ближайшем кладбище церковном, не приглашая отнюдь никого, кроме команды вашей» (410, 322). О прошедших похоронах обязательно подробно сообщали в Петербург.

Ссылка — один из самых распространенных видов наказания по политическим и иным преступлениям. В течение всего XVII в. число преступлений, по которым людям грозила ссылка, увеличивалось постоянно и, по словам Н.Д. Сергеевского, «не осталось почти ни одной категории преступления, по отношению к которой не практиковалась бы ссылка». Он же дает объяснение этому явлению: ссылка была нужна государству, ибо «служила неиссякаемым источником, из которого черпались рабочие силы в тех местах, где это было необходимо для службы гражданской и военной, для заселения и укрепления границ, для добывания хлебных запасов на продовольствие служилым людям» и т.д., словом, ссылка стала для государства «источником различных полезностей» (673, 217, 227—228). В петровское время с «открытием» такой разновидности ссылки, как каторга, т.е. широчайшее использование труда ссылных на всевозможных стройках и в промышленности, значение ссылки в истории России стало огромным. Рассмотрим основные виды ссылки.

Выдворение за границу. Это наказание применяли нечасто, и касалось оно преимущественно дипломатов или иностранцев на русской службе, обвиненных в политических, придворных интригах или чем-то не угодивших самодержцу. Иностранное подданство для государственного преступника служило в России XVII—XVIII вв. слабой защитой: иностранца, обвиненного в государственном преступлении, могли казнить, посадить в тюрьму, сослать в Сибирь или в другое удаленное место: судьбы немцев Кульмана, Минихов, Менгдена, голландца Янсена, итальянца Санти, француза Лестока этому выразительные свидетельства. Самыми громкими такими историями в XVIII в. были высылка из России посланника Франции в России маркиза де ла Шетарди в 1745 г., а также в 1796 г. братьев Массонов — двух швейцарцев на русской службе.

Об обстоятельствах высылки Шетарди уже сказано в главе об аресте, поэтому коснусь высылки братьев Массонов. Выше также приведены цитаты из записок Массона о том, как надвигалась опала и как произошел

арест. Напомню, что после первой беседы с генерал-директором полиции Архаровым, придя к нему на следующий день, братья долго ждали решения своей судьбы в приемной, пока, наконец, перед ними не появился штаб-офицер и не сказал, что ему поручено отвести их к обер-полицмейстеру. «Такое перемещение к второстепенному должностному лицу, — пишет Массон, — возвещало нам, что участь наша решена царским словом и что мы предаемся в руки исполнительной власти». Вышедший в приемную обер-полицмейстер Чулков, вспоминает Массон, сказал братьям: «"Весьма сожалею, будучи обязан объявить вам, что по воле государя, вы должны быть препровождены в в а ш и м е с т а". Он буквально выразился таким образом, а потому нашему воображению предоставилось выбирать любое между разнородными значениями, какие может иметь слово "место", то есть между изгнанием за границу, Сибирью, казематом или эшафотом».

С большим трудом Массонам удалось выпросить позволения проститься с женами и детьми. Чулков дал «два часа времени, чтобы устроиться с нашими делами и достать необходимый запас денег на д а л ь н ю ю д о р о г у (подчеркнуто автором. — Е. А.)». Это означало, что братьев ждет, по крайней мере, не эшафот. Когда младший Массон пытался сказать, что вот так, сразу, за два часа, собрать деньги на прогоны, купить экипаж и лошадей им не удастся, Чулков отвечал: «Ну, когда у вас нечем платить прогонов за почтовых лошадей, то вы будете препровождены, как прочие преступники — от селения до селения, вплоть до самого места доставки». «Этот наглый ответ, — пишет Массон, — заставил меня бояться: не решено ли сослать нас в Сибирь». Тут Чулков, подозвав двух офицеров, «приставил по одному из них ко мне и брату (к каждому особо), причем с некоторою напыщенностью провозглашал наши имена и звания, потом вынул свои часы и сказал нашим приставам тем же тоном: "Теперь час пополудни, вы отвечаете головою за этих господ, чтобы они были представлены сюда ровно в три часа"». На возражения одного из офицеров конвоя, что двух часов на сборы мало, Чулков отвечал бранью. Потом, когда Массоны были привезены обратно к обер-полицмейстеру, они несколько часов прождали своей отправки (635, 572).

Прощание с женами стало тяжелым испытанием для братьев. Узнав от слуг, что их мужей отвезли к обер-полицмейстеру (знак чрезвычайно плохой), женщины, пишет Массон, «бросились из дому, в слезах и отчаянии, но повстречались с нами на улице. Завидев нас, одна лишилась чувств, а другая горько зарыдала. Их экипаж обступила толпа, мгновенно привлеченная любопытством и сожалением. Это зрелище поколебало в нас присутствие духа... Я сел в сани к своей бедной подруге и поехал к себе, сопровождаемый офицером. Жена была в уверенности, что нас с братом ведут на смерть

и что ей никогда более не увидеть своего мужа. От избытка собственной скорби я не мог ничего объяснить жене, а она, от ужаса и волнения, не в состоянии была ни понимать, ни слушать меня. Большую часть дорогого времени, данного на устройство дел, я провел в заботе успокоить и вразумить ее. Наконец, мне удалось внушить ей кое-какие надежды и она, собравшись с духом, заявила себя достойною того дела, за которое я страдал. Она даже помогала мне в укладке чемодана, покуда я рылся в бумагах, приводил их в порядок, да написал несколько писем, поручая ими жену участию моих покровителей и друзей... Увы, то был труд напрасный: я уже не имел их в то время! Офицер, безотлучно и повсюду следивший за мною, не мешал мне ни в чем: писать, запастись вещами, брать с собою бумаги, рвать их — одним словом, делать что угодно, но отказал в просьбе отпустить меня, на честное слово, во дворец или пойти туда вместе со мною. Разлука с женою была так невыразимо тяжела для меня, что я решился на все, чтобы только склонить великого князя на ходатайство перед императором. Но время шло... вот офицер вынул свои часы и молча показал мне: двухчасовой срок исполнился. Приходилось навсегда исторгнуть себя из объятий моей несчастной подруги, которую я покидал в самом ужасном положении. При раздирающей душу сцене нашего прощания, когда я обращался к жене с последним словом утешения и совета, шестинедельная дочь наша Леленька мирно почивала среди неутешно плачущей семьи... Наконец, я оторвался от объятий отчаянной жены и попрощался с плачущими навзрыд домашними. Конвойный офицер, тронутый этою картиной общего горя, сказал мне с чувством: "По всему видно, что, по крайней мере, вы не были для прислуги недобрым господином". Особенно растрогала меня выказавшаяся в этом случае привязанность ко мне русского солдата, моего денщика. Он просился ехать со мною, куда бы ни повезли меня. Обер-полицмейстер отказал этой просьбе... и разогорченный денщик провожал меня далеко за город, едучи за мною на маленьких санках» (635, 573—574).

Массоны долго не узнали бы, куда их везут под конвоем — в Сибирь, в Колу или к границе империи, если бы на отчаянный вопрос Массона-старшего «Куда мы едем?» конвойный офицер вместо всякого ответа таинственно не вынул из своей курьерской сумки пакет за императорской печатью и надписью: «Графу Палену, нашему генерал-губернатору в Митаве». «Этот поступок офицера, — пишет Массон, — вывел нас из жестокого беспокойства. Подозвав моего денщика, который еще ехал за нами, я взял его за руку, обнял на прощанье и сказал ему: "Ступай теперь назад, любезный мой Данило, и скажи Марье Ивановне, что нас повезли на Митаву» (635, 575). Тяжелы для ссыльных оказались встречи на оживленной дороге, на станциях с мно-

гочисленными знакомыми — а их у Массонов было великое множество: «С их стороны и невольное отчуждение от нас при виде нашего конвоя, и любопытство или даже самое участие, безразлично подбавляли горечи в наше положение». Офицер охраны тщательно следил, чтобы арестанты не передавали никому писем и не брали ни у кого денег. Он первым входил на станцию и предупреждал всех, там бывших, что следует с государственными преступниками. Такие сцены были обычны на дорогах России, вспомним встречу Пушкина и Кюхельбекера 28 октября 1827 г. в Залазах, о чем сохранилось доношение жандарма Подгорного (611, 521). На границе Массон просил конвойного офицера, сдавшего их на первом прусском посту, передать письма оставшимся в Петербурге женам. Офицер отдал письма Архарову, который так и не отправил эти невинные послания женщинам, страдавшим потом многие месяцы от безвестности относительно судьбы своих мужей. «Удерживать письма, — писал потом Массон, — предназначенные единственно для некоторого успокоения разогорченных женщин, успокоения лишь в том, что их мужья живы и здоровы, не дать им узнать, куда увезены они — эта такая изысканная жестокость. Такая напрасная, ненужная мера, что после того вполне поверишь возможности особенного наслаждения, которое находят мучители в страданиях жертв своих» (635, 577). Думаю, что Массон преувеличил изысканность чувств Архарова, который якобы решил потерзать неизвестностью двух изнеженных немецких женщин. На самом деле Архарову, прославленному своей жестокостью генерал-полицмейстеру, как и его «архаровцам», просто в голову не приходило подумать о страданиях близких сосланных швейцарцев.

О технике выдворения преступников за границу России в XVIII в. известно мало. Массон описывает, что конвойный офицер привез их на первый пограничный пост Пруссии Ниммерсат и получил расписку от немецкой пограничной стражи в том, что преступники выдворены за пределы Российской империи. Далее Массон пишет: «При нашем переезде через границу нам не читали никакого карательного приговора, не провозглашали никакого запрета на возвращение наше в Россию и оставили мне мой мундир и шпагу, а брату — его почетную саблю и орден (Массон-старший отличился в войнах России с турками. — *Е. А.*), без всякого предъявления нам каких-либо требований» (635, 580).

Известно, что немец генерал Г. Тотлебен был обвинен в измене во время Семилетней войны, арестован в 1760 г., три года просидел в тюрьме и 31 марта 1763 г. Екатерина II предписала изгнать его за пределы России. В указе императрицы разъяснялось, как поступить с бывшим генералом: «Тотлебена, яко преступника более нетерпимого в областях наших, под крепким

караулом, вывезти на границу нашей империи и там, прочитав ему сентенцию военного суда, а потом и сей наш указ, отнять все чины у него и кавалерии и взять письменный реверс в том, чтоб он ни под каким видом, ни тайно, ни явно, в империю нашу не въезжал и что, в противном случае, ежели кто его увидит и узнает в государстве нашем, тот право имеет у него отнять живот, каким заблагорассудится образом и тем не преступить ни прав гражданских, ни военных, ниже общенародных, которые его, Тоттлебена, защищать, яко изменника, выгнанного из Российского государства, более не могут, а потом вывезти за границу и оставить там без всякого абшида» (633-7, 273).

Изгнание было тяжелой карой для порядочных людей, выдворяемых с позором из страны. Они не получали паспорта-отпуска («абшида»), необходимых для новой службы рекомендаций, жалованья, за ними тянулась дурная слава. Тоттлебен, узнав о приговоре, просил императрицу Екатерину II не изгонять его, а лучше казнить или сослать в Сибирь. Государыня смилостивилась: Тоттлебена отправили в ссылку в Порхов, при этом было предписано «ему из оного города не выезжать» (633-19, 340—341). Высланный из России в связи с появлением указа 1742 г. об изгнании евреев доктор Санхес, который пользовался государыню и всю тогдашнюю петербургскую элиту, бедствовал в Париже. Как писал из Франции в 1757 г. русский дипломат Федор Бехтеев, Санхес «в великой бедности живет... говорит, что служа России столько лет беспорочно, и не получа абшита, и не имея никакого знака о удовольствии его службою, он не может с пристойностию, как честный человек, ни в какую службу вступить для того много аванажных мест отказывал и отказывает...; желает, чтоб от Двора хотя малой знак ему дан был в признание его службы и ревности к отечеству». Трагедией стала высылка и для братьев Массонов, родившихся в Швейцарии, учившихся в Германии и долго живших во Франции. Массон-младший в 1800 г., через четыре года после высылки из России в Пруссию, писал: «Мы приехали в Ниммерсат, первый пограничный пункт прусских владений, как бы в виде путешественников, сопровождаемых почетным караулом. Увы! На самом-то деле, мы сознавали себя выброшенными, как преступники и беспаспортные, в чужую страну, не зная, примет ли нас она, в такую эпоху, когда целая Европа казалась огромным судилищем политической инквизиции... Мы очутились без средств к жизни, когда мгновенно были разбиты самые заветные узы, единственные, что связывали нас с обществом. Нас оторвали от наших семейств, от города, где сосредотачивались все наши сердечные привязанности, от страны, к которой жребий приростил жизнь нашу — страны, где мы оставляли свое благосостояние и общественное положение, свои надежды, молодость, плоды долгой службы. После двадцатилетнего почти отсутствия, пос-

ле великих событий, потрясших европейский мир, мы стали чуждыми и Франции, и Швейцарии и Германии, всему свету» (633, 581).

Нигде в Европе братьям было не найти покоя, всюду опасались мести России за доброе отношение к ее изгнанникам. Массон-младший был вынужден лично объяснять прусскому королю, почему его с позором выбросили из России, а жалобы братьев на произвол русских властей лишь ухудшили их положение — нигде в Германии им не находилось места. Вместе с тем Массон понимал, что это еще не самый страшный жребий — быть брошенным в объятую войной и нестроением Европу: «Спросят меня, быть может: да разве большое несчастье быть удаленным из России? Конечно, я начинаю чувствовать, что нет, и приношу спасибо русскому правительству: ведь нас вместо высылки за границу могли точно так же спровадить в Камчатку, стало быть, надо считать за благодеяние уже и то, что нам не сделали столько зла, сколько были в состоянии сделать» (633, 580). Конечно, это было слабое утешение для изгнанника.

Ссылка по приговору «*В деревни*» или «В дальние деревни» была видом традиционной опалы и появилась, возможно, раньше XVII в. В боярских книгах и списках о ней делалась запись: «В деревне». Ссылка в «дальние» деревни, т.е. в удаленные от столицы вотчины и поместья провинившегося, считалась самым легким из возможных наказаний такого рода, хотя перед отправкой в ссылку вельможу почти всегда лишали званий, чинов, орденов, вообще «государевой милости». Иногда приставу указывали более-менее конкретный адрес («в суздальскую ево деревню») или с уточнением: «Жить... до указа в дальней его деревне, которая д а л е в с е х и из ней не выезжать» (195, 186; 752, 195), но чаще давали лишь общее направление — подальше от столицы, предоставляя выбор «дальней деревни» самому ссылкеному или местному начальству. При ссылке И.Э. Миниха, бывшего обер-гофмейстера двора, ему был зачитан указ: «Лиша тебя обер-гофмейстерскаго чина и сняв кавалерию, послать в деревню, которую тебе дать в России вместо отписных твоих деревень и жить тебе в оной без выезду». Такую деревню нашли в Кинешемском уезде, но потом решили ограничиться ссылкой в Вологду «под смотрением воеводы с товарищи» и выдать ему 1000 руб. в год на содержание (264, 1548—1567).

Сразу же после прихода к власти Павла I в 1796 г. княгиня Е.Р. Дашкова, как участница переворота 1762 г., была лишена всех своих высоких должностей, хотя формального указа о ее ссылке не последовало. Но стоило ей приехать в Москву, как в ее спальню (княгиня была больна) «вошел генерал-губернатор М.М. Измайлов. Он... — вспоминала Е. Дашкова, — понизив го-

лос, сказал, что должен объявить мне от имени Его величества императора приказание немедленно вернуться в деревню и припомнить 1762 год». Действительно, в рескрипте Павла I Измайлову сказано: «Михаил Михайлович! Объявите княгине Дашковой, чтобы она, помянув событие 1762 года, немедленно из Москвы выехала и впредь бы в нее не выезжала». Естественно, Дашкова в Москве не задержалась. Приехав в свое калужское имение Троицкое, она получила новый указ императора: немедленно ехать в деревни своего сына, причем оговаривалось примерное место ссылки — «между Устюжной Железнопольской и Череповецким уездом» (238, 185, 189, 459; 467, 193). Это были уже действительно дальние деревни.

Князя В.Л. Долгорукого в начале апреля 1730 г. отправили на должность сибирского губернатора, но по дороге его нагнал грозный посланец императрицы Анны подпоручик Степан Медведев, который прочитал опальному вельможе манифест о том, что «за многия его, князя Василия Долгорукова, как Ея и.в. самой, так и государству бессовестные противные поступки, лиша всех его чинов и кавалерии сняв, послать в дальнюю его деревню, с офицером и солдатаы, и быть тому офицеру и солдатам при нем, князь Василии, неотлучно». Сам же Медведев получил инструкцию, как конвоировать опального вельможу по дороге в назначенную для ссылки его пензенскую вотчину, село Знаменское Керенского уезда. Долгорукому не запрещали ни встречи по дороге, ни переписку, но за всем этим тщательно следил начальник конвоя: беседы Долгорукого с людьми разрешались только в его присутствии, он же просматривал переписку арестанта. Медведев снимал копии со всех писем опального и вел подробный журнал обо всех встречах и разговорах арестанта в пути. Долгорукому разрешили взять с собой из подмосковной вотчины девять дворовых. Медведев следил, чтобы они никуда не отъезжали от конвоя (510, 33–36). Несмотря на все эти ограничения, сосланный в дальние деревни в пути не походил на каторжника: его не заковывали в железа, не лишали личных вещей, денег и даже предметов роскоши. Высылка А.Д. Меншикова из Петербурга в деревню, воронежское имение Раннебург, напоминала торжественный выезд императорского двора за город: десятки карет и повозок с имуществом, многочисленная челядь, конная и вооруженная охрана. Описи имущества светлейшего показывают, что он увез с собой в ссылку огромные богатства (539, 333–343).

Высланное из Москвы весной 1730 г. в свою пензенскую деревню семейство князей Алексея и Ивана Долгоруких захватило с собой массу слуг, своры охотничьих собак, любимых верховых лошадей. Н.Б. Долгорукая писала, что видела, как перед ссылкой в деревню «свекор и золовки с собой очень много берут из бриллиантов, из галантерии, все по карманам прячут...»

(273, 49). По дороге Долгорукие беззаботно развлекались: ездили на охоту, подолгу катались верхом. В деревне ссыльных поселяли в помещичьем доме или (если такого дома не имелось) — в одной из крестьянских изб. Так произошло с Дашковой, которую заслали за Весъегонск. Знатная ссыльная была довольна тем, что жила в просторной избе, «которая оказалась много лучше, чем можно было ожидать», хотя чуть ниже писала о мучениях, которые она и ее люди терпели от жизни в неустроенном доме (238, 193, 196). Поначалу режим ссылки в деревне был довольно строгим. В.Л. Долгорукий, привезенный в Знаменское 27 апреля 1730 г., писал через месяц своим сестрам, что «по се время в горести моей живу за караулом, только позволено мне выйти из избы в сени, и я у церкви не бывал, за мои грехи Бог не сподобил». Так же строго содержали и сосланного в деревню в апреле 1758 г. бывшего канцлера А.П. Бестужева-Рюмина. В указе Елизаветы Петровны об этом сказано: «Для содержания ево, Бестужева, под караулом в одной из его деревень определить при добром обер-офицере надлежащую команду с точным повелением никого к нему не допускать и ни пера, ни чернил, ни бумаги, ниже иных каких к писанию, или к словесным переговоркам, способов ему не давать, а о состоянии караула и о прочем тому офицеру рапортовать в Канцелярию тайных розыскных дел» (735-42, 470).

Однако позже власти, как правило, начинали делать ссыльным некоторые послабления: сначала им разрешали ходить в церковь, потом позволяли прогулки по двору и деревне. Почти всегда «дальняя деревня» не имела барского дома или он стоял в запущенном виде. Поэтому ссыльный помещик был вынужден заниматься хозяйством, обустройством дома, требовал от приказчиков срочной доставки ему из других имений денег и продуктов. Инструкция Медведеву о содержании В.Л. Долгорукого позволяла опальному «выходить на двор для прогулки и для смотра в той деревне конюшенного двора и в полях и в гумнах хлеба, также и бороду брить в том ему не запрещать (т.е. разрешали иметь бритву. — Е. А.), и приказчиков и старост той деревни, также кои будут приезжать и из других деревень для разговору о деревенских и домашних его нуждах, к нему допускать и при тех всех случаях быть ему, Медведеву, самому» (408, 36).

Если в столице считали, что сосланный ведет себя спокойно и от него не проистекает опасности, то охрану из его дома выводили, а присмотр за ссыльным поручался местным властям или игумену ближайшего монастыря. Разрешали и встречи с соседями у себя дома. В указе Анны Ивановны 1740 г. о содержании в деревне бывшего смоленского губернатора А.А. Черкасского сказано: «Жить ему в деревнях своих свободно, без выезда» (633-138, 115). Это означало, что Черкасский мог выбрать одну из своих де-

ревень и там жить помещиком. Ему не разрешалось только выезжать за пределы вотчины и принимать гостей. Для многих деревенских ссыльных это условие оставалось важнейшим и обязательным, нарушение его вело к репрессиям. Так, в 1728 г. за тайный выезд из деревни сосланная туда княгиня А.П. Волконская была заточена в монастырь. В 1778 г. Екатерине II донесли, что сосланный ею в Казань граф Апраксин самовольно приехал в подмосковную деревню к князьям Долгоруким. Императрица приказала немедленно вернуть ослушника на место ссылки и предупредить, «что буде отлучится куда из Казани, то сослан будет в глубокую Сибирь за ослушание воли и повеления моего», а Долгоруким сказать, «что, буде впредь услышу, что ссылочных у себя держат, то чтоб знали, что мил[ую] таков[ую] компани[ю] я им в Сибири доставить могу» (554, 170).

Перед приездом императрицы в Москву в начале 1775 г. был составлен список людей, которые не имели права выезжать из своих деревень в столицу. В «Списке кому именно в резиденции Ея и.в. въезжать не велено и кому жить в своих деревнях» упомянуто 16 человек. Среди них как политические ссыльные, так и сумасшедшие, которые донимали Екатерину II челобитными и проектами. В списке есть несколько типов запретительных формулировок: «Жить в деревнях своих, а в резиденции или где место Ея и.в. пребывание быть имеет, не въезжать», «Жить безвыездно в своих деревнях», «Жить в деревнях своих, не выезжая никогда в резиденцию (вариант — «...и ни в которой город»)», «В резиденцию во всю жизнь не въезжать». А о поручике Иване Еропкине сказано: «Во всю жизнь свою во дворце Ея в. не являться». Из письма Вяземского Архарову следует, что о списке не знал никто: «Никому ни для чего ни под каким видом онаго не открывать» (347, 427—428).

Ссылка в деревню могла стать облегченной формой наказания после возвращения из сибирской (или иной) ссылки, причем человек, поселенный в деревню, по-прежнему оставался неполноценным в правовом смысле подданным. За ним был установлен контроль, его переписку перлюстрировали, выехать же из имения он мог только с разрешения Петербурга. В 1735 г. для сосланного поначалу в крепость Ранненбург князя С.Г. Долгорукого и его семьи была сделана милость: императрица Анна отпустила Долгорукого с семьей в «вотчину его Муромского уезда» с предписанием «жить ему в той волости без выезду и определить к нему из обер- или унтер-офицера, которому при нем без отлучки быть и смотреть, чтоб он, князь Долгорукой, из волости никуда не выезжал и посторонних к нему не допускал», читать все приходящие письма, но «управления той волости с него, князя Сергия, не снимать» (382, 160).

Осужденные по делу А.П. Волынского П.И. Мусин-Пушкин, Ф.И. Соимонов и И. Эйхлер были освобождены из ссылки указом Анны Леопольдовны 8 апреля 1741 г. Правительница распорядилась, чтобы они жили безвыездно в деревнях своих жен. Только Елизавета Петровна указом 10 декабря 1741 г. предоставила конфидентам Волынского полную свободу (304, 167: 217, 96—97). А.Н. Радищев по возвращении в 1797 г. из Сибири поселился в Немцове — селы в Калужской губернии, и там его поставили под «наиточнейшее надзирание» местных властей. Его письма к друзьям и родным читал сам московский обер-почтмейстер И.Б. Пестель, копии с них он отсылал в Сенат. Радищев с трудом добился высочайшего разрешения навестить родителей в Саратовской губернии. Жесткий контроль был установлен и за А.В. Суворовым, сосланным в 1797 г. Павлом I в новгородское село Кончанское. Коллежский советник Юрий Николев получил указ за Суворовым «надзирание чинить наездами». Это вызывало недовольство ссыльного. Кроме того, за опальным фельдмаршалом была установлена и негласная слежка, и шпионом был, по-видимому, один из соседей Суворова. Подробные рапорты шпиона о беседах с Суворовым дошли до нашего времени (715, 322, 693—694).

Как и всегда, кроме трудных и долгих официальных путей были и неофициальные способы облегчить себе жизнь. Тот же Радищев, страдавший от назойливого контроля, тем не менее два раза тайно посещал своего давнего благодетеля графа А.Р. Воронцова, жившего весьма далеко от Немцова — в селе Андреевском (возле Александрова) (130, 117). Через некоторое время ослаблена была и суровость первоначальной ссылки Дашковой. Убедившись по ее челобитной, что нрав гордой княгини сломен многомесячным сидением в черной крестьянской избе за Весьегонском, Павел смилостивился и прислал указ: «Княгиня Катерина Романовна! Вы можете вернуться в свое калужское имение, как вы того желаете...» (238, 197).

Из ссылки в дальние деревни мог быть и самый короткий путь назад — в столицу, ко двору. Так происходило со многими вельможами, которые, по мнению власти, свое в дальней деревне «высидели». Одним разрешали переехать в столицу, но жить при этом безвыездно в доме и «с двора не съезжать» (747). Другим же разрешалось являться к царскому двору, они получали новые назначения. С.Г. Долгорукий, живший в своих деревнях, был в 1738 г. прощен, назначен посланником за границу и чуть было не уехал по месту службы. Однако начавшееся в Березове в 1738 г. дело его родственников резко изменило судьбу князя Сергея, и он вскоре оказался не в Лондоне, а на эшафоте под Новгородом.

С подлинным триумфом вернулся в 1762 г. ко двору императрицы Екатерины II сосланный Елизаветой Петровной в деревню А.П. Бестужев-Рю-

мин. А. В. Суворов, отчаявшись сидеть в Кончанском, стал в 1798 г. проситься в монастырь. Это, по-видимому, смягчило Павла I — ссылка фельдмаршала вскоре закончилась. В Кончанское неожиданно прискакал фельдъегерь с указом императора о возвращении ссылного в столицу, в ответ на который Суворов ответил лаконично: «Тотчас упаду к ногам Вашего императорского величества» (715, 324, 331).

Понять восторженную лапидарность Суворова можно: придворный или военный человек, чиновник или писатель, оторванный от столицы, был неизбежно обречен на деградацию и умирание. Сосланный хотя бы «за Можай», он утрачивал связи, любимое занятие, запивал, опускался. Впрочем, для иных преступников ссылка в «дальние деревни» могла казаться благом. Меншиков, прибывший в ноябре 1727 г. в Ранненбург, думал, что здесь он спокойно и закончит свои дни. Но жить спокойно ему не дали. В Ранненбург зачастили следователи, которые вели допросы по пунктам, составленным врагами светлейшего в Петербурге (494, 122–125). 5 января 1728 г. И. Н. Плещеев отобрал у Меншикова и его сына все ордена, описал и опечатал все драгоценности и личные вещи Меншиковых, а 9 февраля А. И. Остерман передал верховникам волю императора Петра II: «Его и. в. изволили о князе Меншикове разговаривать, чтоб его куда-нибудь послать, пожитки его взять». Вначале было решено вывезти Меншикова из Ранненбурга «в город, а именно на Вятку или в иной который отдаленный и содержать при нем караул не так великий» (633-79, 25). Но 27 марта 1728 г. последовал именной указ: «Послать, обобрав ево все пожитки, в Сибирь, в город Березов з женою, и с сыном, и з дочерьми. И дать ему из людей ево мужеска и женска пола десять человек ис подлых. И дать ему в приставы поручика или подпоручика от гвардии, которая ныне тамо с Мельгуновым, которому в дорогу для провожания до Тобольска взять двадцать человек салдат...» (419, 101). В восьми верстах от Ранненбурга Меншикова и его родных остановили и обыскали. Все, что сочли «лишним», в том числе «чулки кастановые ношенные, два колпака бумажных», отобрали вместе с кошельком, в котором лежали 59 копеек — последнее достояние прежде богатейшего вельможи России (329, 249–251).

Н. Б. Долгорукая вспоминала, что семья Долгоруких приехала в пензенскую деревню, куда их сослали, но через три недели, «паче чаяния нашего, вдруг ужасное нечто нас постигло. Только мы отообедали — в эвтом селе дом был господской, и окна были на большую дорогу, взглянула я в окно, вижу пыль великую на дороге, видно издалека, что очень много едут и очень скоро бегут. Когда стали подъезжать, видно, что все телеги парами, позади коляска покоева. Все наши бросились смотреть, увидели, что прямо к нашему дому едут, в коляске офицер гвардии, а по телегам солдаты двадцать



Свидание кн. Н. Долгорукой с мужем в Березове

четыре человека. Тотчас мы узнали свою беду, что еще их злоба на нас не умаляется, а больше умножается. Подумайте, что я тогда была, упала на стул, а как опомнилась, увидела полны хоромы солдат. Я уже ничего не знаю, что они объявили свекору, а только помню, что я ухватила за своего мужа и не отпускаю от себя, боялась, чтоб меня с ним не разлучили. Великий плач сделался в доме нашем. Можно ли ту беду описать?». Долгорукая пишет далее, что офицер «объявил, что велено вас под жестоким караулом везти в дальний город, а куда — не велено сказывать. Однако свекор мой умиловил офицера и привел его на жалость, [тот] сказал, что нас везут в остров (Березов стоял на острове между реками Сосьвой и Вогулкой. — Е. А.), который состоит от столицы 4 тысячи верст и больше, и там нас под жестким караулом содержать, к нам никого не допускать, ни нас никуда, кроме церкви [не выпускать], переписки ни с кем не иметь, бумаги и чернил нам не давать» (273, 63—69).

Хотя преступников посылали и в самые разные места империи, ссылка в Сибирь была одной из самых распространенных форм наказания политических преступников. По сводным данным 1725—1761 гг., на долю отправленных в Сибирь приходится около 10% всех сосланных каторжных (8-1, 150—267 об. См. *Табл. 6 Приложения*). Немало попадало в Сибирь и, по терминологии XIX в., «за-

мечательных лиц». По спискам ссыльных в Сибирь можно составить представление обо всей политической истории России начиная с конца XVI в. Именно тогда в недавно основанный Пелым доставили первую партию ссыльных из Углича после гибели там царевича Дмитрия. Было несколько основных видов сибирской ссылки: назначение на должность в Сибири, запись в сибирские служилые, запись в посадские сибирских городов и запись «в пашню» («быть в вечном житье на пашне» — 195, 216).

Самой «мягкой» формой сибирской ссылки было назначение попавшего в опалу сановника на какой-нибудь административный пост в Сибири. Людей пониже рангом определяли в сибирскую службу. Указ об этом часто предоставлял решать судьбу ссыльного сибирским властям: «Послать его в Сибирь и велеть сибирскому губернатору определить его там в службу, в какую пристойно» (504, 114). Сосланных дворян записывали в сибирские служилые люди. Это были преимущественно дети боярские. Они несли службу в острогах по всей Сибири. Естественно, что запись в сибирские служилые или в гарнизонные солдаты была резким служебным понижением для человека из столицы.

Известно, что русское посольство Ф.А. Головина, возвращавшееся из Китая в 1689 г., было спасено от нападения бурят отрядом селенгинских служилых людей, которым командовал сосланный в 1673 г. «на вечное житье» бывший гетман Украины Демьян Многогрешный. Ранее он был официально признан врагом России, но потом в ссылке верно служил ей, устрашая монголов и бурят своими набегами во главе казачьего отряда (452, 137; 655, 25; 644, 87–88). Традиция «полезной» для казны и отечества ссылки в Сибирь как формы государственного освоения сибирских земель была продолжена и в XVIII в.

Весьма оригинально поступили с «черным арапом» Абрамом Ганнибалом. Его ссылку по требованию А.Д. Меншикова весной 1727 г. в Военной коллегии оформили как экстренную командировку в Казань. Оттуда Ганнибала тотчас отправили в Тобольск и далее в Селенгинск, на границу с Китаем. «Командировка» затянулась до 1728 г., потом его арестовали, лишили гвардейского мундира и записали в майоры Тобольского гарнизона. И лишь в 1731 г. набравший силу при Анне Ивановне Б.Х. Миних сумел «вытащить» Ганнибала из Сибири и устроил его в Ревеле. В семье А.С. Пушкина помнили вполне правдоподобную легенду о том, что все царствование императрицы Анны Ивановны Ганнибал прожил в постоянном страхе, ежеминутно ожидая посланцев из Тайной канцелярии, готовых отправить его в очередную «командировку» (429, 58–73).

Семен Маврин, пострадавший в 1727 г. вместе с Ганнибалом, был попросту, без всяких объяснений послан в Сибирь «к делам»: «По указу Его

и.в. велено выслать брегандира Семена Маврина в Сибирь к делам, в три дни, чтоб поехать из Москвы. Сей указ Его и.в. слышал и подписуюся своею рукою в три дни из Москвы выехать. Сего 1727 года, июня 5 дня. Бригадир Семен Маврин» (705, 277). Оторваться от «сибирских дел» Маврину удалось только в 1742 г. Но все же основная масса «замечательных лиц» отправлялась в Сибирь не на службу, а на житье, нередко с семьями и слугами. Некоторых же ожидала тюрьма в каком-нибудь дальнем остроге.

Обычно знатных ссыльных перевозили под конвоем, хотя и не с партиями ссыльных и каторжан. Н.Б. Долгорукая описывает, как всю семью Долгоруких со слугами везли до Касимова в их каретах, а потом перегрузили на специальное судно, которое дошло до Соликамска, где арестантов посадили на подводы и так доставили до Тобольска (273, 80–85). Чтобы добраться до места ссылки — Вологды, Эрнсту Миниху потребовалось 20 подвод (264, 1559). Обычно ни количество вещей, ни число слуг власти не ограничивали. Перед дорогой командир конвоя получал специальную инструкцию о том, как везти ссыльных. Делать это надлежало «за твердым караулом, с осторожностью, тайно, чтоб они, колодники, не могли уйти и никого к ним не допускать», чернил и бумаги не давать, разговаривать запрещать. В конце XVII в. пристав, сопровождавший ссыльных, получал наказную грамоту о том, как везти и содержать арестантов, а также «проезжую грамоту с прочетом» для воевод и начальников по пути, которые должны были давать ему лошадей и не чинить в дороге препятствий. Позже роль наказной грамоты выполнял именной указ на имя старшего командира или губернатора. Естественно, что все долгие месяцы пути ссыльные не знали, куда их везут. Как описывает свой крестный путь Михаил Аврамов, после приговора 1738 г. его в Петербурге «посаждая в сани, повезли, а куда не сказали и привезли к Москве, и, держав в Москве несколько дней и не дав ему взять из двора ни платья, ни денег, повезли дальше, а куда не сказали и наконец, привезли в Охотск» (775, 681).

Обычно, решая судьбу ссыльных, отправляя их по бездорожью в глухие места, власти не считались ни со временем года, ни с погодой, ни со здоровьем ссыльных. Всем известно яркое описание дорожных мук, данное протопопом Аввакумом в его письмах. В 1690 г. Василия Голицына с семьей сослали в Яренск. Как писал его пристав стольник Павел Скрыбин, их поезд двигался в конце ноября в Яренск «с великою нуждою, прочишая вновь дорогу в которых местах наперед сего никто тою дорогою не ездывал верст по пяти и по шти в день, а во многих... местах через речки и через ручьи шли пеши, а сани на себе таскали. И не доезжая... Тотьмы за три версты, спустились на реку Сухону и, не доехав до Тотьмы города за версту, болчки (эки-

пажи. — Е. А.) с княгинями и с детьми, и с жонками в воду все обломились, насили из воды вытаскивали. И оттого они лежали в беспмятстве многое время», а невестка В.В. Голицына в Тотье родила мертвого ребенка (623-3, 91).

Также «в беспмятстве» были женщины семьи А.Г. Долгорукого, которую осенью 1730 г. через горы, реки везли в Березов. Об этом подробно пишет Н.Б. Долгорукая. Ссылные находились в дороге месяцами, а отправленный из Петербурга в начале 1741 г. М.Г. Головкин добирался до места ссылки почти два года! Поздней осенью 1744 г. были вывезены из Раннебург на север члены Брауншвейгской фамилии, в том числе малые дети и больные женщины. Из-за грязи, дождей и снегопадов ехать было почти невозможно, от холодов страдали не только ссылные, но и охрана. Однако Петербург был непреклонен: невзирая ни на что узников, надлежало отправить на Соловки. Только в Холмогорах Елизавета Петровна отменила этот указ и приказала оставить семейство свергнутого императора в пустующем архиерейском доме (410, 94—123). В 1764 г. в страшную весеннюю распутицу из Москвы в Архангельск повезли Арсения Мациевича. Дорога продлилась месяц. Когда же через три года его везли зимой в Москву, то «борзая езда» позволила доставить преступника всего за 8 дней (597, 433). В одних случаях ссылным разрешали собрать какие-то вещи, взять деньги, в других — отправляли без всякой подготовки, что было для ссылного тяжким испытанием. Неким символом несчастья, разразившегося над головой светского, знатного человека, стала нагольная овчинная шуба, без которой ездить по русским дорогам, жить в сыром каземате или среди сибирских снегов было трудно. Многим современникам, видевшим ссылных, это грубое одевание сразу же бросалось в глаза. В такой шубе видели вернувшегося из Сибири Миниха, рваный полушубок подчеркивал для друзей Николая Новикова удручающие перемены, происшедшие в его облике за годы сидения в Шлиссельбурге. За 2 рубля 45 копеек на базаре была куплена подобная же шуба для Арсения Мациевича (591, 548).

Из Москвы в Тобольск ссылных обычно сопровождали гвардейские офицеры и солдаты. Н.Б. Долгорукая вспоминает, что в Тобольске гвардейский офицер передал ссылных другому, уже местному конвою, «и сдавали нас с рук на руки, как арестантов». На прощание «плакал очень при расставании офицер и говорил: “Теперь-то вы натерпитеcь всякого горя, это люди необычайные, они с вами будут поступать, как с подлыми, никакого снисхождения от них не будет”. И так мы все плакали, будто с сродником расставались, по крайней мере привыкли к нему: как ни худо было, да он нас знал в благополучии, так несколько совестно было ему сурово с нами поступать». Это очень важное замечание — гвардейский офицер считался

«своим», он был «прикормлен». Для новой же, сибирской, охраны петербургские знаменитости были уже просто ссыльными, хотя и богатыми. Но жизнь есть жизнь, и ссыльным нужно было искать общий язык и с теми, на кого они вчера бы и не взглянули. Долгорукая описывает, как ей приходилось, можно сказать, прикрывая носик батистовым платочком, иметь дело с «мужланами»: «Принуждены новому командиру покорятца, все способы искали, как бы его приласкать, не могли найти, да в ком и найти? Дай Бог и горе терпеть, да с умным человеком; какой этот глупый офицер был из крестьян, да заслужил чин капитанской. Он думал о себе, что он очень великой человек и, сколько можно, надобно нас жестоко содержать, яко преступников. Ему подло с нами и говорить, однако со всею своею спесью ходил к нам обедать. Изобразите это одно: сходственно ли с умным человеком? В чем он хаживал: епанча солдатская на одну рубашку, да туфли на босу ногу, и так с нами сидит? Я была всех моложе и невоздержана, не могу терпеть, чтоб не смеяться, видя такую смешную позитуру... Как мне ни горько было, только я старалась его больше ввести в разговор...» (273, 89–90).

Неопределенный по приговору точно адрес ссылки («Сослать в дальние сибирские города» или «Сослать в самые дальние города») уточнялся администрацией сибирского губернатора. Обер-церемониймейстер Санти был отправлен в Сибирь с приговором: «Сослать из Москвы в ссылку под крепким караулом в Тобольск, а из Тобольска — в дальнюю сибирскую крепость немедленно». В Тобольске такой крепостью назначили Якутск (705, 276, 281; 648, 25). Но все же по столь неопределенному адресу чаще всего везли «подлых» преступников. Людям известным, знатым обычно определяли достаточно точный адрес и заранее готовили для них место. Естественно, что тяжесть ссылки как наказания находилась в прямой зависимости от расстояния, которое отделяло место поселения от столиц. В лучшем положении оказывались преступники, сосланные в европейские города. Но и здесь была разница. Ссылка в крупные города Европейской части (Ярославль, Архангельск) была настоящим курортом для политического преступника, в отличие от ссылки в удаленные, глухие места, вроде Солигалича или Пустозерска. Сибирский царевич Василий жил в Архангельске (1718 г.), П. П. Шафиров — в Новгороде (1723 г.), Э. И. Миних — в Вологде (1742 г.), Лесток — в Угличе, а потом в Великом Устюге (1745 г.). Мог считать себя счастливецом Э. И. Бирон, которого в 1742 г. перевели из Сибири в Ярославль, где он прожил в хорошем климате 20 лет.

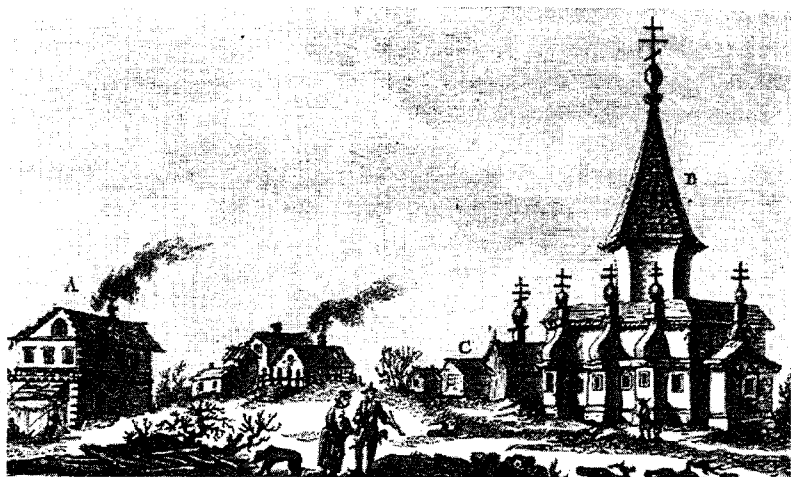
В худшее положение попадали сосланные в Колу, Пустозерск, Кизляр, но более всего страдали те, кого отправляли по приговору: «с о с л а т ь в

самые дальные сибирские города». Где находились эти «самые дальные города», порой не знал никто, не только в Академии де сианс, но и в Сибирской губернской канцелярии в Тобольске. В 1741 г. герцога Бирона и его братьев Карла и Густава решили заслать в «самые дальные города»: Карла — в Колымский острог Якутского уезда, а Густава — Якутского же уезда в Ярманг. Кто из правительства Анны Леопольдовны придумал этот Ярманг — неизвестно. Но голова заболела у сибирского губернатора, который 30 ноября 1741 г. сообщал в Петербург, что «о вышепомянутых Колымском остроге, да Ярманге, куда означенных арестантов послать велено, известия в Сибирской губернской канцелярии не имеется, кроме имеющейся ландкарты, по которой оныя зимовья найдены — Нижнее Колымское, Среднее Колымское, да Верхнее Колымское ж, которых имеется по мере (измерению. — Е. А.) той карты в расстоянии от Якутска: Нижний в двух тысячах верстах, Средний — в тысяче пятистах пятидесяти, Верхний — в тысяче осьмистах пятидесяти верстах. А от Тобольска до Якутска имеется 5154 версты».

Далее выяснилось, что «острожка Ярманга на той карте не означено и таких людей, кто б то место знал, в Тобольску не имеется. Токмо уведано, чрез прибывшаго из Охотска казака, который про оные острожки слышал, что из оных острожков называется Нижний Колымский острог Ярмангою, потому что в тот острог бывает съезд», по-видимому, имея в виду «ярманку» — ярмарку (462, 219–220). Уточнить все, что касается «Колымской ярманки», братьям Биронам не удалось — как раз в этот момент к власти пришла Елизавета Петровна и назначила Биронам новое место ссылки — Ярославль, где они и провели долгие годы. Что такое Ярманг, хорошо узнал в 1744 г. другой ссыльный, М.Г. Головкин, который там и умер (764, 221).

Ссылные, которых оставили если не в сибирской столице Тобольске, то в крупных городах (Томске, Енисейске, Якутске, Охотске), оказывались удачливее тех, кого отвозили «на край света» — в маленькие зимовья и остроги, вроде Жиганска, Нижнеколымска, Сургута, Усть-Вилуйска. Но и здесь условия ссылки были различны. Счастливец считал себя тот, кого послали не в Нижнеколымск у самого Северного Ледовитого океана, а в Среднеколымск, то есть поближе к центру Сибири. Только из Петербурга казалось неважным, куда послать Генриха Фика: в Зашивенск или в Жиганск, а потом перевести его из Жиганска в Средневилуйское или в Верхневилуйское зимовье (648, 26; 310, 26–27). Для ссыльного же все это было очень важно, от места ссылки часто зависела его жизнь.

Так, граф Санти семь лет провел в кандалах в темнице Якутского острога, а потом его отвезли в Верхоленинское зимовье. В 1734 г. сибирский вице-губернатор Сытин разрешил ему переселиться в Иркутск, где итальянец жил



Березов XVIII в.

вполне сносно, даже женился на дочери местного подьячего. Однако тихая жизнь в благоустроенном для Сибири городе продолжалась недолго, и из Петербурга пришел указ выслать Санти в Усть-Вилкойский острог, под «крепкий караул». Это означало, что солдаты не спускали глаз с преступника, не позволяли ему никуда выйти из дома. Усть-Вилкойск не так знаменит, как Березов, в котором отбывали ссылку и умерли А.Д. Меншиков, князя Долгорукие, А.И. Остерман. Б.Х. Миних стал преемником утичан и Бирона в Пелыме.

Почему из сотни не менее глухих и отдаленных мест Сибири для ссылки «бывших» назначались именно эти городки, ясно не всегда. Березов оказался удобен тем, что в остроге, переделанном из мужского монастыря, стоял обширный дом, были баня и кухня. Здесь можно было селить целые семьи ссыльных с многочисленными слугами (471, 62–63). По той же причине семью С.Г. Долгорукого в 1730 г. сослали в крепость Ранненбург, куда потом, в 1744 г., вывели Брауншвейгское семейство. В таких местах уже сложились проверенные временем условия для содержания преступников и для сносной жизни охраны. Впрочем, допустимо и иное объяснение: ссылка именно в Березов стала нарицательной, являлась подчеркнутой формой официальной мести: Меншикова сослали в Березов Долгорукие, потом их самих отправила на место Меншикова императрица Анна. Затем в Березове оказался А.И. Остерман — организатор ссылки Меншикова и один из судей над

Долгорукими. Может быть, так реализовывали мотив официальной мести. Кажется, что по тем же мотивам был составлен в 1742 г. и Миних. 9 ноября 1740 г. он не только коварно сверг Бирона, но сам составил чертёж дома в Пельме для бывшего регента, куда Бирона весной 1741 г. и отправили. Пришедшая к власти Елизавета Петровна приказала вернуть Бирона в Европу, а Миниха, наоборот, поселить в том самом доме, который он заботливо приготовил для Бирона (462, 180). Примечательно, что почему-то именно Якутск на протяжении десятилетий был местом ссылки украинской элиты — гетманов и старшины, начиная с Демьяна Многогрешного в 1673 г. и кончая Войнаровским в 1718 г. (644, 92).

Когда Березов или другие, ему подобные «популярные» места ссылки оказались заняты, выбор города или зимовья для ссылки зависел от случайности — главное, считала власть, чтобы преступники жили подальше от центра, а также друг от друга, да и не могли сбежать. В назначении тех или иных сибирских городов для поселения ссыльных не было никакой системы. Когда составлялись «Росписи ково в которые сибирские города сослать», то места ссылки определялись наобум: против списка городов, присланных из Сибирского приказа или губернии, ставились фамилии ссыльных: имярек — «в Тоболеск...», имярек — «в Томской...», «в Енисейской... в Мангезею... в Кузнецкой... в Нарымской...» — и т.д. Словом, прав Н.Д. Сергеевский, который писал, что «бесконечен список городов и мест, куда направлялись ссыльные» в XVII в. (673, 230). Но в XVIII в. этот список стал еще бесконечнее.

Обычно прибывших к месту ссылки, в зависимости от меры наказания, заключали в городской острог, устраивали в пустующих домах обывателей или строили для них новое жилье, которое выглядело как тюрьма. Для сосланного в Пустозерск протопопа Аввакума и его подельников в 1669 г. было приказано построить «тюрьму крепкую и огородить тыном вострым в длину и поперег десяти сажень, а в тыну поставить 4 избы колодником сидеть и меж изб перегородить тыном же (в другом месте это называется «перегородка». — Е. А.), да сотнику и стрелцом для караулу избу» (182, 6). В виде такого же лагеря-ostroга строили тюрьмы и в XVIII в. В конце декабря 1740 г. в Пелым был срочно послан гвардейский офицер, чтобы возвести узилище для сосланного туда Э.И. Бирона с семьей. По описанию и рисунку, сделанному, как сказано выше, лично Минихом, видно, что для Бирона возводили маленький острог: «Близ того города Пельми (так!) сделать по данному здесь рисунку нарочно хоромы, а вокруг оных огородить острогом высокими и крепкими полисады из брусьев, которые проиглеть, как водится (т.е. наверху вбить заостренные железки. — Е. А.), и дабы каждая того острога

стена была по 100 сажений, а ворота одни, и по углам для караульных солдат сделать будки, а хоромы б были построены в середине онаго острога, а для житья караульным офицерам и солдатам перед тем острогом у ворот построить особые покои». Из донесения выполнявшего эту работу подпоручика Шкота следует, что вокруг палисада был еще выкопан ров (462, 180—182).

На содержание ссыльных казной отпускались деньги, которых, как правило, не хватало — слишком дорогой была жизнь в Сибири, да и с охраной приходилось делиться. Для поселенных «на житье» или «в пашню» деньги и хлеб отпускали только до тех пор, «покамест они учнут хлеб пахать на себя» (644, 75). Бывало так, что отпускаемые казенные деньги целиком оставалась в карманах охранников, за что они позволяли ссыльным тратить без ограничений свои личные деньги, устраиваться с минимальным, хотя и запрещенным инструкциями, комфортом. А деньги у большинства состоятельных ссыльных водились. Женщины имели при себе дорогие украшения, которые можно было продать. То, что при выезде из Ранненбурга у Меншиковых отобрали абсолютно все, можно расценить как сознательное унижение русского Креза. Так поступили в 1732 г. и с семьей А.Г. Долгорукого, когда в Березов послали солдата Ивана Рагозина «для отобрания у князя Алексея Долгорукова с детьми алмазных, золотых и серебряных вещей и у разрушенной (т.е. Екатерины Долгорукой — невесты Петра II. — Е. А.) ...Петра Второго патрета» (275, 46—47; 382, 2). Бирона при отъезде в Сибирь весной 1741 г. лишили всех золотых вещей и часов, а серебряный сервиз обменяли на «равноценный» оловянный, но денег у бывшего регента все же не тронули (462, 212). Деньги ссыльным были очень нужны. Приходилось за свой счет ремонтировать или благоустраивать убогое казенное жилище, заботиться о пропитании, что было нелегко, — торжков и рынков в этих забытых Богом местах не водилось.

Самой вольной считалась ссылка на Камчатку: бежать оттуда ссыльным, как думали в Петербурге, было некуда. Ссылать туда начали с 1743—1744 гг., когда на Камчатку отправили участников заговора камер-лакея Турчанинова. Впрочем, известно, что раньше, в 1740 г., к ссылке на Камчатку приговорили Ивана Суду — конфидента А.П. Волинского, но он, кажется, до Камчатки не добрался и был помилован сразу же после смерти Анны Ивановны (304, 163). Ссыльные в Большерецком и других местах Камчатки жили достаточно свободно, они занимались торговлей, учительствовали в семьях офицеров гарнизона. К началу 1770-х гг. на Камчатке собрались люди, замешанные в основных политических преступлениях XVIII в. За одним столом тут сидели участники заговора 1742 г. Александр Турчанинов, Петр Ивашкин, Иван Сновидов, позже к ним присоединились заговорщики 1762 г. Семен

Гурьев, Петр Хрушов, а потом и заговорщик 1754 г. знаменитый Иоасаф Батурин. Еще через несколько лет сюда приехал пленный венгр — участник польского сопротивления М.А. Беньовский (647, 527). Он-то и организовал в 1771 г. захват корабля, на котором группа ссыльных бежала в Европу. Эта скандальная история изменила прежде столь беззаботное отношение властей к дальной камчатской ссылке. Они ужесточили там режим (305, 417—438; 647, 547).

Довольно свободно чувствовали себя ссыльные в Охотске, особенно когда в 1730-е гг. там обосновалась Камчатская экспедиция Беринга. Ей постоянно требовались люди, которых и находили среди сосланных государственных преступников. Как раз тут несколько ссыльных во главе с Беньовским летом 1770 г. собирались по вечерам и обсуждали планы будущего побега с Камчатки (647, 533). А.Н. Радищева, поселенного в 1793 г. в Илимске, охраняли унтер-офицер и два солдата, но он мог совершать дальние прогулки по горам и лугам, а также собирать коллекции и гербарии, учить детей, пользоваться как врач местных жителей. Ему даже разрешили жениться на сестре своей покойной жены (130, 110).

Но так вольготно жилось не всем ссыльным. В тяжелом заключении находился в Жиганске в 1735—1740 гг. князь А.А. Черкасский. Его держали в тюрьме «в самом крепком аресте», не давая беседовать даже со священником, что обычно разрешалось самым страшным злодеям и убийцам (ср.: 655, 13; 648, 32). Около восьми лет просидел скованным в тюрьме Тобольска Иван Темирязов. Инструкции 1742 г. об А.И. Остермане в Березове и Минихе в Пелыме требовали от охраны держать преступников в заточении «неисходно» и отводить только в церковь, где смотреть, чтобы никто из местных с ними не разговаривал (310, 40, 97, 113). Несколько первых лет в ссылке в Ярманге М.Г. Головкину и его жене разрешали выходить только в церковь, а по делам ссыльный ходил в компании с двумя конвоирами (763, 227—228). особенно сурово наказали Санти, сосланного в Усть-Виллоуский острог под «крепкий караул», к нему не подпускали даже его слугу. Сосланному в Углич Лестоку разрешали гулять только по комнате, в которой он сидел, но при этом запрещали подходить к окнам (763, 230).

Если не было каких-то особых распоряжений о «крепком» содержании (т.е. в тюрьме или безвыходно из покоев, под караулом), то через несколько месяцев или лет ссыльные получали некоторые свободы. Им разрешали выходить из острога или из дома сначала с конвоем, а потом и без него, бывать в гостях у местных жителей, иметь книги, заниматься сочинительством, научными опытами, вести хозяйство, выезжать на рыбалку и охоту. Важно было иметь в столице влиятельных друзей и активных родственников, которые могли добиться некоторого облегчения ссылки. Жена С.Г. Долгорукого, со-

сланного в 1730 г. в Ранненбург, была дочерью П.П. Шафирова и из ссылки постоянно переписывалась с отцом и со своими сестрами, которые присылали Долгоруким вещи, деньги, книги, лекарства, а когда Долгорукий заболел, то добились посылки в Ранненбург столичного врача (407, 468).

Практически все послабления ссылным делались по воле Петербурга. 29 ноября 1741 г. начальник охраны семьи Бирона в Пельиме Викентьев получил указ только что вступившей на престол Елизаветы Петровны: «Соизволяем повеленный вам над ними арест облегчить таким образом: когда они похотят из того места, где их содержать велено неисходно, куда выдти (однакож, чтоб не долее кругом онаго места двадцать верст), то их за пристойным честным присмотром отпускать и в прочем что до удовольствия их принадлежит, в том их снабдевать, дабы они ни в чем нужды не имели, и во уверение их сей указ дать им прочитать» (462, 221). Во время ссылки уже в Ярославль Бирону разрешали дважды в неделю обедать с жившими там братьями Карлом и Густавом (765, 249).

О том, что делалось у ссылных, в Петербурге узнавали из регулярных рапортов охраны и местных властей, а также из многочисленных самодельных доносов. Поэтому при дворе до мелочей знали, чем дышали ссылные и что сказал за обедом князь Иван князю Алексею. Так обстояло с Долгорукими, жившими в 1730-х гг. в Березове. А.И. Остерман, известный своей феноменальной лживостью и притворством, был заподозрен (даже в ссылке!), что опять притворяется, на этот раз — умирающим. 6 ноября 1746 г. Сенат на своем заседании «имел рассуждение» о нем и постановил: поручику Космачеву (начальнику охраны. — Е. А.) сообщить секретно и «в самой скорости: означенный Остерман ходит ли сам и, буде ходит, давно ли ходить начал?». Космачев через семь месяцев (быстрее письма не доходили) сообщил 23 мая 1747 г.: «Вышеписанный бывший граф Остерман ходить начал с 742 года с августа месяца о костьлях, а потом и сам собою до 747 году мая 5 дня. А мая с 5-го дня заболел грудью и голову обносил обморок. А сего мая 22 дня 747 году, по полудни в четвертом часу волею Божию умре» (354, 330). Ссылных всюду могли подслушать, а стать жертвой доносчика было крайне опасно. Княгиня Дашкова, останавливаясь по дороге в ссылку на ночевку, приказывала своим людям заглядывать в погреб — «не спрятался ли там лазутчик Архарова для подслушивания наших разговоров» (238, 192).

Особо следует сказать об охране. Раньше, в XVII в., знатных ссылных в «дальние деревни» или «дальные городы» отправляли «за приставех». Приставом же, т.е. начальником конвоя, а потом охраны на месте ссылки, обычно назначали стольника, которому подчинялся отряд стрельцов. В XVIII в. функции пристава выполнял офицер гвардии. Предстоящая дальняя коман-

дировка обычно мало радовала служилого человека. Граф Гордт, попавший в Петропавловскую крепость в конце 1750-х гг., пишет, что офицер, доставивший его в крепость, прежде такой оживленный и разговорчивый, стал вдруг печален и на его участливый вопрос «чистосердечно признался... что, судя по всем признакам, участь моя должна решиться секретною ссылкой в Сибирь и что по обыкновению стража, отряжаемая к заключенным, должна следовать за ними и вместе с ними жить среди мрака и нищеты».

Вопрос этот не совсем ясен. С одной стороны, известно, что в Тобольске или по месту ссылки столичная охрана передавала ссыльных местным властям и далее они следовали с охраной из сибирских полков и воинских команд (310, 30). Но, с другой стороны, сохранились сведения, что в 1741 г. гвардейскому капитан-поручику Петру Викентьеву с отрядом в 72 человека предстояло не только отвезти Э.И. Бирона и его семью в Пельым, но и жить с ним там «до указа» (462, 213). Охрана терпела нужду и тяготы ссылки вместе со ссыльными. Начальник охраны Санти в Усть-Вилуйске подпрапорщик Бельский сообщал в 1738 г. начальству об ужасных условиях их жизни: «А живем мы — он, Сантий, я и караульные солдаты в самом пустынном краю, а жилья и строения никакого там нет, кроме одной холодной юрты, да и та ветхая, а находимся с ним, Сантием, во всеконечной нужде: печки у нас нет и в зимнее холодное время еле-еле остаемся живы от жестокого холода, хлебов негде испечь, а без печеного хлеба претерпеваем великий голод и кормим мы Сантия, и сами едим болтушку, разводим муку на воде, отчего все солдаты больны и содержать караул некем. А колодник Сантий весьма дряхл и всегда в болезни находится, так что с места не встает и ходить не может». Освободила Санти лишь императрица Елизавета в 1742 г. (705, 273—284).

Не легче приходилось и охране ссыльных по разным медвежьим углам Европейской России. Начальник охраны старицы Елены, бывшей царицы Евдокии, в 1720 г. жаловался на тяжелейшие условия жизни зимой в Староладожском монастыре, где негде было укрыться от холода (330, 29). О майоре гвардии Гурьеве, начальнике охранной команды в Холмогорах (там содержали Брауншвейгскую фамилию), в 1745 г. сообщалось, что он «впал в меланхолию» и не оправился от нее даже тогда, когда к нему приехали жена и дочери. Его преемник секунд-майор Вындомский завалил вышестоящие власти просьбами об отставке, ссылаясь на ипохондрию, меланхолию, подагру, хирагру, почти полное лишение ума и прочие болезни. И его понять можно, ведь он охранял Брауншвейгское семейство 18 лет! (410, 125, 305). Так что не зря симпатичного графу Гордту молодого караульного офицера охватила тревога — ему совсем не хотелось отправляться из Петербурга даже со знатным узником на Соловки, в Пустозерск или в Великий Устюг, а тем бо-

лее в Сибирь. Впрочем, вернувшись из канцелярии, офицер сказал Гордту, что «просил о замене его другим лицом, так как собирался вскоре вступить в брак. Но это была хитрость, к которой он прибег, как и многие другие, чтобы избавиться от поездки в Сибирь: государыня раз навсегда запретила посылать с арестантами офицеров и солдат женатых или намеревающихся вступить в брак, ибо не желала тем причинять расстройств в семьях, ни задерживать умножение населения в своих владениях. По этой причине в канцелярии обещано было сменить моего провожатого» (219, 305–306). Подобный указ мне найти не удалось — возможно, ловкий офицер нашел другой способ освободиться от предстоящей тягостной командировки, а Гордту соврал.

Жизнь ссыльных зависела от разных обстоятельств. Выделим несколько важнейших. Во-первых, многое определял приговор, в котором было сказано о месте ссылки и режиме содержания ссыльных. А градация, как известно, была широкой — от свободной жизни в Тобольске до «тесного» тюремного заключения в заполярном остроге. Во-вторых, для ссыльных оказывалось важным, как складывались их отношения с охраной и местными властями. Одни ссыльные умели ласками и подарками «умягчить» начальников охраны, воевод и комендантов, другие же ссорились с ними, страдали от придирок, самодурства и произвола. Подчас несовпадение характеров, неуживчивость делали жизнь ссыльных тяжелым испытанием. Местные власти и охрана могли при желании устроить своим подопечным подобие ада на земле. К тому же постоянные оскорбления простых солдат и незнатных офицеров были особенно мучительны для некогда влиятельных людей, перед которыми ранее все трепетали и унижались. Когда казачий урядник отобрал весь улов рыбы у ссыльного М.Г. Головкина, то тот в сердцах сказал: «Если бы ты в Петербурге осмелился сделать мне что-нибудь подобное как ты меня обидел, то я затравил бы тебя собаками». Но потом, оступ, граф пригласил нахала в свою хижину на выпивку: с волками жить — по-волчьи выть! (764, 229).

А.Д. Меншиков сразу же наладил хорошие отношения с начальником охраны в Ранненбурге капитаном Пырским и дарил ему богатые подарки. За это Пырский предоставлял Меншикову больше свободы, чем полагалось по инструкции. Так же вел себя с начальником охраны капитаном Мясовым и князь С.Г. Долгорукий, поселенный в Ранненбург после Меншикова. В 1730 г. Мяснов получил от ссыльного вельможи роскошную шпагу, ткани, деньги и пр. Вопреки запретам Мяснов позволял ссыльным вести обширную переписку, выходить из крепости и вообще чувствовать себя как дома. Но потом узники и охранники начали ссориться, кто-то в столице по-

слал донос, открылось расследование, и это привело в конечном счете к ужесточению режима (407, 459—471).

Герцог Бирон, оказавшись в ссылке в Ярославле, страдал от самодурства воеводы и особенно воеводши Бобрищевой-Пушкиной, как-то особенно его утеснявшей. Она, как в 1743 г. писал в своих челобитных императрице Елизавете вчера еще страшный правитель России, «хочет меня и мою фамилию крушить, мучить и досаждать». Не меньше неприятностей Бироном доставлял офицер охраны: «Чрез восемь лет принуждены мы были от сего человека столько сокрушения претерпевать, что мало дней таких проходило, в которые бы глаза наши от слез осыхали. Во-первых, без всякой причины кричит на нас и выговаривает нам самыми жестокими и грубыми словами. Потом не можем слова против своих немногих служителей сказать — тотчас вступается он в то и защищает их... Когда ему, офицеру угодно, тогда выпускает нас прогуливаться, а в протчем засаживает нас, как самых разбойников и убийцов» (128-2, 527, 533, 536—537). Между тем из всех ссылных XVIII в. Бирон был устроен в Ярославле лучше всех. Императрица Елизавета назначила ему хорошее содержание, в ссылку привезли библиотеку, мебель, охотничьих собак, экипажи, ружья, привели лошадей. Бирон мог гулять по городу, принимать гостей. Верхом ему разрешалось отъезжать от Ярославля на 20 верст! О таких условиях большинство знатных ссылных могли только мечтать. Но у Бирона были постоянные свары с администрацией и охраной. Особенно усилились эти ссоры в 1749 г., когда, не выдержав тирании отца, из дома Бирона к Бобрищевой-Пушкиной тайно бежала дочь герцога Гедвига-Елизавета, которую воеводиха переправила ко двору императрицы (801, 548).

Иной была обстановка в Устюге Великом, где с 1753 по 1762 г. сидел Лесток. Он жил с женой бедно, но весело, подружился со своим приставом. Пристав приводил к знатному узнику гостей, они играли в карты, и Лесток даже выигрывал себе на жизнь какие-то деньги (763, 232). Различия в том, как жили Бирон и Лесток, объясняются во многом разными характерами этих людей. Спесивый и капризный Бирон наверняка не мог найти общего языка с любой охраной, тогда как веселый, неунывающий повеса Лесток вызывал у людей симпатию. Между тем хорошие отношения с приставом, охраной облегчали узнику унылую жизнь в забытом Богом месте. Начальник охраны мог одним лишь педантичным исполнением инструкции сделать эту жизнь для преступников невыносимой. Тот офицер, командир конвоя, что так не понравился своим внешним видом и повадками молоденькой княжне Долгорукой, оказался впоследствии весьма либеральным охранником и добрым человеком. Это был капитан Иван Михалевский, выслужившийся в офицеры из простых драгун. Доставив Долгоруких в Березов, он охранял

их до 1735 г. Михалевский сблизился с ссыльными, делал им различные поправки. К этому его побуждали обстоятельства. Как начальнику охраны, ответственному за жизнь и здоровье ссыльных, ему можно посочувствовать: Долгорукие жили недружно, постоянно ссорились и дрались. Михалевский опасался, как бы родственники, скученные в замкнутом пространстве острога, не поубивали друг друга. Ему приходилось постоянно разбирать свары князей и княжен, составлять протоколы о побоях — а вдруг кто-нибудь от них будет убит, а спросят ведь с него, начальника охраны! Поэтому Михалевский, чтобы разрядить обстановку в остроге, вопреки инструкции стал выпускать Долгоруких в город.

Вольности, которые давал Михалевский ссыльным, принесли ему в конечном счете несчастье: за нарушение инструкций его судили и приговорили вначале к расстрелу, а потом к ссылке в Оренбург «в тягчайшую работу вечно». Освободили Михалевского от каторги при Елизавете Петровне, но он остался без пропитания, чина и не у дел — присяжную должность надлежало соблюдать независимо от правителя! (310, 88–89). В 1746 г. был арестован капитан Ракусовский, на которого донесли в «слабом содержании» государственных преступников — людей из свиты Брауншвейгского семейства, оставленных в Ранненбурге. Он обвинялся в том, что, будучи «при арестантах на карауле главным командиром, слабо содержал и имел с ними, яко с неподозрительными людьми, дружеское обхождение», а также просил кого-то из ссыльных стать крестным его новорожденного сына. За все эти проступки капитан был разжалован в поручики и отправлен на службу в гарнизонные войска (410, 314).

Привезенный весной 1812 г. в Нижний Новгород М.М. Сперанский жил на квартире свободно, без охраны. Однажды вместе с отставным обер-прокурором А.А. Столыпным он прогуливался по городу. Местная полиция заметила, что Сперанский со своим спутником «более ходили между черным народом и будто бы Сперанский скрытным образом бывал в трактирах и питейных домах». В ответ на донесение нижегородского губернатора министр полиции передал высочайшую волю: следить за Сперанским и употребить все старания, чтобы «проникнуть цель и причины обращения его между простым народом». Вскоре Сперанского выслали в Пермь, где некогда влиятельный сановник подвергся новым грубым притеснениям и унижениям. 10 октября 1812 г. Сперанский жаловался Александру I: «Прибыв в Пермь я силился, по возможности, привыкать к ужасам сего пребывания. Между тем, здешнее начальство признало за благо окружить меня не приметным надзором, коего, вероятно, от него требовали, но самым явным полицейским досмотром, мало различным от содержания под караулом. Приставы и

квартирные каждый почти час посещают дом, где я живу и желали бы, я думаю, слышать мое дыхание, не зная более, что доносить». В письме же министру полиции он писал: «Я не ропщу на губернатора и уверен, что он поступает сим образом не по злобе и не из выслуги, но единственно по неправильному понятию о свойстве моего сюда удаления. От вас, милостивый государь, зависит определить сие точнее». После этого пермскому губернатору было указано, чтобы «высочайшая воля была исполняема не далее пределов, ею назначенных... и чтобы вообще надзор за их поступками был самый неприметный и осторожный» (706, 77—79, 82—85).

Вопреки строгим предписаниям из столицы источником льгот для ссыльных становились помимо начальника охраны и местные чиновники — воеводы, коменданты. Они, живя рядом со ссыльными, как и охрана, сближались с узниками. Воеводам и комендантам сибирских городков — мелким служилым людям — льстило близкое знакомство со знаменитостями, которых в Петербурге они могли видеть только в окне кареты. Здесь, в глухом сибирском углу, такие люди оказывались в полной власти воеводы. Каждый из провинциальных воевод мог повторить слова воеводы Березова XVII в. князя О.И. Щербатова: «Я здесь не Москва ли?» Воевода, его жена начинали ходить в гости к узникам острога, принимать их у себя, совершать вместе прогулки, ездить на охоту. Охрана, также зависимая в своей жизни от местного начальства, смотрела на эти вольности сквозь пальцы (310, 86). Кроме того, различные льготы, как известно, покупались подарками и деньгами — власть везде была продажной. Радищев, например, даже жаловался иркутскому губернатору на постоянные вымогательства илимских чиновников, которые были убеждены, что бывший начальник Петербургской таможни прислан в Илимск не за то, что он «бунтовщик хуже Пугачева» и сочинитель крамольного «Путешествия», а за банальные взятки и привез толстый бумажник (130, 108).

Не всегда дружба с чиновниками кончалась добром. Так произошло с Егором Столетовым, который поссорился за праздничным столом с комиссаром Нерчинских заводов Тимофеем Бурцовым и заплатил за сказанные в ссоре неосторожные слова своей головой (659, 5—7). Так случилось и с семьей Долгоруких, а также администрацией Березова, на которых из мести донес Осип Тишин. В 1750 г. начался розыск над местными начальниками из Нарыма о «слабом содержании» арестанта Ивана Мошкова, а в 1770 г. расследовалось дело о льготах, которые давала охрана в Березове ссыльному Якову Гонтковскому. К таким розыскам привлекали десятки людей, а

виновных в послаблении офицеров, солдат и чиновников строго наказывали (471, 65—66, 70; 310, 19, 36—40, 88, 95).

Сибирские историки утверждают, что, благодаря образованным ссыльным, в сельском хозяйстве диких сибирских и других уголков произошли благотворные перемены. Князь В.В. Голицын в Пинеге, а барон Менгден в Нижнеколымске разводили лошадей (655, 18; 451, 397). М.Г. Головкин, забыв про свои подагру и хирагру, которые мучили его всю дорогу, занялся рыболовством в заполярном Ярманге и достиг в этом больших успехов (655, 16; 764, 228). Некоторые ссыльные, имевшие практическую жилку, занимались даже коммерцией. Бывший вице-президент Коммерц-коллегии Генрих Фик не оставил знакомого дела и в Сибири. Он вовлек в торговые операции с туземцами свою охрану и посылал в Якутск солдат для продажи купленной им у туземцев пушнины (648, 90). Фрейлина Анны Леопольдовны Юлия Менгден вместе с несколькими другими придворными несчастных брауншвейгцев просидела под арестом в Ранненбурге с 1744 по 1762 г. Ссыльные жили в тяжелых условиях, в недостроенном доме, в холоде и отчаянно нуждались во всем. Юлия перешивала свои богатые шелковые юбки в кокошники, и жена охранявшего их солдата выменивала в ближайшей деревне эти изделия на лен и шерсть. Менгден и гувернер принца Антона-Ульриха полковник Гаймбург чесали, разматывали эту шерсть, а потом Юлия из нее пряла, ткала и вязала. На изготовленные произведения рукоделия они и жили. Когда Гаймбург одряхлел, то он стал нанять ребенка солдатки, пока та ходила по деревням с вещами, сделанными Менгден (410, 319—320). Сидевшая в Устюге Великом со своим мужем Лестоком графиня Мария-Аврора сама стирала белье, варила пиво, пекла хлеб (763, 232).

Успехами в домоводстве и экономике особенно прославился Б.Х. Миних, проведший в Березове двадцать лет. Пока его не выпускали из острога, он разводил огород на валу, а потом занялся скотоводством и полеводством. В очерке А.С. Зуева и Н.А. Миненко на основе документов показано, как опальный фельдмаршал сумел провести годы ссылки с достоинством, пользой и бодростью. В одном из своих писем он сообщал брату: «Место в крепости болотное, да я уже способ нашел на трех сторонах (крепостных стен. — Е. А.), куда солнечные лучи падают, маленький огород с частыми балясами устроить. Такой же пастор и Якоб, служитель наш, которые позволение имеют пред ворота выходить, в состояние привели, в которых огородах мы в летнее время сажением и сеением моцион себе делаем, и сами столько пользы приобретаем, что мы, хотя много за службу в совершенный рост или зрелость не приходит (напомню, что Пельым находится за полярным кругом. — Е. А.), при рачительном разведении чрез год тем пробавляемся...

В наших огородах мы в июне, июле и августе небезопасны от великих ночных морозов. И потому мы, что иногда мерзнуть может, рогожами рачительно покрываем».

Долгими полярными ночами при свече фельдмаршал перебирал и сортировал семена, вязал сети, чтобы «гряды от птицы, кур и кошек прикрыть», а супруга его, Барбара-Элеонора, сидя рядом, латала одежду и белье. В это время где-то за тысячи верст от Березова на восток, в Ярманге графиня Е.И. Головкина, утомившись от хозяйственных дел, читала вслух книги своему мужу М.Г. Головкину (764, 228). Много дел ожидало Миниха и на скотном дворе, где у него были коровы и другая живность. В отсутствие пастора он сам вел для домашних богослужение. Кроме того, Миних посылал пространные письма императрице Елизавете, Бестужеву-Рюмину, сочинял проекты. Конечно, эти и многие другие вольности, особенно переписка, стали возможны только благодаря благоволению императрицы — ведь брать перо в руки ссылным обычно не позволяли (310, 114—118; 754, 1418—1440; 340, 174—185). В 1746 г. длинные и высокопарные послания Миниха надоели в Петербурге, и ему запретили бумагомарание. Лишь в 1749 г. в качестве исключения разрешили высказаться письменно, «только при том ему объявить, дабы он о всем достаточно единожды ныне написал, ибо ему впредь на такие требования позволения дано больше не будет» (411, 89).

И все же случалось, что, несмотря на неволю, некоторые ссылные даже в Сибири сумели сделать карьеру, не будучи при этом официально помилованы. Объяснить это можно тем, что в Сибири постоянно нуждались в специалистах, чиновниках, из России служить туда ехали только такие редкие фанатики дела, как Витус Беринг и ему подобные. Сосланный в 1727 г. Г.Г. Скорняков-Писарев просидел в Жиганском зимовье до весны 1731 г., когда пришел указ императрицы Анны о нем. В указе не было ни единого слова о помиловании бывшего обер-прокурора (во всех позднейших документах он назывался «ссылочный Скорняков-Писарев»), но предписывалось: Скорнякова-Писарева определить в Охотск с тем, «чтобы он имел главную команду над тем местом». Так, оставаясь формально ссылным, Скорняков получил огромную власть «командира Охотска», заложил там морской порт, но потом провинился перед государыней — слишком много при этом воровал и бесчинствовал. Скорнякова арестовал и посадил в тюрьму бывший его товарищ по делу 1727 г., также «ссылочный», А.М. Девьер, который в 1739 г. получил именной указ о назначении на место Скорнякова-Писарева. И только 1 декабря 1741 г. императрица Елизавета указала: «Обретающимся в Сибири Антону Девьеру и Скорнякову-Писареву вины их отпустить и из ссылки освободить» (645, 444—449; 110, 44; подробнее см. 310, 45—63).

В принципе родственники не всегда и знали, что произошло с их близкими — государственными преступниками. В 1740 г. сын сосланного в Сибирь А. Яковлева писал императрице Анне: «Отец мой в прежних годах взят по неизвестному делу в Канцелярию тайных розыскных дел и где имеется, о том я неизвестен. Прошу явить милость и освободить его из-под аресту» (775, 673—674). Следует удивляться, что карающая десница сыска миновала сына государственного преступника, обычно дело обстояло иначе. Н.Б. Голикова считала, что в 1681 г. царь Федор издал особый указ о ссылке жен и детей вместе с сосланным главой семьи. От ссылки освобождались только дети старше трех лет (212, 55—56, 50). Однако либо указа такого не было, либо он был издан по какому-либо частному случаю, но знатных преступников конца XVII — первой четверти XVIII в. обычно ссылали со всей семьей (В.В. Голицын, А.Д. Меншиков, князя Долгорукие и др.).

Причины ссылки родственников — в устойчивых, идущих с древних времен традициях, когда родственники несли ответственность за деяния своего сородича — государственного преступника. В традиции России, как и многих других стран, было недоверие к родственникам преступника. Они рассматривались как вероятные соучастники преступления или неизветчики, особенно если речь шла об измене или побеге за границу. Их подвергали допросам и пыткам, и часто им предстояло в пыточной палате доказать свою лояльность власти и непричастность к преступлению. При Петре I к родственникам применяли своеобразное государственное заложенность: при неисполнении подданными указов, при их бегстве от службы, работ, переселений страдали родственники. Так, в 1697 г. Петр распорядился взимать штрафы с не явившихся на государевы работы жителей Орла и предписал, что если они не платят штрафы, то «у тех велеть иметь жен и детей их и свойственников, которые с ними живут в одних домах и держать в тюрьме и за караулы, покамест те деньги на них доправлены будут» (605, 273). В 1713 г. Сенат так вынуждал русских купцов переселиться в Ригу: «А жен их и детей, и людей их держать за караулом, а пожитки их запечатав, поставить караул, пока они [купцы] явятся в Риге» (271-3, 284).

В первой половине XVIII в. вину с преступником разделяли прежде всего члены его семьи: жена, дети, реже — родители. Остальные родственники подвергались опале и наказанию только в том случае, если они были прямыми соучастниками преступления. В приговорах по крупнейшим политическим делам XVII—XVIII вв. обычно суровее других родственников наказывали сыновей, которые несли службу с отцами-преступниками. Их могли вместе казнить (отец и сын Иван и Андрей князя Хованские, 1682 г.), ссылать в бессрочные ссылки (отец и сын князя В.В. и А.В. Голицыны, 1689 г.), сажать в тюрьмы

(отец и сын Петр и Иван Толстые, 1727 г.), изгонять из гвардии в армию с теми же чинами (Иван и Федор Остерманы), хотя вина сыновей сановников была весьма сомнительна и в приговоре ее, как правило, не детализировали — сыновья шли как сообщники, причем их наказывали не за вину, а за родство, с целью предупредить на будущее возможную месть.

Так поступили с малолетними детьми А.П. Волынского, которых сослали в 1740 г. в Сибирь, видя в них возможных самозванных претендентов на престол, — ведь под пыткой у их отца вымучили признание, что он намеревался посадить кого-либо из своих детей на русский трон. И хотя Волынский потом от этих показаний отрекся, было поздно. В приговоре подробно описывалось, как надлежит поступить с детьми Волынского: «Детей его сослать в Сибирь в дальние места, дочерей постричь в разных монастырях и настоятельницам иметь за ними накрепчайший присмотр и никуда их не выпускать, а сына в отдаленное же в Сибири место отдать под присмотр местного командира, а по достижении 15-летнего возраста написать в солдаты вечно в Камчатке» (304, 162). В 1738 г. иначе расправились с детьми сосланного в Охотск известного деятеля петровского царствования Михаила Абрамова. В приговоре о них было сказано: «А чтоб дети его мужеска полу праздно не шатались, сыскав в Москве... годных, написать в солдаты, а которые явятся к определению в солдаты негодны, тех определить как о том указы Е.и.в. повелевают» (775, 681). Настоящей расправой с целым родом можно назвать то, что в 1730-х гг. сделали власти с князьями Долгорукими. В 1730 г. после опалы и ссылки всей семьи князя А.Г. Долгорукого в Сибирь удар был нанесен и по его братьям: Сергея и Ивана послали в ссылку: одного — в Ренненбург, другого — в Пустозерск, третьего же брата, Александра, отправили служить во флот на Каспий, а сестру А.Г. Долгорукого заточили в Нижнем Новгороде в монастырь. Еще более сурово поступили в 1739 г. с сыновьями А.Г. Долгорукого, младшими братьями князя Ивана Долгорукого, которые выросли в сибирской ссылке, — после жестоких розысков в Тобольске их приговорили: Николая — «урезав язык», к каторге в Охотске, Алексея — к ссылке пожизненно на Камчатку простым матросом; Александра — к наказанию кнутом. Племянники Ивана, дети Сергея Григорьевича, Николай и Петр были отданы в солдаты, а Григорий и Василий — в подмастерья, в кузницу (274, 67–69). Сын посаженного в Шлиссельбург бывшего сибирского губернатора М.В. Долгорукого Сергей служил майором Рижского гарнизона. Его выпнали со службы и приказали «жить ему в подмосковной деревне, селе Покровском, безвыездно» (385, 75).

Женщин из семей важных государственных преступников отсылали в монастырь, где насильно постригали в монахини. В 1740 г. княжны Екате-



И.А. Долгорукий

рина, Елена и Анна Алексеевны Долгорукие, сестры И.А. Долгорукого, были высланы под конвоем в Сибирь в распоряжение митрополита Сибирского, которому предписывалось назначить монастыри, и «в тех монастырях по обыкновению постричь их в монахини, и настоятельницам тех монастырей ни для чего отнюдь не выпускать, и писем писать не давать, и посторонних никого ни для какого сообщения к ним не допускать, и чтоб никаких шалостей и непотребного от них не происходило, пищею и одеждою содержать их по обыкновению тех монастырей равномерно против прочих монахинь, без всякой отмены» (385, 745—746). Все эти жестокие наказания невинных женщин не случайны. Несмотря на развитие и гуманизацию права, в родственниках, как и прежде, видели сообщников преступника. Приговор о ссылке супругов Нестеровых (1735 г.) интересен тем, что сам Нестеров был совершенно невинен, что признавало и следствие, но Кабинет министров предписал сослать его с женой, «дабы более между ними не имело происходить каковых важных продерзостей» (664, 10).

Наконец, под удар власти попадали слуги преступника, особенно самые близкие. В 1718 г. по делу царевича Алексея четверых его служителей, которые «во время побегу царевичева при нем были», но «про побег не знали», сослали в Сибирь, думаю, что на всякий случай. И только начиная с екатерининских времен практика высылки родственников вместе с преступником была в целом прекращена. В тех случаях, когда в приговоре не было определения «Сослать с женою и детьми», законодательство не предусматривало насильственную ссылку семьи каторжного или ссыльного преступника. Их судьбу решал он сам. О ссылаемом в Сибирь преступнике Епифанове в приговоре 1732 г. сказано: «Ежели у него имеетца жена, а пожелает взять ее с собою, и оного ему не воспрещать». Не возражала Анна Ивановна и против того, чтобы сосланные в Сибирь расстриженные попы брали с собой жен (42-1, 17; 43-1, 41). Но все же с 1720-х гг. женам и детям стали чаще, чем раньше, предоставлять выбор: сопровождать мужа или отца или остаться дома. В 1727 г. правом не ехать в Сибирь за ссыльным мужем графом Санти воспользовалась его жена. В 1733 г. решением Синода жена сосланного в Сибирь князя Юрия Долгорукого Марфа была разведена с преступником и тогда же просила вернуть ей часть отписанных у мужа вотчин. В 1740 г. расторгла помолвку и отказалась поехать в ссылку за своим женихом, Густавом Биреном, Якобина Менгден (706, 274; 442, 302; 765, 299). В 1758 г. жене и детям Бестужева было сказано «на волю предали с ним ли ехать и жить или другое место для житья избрать» (587-15, 10940).

Но до этого все подобные случаи кажутся исключениями из общих правил. Для простолюдинов выбора ехать или не ехать попросту не было: жены обычно следовали за своим сосланным мужем по этапам, а в местах ссылки и каторги даже селились вместе с преступниками в общих казармах или в особых избах внутри острога (391, 29). При этом жена, отправлявшаяся в Сибирь с колодником, получала из Тайной канцелярии особый паспорт, чтобы ее не считали беглой (9-4, 33). Для женщины же света отказаться от мужа означало обречь себя на муки совести, упреки окружающих из высшего общества, которое, несомненно, осудило бы такую жену за этот безнравственный поступок. Христианская этика требовала, чтобы жена подчинилась мужу. И все же согласие последовать за ссыльным становилось подвигом, выразительным актом самопожертвования. Самой известной из добровольных ссыльных стала 14-летняя графиня Наталья Борисовна Долгорукая, дочь фельдмаршала Шереметева, которая весной 1730 г. отказалась вернуть обручальное кольцо своему жениху, князю И.А. Долгорукому, после того, как его и всю семью Долгоруких подвергли опале. Вопреки советам родственников она обвенчалась с суженым в сельской церкви и отправилась за мужем

сначала в дальнюю деревню, а потом и в Сибирь. Позже в «Собственноручных записках» она писала: «Войдите в рассуждение, какое это мне утешение и честная ли эта совесть, когда он был велик, так я с радостию за него шла, а когда он стал несчастлив, отказать ему? Я такому бессовестному совету согласитца не могла, а так положила свое намерение, когда сердце одному отдав, жить или умереть вместе, а другому уже нет участие в моей любви. Я не имела такой привычки, чтоб севодни любить одново, а завтра другова. В нынешний век такая мода, а я доказала свету, что я в любви верна: во всех злополучиях я была своему мужу товарищ. Я теперь скажу самую правду, что, будучи во всех бедах, никогда не раскаивалась для чего я за него пошла» (273, 25–26). Факты, известные нам из жизни семьи Долгоруких, позволяют утверждать, что сказанное Н.Б. Долгорукой в ее мемуарах — не просто красивая фраза, она действительно стойко несла свой крест жены ссыльного.

Неудивительна и та сцена, которую увидел князь Я.П. Шаховской, когда пришел исполнить императорский указ о ссылке бывшего фельдмаршала Миниха в Сибирь. Возле казармы Петропавловской крепости, где сидел Миних, он застал супругу Миниха графиню Барбару-Элеонору, урожденную баронессу фон Мольцан, которая «в дорожном платье и капоре, держа в руке чайник с прибором, в постоянном (т.е. спокойном. — Е. А.) виде скрывая смятение духа, была уже готова», после чего «немедленно таким же образом, как и прежние (ранее отправленные ссыльные. — Е. А.) в путь свой они от меня были отправлены». Так же поступили и жены Остермана, Левенвольде, Менгдена, которым, как и жене Михаила Головкина — статс-даме двора, был объявлен указ императрицы, «ежели хотят, то могут с ними (мужьями. — Е. А.) ехать на житье в назначенные им места». И тем не менее они «охотно с мужьями и поехали» (788, 42, 46; 764, 208). В 1753 г. освобожденная из крепости графиня Лесток добровольно поехала к мужу в Устюг Великий и провела в ссылке вместе с ним почти десять лет (766, 231). Когда в 1772 г. Екатерина II узнала, что Н.А. Пушкина, жена фальшивомонетчика, бывшего коллежского советника М. Пушкина, намерена, оставив новорожденного сына в Москве, ехать за мужем в Сибирь, то сказала: «В оном не вижу препятствия, но многое есть примеры, что женам таковых несчастных дозволено было с ними ехать» (554, 107). Поэтому-то так «беспечно» отнеслась охрана к жене Григория Винского, которая, преследуемая по пятам выбежавшими за ней из дома родственниками, буквально впрыгнула на ходу в кибитку мужа, — его увозили из Петербурга в вечную оренбургскую ссылку. Эта 16-летняя женщина была к тому времени беременна. Власти не ставили препятствий и сестре покойной жены Радищева, когда она захотела вместе с племянниками приехать к ссыльному в Илимск. Потом ей, как уже

сказано, разрешили выйти замуж за автора злосчастного «Путешествия». Известен единственный случай, когда за ссылкой женой добровольно последовал ее муж. Это произошло в 1743 г. За приговоренной по делу Лопухиных фрейлиной Софьей Лилиенфельд поехал в Сибирь ее муж, камергер Карл Лилиенфельд, с двумя малолетними детьми. Ранее, во время следствия по делу жены, он, как отмечалось выше, добровольно сидел с ней в Петропавловской крепости (310, 26, 33, 83, 97, 111).

По доброй воле за ссылкой вельможей могли ехать его дальние родственники и вольнонаемные слуги. Не описанных в казну дворовых и крепостных, естественно, никто не спрашивал — их судьбу определял господин. С В.В. Голицыным отправилось так много слуг, что в указе 1690 г. о переводе его с семьей в Яренск было сказано, чтобы «оставить при нем поваров, конюхов и других работников 15 человек с семьями» (623-3, 30). С десятком слуг «из подлых» отправился из Ранненбурга в сибирскую ссылку А.Д. Меншиков. По-видимому, это были только крепостные, потому что уже по выезде опального вельможи к нему непрерывной чередой пошли вольнонаемные слуги, прося уволить их от службы, что он и делал (329, 161). С Долгорукими в Березов в 1731 г. приехало 14 слуг. С бароном Менгденом в Нижнеколымске оказались жена, сын, дочь, сестра жены и слуги — муж и жена; Эрнста Миниха сопровождали в вологодскую ссылку 1742 г. жена, ребенок и 10 слуг. Сам Б.Х. Миних с женой жили в Березове в одном доме с лютеранским пастором, цирюльником, врачом, поваром и двумя служанками. С целым штатом слуг «путешествовал» в Пелым и затем в Ярославль Бирон. Ему, как и Миниху, наняли пастора. С А.И. Остерманом и его женой в Березове в 1742—1747 гг. жили трое лакеев, повар и две служанки (648, 1564).

Согласие свободного человека, будь то родственник или слуга, сопровождать ссылочного или каторжного лишало его прав на возвращение по своей воле, хотя преступником он при этом и не считался. Лишь смерть ссылочного почти наверняка означала освобождение от ссылки его родственников и слуг. Как только в июне 1714 г. Петр I получил доношение о смерти князя В.В. Голицына, он сразу же распорядился освободить из ссылки его вдову и сына князя Алексея и вернуть им часть конфискованных вотчин Голицына (550, 134-135; 633-11, 303). Так же быстро освободили из Березова Александра и Александру — сына и дочь Меншикова, а потом жену и детей казенного князя И.А. Долгорукого — Н.Б. Долгорукую с сыновьями Михаилом и Дмитрием.

Но не всегда родственникам умершего ссылочного сразу же позволяли выехать из ссылки. Вдова умершего в Березове в 1747 г. Остермана, Марфа Ивановна, получила свободу лишь в 1749 г., да и то, по-видимому, с условием пострижения ее в монастырь (471, 68; 354, 331). В основном же по возвра-

шении из ссылки они считались правоспособными подданными и, в зависимости от обстоятельств освобождения и от ситуации при дворе, могли служить, жениться и выходить замуж. Особой и совершенно несчастной была судьба приближенных Брауншвейгской фамилии. Как известно, в 1744 г. бывшего императора Ивана Антоновича и его родителей вывезли из Ранненбурга в Холмогоры. В Ранненбурге были оставлены, как уже сказано выше, только некоторые из членов свиты: фрейлина Юлия Менгден, полковник Гаймбургер и другие. Никакой вины за ними не числилось, и тем не менее их продержали под арестом 18 лет! И лишь в 1762 г. Екатерина II распорядилась освободить Юлию Менгден «от долголетнего ея страдания сидением под арестом и всемилостивейше повелевает ей возвратиться к матери ея в Лифляндию» (410, 316).

Рассмотрим судьбу приговоренных к *каторге*. Обобщенно говоря, каторга была формой ссылки. А термин «ссылка» — родовое понятие физического насильственного удаления преступника. Как уже сказано выше, заставляя политических и иных преступников упражняться на казенных работах стал, с присущим ему размахом, Петр I. Разумеется, и раньше преступников приговаривали к тяжелым работам, но это оставалось лишь формой монастырского смирения: «Велели их за их вину держати в Кирилове монастыре в смирении в черной работе и [чтоб] в иные ни в какие в покойные службы их не посылали» (224, 2–3). В XVII в. «посоха» — крестьяне строили укрепления — «засечные черты». Горожане же возводили крепости, но масштабы этих работ не шли ни в какое сравнение с тем, что предпринял Петр I. Начало этому грандиозному «эксперименту» по использованию подневольного труда на огромных стройках было положено Петром после Азовского похода 1696 г., когда стали поспешно укреплять взятый у турок Азов, а неподалеку заложили крепость, город и порт Таганрог. Сюда, на окраину государства, привести «посоху» было весьма сложно. Поэтому Азов быстро превратился в место ссылки стрельцов и других политических и уголовных преступников, которые и работали на стройках. При строительстве Петербурга, Кроншлота, загородных дворцов азовский опыт пригодился. В сентябре 1703 г. Петр писал князю Ромодановскому в Москву: «Ныне зело нужда есть, дабы несколько тысяч воров (а именно, если возможно, 2 тысячи) приготовить к будущему лету, которых по всем приказам, ратушам и городам собрать по первому пути» (557а-2, 558). В петровское время заметно расширилось использование каторги как средства наказания. Ее назначали за самые разные преступления, а также заменяли ею смертную казнь (587-3, 1404; 587-4, 1924, 1951; 587-5, 3154).

Сосланные на каторгу различались по степени поражения их в правах. Те, кого отправляли на определенный срок или «до указа» (да еще без телесного наказания), прав своих не теряли и по окончании каторги или ссылки могли вернуться в общество. Совсем иначе обстояло дело с теми, кого отправляли «в вечную работу», «навечно», «по кончину жизни», «до скончания лет». Их вычеркивали из числа правоспособных подданных. Они теряли свою фамилию, имя, на лицах им ставили «знаки» и их считали заживо похороненными. В указе Петра I 1720 г. сказано, что с каторжниками, сосланными на «урочные годы», родственникам (женам и детям) можно было «ходить невозбранно». Женам же тех, «которые сосланы в вечную каторжную работу», разрешалось, по их усмотрению, идти заново замуж или в монастырь, или жить в своих деревнях, так как супруг такой женщины был как бы заживо похоронен («понеже мужья отлучены вечно, подобно якобы умре» — 587-6, 3628).

Перед отправлением на каторгу и поселение большинство преступников наказывали кнутом или батогами, а также их увечили клещами и ножом и наверняка клеймили. По сводным данным 1725—1761 гг. (ср. *Табл. 5 и 6 Приложения*) видно, что число ссыльных на каторгу и поселение составляет 1616 человек, получивших же различной степени телесные наказания и обезображивание 1550, или 96 % от общего числа приговоренных. Следовательно, от телесного наказания были освобождены всего лишь 166 счастливых. 121 человека перед отправкой не наказывали, так как вместо наказания им зачли пытки во время следствия. Все остальные 1429 подверглись телесным наказаниям, причем плети и батоги получили всего 123 человека, или 7,9 % от общего числа сосланных. 912 человек были биты только кнутом, 328 приговоренных не только покалечили кнутом, но и вырвали им ноздри. Кнута в сочетании с урезанием языка удостоились 28 каторжан, и, наконец, 19 приговоренным к каторге вырвали ноздри, урезали язык и били кнутом. Столько же человек были покалечены другими способами. Так, о семеновском солдате Александре Дубенском в 1743 г. в реестре ссыльных сказано: «Кнутом, а по отрублении левой руки по кисть, в Камчатку в работу» (8-2, 172). Таким образом, из 1616 сосланных кнут и различные калечащие наказания перед ссылкой получили 1306 человек, или 80,1 %! Из них покалеченных клещами и ножом было 394 человека, т.е. почти каждый третий каторжник имел рваные ноздри или был лишен языка. При этом наверняка на лице всех 1550 человек поставили клейма.

Отправка каторжных существенно отличалась от высылки опальных в дальние деревни, в тюрьмы, монастыри или в сибирское поселение. По-ви-

димому, уже в первой половине XVIII в. из приговоренных к каторге стали формировать большие группы в особых пересыльных тюрьмах. Естественно, политических преступников смешивали с уголовными — так в России было почти всегда. Возможно, образцом для организации конвоев служила доставка рекрутов и работных в Петербург из разных губерний. Собранные из разных мест партии концентрировались на перевалочных пунктах, а потом, скованные и помеченные на руках особой татуировкой в виде креста, они двигались под конвоем к месту назначения. По такому же принципу мелкие группы каторжных и ссыльных в Сибирь собирали в нескольких центрах. В Вологде формировались партии для Севера, в Петербурге — для Северо-Запада (отсюда «обслуживались» каторги в Рогервике, Кронштадте, «канальное строение» на Ладого, Вышнем Волочке). Но самым крупным местом сбора каторжных стала Москва. Здесь, в главном тюремном остроге и в Бутырской тюрьме, собирали партии для отправки в Оренбуржье, на Урал и в Сибирь. В первой четверти XVIII в. сибирская каторга была некоторое время второстепенной, уступая строящемуся Петербургу, но к концу 1720-х гг. поток ссыльных в Сибирь возрос и с тех пор никогда не ослабевал. Отправки из Москвы каторжные ждали месяцами. Затем, когда скапливалось не менее 200 человек, составляли и уточняли списки колодников, назначали конвой, выделяли деньги на содержание каторжных в пути. В партию включали всех без разбора — политических и уголовных преступников, рецидивистов и сосланных помещиками по закону 1762 г. непослушных крестьян, убийц и бродяг. Из Москвы партии уходили два раза в год, весной и осенью. В 1770-е гг. число колодников, которых приводили в Сибирь, достигало 10 тысяч человек ежегодно (392, 39, 46; 578, 3—11).

Началом долгой, в несколько месяцев, дороги становилась знаменитая Владимирка (ныне Шоссе Энтузиастов). Эта расширенная в начале XIX в., усаженная по краям березами дорога вошла в сознание многих поколений русских людей как дорога в земной ад. С этой дорогой в Сибирь связано немало горьких и насмешливых пословиц: «Услан березки считать», «Пошел по широкой, где березы посажены», «Туда широка дорога, да оттоле узка», «Пошел соболей ловить» (236-1, 170—171). Каторжные шли в ножных кандалах, да их еще сковывали попарно, а пары соединялись с другими единым канатом, металлическим прутом или цепью. Процедура эта называлась «з а м - к н у т ь (заковать, запереть) н а п р у т» или «о д е т ь н а к а н а т». В.П. Колесников сообщает, что вес прута с наручниками, к которому в 1827 г. приковали его с товарищами, был «фунтов на 30», т.е. 12 кг (393, 28). Часть пути партии проделывали пешком (примерно по 30 верст в день), часть пути колодников везли на речных судах и на телегах. В 1769 г. партию пленных

поляков (170 человек) сразу из Москвы отправили на подводах, по три человека на подводе. Всю партию охраняло 10 конвойных солдат и один офицер (588, 285). Ночевали каторжные не только в путевых острогах (по терминологии XIX в. на «этапах» и «полуэтапах» — 389, 24–40; 388, 49), но и в обывательских домах, по которым колодников вместе с караульными солдатами расселял начальник конвоя (391, 28). С партией каторжан шли и просто ссыльные, сосланные «на житье в дальные сибирские городы», которые хотя и были скованы, но двигались без прута. Партия преступников шла под охраной солдат, окружавших арестантов кольцом. Следом тащился обоз с вещами каторжан и ссыльных, на подводах же, но с охраной везли ослабевших и больных преступников. Тут же шли и ехали их родственники, которым разрешалось на привалах подходить к своим. По материалам XVIII в. неизвестно, чтобы каторжане получали особую одежду с «латкой» — четырехугольным суконным значком, вшитым в шинель на спине, а также чтобы их брили (полголовы от лба до затылка или от уха до уха). И хотя все это стало нормой лишь в XIX в., при Петре I этому было положено начало: тогда красной латкой метили одежду раскольников, делали наколки (крест) на руки рекрутов.

По прибытии в Тобольск — столицу Сибири, а также в Тюмень каторжные получали длительный отдых — «растах». Здесь конвой сдавал их местному конвою, который принимал людей и оковы, которые тоже были под учетом («все налицо и железа, которые на них посланы, приняты» — 182, 21). Юридически каторжники и сосланные на поселение переходили теперь под начало сибирского губернатора. Его канцелярия (а потом Общее по колодничьей части присутствие) занималась сортировкой ссыльных и назначала для каждого колодника конкретное место каторги и род занятий. Сибирский губернатор, как и другие воеводы (Иркутск, Тюмень были также фильтрационными центрами), мог сам решать судьбу многих из прибывших каторжан и ссыльных: одних мог оставить в Тобольске при каком-нибудь деле, других — записать в солдаты, третьих (владеющих профессией) — отправить на местные заводы, всегда нуждавшиеся в рабочих руках. Поляк-конфедерат вспоминает, что некоторых из его товарищей записывали в солдаты, других отдавали крестьянам в работники (588, 289, 291). Известно, что Демидовы и другие заводчики пользовались, подчас незаконно, трудом присланных в Сибирь каторжан.

Всего, по неполным сводным данным Тайной канцелярии, на каторгу и в ссылку на работу и отчасти в службу в 1725–1761 гг. было выслано 1616 человек. Сводные ведомости в определении места ссылки довольно «глухи». Выше уже сказано, что часто конкретный адрес каторги или ссылки на-



Вид Нерчинского завода в конце XVIII столетия

значался не при оглашении приговора в столице, а определялся уже в Тобольске или в другом городе. Приговор «в дальние города» мог означать и каторгу, но чаще это была ссылка. Таких вместе с отправленными на службу «в дальние гарнизоны», «в сибирские служилые люди» и в монастыри было 184 человека, или 11,4 %. Остальные 1432 человека, наверняка — каторжные. Но точно определить место их ссылки трудно, т.к. они сосланы с «глухим» для нас приговором: «На каторгу», или «На каторгу в вечную работу», или «В сибирские заводы» (см. *Табл. 6 Приложения*). Таких каторжных почти треть от общего числа сосланных — 485 человек. Поэтому данные о числе сосланных по конкретным адресам заведомо неточны. В Сибири, как и в Европейской части страны, было несколько наиболее известных, «популярных» мест ссылки и каторги. Эта «популярность» объяснима тем, что местная администрация постоянно требовала каторжников, без труда которых тогдашние сибирские стройки были бы попросту невозможны. Открытие серебряных копий в Н е р ч и н с к е в 1703 г. при жестокой нехватке серебра в России привело к высылке именно туда многочисленных каторжных групп, в которые и попадали политические (606, 6—7). Из них за 1725—1761 гг., по нашим данным, было послано туда всего 37 человек. Однако пик нерчинской каторги в XVIII в. приходится на начало столетия и потом на его конец. В Нерчинске каторжников заставляли добывать в рудниках и плавить на заводах серебро. Благодаря бесплатному труду подневольных рудокопов и рабочих за 59 лет (1704—1763 гг.), российская казна пополнилась 2006 пудами 35 фунтами и 38 золотниками серебра (502). Название этой каторги было весь-

ма популярно в конце XVIII — начале XIX в., когда Нерчинск наряду с Иркутском стал главной каторгой страны, а его название сделалось нарицательным. А.С. Пушкин в своем стихотворении «Сказка о царе Никите и его сорока дочерях» писал, что народ, рассуждая о физиологических особенностях знаменитых царевен, —

...Ахал, охал, дивовался,
А иной хоть и смеялся,
Да тихонько, чтобы в путь
До Нерчинска не махнуть.

Камчатские экспедиции Беринга в 1720—1740-х гг. превратили Охотск в важный центр государственного освоения Дальнего Востока, и это определило приток каторжных в этом направлении (110; 649, 13—33). В 1725—1730 гг. сюда не послали никого, зато в 1731—1740 гг. там уже было 114 политических преступников. Позже, с окончанием камчатских экспедиций, в подготовке которых и использовали каторжан, каторга эта «заглохла». В 1740—1750-х гг. увеличился приток каторжан и ссыльных в Оренбург. Город, как известно, начинал строиться дважды: первая закладка оказалась топографически неудачной, поэтому город перенесли на другое место. На стройке постоянно не хватало рабочих, как и военных для местного гарнизона. Там же их использовали для работы в каких-то шахтах (775, 697). Сюда в 1731—1761 гг. прибыло 35 % от общего числа сосланных (565 человек). В 1740—1750-х гг. знаменита была ссылка на каторгу в Рогервик (Балтийской порт, совр. Палдиски, Эстония): из 139 каторжных, сосланных туда, большая часть оказалась там в царствование Елизаветы Петровны. Туда же во множестве ссылали приговоренных к смерти преступников, которых казнить запретила эта гуманная императрица. В другие места каторги и ссылки (Аргунь, Тара, Камчатка, Кола, Пустозерск, Кизляр, Гурьев) посылали ничтожное количество ссыльных и каторжан, хотя можно допустить, что сведения о них скрыты в 30 % «глухих» приговоров. Нужно иметь в виду, что кроме политических преступников в эти места высылали уголовников, численность которых никто не высчитывал, но думаю, что это на порядок выше, чем число людей, попавших на каторгу за «непристойные слова». Стоит только вспомнить, что на русском флоте петровского времени было не менее 150 гребных судов. Если примем за среднее, что на каждой галере было по 100 человек, то по самым грубым подсчетам только на галерах использовали 15 тысяч каторжан.

Каторжане работали и в рудниках, шахтах, на заводах, на строительстве. Они копали и таскали землю, валили и перевозили лес, били сваи. Как долго каторжники работали при строительстве Петербурга, установить трудно, хотя

следует признать, что в массовых масштабах их услугами пользовались только в первые годы строительства новой столицы. Позже их труд был признан неэффективным, как и труд присылаемых под конвоем крестьян. С 1718 г. на строительных работах в Петербурге и его окрестностях появились подрядчики, которые нанимали вольнонаемных. И тем не менее весь XVIII век каторжные работали на многочисленных промышленных предприятиях столицы. Государство передавало преступников предпринимателям для работ на мануфактурах. В то время труд и жизнь работных людей и каторжных были схожими. Тогдашние заводы и мануфактуры походили на тюрьмы, что легко позволяло использовать на работах там преступников (668, 310).

При Петре каторжников использовали не только на городских и заводских работах, но, как уже сказано, в виде движущей силы галерного флота. Гребля считалась тяжелейшим делом. На каждую скамью — банку — сажали по 5—6 гребцов, а всего на галере их было 100—130 человек. Гребцов к банке приковывали цепями. Сидевшие на банке управляли одним веслом. Сложнее всего при гребле было координировать движения всех весел так, чтобы не нарушалась синхронность движений, при сбое ритма весло било в спину сидящим на передней банке, и вскоре совершившие ошибку сами получали удар в спину от сидящих позади них. Обучение гребцов проводили на суше на специальных (как бы сказали сейчас) тренажерах и доводили слаженные движения каторжан до автоматизма. Гребля могла продолжаться без перерыва по многу часов. Чтобы не допустить обмороков от голода и усталости, гребцам клали в рот кусок хлеба, смоченный в вине. Обычно же на шее каторжников висел кусок пробки — кляп. Его засовывали в рот по особой команде «Кляп в рот», которую давали приставы-охранники. Они постоянно расхаживали по проходу на палубе. Делалось это для того, чтобы не допустить лишних разговоров. В руках приставы были бичи, который он сразу же обрушивал на зазевавшегося или усталого каторжника. Его могли забить до смерти, а потом, расковав, выбросить за борт. С весны до осени гребцы спали под открытым небом, прикованные к банкам и в шторм или в морском бою гибли вместе с галерой (315, Приложение, 257—260). Зимой каторжные жили в остроге и их выводили на работы: они били сваи, таскали землю и камни (436, 84).

Женщин-каторжанок на тяжелые работы в карьере или на стройке обычно не посылали не по гуманным соображениям, а потому, что для них там не было работы по силам (589-9, 9911). Преступниц отправляли на мануфактуру — прядильный двор навечно или на несколько лет. Голштинский герцог Карл Фридрих в 1723 г. осматривал прядильный двор голландского купца Тамеса в Петербурге. Как пишет сопровождавший герцога Г. Ф. Берхгольд,

хозяин показал высокому гостю первую комнату, где за прялками сидели около тридцати исключительно молоденьких и хорошеньких, нарядно одетых женщин и девушек, приговоренных к десяти и более годам заключения, однако между ними виднелись и особы с вырванными ноздрями. На замужних женщинах гости увидели шапки из золотой и серебряной парчи с галуном! Берхгольц отмечает замечательную чистоту комнаты. Вместе с герцогом он любовался плясками, которые устроили девицы, причем на балалайке играла предшественница кавалерист-девицы Надежды Дуровой — женщина, которая тайно семь лет служила в драгунах, но потом была разоблачена и сослана на каторгу. Вероятно, у голштинских гостей осталось замечательное впечатление об экскурсии на фабрику Тамеса, хотя вся экскурсия и самодетельность была типичной показухой для иностранцев (150-2, 65–66).

На самом деле прядильный двор был самой настоящей тяжелой каторгой, на которой женщины работали непрерывно, как на галерах, спали прямо на полу, у своих прялок. Их плохо кормили и постоянно били надсмотрщики. Берхгольц, проходя из «концертной палаты» через одну из комнат прядильного двора, чуть не задохнулся от смрада, который оттуда шел («воняло почти нестерпимо»). Так были устроены все тогдашние фабрики. Приговор о ссылке на прядильный двор для прошедших пытки и непригодных к тяжелому труду колодниц ни у частных владельцев, ни у Мануфактур-коллегии восторга не вызывал. Для работы им инвалиды не требовались. В 1723—1724 гг. по этому поводу даже разгорелся ведомственный спор. Когда Тайная канцелярия решила выслать на прядильный двор пытаных на следствии колодниц, то чиновники Мануфактур-коллегии не без раздражения писали в сыскное ведомство: «Бабы эти стары, а у нас мануфактурныя все фабрики отданы на откуп кумпанейщикам, посадским людям, и те кумпанейщики оных баб за старостию не принимают для того, что работать эти бабы не могут, а кормить их кумпанейщикам от себя без работы не можно». Адмиралтейская коллегия, имевшая свои парусиновые фабрики, отвечала на запрос Ушакову в том же духе: «На те фабрики не токмо тех старых и притом пытаных баб, но и моложе их принимать не велено» (664, 121—122; 589, 214).

Начало каторги на Рогервике было положено с конца 1710-х гг., когда Петр решил создать незамерзающую военно-морскую базу для Балтийского флота. Для этого требовалось соединить молот материк с лежащим в версте от него островом Рогер. Ни битье свай, ни подтопление ряжей — срубов, заполненных камнем, здесь не помогало из-за глубин и частых штормов. Поэтому работа каторжных, как писал А. Т. Болотов, служивший там начальником конвоя, состояла «в ломании в тутошнем каменистом берегу камней, в ношении их на море и кидании в воду, дабы сделать от берега до острова

каменную широкую плотину, которые они называли “мулею”. Так как глубины у этой части побережья достигали 30 сажень (более 60 м), то каторга эта стала сизифовым трудом: зимние штормы уничтожали все, что делали рабочие за лето, и работа по сооружению мола начиналась снова. Болотов, находившийся там в 1755 г., пишет, что за 40 лет непрерывной работы длина мола достигла 200 сажень (165, 341). Благодаря этому «благоприятному» обстоятельству Рогервик стал каторгой на весь XVIII век (724, 7–15). В конце концов «муля» в XIX в. была построена.

Для жилья каторжникам были устроены «каторжные дворы» или «остроги». Они были и в Сибири, и в других местах. Сохранился рапорт А.Д. Меншикова Петру I из Петербурга за июль 1706 г.: «Острок каторжным колодникам заложили». П.Я. Канн считает, что речь идет об остроге на месте современной площади Труда (370, 14–17). Скорее всего, это так и было: неподалеку от этого места располагалось Адмиралтейство, рядом была Новая Голландия, где без труда каторжников обойтись не могли. По данным, приводимым Л.Н. Семеновой, в Адмиралтействе работало от 500 до 800 каторжников (668, 70). Позже острог перенесли на реку Пряжку, а в 1742 г. — на Васильевский остров, возможно, к Галерной гавани. По-видимому, именно в этом остроге во время наводнения 1777 г. погибло около 300 арестантов. Кроме того, в начальный период строительства города каторжников селили и на Городской (Петроградской) стороне. Думаю, что каторжники жили и где-то возле Пушечного Литейного двора, здесь их также использовали на тяжелых работах (668, 78; 437, 84). Жизнь каторжных подробно описывает Болотов: «Собственное жилище их... состоит в превеликом и толстом остроге, посредине которого построена превеликая и огромная связь (т.е. сруб, казарма, барак — Е. А.), разделенная внутри на разные казармы или светлицы. Сии набиты были полны сими злодеями, которых в мою бытность было около тысячи; некоторые жили внизу на нарах нижних или верхних, но большая часть спала на привешенных к потолку койках». Как и везде, политических и уголовных преступников держали вместе. Не делали различий по социальному положению и происхождению каторжан. Болотов писал: «Честное или злодейское сие собрание состоит из людей всякого рода, звания и чина. Были тут знатные, были дворяне, были купцы, мастеровые, духовные и всякого рода подлость, почему нет такого художества и ремесла, котораго бы тут наилучших мастеров не было и котораго бы не отправлялось... Впрочем, кроме русских, были тут люди и других народов, были французы, немцы, татары, черемисы и тому подобные».

Командиры назначенных к охране острога гарнизонных и армейских полков стремились скрасить себе тяжелую жизнь на каторге тем, что наби-

вали карманы за счет заключенных. Взятки позволяли некоторым узникам избежать общих работ на каменоломнях и вообще годами не выходить из казармы с кайлом или тачкой. Казармы каторжан напоминали средневековый ремесленный квартал: «Большая часть из них (каторжных. — Е. А.) рукоделаниями своими питаются и наживают великия деньги, а не менее того наживались и богателись определенные к ним командиры... Те, которые имели более достатка, пользовались и тут некоторыми множайшими пред другими выгодами: они имели на нарах собственные свои отгородки и изрядныя каморочки и по благосклонности командиров не хаживали никогда на работу». Власть командиров над заключенными была велика, а наказания и побои являлись обычной картиной. Молодой офицер Болотов, заметив, что сидевший на верхних нарах каторжный сбрасывал на него вшей, приказал «дать ему за то слишком более ста ударов, ибо бить их состояло в моей власти» (163, 340).

Охрана такого большого числа преступников была делом сложным и опасным, несмотря на предосторожности, всех каторжных держали в кандалах, а некоторые, как пишет Болотов, «имели двойные и тройные желез, для безопасности чтоб не могли уйти с работы». В списке заключенных Балтийского порта за 1797 г. о сообщнике Пугачева Долгополове сказано, что он «особо в оковах руки и ноги накрест содержится» (522, 196). Против побегов использовали, как и в тюрьме, цепи, колодки, различные стреноживающие узника снаряды. Важно заметить, что при отправке человека в ссылку на каторгу (особенно в вечную) жены и дети освобождались от обязанности следовать за наказанным мужем и отцом не только потому, что древний закон родовой ответственности перестал действовать, но главным образом потому, что появилась новая «технология» ссылки. При каторжной форме наказания ссыльные не жили, как раньше, в ссылке с семьями. Их труд требовал для них тюремного содержания. Тюрьмой и являлся каторжный двор на территории завода. Если работы были в стороне от каторжного двора, то все переходы скованных каторжных усиленно охранялись. Как пишет Болотов, «каторжных водили на работу окруженных со всех сторон непрерывным рядом солдат с заряженными ружьями. А чтоб они во время работы не ушли, то из того же камня сделана при начале мули маленькая, но не отделанная еще крепостца, в которую впустив, расставляются кругом по валу очень часто часовые, а в нужных местах пикеты и команды. И сии-то бедные люди мучаются еще более, нежели каторжные. Те, по крайней мере, работая во время стужи, тем греются, а сии должны стоять на ветре, дожде, снеге и морозе, без всякой защиты и одним своим плащом прикрыты быть, а сверх того ежеминутно опасаться, чтоб не ушел кто из злодеев» (163, 342). Наказания солдат за ротозейство или соучастие побегам каторжни-

ков отличались суровостью. Прощтрафившихся охранников ждали допросы, пытки, шпицрутены или кнут, а также ссылка. Два раза в день — утром и вечером — устраивалась переключка каторжан по списку. Несмотря на всевозможные предосторожности и строгую охрану, как писал Болотов, «выдумки, хитрости и пронырства их так велики, что на все строгости находят они средства уходить как из острога, так и во время работы и чрез то приводить караульных в несчастье. Почему стояние тут на карауле соединено с чрезвычайной опасностью и редкий месяц проходит без проказы» (165, 340). О том же писал М.М. Щербатов: «Военные люди, почитающие себе в наказание быть определенными к сей страже, следственно за вину тех безвинно претерпевающие. Не взирая на строгую дисциплину, на частые дозоры, на поставление стражей повсюду и на цепь, когда несчастные ходили на работу, случалось, что некоторые уходили и бывали заговоры и злоумышления от собранных в единое место злодеев» (805, 65).

«Отписать на государя»

Конфискация владений и имущества опального вельможи и вообще всякого политического преступника была мерой обязательной. В указе об опале и ссылке князя В.В. Голицына и его сына Алексея в 1689 г. сказано: «А поместья их и вотчины, и дворы, и животы отписать и роздать в роздачи» (589-3, 1348; 623-2, 454, 462). В реестре колодников 1715 г. о подрядчике Якове Порошине сказано: «Бит кнутом и сослан на галеру в вечную работу, а движимые и недвижимые его имения розданы челобитчиком» (633-11, 296). Думаю, что конфискации эти были обусловлены как спецификой собственности в самодержавном государстве (все принадлежит государю, дается им и отнимается им же), так и особенностями сысского процесса, принятым в нем обычаем «развычивать животы вора», т.е. производить вычет из части имущества преступника для удовлетворения истцов (422, 167). Машину конфискации запускал указ «с именными тех виновных людей роспис[ь]ми, что по отписке за оными тех поместей и вотчин явитца». Эти росписи о вотчинах и поместьях арестованного преступника по указу из Тайной канцелярии присылал в сыск Поместный приказ (позже — Вотчинная коллегия) (9-1, 35—36).

Конфискация порой производилась быстрее, чем проходил суд над преступником, если к последнему вообще прибегали. А.Д. Меншикова поселили в Ранненбурге в сентябре 1727 г., а уже 19 декабря последовал императорский указ: «Понеже князя Меншикова, сверх прежняго показали и являются еще важныя вины, того ради: все его, князя Меншикова, вотчины и поместья во всех великороссийских городах, отписать на Его и.в. и приписать к дворцовым волостям... А ему, Меншикову, на пропитание, оставить Ораниенбург и к тому в прибавку, чтоб всех было до тысячи дворов». Но и этого светлейший не получил, вскоре его повезли в Сибирь (633-69, 898). 29 ноября 1745 г. по делу Лестока вынесли приговор, который гласил: «Движимое и недвижимое помянутого Лестока имение без остатку отписать на Ея и.в.». Между тем имущество бывшего лейб-медика конфисковали уже 24 ноября, а драгоценности принесли самой Елизавете Петровне, и она отобрала луч-

шие из них для себя. Затем государыне (с той же целью) поднесли только что составленные подробные описи имущества Лестока и его жены. Вскоре оставшиеся вещи богатого вельможи стали раздавать следователям, ведшим дело Лестока (760, 57).

Специально назначенным для описи имущества и земель высокопоставленного преступника офицерам и подьячим вручали инструкцию, а тетради составленных ими описей и реестров сшивали в книги, которые опечатывали государственными печатями (383, 1—133; 464; 623-4, 1—185). «Отписание на государя» земель, «животов», имущества опальных вельмож было делом привычным для подьячих, и они уже набили в нем руку. Описание производили как в городских домах, так и в сельских вотчинах и поместьях. Имущество в доме начинали описывать от главного входа по палатам, покоям — комнатам, потом переходили к описи надворных построек. В каждой комнате запись имущества открывалась перечнем икон, а затем остального имущества и оборудования: «Дом его за рекою Стрижем, где он сам жил и дети его в нем, строения палаты каменные: 1. Палата, в ней икон больших две, писанных на дереве, в том числе одна в раме, стол длинной, на нем килим пестрой, лавки убиты сукном зеленым, на стене прибит ковер один, в той же палате 5 стул, убиты сукном красным, одно стуло, убито кожею пестрою, печь, окончины стеклянные в олове». И так, постепенно продвигаясь по дому, подьячие заносили на бумагу все, что представляло собой какую-либо ценность, в том числе печи, двери, оконницы (т.е. оловянные рамы со стеклами или слюдой). Особенно тщательно приказные переписывали драгоценности, украшения, ордена. Здесь тоже была своя особенность: перепись не предполагала разбора, классификации и оценки вещей. Как и при описании палат, все внимание было уделено простому перечню содержимого заранее пронумерованных сундуков, баулов, ящиков, шкатулок, в которых эти вещи лежали. При этом отмечали некоторые внешние особенности вещей: материал, цвет, конфигурация, число составных частей. Украшения мужские и женские описывались отдельно, как и крупные цепи с указанием количества звеньев, а также число и длина жемчужных нитей. «Шкатулка зелена, обита железом белым, в ней 7 ящиков, в оных ящиках положено: 1. Один перстень золотой, на нем камень аматистовой, по краям того перстня искры яхонты красные, на камне вырезано его, Полуботков, герб; 2. Перстень золотой, в нем камень лазоревой, по краям 6 искр алмазных» (383, 3—4). «Подголовок дубовый, обит железом белым, под № 1, а в нем: 1. Звезда алмазная ордена Святого Андрея, на ней крест яхонтовый, лазоревый, с коронкою алмазною, около креста слова и сиянья осыпаны искры алмазными в сияниях, четырех искр нет...» и т.д. «У княгини Меншиковой описано и запеча-

тано, а именно: ящик небольшой ореховой под № 1, а в нем: 1. Брустик алмазной в серебре, в том числе больших алмазов 4, подвески алмазные ж 6 без подвесных. 2. Перышко серебряное с бриллиантами и с червчетыми камушки» — 328, 10–37). Здесь я цитирую опись драгоценностей А.Д. Меншикова, которую изготовили подьячие в 1728 г. в Ранненбурге перед самой ссылкой семьи опального вельможи в Сибирь.

От окованных жестью шкатулок-подголовников переписчики переходили к сундукам и баулам, где обычно хранили золотую и серебряную посуду, одежду, ценные постельные вещи, а также материи и меха. И в этом случае переписчики отмечали особенности каждой вещи (тип, цвет, отделку и число пуговиц): «Кафтан суконной, гвоздишной, подложен мех рысей лапчатой, вкруг шнуток сребреной; ...Кафтан парчи турецкой желтой, травы золотые, подбит весь красным кумачом, на нем же 8 пуговиц маленьких сребреных; ...Одеяло атласное, травчатое, крутом с каймою голубою, все подбито киндяком зеленым». После описания сундука его запирали и опечатывали восковой или сургучной государственной печатью (383, 10–11; 9–10, 1; 34–2, 230). Подробно переписывали конскую сбрую, седла и друтой конский убор, вносили в реестры ковры, скатерти, постельное белье, менее ценную оловянную, медную посуду, погребцы, книги, оружие.

В описях погребов, амбаров, ледников и прочих надворных строений перечисляли хранившиеся там продукты: вина, крупы, зерно (в бочках, кадках, чанах, лукошках), шерсть в мотках. В конюшнях и скотных дворах описывали весь скот, особенно тщательно (с указанием пола, возраста, масти) лошадей, в каретных сараях учитывали экипажи, на гумне — немолоченый хлеб, на пасаках — ульи. В перечень входили также мельницы, сады и огороды и т.д. Перепись помещичьих крестьян похожа на обычную ревизию душ: шли от двора к двору и вносили в реестр всех наличных мужчин, женщин, детей с указанием возраста каждого (464).

«Отписание на государя» («отписание в казну») означало, что эти конфискованные владения причисляются к дворцовому ведомству, из канторы которого в отписные поместья присылали новую администрацию. Приказчики следили за хозяйством, платили подати, оброки, смотрели, чтоб крестьяне исправно отбывали назначенную им старым владельцем барщину и вносили оброки. Конфискации владений (по разным причинам) бывали столь значительными, что для учета, описи и хранения имущества, содержания конфискованных владений в 1727 г. создали специальное учреждение — Канцелярию конфискаций. Главная задача ее чиновников заключалась в том, чтобы не допустить разворовывания имущества опальных. Кроме того, им предстояло собрать деньги и вещи, данные прежними владельцами раз-

ным людям в долг или на время, а также расплатиться с кредиторами опальных. Обычно этому посвящали особый указ. Каждый, кто имел деловые отношения с опальным, был обязан заявить об этом в Канцелярии (217, 93–94).

Власти зорко следили за тем, чтобы ничего из имущества преступников не пропало и чтобы должники опальных, пользуясь благоприятным моментом, случайно не «забыли» про свой долг. По указу 18 марта 1718 г. все, кто когда-либо что-либо взял из «пожитков» и денег у казенных и сосланных по Суздальскому и Кикинскому розыскам, должны были под страхом смерти «без всякой пощады» вернуть все на Генеральный двор (9-1, 14). Берхгольц описывает, что в 1723 г. в связи с делом П. П. Шафирова по улицам Москвы ходили глашатаи и под барабанный бой объявляли всем, кто имел дела с Шафировым, кто держал у себя его вещи, немедленно, под страхом смерти, явиться властям и объявить об этом (150-3, 18). После ссылки князей Долгоруких в 1730 г. императрица Анна Ивановна заподозрила, что князь Иван упрятал свои вещи в дом к жене, урожденной Шереметевой. Императрица распорядилась, чтобы С. А. Салтыков лично и тайно допросил служителей Шереметевых по этому поводу. Так делалось и позже. Пришедшая к власти Елизавета Петровна была очень обеспокоена пропажей каких-то драгоценных вещей, которые она видела при дворе своей предшественницы Анны Леопольдовны, и поэтому довольно грубо потребовала от бывшей правительницы сказать, где она спрятала эти недостающие драгоценности (410, 120).

Обычно власти старались расплатиться с долгами преступника из наличных конфискованных денег или из денег за его проданные вещи. В 30-м пункте инструкции Канцелярии конфискации сказано: «Когда чье имяне за озлобление Величества или за преступление противу Величества на Его и.в. отписано или продано будет», то долги преступника оплатить полностью, без остатка, «ибо Его и.в. обретает за благо, что конфискация и штрафы чинятся над преступниками и их именем, а не над безвинными кредиторами, которые б таким образом больше, нежели самые преступники штрафованы были». В спорных случаях Канцелярия конфискации назначала особое расследование: поднимали и проверяли все нужные документы, опрашивали свидетелей. Такое следствие тянулось месяцами, опечатанные вещи в домах портились, имущество куда-то исчезало. Дом и хозяйство, оставшиеся без хозяина и, как правило, хозяйки, которую вместе с детьми изгоняли из отписанного дома, приходили в запустение. В 1737 г. А. В. Макаров писал, что третий год сидит под домашним арестом вместе с семьей, «а пожитки мои, и жены, и племянников моих, оставшихся в сиротстве после брата моего, все запечатаны и письма забраны, от чего, чрез продолжительное время, запечатанное платье и другие тленные вещи в нижней палате от сырости гниют,

деревенишки наши посторонние не только нападками своими разоряют, но, видя нас в такой бедности, отнимают напрасно» (775, 698). В своей челобитной полгода спустя после ссылки мужа в Сибирь жена Федора Соймонова писала: «Все приданое и движимое, и недвижимое имение мужа моего описано и запечатано без остатку и поныне под караулом, а я, нижайшая, остаюсь з детьми моими без всякого пропитания и претерпеваю немалую нужду» (217, 94). Часто так и было на самом деле. Крестьяне отписных имений становились «непослушны» и неохотно платили оброки. Словом, все ждали нового хозяина.

Из кандидатов в новые хозяева отписного обычно можно было выстраивать очередь. Конфискованные дома, земельные владения, имущество становились предметом вожелдений многих людей. После опалы богатого вельможи государь — еще до приговора над преступником — получал многочисленные челобитные разных людей с просьбой выдать что-либо из отписного имущества им «на бедность», «ради нищеты на пропитание и на окупление долгов». Такие просьбы считались обычным делом. Вот типичная челобитная окольничего князя Никиты Жирово-Засекина, поданная царю в конце 1718 г. Он писал, что живет в Петербурге, «деревенишки за мной малые в пяти губерниях и в семи городах и от сего места удалены и за дальностью припасишков привозят малое число ко мне в год, пронятца невозможно и от такова недостатку прихожу в крайнее убожество. А ныне я, раб ваш, п р и и с к а л из отписных деревень Федора Дубровского в Белозерском уезде полсела Никольского с деревнями, во Псковском уезде деревня Сармаш, Канбара Акинфиева в Володимерском уезде село Суходол з деревнями, всего сто один двор. Всемилостейший государь, прошу Вашего милосердия, призри божески», что и было сделано указом 1 января 1719 г. Так бедняк окольничий получил еще несколько «деревенишек» с «людишками» (9-1, 54–55). Как Жирово-Засекин «приискал» отписные деревни, можно только догадываться, думаю, что в этом ему помогли за мзду подьячие.

В первом ряду соискателей нетерпеливо переминался доносчик — награду ему обещали царскими указами. Но не тут-то было! Дьячок Василий Федоров, донесший в 1724 г. на волоколамского помещика отставного капрала Василия Кобылина, очень рассчитывал на большую награду: донос он «довел», и Кобылина казнили за «непристойные слова» о царе и царице. Вначале Федоров получил из отписного в казну имущества преступника корову, сено, несколько пар гусей и кур, но он мечтал о большем — хотел стать помещиком, получить «во владенье того злодея отписную деревню».

Только в 1727 г. Федорову при содействии А.Д. Меншикова удалось добыть указ Сената, по которому за ним закрепляли право на владение этой

деревней, однако одобрение этого указа в Верховном тайном совете застопорилось. Через год бумаги вернулись в Сенат и там уже окончательно застряли. В челобитной 1729 г. дьячок пишет, что его главными недоброжелателями являются сенатские чиновники, и прежде всего обер-секретарь Анисим Маслов, который в ответ на просьбы дьячка якобы сказал: «Тебе ль уж, дьячку, деревнями владеть?» — и, как пишет Федоров, «утраживал мне кнутом, чего ради и караульные сержанты в Верховный тайный совет к подьячим не допускают, знатно, по его ж, Маслову, приказу». Федоров считал, что Маслов хочет его «от помянутой Кобылина отписной деревни оттеснить» и что между вдовой Кобылина Мариной, секретарем Преображенского приказа Василием Казариновым и Масловым заключена тайная сделка: Марина Кобылина подала в Преображенское челобитную, в которой писала, что она якобы с малолетним сыном Григорием «скитается меж двор и помирает голодною смертью», и просила дать ей «на пропитание» отписную деревню. Челобитые вдовы удовлетворили в 1727 г., и указ об этом пришел из Преображенского в Волоколамскую уездную канцелярию.

Такая льгота вдове государственного преступника действительно вызывает удивление — если жены и получали что-либо из отписного, то только собственные приданные деревни. В 1719 г. теща казненного Степана Глебова Пелагея Васильева просила Петра I, чтобы он отдал вдове Глебова Татьяне из отписанных у Глебова деревень те, которыми она, Васильева, «поступилась» некогда Глебову. При этом теща подчеркивала, что бывший ее зять жену свою Татьяну «не любил и хотел с нею развестись». Для передачи этих деревень Татьяне Глебовой потребовался именной указ, который она в конце концов и получила (9-1, 56–57). В деле же вдовы Кобылина все было иначе. Как пишет дьячок, челобитые Марины Кобылиной — сплошная ложь: к моменту подачи жалобы в 1727 г. сын ее Григорий уже умер, да и не скиталась она «меж двор», потому что вскоре вышла замуж. Как только она получила от знавшего все эти обстоятельства Казаринова указ на владение деревней, то тотчас продала крепостных людей из нее капитану Михаилу Маслову — родному брату обер-секретаря, а землю поместья — его же двоюродному брату Максиму Прокофьеву. Всю эту сделку одобрил — «покрыл» — воевода Волоколамска Иван Козлов, который, как выяснил дьячок, приходился Масловым родным дядей! Так что рисковавший жизнью дьячок-доносчик оказался в момент раздела имущества казненного по его извету человека совсем лишним и должен был удовлетворяться только коровой и курами (277, 22–25).

Думаю, что дьячок присочинил от себя немного, примерно такой же механизм раздела отписных деревень с личным участием кабинет-секретаря А.В. Макарова, других высокопоставленных чиновников и их родственни-

ков подробно описан в подброшенном в конце 1724 г. подметном письме на имя Петра I (677, 150–158). Есть сведения о махинациях с отписными вотчинами и в делах сыска. Генерал-фискал А. Нестеров в 1718 г. писал царю, что он знает, как дьяки Поместного приказа, «преступая В.в. имянной указ, роздали собою без указа по своим пометам выморочные земли и деревни, в чем от меня обличены за что им В.в. и указ учинен и те деревни в разных уездах ис тех их роздать взяты и отписаны по-прежнему на Вас... а ныне я, раб Ваш, усердием моим проведаль и усмотрил в Поместном приказе выморочные же деревни». На этом основании Нестеров просил «найденные» им вотчины отдать ему (9-9, 1).

Все, что получали при разделах владений государственного преступника высокопоставленные приказные вроде Маслова, Макарова и им подобных, можно считать мелочью, крохами со стола господ. А именно «набольшие господа» получали из отписанных владений самые жирные куски. Первыми челобитчиками, просившими якобы присмотренные ими «деревенешки», обычно были следователи, которые вели дело и ведали отпиской имущества в казну. П.А. Толстой, А.И. Ушаков, А.И. Румянцев получили сотни крестьян и лучшие деревни опальных В.В. Долгорукого, Александра Кикина и других преступников по делу царевича Алексея. О пожаловании следователей отписным царь в начале 1719 г. подписал особый указ (633-11, 377–379). Первый биограф Толстого Виллардо не без оснований писал в своей книге, что его герой как раз и обогатился за счет конфискаций по делу царевича Алексея (186, 25). Петр I не раз, присутствуя в Тайной канцелярии и в других учреждениях, работал над списками отписного и распоряжался, кому что дать, подписывал указы по прошениям разных людей об отдаче им конфискованных в Петербурге и Москве домов, земель и вещей (752, 575–57; 633-11, 295–296). По челобитным просителей видно, что бедные челобитчики просили из имущества преступников немного, зато влиятельные люди стремились оторвать кус покрупнее. По делу царевича Алексея следователи П.А. Толстой, Г.Г. Скорняков-Писарев, А.И. Ушаков получили самые лучшие земли, приказные Тайной канцелярии получили дворы опальных чиновников. Среди пожалованных из отписного мы видим служителя дома Петра I Афанасия Татищева (он получил дом Александра Кикина и некоторые его вещи). Еще один служитель, Василий Олсуфьев, овладел с разрешения царя отписным московским двором. Заимел отписной «дворишко» даже камер-паж Екатерины Семен Маврин. Кормилица-«мама» царской семьи Авдотья Ильина выпросила себе «дворовое приморское место» царевны Марии Алексеевны, а любимый царем корабельный мастер Филипп Пальчиков получил негловую «деревеньку». Царь оказался великодушен даже к подавшей челобит-

ную любовнице ссыльного В. В. Долгорукого и указал дать «бывшей метресе Софье Ивановой дочери денег» (9-1, 17—39, 54, 68; 102а, 199). Такой раздел земель, имущества, «людишек» происходил после каждого политического дела, идет ли речь об опале Долгоруких или Волынского (304, 170).

Из политических дел следует, что конфискованные имения являются разменной монетой, призом, который хватает каждый, кто оказался в этот момент поближе к власти. В ноябре 1727 г. Петр II предписал вернуть Лопухиным отобранные у них по делу царевича Алексея в 1718 г. владения. До этого они были у П. А. Толстого, после ссылки его весной 1727 г. их взял себе секретарь и приживальщик А. Д. Меншикова Андрей Яковлев, у которого после крушения Меншикова осенью 1727 г. деревни Лопухиных также отобрали (633-69, 729). Но вряд ли Лопухины подали бы челобитье о «повороте» своих владений, если бы к власти не пришел Петр II — внук Евдокии Лопухиной, если бы Меншиков был «в силе» или земли после Яковлева прибрал бы влиятельный вельможа с устойчивым положением при дворе.

Но не все отписное переходило в чье-то частное владение. После казни или ссылки преступника его наиболее ценные вещи забирали в казну, книги и рукописи сдавали в Академию наук или Коллегию иностранных дел, иконы и церковную утварь — в Синод, золотые и серебряные вещи — в Оружейную и Мастерскую палаты, деньги — в Рентрею и на Монетный двор, менее ценное имущество распродавали, лавки и промыслы передавали в ведение Камер-коллегии (304, 170; 102а, 199; 329, 257—258; 437, 208—209). Так же решали и судьбу дворовых без земли. Из конфискованного имения Ф. И. Соймонова дворовые были взяты в солдаты и матросы, а лошади — в Конную гвардию (217, 96). При конфискации и распределении имущества Тайная канцелярия занимала не последнее место. В ее помещении складывались самые ценные и «подозрительные» вещи, конфискованные деньги также зачислялись в ее приход, и бывало, что Петр I распоряжался, что часть денег из отписных выдали на какие-то государственные потребности (9-1, 67, 72 и др.). Более того, политический сыск занимался ростовщичеством. Из конфискованных денег Тайная канцелярия выдавала ссуды частным лицам под 12 % годовых (181, 202). Поэтому нужно думать, что в расследованиях политических дел как руководители, так и приказные органов сыска имели свой материальный интерес. Конфискованные товары и пожитки продавались через Главный Магистрат, а деньги присылались в Канцелярию, «понеже во оной канцелярии обстоит в деньгах крайняя нужда» (9-4, 44).

Эта глава о тех политических преступниках, кто избежал казни «до смерти», провел годы в «дальней деревне», в сибирской ссылке, не умер по дороге и был согласно царскому указу возвращен домой, чтобы получить то, что называлось в России свободой или волей. В основном наш материал относится к «замечательным лицам», известным людям. Мы почти ничего не знаем о том, что происходило с политическими преступниками из «подлых». Сосланные в Сибирь, они исчезали на ее просторах, и если попадали не на каторгу, а на поселение, то женились, обзаводились детьми, постепенно становились сибиряками.

Иначе обстояло с видными жертвами политических гонений, знатными государственными преступниками, которые пострадали по воле правящего государя (государыни), фаворита, оказались втянутыми в крупное политическое дело. Эти люди с нетерпением ждали смены правителя на троне, только тогда они могли рассчитывать на возвращение из «дальних деревень» или Сибири. Конечно, бывали случаи, когда властитель смягчался и миловал своего ссыльного подданного досрочно к какому-нибудь празднику или юбилею. Так было с князем В.В. Долгоруким, сосланным в 1718 г. и возвращенным на службу в 1724 г. Так случилось в 1736 г. с князем С.Г. Долгоруким, за которого хлопотал его тесть П.П. Шафиров, а также с бывшим смоленским губернатором А.А. Черкасским. После двух лет ссылки в Ярославле Елизавета освободила братьев Бирона Карла и Густава, а также его зятя Бисмарка (765, 259). Но такие случаи высочайшего прощения единичны. Большинство же политических ссыльных ждало смерти правителя, который наложил на них опалу. Для них ссылка была в этом смысле по жизни монарха.

Вступление на престол нового государя традиционно сопровождалось амнистиями и помилованиями. Как только на престол в 1725 г. вступила Екатерина I, тотчас помиловали многих участников дела царевича Алексея, дела Монса 1724 г. и других преступников. Много людей сразу освободила из ссылок и заточения правительница Анна Леопольдовна в 1741 г., а особенно была

добра к ссыльным свергшая ее в 1741 г. Елизавета Петровна. Вступивший на престол Петр III 17 января 1762 г. издал указ об освобождении политических противников императрицы Елизаветы, которым пришлось ждать этого дня двадцать лет (310, 126). По указу 5 февраля 1762 г. на свободу вышел Лесток, который даже получил компенсацию — 12 944 рубля 8 копеек и 67 червонцев (83, 135–136). Первым шагом нового императора Павла I в 1796 г. стало освобождение из заточения и ссылки политических противников своей матери, «всех, кроме повредившихся в уме» (433, 76). Однако за его короткое правление узников Тайной экспедиции стало еще больше, чем при Екатерине II, — государь был очень гневлив и подозрителен. Поэтому новый император Александр I в 1803 г. уже освобождал врагов своего отца и делал это опять же выборочно: из 700 человек было освобождено 482, а 164 человека выпускать на волю и не собирались (791, 15; 344, 23).

Из многих дел по освобождению видно, что прощения не было, как правило, не только сумасшедшим, но и совершившим уголовные преступления, наносившие особый вред государственным интересам (фальшивомонетчики), вере и нравственности (раскольники, скопцы, иные сектанты, извращенцы). Но смена правителя на троне не всегда вела к автоматическому освобождению людей, попавших в опалу по политическим мотивам. Это касалось простолюдинов, сосланных в Сибирь за неудачное выражение о том, как Бирон Анну Ивановну «штанами крестил», или что императрица Елизавета — «выблядок». Они не получали помилования потому, что, какой бы государь ни пришел к власти, ругать «непотребными словами» королеванных особ не дозволялось никогда. Не могли дожидаться помилования шпионы, изменники. При амнистии 1762 г. Петр III не решился выпустить из Шлиссельбурга ни Иоасафа Батурина, ни муллу Батыршу, ни капитана Петра Владимирова, который сидел только за то, что узнал историю походов Ивана Зубарева в Пруссии и о его намерении освободить Ивана Антоновича из холмогорского заточения (83, 135–141 об.).

Некоторые ссыльные не получали свободу потому, что для людей, пришедших к власти, они являлись соперниками. Известно, что П.А. Толстой, Франческо Санти, А.М. Девьер, Г.Г. Скорняков-Писарев попали в тюрьмы и ссылки в мае 1727 г. из-за происков А.Д. Меншикова. Вскоре, осенью того же года, в ссылку угодил сам Меншиков, т.е. раньше, чем отправленные им в Сибирь Девьер и Скорняков-Писарев туда доехали. Но крушение Меншикова не открыло двери тюрьмы для его жертв. П.А. Толстой умер во тьме и сырости Головленковой башни Соловецкого монастыря в конце 1729 г., почти одновременно с самим Меншиковым, которого смерть настигла в Березове. Секрет прост: после свержения Меншикова у власти укрепились кня-

зя Долгорукие, которые и не думали освобождать Толстого — убийцу цареви́ча Алексея, отца правящего монарха Петра II.

Девьер, Скорняков-Писарев и другие преступники 1720-х гг. в правление Анны Ивановны также не увидели свободы, а для некоторых из них (графа Санти) наступили и вовсе тяжелые времена. Только Елизавета Петровна освободила многих (но тоже не всех поголовно) «замечательных узников» прежних режимов. Ее особая доброта объясняется тем, что она демонстративно противопоставляла свое гуманное правление прежним, якобы несправедливым царствованиям. Это ей не помешало вскоре наполнить каторги и ссылки новыми узниками и политическими ссыльными. Новый властитель, получив в «наследство» от предшественника политических преступников, не всегда горел желанием выпустить их на свободу, так как они представляли реальную или мнимую угрозу его власти. Настоящей головной болью для Елизаветы, Петра III, Екатерины II был бывший император Иван Антонович. Выпустить его на волю было нельзя — он оставался для них опасным конкурентом и, оказавшись в руках авантюристов, мог стать причиной мятежа и кровопролития. По сходной причине в Выборгской крепости всю жизнь продержали детей и двух жен Емельяна Пугачева, одну из которых, Устьяну, самозванец провозгласил «императрицей».

После того как Иван Антонович погиб в Шлиссельбурге, Екатерина II долго не решалась освободить его отца, братьев и сестер. Дело в том, что по завещанию императрицы Анны 1740 г. братья и сестры Ивана Антоновича имели право на престол после его смерти, считались его прямыми преемниками. В верности следования этому завещанию присягали все подданные. Поэтому-то члены Брауншвейгской фамилии и просидели свыше 30 лет в заточении. После прихода к власти Екатерина II хотела выпустить на свободу одного принца Антона-Ульриха. О его детях она писала в инструкции посланному в Холмогоры в ноябре 1762 г. А.И. Бибикову: их «до тех пор освободить не можем, пока дела наши государственные не укрепятся в том порядке, в котором они, к благополучию империи нашей, новое свое положение приняли» (633-7, 183). Если перевести сказанное в инструкции на понятный нам язык, то Екатерина хотела сказать: до тех пор, пока ее положение у власти не упрочится, выпустить на свободу принцев — прямых наследников Ивана Антоновича она не может. О том, что именно они и являются наследниками престола, говорил в своей ссылке в 1764 г. Арсений Мациевич, который выражал мнение многих людей (591, 509). На предложение императрицы Антон-Ульрих ответил отказом — принц не хотел расставаться с детьми и в 1774 г. умер в заточении. Лишь в 1782 г. брауншвейгских принцев и принцесс отпустили за границу, в Данию.

Освобождение из ссылки автоматически не возвращало человеку его прежнего социального и служилого состояния, из которого его некогда исторгли пусть даже несправедливым приговором. В 1730 г. был издан указ императрицы Анны об освобождении из-под ареста в сибирской ссылке Абрама Ганнибала. Его заслали, как сказано выше, весной 1727 г. по проискам Меншикова. В 1730 г. не было уже на свете Меншикова, у власти стояла новая государыня, но прощение арапу Петра все равно не было полным: на свободу его выпустили, но в Петербург не вернули, а велели записать майором Тобольского гарнизона, что для бомбардир-поручика Преображенского полка и человека, близкого ко двору, было продолжением опалы. Да и потом, оказавшись в Эстляндии, Ганнибал не был по-настоящему помилован, пока к власти не пришла Елизавета Петровна, помнившая арапа своего отца (429, 71–73; 762, 28). Упомянутая выше Софья Лилиенфельд, проходившая по делу Лопухиных в 1743 г., получила свободу лишь в 1763 г., уже после смерти своего мужа. Но она вернулась не в Петербург, ко двору, а в деревню, как было ей назначено указом Петра III. Лишь 1 августа 1762 г. новая императрица Екатерина II дала указ Сенату: Софье Лилиенфельд «всемилоостивейше дозволяем теперь жить в Москве или где она пожелает» (633-2, 131–132). И для большинства освобожденных из ссылки политиков и придворных возвращение к прежнему их положению было практически невозможно. Весьма опытный в придворной интриге, «пронырливый» барон П.П. Шафиров, в общем-то случайно (по служебным, а не политическим причинам) попавший в опалу в 1723 г. (см. 343) и сосланный не дальше Новгорода, потом долгие годы пытался восстановить свое прежнее, очень высокое положение у власти, но так и не сумел этого сделать. Среди тех, кто не хотел восстановления былого могущества Шафирова, был и А.И. Остерман, некогда скромный его помощник и заместитель, а потом — влиятельный вице-канцлер времен Петра II и Анны Ивановны. И все же Шафиров в конце 1730-х гг. сумел таки достичь должности президента Коммерц-коллегии. Вернуть высшие чины и получить даже должность президента Военной коллегии смог также, благодаря указу Елизаветы в декабре 1741 г., князь В.В. Долгорукий, до этого просидевший в тюрьме девять лет (704-22, 133). Другие же опальные были рады возвращению хотя бы в свою дальнюю деревню.

Помилование — официальное царское прощение — не являлось реабилитацией в современном понимании этого слова, т.е. полным юридическим восстановлением в правах. Новый властитель, придя на трон, прощал политических преступников и з м и л о с т и, а не восстанавливал справедливость. Для нового государя признать, что его предшественник приговаривал к смерти или ссылал в Сибирь людей без вины, было невозможно — это бы

подорвало авторитет верховной власти. О родственниках Андрея Хрушова, казненного в 1740 г. вместе с Волынским, в указе императрицы Елизаветы 15 июня 1742 г. было сказано: вдову и детей Хрушова «не порицать, понеже они в и н а м е г о не причастны» (304, 166). Из этого следовало, что на казненном Хрушове по-прежнему лежит вина государственного преступника, сообщника Волынского. Новая государыня Елизавета не собиралась отменять вынесенного Анной Ивановной приговора в отношении и Волынского, и Хрушова и не желала публично осудить репрессии своей предшественницы. Если об этом и говорилось, то иносказательно, без упоминания конкретных имен, а если такие имена упоминались, то это были в основном имена «плохих» и «злых» советников прежней государыни (Остерман, Миних, Бирон и др.), которые и считались истинными вдохновителями репрессий и несправедливостей. Общим было представление, что «просто так» в ссылку не отправят, что государь всегда прав, а сомнение в правильности приговора рассматривалось как вид преступления. Не случайно, Г.Г. Скорняков-Писарев в 1740 г. донес на ссыльного в Охотске М. Абрамова, что тот совершает преступление, «не токмо словесно, но письменно толковав невинность свою и будто он терпит ссылку, яко исповедник» (775, 686). Кроме того, нужно учитывать «инерцию публичного позора». Человеку, побывавшему в руках палача, испытывавшему пытку и публичное позорное наказание, оторванному на многие годы от своей среды, потерявшему здоровье, друзей и богатство, было трудно войти в прежний круг людей, стоявших у власти, восстановить свое прежнее высокое положение.

В какой сложной ситуации оказывалась власть, когда нужно было, не осуждая прямо прежнее правление, реабилитировать, вернуть на прежнее место сановника, видно из дела А.П. Бестужева-Рюмина. Он, канцлер России, сосланный Елизаветой в дальние деревни в 1758 г. по приговору с крайне неясным составом преступления, удостоился при воцарении Екатерины II особого манифеста о полной реабилитации. В этом документе, написанном самой Екатериной II, признается, что Бестужев-Рюмин абсолютно ни в чем не виноват, подчеркивается, что манифест — акт не просто помилования, а восстановления Бестужева в прежних правах, чинах и званиях и, что очень важно, в д о в е р и и к нему верховной власти. Одна из целей манифеста — реабилитировать Бестужева, но при этом не бросить тень на Елизавету Петровну, идейной преемницей которой провозгласила себя Екатерина II. Не забудем, что сама Екатерина была ранее участницей заговора вместе с Бестужевым. В манифесте очень туманно говорится, что Бестужев-Рюмин теперь полностью оправдался и сам «ясно нам открыл каким коварством и подлогом недоброжелательных [людей] доведен он был до сего зло-

получия». Подробнее о подлогах неких «недоброжелательных» в манифесте не сказано ни слова, но сразу же подтверждается искреннее желание новой властительницы явить Бестужеву знаки «доверенности и нашей особой к нему милости, яко сим нашим своеручным манифестом исполняем и, возвратя ему прежние чины действительного тайного советника и ранг генерал-фельдмаршала, сенатора, обоих российских орденов кавалер[а] и, сверх того, жалует его первым императорским советником и первым членом нового, учреждаемого при дворе нашего императорского Совета с пенсионом по двадцать тысяч в год».

В конце манифеста сказано для сомневающихся подданных: «В заключение сея ожидаем от всех наших верноподанных согласного, ко многим его, графа Бестужева-Рюмина, долголетним в империи заслугам, уважения и надлежащего почтения, а притом всемилостивейше повелеваем, как самого, так и род его Бестужева-Рюмина ни прямым, ни посторонним образом претерпенным неповинно сим несчастьем не порицать, под опасением за то нашего Императорского гнева» (633-2, 141–143). Из всех возвращений из ссылки возвращение Бестужева было, пожалуй, самым триумфальным. Но вскоре оказалось, что и полное восстановление Бестужева в правах, чинах и званиях тем не менее не вернуло некогда могущественному сановнику его прежнего влияния. И хотя Екатерина поначалу советовалась с ним, постепенно стало ясно: время Бестужева прошло, в нем при дворе уже не очень-то нуждаются. К власти пришли новые люди, и они не хотели делить ее со старым, да еще неуживчивым, вельможей. Постепенно Бестужев отошел от дел. Такая же судьба ждала многих приехавших из ссылки сановников.

Вернувшегося после двадцатилетнего отсутствия Миниха неподалеку от Петербурга весной 1762 г. сердечно встречало все его разросшееся семейство, и фельдмаршал, которого, как писал де Рюльер, «не трогали тление, перевороты счастья, к удивлению своему, плакал» (634, 274). Потом его ждал император Петр III, который возвратил ему чины и ранги, а также некоторые из имений (т.е. произошел акт довольно редкого «поворота» отписанной в казну недвижимости). Кроме того, фельдмаршала включили в Совет при особе государя. «Перевороты счастья», конечно, весьма трогали Миниха, и он пытался найти себе не последнее место при дворе сначала Петра III, а потом Екатерины II, но неудачно — все такие места оказались заняты другими счастливицами. Он писал проекты, пытался давать государям советы, как управлять государством, но и его время также прошло, как и время Бестужева. Разочарованный своим положением в 1767 г., Миних подал прошение об отставке, которое, конечно, тотчас удовлетворили.

Не лишена анекдотичной занятности история возвращения из устюжской ссылки в 1762 г. бывшего лейб-медика Елизаветы Петровны графа Лестока. Просидев в ссылке 14 лет, он, 74-летний старик, по словам английского посланника Кейта, явился в столицу в крестьянском платье, но «живой и проворный, как юноша». Петр III восстановил его в чинах, но не в должности. Лейб-медиком был уже другой человек. Из конфискованного Лестоку удалось вернуть только часть, и император, выслушав жалобу Лестока, позволил ему «порыться на складах Канцелярии конфискации» и в шутку разрешил разыскивать конфискованные вещи в домах частных лиц. Человек с юмором, Лесток не преминул воспользоваться государевым разрешением и начал посещать с визитами богатые дома, где вскоре нашел часть своих картин, серебра и драгоценностей (763, 235).

В лучшем положении оказался привезенный из Ярославля ко двору Петра III Э.И. Бирон. Он сумел вернуть себе не только титул герцога Курляндского, но и сам герцогский престол. Но снова стать правителем он смог только потому, что это отвечало интересам Екатерины II, — на престоле Курляндии, которая уже фактически входила в сферу влияния России, нужен был «свой человек», который, помня Сибирь и Ярославль, будет послушен воле Петербурга. Так это и случилось: довольно острого раньше «курляндского вопроса» для России с тех пор не существовало. Известен еще один благополучный конец ссылки, причем ссылки на каторжные работы. В июне 1740 г. генерал-кригс-комиссар Ф.И. Соймонов получил на эшафоте, залитом кровью его товарищей по делу Волинского, семнадцать ударов кнута (261, 102) и после этого был сослан в Сибирь, в Охотск. Здесь его и нашел посланный за ним нарочный из Петербурга. Сибирский историк Н.А. Абрамов записал легенду об освобождении Соймонова. Л.А. Гольденберг в своей книге о Соймонове полностью опроверг ее достоверность (217, 97–100), но легенда эта если и не отражает конкретную историю Соймонова, то передает типичные обстоятельства, при которых люди, потерявшие надежду, выходили на свободу.

«Долго разъезжал, — пишет Абрамов, — посланный капитан [гвардии] по разным казенным заводам в отдаленной Восточной Сибири, пересматривал на заводах списки сосланных в каторжную работу, расспрашивал начальство, но нигде не мог найти Соймонова. Это много печалило капитана, которому как официально, так и лично императрицею повелено было отыскать несчастного страдальца, который своею усердною службою был ей известен и достоин милости за то, что некогда спас жизнь венценосного ее родителя (речь идет о каком-то неизвестном нам эпизоде Персидского похода 1722 г., в котором Соймонов находился рядом с Петром I. — Е. А.). Наконец,

капитан прибыл в Охотский острог и порт... Близ Охотска находился завод для выварки соли из морской воды, начавшийся в 1735 году. Капитан пересмотрел списки каторжных и не нашел в них Соймонова. Оставалось посланному возвратиться в Петербург без исполнения повеления государыни. В одно утро, на поименованном заводе, капитан вошел в кухню каторжных и там увидел женщину, которая сажала в печь хлебы, спросил ее: "Не знаешь ли ты здесь, в числе каторжных, Федора Соймонова?" — "Нет, такого у нас не было и нет", — отвечала женщина. Подумавши несколько, она тихо про себя говорила: "Федора, Федора", потом, возвысив тон голоса, сказала: "Вон, там в углу спит Федька-варник, спроси, не он ли?". Капитан подошел и увидел спящего на голом полу седого, обросшего бородой старика, одевшегося суконным зипуном, который носили каторжные. Пробудив его, капитан спросил: "Не знаешь ли, нет ли здесь Федора Соймонова?" Старик встал на ноги и в свою очередь спросил офицера: "На что его вам?". Капитан: "Мне нужно". Старик молчал, стоя как будто в раздумье (причиной его раздумья могло быть опасение, что офицер приехал, чтобы забрать его к новому следствию. — Е. А.). Между тем капитан, лично знавший Соймонова в Петербурге, всматривался в черты исхудалого лица его и, начиная признавать его, спросил: "Не вы ли Федор Иванович Соймонов?" Старик: "На что вам?" Офицер: "Очень нужно". Старик: "Да, я некогда был Федор Соймонов, но теперь несчастный Федор Иванов" — и заплакал. Капитан, сжав его в свои объятия, начал говорить: "Государыня Елизавета Петровна вас про...о... ща..." — и зарыдал и не мог кончить. Соймонов понял в чем дело...».

Завершается рассказ вполне благополучно: «Несколько минут они были с капитаном в объятьях друг друга, обливались слезами и не могли вымолвить ни одного слова. Женщина, видя эту сцену, не могла надивиться ей и не знала, чему приписать такое близкое и пламенное дружеское свидание офицера с варником. Наконец, Федор Иванович пришел в чувство, перекрестился, возблагодарил Бога за свое спасение, а императрицу за помилование. Капитан в тот же день предъявил высочайшее повеление местному заводскому начальству и то, что в значащемся по списку сосланных в каторжную работу Федоре Иванове он нашел бывшего генерал-кригс-комиссара Федора Ивановича Соймонова. Тотчас, на приличном месте, выстроен был имевшийся в Охотске гарнизон, указ объявлен, Соймонов прикрит знаменем и отдана ему шпага» (492, 193—194).

На самом же деле освобождение Соймонова было более прозаично. 8 апреля 1741 г. правительница Анна Леопольдовна подписала указ об освобождении Соймонова из ссылки и возвращении ему его оставшихся за продажей деревень. В одной из них ему предстояло жить. Указ в Сибирь повез

капрал Тимофей Васильев. Он имел особую инструкцию А.И. Ушакова о препровождении Соймонова в деревню. Васильев нашел Соймонова в сентябре 1741 г. и 2 марта 1742 г. доложил об исполнении указа (217, 96–97). В указе Соймонову позволялось поселиться в его дальней деревне, в селе Васильевском Серпуховского уезда (8-3, 55 об.). Настоящую свободу он получил лишь по именному же указу Елизаветы Петровны от 14 марта 1742 г. Ему частично простили вину и очистили от обвинений. Указом было предписано «прикрыть знаменем и шпагу отдать и о непорицании ево тем наказанием и ссылкой дать ему указ с прочетом». Церемония была проведена 17 марта 1742 г. перед Успенским собором Московского Кремля в присутствии собравшегося народа. Соймонову разрешили жить там, где он захочет, но одновременно сказали, что его, как бывшего преступника, ни в военную, ни в гражданскую службу не примут. Так обычно поступали со всеми помилованными государственными преступниками (217, 97–98; 310, 88).

Но рассказ, записанный Абрамовым, приведен здесь еще и потому, что не всегда освобождение было таким удачным, как в данной истории. В каторжном фольклоре есть сюжет о том, как царский указ о помиловании или опаздывает на «целую жизнь» узника, или не находит несчастного в бескрайних просторах Сибири. Такая легенда известна о фаворите цесаревны Елизаветы Петровны Алексее Шубине, сосланном в Сибирь в 1732 г. императрицей Анной. Офицер с указом о его помиловании, отправленный сразу же после восшествия Елизаветы на престол, долго не мог найти колодника по сибирским острогам и заводам. Дело в том, что Шубин, зная, что его разыскивает гвардеец из Петербурга, и памятуя о судьбе тех, кого извлекали из ссылки, чтобы снова повести в пыточную палату или на эшафот, долго прятался в толпе каторжников и не признавался, кто он такой (549, 146–147).

Можно с большой долей вероятности утверждать, что так это и было. Сохранился указ Елизаветы сибирскому губернатору от 29 ноября 1741 г. об освобождении Шубина и доставке его в Петербург, ко двору. Спустя почти полтора года появился новый указ всем губернаторам и управителям от 23 февраля 1743 г., согласно которому местные власти должны были помогать подпоручику А. Булгакову в поисках Шубина, который «и поныне не явился и где ныне обретается — неизвестно». Булгаков должен был проехать «по тракту до Камчатки, об оном Шубине провеживать» и приложить все усилия, чтобы найти пропавшего среди просторов Сибири ссыльного (654, 150–151). Слухи о том, что узники сибирской каторги и ссылки как бы проваливались в преисподнюю, навсегда исчезали из общества, находят многочисленные подтверждения в документах. Исследователь сибирской ссылки И. Сельский, работая с архивными материалами Тобольска, обратил внима-

ние, что Тобольская губернская канцелярия, получив в 1742 г. указ об освобождении Г. Фика, «как распорядительное место, назначавшее места ссылки», не знала, где находится Фик! (655, 13). В приговоре 1759 г. о сосланном в Сибирь изменнике, капитане Ключевском, сказано: «Послать ево в отдаленный Сибирской губернии острог, где велеть содержать ево под крепким караулом вечно, а дабы о нем никому известно не было, то имя и фамилию переменить ему другие» (83, 29). Сделать это с преступниками, особенно шельмованными, было нетрудно — они и так теряли свою фамилию. Проходили годы, и на запрос Петербурга о судьбе того или иного колодника Тобольская губернская канцелярия отвечала: «По силе одного указу означенной Алексеев послан с протчими колодниками на казенные заводы, и ныне оной жив или умре — о том в Сибирской канцелярии неизвестно, а отпуску ему из Сибири не было» (83, 34). И. Сельский пишет, что, несмотря на строжайшие распоряжения екатерининского генерал-губернатора Вяземского, «в ответах Иркутской губернской канцелярии прямо объяснялось, что не найдены многие ссыльные потому именно, что люди эти были присланы без обозначения их фамилий, а где они находятся и живы ли, о том узнать нет никакой возможности» (655, 10).

Вместо заключения

Тема, которой посвящена эта книга, не является ни центральной, ни спорной в русской истории, вокруг нее не ломают копыла поколения историков. И все-таки эта тема кажется мне очень важной, ибо история политического сыска — составная часть истории России, а сам политический сыск — один из важнейших институтов власти в Российском государстве, ужас целых поколений русских (да и нерусских) людей на протяжении пятисот лет русской истории.

Многое в данной теме осталось для меня неясным. В первую очередь это касается начального этапа развития политического сыска. И хотя я делал довольно часто необходимые экскурсы в предшествующую Петру Великому историческую эпоху, но все-таки наверняка сказать, когда ЭТО началось, мы не можем. Достаточно точно мы можем лишь утверждать, что в начале XVII в. сыск уже «состоялся», что очень хорошо видно из дела Павла Хмелевского, начатого в 1614 г. Доносы, внезапные аресты, изъятие полиционного, дешифровка писем, «ропрос», очные ставки, «розыск» с пытками, традиционные вопросы о сообщниках, краткая резолюция-приговор государя на полях выписки-доклада, конфискация имущества и его распределение между челобитчиками еще до окончания дела, ссылка в Сибирь — все это, характерное для политического сыска XVIII в., уже есть в деле 1614 г. Значит, начало этой системы уходит в XVI век, а возможно, и в более ранний период (257; 141, 168—172).

Что же касается вопроса о масштабах деятельности политического сыска, о числе людей, побывавших в сыском ведомстве, то точный ответ на него дать трудно. Сводных материалов на сей счет в нашем распоряжении явно недостаточно для окончательных выводов, а сплошная статистическая обработка следственных дел одному человеку не по силам. Поэтому ограничимся некоторыми ориентировочными выкладками. Т.В. Черникова в своей статье о Тайной канцелярии приводит следующие данные об общем числе политических дел, рассмотренных сыским ведомством почти за весь XVIII в. Они сгруппированы по десятилетиям:

1715 — 1725 гг. — 992 дела,
1730-е гг. — 1909,
1740-е гг. — 2478,
1750-е гг. — 2413,
1760-е гг. — 1246,
1770-е гг. — 1094,
1780-е гг. — 992,
1790-е гг. — 2861 (773, 157).

Если считать, что по каждому из заведенных в сыске дел «прошло» по одному человеку, то можно утверждать, что за 80 лет в политическом сыске побывало минимум 13 985 человек. Цифры эти кажутся явно заниженными. Из материалов Тайной канцелярии 1732—1740 гг., приведенных выше, следует, что в месяц в сыск попадало в среднем по 50 человек, т. е. за 1730-е гг. арестантов должно было быть примерно 6600 человек. Если же взять соотношение в 1730-х гг. (1909 дел на 6600 человек) за основу подсчетов, то получится, что на одно дело приходится 3,5 арестанта. В итоге окажется, что в 1715—1790-е гг. 13 985 дел было заведено минимум на 49 тысяч человек.

Однако мы знаем, что не все, попавшие в сыск, были преступниками (аресту подвергались, как сказано выше, доносчики, свидетели, подозрительные люди). В нашем распоряжении есть довольно полные данные о приговорах, вынесенных в Тайной канцелярии в 1732—1733 гг. (*Табл. 1—3 Приложения*). Всего за два года были приговорены к разным наказаниям 395 человек (т. е. в среднем по 200 человек). Иначе говоря, если в 1730-е гг. вынесли приговоры в отношении около 2200 человек, то в пропорции за весь период 1715—1790-х гг. — в отношении примерно 17 800 человек. Но и приговоры были разные. Одних отпускали без наказания, других, перед тем как отпустить на все четыре стороны, наказывали кнутом, батогами, плетью («ж... раздумывали», «память к ж... пришивали», «ижицу прописывали» и т. д., есть еще не менее 80 синонимов этой популярной в России воспитательной операции) с разной степенью суровости, третьих без наказания отправляли в ссылку, четвертых, наконец, наказывали поркой, уродовали клещами, ножом, клеймами и т. д. и затем ссылали на каторгу. *Таблица 6 Приложения* содержит данные (с некоторыми пропусками) о сосланных на каторгу и в ссылку за 1725—1761 гг. Таких ссыльных было 1616 человек. Если в среднем в течение 35 лет ссылали ежегодно по 46 человек, то за 1715—1799 гг. число ссыльных должно составить около 4000 человек.

Много это или мало? И на этот вопрос я не берусь ответить определенно. В абсолютных цифрах эти данные, например, для XX в. кажутся ничтож-

ными. Согласно третьему тому «Ленинградского мартиролога 1937—1938 гг.» (СПб., 1998. С. 587) только за ноябрь 1937 г. и только в Ленинграде и области было расстреляно 3859 человек. Можно рассмотреть пропорцию общей численности репрессированных по политическим мотивам к численности населения. Так, если считать, что в 1730—1740 гг. в России было не более 18 млн человек, а в сыск попадало не более 7000 человек, то в сыске оказалась ничтожная доля процента. Но очевидно, что эффект деятельности политического сыска определяется не только общей численностью репрессированных, но и многими другими обстоятельствами и факторами, в том числе самим Государственным страхом, который «излучал» сыск, молвой, показательными казнями и т.д.

Нужно согласиться с Т.В. Черниковой, которая писала применительно ко времени «бионовщины», что «в исторической литературе масштаб деятельности Тайной канцелярии завышен». Она же основательно оспорила бродившие не одно столетие по литературе цифры мемуариста Манштейна о ссылке во времена правления Анны Ивановны 20 000 человек. Вместе с тем отметим, что 1730-е годы хотя и не стали временем кровавых репрессий «немецких временщиков», как это изображается в романах и в некоторых научных трудах, а число дел, заведенных в сыске в это десятилетие, меньше, чем в 1740-е или 1750-е гг., тем не менее анненская эпоха кажется более суровой, чем времена Елизаветы Петровны. Из *Таблицы 6 Приложения* следует, что при Анне, правившей Россией десять лет, в ссылку и на каторгу отправились не по своей воле 668 человек, или 41,3% от общей массы сосланных в течение 1725—1761 гг. (1616 человек), в то время как за двадцатилетнее царствование Елизаветы (1742—1761 гг.) туда сослали 711 человек. В 1725—1730 гг. в среднем ссылали по 39,5 человек в год, в 1730—1740 гг. — 60,7 человек в год, то в 1742—1761 гг. — в среднем всего по 35,6 человек в год. Мягче стали при гуманной дочери Петра и наказания «в дорогу». Как видно из *Таблицы 5*, при Анне Ивановне из 653 преступников кнут (в том числе в сочетании с другими наказаниями) получили 553 человека, или 87,1 %. При Елизавете произошло заметное (почти в два раза) уменьшение числа приговоров типа «кнут, вырывание ноздрей». Одновременно при Елизавете за счет сокращения наказаний кнутом возросло число наказаний плетью и батогами. При Анне плетью и батогами было наказано 30 человек (или 4,6 % от 653), при Елизавете — 87, или 12 % от 693. Иначе говоря, при Елизавете произошло увеличение доли наказаний плетью и батогами почти в три раза. Тем из читателей, кому переход от кнута к плети или батогам покажется смехотворным свидетельством гуманитарного прогресса в России, могли бы возразить те 87 преступников, которые были приговорены при Елизаве-

те не к смертоносному наказанию кнутом, отрывавшему куски мяса от тела, а к плети или батогам. К этому хору могли бы присоединиться и все те, кто при гуманной Елизавете не был казнен смертью, а был наказан кнутом и поэтому получил шанс выжить.

Одновременно мы можем с уверенностью утверждать, что к середине XVIII в., и особенно — со времени вступления на престол в 1762 г. Екатерины II, в политическом сыске исчезают особо свирепые пытки. В отличие от других стран (Франции, Пруссии и др.) в России во второй половине XVIII в. не устраивают и такие средневековые казни, как сожжение, колесование или четвертование. На политический сыск стали оказывать сильное влияние идеи Просвещения. И хотя люди, конечно, боялись ведомства Степана Шешковского, но все-таки это был не тот страх, который сковывал современников и подданных Петра Великого или Анны Ивановны. В журнале Тайной канцелярии за январь 1724 г. сохранилась выразительнейшая запись о приведенном в сыск извечнике Михаиле Козмине, который поначалу на вопрос генерала Ушакова сказал, что он действительно «о государеве слове сказывал, а потом по вопросам же ничего не ответствовал и дражал знатно от страху, и как вывели его в другую светлицу и оной Козмин, упал и лежал без памяти, и дражал же, и для того отдан по-прежнему под арест» (9-4, 4). Через двадцать—тридцать лет, при Елизавете и Екатерине II, людям стало казаться, что мрачные времена ушли навсегда...

Но XVIII век вдруг кончился делом, которое вернуло к страшным воспоминаниям о Преображенском приказе и Тайной канцелярии, причем приговор и экзекуция по этому делу оказались столь же суровыми, как и во времена Петра I. Речь идет о деле полковника гвардии Евграфа Грузинова, начатом при Павле I в 1800 г. Грузинов, ранее один из телохранителей Павла I, был внезапно заподозрен государем в чем-то преступном и выслан на родину — в Черкасск. Здесь его обвинили в произнесении «дерзновенных и ругательных против государя императора изречений» и в сочинении двух бумаг, якобы говорящих о намерениях автора ниспровергнуть существующий государственный строй.

С «изречениями» горячего грузина, раздосадованного на государя за отставку и удаление от двора в захолустье, было все ясно: публично, в присутствии посторонних людей полковник отзывался о государе такими словами, «от одной мысли о которых, — писал следователь генерал Кожин, — содрогается сердце каждого верноподданного», да еще и прибавил с вызовом: «Поезжайте куда хотите и просите на меня», что и было сделано доносчиком.

Грузинов был казнен мучительнейшим образом — запорот кнутом до смерти (374, 260).

Дело Грузинова и уникально, и типично одновременно. Типичность его выражается в том, что неизменяемая, нереформируемая по своей сути власть самодержавия со всеми характерными для нее проявлениями деспотизма, самовласти, каприза, никогда не ограничивалась законом, и поэтому степень жестокости или гуманности самодержавной власти определяли сугубо личные свойства монарха. Екатерина II, как известно, пыталась создать гуманную модель самодержавия «с человеческим лицом», но с приходом к власти ее неуравновешенного сына раздался, выражаясь словами Гавриила Державина, «рев Норда сиповатый» и число политических преступников, ссыльных резко возросло, кнут снова коснулся тела дворянина, наказания вновь ужесточились, что видно из дела Грузинова. При Александре I сыск, отражая изменения в проявлениях самодержавия, вновь «мягчеет». И такие перепады жестокости и гуманности продолжались весь XIX век, а потом перешли в век XX. Материалы, приведенные выше, позволяют с уверенностью утверждать, что политический сыск рожден политическим режимом самодержавия, это его проявление, опора, инструмент, это основа самодержавной власти в том виде, в котором она сложилась в XV—XVII вв., окончательно оформилась в XVIII в. и благополучно просуществовала до начала XX в., сохраняя в неизменности свою природу.

Аннотированная опись фонда 371 (Преображенский приказ), по-видимому, восходит к реестру дел сысчного учреждения за 1705—1724 гг. и позволяет сделать некоторые выводы о составе преступлений по делам, которые из дня в день рассматривались ведомством Ромодановского. Наиболее полными являются записи за 1722—1724 гг. Опуская имена и конкретные данные, приведу составленный мною конспект реестра за 1724 г., в котором отмечаю только дату, состав преступления и помету — вынесенный приговор: февраль, 1-го: «Ложное Государево слово» — кнут; «Ложное Государево слово в измене» — кнут; 2-го: «Ложное Государево дело» — кнут; 3-го: «Ложное Государево слово» — кнут; 4-го: «Ложное Государево слово» — кнут; «Продерзостные слова» — кнут; «Ложное Государево слово» — кнут; «Ложное Государево дело» — кнут; 6-го: «Ложный извет... в непристойных словах» — кнут; 7-го: «Ложное Государево слово и дело» — кнут. И так минимум 771 человек за три года (минимум потому, что не всегда ясно из записи, сколько человек привлечено к конкретному делу). В *Таблице 7 Приложения* все подобные данные сведены воедино. Из нее следует, что людей арестовывали в основном за два вида преступлений: за ложный извет («ложное Государево слово и дело») и за «непристойные слова». Из 580 послед-

ственных 460 обвинялись в ложном доносите́льстве, 201 человек был привлечен за произнесение «непристойных (вариант — «продерзостных», «дерзких») слов» о Петре I. И только 2,4 % (14 человек) посадили за прочие преступления («О взятках», «О краже интереса», побег, выдача фальшивых документов и т.д.).

Таблица 1 Приложения фиксирует приговоры, вынесенные в Тайной канцелярии по конкретным преступлениям в 1732—1733 гг. Из общего списка преступлений заметно выделяются четыре: «Непристойные слова», «Ложное Слово и дело», «Недонесение» и «Небытие у присяги». По этим обвинениям приговорено 326 из 395 человек, или 82,5 %. Однако внесем некоторые коррективы. Дело в том, что в 1732—1733 гг. после вызвавшего смуту воцарения Анны Ивановны велось много дел священников и причетников, которые игнорировали процедуру приведения подданных к присяге, за что и поплатились в основном батогами. В другие годы такие преступления достаточно редки. Поэтому значительная группа приговоров церковникам (подробнее см. *Табл. 2 Приложения*) искажает общее соотношение видов преступлений. Если мы исключим из подсчетов эти 116 приговоров, то увидим, что из 279 оставшихся преступников на долю «Непристойных слов» приходится 66 (или 23,7 %), на долю «Ложного Слова и дела» 88 (или 31,5 %) и, наконец, на долю «Недонесения» — 56 (или 20 %). По этим группам преступлений и следовали весьма жестокие наказания. Из 210 человек, обвиненных в этих преступлениях, к кнуту и ссылке в Сибирь приговорено 47 человек, или 22,4 %, к смертной казни — 11 человек, или 5,2 %. Большой процент смертных приговоров приходится только на самозванцев и раскольников. Внутри «фаворитной группы» государственных преступлений более жестоко наказывали говоривших «непристойные слова» (7 преступников наказаны смертной казнью и 22 преступника биты кнутом и сосланы, что из общего числа сказавших нечто «непристойное» (66 человек) составляет 44 %, тогда как ложные доносчики наказаны более гуманно (четыре казнили смертью, а 13 сослали в Сибирь с наказанием кнутом). Так было наказано всего лишь 19,3 % от общего числа преступников из этой группы (88 человек). Можно сказать, что «по-доброму» обошлись в Тайной канцелярии с теми ложными доносчиками, которые не сумели «довести» свой извет. Из их общего числа (56 человек) к смерти не был приговорен никто, а в Сибирь с предельным наказанием кнутом отправилось 12 человек, или 21,4 %.

Сопоставляя эти данные с приведенными выше материалами за 1722—1724 гг., отметим, что в числе преступников 1732—1733 гг. стало довольно много (пятая часть) «неизветчиков», тогда как в реестре 1722—1724 гг. их

почти нет. Думаю, что увеличение числа данных преступлений непосредственно связано с появлением законов о преследовании людей, которые не доносят о государственных преступниках. Как и в 1732—1733 гг., в 1722—1724 гг. «ложный извет» наказывается более сурово, чем «непристойное слово»: смертная казнь — 19 человек, или 4,1% от общего числа приговоренных (460 человек), 354 человека — кнут (или 77%). В группе «Непристойные слова» — более мягкие наказания: смертная казнь — только у 2,8 % (3 человека из 106), кнут — 50 % (53 человека из 106), зато плети, батоги получили 27,4 % (29 человек), а в группе «Ложный извет» это сравнительно легкое наказание составляет всего 4,6 % (21 из 460 человек).

Таблицы 3—4 Приложения показывают, что выделяются три особо «криминальные» группы населения: крестьяне, солдаты и церковники. Из общего числа приговоренных преступников (395) на долю крестьян приходится 94 (23,8 %), на долю солдат 50, т.е. 12,6 % от всех наказанных по этим «статьям». Церковников-преступников было 148 человек (или 37,5 %), в основном обвиненных в «небытие у присяги» (100 человек) (см. Табл. 2). Без всех учтенных в Таблице 116 человек, которые не присягнули Анне Ивановне, преступников-крестьян и солдат было бы в процентном отношении значительно больше — 58,3 % (144 из 247 человек). Крестьяне и солдаты более всего совершили преступлений по статьям «Непристойные слова», «Ложное Слово и дело» и «Недонесение». Из 210 человек, обвиненных в этих преступлениях, на долю крестьян приходится 63 человека, на долю солдат — 46 человек, всего их 109 человек, или почти половина от всех преступников, обвиненных по этим тяжким «статьям». Данные о такой высокой «политической криминальности» крестьян и солдат кажутся мне достаточно репрезентативными, и они подтверждаются другими данными. Дело в том, что сохранились ведомости Тайной канцелярии о преступниках, наказанных в 1725—1740 гг. с указанием их социальной принадлежности (хотя и без указания конкретной «статьи» преступлений) (см. Табл. 4 Приложения). Из 818 наказанных преступников (а это в основном сосланные в Сибирь, без учета казенных, а также выпущенных на свободу) на долю крестьян приходится 265 человек, на долю солдат — 76 человек, итого 341 человек, или почти треть от всех сосланных преступников.

Причины особой «политической криминальности» этих групп разные. Число крестьян было во много раз больше, чем других категорий населения, а среди них больше всего было крепостных — из общего числа крестьян-преступников (267 человек) на их долю приходится 136 человек, или 50,9 %, что в целом соответствует пропорции крепостных к общему числу крестьянского населения России в XVIII в. Иначе говоря, число преступников-крестьян

отражает их численность в общей массе населения. Иначе обстоит дело с солдатами при средней численности армии в рассматриваемое время не более 200 тысяч штыков. Во-первых, их, как служилых, преследовали и наказывали строже, чем крестьянина. Не исключено, что и доноительство на сослуживцев в казарме было развито сильнее. Из *Таблицы 2* с ясностью следует, что «ложных доносчиков» среди солдат в абсолютном исчислении было больше, чем среди других категорий населения (28 человек), а в относительном исчислении они составляли больше половины от всех 50 солдат-преступников. Следовательно, среди служивых «неложных» доносчиков было еще больше. Не менее важно и другое наблюдение. *Таблицы 2 и 4* показывают, что при подавляющей, доходящей до 92 % численности крестьян от всего населения страны в XVIII в. политических преступников-крестьян было относительно мало: по данным 1732—1733 гг. — 23,8 % (*Табл. 2*) и по данным 1725—1741 гг. — 31,3 % (*Табл. 4*). Основную массу политических преступников составляли как раз некрестьяне, в первую очередь — солдаты, затем церковники, посадские, подьячие, дворяне. Все вместе они составляют по данным 1732—1733 гг. 72,2 % (307 из 395 человек), а по данным 1725—1740 гг. 70 % (586 из 818 человек). Особую роль играли церковники. По данным 1732—1733 гг. они, благодаря неприсяге, вообще идут на первом месте (37,5 %) среди категорий населения, представители которых состояли в преступниках (*Табл. 2*), но если учитывать только преступления по «фаворитной» группе («Непристойные слова», «Ложное Слово и дело», «Недонесение»), то они устойчиво располагаются после крестьян и солдат — 34 человека (*Табл. 2*). Также они занимают третью строчку и по данным 1725—1740 гг. (*Табл. 4*). По-видимому, это связано с тяжестью их преступлений — ведь раньше, по данным 1732—1733 гг., большинство церковников (100 из 148 человек) получили за «небытие у присяги» легкое наказание в виде порки плетью (*Табл. 3*). Дворяне составляют незначительную группу государственных преступников.

На основе этих и других отрывочных данных можно с большой долей вероятности предположить, что всевозможные «непристойные слова», оскорбляющие честь государя, а также преступления, связанные с ними («Ложное Слово и дело» и недоносительство), составляют подавляющую часть всех политических преступлений того времени. «Ложное слово и дело», столь широко распространенное преступление, тесно связано с «непристойными словами» потому, что обвинение в «ложном Слове и деле», «ложном извете» возникает в результате «недоведения» извечником своего доноса на другого человека (об этом подробно сказано выше, в главах о доносе и «розыске»). Если бы в рассматриваемую эпоху в России не фиксировались преступления по «оскорблению чести государя», то никакого бы политического sys-

ка и не было — предмет для его работы состоял почти исключительно в расследовании дел о ложных доносах и о произнесенных кем-то «непристойных словах». Но тогда бы не было и самодержавия. А так как оно существовало, то преступления, составляющие суть работы политического сыска, сохранялись и в XVIII, и в XIX вв. и даже перешли в XX век. Как и в древние времена, закон 1905 г. карал за государственные преступления, выражавшиеся в оскорблении государя посредством публичного показывания языка, кукиша, гримасы, «угрозы кулаком», а также в произнесении непристойных слов в адрес самодержца. За все это можно было получить до восьми лет каторги (см. 792, 10–24).

Поэтому мне кажется естественной преемственность политического сыска в России XX в. После окончания кратковременного периода свобод 1917 г. и установления групповой, а потом и личной диктатуры большевиков произошло быстрое воссоздание всей старой системы политического сыска. Теперь она обслуживала новый режим, возникший на традиционном фундаменте самовластия, огражденный правом и насилием от контроля общества. Эта система имела глубочайшие корни в самодержавном политическом прошлом, царистском сознании, менталитете народа, не привыкшего к свободе и ответственности. Поэтому после 1917 г. стремительно пошло оформление обширного корпуса политических преступлений, которые порой даже по формулировкам и инкриминируемым действиям совпадали с государственными преступлениями по «оскорблению величества» в XVIII в. Следствием возрождения диктатуры было воссоздание — уже на новом уровне тотальности (но с применением старых приемов политического сыска и даже с использованием специалистов царской охраны) — института тайной полиции, выдвижение особо колоритных его руководителей-палачей, вроде Ежова или Берии, бурное развитие всей жестокой бюрократической технологии «розыска» с применением средневековых пыток, а также практики фактически бессудных (чаще тайных, реже — публичных) расправ с явными, потенциальными или мнимыми политическими противниками, со всеми недовольными, а заодно — с легионами любителей сплетен, анекдотов, с армиями болтунов и т.д. Всех их принимал в свои владения ГУЛАГ — быстро возрожденная каторга, которая в России была изобретена Петром Великим. Соответственно всему этому быстро возродился в человеке Государственный страх, расцвело доноительство, начался новый цикл государственного террора. Деспотическая власть всегда и везде тотчас пробуждает демонов политического сыска, и тогда держать в нужнике клочки бумаги «с титулом» становится так же смертельно опасно в 1737 г., как и использовать с этой же целью газету «Правда» двести лет спустя.

Список источников и литературы

АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. АСПбФИРИ. Ф. 270. Оп. 1. Д. 89
2. РГАДА, Разр. 6. Оп. 1. Д. 198.
3. Там же. Д. 199.
4. Там же. Д. 200.
5. Там же. Д. 204.
6. Там же. Д. 205.
7. Там же. Разр. 7. Оп. 1. Д. 3.
8. Там же. Д. 5.
9. Там же. Д. 6.
10. Там же. Д. 7.
- 10а. Там же. Д. 8.
11. Там же. Д. 16.
12. Там же. Д. 20.
13. Там же. Д. 21.
14. Там же. Д. 23.
15. Там же. Д. 26.
16. Там же. Д. 34.
17. Там же. Д. 35.
18. Там же. Д. 36.
19. Там же. Д. 48.
20. Там же. Д. 50.
21. Там же. Д. 56.
22. Там же. Д. 59.
23. Там же. Д. 60.
24. Там же. Д. 68.
25. Там же. Д. 69.
26. Там же. Д. 70.
27. Там же. Д. 98.
28. Там же. Д. 99.
29. Там же. Д. 112.
30. Там же. Д. 130.
31. Там же. Д. 135.
32. Там же. Д. 136.
33. Там же. Д. 137.
34. Там же. Д. 150.
35. Там же. Д. 158.
36. Там же. Д. 194.
37. Там же. Д. 201.
38. Там же. Д. 243.
39. Там же. Д. 246.
40. Там же. Д. 249.
41. Там же. Д. 253.
42. Там же. Д. 266.
43. Там же. Д. 269.
44. Там же. Д. 272.
45. Там же. Д. 277.
46. Там же. Д. 281.
47. Там же. Д. 294.
48. Там же. Д. 298.
49. Там же. Д. 299.
50. Там же. Д. 339.
51. Там же. Д. 384.
52. Там же. Д. 388.
53. Там же. Д. 421.
54. Там же. Д. 431.
55. Там же. Д. 446.
56. Там же. Д. 468.
57. Там же. Д. 474.
58. Там же. Д. 488.
59. Там же. Д. 489.
60. Там же. Д. 498.
61. Там же. Д. 499.
62. Там же. Д. 500.
63. Там же. Д. 521.
64. Там же. Д. 611.
65. Там же. Д. 669.
66. Там же. Д. 670.
67. Там же. Д. 671.
68. Там же. Д. 1581.
69. Там же. Д. 1582.
70. Там же. Д. 1583.
71. Там же. Д. 1606.
72. Там же. Д. 1607.
73. Там же. Д. 1608.
74. Там же. Д. 1662.
75. Там же. Д. 1677.
76. Там же. Д. 1680.
77. Там же. Д. 1681.
78. Там же. Д. 2003.

79. Там же. Д. 2004.
80. Там же. Д. 2010.
81. Там же. Д. 2013.
82. Там же. Д. 2040.
83. Там же. Д. 2041.
84. Там же. Ф. 9. Отд. 2. Оп. 1. Д. 22
85. Там же. Ф. 16. Оп. 1. Д. 179
86. Там же. Ф. 272. Оп. 1. Д. 16
87. Там же. Ф. 342. Оп. 1. Д. 33
88. Там же. Ф. 371. Оп. 1. Ч. 1.
89. Там же. Ф. 371. Оп. 1. Ч. 2.
90. Там же. Ф. 371. Оп. 2.
91. Там же. Ф. 372. Оп. 1. Д. 2172.
92. Там же. Д. 2223.
93. Там же. Д. 2225.
94. Там же. Д. 6210.
95. Там же. Д. 6260.
96. РГИА. Ф. 467. Оп. 2. Д. 306.
97. Там же. Ф. 467. Оп. 2. Д. 18.
98. Там же, ф. 468. Оп. 39. Д. 16.
99. Там же. Д. 17.
100. Там же. Д. 18.

ОПУБЛИКОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

101. *Абрамов Н.* Могила графа Андрея Ивановича Остермана в Березове. 1742—1747 гг. // Чт. ОИДР, 1866. Кн. 2.
102. *Абрамов Н.* Могила князя Алексея Григорьевича Долгорукого и супруги его в городе Березове. 1730—1738 гг. // Чт. ОИДР, 1866. Кн. 2.
- 102а. *Акишин М.О.* Полицейское государство и сибирское общество. Эпоха Петра Великого. Новосибирск, 1996.
103. Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской императорской Археологической экспедицией Академии наук. СПб., 1836. Т. 1—4.
104. Акты исторические. СПб., 1842. Т. 1, 3, 4, 5.
105. Акты юридические или собрание форм старинного делопроизводства. СПб., 1838.
106. *Александренко В.Н.* Русские дипломатические агенты в Лондоне в XVIII веке. Варшава, 1897. Т. 1, 2.
107. *Александров В.А.* Народные восстания в Восточной Сибири во второй половине XVII в. // ИЗ. М., 1957. Т. 59.
108. *Александров Г.Н.* Еще о печати Антихриста // РА. 1873. Т. 2.
109. *Александров Г.Н.* Печать Антихриста // РА. 1873. Т. 2.
110. *Алексеев А.И.* Охотск — колыбель русского Тихоокеанского флота. Хабаровск, 1958.
111. *Алексеев В.А.* Василий Иванович Суворов (1709—1775 гг.) // Журнал императорского Русского военно-исторического общества, 1913. Кн. 4.
112. *Алефиренко П.К.* Крестьянское движение и крестьянский вопрос в России в 30—50-х годах XVIII века. М., 1958.
113. *Амфитеатров А.* Дьявол в быте, легенде и в литературе средних веков. Ташкент, 1993.
114. *Андрущенко А.И.* О самозванстве Е.И. Пугачева и его отношениях с яицкими казаками // Вопросы социально-экономической истории и источниковедения периода феодализма в России. Сб. ст. к 70-летию А.А. Новосельского. М., 1961.
115. *Анисимов Е.В.* Ванька Каин: легенды и факты // Новый журнал. Нью-Йорк, 1991. Т. 184—185.
116. *Анисимов Е.В.* Время петровских реформ. Л., 1989.
117. *Анисимов Е.В.* Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой четверти XVIII века. СПб., 1997.

118. *Анисимов Е.В.* Податная реформа Петра I. Введение подушной подати в России. 1718—1728 гг. Л., 1982.
119. *Анисимов Е.В.* Россия без Петра. СПб., 1994.
120. *Анисимов Е.В.* Россия в середине XVIII века. Борьба за наследие Петра. М., 1986.
121. *Антонович В.Б.* Колдовство. Документы, процессы, исследования. СПб., 1877.
122. *Анучин Д.А.* Граф Панин, усмиритель Пугачевщины // РВ. 1869. Т. 80.
123. *Арсений Мациевич*, митрополит Ростовский, в ссылке // РС. 1885. Т. 45.
124. *Арсеньев А.В.* Старинные дела об оскорблении величества. Очерки из нравов XVIII века. 1701—1794 гг. // ИВ. 1881. Т. 4.
125. *Арсеньев В.* К биографии Варвары Михайловны Арсеньевой, свояченицы светлейшего князя А.Д. Меншикова // Чт. ОИДР. 1912. Кн. 1.
126. *Арсеньев К.И.* Царствование Екатерины I. СПб., 1856.
127. *Арсеньев К.И.* Царствование Петра II. СПб., 1848.
128. Архив князя Воронцова. М., 1870—1872. Кн. 1—3.
129. Архив князя Ф.А. Куракина. СПб., 1890. Кн. 1
130. *Бабкин Д.С.* Процесс А.Н. Радищева. М.; Л., 1952.
131. *Багговут А.Ф.* Записки и очерки его жизни // РС. 1883. Т. 40.
132. *Бантыш-Каменский Д.М.* Словарь достопамятных людей Русской земли. М., 1836. Ч. 3.
133. *Барсов Н.И.* Арсений Мациевич, митрополит Ростовский // РС. 1876. Т.16.
134. *Барсов Н.И.* Историческая справка о личности убийцы царевича Дмитрия // РС. 1883. Т. 39.
135. *Барсуков А.* Батюшков и Опочинин (Дело «о говорении важных злодейственных слов») // Рассказы из русской истории XVIII века по архивным документам. СПб., 1885.
136. *Барсуков А.* Узник Спасо-Ефимьева монастыря // Рассказы из русской истории XVIII века по архивным документам. СПб., 1885.
137. *Бартенев П.И.* Письма о докторе Санхесе // РА. 1865.
138. *Бартошек М.* Римское право. Понятия, термины, определения. М., 1989.
139. *Барышников Н.П.* Ф.О.Туманский и его цензорская деятельность в 1800—1801 гг. // РС. 1873. Т. 9.
140. *Бастарева Л.И., Сидорова В.И.* Петропавловская крепость. 3-е изд. Л., 1978.
141. *Бахрушин С.В.* Павел Хмелевский // Научные труды. М., 1955. Т. 3, ч. 1.
142. *Бахрушин С.В.* Андрей Федорович Палицын // Научные труды. М., 1955. Т. 3, ч. 1.
143. *Безродный А.В.* Описка в имени Петра Великого и ее последствия. Прошлый век в его нравах, обычаях и верованиях // РС. 1897. Т. 90.
144. *Белокуров С.А.* Дела о лицах, говоривших непристойные слова // Чт. ОИДР. 1887. Кн. 2.
145. *Белокуров С.А.* Дневальные записки Приказа тайных дел, 1765—1783 гг. М., 1908.
146. *Беляев А.П.* Воспоминания о пережитом и пережитом с 1803 года // РС. 1881 Т. 30.
147. *Беляев И.С.* Икотники и кликуши. К истории русских суеверий // РС. 1905. Т. 121.
148. *Беляев И.С.* Отрезание уха за кражу голиц. Бытовые очерки прошлого // РС. 1910. Т. 141.

149. Беркова К.Н. Процесс Людовика XVI. М., 1923.
150. Берхгольц Ф.Г. Дневник камер-юнкера. 1721—1725 гг. М., 1902—1903. Ч. 1—4.
151. Берхин И. Сожжение людей в России в XIII—XVIII вв. // РС. 1885. Т. 45.
152. Бестужев М.А. Мои тюрьмы // Воспоминания Бестужевых. М.; Л., 1951.
153. Бехтерев В.М. Коллективная рефлексология. Пг., 1921.
154. Бильбасов В.А. История Екатерины Второй. СПб.; Берлин, 1900. Т. 1—2.
155. Бильбасов В.А. Шлиссельбургская нелепа // ИВ. 1888. Т. 33.
156. Блудов Д.Н. Суд над графом Девьером и его соучастниками // Ковалевский Е.П. Собрание сочинений. СПб., 1871. Т. 1.
157. Бобровский П.О. Преступления против чести по русским законам до начала XVIII века // ЖГУП. 1889. Кн. 1.
158. Бобровский П.О. Происхождение «Артикула Воинского» и «Изображения процессов» Петра Великого. 2-е изд. СПб., 1881.
159. Боданов А. И. Описание Санктпетербурга. СПб., 1997.
160. Богословский М.М. Заговор Цыклера // Сб. ст. по русской истории, посвященных С.Ф. Платонову. Пб., 1922.
161. Богословский М.М. Областная реформа Петра Великого. Провинции 1717—1727 гг. М., 1902.
162. Богословский М.М. Палата об Уложении 1700—1703 гг. // Известия АН СССР. Отд. гуманитарных наук. 1927—1928. Ч. 1—2.
163. Богословский М.М. Петр I. М., 1946. Т.3.
164. Болебрух А.Г. Послание в Сенат участников волнения на Камчатке в 1771 г. // Рукописная традиция XVI—XVIII вв. на востоке России. Сб. ст. Новосибирск, 1983.
165. Болотов А.Т. Записки. 1737—1796 гг. Тула, 1988. Т. 1—2.
166. Борисов А.В. Руководители карательных органов в дореволюционной России. М., 1979. Вып. 1.
167. Бороздин А.К. Протопоп Аввакум. СПб., 1900.
168. Брикнер А.Г. Вскрытие чужих писем и депеш при Екатерине II // РС. 1873. Т. 7.
169. Брикнер А.Г. История Екатерины II. СПб., 1885. Т. 1—2.
170. Бруин, де Корнелий. Путешествие через Московию (при Петре Великом). М., 1873.
171. Буганов В.И. Московские восстания конца XVII века. М., 1969.
172. Булавинское восстание (1707—1708 гг.). М., 1935.
173. Бумаги князя М.Н. Волконского (1713—1789 гг.) // РА. 1865.
174. Буслаев Ф.И. Бес. К истории московских нравов XVII века. СПб., 1881.
175. Буссов Конрад. Московская хроника. 1584—1613 гг. М.; Л., 1961.
176. Были ли когда-нибудь в Соловецком монастыре подземные тюрьмы или погреба для колодников? // Архангельские губернские ведомости. 1872. № 55.
177. Валк С.Н. «Суд о крестьянх» в Палате об Уложении 1700 г. // Академику Б.Д. Грекову ко дню 70-летия. Сб. ст. М., 1952.
178. Васильчиков А.А. Семейство Разумовских. СПб., 1880. Т. 1—2.
179. Введенский С.Н. «Непригожие речи» о патриархе Филарете Никитиче. 1630 г.; «Демонские лики» в Рязани. 1671 г. // РС. 1914. Т. 57.
180. Веретенников В.И. Из истории Тайной канцелярии. 1731—1762 гг.: Очерки. Харьков, 1915.
181. Веретенников В.И. История Тайной канцелярии петровского времени. Харьков, 1910.

182. *Веселовский С.Б.* Документы о постройке Пустозерской тюрьмы, о попе Лазаре, Иване Красулине и Григории Яковлеве // Памятники первых лет русского старообрядчества. СПб., 1914.
183. Вести из России в Англию: Письма графа Ф.В. Ростопчина к графу С.Р. Воронцову // РА. 1878. Кн. 3.
184. Вечная память вместо многолетия. 1743 г. // РС. 1880. Т. 29.
185. *Викторский С.Н.* История смертной казни в России и современное ее состояние. М., 1912.
186. *Виллардо.* Описание жизни графа П.А. Толстого // РА. 1896. Кн. 1.
187. *Винский Г.С.* Мое время. СПб., 1915.
188. *Владимирский-Буданов М.Ф.* Обзор истории русского права. 6-е изд. СПб.; Киев. 1909.
189. *Власов В.И.* Арестант Василий Брягин // РС. 1873, Т. 9.
190. Внутренний быт русского государства с 17 октября 1740 по 25 ноября 1741 г. по документам, хранящимся в Московском архиве Министерства юстиции. М., 1880—1886. Кн. 1—2.
191. *Возный А.Ф.* Полицейский сыск и кружок петрашевцев: Учебное пособие. Киев, 1976.
192. Волнения крестьян в Лифляндии в 1777 году // СИМДМ.
193. *Воскресенский Н.А.* Законодательные акты Петра I. М.; Л., 1945.
194. Воспоминания крестьянина села Угодич Ярославской губернии Ростовского уезда Александра Артынова // Чт. ОИДР. 1880. Кн. 1.
195. Восстание в Москве 1682 г. Сб. документов. М., 1976.
196. Восстание Емельяна Пугачева. Сб. документов. Л., 1933.
197. Восстание московских стрельцов. 1698 год. Материалы следственного дела. Сб. документов. М., 1980.
198. Выписки из архива канцелярии Прибалтийского генерал-губернатора // ОВ. М., 1869. Т. 1.
199. Высочайший указ XVIII века // РС. 1916. Ч. 3.
200. *Высоцкий Н.Г.* К делу о царевиче Алексее Петровиче // РА. 1912. Кн. 2.
201. Выход Манштейна из русской службы // РА. 1872.
202. *Г.Б.* Сибирский царевич Василий Алексеевич в архангельской ссылке (1718—1727 гг.) // РС. 1905, Т. 122.
203. *Г.К.Р.* Заплечные мастера и кнуты // РС. 1887. Т. 56.
- 203а. *Гамбургер А.Ф.* Авраам Веселовский. Заметки из дневника Августа Крамера // РС. 1884. Т. 44.
204. *Гельбиг.* Случайные люди // РА. 1865.
205. *Геннин В.* Уральская переписка с Петром I и Екатериной I. Екатеринбург, 1995.
206. Георгий Дашков в ссылке на Каменном острове // РС. 1877. Т. 20.
207. *Герман Э.* Царствование Анны Иоанновны // РА. 1866.
208. *Гернет М.Н.* История царской тюрьмы. М., 1960. Т. 1.
209. *Гессен Ю.* Жизнь пленных в Московском государстве // РП. 1923. Т. 1.
210. *Голикова Н.Б.* Астраханское восстание. 1705—1706 гг. М., 1975.
211. *Голикова Н.Б.* Органы политического сыска и их развитие в XVII—XVIII вв. // Абсолютизм в России (XVII—XVIII вв.): Сб. ст. к 70-летию Б.Б. Кафенгауза. М., 1964.
212. *Голикова Н.Б.* Политические процессы при Петре I. М., 1957.

213. *Голицын А.* О мнимой княжне Таракановой. Лейпциг, 1863.
214. *Голобоков Ю.М.* Об окончании проекта Петропавловской крепости, утвержденного Петром I // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1986. Л., 1987.
215. *Голомбиевский А.А.* Дело о чародействе во второй половине XVIII века // РС. 1894. Т. 81.
216. *Голомбиевский А.А.* Сотрудники Петра Великого. Граф П.И. Ягужинский. Князь А.Д. Меншиков. СПб., 1903.
217. *Гольденберг Л.А.* Каторжанин — сибирский губернатор: Жизнь и труды Ф.И. Соймонова. Магадан, 1979.
218. *Горбачевский И.И.* Записки декабриста. СПб., 1916.
219. *Гордт, граф.* Плен в России (1759—1762 гг.) // РА. 1877.
220. *Горелов А.А.* Приговор Афанасию Хлопуше 6 марта 1768 г. // ВЛУ, 1965. № 8. Вып. 2. Вестник Ленингр. университета: Серия истории, языкознания и литературы.
221. *Горчаков М.* Монастырский приказ. 1649—1725 гг. СПб., 1868.
222. *Горяинов С.М.* Заточение Ф. Костюшки в крепости (1794—1795 гг.) // Чт. ОИДР. 1912. Кн. 1.
223. *Готье Ю.В.* История областного управления от Петра I до Екатерины II. М.; Л., 1941. Т. 2.
224. Грамота царя Алексея Михайловича о ссылке старцев, говорящих о царе и боярах «непристойные речи». О ссылке в Кириллов монастырь // Чт. ОИДР. 1885. Кн. 4.
225. *Грекулов Е.Ф.* Православная инквизиция в России. М., 1964.
226. *Греч Н.И.* Записки // РА. 1873.
227. *Грибовский В.М.* Высший суд и надзор в России в первой половине царствования Екатерины Второй. СПб., 1901.
228. *Грибовский Г.И.* Древнерусское право. Пг., 1917. Вып. 1—2.
229. *Григорович Н.* Извет Тредьяковского на Сумарокова // РА. 1907. Кн. 3.
230. *Грот Я.К.* Дети правительницы Анны Леопольдовны в Горсенсе. Рассказ по датским известиям // РС. 1875, Т. 12.
231. *Гуляев С.И.* К истории Пугачевщины // ИВ. 1881. Т. 5.
232. *Гуревич А.Я.* Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 1990.
233. *Гурлянд И.Я.* Приказ Великого государя тайных дел. Ярославль, 1902.
234. *Гурлянд И.Я.* Приказ сыскных дел // Сб. ст. по истории права, посвященный М.Ф. Владимирскому-Буданову. Киев, 1904.
235. *Давидсон А.Б., Макрушин В.А.* Облик далекой страны. М., 1975.
236. *Даль В.И.* Пословицы русского народа. М., 1984. Т. 1.
237. *Данилевский Г.* По какой причине император Иоанн Антонович перемещен из Холмогор в Шлиссельбург // РА. 1863.
238. *Дашкова Е.Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987.
239. Два следственных дела о служении священниками Ивановым и Андреевым по две литургии в день // Чт. ОИДР. 1877. Кн. 1.
240. *Джинчардзе В.З.* Военно-судное дело гвардии полковника Евграфа Осиповича Грузинова (1800 г.) // Ученые записки Новгородского педагогического института. 1956. Т. 1. Вып. 1.
241. Дела о лицах, говоривших непристойные слова // Беляев С.А. Материалы для русской истории. М., 1888.

242. Дела Сысского приказа о раскольниках // Чт. ОИДР. 1870. Кн. 2.
243. Дела Тайного приказа. СПб., 1907. Т. 118.
244. Дело Гурьевых и Хрушова (1762 год) // СИМДМ.
245. Дело Гурьевых и Хрушова // ПНРИ. Вып. 1
246. Дело о «ворожебных письмах», 1652 г. // РС. 1894. Т. 81.
247. Дело о князе Черкасском. 1733—1734 гг. // РА. 1871.
248. Дело о курляндском герцоге Эрнсте-Иоанне Бироне // Чт. ОИДР. 1862. Кн. 1.
249. Дело о маркизе Шетерди и об его высылке из России 1744 года // АВ. 1870. Кн. 1.
250. Дело о ношении государевой грамоты за голенищем // РС. 1888, Т. 77.
251. Дело о политическом подметном письме 1771 года // СИМДМ.
252. Дело о Феофане Прокоповиче // Чт. ОИДР. 1862. Кн. 1.
253. Дело царевича Алексея Петровича по известиям голландского резидента Де Биз // РА. 1907. Кн. 2.
254. Дело о чародействе во второй половине XVIII века // РС. 1894. Т. 81.
255. Дело об Арсении Мациевиче, бывшем митрополите Ростовском // Чт. ОИДР. 1862. Кн. 3.
256. Дело об Егоре Столетове, гофмейстере Андреяне Елагине, поручике князе Михайле Белосельском, мундшенке Сергее Нестерове и жене его, Марфе, 1736 года // Чт. ОИДР. 1864. Кн. 1.
257. Дело об измене ротмистра Хмелевского. 1614 г. // РА. 1863.
258. Дело по поводу стихотворения Тредиаковского // Чт. ОИДР. 1879. Кн. 1.
259. «Демонские лики» в Рязани (1671 г.) // РС. 1914, Т. 157.
260. Демченко В.Г. Историческое исследование о показаниях свидетелей по русскому праву до Петра Великого. Киев, 1859.
261. Дешети прусского посланника при русском дворе барона Акселя фон Мардефельда 1740 года // ДНР. 1876. Т. 1.
262. Державин Г.Р. Записки. 1743—1812. М., 1860.
263. Дитятин И.И. Статьи по истории русского права. СПб., 1895.
264. Для биографии графа Иоганна Эрнста Бирона // РА. 1867.
265. Для биографии Миниха // РА. 1866.
266. Дмитриев И.И. Взгляд на мою жизнь // Сочинения. М., 1986.
267. Дмитриев Ф. История судебных инстанций и гражданского апелляционного судопроизводства от Судебника до учреждения о губерниях. СПб., 1899.
268. Дмитриев-Мамонов А.И. Пугачевский бунт в Зауралье и Сибири. СПб., 1907.
269. Доброклонский А.П. Солотччинский монастырь, его слуги и крестьяне в XVII веке // Чт. ОИДР. 1880. Кн. 1.
270. Доклад императрице Елизавете Петровне о вдове Зотовой // АВ. Кн. 3.
271. Доклады и приговоры, состоявшиеся в Правительственном Сенате в царствование Петра Великого. СПб., 1887. Т.1. Вып. 1; Т. 3. Вып. 1.
272. Докучаев-Басков К. Чажинский раскольничий скит (1710—1854 гг.) // Чт. ОИДР. 1912. Кн. 1.
273. Долгорукая Н.Б. Собственноручные записки СПб., 1992.
274. Долгоруков П.В. Время императора Петра II и императрицы Анны Иоанновны. М., 1997.
275. Донесение московского генерал-губернатора гр. С.А. Салтыкова императрице Анне (1732 г.) // РА. 1866.

276. Доносы фискалов на Никиту Демидова. Из истории отечественного горно-заводства в царствование Петра I. 1711—1717 гг. // РС. 1887. Т. 54.
277. Доношение дьячка Василия Федорова на отставного капрала и волоколамского помещика Василия Кобылина в брани Царского величества, государя Петра I-го // Чт. ОИДР. 1860. Кн. 2.
278. Дополнения к Актам историческим. СПб., 1867. Т. 10; 1872. Т. 12; 1867. Т. 10; 1872. Т. 12.
279. Допрос Емельяна Пугачева в Москве в 1774—1775 гг. // КА. 1935. Т. 69—70.
280. Допрос пугачевского атамана Афанасия Хлопуши // КА. 1935. Т. 68.
281. Допросы и ответы бывшего царского посланника при Петербургском дворе маркиза Ботта-Адорно (1744 г.) // ИБСА.
282. Допросы Пугачева в отдельной секретной комиссии. Сентябрь 16, 1774 г. в Яишке // Чт. ОИДР. 1858. Кн. 2.
283. Драка генерал-майора князя Владимира Долгорукого с ассессором Иваном Даниловым. 1748 г. // РА. 1908. Т. 3.
284. Древняя российская вифлиофика. М., 1790. Т. 15.
285. Дубасов И.И. Очерки из истории Тамбовского края. М.; Тамбов, 1883—1884. Вып. 2—4.
286. Дубровин Н.Ф. Пугачев и его сообщники. СПб., 1884. Т. 1—3.
287. Дубровский Н. О жене князя М.А. Голицына, италианке // Чт. ОИДР. 1865. Кн. 3.
288. Дубровский Н. Последние годы жизни государыни царицы Евдокии Федоровны // Чт. ОИДР. 1865. Кн. 3.
289. Дулов А.В., Крылов И.Ф. Из истории криминалистической экспертизы в России. Экспертиза документов. М., 1960.
290. Желябужский И.А. Записки // Россия при царевне Софье и Петре I: Записки русских людей. М., 1990.
291. Жижин В.Д. Ссылка в России. Законодательная история русской ссылки // ЖМЮ. 1900. № 2.
292. Жизнь и похождения российского Картуша, именуемого Каина, известного мошенника и того ремесла людей сыщика, за раскаяние в злодействе получившего от казни свободу, но за обращение в прежний промысел, сосланного вечно в каторжную работу, прежде в Рогервик, а потом в Сибирь, написанная им самим при Балтийском порте в 1764 году. СПб., 1777.
293. Жильцов С.В. Смертная казнь в истории отечественного права (V — середина XVII века): Автореф. дис. канд. ист. наук. Саратов, 1997.
294. Журнал дежурных генерал-адъютантов, 1748 год. СПб., 1897.
295. Журнал или Поденная записка императора Петра Великого. СПб., 1770. Ч. 1.
296. Забелин И.Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. М., 1895, Ч. 1.
297. Забелин И.Е. Преображенское или Преображенск. М., 1883.
298. Завешание императрицы Екатерины Второй по делу Артемия Волинского 1765 года // Чт. ОИДР. 1858. Кн. 4.
299. Загоскин Н.П. История права Московского государства. Казань, 1877. Ч. 1.
300. Загоскин Н.П. Очерк истории смертной казни в России. Казань, 1892.
301. Зайченко А.Б. Взгляды Петра I на власть и закон // Историко-правовые исследования: проблемы и перспективы. Сб. ст. М., 1982.
302. Законодательные акты Русского государства второй половины XVI — первой половины XVII века: Тексты. Л., 1986.

303. *Замураев А.С.* Проект Уложения Российского государства 1723—1726 гг. — памятник отечественной политико-правовой мысли. СПб., 1993.
304. Записка об Артемии Волинском // Чт. ОИДР. 1858. Кн. 2.
305. Записка о бунте, произведенном Бениовским в Большерецком остроге и о последствиях онаго // РА. 1865.
306. Записки иностранцев о восстании Степана Разина. Л., 1968.
307. *Зерцалов А.* К материалам о оружии в древней Руси. Сыскное дело 1642—1643 гг. о намерении испортить царицу Евдокию Лукьяновну. М., 1895.
308. *Зерцалов А.* О большом сыске поместных и денежных окладов стольников, стряпчих, дворян московских и детей боярских в начале XVII-го века (1622 г.) // Чт. ОИДР. 1865. Кн. 3.
309. *Зальникова Н.Д.* Институт «Слова и дела» и сибирское духовенство в XVIII в. // Социально-экономические отношения и классовая борьба в Сибири до-октябрьского периода: Сб. ст. Новосибирск, 1987.
310. *Зуев А.С., Миненко Н.А.* Секретные узники сибирских острогов (Очерки истории политической ссылки в Сибири второй четверти XVIII в.). Новосибирск, 1992.
311. *Евреинев Н.* История телесных наказаний в России. Харьков, 1994.
312. *Екатерина II.* Антидот (Противоядие). Полемическое сочинение Екатерины II-й или разбор книги аббата Шаппа д'Отроша о России // ОВ. 4.
313. *Екатерина II.* Записки императрицы. М., 1990.
314. *Екатерина II.* Собственные ее повеления, письма и заметки. 1770—1792 // РС. 1875. Т. 14.
315. *Елагин С.И.* История русского флота. Период азовский. СПб., 1864. Т. 1.
316. Емельян Пугачев на следствии: Сб. документов и материалов. М., 1997.
317. *Ермилов Н.Е.* Очерки старинного быта // ИВ. 1888, Т. 33.
318. *Есипов Вл.* Святотатство в истории русского законодательства. Варшава, 1893.
319. *Есипов В.В.* Уголовное право. Часть особенная: Преступления против государства и общества. М., 1906.
320. *Есипов Г.В.* Ванька Каин // ОВ. Т. 3.
321. *Есипов Г.В.* Государево дело // ДНР. 1880. Т. 16.
322. *Есипов Г.В.* Люди старого века. Рассказы из дел Преображенского приказа и Тайной канцелярии. СПб., 1880.
323. *Есипов Г.В.* Монах Самуил: Эпизод из истории раскола // ДНР. 1879. Т. 15.
324. *Есипов Г.В.* О кладе Александра Македонского и Дария Персидского. 1703 г. // РС. 1872. Т. 5.
325. *Есипов Г.В.* Раскольничьи дела XVIII столетия. СПб., 1861—1863. Т. 1—2.
326. *Есипов Г.В.* Салтанское письмо: Из дел Тайной канцелярии // ИВ. 1881. Т. 4.
327. *Есипов Г.В.* Собрание документов по делу царевича Алексея Петровича. М., 1861.
328. *Есипов Г.В.* Ссылка князя Мсншикова. 1727 // ОЗ. 1860. № 8; 1861. № 1, 3.
329. *Есипов Г.В.* Тяжелая память прошлого. СПб., 1885.
330. *Есипов Г.В.* Царица Евдокия Федоровна. М., 1863.
331. *Есипов Г.В.* Чернец Федос // ОЗ. 1862. № 6.
332. *Есипов Г.В.* Яганна Петрова, камер-медхен Екатерины I-й // ИВ. 1880. № 3.
333. *Ефименко П.С.* Калнишевский, последний кошевой Запорожской Сечи // РС. 1875. Т. 14.
334. *Ефимов Н.* Казнь ведьмы в Шекоцинах // РА. 1903. Кн. 3.

335. *Ефимов С.В.* Политический процесс по делу царевича Алексея: Дис. ... канд. ист. наук. СПб., 1997.
336. *Ефимов С.В.* Тайная канцелярия в С.-Петербурге при Петре I (Размещение, внутренняя организация, финансирование) // Петербургские чтения-95: Материалы научной конференции. СПб., 1995.
337. *Ефремов П.А.* Мнимый сын Голштинского принца: (Из дел Тайной экспедиции) // ПНРИ. Т. 3.
338. *Ефремов П.А.* Лукин и Ельчанинов. СПб., 1868.
339. *Ефремов П.А.* Степан Иванович Шешковский // РС. 1870. Т. 2.
340. Еще письмо Миниха из Сибири // РА. 1866.
341. *Игнатьев Р.* Из жизни государыни-невесты княжны Е.А. Долгоруковой // РА. 1866.
342. *Иванов А.П.* Соловецкая монастырская тюрьма. Соловки, 1927.
343. *Иванов П.И.* Судное дело над действительным тайным советником бароном Шафировым и обер-прокурором Сената Скорняковым-Писаревым // ЖМЮ. 1859. № 3.
344. *Иванов О.А.* Тайны старой Москвы. М., 1997.
345. Из архива Харьковского наместничества. 1791—1799 гг. // РА. 1886. № 6.
346. Из бумаг генерал-прокурора князя А.А. Вяземского // РА. 1878. № 2.
347. Из бумаг Николая Петровича Архарова: Письма к нему Екатерины II, императоров Павла Петровича и Александра Павловича и некоторых правительственных лиц // РА. 1864.
348. Из истории русских суеверий. Челобитная 1685 г. // РС. 1910. Т. 143.
349. Из подлинных бумаг елизаветинского царствования // ОВ. Т. 4.
350. Известие о смертной казни Соковину с товарищи за умысел противу жизни государя Петра I. 1696, марта 7 и 9-го // Собрание разных записок и сочинений, служащих к доставлению полного сведения о жизни и деяниях государя императора Петра Великого. СПб., 1787. Ч. 5.
351. Известия о братьях Коржавиных (1753—1760 годов) // ИБСА.
352. Извет на Коржавиных, пришедший из Лондона // АВ. Кн. 3.
353. «Изветное дело» об оскорблении царской «парсуны» 1660 года // РС. 1894. Т. 81.
354. Изложение вин графов Остермана, Миниха, Головкина и других, сужденых в первые месяцы вступления на престол императрицы Елизаветы Петровны // ИБСА.
355. *Иконников В.С.* Арсений Мациевич // РС. 1879. Т. 26.
356. *Иллустров И.* Юридические пословицы и поговорки русского народа. М., 1885.
357. Источники малороссийской истории, собранные Д.Н. Бантыш-Каменским. Ч. 2 (1691—1722 гг.) // Чт. ОИДР. 1859. Кн. 1.
358. Императрица Екатерина II. Собственные ее повеления, письма и заметки. 1770—1792 гг. // РС. 1875. Т. 14.
359. *Иоасаф Батулин.* Эпизод из царствования Елизаветы Петровны // Барсуков А. Рассказы из русской истории XVIII века по архивным документам. СПб., 1885.
360. Исторические бумаги XVIII века времен Анны Ивановны // Русская беседа. 1860. Т. 26. Кн. 20.
361. Исторические документы 1742 года // РА. 1864.

362. Исторический отрывок о кончине принца Иоанна Антоновича Ульриха. Записка канцлера В.П. Кочубея // Чт. ОИДР. 1860. Кн. 3.
363. История о невинном заточении ближнего боярина Артемона Сергеевича Матвеева. 2-е изд. М., 1785.
364. История Правительствующего Сената. СПб., 1911. Т. 2.
365. Итигина Л.А. К вопросу о репертуаре оппозиционного театра Елизаветы Петровны в 1730-е годы // XVIII век. Сб. 9. Л., 1974.
366. К биографии Феодосия, архиепископа Новгородского. Письмо генерала Ушакова архимандриту Кирило-Белозерского монастыря. 7 марта 1732 г. // РС. 1897. Т. 91.
367. К истории сожжения книг у нас // Чт. ОИДР. 1872. Кн. 3.
368. Казак Федор Каменщиков // ПНРИ. Т. 3.
369. Казнь царевича Алексея Петровича: Письмо Александра Румянцева к Титову Дмитрию Ивановичу // РС. 1905. Т. 123.
370. Канн П.Я. Площадь Труда. Л., 1981.
371. Канторович Я. Средневековые процессы о ведьмах. СПб., 1899.
372. Карабанов П.Ф. Исторические рассказы и анекдоты, записанные со слов именитых людей // РС. 1872. Т. 5; 1874. Т. 10.
373. Карамзин Н.М. О Тайной канцелярии // Записки старого московского жителя. Избранная проза. М., 1986.
374. Карасев А.А. Евграф и Петр Осиповичи Грузиновы // РС. 1878. Т. 23.
375. Карасев А.А. Казнь братьев Грузиновых 27 октября 1800 г. // РС. 1873. Т. 7.
376. Кафенгауз Б.Б. И.Т.Посошков. Жизнь и деятельность. М.; Л., 1950.
377. Кашкаров В.М. Государево «Слово и дело» // РА. 1912. Кн. 1.
378. Кистяковский А.Ф. Исследования о смертной казни. Киев, 1867.
379. Кичеев П. Салтычиха // РА. 1864.
380. Клибанов А.И. Народная социальная утопия в России: Период феодализма. М., 1977.
381. Ключевский В.О. Боярская дума М., 1902.
382. Книга записная именным письмам и указам императриц Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны Семену Андреевичу Салтыкову. 1732—1742 гг. // Чт. ОИДР. 1878. Кн. 1.
383. Книга пожиткам бывшего черниговского полковника Павла Полуботка и детей его, Андрея и Якова Полуботков // Чт. ОИДР. 1863. Кн. 3.
384. Княжна Екатерина Алексеевна Долгорукая в ссылке в Березове и монастыре в Томске // Тобольские губернские ведомости. 1871. № 3.
385. Князя Долгоруковы в 1730—1740 гг. // РС. 1878. Т. 23.
386. Кобахидзе М. К вопросу о возникновении и развитии тайного политического сыска в России // Труды Тбилисского университета, 1977. Т. 193: Право, психология, политэкономия.
387. Козловский И.П. Андрей Вениус, сотрудник Петра Великого (1641—1717 гг.). СПб., 1911.
388. Кодан С.В. Политическая ссылка в системе карательных мер самодержавия первой половины XIX в. Иркутск, 1980.
389. Кодан С.В. Устав об этапах 1822 года // Государственно-правовые институты самодержавия в Сибири. Иркутск, 1982.
390. Козловский И. Сильвестр Медведев: Очерки из истории русского просвещения и общественной жизни в конце XVII века. Киев, 1895.
391. Кокс У. Тюрьмы и госпиталя в России в 18-м веке // РС. 1907. Т. 131.

392. Колесников А.Д. Ссылка и заселение Сибири // Ссылка и каторга в Сибири XVIII—XIX вв. Новосибирск, 1975.
393. Колесников В.П. Записки несчастного, содержащие путешествие в Сибирь по канату. СПб., 1914.
394. Колесников И.Ф. Экспертиза «подметного письма» // Труды МГИАИ. М., 1954. Т. 7.
395. Коллинс С. Нынешнее состояние России, изложенное в письме к другу, живущему в Лондоне. М., 1846.
396. Кологривов С. Новонайденный труд Екатерины Великой // РА. 1908. № 8.
397. Колчин М.А. Ссылные и заточенные в острог Соловецкого монастыря в XVI—XIX вв. М., 1908.
398. Конисский Г. История Руссов или Малой России. М., 1846.
399. Корб И.Г. Дневник путешествия в Московию (1698 и 1699 гг.). СПб., 1906.
400. Корж Н.Л. Устное повествование бывшего запорожца. Одесса, 1842..
401. Корольков М. Поручик Федор Кречетов: Шлиссельбургский узник XVIII столетия // Былое. 1906. № 4.
402. Корсаков А.Н. Степан Иванович Шешковский (1727—1794) // ИВ. 1885. Т. 22.
403. Корсаков Д.А. Артемий Петрович Волинский // ДНР. 1877. Т. 2.
404. Корсаков Д.А. Артемий Петрович Волинский // Из жизни русских деятелей XVIII века. Казань, 1891.
405. Корсаков Д.А. Воцарение императрицы Анны Иоанновны. Казань, 1880.
406. Корсаков Д.А. Князь Иван Алексеевич Долгорукий, фаворит и обер-камергер императора Петра II // Из жизни русских деятелей XVIII века. Казань, 1891.
407. Корсаков Д.А. Князь С.Г. Долгорукий и его семья в ссылке (Их жизнь в Ренненбурге с 1730 по 1737 г.) // ИВ. 1880, март.
408. Корсаков Д.А. Ссылка князя Василия Лукича Долгорукого в село Знаменское // Чт. ОИДР. 1881. Кн. 1.
409. Корсаков Д.А. Суд над князем Д.М. Голицыным (1736—1737 гг.) // ДНР. 1879. Т. 15.
410. Корф М.А. Брауншвейгское семейство. М., 1993.
411. Костомаров Н.И. Императрица Елизавета Петровна // Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. СПб., 1888. Кн. 3. Вып. 6.
412. Костомаров Н.И. Мазепа и мазепинцы // Собр. соч. СПб., 1905. Кн. 6. Т. 16.
413. Костомаров Н.И. Павел Полуботок // РС. 1876. Т. 15.
414. Костомаров Н.И. Руина. Гетманство Бруховецкого, Многогрешного и Самойловича // Собр. соч. СПб., 1905. Кн. 6. Т. 15.
415. Котошихин Г.К. О России в царствование Алексея Михайловича. 4-е изд. СПб., 1906.
416. Кочубей В.П. Исторический отрывок о кончине принца Иоанна Антона Ульриха // Чт. ОИДР. 1860. Кн. 3.
417. Кошелева О.Е. Побег Воина // Казус 1996: Индивидуальное и уникальное в истории. Альманах. М., 1997.
418. Крестьянская война в России в 1773—1775 годах. Восстание Пугачева. Л., 1965—1970. Т. 1—3.
419. Крушение «Полудержавного властелина»: Документы следственного дела князя А.Д. Меншикова // ВИ. 1970. № 9.
4196. Куник А.А. Дети правительницы Анны Леопольдовны. 1740—1807 гг. // РС. 1873. Т. 7.

420. Куракин Б.И. Записки // Архив князя Ф.А. Куракина. СПб., 1890. Т. 1.
421. Ламбин П.П. Булавинский бунт // РС. 1870. Т. 2.
422. Ланге Н.Н. Древнерусское уголовное судопроизводство. СПб., 1884.
423. Лапин-Сибиряк Н.А. «Гражданская казнь» в Омске 15 мая 1868 года // ВИ. 1966. № 9.
424. Латкин В.Н. Законодательные комиссии в России в XVIII ст. СПб., 1887.
425. Латкин В.Н. Лекции по внешней истории русского права. СПб., 1888.
426. Латкин В.Н. Учебник истории русского права периода империи (XVIII и XIX столетия). СПб., 1909.
427. Лашкевич С. Историческое замечание о смертной казни самозванца Александра Семикова, выдававшего себя за царевича Алексея Петровича // Чт. ОИДР. 1860. Кн. 1.
428. Левинсон А.Г. Массовые представления об «исторических личностях» // Одиссей. Человек в истории. М., 1996.
429. Леец Георг. Абрам Петрович Ганнибал. Таллинн, 1984.
430. Леонид, архимандрит. Благоверная царевна великая княжна Марфа Алексеевна // РА. 1882. Кн. 3.
431. Линовский В. Опыт исторических розысканий о следственном уголовном судопроизводстве в России. Одесса, 1849.
432. Липинский М.К. К истории русского уголовного права XVIII в. // ЖГУП. 1885. Кн. 10.
433. Лопухин И.В. Записки сенатора. М., 1990.
434. Лотман Ю.М. «Договор» и «вручение себя» как архетипические модели культуры // Проблемы литературной типологии и исторической преемственности: Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. Вып. 32. 1981. (Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 513).
435. Лунинский Э. Княжна Тараканова: Исследование по актам государственного архива. М., 1909.
436. Луппов С.П. История строительства Петербурга в первой четверти XVIII века. М.; Л., 1957.
437. Луппов С.П. Книга в России в первой четверти XVIII века. Л., 1973.
438. Лурье С.С. Княжна Тараканова // ВИ. 1966. № 10.
439. Лурье Ф.М. Полицейские и провокаторы. СПб., 1992.
440. Ляликов Ф. Предание о казни Пугачева // РА. 1877. Кн. 2.
441. М. Княжна Тараканова и принцесса Владимирская // РВ. 1867. № 5—6, 8.
442. М.И.Сурмина // РА. 1912. Кн. 2.
443. Майков Л.М. Лев Юрлов и его письмо к родственникам // РА. 1868.
444. Майков Л.М. К истории русских суеверий // РС. 1873. Т. 7.
445. Майков П. Граф Миних в Сибири // РС. 1900. Т. 101.
446. Майнов В.Н. Скопеческий ересиарх Кондратий Селиванов: Ссылка его в Спасо-Ефимьев монастырь // ИВ. 1880. Т. 4.
447. Макагоненко Г.П. Николай Новиков и русское Просвещение XVIII века. М.; Л., 1951.
448. Макарий, архимандрит. Последние дни князя Василия Лукича Долгорукого в Соловецком монастыре // Чт. ОИДР. 1880. Кн. 3.
449. Макарий, архимандрит. Последние дни жизни графов Петра и Ивана Толстых // Чт. ОИДР. 1880. Кн. 3.
450. Макарий, архимандрит. Извлечение из следственного дела о тверском архиепископе Феофилакте Лопатинском и о соприкосновенных к нему лицах,

- в особенности об иеромонахе Иосифе Решилове и архимандрите Иоасафе Маевском 1733—1735 года // Чт. ОИДР. 1863. Кн. 4.
451. *Максимов С.В.* Сибирь и каторга // Собр. соч. 4-е изд. СПб., б.г. Т. 1, ч. 1.
452. *Максимов С.В.* Политические и государственные преступники // Сс. 4-е изд. СПб., б.г. Т. 3, ч. 3.
453. *Максимов С.В.* Крылатые слова // Собр. соч. 3-е изд. СПб., 1909. Т. 15.
454. *Максимов С.В.* Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1994.
455. *Мамсик Т.С.* Побег как социальное явление. Приписная деревня Западной Сибири в 40—90-е гг. XVIII в. Новосибирск, 1978.
456. Манифест императрицы Екатерины II об умерщвлении принца Иоанна Антоновича // Чт. ОИДР. 1861. Кн. 1.
457. *Манштейн К.Г.* Записки о России. 1727—1744 гг. СПб., 1875.
458. *Маньков А.Г.* Уложение 1649 г. — кодекс феодального права России. Л., 1980.
459. *Марголис А.Д.* Каторга в Санкт-Петербурге петровского времени // Петербургские чтения: Тезисы докладов конференции, 23—27 мая 1994 года. СПб., 1994.
460. *Марголис А.Д.* Тюрма и ссылка в императорской России: Исследования и архивные находки. М., 1995.
461. *Маркон И.Ю.* Дело о сожжении отставного капитан-поручика А. Возницына за отпадение в еврейскую веру и Бороха Лейбова за соращение его (1738 г.) // Пережитое. СПб., 1910—1913. Т. 2—4.
462. Материалы, касающиеся до суда над Бироном и ссылки его 1740—1741 годов // ИМСА.
463. Материалы по истории волнений на крепостных мануфактурах в XVIII веке. М.; Л., 1937.
464. Материалы по истории крестьянского и помещичьего хозяйства первой четверти XVIII в. М., 1954.
465. *Мартемыанов Т.А.* Из истории цензуры русской народной песни // ИВ. 1904.
466. *Медведев С.А.* Созерцание краткое лет 1790, 91 и 92, в них же что содеяно во гражданстве // Россия при царевне Софье и Петре I: Записки русских людей. М., 1990.
467. Мемуары декабристов. Северное общество. М., 1981.
468. *Мерцалов А.Е.* Георгий Дашков в ссылке на Каменном острове // РС. 1877. Т. 20.
469. *Мерцалов А.Е.* Наказание за святотатство и оскорбление священника в 1757 году // РС. 1883. Т. 39.
470. *Мессельер Г. де ла.* Записки о пребывании его в России с мая 1757 по март 1759 года // РА. 1874. Кн. 1.
471. *Миненко Н.А.* Узники Березовского острога // Ссылка и каторга в Сибири (XVIII — начало XX вв.): Сб. ст. Новосибирск, 1975.
472. *Миттермайер К.* Смертная казнь по результатам научных исследований, успехов законодательства и опытов. СПб., 1864.
473. *Михайлов М.М.* Русское гражданское судопроизводство в историческом развитии от Уложения 1649 года до издания Свода законов. СПб., 1856.
474. *Михневич В.И.* Наши знакомые: Фельетонный словарь современников. СПб., 1884.
475. Мнение Государственного совета о месте наказания преступников // РС. 1904. Т. 117.
476. Мнимый сын Голштинского принца: (Из дел Тайной экспедиции) // ПНРИ. Т. 3.

477. Мнение адмирала Мордвинова о смертной казни // Чт. ОИДР. 1959. Кн. 4.
478. Мнение адмирала Мордвинова о клеймении лица у преступников // Чт. ОИДР. 1859. Кн. 4.
479. Мнение адмирала Мордвинова о кнуте, орудии наказания // Чт. ОИДР. 1859. Кн. 4.
480. Мнение адмирала Мордвинова об оскорблении величества // Чт. ОИДР. 1859. Кн. 4.
481. *Мордовцев Д.Л.* Бытовые черты прошлого века: Мнимые видения и пророчества. СПб., 1892.
482. *Мордовцев Д.Л.* Самозванцы и понизовская вольница. 2-е изд. СПб., 1886. Т. 1—2.
483. *Морошкин И.Я.* Арсений Мациевич, митрополит Ростовский, в ссылке // РС. 1885. Т. 45.
484. *Морошкин И.Я.* Феофилакт Лопатинский, Архиепископ Тверской. 1706—1744 гг. // РС. 1886. Т. 49.
485. *Морошкин И.Я.* Феодосий Яновский, архиепископ Новгородский // РС. 1887. Т. 56.
486. Московский Кремль в старину и теперь. М., 1912.
487. *Мрочек-Дроздовский П.Н.* История русского права. М., 1892.
488. Мужик на царском дворе ночью. 1686 г. // РС. 1912. Т. 11.
489. *Мурзакевич Н.Н.* Подметное воззвание Левенгаупта, 1708 г. // РС. 1876. Т. 16.
- 489а. *Невилль де ла.* Записки о Московии. М., 1996.
490. *Незеленов А.* Новиков в Шлиссельбургской крепости: По новым документам // ИВ. 1882. Т. 10.
491. Некоторые подлинные черты из истории Рогожского и других старообрядческих кладбищ // РА. 1864.
492. Несколько сведений о Федоре Ивановиче Соймонове, бывшем Сибирским губернатором. 1740—1763 гг. // Чт. ОИДР. 1865. Кн. 3.
493. *Нечаев В.Н.* Публикация о винах кн. А.Д. Меншикова // РИЖ. 1921. № 7.
494. *Нечаев В.Н.* Следственные допросы кн. А.Д. Меншикова // РИЖ. 1922. № 8.
495. *Никитин В.Н.* Тюрьма и ссылка: Историческое, законодательное, административное и бытовое положение заключенных, пересыльных детей и освобожденных из-под стражи со времени возникновения русской тюрьмы до наших дней. 1560—1880 гг. СПб., 1880.
496. *Никольский Н.К.* Белозерский монастырь. СПб., 1897. Т. 1.
497. Н.И.Новиков и его современники: Избранные сочинения. М., 1961
498. *Новомбергский Н.* Материалы по истории медицины в России. СПб., 1905.
499. *Новомбергский Н.* Колдовство в Московской Руси XVII столетия. СПб., 1906.
500. *Новомбергский Н.Я.* Слово и дело государевы. М., 1911. Т. 1.
- 500а. *Новосельский А.А.* Побег крестьян и холопов и их сыск в Московском государстве второй половины XVII в. // Труды Института истории РАН. М., 1926. Вып. 1.
501. О беглом гусаре Штырском, грозившем государыне войною (1754 г.) // ИБСА.
502. О выплавке на Нерчинских заводах серебра с 1704 по 1768 год // Чт. ОИДР. 1864. Кн. 3.
503. О выходе Манштейна из русской службы // РА. 1872.
504. О графе Мартыне Скавронском, на которого доносил его служитель, что он называл себя императором // ИБСА.

505. О дворовом человеке Алексееве, показавшем о толках, касавшихся принцессы Анны и ее сына Иоанна (1754 года) // ИБСА.
506. О камер-лакее Турченинове и других лицах, сужденных за намерение лишить престола императрицу Елисавету (1742 года) // ИБСА.
507. О капитане фон-Массау, говорившем худо о русских (1742 года) // ИБСА.
508. О колоднике Метелягине, рассказавшем легенду, что Петр II жив (1754 года) // ИБСА.
509. О лицах, сужденных за распространение нелепых слухов о графе А. Разумовском (1753 года) // ИБСА.
510. О лифляндце Стакельберге, обвинявшемся в политических толках против России (1746 года) // ИБСА.
511. О лицах, сужденных за распространение нелепых слухов о графе Алексее Разумовском (1743 года) // ИБСА.
512. О наказании грузинца Дмитриева за ложный оговор своей госпожи и ее брата (1754 года) // ИБСА.
513. О самозванцах, являвшихся при Екатерине II в Воронежской губернии // Ковалевский Е.П. Собр. соч. СПб., 1871. Т. 1.
514. О сержанте Первове, наказанном за рассказ легенды о Петре Великом (1744 года) // ИБСА.
515. О ссылке князя Ивана Хованского в Сибирь 1645 г. // Чт. ОИДР. 1909. Кн. 1.
516. О ссыльных в Сибири в 1639—1641 гг. // Чт. ОИДР. 1909. Кн. 2.
517. О шведе Фальке, слуге Стакельберга (1749 года) // ИБСА.
518. Об Иоасафе Батурине и других лицах, сужденных за покушение к возмущению народа (1753 года) // ИБСА.
519. Обряд, како обвиненный пытается // РС. 1873. Т. 9.
520. Обвинение и ссылка пастора Зейдера // РС. 1878. Т. 21.
521. Обстоятельства, приготовившие опалу Эрнста-Иоанна Бирона, герцога Курляндского. Записка Бирена // Хмыров М.Д. Исторические статьи. СПб., 1873.
522. *Овчинников Р.В.* Следствие и суд над Е.И. Пугачевым и его сподвижниками. М., 1995.
523. *Овчинников Р.В.* Манифесты и указы Е.И. Пугачева. М., 1980.
524. *Оглобин Н.Н.* Дело о ношении царской грамоты «не по чину — за голенищем». 1660 г. // РС 1894. Т. 81.
525. Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. СПб., 1868—1879. Т. 1—4.
526. *Олеарий Адам.* Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. СПб., 1906.
527. Описание бунта, бывшего в 1682 году // Туманский Ф. Собрание разных записок и сочинений, служащих к доставлению полного сведения о жизни и деяниях государя императора Петра Великого. СПб., 1787. Ч. 1.
528. *Опочинин Е.Н.* Очерки старорусского быта. Боярский дом в XVII столетии. Опальный воевода. М., 1901.
529. Орловские разбойники в 1765 г. // РС. 1897. Т. 89.
- 529а. Осмнадцатый век: Исторический сборник. М., 1869. Т. 1—4.
530. Отзыв Екатерины II об Арсении Мацеевиче // РС. 1875. Т. 14.
531. П.С. Потемкин во время Пугачевщины: Материалы для истории Пугачевского бунта // РС. 1870. Т. 2.

532. *Павленко Н.И.* Петр I: (К изучению социально-политических взглядов) // Россия в период реформ Петра I: Сб. ст. М., 1973.
533. *Павленко Н.И.* Полудержавный властелин. М., 1988.
534. *Павленко Н.И.* Петр Великий. М., 1990.
535. *Павлов-Сильванский Н.П.* Государевы люди // Сочинения. СПб., 1909. Т. 1.
536. *Павлов-Сильванский Н.П.* Граф Петр Андреевич Толстой (Прашур графа Льва Толстого) // Сочинения. СПб., 1910. Т. 2.
537. Памятники сибирской истории XVIII века. СПб., 1882. Кн. 1—2.
538. Памятники русского права. Вып. 3: Памятники права периода образования Русского централизованного государства XIV—XV вв. М. 1955; Вып. 5: Памятники права периода сословно-представительной монархии. Первая половина XVII в.. М., 1959.
539. *Панин В.Н.* О самозванке, выдававшей себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны, по архивным источникам с документами. М., 1867.
540. *Панин П.И.* Русский двор в 1725—1744 гг.: Замечания графа Петра Ивановича Панина на «Записки» генерала Манштейна о России // РС. 1889. Т. 26.
541. *Панчулидзе С.* История кавалергардов. 1724—1799—1899 гг. СПб., 1899.
542. *Пассек В.* Орывок жизни Василия Пассека, им самим сочиненный // РА. 1863.
543. *Пекарский П.* Маркиз де ла Шетарди в России 1740—1742 годов. СПб., 1862.
544. *Пекарский П.* Приключения посадского Ивана Зубарева в России, Пруссии и Польше и показания его о намерении короля Фридриха II возвести на русский престол принца Иоанна Антоновича при содействии раскольников // ИБСА.
545. Переписка императрицы Анны Иоанновны с московским губернатором графом С.А. Салтыковым // РА. 1873.
546. *Перри Д.* Состояние России при нынешнем царе. М., 1871.
547. Петербургское общество при восшествии на престол императора Николая по донесениям М.М. Фока А.Х. Бенкендорфу, июль—сентябрь 1826 // РС. 1881. Т. 32.
548. *Петров А.В.* Царевич Алексей Петрович в его выписках из Барония // Исторический литературный сборник, посвященный В.И. Срезневскому. Л., 1924.
549. *Петров П.Н.* А.Я. Шубин // СИММ.
550. *Петровский С.* Князь В.В. Голицын (1633—1714 гг.) // РС. 1877. Т. 19.
551. *Пилявский В.И.* Петропавловская крепость. Л., 1967.
552. *Пионтковский С.* Архив Тайной экспедиции о крестьянских настроениях 1774 г. // ИМ. 1935. Кн. 7.
553. *Пионтковский С.* Крестьянские выступления 1775—1795 гг. по данным Тайной экспедиции // ИМ. 1935. Кн. 10.
554. Письма государыни императрицы Екатерины II-й к князю Михаилу Никитичу Волконскому // ОВ. Кн. 1.
555. Письма графа А.П. Бестужева-Рюмина к графу М.Л. Воронцову // АВ. Кн. 2.
556. Письма от генерал-прокурора князя А.А. Вяземского к коменданту Динабургской крепости Виганту // РА. 1909. Кн. 12.
557. Письма Екатерины II-й к Я.Е. Сиверсу // РА. 1870.
- 557а Письма и бумаги Петра Великого. СПб.; М., 1887—1950. Т. 1—9.
558. Письма и выписки из писем С.-Петербургского генерал-полицмейстера Девьера к князю А.Д. Меншикову. 1719—1727 гг. // РА. 1865.

559. Письма императрицы Екатерины II к князю А.А. Вяземскому // РА. 1865.
560. Письма императрицы Екатерины II к А.И. Бибикову во время Пугачевского бунта (1774 г.) // РА. 1866. Кн. 3.
- 560а Письма императрицы Екатерины Великой к фельдмаршалу Петру Семеновичу Салтыкову. 1762—1771 гг. // РА. 1886. № 3.
561. Письма к разным лицам, заметки и наброски мыслей государыни императрицы Екатерины II-й // РА. 1866.
562. Письма, касающиеся заговора маркиза Ботты // АВ. Кн. 2.
563. Письмо генерал-прокурора князя А.А.Вяземского к коменданту Динабургской крепости Виганту // РА. 1909. Т. 3.
564. Письмо обер-фискала Нестерова к князю Меншикову // ДНР. 1876. Т. 17.
565. Письмо Петра Великого к генерал-пленипотенциару князю Я.Ф. Долгорукому // РА. 1873.
566. План романа из жизни Мировича и записка о нем Г.Ф. Квитки-Основьяненко // РА. 1863.
567. *Плейер О.-А.* О нынешнем состоянии государственного управления в Московии в 1710 г. М., 1874.
568. Плен графа Гордта в России (1759—1762 гг.) // РА. 1877. Кн. 2.
569. По делу Мировича // СИММ.
570. По делу о двух крестьянках жены подпрапорщика Зягряжского, сужденных в смертоубийстве по случаю найденного в лесу мертвого тела // Чт. ОИДР. 1860. Кн. 4.
571. *Победоносцев К.* Исторические исследования и статьи. СПб., 1876.
572. Подлинное дело Новгородского архиепископа Феодосия. Новые материалы для истории царствования Екатерины I-й (1725 г.) // РА. 1864.
573. Подлинныя бумаги до бунта Пугачева относящиеся // Чт. ОИДР. 1860. Кн. 2.
574. Подметное письмо государю императору Петру Первому // Чт. ОИДР. 1860. Кн. 2.
575. Подметное письмо 1728 года (Из дел Преображенского приказа) // РС. 1880. Т. 27.
576. Подметное письмо императрице Екатерине II 1791 года // Чт. ОИДР. 1860. Кн. 4.
577. Подметные письма Голосова, Посошкова и других (1700—1705 гг.) // Чт. ОИДР. 1888. Кн. 2.
578. *Подосенов О.П.* Законодательство о каторге и ссылке в России XVIII в. // Государственно-правовые институты самодержавия в Сибири: Сб. ст. Иркутск, 1982.
579. *Поддубный И.А.* Из пережитого. Пг., 1917.
580. Показания князя Ивана Алексеевича Долгорукого и мнение о том Тайной канцелярии // Чт. ОИДР. 1864. Кн. 1.
581. *Покровский Н.Н.* Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в XVIII в. Новосибирск, 1974.
582. *Покровский Н.Н.* Следственное дело и Выговская повесть о тарских событиях 1722 г. // Рукописная традиция XVI—XVIII вв. на востоке России: Сб. ст. Новосибирск, 1983.
583. *Покровский Н.Н.* Тетрадь заговоров. 1734 год. // Научный атеизм, религия и современность: Сб. ст. Новосибирск, 1987.
584. *Покровский Н.Н.* Сибирские материалы XVII—XVIII вв. по «слову и делу государеву» как источник по истории общественного сознания // Источники

- по истории общественной мысли и культуры эпохи позднего феодализма: Сб. ст. Новосибирск, 1988.
585. *Покровский Н.Н.* Законодательные источники петровского времени о «слове и деле государевом» // Публицистика и исторические сочинения периода феодализма: Сб. ст. Новосибирск, 1989.
586. *Поленов Д.В.* Отправление Брауншвейгской фамилии из Холмогор в датские владения // РС. 1874. Т. 9.
587. Полное собрание законов Российской империи. СПб. 1839. Т. 2—21.
588. Поляк-конфедерат в Сибири // РА. 1886. Кн. 3.
589. *Померанцев М.С.* Генерал-рекетмейстер и его контора в царствование Петра Великого // РА. 1916. № 1—3.
590. *Попов А.* Об устройстве уголовных судов в Московском царстве // ЖМНП. 1848. Ч. 10.
591. *Попов М.С.* Арсений Мациевич и его дело. СПб., 1912.
592. *Попов Н.* Татишев и его время. М., 1861.
593. *Посошков И.Т.* Книга о скудости и богатстве. М., 1951.
594. *Пресняков А.Е.* Московское царство. Пг., 1918.
- 594а. Приключения посадского Ивана Зубарева в России, Пруссии и Польше и показания его о намерении прусского короля Фридриха II возвести снова на русский престол принца Иоанна Антоновича при содействии раскольников, 1751—1756 годов // ИБСА.
595. *Прозоровский А.* Сильвестр Медведев: (Его жизнь и деятельность). М., 1896.
596. Проект Уголовного Уложения 1754—1766 годов / Под ред. А.А. Востокова. СПб., 1882.
597. Проклятье Глебова. 1721 г. // РС. 1876. Т. 15.
598. *Прокопович М.Н.* О извозчике 1-го гренадерского батальона (Низового корпуса) Евстифее Артемьеве, называвшемся царевичем Алексеем Петровичем // Чт. ОИДР. 1897. Кн. 1.
599. *Прокофьева Л.С.* Об одном следственном показании по делу Пугачева // Исследование по отечественному источниковедению: Сб. ст., посвященных 75-летию профессора С.Н. Валка. М.; Л., 1964.
600. Протоколы Правительствующего Сената 1761, 1762 и 1763 гг. // Сенатский архив. СПб., 1907. Т. 12.
601. Прошлый век в его нравах, обычаях и верованиях // РС. 1897. Т. 90.
602. *Пругавин А.С.* Монастырские тюрьмы в борьбе с сектантством. СПб., 1906.
603. *Прыжов И.Г.* 26 московских пророков, юродивых, дур и дураков и другие труды по русской истории и этнографии. СПб., 1996.
604. Пугачевщина. М., 1931. Т. 3.
605. *Пуле де М.Ф.* Материалы для истории Воронежской и соседних губерний. Воронеж, 1861.
606. *Пуляевский Л.А.* Очерк по истории г. Нерчинска. Нерчинск, 1929.
607. *Пунарев А.Г.* Секунд-майор Анненков. Дело 1799—1802 гг. // РС. 1892. Т. 75.
608. *Пушкин А.С.* История Пугачева // Полн. собр. соч. Л., 1938. Т. 9, кн. 1.
609. *Пыпин А.Н.* Времена Екатерины II // ВЕ. 1895. Т. 4.
610. *Пыпин А.Н.* Дело о песнях в XVIII веке (1704—1764) // Известия Отдела русского языка и словесности императорской Академии наук. 1900. Т. 5, кн. 2.
611. Рапорт жандармского фельдъегеря Подгорного дежурному генералу Главного штаба генерал-адъютанту Потапову 28-го октября 1827 г. // РС. 1901. Т. 105.

612. Рапорт Московского Архангельского собора протоиерея Петра Алексеева об исповеди и причастии Пугачева с товарищи // Чт. ОИДР. 1865. Кн. 3.
613. Рапорт Московского Архангельского собора протоиерея Петра Алексеева об исповеди и причастии Пугачева с товарищи // Чт. ОИДР. 1872. Кн. 1.
614. Рапорт об аресте маркиза Шетарди и его рекредитив // АВ. Кн. 2.
615. *Рафиенко Л.С.* Следственные комиссии в Сибири // Освоение Сибири в эпоху феодализма (XVII—XVIII вв.): Сб. ст. Новосибирск, 1968.
616. *Рейтенфельс Я.* Сказание светлейшему герцогу Тосканскому Козьме Третьему о Московии. М., 1906.
617. *Ридингер.* Из материалов для истории и статистики города Ельца // РА. 1866.
618. *Робинсон А.Н.* Жизнеописание Аввакума и Епифания. Исследование и тексты. М., 1963.
619. *Рогов В.А.* История уголовного права, террора и репрессий в Русском государстве XV—XVII вв. М., 1995.
620. *Розанов Н.П.* Предсказатель монах Авель в 1812—1826 гг. // РС. 1875. Т. 12.
621. *Розенгейм М.П.* Очерк истории военно-судных учреждений в России до кончины Петра Великого. СПб., 1878.
622. Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. СПб., 1884—1893. Т. 1—4.
623. Розыскное дело Квирина Кульмана 1689 года, 26 мая — 29 октября // Чт. ОИДР. 1883. Кн. 3.
624. *Рославлев Д.И.* Записки // РС. 1880. Т. 28.
625. Российское законодательство. М., 1986—1986. Т. 2: Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства / Отв. ред. А.Г. Маньков; Т. 4: Законодательство периода становления абсолютизма / Отв. ред. А.Г. Маньков.
626. «Россию поднял на дыбы...»: Сб. М., 1987. Т. 1
627. *Рощевский П.И.* Политические деятели XVI—XVIII вв. в тобольском изгнании // Классовая борьба и общественно-политическая мысль дореволюционной России: Сб. ст. Тюмень, 1975.
628. *Рунич П.С.* Записки сенатора // РС. 1870. Т. 2.
629. Русские вольнодумцы в царствование Екатерины II: секретно-вскрытая переписка. 1790 г. // РС. 1874. Т. 9.
630. Русский исторический сборник / Под ред. М.П.Погодина. М., 1842. Т. 5.
631. Русская историческая библиотека. СПб., 1907. Т. 21.
632. Русского Императорского общества сборник. СПб., 1871—1912. Т. 2, 7, 10—11, 13—14, 28, 42, 52, 55—56, 63, 69, 79, 138.
633. *Рюльер К.-К.* История и анекдоты революции в России // Россия XVIII в. глазами иностранцев. Л., 1989.
634. *Рябинин Д.Д.* Высылка из России братьев Массонов // РС. 1876. Т. 15.
635. *Савельев А.И.* Письмо царевны Марфы Алексеевны к князю Ф. Ромодановскому // РС. 1907. Т. 129.
636. *Савинков В.* Краткий обзор исторического развития военно-уголовного законодательства. СПб., 1869.
637. *Самарин Н.В.* Донос «в бесчестии Сената» // РС. 1874. Т. 9.
638. Самозванец Рябов. 1774 г. // РА. 1902. Кн. 2.
639. Самозванка Тараканова // РА. 1905. Кн. 1.
640. *Самойлов В.* Возникновение Тайной экспедиции при Сенате // ВИ. 1946. № 1.
641. *Сансон Г.* Записки палача. М., 1996. Кн. 1—2.

642. Сапожников Д.И. Симбирский волшебник Яров (1732—1736 гг.) // РА. 1886. № 3.
643. Сафронов Ф.Г. Ссылка в Восточную Сибирь в XVII веке. Якутск, 1967.
644. Сафронов Ф.Г. Ссылка в Восточную Сибирь в первой половине XVIII в. // Ссылка и каторга в Сибири (XVIII — начало XX в.): Сб ст. Новосибирск, 1975.
645. Сборник исторических материалов и документов, относящихся к новой русской истории XVIII—XIX века / Издано М. Михайловым. СПб., 1873.
646. Сведения об Иоанне Антоновиче, правнуке царя Иоанна Алексеевича // РС. 1894?. Т. 82.
647. Свердлова А.В. О первом допросе Е.И. Пугачева // ВЛУ. 1966. № 14. Вып. 3.
648. Себнев А.С. Охотский порт с 1649 по 1832 г. // МС. 1869. Т. 105.
649. Себнев А.С. Скорняков-Писарев и А.М. Девьер в Сибири. 1727—1743 гг. // РС. 1875. Т. 12.
650. Себнев А.С. Бунт Беневского в Камчатке в 1771 г. // РС. 1876. Т. 1.
651. Секретнейшее наставление князю Вяземскому // Чт. ОИДР. 1858. Кн. 1.
652. Селиванов В. Из давних воспоминаний // РА. 1869.
653. Сельский И. Ссылка в Восточную Сибирь замечательных лиц // Русское слово. 1861. Кн. 8.
654. Семевский М.И. Странники царевича Алексея // Библиотека для чтения. 1861. № 5, 6.
655. Семевский М.И. Противники Фридриха Великого. Апраксин и Бестужев-Рюмин // Военный сборник. 1862. Т. 25. № 5—6.
656. Семевский М.И. Иоанн VI Антонович // ОЗ. 1866. Кн. 7.
657. Семевский М.И. Егор Столетов. 1716—1736 гг. Рассказ из истории Тайной канцелярии // РС. 1873. Т. 2.
658. Семевский М.И. Наталья Федоровна Лопухина. 1699—1763 (гг.) // РС. 1874. Т. 11.
659. Семевский М.И. Тайная канцелярия в царствование императрицы Елизаветы Петровны. 1741—1761 (гг.) // РС. 1875. Т. 12.
660. Семевский М.И. Император Иоанн Антонович. 1740—1764 гг. // РС. 1879. Т. 24, 25.
661. Семевский М.И. Лесток // Чт. ОИДР. 1884. Кн. 3.
662. Семевский М.И. Слово и дело государев! СПб., 1884.
663. Семевский М.И. Царица Катерина Алексеевна, Анна и Виллим Монс. 1692—1724 гг. 2-е изд. СПб, 1990.
664. Семевский М.И. Исторические портреты. М., 1996.
665. Семенова Л.Н. «Проекты о должностях» (1725 г.) как источник для изучения положения рабочих заводов артиллерийского ведомства // Исследование по отечественному источниковедению: Сб. ст., посвященных 75-летию профессора С.Н. Валка. М.; Л., 1964.
666. Семенова Л.Н. Рабочие Петербурга в первой половине XVIII века Л., 1974.
667. Сенатский архив. СПб., 1907. Т.12.
668. Сергеев М. Сибирские злочключения арапа Петра Великого // Ангара. 1970. № 6.
669. Сергеевич В.И. История русского права. СПб., 1866.
670. Сергеевич В.И. Лекции и исследования по древней истории русского права. СПб., 1910.
671. Сергеевский Н.Д. Наказание в русском праве XVII в. М., 1884.
672. Сергеевский Н.Д. Смертная казнь в России в XVII и первой половине XVIII в. // ЖГУП.

673. *Сергеевский Н.Д.* Тюремное заключение в России в XVII в. // ЮВ. 1886. Т. 21.
674. *Сергеевский Н.Д.* Смертная казнь при императрице Елизавете Петровне // ЖГУП. 1890. № 1—2.
675. *Серов Д.О.* Строители империи: Очерки государственной и криминальной деятельности сподвижников Петра I. Новосибирск, 1996.
676. *Серяков А.А.* Моя трудовая жизнь // РС. 1875. Т. 14.
677. *Сивков К.В.* Первая публичная казнь в Москве // РА. 1910. Кн. 3.
678. *Сивков К.В.* Тайная экспедиция, ее деятельность и документы // Ученые записки МГПИ им. В.И.Ленина. 1946. Т. 35. Кафедра истории СССР. Вып. 1.
679. *Сивков К.В.* Самозванчество в России в первой трети XVIII в. // ИЗ. 1950. Т. 31.
680. *Сизиков М.И.* История полиции России (1718—1917 гг.). М., 1992.
681. *Скопин Г.А.* Дневник происшествий // Саратовский исторический сборник. Саратов, 1889. Т. 1.
682. Следствие и суд над Е.И. Пугачевым // ВИ. 1966. № 4, 6, 7, 9.
683. *Слюзберг Г.Б.* Д. Говард, его жизнь и общественно-филантропическая деятельность. СПб., 1891.
684. Слова вместе с выражаемыми ими действиями, вышедшие из употребления в новой и свободной России после 19-го февраля 1861 г. // РА. 1864.
685. *Словцов П.А.* Историческое обозрение Сибири. СПб., 1886. Кн. 1.
686. *Сменцовский М.И.* К истории казни Степана Разина // Каторга и ссылка. 1932. № 3.
687. *Смилянская Е.Б.* Донесение 1754 г. в Синод суздальского епископа Порфирия «якобы во граде Суждале колдовство и волшебство умножилось» // Христианство и церковь в России феодального периода (Материалы). Новосибирск, 1989.
688. *Смирнов П.* Челобитные дворян и детей боярских всех городов в первой половине XVII века. М., 1915.
689. *Смирнов Ю.Н.* Роль гвардии в укреплении органов власти российского абсолютизма в первой половине XVIII века // Правительственная политика и классовая борьба в России в период абсолютизма. Куйбышев, 1985.
690. *Снегирев И.* Лобное место в Москве // Чт. ОИДР. 1861. Кн. 1.
691. Сношения кн. А.А. Черкасского с Гоштинским двором при императрице Анне Иоанновне // СИМДМ.
692. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел. М., 1813. Т. 1.
693. Совет Фридриха II императрице Елизавете Петровне // РА. 1866.
694. Современное письмо о Салтычихе // ОВ. 4.
695. Содержание умиленных при Екатерине Первой // РА. 1876. Т. 2.
696. *Соймонов Ф.И.* Из записок. СПб., 1888.
697. *Соколов А.* Суд над вице-адмиралом Крюсом 1713 года // МС. 1849. Т. 2.
698. *Соколов П.П.* Монастырские колодники в Тверском краю. 1889.
699. *Соколов П.П.* Монастырские колодники прошлого столетия в Тверской епархии. Тверь, 1884.
700. *Соловьев Н.И.* Судьба Феодосия, архиепископа Новгородского // РС. 1901. Т. 105.
701. *Соловьев Н.И.* Клетка Пугачева // РС. 1914. Т. 161.
702. *Соловьев С.М.* Заметки о самозванцах в России // РА. 1868.
703. *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен. М., 1993. Кн. 10. Т. 19, 20; Кн. 11. Т. 21, 22.

704. Ссылка графа Санти в Сибирь, 1727 г. // РА. 1866.
705. Ссылка М.М. Сперанского в 1812 г. // РС. 1876. Т. 14.
706. *Старостина Т.В.* Об опале А.С.Матвеева в связи с сыскным делом 1676—1677 гг. о хранении заговорных писем // Ученые записки Карело-Финского университета. 1947. Т. 2. Вып. 1.
707. *Стешенко Л.А.* Фискалы и прокуроры в системе государственных органов России первой четверти XVIII в. // ВМУ. 1966. № 2. Серия 12: Право.
708. *Строжев В.* Дело дьяка Ан. Ан.Виниуса. Тверь, 1898.
709. Страдалец по своей воле за двоеперстное крестное знамение 1737 года // ИМСА.
710. *Студенкин Г.И.* Запленные мастера // РС. 1873, Т. 9.
711. *Студенкин Г.И.* Салтычиха. 1730—1801 гг. // РС. 1874. Т. 10.
712. *Студенкин Г.И.* Орудие пытки в 1847 году // РС. 1887. Т. 54.
713. *Ступин М.* История телесных наказаний в России. Владикавказ, 1887.
714. *Суворов А.В.* Письма. М., 1986.
715. *Сыромятников Б.И.* Очерк истории суда в древней и новой России // Судебная реформа / Под ред. Н.В. Давыдова и Н.Н. Полянского. М., 1915.
716. Суд над графом Девьером и его соучастниками // Ковалевский Е.П. Собр. соч. СПб., 1871. Т. 1.
717. Судные процессы XVII—XVIII в. по делам церкви // Чт. ОИДР. 1882. Кн. 3.
718. Судьба князей Долгоруковых при императрице Анне // СИМДМ.
719. *Таганцев Н.С.* Русское уголовное право. СПб., 1902. Т. 1.
720. *Таганцев Н.С.* Смертная казнь. СПб., 1913.
721. *Тальберг Д.Г.* К истории тюрем и ссылки в России, 1805—1820 гг. // РС. 1879, Т. 24.
722. *Тарасов Е.И.* Донской атаман Платов: Его жизнь и подвиги. СПб., 1912.
723. *Тарасов Н.В.* Балтийский порт: Исторический очерк. СПб., 1914.
724. *Татищев В.Н.* История Российская. Л., 1968. Т. 7.
725. *Теге.* Записки пастора // РА. 1864.
726. *Тельберг Г.Г.* Очерки политического суда и политических преступлений в Московском государстве XVII века. М., 1912.
727. *Тимофеев А.Г.* История телесных наказаний в русском праве. 2-е изд. СПб., 1904.
728. *Трефолов Л.Н.* Выбор в палачи. 1836 г. // РС. 1888. Т. 58.
729. *Титов А.А.* Из времен Петра Великого: Симбирский и астраханский доносчик // РА. 1901. №. 11.
730. *Титов А.А.* Епископ Афанасий Кондоиди // РА. 1908. №. 3.
731. *Титов Ю.П.* Материалы по истории процессуального права России конца XVII — начала XVIII в. М., 1863.
732. *Тихомиров М.Н., Елифанов П.П.* Соборное уложение 1649 года. М., 1961.
733. *Тихонравов К.Н.* Проклятье Глебова. 1721 г. // РС. 1875. Т. 12.
734. *Тихонравов Н.С.* Квирин Кульман // Соч. М., 1898.
735. *Тихонравов Н.С.* Московские вольнодумцы начала XVIII века и Стефан Яворский // Соч. М., 1898. Т. 2.
736. *Толычова Т. Н.Б.* Долгорукая и березовские ссыльные. М., 1890.
737. *Трефолов Л.Н.* Запленный мастер // РА. 1868.
738. *Трефолов Л.Н.* Просьба о пожаловании «описных» вотчин: (К Елизавете Петровне о бывших графа Михаила Головкина землях) // ИВ. 1882. Т. 9.

739. *Трефолов Л.Н.* Похороны графа Андрея Ивановича Ушакова // ИВ. 1882. Т. 8.
740. *Трефолов Л.Н.* Ярославская старина // РА. 1896. Кн. 1.
741. Три циркулярные указа российским министрам за первые месяцы екатерининского царствования // ОВ. 1.
742. *Троицкий С.М.* Самозванцы в России XVII—XVIII веков // ВИ. 1969. № 3.
743. Указ Великого государя, списан с столпа каменного с листов жестяных // Древняя российская вивлиофика... изданная Николаем Новиковым. 2-е изд. М., 1790.
744. Указ из времен регентства Бирона // ПНРИ. Т. 2.
745. Указ о татарине, обвинявшемся за оскорбление высочайшего имени // Чт. ОИДР. 1871. Кн. 2.
746. Указ 11 января 1688 года о разрешении И.И. Хованского // Чт. ОИДР. 1909. Кн. 4.
747. Указ Правительствующему Сенату об уничтожении орудий пытки // РС. 1896. Т. 87.
748. *Успенский Б.А.* Дуалистический характер русской средневековой культуры: (На материале «Хождения за три моря» Афанасия Никитина) // Избранные труды. М., 1994. Т. 1.
749. *Успенский Б.А.* Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии // Избранные труды. М., 1994. Т. 2: Язык и культура.
750. Устав Морской. СПб., 1863.
751. *Устрялов Н.Г.* История царствования Петра Великого. СПб., 1859. Т. 6.
752. *Ушерович С.* Смертные казни в царской России. Харьков, 1932.
753. Фельдмаршал Миних в Сибири. 1746 г. // РА. 1865.
754. *Филиппов А.Н.* О наказании по законодательству Петра Великого в связи с реформой. Юрьев. 1891.
755. *Филиппов А.Н.* История Сената в правление Верховного тайного совета и Кабинета. Юрьев, 1895. Ч. 1.
756. *Филиппов А.Н.* Учебник истории русского права. Юрьев, 1912.
757. *Филиппов М.* Тюрьмы в России: Собственноручный проект Екатерины II. 1787 г. // РС. 1873. Кн. 7.
758. *Фойницкий И.Я.* Русское уголовное судопроизводство: Предмет и движение уголовного разбирательства. СПб., 1893.
759. *Фурсенко В.В.* Дело о Лестоке 1748 года. СПб., 1912.
760. *Хавен Педер фон.* Путешествие в Россию // Беспамят Ю.Н. Петербург Анны Иоанновны в иностранных описаниях. СПб., 1997.
761. *Хмыров М.Д.* Генерал-аншеф Авраам Петрович Ганнибал // Исторические статьи. СПб., 1873.
762. *Хмыров М.Д.* Граф Лесток // ОЗ. 1866. № 10.
763. *Хмыров М.Д.* Графиня Екатерина Ивановна Головкина и ее время (1701—1791 года). СПб., 1867.
764. *Хмыров М.Д.* Густав Бирен, брат регента // Исторические статьи. СПб., 1873. (ОВ. 2)
765. Холмогорская секретная комиссия. Архангельск, 1993.
766. *Храповицкий А.В.* Дневник. 1782—1793. СПб., 1874.
767. Челобитная о награде за арест в Тайной канцелярии. 1742 г. // РС. 1880. Т. 29.
768. *Черная Л.А.* От идеи «служения государю» к идее «служения государству» в русской общественной мысли второй половины XVII — начала XVIII в. // Общественная мысль: исследования и публикации. М., 1989. Вып. 1.

769. Черникова Т.В. «Государево слово и дело» во времена Анны Иоанновны // ИСССР. 1989. № 5.
770. Черта из жизни императрицы Елизаветы Петровны // РА. 1864.
771. Чистов К.В. Русские народные социально-утопические легенды XVII—XIX вв. М., 1967.
772. Чистович И.А. Решиловское дело. Феофан Прокопович и Феофилакт Лопатинский. СПб., 1861.
773. Чистович И.А. Дело Салникова // Чт. ОИДР. 1868. Кн. 3.
774. Чистович И.А. Феофан Прокопович и его время. СПб., 1878.
775. Чистович И.А. Дело о богопротивных сборищах и действиях. М., 1887.
776. Чулицкий М.Ф. Сонное видение и решение Петра Великого. О сумасброде Иване Андрееве. Из старых дел // РС. 1913. Т. 153.
777. Чулицкий М.Ф. О сибирской девке Ирине Ивановой, имевшей в себе дьявольское наваждение // РС. 1913. Т. 155.
778. Чулошников А. Казнь Пугачева и его сообщников // РП. 1923. Т. 1.
779. Чуминов А.А. Таинственный узник // РС. 1876. Т. 15.
780. Чупин Н.К. Бурцов, Татишев и Жолобов в деле Егора Столетова, 1733—1736 гг. // РС. 1873. Т. 9.
781. Чупин Н.К. Сожжение на костре в Екатеринбурге в 1738 году // РС. 1878. Т. 23.
782. Царствование Петра Великого. Булавинский бунт // РС. 1870. Кн. 2.
783. Циммерман А. Русские пытки // РА. 1867.
784. Шалфеев Н. Об уставной книге Разбойного приказа. СПб., 1868.
785. Шахматов М.В. Компетенции исполнительной власти в Московской Руси. Прага, 1936.
786. Шаховская Н.Д. Сыск посадских тягловцев и закладчиков в первой половине XVII в. // ЖМНП. 1914. Октябрь.
787. Шаховской Я.П. Записки. 1705—1777 гг. СПб., 1872.
788. Шереметев С.Д. Стряпчий и дворецкий фельдмаршала графа Шереметева // РА. 1911. Т. 3.
789. Шерстобитов В.Н. Илимская пашня. Иркутск, 1949. Т. 1.
790. Шильдер Н.Е. Император Александр Первый. Его жизнь и царствование. СПб., 1897. Т. 2.
791. Ширяев В.Н. Оскорбление чести по русскому праву. М., 1905.
792. Шишкин И.И. Артемий Петрович Волынский: Биографический очерк // ОЗ. 1860. Май.
793. Шлейссингер Г.А. Рассказ очевидца о жизни Московии конца XVII века // ВИ. 1970. № 1.
794. Шорохов Л.П. Узники сибирских монастырей в XVIII веке // Ссылка и общественно-политическая жизнь в Сибири (XVIII — начало XX в.): Сб. ст. Новосибирск, 1978.
795. Шпренгер Я., Инститорис Г. Молот ведьм, М., 1990.
796. Штелин Яков. Подлинные анекдоты о Петре Великом. Л., 1990.
797. Шубинский С.Н. Граф Андрей Иванович Остерман. 1686—1746 гг. СПб., 1863.
798. Шубинский С.Н. Арест и ссылка Бирона // РС. 1871. № 5.
799. Шубинский С.Н. Княгиня А.П. Волконская и ее друзья: (Эпизод из придворной жизни XVIII столетия) // ИВ. 1904. Т. 98.

800. *Шубинский С.Н.* Исторические очерки и рассказы. СПб., 1908.
801. *Щеголев П.Е.* Алексеевский равелин. М., 1989.
802. *Щебальский П.К.* Черты из народной жизни в XVIII веке. Доносы и доносчики // ОЗ. 1861. № 10.
803. *Щербатов М.М.* Размышления о смертной казни // Чт. ОИДР. 1860. Кн. 1.
804. *Эйдельман Н.Я.* Розыскное дело // Наука и жизнь. 1971. № 9—10.
805. *Эйдельман Н.Я.* Герцен против самодержавия. М., 1973.
806. *Энгельгардт Л.Н.* Записки. М., 1997.
807. *Юдин П.* К истории Пугачевщины // РА. 1896. Кн. 2.
808. *Юль Юст.* Записки датского посланника при Петре Великом (1709—1711 гг.). М., 1900.
809. *Ядринцев Н.М.* Исторический очерк русской ссылки в связи с развитием преступления // Дело. 1870. № 10.
810. *Яковлев А.И.* Холопство и холопы в Московском государстве XVII в. М., 1916.
811. *Якушкин В.Е.* Суд над русским писателем в XVIII-м веке: К биографии А.Н. Радищева // РС. 1882. Т. 9.
812. *D' Auteoche.* L'abbé Chappe Voyage en Siberie en 1761. Paris, 1768, Т. 1.
813. *Held R.* Inquisition. Aslockton, England, 1991.
814. *Hingley R.* The Russian Secret Police. Muscovite, Imperial Russian and Soviet Political Security Operations. 1565—1970. London, 1970.
815. *Schild W.* Die Geshhichte der Grichtsbarkeit. Hamburg, 1980.

Список сокращений

- АВ — Архив князя Воронцова. М., 1870—1871. Кн. 1—3.
АСПбФИРИ — Архив С.-Петербургского филиала Института российской истории Российской академии наук.
ВЕ — Вестник Европы, журнал.
ВИ — Вопросы истории, журнал.
ВЛУ — Вестник Ленинградского университета. Серия истории, языкознания и литературы.
ВМУ — Вестник Московского государственного университета.
ДНР — Древняя и новая Россия, журнал.
ЖГУП — Журнал гражданского и уголовного права.
ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения.
ЖМЮ — Журнал Министерства юстиции.
ИБСА — Исторические бумаги, собранные К.И. Арсеньевым. СПб., 1872.
ИБ — Исторический вестник, журнал.
ИЗ — Исторические записки, журнал.
ИМ — Историк-марксист, журнал.
ИСССР — История СССР (ныне Отечественная история), журнал.
КА — Красный архив, журнал.
МГИАИ — Московский государственный историко-архивный институт.
МС — Морской сборник.
ОВ — Осмнадцатый век. Исторический сборник, издаваемый Петром Бартевым. М., 1869. Кн. 1—4.
ОЗ — Отечественные записки, журнал.
ПНРИ — Памятники новой русской истории. СПб., 1871—1873. Т. 1—3.
РА — Русский архив, журнал.
РВ — Русский вестник, журнал.
РГАДА — Российский государственный архив древних актов.
РГИА — Российский государственный исторический архив.
РЗ — Российское законодательство. М., 1986—1996. Т. 1—4.
РИЖ — Русский исторический журнал.
РИО — Сборник императорского Русского исторического общества.
РП — Русское прошлое, журнал.
РС — Русская старина, журнал.
СИМДМ — Сборник исторических материалов и документов, относящихся к новой русской истории XVIII—XIX веков. Изд. М. Михайлова. СПб., 1873.
СУ — Соборное уложение 1649 г.
Чт. ОИДР — Чтения Общества истории и древностей российских при Московском университете, журнал.
ЮВ — Юридический вестник, журнал.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Приговоры в Тайной канцелярии за 1732—1733 гг.

Виды преступлений и наказаний	Смертная казнь	Кнут, Сибирь	Кнут, свобода	Ссылка, Сибирь	Плети	Шпиль-рутены	Батоги	Прочие наказания	Итого	%
Самозванство	3	10	-	-	-	-	-	-	13	3,3
Непристойные слова	7	22	13	2	9	1	5	7	66	16,7
«Ложное Слово и дело»	4	13	21	3	16	17	10	4	88	22,3
Недонесение	-	12	17	-	17	-	5	5	56	14,2
Небытие у присяги	-	5	-	-	99	-	12	-	116	29,4
Раскол	3	10	1	7	5	-	1	-	27	6,8
Прочие преступления	-	8	1	4	5	-	1	10	29	7,3
Итого	17	80	53	16	151	18	34	26	395	100
%	4,3	20,3	13,4	4,1	38,1	4,6	8,6	6,6	100	

Источники: РГАДА, ф. 7, д. 272

Таблица 2

Приговоры в Тайной канцелярии за 1732—1733 гг.

Население и виды преступления	Самозванство	Непристойные слова	«Ложное Слово и дело»	Недонесение	Небытие у присяги	Раскол	Прочие преступления	Итого	%
Крестьяне	10	16	24	23	1	18	2	94	23,8
Солдаты	-	12	28	6	-	-	4	50	12,6
Дворяне	1	8	2	1	13	-	1	25	6,3
Церковники	-	13	7	14	100	6	8	148	37,5
Подьячие	-	3	6	2	-	1	4	16	4,1
Посадские	1	4	12	3	1	-	1	22	5,5
Прочие	2	10	9	7	1	2	9	40	10,2
Итого	13	66	88	56	116	27	29	395	100

Источники: те же, что и Таблицы 1

Таблица 3
Приговоры в Тайной канцелярии за 1732 - 1733 гг.

Население и виды преступлений	Крестьяне	Солдаты	Дворяне	Церковники	Подьячие	Посадские	Прочие	Итого	%
Смертная казнь	3	6	-	3	2	1	2	17	4,3
Кнут, Сибирь	32	5	2	16	3	4	18	80	20,3
Кнут, свобода	34	1	2	2	1	6	7	53	13,4
Ссылка в Сибирь	10	2	1	3	-	-	-	16	4,1
Плети	10	9	9	105	4	5	9	151	38,2
Шпицрутены	-	17	-	-	-	1	-	18	4,6
Батоги	5	8	8	8	1	2	2	34	8,6
Прочие наказания	-	2	3	11	5	3	2	26	6,6
Всего	94	50	25	148	16	22	40	395	100
%	23,8	12,6	6,4	37,5	4	5,6	10,1	100	

Источники: те же, что и Таблица 1 и 2

Таблица 4
Социальный состав приговоренных к наказанию
в Тайной канцелярии в 1725—1740 гг.

Население и виды наказаний	Крестьяне	Церковники	Посадские	Работные	Казаки	Солдаты	Подьячие	Прочие	Итого	%
Кнут	153	44	32	15	30	80	29	69	452	55,2
Кнут, ноздри	68	11	14	10	6	45	12	35	201	24,6
Кнут, ноздри, язык	6	2	1	1	1	3	-	2	16	2,0
Кнут, язык	10	4	3	2	1	4	3	7	34	4,2
Кнут, другие калечащие наказания	8	1	5	1	2	4	1	3	25	3,0
Пытки в зачет наказания	16	6	4	4	2	4	6	15	57	7,0
Плети и батоги	4	8	-	-	1	7	5	8	33	4,0
Всего	265	76	59	33	43	147	56	139	818	100
%	32,4	9,3	7,2	4,0	5,3	18,0	6,8	17,0	100	

Источники: РГАДА, ф. 7, оп. 1, д. 5, ч. 1-2

Виды наказаний по приговорам Тайной канцелярии
при отправке в ссылку и на каторгу в 1725--1761 гг.

Таблица 5

Виды наказаний	1725—1730 гг.	1730—1740 гг.	1742—1750 гг.	1751—1761 гг.	Итого	%
Кнут	107	357	140	308	912	58,9
Кнут, ноздри	35	178	57	58	328	21,2
Кнут, ноздри, язык	9	8	2	-	19	1,2
Кнут, язык	10	15	3	-	28	1,2
Кнут, другие калечащие наказания	1	11	1	-	19	1,8
Пытки в зачет наказания	30	54	13	24	121	7,8
Плети, батоги	6	30	29	58	123	7,9
Всего	204	653	245	448	1550	100
%	13,2	42,1	15,8	28,9	100	

Источники: те же, что и Таблица 4

Места ссылки и каторги по приговорам
Тайной канцелярии в 1725—1761 гг.

Таблица 6

Места каторги и ссылки	1725—1730 гг.	1731—1740 гг.	1742—1750 гг.	1751—1761 гг.	Итого	%
«Каторга» вообще	102	239	97	47	485	30,0
Аргунь	22	6	-	-	28	1,6
Нерчинск	12	9	1	15	37	2,4
Тара	6	8	-	-	14	1,0
«В сибирские заводы»	1	6	-	-	7	0,4
Охотск	-	114	3	1	118	7,3
Камчатка	1	-	2	-	3	0,2
Кроншлот	-	3	-	13	16	1,0
Оренбург	-	206	102	257	565	35,0
Кола	13	-	-	-	13	0,8
Рогервик	23	14	18	84	139	8,6
Пустозерск	7	-	-	-	7	0,4
Гурьев, Кизляр	-	-	-	1	1	0,1
Монастыри	14	12	1	4	31	2,0
«В дальние города»	32	51	24	20	127	7,9
«В сибирские служилые люди»	2	-	2	1	5	0,3
«В дальний гарнизон»	2	-	6	12	20	1,2
Всего	237	668	256	455	1616	100
%	14,7	41,3	15,9	28,1	100	

Источники: те же, что и Таблица 4—5

Таблица 7

Приговоры в Преображенском приказе в 1722—1724 гг.

Виды наказаний	Ложный извет	Непристойные слова	Прочие преступления	Итого	%
Смертная казнь	19	3	1	23	2,9
Кнут, ноздри, каторга	8	6	2	16	2,8
Кнут	354	53	7	414	53,7
Плети, батоги	21	29	2	52	6,7
«Наказан»	48	11	2	61	7,9
Прочие наказания	10	4	-	14	1,8
Итого наказанных	460	106	14	580	-
%	79,3	18,3	2,4	100	

Источники: РГАДА, ф.371, оп. 2

Евгений Викторович Анисимов

ДЫБА И КНУТ

Политический сыск и русское общество в XVIII веке

Художник Д. Черногаев

Редактор С. Еремина

Корректор Л. Морозова

Верстка В. Дзядко

ООО «НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

Адрес издательства:

129626, Москва,

абонентный ящик 55

тел. (095) 976-47-88

факс (095) 977-08-28

e-mail: nlo.ltd@g23.relcom.ru

ЛР № 061083 от 6.05.1997

Формат 60×90 ¹/₁₆. Бумага офсетная № 1.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 45.

Отпечатано с оригинал-макета в ППП Типография «Наука»

121099, Москва, Шубинский пер., 6. Заказ № 1286